

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ

ИЛИ

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКИ УСТРОЕНЫ ПО-РАЗНОМУ

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА

СОЗДАНИЕ ТОЧЕК РОСТА В ПОСТРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ:
ОТРАСЛЕВЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ СТРАТЕГИИ

АВТОР КУРСА: МОШИАШВИЛИ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
К.Э.Н., ПРОФЕССОР ФЭН

МОСКВА

2020

Научные школы, считающие культурные и поведенческие установки более тяжеловесными факторами экономического роста по сравнению с собственно характеристиками экономических условий, получили в последние два десятилетия широкое распространение. В этой парадигме инструменты экономической политики, независимо от качества таковой, выступают лишь как метод регулирования роста (про- или контрциклического) и других параметров экономического развития в зависимости от фазы хозяйственного цикла, однако в рамках уже сложившейся модели роста (компетенций, конкурентных преимуществ и недостатков, отраслевой структуры экономики), и крайне ограниченно влияют на саму эту модель. Неэкономические факторы, являющиеся в этом плане ключевыми, преломляются в характере сложившихся человеческих сообществ и преобладающего типа экономического взаимодействия индивидов в рамках таких сообществ, их ценностных установках, общественно одобряемых и порицаемых типах поведения. Таким образом, модель роста рассматривается как отклик на естественные конкурентные преимущества и недостатки экономики с опорой на доступные типы сообществ и их хозяйственно значимые поведенческие установки. Настоящее пособие предлагает типологию таких сообществ и установок, систематизирует факторы и схемы их трансформации, ведущей к экономике знаний, а также, прослеживает (не в хронологической, но в логической последовательности) особенности таковых в России и других ведущих странах для понимания генезиса сложившихся моделей роста, их сходств и различий.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Человеческие сообщества и их трансформация как ключевой фактор экономического роста.....	5
1.1 Архаическое и модернистское сообщество в экономике.....	5
1.2 Принципы формирования сообществ и их хозяйственных укладов. Сила, труд и знание как ключевые факторы социальной динамики.....	14
1.3 Факторы однородности экономического поведения общности.....	40
1.4 Некоторые географические сопоставления трансформационной колеи.....	45
2. Институциональная архитектура общности как экономически обусловленный элемент механизма социальной трансформации.....	51
2.1 Роль институтов в развитии: характерные заблуждения.....	51
2.2 Институциональная архитектура как функция типа накапливаемого капитала. Транзакционные издержки и эффект социальной дистанции.....	62
2.3 Барьер входа и социальная дистанция как причина институциональных дисфункций и рыночных искажений. Закономерности смены глобального институционального образца	90
2.4 Государство и сила. Принадлежность силы как функция источников стоимости и предпосылка колеи развития.....	102
3. Экономико-архетипическая классификация антропологических общностей.....	128
3.1 Классификация и характеристика экономических архетипов.....	128
3.2 Характерные деформации экономических архетипов. Ресурсная доминанта и модель развития.....	161
3.3 Этно-религиозные экономико-архетипические феномены в развитии.....	174
4. Экономические архетипы: индивидуальное и коллективное поведение.....	190
4.1 Экономико-антропологическая эволюция. Когнитивные и социокультурные характеристики экономических архетипов.....	190
4.2 Экономическое поведение и деловые качества архетипов. Принятие решений: транзакционная и управленческая культура.....	224

5. Экономико-антропологическая эволюция и смена способов производства.....	252
5.1 Архетипическая характеристика трансформации экономики и общества. Феноменология доиндустриального, индустриального и постиндустриального этапов	252
5.2 Индустриальный уклад и современный облик общества. Точки транзита и архетипические дефекты в экономической трансформации. Ретроспектива и перспектива экономико-антропологической эволюции.....	283
5.3 Архетипическая классификация стран с точки зрения трансформационной колеи. Эволюционные ограничения экономической политики.....	302
6. Экономико-антропологическая эволюция ключевых регионов мира.....	318
6.1 Европа: эволюционный механизм городского сообщества с «изначально» модернистским ядром. Ренессанс как архетипический источник экономики знаний.....	318
6.2 США как образец трансформации изначально архаического сообщества и конституирующая площадка экономики знаний.....	335
6.3 Экономико-архетипические особенности некоторых развивающихся регионов.....	353
7. Матрица экономико-антропологической эволюции России. Современные экономические, социальные и региональные архетипические изводы.....	361
7.1 Новгородская цивилизация и ее современные воплощения как европейский архетипический феномен. Петербург как «точка входа» большой европейской цивилизации Нового времени...	361
7.2 Модель концентрации ресурсов как основа экономического уклада Московии и экзистенциальная общероссийская доминанта.....	380
7.3 Ресурсно-силовая вертикаль как метаинститут распределения в модели разрушения общественной стоимости.....	394
7.4 Экономический уклад старообрядцев и его современные проявления: автохтонная альтернатива модели концентрации ресурсов.....	408
8. Россия как зеркало мирового архетипического многообразия. Экономика знаний как точка воссоединения русской трансформационной колеи с европейской.....	417
8.1 Урбанизация и экзистенциальный дефект индустриальной формации. Феномен интеллигенции и знание как единственный фактор национальной конкурентоспособности.....	417
8.2 Экономико-архетипическая проблема единой нации.....	430
8.3 Сетевое сообщество городов как модель нации постмодерна.....	442
8.4 Парадокс постсоветского периода: обращение в доиндустриальное состояние и кристаллизация постиндустриального уклада.....	447
8.5 Экономика знаний как безальтернативное решение трансформационной задачи.....	458

1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

1.1 Архаическое и модернистское сообщество в экономике

Существуют два полярных вида социального взаимодействия в рамках хозяйственных отношений, которые основаны на принципиально разных типах *извлечения стоимости* – путем *присвоения ценности* и путем *создания ценности*. С одной стороны, все блага в том или ином виде, объеме создаются с использованием продуктов природы, с другой – для вовлечения в хозяйственный оборот даже самого примитивного из таких продуктов требуются определенные усилия человека, поэтому в структуре стоимости любого блага есть обе указанные компоненты. В более общем виде эту оппозицию можно представить в виде противопоставления объектов стоимости, которые являются вещными ценностями и при передаче утрачиваются источником, и знания, которое при передаче другому или вкладе в вещную ценность источником не утрачивается. Превалирование одной из них в структуре общественной стоимости предопределяет совокупность особенностей общественного сознания и социальной архитектуры в целом. Деятельность, направленная на присвоение ценности вместо создания таковой, на извлечение прибыли из процесса обращения (за чужой счет, в ущерб общественному благу и т.п.) при обмене ценностями за счет контрагента (из самой транзакции, а не из процесса создания ценности, являющейся предметом транзакции), может иметь место в условиях практически любой общественно-экономической формации. Присвоение ценности основано на праве силы для охранения самой ценности и обеспечения неизменности слоя бенефициаров общественной формации, а общность с такой моделью извлечения стоимости характеризует приоритет безопасности и ограничение развития интересами безопасности, по возможности предотвращение развития вовсе, т.е. статичность внутреннего социального устройства и изоляция по внешнему периметру. В своем экстремальном проявлении такое хозяйствование соответствует модели простого воспроизводства, поскольку связано с запретительными рисками и транзакционными издержками при взаимодействии акторов. Деятельность, направленная на приращение стоимости в рамках цепочки кооперации и распределение вновь созданной стоимости, является необходимым и достаточным признаком развитой рыночной экономики и расширенного воспроизводства, основана на взаимной заинтересованности акторов и сопряжена с наименьшими возможными транзакционными издержками. Эта деятельность обусловлена полезным применением знания в хозяйственном обороте, а общность с такой моделью извлечения стоимости характеризует приоритет развития, в т.ч. обеспечение безопасности посредством достижений, динамизм внутреннего устройства в целях развития и открытость, активная коммуникация с внешним миром для вовлечения его ресурсов в собственное развитие. Указанные два типа экономического поведения проявляются в рамках соответственно *архаического* и *модернистского* сообществ. Для целенаправленного благоприятствования распространению модернистского архетипа необходимо выявить его принципиальные отличия от архаического с точки зрения мотиваций, отношения к ценностям и институтам.

К сообществам могут быть отнесены любые устойчивые группы взаимосвязанных и постоянно взаимодействующих людей, которые, в зависимости от привязанностей, могут одновременно входить в ряд сообществ. Границы сообществ могут определяться пределами стран, населенных пунктов, форм проживания, социальных слоев, профессиональных гильдий, групп по интересам, субъектов хозяйствования, этносов и пр., в рамках которых человеческий капитал группируется по принципу «подобные к подобным». Сообщества различных типов могут быть как относительно изолированы друг от друга, так и соприкасаться, взаимодействовать на постоянной основе, вплоть до бытового уровня, трансформироваться. Отдельные индивиды также являются выраженными носителями ценностных

ориентиров соответствующего уклада, хотя могут менять свои установки. Остатки установок архаического типа свойственны любому индивиду, так как имеют имманентные и семейно-родовые корни, можно говорить лишь о степени эмансипации. При столкновении носителей архаических и модернистских поведенческих установок друг с другом возникают конфликты и напряжения различной степени масштабности и интенсивности, продуктивность взаимодействия резко снижается.

Признак	Архаический тип сообщества	Модернистский тип сообщества
<i>Тип хозяйствования</i>	Ресурсозависимый; рабочая сила также понимается ресурсом, подлежащим присвоению силой, поскольку процесс и результаты труда легко поддаются одностороннему, предписательному управлению и контролю	Человекозависимый, или трудозависимый; труд достаточно сложен, чтобы процесс и результаты такового поддавались управлению и контролю без специальной компетенции, поэтому требуется встречная заинтересованность трудящихся
<i>Причины и сферы бытования, целевой ориентир успешности</i>	Естественные факторы ограничения общедоступных способов извлечения стоимости (как с точки зрения объемов, так и гетерогенности способов), такие как неблагоприятные климатические условия, удаленность от наиболее дешевых, в особенности, водных (морских и судоходных речных) путей транспортировки (хартленд), ввиду этого – экономически активного населения (как относительно территории, так и относительно общей численности населения); оседлый образ жизни в сочетании с гомогенностью «кормовой базы» либо сухопутный кочевой образ жизни ввиду скудости таковой, ориентация на быстрое истощение ресурсов территории и перемещение далее; по возможности стремятся к наращиванию силовых возможностей для защиты активов, прорыва к более благоприятным территориям, прежде всего, прибрежным, или размещения излишков ресурсов; извлечение стоимости по принципу «игры с нулевой суммой» (на практике, чаще всего, «с отрицательной»); целевая установка на контроль за формированием, накоплением, распределением, обращением и монетизацией ренты, когда добыча, перевозка или защита ресурсов требует значительных издержек и тяготеет к концентрации (относится к власти, производству, труду, проживанию); внутренний рынок обладает ограниченной емкостью и формируется за счет ренты, контроль за доступом на него (принцип «на всех не хватит») совмещается с контролем за рентой и является источником административной ренты, монетизируемой посредством институциональной коррупции как нормативного явления (а не противоправного эксцесса); сервис и охранение ренты (опричинна), а также ее институциональное хищение (криминальное	Благоприятные естественные факторы, создающие множественность возможностей извлечения стоимости, такие как выгодное географическое положение у водных (морских и судоходных речных) артерий, плодородность почв, ввиду этого высокая плотность экономически активного населения; оседлый образ жизни, ориентация на благоустройство и долговременное развитие населенной территории или морской кочевой, характерный для географического изобилия объектов извлечения стоимости; глубина внутренних и доступность внешних рынков формируют плюрализм конкурирующих центров создания стоимости; тяготеет к максимально возможной на любом данном технологическом уровне деконцентрации (относится к власти, ресурсам, производству, труду, проживанию), при этом, кооперируется для создания любой инфраструктуры общего пользования; получает развитие заморская (свободная) торговля и создание любого продукта, готового к конечному потреблению, поэтому тяготеет к производству с максимальной добавленной стоимостью; формирует установку на модель роста на основе человеческого капитала при минимально возможной доле природных ресурсов в общественной стоимости; извлечение стоимости по принципу «игры с положительной суммой» (win-win); укрепляется в результате любых конкурентных вызовов, если они не оказываются фатальными и не приводят к утрате субъектности

	или статусное), образуют сословия, тяготеющие к непрерывному расширению и дающие наивысший из ненаследуемых статусов; основан на отраслях, где ресурс физически или экономически (для рентабельного освоения) неделим, избыточен для хозяина и дефицитен для окружающих: земледелие и источники воды, добыча полезных ископаемых, сухопутная/транзитная (зависящая от хозяина административной ренты) торговля и транспорт, а также местная торговля и бытовые услуги, составляющие среду комфорта для хозяина ренты	
<i>«Локация» извлечения стоимости в хозяйственном цикле</i>	«На входе», путем создания капитального выигрыша (capital gain) в момент завладения ценностью – по цене, оставляющей место для аномальной доходности, ренты; «на процессе», «на затратах», путем освоения капитальных или операционных расходов, вне зависимости от их эффективности, в т.ч. искусственного создания непроизводительных затрат	«На выходе», от созданной ценности; на прибыли в результате эффективного операционного управления; на вкладе собственного знания, навыка, умения
<i>Отношение к власти, соотношение власти, собственности и институтов</i>	Легитимность и ресурсы образуются у высших сословий и перераспределяются вниз по остаточному принципу; сообщество является объектом, а не субъектом власти, которая является предопределенной и внешней по отношению к сообществу, имеет отдельные от него интересы, могущие быть легитимно удовлетворенными за его счет; отчуждение индивида от общих нужд и общественного пространства; получаемое от государства воспринимается как благотворительность, а не как возвращение в оборот ранее созданной самим сообществом стоимости; «синдром выученной беспомощности», социальный инфантилизм, отсутствие требовательности индивида к себе, ответственности за успехи и неудачи сообщества; готовность принять любую власть, основанную на праве силы, независимо от легитимности; обладание титулом «патримониальной» власти на местности ассоциируется с обладанием собственностью, прочая собственность облагается принятыми обременениями за пользование административным ресурсом и носит «условный» характер, фактически являясь отношениями временного пользования; конфликт интересов между регулированием рынка и оказанием услуг участникам рынка, с одной стороны, и предпринимательской деятельностью на этом рынке, с другой, склонность к неосновательной монополизации; носителю титула власти делегируется принятие общественно значимых решений без последующего контроля; резко неравномерный и непрозрачный характер распределения общественных благ воспринимается как вознаграждение носителю титула власти за повышенную	Легитимность и ресурсы образуются у хозяйствующих субъектов, в пределе просто у индивидов, и перераспределяются вверх в зависимости от целесообразности; власть формируется в порядке, определяемом самим сообществом в интересах такового, чаще всего из его состава, реже извне; является одной из форм кооперации для создания общественного блага; индивид является гражданином, граждане используют различные формы кооперации для создания благ коллективного пользования, в т.ч. отличные от власти, под эгидой коммерческих и некоммерческих структур, гибко перераспределяя ресурсы на соответствующие цели между ними и государством; сопутствующие любым формам кооперации издержки сообщество считает понесенными за его счет, а их эффективность оценивает по сравнению с использованием соответствующих ресурсов индивидом самостоятельно; сообщество способно к самоорганизации, поэтому не делегирует власти исключительную ответственность за общественно значимые решения, оставляя таковой выполнение сервисных функций с адекватным такой функции прозрачным вознаграждением; преобладание прямых налогов, являющихся ключевым инструментом фиксации актуального общественного договора; собственно власть не обладает самоценной субъектностью, однако все сообщество в целом является субъектом власти (в т.ч. иногда по отношению к подмандатным архаическим сообществам); власть не может обладать собственностью и функциями, кроме необходимых для отправления общественных нужд; равноправие

	<p>ответственность; ответственность власти перед индивидом строго ограничена рамками установленного «сословного пособия», свои права в отношении индивида власть понимает как потенциально неограниченные, во всяком случае, определяемые в одностороннем порядке; завуалированность налоговой нагрузки, распространение косвенного налогообложения в различных формах; формальность института гражданства и отсутствие гражданского общества; право как атрибут силы, а не справедливости; преимущество неформальных институтов над формальными, подчинение характера применения письменного закона и публичного принуждения интересам носителя титула власти, соответствие действий индивида сословному статусу как фактический критерий их правовой оценки; персоналистская форма правления, «ручное» управление, сложность передачи власти ввиду невозможности трансфера неформальных связей; альтернативные соискатели власти с доступом к ресурсной базе могут возникать лишь в вертикальной структуре – на базе сословных или региональных центров, выполняющих рентопроводящую функцию, но не по горизонтали; выраженность архаического начала нарастает по мере удаления (в т.ч. физического) центра власти от индивида, а центра принятия решений от центра соответствующей компетенции</p>	<p>участников рынка; право как атрибут справедливости, обязательное для всех следование закону как по букве, так и по духу, неформальные институты максимально находят отражение в формальных процедурах; власть носит институциональный, системный и регулярно обновляемый характер, коллегиальная форма правления с системой сдержек и противовесов; существование альтернативных элит с самостоятельной ресурсной базой на каждом уровне публичного управления; выраженность модернистского начала нарастает по мере приближения (в т.ч. физического) центра власти к индивиду, а центра принятия решений к центру соответствующей компетенции</p>
<p><i>Тип потребления, накопления и инвестиций</i></p>	<p>Полностью определяются сословным статусом и в этом смысле носят демонстративный характер; потребительская корзина как способ самоидентификации, потребление верхних сословий превосходит таковое у нижних не только в абсолютном выражении, но и по соотношению качества и цены, вплоть до безвозмездного присвоения искомых благ; у верхних сословий рассчитаны на рынки модернистских сообществ, и лишь у нижних – на внутренний рынок, качество и доступность предложения на котором не являются приоритетами развития; маргинальность продукта местного производства, даже при выгодном соотношении цены и качества; потребление как сверхзадача; низкие норма накопления и доля инвестиций в общественном продукте; приобретение личной собственности и средств производства ввиду низкой доступности кредита требует накоплений, поэтому для нижних сословий невозможно; отрицательная доходность чистой инвестиционной позиции (доходность вложений за рубежом ниже доходности иностранных инвестиций), отрицательная чистая добавленная стоимость внешней торговли (добавленная стоимость экспорта ниже добавленной стоимости импорта); избыточный капитал рентного происхождения (windfall income, в т.ч. в форме «резервов» различного уровня), не сопровождаемый</p>	<p>В видимой части носят в основном эгалитарный характер, публичная демонстрация социальных различий не приветствуется, кроме оправданных личной или общественной необходимостью; область наиболее выгодного соотношения качества и цены благ соответствует потреблению среднего класса и тяготеет к дальнейшему снижению в социальной иерархии, так что премиальное потребление по мере наращивания стремительно утрачивает привлекательность; в основном рассчитаны на блага и инструменты, доступные на внутреннем рынке, качество и доступность предложения на котором находятся в фокусе внимания сообщества; предпочтение продукта местного производства при сопоставимом соотношении цены и качества; высокие норма накопления и доля инвестиций в общественном продукте; доступ к собственности возможен не только из накоплений, но и из обременения потребления ввиду общедоступности кредита, а также инструментов аренды и коллективного пользования; положительная доходность чистой инвестиционной позиции (доходность вложений за рубежом выше доходности иностранных инвестиций), положительная чистая добавленная стоимость внешней торговли (добавленная стоимость экспорта выше добавленной стоимости</p>

	<p>компетенциями, не находящий применения для создания стоимости на внутреннем рынке в сложившихся институциональных условиях и потому подлежащий вывозу; ограниченность объектов инвестирования, разрешение на инвестирование как дополнительный административный «варрант» собственно к стоимости актива; отзывный характер «варранта» как фактор «усечения» права собственности до права пользования; изобилие форм паразитирования на ренте, в т.ч. со стороны разветвленной криминальной среды; национальная денежная система дефективна и обслуживает в основном текущее потребление; финансовые институты не выполняют функцию аккумуляции накоплений, трансформации и диверсификации рисков ввиду типовой гомогенности и запретительного уровня рисков</p>	<p>импорта); отсутствие не задействованных капитальных резервов, возрастание национального богатства приводит к удлинению инвестиционного горизонта и расширению круга инвестиционных инструментов; равнодоступность активов на принципах прозрачного ценообразования, обилие капитала, сопровождаемого компетенциями (smart money); полноценная национальная денежная система, обслуживающая и потребление, и накопление; финансовые институты аккумулируют накопления и предлагают возможность гибкого финансирования, чаще всего коллективного (софинансирования), различных типов рисков</p>
<p><i>Отношение к собственности и труду</i></p>	<p>Неизменность статуса обладания собственностью или отсутствия таковой; наличие и тип собственности определяет сословный статус, служит способом самоидентификации; невозможность рассматривать трудовой ресурс как собственность индивида, наращивающую социальный статус обладателя, ввиду ограниченности его качества и свободы распоряжения им; труд как повинность и «проклятие», составная часть сословной лояльности, а не рыночный товар-навык; стремление к минимизации количества труда, отсутствие ответственности за его качество</p>	<p>Переменчивость ценности различных объектов собственности для индивида по ходу жизни; ценность и неограниченная возможность развития собственного трудового ресурса/навыка индивида как неотчуждаемого типа собственности, снижающего важность владения другими объектами собственности для обеспечения социального статуса; свободное распоряжение собственным трудом; качество труда как источник благосостояния и социального статуса</p>
<p><i>Образование, культурная среда, роль человеческих ресурсов</i></p>	<p>Минимально необходимое образование ввиду ограниченной доступности и сложности монетизации; низкая доступность компетенций, культурных и иных развивающих человека ценностей; «серийность» и «стандартность» человеческих ресурсов и продукта; высокая рождаемость и высокая смертность, приоритет их количества в молодом возрасте в ущерб качеству и длительности периода трудоспособности, сословный характер доступности здравоохранения; стоимость рабочей силы определяется стоимостью ее физического воспроизводства и недопущения социального недовольства, носит характер более или менее уравнительного «сословного пособия», скорее чем вознаграждения за труд; преимущественно примитивное качество труда (ограниченно влияющее на результат), необходимое для обслуживания рентного оборота; глубинная неуверенность в собственной профессиональной и социальной состоятельности/востребованности, компенсируемая демонстрацией внешней уверенности (атрибут силы, «не быть, а казаться»), социальная агрессивность, причастность к «большинству» до степени</p>	<p>Максимально возможное образование ввиду широкой доступности и легкости монетизации; доступность практически всего пласта компетенций и культурных ценностей как основной способ развития творческих способностей, поощрение и вознаграждение саморазвития; персонализация и снижение серийности труда и продукта; сравнительно невысокая рождаемость и смертность, приоритет качеству жизни, индивидуальной уникальности, производительности труда и длительности периода трудоспособности, общедоступный характер здравоохранения; стоимость рабочей силы определяется стоимостью «расширенного воспроизводства» таковой, включает «инвестиционную» компоненту для долгосрочного расширения возможностей человеческого капитала; эффективность рабочей силы определяется способностью создавать новую, не предустановленную, «непредсказуемую» ценность; в случае слишком быстрого или слишком медленного развития технологий, может образовываться избыток рабочей силы с такими потенциальными характеристиками, что</p>

	<p>неотличимости как фактор, создающий ощущение собственной правоты и защищенности, готовность копировать «условные знаки» и поверхностные поведенческие отличия такой причастности (от обрядов до потребительских привычек); примитивная ксенофобия; легкость навязывания метафизических образов, иррационалистических идеологий и суеверий, выделение «жреческой» касты (носителей неverifiedируемого «знания», «истины»); у индивида отсутствуют отличительные от других признаки ценности (прежде всего, квалификация), позволяющие выступать самостоятельным субъектом при обмене таковыми, поэтому индивидуальная самоидентификация размыта и сводится к статусным маркерам, таким как сословно обусловленные потребительская корзина, доступные типы собственности и инструментов принуждения; превалирует коллективная самоидентификация через родоплеменную принадлежность (де-факто в виде лояльности вождю) и атрибуты таковой (победы «своих» над «чужими» в различных областях, например, в войне и спорте); субъектом воли выступает вождество, а не индивид, границы семьи тяготеют к расширению до родовых</p>	<p>вызывает эффект демодернизации; сомнение как движущая сила развития человеческой личности, востребованность рационалистического и/или творческого начала; вторичность личной харизмы по сравнению с навыками кооперации; индивидуальные отличия индивида от других (прежде всего, квалификация) позволяют ему выступать самостоятельным субъектом при обмене таковыми, самоидентификация прежде всего индивидуальная – профессиональная и по принадлежности к небольшой семье, коллективная вторична и не приводит к делегированию кому бы то ни было функций субъекта воли, потенциально гибкая, не образующая социальных «капсул», «снизу вверх» – по отношению к малой родине и малым сообществам и, наконец, нации как наиболее обширной модернистской общности на базе коллективного сознания индивидов, образующих горизонтальные связи</p>
<p><i>Мировоззрение, отношение к истине, исследованию, знанию, информации, науке, идеологии, традиции, религии</i></p>	<p>Догматическое, превалирующее постулаты приобретают статус абсолютных, кооптация новых знаний в корпус общественно принятых наталкивается на препятствия и стимулируется лишь конкурентным вызовом со стороны внешнего врага, подозрение к процессу познания; асимметрия и вертикальное движение информации, отсутствие информационной прозрачности, плюрализм фактов (а не взглядов), искажение информации при передаче, ее замещение (в т.ч. в процессе принятия повседневных решений) корпусом «сакральных» понятий, выведенных за рамки критического осмысления и бытового обихода (например, дискуссии, юмора или сатиры), мифологизация картины прошлого, настоящего и будущего, распространение псевдонаук; использование информации как разновидности рентного ресурса для извлечения выгоды в деловом обороте; компетенции плохо сообщаются друг с другом и выступают как рентный ресурс ввиду их ограниченной доступности, статус их носителей квазисословный, одновременно привилегированный (для военных и иных нужд власти) и вызывающий подозрение; информация извне как одновременно враждебная, но более надежная; ; «оборонное» сознание, нетерпимость, вплоть до деталей, к иной системе взглядов, готовность к насилию для утверждения доминирующей идеологии; в религиозном аспекте человек рассматривается как вторичная ценность по отношению к</p>	<p>Научное, относительность знания как такового, его основанность на лучшей доступной в настоящий момент информации, коррекция при появлении новой; активный поиск, критический анализ и обобщение новой информации, ее ускоренное вовлечение в оборот; изобилие средств доставки информации, ее равнодоступность, невозможность «информационного арбитража» в деловом обороте и ценностной дискуссии; доступность и универсальность компетенций, легкость обмена ими; постепенное вытеснение из публичной в частную (интимную) либо творческую сферу категорий, не поддающихся критическому осмыслению (в т.ч. не могущих служить предметом дискуссии, юмора или сатиры); сосуществование альтернативных точек зрения на общественно значимые вопросы как равноправных; общность немногочисленных, но определяющих коллективное сознание и социальный капитал (соответственно, уровень доверия и транзакционных издержек) ценностей, которые имеют отношение к происхождению ядерной части сообщества (в случае нации – историческая память, язык, культура и поведенческие нормы основного нациеобразующего этноса, могут ограниченно трансформироваться по мере восприятия таковым характеристик других нациеобразующих элементов) и, наряду с профессиональным (образовательным)</p>

	<p>отвлеченной высшей миссии либо даже как негативная категория, «вместилище греха»; земная жизнь и обустройство окружающего пространства отвлекают от добродетелей, позволяющих снискать жизнь вечную, устроенность подobaет лишь субъекту силы, выступающему проекцией силы вземной</p>	<p>стандартом, служат «входным билетом» для новых членов; антропоцентрическая трактовка превалирующая религиозных учений: человек – вершина творения, созданная познавать и «возделывать насажденный виноградник»; земное бытие и прилежание в обустройстве окружающего пространства – единственная возможность для каждого человека активно себя проявить и заслужить жизнь вечную</p>
<p><i>Способ оценки индивида, общественно и/или религиозно одобряемый modus operandi</i></p>	<p>«Свой – чужой» по признакам неотчуждаемых характеристик членов сообщества; приоритет врожденных признаков перед приобретенными за ограниченностью возможности развивать первые и необходимостью строить жизненную стратегию на их «проедании», индивидуальное ресурсное мышление в качестве аналога коллективной самоидентификации на основе природных преимуществ территории обитания общности; «двойная мораль»: нормы человеческого общежития всерьез относятся только к «своим», на «чужих» действие морального императива распространяется ограниченно, «понарошку»; соотнесение себя с сообществом даже при удалении от него (либо стремление имитировать его посредством инкапсуляции); смирение с неизменностью собственного сословного статуса, послушание в противовес инициативе для достижения желаемых изменений; краткий горизонт планирования, будущее не связано с линией поведения индивида, краткосрочное рисковое поведение; приоритет стабильности в противовес развитию; богатство и признание как атрибут и следствие силы, а не добродетели; распространение и престижность криминальных сообществ как квазисословия – и родственных элите по духу и системе понятий, и имплицитно протестных с альтернативной культурой солидарности; субъект силы наделен статусом метафизического, безгрешного идеала, его антипод выступает абсолютным злом, подлежащим искоренению; отсутствие в явном виде «шкалы дискретности» поощрений и наказаний, экономических или правовых, «победитель забирает все у проигравшего»; за счет маргинализации последнего наращивая собственный сословный статус; престижность личностного роста за счет ограничения возможностей такового у другого индивида, стремление подчинять (имитировать сословия ниже себя) и готовность подчиняться; слабость, ограниченность возможностей как причина отверженного статуса; индивидуальное, избирательное применение декларируемых критериев добродетели; подмена в общественном сознании понятия успеха понятием удачи («фарта»), обилие призывающих ее условностей языческого типа; не мотивированное рисковое поведение,</p>	<p>Меритократический декларативно и фактически, активно функционирующая система социальных и имущественных лифтов, поощряющая трудолюбие во имя соответствия превалирующему представлению о достоинствах, достижимого и единообразно понимаемого вне зависимости от неотчуждаемых характеристик индивида; приоритет приобретенных признаков перед врожденными в связи с изобилием возможностей развивать и преобразовывать последние, по аналогии с этим периферизация природных характеристик территории обитания общности в качестве маркера коллективной самоидентификации; вне зависимости от социального положения и неотчуждаемых свойств человек самоценен, оценке подлежит не он сам, а лишь его отдельные качества и действия, у одного и того же индивида они могут быть оценены с разным знаком; строгая соразмерность поощрения и наказания, экономического или правового, деянию, после чего «инцидент считается исчерпанным» (будь то в положительном или отрицательном смысле), хотя и откладывается в виде репутационного капитала; признание за индивидом права на ошибку с целью поощрения непрерывного поиска лучших решений; инклюзивное отношение к индивиду, вне зависимости от стартовых возможностей, социальное достоинство; общественное поощрение вклада в социальный и личностный рост другого индивида; рефлексия о будущем, длинный горизонт планирования, настройка линии поведения в зависимости от индивидуальных целей, долгосрочное рисковое поведение; мотивированность рискового поведения, высокая ценность человеческой жизни</p>

	отношение к криминальным практикам как разновидности такового, низкая ценность человеческой жизни	
<i>Тип межличностного взаимодействия</i>	Сословный, определяется соотношением социальных статусов индивидов; преимущественно вертикальный, с преобладанием отношений доминирования-подчинения, характеризуется низким уровнем межличностного доверия и социального капитала; референтным является лишь мнение доминирующих членов сообщества; не допускает возникновения репутаций, не обусловленных сословным статусом; преобладание взаимодействия индивидов, при котором один из них выступает субъектом, другой объектом, маргинальность института договора ввиду изначальной неравнозначности сторон, статус как основной фактор разрешения споров; патриархальные семейные устои, неравенство полов в семье и обществе	Эгалитарный, определяется соответствием индивида превалирующим критериям успешности, определяемым целями сообщества; преимущественно горизонтальный, характеризуется высоким уровнем межличностного доверия и социального капитала; личная репутация как ключевой общественный институт, мнение любого признанного компетентным члена сообщества является референтным и не нуждается в вертикальном закреплении, репутация (бренд) как легитимный источник извлечения премиальной стоимости; преобладание взаимодействия индивидов, при котором они выступают равнозначными субъектами, институт договора (письменного и устного) как основа общественных и экономических отношений; равноправие полов в семье и обществе
<i>Открытость, коллективное действие</i>	Утрата субъектности индивидом в пользу патримониального субъекта, участие более чем в одном сообществе исключается, замкнутость в кооптации новых членов; ограниченность ресурсов сообщества в силу периметрических барьеров; непрерывная внутренняя атомизация в силу все новых критериев различения по линии «свой – чужой»; удержание от распада лишь страхом перед внешними, еще более отличными сообществами либо страхом применения силы внутри сообщества; мифологизация внешнего мира (одновременно в гротескной и демонической форме), его эгоцентрическая модель («любые события в окружающем мире имеют целью нас»); склонность относить общечеловеческие добродетели к числу специфических характеристик «своих», отказывая в таковых «чужим»; перед лицом внешней угрозы сообщество консолидирует наиболее однородных с точки зрения неотчуждаемых признаков индивидов и производит отсев выделяющихся, как следствие непрерывное снижение качества популяции – отрицательный отбор; замещение лучших членов популяции на худших в ходе миграционных процессов как следствие примитивизации труда и культурной среды; сословная изоляция различных меньшинств	Сохранение индивидом субъектности при объединении в сообщество; доступ к необходимым ресурсам путем интернализации их носителей; непрерывное повышение качества популяции за счет новых членов, претендующих на соответствие превалирующим критериям успешности, однако в личном, а не коллективном, «капсульном» качестве; склонность к внешней и внутренней кооперации по мотивам общей выгоды, гибкая перестройка кооперационных цепочек и взаимодействия индивидов при изменении задач; новизна имманентных признаков индивида как фактор привлекательности и взаимного дополнения членов сообщества для реализации совместных целей; объединения индивидов гибки и легко переформируются под задачи, меньшинства не носят характера социальных «капсул»; принадлежность к какому-либо меньшинству как основание для извлечения стоимости на основе личной уникальности, благотворной для всего сообщества; сообщество рассматривается не как «большинство от целого», а как собственно инклюдивное «целое», является формой организации горизонтальных связей индивидов и друг с другом, единым субъектом воли выступает лишь в случае внешнего вызова, отторгает только самочинно инкапсулировавшихся; эрозия общих ценностей (см. выше), равно как и закрытие для кооптации новых членов на основе таких ценностей, выступает фактором разрушения коллективного сознания (в случае нации – проступают контуры отдельных социальных и этнических «капсул» родоплеменного типа),

		горизонтальные связи (индивиды как субъекты) сменяются вертикальными (вождества как субъекты), запускается отрицательный отбор
<i>Общая характеристика факторов, определяющих сознание и происхождение уклада</i>	Имманентные, неотделимые, не зависящие от воли человека, предопределенные природными, этно-религиозными, языковыми, географическими и прочими привязанностями, условиями труда или социально предустановленные/закрепленные, как правило, передаваемые по наследству; примеры: человек как биологический вид, семья, род, племя, деревня, поселение, периферия/провинция; традиционный крестьянский уклад, полностью определяемый хозяйством, сменой сезонов, биологическим циклом сельскохозяйственных животных, волей хозяина, где нет места и времени выбору; делегирование решений без ответственности другим центрам, осязаемым или воображаемым, подавление индивидуального в пользу общего; застойность в развитии, приоритет безопасности по сравнению с развитием	Наличие выбора основных составляющих образа жизни, таких как характер образования, род занятий, место проживания, тип потребления и пр.; примеры: человек как социальное существо (вступающее по какому-либо поводу в коммуникацию с биологически не связанным с ним индивидом), общество, нация (как гражданское понятие), город, профессиональное сообщество, центр/столица; уклад жизни свободного городского жителя, где развилки и выбор являются естественной «единицей дискретности» на протяжении всей жизни индивида; самостоятельное принятие решений и ответственности либо их связанное делегирование, обусловленность общего индивидуальным; динамика в развитии, приоритет развития по сравнению с безопасностью
<i>Применимые эвфемизмы</i>	Orbis, country, мир (деревня)	Urbis, city, град (город)
<i>Некоторые примеры сообществ</i>	<ul style="list-style-type: none"> - крестьянская община до реформ Столыпина - моногород - отдаленный спальный район - этнический квартал - двор/район/класс/школа, враждующие с соседними аналогами - замкнутые (преимущественно мужские) сообщества казарменного типа - криминальное сообщество - коммунальная квартира – эксперимент по модернизации традиционного уклада семьи и быта (дом Наркомфина), на деле обернувшийся возникновением уклада урбанистической архаики - соседи (сослуживцы и т.п.), вступающие друг с другом в «привилегированные» рыночные отношения обменного характера, каждый из которых претендует на лучшие, чем на открытом рынке, условия на основании того, что он «свой» (предмет отношений не предполагает возникновения и раздела новой стоимости, сравнительная выгода для одной стороны означает потерю для другой) - организация с практикой трудоустройства по принципу личной преданности - азиатские вертикально управляемые корпорации, носящие родовые отпечатки - курортный поселок, в котором для местных и приезжих существует отдельный хозяйственный оборот 	<ul style="list-style-type: none"> - сословие граждан в античных Афинах и Риме - исследовательский университет как центр технологической экосистемы - волонтерское сообщество - интеллигенция - группа для деловой игры - коворкинг - социальная сеть - корпорация, организованная по принципу проектного взаимодействия центров компетенции - армия, ведущая действия против сильного противника (сообщество испытывает конкурентный вызов, критерии результативности прозрачны), либо в стране, где предоставляет престижное образование со сложными компетенциями; образует институт с сильными горизонтальными связями
<i>Некоторые примеры гибридных типов</i>	- элита архаического сообщества в той части ее жизнедеятельности (потребление,	Внутренне модернистские сообщества, по отношению к внешнему контуру кооперации

	<p>размещение капитала), которая протекает в рамках модернистского сообщества</p> <ul style="list-style-type: none"> - имитационно-модернистская элита, т.е. стремящаяся к эстетике и типу потребления, характерному для модернистского сообщества, однако по ценностным установкам (сословность, неинклюзивность, демонстративность потребления, низкий социальный капитал) остающаяся глубоко архаической - фермеры традиционного уклада в США, имеющие архаические поведенческие установки и ценностные ориентиры, однако, в силу исторических причин, модернистский тип отношения к власти - спортивная сборная, род занятий которой предполагает постоянную готовность к внешним конкурентным вызовам и открытый доступ на основании достижений, однако сводится к эксплуатации характеристик человека как биологического существа, вторичности когнитивных функций 	<p>ведущие себя архаично, оберегая внутренние устои:</p> <ul style="list-style-type: none"> - старообрядческая община - израильский киббуц <p>Характеризуются высокой плотностью большинства элементов модернистской инфраструктуры внутри, однако из-за невозможности экономии на масштабе поддержание таковой крайне затратно, поэтому тип распределения в них чаще всего является экстремально эгалитарным, что требует от индивида исключительно высокого уровня сознательности; накопление капитала происходит в периоды, когда окружающий идеологический и экономический уклад перестает восприниматься как угроза внутреннему, и сообщество включается в горизонтальные цепочки кооперации; в таких условиях реализует конкурентное преимущество приспособленности к самостоянию и «родовым» формам конкуренции при борьбе за место в цепочке добавленной стоимости. С некоторыми отличиями к этому типу можно отнести советский «закрытый» наукоград, модернистский внутри, но, как административная единица, встроенный в архаическую вертикаль</p>
--	---	--

1.2 Принципы формирования сообществ и их хозяйственных укладов.

Сила, труд и знание как ключевые факторы социальной динамики

При зарождении цивилизации природно-географические характеристики обуславливают возможность самообеспечения продовольствием, выгодность расположения для обмена излишками (торговли) и накопления капитала, защищенность территории от вызовов и угроз. Сами по себе вызовы и угрозы не формируют установку на приоритет безопасности по сравнению с развитием: в общем случае внимание конкурирующих общностей объективно больше привлечено к локациям с лучшей кормовой обеспеченностью и выгодным географическим положением, – хотя в частных случаях это соотношение может отклоняться в любую сторону под влиянием различных факторов. Более того, реальная – а не мнимая – внешняя угроза скорее стимулирует развитие общности, выработку у нее характеристик модернистского сообщества, что одновременно повышает и ее защищенность. Однако из трех приведенных факторов именно применительно к угрозам безопасности справедливо утверждать, что представление влияет на общность сильнее реальности и может существенно отклоняться от таковой. В этой связи, на деле приоритет безопасности по сравнению с развитием чаще всего свидетельствует о неблагоприятном географическом положении: произведенный продукт нельзя доставить потребителю с приемлемыми издержками, в связи с чем производство излишков лишено смысла.

Исключением в последнем случае выступают природные, т.е. невозпроизводимые человеческим трудом ценности, при этом настолько редкие и востребованные, что премиальная компонента их цены – рента – покрывает издержки доставки. В общем случае, редкие ресурсы создают архаическое тяготение у производителей и модернистское у потребителей: зависимость от поставки таких ресурсов извне является источником издержек и рисков, соответственно вызывает стремление снизить их долю в общественном продукте путем усложнения способа производства. Отсюда модернистское сообщество

бытует в условиях постоянной вариативности направлений поиска, создает спрос тестируя рынок, поэтому формирует избыточное предложение, – в то время как для архаического сообщества характерно неизменное качество предложения, количество которого настраивается на известный и ограниченный в каждый момент времени спрос. Сделанное утверждение справедливо дополнить другим: достаточные предпосылки усложнения способа производства возникают лишь при ограниченности/исчерпании возможностей более простого промысла – за счет таких естественных конкурентных преимуществ, как глубина рынка или редкие ресурсы. Этот же принцип работает в отношении некоторого класса активов или семейства технологий: интенсификация их полезного применения может быть отложена стремительным ростом рыночной стоимости, не обоснованным фундаментальными факторами, – т.е. формированием т.н. «мыльного пузыря», вплоть до его последующей ликвидации. Иначе говоря, переход к интенсивному росту, который запускает весь комплекс процессов социальной трансформации, как правило, выступает следствием негативной мотивации – недоступности значительно более «легкого пути» экстенсивного роста, который имеет весьма ограниченный трансформационный эффект и даже способствует консервации сложившейся социальной формации. При этом лишь интенсивный рост может непосредственно рассматриваться как качественный, создающий условия для непрерывного улучшения качества человеческого капитала, – в то время как экстенсивный в лучшем случае создает для этого ограниченные предпосылки и ресурсы, причем одновременно с инерцией торможения качественного прогресса.

Итак, изолированная общность на деле попросту незнакома с выгодами коммуникации по естественным причинам, – и это повышает в общественном сознании значение «преимуществ» своего положения, прежде всего безопасности, так что изоляция предстает благом. В таких условиях даже пищевая обеспеченность сама по себе не создает стимулов для развития, а, напротив, усиливает коллективное ощущение угрозы, готовность пожертвовать интересами развития ради защиты достояния. Напротив, знакомые с выгодами коммуникации общности крайне болезненно воспринимают умаление открытости по любым основаниям, пусть и вынужденным. Именно выгодное расположение является наиболее мощным стимулом к развитию: это помещает общность на перекрестье торговых и информационных потоков, создает стимулы производить больше собственных нужд и накапливать богатство сбытом излишков, обмениваться благами и достижениями с другими человеческими сообществами. Вместе с тем, справедливо и то, что нередко транспортная доступность одновременно означает и уязвимость территории, поэтому соображения безопасности могут возобладать и во всесторонне благоприятных условиях, если угрозы и вызовы превысили внутренние мобилизационные возможности (см. далее).

В свете этой дихотомии проясняется природа известного феномена: общности кардинально различаются по своей внутренней динамике в зависимости от характерного для них стереотипа города, поскольку именно он выступает площадкой концентрации ресурсов и элит. Для одних он прежде всего является точкой обмена – т.е. открытым для внешнего мира узлом, – для других же прежде всего крепостью – т.е. точкой максимального удаления от внешних влияний. Несомненно по причине антропогенных изменений среды обитания и в ходе социальной эволюции некоторые города утрачивают свои преимущества в качестве центров торговли и накопления знаний, вследствие чего становятся закрытыми, другие же, напротив, приобретают такие преимущества и открываются внешнему влиянию (см. далее), – так что провести точную границу между двумя социально-антропологическими платформами не представляется возможным. Тем не менее, до сих пор чрезвычайно существенны различия между той частью мира, где укоренен автохтонный или привнесенный путем колониального трансфера античный стереотип города, и той, для которой преимущества обмена новы. Так, обмен не предоставляет выгод общности не только в случае географической изоляции, делающей доставку запретительно дорогой, но и если ей нечего предложить другим для обмена или некому заниматься

посредничеством. В частности, обмен невозможен, если общность обладает сведениями или способом доставки лишь в отношении схожих с ней с точки зрения товарного производства. Также обмен затруднен, если общность по каким-либо объективным причинам не в состоянии производить излишки, – например, если выращивание продовольствия в конкретных природных условиях столь трудоемко, что трудоспособное население занято лишь прямым удовлетворением собственных витальных нужд. В последнем случае общность еще и не в состоянии выделить из своего состава сколько-нибудь заметное ремесленное и промысловое сословие, – так что обмен с ней в основном производится силами чужих предпринимателей и в порядке заимствования образцов, технологий и культур, а не закупки товаров. Цивилизациями с полярными первообразными представлениями о городской формации можно считать европейскую и дальневосточную в понимании азиатско-тихоокеанской. Эти антропологические платформы находятся в процессе перманентной конвергенции, однако по сей день страдают грубо искаженным представлением о внутренней социальной динамике друг друга. При этом многие части света с наступлением Нового времени перешли в межеумочное состояние, а в XX веке даже сменили Юго-Восточную Азию на «полюсе закрытости», при этом меняющиеся условия среды обитания и технологические уклады стали вступать в противоречие с социальным стереотипом, представлением общности о себе (см. далее). Так, в этом положении находятся Африка и субконтинентальные общности Евразии, которые обязаны своим появлением ушедшей в прошлое досовременной системе сухопутных транспортных коридоров через Константинополь, прежде всего Великому Шелковому пути. В то же время, Новый свет с его открытием и колонизацией сменил одну платформу на другую с точки зрения системы представлений, – однако с точки зрения фактической внутренней динамики эта смена оказалась полноценной только на севере американского материка (см. ниже).

Хорошо известна проблема выбора места для закладки города или размещения столицы. Так, архаические сообщества предпочитают в этом качестве защищенное естественными преградами местоположение, т.е. при прочих равных условиях отдают предпочтение труднодоступной локации. В то же время, модернистские сообщества, учитывая соображения безопасности, тем не менее, отдают приоритет наиболее выгодным для торговли точкам населяемой территории. Это объясняет, что ключевые города, как правило, располагаются на реках – судоходных или бывших таковыми когда-либо. Такое расположение отводит крупное поселение – административный, хозяйственный и культурный центр – в укрытие от уязвимого морского берега, при этом обеспечивает вовлеченность в морские торговые потоки и обмен образцами с другими очагами цивилизации, а также удешевляет снабжение.

Специфические отличия цивилизаций Юго-Восточной Азии от европейской выступают иллюстрацией того, что пищевая культура может выступать более тяжеловесным фактором формирования социальной модели, чем транспортная доступность. Муссонный климат, характеристики рельефа и почв обуславливают универсальную роль риса в рационе человека, – а в условиях такого климата выращивание этой культуры действительно характеризуется предельной трудоемкостью. Такой структуре сельскохозяйственного производства сопутствует избыток рабочей силы, в особенности мужской, но лишь с импортом новых кормовых культур с конца XIX века и резким повышением урожайности начинается высвобождение трудовых ресурсов, создаются предпосылки для перехода к производству излишков и вовлечению в торговлю, соответственно усложнению способа производства, в следующее столетие. В этой связи регион последним – в XX веке, притом фронтально лишь ко второй половине столетия и под решающим внешним влиянием – приступил к эксплуатации своего благоприятного географического положения.

Пищевая культура человеческих сообществ может оставаться неизменной, а может изменяться под влиянием природных или антропогенных факторов, что иллюстрируется различной судьбой центров Античности в более поздние эпохи. Благополучие этих центров привлекло к ним внимание воинственных племен, что, наряду с климатическими изменениями, вызвало в Евразии великое переселение народов, сопровождавшее «темное тысячелетие». Среди завоевателей преобладали кочевники-скотоводы,

структуру их отношений с покоренными оседлыми общностями, занятыми культурным земледелием, принято считать прототипом государства как экстрактивного и силового центра. Пришельцы стремились не только сохранять традиционный промысел на новом месте, но и ограничить хозяйство коренных жителей выращиванием культур, пригодных к хранению и транспортировке в больших объемах для накопления богатства, а для повышения урожайности хаотично насаждали ирригацию, которая приводила к засолению почв. Однако эти перемены привели к совершенно разным экологическим и социальным последствиям в регионах с более сухим и более дождливым климатом: если в первом случае социальная организация приняла характерные для пришельцев черты, то во втором, напротив, последние усвоили поведенческие установки местного населения. Первые считались более благоприятными для земледелия за счет полноводных рек, однако непосредственно соседствовали с пустынями, поэтому столь фронтальная экспансия скотоводства привела к стремительному наступлению пустынь и заболачиванию долин. Если в эпоху Античности здесь бытовали крупнейшие мировые цивилизации, такие как древнеегипетская и древневавилонская, то впоследствии пищевая культура изменилась до неузнаваемости, что явилось отправной точкой последующего вытеснения этих регионов на мировую периферию. При этом территория Европы в эпоху Античности считалась менее благоприятной, в особенности в дождливых частях континента, однако нашествие скотоводов не привело здесь к уничтожению культуры земледелия, – в основном это регионы расцвета Ренессанса, наследующего Античности. Следующая волна изменений в производстве и потреблении продуктов питания связана с великими географическими открытиями и беспрецедентным расширением торговли в Новое время, что привело к повсеместному распространению культур с высокой урожайностью и позволило снабжать трудовыми ресурсами нарождающуюся промышленность. В 60 – 70-е гг XX века к скачкообразному росту урожайности привел прогресс в аграрных технологиях благодаря появлению генетической науки, а индустриальное производство, хранение и маркетинг позволили снизить остроту проблемы обеспеченности продовольствием повсеместно. Наконец, биотехнологии выступают ключевой отраслью современной экономики знаний и призваны окончательно снять с глобальной повестки дня проблему голода.

Не менее радикальная смена лидеров связана с великими географическими открытиями на заре Нового времени как ключевым эпизодом революции в транспортных коммуникациях, в продолжение которого на протяжении последующих столетий сформировалась современная «карта развития» мировых цивилизаций. Непосредственным стимулом для поиска морских путей в Азию послужили постоянные, многовековые ожесточенные конфликты за контроль различных участков Великого Шелкового пути, которые неизменно оканчивались в пользу многочисленных и воинственных монгольских и тюркских кочевых племен, а затем переходили в междоусобицу последних. В конечном итоге они завершились падением Константинополя, выступавшего ключевым транзитным хабом Евразии. Это окончательно отвратило европейские морские державы от использования материковых транспортных коридоров – не только менее безопасных в сравнении с морскими, но и менее скоростных и более дорогих. Открытия, в свою очередь, привели к периферизации ключевых транзитных артерий Евразии, связанных с Константинополем и служивших промысловым базисом для ведущих центров премодерна, – городов-республик Ренессанса, Византии, Древней Руси (Новгорода и Киева), а также оседлых цивилизаций Великого Шелкового пути раннего арабского, тюркского и монгольского генезиса. Их богатство зачастую позволяло откупаться от атак воинственных племен или использовать живую силу одних в целях защиты от других. Обеднев, эти формации оказались беззащитны перед дальнейшей экспансией субконтинентальных кочевников (от тюрков и арабов до русских Московии), которая привела здесь к росту силовой «токсичности» – впоследствии же указанные регионы в различной степени сместились к периферии глобальных модернизационных процессов. Лишь собственно в Малой Азии, в силу уникального географического положения, интернализировавшие Великий Шелковый путь кочевники-

завоеватели образовали государственность османов, которая обрела свое место на материке среди держав модерна.

При этом основные потоки мировой торговли переключились на открытые моря, океаны, в связи с чем лидерство в накоплении капитала перешло к странам, расположенным у материковых окраин, в частности, в бассейне Северного моря – прежде всего Великобритании, а со временем крупнейшим «адресатам» ее торговой и колониальной активности в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Именно морская торговля и сравнительно легкий доступ к богатствам отдаленных колоний обеспечили капиталом зарождение массового машинного производства, которое стало выполнять роль «пропуска» в цивилизованный мир. Неоспоримое конкурентное преимущество морского и речного сообщения, а также минимальной субконтинентальной глубины, связано с тем, что по сей день доставка водными видами транспорта кратно выгоднее любых других видов транспортировки – даже с учетом современного уровня развития последних, включая параметр скорости (см. далее). Более того, еще никогда в истории разделения труда – т.е. вне натурального хозяйства – совокупные общественные издержки на производство не превосходили таковые на транспортировку. Этот фактор – как и фактор пищевой культуры, определяющей относительный демографический профиль общности и характеристики рабочей силы, – принято недооценивать – например, в попытке свести причины успеха и неудачи экономического развития к институциональным (см. далее). Это преимущество является критичным на пике капиталоемкости индустриального производства, преодоление которого требует исключительной обширности внутреннего и внешнего рынков сбыта для обеспечения возвратности на капитал, а также создает задел для последующих этапов развития. Сам по себе фактор транспортной доступности сохраняет актуальность вплоть до перехода к способу производства на основе ценностей, которые не требуют физической доставки, – однако и на этом этапе развитие общности инерционно, поскольку опирается на человеческий капитал, накопленный в предыдущую эпоху.

Привлекательность с точки зрения условий питания, защиты и коммуникации влияет на количественные и качественные параметры населения – его плотность и глубину рынка, гетерогенность среды, языковые и когнитивные характеристики. Сложившиеся свойства человеческого капитала определяют жизнеспособный в сложившихся условиях способ производства, от которого зависит представление индивида и социума о том, за счет чего в рамках конкретной общности можно преуспеть и насколько преодолимы препятствия на этом пути, к чему необходимо стремиться – силе, труду или знанию, которые совместно составляют ключевые факторы социальной динамики. «Расстановка», внутреннее взаимодействие, конфигурация последних вплоть до деталей формирует тип сознания, структура которого включает представления индивидов о себе (самоидентификацию – коллективную и/или индивидуальную) и окружающем мире (культуру – воображаемые и/или «овеществленные», воплощенные проекции), а также приемлемом способе коммуникации и образования связей между собой (вертикальном или горизонтальном) как основе неформальных социальных практик. Наконец, сознание определяет характер формальных институтов и тип извлечения стоимости в рамках таковых.

Несложно заметить, что добыча пищи и обеспечение безопасности является центральным элементом, определяющим поведение любых биологических существ и их сообществ, включая животных. У последних тип удовлетворения этих потребностей определяется эволюционной ступенью развития и местом в пищевой цепочке, в зависимости от чего популяции могут быть различных размеров, решать задачи с некоторым подобием временного горизонта или без такового, использовать лишь силовое доминирование или также целенаправленное усилие, напоминающее труд, рефлекторные навыки и пр. В этой связи, тип социальной организации у тех или иных видов животных также может напоминать признаки архаических или модернистских сообществ. Однако лишь человек – насколько это известно – в состоянии формировать знание, соответственно сознательно создавать новую ценность и изменять окружающую среду, поэтому в терминах антитезы «присвоение ценности – создание ценности» любое сообщество животных является архаическим и всецело ориентировано на приоритет безопасности, кормовой или физической. Более того, чем меньше

конкретное человеческое сообщество извлекает стоимость путем создания ценности и тяготеет к архаическому типу, тем больше оно напоминает популяцию животных по характеру социального устройства и поведенческим установкам. В этой связи сумму отличий развития человеческих сообществ от развития популяций других биологических видов можно свести к процессу образования знаний и их вовлечения в полезное применение. Более того, проблему разницы в развитии между самими человеческими сообществами и их трансформации также можно свести к различиям в их отношении к знанию – как во времени, так и в пространстве. Это наблюдение позволяет уточнить целевую функцию технического прогресса: она состоит в предельно возможном освобождении человека от ограничений, с которыми сталкивается биологический вид, – т.е. в философском смысле в избавлении такового от признаков животного и утверждению в нем признаков сознательного существа. Продолжением этого общего правила выступает также и уход от физического труда и задач, поддающихся алгоритмизации, – такого класса занятий, к которым в том или ином виде животные способны. Таким образом, лишь человеческим сообществам для успешного развития критически важен третий фактор – транспортной доступности и месторасположения, в связи с чем понятия архаического и модернистского сообществ конгруэнтны ценностям соответственно изоляции и открытости, не только в географическом, но и социальном, информационном смысле.

Ключевое значение пищевой культуры и безопасности подводит определенную рациональную основу под широко известное – хотя неприменимое линейно, без учета прочих факторов, – стереотипное представление: соседние общности и общности родственного происхождения в среднем чаще проявляют склонность к усложнению способа производства при условии более холодного месторасположения. Этот тезис оправдывает себя как в отношении передовых цивилизаций (север и юг Европы), так и применительно к менее успешным в развитии (север Евразийской степи, являющийся наиболее благоприятным в климатическом отношении поясом России, и юг этой степи, где традиционно доминируют кочевые монгольские, тюркские и прочие этносы). Теплый климат в целом создает значительно меньше витальных вызовов с точки зрения обеспечения общности продовольствием, которое в таких условиях сравнительно легче выращивать либо вовсе не нужно культивировать целенаправленно, кроме того, человеку здесь доступно множество привлекательных способов времяпровождения, снижающих мотивацию к труду. В силу особой привлекательности, в таких климатических зонах первыми возникли глобальные цивилизационные центры, однако впоследствии они в большинстве были вытеснены на периферию, поскольку постоянно вызвали очевидный интерес завоевателей, к тому же, как правило, они хуже защищены естественными преградами. По совокупности обстоятельств продукт труда здесь в высокой степени рискует стать объектом силового присвоения, а стимулы для хозяйствования на основе придания продуктам природы добавленной ценности, соответственно для развития трудовых навыков и полезного применения знания, при прочих равных условиях слабее. Немедленное распределение общественного продукта привлекает индивидов больше вложения с перспективой отсроченной отдачи, поэтому спрос на освоение накоплений низок, а соблазн непроизводительного изъятия прибавочной стоимости, напротив, высок. По этой причине демодернизация «южного пояса» совпадает с началом Нового времени, с которым связано стремительное усложнение способа производства и рост потребности в капитале. По мере раскрытия потенциала более северных областей, скорее тяготеющих к противоположным архетипическим характеристикам, туда обращаются и миграционные потоки, что вызывает постепенный рост плотности населения. Однако выравнивания таковой со сравнимыми южными поясами не происходит, поскольку значительная масса людей не в силах отказаться от преимуществ образа жизни в условиях теплого климата в пользу более высокой социальной динамики. Более того, желание сохранить характерную для изобилия пищевую, бытовую, а с ними и социальную культуру становится существенным фактором компактного проживания при смене среды обитания, образования этнических анклавов выходцами из теплых стран, что при аналогичных обстоятельствах совершенно не практикуют выходцы из холодных.

Итак, уровень развития общества определяется логической цепью «география – население – способ производства – сознание – институты», т.е. отправной точкой социальной динамики служат неотчуждаемые, естественные факторы. По мере развития технологий, решающая роль природных условий как таковых в выработке жизнеспособного способа производства ослабевает, более того, в рамках экономики знаний – теоретически – их роль и вовсе можно считать несущественной. Аграрные технологии сделали пищу более доступной, общий рост ценности человеческой жизни снизил роль угроз безопасности, а многие ценности не нуждаются в физической доставке, поэтому стимулы к производству излишков и обмена достижениями образуются не за счет выгодного географического положения, а

посредством информационной открытости. Однако вследствие этого новой отправной точкой в цепочке факторов развития становится человеческий капитал, свойства которого на протяжении длительного времени, – ввиду сравнительной новизны феномена экономики знаний, пока затруднительно определить, сколь долго, – несут на себе ярко выраженный отпечаток географически обусловленной специфики, сложившейся ранее (см. далее). Таким образом, последующие звенья цепи теоретически изменяемы, однако со временем становятся социально крайне тяжеловесными и взаимообусловленными, поэтому возможность существенного практического влияния на них сложно обосновать достоверно. В наше время экономика знаний скорее выступает очередной возможностью или вызовом, а общности реагируют на таковые более успешно или менее успешно, однако всякий раз также опираясь на ранее полученные преимущества. При этом нет новейших убедительных случаев такого качественного скачка «из одной лиги стран в другую», которые могли бы служить наглядным примером отрыва от прежней колеи, – вместе с тем, такие скачки возможны в будущем (см. далее).

Так, по аналогии с географической изоляцией, информационная закрытость общества свидетельствует об ограниченном спросе на информацию извне, дефекте способности усвоить таковую или найти ей полезное применение, – хотя и у открытых общностей защитный механизм может активироваться угрозами злоупотребления их открытостью. Это подтверждает, что трансформационный механизм не является «самозаводящимся» и нуждается в первичной стимуляции извне – если не географическими преимуществами, то какими-либо иными экзогенными факторами, в отсутствие которых движение этого механизма вместо спиралевидного становится скорее замкнуто-круговым. Более того, субъект такого внешнего воздействия также должен быть движим какой-либо собственной мотивацией, в свете которой влияние на выступающую объектом воздействия общность предоставляет преимущества. Из числа исторически верифицированных факторов в такой роли обычно выступает массированное и длительное проникновение иных социальных практик и культур, но обязательно вместе с их аутентичными носителями, как правило, в порядке тесного вертикального или горизонтального взаимодействия – родового, колониального, миссионерского, поселенческого, производственной кооперации и т.п. Именно появление критической массы представителей антропологических архетипов – местных или пришлых – с иными навыками извлечения стоимости, если они применимы в рамках способа производства, не противоречащего природным особенностям местности и уровню развития технологий, приводит к изменению соотношений внутри триады ключевых факторов социальной динамики, которая выполняет роль трансформационного «двигателя».

При этом в сложившемся и устойчивом социуме движение по этой цепи должно перейти на следующий уровень, – институты воздействуют на обновление свойств человеческого капитала и далее вновь по очередности, – поэтому она представляет собой непрерывную динамическую спираль, а не конечный путь из одного стационарного состояния в другое. Преобразование архаического сообщества в модернистское фактически сводится к процессу превращения индивидов в субъектов человеческого капитала – источников отличительной ценности, что требует достаточно широкого распространения способа производства, востребующего человеческий капитал такого типа в критическом объеме. С экономической точки зрения этот процесс характеризуется изменением максимально возможной при данном способе производства вариативности производительности труда – т.е. тем, насколько широко распространен такой труд, на результаты которого решающим образом влияет вклад трудящегося. В подавляющем большинстве экономик во все времена представлен как труд, производительность которого мало зависит от навыка и прилежания работника, так и труд, производительность которого в решающей степени связана с таковыми, – меняется лишь их соотношение. Так, отличительный труд играет минимальную роль в общественном масштабе, когда продуктивность в основном зависит от физических характеристик трудящегося; среднюю, когда продуктивность в основном зависит от технологии производства, – расширяется круг профессий по разработке, внедрению и эксплуатации таковых, однако

увеличение численности работников этого типа ограничено концентрацией производства и медленным обновлением технологий в связи с их высокой капиталоемкостью; наконец, максимальную, когда вытесняется ручной труд, а низкий входной барьер в производстве позволяет окупить разработку даже при малом масштабировании продукта, – отсюда возрастает доля интеллектуального труда. При этом некорректно «закреплять» целый сектор экономики в определенной из указанных категорий: на этапе зарождения и ускоренного развития большинство отраслей предъявляет спрос на расширение высокопроизводительных компетенций, а по мере замедления технологического и операционного усложнения снижает его. Таким образом, процесс социальной эволюции не является монотонным и может сопровождаться откатами, демодернизацией: если прогресс вызывает ускоренное высвобождение человеческих ресурсов по сравнению с появлением новых возможностей их абсорбции, то на этот период значительная масса индивидов утрачивает отличительную ценность своего трудового навыка. Более того, каждый виток социальной эволюции порождает свои вызовы, а двойственная природа человека – как биологического вида, претендующего на ограниченные естественные ресурсы, и сознательного существа, самостоятельно создающего ценность, – делает его отзывчивым к любым вновь возникшим факторам как архаического, так и модернистского тяготения. В экономических терминах уровень модернизированности человеческого сообщества следует измерять не темпами экономического роста, а антропогенным качеством этого роста, однако справедливо утверждать, что в конечном итоге низкая антропологическая ценность роста при смене формации непосредственно отражается и на темпах такового, обнажая трансформационные тромбы, и наоборот. По этой причине количественные показатели роста являются репрезентативными лишь на длительных временных промежутках, измеряемых несколькими десятилетиями, столетием, длительностью технологического уклада, социальной формации и т.п., что накладывает ограничения и вносит условность в сравнение колеи развития разных стран.

Приоритет способа производства по сравнению с институтами следует отличать от диалектической связи «базиса и надстройки», роли которых соответственно выполняют экономика и политическая система. «Междисциплинарное древо» причинно-следственных связей можно образно уподобить обыкновенному дереву: роль географических условий и обусловленной ими плотности населения достанется почве; способа производства – семени; человеческого капитала, культуры и ценностей – стволу; всей совокупности социальных практик и структурных характеристик экономики – ветвям и листьям; формальных институтов и процедур – почкам и плодам; последние же, в свою очередь, содержат семена для посева. Этот образ, во-первых, иллюстрирует, что способ производства и прочие особенности экономики располагаются в разных звеньях последовательности. Соответственно трем факторам социальной динамики, способ производства может быть основан на силовом присвоении примитивной ценности, производстве ценности массовым типовым трудом при ограниченном вовлечении знания и, наконец, отличительном знании индивида. В то же время, отраслевая структура экономики неотделима от социальных практик и возникают одновременно с ними, последние служат «языком» хозяйственного оборота. Во-вторых, оторвать способ производства от географически предопределенного можно лишь на чрезвычайно высоком витке развития технологий, подобно тому, как агротехнологии позволяют выращивать культуры в традиционно неподходящем климате, – однако и в этом случае семена должны иметь инородное происхождение.

Несложно заметить, что коммуникационные возможности являются единственным фактором, который независимо от способа производства не утрачивает своего определяющего значения для развития общности, т.е. ее человеческого капитала, – изменяется лишь набор критических типов коммуникации. Это обусловлено тем, что смыслом прогресса выступает управление временем – своего рода метаресурсом, основным ограничением, которое остается непреодолимым для человека. Коммуникация и эффективность труда отвечают за затраты времени на производство и доставку благ, информации, соответственно скорость и добротность решений и действий, в то время как за «рост запасов» времени отвечает продолжительность и качество человеческой жизни. В конечном итоге и ценность труда справедливо выводить из того, какое количество обязательных («вынужденных») затрат

времени других индивидов он способен высвободить или какое количество их свободного («вольного») времяпровождения способен занять, – т.е. в каком объеме может снизить ресурсоемкость («затраты сырья») жизнеобеспечения и создать предложение для освоения ресурсов («переработки сырья») времени. Такая интерпретация сравнительной ценности труда позволяет свести понятие добавленной ценности к эффекту для общественных издержек времени за вычетом затраченного времени, – в то время как входящая себестоимость производства переносится на исходящую без изменений. Более того, указанная интерпретация позволяет привести к общему знаменателю оценку ценностей, которые утрачиваются (вещных) и не утрачиваются (знаний) источником при передаче, поскольку любой труд требует затрат времени как ограниченного метаресурса, – среди прочего, этот принцип относим к весьма актуальной в экономике знаний проблеме сравнительной оценки вклада основателей и менеджмента компании, с одной стороны, и финансовых/венчурных инвесторов, с другой. Более того, любой товар или услуга – прежде чем претендовать на платежеспособный спрос – в ряду других «соискателей» претендует на внимание человека, т.е. его располагаемые ресурсы времени. Отсюда по мере нарастания массы товаров и услуг в обращении внимание может превращаться в платный ресурс, – и это усиливает стимулы по перемещению производства ближе к потребителю. Наконец, с точки зрения сэкономленных ресурсов времени следует оценивать и общественный эффект продуктивной ошибки как ключевого движителя прогресса, поскольку отсеиваемые пути, являющиеся тупиковыми для данного типа общности на данном этапе, служат снижению неопределенности на оставшемся пространстве решений и транзакционных издержек – соответственно как ничто способствует фокусировке хозяйственной инициативы на зрелых опциях развития и активации выгодоприобретателей актуального способа производства. Из влияния на располагаемые общественные ресурсы времени следует выводить и справедливую цену на это благо, – т.е. корректно считать ошибку благом, находящимся в рыночном обороте, так что к нему применимы основные положения теории рынка и ценообразования, качество как критерий справедливой стоимости, понятия совершенного и несовершенного рынка, асимметрии информации и т.п.

В зависимости от способности влиять на использование общественных ресурсов времени, субъект труда занимает и место в социальной иерархии, притом примечательно, что с этой точки зрения живущие соискатели оспаривают роль в «управлении временем» наравне с ушедшими из жизни: например, нередко открытия или культурные шедевры лишь после смерти авторов получают признание – а с ним и способность оказывать решающее влияние на распределение общественных ресурсов времени. Это обстоятельство иллюстрирует, что актуальная повестка дня, современная материальная и популярная культура поглощают значительный объем времени в любом отдельном поколении, однако путем суммирования затрат времени на протяжении ряда поколений формируется и развивается корпус высоких достижений, исторического наследия отдельной общности, человеческой цивилизации в целом. С другой стороны, если общественные издержки времени использовать в качестве критерия антропологической ценности труда последовательно, то к числу наиболее продуктивных и вариабельных по результативности разновидностей труда необходимо отнести воспитание детей, которое в общем случае не оплачивается родителям из общественного продукта – хотя представляет собой определяющий, незаменимый этап формирования человеческих ресурсов для экономики. Это можно считать отчасти оправданным, если для обслуживания роста вполне достаточно расширенного отправления репродуктивной функции, по некоторой аналогии с другими биологическими видами. Однако по мере нарастания качественных требований к трудовым ресурсам экономически продуктивными становятся инструменты социальной политики, позволяющие родителям уделять детям больше времени и получать долю общественного продукта в качестве вознаграждения. Наконец, в условиях превращения человеческого капитала в главенствующий фактор производства воспитание детей становится разновидностью массового труда с наивысшей антропологической ценностью. Отсюда неизбежно появление в общественной повестке дня вопроса о компенсации такого труда на уровне

квалифицированного, – отчасти поиском ответа на этот вопрос можно считать концепцию гарантированного дохода. Более того, эту деятельность справедливо учитывать еще и при определении размера общественного продукта – например, в качестве элемента системы просвещения, – тем самым создавая для доли в распределении целевой источник. Наконец, такой вклад в общественный продукт является обоснованием сохранения в той или иной мере всеобщего политического участия в эру экономики знаний: прежде основой притязаний на участие служили отрасли массовой занятости, в которых создавалась основная часть богатства, – теперь же они утрачивают эту роль и высвобождают человеческие ресурсы. В этой связи, важным вызовом становится адаптационный период, когда в одном обществе соседствуют принципиально разные модели воспитания в семье – архаическая, культивирующая в человеке черты биологического вида, физическую силу и ее субституты, и модернистская, ориентированная на умножение человеческого капитала (см. далее).

Примечательным образом на протяжении значительной части истории человечества наиболее очевидным способом сократить издержки времени считалась война, служившая решению проблемы транспортной доступности и обеспечению примитивной живой силой. Однако она же вела к сокращению продолжительности жизни, дисбалансу в гендерной структуре популяции и регулированию структуры таковой бесчеловечными методами, аномальному демографическому ритму – крайне раннему и обильному отправлению репродуктивной функции человеком в возрасте ограниченной дееспособности. Начиная с Нового времени, знания и технологии экспоненциально вторгаются в управление временным ресурсом – вначале в сферу производительности труда, затем в развитие и скорость транспортных средств, наконец, связи. Особенно критичным фактором становится развитие аграрных технологий, благодаря которым вообще становится возможным перераспределение временных и человеческих ресурсов. В послевоенный период, особенно с конца XX века развитие технологий фокусируется на качестве и скорости передачи данных, притом последние применяются также к исключению непроизводительных издержек на физическое перемещение, – тем самым происходит конвергенция между видами коммуникации. В промышленности основные тренды также связаны со снижением издержек времени: во-первых, снижение капиталоемкости избавляет от чрезмерного производства излишков по сравнению с локальными потребностями, требующих удаленной доставки потребителю; во-вторых, роботизация избавляет от привязки производства к странам, где труд дешевле; в-третьих, аддитивные технологии и промышленный дизайн позволяют снизить квалификационный барьер в массовом производстве, тем самым отделив таковое от разработки и инжиниринга технологических процессов; в-четвертых, развитие материалов избавляет от необходимости доставлять сырье издалека, где оно залегает. Наконец, никогда ранее знания и технологии всех отраслей не были столь отчетливо сфокусированы на пополнении временных ресурсов за счет «доходной части» – продолжительности жизни и здоровья человека.

Однако и социальные навыки человека, его экономическое поведение находятся в прямой зависимости от того, насколько он приспособлен управлять ресурсом времени: на низкой ступени развития общности жизнь настолько скоротечна, что планирование лишено смысла, – человек успевает выполнить лишь базовые репродуктивные задачи; в дальнейшем в его сознании эксплицитно проявляется и удлиняется горизонт планирования; наконец, экономика знаний поощряет человека пробовать без оглядки на временные ограничения и цену ошибки, так что временной горизонт вновь перестает довлеть над его поведением. К затратам времени в конечном итоге можно свести и такое фундаментальное понятие экономической теории, как транзакционные издержки, которые в решающей степени влияют на эффективность хозяйственного механизма и могут требовать до нескольких десятков процентов общественного продукта, – притом в определенное время и определенном месте некоторые из них могут признаваться запретительными в силу естественной ограниченности ресурсов времени. Указанные издержки вызываются необходимостью овладения транзакционным барьером – подавления

транзакционных рисков, преодоления транзакционной дистанции – и тем выше, чем хуже участники транзакционного оборота знакомы друг с другом. Причиной возникновения таких барьеров в конечном итоге следует считать разнесенность во времени и пространстве, физическом и социальном, центров образования стоимости и центров ее использования, – простейшей предпосылкой этого служит появление излишков и их сбыт. В состав транзакционных издержек следует включать затраты на маркетинг/привлечение клиентов и административно-управленческие расходы (включая страхование ответственности, юридические издержки и т.п.), в общественном масштабе также и издержки на аппараты управления государства и некоммерческого сектора. Однако в качестве следствия физической дистанции между контрагентами указанные издержки следует отличать от других, на которые также может приходиться до нескольких десятков процентов цены товара, – транспортно-логистических, а также от призванных покрыть таковые торговых наценок: здесь отрасли-бенефициары имеют самостоятельную стоимость и бизнес-модель. Наконец, важным следствием социальной дистанции выступает и существенная часть цены товара или услуги, которая обеспечивает возврат на задействованный капитал. Однако лишь часть этой компоненты – премия за риск – имеет признаки транзакционных издержек, – в то время как в целом экономическую сущность стоимости капитала следует описывать как плату за пользование ключевым фактором производства в индустриальной экономике. Отсюда видно, что издержки длинной дистанции в состоянии достигать большей части общественной стоимости и многократно превышают долю таковой, приходящуюся на непосредственное производство ценности. При этом значительно усложняет указанную цепочку концентрация ресурсов с целью их перераспределения, – это вызвано превышением уровня концентрации стоимости, необходимой на цели (силу, капиталоемкое производство и инфраструктуру, дорогостоящие общественные блага и т.п.), в местах и во время ее использования по сравнению с такой концентрацией у источников, в местах и во время ее образования. Это приводит к возникновению удаленного, наделенного ресурсами и полномочиями субъекта суверенитета, в общем случае государства или парагосударства, – в то время как подчинить его деятельность общественным интересам чрезвычайно сложно, требует обременительных механизмов, в долговременной перспективе малоэффективных (см. ниже).

В предшествовавшую возникновению культуры земледелия эпоху транзакционные издержки не оказывали существенного влияния на хозяйственный механизм, поскольку хозяйство ограничивалось периметром расширенной семьи, – однако впоследствии благодаря появлению излишков образовалась и необходимость удлинения транзакционной дистанции, преодоление которой имеет заметную цену. Во-первых, это было продиктовано стремлением монетизировать излишки путем обмена, – его маржинальность напрямую зависела от уровня риска, во многом сводившегося к фактору удаленности точки сбыта, в которой отсутствует собственное производство данного товара. Во-вторых, разрастание экономически значимых отношений длинной дистанции обязано возможности использовать излишки для решения задач с временным горизонтом, отложенной отдачей, – а это подразумевает аккумуляцию ресурсов протяженной территории в городе, выступающем центром концентрации премиальной стоимости. В этой связи, управлению временным ресурсом служит процесс урбанизации, который создает в точке концентрации ресурсов также и центр концентрации людей, рынок уникальной глубины. Этот процесс выступает неизменным спутником модернизации и служит общественному доверию уплотнением физического пространства и социальных связей – т.е. обеспечивает своего рода «заведомую» валидацию индивидов, в т.ч. лично незнакомых, для целей транзакционного взаимодействия, а также снижает транспортные и прочие коммуникационные издержки. Наконец, экономика знаний вносит свой вклад в подавление транзакционных издержек в силу неуклонного снижения капиталоемкости общественного продукта, соответственно потребности в концентрации ресурсов. Отсюда вновь сокращается транзакционная дистанция, а хозяйственный оборот стремится сосредоточиться в кругу лично знакомых людей, – хотя на новом технологическом витке опция

физического знакомства дополняется опцией виртуального. В этой связи, вполне вероятно, что нарождающаяся эпоха отзовется также деконцентрацией или внутренней фрагментацией крупных городов, их превращением в агломерации сравнительно компактных кампусов с высокой плотностью локальных связей и оседлым, посадским образом жизни (см. далее).

Эффект транзакционной дистанции – равно как и критичности знакомства с выгодами коммуникации – иллюстрируется феноменом Нового света до великих географических открытий, благодаря которым Старый свет получил источники для создания машинного производства, а впоследствии и новые рынки сбыта для обеспечения возврата вложений в промышленность и инфраструктуру. Как известно, автохтонные цивилизации – в частности, в Америке – сравнительно легко пали под натиском европейских колонизаторов с их неоспоримым военно-техническим преимуществом. Такой цивилизационный разрыв уместно связать с тем, что евразийский материк издревле связан многочисленными торговыми связями, которые позволяют обмениваться достижениями, накапливая капитал и знания, – в отличие, скажем, от индейцев, которые предпочитали селиться в хорошо защищенных местах, поскольку видели в других племенах исключительно объект завоевания и источник угроз. В этой связи, в Новом свете товарообмен занимал периферийное место в укладе хозяйствования, которое было ограничено периметром племени, а максимизировать использование потенциала земель, запасов золота и других минеральных ресурсов не имело экономического смысла. Отсюда индейцы, оказывавшие ожесточенное сопротивление вторжению на свои земли, тем не менее, не видели причины дорожить собственно движимыми товарами, препятствовать их присвоению. В то же время, в Европе многие из них считались предметами торговли или даже универсальным средством платежа и накопления богатства.

Уместен вопрос о том, почему траектории развития двух материков оказались столь различны, – он не имеет однозначного ответа. Однако можно высказать нуждающуюся в дополнительном изучении гипотезу, что причиной этого прежде всего является гораздо более высокая однородность Америки по сравнению с Евразией в отношении климата и почв. В силу радикальных природно-географических различий Европы и Азии, эти связанные сушей континенты располагают разными ресурсами и материальной культурой, – так что люди на обеих оконечностях материка практически всегда знали о существовании друг друга, и им было чем обмениваться. Вероятно, в этой же связи объемы региональной торговли в досовременной Азии всегда были несопоставимо малы в сравнении с плотностью населения и выгодным транспортным расположением, – здесь это усугублялось еще и трудоемкостью выращивания риса как основной кормовой культуры, соответственно нехваткой излишков рабочей силы и товаров для обмена. В то же время, как только в Америку пришла индустриальная эпоха с ее погоней за источниками сырья и рынками сбыта, север материка и Латинская Америка обнаружили совершенно различные предпосылки для конкурентоспособности: рельеф местности, расположение речной сети и обитаемых мест в первом случае позволяют связать очаги населения в единый рынок, в то время как во втором нет (см. далее). В некотором роде Латинская Америка оказалась на неразрешимом перепутье между двумя стратегическими векторами – североамериканским, в качестве самостоятельного индустриального центра, и ролью «новой досовременной Азии» в вышеизложенном смысле, экстрактивной провинции для передовых индустриальных держав, среди которых ко второй половине XX века шире других оказались представлены именно азиатские.

Интернализация человеком пространства посредством управления физической и информационной коммуникацией служит интернализации времени. Полное овладение этим ресурсом можно охарактеризовать как своего рода точку социально-антропологической сингулярности, которая знаменовала бы перерождение самого существа человека. Независимо от того, на каком сочетании биологических, цифровых и социальных технологических платформ такое состояние реализовано, его необходимыми и достаточными признаками следует считать, во-первых, отсутствие интервала времени между замыслом и воплощением – в некотором роде тождественность этих двух понятий – и, во-вторых, отсутствие интервала времени между запросом на информацию и получением таковой – т.е. стирание границ между субъектом хранения информации и субъектом пользования таковой. Это состояние требует иного описательного языка человека и мира, в котором он себя проявляет, – в частности, возникает вопрос, не справедливо ли в таком случае помещать человека в инерциальную систему отсчета, т.е. сохраняют ли актуальность при совершении им действий сила сопротивления (трения), включая транзакционные издержки как ее социальную проекцию. Примечательно, что в свете изложенного

освоение физического мира служит лишь тестированию возможностей такового, имеет для человека своего рода демонстрационное и обучающее назначение, – в то время как собственно целью развития является состоит переход человека из беспомощного, зависимого состояния в автономное. Индикатором последнего выступает овладение человеком выявленными возможностями физического мира в режиме «прямого действия», при стремящемся к нулевому уровню издержек оперирования внешними устройствами, – задействуя возможности организма, прежде всего мозга, и инкорпорируя в органический контур элементы неорганического происхождения. В такой парадигме «реальность», основная арена действия перемещается из области внешнего взаимодействия в область субъективного сознания, при этом индивид может выступать субъектом распределенного «облачного» хранилища информации – объективной, общей для всех «реальности».

* * *

Соотношение влияния трех ключевых факторов социальной динамики – *силы, труда и знания* – на общественное и индивидуальное сознание зависит от того, в какой степени каждый из них в условиях сложившегося способа производства участвует в создании общественной стоимости, а соответственно служит маркером успешности и привлекает человеческие ресурсы. Так, положение силового фактора в обществе определяется тем, принадлежит ли он многим центрам или одному, в последнем случае является ли контроль над ним коллективным (в лице любых институтов, формируемых группой лиц с разнонаправленными интересами) либо единоличным (в лице патримониального субъекта). Влияние труда на сознание определяется тем, является он простым или сложным, связан ли с оперированием средствами производства, требует ли специальных навыков, в какой мере результаты труда зависят от его количества, а в какой от качества. Применительно к знанию имеет значение, бытует ли оно как созерцательное либо вовлечено в создание ценности, достаточно ли для возрастания общественной ценности периодически его заимствовать или необходимо непрерывно создавать новое. Поскольку сила позволяет принуждать, налагать неограниченную ответственность (повинность) в одностороннем порядке, то способ извлечения стоимости, основанный на присвоении ценности, создает поле вертикальных, императивных транзакций. Наоборот, способ извлечения стоимости, основанный на создании ценности, ограничивает ответственность сторон взятыми обязательствами и требует взаимной заинтересованности участников цепочки, поэтому создает поле горизонтальных, диспозитивных транзакций. Для провайдеров основных факторов производства основой такой заинтересованности служит количественный параметр – цена, поскольку в общем случае эти провайдеры взаимозаменяемы, и лишь в случае отличительного знания заинтересованность принимает форму качественного или ценностного интереса.

В триаде ключевых факторов полярными выступают сила и знание, отвечающие соответственно за архаическое и модернистское тяготение, приоритет безопасности и приоритет развития, – труд, как правило, примыкает к одному из них. Подобно прочим факторам производства, к труду применимы категории «себестоимости», т.е. стоимости воспроизводства, и «нормы прибыли», которой определяется жизненный уровень сверх необходимого для воспроизводства, а также инвестиций в расчете на отложенную отдачу, – эти понятия могут рассматриваться как базисные для экономики домохозяйства, по аналогии с экономикой предприятия. Более того, воспроизводство может быть расширенным в количественном смысле и простым в качественном либо расширенным в обоих смыслах. В этой связи, качество и стоимость труда меняются в зависимости от способа производства: стоимость примитивного труда, как правило, тяготеет к стоимости расширенного физического воспроизводства трудовых

ресурсов; стоимость стандартного труда, предполагающего навыки, соответствует «расширенному воспроизводству» человеческого капитала с учетом необходимых для этого услуг; отличительный труд претендует на роль премиального бенефициара общественной стоимости. Как известно, труд является единственным фактором производства, который обладает способностью производить ценность, превышающую собственную стоимость, поэтому на длительном отрезке времени выступает основным варьируемым фактором производства. Более того, количественные и качественные характеристики общественного продукта более всего отзывчивы именно к варьированию стоимости труда – не только в абсолютном выражении, но и с точки зрения внутренней структуры использования компенсации. На протяжении всей человеческой истории инерционный экономический рост связан с отставанием роста оплаты труда от роста производительности труда, в более общем смысле от качества такового – когда при примитивном способе производства компенсация соответствует простому воспроизводству рабочей силы, при основанном на стандартных технологиях – расширенному физическому воспроизводству, при отличительном – расширенному воспроизводству человеческого капитала. В этом смысле устойчивый экстенсивный рост предполагает непрерывный прирост трудоспособного населения и некоторую демографическую избыточность общности в целом, – в то время как при нулевом приросте численности населения рынок достаточно быстро упирается в подушевой предел потребления традиционных («старых») благ, т.е. экономика достигает «потолка» экстенсивного роста и далее может развиваться лишь интенсивно. Вместе с тем, несоразмерное абсорбирующей способности способа производства предложение трудовых ресурсов чревато гуманитарными катастрофами в нижних сословиях и структурными диспропорциями в экономике – например, в виде эффекта мальтузианской ловушки в досовременном обществе, позднее в виде деструктивной безработицы. Продолжением этих явлений становятся социальные катаклизмы, приводящие к вымыванию прежде всего передовых слоев, а далее масштабные, затяжные внутренние и внешние конфликты, которые выступают беспощадным механизмом регулирования численности популяции. В этой связи, важным замечанием является невозможность первичной деархаизации без высвобождения значительной части трудоспособного населения из натурального хозяйства, прежде всего в части занятий, связанных с обеспечением пищей. Более того, для общности такое высвобождение фактически выступает манифестацией первого значимого успеха, достигнутого человеком как сознательным существом, и тем самым служит выработке отличного от других биологических видов комплекса поведенческих установок.

Плотность населения выступает ключевым фактором, влияющим на модель роста, поскольку определяет, в какой мере рост может опираться на внутренний спрос, а в какой на внешние рынки сбыта, – однако такая зависимость не является линейной. Так, если экстремально низкая плотность населения ограничивает емкость рынка и возможность эксплуатировать эффект экономии на масштабе, то с экстремально высокой приводит к дефициту и относительной дороговизне физически ограниченных ресурсов – земли, продовольствия, сырья, пропускной способности транспортной инфраструктуры. В этой связи, в общностях обоих типов возникает формация гиперконцентрированного компактного поселения, за пределами которого население ведет примитивное хозяйство. В роли такой формации выступает мегаполис, где точки жизненной активности индивида сосредоточены по видам (работа, жилье, досуг и т.п.) и потому разнесены в пространстве. В первом случае это связано с необходимостью добиться хотя бы некоторой глубины рынка и экономии на масштабе, во втором же – с ограниченностью территориальных ресурсов для возникновения множества оседлых слобод, в пределах каждой из которых точки жизненной активности индивида находились бы в шаговой доступности. Мегаполис препятствует развитию социального капитала и ослабляет связи, поскольку индивиды проводят значительное количество времени в передвижениях, притом в примерно совпадающем маятниковом ритме. Отсюда уровень доверия низок, а транзакционные издержки предельно высоки, – но этот недостаток в различной степени балансируется значительной глубиной рынка.

Среднеевропейский уровень плотности населения опытным путем показал себя в качестве оптимального для сочетания достаточной глубины рынка с развитием городской формации по модели оседлой слободы – с более равномерным распределением точек жизненной активности, прочными социальными связями, высоким уровнем доверия и низкими транзакционными издержками (см. далее).

Однако североευропейский шаблон с его чрезвычайно низкой плотностью населения также характеризуется склонностью к формации оседлой слободы. В условиях сурового климата артельный способ ведения хозяйства «расширенной семьей» зарекомендовал себя как единственно способный компенсировать конкурентные недостатки за счет «обнуления» транзакционных издержек. В то же время, опыт Центральной России показывает, что субконтинентальная изоляция препятствует укоренению такой модели: невозможность укрыть продукты промысла создает основу для появления центра силы, стремящегося к тотальному присвоению ресурсов. Позднейшим изводом такого вожества служит и гиперконцентрированная формация организации проживания (см. далее).

Таким образом, механистический поиск количественной зависимости плотности населения с показателями развития не является плодотворным, однако в сочетании с небольшим количеством других индикаторов она определяет предпосылки для возникновения и трансформации способа производства, социально-антропологический профиль общности в целом. Так, ключевое значение в этом отношении имеет протяженность берега пригодного для грузоперевозок водоема в расчете на одного жителя в ближайшей (скажем, 100 миль) доступности. Кроме того, указанные индикаторы следует рассматривать в увязке с пищевой культурой общности. Во-первых, такая культура сама по себе определяет плотность населения – и через фактор продовольственной обеспеченности, и через фактор численности необходимой для такой обеспеченности рабочей силы. Например, феномен экстремально высокой плотности населения в тропическом и экваториальном поясе имеет отношение к изобилию дикорастущей растительной пищи, в то время как в поясе муссонного климата – к трудоемкости выращивания риса. При этом противоречие этих двух мотиваций, характерное, например, для пояса болотистых почв Центральной России, дает имманентный потенциал экспансионизма, внутренних и внешних катаклизмов, образования устойчивого слоя невольников в явном или латентном виде. Во-вторых, пищевая культура определяет способность общности производить излишки в аграрном производстве и вне его, посредством выделения некоторого «освобожденного» класса, – в приведенных примерах играют роль соответственно мотивированность указанного класса к производительному труду и наличие указанного класса как такового. В свою очередь, пищевая культура непосредственным образом вытекает из климата, качества почв и рельефа местности. Наконец, в совокупности все указанные факторы влияют на характер повторяющихся вызовов и угроз безопасности, соответственно на стереотипные приемы реагирования на таковые.

Таким образом, труд исторически выступает главным объектом экстрактивных практик и источником ресурсов для роста. Интенсивность экстрактивного воздействия (в широком смысле, включая и условия труда), в свою очередь, непосредственным образом влияет на демографические характеристики убыли населения, в частности, уровень детской смертности и в целом продолжительность жизни. Обратными сторонами уровня смертности являются возраст вступления в брак и рождения детей, а также собственно уровень рождаемости. «Запас» превышения рождаемости над смертностью зависит от ожидаемого возраста дожития: если в тяжелых условиях родителями движет забота о собственной старости, то впоследствии все более важным критерием планирования семьи становится качество жизни потомства, так что со временем темпы прироста населения существенно снижаются (в частности, это непосредственным образом сказывается на культуре половых отношений и контроля зачатия). Этот механизм постепенно уменьшает избыточное предложение на рынке труда, поэтому оплата труда приближается к уровню, соответствующему компенсации потребностей рабочей силы при данном способе производства. В общем случае это выступает главным антропогенным стимулом качественного скачка – нового витка развития технологий, который, в свою очередь, поначалу опять высвобождает трудовые ресурсы, а затем начинает их абсорбировать. В этой связи необходимо иметь в виду, что основные показатели экономического роста в подавляющей мере свидетельствуют лишь о потенциале естественных преимуществ общности – считая их частью «накопленные переходящие остатки» предшествующего технологического уклада, такие как качество трудовых ресурсов, инфраструктуру и пр. С точки зрения антропологической плодотворности роста и в целом технологического уклада, к которому этот рост относится, более показательны качественные характеристики фазы торможения, когда этот уклад близится к закату, – длительность переходного периода, обнаруживаемые трансформационные «тромбы» и вызываемые социальные процессы, качество и широта охвата знаний,

появляющихся в качестве реакции на вызовы и т.д. Таким образом, заявкой на полный отказ человека мириться с ролью основного экстрактивного ресурса можно считать модель экономики знаний, предполагающую не освоение новых материальных ресурсов, а их постоянное высвобождение – снижение удельной и абсолютной капиталоемкости общественного продукта при одновременном удельном и абсолютном увеличении потребительской ценности такового.

Силовые возможности позволяют как принуждать к труду, так и присваивать продукты труда, что нивелирует ценность знания для извлечения стоимости. Вероятно, они приобрели определяющее влияние на тип общественной организации с появлением культурного способа выращивания продовольствия, в противовес «дикорастущему» пропитанию, когда человеческие сообщества укрупнились настолько, что все входящие в них индивиды заведомо не могли знать друг друга и были вынуждены отказаться от совместного управления в пользу незнакомого им субъекта. Окончательную поляризацию подавляющих и подавляемых можно связать с этно-племенным размежеванием кочевников-завоевателей и оседлых земледельцев, – когда силовая иерархия вышла за пределы внутрисемейной, патерналистской в прямом смысле. В сущности, силовой ресурс по остаточному принципу получает контроль над всей долей общественной стоимости, для извлечения которой знание не является необходимым: чем выше доля, которая при данном способе производства не создается при участии знаний индивида, а присваивается, тем выше значение фактора силы и более выражено архаическое тяготение. Несомненно, на протяжении всей индустриальной эпохи большая часть общественной стоимости создавалась на основе серийного труда, однако для этого было необходимо соединить его со знанием при посредстве капитала, владелец которого мог совпадать с субъектом силы или участвовать в механизме коллективного контроля за таковой. Лишь в результате «открепления» труда от силового ресурса и соединения со знанием – ценностью, которую нельзя отнять силой – модернизационная динамика становится устойчивой. Это требует такого усложнения способа производства, при котором знание становится ключевым фактором извлечения стоимости, а сила утрачивает свою привлекательность в качестве инструмента такового. При этом, как правило, отрасли современной экономики зародились как требующие знаний, однако по мере замедления развития технологий отличительное знание превращается в общедоступное, а труд становится примитивным для своего времени. Если такие продукты содержат значительный удельный вес редких ресурсов, то премиальное (рентное) ценообразование позволяет оправдать отказ от инноваций, соответственно отличительных компетенций, так что обладатель силы получает не только возможность, но и стимулы принуждать к труду и присваивать его продукты. Таким образом, модернистское тяготение обеспечивается не какими-то определенными отраслями в противовес другим, а непрерывностью вовлечения знания в процесс создания ценности, т.е. постоянной возгонкой сложности способа производства по сравнению с достигнутым уровнем.

Хотя модернизация является непрерывным процессом, переломной в нем выступает смена роли человека в цепочке стоимости – с претендующего на долю в распределении на источника новой ценности. Узловая роль в таком антропоцентрическом ценностном повороте принадлежит эпохе Возрождения, давшей импульс развитию знания в качестве материальной основы для реализации способности человека к созданию новой ценности. Способность к восприятию наследия Ренессанса прямо или опосредованно является ключом к успеху социальной трансформации любой цивилизации. Вероятно, явление такой преобразующей глубины и столь длительное во времени знаменовало окончание «освоения» этносов на новых территориях после великого переселения народов. В зависимости от смены пищевой культуры, они зачастую также обретали при этом иную культуру, в связи с чем переселение совпало с ранним распространением христианства и ислама – антропофобным «темным тысячелетием». В течение длительного периода отвоевания привлекательных ареалов обитания племенами, находившимися на довольно примитивной стадии социальной эволюции, общественная организация ключевых регионов Евразии практически безраздельно определялась приматом безопасности в противовес развитию. Эта эра

«по праву» принадлежит к числу претендентов на звание абсолютного архаического «полюса» всемирной истории, при этом систему ценностей последующей эпохи справедливо считать ее последовательным отрицанием.

В свете «оппозиции» знания и силы, влияние богатства и собственности на трансформацию сознания носит несамостоятельный характер, хотя связанная с ними категория – финансовый капитал – и является одним из ключевых факторов производства. В зависимости от способа производства, такой капитал может накапливаться на основе любого из трех факторов и сам по себе не оказывает модернизирующее действие на экономику какого бы то ни было типа, независимо от происхождения – в виде рентных ресурсов, бюджетных расходов, расширения кредита, иностранных портфельных инвестиций. В том числе, этот тезис справедлив как в отношении положительного сальдо капитального счета или поступлений от экспорта сырья, так и любого профицита текущего счета, даже сгенерированного экспортом продукции обрабатывающих отраслей – в той мере, в которой экономика не предъявляет спроса на капитал для обеспечения прироста выпуска в натуральном выражении либо улучшения его качественных характеристик. Причудливым образом причиной «инфлирования» стоимости долгосрочных активов, являющегося фактором архаического тяготения, может выступать и технологическая рента, полученная в результате ускорения модернизационной динамики. Это отражает проблему сосуществования в одном экономическом пространстве значительных рудиментов капиталоемкой индустриальной эпохи и парадигмы капиталозбыточной экономики знаний (см. далее). Логика формирования стоимости активов будет апеллировать к предшествующей фазе развития до тех пор, пока ключевой для накопления и перетоков капитала финансовый сектор не претерпит коренного перерождения (см. далее). Отсюда вытекает одна из ключевых сложностей сравнения различных стран по темпам роста общественного продукта в монетарном выражении: в новейшую эпоху индикатором успешности выступает такое развитие, при котором сам метод – технология, продукт – удовлетворения прежней потребности человека гораздо чаще меняется на более дешевый и качественный одновременно. Это приводит к немедленному вытеснению старого, более дорогого и менее качественного продукта без остаточной амортизации – в противоположность стереотипной модели технологического развития индустриальной эпохи, когда новый, более качественный товар дороже и, как правило, не основан на принципиально отличной от прежнего технологии, поэтому на протяжении заметного периода времени соседствует на рынке со старым, постепенно дешевеющим. При неизменном объеме удовлетворяемой потребности и в постоянных ценах это означало бы снижение денежного эквивалента общественного продукта, – отсюда даже поддержание нулевых темпов роста подразумевает смещение масштаба цен и/или наращивание указанного объема, будь то за счет неудовлетворенного ранее спроса или вновь созданного предложения. Таким образом, даже применительно к странам, преуспевшим в развитии нового типа, непросто оценить рост объема и качества потребительской ценности в обращении, очистить его от эффекта «инфлирования», который вызван тем, что именно эти страны пользуются у инвесторов особой популярностью, – так что приток финансового капитала превышает их собственные потребности и абсорбирующую способность, особенно на фоне снижения капиталоемкости общественного продукта. Тем более интегральный показатель роста у таких стран несравним с аналогичным показателем у стран с примитивным или просто неизменным качеством роста.

Таким образом, индикатором модернизационной динамики является не предложение капитала, а спрос на таковой – в количественном и в большей степени качественном отношении. Избыточный «навес» финансового капитала оказывает на экономику «инфлирующее» действие, которое искажает ценообразование вообще и прежде всего на рынках долгосрочных вложений – ценных бумаг, недвижимости и основных фондов, а также потребительских товаров длительного пользования. Общей чертой таких ценностей выступает то, что источником их приобретения служат накопления фирм и домохозяйств, а полезность – соответственно стоимость приобретения – амортизируется в течение

протяженного периода времени. Кроме того, это также сопровождается ростом потребительских отраслей с ограниченной пользой для трансформации сознания – финансового сектора, бытовых и деловых услуг, торговли, а также городского и инфраструктурного строительства. Так, одним из виднейших способов конечного изъятия ренты из хозяйственных цепочек в такого рода отраслях выступает сдача объектов недвижимости и инфраструктуры в аренду или концессию. Сами по себе эти отрасли являются неизменной частью системы жизнеобеспечения любой общности и обычно прирастают обращением стоимости, возникшей в первичных отраслях, – через хозяйственные цепочки, рост объема ресурсов в распоряжении населения, финансовой системы и государства. Тем не менее, теоретически одна и та же отрасль такого рода может генерировать рост как в качестве вторичной, вследствие обращения новой стоимости из первичных по отношению к ней секторов, так и в качестве собственно первичной – вследствие самостоятельных конкурентных преимуществ (технологий, компетенций, рыночной мощи), которых аналогичные отрасли в других общностях лишены, и в которых таковые нуждаются. Чем больше конкретную отрасль отличает тип роста вторичных секторов, тем менее корректно рассматривать тип характерной для них внутренней организации, тип выгодоприобретателя в качестве самостоятельного социально-антропологического феномена: последние отражают то, на основе какого из трех факторов социальной динамики в решающей степени формируется благосостояние конкретной общности, – т.е. совпадают с характерными для первичных отраслей экономики. Таким образом, центры создания ценности в этих отраслях либо выступают хозяйственными изводами силовой организации, либо входят в общую хозяйственную цепочку с финансовыми институтами, либо служат точками накопления социального капитала. Однако в случае, когда размер общественного богатства – независимо от того, каким способом оно добыто, – в распоряжении определенных акторов существенно превышает возможности этих акторов производительным образом освоить таковое, в экономике происходят фундаментальные структурные искажения: при некотором положительном влиянии на занятость и доходы населения, опережающими темпами растет количество рабочих мест с серийными, легко заменяемыми навыками, однако формирующими ожидание уровня доходов, соответствующих отличительным компетенциям. В конечном счете это вызывает к жизни квазисословную социальную архитектуру, поскольку занятый заинтересован не в развитии своего человеческого капитала, а в консервации иерархической матрицы и собственного положения в ней – т.е. в конечном итоге в углублении неосновательного неравенства. «Навес» финансового капитала искажает мотивации в сторону спекулятивных, способствует консервации архаических устоев, вызывает расширение престижного потребления, появление новых сословных маркеров и барьеров, повышает уровень неосновательного неравенства и снижает доступность благ – например, для профессиональных инвесторов, обладающих отраслевыми компетенциями, или прямых потребителей недвижимости. В сравнении с приростом благосостояния определенной социальной страты благосостояние каждой более высокой, направляющей более существенную долю дохода на накопление и инвестиции, возрастает экспоненциально. В этой связи, если потребление – хоть и в различной степени – растет у всех, то доступность инвестиционных активов и входа в бизнес для большинства снижается. В таких условиях социальная страта, не делающая накоплений и в основном направляющая свой доход на потребление, снижается незначительно, – она лишь предьявляет повышенный потребительский спрос, который покрывается приростом выпуска, так что потребительская инфляция не выходит за рамки обычных значений. Отсюда парадоксальный эффект насыщения потребительского рынка – невзирая на то, что даже в большинстве развитых стран множество домохозяйств далеки от чрезмерного уровня потребления. Неравномерное распределение избытка капитала в пользу домохозяйств со сравнительно высоким уровнем насыщения потребностей приводит к тому, что чрезвычайно существенной частью себестоимости продукта становятся затраты на привлечение клиента. В частности, бенефициаром именно этой части себестоимости в современной экономике выступают прежде всего электронные платформы-агрегаторы, рыночная мощь которых определяется местом в цепочке получения потребителем

информации о товарах и услугах. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что эта часть цены товара сообщается с той, которая обеспечивает возврат на капитал: первая возрастает с уменьшением второй по мере нарастания капиталозыточности индустриальной экономики. Отсюда на смену дивидендному или процентному доходу в качестве основного способа извлечения финансовой доходности для внешнего инвестора приходит рост рыночной стоимости актива.

Такой рост оставляет лишь небольшой долгосрочный «след», – в целом же «инфлированная» часть общественного продукта выступает вторичной и всецело обусловлена избытком финансового капитала, поэтому при сопоставлении стран по уровню подушевого общественного продукта должна учитываться лишь в той мере, в которой устойчивы причины избытка капитала. При этом эта часть общественного продукта в любом случае не должна быть уравнена с прочими, воспроизводящимися компонентами общественного продукта, т.е. выпуском, основанным на конкурентных преимуществах. В общем случае эффект «инфлирования» стоимостного эквивалента общественного продукта тем значительнее, чем в таком продукте выше удельный вес дохода от посредничества (торгового, финансового и пр.) в противовес производству товаров и услуг, чем выше удельный вес дохода от эксплуатации естественных (полезные ископаемые, транзитное расположение, природная урожайность и туристическая привлекательность) и приравненных к ним (статус налоговой гавани, уникальное историческое наследие) преимуществ, а также чем ниже способность способа производства создать спрос на капитал. В странах с трансформационными дефектами, где отрасли с устойчивым продуктом не в состоянии абсорбировать критическую массу трудоспособного населения, «отрасли-сорняки» развиваются с некоторым опережением по сравнению с другими, а иногда и более развиты, чем в передовых экономиках: необходимые для этого компетенции легче других усваиваются в таких общностях. При этом общей закономерностью является то, что при любых архетипических дефектах, временном торможении социальной трансформации экономический рост, как правило, основан именно на «инфлирующем» действии и не вызывает положительного антропологического эффекта, однако включает в себе существенный риск отрицательного. Даже импорт технологий и компетенций за счет избыточного «навеса» финансового капитала должен обрести опору на поведенческие установки доступного человеческого капитала – будь то в виде трудовых навыков либо стремления к знанию. Вопреки распространенному мнению, дерегулирование и развитие институтов сами по себе также раскрепощают только потенциал низкокачественного роста («сорняков»), в то время как рост с положительным антропологическим эффектом практически не отзывчив к такого рода стимулам. Более того, поскольку высокое качество роста основано на сложных отраслях, оно сопряжено с чередой «проб и ошибок», в итоге длинным инвестиционным циклом, – так что свободная конкуренция здесь приводит либо к росту издержек, либо к отрицательному отбору, победе примитивных отраслей в борьбе за капитал. Таким образом, качество роста базируется исключительно на качестве человеческого капитала. Справедливо утверждать, что к качеству институтов, в свою очередь, отзывчив сам человеческий капитал, однако в буквальном смысле это относится лишь к выбору места проживания в реальном времени, а не к трансформационной способности институтов как таковых. Длительность цикла трансформации человеческого капитала, в силу возрастных особенностей развития человеческого мозга (см. далее), сопоставима с периодом смены поколений. При этом удерживать высокое качество институтов без спроса на таковые и опоры на непрерывно усложняющийся способ производства в течение столь длительного времени в практическом плане невозможно. В этой связи, современное качество институтов в любой момент времени отражает скорее уровень развития человеческого капитала при предшествующем способе производства, если только инородный, черпающий ресурсную и силовую состоятельность вовне общности, субъект подавляющей силы по своим мотивам не насаждает и подпитывает неорганичную – устаревшую или, напротив, преждевременную – институциональную архитектуру искусственно.

Трансформацию человеческого капитала следует рассматривать как часть экономико-антропологической эволюции (см. далее), все коррекционные механизмы которой заключены в метаинститутах (см. ниже).

Вместе с тем, на протяжении всей истории человечества богатство выступает своего рода фантомным фактором социальной динамики – в виде мечты о ценности, стоимость которой в пространственной или временной точке монетизации существенно превзойдет затраты на ее получение и доставку до такой точки. Однако в качестве социального лифта рискованный промысел может иметь самостоятельное, отдельное от трех других факторов значение при условии, что его выгодоприобретателю останется существенная часть прибавочной стоимости после распределения в пользу обладателей силы, стандартного труда (здесь премиальный выгодоприобретатель – обладатель капитала) и знания. Таким образом, как отдельный фактор влияния на общественное сознание богатство активируется в нише пространственного и временного арбитража, простор для которого по причине природы рынка никогда не был устойчив для абсорбции заметной доли человеческих ресурсов, а с развитием транспортной и информационной коммуникации вовсе стал маргинальным. Так, возможности для пространственного арбитража сужены, поскольку премия за редкость, как правило, удерживается по месту образования ценности – государством или приравненным субъектом силы, в интересах всего общества или отдельной группы (см. далее). Возможности для временного арбитража являются устойчивыми, когда существуют веские основания для монотонного роста стоимости определенных ценностей в среднесрочной перспективе. Это наблюдается в сравнительно короткие исторические промежутки – как правило, в пиковой фазе существующего технологического уклада, который уже вырабатывает свой ресурс и потому выделяет избыточный капитал, так как наиболее весомые издержки, связанные с поддержанием актуального способа производства, уже понесены ранее, а новый еще не родился либо находится в зачаточном состоянии. В этот период наблюдается длительный и устойчивый экстенсивный рост, т.е. основанный на количественном росте производства/потребления более или менее неизменного набора благ, а также занятости в таком производстве, – в то время слом уклада первоначально приводит к высвобождению трудовых ресурсов и смене стоимостной шкалы оценки благ в пользу составляющих конкурентное преимущество трудовых ресурсов при новом укладе. Кроме того, именно на излете жизненного цикла уклада – как это происходит в наше время – наблюдается эффект немонетарного «инфлирования» оценки инвестиционных активов, связанный с высвобождением капитала из экономики, т.е. фактически бегство от денег к ценностям, которые в общественном представлении позволяют сохранить относительную стоимость состояния при таком транзите (см. выше и далее). Вместе с тем, избыток ресурсов по сравнению с продуктивными потребностями вызывает у элиты стремление использовать таковые в целях неосновательного «огораживания» собственного положения, в т.ч. используя их вразрез с общественными интересами (см. ниже).

США являются практически единственной страной в истории, где богатство само по себе выступает ключевым фактором социальной динамики, определяющим общественное сознание, в одном ряду с другими. Этот феномен не мог бы появиться, если стяжание богатства как результат риска не являлось бы массово доступным социальным лифтом. Такое положение объясняется не какой бы то ни было целенаправленной политикой, институциональной архитектурой и пр., а имеет отношение к уникально благоприятному сочетанию фундаментальных факторов. В силу поздней колонизации, для США характерна сравнительно невысокая, схожая с латиноамериканским и африканским континентами, плотность населения, которая в большинстве других стран приводит к хроническому отставанию в развитии ввиду малой емкости и высокой фрагментации рынков (см. далее). С другой стороны, в подавляющем большинстве европейских стран с ихкратно более высокой плотностью населения (о природе исключений в Скандинавии см. далее) в каждый отдельный момент времени возможности экстенсивного роста сравнительно ограничены, так что для абсолютного большинства соискателей ожидаемый доход от самостоятельного предпринимательства близок к таковому от работы по найму. Особенность США заключается в уникальной сети полноводных, круглогодично судоходных рек, длина которых превышает таковую во всем остальном мире вместе взятом, поэтому большая часть населения здесь изначально увязана в единый рынок естественной, природной

«инфраструктурой» (себестоимость доставки по воде до сих пор на один – два порядка ниже, чем при любых других видах транспортировки). Тем самым каждый отдельный очаг населения практически избавлен от ограничений – на экстенсивный рост с одной стороны и глубину доступного рынка с другой, в связи с чем становится центром притяжения для миграционных потоков и роста спроса. Этот феномен тем более уникален, что распространяется на Средний Запад, составляющий крупнейший фрагмент территории, в то время как практически во всем остальном мире субконтинентальное пространство малоприспособлено к обитанию. Наконец, защищенность естественными преградами со всех сторон практически гарантирует неуязвимость собственной территории для внешних угроз, что существенно снижает необходимость обременять предпринимательский доход.

Таким образом, в качестве результата труда и знания богатство и его производные являются спутниками модернизации, в любом другом случае выступают субститутами силы и способствуют архаизации. Это относится не только к богатству и собственности, полученным силой, но и, например, к наследственным, искажающим стартовые возможности индивидов, поэтому влияние этих факторов на трансформацию сознания амбивалентно. С одной стороны, богатство снижает остроту инстинкта «пищевой конкуренции» и в силу этого имеет потенциал увеличивать роль иных мотиваторов, а также формирует ресурсную базу для создания институтов знания и усложнения способа производства. С другой стороны, оно же создает стимулы к герметизации статусной ниши и воспроизводству сословной матрицы, поведенческие признаки которой по мере смены поколений могут принимать весьма гротескные формы. Для измерения масштабов социальной застойности недостаточно охарактеризовать имущественный статус различных социальных страт, разницу между такими статусами или даже динамику этих показателей во времени, но необходимо учитывать оборачиваемость «личного состава» этих страт – темпы выбытия и прибытия. Кроме того, неравенство возможностей по мере нарастания может выливаться в асимметрию рисков при исполнении сторонами договорных обязательств – устных или письменных – и, в конечном итоге, отражаться на конечной цене сделки. На определенном уровне неравенство приводит к такому искажению рыночного ценообразования, что для «слабой» стороны итоговая цена сделки, с учетом превосходящих возможностей контрагента (не исполнить свои обязательства или создать обстоятельства, удорожающие сделку для «слабой» стороны), становится запретительной. Такие структурные рыночные искажения приводят к декомпозиции рынков на сословные фрагменты, в пределах которых индивиды находятся в более или менее равной социальной «весовой категории», а внутри таковых – к сужению сделок до простой мены, без временного горизонта, несущего риск изменения относительных статусов участников. В предельной, атомизированной форме такая декомпозиция рынка тянет экономическую формацию к натуральному хозяйству. В более широком плане, нарастание разности стартовых возможностей сужает поле любых горизонтальных транзакций и расширяет поле вертикальных.

В этой связи, необратимость модернизационной динамики не может быть обеспечена одним, сколь угодно передовым сословием, господствующее положение само по себе является фактором консервации закрытого доступа и архаической социальной организации, которая в конечном итоге оказывается под контролем силового аппарата как основного «охранителя» межсословных барьеров. Общество закрытого доступа тяготеет к родоплеменной формации и основано на асимметричной социальной коалиции подавляющих и подавляемых, в основе которой распределение ресурсов, а не участие в цепочке создания ценности. Верхняя компонента такой коалиции непременно включает в себя присваивающий источники стоимости центр силы, а нижняя представляет собой слой «лишних» людей, не просто исключенный из процесса создания ценности, но и не предъявляющий запроса на включение в такой процесс. Таким образом, общность в целом скрепляет лишь лояльность одному обладателю силы, а социальные страты лишены субъектности и иерархически «отсчитываются» от такого обладателя вниз по принципу допуска к распоряжению силой. Сословия разграничены по субсидиарным этажам вертикали доминирования-подчинения настолько, что не нуждаются в общем пространстве коммуникации ввиду отсутствия

межсословных транзакций и используют разные языковые формы, придерживаются различных поведенческих норм. Будучи внутренне структурированной из герметичных компонент, общность как целое герметична вовне и, как правило, является моноэтнической, однако силовая вертикаль может быть «достроена вверх» – путем образования зависимости вассального типа автохтонного центра силы по отношению к более могущественному внешнему.

Таким образом, уже в силу своей динамической природы, модернизация не гарантируется какой-либо формой стационарного правления, а представляет собой процесс, в ходе которого более эмансипированный слой вовлекает в трансформацию хотя бы еще один, «следующий в очереди». В этой связи, модернизация конгруэнтна формированию нации, которая представляет собой отрицание родоплеменной организации и форму межсословной солидарности индивидов различного социального происхождения, объединенных общими представлениями и единым транзакционным пространством. Опорной предпосылкой такого процесса является коалиция, формируемая по определенной социальной – подобно химической – «формуле», на основе союза обретших субъектность и интересы классов, каждый из которых «отвечает» за определенную компоненту такого «сложного соединения». Поскольку в случае практически всех успешных цивилизаций эта «формула» представляет собой соединение знания и труда, как правило, модернизационная коалиция формируется на основе образованных сообществ и людей простого труда, увязанных в цепочку создания ценности. Последние представлены рабочим классом, который, в свою очередь, является производным от крестьянства, – отсюда фоном для формирования нации выступает урбанизация. В отсутствие архетипических дефектов эта коалиция образуется при посредстве капитала, поэтому во времени она складывается тогда же, когда основными факторами производства становятся труд и капитал, но раньше, чем к знанию переходит роль единственного значимого фактора производства. Это происходит при капиталоемком способе производства, требующем доверия предпринимателя «правилам игры» на весь период окупаемости вложений и критическим образом вовлекающем знание в создание ценности, поэтому обладатель силы не может принудить к труду, проконтролировать его качество и присвоить его продукты. Таким образом, в контуре производственного процесса у различных социальных страт впервые появляются общие интересы и повторяющиеся задачи, а также площадка постоянной коммуникации. Более того, социальные страты нации нуждаются в едином языке и поведенческих нормах как средствах коммуникации, приобщение к которым выступает также каналом кооптации иноэтнических индивидов, поскольку нация заинтересована расширять оборот полезных ценностей и транзакционное пространство. При этом возможны и другие варианты «армирующего состава» модернизационной коалиции и, соответственно, нации, дающие итоговую социальную композицию той или иной степени устойчивости и продуктивности (см. далее). Однако в безусловном порядке нация складывается вокруг доступного большинству, успешно апробированного последним социального лифта, который в условиях конкретной общности имеет устойчивую, жизнеспособную основу как средство межсословной мобильности. В этой связи, т.н. «национальная идея» выступает продуктом ценностного и символического обобщения механизма этого социального лифта, мифологизированной (в нейтральной коннотации), образной проекцией этого механизма в коллективном сознании. Таким образом, нация является формацией требующего коллективных усилий активного действия, результатом которого критическая масса общности видит индивидуальный успех. В отсутствие социальной мобильности, ролевой модели успеха у различных фрагментов общности не возникает потребности в коммуникации должной интенсивности, так что коллективная идентичность не мотивирует к какому бы то ни было активному действию и вырождается в корпус этнических фольклорных мифов. С другой стороны, коллективное сознание также эродировано и в условиях снижения мобилизационного барьера для решения индивидуальных задач, вследствие чего общность подвергается декомпозиции. В этих условиях индивиды, в зависимости от своих потребностей

и интересов, могут одновременно находиться в поле гравитации ряда малых общностей, более того, гибко управлять собственным ассоциированным участием в таковых.

Склонность к риску, которую стереотипно принято ассоциировать с капиталом и считать ключевым драйвером экономической активности, также проявляет себя по-разному, в зависимости от того, какой из трех факторов социальной динамики является образующим для способа производства и общественного сознания. Так, в социуме с силовой «токсичностью» это качество скорее проявляет себя как отрицательное – связанное с криминалом или азартностью, поскольку заработок, не связанный с силовым изъятием стоимости, является случайным, а не системным. В обществе с высоким престижем знаний, напротив, склонность к риску связана скорее с научным или экспериментаторским способом поведения, в рамках которого ошибка представляет собой разновидность создания ценности, а не предмет опасения. Таким образом, стереотипное представление о предпринимательском риске как драйвере роста большей частью справедливо для такого способа производства, при котором критическая часть общественной стоимости создается стандартным трудом, тяготеющим к концентрации для экономии на масштабе, поэтому вход на рынок сопряжен со сравнительно высоким капитальным барьером, для «взятия» которого необходимо инвестировать значительные ресурсы. Таким образом, в отсутствие уклада массового производства извлечение стоимости требует соответственно наличия силы или отличительных компетенций, а инвестиции как таковые не играют критической роли, хотя в последнем случае важное значение имеет другое качество предпринимателя – умение продавать, сделать из знания полезный продукт. Однако статус актора, определяющего инвестиционные решения в общественном масштабе, «профессиональный» инвестор утрачивает, поэтому критерий соотношения риска и доходности в привычном смысле также перестает быть универсальным каналлизатором развития и регулятором структуры экономики.

* * *

За воспроизводство ценностных установок, вызывающих архаическое или модернистское тяготение, отвечают метаинституты, которые предпосланы институциональной архитектуре общности – в понимании институтов как совокупностей объектов воли, управления. Ключевыми из них соответственно трем факторам социальной динамики выступают метаинституты применения силы, трудовых отношений и просвещения. Соответствующие им институты во все времена образуют социальную и топонимическую ткань города как центра накопления любых видов (см. ниже) капитала. Поначалу это соответственно войско и в целом власть; ремесла, в которых сосредоточены свободный труд и прикладное знание; церковь и в целом религия, отвечающие еще и за развитие фундаментальных знаний, их распространение. По мере расширения роли знаний в общественном производстве, особенно с зарождением и развитием машинного производства, происходит секуляризация просвещения и его сближение с ремеслами, интеграция фундаментального и прикладного знания, – новыми ключевыми градообразующими элементами становятся университет и культурная экосистема. Наконец, важнейшим элементом города выступает питающая его материально торговля, которая представлена городским рынком – в новейшую эпоху розничным сектором – и транзакционной инфраструктурой различной сложности, от базилик Античности, биржевых площадей эпох Ренессанса и Просвещения до деловых и финансовых центров современности. Торговля отвечает за медиацию – между всеми акторами, а также этими акторами и удаленными от них рынками сбыта, – и монетизацию производимой ценности. При этом, как уже отмечалось, заработанное посредничеством богатство выступает «фантомным» фактором социальной динамики, поскольку арбитраж не может абсорбировать заметную часть популяции, кроме

как на излете индустриальной эпохи, – когда на непродолжительный период, ввиду избыточности капитала, медиация становится сравнительно массовым ремеслом.

«Полезное поле» возможного активного «инжиниринга» фундаментальных социальных процессов, если таковой преследует цель достичь глубокого и необратимого эффекта, ограничено этими метаинститутами. До некоторой степени можно утверждать, что спрос на любые другие общественные преобразования и институты возникает автоматически – как следствие первичных. В общем случае эффект социальной реформации тем глубже, чем больше она сфокусирована на институтах или отраслях с застойными архаическими практиками – высокими барьерами и неравенством стартовых возможностей, низкой доступностью соответствующих благ. Характер метаинститутов – «объектов воли» определяет характер социальных практик, которые могут предполагать преимущественно вертикальный или преимущественно горизонтальный тип взаимодействия акторов и выступают в роли метаинститутов – способов организации связей, таких как доверие, репутация и пр., а также отвечают за соотношение приоритетов в треугольнике «солидарность – конкуренция – патернализм». В свою очередь, представление индивида о метаинститутах обоого рода, еще до непосредственного соприкосновения с таковыми, формируется метаинститутом семьи – ее ценностями, структурой, отношениями внутри и вовне – либо в специфических обстоятельствах иной устойчивой средой, которая для индивида служит источником поведенческих образцов в раннем возрасте. Во-первых, прямо или косвенно семья (либо «приравненная» среда) формирует у индивида представление о сравнительной престижности и эффективности силы, труда и знания для достижения цели, а также навыки овладения таковыми и их применения. Во-вторых, в общем случае чем больше положение и тип взаимодействия полов, поколений и колен семьи (либо «приравненного» сообщества) соответствует признакам архаического сообщества вообще и напоминает сословную иерархию в частности, тем отчетливее члены семьи воспроизводят все установки такого сообщества вне семьи, и наоборот. Выходцы из семей, где уровень ответственности каждого существенным образом диссонирует с его возможностями и правами, а принятие решений носит характер одностороннего предписания более сильного менее сильному, воспроизводят архаический тип отношений и в обществе, а в семьях, где каждый индивид с раннего возраста наделяется посильной ответственностью и правами, вовлекается в принятие решений, у индивида зарождаются поведенческие установки модернистского типа.

В этой связи, базовым источником архаического тяготения можно считать уклад, при котором пища и безопасность обеспечиваются физической силой, что предопределяет неравенство полов и возрастов в семье. Примечательно, что в силу особенностей строения головного мозга и гормонального развития, женщина лучше справляется с многозадачностью, способна к комплексному видению последствий принимаемых решений, – однако в этой же связи чаще склонна высматривать угрозы по сравнению с возможностями. На фоне ответственности за продолжение рода и качество потомства это делает ее чрезвычайно рачительной и тщательной, сконцентрированной на избежании ошибок, менее склонной к рискованным действиям – как благонамеренным, так и злонамеренным – предпочитающей эволюционные способы развития, проторенные первопроходцами (предположительно мужчинами) и положительно зарекомендовавшие себя пути. Эта установка делает ее более склонной к кооперации, компромиссу и менее склонной к конкуренции, восприимчивой к чужим интересам и точкам зрения, при этом способной легко менять собственную. В то же время, скорее движимые положительной мотивацией мужчины в меньшей степени задумываются над комплексными последствиями своих действий и склонны к революционным решениям без особой оглядки на сопутствующие издержки, обращены в будущее, к новизне, в которой усматривают прежде всего возможности и способ отличиться в конкурентной борьбе. В этой связи, даже в качестве генерального тренда снижение роли силового фактора в социальном обороте накладывает существенный отпечаток, например, на модус коммуникации между различными общностями, – они становятся обращены друг к другу «женскими лицами». Отсюда в недрах архаических

сообществ – обычно агрессивных и охотно откликающихся на чужую агрессию в качестве повода – также неизбежен сдвиг в модели индивидуального и коллективного поведения, со временем же размывание примата силовой доблести и рост ценности человеческой жизни неизбежно отзовется переломом в направленности определяющих для деархаизации демографических процессов – в частности, модификацией культуры планирования семьи и снижением рождаемости. С этими факторами воспроизводство ценностных установок также связано непосредственно: при экстремальном перекосе возрастной структуры населения в сторону молодых знание уступает силе с точки зрения доступности, соответственно роли в качестве основного инструмента решения повседневных и общественных задач, и наоборот. Более того, такая возрастная структура населения усиливает свойственный архаическому сообществу патерналистский запрос: массовое поведение несет ярко выраженные отпечатки ограниченной дееспособности, инфантилизма, тем самым формируя установку на патримониальную опеку, делегирование принятия решений более зрелому субъекту («родителю») – центру силы, которому остальные поступают в услужение. Кроме того, отношения в семьях и «приравненных» сообществах обоого типа могут быть либо тесными, глубокими, предполагающими погружение в контекст повседневной жизни других, либо дистанцированными, – и это прививает установку на соответствующий тип дистанции в социальном и транзакционном взаимодействии впоследствии (см. ниже).

Демографические характеристики общности оказывают определяющее влияние на метаинститут семьи и являются внутренне целостной, сбалансированной системой, которая прямо связана с особенностями человека как биологического вида – в частности, с динамикой гормонального фона и репродуктивности. Так, возраст вступления в брак непосредственным образом влияет на то, придется ли на семейную жизнь период наивысшей половой активности индивида со свойственной тягой к полигамии. В архаическом сообществе, где раннее рождение детей является насущной необходимостью, а сила – условием выживания, это означает, что вертикальный тип отношений, основанный на господстве мужчины, в том или ином виде вторгается в периметр семьи – либо в форме односторонней узаконенной полигамии, либо путем сублимации неудовлетворенной потребности доминирования в моногамной семье. В то же время, позднее вступление в брак соответствует норме развитой общности и создает предпосылки для равного моногамного брака, тем самым способствуя воспроизводству модернистской системы ценностей в общественном масштабе. В этой связи, снижению социально-поведенческой роли инстинктов и рефлексов биологического вида, соответственно деархаизации популяции, немало способствует и повышение доступности половых сношений – как с точки зрения изменения представлений о социальной норме, так и за счет увеличения возрастного порога половой активности. Вместе с тем, нельзя не отметить, что информационное общество порождает и импульсы обратного свойства. Например, избыток неорганизованной информации снижает качество и глубину ее усвоения, способность пользоваться приобретенными сведениями, поэтому вызывает к жизни инстинктивный способ реакции на нее, – отсюда усиливается склонность к рефлекторному поведению, характерному для всех биологических видов, включая примат силы и физиологических потребностей.

В античном мире верхние сословия отличались высокой степенью свободы половых отношений, независимо от семейного положения, в то время как нижние придерживались классических норм архаического сообщества. Это создавало этическую коллизию для первых, которая, однако, – как и применительно ко многим другим аспектам образа жизни – разрешалась присвоением себе сакрального статуса, самопричислением к пантеону. У европейских этносов в эпоху премодеерна модель «доминантной моногамии» примечательным образом сложилась в силу менее благоприятных условий продовольственного обеспечения, – так считалось вплоть до антропогенных изменений великого переселения народов. Более того, неудовлетворенность в половой жизни находила выход в экстремальной форме и за пределами семьи, – например, отличающиеся привлекательностью или даже умом женщины нередко жестоко преследовались как посланники нечистых сил, виновники стихий и бед. В то же время, на Ближнем Востоке, где условия в раннем средневековье считались более благоприятными, мужчины могли себе позволить содержать полигамные семьи, в рамках которых одностороннее доминирование проявлялось несколько менее экспрессивно. По-

видимому этим объясняется запрос на более антропоцентричную и толерантную систему верований, чем раннее христианство. Последующие изменения естественных условий продовольственного обеспечения привели к тому, что многоженство, напротив, само стало фактором распространения бедности, архаизации социальной практики ислама, которая начиная с Нового времени вступила в резонанс с отставанием трансформации способа производства (см. далее).

Демографические характеристики составляют единую сбалансированную систему не только между собой, но и с актуальным способом производства, при этом обладают высокой инерционностью, обусловлены фундаментальными, труднопреодолимыми факторами. В этой связи, особую опасность для любой общности представляют трансформационные дефекты, которые надолго выводят социальный организм из равновесия, – т.е. несоответствие темпов развития у одних определяющих элементов этого организма по сравнению с другими. Так, модернизирующий эффект повышения возраста вступления в брак и рождения детей обусловлен эрозией практики наказания за нарушение запрета на добрачные половые связи, характерного для традиционного общества, – невзирая на то, что все ключевые конфессии по-прежнему возбраняют таковые. Фасилитатором этого изменения становится урбанизация, выступающая также неизменным спутником деархаизации и перемещающая индивида в «разгерметизированную», избавленную от постоянного догляда социальную среду. При этом для большинства общностей с трансформационными дефектами (см. далее) характерно не просто замедление урбанизации, – в городе наблюдается критическая нехватка возможностей самореализации, поэтому индивид сохраняет зависимость от обеспеченных продовольствием родных в деревне, соответственно архаическая этика «поселяется» в городской среде. В этой связи, этические нормы препятствуют добрачным связям, но сравнительно высокая стоимость жизни в городе одновременно вызывает повышение возраста вступления в брак, что в резонансе дает склонность к самовыражению насильственным путем в экстремальной форме, податливость идеологическому влиянию крайнего толка. Для такого рода общности технический прогресс означает тектонические изменения в структуре населения и сознании, поскольку отставание в развитии ограничивает ареал, масштаб и длительность военной активности, выступающей ключевым абсорбентом молодой мужской популяции. Соответственно продолжительность жизни мужчин увеличивается за счет индивидов, не вовлеченных в производительный труд, но «заряженных» не нашедшими реализации ценностями воинской доблести и транслирующих таковые младшим. Отсюда потенциал пассионарности молодого мужского населения находит выход в росте внутреннего насилия, более того, одобрении насильственных действий в отношении сколь угодно широко понимаемых «чужих». Тем самым даже люди, не вовлеченные в такую активность непосредственно, принимают участие в общественном признании этой ролевой модели как приемлемой.

В целом в качестве фактора архаического тяготения на абсолютное большинство общностей – даже преимущественно модернистских – в той или иной мере по сей день оказывает существенное влияние следующее обстоятельство: массовые войны, в которых живая сила мужского пола обречена использоваться в качестве расходной, ушли в прошлое сравнительно недавно. Так, среди мужской популяции практически повсеместно все еще сравнительно широко представлена страта с ограниченным горизонтом жизненной стратегии, – и это несомненно отражает стереотип связанной с военной активностью ранней смертности, при том что на деле наблюдается беспрецедентное увеличение фактической продолжительности жизни. Социальным последствием этого явления выступает инерционная популярность занятий, которые связаны с физической кондицией человека, т.е. предоставляют практически непреодолимое преимущество молодым и ограничивают возраст активной трудовой деятельности индивида, – разве что он дольше сохраняет должную физическую форму. Укорененность этой рудиментарной установки тем более очевидна, что таковая соседствует с явным сокращением области распространения физического труда – как в общественном производстве, так и в правоохранительной деятельности, военном деле. Однако эта склонность находит выход, например, в

форме растущей популярности занятия профессиональным спортом – т.е. не оздоровительным, а в качестве источника средств к существованию, – это вполне сравнимо с досовременным стереотипом массового увеселения как имитации боя. Кроме того, это еще одна веская социальная причина тяги мужчин к риску, азартности, нездоровым привычкам – в т.ч. различным средствам «изменения сознания» – а также некоторого пренебрежения к собственной и чужой жизни. В то же время, среди женской популяции откликом эпохи массовых войн выступает все еще широко встречающаяся настойчивость в поиске партнера для возможно раннего вступления в брак и рождения детей, – невзирая на увеличение фактической продолжительности жизни мужчин и развитие технологий репродукции. Примечательным образом этот тезис иллюстрирует общее правило: антропологический вид представляет собой единое, внутренне взаимосвязанное целое, включающее себя лиц различного пола, возраста и дееспособности, – существенные признаки одних частей популяции выступают продолжением таковых у других, соответственно изменяются в комплексе.

Другим типом трансформационных «ножниц» – в частности, характерным для этнических русских – является снижение рождаемости по причине высокого уровня самосознания «флагманской» части общности, выступающей ролевой моделью для прочих, при этом сохранение низкой продолжительности жизни по причине задержки в развитии – в целом и конкретно в сфере производства общественных благ. В этих условиях динамика двух параметров – численности популяции и ее качества – разнонаправленна, поэтому жизненно важным для сохранения общности становится переход к постиндустриальной экономике как способу производства, который не чувствителен к абсолютной глубине рынка. Более того, в силу скачкообразного характера развития (см. далее), на каждом новом витке здесь обычно нарушается преемственность поколений. Отсюда даже на фоне сравнительно высокого среднего возраста популяции наиболее активная молодая страта фактически предстает как отдельная популяция, которая проявляет себя в силовом, архаическом модусе в своем стремлении не просто отстроиться от старших, но маргинализировать их социально.

1.3 Факторы однородности экономического поведения общности

Как и любой объект стратегического анализа, общность характеризует вызванная условиями бытования и единообразно понимаемая совокупность сильных и слабых сторон, возможностей и вызовов/угроз. Отсюда архетипом поведения можно считать однородную совокупность способов реагирования на указанные факторы – путем стремления к чему-либо или, напротив, избегания чего-либо – в расчете на то, что именно эти приемы приведут отдельно взятого индивида и общность в целом к лучшим результатам из возможных в заданных обстоятельствах. В этом смысле, с одной стороны, архетип не может быть оценен на предмет универсальной – вне зависимости от объективных условий – социальной эффективности. С другой стороны, в одинаковых условиях характерные для определенного архетипа поведенческие приемы в той или иной степени разделяются всеми социальными группами, поскольку составляют корпус норм общежития и взаимодействия, прошедший проверку на жизнеспособность в конкретной общности, – и в этом смысле не имеют альтернатив в рамках определенного этапа социальной эволюции. Ввиду того, что исходным элементом последовательности факторов общественного развития являются природно-географические характеристики, именно этот принцип лежит в основе типологии экономических метаархетипов – совокупности изначально сложившихся, легко «узнаваемых» также и в процессе смены социальных формаций, экономически значимых поведенческих установок однотипных общностей. Каждый метаархетип отражает влияние его первообразных условий на образ жизни человека и доступные ему способы извлечения стоимости, – в

конкретной же местности, где такие условия встречаются, он представлен некоторым локальным архетипом. В зависимости от того, являются ли объективные характеристики среды гомогенными или гетерогенными, архетип может быть единственным/доминантным в определенной локации или соседствовать с другими. В последнем случае необходимость организации социального взаимодействия между различными антропологическими видами будет создавать поле отношений длинной дистанции с соответствующими институциональными надстройками.

Определяющим для зарождения того или иного архетипа фактором является близость водных артерий, служащих «естественной» оросительной системой и транспортной инфраструктурой, соответственно в решающей степени влияющих на плотность населения и глубину рынка. Более того, способ доставки по воде и в наше время на порядок дешевле любого другого и обеспечивает около 90% мирового товарооборота. По этой причине свыше 2/3 глобального общественного продукта производится на расстоянии не более 100 миль от морских побережий, а с учетом бассейнов судоходных рек этот показатель стремится к 90%. Отсюда доступность водного сообщения как ключевого фактора конкурентоспособности сама по себе способна формировать экономически значимые поведенческие стереотипы. Во многом этим объясняется центральное место рек и морей в народном эпосе и культуре, более того, именно им отводится роль очагов сборки и смещения цивилизаций. Как правило, с водными перевозками связана удаленная доставка и монетизация любых благ, дефицитных в пункте назначения, – соответственно образование капитала, и это определяет множественность центров образования такового в соответствующих локациях. В Новое время это правило практически не знает заметных исключений, однако до великих географических открытий аналогичную роль выполнял и Великий Шелковый путь как единственная артерия, соединявшая два континента евразийского материка. В постиндустриальную эру географически обусловленные ограничения сами по себе утратят актуальность, однако первостепенное значение приобретут разветвленные экосистемы знаний, которые по итогам предшествующих эпох также оказались сконцентрированы вокруг судоходных артерий (см. далее). По мере удаления от последних, напротив, экспоненциально нарастает распространенность способа извлечения стоимости путем перераспределения, местного, межрегионального или транснационального, – т.е. стоимость при прочих равных условиях «просачивается вглубь субконтинента» через все более узкое горлышко и тяготеет к монополизации. На таком удалении – равно как и в бассейнах периферийных для судоходства водоемов, а также в регионах, где устойчивые природные и антропогенные вызовы существенно повышают стоимость жизнеобеспечения (см. далее), – общности вынуждены искать возможности компенсировать конкурентные недостатки, притом адекватные тяжеловесности таковых. Последнему условию заведомо не удовлетворяет, например, создание сколь угодно благоприятных регуляторных стимулов: они подразумевают лишь перераспределение доходности и рисков – преимущественно путем отказа государства от некоторой части своих финансовых и нефинансовых привилегий по сравнению с нормой общностей, находящихся в преимущественном положении, либо создания государством таких привилегий в отношении других участников хозяйственного оборота, а также посредством межотраслевого перекрестного субсидирования. Более того, принятие таких мер не освобождает государство от ответственности в том или ином виде за обделенные тем самым отрасли экономики или общественного блага. Отсюда речь может идти только о комплексном, внутренне целостном формате социального общежития, который в состоянии глубоко повлиять на фоновую структуру себестоимости – например, «устранить» из такой структуры целые статьи затрат для всех участников хозяйственного оборота. В качестве исторически верифицированного источника компенсации тяжеловесных конкурентных недостатков с определенностью можно привести лишь транзакционные издержки. В свою очередь, в качестве верифицированного метода достижения такой цели в адекватном вызову масштабе можно привести лишь коллективный способ организации социального и хозяйственного оборота по

принципу «расширенной семьи», – в противном же случае общественная стоимость тяготеет к концентрации в руках стремящегося к тотальности силового центра (см. далее).

В этой связи, общности одного этногенеза, будучи рассредоточены между различными водными бассейнами или по разные стороны труднопреодолимых для человека преград, формируют отличные друг от друга способы производства, образуют хозяйственные, культурные и родовые связи с несовпадающими иноэтничными группами, а в итоге бытуют в виде различных социальных сущностей, зачастую также и государственных образований. С другой стороны, у общностей совершенно разной этно-конфессиональной принадлежности, обитающих в бассейне одних и тех же водных артерий, часто можно обнаружить практическое совпадение социальной организации. В этой связи, у архетипически «многоукладных» этносов – в особенности крупных, как, например, русский или немецкий – локальная идентичность часто сосуществует с генотипической или даже сильнее таковой, образуя разнообразие языковых диалектов, культурных и поведенческих форм, при этом нередко находящихся под сильным влиянием иноэтничных «соседей» идентичного архетипа. Однако если в центре Европы с характерной глубиной рынка различные архетипические элементы «большой германской нации» тяготеют к высокой автономии или даже обособлению, то в скудных условиях евразийского хартленда архитектуру русского этноса, напротив, скрепляет экспансионистская «ордынская» Московия – хотя прочие ветви не прекращают существование и в совокупности не уступают ей численно (см. далее).

Интеграция различных архетипических укладов, выработка общей повестки дня и появление «межукладной» солидарности является для классических национальных государств как существенным вызовом, так и основой уникальных конкурентных преимуществ, однако этот процесс может приводить к ослаблению самого института государства, его вырождению в «интеграционную платформу». При этом, наиболее успешные цивилизации, такие как европейская и американская, в значительной мере китайская и индийская, фактически представлены не столько национальными государствами, основывающимися на гомогенной социальной организации, сколько именно такими платформами с тем или иным дизайном – не только для различных этносов, но прежде всего для общностей различных архетипов, зачастую схожего этногенеза. С точки зрения композиции социальных укладов и цивилизационной плодотворности, одной из немногих таких глобальных гетерогенных цивилизаций является русская (см. далее), даже принимая точку зрения о ее сравнительно высокой этнической однородности. Хотя существуют весомые культурные, исторические и географические основания считать Россию, наравне с другими национальными государствами континента, частью «большой Европы», есть также причины рассматривать ее – наподобие Северной Америки и Латинской Америки – как «дочернюю» по отношению к европейской, но все же самостоятельную, архетипически многоукладную цивилизацию (см. далее). Изводы первообразных европейских архетипов здесь преломились сквозь влияние местных природных условий, сформировали единственную в европейском «семействе» формацию с доминированием степных кочевников (см. далее), испытали влияние неевропейских этносов аналогичного архетипа.

Состояние коммуникационного языка интегрально – с учетом всех других факторов – указывает на естественные границы той или иной общности или социальной группы, степень ее однородности, контуры ядра и периферийных групп, связи с другими общностями. Именно язык – прежде всего в понимании лингвальной формы, но также с точки зрения объемных понятий, образного ряда и т.п. – является центральным элементом когнитивного аппарата человека. В свою очередь, особенности языка выступают наиболее весомым, подсознательным фактором доверия и транзакционных издержек, которые в решающей степени определяются предсказуемостью контрагента в ходе коммуникации – уверенностью индивида в том, что принятая информация, как вербальная, так и невербальная, считана адекватно. Таким образом, декомпозиция или, напротив, синтез общности, как правило, откликаются соответственно

распадом или унификацией языка, который, в свою очередь, очерчивает периметр минимальной социальной и транзакционной дистанции. Ожидаемым образом такая трансформация языка зарождается в детской и подростковой среде, которая не ощущает лояльности к социальным условностям старших и, в отличие от них, не ретуширует суть вновь народившихся явлений «щадящей» понятийной формой, а, напротив, дает таким явлениям «разоблачающие» их смысл определения. Кроме того, в силу возраста в этих поколениях мозг индивида находится в пластичном состоянии и открыт гибко переформатировать понятийный аппарат.

Примечательно, что в странах Юго-Восточной Азии, где распространение получило иероглифическое письмо, сформированные под его влиянием когнитивные особенности и вовсе «вторгаются» в социальную сущность архетипов, определяют их на равных с природными условиями (см. далее). Это во многом определяет высокую культурную, социальную и экономическую герметичность этих общностей, при этом ключевым фактором трансформации таковых в наше время становится глубина проникновения английского языка в деловой и бытовой оборот.

В этой связи, наиболее естественным контуром для нации стереотипно считается этнос, в большей или меньшей степени открытый для кооптации иноэтнических элементов, усвоивших базовые культурные и поведенческие особенности «ядра», и общая, сравнительно однородная и нефрагментированная территория – ареал совместного бытования, т.е. постоянной коммуникации и кооперации для решения общих задач. При этом скорее этническое или скорее гражданское понимание нации не является следствием уровня терпимости к отличиям, – чаще всего это попросту указывает на степень фактической этнической однородности общности, т.е. совокупности людей, ведущих интегрированное хозяйство на общей ресурсной базе в единых границах рынка. В то же время, открыто декларируемое и закрепленное поражением в правах отлучение от национальной общности некоторой этно-конфессиональной или социальной группы, заметно представленной в жизненном пространстве такой общности, обычно свидетельствует о дефиците какого-либо ключевого фактора производства – чаще всего земли, рабочей силы или капитала. Этот дефицит этническое ядро рассчитывает восполнить за счет угнетаемой группы и в конкретный исторический период носит настолько острый характер, что долгосрочные издержки дискриминационных или даже эрадикационных практик отступают перед лицом краткосрочных выгод.

Таким образом, границы распространения архетипов не обязательно совпадают с государственными границами, а в случаях, когда принципиально разнородные общности являются коренными для разных регионов одной страны, в ее недрах с той или иной степенью успешности уживаются различные социальные уклады и модели развития. В целом, государственные границы не следует механически отождествлять с границами рынка или контуром устойчивой социальной общности: первые могут быть и искусственными, в то время как последние определяются объективными факторами. Однородность характеристик, составляющих цепочку факторов социальной трансформации (см. выше) – от природно-географических условий к способу производства и т.д. – определяет устойчивость общности. Юридические границы находятся под влиянием притяжения естественного ареала бытования однородного общественного уклада и границ рынка, что, в конечном историческом итоге, находит отражение в изменении государственных границ, международной интеграции или, напротив, автономизации. Нередко в рамках одного государства ситуативно сосуществуют весьма различные, плохо совместимые социальные сущности, что, в частности, может стать причиной проявления феномена «несостоявшегося» государства (см. далее).

Феномен цивилизационного конфликта прежде всего имеет отношение к архетипическому разлому, связанному с несовместимостью культурных и ценностных представлений. При этом застарелые, неразрешимые этнические противостояния являются практикой отношений лишь между различными архаическими племенными общностями, либо, по крайней мере, возникают с их участием.

Модернистское сообщество, как правило, тяготеет к использованию максимально возможного объема ресурсов по месту образования, в пространстве короткой дистанции, и лишь на период временной необходимости мирится с их концентрацией и перераспределением удаленным центром, – в это время между национальными государствами как такими центрами возникает конфликтный потенциал. Напротив, архаические общности конституированы некоторым экстрактивным силовым центром, – более того, в силу первообразной установки на «пищевую конкуренцию» вокруг распределения стоимости, в противовес ее созданию, такая общность в принципе тяготеет к тотальной однородности. Отсев «чужих» здесь происходит на основании любых отличий, среди которых этно-конфессиональный признак является самым «благоприятным» предложением. Однако и в случае отсутствия таких различий эффект гражданской войны – «холодной» или «горячей» – в архаическом сообществе, особенно длинной дистанции, практически неизбежен, а линией размежевания становятся любые социальные характеристики. В рамках архаической этики нормы права, договора, морали распространяются лишь на «своих», в то время как в отношении «чужих» они считаются ничтожными и призваны служить инструментом тактической борьбы, способом «перехитрить», и подлежат соблюдению «пока выгодно». Более того, личный суверенитет здесь распространяется лишь на обладателя силы, являющегося первичным бенефициаром общественной стоимости, – он и выступает субъектом права, договора и морали в отношениях с другими обладателями силы, т.е. другими общностями. При этом, положение лишенных силы и субъектности относительно закона и морали определяется безраздельным источником таковых. Более того, отдельный индивид здесь не обладает иной самоидентификацией, кроме подданства по отношению к центру силы, что на деле конгруэнтно коллективной ответственности и требует разделения на «своих» и «чужих» по принципу такого подданства. Отношение к конкретному «чужому» в этом случае зависит от отношения «своего» патримониального покровителя к нему в данный момент времени либо от состояния отношений последнего с его патримониальным покровителем.

Границы рынка различны для разных типов благ и определяются ареалом рентабельной, с точки зрения отдачи на вложенный капитал, доставки. Проще всего их определить для благ, которые являются редкими и содержат в цене премиальную компоненту – ренту, природную или престижную, а также для интеллектуального или виртуального продукта, вовсе не требующего доставки: в обоих случаях границы рынка весьма обширны, в пределе рынка таких благ являются глобальными. Однако на протяжении всей истории человечества основную часть трудовых ресурсов поглощают секторы, в которых посредством стандартных, не являющихся уникальными компетенций создается легко заменяемая ценность. Для такого рода благ границы рынка определяются барьером входа, который в обычном случае зависит от капиталоемкости и трудоемкости технологии: чем выше капитальный и прочие барьеры, тем больше емкость рынка, которую необходимо мобилизовать для обеспечения возвратности вложенных средств. Для простоты прочие барьеры также в конечном итоге можно свести к капитальному, однако издержки на преодоление некоторых из них могут оказаться запретительными для отдельно взятого хозяйствующего субъекта и даже некоторых общностей в целом, – например, существенный прогресс в качестве образования требует смены поколений. Чем больше таких запретительных барьеров, тем отчетливее общность ориентирована на экспансию вовне, притом как интеграционную, кооперационную, так и агрессивную, захватническую, – в том случае если естественные преимущества таковой уступают ее недостаткам с точки зрения общностей, выступающих потенциальными контрагентами. Наименее капиталоемкие блага, напротив, в силу своей экономики локальны, производятся маломощными хозяйствующими субъектами, границы их рынка тяготеют к отдельно взятому очагу концентрации населения – населенному пункту, агломерации.

Однако на протяжении всей индустриальной эпохи экономический успех страны определялся крупным промышленным производством с высоким капитальным барьером, соответственно способностью мобилизовать емкость внутреннего и внешнего рынков в чрезвычайном объеме для

обеспечения отдачи на такие вложения, что напрямую определяется цепочкой факторов социальной трансформации, прежде всего, в части плотности населения и доступности водных транспортных путей для экспорта. Неспособность мобилизовать такую емкость имеет следствием хроническое отставание в развитии и/или необходимость субсидировать массовое производство в ущерб иному использованию общественной стоимости, прежде всего потреблению. В то же время, модус постиндустриальной экономики предполагает резкую деглобализацию стандартного производства, смену соотношений между его двумя указанными сегментами в пользу локального, безбарьерного. По мере снижения доли природных ресурсов в общественной стоимости, следует ожидать и снижения рентной компоненты в цене таковых с сужением границы рынка для них.

1.4 Некоторые географические сопоставления трансформационной колеи

В зависимости от природно-географических характеристик и связанных с ними исторических факторов, для разных общностей характерны различные «рисунки» течения модернизационных процессов. Это определяется целым рядом фундаментальных исходных данных, которые обуславливают изначальное соотношение очагов архаических и модернистских групп в рамках одного социума, – распространением городской формы жизни, модусом абсорбции человеческие ресурсы и др. Так, «рисунок» трансформации социальных укладов в *Европе* определяется благоприятностью географических условий, соответственно ранним и плотным заселением континента, укорененностью городской формации на всей глубине значимой для анализа ретроспективы. В этой связи, развитие здесь сводится не столько к поступательному преобразованию изначально архаического сообщества, сколько к череде достаточно дискретных волн развития: в центре социальной ткани города по определению присутствует заметное «сгущение» модернистского толка, затем фаза расцвета актуального уклада сменяется его упадком и общей демодернизацией, – после чего тренд разворачивается вновь, а новая волна вовлекает на очередном технологическом и социальном витке все новые регионы или слои населения. Указанные периоды упадка приводят к выделению слоя «лишних» людей, когда потенциал развития на основе предшествующей технологической и соответствующей социальной формации исчерпан, – как правило, на континенте каждый новый технологический уклад достаточно быстро в исторической ретроспективе достигает предела способности абсорбировать человеческие ресурсы. Это обусловлено ограниченными возможностями для экстенсивного роста: в условиях высокой плотности населения и сравнительного дефицита на континенте новых земель для освоения плотность однотипных хозяйствующих субъектов нарастает стремительно, а рынок достигает предела насыщения.

В социальном и экономическом отношении чрезвычайно показательным, что в длительной исторической ретроспективе европейский континент отличает самый низкий среди макрорегионов мира темп прироста населения. Непосредственных причин сравнительно высокой убыли населения множество – голод и эпидемии, военные и гражданские конфликты, колонизация Нового света и пр. Действительно, благоприятные условия делают регион в высшей степени конфликтогенным, особенно в сочетании с уязвимостью в военном отношении и соседством с ареалом бытования крупных очагов архаических цивилизаций. Легитимно, однако, увязать многие – если не все – указанные факторы с «изначально» высокой плотностью населения и резистентностью природных условий континента к образу жизни скотоводов-кочевников – в отличие от крупнейших цивилизаций древности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где аналогичное нашествие в период великого переселения народов привело к эрозии почв и опустыниванию земель. Именно высокая плотность населения в конечном итоге послужила раннему распространению городской цивилизации – еще в эпоху низкого уровня развития аграрных и

медицинских технологий. Она же выступает причиной ограниченности возможностей для экстенсивного роста, быстрого высвобождения трудовых ресурсов на каждом новом витке технического прогресса, – эти факторы служат непосредственными триггерами военной активности за жизненное пространство каждой отдельной общности, гражданских противостояний за долю социальных классов в распределении.

Таким образом, интенсивный рост является самой надежной стратегией в долговременной перспективе, – а это требует постоянных технологических и социальных новшеств, если же их ожидание затягивается, то модернистские устои общества могут деградировать. Примерами эпох демодернизации с высокой конфликтной интенсивностью, которые можно трактовать именно в контексте нехватки новых природных, территориальных и других ресурсов для экстенсивного роста, размещения капитала на континенте или за его пределами, могут служить затяжное разложение Римской империи, маргинализация городов Возрождения (в т.ч. под натиском исламских халифатов), наполеоновские войны, длинная цепь переформатирований австро-германского мира, мировые войны первой половины XX века и пр.

Вероятно, один из таких периодов европейская цивилизация переживает в настоящее время, в условиях окончательного размывания крупного серийного производства и соответствующей ему формации национального государства под натиском экономики знаний, когда высвобождение работников происходит быстрее создания возможностей для их производительного применения. Текущий период демодернизации, как и все предшествующие, сопровождается усилением вызовов со стороны архаических сообществ, в данном случае, в лице общин неевропейского генезиса в ареале бытования исторических наций. При этом, именно состояние последних в условиях разложения предыдущей социальной формации является причиной того, что архаические очаги инкапсулируются, в то время как давление последующей модернизационной динамики обычно приводит к «рассасыванию» таких социальных «капсул». Однако нельзя исключать, что, в условиях глобальных рынков, демодернизация в результате выпадения значительных слоев общества из постиндустриальной экономики с неизбежной инкапсуляцией таковых характерна практически для всех стран европейского генезиса, независимо от уровня экономического развития, включая Россию. Этим объясняется рост напряжения, типичного для архаических сообществ при столкновении с себе подобными, если они имеют инородное социальное или этническое происхождение, а институты, ставшие инклюзивными за время поступательной модернизационной динамики, транслируют такое напряжение.

В то же время, именно быстрое исчерпание ресурса старых формаций в сочетании с исключительно благоприятными естественными условиями для накопления капитала делает европейский континент основным инкубатором социальных инноваций для тиражирования в мировом масштабе, в т.ч. в заметно отличающихся условиях. Наиболее крупным из «импортеров» таковых исторически выступают *США*, где благоприятный для накопления капитала ареал расселения обширен, а плотность населения невелика, поэтому отсутствуют заметные ограничения экстенсивного роста. С этим связаны стабильно высокие темпы прироста населения на континенте, который вносит решающий вклад в рост потребительского спроса – т.е. глубины рынка. Таким образом, даже в рамках любого достигнутого уровня развития технологий предпринимательство здесь выступает самым легкодоступным социальным лифтом. Справедливо предположить, что если колонизация двух континентов протекала бы синхронно, то для них были бы характерны практически идентичные социальные архитектуры и модели развития. Однако заселение Нового света совпало с зарождением индустриальной эпохи, которая в значительной мере снизила ценность земельных ресурсов (см. далее) – соответственно и темп роста плотности населения за пределами городских агломераций. Таким образом, разрастание последних теперь практически не имеет ограничений, – так что миграционные потоки не «распыляются» в разреженном пространстве, а сосредоточены в зонах высокой плотности и приводят к непрерывному наращиванию глубины рынка, способствуют тем самым сокращению транспортных издержек, эксплуатации эффекта экономии на масштабе. Более того, между собой в единый рынок городские агломерации связывает самая протяженная в мире система круглогодично судоходных рек. Разреженность хозяйственного

пространства без ущерба для глубины рынка представляет собой самое благоприятное, уникальное, практически нигде больше не встречающееся сочетание факторов для экстенсивного роста. Со времени окончания гражданской войны, общественные формации здесь сменяются поступательно – как по мере модернизации архаических установок первых переселенцев, так и по мере притока критической массы таковых с изначально модернистскими установками, путем внедрения технологических и социальных инноваций в ответ на вызовы свободной конкуренции, которая и выступает в американском социальном опыте движущим механизмом модернизации. В этом краеугольное отличие от европейского опыта, где таким механизмом служит общественная солидарность – тип общественного договора, призванного задействовать потенциал роста каждой текущей формации и обновляемого с ее сменой (см. далее).

При этом, как конкуренция, так и солидарность оказывают влияние на формирование экономически значимых поведенческих установок и в европейской, и в американской практике, однако в различной форме, что связано с принципиально разным социальным портретом первообразного экономически активного субъекта. В США таковым выступает собственник, прежде всего, земли, с простейшими навыками по эксплуатации объекта собственности и потому вынужденный вступать с подобными себе в конкуренцию. Вооруженность для индивида поначалу является фактором защищенности, но в дальнейшем становится основанием претендовать на роль самостоятельного субъекта во взаимодействии с другими такими же для построения институтов общего пользования. Строго говоря, ношение оружия выступает неперменной оборотной стороной примата личного суверенитета и свободы воли – как способ обозначить «границу дозволенного» в отношении себя: без этого инструмента невозможна республиканская институциональная архитектура, поскольку в противном случае силовая «токсичность» приводит к узурпации силы и порождает вертикальную социальную архитектуру. Таким образом, собственность выступает в качестве базового института, на основе которого посредством механизма конкуренции происходит усложнение структуры потребностей, институтов и компетенций, модернизация изначально архаического сознания, превращение индивида в субъект человеческого капитала. В этой связи, выработанный американским опытом механизм внутренней трансформации изначально архаических, ориентированных на силовые возможности устоев не имеет равных по эффективности вплоть до настоящего времени. При этом, европейский архетип, ввиду ограниченности возможностей извлечения стоимости путем предпринимательской деятельности, изначально основан на человеческом капитале, квалификации (роде занятий, образовании, навыке и т.д.) как специфическом, неотчуждаемом объекте собственности и ресурсе индивида, что снижает важность обладания имуществом и силой. По своей природе такой человек предрасположен к модернистскому тяготению, поскольку претендует на уникальность в своем роде и сфокусирован на кооперации – в большей степени, чем на конкуренции – с себе подобными («подобными в отличии») для создания новой стоимости, а роль фактора защищенности выполняет востребованность его услуг сообществом. Таким образом, в качестве базового модернистского института, который и приводит в действие механизм общественной солидарности, здесь выступает профессиональная компетенция. Индивид извне, сознание которого ориентировано на силу как маркер успешности, не только не откликается на такую иерархию ценностей, но и склонен бросить ей вызов, испытать социальную модель на прочность. Соответственно, институт собственности может служить опорой модернизационной динамики только как безусловный – т.е. когда собственник наделен силовым ресурсом для защиты таковой. Равенство в обладании силой по определению делает индивидов гражданами – обладателями неотчуждаемых прав, добровольно делегируемых публичным институтам, учрежденным как сервисные изначально.

Чрезвычайно важно то, что в США – в отличие от остального мира – основой инклюзивной институциональной архитектуры послужили социальные отношения, возникшие в аграрном хозяйстве. Как известно, в Старом свете таковые, напротив, исторически ассоциировались с социальной матрицей премодерна, – в то время как основными площадками социальной трансформации выступали города с

характерным для них балансом силовой землевладельческой знати, с одной стороны, и городских ремесленных, торговых и образованных сообществ, с другой (см. далее). Для зарождения Нового света характерен отличный от Евразии антропологический «рисунок», который ставит оседлого земледельца в положение свободного субъекта воли, снабженного вооруженной силой. В то же время, в Европе сословная иерархия оформилась в связи с завоеванием оседлых земледельческих племен скотоводами-кочевниками, образ поведения которых по отношению к покоренным конгруэнтен поведению государства как экстрактивного и силового института. Государь стереотипно располагается в городе, города оспаривают между собой межеумочные земли, крестьянство же достаточно индифферентно к личности покорителя и заботится лишь о собственном благосостоянии – соответственно величине поборов. Таким образом, по причине конфликтогенности силовой ресурс на континенте изначально принадлежал родоплеменным группам вождистского типа – протогосударствам, причастность к которым скорее можно определить как подданство, присяга лояльности обладателю силы. Они же одновременно и выполняли другие публичные функции, – в частности, разновидность распределительной социальной помощи существовала еще в античном Риме, – и являлись субъектами хозяйствования. Прозрачность контроля над силовым ресурсом нарастала лишь по мере вовлечения в модернизационные процессы новых слоев населения, урбанизации, трансформации подданства в гражданство, отслоения хозяйствования от публичных, в т.ч. силовых функций, осознания последних как общественного блага – предмета кооперации граждан за их счет, в конечном итоге национализации ранее чуждого государства, трансформации самодержавия в республику (де-юре или де-факто). При этом, общественный договор вовлекает все новых субъектов, различающихся с точки зрения как интересов, так и силовых возможностей, что отражает процесс постепенного нарастания инклюзивности институтов. Таким образом, на европейском континенте – как и в подавляющем большинстве известных человеческих сообществ – собственность на значительном историческом отрезке не являлась безусловно защищенной, а роль модернизатора архаических масс выполняло образование (в широком смысле, как любое усовершенствование отличительных характеристик человеческого капитала). Это же относится к генезису социального капитала – общественного доверия, горизонтальных связей, механизма подавления транзакционных рисков: в американском случае первоначальной основой такового служит угроза ответа силой на ненадлежащее исполнение обязательств, в европейском же профессиональная репутация.

Показательно, насколько различается стереотип демократии в Европе и США. В первом случае демократия в разные исторические периоды становилась способом защиты окрепшего общества от тирана, поэтому воспринимается скорее как право слабого против сильного. В США демократия является «инфраструктурой» взаимодействия сильных друг с другом, а, по причине обилия сильных, защитой демократических институтов пользуется также и слабый. Это различие находит продолжение в модусе внешней политики, которая у США традиционно является наступательной и не чужда применению силы, которое равносильно принятию ответственности за глобальные процессы, но вызывает широкое неприятие в мире. В то же время у европейских стран она традиционно ориентирована против чрезмерного укрепления других центров силы, что, даже при глубине союзнических отношений, часто вызывает неприятие внешней политики США или приводит к присоединению в подчиненном качестве к американским инициативам.

Модернистские установки, в подходящих условиях сформированные любым из этих двух способов, являются настолько глубокими и необратимыми, что даже архаические вызовы (вооруженные конфликты, неоднородность общества и пр.) не могут существенным образом их поколебать, в то время как трансформация «негодными методами», без учета «карты» социальных укладов, ведет к обратным последствиям. Так, в *российских* условиях ключевым фактором, деформировавшим течение модернизационных процессов, являются естественные природно-географические и климатические условия, приводящие к заведомой неконкурентоспособности массового производства для самостоятельного капитала. Компенсация этого недостатка происходит путем «обнуления» стоимости рабочей силы в рамках специфической – даже по меркам феодального устройства – архитектуры

института крепостного права с соответствующей застойностью в развитии трудовых навыков. В сущности, этот путь сводится к более или менее равномерному обременению любого центра создания стоимости очагами «лишних» людей, принимающему различные формы и актуальному до настоящего времени. В таких условиях отсутствуют как возможности, так и стимулы к усложнению способа производства, распределение стоимости обречено основываться на присвоенной, а не созданной ценности, т.е. на редких ресурсах, содержащих в цене премиальную компоненту. Последняя служит как материальной базой силовой элиты, так и источником содержания закрепленных, в связи с чем пролонгируется родоплеменной тип социальных отношений, – когда субъект ресурсного хозяйствования одновременно совмещает публичные функции. При этом экономическая история России изобилует практиками формирования искусственных цепочек создания ценности за счет перераспределения, которые в плано-убыточном режиме имитируют массовое производство и призваны задействовать человеческие ресурсы высокого качества. Однако лишь в настоящее время, в условиях разрастания городских агломераций и зарождения экономики знаний, – когда премиальная стоимость может извлекаться из ценностей, не требующих вещного производства и физической доставки, – запретительные географически предопределенные барьеры роста утрачивают актуальность.

В сущности, труд и капитал в российской социальной реальности устранены из числа опорных факторов модернизации, силовой ресурс бытует в качестве полновластного бенефициара всей извлекаемой стоимости, а динамика социальной трансформации определяется его прямым противостоянием с носителями знания. Так, возрастание потребностей военной машины в компетенциях – начиная с имперского периода и вплоть до окончания «холодной войны» – привело к беспрецедентному росту численности и влияния интеллигенции, как следствие медленной гуманизации, а затем и разложению тоталитарного строя, – т.е. в некотором роде это итог зависимости центра силы от знания. Напротив, в ходе переходного периода 90-х гг, из-за неблагоприятной ситуации на глобальных сырьевых рынках патримониальная вертикаль власти-собственности резко ослабла. При этом возникла иллюзия модели власти американского типа, основанной на «договоренности вооруженных собственников» – архаичных предпринимателей времен первоначального накопления капитала, формирующих (либо скорее «приватизирующих») публичные институты, включая силовой ресурс государства. На деле же такая социальная организация оказалась полицентрической конструкцией образца феодальной раздробленности, в условиях которой «кормовой надел каждого феода огораживается» посредством частного вооруженного формирования. В полном соответствии с внутренней моторикой примитивного феодального хозяйства, смена нефтяной конъюнктуры в начале 2000-х гг немедленно собрала фрагменты силового ресурса в архетипическую моноцентрическую вертикаль и привычным образом низвела статус собственности до уровня условной, а «вооруженного собственника» – в лучшем случае до положения «младшего партнера» силового аппарата. В результате и собственность, и публичные институты оказались погружены в затяжную архаизацию, в то время как очаги высокообразованных городских модернистских сообществ европейского образца подверглись серьезной эрозии, деформации. Это нанесло урон плотному, резистентному, качественному образованному слою – единственной «заряженной частице» социального прогресса, сложенной зачастую в условиях катастрофических исторических катаклизмов. Ключевым уроком постсоветского периода является то, что в условиях силовой «токсичности» качественные институты, собственность, свободное предпринимательство, конкуренция сами по себе не могут обеспечить устойчивой модернизации. Напротив, они обречены на скоротечную деградацию, во избежание которой должны опираться на модель извлечения стоимости посредством интеллектуальной деятельности – единственного типа ценности, который не может быть отчужден силой. Более того, основным опорным институтом, равно как и социальным лифтом модернизационной трансформации служит система образования, а не какие бы то ни было ветви

публичной власти, – и даже предпринимательский класс при доброкачественном течении этого процесса играет в нем скорее ведомую роль.

2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ОБЩНОСТИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

2.1 Роль институтов в развитии: характерные заблуждения

Характер институтов фундаментально выступает заключительным звеном в логической последовательности признаков развития общности и служит удобной для основных акторов «операционной инфраструктурой» сложившегося, с учетом всех предыдущих факторов, типа общественного взаимодействия. Предметом институциональной архитектуры общности выступают два всецело взаимообусловленных, неразрывно связанных друг с другом, образующих диалектическое единство вопроса. Во-первых, это характер фактической принадлежности и фактического способа контроля силы, способности к принуждению – индивидуальный или коллективный, всеобщий или ограниченный: решение этого вопроса тождественно определению номенклатуры субъектов институциональной организации и их относительного веса – т.е. тесно связано со способом образования у них ресурсов. Во-вторых, это характер связей в общности – вертикальный или горизонтальный, сильный или слабый: решение этого вопроса вытекает из предыдущего и определяет стоимость содержания институциональной организации, которая переносится на любую экономически значимую активность.

Однако роль институтов в экономическом и общественном развитии часто путают с эффектом географически обусловленного способа извлечения стоимости (т.е. фактически причину со следствием). Именно последний, в свою очередь, предопределяет также и характер институтов, – говоря иначе, не институты, а лишь способ производства выступает активным, изменяемым элементом механизма социальной трансформации. Даже наиболее совершенная институциональная архитектура определяет лишь порядок, механизм определения «премируемых» и «депривуемых», однако критерии такой селекции обусловлены только способом производства. Не существует такой институциональной архитектуры, которая уже в силу самой себя обеспечивала бы меритократический, положительный отбор – отдавала бы предпочтение благонамеренным перед злонамеренными, сложным перед примитивными, компетентным перед невежественными, прогрессивным перед ретроградными и т.п., – более того, и качество решений правящей элиты всегда соответствует уровню минимальной достаточности для функционирования актуального способа производства. Как известно, сколь угодно широкий круг претендентов на участие имеет следствием превращение в общепризнанный стандарт предпочтений медианных, а в пределе и наименее продвинутых представителей популяции, в то время как отбор «сверху» ориентирован на интерес «выборщика». Оба типа институциональной организации хорошо известны – как в периметре одной общности, так и на примере поведения одних общностей по отношению к другим. Они соответствуют экстрактивной модели «оккупации» (см. ниже), – разница же заключается в том, как между различными частями социума или общностями распределены роли субъекта и объекта такой «оккупации». Предпочтительность «правления продвинутых» в этом смысле иллюзорна и скоротечна, на деле же служит лишь прологом внутреннего разложения самих «продвинутых», – в то время как правление, ориентированное на «отстающих» и осуществляемое от их имени, не только сопряжено с невосполнимыми издержками для передовой части общества, но и может оказать на «класс-гегемон» долговременное эмансипирующее действие. Селекционный эффект институционального механизма в обоих случаях непосредственным образом обусловлен тем, насколько актуальный способ производства способен постоянно улучшать количественные и качественные параметры предложения трудоспособному населению, – и лишь в зависимости от этого отбор оказывается положительным или отрицательным, вне зависимости от того, «вверху» или «внизу» находится «выборщик».

Эффект отрицательного отбора может проявляться в самых разных общностях, в т.ч. находящихся на весьма высокой ступени развития. В общем случае его действие соответствует концентрации в распоряжении элиты такого объема ресурсов, который несопоставимо превышает ее потребности, поскольку такая избыточность снижает чувствительность к эффективности и позволяет сосредоточиться на консервации господствующего положения, – в этих условиях элита может вполне безнаказанно препятствовать успеху людей, на фоне которых не смотрелась бы выигрывшно сама. Основанием для реальных действий элиты служат именно представления о собственных потребностях, но при этом они являются объективно обусловленными и могут даже идти вразрез с личными убеждениями, характерными для целых элитных страт. Представления элит о таких потребностях в различных общностях кардинально разнятся (см. далее), и прежде всего это касается не потребительских нужд, а инвестиционных целей в расчете на отсроченную отдачу – как коммерческих, так и в форме общественного блага, включая обеспечение безопасности от реальных угроз. Ресурсный вклад и/или администрирование этих инвестиций в сущности тождественно принадлежности к той или иной страте элиты, поскольку инвестиционные цели – будь то сила, труд или знание – выступают источником благосостояния. Соответственно уклонение от участия в них равносильно утрате статуса – более того, вытеснению накопленного состояния в нижний сегмент ожидаемой доходности, что в условиях архаической общности может оказаться равносильным полной утрате такого состояния и рискам для его обладателя лично. Инвестиционные потребности архаического сообщества сравнительно невелики, что побуждает элиту к расточительности – вызывающему образу жизни, искусственным проектам, конструированию мнимых угроз – т.е. открывает ей возможность употреблять ресурсы на себя и тем самым цементировать недостижимость собственного статусного и имущественного положения. Напротив, в модернистском сообществе эти потребности чрезвычайно обширны: достигнутый уровень возможностей всегда открывает следующий горизонт, более того, практически неисчерпаем горизонт развития, связанный с оплатой обществом полезной ошибки – ученого, изобретателя, предпринимателя, художника – как основного пути прогресса, пролегающего через отсев тупиковых путей. Показательна логика завоевания архаической общностью более модернистской: обычное в таких случаях разграбление цивилизации, в противоположность сбережению для собственной же пользы, связано именно с представлением об избыточности достижений покоренных в сравнении с собственными нуждами, – и лишь по мере приспособления к новому месту обитания и знакомству с незнакомым укладом приходят и соответствующие представления о запросах. По причине высокого спроса на ресурсы для развития в модернистском сообществе не происходит гиперконцентрации таковых в руках элит: рост «широким фронтом» задействует значительные человеческие ресурсы, которые выступают как объектами инвестирования, так и бенефициарами распределения, – в пределе этот эффект приводит к эрозии грани между элитой и населением. В этой связи, порог демодернизации общности с высокой трансформационной динамикой несопоставимо выше, чем порог разложения архаического, – однако экономика знаний ведет к снижению ресурсоемкости задач и высвобождению ресурсов, одновременно обостряя и такие проблемы, как неосновательное имущественное расслоение, качество традиционных элит передовых стран и удлинение дистанции власти (см. ниже).

Наконец, и письменный закон устанавливает лишь «организационную структуру» и процедуры публичной деятельности, но не является актом учреждения каких бы то ни было институтов: последние могут функционировать и без законодательного оформления, а законы оставаться нефункционирующими, если не отражают сложившийся способ взаимодействия акторов в социуме. Любые противоречия между неформальными институциональными практиками и декларируемыми институциональными формами корректно однозначно трактовать в пользу первых, – т.е. следует ожидать, что акторы будут применять вторые лишь с тем, чтобы поддерживать незыблемость первых. Институциональные «сосуды», устаревшие по сравнению с актуальным способом производства или,

напротив, опережающие потребности такового, скоротечно наполняются фактическим содержанием общественных и элитных отношений даже без существенной модификации формы («сосуды не могут пустовать» так долго, чтобы дать сложиться новому способу производства) – как минимум, при посредстве неформальных институтов, являющихся более весомыми. Сама институциональная форма не может служить конфигуратором этих отношений, – напротив, критическая масса акторов, заинтересованная в новом способе производства и считающая таковой дееспособным в условиях своей общности, поначалу тестирует его на заметном массиве опытов, демонстрирует историю успеха, не сообразуясь с качеством институтов. Последние подстраиваются позже – плавно, эволюционно, или скачкообразно, революционно, поскольку способ производства формирует также подходящий модус транзакционного взаимодействия, который передается всей системе общественных отношений. Более того, вначале новая институциональная организация может охватить лишь часть социального и транзакционного оборота или акторов, если их выгоды от таковой превышают соответствующие издержки, при этом другие акторы аналогичным образом пока остаются в выигрыше от прежних институтов. Таким образом, выраженный запрос на институциональные преобразования свидетельствует о рождении достаточно обширного слоя бенефициаров нового способа производства, в следовании примеру которых значительная часть общности видит ролевую модель собственного успеха. Напротив, торможение развития ошибочно увязывать с неадекватностью институтов, – на деле это служит индикатором отсутствия критической массы акторов, которые верят в дееспособную альтернативу сложившемуся модусу извлечения стоимости («нет напора, который может прорвать плотину») настолько, что готовы содержать ее. С практической точки зрения нет принципиальной разницы, отсутствует как таковая альтернатива или доступ к человеческим ресурсам, способным такую альтернативу реализовать, – в любом случае институциональный прогресс лишен актуальной социальной базы, а путь к нему пролегает через длительную трансформацию человеческого капитала эндогенными (образование) или экзогенными (внешнее управление в какой-либо форме) средствами. В общем случае справедливо утверждать, что на конкретном историческом отрезке (при конкретном способе производства) у конкретной общности институциональная архитектура может иметь лишь определенный, единственный по существенным признакам вид. Нельзя также согласиться и с «компромиссным» мнением, – что прогрессивный дизайн формальных институтов сам по себе выступает фактором модернизационной динамики в сравнении с тем, если бы такового не было. Архаические элиты вынуждены поддерживать институциональный «фасад» – дорогостоящий и чреватый рисками для правящей элиты – лишь в угоду предпочтениям каких-либо внутренних или внешних акторов, имеющих важное значение для их собственного благополучия в рамках более сложного оборота, нежели простой обмен товарами или услугами. Такими акторами могут выступать, например, чрезвычайно обширный, пронизывающий саму элиту образованный слой; элиты стран, имеющих локальное силовое присутствие либо выступающих местом продолжения жизненных стратегий местной элиты и т.п. В этой связи, если общности с «симуляционным» институциональным дизайном и опережают по скорости деархаизации более «откровенные» в манифестации своей архаической сути, то это следует считать следствием не институтов и процедур, а активности указанных акторов, усиливающейся на фоне благоприятствующих трансформации обстоятельств, прежде всего изменений в способе производства, соответственно структуре и предпочтениях общества.

В качестве примера, важным индикатором институционального развития принято считать защищенность собственности, – однако истинным гарантом незыблемости собственности служит не правовая система, а способ производства, позволяющий собственнику создавать такую отличительную ценность, которая не создавалась бы без него. Важным условием здесь является либо заинтересованность субъекта силы в роде деятельности собственника при неспособности осуществлять ее самостоятельно, либо способность этого способа производства служить основой материального достатка для критической

массы трудовых ресурсов и тем самым поддерживать социальный фундамент защиты собственности. В противном случае право не может защитить собственника от силы, обладатель которой превращается в фактического бенефициара собственности – притом «на законных основаниях», поскольку в условиях примитивного хозяйствования единственным мерилom законности является узурпатор силы. В то же время, при трудозависимом способе производства собственность обладает высокой степенью защиты, даже если политический режим по каким-либо причинам – например, в фазе пиковой концентрации ресурсов (см. выше и далее) – является тоталитарным.

В этом же ряду и проблема исторической ответственности личности: оценка таковой должна служить этическому уроку, в целом воспитанию общества и лидеров («в назидание потомкам»), но не иллюзии принципиальной исторической альтернативы. Корректное симуляционное моделирование альтернативного развития событий должно учитывать последовательность противодействующих им событий, которые в общем итоге по существенным признакам дают аналогичные фактическим последствия, объективно predeterminedенные эволюцией способа производства в условиях конкретной общности, а также в тех общностях, с которыми – по-видимому также объективно – данной общности приходится сталкиваться. Соответственно, во-первых, историческая ткань представляет собой единую нить (неплодотворно искать точку, с которой «все пошло не так»), во-вторых, подходящую по личным качествам для решения исторической задачи фигуру «выдвигает время», более того, императивом времени определяется, какие личные качества конкретного лидера и в какой мере окажутся востребованы в заданных обстоятельствах, а какие останутся нереализованными, невзирая на его желания. Отсюда впечатление, что ход истории определяется личными решениями, волей правителей, является поверхностным. Более того, этим же вызваны частое расхождение заявленных целей и искренних убеждений правителя с его фактическими действиями, наконец, стремительная утрата власти теми, кто «упорствует» в угоду личным пристрастиям – безотносительно характера политического режима. Так, опрокидывание действующих правителей, переставших выражать интересы выгодоприобретателей актуального способа производства, в условиях отсутствия механизма обратной связи ничуть не сложнее, чем в рамках демократических механизмов. Напротив, в первом случае население чувствительно к значительно менее широкому кругу проблем, чем во втором, – так что круг вовлеченных в процесс формирования/смены власти и принятия властных решений уже. Наконец, развитие общности в конечном итоге не определяется идеологией, верованием, планом или замыслом, элитным или общественным договором. Напротив, система коллективных представлений общности и ее элиты вырабатывается и обновляется под влиянием объективных ограничений в каждый момент времени, а итог такого обобщения объявляется благотворным, возводится в ранг «сокровенного знания», потому весьма ограниченно тиражируем за пределами общности.

Ошибочно также трактовать легитимную победу на выборах как мандат на буквальную реализацию заявленной программы: выборы служат выяснению приоритетов, предпочтений общества и наделяют победителя полномочиями на правление – однако в соответствии с выявленной областью консенсуса. При этом поражение терпит участник выборов, а не отдавшая ему предпочтение часть общества, – последняя смиряется с тем, что мандат на правление получает не ее избранник, но не с игнорированием своих интересов. Как известно, малая группа сплоченнее и эффективнее большой, при этом ущемление интересов дает меньшинству дополнительный стимул к коллективному действию, – так что представляющий большинство победитель не в состоянии править по собственному усмотрению. Таким образом, единственной альтернативой консенсусному правлению гипотетически выступает подавление меньшинства, в пределе его эрадикация, – что невозможно в условиях полицентрической социальной организации ввиду запретительной силы сопротивления. Однако правитель не обладает свободой решений при режиме любого толка: даже т.н. «персоналистское» правление является разновидностью институциональной организации, объективно обусловленной на определенном этапе

развития общности. В рамках такой организации вождь выступает не более чем функцией и выражает интересы бенефициаров актуального способа производства, а характерный «отпечаток» его личности не выходит за рамки вкусовых особенностей. В этом смысле институциональная организация ближе всего к «персоналистскому идеалу», если единственный субъект власти совпадает с единственным субъектом хозяйствования – во всяком случае таким, который обладает способностью принимать независимые от прочих субъектов хозяйственные решения. Однако и в этом случае поведение субъекта власти продиктовано не «прихотью», а «ограничено» его же собственными интересами как субъекта хозяйствования. Здесь правитель неизбежно находится под риском деятельного сопротивления собственной семье, узкой группы, члены которой обычно располагают лояльными фракциями в силовом аппарате. Эта группа, в свою очередь, прежде всего озабочена сохранением своей безальтернативности – соответственно стремится предотвратить возникновение за собственным периметром ресурсообеспеченных субъектов, которые могли бы предъявить притязания на гомогенную, неделимую «кормовую базу».

Этот тезис служит иллюстрацией к более общей проблеме соотношения целей и средств, которую чаще всего принято трактовать как относящуюся к области морального выбора, – однако применительно к социальным процессам представление о том, что средства служат цели, в конечном итоге и вовсе иллюзорно. На деле в определенное время (при определенном способе производства) и в определенном месте (в определенной общности) подавляющее большинство общественно значимых целей достигается определенным из трех способов – силой, богатством или знанием. Любое использование премиального при актуальном способе производства ресурса возможно лишь при условии, что его обладатель сочтет такое использование средством в конечном итоге приумножить такой ресурс в своем распоряжении или предотвратить соответствующий ущерб. Это справедливо даже в том случае, если для решения конкретной задачи непосредственно требуются два других ресурса: получить таковые возможно лишь путем обмена имеющихся излишков основного ресурса, накопление и максимизация которого составляет целевую функцию развития данной общности (см. ниже). При таких обстоятельствах значимость слоя, востребованного при решении социально значимой задачи, возрастает – однако в качестве вторичного, т.е. с установкой считать обладателя основного ресурса своим заказчиком и служить в ответ его жизненно важным интересам. Например, при капиталозависимом способе производства образованный слой воспринимает в этом качестве предпринимателей, а при ресурсозависимом и те, и другие считают таковыми обладателей силы. Отсюда независимо от заявленных ориентиров правитель, – под таковым можно понимать любое лицо или группу лиц, наделенных по любой процедуре полномочиями принимать решения в условиях ограниченности ресурсов, – обречен прибегать к услугам одного и того же социального класса – того, который располагает соответствующим ресурсом и выступает выгодоприобретателем актуального способа производства. Однако это также предполагает использование органичных для этого класса инструментов, – так что в конечном итоге любые решения публичной власти лишь усиливают эксклюзивное влияние такового на целеполагание в общественном масштабе, на вектор социального развития. В этом заключается парадоксальная закономерность социальных процессов: истинные цели здесь определяются характером выбранных для их реализации средств, а они, в свою очередь, – актуальным способом производства. С точки зрения социальной этики и социальной философии этот вывод можно обобщить следующим образом: движение порождает субъекта интереса, который не прекращает существование по достижении цели автоматически. Более того, исчерпание первоначального предназначения вынуждает мобилизованные силы и средства к экспликации субъектности посредством перехода к борьбе за дальнейшее существование и долю в распределении – в конечном итоге вплоть до подчинения общественного целеполагания своим интересам или, напротив, собственного уничтожения. Отсюда общности, которые при предыдущем способе производства были вынуждены решать больше сложных, трудозависимых задач, при прочих равных

условиях дольше сохраняют инерционную динамику – даже если в контексте следующего способа производства страдают от конкурентных недостатков – и наоборот.

Итак, не содержательная природа институтов, а лишь их внешний дизайн определяется формальной процедурой, в то время как институциональное развитие не является самостоятельным процессом или результатом политической воли и зависит от факторов более высокого порядка, которые обуславливают, является ли архитектура институтов моноцентрической или полицентрической. Такие факторы связаны как с особенностями местности, так и с характеристиками технологического уклада: первые обуславливают плотность населения, соответственно емкость рынка, организацию транспортных коридоров и размещение производительных сил, вторые диктуют оптимальное для данного времени и данного места количество центров концентрации ресурсов и силы, без сочетания которых институты не являются функциональными. Ключевыми контрольными индикаторами здесь являются длительность текущего и инвестиционного циклов в каждом звене цепочки создания ценности, капиталоемкость необходимой материальной, гуманитарной, военной и прочей инфраструктуры, совокупные операционные затраты относительно платежеспособного спроса доступного рынка, что непосредственно связано с климатом, географическим положением и характеристиками населения. Чем менее благоприятны указанные индикаторы, тем уже круг потенциально конкурентоспособных способов создания ценности, выше потребность в концентрации ресурсов и барьер входа на рынок, причем при определенном уровне централизации он может стать запретительным, не оставляющим места альтернативным точкам сборки ресурсов, а соответственно силы, – в последнем случае именно обладатель силы определяет порядок и стоимость ограниченного доступа к рынку. Напротив, чем ниже капитальные и постоянные затраты относительно переменных, выше доля «нематериальных», «виртуальных» продуктов или услуг, которые не нуждаются в производстве или доставке конвенциональным способом, тем ниже потребность в концентрации ресурсов, критичность эффекта экономии на масштабе и неотчуждаемых факторов, соответственно выше самодостаточность хозяйствующих субъектов и тяготение к полицентрической институциональной архитектуре. С другой стороны, чем совокупность факторов хозяйствования благоприятнее, тем центр извлечения стоимости ближе к площадке создания ценности, производству, и наоборот; более того, этой совокупностью факторов определяется, происходит извлечение, распределение стоимости в области длинной (на уровне интегрированной корпорации, вне которой производство не эффективно экономически) или короткой (близко к производству) дистанции (см. ниже). При этом на гипотетическом экономическом пространстве, где доступность и цена факторов производства однородна, наиболее эффективной структурой размещения производства является наиболее частая на единицу территории и наименее концентрированная по мощности из возможных, с учетом всех указанных видов входных барьеров, поскольку такая структура обеспечивает минимальную стоимость доставки до потребителя. Отсюда концентрированное размещение производительных сил и сопутствующая моноцентрическая институциональная архитектура всегда являются вынужденными, поскольку при наличии иной альтернативы относительно проигрышны для участников хозяйственного оборота, кем бы они ни были, – самостоятельных предпринимателей или ресурсно-силовых групп. Монополизация производства определенного блага, не вызванная объективной потребностью в концентрированном размещении производительных сил (т.е. малой численности и укрупненной мощности производственных площадок) в самой отрасли или отраслях-смежниках, является искусственной и неустойчива, поскольку корректируется рыночным или регуляторным путем под давлением участников хозяйственного оборота.

Институты той или иной степени инклюзивности могут нарождаться на достаточно раннем историческом этапе, более того, как правило, ядро стран с таким институциональным дизайном по-прежнему составляют либо обретшие его достаточно рано, либо расположенные на их месте. В основном для таких стран характерна естественная полицентричность силового ресурса, который на более позднем

этапе может быть консолидирован лишь под коллективным управлением. Такая его конфигурация не может быть насаждена искусственно и подразумевает, что монолитность контроля за «кормовой базой» не является наиболее эффективным способом извлечения стоимости для элиты. Соответственно это возможно лишь в местах, где природно-географические условия создают изобилие – не только в количественном плане, но и с точки зрения гетерогенности источников такового. Верховенство права и качественные институты, такие как справедливое судопроизводство и выборность власти, еще со времен премодерна выступают здесь основой процветания элиты. Они служат не только эффективному разрешению споров между уравнивающими друг друга элитными кланами, но и реализации потенциала естественных выгод страны, способствуют умножению местного капитала и притяжению внешнего в конкуренции с другими центрами. В этой связи, любая попытка узурпации аппарата принуждения ведет к возникновению альтернативных центров силы, которые всегда могут рассчитывать на щедрое содержание со стороны субъектов хозяйствования. Практически не существует сколько-нибудь масштабных или убедительных прецедентов обратной логической последовательности – когда создание институциональных условий для генерации капитала приводило бы к запуску модернизационного механизма вопреки ограничениям, накладываемым природными условиями на доступные способы производства. Коллективный контроль за силовым ресурсом и сопутствующая такому инклюзивность институтов существенно ускоряют течение модернизационных процессов, делают его поступательным и социально безопасным. Однако и они не гарантируют от откатов на этом пути, пока сам технологический уклад не делает именно знание основным фактором создания общественной стоимости, вследствие чего обладание силой утрачивает привлекательность. Для стран, где «кормовая база» гомогенна и/или скудна, полицентрическая конфигурация силового ресурса не является естественной, поскольку наиболее эффективным способом извлечения стоимости для элиты является консолидация, предполагающая экстрактивный характер институтов. В этой связи, для них модернизация практически полностью обусловлена способностью производить интеллектуальный продукт, не подверженный влиянию природно-географических ограничений, что часто требует привлечения не свойственного большинству таких стран типа человеческих ресурсов. Кроме того, модернизацию таких стран и абсорбцию их трудовых ресурсов может существенно облегчить технологический уклад, при котором все больше стандартных потребительских благ производится в рамках мелкосерийного производства для локального рынка, с пренебрежимо низким барьером входа, – соответственно ослабевает критичность емкости рынка, а потому и природно-географических факторов, определяющих плотность населения и доступность дешевых транспортных путей для экспорта.

Формальные институты в целом можно считать инклюзивными, если они служат согласованию разнонаправленных интересов стейкхолдеров. Однако само по себе многообразие последних не означает, что модус функционирования институтов обязательно – во всяком случае в равной мере – отражает состав населения и его интересы. Представленность той или иной группы интересов зависит от ее критичности для преобладающего способа производства – первоначально это сила, впоследствии труд и капитал, затем знание. По этой причине даже в наиболее развитых странах, с многовековой традицией политической конкуренции и широким спектром идеологических течений, время от времени наблюдается «кризис представительства», – когда выбор редуцирован уже на уровне политического предложения. Так, традиционная «лево-правая» партийная система в целом отражала индустриальную парадигму и была призвана сбалансировать интересы ее двух основных стейкхолдеров – труда и капитала. По мере перехода к экономике знаний она утрачивает актуальность: человек отличительного труда выступает предпринимателем, нанимателем «по отношению к себе»: он не нуждается в факторах производства ограниченной доступности, сам являясь наиболее дефицитным из них, поэтому претендует быть бенефициаром премиальной стоимости. Однако экономика знаний высвобождает трудовые ресурсы, поэтому линия водораздела между полюсами политического спектра смещается и отражает противоречие

между «включенными», способными к созданию отличительной ценности при помощи знаний, и всеми остальными, среди которых парадоксальным образом могут оказаться и традиционный труд, и традиционный финансовый капитал. Если характерное для первых политическое предложение остальной части общества состоит в обеспечении недискриминационного доступа к институтам «включения», прежде всего, образованию, то запрос вторых предполагает консервацию массового производства и ручного труда – например, путем протекционистской защиты внутреннего рынка от товаров из стран дешевого серийного производства, ограждения прав трудящихся, финансового обременения технологических новшеств и т.п. Примечательно, что на другом полюсе «невключенности» архаичный финансовый сектор, – длительная исключительно мягкая денежно-кредитная политика фактически превратилась в разновидность его субсидирования. При этом, воображаемая «идеологическая платформа» экономики знаний, вероятно, соединяла бы в себе наиболее смелые постулаты левой и правой идей. Так, возрастание номенклатуры ценностей, создаваемых в порядке общественного блага путем кооперации граждан, в противовес их производству для рыночного обмена, отсылает к социалистической (если не коммунистической) парадигме, в то время как постепенное замещение государства в качестве платформы кооперации граждан для создания такого блага различными микрообъединениями граждан – к либертарианской. Более того, в контурах нового уклада некоторые усматривают и квазиэлитарные черты, хотя государство здесь замещает иной, цифровой тип «Левиафана» – бессубъектный, но оттого не менее тотальный, что приводит к абсолютной прозрачности жизнедеятельности человека, стиранию границ между частной и публичной субъектностью (см. далее). Этому немало способствует изобилие неорганизованных информационных потоков, которое соответственно создает запрос на их фильтрацию и систематизацию. Такое видение отвечает и общему правилу, – фактическое представительство интересов индивида не вытекает из правового регулирования или архитектуры формальных институтов, а является следствием общественной значимости представляемого. Более того, при смене господствующего способа производства фактическое правление меньшинства следует считать безальтернативной нормой, поскольку основная масса населения на этом этапе пока не обрела своего места в новой структуре разделения труда, – и лишь постепенно расширяются слои, интересы которых представлены полноценно.

Ввиду того, что политика как таковая является сферой согласования интересов субъектов, претендующих на представительство и имеющих возможность настоять на таком праве, в полной мере ее механизмы функциональны лишь в условиях полицентрической конфигурации извлечения стоимости, бенефициары которой располагают возможностью прибегнуть к услугам альтернативного центра силы, если существующий действует вопреки массовым общественным интересам. Иначе говоря, представительство и полномерный объем прав всегда являются привилегией круга равных, – изменяется лишь то, насколько этот круг обширен в силу природы актуального способа производства, притом в диапазоне от единственного субъекта до всего населения. Индивидуальный запрос на представительство интересов и одновременно основания претендовать на таковое – независимо от институциональной формы такого представительства – в общем случае возникают у человека, либо если он обладает достаточной для этого относительной силой, либо если его личные качества востребованы, при этом не могут быть легко использованы силой или замещены. При трудозависимом способе производства, когда извлечение стоимости основывается на создании ценности, последнее можно отнести ко многим, поэтому формальное право на представительство становится более или менее всеобщим. При этом способе производства появляются массовые классы, прежде всего рабочий и предпринимательский, а также прослойка интеллектуалов, а за право выражать их интересы в публичной власти борются различные политические силы, – так что формальную институциональную архитектуру в целом можно считать отражающей неформальную. Тем не менее, фактический вес представительства, который можно определить как влияние, все равно увязан с мерой уникальности отличительного навыка человека, более

того, переход на новый виток технологического совершенства может приводить к ревизии института представительства – прежде всего именно в понимании влияния.

При этом полицентрическая политическая конфигурация характерна не только для наиболее развитых стран с трудозависимым способом производства, где контроль над институтами коллегиален, но и для пребывающих в состоянии «феодальной раздробленности» с ресурсозависимым способом производства (см. далее). Публичные институты здесь дисфункциональны и поделены между различными силовыми акторами, а субъектность государства как такового ничтожна. Состояние раздробленности может быть стационарным, если рентные наделы таких акторов, во-первых, сопоставимы по стоимости, во-вторых, обособлены физически, в-третьих автономны экономически. Последнее означает, что такие ренты не должны являться частью одной хозяйственной цепочки, – т.е. утрата стоимости какой-либо из рент не должна приводить к существенной утрате стоимости других и наоборот, – либо хотя бы зависимость таковых друг от друга должны быть взаимной. Иначе говоря, политический субъект не может возникнуть вокруг такого рентного надела, стоимость которого обусловлена другими рентными наделами без встречной зависимости. Более того, стоит только рыночной мощи из-за конъюнктуры переместиться от немонопольного передела к монопольному, и полицентрическая ресурсно-силовая архитектура сменяется моноцентрической, – разумеется, верно и обратное. Например, описанное происходит в случае, когда низкий спрос на некоторый вид сырья сменяется высоким, в то время как для доставки покупателю доступна единственная транзитная территория или транспортная артерия/система, – тогда вокруг транспортного передела формируется ресурсно-силовая корпорация подавляющей мощи, которая подчиняет себе и выгодоприобретателей производственного передела.

Объективная связанность «кормовых» баз выступает основным фактором межклановой борьбы, при этом зависимая ресурсная база в конечном итоге – в результате борьбы, договоренности, династического поглощения и т.п. – оказывается в распоряжении клана, «кормящегося» от более первичной ренты. Напротив, консолидация автономных и равновеликих ресурсных баз в конечном итоге ведет к дроблению таковых изнутри и восстановлению полицентричности – силовой и политической. В этом состоянии институциональная архитектура частично инклюзивна, если иметь в виду представительство интересов ресурсно-силовых акторов, уравнивающих влияние друг друга, – более того, для согласования интересов они могут прибегать к вполне конкурентным политическим механизмам, с передовым «фасадом». Однако в действительности статусом институтов в таком обществе справедливо наделять лишь неформальные кланы, а не публичные органы власти, – каждый из них в отдельности по внутренней природе является экстрактивным, по праву силы присваивает примитивные ресурсы в рамках своей «вотчины», при этом чужероден населению. Более того, несменяемость единственного ресурсно-силового клана обычно сопровождается некоторой субсидией населению, которое ощущает себя вверенным попечению ответственного правителя. Напротив, феодальная раздробленность позволяет уйти от обременительных обязательств по отношению к подданным ввиду множества центров ответственности («коллективной безответственности»), а взамен предлагает иллюзию выбора, сменяемости власти. Действительно, как неформальные, так и публичные институты при такой социальной архитектуре могут регулярно обновляться, – однако это отнюдь не тождественно отмене самой ресурсно-силовой природы элит и отчуждения, бесправия населения, трансформации общественных отношений.

Зарождение новых и разрушение старых элитных корпораций, изменения в их структуре и влиянии не связаны с избирательными циклами или обновлением личного состава публичной власти другим способом, – государственный аппарат лишь гибко приспосабливается к новой реальности, воспроизводит ее. Публичные должности и политические объединения здесь служат источниками

сервисных рент и являются обращаемыми активами, – так что соответствующие вложения требуют отдачи, которая обусловлена обслуживанием интересов ресурсно-силовых кланов. Перемены в составе последних всецело обусловлены качественными и/или количественными изменениями самой ресурсной базы и соотношением силовых возможностей. Отсюда именно управление силовым аппаратом и ресурсной базой составляет предмет основной деятельности клана, который не подлежит аутсорсингу и всегда осуществляется силами «семьи». Это справедливо даже в том случае, если в узком кругу отсутствуют лица с соответствующими компетенциями, – однако учитывается при подборе претендентов на кооптацию в состав «семьи», например, в ходе брачного расширения династии. Таким образом, кланы премодерна, в т.ч. современных формаций этого типа, не следует препарировать в терминах дихотомии государственного и частного секторов, – эта система координат актуальна для социального и хозяйственного оборота модерна. Досовременные ресурсно-силовые группы выступают фактическими учредителями и выгодоприобретателями государства, при этом имеют сквозную структуру: как правило, их центры прибыли вынесены в «частный» сектор, в область потребления и накопления семей, – в то время как центры затрат находятся в «государственном», «публичном» секторе. Соотношение ресурсов между этими сегментами клан регулирует самостоятельно, – в целом, разумеется, он исходит из задачи максимизировать первый и минимизировать второй, однако в этом случае «государственный карман сберегает частный». Во-первых, в государственной собственности целесообразно сохранять административно-силовой аппарат, а также производственные комплексы с высокими капиталоемкостью и численностью занятых, поскольку они генерируют значительные капитальные и операционные затраты, задолженность. Во-вторых, «записанные» на государство резервы или центры прибыли служат источником расчетов между кланами, а также с третьими сторонами по оказанным разовым услугам. В-третьих, «публичный ресурсный резервуар» необходим для обеспечения лояльности и содержания податного населения – прежде всего с тем, чтобы обезопасить себя от происков конкурирующих кланов, которые могли бы организовать и направить недовольство низов в интересах передела «кормовой базы». Свободные от указанных целей ресурсы силовые группы предпочитают изымать в облики «частного» бизнеса – притом не обремененного значительными активами и обязательствами. Для этого достаточно иметь фактические (безотносительно того, закреплены ли они формально) эксклюзивные права на распоряжение входящими и исходящими потоками, а также аналогичным образом контролировать смежные секторы, – последние могут осуществлять снабжение основного рентного надела или потреблять его продукцию, осваивать накопленный капитал и т.п.

Верно также и обратное: моноцентрическая политическая конфигурация встречается не только в странах с замедленным развитием, ресурсно-силовым типом хозяйства, но и весьма развитых – в ситуации мобилизации ресурсов, когда центр концентрации тяготеет к тому, чтобы совпасть с центром силы, вплоть до образования институтов и практик, характерных для тоталитарного режима (см. далее). Однако в этом случае собственно центр силы не является бенефициаром изымаемой посредством экстрактивных институтов стоимости, а в сослужении с хозяйственной вертикалью образует правящую бюрократию, которая обеспечивает перераспределение и реинвестирование аккумулированных экстрактивными методами ресурсов, более того, такая бюрократия в той или иной форме может иметь мандат населения (точнее, нации) на применение тоталитарных практик. Причина такого «парадокса» заключается в том, что потребности архаического и модернистского сообществ в ресурсах принципиально различны как по целям, так и в количественном отношении, – хотя в обоих случаях экстрактивное воздействие обращено на прибавочную стоимость, на потребление большинства населения и на внешние источники, добытые преимущественно военным путем. В архаическом сообществе эти потребности сравнительно невелики и сводятся к обеспечению потребления правящего меньшинства, поэтому ресурсы преимущественно изымаются из хозяйственного оборота без производительного освоения в общественных интересах, а дифференциация доходов экстремально

высока. По этой причине в условиях «кормового» изобилия силовая элита архаического сообщества консолидирована, поскольку, как уже отмечалось, для нее это наиболее выгодный способ присвоения стоимости, а при обмелении источников таковой она фрагментируется и «отбывает» ближе к местам ее образования, нарушая снабжение патримониального центра и вызывая его дисфункцию. При этом консолидация и фрагментация силовых элит в зависимости от состояния «кормовой базы» происходит достаточно просто и стремительно: наиболее простым способом цементировать «кормовые» отношения выступает династическое единение, соответственно разрушение таковых фиксируется разладом в знатных семействах. В модернистском сообществе, напротив, прибавочная стоимость предназначена для реинвестирования с целью создания новой ценности, поэтому потребность в капитале сравнительно высока, а на определенном этапе развития выступает ключевым фактором давления на институциональную архитектуру.

Общей закономерностью здесь служит то, что любой рынок, достигающий парето-равновесия при условии наличия лишь единственного продавца и/или покупателя (монополии и/или монополии), тяготеет к тому, чтобы таким участником выступало государство, – а наиболее распространенной причиной такого положения служит критически высокий уровень капиталоемкости соответственно производства и/или потребления блага. В этих условиях силовая организация государства достигает беспрецедентного могущества, однако не имеет собственной субъектности и подчинена политической вертикали, а изъятие стоимости не приводит к вызывающей дифференциации доходов, невзирая на экстрактивный характер институтов. Таким образом, в стране, где экономика отличается высокой внутренней динамикой, верхняя точка капиталоемкости технологического уклада неизбежно вызывает тяготение к централизации политической конфигурации, которая ослабевает лишь по мере удешевления капитальной стоимости роста общественного продукта. Эту точку отличает также снижение защищенности интересов человека как при распределении, так и с точки зрения гражданских свобод, – в то время как в архаическом сообществе парадоксальным образом повышение уровня централизации для нижних сословий выступает более комфортной фазой, чем раздробленность: снижение кормовой обеспеченности ресурсно-силовые феодалы компенсируют не только за счет сюзерена, но прежде всего в ущерб нижним сословиям. Это утверждение становится полным в совокупности с другим: парето-равновесие на некотором рынке может достигаться и при количестве участников менее одного, – т.е. покупательской способности населения недостаточно, чтобы при равновесной цене сгенерировать спрос в объеме, достаточном для рентабельного производства. В этом случае, как правило, потребности в соответствующих благах удовлетворяются за счет импорта, – и здесь одновременно наступают два последствия. С одной стороны, экономика тяготеет к примитивизации, что с неизбежностью ведет к росту неосновательного неравенства и ухудшению качества человеческого капитала. С другой стороны, снижается нагрузка на институциональную архитектуру, ведущая к ее централизации с соответствующими негативными последствиями для политической системы и прав человека, – однако экономическое положение нижних сословий в этих условиях дискредитирует демократические институты. Отсюда конкурентные формальные институты не только не оказывают глубинного влияния на процесс модернизации, но и могут при некоторых условиях выступать следствием торможения такового. Справедливо также утверждать, что если у общности с трудозависимым способом производства и моноцентрической политической конфигурацией процесс деархаизации протекает неотвратимо, в т.ч. в сторону полицентрической конфигурации, то в условиях ресурсозависимого способа производства этот процесс крайне осложнен застойной социальной динамикой и нуждается в весьма тяжелых, фундаментальных импульсах, – даже если политическая конфигурация является полицентрической, конкурентной.

Вовне интересы республиканского государства формируются как производная от равнодействующей интересов различных внутренних акторов. Для «оккупационного» государства,

напротив, характерен дефективный, кулуарно-теневой, «дворцовый» характер внутренней политики, поскольку лишь один субъект в состоянии настоять на учете собственных интересов, – и он совмещен с функцией публичной власти. Однако вовне этот субъект сталкивается с интересами других полноправных политических акторов, будь то государства или даже отдельные субъекты полицентрической матрицы других стран напрямую (от отдельных политических партий до крупных корпораций). Отсюда расщепление вектора внешних сношений государства такого типа: в рамках полицентрической политической конфигурации субъектность отдельных акторов первична по сравнению с субъектностью государства, в то время как в рамках моноцентрической актор является единственным. Таким образом, во внешней политике субъект, внутри своей страны выступающий безальтернативным, активно вовлечен в политический процесс, претендует на представительство и учет своих интересов. В этой связи, для такого государства характерно активное вторжение внешнеполитической повестки дня во внутреннюю политику и даже декларативный приоритет первой.

2.2 Институциональная архитектура как функция типа накапливаемого капитала. Транзакционные издержки и эффект социальной дистанции

Фактически институты формируются как инклюзивные или экстрактивные в зависимости от того, где изначально образуется легитимность, т.е. источники стоимости и сила для их защиты – «внизу» или «вверху», вторичное наделение таковой происходит в обратном направлении – соответственно «снизу вверх» или «сверху вниз». Первообразный субъект сохраняет роль безусловного принцепала в институциональной организации, независимо от законодательного статуса является фактическим носителем суверенитета и источником права на легитимное насилие, производный же остается вторичен или даже скорее является объектом воли первого – соответственно либо «центром обслуживания», либо «приданным населением». По этой причине в первом случае публичные институты, включая силовые, выступают гарантом транзакционных рисков для субъектов хозяйствования и подконтрольны им, во втором совмещены с центром хозяйствования. Этот тезис можно сформулировать более радикально: в первом случае государство производно от населения, которое является нацией, в полной мере ответственной за действия собственного государства. Во втором случае государство само является объектом собственности субъекта силы, при этом элита находится с ним в отношениях родоплеменной лояльности, а применительно к населению они совместно воспроизводит архетип «оккупационной администрации».

Эта дихотомия имеет отношение к хрестоматийному противопоставлению индивидуализма и коллективизма и является конгруэнтной антитезе модернистского и архаического сообществ, – однако следует избегать часто встречающегося линейного, примитивного, вульгарного упрощения в трактовке этих понятий. В непосредственном смысле они относятся к самоидентификации индивида – т.е. к тому, в какой мере он может помыслить себя как нечто самоценное, а в какой лишь как часть большего целого. В свою очередь, за самоидентификацию в экономически значимом смысле следует принимать лишь такое определение себя, которое недвусмысленно указывает, кого индивид рассматривает в качестве источника удовлетворения своих насущных потребностей. Так, архаическое сообщество не обязательно является сплоченным подобно патриархальной семье, роду или племени, – оно в равной мере может состоять из экстремально разобщенных, крайне эгоистичных индивидов, подобно рабам, у которых нет свободных от воли господина ресурсов времени для поддержания горизонтальных связей, но есть опасение по отношению к окружающим. Тем не менее, даже в последнем случае у индивида не остается иного способа идентифицировать себя, кроме как в качестве подданного определенного вожества – т.е. по личности

господина, который одновременно является единственным источником благ в каком бы то ни было объеме. Напротив, приоритет собственных интересов над общими, – даже основанный на собственности, личном суверенитете, свободе воли, – нельзя считать модернистским идеалом, поскольку вызывает к жизни потребность в силовой защите таких интересов, соответственно риск злоупотребления силовым ресурсом и необходимость постоянного общественного контроля за ним. Отличие конкурентного поведения свободного человека от такового у невольника не столько в некоей изначальной благонамеренности первого. Чтобы добиться доброкачественной мотивации, необходимо отсечь саму возможность злоупотребления при помощи крайне дорогостоящей и имеющей непостоянную эффективность инфраструктуры неформальных и формальных институтов (см. ниже), которую могут себе позволить лишь немногие общности, – у прочих же заимствованные институты вырождаются в имитационные и не выполняют задуманную миссию. Различие же двух типов конкурентного поведения сводится к тому, что свободный человек одновременно с активным действием принимает на себя полную ответственность за его последствия, – в то время как невольник рассчитывать избежать таковой благодаря «невнимательности» хозяина и окружающих, а в случае неудачи не принимает на собственный счет наступившие последствия.

Отсюда гарантировать представительство интересов отдельно взятого индивида без предварительных условий или побочных социальных эффектов может лишь обладание общественно полезным ремеслом, профессией, – а это, в свою очередь, вызывает необходимость в ассоциации со своим профессиональным сообществом, в котором отношения основаны на общем интересе. Наконец, для любой общности чрезвычайно важен набор таких благ, преимуществами которых в силу их природы можно устойчиво пользоваться только при условии доступности многим, в пределе всем (см. ниже), – от безопасности до охраны здоровья. Качество этих благ и их усвоение тесно связано с самой организацией повседневной жизни человека, семьи, состоянием общественного пространства и окружающей среды, непрерывным развитием профессиональных школ. В этой связи, на деле в общественном масштабе затраты по предоставлению таких благ немногим и по обеспечению широкого доступа к таковым вполне сопоставимы. Однако в первом случае значительная часть из общего объема целевых ресурсов должна быть направлена на огораживание жизненного пространства бенефициаров и индустрии их обслуживания, физическое отграничение таковых от основной части населения, – более того, население в этом случае практически не участвует своими ресурсами в создании указанных благ. Отсюда в общностях, где такие блага могут себе позволить лишь немногие, даже последние по возможности предпочитают пользоваться ими там, где они общедоступны, – и это иллюстрирует заведомую выгодность приоритета общих интересов. В то же время, «дома» правящие классы таких общностей обустривают лишь инфраструктуру первичного удовлетворения неотложных нужд, а остаточный избыток созданных при этом мощностей предоставляют в пользование населению – на возмездной, в той или иной форме, основе.

Таким образом, для наиболее модернистских общностей одновременно характерен безусловный примат личного суверенитета и высокий уровень социального капитала, коллективный тип решения задач безопасности, создания и распределения стоимости, – в различной степени это относится ко всей Северной Европе, Швейцарии, Израилю, русским общностям старообрядческого генезиса и пр. Более того, изначальное, по определению, поле доверия и горизонтальных транзакций образует лишь такое сообщество, у которого первообразные условия не допускали дифференциации критической массы людей по отношению к решению задач безопасности, – либо к ним были причастны «чересчур многие» для сегрегации, либо все были равно отчуждены от них. В других общностях этот тип взаимодействия появляется в результате последующей экономико-антропологической эволюции, благодаря которой от социальной маргинализации, игнорирования интересов человека защищает сам род его занятий. В сообществе, сформировавшемся на принципах коллективизма, в отношении индивида с окружающими

не вторгается трансцендентная воля непреодолимой силы, – а если вторгается, то это однозначно считается как интервенция, требующий коллективного реагирования эксцесс. Наконец, когда легитимное насилие становится уделом специальных централизованных институтов, эффективный коллективный контроль над ними в такого рода общности неизбежно становится краеугольным элементом общественного договора. Вместе с тем, коллективизм, или норма короткой социальной дистанции, характерен также для сообщества полярно архаического типа, – тем самым оно отсекает индивида от внешнего влияния, которое могло бы способствовать его трансформации. Корректно утверждать, что установка на коллективизм практически в любой общности является индикатором специфических обстоятельств, имеющих следствием неоптимальность индивидуального ведения хозяйства. При этом архаическое сообщество возникает в условиях сложных природно-климатических условий, совмещенных с географической изоляцией: запретительные риски индивидуального хозяйствования здесь чреватые эффектом «пищевой конкуренции», междоусобицей за ограниченные ресурсы, – так что общность склонна вверить себя попечению некоторого дистанцированного центра ресурсно-силового экстремума. В условиях субконтинентальной изоляции от внимания такого центра невозможно надежно укрыть даже продукты «диких» промыслов – собирательства, лесоводства, охоты, речного и озерного рыболовства. Напротив, промысел в открытом море всегда оставляет доступной с точки зрения издержек опцию укрыть улов на другом берегу и даже поменять место жительства, в связи с чем между различными прибрежными общностями всегда существует конкуренция за лучшее качество институтов. Таким образом, модернистское сообщество на принципах коллективизма возникает в условиях, когда неблагоприятные природно-климатические условия не сопровождаются географической изоляцией, при этом всеобщее разделение рисков ведет к улучшению качества жизни для всех. Аналогичный по существенным признакам тип социальной организации нарождается у преследуемых меньшинств, как правило, утесняемых до неблагоприятных ареалов обитания и несущих дополнительные издержки в связи со своим положением, а также в полисах, где сама плотность населения диктует необходимость повседневного взаимодействия.

Во всех указанных случаях весьма обширная область совместного хозяйственного, а часто и силового ведения, тем не менее, не только не означает отчуждения суверенитета, но предполагает довольно интенсивную вовлеченность общности в повседневное принятие решений об оптимальном использовании ресурсов и их распределении, более того, влечет выработку такого уровня общественного доверия, который стремится к стандарту семьи. В то же время, установка на индивидуализм, или норма длинной социальной дистанции, препятствует последовательной реализации как модернистской, так и архаической системы ценностей и характерна соответственно для «субмодернистского» и «субархаического» сообществ (см. далее). Более того, такая установка в принципе смягчает следование каким бы то ни было ценностям, если они непосредственно влияют на повседневный образ жизни человека, и скорее побуждает руководствоваться выгодами в преобладающем для данного сообщества понимании таковых. Соответственно для отношений короткой дистанции – как на низком, так и на высоком уровне развития общности – характерна т.н. механическая солидарность, основанная на сходстве людей – с той существенной разницей, что в первом случае, у архаических сообществ, это сходство врожденных признаков, во втором же, у модернистских, прежде всего приобретенных. Напротив, для отношений длинной дистанции характерна т.н. органическая солидарность, основанная на сходстве интересов, пусть и весьма различающихся между собой людей, – в частности, этот феномен формирует массовые классы в «субмодернистском» сообществе, в «субархаическом» же обуславливает тяготение к атомизации индивидов ввиду антагонизма интересов.

В этой связи применительно к представлениям о способе организации социального взаимодействия уместна не биполярная антитеза, а треугольник «солидарность – конкуренция – патернализм». Соотношение приоритетов в этом треугольнике может быть различным (см. далее),

однако, как правило, оно соответствует тому, какой тип капитала общность стремится накапливать в приоритетном порядке, – это соответственно человеческий, финансовый или силовой капитал. Экономической основой силового капитала служит доход от ценностей, качество которых не меняется в зависимости от качества прилагаемого для их непосредственного производства труда. Это определение включает такую фазу жизненного цикла капиталоемкого производства, когда требующие отличительных знаний вложения уже произведены, и в сколько-нибудь обозримом будущем безотлагательной нужды в них не предвидится. В частности, если основной первичный промысел общности способствует накоплению силового капитала, то разовые или нечастые вложения в запуск и поддержание промысла она, как правило, осуществляет не собственными, а временно привлеченными человеческими ресурсами. Прежде всего доход от такого промысла сводится к ренте, которую следует понимать либо как премию за редкость, труднодоступность определенного блага природы, либо как плату за выгодное (т.е. редкое) положение на таком рынке, который страдает малой глубиной по объективным причинам. Тем самым в последнем случае ошибочно полагать, что ухудшение экономических условий является следствием взимаемой административной ренты. Напротив, соотношение емкости рынка сбыта и затрат, не эластичных по объему производства, ограничивает количество участников рынка, допустимое для реализации эффекта экономии на масштабе и прибыльного хозяйствования, и вызывает появление платы за доступ на рынок в пользу некоторого административно-силового актора – легальной или теневой (см. ниже). При этом более или менее высокий по сравнению с объективно обусловленным уровень концентрации рынка при любом способе производства следует считать частью колебательного процесса, который далее приведет соответственно к появлению или к ликвидации альтернативной точки извлечения стоимости. Следуя теории рынка, это утверждение верно в отношении любой хозяйственной деятельности, независимо от того, накоплению какой из трех разновидностей капитала она способствует, – если только отрасль является первичной для конкретной общности и в решающей мере не находится в вертикальной зависимости от прочих, обладающих не меньшей рыночной мощью (см. ниже). В случае такой зависимости подчиненная отрасль не оказывает влияния на то, какой вид капитала общность накапливает, поскольку доминантная в состоянии регулировать доходность таковой, – соответственно бенефициар первой имеет влияние на институциональную архитектуру, а второй нет. Если же первичная для общности отрасль является вторичной по отношению к хозяйствующим субъектам за ее пределами с не меньшей рыночной мощью, то в конечном итоге над институциональной организацией общности начинает довлеть заметное тяготение к внешнему управлению, которое нивелируется в случае встречной зависимости и усиливается в случае односторонней. Вместе с тем, основой силового капитала рента становится лишь в случае, если члены общности не предъявляют в отношении ее распределения непосредственные индивидуальные, именные права, – обычно это характерно для общностей, где и силовой ресурс популяцией напрямую контролируется коллективно (см. ниже). Кроме того, качеством редкости и премиальной ценой может характеризоваться продукт не только ресурсозависимого, но и трудозависимого производства. Однако в последнем случае эффект редкости преодолим, а цена создает у конкурента соответствующий стимул, – так что в определенный момент времени премиальная цена на трудозависимый продукт действительно свидетельствует об антропогенной природе успеха производителя, а премия не выступает экономической основой силового капитала. Экономической основой финансового капитала выступает чистый предпринимательский доход, т.е. выгода от реализации любых ценностей за вычетом, с одной стороны, рента, а с другой – доли, которая в различных формах причитается общности в целом в лице любых солидарных институтов, от государства до трудовых коллективов. Это определение включает в себя и доход от вторичных финансовых активов, источником которого в конечном итоге выступает прибавочный продукт. Наконец, экономической основой человеческого капитала выступает совокупный трудовой и/или гражданский доход в объеме, превышающем стоимость физического воспроизводства человеческих ресурсов. Это определение

включает весь объем благ, причитающийся гражданам, – будь то от работодателя, семьи или любых солидарных институтов, в денежной или натуральной форме.

При этом сбережения могут возникать на основе любого из указанных источников – равно как и направляться на цели, ведущие к расширению любых таких источников. По этой причине неверно считать, что уже в силу своей природы они являются основой финансового капитала, – более того, каждому способу производства соответствует какой-либо из трех видов капитала, дающий в этот период преимущество своему обладателю (см. ниже). Так, стереотип уходящей индустриальной эпохи позиционирует финансовый капитал в качестве наиболее дефицитного фактора производства, – это делает непропорционально большую часть современных сбережений основой капитала именно этого вида. Верно и то, что, объекты силового или человеческого капитала – в отличие от финансового – не являются стандартными обрабатываемыми рыночными активами, вложения в них редко считаются как инвестиции в расчете на отсроченную отдачу, а склонность вкладывать в них скорее диктуется объективно обусловленным образом жизни некоторой общности. Как правило, на заре своей истории любые этносы прежде всего стремились к накоплению силового капитала: это был практически единственный способ наращивать кормовую базу, соответственно силовая организация претендовала на основные выгоды от распределения общественной стоимости, – так что на долю финансового и человеческого капитала оставалась минимальная часть таковой. К накоплению финансового капитала перешли далеко не все общности, а лишь обладающие объективными конкурентными преимуществами для развития чрезвычайно капиталоемкого массового индустриального производства (см. далее). Ожидаемым образом такая капиталоемкость культивировала концентрацию производства, соответственно также способствовала накоплению силового капитала, – при этом промышленность и инфраструктура потребляли практически весь предпринимательский доход, в результате чего финансовый капитал мог рассчитывать на политическую субъектность лишь в сослужении с административно-силовым аппаратом. В этом противоречии, в частности, отразилась феноменология тоталитарных режимов и мировых войн XX века, которые явились продолжением борьбы национальных индустрий за рынки и инфраструктуру снабжения и сбыта, т.е. за норму предпринимательского дохода. В конечном итоге борьба за возрастание финансового капитала также предполагала обретение таковым политической субъектности в рамках собственной общности и влияния на государственный аппарат. Наконец, по мере снижения капиталоемкости общественного продукта переход к модели хозяйствования на основе накопления человеческого капитала теоретически вновь станет доступен всем общностям, поскольку в пределе единица концентрации создания ценности в этих условиях тяготеет к отдельно взятому индивиду.

Каждый из трех типов капитала имеет свойство умножать свою стоимость и позволяет за счет этого приобретать другие ценности, в т.ч. для целей организации тех производств, которым благоприятствуют конкурентные преимущества конкретной общности, создания общественных благ. Отсюда общность стремится вырабатывать соответствующий тип ресурса в предельном объеме, превышающем прямую потребность в нем, чтобы иметь возможность применить излишек для внутреннего и внешнего обмена, умножения благосостояния. Более того, из соображений рыночной мощи и наращивания покупательской способности «основной» разновидности капитала общность может прибегать к угнетению стоимости «неосновных», использовать их в качестве экстрактивного «резервуара». С этой точки зрения примечательно, что избыточное, не обладающее навыками к антропологически ценному труду городское население в каждой общности, как правило, в приоритетном порядке «приписано» к сектору, в котором вырабатывается капитал основного типа. Так, если указанная роль отводится силовому капиталу, то областью избыточной занятости выступают институты легитимного принуждения, административно-бюрократический аппарат государства и хозяйствующих субъектов, а также криминальные структуры и промыслы; если финансовому – то торговое, финансовое

и иное посредничество; если человеческому – то социальная поддержка, будь то в виде реципиентов соответствующей поддержки или аппарата профильных ведомств.

Кроме того, соотношение приоритетов в треугольнике «солидарность – конкуренция – патернализм» определяет систему представлений об общественном благе – материальных ценностях, отдача от которых существенно превышает поддающуюся линейной стоимостной оценке величину, – а соответственно институты. Общественное благо обладает рядом особенностей, которые отличают его от обычного товара или услуги, поскольку свою потребительскую ценность оно реализует лишь при условии широкой доступности, в пределе всеобщей («одно благо на всех вскладчину»), – в противном случае большая часть такой ценности утрачивается даже у «счастливого» получателя конкретной услуги. Так, в некоторой общности привилегированный класс может иметь доступ к образованию, здравоохранению, благоустроенным районам проживания, силовой защите, – тем не менее, хозяйство здесь не сможет предъявить спрос на высококвалифицированный труд, жизненное пространство не будет способствовать здоровому образу жизни и безопасности, а транзакционное поле окажется узким, как и область доверия. В этой связи, в современном мире общественная повестка дня склонна рассматривать соответствующие отрасли не как совокупность хозяйствующих субъектов, производящих услуги для своей целевой аудитории, а как единые системы – по меньшей мере в части институтов, приобретающих такие блага и аккумулирующих для этого ресурсы, а в случае высокой капиталоемкости еще и в части их производства.

Примат солидарности предполагает, что бремя создания и приобретения блага распределено равномерно во времени и относится на всех дееспособных граждан в той или иной форме – независимо от того, кто, когда и в какой мере таковым пользуется. Тем самым все ресурсы общности, вне зависимости от имущественной состоятельности конкретного индивида, мобилизуются для обеспечения высокого стандарта общедоступных благ и преобразуются в качество человеческого капитала. Фактически социум функционирует как община, «многоячейная семья», субъектами которой выступают не столько домохозяйства, сколько индивиды, поэтому выполнение обязанностей в отношении близких рассматривается как общественно полезная функция и даже может быть возмездным. Эта модель снижает критичность потребности домохозяйства в сбережениях на будущее, – так что в конечном итоге основная часть финансовых накоплений оказывается в распоряжении государства и прочих солидарных институтов, которые, в свою очередь, в результате оказываются наиболее крупными внутренними инвесторами. Поскольку успешные домохозяйства здесь не обязательно располагают капиталом, для них также не является фронтальным явлением регулярное пользование заемными средствами, собственность на жилье и многие предметы длительного употребления, финансовые инвестиции, – индивид склонен сводить свои траты к более или менее текущим и платить за фактическое пользование. Обратной стороной этого явления выступает сравнительно равномерный, при этом достаточно высокий уровень качества благ и потребительских цен: индивид может себе позволить тратить на потребление относительно высокую долю дохода.

В обществе, исповедующем примат конкуренции, экономически неделимой единицей выступает домохозяйство – семья, приватный «центр прибыли/затрат», который также выступает донором ресурсов на общие нужды или реципиентом помощи извне, суверенно распоряжается располагаемыми средствами – равно как и остается наедине с бременем ответственности. Производство и приобретение блага, как и любой другой ценности, является ответственностью продавца и покупателя, однако последний может позаботиться об источниках и условиях приобретения такового заблаговременно посредством различных инструментов – как правило, также коммерчески мотивированных (накопительных, страховых и пр.). В этой связи, домохозяйства формируют значительные накопления, которые аккумулируются диверсифицированным финансовым сектором – основным инвестором в собственную, а также зарубежные экономики. Располагая капиталом, домохозяйства склонны пользоваться заемными

средствами, приобретать жилье и товары длительного употребления в собственность, создавать финансовые инвестиции. Обратной стороной потребности в накоплениях и обслуживании заемного финансирования служит чрезвычайно высокий уровень расслоения домохозяйств с точки зрения потребительского профиля, в отношении качества и цен доступных, а соответственно представленных на рынке благ. В такой общности учреждения по созданию общественных благ могут привлекать капитал в целом так же, как коммерческий сектор, однако имущественная сегрегация приводит к тому, что ресурсы наиболее состоятельных пользователей исключаются из материальной базы развития общедоступного стандарта. Таким образом, в общенациональном масштабе пользовательские институты чаще всего оказываются менее качественными и эффективными по объективным критериям, чем в странах, где их аналоги формируются по солидарному принципу: хотя авангардное звено здесь может быть весьма передовым в технологическом отношении, в массовом и особенно нижнем звеньях совокупность располагаемых целевых ресурсов адресной аудитории оказывается на грани или ниже входного барьера производства блага, что де-факто приводит к поражению значительной части населения в правах.

Наконец, в патерналистском обществе приобретение блага осуществляется по остаточному принципу, относится на усмотрение и ответственность других поколений семьи – в прямом смысле или в понимании общности как единой и нераздельной семьи, опирающейся на ресурс «главы семейства», вождя, наиболее дееспособного в силовом отношении патримониального попечителя, т.е. за счет «милости» последнего. Такой субъект наделен безусловной общественной субъектностью, выступает единоличным бенефициаром общественной прибавочной стоимости и накоплений, выступает безальтернативным внутренним инвестором. При этом он предпочитает минимизировать такие инвестиции и вывозить капитал – как правило, в страны, где доминируют общности, которые основаны на примате конкуренции и располагают наиболее привлекательными финансовыми системами. Напротив, домохозяйства прямо или косвенно находятся на положении невольников, – так что имущество находится у них в условной собственности, фактически в пользовании до востребования. Экономические условия предоставления имущества в собственность являются частью пакета содержания податного населения и могут изменяться с таким пакетом: его размер в каждый период времени является итогом балансирования двух факторов – кормовой обеспеченности силовой корпорации, с одной стороны, и способности подданных поколебать силовую мощь таковой при превышении определенного порога поборов, с другой.

Различие между тремя указанными типами институциональной архитектуры непосредственным образом коррелирует с тем, как у сообществ модернистского и архаического типа различается характер имущественной дифференциации – не только в уровне доходов и потребления у различных слоев, но и в доступных для таких слоев соотношениях качества и цены потребляемых благ. Так, для архаического, патерналистского сообщества характерен не только самый высокий, граничащий с порогом распада социальной ткани общности уровень имущественного расслоения, но и нарастание привлекательности соотношения качества и цены благ вместе с сословным положением, – все больше таковых становятся доступными бесплатно, по праву силы. Напротив, у модернистских сообществ такое соотношение выглядит наиболее привлекательным у средних слоев, более того, со временем точка оптимума тяготеет к снижению в социальной иерархии, – так что премиальное потребление стремительно утрачивает привлекательность по мере наращивания. Этому описанию наиболее полно отвечает общность, основанная на принципах солидарности: доходы граждан здесь в основном определяются качеством и количеством труда, – т.е. дисперсия таковых довольно ограничена. При этом превышение нормы чистого (за вычетом обязательств перед общностью в лице государства, солидарных институтов или трудовых коллективов) предпринимательского дохода над платой за труд аналогичного уровня сложности не настолько велико, чтобы существенным образом увеличить имущественное расслоение. Это объясняется тем, что высокая плотность населения и/или низкий уровень транзакционных издержек (см. ниже)

неизбежно имеют следствием сравнительно низкий барьер входа, низкий уровень инвестиционного риска и высокую плотность субъектов хозяйствования. Указанные факторы делают приоритетным интенсивный способ роста, выравнивают предпринимательскую деятельность с профессиональной по степени финансовой и социальной привлекательности.

В этой связи, институциональная архитектура общности, основанной на примате конкуренции, выглядит промежуточной и все еще далека от модернистского образца. В условиях высоких транзакционных издержек и сравнительно высокого уровня инвестиционного риска предпринимательский доход здесь значительно превышает плату за труд аналогичного уровня сложности и занимает значительное место в распределении совокупного общественного дохода. Это явление выступает следствием «разрывов» социальной ткани, возникающих в благоприятном, но географически и/или социально разреженном пространстве (см. ниже). Такие «разрывы» существенным образом повышают издержки транзакционного взаимодействия, но на фоне значительной глубины рынка одновременно ослабляют ограничения для экстенсивного роста, – поэтому деятельность по их заполнению становится источником премиальной доходности. Таким образом, с точки зрения траектории модернизации примат конкуренции в значительной мере искажает экономическую мотивацию разрывом между благосостоянием и антропологической ценностью, сложностью труда, – соответственно изначально, объективно заключает в себе потенциал попятной динамики. В одни исторические периоды финансовый капитал может содействовать преодолению барьеров для инноваций и улучшения качества жизни, в другие же, напротив, воздвигать такие барьеры, при этом потворствовать опережающему развитию отраслей с низкой антропологической продуктивностью (см. ранее и далее). Отсюда важно корректно понимать сравнение общностей с точки зрения уровня стереотипной склонности избегать неопределенности. Различие таких уровней следует трактовать не как склонность по-разному относиться к одним и тем же факторам неопределенности, а как следствие различий в картах типовых неопределенностей, с которыми стереотипно сталкиваются различные общности. По этой причине у типичного представителя общности или выходца из нее сформировано определенное восприятие неопределенности – как чего-то желательного или нежелательного. Разумеется, неопределенность куда реже ассоциируется с возможностью преуспеть в общности с запретительно высоким уровнем таковой, – равно как и в общности с высоким уровнем определенности: ни в одном из указанных крайних случаев премия за риск не будет достаточной, чтобы индивид отдавал предпочтение переменному доходу.

Аналогичным образом различается способ верификации профессиональной квалификации и определения профессиональных стандартов, стандартов качества и т.п., – механизм такой верификации играет ключевую роль в конфигурировании структуры рынка, поскольку определяет порядок доступа к таковому в областях ограниченной компетенции. Это прямо касается производства экспериментальных и в особенности доверительных благ, однако косвенно влияет и на производство инспекционных благ – в той мере, в которой оно нуждается в компетенциях аналогичного характера. В общности, исповедующей примат солидарности, источником таких стандартов и соответствующей надзорной инстанцией обычно выступает собственно профессиональное сообщество. В отстаивании стандартов сообщество оппонирует мнению всех других стейкхолдеров, вплоть до непосредственного потребителя профессиональных услуг, до некоторой степени ограничивая таковому выбор предложений цены и качества, – а если оплата таких услуг производится из общественных фондов, то еще и берет на себя определение стандартов распределения ресурсов. В общности, основанной на примате конкуренции, напротив, эту роль чаще всего выполняет некоторый материально ответственный субъект с ограниченной профильной компетенцией, – работодатель, покупатель, страховая компания и т.п., – который рассматривает множество предложений и вступает с выбранным профессионалом в отношения, ведущие к приобретению его услуг. Наконец, в патерналистском обществе в таком качестве выступает специализированное звено ресурсно-силового аппарата, куда в некоторой пропорции кооптированы

профильные профессионалы, – при этом указанный аппарат также определяет количественные и качественные параметры профессиональной подготовки, осуществляет приобретение услуг и устанавливает на них тарифы. Таким образом, система этого типа сочетает некоторые признаки двух предыдущих, однако лишена их преимуществ – соответственно независимой профессиональной позиции и рыночного ценообразования в условиях конкурентного предложения – более того, если не формально, то фактически, основана на некоторой разновидности невольнического труда. Кроме того, отражением того или иного соотношения принципов солидарности, конкуренции и патернализма во всех общностях являются системы пенсионного обеспечения, здравоохранения, социальной поддержки, а также образования, науки и культуры. Наконец, эксплицитно или имплицитно они накладывают отпечаток даже на архитектуру институтов правоприменения и легитимного принуждения, – хотя здесь пользовательские институты в буквальном смысле встречаются редко и лишь в отдельных сегментах (например, коммерческие арбитражные суды).

Отпечаток ценностных представлений во все исторические периоды, вплоть до нашего времени, несет и модель военной службы. Так, примату солидарности отвечает всеобщий призыв как способ послужить общим задачам, более того, он предполагает выбор иных альтернатив несения службы в интересах общества. В то же время, примату конкурентного поведения соответствует материальная заинтересованность военнослужащего, соответственно наемнический способ комплектования армии. Наконец, патерналистское общество основано на праве сильного, которое утверждается полицейским аппаратом, «личной гвардией» ресурсно-силового самодержца, поэтому армия архетипически состоит из невольников, расходной живой силы, – так что военная машина и полицейский аппарат в значительной мере выступают социальными антиподами.

Очевидно, что все общности прибегают к тем или иным механизмам перераспределения общественного богатства, более всего через посредство государства, – оно отвечает за функционирование формальных институтов, отвечающих сложившемуся у общности отношению к солидарности. Однако чрезвычайно важно различать природу общественных отношений, составляющих подоплеку перераспределения ресурсов в различных общностях, – хотя наиболее популярными правовыми инструментами такого перераспределения практически повсеместно выступают налоги и иные обязательные платежи. В модернистском сообществе, будь то основанном на принципах солидарности или конкуренции, они выступают формой совместного приобретения благ общностью и порождают встречные обязательства по поставке таковых – как правило, со стороны государства, – при этом в двух указанных типах общностей различается объем передаваемых в совместное ведение ресурсов и централизованных обязательств. В этой связи, такие обязательные обременения чаще всего обращаются на граждан в форме прямых, эксплицитно декларируемых налогов и сопровождаются требованием представительства их интересов, права решающего голоса при распределении собранных средств. Напротив, в архаическом сообществе, основанном на принципах патернализма, такие платежи носят характер дани, оброка сюзерену, «оккупанту», налагаются на слабого по праву сильного и де-факто не предполагают со стороны последнего встречных обязательств, – и даже простой учет интересов первого обусловлен ситуативной способностью доставить беспокойство силовому гегемону. Даже нормативная декларация гарантий и прав не меняет соотношения сил в общности, – оно позволяет односторонне менять закон либо попросту не обеспечивать его исполнение надлежащими ресурсами. В этой связи, в архаических общностях необычно широкое распространение находят имплицитные поборы, которые включены в потребительские цены, – различного рода формальные и неформальные рентные платежи, косвенные налоги и высокие таможенные сборы. Они собираются за счет населения или внешнеторговых партнеров, но непосредственно удерживаются у производителей и продавцов товаров и услуг, как правило, выступающих операторами различного рода рентных ресурсов – будь то природных или в форме уникального положения на рынке ограниченной по объективным причинам глубины.

Существует разница между модернистскими общностями, функционирующими по модели «общинной семьи» с одной стороны, и «союза суверенных домохозяйств», с другой. Так, в первом случае производство благ в основном осуществляется некоммерческим сектором, – соответственно цена не включает норму прибыли. Кроме того, приобретение благ финансируется за счет адресных сборов – хотя и в пользу государства, однако здесь оно выполняет роль единого института целевого коллективного финансирования, что служит сокращению издержек администрирования. Во втором же случае государство покрывает меньшую долю стоимости благ, поэтому для финансирования своей доли оно не прибегает к дополнительным инструментам, помимо общих налогов и прочих доходов. Кроме того, оно расходует средства чаще всего не напрямую, а компенсируя сопутствующие издержки домохозяйствам или софинансируя риски целевых фондов под частным управлением, при этом блага указанные акторы приобретают самостоятельно – у сервис-провайдеров, среди которых многие включают в цену услуги норму прибыли. Очевидным образом в первом случае бремя по содержанию государства, соответственно уровень налогов, выше, чем во втором, однако оно включает в себя цену значительного большего объема услуг, которые при таком механизме приобретения в целом обходятся дешевле, в среднем качественнее и доступны более широкому кругу граждан. Таким образом, объем ресурсов, равный разнице уровней обязательных платежей в общностях двух типов, как правило, дает более значительный прирост уровня жизни будучи использован в порядке коллективного финансирования, чем будучи оставлен в распоряжении домохозяйства.

С другой стороны, в рамках патерналистской и солидарной систем общественные блага часто декларативно безвозмездны, а их правовым гарантом выступает государство, оно же играет роль крупнейшего инвестора в экономике, – и это вводит поверхностный взгляд в заблуждение, мешает под общей маркировкой двух социальных моделей как «коллективистских» разглядеть их противоположную природу. На деле в первом случае инвестиции осуществляются лишь с целью их освоения правящими ресурсно-силовыми кланами, блага также де-факто гарантированы лишь им. Остальным блага предоставляются по усмотрению таких кланов на несистемной основе, в зависимости от состояния кормовой базы и свободных мощностей, – в неприемлемом объеме, с неприемлемым качеством и т.п. При этом целевые ресурсы населения ничтожны для содержания полноценной системы платных услуг, – так что поражение в правах фактически носит фронтальный, всеобщий характер, а преодоление барьера доступа выступает здесь самостоятельным сегментом рентоизвлечения. Более того, как в модернистском сообществе типа «общинной семьи», так и в архаическом, воспроизводящем семью патерналистского толка, заметная часть благ предоставляется индивиду в натуральном виде и на бесприбыльной основе. Это сходство объясняется тем, что по своим мотивам каждая из указанных общностей стремится удерживать затраты на минимальном уровне, – однако в первом случае это справедливо в отношении всей системы хозяйственных отношений, во втором же относится лишь к экономии на содержании основной части населения, «слабых». Указанный признак является не единственным примером поверхностного сходства солидарного и патерналистского способов организации хозяйственного и институционального оборота, – при абсолютно различных причинной природе и последствиях таких сходств. Так, например, в общностях обоих типов выражен запрос на формальные или фактические ограничения продолжительности рабочего времени с целью увеличения уровня занятости, – в обоих случаях по причине ограниченности естественных конкурентных преимуществ в сравнении с конкурентными общностями. Однако в первом случае индивид – отличающийся примерным трудолюбием – тем самым попросту «уступает рабочее время» другому в порядке общественного договора на фоне чрезвычайно высокоразвитой экономики. Это в общих интересах, поскольку стремление к максимизации производительности труда в заданных условиях привело бы не к ускорению, а к замедлению роста по причине снижения спроса и уровня доверия – т.е. повышению транзакционных издержек. Во втором случае, напротив, в сравнительно примитивной экономике возможности создать

личное благосостояние производительным трудом ограничены, а рабочее место фактически выступает социально одобряемым предлогом участия в распределительной цепочке. В этой же связи, для общностей обоих типов (за исключением «субархаических») весьма характерны плотные социальные связи, – однако если во втором случае они образуются на почве совместного досуга, то в первом в большей степени в рамках профессионального сообщества или при создании общественного блага.

В этой связи, отпечаток ценностных представлений несет на себе и модель организации тех видов творческой деятельности, которые требуют коллективного труда. Так, примату солидарности отвечает модель учреждения, которая содержится на общественные средства, с постоянным наймом и номенклатурой закрепленных должностей с тематической специализацией, – по организационной форме часто это самоуправляемый кооператив ключевых сотрудников. Например, по такой модели организованы репертуарный театр, специализированное образовательное, научное или лечебное учреждение. Примату конкуренции отвечает модель организации-площадки – обычно частной, выступающей объектом корпоративного управления. Под конкретный проект или тип услуги/деятельности она привлекает и выделяет финансирование, а затем нанимает компетентных участников. Такие специалисты обычно представлены на рынке в индивидуальном качестве – и даже в качестве штатных сотрудников редко получают заметное гарантированное, отличное от сдельного, возмещение. Например, по такой модели организованы антрепризный театр, универсальное образовательное, научное или лечебное учреждение. Наконец, для патерналистского общества характерна организация творческой деятельности исходя из целей силовой корпорации, которые могут быть вынужденными – например, в области науки и технологий, прежде всего военных, медицины – или сводиться к престижному потреблению – например, в области искусств. При этом такая организация в анамнезе часто имеет ту или иную форму невольничьего труда, – например, это крепостной театр, изолированный наукоград-резервация, закрытое или ведомственное лечебное учреждение. Нижние сословия могут рассчитывать лишь на остаточный принцип удовлетворения их потребностей в общественных благах – как с точки зрения объема ресурсов, так и с точки зрения качества благ, – а организации-провайдеры таких благ имеют аналогичную закрепленным лицам подведомственность, т.е. общий ресурсно-кормовой «резервуар» для содержания.

С точки зрения влияния формы хозяйственного оборота на норму социальной дистанции чрезвычайно показателен пример советской «экономики дефицита», которая требовала выстраивания цепочек многостороннего натурального обмена для обеспечения различных нужд предприятий и домохозяйств. Эти цепочки охватывали практически всю номенклатуру формальных и неформальных услуг, товаров – промышленных и сельскохозяйственных, инвестиционных и потребительских, повседневного и длительного пользования. Причудливым образом это приводило к возникновению значительных пространств короткой дистанции в транзакционном и социальном обороте, который формировался при мощном влиянии центрально-российской архаической общности длинной дистанции. Напротив, переход к преимущественно денежной форме обмена в постсоветский период резонировал с нормами отношений длинной дистанции и способствовал экстремальной атомизации социальной ткани в постсоветской России.

Каждому типу общности соответствует определенная типовая архитектура семьи, – во главе прочих микросообществ, в которых индивид участвует в раннем возрасте, она формирует установку на соответствующий способ поведения в социальном и транзакционном взаимодействии впоследствии. Как уже отмечалось, внутренней архитектуре архаической семьи свойствен вертикальный тип отношений между лицами различного пола, возраста, дееспособности, силы и т.п., в то время как модернистской – горизонтальный (см. выше). Однако различий в этом смысле намного больше: так, в любых сообществах короткой дистанции семья прививает доверие к окружающим, презумпцию общности интересов, ощущение, что окружающие «всегда помогут». В то же время, в любых сообществах длинной дистанции, напротив, семья прививает недоверие к окружающим, презумпцию антагонизма интересов в той или иной степени, ощущение, что «рассчитывать не на кого». Далее, в общности, основанной на примате конкуренции, воспитание в семье основано на известной «невротизации» ребенка перед лицом соревновательных вызовов и страхом неуспеха, необходимостью «всем за все платить» – в т.ч. в рамках разделения труда – на извлечении удовлетворения из чувства превосходства. Члены семьи достаточно требовательны друг к другу во всех аспектах – от выполнения домашних обязанностей до

привлекательности в качестве полового партнера – при этом не притязают на обширное участие в собственной судьбе (сродни принципу ограниченной ответственности). Напротив, в общности, основанной на примате солидарности, воспитание поощряет пробы и ошибки, любопытство, формирует ожидание, что «всегда подтянут» без обязательной необходимости за это платить, – и получение содействия не послужит основанием для потери в социальном статусе (сродни принципу неограниченной ответственности). Члены семьи готовы подменять друг друга в домашних обязанностях и даже иногда соучаствовать в социальной миссии (при этом формы допустимого участия в архаическом и модернистском сообществах различны), а партнеры не склонны сравнивать друг друга с прочими людьми. Наконец, в любой общности, основанной на примате патернализма, – независимо от нормы дистанции – воспитание основано на послушании, предосудительности самостоятельного действия, эксплицитной инициативности без одобрения старшим. Однако есть и существенная разница между архаическим, короткой дистанции, и «субархаическим», длинной дистанции, сообществами. Так, в первом ребенку прививается установка на неприемлемость неавторизованного извлечения выгоды за счет «своих» и индивидуального обогащения – только за счет «чужих» и «в дом, в семью», а нормативы распределения и потребления определяются старшими, индивидуальная субъектность отсутствует. Напротив, во втором случае неафишируемый промысел в ущерб другому среди стратегий выживания выступает важнейшей, – обращение же за помощью, содействием равносильно признанию слабости, ущербности, переходу на беспредельно зависимое положение.

При этом этика семейных и общественных отношений, как и природа институтов, в общностях с различной нормой социальной дистанции ясно раскрывается в терминах субстантивной экономической антропологии, которая, как известно, различает два способа оборота благ – путем эквивалентного обмена и путем «обязывающего» к взаимности дарения. В первом случае речь идет об обмене несвязанными благами между независимыми акторами, в ходе которого устанавливаются количественные соотношения стоимостей различных благ. Во втором случае речь идет об обмене связанными благами между зависимыми акторами, в ходе которого устанавливаются качественные отношения между индивидами. Презумпция, что эти два способа организации обмена относятся соответственно к современному и досовременному обществам, верна лишь с точки зрения формы оборота, применяемых в нем инструментов: действительно, в наше время осталось немного общностей, где основная часть оборота благ не имела бы вид эквивалентного обмена. С точки зрения социальной сути возникающих отношений, тем не менее, эти определения справедливо относить соответственно к разреженному и уплотненному социальному и транзакционному пространствам, т.е. общностям длинной и короткой дистанции, в том числе современным, – разумеется, с определенными оговорками и особенностями этапов эволюции (см. далее). Более того, хозяйственный оборот постсовременного общества, основанный на обороте знаний, немислим без доминирования отношений дарения – притом прежде всего в сегменте создания знаний (но не обязательно в сегменте их обращения, извлечения выгоды из интеллектуального продукта) как источника премиальной стоимости. Наибольшую сложность представляет экспликация отношений «обязывающего» дарения в современных модернистских сообществах короткой дистанции, социальные нормы которых служат модельными в условиях экономики знаний. Здесь оборот благ не затрагивает область личного суверенитета, не обязывает в межличностном общении в буквальном понимании, – вместо этого некоторая разновидность отношений взаимного дарения и «обязывания» возникает между индивидом и обществом. Это опосредуется передачей чрезвычайно значительной доли общественного богатства в совместное ведение для перераспределения и приводит к тому, что количественная связь между вкладом индивида в указанное богатство и его фактическим благосостоянием в значительной мере разрывается. Вместе с тем, в условиях короткой дистанции уклонение от разумного и посильного в количественном и качественном отношении общественно полезного труда маргинализирует индивида в

глазах собственной референтной группы, – и это ограничивает возможность извлечь удовлетворение из материальной выгоды, полученной неосновательным путем.

Дополнительно следует выделить ключевой вывод, следующий из определений двух типов оборота благ: лишь в условиях «субмодернистской» общности цена эксплицитна и преимущественно определяется факторами спроса и предложения, – это отвечает приоритету первичного накопления финансового капитала, в т.ч. путем первичного угнетения человеческого и силового. Указанные условия – более чем какие бы то ни было другие – создают предпосылки для совершенной, в пределе, конкуренции, которая предполагает доминирование в хозяйственном обороте обмена несвязанными благами между не зависящими друг от друга акторами. При этом на период индустриальной эпохи в глобальную торговлю и накопление финансового капитала – т.е. в отношении длинной дистанции по внешнему периметру – глубоко вовлекаются также и другие общности, поэтому в их социальном и хозяйственном обороте можно встретить многие признаки «субмодернистских» общностей, в т.ч. области доминирования отношений эквивалентного обмена. В качестве внутренней нормы, однако, у других общностей цена существенным образом корректируется множеством имплицитных компонент, отражающих соотношение социальных статусов контрагентов (см. далее), – фигурально итоговую категорию можно определить как «цену контрагента», т.е. определенного блага у определенного продавца при сделке с определенным покупателем. Природа этого дифференциала в том, что одним из ключевых факторов успеха в уплотненном социальном и транзакционном пространстве служит не просто непротивление, а соучастие окружающих, – у них же, в свою очередь, весьма вероятно наличие встречных интересов на благо собственному промыслу, частной жизни и т.п. Плотность и взаимное переплетение таких интересов вводит двусторонние и многосторонние «взаимозачеты» в повседневную норму общежития, одновременно сужая поле эквивалентного обмена, поскольку сводит к минимуму круг несвязанных благ и не зависящих друг от друга акторов. Соучастие окружающих является неторгуемой ценностью и плохо поддается количественной оценке, в терминах цены, – хотя оно вполне может быть препарировано в терминах спроса и предложения, будучи сведенным к проблеме использования ресурса времени сторон. В зависимости от типа общности, соответствующий дифференциал может быть прямым или косвенным, легальным или нелегальным, складываться в пользу более обеспеченного или менее обеспеченного участника обмена, – фактически он отражает стоимость лишения слабого способности извлекать доступную ему выгоду или стоимость сохранения такой способности сильным. Так, в модернистском сообществе короткой дистанции эта коррекция обычно служит нивелированию различий в имущественном и ином положении сторон, в то время как в любых архаических – усугублению их неравенства. Тем самым первые реализуют свой приоритет первичной максимизации человеческого капитала – в т.ч. посредством первичного угнетения финансового – на фоне невозможности накапливать силовой. Последнее обстоятельство связано либо со стереотипом общедоступности силы, либо с невозможностью применять принуждение во внутреннем обороте, поскольку локальный общественный продукт зависим от отличительного вклада хотя бы некоторых категорий трудящихся – квалифицированных работников. Вторые, напротив, реализуют свой приоритет первичной максимизации силового капитала – в т.ч. посредством первичного угнетения финансового и человеческого. Значительное отклонение фактических меновых соотношений в сторону «цены контрагента» от значений, соответствующих закономерностям ценообразования в условиях эквивалентного обмена, свойственно и «субархаическому» сообществу, поскольку в нем характер любых общественных отношений задается элитной силовой корпорацией, выступающей отдельным архаическим сообществом короткой дистанции. В то же время, отличительная особенность общности этого вида в том, что извлечение выгоды здесь рассматривается как позиционный, сиюминутный односторонний выигрыш за чей-то счет: успешный прецедент получения выгоды не только не обязывает стороны к долгосрочным отношениям, но нередко служит триггером прекращения отношений.

Таким образом, модернистский тип социального взаимодействия наиболее адекватно описывается не в терминах отношений конкуренции, а в терминах отношений солидарности, – это вытекает из двойственной природы человека как биологического вида и наделенного сознанием существа. Инстинкт конкуренции соответствует первой ипостаси и является источником свойственного любым одушевленным существам архаического тяготения, – первой и естественной реакцией на конкурентный вызов является стремление пресечь такой вызов и даже искоренить его субъекта наиболее простым, силовым путем. Тем самым в первую очередь этот инстинкт активизирует худшие качества человека, – при этом к конкуренции посредством лучшего результата он прибегает в последнюю очередь, лишь по мере осознания «обоюдострого» эффекта применения силы, которое стимулирует спрос на знание. Последнее пробуждает в человеке инстинкт любопытства и, в противоположность образуемому инстинкт конкуренции «вектору отталкивания», стимулирует кооперативное начало, притяжение к другому индивиду, – отсюда именно кооперацию следует считать спутником модернистского тяготения. Таким образом, роль конкуренции в деархаизации в конечном итоге сводится к осознанию ее бесперспективности, равно как и бесперспективности «нулевой суммы» вообще, что побуждает человека задействовать способность создавать новую ценность посредством знания, – и в этом смысле конкуренция обладает лишь промежуточной эволюционной плодотворностью. Как известно, конкуренция имеет причиной ограниченность ресурсов, – так что транзит вспять от таковой к кооперации имеет предпосылкой ослабление этих ограничений. Такое ослабление достигается посредством роста доступности наиболее ограниченных ресурсов и вовлечения в хозяйственный оборот все менее ограниченных в силу своей природы видов ресурсов, – в пределе это общее описание перехода от конкуренции за продовольствие и безопасность как жизненной задачи общности к приумножению знаний путем обмена информацией.

Кроме того, отношения солидарности должны считаться нормой, поскольку подавляющее большинство общностей сталкивается с природными или устойчивыми антропогенными факторами, требующими коллективного реагирования, либо образует городские формации с высокой плотностью населения. В условиях короткой дистанции координация действий, договоренность о разделении труда выступает более жизнеспособной рамкой взаимодействия по сравнению с соревнованием «по любому поводу», так что индивиды вступают в повседневную коммуникацию для решения общих задач. Такие задачи преимущественно относятся к созданию ценности, «игре с положительной суммой», – и даже в отношениях по внешнему периметру общность стремится к приобретению выгод за счет лучшего предложения. В таких условиях ближайший к человеку индивид выступает объектом кооперационного взаимодействия, в то время как ближайший источник опасности находится на сравнительном удалении, так что общность исповедует примат развития по сравнению с безопасностью, а транзакционное взаимодействие сопряжено с минимальными барьерами из возможных. Более того, власть – независимо от ее происхождения и формы легитимации – находится в непосредственной физической досягаемости, поэтому стереотипно вызывает доверие как центр концентрации ресурсов в общих интересах. По этой причине такие общности легко кооперируются для решения задач практически с любым временным горизонтом – даже выходящим за рамки периода жизни поколения. Примечательно, что общие задачи в данном случае могут не иметь отчетливых итоговых проектных и экономических характеристик, а признаются достойными по основаниям траектории – т.е. самого процесса решения таких задач, сводящегося к воплощению разделяемых общностью ценностей по мере появления в ее распоряжении свободных ресурсов.

Отношения солидарности выступают наиболее оправданным фундаментом транзакционной практики и институциональной архитектуры в условиях, когда общность не испытывает особых сложностей с затратами на логистику и глубиной внутреннего рынка. Однако они опираются лишь на собственные источники капитала, а также сталкиваются с переборами с доступом на внешние рынки ввиду

географически обусловленной слабости позиций в морских перевозках, – а таких среди модернистских общностей абсолютное большинство. Отсюда такая общность экономна вообще – и с точки зрения транзакционных издержек в частности, поскольку они выступают наиболее осязаемым оптимизационным «резервуаром», более того, единственным, который практически сомасштабен логистическим затратам. Конкуренцию и патернализм в полярном виде можно считать своего рода аномалиями, вызванными отклонениями естественных условий от нормальных – соответственно в лучшую и худшую стороны. В первом случае для общности характерны не просто низкие логистические издержки, – благодаря контролю морских транспортных путей она способна опираться на ресурсы других общностей и обеспечивать себе бесперебойный доступ к внешним рынкам (см. ниже). Отсюда она стимулирует акторов «наперегонки» наращивать транзакционный оборот, не считаясь с сопутствующим ростом транзакционных издержек. Во втором же случае для общности характерен запретительный уровень как логистических, так и транзакционных издержек, – и это практически парализует любой хозяйственный оборот, за исключением связанного с редкими ресурсами с аномальной премией за редкость в структуре цены.

Отношения конкуренции характеризуют «субмодернистское» сообщество, – прежде всего так можно описать США, единственную стране мира, фактически образованную гражданами-суверенами, для которых изначально характерно единолично обладать силой и хозяйствовать в периметре пенетрации этого силового ресурса. На одного человека здесь приходится значительное пространство, – это привлекает миграционные потоки и способствует непрерывному росту спроса, но одновременно приводит к возрастанию культурного многообразия и усиливает эффекты длинной дистанции. При этом в общем случае усилий семьи достаточно и для благоустройства, и для защиты жизненного пространства. Тем самым критическая масса задач в жизни индивида требует лишь точечного транзакционного взаимодействия – будь то кооперации или, напротив, преодоления сопротивления, в чем состоит качественное отличие такого рода общности от любой другой, где необходимость во взаимодействии сопровождает практически любое действие по созданию общественной стоимости. В таких условиях субъект конкуренции стремится приобрести выгоду за счет другого как посредством лучшего предложения, так и иными способами – т.е. и по принципу «положительной суммы», и по принципу «нулевой суммы». Однако в силу объективных условий наиболее доступным здесь выглядит экстенсивный рост – за счет наращивания объемов предложения неизменного качества в ответ на растущий спрос, – так что постоянный прирост емкости рынка открывает доступ новым участникам, будь то производителям или посредникам. Ближайшее домовладение находится на значительном удалении, контакт с ним может как таить угрозу, так и нести выгоду, так что соображения развития и безопасности более или менее уравновешены. В этом случае выработка коллективного сознания напоминает механизм международных отношений – от силового паритета к мерам доверия, от кооперации к международной интеграции и наднациональным образованиям, так что примат индивидуального над коллективным здесь является первородным. Однако организация коллективного действия в этом случае предполагает сложное транзакционное соучастие большого количества акторов с разнонаправленными интересами, выравнивание индивидуальных соотношений эффекта такого действия и затрат на него, удлинение цепочки принятия и исполнения решений, фронтальность предварительной оценки контрагента и последующего контроля, что ведет к повышению общих издержек такого действия, – так что общность эффективнее решает задачи с ограниченным временным горизонтом и недвусмысленно сформулированным критерием успеха.

Впрочем, издержки взаимодействия покрываются здесь уникально благоприятными условиями для извлечения стоимости (см. выше и далее): благодаря им наиболее эффективным способом преодоления транзакционных потерь стоимости выступает не оптимизация структуры хозяйственного – а соответственно транзакционного – оборота, а наращивание скорости такого оборота. Однако выбор

провайдеров различных благ, поддержание с ними договорных отношений, администрирование и оптимизация таковых сопряжены со значительными временными издержками, – а это оставляет развитию человеческого капитала периферийное место в жизни индивида. Тем самым непосредственная финансовая выгода в системе приоритетов и ценностей конкурентного сознания первична по сравнению с иными соображениями, что не может не накладывать отпечаток также и на кругозор человека. Фактически в общностях этого вида бизнесу, с одной стороны, и потребительскому выбору, с другой стороны, уделена значительная часть того фрагмента времени и внимания человека, которая в общностях других видов была бы занята досугом – будь то в виде социализации, развлечений или овладения отвлеченными от основного промысла знаниями. Этот признак можно считать ключевым экономико-антропологическим признаком, который следует рассматривать в связке с развитостью института потребительского кредита и дает таким общностям выдающееся преимущество и в капиталоемкую индустриальную эпоху, требующую мобилизации высокой емкости рынка, и в постиндустриальную эпоху с ее ускоренным появлением новых продуктов и опрокидывающих технологий.

Последний тезис нельзя отнести к Великобритании: эффект социально разреженного пространства здесь обусловлен чрезвычайно высокой долей популяции, которая в разные времена занималась промыслом «в открытых водах, на заморских просторах», где привыкла отстаивать добычу силой. Тем самым активная часть общности архетипически во многом сформировалась на физическом удалении от патримониальных институтов, будучи вовлеченной в торговлю и колониальную активность: в отличие от суши, открытое морское пространство по своей природе не позволяет обеспечить сплошную герметичность силового контура и позволяет без заметных дополнительных издержек транспортировать добычу на значительные расстояния. Отсюда выгода от морского промысла достается тому центру силы, который привлекает выгодными условиями для сбыта, включая уровень поборов, и обеспечивает защиту богатства на своей территории, – это определяет институциональную архитектуру морских держав. В наше время аналогичный принцип распространяется на продукты интеллектуального труда, поскольку они не сопряжены с доставкой в физическом смысле, однако роль «магнита» выполняют не столько экономические или институциональные условия, сколько доступ к экосистеме знаний. Вместе с тем, с точки зрения плотности населения Великобритания схожа с континентальной Европой, так что конкурентное сознание здесь вполне может отступать перед необходимостью всеобщего коллективного действия, перед лицом обстоятельств непреодолимой силы – например, при организации военных действий или чрезвычайно капиталоемкой системы здравоохранения.

Необходимо отметить, что город-полис представляет собой сочетание, с одной стороны, профессиональных и локальных сообществ короткой дистанции, а с другой – площадок обмена излишками друг с другом для окрестных областей или даже стран, с другими общностями для самого города, накопления капитала, – они образуют поле отношений длинной дистанции. В этой связи, лишь города способны опосредовать переток капитала в новые отрасли, поскольку они вовлекают в собственный оборот внешние источники стоимости. Разумеется, приоритетным направлением такого перетока обычно выступают отрасли с низкой антропологической ценностью, поскольку последние непосредственно связаны с потреблением, качеством жизни в самом примитивном смысле. При этом способность направлять капитал в создание новых знаний, технологий и культурных образцов непосредственным образом связана с весомостью сообществ короткой дистанции в социальной ткани города. Так, крайней степени эффект социально разреженного пространства достигает в сверхконцентрированных мегаполисах, ареал агломерационной гравитации которых характеризуется нетипично высокой плотностью населения. Они являются продуктами индустриальной урбанизации, а впоследствии, по мере деиндустриализации, трансформируются в «метрополию» экономики с низкой антропологической ценностью, развитие которой обязано сконцентрированному здесь избыточному «навесу» финансового капитала и сопровождается характерным эффектом «инфлирования» ценообразования (см. выше и далее). Характерный для компактных городских сообществ эффект короткой дистанции здесь утрачен, – чаще он никогда не был свойствен этим городам, – зато уникальная глубина и концентрация рынка позволяет компенсировать низкий уровень социального капитала,

покрывать затратность транзакционного оборота за счет наращивания скорости такого оборота, а также «нулевых» транспортных издержек. Разумеется, благодаря высокой плотности населения и обеспеченности капиталом здесь развиваются многочисленные центры создания, распространения и коммерциализации знаний, однако, как правило, они стремятся позиционировать знание как престижное потребление – потому «огораживают надел» и плохо сообщаются друг с другом. Эти центры являются важным «строительным материалом» для экосистемы экономики знаний, однако подлежат масштабной реновации – как в части организационной модели, так и с точки зрения способа формирования связей и коммуникации, требуют локализации физического или виртуального размещения до формата кампуса.

Несомненно по итогам индустриальной эпохи даже исторические полисы обросли кварталами и пригородами, в которых количество рабочих мест несопоставимо мало по сравнению с численностью населения, – отсюда и здесь т.н. маятниковая миграция в течение рабочего дня, характерная для мегаполисов и ослабляющая социальные связи, стала нормой для значительного числа жителей. Однако социальные навыки реализуются в рамках чрезвычайно плотных профессиональных сообществ, а также вокруг точек досуга в кварталах с исторической застройкой, где численность жителей относительно сбалансирована с количеством рабочих мест в шаговой доступности. Необходимо отметить, что в этом контексте речь идет о странах, исторически занимавших периферийное место в морской торговле и потому не располагающих финансовой системой глобального пользования. Так, в Германии городские сообщества в наименьшей степени подверглись такой деформации: индустриальное хозяйство здесь основано на премиальном качестве, является нетто-потребителем сырья и генерирует высокий спрос на капитал, а туристическая привлекательность страны весьма умеренная – как в силу природных условий, так и по причине ущерба, причиненного историческому наследию второй мировой войной. В этой связи, невзирая на глобальное лидерство, структура локальных рынков менее других развитых стран испытывает давление финансового «навеса», – в этой связи, городские поселения не страдают от гиперконцентрации, а качество жизни распределено по ним равномерно. При этом нельзя утверждать, что такая равномерность – подобно достаточно распространенной мировой практике – достигается за счет субсидирования, в большинстве случаев экономика небольших городов также вполне самодостаточна. С другой стороны, города Великобритании, напротив, служат иллюстрацией того, как избыточная концентрация посреднических рент «разъедает» оседлые сообщества либо вытесняет таковые за пределы исторического центра, тем самым превращая поселение в мегаполис: структура предложения и ценообразование товаров и услуг здесь несут отпечаток неизменного превышения спроса над предложением. Такие ренты являются производными от морской торговли, – они образуются в сфере дистрибуции, финансовых и других бизнес-услуг, а также связаны с туристическим потоком, включая состоятельную иммиграцию – т.е. не трудовую, а с целью инвестиционного и потребительского размещения семейных капиталов иностранного происхождения. Отсюда вытекает, что мегаполис также является естественной городской формацией и для стран, где основная часть общественного прибавочного продукта распределяется в качестве административно-силовых рент. Разумеется, к концу эпохи модерна каждая общность нашла собственный баланс между формациями полиса и мегаполиса, в зависимости от фактических конкурентных преимуществ – способности генерировать капитал и спрос на него. Однако следует признать, что поселение, экономика которого основана на обращении рент любого происхождения, не просто характеризуется неосновательным имущественным расслоением, но потенциально цементирует самовоспроизводящиеся сословия и пролиферирует сословную матрицу в окружающем пространстве, способствует накоплению антагонистических социальных противоречий.

В случае же когда говорят о примате коллективных ценностей над индивидуальными, чаще всего так ошибочно обобщают классическое архаическое сообщество с запросом на вертикальный тип транзакций и трансцендентного, самочинного гаранта транзакционных рисков – единственного и безраздельного суверена. Размытость границ между солидарным и патерналистским обществом под

общим маркером коллективизма объясняется тем, что в обоих случаях существуют объективные причины, по которым индивидуальное хозяйство сопряжено с запретительными рисками (см. выше и далее), в связи с чем возникает потребность в механизме страхования таковых. Однако если в первом случае этот механизм остается бессубъектным, управляется в коллективных интересах и комфорте для совместного решения задач по созданию общественной стоимости, то во втором, напротив, «институт-страховщик» обретает субъектность и лишает таковой – а заодно и свободы – всех остальных, потому приводит к отказу населения от самостоятельного действия («делает силу сопротивления непреодолимой»). Таким образом, в отличие от других общностей, суверенитет здесь не делегируется на возвратной и обусловленной основе, – он отчужден безотзывно, индивидам личный суверенитет попросту не знаком. Примечательно, что в некоторых случаях правящий класс не выступает инициатором такой узурпации в прямом смысле, – например, характерная для Юго-Восточной Азии культура выращивания риса в условиях муссонного климата является настолько трудоемкой, что индивид поглощен удовлетворением витальных потребностей. Отсюда, невзирая на самые высокие показатели плотности населения, социальная ткань характеризуется экстремально длинной дистанцией индивидов друг от друга и от власти, отвлеченные общественные заботы здесь считаются уделом некоего «старшего», место которому отведено в сознании индивида – вне зависимости от того, сталкивается ли он непосредственно с каким-либо конкретными проявлениями активности такого «старшего». Так или иначе, в архаическом сообществе человек воспринимает в качестве источника опасности уже ближайшего к себе индивида: скудость дает основания подозревать в нем «пищевого конкурента», а экстремально низкая плотность населения снижает до минимума коммуникацию, соответственно мифологизирует представления о других людях. Нахождение в ареале пенетрации центра силы как источника неотвратимой и непредсказуемой воли, зависимость собственного благополучия от него заставляют искать прежде всего расположения тех, кто позиционирован выше по вертикали, а не на одном уровне по горизонтали, более того, подозревать у последних аналогичную мотивацию – в ущерб другому. Отсюда система приоритетов индивида всецело находится под влиянием соображений безопасности – пищевой и физической.

Однако в общем случае это также означает и невозможность доверять друг другу в материально значимых делах, поскольку положение каждой из сторон определяется близостью к силовому центру и им же может быть односторонне изменено, так что поле допустимых горизонтальных транзакций сведено к минимуму. Понятие коллективизма в этом случае употребляется некорректно и служит эвфемизмом отсутствия у человека средств существования и защиты без присяги постороннему, притом вполне индивидуалистичному субъекту подавляющей силы, который присваивает прибавочную стоимость. По совместительству последний де-факто служит также «эпонимом» всей общности, – отсюда идентификация с ним на поверхностный взгляд может показаться коллективной, на деле же является не более чем разновидностью отношения невольника к хозяину: у такого индивида архетипически попросту «нет ничего своего», соответственно отсутствуют иные способы маркировать себя, кроме как «чьих он будет». При этом уровень бытового доверия в такого рода общности может быть достаточно высоким в условиях короткой дистанции или весьма низким в условиях длинной, – в основном это обусловлено природными условиями, достаточностью пищи, – но даже высокий уровень бытового доверия не пролиферируется на сферу извлечения стоимости: последняя архетипически рассматривается как удел сильного, который должен санкционировать доступ к ней. Изменение этих поведенческих установок обусловлено переходом к способу производства на основе создания ценностей, которые не могут отчуждаться силой, т.е. знаний, – в этом случае для критической массы акторов горизонтальное доверие приобретает значение социальной инфраструктуры их жизненных интересов.

Вместе с тем, действительно справедливо, что из числа архаических более восприимчивы к трансформационному воздействию те общности, где уровень межличностного доверия сравнительно

низок, т.е. индивидуализм, – здесь он проявляется скорее как атомизация, – преобладает над коллективизмом хотя бы в сфере бытовых отношений, поэтому такое сообщество справедливо определить как «субархаическое». В противоположность модернистскому сообществу, в архаическом именно эффект длинной дистанции позволяет индивиду сохранять «хоть и пустующий, но сосуд» субъектности, – над ним не довлеет герметичный корпус архаической этики, отношений и обязательств, повседневного догляда. Более того, подавляемое положение парадоксальным образом фактически делает человека чужим в своей же общности, – так что фундаментальная для архаического сообщества установка на различие между «своими» и «чужими» на деле у него является весьма зыбкой. На деле не задействованный в системе отношений доминирования-подчинения чужак вызывает даже меньше подозрений как у верхов, так и у низов (см. далее), вследствие чего имеет шансы стать важным агентом влияния. Отсюда при появлении внутренних и/или внешних стимулов к модернизационной трансформации атомизированный индивид дрейфует в сторону конкурентного поведенческого типа, а общность в целом – в сторону «субмодернистской». Напротив, более всего деархаизацию на такой стадии социального прогресса осложняет эффект короткой дистанции, полная интернализация всех сторон жизнедеятельности человека подобно семье, – притом часто предводитель общности непосредственно наследует одному из ее биологических прародителей и считается как «отец семейства». Такое сообщество «без спроса» стирает грань между личным и общественным, устраняет у индивида любые ростки свободы воли, – однако дает ему поддержку и тем самым осложняет ему отрыв от вполне осязаемых преимуществ в пользу неизвестности. Таким образом, любое архаическое сообщество создает стоимость по принципу «нулевой суммы» или «отрицательной суммы» (т.е. без опасения потери стоимости при транзите, если оставшаяся досталась субъекту), однако в условиях короткой дистанции экстрактивное воздействие обращено вовне, в то время как длинной – прежде всего внутрь. При этом в архаическом сообществе длинной дистанции все значимые решения ограничены горизонтом сохранения господствующего положения правящего большинства, в общем случае весьма коротким, – если только непосредственная, очевидная в конкретный момент времени угроза такому положению не требует более сложного реагирования. В то же время, в архаической общности короткой дистанции в случае значительного уровня кормового достатка, по сравнению со стоимостью жизни и обеспечения безопасности, горизонт решений элиты как «опекуна семейства» может удлиняться, а список благ для «членов семьи» ощутимо расширяться. Таким образом, герметичность к внешнему влиянию выступает фактором консервации архаической матрицы лишь в общности короткой дистанции, – в то время как для «субархаической» общности длинной дистанции фатальную роль играет экзистенциальное противоречие между запретительно малой глубиной рынка и тем, что в ходе попыток трансформироваться она естественным образом примеряет на себя институциональную архитектуру «субмодернистского» сообщества длинной дистанции – наиболее дорогостоящую из всех.

Из вышеизложенного вытекает ключевое экономико-антропологическое утверждение: система ценностей общности, на которой основаны хозяйственный механизм и институциональная архитектура, вытекает из того, какие интересы индивида другие члены общности и в целом стейкхолдеры признают соответствующими их собственным интересам, представлениям об общем благе или, по меньшей мере, просто легитимными. Это связано с тем, что реализация таких интересов зависит от соучастия указанных акторов в той или иной форме, мере – равно как от отсутствия неприемлемого противодействия с их стороны. Отсюда норму социальной дистанции не следует отождествлять с эмоциональным темпераментом или, например, нормой физической дистанции: тактильный контакт, не авторизованный объектом, считается как форма принуждения слабого сильным и ассоциируется с архаическими устоями. В силу этой «родовой травмы» на текущем историческом отрезке такой контакт становится все менее приемлем по мере движения к модернистскому полюсу: парадоксальным образом наименее физически контактными являются представители модернистских сообществ короткой дистанции, для

которых характерен чрезвычайно высокий уровень межличностного доверия, а в переходящих в новую для себя фазу «субмодернистских» сообществах огораживание личного пространства часто и вовсе принимает гипертрофированные формы (см. далее).

С экономической точки зрения необходимость соучастия в успехе индивида других членов общности опровергает распространенный стереотип: установка на соответствие личного материального вклада отдаче является для индивида рациональным поведением лишь в условиях модернистской общности длинной дистанции, – естественные условия хозяйствования позволяют преуспеть здесь без глубоких межличностных связей. В то же время, условия бытования общностей короткой дистанции и архаических общностей делают рациональными, выгодными именно ценностные основания для принятия экономических решений, – с оговоркой, что модернистское и архаическое сообщества исповедуют взаимоисключающие системы ценностей. Напротив, тщательная оценка индивидуальных потерь и выигрыша здесь могла бы привести к резкому замедлению хозяйственного оборота и даже дисфункции хозяйственного механизма – вплоть до угрозы выживанию популяции. В общем случае с точки зрения экономического роста наиболее эффективными являются последовательные модели хозяйствования – такие, в рамках которых изъятия из общей нормы сведены к минимуму: они подают хозяйствующим субъектам направленный, сфокусированный сигнал и ускоряют накопление капитала искомого типа, последний же, в свою очередь, позволяет общности привлекать недостающие для успеха элементы, повышать уровень сложности и стоимость создаваемой ценности. В зависимости от объективных условий, такие модели основаны либо на конкуренции, либо на солидарности: первый тип создает стимулы для накопления финансового капитала путем фронтального ускоренного роста, не считаясь с затратами и не предоставляя каких бы то ни было априорных гарантий уровня жизни, – второй же, напротив, сфокусирован на накоплении человеческого капитала путем фронтального снижения затрат и повышения эффективности при высоком уровне гарантий, которые обеспечивают устойчивый спрос в системе. В этой связи, любой общности, даже бытующей в неблагоприятных условиях, теоретически доступна эффективная модель хозяйствования – по меньшей мере основанная на принципах коллективизма, патерналистские же модели противоречат общественным интересам. Последние обязаны своим существованием невозможности ограничить силовой произвол в определенных условиях – там, где скудость кормовой базы препятствует возникновению альтернативных центров силы, а географическая изоляция мешает индивиду обеспечить себя самостоятельно и при этом уберечь промысловый источник или доход от отчуждения. Наконец, патерналистская модель получает развитие и в регионах, которые постоянно переходят от одного центра силы к другому – в т.ч. наиболее выгодно расположенных (пример – Средиземноморье) с точки зрения климата и локации, поэтому привлекающих внимание многочисленных воинственных этносов, отдающих предпочтение наименее трудозависимому промыслу.

Изъятия из норм, органичных для хозяйственного механизма общности, создают непродуктивные стимулы и ухудшают эффективность экономики. Так, в солидарной общности существенное сокращение объема ресурсов в совместном ведении – например, путем снижения налогового бремени – и всеобщих гарантий с неизбежностью привело бы к снижению уровня доверия и скачкообразному росту транзакционных издержек, в то время как высокая плотность субъектов хозяйствования не позволила бы покрыть эти издержки доходностью от экстенсивного роста. Напротив, в конкурентной общности смена принципов институциональной организации в обратном направлении не привела бы к росту доверия в силу слабости связей, поддерживаемой структурой городов и поселений (см. выше и далее). Вместо этого такое изменение вызвало бы замедление экстенсивного роста и уменьшение объема ресурсов, доступных для последующего перераспределения и создания общественных благ. Более того, это привело бы к появлению запроса на многочисленные налоговые вычеты и регуляторные изъятия, чтобы учесть разный уровень чувствительности к качеству общественных благ и ограниченную готовность к кооперации, – т.е. транзакционные издержки вновь бы возросли. В целом изъятия из общих принципов могут быть

оправданы потребностью в вынужденной концентрации ресурсов, однако на деле часто представляют собой лишь «обманный маневр» и скрывают экстрактивные интересы элиты: для целей изъятия стоимости в личных интересах и накопления силового капитала она пытается концентрировать ресурсы под видом декларативных гарантий населению и/или избавиться от обязательств перед ним. Такого рода устремления характерны для элит любых сообществ, однако в модернистских они наталкиваются на заметную силу сопротивления: в условиях короткой дистанции их реализация затруднена высокой естественной прозрачностью, в условиях длинной же лишь ограничена соответствующими институциональными механизмами.

Обращает на себя внимание опыт успеха гонимых общностей – таких как альпийские протестанты в Швейцарии, староверы в России, а впоследствии евреи в Израиле: при различных обстоятельствах каждая из этих общностей встала перед необходимостью покинуть более благоприятные места обитания и укрыться на удалении – в климатически сложном пространстве, к тому же изолированном с точки зрения локации или посредством военно-политической блокады. Условием выживания для каждой из этих общностей в свое время стало более или менее всеобщее и постоянное участие в обороне, – так что силовым ресурс оказался деконцентрирован настолько, насколько это возможно. Особенно показателен в этом плане контраст двух социальных моделей у русских – эгалитарной социальной архитектуры у гонимых староверов (в свое время от четверти до трети этноса) с близкой к рабовладельческой у гонителей-никониан. Первые представляют собой модернистское сообщество короткой дистанции, вторые же архаическое сообщество длинной дистанции («субархаическое»), над которым господствует силовая корпорация, архаическое сообщество короткой дистанции, – и в этом плане обращает на себя внимание контраст притяжения такого господства вторыми и отторжения первыми. При этом естественные условия обитания у первых были много хуже, чем даже у вторых, так что контраст общественного устройства не имеет иного объяснения, кроме различия в конфигурации силового ресурса, – т.е. фактически социальная модель первых обязана именно натиску вторых, не позволявшему консолидировать силовой ресурс в одних руках. Именно этот фактор у всех указанных общностей предопределил возникновение институциональной и хозяйственной модели, основанной на принципах коллективизма и позволившей обустроить новое «жилище» на уровне, соперничающем с качеством жизни у гонителей и даже его превосходящем.

Примечательно, что и стереотипные представления о передовых институциональных практиках в полной мере относятся лишь к модернистским общностям длинной дистанции. Так, у других видов выгодоприобретатель и агент, собственность и управление не разделены де-факто, отсюда институты архетипически переживают своих создателей прежде всего путем передачи по наследству. Исключение здесь составляют те временные, преходящие надстройки, которые в силу императива индустриальной эпохи вынуждены создавать модернистские общности короткой дистанции: так, национальные государства и транснациональные корпорации и здесь на определенный период формируют значительную область институтов длинной дистанции (см. далее). Несомненно, длинная дистанция создает максимальный простор для злоупотреблений и снижает уровень априорного доверия к институтам, так что модернистское сообщество реагирует на возникновение области длинной дистанции механизмами сдержек и противовесов, контроля и ротации, широкого освещения деятельности лиц, наделенных публичными полномочиями или публичным капиталом. Тем не менее, этот способ предотвращения злоупотреблений является паллиативным, вынужденным именно в силу неизбежности оперировать на длинной дистанции в определенной сфере и в определенное время. В целом он менее эффективен, чем характерное для общностей короткой дистанции сосуществование различных социальных страт в едином бытовом пространстве, в связи с чем такие общности могут себе позволить пренебрегать многими из вышеуказанных формальных институциональных механизмов, избегая также экономического бремени их администрирования. В общем случае общность короткой дистанции также лучше защищена в силу плотности связей внутри популяции – соответственно способности изобличить, локализовать и исторгнуть из своей среды источник потенциальной угрозы еще на стадии умысла. Отсюда общностям длинной дистанции необходимо отвлекать больше ресурсов – в личном и/или национальном хозяйстве – для того, чтобы справиться с угрозой аналогичной остроты, – так что круг

плохо контролируемых институтов, которым соответствующие ресурсы и полномочия делегированы, расширяется. С этим коррелирует важная деталь: если в общностях короткой дистанции оценки конкретного события или явления с точки зрения законности и справедливости – равно как и сами эти понятия – как правило, совпадают, то в общности длинной дистанции они могут существенным образом расходиться, – изначальная непрозрачность последней осложняет установление истины. Защищенность интересов индивида, равно как и способность влиять с этой целью на содержание закона при формировании фундамента правовой системы, в условиях длинной дистанции обычно связана с обладанием силой, – если в «субмодернистском» сообществе она обычно доступна очень многим, то в «субархаическом» лишь узкой господствующей группе. В высшей мере примечательно, что в общностях короткой дистанции силовой аппарат преимущественно представлен военным, обращенным против внешней угрозы, полицейский же скорее является периферийным: для модернистских сообществ этого типа характерна ценностно и профессионально обусловленная самодисциплина, для архаических же дисциплина «боевого племени». Напротив, в общностях длинной дистанции обе ветви силовой машины сопоставимы по масштабам, – хотя приоритетом «субмодернистского» сообщества является расширение хозяйственных возможностей своих членов вовне, чему способствует мощная военная организация, в то время как в «субархаическом» приоритетом правящей элиты выступает поддержание режима «внутренней оккупации» полицейскими силами.

С другой стороны, защищенность общности не следует отождествлять с ее инициативной агрессивностью, – в общем случае, относительно уровня фактических угроз, она нарастает по мере продвижения по шкале от модернистского сообщества через «субмодернистское» и «субархаическое» к архаическому: место на этой шкале совпадает с тем, в какой мере общности конкретного типа доступны несиловые способы достижения успеха. Однако в этом правиле исключение также составляет капиталозависимая эпоха модерна, – когда у общностей, основу которых исторически составляет «точечная» городская формация, на протяженный промежуток времени возникает неорганичная для них надстройка длинной дистанции: образованные этим способом национальные государства весьма агрессивны в попытке прорвать блокаду с моря и с суши (см. далее). Парадоксальным образом возникающая в эпоху модерна нация является формацией длинной дистанции: область социальных отношений этого типа образуется в ходе постоянного согласования разнонаправленных классовых интересов. При этом зарождение не характерной для феодального строя межсословной солидарности служит необходимым фактизатором индустриальной эпохи как формации крупных предприятий и представляет собой существенный шаг вперед в социальной эволюции, – однако разрушает обширные области короткой дистанции архаического толка. Эти области прежде образовывали такие внутренне однородные классы, как землевладельческая аристократия и поместные крестьянские общины, – в то время как городские модернистские сообщества умственного и ремесленного труда на фоне лавинообразной урбанизации оказываются чрезвычайно малочисленными. Социальным остовом нации в этих условиях становится наиболее массовый рабочий класс, который несет некоторые отпечатки крестьянского типа мышления и тяготеет к образованному слою. Тем самым в конечном счете рабочий пребывает в социальном транзите от архаического к модернистскому сообществу короткой дистанции, – хотя сам по себе период первоначального обустройства в городе делает его устремления скорее социобезными, чем социостремительными (см. далее). Тем не менее, общество модерна – в большей степени, чем растущими предпринимательским и интеллектуальным классами – «сшивается» различными рабочими ячейками – профсоюзными, политическими, а также армейскими, что связано с обширным военным призывом в этот период. Именно рабочий класс является основной движущей силой любого общенационального коллективного действия индустриальной эпохи, – и даже у общности длинной дистанции в этот период появляется не характерный для нее потенциал массовых коллективных действий. Отсюда видно, что из двух важнейших классов индустриальной эпохи, представляющих

соответственно труд и капитал, два ключевых фактора производства этой формации, рабочий класс как социально-антропологический феномен органичен для норм модернистской общности короткой дистанции, а класс предпринимателей – для норм модернистской общности длинной дистанции. Появление класса-партнера в обоих случаях скорее искажает поведенческие установки, – чем объясняется смещение политического спектра в общностях двух видов соответственно влево и вправо от центра.

Легко проследить закономерность: если для «субмодернистского» сообщества разветвленная институциональная архитектура служит фактором роста изначально низкого уровня общественного доверия, то у модернистского сообщества короткой дистанции, напротив, является вынужденным ответом на резкое снижение изначально высокого уровня такого доверия. Снижение уровня доверия, в свою очередь, является следствием необходимости экспоненциально расширять рынок сбыта – т.е. переключиться в неестественный модус агрессивной конкурентной борьбы, отношений длинной дистанции – и сопутствующего снижения однородности хозяйственной среды. Это вызывает к жизни патерналистский запрос взамен эродирующих солидарных принципов организации социального оборота, – манифестацией этого комплексного феномена служит европейская история XX века, прежде всего в эпоху мировых войн и вплоть до 60-х гг. Дефект навыков оперирования в условиях длинной дистанции дал себя знать и в послевоенный период, когда европейские транснациональные корпорации в целом стремились имитировать рыночное поведение и управленческую культуру американских. С одной стороны, обращает на себя внимание, что у первых злоупотребления в зарубежных подразделениях являются намного более частым явлением, чем у вторых. С другой стороны, ответом на эти риски становится значительно более высокий уровень пошаговой регламентации и бюрократизма, лишение таких подразделений хозяйственной самостоятельности, неохотная передача им системообразующих функций. В этом же ряду – крайне неохотное участие стран континентальной Европы в организации трансатлантических кампаний по реагированию на глобальные угрозы безопасности, политическом миссионерстве.

В поле короткой дистанции любой трудовой коллектив, ячейка создания ценности, институт и т.п. организован по модели семьи, – где профессиональные отношения сопровождаются также прочными личными связями. Соответственно наряду с собственной ценностью такая ячейка обладает высоким социальным капиталом, при этом по внутренней архитектуре может напоминать семью модернистского или архаического толка, – хотя по внешнему периметру она может демонстрировать конкурентное поведение, таковое не вытекает из имманентной природы общности и является следствием обстоятельств. Этот же тезис означает, что любая общность короткой дистанции, независимо от полюса, движима детально проработанной, разветвленной и всеобщей системой ценностей, что сужает амплитуду идеологического многообразия, а также область возможного действия институциональных сдержек и противовесов, – модус функционирования институтов не может быть изолирован от сравнительно высокой внутренней склонности индивидов к единомыслию, готовности и потребности ориентироваться на чужое мнение. В то же время, в поле длинной дистанции преобладают сугубо профессиональные отношения, не сопровождаемые личными, – соответственно равные, вольного найма («субмодернистское» сообщество), либо односторонние, отражающие отношения невольничьего труда («субархаическое» сообщество). Даже отношения в семье здесь в некотором роде напоминают «работу на домохозяйство», поскольку последнее выступает субъектом значительного объема текущих и/или инвестиционных хозяйственных транзакций для личного пользования, которые не предоставляются на условиях общедоступности и занимают вне рабочее время индивида – в противовес формированию социальных связей. Ценности здесь скорее относятся к категориям высокого порядка и неприменимы «на каждый случай жизни», что оставляет значительный простор индивидуальному действию без оглядки на другого, плюрализму форм жизни и субъектности чрезвычайно разнообразных акторов. Это «оживляет»

институциональные механизмы, служащие согласованию интересов таких акторов даже в архаическом сообществе, – где, впрочем, в отличие от модернистского, их не следует искать в формально декларированных площадках власти, управления и координации. Описанное различие тесно связано с другим: если в условиях длинной дистанции индивид, как правило, знакомится с другими, не принадлежащими к его домохозяйству, в каком-либо учреждении или в рамках делового взаимодействия – по месту работы, учебы, общественной деятельности, организованного досуга и т.п. – то в условиях короткой в равной степени (или даже прежде всего) по месту жительства.

В этой связи примечательно, что институциональную архитектуру архаических сообществ короткой дистанции некорректно уподоблять свойственной диктатурам, тоталитарным, авторитарным, персоналистским режимам и т.п., – указанные формации имеют целью удержание в повиновении сколь угодно значительного множества лично не связанных людей, в т.ч. не стремящихся войти в такое повиновение добровольно. В отсутствие личных причин основная масса населения должна иметь вполне рациональные основания подчиняться диктату принудительно либо добровольно. Соответственно эти режимы характерны либо для общностей длинной дистанции, либо для исторических периодов, когда общность короткой дистанции оказывается вовлеченной в более мощную формацию длинной дистанции, – например, когда европейские города стягиваются в национальные государства, семейные фирмы поглощаются транснациональными корпорациями и т.п. В архаическом сообществе короткой дистанции никакая архитектура формальных институтов не приводит к смене сути общественных отношений, поскольку члены общности не только не считают свое положение поражением в правах, но склонны видеть привилегию в том, что «приняты в благородную семью». Они предъявляют спрос лишь на те свободы, которыми органично обладать члену семьи с соответствующим статусом, – в своем роде среди таковых может оказаться и свобода слова, однако в понимании права обратиться к старшему. Если в «субархаическом» сообществе с его моделью нуклеарной семьи последняя строго закреплена на определенном сословном этаже и в своем социальном поведении склонна быть движимой классовым интересом, то в архаическом сообществе короткой дистанции с его моделью расширенной семьи таковая пронизывает несколько сословных этажей и конкурирует с другими такими же семьями. Аналогичным образом не следует отождествлять конвенциональную демократию длинной дистанции, основанную на системе сдержек и противовесов, ротации и контроле, с прямой демократией короткой дистанции, которая – независимо от способа реализации участия – основана на невозможности «укрыться от глаз сограждан» в повседневном бытовом пространстве, общем для всех индивидов, включая наделенных властью. В этой связи, в любых общностях короткой дистанции – как архаических, так и модернистских – государство пользуется высоким уровнем доверия у населения. Напротив, в условиях длинной дистанции уровень такого доверия стереотипно является низким, – различия же состоят в том, какие способы повысить для элиты издержки злоупотреблений есть в распоряжении населения. В институциональном обороте «субмодернистских» сообществ такие механизмы обычны и представлены во множестве. Что еще более важно, по объективным причинам они располагают достаточными источниками для содержания этой чрезвычайно дорогостоящей инфраструктуры, которую часто ошибочно сводят лишь к верхней, видимой части, политическим, правовым и прочим публичным институтам, – в то время как последние дисфункциональны без проникающего в хозяйственное и социальное взаимодействие на всех уровнях механизма подавления транзакционных рисков (см. ниже). В противоположность этому, «субархаическим» сообществам в рамках нормального хозяйственного и социального оборота механизмы ограничения злоупотреблений элиты не доступны – как и источники стоимости, позволяющие такие механизмы эффективно сформировать и устойчиво поддерживать. В таких условиях практически любое противодействие злоупотреблениям самочинной элиты принимает чрезвычайный характер – национально-освободительной борьбы в той или иной форме. Для исчерпывающей полноты картины необходимо отметить, что предпосылки дистанционности

государства от населения наблюдаются не только собственно в общностях длинной дистанции. Это также типично для государств, образованных не одной, а несколькими укорененными общностями короткой дистанции: в этом случае доверие «поглощено» автономными правительствами или неформальными лидерами общностей короткой дистанции. Так, европейские города, – в основе их социальной структуры модернистские общности короткой дистанции, – на период индустриальной эпохи стягиваются в национальные государства, а те в позднейшие времена в полномочные наднациональные интеграционные объединения. Взаимоотношения с ними у граждан должны строиться в целом так же, как в «субмодернистских» общностях, однако на деле здесь гораздо слабее навыки владения институциональными механизмами, специфическими для длинной дистанции (см. ниже), – и это не способствует доверию удаленной власти. В то же время, сопоставимых размеров архаические общности короткой дистанции по географическим или политико-историческим причинам нередко вынуждены сосуществовать в рамках одного государства или квазигосударственного образования, – в этом случае государство служит лишь согласованию их интересов и как таковое в значительной степени дисфункционально.

Коллективное сознание любой общности короткой дистанции оперирует той реальностью, которая окружает ее непосредственно, поэтому общность идентифицирует себя со своим жизненным пространством и участвует в обустройстве такового. Независимо от истинных размеров популяции, для нее характерно осознавать себя как бесконечно малую, поэтому руководствоваться приматом рачительности в хозяйстве, самосбережения, необходимости «одному стоять нескольких» – в превалирующем понимании критериев эффективности, будь то сила, предприимчивость или знание. Напротив, вовлечение в область длинной дистанции инкорпорирует в коллективное сознание многочисленные воображаемые, отвлеченные, лично не знакомые категории, что в известной степени способствует отчуждению индивида от устройства жизненного пространства. Независимо от истинных размеров популяции, для нее характерно субъективное ощущение бескрайнего масштаба и неисчерпаемых богатств – природных или финансовых, – соответственно расточительность в хозяйстве и отношении к человеческим ресурсам. У любой общности короткой дистанции первичным выступает бондинговой социальный капитал, возникающий на основе связей между близко знакомыми людьми, а отношение к незнакомцу выводится из собственной внутренней социальной архитектуры. Так, обладающее вертикальной архитектурой архаическое сообщество этого вида относит к числу «своих» лишь подданных единственного центра силы, так что практически не обладает бриджинговым социальным капиталом, – в этой связи, в отношениях с чужаками, другой общностью может выступать лишь господином, захватчиком (герметичные силовые корпорации, удерживающие в подавлении «субархаические» общности, см. ниже) либо подданным, покоренным, чаще попросту отторгает их (примеры – Ближний Восток, горные пояса Центральной Азии и Кавказа). В то же время, для модернистского сообщества этого вида характерна горизонтальная архитектура, поэтому бондинговый социальный капитал здесь служит еще и фундаментом для бриджингового, – в этой связи, при возникновении заинтересованности оно легко интегрируется с себе подобными индивидами и общностями (примеры – Священная Римская империя, Ганзейский и Европейский союзы), открыто дистанционной кооперации с отличными. Напротив, для общностей длинной дистанции первичен бриджинговый социальный капитал, основанный на доверии институтам транзакционного взаимодействия, при этом бондинговый образуется «обратным счетом» от бриджингового («подвешен под потолок») – т.е. зависит от того, насколько индивид считает защищенными свои интересы в отношениях с незнакомцами. Отсюда в «субмодернистском» сообществе довольно легко образуются и уживаются анклав короткой дистанции с бондинговым капиталом, – при этом такая общность не столько открыта интеграции с другими, сколько сама является продуктом сочленения в пространстве длинной дистанции домохозяйств, выступающих социально и хозяйственно неделимыми частицами, в

высокой степени субъектными, суверенными вплоть до обладания силой, а также малых государств (примеры – Британские империя и Содружество, США, см. выше и далее). В этой связи, общность мыслит себя интеграционной платформой, тяготеет быть всеобъемлющей, считает надстройки более высокого порядка – такие как международные институты и право – избыточными, вынужденными и временными, фактически будучи такой надстройкой сама, а область доверия простирается лишь до пределов распространения собственной либо родственной институциональной архитектуры. В то же время, для «субархаического» сообщества характерен дефект обеих разновидностей социального капитала, а круг доверенных фактически сведен к семье и приравненным к ней близким, т.е. транзакционно неделимой единице. Общность этого типа образует настолько разреженное социальное пространство, что оно собирается лишь усилием извне – более плотной антропологической сущностью, модернистской или архаической, обладающей соответствующим институциональным остовом (примеры – в Китае мандарины, в России опричнина, тайная полиция, архаические общности короткой дистанции; в России периода предреволюционного роста также старообрядцы, в точках революционных рывков интеллигенция, модернистские общности короткой дистанции). При этом статус пришельцев или стратегию внешней интеграции в такой общности определяет именно управляющая сторона, управляемая же не только не обладает иммунитетом от какого бы то ни было внешнего проникновения, но и легко усваивает влияние, прогрессивное или ретроградное. Ввиду запретительной дороговизны для такой общности офлайн-институциональной архитектуры длинной дистанции, трансформационное «окно» здесь открывается с эпохой дешевых цифровых институтов и унификацией социального пакета в рамках гарантированного дохода.

Среди резюмирующих эту классификацию наблюдений одним из важнейшим является вывод, что никогда и ни при каких обстоятельствах в отношениях короткой дистанции друг с другом не могут пребывать общности, основанные на различных ценностях – соответственно солидарности, индивидуализма и патернализма – будь то делящие одно физическое пространство, соседствующие или удаленные. Именно ценностные, а не какие-либо иные различия – этнические, конфессиональные, имущественные и т.п. – выступают основным препятствием к коммутации различных общностей, более того, уже в силу тотальной природы ценностей многообразие таковых является социально катастрофичным – изламывает социальные связи в общности и делает невозможным ее поступательное развитие. При этом уровня несовместимости это препятствие достигает при стыковке модернистских сообществ короткой дистанции с аналогичными архаическими, которая драматически снижает продуктивность первых. В то же время, другие возможные пары сравнительно легко выстраивают между собой отношения на длинной дистанции – будь то на основе «субмодернистской» или «субархаической» матрицы – поскольку предполагают участие какой-либо общности, для которой длинная дистанция является нормой: такие общности терпимы к высоким транзакционным издержкам и допускают неоднородность социальных моделей внутри себя. Таким образом, если в условиях короткой дистанции ценностное единообразие имеет естественную природу и может быть «потревожено» лишь вторжением извне, то в условиях длинной дистанции вызвано вытеснением ценностей из публичного оборота в частный.

Примечательно, что во многих модернистских сообществах короткой дистанции – чаще всего изначально моноэтнических – право крови соседствует с правом почвы в качестве основания для получения гражданства. Более того, в Германии такое право по признаку крови имеют не только немцы, но и представители пострадавших от нацистского режима этносов. В то же время, внутренне рыхлым и изначально полиэтническим модернистским сообществам длинной дистанции такая трактовка понятия гражданства не свойственна. Для архаических сообществ это явление не характерно независимо от нормы социальной дистанции: здесь подданство трактуется как присяга на верность семье или патримониальному попечителю, – так что покинувший ареал гравитации «родного» центра силы латентно или явно воспринимается в качестве «предателя».

Различные способы производства и возникающие вокруг них экономические формации в дополнение к естественным условиям обитания способствуют расширению или сужению поля короткой дистанции, соответственно за счет или в пользу поля длинной дистанции (см. далее), – это соотношение изменяется как в масштабах всего общественного воспроизводства, так и в структуре каждого хозяйствующего субъекта, между его центрами компетенций. В целом центр затрат, деятельность по производству товара или услуги, бытовой оборот образуют поле отношений короткой дистанции. Центру прибыли, посреднической деятельности любого рода, включая продажи, концентрации и перераспределению ресурсов, будь то посредством финансового сектора или государственных фондов, деловому обороту в большей или меньшей степени сопутствует удлинение нормы дистанции, – т.е. очевидным образом посредничество служит организации транзакционного взаимодействия там, где такое взаимодействие «проваливается». В этой связи, ниша длинной дистанции не должна рассматриваться как недоброкачественная: потребность в таковой возникает в определенном месте и в определенное время с целью оптимизировать издержки выполнения некоторых важных функций – сбыта, поиска капитала, трансформации рисков, представительства, управления и т.п., – на которые в противном случае пришлось бы отвлекаться каждому центру короткой дистанции. Тем самым производительность ниш длинной дистанции непосредственно зависит от эффекта экономии на масштабе, т.е. от способности обслуживать возможно большее количество центров короткой дистанции, – вследствие этого концентрация, соответственно рыночная мощь, у первых исторически всегда намного превышала таковые у вторых. Однако деятельность первых также сопряжена с более высоким уровнем рыночного риска, отсроченной отдачей, – это объясняет чрезвычайно высокий доход на одного занятого, что часто вызывает общественную критику. В то же время, долю общественной стоимости, которую удерживают ниши длинной дистанции, определяют объективные факторы – уровень входных барьеров, прежде всего капитального: именно этот элемент хозяйственного механизма отвечает за снабжение товаропроводящих каналов и центров короткой дистанции оборотными средствами и долгосрочным капиталом. От этих объективных факторов зависит концентрация производства и ареал доставки, критичность компетенций управления капиталом и т.д., – т.е. могут ли центры короткой дистанции выполнять соответствующие функции самостоятельно. Коммуникация – торговля и транспорт, связь и информация – выступают инфраструктурой отношений длинной дистанции. С учетом того, что коммуникация выступает важнейшим фактором развития общности (см. выше), не существует высокоразвитых цивилизаций, не располагающих обширным транзакционным опытом на длинной дистанции, – однако дефект короткой дистанции снижает эффективность общности по сравнению с потенциалом, происходят «нормативные потери» общественной стоимости. Области большего или меньшего социального разрежения различимы как в сколь угодно малых, так и в сколь угодно больших общностях людей. Как уже отмечалось, эквивалентный, т.е. рыночный обмен, – это относится к рынкам рабочей силы, товаров, капитала, – в любой общности образует область социального разрежения, в то время как обмен ценностями для общего блага, без обязательной симметрии, уплотняет социальное пространство.

С точки зрения влияния на социальную дистанцию следует различать два вида торговой и посреднической деятельности. Так, формат точек шаговой доступности, повседневного пользования, а также торговлю товарами местного производства следует рассматривать скорее как разновидность услуги, которая не создает у ее продавца наценки за редкость и образует область отношений короткой дистанции по месту предоставления. В то же время, товаропроводящая деятельность, призванная перемещать блага из общности производства в общность потребления, обязана создавать у посредника наценку за редкость либо эффект экономии на масштабе, – иначе сбыт не принесет положительного финансового результата, – и образует область отношений длинной дистанции. В первом случае для продавца и покупателя вполне нормален высокий уровень априорного доверия – в т.ч. в материально значимых отношениях. Напротив, во втором случае поддержание нормального транзакционного оборота требует значительных издержек по подавлению рисков исполнения обязательств. Разумеется, уровень априорного доверия к конкретному участнику хозяйственного оборота снижается по мере накопления репутационного капитала, – это имеет следствием

снижение для него непродуктивных затрат, однако создает барьер для входа на рынок новых участников. Верно и то, что в сфере отношений короткой дистанции новый, еще не зарекомендовавший себя участник профессионального цеха также несет материально значимое бремя – в форме скидки к цене товара или услуги по сравнению с более известными мастерами. Однако, во-первых, это не требует от новичка инвестировать в свой вход на рынок, во-вторых, для потребителя и вовсе понижает барьер доступности блага, поскольку не создает непроизводительных издержек.

Уместно также в качестве наглядных примеров рассмотреть с точки зрения эффекта дистанции некоторые виды занятий, во все времена стереотипно считавшиеся посредничеством: очевидным образом чем такая дистанция шире, тем выше доля общественной стоимости посредника и/или общественное влияние такового, поскольку выше его нагрузка и собственные риски в функциональной цепочке. Так, в торговой деятельности капиталоемкость нарастает с разрывом закупки и продажи во времени и пространстве, – это увеличивает необходимость задействовать оборотный капитал, кредитные, рыночные, регуляторные и прочие риски. Например, при обороте товаров массового спроса, включая переработанное, пригодное к хранению и длительной транспортировке продовольствие, на товаропроводящую деятельность приходится чрезвычайно существенная доля продажной цены – намного превышающая себестоимость производства. Напротив, на рынках, где доминируют хорошо знающие друг друга крупные производители и потребители, где присутствует монополия, а также происходит оборот требующих от последнего специальной компетенции товаров, посредническая ниша практически отсутствует, превалируют долгосрочные договоры купли-продажи. С реализацией сезонных товаров местного производства также справляются сами производители, – нередко они сами предоставляют услуги общественного питания на ферме или на городском рынке, но даже у стороннего местного предприятия маржа на таких услугах сравнительно невелика. Аналогично, доля общественной стоимости, приходящаяся на финансовое посредничество, лишь в незначительной степени формируется за счет локальных обществ взаимных сбережений, кредитов и страхования: у таких организаций клиенты по активным и пассивным операциям обычно лично знакомы, – и это избавляет ее от бремени управления клиентскими рисками.

Эту логику можно распространить и на политическую сферу: так, избираемых (либо наделяемых полномочиями иначе, например, в порядке наследования) политиков можно считать посредниками между выгодоприобретателями актуального способа производства (лишь в этой мере населением) и т.н. «глубинным государством» – аппаратом подготовки и реализации государственных решений (см. ниже). В области длинной дистанции – в мегаполисах, национальных государствах или надгосударственных образованиях – роль таковых выше, чем, скажем, в городах-полисах или локальных общинах, где аппарат публичного управления и население связывают бытовые каналы обратной связи. Более того, в индустриальную эпоху роль политиков высока еще и в связи с ролью самого «глубинного государства» – в силу той функциональной нагрузки, которая выпадает на наиболее ресурсобеспеченного субъекта в экономике, а также военной активности. Напротив, в постиндустриальном обществе ресурсы деконцентрируются, а роль политического класса в целом претерпевает эрозию. Наконец, к числу наиболее древних посреднических занятий можно отнести дипломатию, которая на протяжении большей части человеческой истории считалась одним из важнейших способов организации межгосударственных контактов. Дипломатия не просто служила единственной альтернативой военному способу получения от контрагентов актуальных для своего времени выгод, – она предъявляла таким контрагентам всю совокупность положительных (взаимовыгодный обмен) и отрицательных (возможность причинить военный или иной ущерб) стимулов мирно предоставить доступ к таким выгодам. Тем самым и дипломатия, и военное дело парадоксальным образом заполняли хозяйственные и социальные дистанции, обеспечивая государству основания претендовать на роль центра прибыли в отношении продвигаемых вовне национальных хозяйствующих субъектов. Напротив, в эпоху непосредственной транснациональной коммуникации субъектов общества со своими визави на всех уровнях, а также снижения критичности консолидации рыночной емкости, дипломатическая служба из авангарда государственного аппарата стремительно перемещается в арьергард.

2.3 Барьер входа и социальная дистанция как причина институциональных дисфункций и рыночных искажений. Закономерности смены глобального институционального образца

Пользование ограниченным ресурсом или специальной компетенцией неизбежно удлиняет дистанцию в отношениях, опосредующих доступ к ним, поскольку это требует делегирования соответствующих полномочий, ресурсов и экспертизы удаленному центру, – в то время как способность кого бы то ни было еще контролировать процесс предоставления такого доступа и оценить результат лимитирована. С другой стороны, например, круг вопросов, которые могут выступать предметом всеобщего плебисцита, в общем случае скорее создает поле отношений короткой дистанции: в качестве регулярного этот механизм корректно применять лишь к пространству, с которым индивид сталкивается непосредственно и потому в состоянии дать ему оценку как потребитель продавцу, услуге. В то же время, на регулярной основе такой механизм неприменим к сущностям, которые для индивида существуют в воображении, на основании информации от посредников – медиа, лидеров общественного мнения, специальных институтов, призванных верифицировать транзакционную репутацию, – поскольку для самостоятельной и всесторонней оценки таковой индивид не располагает ни временем, ни квалификацией. В этой связи, в области длинной дистанции оперирует такой уровни власти, управления в стране или организации, результаты деятельности которого не оказывают прямого, осязаемого и недвусмысленного влияния на благополучие граждан или стейкхолдеров. Наделенное соответствующими полномочиями лицо не может непосредственно увидеть перемены, положительные или отрицательные, ставшие следствием его усилий, либо вычленив эти перемены из мультикаузальной «корзины», а часто результаты и вовсе проявляют себя за пределами срока легислатуры инициатора. Это обстоятельство создает практически непосильный для среднего избирателя квалификационный барьер, препятствующий самостоятельно разобраться в политическом предложении – равно как и оценить сложный товар, – а политическая и экспертная дискуссия производит на него впечатление ангажированной заведомо в стремлении манипулировать его мнением, голосом, ресурсами. При этом опосредованный и отложенный эффект решений уровня власти и управления длинной дистанции может намного превосходить прямой и немедленный эффект решений уровня власти и управления короткой дистанции. Более того, усилия первого провоцируют масштабные динамические процессы, которые чрезвычайно сложно обратить вспять, пока они не исчерпают свой потенциал, поскольку отражают объективный императив, а не исходят из соображений пользовательского удобства.

Наконец, лишь в пространстве короткой дистанции основой репутационного капитала является частная репутация – т.е. та, которую индивид снискал в глазах близко и всесторонне знакомых с ним людей, а также через посредство последних. Частная репутация надежна при формировании отношения к индивиду в расчете на непосредственное, практическое взаимодействие с ним, – однако она не может быть основана на универсальной для всех системе критериев. Ее сердцевину составляет поведение человека при столкновении с постоянно встречающимися ему вызовами, и прежде всего в сфере создания ценности, основной деятельности, в поле личных привязанностей, – в то время как прочие вызовы выступают для него зоной более комфортного компромисса и не показательны. В то же время, в пространстве длинной дистанции репутационный капитал формируется на базе публичной репутации – т.е. сформированной на основании сведений от информационных посредников, весьма поверхностно знакомых со своим «героем». Система критериев оценки репутации в этом случае более или менее унифицирована и потому зачастую опирается на совершенно непоказательные для характеристики личности факты, обстоятельства, – притом в публичную репутацию инкорпорируются даже сведения о частной жизни. Такие посредники с неизбежностью вынуждены упрощать информацию для восприятия, прибегать к той или иной стратификации акторов и событий, формировать тем самым систему представлений для трактовки последующих явлений. Со временем, однако, критически нарастает как корпус опущенных деталей, так и индоктринация – корыстная либо бескорыстная – информационных посредников: незыблемость системы представлений, сформированной у потребителей информации собственными усилиями, становится важнее фактической стороны дела. Отправной точкой для

формирования информационной картины становится нарратив, некоторая предзаданная повестка или система критериев, события же призываются в качестве иллюстрации, – этому подчинен как отбор тем и показателей, заслуживающих освещения, так и способ препарирования отобранных («о чем говорит эта история» или индикатор). Отсюда и объектам освещения, и потребителям информации имплицитно вменяется в обязанность отнести себя к какой-либо из предложенных внутренне однородных категорий («признак X одновременно означает признак Y и отсутствие признака Z») – фактически личным примером послужить подтверждению мифологемы. Несомненно системный простор для таких аберраций в пространстве длинной дистанции открывает дополнительные возможности для тех или иных консолидированных меньшинств – как модернистского, так и архаического толка, – внутри которых дистанция короче, например, хозяйственных, политических и интеллектуальных элит, любых добывающихся привилегий активных групп. В этих условиях утрата доверия к институциональным посредникам является лишь вопросом времени: по мере того, как критическая масса потребителей информации приобретает опыт личного соприкосновения хотя бы с некоторой гранью освещаемой реальности, скомпрометированным оказывается весь информационный поток.

Публично-правовые институты и медиа в пространстве длинной дистанции представляют собой лишь видимую и наименее емкую часть системы независимой верификации репутации – от кредитных историй, аудита, рейтингов до широкого использования мнения третьей стороны в спорах, аутсорсинга профессиональных функций коммерчески ответственному провайдеру и т.п. Ошибочно не только мнение о ведущей роли выборов и сменяемости власти в качестве отправных для институционального прогресса, но и представление о том, что судебная система способна эффективно функционировать уже в силу добродетельности собственной организации и личного состава. И избиратель, и суд, и хозяйствующий субъект опираются на критическую для принятия решения информацию, – в этой связи, краеугольным становится вопрос о том, как она образуется и обращается в конкретной общности, как препарируется для принимающего решение пользователя и доставляется ему, соответственно как обеспечивается достоверность сведений. Таким образом, цена эффективного функционирования социального механизма кардинально – на значительную долю стоимости общественного продукта – различается в зависимости от того, получает ли стейкхолдер заметную часть общественно значимой информации посредством личного опыта, опыта лично знакомых людей или вынужден опираться на сведения институциональных посредников. В последнем случае очевидное преимущество получает более ресурсобеспеченный участник хозяйственного и социального оборота, который имеет больше возможностей выставить выгодную ему версию в виде, заслуживающем доверия, и дискредитировать противную. Уравновесить его возможности может только равновеликий ему актер, в общественном масштабе – множественность сопоставимых по ресурсобеспеченности акторов, притом экономически независимых от прочих. При этом в качестве незыблемой, первичной опоры эффективной институциональной организации не следует учитывать тех участников оборота, чей доход образуется путем вторичного перераспределения, – однако вследствие выработки первичными актерами общего транзакционного и институционального механизма таковым могут пользоваться и более слабые участники оборота.

В свою очередь, множественность первичных акторов невозможно учредить искусственно, посредством регулирующего воздействия, – эффективность последнего ограничена пределами, заданными объективно обусловленной структурой рынка. Степень конкурентности такового определяется тем, при каком количестве участников в первичных отраслях достигается парето-равновесие – с учетом емкости рынка, актуальных капитальных и постоянных затрат, а также прочих факторов, которые в условиях конкретной общности могут повысить или понизить уровень тех или иных затрат по сравнению со среднеотраслевым, например, аномальных логистических издержек, доступности компетенций и пр. Иначе говоря, равновесное количество участников рынка должно позволять удерживать цену на уровне, достаточном для прибыльного хозяйствования с учетом всех капитальных и

операционных затрат, и наиболее чувствительно к тем из них, которые не эластичны по объему производства. Если количество участников рынка больше равновесного, то неизбежно возникающий убыток должен субсидироваться таким участникам общностью в целом – т.е. в порядке создания общественного блага, – и это снижает стимулы к повышению эффективности не меньше, чем ограничение конкуренции. Множественность первичных акторов предполагает равенство их ресурсных возможностей в исследовании и презентации информации обществу, принимающим решение инстанциям. Во-первых, это оказывает превентивное воздействие на соблазн злоупотреблять информацией, во-вторых, богатые возможности первичных стейкхолдеров позволяют создать постоянно – а не ситуативно – действующую, фронтальную, разветвленную и потому много более ресурсоемкую, чем возможности любого отдельного участника оборота, систему сбора и верификации значимых сведений на всех уровнях, начиная с самого нижнего. Кроме того, среди наиболее дорогостоящих, но редко эксплицируемых элементов институционального механизма длинной дистанции широкое вовлечение в хозяйственный оборот инструментов страхования рисков ответственности и прочих антропогенных рисков. В еще большей степени уровень транзакционных издержек возрастает вследствие имплицитного использования транзакций хозяйственного взаимодействия там, где в общности короткой дистанции использовались бы транзакции управленческого взаимодействия, – отношений мены вместо отношений кооперации. Удлинение транзакционной дистанции, будь то между различными центрами создания ценности или подразделениями одного, ведет к повышению издержек в каждом трансфертном звене – потерям времени и средств на заключение сделок, на контроль контрагента, сужению круга устраивающих все стороны решений и проектов.

Метаинститут репутации является важнейшим социальным остовом любой общности, однако именно в условиях длинной дистанции система его обеспечения требует такого объема ресурсов, который по объективным причинам недоступен большинству общностей. Она является чрезвычайно ресурсоемкой и «разлита» по всем элементам хозяйственного механизма – настолько, что по реальным совокупным масштабам с ней не может сравниться ни один отдельно взятый сектор экономики, а измерение сопряжено с известными сложностями вычленения всего множества искомым издержек. Исторически наиболее универсальными экономическими источниками такого полицентрического ресурсного изобилия служат морская торговля и финансовое посредничество – отрасли, которые в силу собственной природы сопряжены не столько с высокими капитальными или операционными издержками, сколько с высокими рисками. Так, прочие отрасли в состоянии распорядиться ликвидными активами в объеме, близком к свободному денежному потоку, т.е. многократно меньшем, чем вложенные средства и чем текущие затраты, – в то время как эти благодаря привлеченным ресурсам распорядятся ликвидными активами в объеме, многократно превышающем упомянутые показатели. Кроме того, наиболее критичные для функционирования указанных секторов расходы прямо или косвенно сводятся именно к связанным с организацией общей институциональной и силовой защиты хозяйственной среды. Для абсолютного большинства общностей, однако, эти отрасли выступают в качестве вторичных и перераспределяют стоимость, которая образуется в первичных. Лишь у единичных общностей, которые располагают уникальными, объективно – в основном географически – обусловленными преимуществами (см. выше и далее), они выступают в качестве первичных. Указанные общности играют роль глобальных «операторов последней инстанции» в этих отраслях, потому их услугами вынуждены пользоваться все прочие общности, – тем самым во внутренний хозяйственный оборот первых поступает доля общественного продукта последних, более того, значительная часть их временно свободных ресурсов и даже средств в обороте, в расчетах. Поначалу эти общности используют свое географическое положение для развития торговых и военных флотов, обеспечивающих наиболее дешевую логистику грузов, затем концентрация в их распоряжении оборотного капитала участников торговли способствует наращиванию активов национальных финансовых систем. Наконец, они предлагают собственные валюты в качестве

всеобщих платежных средств, параметры эмиссии которых намного превосходят потребности национального рынка и в сущности рассчитаны на глобальный спрос, – соответственно принимают на себя роль основных международных кредиторов последней инстанции. Вместе с тем, это означает, что постиндустриальный уклад, предполагающий экспоненциальное сокращение потребности экономики в капитале, а также расстояний транспортировки, объемов и сроков физической доставки, нивелирует преимущества длинной дистанции – зато обнажает ее недостатки, что с неизбежностью приведет к коренному пересмотру представлений о передовых институциональных образцах и лучших практиках (см. выше и далее). При этом другим общностям также может принадлежать видное место – вплоть до монопольного – на глобальном рынке определенного сырья или, напротив, высокотехнологичного товара. Однако в первом случае институциональная организация формируется вокруг права сильного присваивать продукт природы и предполагает моноцентричность хозяйственного и социального оборота. Во втором случае если ресурсная избыточность и дает себя знать, то далеко не сразу: прежде чем инновационный механизм будет в состоянии выделять чистую ренту, он поглощает значительные материальные и кадровые ресурсы в течение длительного времени – на протяжении ряда витков обновления технологий, научных и инженерных школ. Таким образом, поначалу специализация на сложном продукте сопряжена с высоким материальным и квалификационным барьером – соответственно тяготением к некоторому сужению круга первичных акторов в экономике.

Тем не менее, невзирая на институциональную инфраструктуру, в поле длинной дистанции механизм потребительского или избирательского – например, на национальном уровне в крупной стране – выбора уже в силу своей природы предоставляет элите значительный простор для злоупотреблений путем манипулирования информацией, товарным или политическим предложением. Для обоснования природы этого тезиса следует представить, при каких гипотетических условиях рыночный механизм мог бы быть не просто свободно функционирующим, а справедливым, меритократическим, – этой же логике подчиняется и «рынок политического предложения». Абсолютно совершенным мог бы быть лишь рынок, на котором у каждого потребителя присутствовала бы реальная альтернатива самостоятельно произвести благо, если его не устроили качественные и/или ценовые параметры доступного предложения. В этом случае, во-первых, рыночный механизм учитывал бы потребности всех, во-вторых, каждый обладал бы всей полнотой информации об изделии. Разумеется, не масштабируемые по объему производства капитальные и постоянные затраты – не говоря уже о необходимых компетенциях – пока не позволяют в высокоразвитой экономике уйти от разделения труда и иметь в распоряжении такую альтернативу, как своего рода возврат к натуральному хозяйству, но на более высоком технологическом витке. Отсюда, чем меньше доступных центров предложения, тем для производителей ниже издержки сговора и выше выгоды такового – в особенности в отраслях, где для оценки качества изделия требуется специальная компетенция, а также инсайдерская информация (при производстве т.н. экспериментальных и доверительных благ, в отличие от инспекционных), – тем самым потребителю предлагается выбирать из ряда вариантов, идентичных по существенным признакам. Более того, ориентации рыночного отбора на лучший результат угрожает не только способность навязывать предложение потребителю, но и специфика функционирования кадровых лифтов. Чем меньше участников рынка, тем более ограничен выбор позиций для соискателей – однако тем более привлекательно для них место в компании такого рынка. При этом в ситуации, когда на штатные должности любого уровня спрос не просто превышает предложение, но превышает таковое многократно или даже на несколько порядков, лучших кандидатов парадоксальным образом невозможно установить посредством меритократического отбора в силу обилия равных. Такая конкуренция более какой-либо другой стимулирует использование недобросовестных методов, культивирует в человеке худшие качества. Со временем эти методы конкуренции оттесняют профессиональные критерии и в конечном итоге закрывают доступ к социальным лифтам именно

наиболее дееспособным – тем самым нанося ущерб не только конкретному рынку, но и общественному благу в целом.

Ошибочно полагать, будто проблема численности центров предложения может быть решена методом искусственного дробления участников рынка: количество производителей на определенном рынке в среднесрочной перспективе мало поддается управлению, – если только акторов, несущих издержки такой неестественной структуры рынка, не субсидировать напрямую. Естественное количество таких центров определяется парето-равновесием, а также рыночной мощностью заинтересованных участников смежных отраслей. Так, гипотетический рынок, участники которого лишены необходимости нести капитальные затраты, мог бы самостоятельно обеспечивать положительный, меритократический отбор и усложнение способа производства, – в реальности же пирамида стимулов скорее способствует обратной иерархии приоритетов, ведущей к опережающему развитию «отраслей-сорняков» (см. ранее). Это объясняется тем, что сравнительно краткосрочные инвестиционные цели фирм конкурируют с долгосрочными, не имеющими четкой привязки к возврату инвестиционными целями государства и некоммерческого сектора в создание общественных благ. Далее, с указанными инвестиционными целями в конкуренцию за общественные накопления вступают цели домохозяйств по приобретению жилья, личного транспорта, предметов длительного пользования, – всего, на что таковые откладывают или заимствуют из общественных накоплений; наконец, с общественным накоплением в целом конкурирует текущее потребление домохозяйств. Отсюда очевидно, что, с учетом критичности ресурса времени в жизни человека, свободный рыночный механизм не ведет к повышению антропологического качества общественного продукта: такое качество в решающей степени определяется уровнем развития человеческого капитала и инвестициями в создание общественных благ. Соответственно повышение такого качества требует перераспределения ресурсов в обратном естественному тяготению направлении – на цели с наиболее длительным временным горизонтом и плохо поддающейся количественной оценке отдачей. Пределом эффективности свободного рыночного механизма следует считать иерархизацию товаров и услуг со схожими потребительскими характеристиками по цене в зависимости от качества в рамках отдельно взятого рыночного сегмента. Отсюда такой механизм способствует стремительному распространению уже апробированной некоторым участником рынка новой технологии – т.е. в ситуации, когда риски внедрения инновации снижены экспоненциально, а отказ от такого внедрения чреват утратой конкурентных позиций. Однако указанный механизм дестимулирует создание самой новой технологии, тем более выступающих ее источником новых знаний, фактически воздвигает на этом пути требующий преодоления барьер: решение задачи такого типа требует аллокации значительных ресурсов за периметром фирмы с ее предметно-целевым принципом бизнес-планирования, ограничением на временной горизонт и предельный уровень риска инвестиционных решений, стоимостью обслуживания капитала. Отсюда из двух участников рынка, один из которых инвестирует в опережающие знания, а другой нет, именно первый окажется в честной конкурентной борьбе проигравшим: снижение не только текущей, но и доступной для прогнозирования будущей доходности ограничит его оперативные возможности, пагубно скажется на отношении инвесторов и кредиторов. Стремления к созданию прорывных знаний скорее можно ожидать от тех, кто исходя из собственных стартовых позиций не имеет шансов на победу в конкурентной борьбе, – точно так же, как любой аутсайдер заинтересован в опрокидывании самих правил.

Во многом наличием упомянутого барьера объясняется тот факт, что на протяжении всей индустриальной эпохи ведущим звеном научно-технического прогресса выступал военно-промышленный комплекс – отрасль, в которой государство выступает монопосным заказчиком. Показательно, что именно индустриальная эпоха с ее конкуренцией за рынки сбыта принесла такое явление, как нация, соответственно патриотизм низовых слоев населения – в противовес индифферентности крестьянства к субъекту власти. Границы национального государства в этом разрезе

фактически выступают в роли периметра защищенного рынка, а защита от покорения другим государством или, напротив, нападение на таковое непосредственно связаны с доступностью и ценой сырья, контролем путей доставки такового, а равно и готовой продукции, географическим ареалом и глубиной рынка сбыта. Отсюда отношение к военному делу как общественному благу, как к «обороне рабочих мест», осознание связи эффективности военной машины с объемом производства в стране и личным благосостоянием. Другие виды общественного блага, которые с собой принесли объективные потребности индустриальной эпохи, – это всеобщее здравоохранение и обширное распространение высшего образования, т.е. отрасли, у которых также критическую долю продаж обеспечивает государственный заказ. Необходимо признать, что фактически за рамками прямых и косвенных потребностей «монопсонных отраслей» развитие знаний и технологий сводилось либо к межотраслевому трансферу их достижений, либо к низкооплачиваемой деятельности «на полях» преподавательской. Лишь по мере накопления у фирм и домохозяйств значительных излишков в сравнении с потребительскими целями и возможностью доходного вложения, а также по мере ослабления военного противостояния национальных государств, на карте научно-технического прогресса стали играть заметную роль и другие, более конкурентные отрасли. Изменились приоритеты государства, а компании стали теснее напрямую интегрироваться с некоммерческим сектором и университетскими экосистемами, поскольку с их стороны возрос запрос на размещение капитала в опережающее развитие – прикладные и даже фундаментальные исследования. Однако даже в рамках этой тенденции тяготение к опережающему развитию сравнительно менее науко- и капиталоемких технологий с коротким периодом отдачи – прежде всего информационных, а среди них в области цифровых технологий продаж, – в полной мере проявляет себя. Показательно, что не только на излете, но и на заре индустриальной эпохи цепь технологических революций была обязана скачкообразному появлению излишков капитала – на этот раз в связи с великими географическими открытиями.

Вместе с тем, в диверсификации областей полезного применения знания на излете индустриальной эпохи можно усмотреть и становление очередной импакт-области в качестве новой консенсусной разновидности общественного блага. Вызванное стремительным развитием промышленности и потребления антропогенное загрязнение окружающей среды послужило материально/финансово значимому согласию различных социальных классов по поводу необходимости радикального изменения в технологиях производства пищи, энергии, материалов, технологиях переработки, утилизации отходов. Эта импакт-область общественного блага вступает в резонанс с прежними, традиционными (эффект «накладывающихся кругов»), – что вызывает синергетический эффект в развитии «на стыках» прорывных знаний и технологий, модификации самого образа жизни. В конечном итоге инвестиции в окружающую среду как никакие другие ведут к сужению области длинной дистанции и снижению входных барьеров. Так, необходимое для человека и производства все чаще становится доступным поблизости, – отсюда снижаются логистические издержки, соответственно нормативная операционная маржа, потребность в концентрации производства и проживания. Более того, отрасли, которые затрагивает куст чистых технологий, более других непосредственно связаны с удовлетворением первоочередных потребностей человека и с точки зрения эффекта дополняют здравоохранение как другую импакт-область общественного блага. Отсюда видно, что создание новых знаний имеет три основания: стремление устранить преграды на пути доступа к социальному лифту, которые воздвигает рыночный механизм; переполнение трех «нижних» из четырех вышеуказанных резервуаров общественной стоимости; появление насущной потребности в некоторых наукоемких видах общественного блага, соответственно общественный консенсус по поводу коллективного финансирования их создания.

Таким образом, в ситуации ограниченности ресурсов распределение последних между указанными выше четырьмя условными «резервуарами» использования общественной стоимости

выступает одним из ключевых предметов общественного договора – соответственно основой системы трудовых отношений и налогово-бюджетной системы. Например, гипотетически можно представить себе хозяйственный механизм, при котором любые инвестиции осуществлялись бы из общественных фондов, – фирмы же созданными основными средствами лишь оперировали бы. В этом воображаемом случае возросла бы налоговая нагрузка, – однако из структуры рыночных цен исчезла бы существенная компонента, которая отвечает за обеспечение возврата на инвестиции. Эта компонента по существу представляет собой одну из частей валовой маржи, которая в современных условиях составляет подавляющую часть цены в сравнении с прямыми производственными издержками и призвана также покрывать логистические, маркетинговые и управленческие издержки – т.е. себестоимость обращения товаров и услуг в сфере длинной дистанции. Несомненно, участки хозяйственной цепочки со сравнительно большим числом участников рынка и низким барьером входа проиграли бы в эффективности использования ресурсов от такой организации инвестиционного процесса, – так что отнесение инвестиций в такие участки к сфере ответственности хозяйствующих субъектов совершенно оправданно. В частности, даже с учетом возможной экономии транзакционных и управленческих издержек, стал бы запретительно высок риск инвестиционных ошибок, вложений в отрасли, для развития которых у общности недостает естественных конкурентных преимуществ, поскольку осложнилась бы экспликация всей суммы необходимых инвестиций, а не только производственных. Напротив, что касается других отраслей, с высоким барьером входа и малым количеством участников рынка, то их услуги стали бы недоступны потребителю вовсе в случае отнесения инвестиционной нагрузки на счет конкретного хозяйствующего субъекта в расчете на конкурентоспособную норму/срок возврата, – при этом именно такие участки прежде всего и отвечают за качество человеческого капитала и условия ведения хозяйственной деятельности. Таким образом, олигополия преодолевается только при технологическом скачке, который существенно смещает точку парето-равновесия и относительную рыночную мощь игроков, поскольку вторгается в отраслевые экономико-технологические параметры, структуру денежного потока типового предприятия. В этой же связи изменяются и параметры общественного договора: иначе распределяются ресурсы, а одновременно смещаются центры инвестиционной ответственности, в частности, в создание общественного блага. В частности, снижение капитального барьера в пределе позволяет сместить центр принятия любого инвестиционного решения к хозяйствующему субъекту и размыть долю себестоимости, приходящуюся на обеспечение возврата на капитал. Однако это же снижает и потребность в концентрации производства, соответственно все прочие составляющие валовой маржи. Отсюда инвестиционные нужды домохозяйств и фирм становится возможным полностью обеспечить из общественных фондов, посредством бюджетных или эмиссионных механизмов (см. далее) – наравне с инвестициями в общественное благо, пренебрегая механизмом возврата.

Итак, в связи с существованием входного барьера, простор для злоупотребления положением на товарном или политическом рынке несколько ограничен лишь в условиях дефицита ресурсов, прежде всего капитала, по сравнению с потребностями – в силу вызываемого таковым ожесточенного внутриэлитного противоборства, которое делает любые правящие коалиции и сговоры неустойчивыми, и/или повышения цены ошибочного решения лица, наделенного полномочиями. Примечательно, что последнее ограничение справедливо в отношении тоталитарных режимов эпохи модерна (см. далее), не предполагавших каких бы то ни было институтов обратной связи, – с этим связана «нестыжательская» репутация таковых в глазах значительной части обывателей, нередко готовых предать забвению их преступления на фоне корыстолюбия актуальных элит. При этом в отсутствие дефицита ресурсов разнообразие предложения не гарантирует от злоупотреблений, поскольку внимание политической и деловой элиты переключается с внутреннего противоборства на неснижение объема ресурсов в собственном распоряжении – соответственно неосновательную генерацию искусственных национальных

или пользовательских задач (см. далее). Это в особенности справедливо в условиях эрозии массовых классов с внутренне однородными интересами – и прежде всего рабочего класса как наиболее мощного источника общественного запроса, а также институтов, которые служат согласованию его интересов с другими классами и пронизывают своими ячейками трудовые коллективы, – таких как профсоюзы. В этих условиях и механизм прямых альтернативных выборов с точки зрения общественных интересов очевидным образом уступает по эффективности выборам выборщиками, определенными в поле короткой дистанции, – обладающими достаточной квалификацией, однако в своей частной жизни не отрывающимися от выдвинувших их коммун.

Норма социальной дистанции непосредственным образом связана с модусом функционирования политической системы. Модернистские общности длинной дистанции внутренне неоднородны и озабочены подотчетностью удаленной власти, поэтому система сдержек и противовесов здесь подразумевает, что непосредственно наделяемое полномочиями лицо должно быть досягаемо для избирателей. В частности, этому принципу – наряду с принципом федерализма – отвечает и система выборщиков при выборах президента США, редко встречающаяся в мировой электоральной практике. Проблема подотчетности в пространстве длинной дистанции тем более актуальна, что экономическая мощь транснациональных корпораций, в особенности финансовых институтов, опирается на ресурсы внешних рынков, – поэтому их деятельность достаточно сложно подчинить локальным общественным интересам, равно как и оградить институты длинной дистанции от их чрезмерного влияния. В то же время, природа модернистских общностей короткой дистанции предполагает более или менее всеобщее и постоянное прямое участие граждан в публичном управлении. Основной задачей политической системы здесь выступает артикулирование и детальный учет всего многообразия общественных интересов на фоне ценностной однородности общности. В этой связи, в первом случае выборные лица обычно обладают обширными полномочиями и несут значительную персональную ответственность, в то время как во втором, напротив, гораздо выше роль коллективных, коллегиальных институтов, – этим принципам отвечают соответственно мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. В первом случае партии лишь выступают сервисными платформами для кандидатов, являющихся основными субъектами политического предложения. Однако эти платформы выполняют важную инфраструктурную задачу: в соответствии с социальными установками «субмодернистских» общностей электоральная процедура в том числе задумана для выдвинувших в качестве экзамена на организационную состоятельность, способность убедить сторонников сделать финансово значимую ставку на кандидата и его программу. Отсюда кампания является сложным управленческим проектом, в котором помимо агитационных встречаются такие ресурсоемкие элементы, как избирательный залог, избирательный фонд каждого отдельного кандидата и т.п., – фактически партия одновременно поддерживает множество отдельных избирательных кампаний по всей стране. Во втором случае, напротив, основными субъектами избирательного процесса выступают именно партии, имеющие плотные связи с представляемыми слоями общества – фактически состоящие из их представителей – и ведущие одну общенациональную кампанию, а участники партийных списков служат лицами таковой. Как и во всех остальных аспектах жизни, модернистская общность короткой дистанции стремится удерживать на минимальном уровне транзакционные издержки электоральной процедуры и соответствующий барьер входа. Кроме того, если в первом случае партии являются прежде всего исполнительными аппаратами избирательных кампаний, то для во втором чрезвычайно разнообразна и вневыборная партийная активность совместно с другими структурами гражданского общества.

Однако не следует считать, например, что модернистские общности длинной дистанции всегда формально должны быть представлены президентскими республиками, короткой же – исключительно парламентскими демократиями: в рамках обеих систем организации публичной власти и объем формальных полномочий, и фактическая свобода действий выборных должностных лиц разнятся от страны к стране. Более того, в зависимости от страны, и партии могут выступать как институты коллективного действия массовых классов, как «бэк-офис» для индивидуальных политиков одного идеологического спектра, быть персонифицированными, выражать интересы определенного ресурсного клана и т.п. Общей чертой стран первого типа с характерной для них мажоритарной избирательной системой является то, что состав законодательного органа получается консолидированным, в той или иной степени биполярным. Соответственно даже в условиях парламентского правления – как, например, в Великобритании – правительство чаще всего формируется одной партией, – отсюда глава исполнительной власти фактически пользуется «президентскими» полномочиями, а парламент вырабатывает полный срок легислатуры. В то же

время, в странах второго типа с характерной для них пропорциональной избирательной системой партийный состав законодательного органа чрезвычайно фрагментирован. Соответственно правительство является коалиционным и вынуждено достигать консенсуса перед угрозой утраты большинства в парламенте, – отсюда глава исполнительной власти ограничен в действиях, а парламент часто не вырабатывает полный срок своих полномочий. При этом в любом модернистском сообществе административный аппарат выполняет сервисные функции, а управляемость в общем случае не связана напрямую с модусом функционирования политической системы. Так, для общности длинной дистанции характерна разветвленная система опорных хозяйственных, общественных и государственных институтов, а общность короткой дистанции и вовсе склонна напрямую участвовать в разработке значимых решений. Вместе с тем, как уже отмечалось, индустриальная эпоха и появление национальных государств искажают органичный режим функционирования модернистских общностей короткой дистанции, обычно основанных на плотных городских и профессиональных сообществах. Крупные государства континентальной Европы это принуждает осваивать непривычные политические институты, особенно в послевоенный период, – в частности, среди прочего здесь появляются смешанные избирательные системы. Например, разумно предположить, что в такой эталонной промышленной стране, как Германия, где широко представлены транснациональные корпорации, исключительно пропорциональная избирательная система могла бы привести к узурпации власти синклитом центральных аппаратов федеральных партий, корпораций и профсоюзов, утрате обратной связи. При этом наиболее «стерильными» политическими системами короткой дистанции позднего модерна можно считать страны Северной Европы, Швейцарию и Израиль.

В современном мире институт представительства в том или ином виде встречается в политических системах абсолютного большинства стран, – включая основанные на архаических сообществах различного типа, с характерным для них силовым остоном. Здесь организации публичной власти свойственны иные закономерности: так, система партий востребована только у общностей с полицентрической конфигурацией конкурирующих ресурсно-силовых кланов, которым де-факто и принадлежит право на представительство. Такое состояние может быть характерно и для архаических сообществ длинной дистанции, и для таких условий, в которых несколько архаических сообществ короткой дистанции вынуждены соседствовать, – в ходе взаимодействия они образуют пространство длинной дистанции. В то же время, в условиях моноцентрической архаической общности короткой дистанции предпосылки для какой бы то ни было политической конкуренции и партийной системы отсутствуют вовсе по причине единственности субъекта представительства. В этих условиях членов любого органа представительства или иных должностных лиц следует рассматривать в персональном качестве как «старейшин» правящей семьи, – расширенной версией племенной семьи здесь является вся общность. В целом, однако, следует иметь в виду, что в любом архаическом сообществе политическое представительство – тем более влияние и власть – имеет ресурсно-силовые основания, поэтому наделение полномочиями демонстрирует персональное, «незаменимое» место, авторитет лица в патерналистской иерархии. Отсюда независимо от партийности и избирательных процедур, любое должностное лицо здесь выступает не как делегат идеологического течения, а в персональном качестве – в широком смысле, включая «стоящую за ним» персону, ресурсно-силовую группу, – и именно так воспринимается избирателем. В той или иной степени это характерно для всех стран, в социальной структуре которых выражены архаические элементы, – от южных аграрно-туристических окраин Средиземноморья до Латинской Америки, Азии и Африки. В условиях современного развитого парламентаризма к феодальному архетипу права поместной землевладельческой или придворной знати на представительство отсылают верхние палаты законодательного органа власти. Так, в зависимости от механизма комплектования этот институт либо служит тому, чтобы уравнивать голоса разновеликих регионов федеративного государства, либо позволяет возводить заслуженных членов общества в достоинство законодателя, наследственное или пожизненное.

Этот тезис совпадает с общим принципом, – наделение высшей легитимностью (т.е. непосредственно гражданами, акционерами, единоличным или коллективным исполнительным органом объекта управления) определенного уровня управления в стране или отдельной единице производства ценности уместно лишь в случае, когда этот уровень является минимальным для концентрации ресурсов с целью эффективного отправления определенных полномочий, непосредственно необходимых для актуального способа производства или производственной специализации. Более высокий уровень управления в этой сфере полномочий является координирующим, а более низкий – техническим, исполнительским, их нельзя отнести к числу обязательных, поэтому исполняющие такие полномочия

лица или органы не нуждаются в высшей форме легитимации. Таким образом, соотношение между областями короткой и длинной дистанции связано, во-первых, со способом производства в части зависимости от ресурсов ограниченного доступа и, во-вторых, с уровнем образования. При этом причиной преобладающей нормы короткой дистанции может быть как высокий уровень развития общности, – при котором возможно снизить до минимума потребность в ограниченных ресурсах, а высококачественное образование общедоступно, – так и чрезвычайно примитивный, – при котором человек не знает таковым применения. Область длинной дистанции наиболее обширна на промежуточных стадиях развития общности, когда основополагающую роль в накоплении богатства приобретают завоевания и торговля (см. далее). При этом чем меньше общности доступны преимущества торговли, тем больше она отдает предпочтение завоеваниям, – т.е. перед лицом потребности в ресурсах общности короткой дистанции более агрессивны и воинственны. Напротив, в информационном обществе – невзирая на ключевое значение распространения информации – область длинной дистанции сужается, поскольку короткая дистанция помимо физического получает и виртуальное воплощение.

Компания или любой другой трудовой коллектив различаются с точки зрения внутренней нормы дистанции в зависимости от того, какому звену отведена ключевая роль – управлению продуктом, основной миссии либо маркетингу, коммуникации, управлению капиталом, при этом расстановка приоритетов в этом отношении, как правило, совпадает с нормой социальной дистанции у окружающей общности в целом. Кроме того, эти приоритеты вытекают из самой природы основного продукта и модуса развития: ориентация на качество и дифференциация по номенклатуре, фокус на органическом росте требуют лидирующего положения производственной функции, а чем более выражена ориентация на массовый и стандартизированный выпуск, фокус на неорганический рост, тем выше актуальность функций продаж и управления капиталом, – это отражает предпочтительную специализацию для общности каждого вида. Наконец, социальная ячейка с преобладанием неформального взаимодействия создает поле короткой дистанции, в то время как процедурная регламентация и организационное усложнение удлиняют норму дистанции. В этой связи, в начале жизненного цикла организация, связанная группа и т.п. отличается нормой короткой дистанции и строится по образцу семьи, в зрелом же состоянии сменяет модус внутреннего взаимодействия на профессиональный, более дистанцированный, появляются новые уровни концентрации ресурсов и полномочий, требующие высшей для данной организации легитимации. Однако по этой же причине в социально разреженной среде индивиды гораздо чаще склонны образовывать новые ячейки короткой дистанции – малые фирмы, некоммерческие центры создания ценности и пр., – в то время как в плотной индивид склонен вначале выносить свое начинание на суд ближнего круга, более того, предпочитает воплощать замысел в рамках и при поддержке сложившегося коллектива. Модель управления, соответствующая норме длинной дистанции, представляет очевидное конкурентное преимущество в условиях значительной глубины рынков сбыта, а также глобализации потоков товаров, рабочей силы и капиталов. В то же время в условиях локализации таких потоков указанная модель является избыточной и расточительной, а при малой глубине рынка – и вовсе непозволительным бременем. Первичной, модельной ячейкой модернистского социума короткой дистанции следует считать профессиональное сообщество, школу, университет, длинной – фирму; в архаическом социуме шаблоны двух видов социальной дистанции иллюстрируются соответственно родом, племенем, организацией казарменного типа, с одной стороны, и отношениями оккупанта с оккупированным, с другой. Таким образом, знание и сила образуют два крайних полюса соответственно модернистского и архаического тяготения. Так, в обществе с абсолютным приматом безопасности социальное положение индивида определяется глубиной гарантирующих преданность центру силы связей с ним либо боевым мастерством. В то же время, в обществе, исповедующем абсолютный примат развития, социальный лифт воспроизводит характерную для эпохи Ренессанса модель мастерской, – где передача знаний и навыков происходит как по оси «учитель – ученик», так и между учениками, а

последние вправе распоряжаться личным брендом мастера вплоть до становления собственной репутации. При этом в архаических общностях принято трактовать механизм верификации ученика мастером как способ ограничить доступ в профессиональный цех, превратить кооптацию в присягу доминирующим течениям, школам – часто отжившим свое – и тем самым пролонгировать господство адептов таковых.

Естественная для некоторой общности социальная модель может представлять конкурентное преимущество в условиях одного способа производства – благоприятствовать раскрытию потенциала сильных сторон и реализации возможностей, нивелировать слабые стороны и вызовы – и, напротив, конкурентный недостаток в условиях другого. В последнем случае общность ищет более жизнеспособные в текущих условиях актуальные образцы на стороне, и в целом это продуктивный способ формирования банка доступных решений, – вместе с тем необходимо отдавать себе отчет в том, что возможности догоняющего развития ограничены. Так, устойчивые условия бытования вырабатывают у типичного представителя общности совокупность характерных стереотипов успеха и неудачи, приемов и методов достижения целей, решения задач. В то же время, лишь на промежуточном этапе социальной эволюции – в условиях индустриальной формации, соответствующей эпохе модерна, – наиболее выигрышные социальные образцы встречаются у общности того же типа, что и наиболее выигрышный когнитивный архетип (см. далее). В этой связи, не существует неизменных решений для подражания и источников образцов, одинаково пригодных в любой исторический период, – отсюда отказ от самостоятельного поиска лучших решений в пользу догоняющего развития является заведомо тупиковым путем эволюции. Это чревато, во-первых, попытками внедрять образцы, относящиеся к уходящему в прошлое лидеру, во-вторых, пренебрежением собственными ресурсами, которые при смене способа производства могут оказаться конкурентным преимуществом. Наконец, в-третьих, нельзя игнорировать способность новшества прижиться в объективных, неотменяемых условиях заимствующей общности, отличающих ее от «донора»: случается и так, что для перехода к актуальному для развитого мира способу производства общность лишена критически важных конкурентных преимуществ. В этой связи, невзирая на предпринимаемые усилия такой общности придется «пропустить ход»: на этом историческом отрезке она не сможет претендовать на лидерство – более того, будет вынуждена изолировать себя от окружающего мира либо утратит субъектность.

Переход статуса всеобщего образца от одной социальной модели к другой связан с тем, что характерная для общности «основная» разновидность капитала служит одновременно и источником, и инструментом, и целью оплаты ошибки – ключевого движителя прогресса искомого типа, призванного отсеять тупиковые пути, будь то в развитии знаний и гуманитарной культуры, предпринимательском (в инвестировании и торговле) и потребительском поведении, завоеваниях. Так, способ производства, основанный на физическом труде, благоприятствует обладателю силового капитала, на дорогостоящем серийном производстве – финансового капитала, на отличительном труде – человеческого капитала. Однако и природа каждой из разновидностей капитала указывает на благоприятствующую ее накоплению социальную модель. Так, извлечение премиальной стоимости при способе производства, основанном на физическом труде, требует сужения круга бенефициаров до минимального по сравнению с численностью трудящихся, в связи с чем предполагает господство архаического сообщества короткой дистанции по отношению к «субархаическому». Отсюда силовой капитал возникает в поле короткой дистанции, но используется в области длинной дистанции – посредством обращения экстрактивного воздействия на чужаков. Способ производства, основанный на капиталоемких серийных технологиях, благоприятствует успеху «субмодернистских» сообществ: он предполагает универсальные критерии оценки успеха – показатели финансовой эффективности, прежде всего, отдачи на вложенный капитал, – что в условиях развитой институциональной инфраструктуры позволяет принимать риск на контрагента, находящегося на длинной транзакционной дистанции. Тем самым финансовый капитал, который первоначально образуется в торговле на длинной дистанции (см. выше и далее), используется также в

поле отношений длинной дистанции – путем реинвестирования. Наконец, способ производства, основанный на отличительном труде, делает предметом рыночного оборота ограниченные компетенции и не предполагает критериев успеха, которые можно было бы замерять на длинной дистанции, – например, показатели рыночной капитализации или индексов цитирования становятся псевдоуниверсальными, выхолощенными. Они «унаследованы» от предшествующей «эпохи стандартов» и применяются для целей удобства провайдеров финансирования – инвестиционного или грантового – т.е. в отношениях длинной дистанции. В то же время, экономика знаний требует не просто доверия к общему уровню компетенции контрагента, а практической совместимости научных, инженерных и коммерческих школ, способов коммуникации и кооперации, – и тем самым выводит в лидеры модернистские сообщества короткой дистанции, такие как университетские кампусы. Отсюда человеческий капитал появляется и используется только в поле отношений короткой дистанции. Вместе с тем, продукт, полученный в результате использования каждой из разновидностей капитала, ориентирован на реализацию прежде всего в области длинной дистанции – туда, где данный продукт не производится или дефицитен. Таким образом, независимо от области возникновения, возрастание стоимости капитала всех разновидностей и накопление богатства происходят прежде всего в области длинной дистанции, – к этой области относится также и само понятие рынка как менового механизма, в котором участвуют лично малознакомые люди. По инерции предшествующих экономике знаний эпох понятие накопления капитала по умолчанию принято относить к финансовым ресурсам, полученным в результате либо силового присвоения источников стоимости, либо пространственного и временного арбитража (принятия риска), либо монетизации навыка человека. В этой связи, чрезвычайно примечательно следующее наблюдение: ни при каком укладе сфера производства, выступающая базовым звеном короткой дистанции, сама по себе не является основой извлечения премиальной стоимости и довольствуется минимальной рентабельностью, – труд с широко доступными компетенциями, физический или предназначенный для управления средствами производства, служит объектом экстрактивного воздействия, источником ресурсов для развития (см. выше). Так, выгодоприобретателем территориального ресурса (продуктов природы, транспортных путей и т.п.) выступает обладатель силы – официальной (в виде налогов и дивидендов), параофициальной или контрофициальной; стандартизированного производства – кредитор, продавец, транспортная и товаропроводящая сеть; продуктов интеллектуального труда – разработчик, правообладатель.

Следует отметить, что независимо от превалирующего представления о норме социальной дистанции, модернистское сообщество в этом смысле не делает различий между индивидами в зависимости от их происхождения. В то же время, архаическое сообщество применяет различные стандарты по отношению к «своим» и к «чужим», притом по внешнему периметру нормой отношений всегда является длинная дистанция, сокращение которой преследуемо, поскольку считается как появление альтернативной лояльности. Это самым непосредственным образом относится к сфере хозяйственного взаимодействия, – архаическое сообщество применяет различный стандарт к ценовым условиям и даже этическим нормам транзакционного взаимодействия внутри и вне своих пределов. Эффект короткой дистанции – как в модернистском, так и в архаическом сообществе – предполагает, что хозяйствующий субъект может расширить объем располагаемых ресурсов за счет накоплений общности без существенных транзакционных издержек. Однако если в общностях первого типа соответствующее право субъекта формализовано, а его обеспечение является ответственностью специализированного учреждения, то в общностях второго типа, как правило, обеспечивается по неформальным каналам и в объеме, соответствующем сословному положению, при этом иерархия статусов отражает модель положения членов семьи в зависимости от возраста и дееспособности. При этом вовлечение накоплений в хозяйственный оборот является нормой для любой общности, однако в условиях эффекта длинной дистанции это возможно лишь посредством разветвленного и дорогостоящего институционального

механизма, который сам по себе становится источником пользовательских барьеров. В условиях модернистского («субмодернистского») сообщества с длинной дистанцией этот механизм также регулируется прозрачной процедурой, в то время как в условиях архаического («субархаического») формальный порядок призван оставить в руках распорядителя ресурсов широкий простор для произвола и извлечения рент, – т.е. в первом случае процедуры призваны сократить дистанцию, облегчить пользование благами, а во втором, напротив, удлинить дистанцию, вплоть до поражения пользователя в правах. В то же время, невзирая на относительно высокие издержки транзакционного оборота, в силу эффекта социальной разреженности в общностях длинной дистанции для реализации изменений требуется меньший уровень мобилизации общественного запроса, чем в общностях короткой дистанции. В модернистском сообществе этого типа выделяются автономные фрагменты, которые становятся пилотными площадками для изменений, в архаическом же большинство с готовностью переносит на себя ролевую модель передовой части социума.

2.4 Государство и сила. Принадлежность силы как функция источников стоимости и предпосылка колен развития

В зависимости от контекста понятие государства можно трактовать широко – как всю совокупность институтов публичного управления – или узко – например, как административно-бюрократический и правоприменительный аппарат, центр легитимного принуждения, «глубинное государство», исполнительную власть и т.п. Узкая трактовка государства вполне адекватна смыслу понятия: этот институт может иметь множество различных функций – присвоенных им силой или делегированных ему ввиду высокого доверия, из соображений экономии на администрировании централизованных сервисов и т.п., – однако государством его делает способность принуждать любых субъектов в своей юрисдикции к исполнению собственной воли. При этом даже такие исключительно важные для жизни общества функции, как нормотворчество и судопроизводство, в зависимости от времени, места и предмета ведения могут не быть отнесены к полномочиям государства полностью или частично (см. далее). Более того, как известно, функциональность этого института непосредственным образом связана с монополией на легитимное насилие – независимо от того, как именно управляется и контролируется аппарат принуждения. Обладание такой монополией неотрывно от ресурсообеспеченности государства, – в пределе от того, является ли оно наиболее весомым, ресурсообеспеченным актором экономики. Ресурсообеспеченность, в свою очередь, зависит от того, какую степень концентрации и перераспределения ресурсов предполагает актуальный способ производства исходя соответствующего таковому хозяйственного механизма, – тем самым объем полномочий государства в его узком понимании в конечном итоге выступает функцией такового. Иначе говоря, добиться полномочий по принуждению государство может лишь в той мере, в которой бенефициары актуального способа производства нуждаются в его услугах – т.е. наделяют государство ресурсами, делая его наиболее ресурсообеспеченным актором экономики. Напротив, при ослаблении такой потребности государство не в состоянии добиться и сохранения за собой неизменного объема полномочий силового и административного принуждения. При этом оно может быть надделено другими, побочными и необязательными функциями, – однако их не следует считать неотъемлемыми признаками полномочного государства, которые замещают принуждение. Скорее в этом качестве государство выступает предпочтительным сервис-провайдером, который применительно к каждой группе полномочий вынужден демонстрировать свои конкурентные преимущества в сравнении с альтернативными акторами – такими как локальные общины, некоммерческие организации, солидарные институты и пр.

В Старом свете государство и право фактически восходят к самодержавному архетипу «оккупационного режима», который часто принято называть «стационарным бандитом» и в общем случае служит отдалению центра концентрации стоимости от точек ее образования. В эпоху Античности так можно было описать отношения города-республики, резиденты которого являлись гражданами – имели право на представительство и оружие, а также публичные обязанности, – с покоренными оседлыми земледельцами, т.е. относились к правам более развитых цивилизаций по отношению к менее развитым, так что в этом контексте направление движения социального лифта совпадает с вектором модернизационной трансформации. Позже, в ходе великого переселения народов в Евразии, «оккупационный» архетип был закреплен гораздо более эксплицитно, «схемой» завоевания всей оседлой формации – и городов, и межеумочных земель – кочевниками-скотоводами, являвшимися архаическими общностями короткой дистанции, т.е. более развитых менее развитыми. Некоторой проекцией этой оси отношений можно считать такое распространенное обстоятельство, как заметно отличающиеся результаты волеизъявления граждан в крупных городах и в провинции, – хотя такая связь опосредована всесторонними объективными различиями условий бытования в полисе и за его пределами. В свете такой ретроспективы лучше понятна внутренняя социальная архитектура типового города, которая предусматривает соседство, с одной стороны, некоторого силового центра, выступающего бенефициаром стоимости окружающих земель, с другой же – городских торговых и профессиональных сообществ. Более того, широко известно явление, на первый взгляд кажущееся парадоксальным: экономическая мощь города, с одной стороны, опирается на источники стоимости области, страны, где он расположен; с другой стороны, в отношении экономической мощи город тождествен такой области, стране – иногда даже превосходит их. Во-первых, в качестве сбытового хаба для продуктов окружающих земель – возможно, даже стран – город выступает бенефициаром торговой маржи и премии за редкость тех ценностей, которые производятся вне его. Во-вторых, эти ресурсы и поступления от прямых поборов с окрестных земель обращаются в финансовой системе города, служат основой ресурсной базы собственной экономики – и лишь в меньшей степени экономики таких земель. В-третьих, в силу высокой плотности населения в городе инфраструктура и общественный сектор в большей мере самофинансируемы – в то время как в малых поселениях должны дотироваться основным промыслом. В-четвертых, именно в городе производятся интеллектуальные ценности, которые обладают способностью придавать продуктам природы добавленную ценность. Отсюда, если с точки зрения объема общественного продукта естественным образом «целое больше части», то с точки зрения объема стоимости к распределению, свободного от затрат и обременений, удельный вес городов непропорционально высок и практически стремится охватить всю ресурсную базу области, страны. Прежде всего этим объясняется особое экономическое и политическое положение городских сообществ – даже перед лицом расположенного здесь же, в городе, силового центра, выступающего бенефициаром присвоенной стоимости окружающих земель.

Практически всю историю институциональных трансформаций можно считать чередованием двух типов правления и трактовать как отражение смены фазы ускоренного развития авангарда без оглядки на большинство фазой освоения достижений меньшинством, – т.е. в общем случае ни один из этапов нельзя считать попятным движением. К этому обстоятельству апеллирует характерный для европейской цивилизации тип противоборства институтов короткой и длинной дистанции – соответственно городских и национальных. Примечательно, что сельские общины в обоих случаях выступают вотчинами – либо самоуправляемых городов, либо некоторого силового актора, подчинившего себе также и города. Действительно, вплоть до индустриальной эпохи сельское население, составлявшее подавляющую часть любой популяции, оставалось в значительной мере индифферентным к тому, какой именно субъект силы покорял территорию его проживания: крестьянство интересовалось прежде всего уровнем экономического и иного бремени, которое завоеватель накладывал на него. Отсюда обычной практикой

премодерна выступает покорение малочисленной, сплоченной и мобильной, общностью крупной, разобщенной и привязанной к территории, средствам производства: даже когда многочисленный этнос завоевывал малочисленный, этому предшествовало установление малой силовой группой первого силового контроля за основной частью соплеменников. Иначе говоря, ввиду «пищевой конкуренции» крупный этнос премодерна – в т.ч. современный – по определению не может выступать как спаянная общность. Лишь индустриальная формация, которая принесла машинное производство как площадку для общения и кооперации различных сословий, знаменует зарождение нации, которая объединена общей самоидентификацией, – фасилитатором этого выступают развитие с началом Нового времени книгопечатания, начального образования, общеупотребимых национальных языков, урбанизация.

Как уже отмечалось, на протяжении практически всей истории человечества – вплоть до заключительных десятилетий XX века – капиталоемкость общественного продукта нарастала неуклонно, так что тенденции укрупнения государственных образований не было альтернативы. Имперский принцип такого укрупнения предполагает разделение ролей метропольного субъекта и колониального объекта – асимметрию прав и обязанностей между двумя сторонами, первая из которых оказывает экстрактивное воздействие на вторую в обмен на несение бремени обустройства социального и жизненного пространства. Как правило, метрополия и колония не только представляют общности различного этногенеза, но и имеют принципиально различающуюся и взаимодополняющую хозяйственную специализацию, а реализация выгод такого разделения труда обеспечивает материально бремя первой по отношению ко второй. При этом устойчивая реализация указанных экономических выгод достигается лишь посредством водных транспортных артерий, – отсюда империи формируются по принципу интернализации морского (иногда речного, как сердцевина Австро-Венгрии) пространства путем охвата различных побережий такового, в противоположность углублению в континент. Более того, метрополия и колония сохраняют друг с другом отношения длинной дистанции и не обязательно формируют какую-либо общую идентичность, – так что эти отношения достаточно безболезненно прекращаются или трансформируются в «мягкое влияние» по утрате соответствующих выгод. Альтернативой империи традиционно считается национальное государство, образованное «для экономии на масштабе» путем сложения ресурсов соседствующих общностей, как правило, схожего этногенеза в условиях отсутствия возможности прибегнуть к заморской экспансии – в основном по географически обусловленным причинам. Экономической слабостью этой формации является то, что хозяйственные специализации воссоединяющихся общностей чаще всего весьма схожи, а реализация преимуществ концентрации стоимости осложняется высокими транспортными издержками на суше и прочими обременениями по содержанию обширной субконтинентальной территории. В этой связи, такие общности, во-первых, вырабатывают единую идентичность, которая – в отличие от имперской – сильно ориентирована на систему взглядов обывателя, а не элиты, и представляет собой воплощенное в трансцендентной национальной идее требование жертвы, во-вторых, одержимы прорывом к водным транспортным артериям.

Отсюда видно, что «евразийский проект», представленный досоветской, советской и постсоветской Россией, с экономической точки зрения является гибридным – не основанным ни на преимуществах морской торговли, ни на экономии на масштабе в силу чрезвычайной разнородности входящих в него общностей. Длинная дистанция, характерная для отношений метрополии с колонией, здесь прежде всего описывает внутреннюю структуру русского этноса – отношения силовой корпорации с подданными. При этом, как и в большинстве других империй, силовые корпорации колониальных общностей в «евразийском проекте» наделены равенством с метропольной, а образованный слой возведен в достоинство младшего партнера силовой корпорации – также по подобию внутренней структуры метропольной элиты. Однако среди колониальных шире представлены общности короткой дистанции, у которых выгодоприобретателями привилегий верхних сословий в некоторой степени являются и нижние, – отсюда фактически положение основной массы населения колоний является более привилегированным по сравнению с нижними сословиями русских.

Таким образом, вложения в окраины оправданы не соображениями выгоды, а обустройством (в т.ч. просвещенческим) крупнейшего в мире субконтинентального лоскута ценой значительных жертв со стороны метропольного этноса, – так что утрата колоний здесь крайне травматична для общественного сознания («зря страдали»), более того, раскалывает общество по признаку отношения к такой утрате. Единственным признаком этого проекта, сохраняющим актуальность и определяющим институциональную архитектуру, можно считать модель содержания государства и населения из стоимости, извлекаемой силовой корпорацией из богатств малоосвоенной местности, а не созданной населением по месту проживания. Тем самым географически обусловленный хозяйственный механизм выступает тем фактором, который консервирует ось «метрополия – колонии» во внутренней структуре сердцевинного этноса, вне зависимости от внешних территориальных приобретений или утрат. При этом в качестве национальной задачи и преодоление имперского сознания, и построение национального государства выглядят в равной мере искусственно, – в подходящих условиях обе формации продемонстрировали свою жинеспособность и плодотворность. В этой связи, цель должна формулироваться как формирование способа производства, при котором институты могли бы содержаться из стоимости, созданной населением по месту проживания, – и такой способ производства единственно может быть основан на продукте, индифферентном к пространственным издержкам, прежде всего в части доставки.

Как видно, уже самой природой конвенционального государства заложено разделение создания ценности и ее присвоения силой, притом первоначальное распределение ролей в такой «паре» непосредственно вытекает из образа жизни каждого участника. Так, реализация высокой маржи от продуктов крестьянского труда требует удаленной доставки и концентрации на экономически выгодных стандартных сыпучих культурах, которые еще и не подвергались бы порче при такой доставке, – как правило, зерновых. При этом крестьянин привязан к земле, средствам производства и домашнему скоту, а его время полностью поглощено трудом, – так что ни отдельный земледелец, ни община в целом не могут позволить себе торговать на отдаленных рынках и накапливать капитал, соответственно нанять достаточные силы и средства для защиты, равно как и защищаться самостоятельно с должной эффективностью. Указанные занятия относятся к области длинной дистанции, – и кочевники приспособлены оперировать в этом пространстве более чем кто бы то ни было: пастбищное скотоводство формирует установку силой отбирать лучшее, будь то дикорастущее или созданное чужим трудом, покрывать значительные расстояния в поисках добычи и рынка сбыта для нее. Вольный крестьянин предпочитает разнообразную пищу и кормовые культуры, в то время как кочевник силой принуждает его в приоритетном порядке производить товары, которые в наше время можно было бы классифицировать как биржевые – с глобальным рынком сбыта, эквивалентные свободно конвертируемой валюте – а также редкие и потому содержащие в цене премиальную компоненту – ренту. Наконец, само удержание в повиновении незнакомого племени, несмещение с ним на протяжении ряда поколений требует чрезвычайно высокой плотности связей внутри общности-захватчика, – так что больше других на роль такой скрепы подходит именно кровное родство. Вместе с тем, справедливо, что захват кочевниками является лишь точкой зарождения традиционного государства, – дальнейшее же строительство такового подчиняется логике реализации естественных конкурентных преимуществ покоренной местности. Так, в условиях изобильной кормовой базы «кочевой бандит» становится «стационарным» и все больше вовлекается в обустройство окружающего пространства. Это относится даже к тем общностям, где кормовая база хоть и обильна, но гомогенна (например, транзитная рента, локализованная группа месторождений), поэтому подконтрольна одному центру силы, – и этот центр правит самочинно, не подчиняясь механизмам обратной связи (примеры – от Бухары, Самарканда и Хорезма до петрократий Персидского залива). Если же обильная кормовая база является еще и гетерогенной, то сами захватчики стремительно претерпевают внутренний раскол и вступают в отношения конкуренции, – так что голос покоренных со временем приобретает вес, т.е. «стационарный бандит» также подвергается национализации (примеры – основные европейские страны, в меньшей степени Великобритания и Голландия). Известны и общности с гетерогенной, но скудной кормовой базой, – ввиду этого обстоятельства они малочисленны и непривлекательны для кочевников, так что предпосылки для

возникновения вертикальной социальной архитектуры здесь изначально слабы. Однако до наступления Нового времени эти общности и сами были не чужды «лихого» промысла (примеры – север Европы, а также Великобритания и Голландия), – им во многом обязаны традиции морского пиратства, которое, впрочем, отмирало по мере освоения машинного производства: великие географические открытия открыли перед периферийным Североморьем уникальные возможности для накопления капитала и индустриального рывка по сравнению с прежней глобальной метрополией – Средиземноморьем (см. выше и далее). Примечательно, что именно в таких общностях монархии преמודерна сохранились до наших дней и пользуются высоким доверием, – они не ассоциируются с подавлением внутри общности, а выступают в общественном сознании своего рода проекцией флага, знака отличия в открытом море. Наконец, в условиях гомогенной и скудной кормовой базы «бандит» так и остается «кочевым» – постоянно осваивает обширные пространства в поиске новой дикой и силовой добычи, при этом не привязывается к месту промысла, а населяющих его людей прямо или косвенно продолжает считать чужими (пример – Россия), – и такое отчуждение узнаваемо даже при мутации антропологического вида из-за смены географических условий, перехода к более или менее оседлому бытованию (пример – Китай).

В целом «оккупационный» архетип означает, что право производно от государства, суд и легитимное принуждение вершатся от имени и в интересах такового, однако само государство может оставаться самочинным либо постепенно переходить под контроль общества – как в абсолютном большинстве европейских стран. В первом состоянии индивид является подданным (податным, повинным) носителя титула суверенитета, который одновременно является субъектом силы, более того, безотносительно формальных процедур лояльность таковому (в т.ч., например, в форме «премии инкумбента» при выборах) вытекает не из волеизъявления индивида оказать таковую, а из способности носителя титула силой удерживать власть независимо от выбора индивида. Строго говоря, с точки зрения хозяйственной и институциональной функции «оккупационного бандита» здесь нельзя считать стационарным: в условиях ресурсозависимого, в противоположность трудозависимому, способа производства материальной основой государства выступает территория (см. далее). Население здесь является не субъектом образования общественной стоимости, а объектом ее вторичного перераспределения, «милости», более того, эффект «кочевого бандита» тем отчетливее, чем больше очаги концентрации ресурсов территории дистанцированы от очагов концентрации населения. В последнем случае ареал распространения общности фактически подразделяется на два фрагмента – соответственно пригодный для жизни и место промысла. «Кочевой бандит» выступает добытчиком, который безраздельно хозяйничает в местах промысла, – однако и в местах проживания рамках за ним как безальтернативным «кормильцем» де-факто закреплено безотчетное правление.

Декларативную выборную конкуренцию в патерналистском государстве следует рассматривать в качестве возможности обновить присягу верности, а не власть, т.е. как приглашение демонстративно отвергнуть смену полученной силой власти на фоне имитационного наличия такой альтернативы («выборы референдумного типа»). Тем самым имеет значение не столько исход голосования, сколько количество не уклонившихся от участия в нем. При этом протестное голосование не только не является способом транслировать и претворить в жизнь собственную волю, но представляет собой прошение меньшинства к носителю патримониального титула об отречении, т.е. признание порядка вещей, при котором тот может покинуть трон лишь по собственной воле, но не вследствие волеизъявления подданных.

В Европе процесс национализации государства можно отсчитывать от появления представительства «оккупированных» при его институтах для обеспечения обратной связи, затем же сам институт такого представительства постепенно завладевает функцией формирования других институтов, а также издания законов. При этом подданство трансформируется в гражданство, а представительство поэтапно расширяется путем инклюзии все новых социальных страт – вплоть до всеобщего избирательного права в XX веке. Этим объясняется фронтальное распространение здесь парламентской

формы правления, подразумевающей формирование институтом представительства всех остальных ветвей власти. Поворотным звеном в трансформации институтов гражданства и представительства следует считать уход от связи соответствующих прав с обладанием оружием, силой, наследственной вотчиной. Первыми инклюзии обычно добиваются городские сообщества, роль которых нарастает по мере расширения торговли продуктами местных ремесел, а затем машинного производства. В условиях роста влияния городов происходит постепенное перераспределение законодательных полномочий от традиционного института аристократического представительства в пользу института общегражданского представительства. Антитеза этих двух моделей представительства отражает (в обратном порядке) антитезу модернистского и архаического начал, «града и мира» – плотной и разреженной организации проживания населения; точечной и протяженной организации пространства; центров цивилизации и межеумочных ареалов обитания; трудозависимого и ресурсозависимого способов производства; ремесел, торговли и знаний, с одной стороны, и рентно-силовых промыслов, с другой.

В позднейшие времена отголоском этой дихотомии выступает также разделение парламента как института публичного представительства на нижнюю и верхнюю палаты соответственно. Если последняя наследует тому или иному институту поместного, силового и придворного аристократического представительства при монархе, то вторая, как правило, зарождается в результате расширения привилегий городов. Однако и в условиях всеобщего избирательного права верхняя палата – в случае если она в той или иной форме формируется путем выборов – уравнивает голоса регионов вне зависимости от численности населения, которое имеет свойство концентрироваться в городах, – этот принцип отражает приоритет территории перед населением. Напротив, нижняя палата предоставляет населению городов больший вес вне зависимости от избирательной системы в конкретной стране. Так, мажоритарная система чаще всего предполагает избрание депутатов от равновеликих по численности населения округов. В то же время, пропорциональная система дает известное преимущество исполнительным аппаратам политических партий, расквартированным в городах, – будучи организаторами кампаний они обретают преимущество в управлении чувствительными информационными потоками, соответственно способность влиять на формирование избирательных списков.

По мере усложнения способа производства нарастает значение и вовлеченность в него все новых слоев населения, – отсюда они обретают представительство, а политическое устройство дрейфует в сторону республиканских принципов. При этом на деле в условиях короткой дистанции представительство и контроль как таковые не находятся в фокусе внимания социума, – достаточно отсутствия таких экстрактивных практик и притеснений в правах, которые шли бы вразрез с актуальным представлением об общественном интересе. В собственном смысле в парадигме короткой дистанции в понятие республики общество скорее вкладывает не какое-то определенное представление о дизайне формальных институтов, а самоуправление городов. Эта парадигма допускает высокую степень делегирования публичных функций институтам, – такую готовность необходимо рассматривать в контексте высокой плотности населения. Она существенно повышает уровень фактического участия, снижает физическую дистанцированность власти, возможность длительного и устойчивого злоупотребления ею – соответственно повышает уровень доверия к ней, независимо от формы легитимации и частоты смены.

Национализация государства конгруэнтна процессу формирования нации, выступающей источником легитимности национального государства, которое в этой связи по существенным признакам мыслится республикой. В колониальную эпоху модус поведения республики вовне вновь апеллирует к античному прототипу завоевания более развитыми цивилизациями менее развитых, причем в роли последних выступают как колонизируемые общности, так и наименее эмансипированные слои самих метрополий. Однако в послевоенный период демографически истощенный рабочий класс, выступающий наиболее массовым низовым слоем, становится полноправным участником общественного договора, начинает оказывать определяющее влияние на распределение общественного продукта и использование

ресурсов государством, что понуждает таковое сосредоточиться в периметре естественных границ нации (см. далее), – фактически это венчает процесс его национализации. По своему содержанию этот процесс резонирует с национально-освободительной борьбой, однако в явном виде маркируется так лишь у общностей, для которых проблема оккупации извне эксплицитна и современна, а не относится только к антропологическому происхождению государства как «оккупационного» института. Отсюда видно, что ввиду высокого градуса остаточных внутренних социальных противоречий национальному государству – т.е. прошедшему через процесс национализации «оккупационному» – сложно выступать в роли империи по отношению к третьим общностям так, чтобы это одобрялось обществом и было комфортно для зависимых стран. Обычно преимущества связки «метрополия – колония» здесь трудно реализовать (см. выше), – так что первая стремится к тотальному подавлению в отношении второй к выгоде собственной нации, чем вызывает восстание против своего господства.

Архетип «оккупационного бандита» воспроизводился и в позднейшие времена, – например, в ходе смены режима новый, неокрепший строй часто прибегает к использованию накопленных ранее противоречий, мотивы которых не имеют отношения к текущей борьбе за власть. Чаще всего это происходит в форме поддержки исторически ущемленной стороны, которая имеет собственный «счет» к большинству, – притом не методом коррекции накопленных конкурентных недостатков (например, доступа к образованию), а вручением меньшинству мандата на отправление функции легитимного насилия либо комплектованием вооруженных формирований представителями такового. В частности, такая линия поведения была характерна практически для всей колониальной эпохи, чем объясняется широко распространенный на Ближнем Востоке феномен правления этно-конфессионального меньшинства. В этом же ряду предоставление Ярлыка Золотой Орды Москве, которая была обделена доступом к сравнительно оживленному волжскому транзитному пути. Наконец, этой политики придерживалась советская власть в первые послереволюционные годы, используя земельные противоречия в Центральной России, вражду за водные ресурсы в Средней Азии, отсутствие жилья в городах и т.п. Доступ практически ко всем социальным лифтам и благам был обусловлен классовыми и этно-территориальными квотами, органы внутренней полиции комплектовались из малоземельных крестьян, неквалифицированных рабочих и городской бедноты, а также этнических меньшинств, право собственности на жилье было попорно «уплотнениями» квартир, – и даже идеологически чуждые атеистической власти религиозные фанатики кооптировались в туркестанские вооруженные отряды. Тем самым во всех указанных случаях режимы создавали новые, опирающиеся на них слои бенефициаров (либо представляющих себя таковыми), чтобы утвердить свое положение в качестве эксклюзивной экстрактивной силы. Показательно, насколько «живуче» представление, что лучшим способом цементировать господство служит придание межсословному размежеванию родоплеменного оттенка, поддержание тлеющей гражданской войны. Кроме этого, сравнение колониальной и советской эпох уместно еще и тем, что как нарезка границ после ухода метрополий, так и административное деление СССР, лежащее в основе постсоветских границ, несет на себе отпечатки территориальных «расчетов с союзниками».

При этом в Новом свете существо антропологического «рисунка» происхождения «стационарного бандита» меняется. Если латиноамериканский континент по совокупности географических, а также исторических факторов унаследовал «оккупационное» происхождение государства (см. далее), к тому же с трансформационным отставанием от прототипа, то США фактически порвали с монархическим государством вовсе. Благодаря рельефу местности и расположению речных артерий здесь сочетаются два уникальных фактора: заметные ограничения земельных ресурсов отсутствуют, а вести мелкотоварное индивидуальное/семейное аграрное хозяйство, продукция которого может быть реализована поблизости, выгодно. Отсюда североамериканский феномен остается единственным в истории примером построения демократических институтов с опорой на сельских жителей, – в то время как города первоначально скорее воспринимались как производные от колониальной администрации. Последние были лишены соблазна обратить экстрактивное воздействие на типичные для остального мира земельные ренты, – в наше время им на смену пришли прочие природные ренты. Отсюда города формировали свое благополучие посредством прочих конкурентных преимуществ – промышленности, знаний и глубины рынков – и освоили республиканские институты. Напротив, в Латинской Америке (первоначально и на юге США) в силу географических особенностей прижился крупно-плантационный способ аграрного производства,

предполагающий производство дефицитных культур для удаленного сбыта. Этот способ вызывает появление экстрактивных центров прибыли, являющихся одновременно инвесторами в инфраструктуру производства и доставки, – отсюда города прежде всего выступают местом размещения таких центров. Неизбежным образом несение этих функций выпадает на элиты этих городов, колониальную знать, – при этом роль классических модернистских сообществ, занятых в торговле и распространении знаний, редуцируется до обслуживания нужд таких элит. Эта судьба постигла городские сообщества и в имперской России, где роль колониальной администрации играли призванные в петровский и последующие периоды иноземцы, а также вестернизированные представители русской феодальной аристократии. В этой связи, в Латинской Америке и России – как и в Европе – демократические традиции не имели опоры в аграрном укладе, однако и опора в виде городских сообществ была крайне слабой, поскольку мощностные таковых не была рассчитана на обслуживание действенных социальных лифтов – например, в ходе урбанизации.

Таким образом, в северной части американского материка природные условия дали возможность опереться на местные источники формирования институтов и дистанцироваться от метропольного «бандита», а английская правовая традиция сделала возможным развитие права в порядке трактовки принципа высшей справедливости применительно к частному случаю, т.е. без обязательного участия субъекта законотворчества. Фактически право здесь предшествует государству, оба изначально существуют в интересах общества, притом без всякого «оккупанта», а источник закона и правоприменения совпадает с субъектом представительства. Архетипически в этой роли выступает свободный и вооруженный земледелец, европейский аналог которого восходит к «оккупированным», – тем самым впервые роль гражданина изначально принадлежит не только горожанину. Отсюда стремление общества напрямую формировать все ветви власти, включая судей и должностных лиц, которым вверено право на легитимное принуждение, – наиболее последовательно этот принцип реализован на местном уровне, приближенном к гражданину. Республиканская социальная архитектура здесь эксплицитно манифестируется и порядком уплаты налогов, – лишь после полной реализации выгод от своей деятельности гражданин делает взносы на цели, связанные с созданием общего блага, будь то в форме обязательных или добровольных платежей. Этот порядок существенным образом отличается от практики большинства других стран, где индивид получает доход, уже очищенный от доли «стационарного бандита». При этом если в восточных американских штатах, где плотность населения практически идентична таковой в Европе, в значительной степени распространен запрос на социальную архитектуру европейского образца, включая долю государства в перераспределении общественного богатства, то по мере удаления на запад нарастает обратная система представлений. В Старом свете совершенно разорвать связь с государством-оккупантом и учредить республику, изначально производную от граждан, удалось лишь гонимым меньшинствам, которые сравнительно поздно обрели (либо восстановили) государственность, причем как раз знаменовавшую избавление от силового подавления, – альпийским протестантам в Швейцарии (при этом заметная часть поселенцев в Северной Америке также происходила из числа гонимых европейских протестантов), евреям в Израиле. Достаточно близки к этому идеалу и скандинавские страны, которые в силу природно-климатических условий обладают невысокой привлекательностью для завоевателей. Наконец, Великобритания и североморский ганзейский «по пояс» тоже тяготеют к этому ряду (независимо от актуального института монархии), поскольку стереотип экономически активного населения сформирован во многом благодаря свободным промыслам, на удалении от патримониальных институтов. В этих общностях отсутствует основа для неустрашимых и устойчивых внутренних социальных противоречий, в связи с чем они легко выступают медиаторами для других, более того, именно к их числу относятся наиболее успешные формальные и неформальные (США) империи – одобряемые обществом внутри метрополии и весьма комфортные, плодотворные для зависимых стран. Императив индустриальной эпохи, тем не менее, и здесь обуславливает возникновение

некоторого удаленного центра концентрации и перераспределения ресурсов как наиболее финансово обеспеченного актора экономики путем делегирования полномочий снизу вверх. Однако общности этого типа лучше других приспособлены оперировать механизмами сдержек и противовесов, поскольку для них не характерна презумпция априорного доверия – как горизонтального, так и вертикального (см. выше).

В целом признаки «оккупационного» и республиканского типов государства узнаваемы соответственно в гоббсовской (Левиафан) и локковской интерпретациях этого института, каждая из которых предполагает собственную трактовку прав граждан в отношении такового и в отношении друг друга. Не следует считать, что «оккупационная» природа государства преодолена безвозвратно где бы то ни было, более того, она может давать себя знать не только в национализированном государстве, но и в условиях непрерывной республиканской традиции. Предпосылкой такого ретроградного движения является критический масштаб перераспределения ресурсов государством на собственные институты, т.е. замыкание внутри одного субъекта функций заказчика и исполнителя в объеме существенной доли общественного продукта. В этом случае на определенный период времени бюрократический аппарат, помимо представительства интересов бенефициаров доминирующего способа производства, обретает собственную политическую субъектность. Традиционно этот эффект прежде всего возникает при образовании государственных резервов, не имеющих адресными бенефициарами конкретных граждан (например, нынешних и будущих пенсионеров персонально) и используемых по усмотрению институтов государства, независимо от процедуры принятия таких решений; при финансировании силового (без учета военного заказа) и бюрократического аппарата, а также тех видов социальной помощи, которые не сопряжены с созданием ценности в виде продукта или услуги. Отсюда риск денационализации государства возрастает, во-первых, при концентрации ресурсов по любым основаниям, в т.ч. объективным, неизбежным, делающим государство в лице различных институтов одновременно заказчиком, провайдером капитала и других факторов производства либо «диктатором» стоимости последних (труда, критической инфраструктуры и пр.); во-вторых, когда на очередном витке технологического прогресса или миграционных процессов выделяется массовый слой «лишних» людей – «невключенных». Последние адресуют государству патерналистский запрос обратить экстрактивное воздействие на «более развитых», в котором различимы контуры прототипических представлений, – так, как будто государство является трансцендентной обществу сущностью, а не производным от его интересов и ресурсов институтом. Более того, безусловные требования менее развитых к более развитым могут встречаться и в межгосударственных отношениях – например, в рамках международной помощи или наднациональных институтов, меняющих свое предназначение на приоритетное представительство интересов стран с ограниченным суверенитетом. При этом патернализм не следует отождествлять с запросом на перераспределение общественного продукта как таковое: оно может выступать индикатором как архаических тенденций, так и наиболее модернистских, поскольку включает приобретение – просто более рациональным в этом случае способом коллективного финансирования – общественных благ, критически необходимых человеческому капиталу и производимых не силами государственного аппарата. Для «включенных» социальная поддержка «невключенных» также является своего рода солидарным общественным благом – фасилитатором адаптационного периода для незадействованных трудовых ресурсов, способом замещения издержек на обеспечение безопасности, гуманизации общества и пр. Однако в определенных масштабах перераспределение становится непроизводительным бременем – прежде всего, если слой-адресат воспринимает поддержку общества как репарацию, а не как временную адаптационную стипендию, и не вовлекается в процесс деархаизации. Это противоречие преодолевается в рамках парадигмы капиталоизбыточной и трудоизбыточной постиндустриальной экономики, когда гражданский доход гарантируется за деятельность, которая раньше не считалась оплачиваемой либо

относилась к исключительному ведению специализированных учреждений, – например, рождение и воспитание детей, которые из достояния семьи становятся ресурсом общества.

Несложно заметить, что во все времена и во всех странах традиционные, наследственные элиты – либо подражающие им преемники – выступают в качестве «общности внутри общности», притом эту общность отличает норма короткой дистанции внутри и высокая степень герметичности по внешнему периметру, что цементируется многочисленными кровными связями, – если государство так и не подверглось национализации, элита по-прежнему пребывает в таком модусе. При этом низы могут быть представлены индивидами, для отношений между которыми характерна норма длинной или короткой дистанции, а также сочетанием первых с некоторым количеством малых общностей короткой дистанции. Между любыми общностями короткой дистанции также устанавливаются отношения длинной дистанции, – в приведенном случае они возникают по горизонтали, однако если низы не имеют способов влияния на отношения внутри элиты, то норма длинной дистанции устанавливается также и по вертикали, между элитой и населением. В случае, если низы представлены лишь несколькими общностями короткой дистанции, сохранившими свои контуры в общем социальном пространстве, то это свидетельствует о наличии среди таковых одной или нескольких архаических, инкапсулированных, – в свою очередь, каждая из них сгруппирована вокруг собственного единого ресурсно-силового субъекта. В этом случае отдельная от малых общностей элита не сформироваться не может: у каждой есть собственная, интернализированная вместе с силовым ресурсом элита, – такие элиты осуществляют совместное, в той или иной мере, правление будучи в отношениях длинной дистанции друг с другом. Иначе говоря, общая дистанцированная элита в некотором социальном и физическом пространстве возникает, либо если среди низов в значительной пропорции представлена норма длинной дистанции, либо если низы представляют собой единую общность короткой дистанции, с которой элита находится в отношениях силовой «оккупации» и ресурсной экстракции. Таким образом, национализация государства сводится к выравниванию нормы дистанции внутри элиты, а также между элитой и населением, с одной стороны, с такой нормой у общности в целом, с другой. В пространстве короткой дистанции – в городе, компактном государстве, профессиональном цехе и т.п. – эта задача сводится к разгерметизации премиальной прослойки – вплоть до эрадикации таковой. В то же время, в пространстве длинной дистанции – мегаполисах, протяженных национальных государствах, корпорациях – чаще всего прибегают к «раздвижению» внутриэлитных связей до общей нормы путем насаждения постоянной конкуренции, более сложной и дорогостоящей системы сдержек и противовесов, этических норм, контроля конфликта интересов, публичности, ротации и пр. Таким образом, дистанция власти может восприниматься как короткая даже в общности длинной дистанции и, напротив, как длинная даже в общности короткой дистанции – например, наподобие положения старшего в патриархальной семье. При этом – независимо от нормы социальной дистанции – короткую дистанцию власти справедливо считать необходимым и достаточным признаком модернистского сообщества, в то время как длинную – архаического.

Необходимо учитывать, что элита общества является компактной группой с общими, в конечном счете, интересами, поэтому дистанция внутри нее со временем всегда тяготеет к уменьшению. Во-первых, ограничительные институциональные механизмы выступают лишь способом увеличить транзакционные издержки извлечения выгод из злоупотреблений, соответственно приводят к «укрупнению» последних и действуют оздоравливающе только на повседневный хозяйственный и социальный оборот. Во-вторых, во всех общностях длинной дистанции в недрах элиты протекает процесс образования династий с их последующей герметизацией, глубоким переплетением интересов в узком кругу, соответствующим стремлением к самовоспроизводству в качестве элиты из поколения в поколение. Ввиду преимущественного положения премиального класса этот процесс захватывает институты подготовки элит, – последние вполне осознанно концентрируют образование, потребление и досуг на площадках, имплицитно подразумевающих имущественный и иные цензы для пользователей,

сужая тем самым коммуникационное пространство верхних слоев. В этот процесс вовлекаются и потенциальные претенденты на роли сменщиков публичных и корпоративных должностных лиц, подлежащих ротации, спонсоры и распространители информации о них, а доступ в высшие слои общества часто опосредуется вступлением в узы родства. Тем самым образуется область ограниченного доступа, которая оставляет за рамками основную часть общности, – отсюда по мере упрочения внутриэлитных связей различные институциональные центры, предназначенные выполнять роль противовесов друг другу, на деле действуют сообща вопреки общественным интересам. Ограничительные механизмы по своему значению на этой стадии вырождаются скорее в корпус норм этики публичного поведения, – они лишь вынуждают элиту придавать злоупотреблениям менее вызывающую по отношению к обществу форму, и в этой связи изначальное предназначение институтов здесь обречено выхолащиваться. В этой связи, даже модернистское сообщество длинной дистанции («субмодернистское» сообщество), где элита стереотипно помещена в конкурентное поле и рискует своим положением, не застраховано от периодического обострения архаических вызовов, ответ на которые обычно исходит от бенефициаров нового способа производства. Напротив, в области короткой дистанции общее пространство труда и быта само по себе способствует постоянной циркуляции людей между различными сферами деятельности, выравниванию их возможностей, а со временем уровня квалификации и доходов, – тем самым горизонтальная социальная архитектура стабилизируется. Однако перед лицом институциональной надстройки длинной дистанции, такой как национальное государство, плохо знакомая с конкурентными механизмами общность короткой дистанции оказывается еще менее защищенной от стремительного огораживания элитой собственного положения.

Некоторой «страховкой» от удлинения дистанции власти служит недостаток ресурсов в распоряжении элиты для решения объективно стоящих перед ней задач и вызванная этим конкуренция в ее недрах (см. выше). В институтах длинной дистанции личные злоупотребления и в этом случае не являются редкостью, однако преимущественно они вызваны конкуренцией за сконцентрированные в указанных институтах ограниченные ресурсы, поэтому в целом распределение последних вполне соотнобразуется с интересами общественного блага. Напротив, в эпоху капиталоизбыточной экономики знаний «дамоклов меч» ограниченных ресурсов утрачивает свою действенность, – в этой связи элита длинной дистанции склонна употреблять ресурсы и полномочия в своем распоряжении вразрез с общественным интересом. В частности, оправдание собственного положения сопряжено с актуализацией устаревающих задач – например, таких как обеспечение равных возможностей, – в этой связи, с целью поддержания знакомых тем в общественной повестке дня элита заинтересована как в искусственном изыскании неравенства, так и в создании нового, вплоть до импорта «свежего антропологического материала». Таким образом, институциональный «инжиниринг» является паллиативным и временным методом обеспечения подконтрольности элиты и обратной связи с населением, способен усложнить, но не предотвратить ее инкапсуляцию, превращение в субъекта «оккупации». На устойчивой основе отношения между населением и властью строятся по модели «принципал – агент» лишь в общности одного типа – модернистском сообществе короткой дистанции. Отсюда в конечном итоге задачей социальной трансформации является не поиск оптимальной институциональной архитектуры, а устранение объективных предпосылок для возникновения областей длинной дистанции, которая создает почву для злоупотреблений и асимметрии информации, – прежде всего посредством развития знаний, возможностей их распространения и полезного применения. Основной среди таких объективных предпосылок служит императивная потребность в концентрации и массивном перераспределении тех или иных ресурсов – соответственно институциональных надстройках с заведомо низким уровнем подотчетности, – что обусловлено высоким капитальным барьером, неравномерным заселением территории, глобализацией цепочки поставок, внешними угрозами и т.п. При этом обновление личного состава элиты, не основанное на изменениях в способе производства и структуре общества, не может

привести к смене способа управления по сути – даже при условии реорганизации правовых институтов и процедур принятия решений. Напротив, такие фундаментальные изменения преобразуют также и способ управления – независимо от того, происходит ли обновление элиты в рамках правовой преемственности или с прерыванием таковой: революционный способ трансформации обычно имеет целью эрадикацию уходящей элиты, мотивированную концентрацией в ее руках силовых возможностей или каких-либо критических для новой формации факторов производства – например, земли, капитала, трудовых ресурсов на правах собственности.

* * *

Исходя из существа государства в различных общностях различается и природа схожих течений политического спектра. Так, политическая и социально-философская платформа либерализма, в основе которой лежит противопоставление личности и государства, – хотя имеет глубокие корни – оформилась в недрах континентально-европейской классической философии, что вполне естественно с учетом генезиса государства в Старом свете. Более того, общество здесь традиционно привыкло видеть в государстве институт, ответственный за требующие концентрации ресурсов функции, – соответственно площадку для перераспределения таковых. Отсюда общество сфокусировано на корпусе незыблемых прав личности, на которые не мог бы посягнуть столь могущественный, но естественный, неизбежный институт, а также пределах обязательств перед таковым. В этом прочтении либеральную идею не следует трактовать как платформу индивидуализма, поскольку коллектив – профессиональные и местные сообщества – по умолчанию полагается естественной и безальтернативной формой социализации личности, стремящейся по весомости к семье. Парадоксальным образом, однако, современная трактовка либерализма скорее происходит из модернистских сообществ длинной дистанции – и прежде всего из Нового света. Это феномен индустриальной эпохи, которая сделала неизбежным повсеместное рождение в качестве площадки концентрации капитала ресурсоемкого государства, совершенно неорганичного для республиканской традиции, – во многом с «самочинным» бюрократическим аппаратом, т.н. «глубинным государством», которое весьма ограниченно поддается контролю. В этой связи, либерализм приобрел оттенок свойственного указанным общностям «строгого» индивидуализма – т.е. платформы, оппонирующей коллективным формам организации социального и хозяйственного оборота. Кроме того, практика тоталитарных режимов индустриальной эпохи отбрасывала тень на коллективизм, под эгидой которого в XX веке государства модерна попирали права и свободы личности. Примечательно, что проблемой этического императива и императива воли на протяжении столетий Нового времени в возрастающей степени была озабочена и сама европейская классическая философия – ведомая эволюцией способа производства и нарастанием концентрации ресурсов, формированием наций и национальных государств, обострением складывавшейся в пользу морских держав глобальной промышленной и военной гонки, сопутствующими социальными и институциональными сдвигами. Более того, по мере приближения к XX веку все громче звучал голос мыслителей, готовых одобрить подчинение не просто такому императиву, а его институциональному и персонифицированному выразителю, – в т.ч. в сравнении со свободой личности.

В свете изложенного легко заметить, что демократии модерна – в особенности федеративные – являются либеральными, но не являются республиками: слишком велик объем ресурсов и полномочий в руках т.н. «глубинного государства». Таким образом, либеральная демократия – в отличие от республики – представляет собой власть элитного меньшинства с согласия большинства, в конечном же итоге скорее при непротивлении большинства. Если при голосовании население обладает правом решающего голоса,

то в формировании политического предложения оно практически лишено голоса (см. проблему входного барьера), – в этой связи, либеральная демократия скорее предполагает предоставление населению совещательного голоса при принятии решений в сфере публичного управления. Большинство до некоторой степени участвует в формировании соотношения сил, внутренней композиции правящего меньшинства, – однако роль такого участия не следует преувеличивать: слишком велико влияние элит – корпоративных работодателей и государства – на благосостояние всего населения. Более того, в силу специфики функционирования кадровых лифтов – прежде всего системы элитного образования – персональные связи политических элит с «глубинным государством» и корпоративными лидерами куда прочнее, чем с избирателем. Отсюда, в противоположность республике, в рамках этой формации выборных представителей ошибочно рассматривать в качестве агентов, интересы которых тождественны интересам принцепала: таковые скорее выступают посредником между населением и «глубинным государством», при этом преследуют собственные интересы. В условиях высокой капиталоемкости общественного продукта, ограниченности ресурсов такое положение вещей не противоречит принципам меритократии и является лучшим из возможных вариантов: публичное и корпоративное управление требует значительной профессиональной компетенции, – при этом интересы элит конгруэнтны интересам основной части населения и направлены на увеличение объема общественной стоимости. В частности, именно последний фактор цементирует нации модерна, делает последние отзывчивыми к экономически мотивированному военному экспансионизму национальных государств. Вместе с тем, легко прийти к выводу, что либеральная демократия предполагает наличие выраженного патерналистского запроса со стороны большинства. Она служит лучшей платформой для организации социального оборота в условиях, когда общество в силу особенностей актуального способа производства еще не готово к республиканской демократии. На этом этапе большинство уклоняется от прямого несения хотя бы части бремени публичного управления в силу сложности последнего и собственной занятости удовлетворением более витальных потребностей – соответственно стремится такое бремя делегировать. В этой же связи становится очевидным, насколько тонкой и проницаемой в обоих направлениях является грань между либеральной демократией и автократией – в особенности электоральной. Автократии также эксплуатируют патерналистский запрос и молчаливое поведение большинства – при этом готовы предоставлять представительство периферийным меньшинствам. Разница заключается в том, что в силу способа производства и параметров ресурсной базы элитное меньшинство во втором случае имеет моноцентрическую структуру, – т.е. ни одна элитная фракция не апеллирует к внеэлитному суждению, – в первом же полицентрическую и допускает ротацию правящих фракций. В силу такого различия в первом случае права личности защищены лучше, – однако в обоих вариантах элиты деятельно препятствуют посягательствам сторонних акторов на собственную гегемонию. Также напрашивается вывод, что в известном смысле либеральная демократия выступает преемником просвещенной монархии и шагом вперед по сравнению с ней. Если последняя балансирует интересы поместной и силовой знати, с одной стороны, и городских сообществ, с другой, то первая предполагает вполне публичную конкуренцию элит за ресурсы – соответственно некоторое влияние большинства на исход такой конкуренции и на использование располагаемых общественных ресурсов.

Снижение капиталоемкости общественного продукта в постиндустриальную эру, напротив, с неизбежностью ведет к эрозии корпуса задач, требующих концентрации ресурсов в руках некоторого удаленного от локальных сообществ центра, – соответственно к разложению государства модерна. Отсюда следует ожидать, что роль основной демократической платформы перейдет от либерализма к республиканизму, однако последний из идеологии конкуренции, индивидуализма, длинной дистанции станет идеологией солидарности, коллективизма, короткой дистанции. Одновременно предполагается «измельчание» республик до периметра однородных социальных организмов с плотными внутренними связями. Именно в этом контексте следует рассматривать растущее недоверие к современному

либеральному нарративу: из «вмененного предписания» конкурентного поведения, соответственно слабых связей и институциональных методов организации транзакционного оборота, латентно вытекает также непризнание за сообществом личностей способности самостоятельно задавать для себя стандарты поведения, соответственно потребность в сословиях, институтах и даже государствах – миссионерах, оправдывающих этим свои притязания на ресурсы. Кроме того, среди социальных групп либерализм ожидаемым образом отдает предпочтение меньшинствам в их оппонировании большинству: тем самым эта платформа может выступать «адвокатом» каждого отдельно взятого гражданина – однако прежде всего именно в той ипостаси, в которой он относится к меньшинству. При этом защита прав меньшинства возлагается на государство, – соответственно последнее не может быть производным от общества, а представляется трансцендентной по отношению к нему сущностью. Это очевидным образом контрастирует с республиканской доктриной: в ее контексте консенсус по поводу норм социального общежития предваряет учреждение государства, а последнее полагается агентом общества и не может выступать в отношениях с ним субъектом. Легко заметить, что с точки зрения ценностей либеральное общество предстает чрезвычайно фрагментированным, «лоскутным» и потому зависимым от качества формальных институциональных механизмов, – в частности, так можно описать социальную реальность империи, крупного национального государства, мегаполиса. В то же время, республиканское общество – будь то социально гомогенное или гетерогенное – в ценностном смысле должно быть однородным, сплоченным и потому не страдает экзистенциальной зависимостью от формальных институтов, – так можно описать социальную реальность общины, профессионального цеха, города-полиса, небольшой страны. При этом безотносительно этической стороны вопроса необходимо признать, что человеческие сообщества в долговременной перспективе стремятся к внутренней ценностной однородности, – этому способствует миграция в направлении ценностно близких общностей, – отсюда основа для республиканской организации раньше или позже появляется повсеместно.

Стремление общности к внутренней ценностной однородности имеет вполне доброкачественную природу, в анамнезе которой, – хотя чаще всего это не осознается, – мотивы концентрации на собственных конкурентных преимуществах: за счет эксплуатации таковых общность обретает источники благосостояния. Индивид, доход которого не является результатом создания типичной для местного промысла ценности или удовлетворения потребностей других членов общности, не рассматривается в качестве полноценного соучастника благосостояния каждого, а также имеет основания уклоняться от бремени общих задач, – более того, его представления об общем благе могут существенно отличаться от типичных для остальных. Отсюда в терминах институциональной теории такой индивид воспринимается окружающими в качестве потенциального или реального «безбилетника» («фрирайдера») – по меньшей мере косвенно живущего за счет остальных, притом вполне осознанно, не вынужденно. В этой связи, не стоит переоценивать пределы априорной толерантности какой бы то ни было общности – невзирая на декларативную сторону вопроса: общность вырабатывает свое отношение к системам взглядов, ценностей по мере того, как тестирует их на предмет жизнеспособности в собственной среде обитания.

Так, широко известно, что бытовые и эстетические привычки городского жителя могут встречать непонимание в сельской общине. Основным промыслом здесь является крестьянский труд, поглощающий основную часть времени человека, а к числу преимуществ такого образа жизни относятся высокий экологический стандарт, приемлемая стоимость жизни, «бездистанционная» социализация, – ради иного образа жизни не стоит жить в деревне. Столь характерное для городского жителя повышенное внимание самовыражению, уходу за собой, личному пространству – на фоне отсутствия адекватного такому жителю промысла – способно само по себе формировать дистанцию в отношениях с окружающими. Аналогичный принцип распространяется и на архаические общности, имеющие куда менее «респектабельный» промысел – например, внешние дотации или даже кочевые набеги. Соответствие ценностных представлений локальному промыслу можно проиллюстрировать на примере поселения, основным конкурентным преимуществом которого служит интерес паломников к расположенным здесь местам поклонения, – естественно, и местным светским жителям свойственна известная аскеза. Показательно, что в средние века репутацию «обители святости» посредством нетерпимости к иноверцам стремились снимать княжества и города, не имевшие

выгодного расположения для торговли, – в то время как наличие таких преимуществ, напротив, стимулировало к демонстрации толерантности, равенства всех перед светским законом.

Наконец, это правило относится и к городам, для которых характерна гетерогенная социальная структура. Во-первых, позитивное отношение к индивидуальным отличиям здесь следует понимать не как проявление толерантности, а как продвижение конкурентных преимуществ города, виднейшими из которых служат глубина рынка и способность создавать новое. В этом контексте манифестация различий выступает приглашением к торговле и обмену образцами, ассоциируется с изобретательностью и кооперацией, промыслом по принципу «положительной суммы». Во-вторых, обратной стороной демонстрации разнообразия выступает настороженность в отношении выходцев из архаических сообществ, которые, напротив, приучены к единообразию сами и склонны навязывать собственные шаблоны другим, подчиняться авторитету. Распространение навыка силового промысла по принципу «нулевой» или «отрицательной суммы» способно подорвать всю систему общественных отношений в городе – соответственно его конкурентные преимущества.

Однако более всего доверие к этому течению подорвали неолиберализм и экономический либерализм: в послевоенный период личность в качестве основного предмета «заботы» этого течения стала вытесняться бизнесом. Последний, в свою очередь, в эпоху глобализации и капиталоизбыточности мировой экономики приобрел лицо ничуть не менее могущественных, чем государство, сущностей – публичных корпораций и их экосистем. Парадокс заключается в том, что в силу упомянутой специфики функционирования кадровых лифтов истинные распорядители таких образований – менеджмент, институциональные инвесторы и прочие крупные стейкхолдеры – образуют единые сообщества как между собой, так и с политическими и государственными институтами. Напротив, личность в отношениях с ними предстает стороной, которая по определению не может рассчитывать на равносубъектность и совершенно отделена от элитного оборота, – например, это неинституциональный инвестор или вкладчик, клиент, сотрудник. Доступные последним способы обратной реакции – продать ценные бумаги или изъять вклад, не приобретать товары и услуги, уволиться – легко манипулируемы многочисленными посредниками и неэффективны (см. выше). Более того, эти пути сопряжены с несимметрично высокими издержками для одиночки, – а попытка кооперации с целью коллективной организации защиты интересов приводит к новым издержкам времени и ресурсов. При этом – вновь в силу специфики функционирования кадровых лифтов – такой метод таит не меньший риск манипулирования: возникают новые элитные ячейки, а интересы лидеров движения стремительно смыкаются с таковыми у корпоративных лидеров.

Как уже отмечалось, ресурсоизбыточность поздней индустриальной экономики подталкивает старые корпорации и политические партии к отказу от содержательной конкуренции и заключению своеобразного пакта против интересов своих потребителей и избирателей – в расчете отстоять собственную долю общественного продукта, которая более не оправдана объективными задачами развития. В этих условиях потребители и избиратели лишены выбора – качественного предложения, альтернативного по сути. Более того, по эффективности и прозрачности, которые принято считать преимуществом частных корпораций, последние перестают столь разительно превосходить государственные – не говоря уже о соответствии их деятельности общественным интересам. Такая социальная организация вынуждает индивида «примыкать к стае» и маргинализировать свой протест, выдвигать «яркие» требования, – не столько в расчете на их выполнение, сколько во имя восстановления утраченной субъектности. Тем самым современный либеральный дискурс приобретает характер идеологической платформы, способствующей наиболее архаическим тенденциям в эволюции. Более того, по отношению к республиканской платформе из смежного течения либерализм превращается в ярко выраженного антагониста – объявляющего интересы любого большинства нелегитимными заведомо – и тем навлекает на себя отторжение.

При этом в странах, где ущемляются базовые права личности, либеральная идея трактуется приближенным к первоначальному смыслу образом и потому до определенного этапа менее скомпрометирована. Государство здесь полагается инородным, «оккупационным» институтом, а противостояние ему имеет целью не столько его переустройство на принципах республики, сколько обеспечение некоторой – пусть и ограниченной, паллиативной – обратной связи и защиты рубежей минимального личного суверенитета. Это противостояние считается уделом интеллектуального класса, в то время как большинство населения сохраняет безмолвие, – так что два слоя практически имеют незначительный опыт сообщения друг с другом и испытывают взаимное недоверие. Разложение подобного режима приводит к немедленному улучшению положения с личными свободами – однако также порождает запрос на ценностное предложение со стороны указанного большинства. Отсутствие такого предложения обуславливает недовольство новой элитой, пришедшей под знаменами либеральных идей, – она же стремится представить себя носителем миссии освободителя, де-факто исключая из системы стартовых возможностей и политического представительства т.н. «непродвинутых». При этом полученным положением такая элита пользуется во вполне корыстных целях, а во имя сохранения достигнутого вновь может прибегнуть к ресурсному и политическому союзу с силовой корпорацией.

Таким образом, на практике носители либерального послания преследуют однозначно благонамеренные, конгруэнтные республиканским цели, когда не обладают действительной властью и выступают в качестве защитников попираемых прав. На вооружении правящих элит это послание сопутствует прогрессу только в периоды активного формирования потребительского общества – пока все локации мира, располагающие глобальными конкурентными преимуществами, получают доступ к рынкам капитала и сбыта. В этих условиях корпоративный бизнес в состоянии обеспечить большинству населения более или менее фронтальную занятость – либо по найму, либо в виде прямой или косвенной генерации спроса для индивидуального бизнеса – соответственно неуклонное улучшение материального положения. Таким, в частности, был практически весь послевоенный период, вплоть до первого десятилетия XXI века, когда появившееся в результате общественное богатство стремительно и повсеместно конвертировалось в бытовое благосостояние, недоступное большинству до той поры, – соответственно в развитие отраслей с ограниченным антропологическим эффектом. В то же время, по мере достижения общностью пределов использования базовых конкурентных преимуществ и насыщения потребительского рынка, корпоративный бизнес более не в состоянии обеспечить фронтальную занятость. Это размывает основания для претензий распорядителей корпоративного бизнеса на премиальное место в распределении общественной стоимости, равно как и на особый вес в фактическом представительстве, – этими привилегиями они мотивированно пользовались в индустриальную эру на правах «кормильца нации». Справедливо ожидать, что общество пожелает восстановить баланс между этой и другими группами интересов: как известно, социальное общежитие предполагает, что различные слои взаимно пользуются ресурсами друг друга и вправе настаивать на соответствии притязаний объема и антропологической ценности вклада в общее благосостояние. Отсюда апология исторически сложившейся структуры экономики и общества приобретает характер пропагандистского нарратива, призванного замаскировать демофобию, антиреспубликанскую практику социального и политического поведения элит. Подоплека такого поведения – хотя и прикрыта изощренной институциональной и риторической личиной – слишком очевидна и уязвима для непредвзятой рефлексии: это удержание премиальной доли общественного продукта в распоряжении элитной экосистемы, обеспечение ее устойчивости вплоть до фактической несменяемости – пусть ценой периодического обновления лиц на наиболее медийных должностях.

Справедливо утверждать, что в модернистских общностях двух типов либеральная идеология имеет совершенно различный генезис. В общностях длинной дистанции, социально неделимой частицей которой выступает домохозяйство-суверен, вооруженный собственник, индивидуальная

самоидентификация является естественной и основной. Соответственно либеральная политическая платформа имеет правую ориентацию и отстаивает интересы предпринимателей, – левая же здесь выступает как вторичная, синтезированная в позднейшие времена и неустойчива. В частности, в США политический индивидуализм выступает в облики республиканской платформы, который отстаивает сервисный характер государства, учрежденного гражданами и не имеющего отдельной от них субъектности, минимизацию делегирования ресурсов и полномочий кому бы то ни было. Правоцентристская/центристская демократическая платформа как оппонент идеологии индивидуализма здесь выступает за усиление институтов концентрации ресурсов и полномочий в целом – включая и финансовый сектор, и государство в качестве самостоятельного субъекта внутри страны и вовне ее. Ожидаемым образом в индустриальную эпоху с ее императивом концентрации ресурсов эта платформа набирает поддержку.

Напротив, в общности короткой дистанции индивидуальная и коллективная самоидентификации симбиотичны, поскольку относятся к индивиду определенного рода занятий и места жительства, интегрированному в свое профессиональное и локальное сообщества. Более того, в силу высокого уровня доверия и плотных связей такого рода общность не испытывает дискомфорта по поводу делегирования полномочий и ресурсов. Либеральная идея здесь появляется не как платформа индивидуализма в собственном смысле, а как платформа борьбы за привилегии городов, для которых защита прав граждан была нормой, и городских сообществ, в основном цехов, против монархии, опиравшейся на экстрактивную поместную землевладельческую знать и придворную аристократию. Таким образом, либеральная платформа здесь отражает коллективные интересы людей, извлекающих доход из своей профессии, поэтому имеет центристскую/левоцентристскую ориентацию. В американской политической системе это течение соответствует скорее демократической платформе, в то время как ярко выраженный правый фланг, ориентированный на интересы капитала и собственников, инвесторов – отдельно от ремесленников, – здесь побочен и неустойчив. Впоследствии либеральная платформа перерождается и резонирует с ускорением индустриальной урбанизации, – когда города как оседлые слободы обрастают чертами мегаполиса, а плотность связей внутри традиционных городских сообществ снижается. Со временем она также привлекает поддержку управленческого сословия корпораций и индивидуальных предпринимателей. Ей оппонирует левая, трудовая платформа, – прежде всего она представляет интересы рабочего класса, который приносит из деревни в город новые ячейки короткой дистанции. Однако по месту производства этот класс образует общее коммуникационное пространство с образованным сословием, – так что левые течения отражают и их предпочтения.

Шаблонный, «симметричный» относительно центра лево-правый дизайн политической системы, который предполагает выпуклое оппонирование друг другу труда и капитала, солидарности и конкуренции, на практике встречается довольно редко и прежде всего описывает британскую модель, более чем какую-либо другую. Это вызвано сочетанием здесь транзакционных и институциональных норм длинной дистанции типичной морской державы с идентичной континентально-европейским странам социальной структурой (см. выше и далее). Однако в условиях перехода к постиндустриальной экономике повсеместно особенную сложность составляет обеспечение представительства интересов растущих неадаптированных слоев. Левые течения становятся опорой для интересов различного рода меньшинств, поскольку они в основном сводятся к простому перераспределению, – так что следование этому запросу приносит быструю политическую выгоду. С одной стороны, эта позиция соответствует мандату левых сил, которые традиционно выступают за расширение инклюзии, доступа к социальным лифтам – и потому пользуются поддержкой интеллектуалов («наставников») и слоев, вступающих в процесс эмансипации («наставляемых»). С другой стороны, рабочий класс и другие слои с неустойчивыми профессиями, напротив, стоят на пороге деэмансипации, – и пренебрежение их интересами со стороны традиционных политических делегатов выталкивает чрезвычайно значительную

часть общества в поле несистемной политической борьбы. Отсюда расширяется социальная база безответственно-популистских и радикальных партий, с сильно смещенной от центра идеологической платформой. В частности, одним из важных индикаторов кризиса традиционной структуры политического спектра выступает резкое смещение платформы представительства коренных низов вправо, к индивидуалистическим идеологиям. Примечательно, что в первой половине XX века, в период мировых войн и Великой депрессии, основные европейские страны уже имели опыт крайне правой самоидентификации рабочего класса. В наше время повсеместно – от США до Восточной Европы – происходит вытеснение рабочих профессий, а с ним эрозия рабочего движения, массовой коллективистской основы левых политических течений. Однако помимо меньшинств последние опираются на слои, выступающие выгодоприобретателями экономики знаний, – в частности, общности короткой дистанции в университетских и технологических экосистемах. Эрозии подвергается и традиционная социальная база правых течений. Капиталозависимая индустриальная эпоха с характерным для нее конкурентным и военным противостоянием за рынки снабжения и сбыта сделала политические силы, представляющие интересы капитала, опорными для националистических течений, – в то время как отдававшие приоритет классовым интересам рабочие движения придерживались интернационалистической платформы. По мере убывания капиталоемкости способа производства традиционный капитал все больше заинтересован переносить рабочие места в страны с дешевыми трудовыми ресурсами, – отсюда правый в своей основе неолиберализм характеризует заметный левый крен, когда речь идет о защите интересов меньшинств. При этом запрос на национализм в опасении за свое благополучие предъявляют, напротив, люди стандартного труда, – так что левый, перераспределительный запрос ищет выражения в изначально правом неоконсерватизме.

Наконец, в архаических сообществах идеологические платформы индивидуализма и коллективизма выступают скорее как самоназвания, на деле апеллируя к различным аспектам одной и той же системы ценностей, социальной архитектуры. Так, в условиях нормы длинной дистанции декларативно либеральная платформа резонирует со свойственной общности этого типа «пищевой конкуренцией», атомизацией, недоверием, отторжением к коллективному действию. Консервативно-традиционалистская платформа при этом акцентирует внимание на обратной стороне такой атомизации – делегировании суверенитета и даже индивидуальной свободы удаленному ресурсно-силовому центру. Это объясняет, почему в архаическом сообществе короткой дистанции, которое действует как расширенная семья, консервативно-традиционалистская платформа является единственной и не имеет укорененных альтернатив.

* * *

Как следует из изложенного, важнейшим фактором модернизационной динамики является возникший в результате естественных особенностей территории, а также в той или иной степени вытекающих из этих особенностей исторических обстоятельств, характер *контроля силовых возможностей* – принадлежность права на легитимное насилие, способ организации защиты от внешних и внутренних угроз. Развитый мир преимущественно характеризует историческая наследственность полицентрической конфигурации силового ресурса: в США его первообразным субъектом выступает отдельно взятый индивид; в скандинавских странах, с некоторыми особенностями в Швейцарии и Израиле – группа равноправных индивидов как единое целое. Исторически и архетипически – но не фактически (см. далее) – то же относится и к регионам России новгородского генезиса (русский север) и со значительным старообрядческим влиянием (Урал и Зауралье), что по сей накладывает существенный

отпечаток на коллективное сознание и поведенческие особенности. Абсолютное большинство европейских стран наследует римскому архетипу конкурирующих вождественных силовых кланов, все из которых в различной степени обладали признаками одновременно аристократичности и криминальности.

Заданный историей Римской империи шаблон можно считать хрестоматией для объяснения фаз централизации и децентрализации формации преמודерна, – притом в равной степени досовременного и современного. Так, египетская тема является одной из наиболее популярных в исторической и художественной литературе сюжетных линий, имеющих отношение к римской Античности. Справедливо предположить, что именно в связи с богатым урожаем зерна в Египте – основной житнице империи – контролировавший эту провинцию соправитель обычно обнаруживал амбиции узурпатора. Этот источник ренты позволял ему снарядить и выставить против других ресурсно-силовых кланов, промысел которых основывался на менее обильных потоках торговли товарами и рабами, контроле отдаленных провинций, недостижимое для них количество военных сил и средств. Тем самым узурпатор получал существенное преимущество в борьбе за власть в самом Риме, – однако это не «обнуляло» влияние других, поскольку их кормовые источники и силовые возможности находились на достаточно безопасном удалении как от Рима, так и от Египта. С другой стороны, контроль над указанными провинциями был невозможен и без влияния в Риме: как отмечалось, богатство возникает в результате сбыта излишков продукта по сравнению с местным спросом, – при этом мировая торговля была сосредоточена вокруг бассейна Средиземного моря. По этой причине – вплоть до расцвета Великого Шелкового пути, принесшего раскол империи на Западную и Восточную с возвышением Константинополя, – Риму не было альтернатив в качестве глобального транзитного хаба и площадки накопления капитала. Таким образом, удержание узурпатором полученного положения требовало дальнейшей династической кооптации в собственный клан некоторой критической массы других силовых акторов в столице. Лишь затем можно было постепенно менять структуру ресурсного влияния внутри правящей династии и оттеснять оставшихся за ее пределами, – иное же было чревато угрозой личной безопасности. Сообразно логике теории рынка, эти интегрированные кланы, тем не менее, обычно распадались уже в следующем поколении изнутри, – и ресурсно-силовая матрица вновь принимала вид, соответствующий структуре рентных «наделов». В частности, силовые возможности различных акторов уравнивал неурожай в Египте, что приводило к фрагментации правящей династии, – отсюда политическая конфигурация в Риме возвращалась в привычное полицентрическое состояние. Это повышало роль и фактический объем полномочий коллегиальных институтов представительной (сенат) и исполнительной (дуумвират/триумвират, консульская коллегия) власти, выборных магистратур и судопроизводства. Необходимо, однако, учитывать, что при любой формации институтами могут пользоваться лишь равные перед законом, – соответственно степень инклюзивность институтов зависит от массовости социальных классов, которые вносят отличительный вклад в производство общественного продукта при актуальном технологическом укладе.

Идентичный динамический рисунок характерен для смены фаз распределения власти и влияния в постсоветской России, обратившейся к ресурсно-силовой хозяйственной и социальной модели. Здесь роль крупнейшего промысла выполняет добыча минерального, прежде всего углеводородного, сырья, – соответственно объем ренты меняется в зависимости от мировой ценовой конъюнктуры. Среди других, конкурирующих промыслов наиболее значительным является потенциал внутреннего потребительского рынка городских агломераций и ориентированного на них импорта. Кроме того, многочисленные локальные рентные промыслы также образуют вокруг себя силовые группы той или иной магнитуды. В этой связи, 90-е гг с их депрессивной экспортной конъюнктурой можно считать периодом динамического равновесия ресурсно-силовых кланов на федеральном, региональном и местном уровнях. Конкуренция давала результирующий эффект видимого оживления институциональных механизмов, – тем не менее, фактический политический процесс оставался кулуарным, а «проекции на фасаде» лишь служили цели привлечь симпатии населения на искомую сторону или даже оказать давление на конкурента посредством коллективного действия. Начиная с 2000-х гг экспортные цены и объемы резко возросли, – соответственно увеличилась покупательская способность внутреннего рынка и объемы импорта. Отсюда в условиях субконтинентального расположения как центров добычи, так и центров потребления – т.е. ключевых грузоотправителей и грузополучателей – основным узким местом стала мощность транспортной системы. В соответствии с теорией рынка это означает, что экспоненциально возрос потенциал рыночной мощи, заключенной в контроле различных транспортных коридоров – прежде всего трубопроводного транспорта и портовых хабов, в особенности близких к наиболее густонаселенной московской агломерации. В этой ситуации вопрос о власти

был решен интеграцией экспортно-ориентированных кланов с группами, контролировавшими ключевые экспортно-импортные транспортные узлы в Петербурге. В свою очередь, это повлекло за собой перераспределение прочих рент в пользу победителей, – хотя сами по себе промысловые «угодья» в полной мере автономно не утратили, а лишь перешли на податное положение.

Наконец, интересно применить «римский» и «постсоветский» шаблоны к современной Украине: в отсутствие обособленного и подавляющего с точки зрения потенциала стоимости рентного источника, нормой здесь является полицентрическая конфигурация «кормовой базы» и силовых кланов, а любая попытка нарушить равновесие немедленно приводит к падению власти. Этим объясняется глубокое переплетение российских и украинских ресурсно-силовых групп в 90-гг, – именно оно цементировало общее хозяйственное пространство, а также ограничивало суверенитет обоих государств, их функциональность, вело к агрессивному трансграничному трансфертному ценообразованию, прежде всего на товары российского экспорта. Однако этим же в равной мере объясняется и глубокий, болезненный разлад, наметившийся в последующий период и порожденный появлением на постсоветском пространстве наиболее могущественной, довлеющей ресурсно-силовой корпорации. Более того, из генезиса российской власти начала XXI века очевиден и предмет этого разлада, – это вопрос о том, на основе какой из взаимоисключающих моделей должны контролироваться все региональные пути транзита рентного сырья в Европу. Так, российская модель подразумевает единство трубопроводных путей постсоветского пространства под контролем одной силовой корпорации, которая в этом случае получает транснациональное измерение, способна образовывать свои ветви за рубежом и участвовать там в распределении власти. С другой стороны, белорусская модель подразумевает территориальный принцип подконтрольности всех источников стоимости в стране единственному местному силовому клану. Наконец, украинская модель предполагает попеременный переход контроля транзитной ренты между местными кланами, имеющими какие-либо третьи «угодья» основными источниками промысла и силового влияния.

В эпоху модерна аппарат принуждения переходит под коллективный – как правило, парламентский – контроль, а оставшиеся за периметром элитной коалиции оказываются вне закона не только декларативно, но и фактически. В то же время, в периферийных странах Черного и Средиземного морей, Латинской Америке криминально-аристократические кланы нередко продолжают состязание в раздробленной конфигурации, поскольку ресурсный способ извлечения стоимости здесь пролонгируется (см. далее) как всеобщий или анклавный – в отдельных отраслях, провинциях. Более того, в условиях «несостоявшегося» государства именно такие конкурирующие архаические группы на правах обладателя силового ресурса претендуют на роль бенефициара всей общественной стоимости. Наконец доминантный для России архетип исторически воспроизводит моноцентрическую конфигурацию силового ресурса, который принадлежит безальтернативному патримониальному вождеству. В зависимости от местных особенностей, социальная ткань и здесь оставляет простор для криминальных сообществ, олицетворяющих «альтернативное» стволу вертикали патримониальное покровительство и претендующих на ту часть общественной стоимости, которая, в силу своей незначительности, «мелкорозничной» структуры, «утекает» из нераздельного резервуара такой стоимости.

С экономической точки зрения показательно, что наиболее органичный для данного социума тип субъекта хозяйствования и центра извлечения стоимости по внутренней архитектуре апеллирует к первообразному субъекту силового ресурса, поскольку обладание последним на протяжении большей части истории является основой защищенности продуктов человеческой деятельности. Более того, практически в каждом из известных социумов оператор редких ресурсов с минимальной добавленной ценностью, но являющихся источниками премиальной стоимости – ренты, по сей день совпадает с личностью первообразного субъекта силы, обладателя оружия. Так, в США это индивидуальный землевладелец, в европейских странах – корпорации, история которых восходит к колониальным завоеваниям, в скандинавских странах с коллективистской традицией – национальный пенсионный фонд (прообраз – община), в монархиях Персидского залива (фактически и в России) – правящая династия и т.п. В развитых странах эти отрасли стремятся к постоянному совершенствованию технологий и внедрению инноваций, в то время как в странах с моноцентрической социальной архитектурой

паразитируют на премиальной компоненте цены на редкие ресурсы, которая оправдывает технологическое отставание. Отказ от вовлечения отличительных компетенций в создание стоимости в архаическом сообществе позволяет господствующему режиму принуждать к труду и присваивать его продукты, используя образованную стоимость для консервации собственного правления. Однако примечательно, что практически в любой общности основная часть ренты в том или ином изымается в доход государства – прежде всего посредством налогов или распределения прибыли, – что имплицитно указывает на право силы как основание быть выгодоприобретателем примитивных ресурсов.

Государство как институт принуждения, подобно любому центру силы, естественным образом тяготеет к расширению, ограниченному лишь силой сопротивления – природного или антропогенного. Препятствие на пути силового ресурса выполняет роль «призмы», при преломлении через которую оперативная и экономическая эффективность применения силы ослабевает – вплоть до запретительного уровня. В этой связи, экономически активные регионы страны, как правило, однородны с точки зрения географических характеристик и плотности населения, – именно на них ориентирована институциональная архитектура общности, – в то время как отличные от них периферийные «довески» представляют собой буферные зоны безопасности. Тем не менее общеизвестно, что некоторые завоевания крайне недолговечны, в то время как другие оказываются весьма устойчивыми. Так, обращает на себя внимание высокая фрагментация государств вдоль морских побережий с активным судоходством: благоприятные условия хозяйствования позволяют обеспечить защиту территории материальными ресурсами и живой силой, что повышает стоимость консолидации береговой линии до запретительного уровня. Более того, даже при условии успешного решения такой задачи, в следующих поколениях обычно происходит дробление правящего клана изнутри, что возвращает границы к близким к прежним, – тем самым «кормовая тектоника» изобильной территории вновь берет верх. Напротив, периферийные в торговом отношении равнинные субконтинентальные пространства тяготеют к консолидации, поскольку центр подавляющей силы не встречает сколько-нибудь существенного, материально подкрепленного сопротивления на своем пути. Отсюда субконтинентальные завоевания морских стран крайне неустойчивы, поскольку требуют весьма неорганичной для их собственной институциональной архитектуры концентрации силы, а соотношение выгод и издержек удержания таковых на фоне собственных конкурентных преимуществ сохраняет привлекательность лишь на время. Напротив, субконтинентальные общности, сформировавшиеся вокруг силового промысла, гораздо основательнее закрепляются в очевидно более привлекательных прибрежных локациях и могут расширяться здесь до той поры, пока не спровоцируют консолидированный отпор. Наконец, в изолированных пространствах – горных, лесных массивах и т.п. – способность «пронизывать территорию силовым контролем» ограничена, чем объясняется фрагментация между государствами титульных территорий проживания одних и тех же этносов, рассеянных естественными преградами, а также ограниченный контроль центральной администрации над такими анклавами.

Состояние силового ресурса определяет пределы полномочий государства как «стационарного бандита», а с другой стороны выступает гарантом транзакционных рисков в экономике. Независимо от причин, утрата – или даже угроза утраты – способности силового принуждения к исполнению всего корпуса установленных норм и правил либо их части, а также монополии на такое принуждение, является наиболее очевидным и бесспорным индикатором кризиса социальной модели и институтов, защите которых служит конкретный центр силы. В постиндустриальную эпоху это справедливо даже в отношении наиболее развитых стран: «измельчавшие» угрозы и вызовы безопасности начинают массово «просачиваться сквозь сито» громоздкого военно-полицейского аппарата эпохи модерна, ориентированного на масштабные конфликты с использованием значительных сил и средств, что становится сигналом дисфункции национального государства как такового и его институтов. В общем случае, однако, вызовы и угрозы безопасности усиливают архаическое тяготение, поскольку для

противодействия им требуется концентрация ресурсов и силового аппарата, который начинает претендовать на свою долю общественной стоимости, снижается его подконтрольность, соответственно способность хозяйствующих субъектов извлекать выгоду от созданной ими ценности, сокращается инвестиционный горизонт. В то же время, витальные для самой силовой функции вызовы, прежде всего, в форме вооруженных конфликтов, поднимают вопрос об эффективности ее контроля и вызывают перераспределение последнего, следовательно, трансформацию всей общественной организации и условий хозяйственной деятельности, в связи с чем для вовлеченных в военную активность стран характерна также и более высокая внутренняя социальная динамика. Направленность таких изменений может быть различной и зависит как от внутренней социальной архитектуры противника, так и исхода столкновения с ним, который наиболее убедительно сигнализирует обществу о реальном состоянии силовых возможностей «стационарного бандита», соответственно, об изменении пределов допустимой свободы для самодеятельных акторов.

Так, победа над заведомо более слабым противником («за явным преимуществом»), как правило, ведет к проявлению архаических черт даже в обществе с преобладанием модернистских признаков: к ресурсам, которые концентрирует военный бюджет, добавляются извлекаемые обложением противника поборы, участие в военных действиях не требует приращения компетенций и становится легкодоступным социальным лифтом по сравнению с более производительными. Долгосрочное архаизирующее влияние оказывает и длительное бытование в ареале влияния более весомых сил, в качестве постоянного предмета спора между ними, – это вырабатывает у участников хозяйственной деятельности стереотип незащищенности предмета извлечения стоимости и сокращает горизонт принятия решений. В то же время, конфликт с серьезным, равным или превосходящим, противником вызывает мощные модернистские тенденции – задействует потенциал общественной солидарности и нарушает межсословные границы, поскольку требует всеобщего и добровольного, в той или иной форме, соучастия в ответе на такой вызов, приращения компетенций, эффективного использования ресурсов и повышения привлекательности собственной социальной модели. В каком виде общность ни вошла бы в такой конфликт, она выходит из него с существенными признаками нации, однако в мирной жизни эти признаки могут сохраниться, только если будут поддержаны трудозависимым, а не ресурсозависимым способом производства.

В этой связи, для архаических элит витальную угрозу власти представляет фаза выхода из такого «модернизирующего» конфликта: у воевавших появляется индивидуальная субъектность и горизонтальный тип солидарности, соответственно запрос на представительство, – это происходит с человеком любого рода занятий, который востребован в личном качестве. Более того, снижение зависимости военного успеха от фактора живой силы делает опасным для власти еще и само вступление в такой конфликт: бреши в техническом оснащении позволяют развязать войну лишь с заведомо более слабым противником. Это также осложняет положение правящего класса, склонного риторически эксплуатировать силовую доблесть и испытывающего потребность время от времени «подтверждать слова делами». Однако будучи ориентированной на примат собственной несменяемости, кормления путем непроизводительного изъятия прибавочной стоимости, архаическая элита избегает амбициозных целей, требующих аллокации ресурсов, – даже структура издержек на силовые функции обусловлена целью удержать власть и скорее акцентирована на внутренней, полицейской составляющей, в то время как военная машина требует усложнения примитивного хозяйства и длительного развития человеческого капитала. В этой связи, демонстрация военной мощи передовых государств – причем даже в конфликтах с третьими сторонами, особенно географически или социально близкими, – становится для таких элит критическим вызовом: это подрывает культивируемый основополагающий миф о рисках стремительного развития для национальной безопасности, призванный нейтрализовать общественный запрос на перемены, а также способ легитимации на основе обретшего силу легенды «былого величия». Социальная

трансформация здесь сопряжена с риском разлома целостности правящего класса и даже страны, поскольку отсутствуют альтернативные ресурсно-силовой вертикали опорные сообщества открытого доступа, с функционирующими социальными лифтами, – будь то самодельный бизнес, армия, система образования, – организованные выходцы из которых могут стремительно заместить собой укорененную элиту.

Примечательно, что если поражение для архаической общности не завершается утратой государственности, то оно вызывает характерный отклик в виде «мифологизации» противника в качестве социального антипода и движение в противоположном от него направлении. Наиболее яркие примеры ускоренной модернизации под влиянием внешних вызовов связаны с разделенными странами и этносами, части которых следуют противоположным путям развития, кроме того, таковые нередко встречаются на Ближнем Востоке и в Азии вообще, однако в столь пестро фрагментированном регионе часто остаются без должного освещения, а среди позднейших примеров в этом ряду Грузия. Напротив, феномен углубления архаизации перед лицом подавляющей мощи модернистского сообщества широко известен небывалым распространением радикального ислама в арабском мире, охватившем также диаспоры в развитых странах и в целом глобальную мусульманскую периферию. Парадоксальным образом этот тренд не в последнюю очередь обязан частым военным успехам передовых стран, прежде всего США и Израиля, которые, тем не менее – в противоположность колониальным кампаниям – преследовали локальные цели и не предполагали глубокого, продолжительного проникновения в социальную и метаинституциональную ткань, поэтому большей частью оставили архаическим общностям региона «вкус поражения».

Примечательно, насколько часто в мировой практике армия (в особенности воюющая) как единственный общедоступный светский социальный лифт обеспечивала формирование модернистского запроса в недрах архаических масс, т.е. по существу «инкубацию» второй, низовой компоненты модернизационной коалиции. Это особенно характерно для стран с трансформационными дефектами – дореволюционной России, исламских стран Средиземноморья, Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. В Израиле же армия и вовсе стала ключевым модернизационным институтом: на фоне перманентной и витальной внешней угрозы именно она служит нациеобразующим «плавильным котлом», который трансформирует стремительно собирающуюся и чрезвычайно неоднородную популяцию с заметными архаическими элементами в модернистское сообщество короткой дистанции. В целом устойчивым и долговременным модернизирующий эффект этого института бывает скорее в общностях короткой дистанции. В то же время, в архаических общностях длинной дистанция межсословное взаимодействие основано на подавлении по образцу отношений между «оккупантом» и «оккупированным», – так что основным элитным силовым институтом традиционно выступает полицейский аппарат.

Наиболее мощные перемены трансформационной колеи, притом в любую сторону, исторически связаны с той или иной формой поглощения в результате военного конфликта, что ведет к сильному влиянию или даже имитации социальной и институциональной архитектуры противника. В этом смысле «расположение» силового ресурса по отношению к другим факторам социальной динамики может определяться не только эндогенными, но и экзогенными факторами, которые в этом случае принимают значение «заводящего устройства» трансформационного механизма. Подавляющие внешние центры силы могут реконфигурировать национальный аппарат подавления до состояния, недостижимого при естественном течении событий, так что сообщества одного этногенеза в идентичных до неотличимости стартовых условиях приобретают практически противоположную социальную динамику. Такими примерами могут служить Западная и Восточная Германия, Северная и Южная Корея, обособление которых во многом определялось глобальным биполярным противостоянием в условиях «холодной войны». В рамках вышеизложенных закономерностей, со временем и сам факт противостояния усиливает разнонаправленное движение, дополнительно усиливая модернизацию одного фрагмента и архаизацию другого, – при этом каждая из сторон упорствует в демонстрации превосходства собственной социальной

модели. Как известно, в ходе распада Советского Союза Восточная Германия естественным образом прекратила существование и влилась в состав Западной, а роль «спонсора» северокорейского режима перешла к Китаю, в связи с чем противостояние на полуострове продолжилось.

Искусственная конфигурация силового ресурса на деле означает передачу этой функции под внешнее управление, намного превосходящему центру силы. В случае, если он архаический, патримониальный, это приводит к архетипическому дефекту всех установок, связанных с горизонтом принятия решений (см. далее). Если же этот центр силы является модернистским, он может сыграть важную роль в устранении силовой «токсичности» как основного источника архаического тяготения, более того, выступить донором передовых образцов, т.е. предоставить извне «прогрессивную» компоненту модернизационной коалиции. Эмпирическим путем можно заключить, что у характера колониального влияния есть рамки, которые задаются внутренней социальной динамикой общности происхождения колонизаторов. Так, пример Латинской Америки свидетельствует о том, что империя не склонна даже инициировать в колонии более прогрессивные изменения, чем те, к которым готова была бы в метрополии (например, предоставление свобод Польше и Финляндии со стороны Российской империи было вынужденным в связи с близостью институционально привлекательных претендентов на эту роль на западе). С другой стороны, модернистское сообщество не заинтересовано нести издержки по насаждению в своих владениях такой институциональной архитектуры, которая уступала бы по уровню развития и сложности естественной для колонизируемой общности в данный момент, – соответственно стремится улучшить таковую либо косметически, либо фундаментально (см. ниже). Однако даже положительная трансформационная динамика должна быть поддержана естественным для исходных природно-географических условий способом производства и локальной модернизационной коалицией (см. выше), – она предполагает наличие обширного низового сословия, предъявляющего запрос на активацию социального лифта и подготовленного к этому. В случае отсутствия последнего в критическом масштабе глубинный модернизационный эффект обусловлен – наряду с контролем силовой функции – коррекцией образовательного стандарта и трудовых отношений, т.е. вмешательством в конфигурацию определяющих общественное сознание факторов социальной динамики (см. выше), что может потребовать оккупации на протяжении ряда поколений. В обратном случае эффект модернизации является лишь временным и длится, пока насажденный режим «спонсируется» извне, в логике мотиваций метрополии – экономических и/или военных. В случае прекращения такой подпитки социальная организация принимает естественное для местных условий состояние, а элементы «преобразованного» человеческого капитала «эвакуируются» вместе с внешней администрацией. Примеров успешного закрепления модернистских устоев на основе «смешанной» модернизационной коалиции сравнительно немного, однако к их числу можно отнести одну из ключевых мировых цивилизаций – индийскую, а также островные страны Юго-Восточной Азии.

Причина относительно невысокой модернизационной эффективности колонизации состоит в том, что издержки оккупации минимальны, лишь если субъект внешнего управления действует так же, как действовал бы местный силовой аппарат исходя из ресурсной базы и естественной модели хозяйствования, – в противном же случае становятся весьма заметными. Этот тезис справедлив безотносительно того, в какую сторону насажденная институциональная архитектура отклоняется от естественной – в худшую или в лучшую. Так, например, Российская империя и Советский Союз имели опыт двух типов – соответственно по отношению к Восточной Европе и по отношению к Центральной Азии, Кавказу. Соответственно удержание институциональной архитектуры колонии в неестественном состоянии должно быть оправдано мотивациями превосходящей стороны, которые в любом случае сводятся к эксплуатации каких-либо конкурентных преимуществ объекта оккупации. В этой связи, если мотивы оккупации носят экстрактивный или сугубо военный характер, то субъект внешнего управления выступает в роли местной ресурсно-силовой корпорации – парадоксальным образом даже когда

происходит из модернистского сообщества. Империя в этом случае заинтересована в обустройстве колонии только в меру необходимости обеспечить инфраструктуру собственной миссии, – это можно отнести к большинству британских и французских владений на Ближнем Востоке и в Африке, где усвоение образцов извне было сравнительно поверхностным и не приняло необратимый характер. Лишь когда колонизация имеет целью эксплуатацию глубины местного рынка, преимуществ торгового хаба или низкой себестоимости производства – т.е. факторов полицентрической конфигурации центров создания стоимости, – у метрополии модернистского толка появляется стимул нести издержки по длительной и глубокой трансформации социальных институтов колонизируемой общности. В частности, это относится к британским колониальным проектам в Новом свете, Ост-Индии и Юго-Восточной Азии. В широком смысле именно в этом ключе следует рассматривать и фронтальное внедрение после второй мировой войны американской военной машины и капитала в Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу, которые на пике капиталоёмкости индустриальной эпохи тяготели к милитаризму и автократии. Более того, эту логику можно распространить далее – на роль западных и северных стран Европы по отношению к восточным и южным, а внутри последних на роль северных регионов по отношению к южным. Одновременно отсюда видно, что однотипные с точки зрения конкурентных преимуществ, социальной структуры и институциональной архитектуры общности не могут выступать друг для друга в роли метрополии/колонии ввиду отсутствия синергетического эффекта. Так, в Европе консенсус по созданию общего внутреннего рынка и обеспечению недискриминационного доступа к внешнему морскому сообщению обрел основу только в результате появления чрезвычайно емких и платежеспособных рынков за пределами континента: это ослабило критичность внутриконтинентального снабжения и сбыта, снизило накал конкурентной борьбы до уровня невоенных методов.

В порядке обобщения феномена колониальной модернизации некорректно утверждать, что сравнительный успех бывших английских колоний обусловлен субъектом колонизации: уровень развития стран Африки и Ближнего Востока – бывших английских и французских колоний вполне сопоставим в схожих географических условиях, в т.ч. они одинаково отброшены в развитии при субконтинентальном расположении. Более того, колониальные земли часто переходили от одного доминиона к другому, поэтому скорее справедливо, что возможности английского флота позволяли получать и удерживать наиболее привлекательные территории с обширным морским побережьем, которые одновременно имеют естественные конкурентные преимущества для производства излишков, торговли и накопления капитала. Об этом же свидетельствует и колонизация западного полушария (см. далее): основанные на частных ресурсах английские колониальные проекты прижились и даже вытеснили прочие в Северной Америке, где природные условия способствовали их самодостаточности и обособлению от метрополии, в то время как в Латинской Америке с ее географической фрагментацией возобладали патримониальные, рассчитанные на экстрактивное хозяйствование в интересах метрополии. Отсюда распространение английского права в морских колониальных странах связано не только с субъектом колонизации, но прежде всего с полицентричностью капитала: право здесь прежде всего отражает договоренность акторов между собой и тем самым предшествует государству, что составляет отличительную особенность этой правовой системы. Таким образом, английская корона как «стационарный бандит» изначально играла лишь «зонтичную» роль в колонизации, однако даже после полного обособления колоний капитал английского происхождения – осевший или сохранивший метропольную резиденцию – становился источником институтов нового государства.

Итак, если колониальный способ модернизации трактовать расширительно, то в той или иной форме три большие цивилизации – североамериканская, латиноамериканская и русская – являются крупнейшими реципиентами архетипического и институционального влияния материнской европейской – соответственно в лице англо-французской, испано-португальской и прусской (преимущественно ею, либо в широком смысле «каролингской», континентальной) ветвей таковой. Однако различны и качество прототипа, и глубина его усвоения, – в каждом случае последняя определяется возможностью опереться на локально жизнеспособный способ производства. Сама по себе имплантация силового ресурса извне может устойчивым образом устранить лишь дополнительные к природно-географическим характеристикам факторы торможения. Наиболее ярким примером тому может служить послевоенное

ограничение милитаристских амбиций Японии – азиатской «владычицы морей» – со стороны США, которое существенным образом раскрепостило потенциал свободного предпринимательства и торговли в Юго-Восточной Азии и открыло ранее маргинализированным странам региона путь к эксплуатации своих конкурентных преимуществ, «экономическому чуду» (см. далее).

С другой стороны, для метрополий избавление от вассалитетов всегда становится важным катализатором внутренней динамики модернизационных процессов, поскольку ликвидирует остатки характерных для империй иерархической социальной архитектуры и активизирует партнерство различных классов по горизонтали, характерное для национального государства. В этом ключе показательны не только распавшиеся колониальные империи Европы и Япония, но прежде всего Турция, в которой модернизационные процессы набрали беспрецедентную для самой страны и региона в целом скорость именно как следствие распада Османской империи в результате поражения в первой мировой войне. Наконец, модернизацию архаического сообщества могут стимулировать и другие вызовы, на которые элиты не в состоянии найти ответ путем применения силы либо увеличения расходов за счет рентных источников. Любые вызовы такого рода порождают общность интересов и солидарность различных сословий, их готовность к коллективному действию, размывают межсословные перегородки. В качестве таковых могут выступать внутренние конфликты или, например, смена технологического уклада в окружающем мире: в коллективном сознании постепенно берет верх понимание, что улучшение условий создания и распределения стоимости принципиально возможно, но не в рамках сложившейся социальной формации, – в то же время до осознания наличия альтернативы отсталость и условия жизни не оказывают существенного давления на власть. Общественное недовольство контрастом фактического и возможного в качестве негативной мотивации может привести элиту к необходимости реинвестирования извлеченной стоимости в привлечение передовых технологических образцов, а также социальных практик. Но скорее это происходит у малочисленных общностей с высокой подушевой обеспеченностью рентными ресурсами: здесь «оккупационный бандит» хотя бы является стационарным, – он может подвергнуться национализации или даже не подвергаться таковой, поскольку корыстные интересы элиты и населения не антагонистичны друг другу.

3. ЭКОНОМИКО-АРХЕТИПИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ

3.1 Классификация и характеристика экономических архетипов

Как правило, *городской оседлый метаархетип* зарождается в ареале крупных водных бассейнов, поскольку здесь сравнительное изобилие позволяет индивиду сосредоточиться на совершенствовании себя и обустройстве окружающей среды. Среди факторов социальной динамики этот метаархетип соответствует знанию, которое для него служит основным социальным лифтом, перемещения для него редки и обычно связаны с возможностью углубления или лучшего применения навыков и компетенций. Он склонен оценивать себя не относительно других, а по сравнению с собственным потенциалом, соревнование в принципе не является для него стимулом (либо это соревнование «с самим собой»), в качестве такого выступает «удовлетворение любознательности». Уже в силу этой своей природы он стремится обеспечить лучшее возможное качество, последнее не является для него «дискретным» понятием, увязанным с материальной заинтересованностью, к которой он отзывчив лишь в рамках обеспечения приемлемого уровня жизни. Как социальный феномен городской метаархетип сфокусирован на общественном благе как самоцели, поэтому временной горизонт принятия решений у него практически не имеет ограничений и выходит за рамки жизни поколения. Отношениям конкуренции за долю в распределении общественной стоимости он предпочитает отношения кооперации для создания новой ценности и извлечение стоимости из таковой, поэтому открыт к кооптации в свой состав индивидов, но не внутренне герметичных общностей. В сущности, он единственный изначально формируется вокруг некоторой ядерной группы модернистского толка – уже по факту своего существования, – он отвергает наследственные статусы, критерием отношения к другому индивиду считает уровень образования и вклад в общее благо. По этой причине течение модернизационных процессов непосредственным образом зависит от влияния городского метаархетипа в рамках конкретной общности. Вместе с тем, в любой момент времени он сравнительно немногочислен, поскольку исторически большинство индивидов происходит из общностей, ведущих тот или иной вид аграрного хозяйствования как отвечающего за удовлетворение витальных потребностей человека. По этой причине социальная трансформация во многом выглядит как преобразование сознания сельского жителя, а ее успех напрямую зависит от способности доминантного – производного от основного типа аграрного хозяйства – архетипа вступать в социальное взаимодействие с городским. Однако последний и сам наиболее социально плодотворен в «коалиции» с кочевниками, поскольку бытует стационарно и мог бы оказаться в изоляции, если бы высокая плотность населения не привлекала внимание торговцев и завоевателей, – в то время как для эффективной реализации собственной миссии он нуждается в постоянном обмене передовыми образцами с другими аналогичными общностями.

Кочевые метаархетипы являются конкурентными уже в силу постоянной необходимости осваивать новые источники стоимости («успеть первым»), мерит свой успех относительно другого, однако по условиям бытования, поведенческим особенностям и социальной сущности распадается на две противоположности – *морской* и *субконтинентальный*. Первый бытует в условиях сравнительного изобилия источников стоимости, второй – в условиях скудости, поэтому для первого кочевание вызвано положительной мотивацией, «от хорошего к лучшему», и желанно, для второго – выживанием, «чтобы не было хуже», сверхзадачей является осесть. Изобилие предполагает полицентричность извлечения стоимости, скудость – тяготение к ее концентрации, поэтому конкурентность в первом случае означает соревнование за лучший результат (архетип игры, спорта, успех другого вызывает желание повторить/опередить), во втором – борьбу за уничтожение соперника, «изгнание» вниз по сословной лестнице (архетип войны, успех другого вызывает зависть, т.е. бессилие). Система принятия решений

первым укладывается в концепцию «риск-доходность» с характерной шкалой дискретности («на все есть своя цена», «ничего личного»), поскольку результат очевидным образом различается в зависимости от приложенного усилия, в то время как у второго эта система имеет скорее бинарную природу («да – нет»), в некоторой степени по аналогии с городским метаархетипом (ценностное принятие решений), а связь приложенного усилия с результатом не является эксплицитной. Первый сосредоточен на освоении источников стоимости, в то время как второй – на их присвоении: в первом случае такие источники доступны многим, поэтому извлечение прибыли возможно только в случае и за счет приращения их ценности, во втором источники ограничены, для извлечения прибыли достаточно ими завладеть. Первому ценность достается за плату, а к силе он прибегает для защиты таковой, при этом в условиях множественности источников стоимости сила также доступна многим, второй же ценность получает силой изначально, при этом центр силы является единственным и тотальным. Соответственно полицентрическую или моноцентрическую (в конечном итоге подчиненную единой воле) конфигурацию имеет силовой ресурс в целом, а не только официальный военно-полицейский аппарат: ареал обитания любых кочевников географически обширен и изобилует социальными лакунами, так что здесь широко представлены параофициальные и контрофициальные формирования – от частных армий и пиратов до криминальных групп и лишенных свободы, – а выходцы из всех силовых субкультур пролиферируют влияние таковых далеко за их пределы. В этой связи, для первого социальной нормой является изначально суверенитет хозяйственных центров и свобода делегировать таковой, подчинение силовых центров носителю суверенитета или объекту его делегирования, автономность акторов и горизонтальная структура отношений между ними, в то время как для второго – поглощение силовым центром как безраздельным субъектом суверенитета любой социально значимой активности и безраздельное доминирование такового в общественной иерархии. Первый стремится сгенерировать новый рыночный спрос путем создания нового предложения, второй завладеть «дикорастущей» ценностью или отнять ценность у кого-либо, чтобы получить место на рынке при неизменном по количеству и качеству спросе. Экономической мотивацией первого является максимизация добавленной ценности при ограниченной норме доходности, второго – максимизация нормы доходности при неизменном уровне ценности, путем извлечения премии за недоступность источника стоимости остальным, ренты. Размер последней настолько велик, что у ее бенефициара не возникает стимулов для приращения ценности такого источника, другие необходимые ценности получают путем обмена излишков такового, поэтому в первом случае любые уникальные и физически неделимые ресурсы осваиваются коллективно, либо рентная компонента их стоимости изымается в общественных интересах. Первый извлекает стоимость по принципу «положительной суммы», создавая изобилие, что приводит к росту общественной ценности, второй – по принципу «нулевой суммы», за счет дефицита, что вызывает консервацию таковой (на практике часто по принципу «отрицательной суммы», с убыванием общественной ценности), приращение обусловлено ростом физического объема присваиваемых ресурсов либо премии за их редкость. Наконец, для двух кочевых метаархетипов характерен различный модус взаимодействия с городским и, соответственно, разным «рисунком» социальной трансформации. Первый, как правило, географически соседствует с городским метаархетипом изначально, знаком с его поведенческими особенностями и преимуществами, поэтому активно вовлекает таковой в решение важнейших задач, включая создание ценности. В местах распространения второго городской метаархетип изначально представлен мало и чужероден, поэтому такие общности лишь могут быть в большей степени или в меньшей степени «проницаемы» для «просачивания» или целенаправленного «прививания» такового извне. Тем самым, здесь модус взаимодействия с архетипическим источником модернистских установок является пассивным, активно он привлекается только под давлением витальных угроз, для противодействия таковым. В этой связи, большая часть общностей, основанных на морском метаархетипе, первоначально обладает высокой социальной динамикой, особенно в сравнении со степными, развитие которых характеризуется изобилием факторов торможения.

Морская разновидность, как и городской метаархетип, бытует вдоль побережья водных транспортных путей, для него мотивацией к передвижениям служит обилие «искушений» – возможностей извлечения стоимости, перемены в принципе воспринимаются как ведущие к успеху. Этот метаархетип исторически «отвечает» за свободное, конкурентное предпринимательство (не обязательно морское), скупку и сбыт ценностей, добытых/произведенных другими, – будь то силой, трудом или знанием. Он занят образованием синергий на основе уже созданного, поэтому оперирует в межеумочном поле неопределенности, риска (образный ряд – море, рынок) – пространстве между центрами образования и потребления ценностей, факторами и сферами производства, культурами и достижениями. В этой связи, обязательной предпосылкой успешной реализации его медиаторской миссии выступает отсутствие ограничений на промысел («свобода навигации») и неприкосновенность дохода («что найду – мое»), т.е. свобода воли и личный суверенитет. Его экономической миссией является устранение дефицитов и формирование изобилия – доставка излишков товаров из мест избытка в места недостатка, пространственный и временной арбитраж, – а также капитала на основе торговли. Впоследствии он использует умение продавать товар и накопленное богатство для организации производства, абсорбируя трудовые ресурсы и знания, тем самым становясь «условно-оседлым». Этот метаархетип также обеспечивает трансграничный и межотраслевой трансфер культур и практик, с ним связано смешение языков и этносов, которое интенсифицируется в бассейнах водных артерий, он единственный обладает способностью выступать платформой для интеграции различных архетипических общностей иначе как силовым путем и, наконец, даже в процессе познания специализируется на своего рода медиации – образовании междисциплинарных связей.

Морской кочевник не привязан к какой-либо юрисдикции и волен выбирать порты захода, – современной проекцией этого выступает выбор капиталом страны размещения независимо от страны происхождения, – в любом месте стоянки может осесть и обзавестись домом, семьей. Между портами возникает конкуренция за лучшие условия и качество институтов, так что этот метаархетип не впадает в зависимость от какого-либо силового ресурса, который ввиду изобилия источников стоимости здесь приобретает полицентрическую конфигурацию. Заморская торговля вырабатывает склонность к риску и временной горизонт, т.е. способность действовать в расчете на отложенный эффект, поскольку по своей природе она представляет собой навигацию между «полями гравитации» различных центров силы на море и на суше, требует длительных перемещений, задействования капитала. Среди факторов производства морское кочевание соответствует капиталу, но среди факторов социальной динамики – труду. Строго говоря, человек труда – с простыми, серийными компетенциями – происходит не из этого метаархетипа, а из сельского оседлого (см. ниже), однако изменение его сознания не случается само по себе. Оно требует, с одной стороны, вовлечения в оперирование средствами производства и увязки с носителями знания в рамках цепочки создания ценности, с другой – нейтрализации непосредственной хозяйственной активности силового центра. Поэтому движущим элементом активации фактора труда для трансформации сознания большинства населения – не занятых умственным трудом изначально и не состоящих на службе в аппарате принуждения – выступает спрос на труд со стороны предпринимательского капитала. Востребуя знания, этот вид обеспечивает положительный конкурентный и элитный отбор, тяготеет к модернистскому началу, однако также не чужд сословного сознания, характерными для которого маркерами выступают уровень материальной состоятельности, тип потребления и собственности. Его система мотивации в наибольшей степени укладывается в положения классической экономической теории, в то время как отражение поведенческих особенностей прочих требует существенного усложнения понятийного и методологического аппарата (притом зачастую с неочевидным результатом).

Как правило, на сочетании городского и морского метаархетипов в том или ином виде замешены цивилизации с наиболее высоким уровнем развития – прежде всего, вокруг городской формы

организации жизни с гетерогенной средой и высокой плотностью населения. Эта композиция выступает проекцией характерного для города-полиса сочетания некоторого ядра профессиональных и локальных сообществ короткой дистанции с площадками дистанционной торговли и накопления капитала, образующих поле отношений длинной дистанции. В наиболее концентрированном виде этот архетипический сплав образует самодостаточные и высокопродуктивные городские формации, автономные даже после их вхождения в состав территориально протяженных государственных образований. Тем самым ближайший к населению уровень концентрации ресурсов всегда находится в зоне физической досягаемости такового и не может быть отменен даже такими весомыми явлениями, как завоевания или образование национального государства, – когда учреждается более отдаленный уровень такой концентрации. Институты второго уровня служат лишь надстройкой, более или менее временной, рыхлой: при любой «усадке» последней, опорная функция вновь возвращается к городу как «несущей конструкции». В зависимости от того, свойства какого из двух архетипических видов более выражены у конкретной общности, таким первичным опорным элементом обнаруживает себя профессиональное сообщество (городской метаархетип) или фирма (морской метаархетип). В любом случае, «окупационный бандит» в таких условиях с неизбежностью достаточно скоро превращается в стационарного, а его национализация и становление республики является лишь вопросом времени. Это справедливо для античных полисов – не только Афин и Рима, но и всего ареала распространения греческого влияния, включая север Африки, например, Александрию и Карфаген; городов-республик Средиземноморья, явившихся родоначальниками Ренессанса; североевропейских торговых городов Ганзейского союза и Великого Новгорода. Аналогичный феномен можно наблюдать на примере Константинополя/Стамбула, представляющего иную культурно-конфессиональную ветвь, а в позднейшие времена он же проявился, например, в совершенно неожиданном месте – Одессе, цивилизационная принадлежность которой, независимо от текущей юрисдикции, крайне сложно поддается определению и несет архетипические отпечатки средиземноморской городской культуры, хотя бассейн Черного моря исторически находился в стороне от Возрождения. Полис в рамках этой формации выступает протогосударственным образованием, изобилие ресурсов здесь формирует множественность конкурирующих элитных и силовых центров, поэтому среда не отличается силовой «токсичностью», публичные институты складываются как инклюзивные, получающие источники содержания и легитимность «снизу», различные сословия легко «сплавляются» в единую нацию. Социальная динамика здесь преимущественно определяется соединением двух других факторов – труда и знания, способы извлечения стоимости постоянно усложняются.

Сплав этих двух метаархетипов, имеющих отношение к близости моря, является хрестоматийным для всей евроатлантической цивилизации, хотя для англо-саксонского мира первичным скорее является морской, городской же превалирует в континентальной Европе и становится все более влиятелен по мере удаления от побережий, т.е. углубления в географическое ядро большого «каролингского» конгломерата. Ограниченность земельных ресурсов повсеместно создает стимулы для повышения урожайности путем внедрения новых технологий и сельскохозяйственных культур, выталкивает население из аграрного производства. Если в континентальных регионах основным направлением социальной и физической миграции служат города с их ремесленным укладом, то в морских – прежде всего Великобритании – с ним конкурируют торговые промыслы и заморская поселенческая активность. Для первых, по естественным причинам проигрывающих вторым конкуренцию за накопление капитала, наиболее рациональным способом промысла выступает качественное превосходство, непрерывное улучшение свойств продукта. Наиболее ярко этот феномен характерен для немцев: морской торговый уклад этого этноса даже в период расцвета относился к поясу вольных ганзейских городов – в хозяйственном и в целом архетипическом отношении. Влияние указанных городов на мировую торговлю и накопление капитала снижалось по мере экспансии крупнейших военно-морских держав акватории, Великобритании

и Голландии, а сохранившиеся торговые промыслы прямо или косвенно были вынуждены перейти на податное положение по отношению к ним и оказались фактически отторгнуты от хозяйственной системы этнически близких им стран. В этой связи, ремесленные города субконтинента всегда были вынуждены довольствоваться усеченной ценой своих товаров – т.е. уменьшенной на размер маржи морской торговли, которая исторически выступала основой капиталоизбыточности. Даже такая страна, как Франция, омываемая судоходными морями со всех сторон, в значительной мере лишена возможности эксплуатировать это преимущество, – отчасти оно оборачивается недостатком в том смысле, что на каждом из многочисленных флангов на море и на суше активизирует отдельного мощного противника, заставляя отрывать значительные ресурсы от целей развития. Кроме того, «дрейфовать» в сторону установок городского метаархетипа все европейские страны в той или иной степени побудил недостижимый отрыв США, основанный на уникальных географических преимуществах (см. ранее и далее): в силу соревновательной природы, морской кочевник отзывчив к успеху и склонен тиражировать его рецепт – а равно активно заимствовать чужой опыт, если собственный перестал обеспечивать лидерство. В этом же контексте необходимо учитывать и фактор непрерывной военной активности на европейском континенте, который способствовал дополнительному росту нагрузки на общественный продукт, сокращению аппетита на индивидуальный предпринимательский риск в стоимостном выражении и с точки зрения временного горизонта, усилению перед лицом внешней угрозы солидарного начала в противовес конкурентному.

В Европе в условиях высокой плотности городов-государств с социальными укладами «на любой вкус», где может укрыться недовольный человек, власть заинтересована ограничивать свой произвол для реализации конкурентных преимуществ и собственного же благополучия. В различных обстоятельствах с этой целью в ход идут любые, зачастую прямо противоположные средства: наиболее выгодно расположенные торговые республики демонстрируют выдающийся для своего времени уровень толерантности и верховенство права для привлечения купцов со всего мира, при этом города в глубине континента оказывают протекцию местным ремеслам, ограничивая в правах чужеземцев, а захолустные княжества, напротив, эксплуатируют религиозную нетерпимость для привлечения церковных капиталов и монастырей.

С другой стороны, независимо от расположения, город-мегаполис с его сверхконцентрацией населения чаще всего создает предрасположенность к поведенческому типу морского кочевника: ресурс времени, который в оседлой слободе европейского типа служит развитию социального капитала – укреплению связей и доверия, – здесь тратится на «навигацию» между точками жизнедеятельности. Разновидности таких точек сгруппированы по внутренне довольно гомогенным районам, так что, хотя в качестве единого целого мегаполис очевидным образом является гетерогенной формацией, реализация преимуществ гетерогенности требует значительных временных издержек. Этот уклад является продуктом индустриальной урбанизации, специфика образа жизни рабочих кварталов на начальной стадии таковой формирует у индивида запрос на личное пространство, отторжение короткой дистанции, – даже если человек происходит из сельской местности. Таким образом, индустриальный город на всем протяжении своего развития не способствует возникновению устойчивых городских сообществ и стимулирует выработку длинной социальной дистанции, компенсируемой уникальной глубиной и концентрацией рынка, а также «нулевыми» транспортными издержками, – отсюда и склонность к конкурентному поведению. Более того, по мере накопления рент торгово-финансового происхождения предложение и ценообразование товаров и услуг в мегаполисе все больше отражает возможности и предпочтения бенефициаров таких рент, «рассеивая» по окраинам людей тех профессий, которые призваны образовывать социальную ткань полиса.

В своем крайнем проявлении в качестве городской формы организации жизни этот феномен органичен именно для различного рода кочевых общностей. В этом виде он в основном представлен за пределами материнской части континентальной Европы, которая вынуждена была довольствоваться

периферийной ролью в морской торговле и создавала собственное благосостояние на премиальном качестве товаров, – это требовало постоянного расширения образованного и ремесленного класса. Высокая плотность населения, низкая способность генерировать ренты и постоянный спрос на основной капитал препятствуют возникновению здесь тяги к сверхконцентрированным формам организации проживания, а социальный каркас составляют не претерпевшие эрозии профессиональные и университетские городские сообщества с глубокими, доиндустриальными историческими корнями. Отсюда видно, что городской метаархетип формируется отнюдь не в любых типах городов, а лишь в таких, архетипический состав которых сложился вокруг торговли, ремесел и знаний, прежде всего в доиндустриальную эпоху. Районирование здесь несет отпечатки исторически представленных промыслов, каждый из которых обустроил внутренне гетерогенную и потому оседлую слободу, что топографически фиксирует роль профессиональных сообществ как градообразующих, создает площадку социальных связей и коммуникации по цеховому принципу. Именно эти сообщества выступили в Европе опорными для индустриализации, – в то время как в других регионах мира промышленность возникала либо одновременно с городами, либо «захватывала» города, ранее бытовавшие в качестве места жительства землевладельческой знати, и меняла их архетипический состав, фактически превращая их в индустриальные.

Допустимо предположить, что, если бы колонизация Северной Америки протекала более или менее синхронно с заселением европейского континента – т.е. при аналогичном способе производства и уровне развития аграрных технологий, – то плотность населения и городов не отличалась бы от европейской не только в восточной полосе США, но и в целом в долинах всех судоходных рек. Косвенным подтверждением этому служит то, что число выходцев из целого ряда этносов здесь успело дорасти до сопоставимого с населением соответствующих титульных стран, – это справедливо в отношении не только англосаксов, но и большинства крупных евразийских и латиноамериканских народов. Этот процесс разделился на две стадии: пока земли сельскохозяйственного назначения, каковые здесь в изобилии, еще считались в мире наиболее дефицитным ресурсом, поселенческая активность стремительно распространялась по обитаемой части страны, – так что ее освоение шло сравнительно равномерно. Механическая экстраполяция этого процесса, вероятно, могла бы натолкнуть на мысль о том, что происходит формирование уклада, идентичного по своим естественным и антропогенным характеристикам сложившемуся на европейском континенте – с морским и субконтинентальным речным элементами. Но уже на довольно ранней стадии колонизации этот шаблон был опрокинут глобальной революцией в технологиях аграрного и промышленного производства, резко снизившей спрос на земельные ресурсы. После этого внешняя и внутренняя иммиграция стала в большей степени концентрироваться в мегаполисах – крупных промышленных и финансовых агломерациях, – так что плотность населения обитаемой территории в итоге получилась неравномерной.

В этой связи, именно на примере США как «цитадели» морских кочевников особенно показателен непрерывный, протекающий в реальном времени процесс синтеза городского метаархетипа: население побережий здесь неуклонно растет и уплотняется до европейских значений. Этот тренд обязан не только иммиграции из европейских стран, которая обеспечила запрос на европейскую городскую формацию, но и позднейшей деиндустриализации Среднего Запада, в связи с которым приостановилось выравнивание плотности населения между побережьями и субконтинентом, – последний пока проигрывает по привлекательности для высококачественного человеческого капитала. Выгодоприобретателями такой миграции населения в настоящее время становятся не столько мегаполисы, сколько их спутники – вынесенные университетские кампусы, которые по ядерной структуре человеческого капитала существенным образом схожи с европейскими городами. Для местных сообществ характерен тип связей, свойственный городскому метаархетипу, что – с учетом их значимости для экономики знаний – также усиливает запрос на институциональную архитектуру этого вида в общенациональном масштабе. В этой

связи, любопытна аналогия между прибрежными штатами США и Великобританией, где давление рент торгово-финансового происхождения еще в начале Нового времени способствовало «разъеданию» социального каркаса европейского полиса: в обоих случаях образованные сообщества традиционно обосновываются за пределами городов. Важнейшим наблюдением в этой связи является то, что, независимо от географического расположения, университетская технологическая экосистема, выступающая базовой гетероструктурой экономики знаний и основанная на эффективной горизонтальной коммуникации, может быть основана исключительно на гетерогенном сообществе короткой дистанции, т.е. тяготеющем к социально-поведенческому комплексу городского метаархетипа. В России эффект мегаполиса в социальном и хозяйственном смысле в объеме, достаточном для возникновения поведенческого феномена такого «синтетического» морского кочевника, можно отнести исключительно к современной московской агломерации, – этому немало способствовало историческое влияние предприимчивых старообрядцев (см. далее), однако архетипическое становление формации связано именно с индустриальной урбанизацией XX века. В то же время, отнесение Петербурга с его ярко выраженным городским метаархетипом к числу классических мегаполисов в этом понимании является ошибочным, по меньшей мере частично (см. далее).

Благодаря географическому положению морские кочевники обеспечены капиталом и могут предложить наиболее выгодные транспортно-логистические решения, поэтому первыми внедряют серийное машинное производство. Однако в условиях выпуска массовым трудом стандартного продукта, не требующего отличительных навыков, лидерство постоянно «каскадным» способом переходит к тому из обладателей выгодного расположения, который также может предложить наиболее дешевую на данный момент рабочую силу, так что в зрелом состоянии для этого вида – в противоположность городскому метаархетипу – характерен хронический дефицит торгового баланса. В этой связи, для сохранения позиций предыдущему лидеру жизненно необходим альянс с городским метаархетипом: последний ориентирован на продукт премиального качества с премиальной ценой, которое гарантирует стабильно положительное значение чистой добавленной ценности во внешней торговле, а заработанный таким способом излишек капитала сравнительно невелик и, как правило, абсорбируется собственным хозяйством для расширения. На деле же морские кочевники в гораздо большей степени выходят из положения за счет эксплуатации выгод своего географического положения для посреднической деятельности – обслуживания товарных потоков между третьими сторонами. Тем самым в их обороте аккумулируется капитал постороннего происхождения, что позволяет предложить собственные кредитные обязательства – национальную валюту – в качестве универсального глобального платежного средства и распространить посредничество также и на сферу трансформации риска, т.е. финансовый сектор. Отсюда для экономики морских кочевников характерен необычно высокий оборот капитала по сравнению с оборотом товаров и услуг, т.е. валовый оборот по счету капитальных операций платежного баланса по сравнению с валовым оборотом по счету текущих операций такового, а также по сравнению с общественным продуктом в целом. Более того, даже одновременный дефицит обоих счетов не представляет для такой экономики большого затруднения в силу того, что он финансируется национальной валютой, принимаемой в иностранных операциях, при этом доходность чистой инвестиционной позиции обычно устойчиво положительна. По этой причине эффект «инфлирования» общественного продукта, равно как и опережающего развития отраслей с ограниченной антропологической плодотворностью (см. ранее), здесь выражен более отчетливо, чем у городского метаархетипа, что одновременно означает и более высокий уровень имущественного расслоения. Несомненно, аналитическое упражнение по приведению структуры экономики морских кочевников к характерной для стран с доминантным городским метаархетипом, где продукты финансового сектора прежде всего привязаны к нуждам локальных нефинансовых хозяйствующих субъектов, покажет существенное сравнительное ухудшение позиций первых относительно вторых по валовым показателям.

Более того, при переходе к капиталоизбыточной экономике знаний, вызывающей сложности с генерацией устойчивой доходности в финансовом секторе, именно экономика морских кочевников наименее устойчива к кризисным стрессам.

Вместе с тем, изобилие капитала позволяет морским кочевникам первыми находить коммерческое применение любому благу посредством щедрой оплаты ошибки предпринимателя за счет общественного продукта, т.е. фактического возведения такой ошибки в ранг ключевой разновидности общественного блага. Тестирование рынка «широким фронтом» возможных приложений радикально ускоряет нахождение оптимального решения, поскольку тупиковые ветви развития отсеиваются опытным путем, а также повышает ресурсную самодостаточность каждого из этапов жизненного цикла продукта, создает беспрецедентные экономические стимулы к развитию экосистемы знаний. Морские кочевники также имеют неоспоримое преимущество в процессе глобализации, поскольку более чем кто-либо приспособлены к управлению транснациональными корпорациями с их географически распределенной и поликультурной структурой: институциональная архитектура у этого вида изначально «спроектирована» для оперирования в условиях эффекта длинной дистанции, высоких издержек транзакционного взаимодействия акторов с разнонаправленными интересами. Напротив, городской метаархетип оптимальным образом реализует свое конкурентное преимущество в условиях короткой дистанции, однородной в культурном и ценностном отношении среды, – именно этому эффекту обязано премиальное качество продукта. При этом потеря такого преимущества на удалении не всегда перевешивает экономические выгоды международной экспансии, более того, по мере перехода к локализованному, мелкосерийному и роботизированному производству в условиях постиндустриальной экономики экспансия в форме физического присутствия утрачивает и экономический смысл. Напротив, в индустриальную эпоху капитализация конкурентных преимуществ требует расширения области длинной дистанции, поскольку высокая капиталоемкость вызывает концентрацию производства и рынков, что также влечет за собой стягивание самоуправяемых городов в национальные государства. В этой связи, именно в период модерна поведение стран с доминантным городским метаархетипом, с его нормой короткой дистанции и характерной локализацией, становится неестественным для этого вида, – фронтальная агрессивность, склонность к подавлению по внешнему периметру прямо пропорциональна качественному и количественному потенциалу производства промышленной продукции.

Еще одной важной отличительной особенностью экономики морских кочевников является то, что избыток капитала создает основу для расширения финансового сектора за рамки традиционной модели трансформации риска в расчете на процентную маржу, притом в объемах, сопоставимых с коммерческой банковской деятельностью, – так что финансовый и некоммерческий секторы выполняют многие функции, которые у городского метаархетипа стереотипно относятся к ведению государства. Аккумуляция долгосрочных финансовых ресурсов и портфельное управление их доходностью либо иным универсальным параметром, а соответственно стратегическими целями их инвестирования, предшествует в хозяйственной цепочке собственно использованию ресурсов реципиентами – центрами создания ценности. Более того, инвестиционная деятельность выступает здесь самоценным звеном в цепочке добавленной ценности, претендующим на долю общественной прибавочной стоимости и фактически выполняющим ведущую роль в глобальном, «трансархетипическом» управлении активами. В то же время, в странах с доминантным городским метаархетипом этот сектор скорее занимает периферийное место в хозяйственном механизме, – хозяйствующие субъекты отдают предпочтение долговому финансированию, а в случае насущной нужды в акционерном капитале прибегают к услугам инвестиционной индустрии морских кочевников. Аналогично, последние несопоставимо шире используют специализированные институты концентрации ресурсов для управления созданием и приобретением общественных благ – страховые компании, а также весьма дорогостоящий некоммерческий сектор. При этом все институты, аккумулирующие капитал долговременного

использования, предлагают донорам и реципиентам ресурсов определенные услуги, обладающие большей или меньшей общественной полезности – например, сводящиеся к трансферу экспертизы и в целом обмену информацией, созданию эффекта экономии на разнообразии, концентрации у себя общих компетенций, необходимых многим участникам экосистемы. Однако при более пристальном рассмотрении потребность в этих услугах выступает обратной стороной свойственного морским кочевникам эффекта «длинной дистанции» – сравнительно низкой плотности прямого взаимодействия, соответственно дефектов доверия между участниками такой экосистемы. Фактически организация транзакционного взаимодействия имплицитно, в виде дополнительных функций у фирм, или эксплицитно, в качестве отдельных индустрий в секторе услуг, выступает крупным сегментом экономики, – и это необходимо принимать во внимание при межстрановых сравнениях. Область прямой материальной ответственности государства перед гражданами у этого вида весьма ограничена, в общем случае оно наряду с другими акторами выступает донором институтов или инструментов коллективного финансирования, адресующих гражданам свой синтетический продукт, стандарт цены и качества которого в той или иной мере регулируется государством. Напротив, городской метаархетип, для которого характерна минимальная дистанцированность акторов друг от друга и от власти, как правило, не создает промежуточных площадок для коллективного финансирования между центром концентрации налогов и прочих обязательных платежей – государством, муниципалитетом – и производителями соответствующих ценностей, такими как учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры. Фактически созданные для этих целей учреждения не являются самостоятельными и представляют собой часть государственного аппарата, хотя в отдельных случаях находятся под управлением профессионального сообщества, более того, не обременяют цепочку создания ценности сверх разумных затрат на собственное содержание, – даже будучи декларативно независимыми, они в значительной мере лишены свободы коммерческих действий. Таким образом, оба архетипических вида активно вовлекают в хозяйственный оборот накопления общности для расширения располагаемой ресурсной базы реципиентов, однако если у городского метаархетипа это не сопряжено с существенными транзакционными издержками, то у морских кочевников требует дорогостоящей институциональной инфраструктуры. В последнем случае это создает дополнительный барьер доступа, поэтому по совокупности в сопоставимом выражении у городского метаархетипа хозяйствующий субъект может довольствоваться меньшей доходной базой для решения аналогичных задач. Отсюда в целом экономика городского метаархетипа нуждается в меньшей стоимости общественного продукта для производства того же объема ценности, что экономика морского кочевника, – соответственно и в менее высоких темпах роста для обеспечения решения аналогичных задач, в особенности – в силу более низкого имущественного расслоения – аналогичного уровня жизни для большинства населения.

Две симбиотические архетипические сущности сформировали общее представление об институциональной архитектуре, в связи с чем довольно сложно разделить элементы таковой на отвечающие запросам одной и другой. Однако было бы преувеличением утверждать, что для доминантного городского метаархетипа сменяемость власти изначально являлась императивом: как и во всех остальных сферах, он ориентирован скорее на профессиональные институты, а профессия для него вполне может быть наследственным атрибутом. Кроме того, примат общественного блага предполагает отсутствие ограничения на временной горизонт решений, меритократическое правление – тяготеющее к аристотелевскому идеалу – не требует регулярного обновления обладателя мандата, а короткая перспектива у часто меняющихся властителей вызывает некоторое «неудобство»: функцию целеполагания приходится перераспределять «вниз», в экспертную среду. Практика сменяемости власти в разные исторические периоды скорее заимствовалась у морских кочевников, опасавшихся недобросовестной конкуренции и стремящихся исключить конфликт интересов между частным промыслом и публичными функциями, а лимит легислатуры здесь корреспондируется с ограниченным

горизонтом принятия решений. Это указывает на единственную формирующую ценность морского кочевника – свободу воли, без которой он не в состоянии реализовать свою социальную миссию и ради которой способен отказаться от коммерческих выгод, более того, в условиях устойчивого силового подавления поведенческие свойства этого вида подвергаются необратимой деформации (см. далее). В этой связи, либо область жизнедеятельности этого вида должна быть полностью свободна от какого бы то ни было «оккупационного бандита», либо таковой должен быть поставлен под контроль и ограничен недвусмысленными правилами. Таким образом, аутентичный запрос морского кочевника уже с ранних стадий становления соответствует республиканской форме правления, предполагающей полноправное представительство – включая решение вопросов легитимного применения силы. В то же время менее озабоченный защитой достоинства городской метаархетип может позволить себе следовать длинному пути национализации государства – при этом сначала довольствоваться совещательным представительством при «оккупационном стационарном бандите». В недрах этой общности последний не находится на физическом и институциональном удалении от образованного слоя, более того, не имеет более эффективных способов достичь процветания, чем покровительствовать ремеслам, наукам и искусствам, в т.ч. обращая силовые возможности на продвижение их достижений вовне. Это различие весьма существенно и вытекает из эффекта дистанции индивидов друг от друга и от власти – длинной у морского кочевника и короткой у городского метаархетипа. Разреженная социальная среда, которая также соответствует менее высокой плотности населения, не предполагает высокого уровня межличностного доверия и вызывает к жизни потребность в контроле за контрагентом в транзакционном взаимодействии, равно как и за своим делегатом во власти, механизмах недопущения злоупотреблений. В то же время, погруженность граждан и власти в общий контекст повседневной жизни, общее бытовое пространство, которому немало способствует высокая плотность населения, сужает поле таких злоупотреблений естественным и не менее эффективным образом. По этой причине в поле длинной дистанции – на уровне крупных национальных государств и регионов, мегаполисов – чаще можно встретить институциональную архитектуру, органичную для морских кочевников, в то время как в поле короткой дистанции – в компактных городах, на муниципальном уровне и в небольших странах – отвечающую запросам городского метаархетипа. Отсюда чем ниже уровень власти, ответственный за отправление тех или иных полномочий, тем ниже нагрузка на институциональную организацию в целом и издержки организации их администрирования. Однако ограничением такой желательной децентрализации неизбежно выступает капиталоемкость конкретной услуги, выступающей предметом ведения определенного института власти и требующей определенной концентрации – как ресурсов, так и производства услуги. В этой связи, по мере перехода к постиндустриальной экономике и эрозии института национального государства в развитом мире несомненно можно ожидать нарастания роли городов, соответственно институциональной архитектуры городского метаархетипа.

Эти архетипические различия влияют не только на долю перераспределяемого общественного богатства, – эта доля вытекает из различного объема консенсуса в отношении ценностей, признаваемых общим благом и заслуживающих приобретения в солидарном порядке, а не путем простого рыночного обмена, который вызывает имущественную сегрегацию доступа (см. ранее). Указанные различия отражаются и на том, как у архетипических видов различные участники общественных отношений делят между собой бремя содержания публичных институтов, а соответственно обретают субъектность и право на представительство. Если у морских кочевников основное бремя налогов несут физические лица, в то время как бизнес облагается по сравнительно щадящим ставкам, то у городского метаархетипа такое бремя в сопоставимой степени несут и фирмы, что делает их «корпоративными гражданами» и отсылает к роли профессиональных сообществ как основной ячейки общества у этого вида. В этой же связи обращает на себя внимание высокая степень устойчивости «карты корпораций» и «личного состава» богатейших семей на протяжении многих поколений: капитал, заработанный благодаря риску, а не

профессиональному превосходству, здесь редкость. Если капитал такого происхождения и встречается, то он обязан специфическим страницам истории соответствующих стран, когда расширялась область длинной дистанции, – например, таким как колониальные завоевания или план Маршалла, – а многие состояния и вовсе наследуют временам премодерна, когда ареал распространения аутентичных морских кочевников был сосредоточен вокруг Средиземноморья, т.е. предшествовавшим архетипической деформации вида (см. далее). Это обстоятельство отсылает также к одному из наиболее фундаментальных, структурно значимых различий двух антропологических видов, – оно касается того, какой субъект выступает базовым участником рынка, под потребности которого спроектированы институты и транзакционная культура. Для городского метаархетипа таковым является носитель компетенции – отдельно взятый профессионал, объединение таковых либо хозяйствующих субъект, функционирующий как институт развития определенной группы компетенций, – остальные же факторы производства, прежде всего капитал, этот субъект привлекает на рынке. Помимо всего прочего, принцип профессионального объединения препятствует чрезмерной асимметрии в распределении между работодателем и работником, – степень такой асимметрии во многом ограничена таким ориентиром, как соотношение уровней квалификации. Для морского кочевника, напротив, базовым участником рынка является предприниматель – продавец продукта, накапливающий и инвестирующий капитал, при этом профессиональные компетенции он привлекает на рынке. Отсюда последний часто вынужден прибегать к страхованию профессиональной ответственности либо к услугам коммерчески ответственных провайдеров компетенций, т.е. умножать количество участников хозяйственной цепочки, обременять цену итогового продукта за счет административных издержек и нормы прибыли таких участников в ущерб доходу непосредственного носителя профессионального навыка. У первого, напротив, транзакционная дистанция между непосредственным производителем и покупателем минимальна, как и издержки обращения, – отсюда ниже фоновый уровень стоимости жизни, в связи с чем индивид может позволить себе более дорогие и/или качественные товары и услуги в повседневном потреблении.

Это различие достаточно эксплицитно проецируется на актуальные до сих пор механизмы уплаты налогов в США, с одной стороны, и большинстве европейских стран, с другой. В первом случае гражданин осуществляет все выплаты на общественные нужды – независимо от того, обязательные они или добровольные, какой институт выступает оператором реализации общественных целей и т.д. – лишь после полной реализации выгод от своей деятельности. Напротив, во втором случае, как правило, гражданин получает доход уже за вычетом выплат в пользу государства, что в национализированном государстве предполагает высокий уровень консенсуса по поводу состава общественных благ.

В некоторых случаях общность с поведенческими установками, аналогичными характерным для «сплава» городского и морского метаархетипов, образуется в неблагоприятной среде, притом даже на удалении от моря, – в суровых природных условиях или у меньшинств под давлением гонений, притеснений, когда источник стоимости приносит сравнительно небольшую отдачу и/или обременен высокой стоимостью жизнеобеспечения, защиты и т.п., тем не менее по своей физической природе общедоступен, поэтому не может быть присвоен силой. В зависимости от особенностей каждой такой общности, в ней может быть несколько больше выражена морская или городская компонента, однако общим является равенство индивидов в обладании силой (в т.ч. иногда в бессилии перед лицом подавляющей силы) и правами: они сообща решают и оборонительные, и хозяйственные задачи, соответственно также распределяют «добычу». В сравнении с другими модернистскими общностями в каждый исторический период здесь необычно велик перечень благ, которые находятся в бесплатном обороте, а общественная стоимость подвергается обширному вторичному перераспределению в пользу различных солидарных институтов, приближая предпринимательский доход к оплате труда аналогичного качества. Эти сообщества имеют традицию коллективной, крайне ограниченно делегируемой ответственности, коллективных форм хозяйствования и собственности, решения долгосрочных и дорогостоящих задач не столько в расчете на непосредственную отдачу, сколько в режиме создания

общественного блага, изначально заявляют запрос на всеобщее представительство, т.е. де-факто республиканские институты. При этом у этносов, образующих такого рода общности, общая плотность населения может быть даже весьма низкой, однако в каждом отдельном поселении они тесно интегрированы в коммуны, – в экономическом и поведенческом понимании последние обладают признаками домохозяйства практически в той же степени, что отдельная семья. Таким образом, внутри периметра кооперации для создания общественного блага характер связей индивидов здесь отличается даже большей прочностью и меньшей дистанцией, чем у городского метаархетипа, – такие условия требуют значительного расширения предметов совместного хозяйственного ведения и доли ресурсов в общем управлении. В то же время, во внешнем взаимодействии общность этого типа ярче проявляет признаки морских кочевников, такие как абсолютный примат личного суверенитета. В частности, из этого вытекает всеобщее отторжение в своих пределах чужеродного и не являющегося исчерпывающе подконтрольным центра силы, – в то время как у подавляющего большинства общностей такой центр восходит к прототипу «оккупационного бандита». Более того, даже положение актуальной оккупации эти общности архетипически рассматривают как временное и в конечном историческом итоге в той или иной форме добиваются возвращения суверенитета. Таким образом, благодаря эффекту короткой дистанции этот вид – в отличие от конвенциональных морских кочевников – не подвержен необратимой силовой деформации поведенческих свойств. Уровень транзакционных издержек в такого рода общности низок настолько, что компенсирует даже типичный для городского метаархетипа высокий уровень налогового бремени. Это снижает стимулы к вывозу капитала, – так что положительную чистую добавленную ценность внешней торговли здесь, как правило, дополняет и положительная доходность чистой инвестиционной позиции.

Нередко эти сообщества имеют опыт длительного бытования в качестве рассеянных меньшинств, поэтому извлечение стоимости у них включает промысел на архаических дефектах хозяйственного механизма других общностей, например, на внутренних регуляторных изъянах или на медиации между противоборствующими центрами силы. Однако, как один из наиболее модернистских типов, в аналогичной среде они тяготеют к раскапсуляции и охотно интегрируются в большинство со схожей системой ценностей, в результате их поведенческие установки сохраняются, но изменяется представление о периметре создания общественного блага, соответственно об объектах кооперации и конкуренции. В различной степени такие общности – с доминантным городским и/или морским метаархетипом – характерны для Швейцарии, Израиля (страны-убежища для гонимых, соответственно альпийских протестантов и евреев, в обоих случаях источники стоимости – посредничество/поверенное представительство, компетенции, отличный от религиозного большинства род занятий) и многих еврейских общин вообще, скандинавских стран (источники стоимости – ресурсы холодного и периферийного моря). С точки зрения социального уклада, рода занятий и роли в социумах проживания, довольно схожи с еврейскими общинами и многие армянские, прежде всего исторически бытующие за пределами современной титульной территории и также испытавшие жестокие гонения. Однако значительная часть армян в любой период истории проживала на территории современной Армении, так что эту часть корректно препарировать как многоукладную, по аналогии с прочими этносами Закавказья, (см. далее). При этом моноэтничность современной Армении не может служить основанием отнести весь этнос к числу изолированных общностей (см. далее), а является следствием его вытеснения к горным массивам Кавказского хребта с более благоприятных земель, имеющих выходы к морским побережьям и весьма разнообразный состав населения. Наконец, с точки зрения архетипической наследственности к аналогичным общностям можно отнести соответственно русских старообрядцев, глубоко повлиявших на социальный уклад Урала и Зауралья, и русский север. Ввиду длительного силового подавления извне другими архетипическими ветвями русского этноса, в наше время у этих общностей не эксплицирована

характерная горизонтальная социальная архитектура, вместе с тем, архетипический запрос можно считать в значительной степени актуальным, ожидающим исторического момента для реализации.

Примечательно, что в европейской модели распределения индивид получает существенную часть реальных доходов в натуральном виде – бесплатных или субсидируемых услуг, фактически представляющих собой инвестиции в человеческий капитал и создаваемых вне коммерческого сектора (т.е. путем кооперации для создания общественного блага, механизм ценообразования которого не включает норму прибыли). Тем самым, индивид не имеет альтернативы распорядиться этой долей своих фактических доходов иначе, что отражает приоритеты превалирующего оседлого метаархетипа, который к тому же не должен быть обременен высокой стоимостью жизни, чтобы сосредоточиться на саморазвитии. Американская традиция предполагает монетизацию всех доходов и выбор способа распоряжения ими, полную платность любых благ, что корреспондирует с довольно высокой стоимостью жизни, вынуждающей постоянно искать новые возможности извлечения стоимости и менять сферу деятельности. Это комфортный для первообразного морского метаархетипа образ жизни, что также определяет главенство материальных мотиваций – потребления и стяжания собственности.

Однако переход к экономике знаний, когда единственным источником общественной стоимости становится отличительный навык индивида, приводит к полному пересмотру отношения к стоимости жизни как стимулятору активности. В развитых странах все большую популярность обретает концепция «гарантированного дохода», который устраняет у человека непосредственную материальную мотивацию и позволяет ему «осесть», сосредоточиться на развитии человеческого капитала. Это является признаком некоторого кризиса социальной модели – но не когнитивного аппарата – кочевников, включая предпринимательскую деятельность как двигатель роста (см. далее).

С учетом существенного распространения старообрядческого влияния на Москву и прочие города Центральной России, по-видимому более или менее акцентированный модернистский запрос – невзирая на непрерывное подавление такового – характерен не менее чем для 40% населения России, что, вероятно, несколько уступает уровню, характерному для северо- и западноевропейских стран, но не средиземноморских и восточноевропейских, а также США. Вместе с тем, Москву, а также прочие крупные города Центральной России нельзя относить собственно к виду «общинных» морских кочевников, поскольку они представляют собой архетипический «плавильный котел». Если последний и можно привести к общему антропологическому знаменателю, то по совокупности причин «синтетический» поведенческий тип будет напоминать раннего конвенционального морского кочевника. Следует отметить, однако, что глубиной и концентрацией рынка, компенсирующей характерные для этого вида высокие издержки транзакционного оборота, в России располагает лишь московская агломерация, в иных условиях институциональная архитектура общности длинной дистанции неизбежно ведет к возникновению моноцентрической ресурсно-силовой вертикали (см. ниже).

* * *

Субконтинентальная разновидность кочевого метаархетипа возникает в глубине хартленда, на значительном удалении от водных транспортных артерий, что само по себе способствует определенной изоляции от внешнего мира. В социальном смысле это понятие может относиться к кочевым общностям степных, пустынных и высокогорных пространств, а также в целом малопригодных для оседлого земледелия территорий. Так, по соседству с пустынными областями плодородные почвы, возделываемые оседлыми племенами, после покорения кочевниками-скотоводами подвергаются разрушению, поэтому в конечном итоге крестьяне теряют возможность производительного труда, а местность становится географически изолированной. При этом, строго говоря, практически на всем европейском континенте оседлые земледельческие племена также подверглись завоеванию различными скотоводами-

кочевниками. Однако в условиях более дождливого климата это не оказало негативного влияния на культуру выращивания продовольствия и численность занятых в нем, а пришельцы скорее усвоили поведенческие установки местного населения. По этой причине в социально-антропологическом смысле обоснована точка зрения, что в Европе к кочевникам-скотоводам скорее восходит не общество в целом, а лишь государство в его классическом понимании как экстрактивного института и аппарата легитимного принуждения, но режим контроля такового соответствует социальной матрице «модернистских» архетипов в каждый момент времени.

Кочевание у субконтинентальных общностей вызвано скудостью «кормовой базы», зачастую в буквальном смысле, так что оно ассоциируется с необходимостью выживания, перемены воспринимаются как атрибут нужды, присутствует тяготение к застойности, а не мобильности. Население рассредоточивается малыми группами, экономическое пространство «разрывается» на несообщающиеся друг с другом рынки пренебрежимо малой глубины, поэтому массовое материальное производство неконкурентоспособно, труд сохраняет примитивный характер. Индивидуальное ведение хозяйства – как и у модернистских общностей неблагоприятных мест – не приносит достатка, однако здесь оно сопряжено с витальными рисками, вплоть до голода. По этой причине стадия обобществления средств производства и ведения совместного хозяйства стремительно утрачивает актуальность, – индивиды с готовностью отказываются от личного суверенитета вовсе и переходят на положение невольников на содержании у вождя, который также по праву сильного выступает бенефициаром всей прибавочной стоимости, так что сила выступает ключевым фактором социальной динамики. Тем самым «оккупационный бандит» чаще, чем у других видов, образуется из собственного состава общности, а затем отрывается от нее вовсе – хотя впоследствии также подчиняет себе множество инородных. Вождество постоянно находится в поиске редких ресурсов, содержащих в цене аномальную, премиальную компоненту – ренту, покрывающую затраты на жизнеобеспечение в сложных условиях и транспортировку по протяженной территории. Строго говоря, последняя является здесь своего рода метаресурсом, без контроля над которым невозможна монетизация каких бы то ни было богатств, будь то местного или чужого производства, в т.ч. следующих транзитом. В этой связи, суверенитет вождества может быть неоднократно последовательно отчужден все более превосходящей силой, пока ареал пенетрации силового ресурса не достигнет пределов географического или антропогенного сопротивления. Экономика тяготеет к монополизму, обладатель силы «кормится» от нее, все остальные – включая «предпринимателей» – фактически выступают остаточными «центрами обслуживания», независимо от того, насколько велика формальная доля государства в экономике. Кормление необходимо отличать от коррупции – спутника морского метаархетипа на определенной стадии эволюции, – которая является способом приобретения неосновательного конкурентного преимущества в среде, где основным выгодоприобретателем общественной стоимости выступает самостоятельный предприниматель. Размер ренты несопоставимо превышает приращение стоимости от добавленной ценности, поэтому отсутствует потребность в гетерогенной среде, необходимой для накопления и распространения знаний, а круг альтернатив для размещения капитала узок, прибавочная стоимость вывозится (архетип кочевого набега). В этой связи, «предприниматели» имеют мало общего с морским метаархетипом – всегда оставаясь в «поле гравитации» одного центра силы, они не склонны к риску и попросту перекладывают рентную компоненту цены на потребителя, являющегося финальным демпфером в «пищевой цепочке». В некотором роде, если предприниматель морского архетипа является связующим звеном и медиатором для факторов производства, отраслевых и страновых рынков, разделов знаний, то здесь он выступает медиатором между сословно очерченными рынками в условиях, когда прямые транзакции между представителями различных социальных страт невозможны (см. выше), играет роль «разделителя», а не «сшивателя». Он не является инвестором и по существу извлекает доход посредника между «истинным» патримониальным собственником и потребителем. Отраслевая структура экономики отличается

пониженной антропологической ценностью (см. ранее), примитивностью, низкой капиталоемкостью, представляет собой результат вторичного обращения остаточных ресурсов рентных секторов за вычетом изъятой в интересах элиты прибавочной стоимости. Для такого рода общности типичны одновременно отрицательная доходность чистой инвестиционной позиции и отрицательная чистая добавленная ценность во внешней торговле.

Этот метаархетип образует сообщества на основе отрицательного отбора и прочих социальных практик с наиболее застойной архаичностью, иерархией строго регламентированных наследственных сословных статусов. Ему обычно сопутствуют «пространственные», территориально протяженные государственные образования с низкой плотностью населения (как минимум, экономически активного), а не «точечные», – города здесь скорее выступают в роли метропольной крепости-укрытия, военного лагеря, и не тяготеют к республиканскому типу политической организации. Таким образом, ближайший к населению уровень концентрации ресурсов чаще всего «бесконечно» далек от такового физически и социально, что служит формирующим фактором для всей социальной архитектуры и исторической колеи. Стоимость извлекается не там, где сконцентрировано население, поэтому ее первый получатель – кочевой силовой центр – выступает также центром ресурсного экстремума и остаточным образом перераспределяет ресурсы вниз, к обжитым местам, более того, без его соизволения – фактически «милостей» и «щедрот» – создание какого бы то ни было блага лишено материального основания. Вплоть до фронтальной агломерационной урбанизации, в ходе которой формируются внутренние рынки заметной глубины, и повсеместного распространения способа производства, не требующего задействовать территорию, «оккупационный бандит» не только не может быть национализирован, но даже не превращается в стационарного. Попытка «кочевника осесть» фактически тождественна обращению к натуральному хозяйству: в пирамиде извлечения стоимости отсутствует такой ресурсно сбалансированный уровень ее концентрации, на котором институты могут содержаться населением, поэтому «прекращение кочевых набегов дает усадку институциональной организации непосредственно на домохозяйство». Образуется экзистенциальное противоречие между территорией, ресурсы которой служат «кормовой базой» силовой элиты, и «приданным» населением, которое не является источником содержания и легитимности публичных институтов, формирование нации как таковой, как правило, не происходит либо сопряжено с труднопреодолимыми дефектами. Отсюда доходы государства преимущественно формируются не за счет домохозяйств или фирм, имеющих конкурентный промысел, а за счет различных рент, которые силовая корпорация считает возможным «задекларировать» и передать на публичные нужды – при этом с последующим использованием в собственных же интересах с различной степенью эффективности. В этой связи, публичные фискальные поборы и доля работодателя (процентные ставки) ориентированы на аномально высокий уровень доходности рентных промыслов, соответственно так же обречены быть высокими. Механизмы изъятия этих доходов могут быть как налоговыми, так и связанными с управлением государственным имуществом: население не претендует на контроль за посторонней для него «кормовой базой», однако поборы, обращенные на скудные ресурсы самодельного сектора хозяйствования и семей, могут пошатнуть устойчивость режима даже без смены способа производства. Напротив, устойчивость правящего режима обеспечивается благоприятным для нижних сословий режимом по меньшей мере в одной из вершин треугольника «уровень доходов – уровень поборов – возможность уклонения».

При схожести основных экономически значимых поведенческих особенностей, есть некоторые существенные, в т.ч. влияющие на последующую эволюционную траекторию, различия между субконтинентальными кочевниками открытых, равнинных пространств – степей, болот и пустынь (здесь и далее используется антропологическое понятие степных кочевников), – с одной стороны, и местностей, пересеченных и изолированных по периметру естественными преградами, – труднопроходимыми зарослями, горами, теми же пустынями (т.е. местами обитания являются оазисы), – с другой. В последнем

случае общность является скорее «условно-оседлой» и, как правило, не меняет метропольного места обитания, «убежища-крепости», а удержать в повиновении на продолжительный период окрестные земли, расположенные по другую сторону природной преграды, также затруднительно, поэтому кочевым является лишь способ кормления – длительный выпас скота на удаленные пастбища, а также набеги на близлежащие племена, в т.ч. оседлые, «вылазки». В первом же случае общность является кочевой в полной мере, поскольку, помимо промыслового кормления силовой элиты, основная масса индивидов также вынуждена постоянно менять место для выращивания продовольствия, более того, «дикорастущее пропитание» – собирательство, охота, рыболовство – традиционным имеет и необычным образом по сей день сохраняет важное значение. Отсюда различное положение наиболее многочисленного слоя, не входящего в число изначальных бенефициаров силового присвоения стоимости, по отношению к центру силы, – если в первом случае этот слой экстернализован, то во втором интернализован. В первом случае объектом экстрактивного воздействия прежде всего выступают ресурсы собственной территории, соответственно проживающее на ней собственное население, во втором – прежде всего ресурсы чужих территорий и соответственно их население, становящиеся объектами кочевых набегов. В этой связи, в первом случае основная масса населения отчуждена от элиты, поведение которой напоминает нашествие неотвратимой стихии, а она сама выступает в качестве чужеродного центра подавления, своего рода «оккупационного режима», вследствие чего, как правило, внутри самой общности в той или иной форме распространено рабство. Поскольку большинство отчуждено от элиты, последняя довольно индифферентна к этно-конфессиональному составу такого большинства и открыта к кооптации других общностей в свое вождество в подавляемом качестве, более того, ради расширения «кормовых угодий» готова обеспечить их правящим сословиям положение, схожее с собственным. При этом отношения родоплеменной лояльности возникают лишь между патримониальным субъектом и силовой корпорацией как основным инструментом экстрактивного действия, а мужское население вовлекается в деятельность силовой организации вынужденно, отбывая повинность. Во втором случае по естественным причинам все население постоянно соседствует с элитой и родственна ей кровно, структура социальной иерархии апеллирует к образцу закрытой для расширения, герметичной в этно-конфессиональном отношении патриархальной семьи, а отношения между сословиями по сути являются патерналистскими. Индивиды мужского пола по факту рождения являются воинами племени (фактически «семьи») и даже в мирное время бытуют компактно, при этом чаще всего не склонны к производительному труду. Поражение в правах доступа к ресурсам достигается посредством иерархии в рамках силовой корпорации, а в рабство, как правило, обращаются лишь иноплеменники.

В этой связи общность второго типа архетипически «стерильна», как единое целое ее можно уподобить отдельно взятой силовой корпорации общности первого типа, соответственно последняя является сложносоставной – по меньшей мере, двуслойной. Отсюда численность популяции первого типа намного превосходит таковую у второго, однако в силовом отношении они могут быть вполне сопоставимы. Вместе с тем, в рамках общности первого типа эти слои составляют диалектическое архетипическое единство, так как реализация наклонностей одного из них обусловлена характерным откликом другого, более того, меняя свое положение относительно силового ресурса, индивид также обнаруживает практически незамедлительную смену поведения, а в случае многослойности силовой иерархии может одновременно сочетать обе совокупности характеристик – в подавляющем и подавляемом качестве. Силовая корпорация ни в малейшей степени не может рассматриваться производной от населения и, наряду с низовыми анклавами силовой «токсичности» (см. ниже), выступает областью короткой дистанции, «сгущением» в социально разреженной среде – отдельной общностью с прочными внутренними кровными связями, своим социальным и транзакционным оборотом. До тех пор (см. далее), пока «низы» никаким очевидным образом не обнаруживают коллективных интересов, образ действий силовой корпорации справедливо рассматривать в качестве отвечающего чаяниям населения по

умолчанию – однако лишь в силу отсутствия жизнеспособной альтернативы. Интеграция общности второго типа в общность первого типа сопряжена с известными сложностями, поскольку подразумевает появление у силовой корпорации последней «пищевого конкурента», претендующего на тот же «кормовой резервуар» в виде нижних сословий степных кочевников. Обычно готовность к такой интеграции обусловлена специфическими мотивациями силовой корпорации, в связи с которыми она готова делиться «угодьями»: это может быть вызвано неуверенностью в своих силовых возможностях – в лояльности или боеспособности собственных вооруженных формирований или попросту превосходящей силой сплоченного племени, де-факто вторгшегося («просочившегося») в эти «угодья». В качестве мотива такого сосуществования возможно также допустить и соображения удобства «сбора дани» с тех представителей общности второго типа, которые «растворились» в местах обитания нижних сословий степных кочевников, при этом остались внутренне герметичны. В то же время, самовольный выход индивида из герметичной общности является скорее исключением, особенно если речь идет о присоединении к нижним сословиям степных кочевников: это не только может навлечь порицание и даже преследование, но невыгодно, поскольку фактически сводится к тому, чтобы порвать с «сильной», подавляющей стороной и присоединиться к «слабой», подавляемой.

Второй уклад на поверхностный взгляд может показаться более гуманным, – действительно, для него характерен эффект короткой дистанции, он способствует сплочению родоплеменной общности, членам которой дает убежище, при этом глубокая история личных взаимоотношений, зачастую скрепленная кровными узами и уходящая корнями в прошлые поколения, делает здесь связи значительно прочнее, чем в основанной на ценностном родстве модернистской общности короткой дистанции. Предводитель общности часто непосредственно наследует ее биологическому родоначальнику и воспринимается «отцом», служит эпонимом племени и ключевым маркером ее коллективной идентификации, связующим звеном колен и поколений, наконец, ему нет альтернативы в качестве центра ресурсно-силового экстремума – будь то публичного или неформального. При первом укладе внутренняя архитектура силовой элиты, равно как и институтов реальной власти, отражает физическое и экономическое соотношение рент – с точки зрения стоимости и соподчиненности первичным рентам вторичных (образующихся при перераспределении и обращении первичных). Ренты рассредоточены по протяженной территории, при этом каждая образует вокруг себя некоторый силовой ресурс. Отсюда такая элита может быть полицентрической или моноцентрической, в последнем случае с автономными вотчинами различного размера или без таковых, при этом отдельные ветви могут иметь официальный, параофициальный или контрофициальный статус. При втором укладе, невзирая на вертикальную внутреннюю архитектуру, расположенные на нижней ступени социальной иерархии могут иногда даже несколько «осадить зарвавшегося», «берущего не по чину» на правах члена семьи. Напротив, при первом укладе эффект длинной дистанции между силовой корпорацией и нижними сословиями, а также в среде последних, разрывает социальное и хозяйственное транзакционное пространство, – фактически основная часть популяции выступает чужой в собственной общности. Отсюда если общность второго типа не только преследует за сокращение дистанции по внешнему периметру, но и дает ощутимые выгоды за доблесть и верность, то при первом укладе для нижних сословий «свой» фактически лишен преимуществ по сравнению с «чужим», – что оставляет «открытой дверь» модернистскому влиянию. Как и у соответствующих модернистских сообществ, при втором укладе эффект короткой дистанции позволяет индивиду мобилизовать дополнительные ресурсы в случае необходимости без каких бы то ни было существенных транзакционных издержек – хотя и в объеме, строго обусловленном сословным положением. В то же время, при первом укладе аппарат перераспределения настолько громоздок, что значительную часть вверенных ресурсов употребляет на свое содержание, а также собственно кормление, составляющее смысл существования рентоизвлекающего сословия.

В то же время, именно второй уклад характеризуется наиболее застойной архаичностью, герметичным корпусом обычаев, инкапсуляцией даже при смене среды обитания, поскольку сила, воинственность в коллективном сознании является безальтернативным маркером успешности и основой родоплеменной солидарности. Именно с представителями этих общностей, как правило, стереотипно принято ассоциировать такие вызовы современности, как терроризм и массовую нелегальную миграцию, кризис мультикультурализма. При этом первый уклад с его эффектом длинной дистанции, напротив, порождает значительную массу атомизированных, пытающихся избежать влияния подавляющей силы индивидов с приматом индивидуального над коллективным, которые в этом качестве весьма восприимчивы к трансформационному воздействию. В этой связи, с точки зрения трансформируемости особенно важно, что городской метаархетип, питательной средой которого является знание и отличительность, гетерогенность среды, во втором случае просто не приживается, даже будучи привнесён извне. При этом в первом случае городской метаархетип находит социальные лакуны той или иной степени комфортности и оказывает заметное влияние на социальный прогресс, однако атомизированные степные кочевники усваивают лишь знания, но не систему ценностей «учителя». С точки зрения отношения к солидарности они лучше воспринимают конкурентный поведенческий тип («каждый сам за себя»), свойственный бездефектным морским кочевникам – более того, подобно последним, в конечном итоге концентрируются в городах длинной дистанции, мегаполисах (стремятся «затеряться»). Это служит постепенному преодолению экзистенциальной ограниченности емкости рынка, – однако лишь в совокупности со снижением необходимой для актуального способа производства концентрации такового. Отсюда на протяжении большей части истории общности фактором экзистенциального торможения служит противоречие между малой емкостью рынка и запросом на построение в результате деархаизации наиболее дорогостоящего типа институциональной архитектуры – характерного для модернистского сообщества длинной дистанции. В этой связи примечательно, что и принятие решений у степного кочевника остается бинарным («да – нет»), т.е. в отличие от морского кочевника не основывается на выборе соотношения риска и доходности.

В целом, на изолированных субконтинентальных общностях основаны наименее успешные цивилизации с застойной архаичностью – в Африке и на Ближнем Востоке, где прибрежное расположение сочетается с пустынной местностью или сложным рельефом, неблагоприятным для выращивания продовольствия, в районе Гималаев (в определенные исторические периоды, до опустынивания долин полноводных рек, исключения составляли регионы Средиземноморья и Междуречий Азии). Вероятно, к этому виду следует отнести и погибшие крупные цивилизации индейцев в Западном полушарии. В России и странах бывшего СССР к числу таких общностей можно отнести горские народы Кавказского хребта, никогда не имевшие выходов к открытым морям, но отчетливые признаки таковых можно встретить и у представителей русской силовой корпорации. Некоторое «смягчение нравов» субконтинентальных кочевников происходит в местах, где в изолированной среде вынуждены сосуществовать несколько равносильных родовых или этно-племенных общностей, что побуждает их находить способ мирного взаимодействия с «чужими». В этом случае возникает нечто похожее на феодальную демократию, когда субъектами представительства выступают не индивиды, а кланы, внутренне остающиеся социально герметичными – по некоторой аналогии с деформированными морскими кочевниками (см. ниже). Сформированное на базе такого устройства государство является совершенно дисфункциональным, поскольку в сущности не принимает на себя роль центра силы, при этом «обрамляет» архаическую социальную матрицу. Однако привнесенный городской метаархетип имеет больше шансов «укрыться в социальных расщелинах», нежели в условиях моноплеменной общности. Именно к числу таких полиродовых формаций можно отнести, например, такие совершенно различные территории, как Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, с одной стороны, а с другой прибрежные страны Африки, некоторые страны Ближнего Востока, – их колонизация относится

к схожему историческому периоду и сопровождалась «инъекцией» городского метаархетипа. При этом последний не имеет влияния, позволяющего существенным образом трансформировать социальное устройство, однако поддерживает в общественном сознании представление о маркерах добродетельности, отличных от силы, на которые архаический индивид может ориентироваться в случае смены среды обитания.

Изолированные общности могут формироваться в условиях не только географической, но и длительной социальной изоляции, в особенности если в таких условиях протекает смена поколений. Они обычно возникают в замкнутых мужских сообществах казарменного типа и схожих с ними по образу жизни, социальным маркерам – в вооруженных формированиях различной легальности с длительным сроком службы, в неволе в отрыве от семьи, будь то в виде рабства или лишения свободы в порядке наказания, в криминальных сообществах, анклавах расовых и этнических меньшинств, зачастую образуемых в городах выходцами из мест географической или той же социальной изоляции, и пр. В Китае этот феномен обязан еще и специфическому фактору – существенному гендерному дисбалансу в сторону мужской популяции (см. далее), который способствует формированию замкнутых сообществ. В России у формации «низовой» изолированной общности есть тяжеловесные автохтонные «инкубаторы», наиболее очевидным из которых выступает лагерная система, имеющая, однако, в этом качестве предшественников с более глубокими корнями. В частности, в центрально-российском поясе бедных болотистых почв и малоземелья по этому образцу строились многие помещичьи хозяйства и крестьянские общины (эту формацию следует считать ячейкой патерналистской вертикали, в противоположность старообрядческой общине – основанной на солидарности форме совместного ведения хозяйства и самоуправления), а в советское время их «сменил» колхозный строй. В наше время значительная часть областной провинции России с бедным сельским хозяйством – вне зависимости от территориального расположения – населена занятыми в военизированных структурах, помещенными в места лишения свободы или десоциализированными в связи с закрытием градообразующего предприятия. Схожее явление может наблюдаться даже среди добропорядочного коренного населения развитых стран – например, в депрессивных городах и деревнях, где ничтожны возможности для производительного труда, поскольку естественные условия по каким-либо причинам благоприятствуют устаревшему промыслу, а предпосылки для других отсутствуют.

Как правило, в ходе урбанизации все разновидности субконтинентальных общностей пополняют своего рода «фильтрационный» слой урбанистической архаики, образующийся вследствие отставания скорости социальной трансформации от скорости течения миграционных процессов и принимающий разнообразные представленные архетипические компоненты. Изолированные общности, для которых характерна социальная герметичность, устойчивость к трансформационному воздействию извне, сложно адаптируются к городу – как его этическим нормам, так и рынку труда, поэтому образуют наиболее застойный костяк этого слоя. Стоимость городской жизни сама по себе дистанцирует индивида, замыкает его в кругу «своих», так что человек сохраняет связь с общностью происхождения, а иногда и материальную зависимость от нее – например, если родные в сельской местности заняты выращиванием продовольствия. Проникновение архаических устоев в ткань городской жизни и недоступность ее благ, отсутствие связи с укорененными и адаптированными людьми ограничивают возможности для трудовой деятельности, досуга, нормальной половой жизни в возрасте, когда самовыражение является критичным. В совокупности это дает весьма опасное сочетание с точки зрения склонности к насилию в экстремальной форме, податливости крайним идеологическим влияниям, что делает таких индивидов орудием в руках организованных криминальных и террористических групп. В развитых странах, где архетипическая композиция обычно основана на связке городского и морского метаархетипов, общности с поведенческими установками различных субконтинентальных общностей чаще всего представлены именно в городах. Если в Европе их появление связано скорее с послевоенной волной массовой

иммиграции из бывших колоний, то в странах Нового света, где по историческим меркам еще сравнительно недавно бытовал институт рабства, они имеют глубокие социальные корни и непосредственным образом повлияли на архитектуру общественных отношений, включая коррекционные политики и практики эмансипации.

Среди нижних сословий «равнинных» степных кочевников именно представители изолированных по причинам социального уклада общностей наиболее восприимчивы к языку силы и выступают каналом пролиферации силовой «токсичности» среди атомизированного большинства. Для изолированных общностей органично «кормление набегам», более того, характерен запрос на патерналистский тип отношений с «социально близкой» силовой корпорацией – по образцу изолированного субконтинентального племени. Корпорация, в свою очередь, использует этот слой в качестве своей социальной опоры, однако более всего в форме «расходной» живой силы, считая его запрос следствием безвыходности положения и не находя причин вознаграждать за это при распределении. Вместе с тем, силовая элита попустительствует мелкому самодеятельному силовому промыслу социально близкого слоя за счет атомизированного большинства или чужаков, а право на такой промысел часто удостоверяется каким-либо специально отведенным служилым статусом – официальным, параофициальным или даже контрофициальным. В этой связи, среди нижних сословий на всем субконтинентальном пространстве Африки и Евразии – от пустынь Ближнего Востока до Поволжья и Дона, от Центральной Азии до Монголии – чрезвычайно распространены сравнительно компактные общности короткой дистанции, которые по историческому укладу жизни можно назвать «сухопутными пиратами» (см. далее). В теплом климатическом поясе основным мирным занятием указанных общностей выступает кочевое скотоводство, которое своим образом жизни и поведенческими установками резонирует с «пиратским» промыслом. В этой связи, между индивидами редко возникают отношения прямой конкуренции за пищу, при этом «пиратство» способствует упрочению связей внутри популяции, – отсюда в таких местах именно указанные общности и составляют нижние сословия, а в военное время обращенные против внешнего врага войско. Большая часть этих общностей представляет собой результат обусловленной рельефом фрагментации крупных кочевых этносов – монгольских, тюркских, арабских, – однако в ряде локаций и они смешались с идентичными в антропологическом отношении местными, небольшими популяциями, например, как это произошло с монголо-тюркскими племенами на юге исторической Руси. Более того, если почвы благоприятствуют индивидуальному (хуторскому) земледельческому хозяйству, то кочевая популяция может осесть и слиться с местным зажиточным крестьянством – как на казачьем Дону на территории современных юга России и востока Украины, у тюрков в Поволжье, Малой Азии (собственно Турции), Причерноморье и на Балканах, у арабов на южной оконечности европейского континента. Примечательно, что даже в развитых странах те регионы, в которых этот феномен существенно повлиял на архетипический портрет местного населения, традиционно считаются ареалом доминирования теневых ресурсно-силовых кланов – более могущественных, чем власть и легальный бизнес, потому чаще всего контролирующими таковые. В пустынной местности эффект оседлости таких популяций наблюдается в связи с обнаружением и последующей эксплуатацией богатых запасов минерального сырья (см. ниже). Лишь в России и странах «рисового пояса» из среды степных кочевников короткой дистанции комплектовалась не только наиболее боеспособная часть войска, но и смиренные силы (образный ряд – карательный или заградительный отряд) против большинства длинной дистанции, поскольку основная масса населения здесь исторически сформировалась соответственно в условиях бедных болотистых почв и выращивания риса в долинах полноводных рек при муссонном климате (см. ниже). Таким образом, с точки зрения внутренней структуры справедливо дополнить два основных подвида субконтинентальных и аналогичных им общностей промежуточным. Итак, к первому подвиду относятся сравнительно малочисленные общности, которые состоят лишь из изолированного элемента короткой дистанции, – он тождествен силовой корпорации у прочих подвигов и организован по принципу

архаической семьи, где сословные различия идентичны таковым между членами одной семьи разного возраста и дееспособности. У второго подвида указанный элемент в господствующем статусе дополнен более многочисленным нижним слоем короткой дистанции, имеющим опыт «кормового пиратства» либо социальной, антропогенной изоляции и сослужащим силовой корпорации – добровольно и/или принудительно. Наконец, у третьего подвида, в который входят наиболее многочисленные общности степных кочевников, указанные элементы дополнены численно превосходящим их атомизированным населением длинной дистанции, которое отчуждено от групп короткой дистанции вовсе и служит для них «кормовым угодьем», живым «месторождением», – однако и само это население не идентифицирует себя с такими группами, уклоняется от взаимодействия с ними в меру возможности.

Скорость деархаизации атомизированного большинства при прочих равных условиях не уступает характерной для прочих архетипических видов – хотя имеет свои отличительные особенности (см. далее) – и зависит от абсорбирующей способности способа производства, общества в целом. Более того, если условия социальной изоляции не сопровождаются отрывом от семьи и замещением досуга совместным времяпровождением в герметичной и неизменной по составу мужской среде «воинов племени», то даже в изолированной общности формируется восприятие силы как неизбежного, но чужеродного раздражителя. По этой причине при смене внешнего силового субъекта с архаического на модернистского общность демонстрирует податливость к трансформационному воздействию, – и в этом ее сходство с нижними слоями степных кочевников, однако в силу нормы короткой дистанции она уступает таковым в скорости раскапсулирования, качестве достижений на этом пути. Например, такого рода популяции чрезвычайно многочисленны в ареалах исторического распространения плантационного способа выращивания продовольствия – в Северной и Южной Америке, Африке, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Также архаизация любой общности обращается вспять, когда она на устойчивой основе сталкивается с неуправляемыми для нее вызовами, которые не уступают по «силе», мощи самой общности, прежде всего совокупным возможностям ее вождя. Перед лицом таких вызовов каждый член общности вынужден проявлять индивидуальную доблесть, посредством которой он обретает отдельную от коллективной субъектность и соответствующие таковой запросы, – в ряду таких факторов, например, открытые боевые столкновения, стихия моря, если судно не обладает высокой степенью защиты, и т.п. Так, в свете двух мировых войн в XX веке в недрах большого русского этноса этот уклад нельзя считать актуальным по всем характерным признакам в первоначальном виде, более того, по сей день именно Великая Отечественная война – а не обычный для развитых стран индустриальный уклад – служит наиболее мощным триггером появления коллективного сознания и запроса на индивидуальную субъектность.

Примечательно, что в Юго-Восточной Азии степные кочевники, достигшие морской оконечности евразийского материка, не приобрели социальную архитектуру морских кочевников и начали эксплуатировать потенциал уникального географического положения, а также высокой плотности населения лишь в XX веке, притом под решающим влиянием, временами многовековым принуждением извне со стороны морских кочевников. Вместе с тем, после появления доступа к морю роль социального «корсета» силовой иерархии здесь выполняла приобретенная культура выращивания риса в долинах полноводных рек в условиях муссонного климата: монотонный труд, необходимый для базового пропитания, поглощает время человека всецело. Характерная для нижних сословий степных кочевников атомизация в известном смысле здесь становится абсолютной, – индивид не фокусируется ни на торговле, соответственно производстве излишков, ни на усвоении сложной информации, ни на выполнении отвлеченных общественных функций. В то же время, общности этого вида часто принимают за коллективистские, – действительно, такое впечатление оставляет не знающая аналогов способность к организованному массовому труду и даже досугу, также обязанная трудоемкой культуре выращивания риса. Однако в контексте экономического и социального действия их установки являются

патерналистскими: высокий уровень межличностного доверия объясняется предсказуемостью поведения других людей для индивида – в том смысле, что от них не приходится ожидать какого бы то ни было действия, не авторизованного по вертикали, напрямую либо заведомо более могущественным заказчиком. Отсюда совместное действие и правда получается «синхронным», подчиненным вышестоящей воле, – однако такой источник отнюдь не обязательно персонифицирован, самооценностью выступает некая корпорация, система. В частности, эти установки легко рассмотреть в широко распространенной в странах Юго-Восточной Азии неформальной, но оттого не менее укорененной практике «пожизненного закрепления» сотрудника за крупной корпорацией. Указанные признаки сами по себе могли бы дать основание отнести эти формации к изолированным общностям, т.е. архаическим сообществам короткой дистанции, – например, косвенно на эту мысль наводит герметичность их диаспор за пределами стран происхождения, чему способствует и лингвальная рамка. Однако, во-первых, получив возможность эксплуатировать естественные конкурентные преимущества в ходе индустриальной модернизации, практически все общности региона в конечном итоге приобрели полицентрическую структуру центров извлечения стоимости, а с ней – аналогичную институциональную архитектуру. В некоторых странах и формальные институты максимально приближены к стандарту модернистских общностей, в других же аналогичный эффект достигается посредством внутриэлитных (партийных) конкурентных механизмов. Тем не менее, участвующие в конкуренции субъекты каждый в отдельности в полной мере сохраняют вертикальную, корпоративную внутреннюю архитектуру изолированной общности. Во-вторых, логично и показательно, что неизбежное в ходе индустриальной трансформации появление разнообразия малых форм хозяйствования и некоторой частной экономической инициативы вызвало к жизни крайне индивидуалистичный поведенческий тип, практически не ведающий преимуществ кооперации и непосредственным образом указывающий на характеристики атомизированных степных кочевников. Более того, норма длинной дистанции органична и для морских кочевников, различные естественные преимущества которых странам региона доступны – в частности, выгодное географическое положение и чрезвычайная глубина рынков сбыта, склонность специализироваться на массовом производстве стандартного качества за счет доступности трудовых ресурсов, уделять потребительскому выбору значительное время и заемные средства. Таким образом, в конечном итоге можно заключить, что «рисовые» общности представляют собой слишком выгодно расположенные и крупные популяции, чтобы бесконечно долго сохранять каркас короткой дистанции, – в конечном итоге они с неизбежностью обретают трехчастную архитектуру (см. выше). Более того, чем популяция крупнее, тем отчетливее эффект полицентричности и тем более многочислен нижний, атомизированный элемент, – естественно, это наиболее характерно для Китая, невзирая на то, что архитектура формальных институтов «упаковывает» политическую конкуренцию во внутриэлитную рамку.

Как известно, значительное количество предметов всеобщего пользования и сельскохозяйственных культур в мире обязано своим происхождением этому региону, в частности, Китаю, – в свете изложенного, однако, парадокс заключается в том, что распространение местных товаров происходило больше в порядке трансфера технологий их производства, чем товарообмена. Невзирая на древнюю культуру азиатских цивилизаций, в торговле и промышленности, а также в сфере распространения знаний исторически была занята исчезающе малая доля населения, более того, автохтонный городской метаархетип практически отсутствует. Тем не менее, в силу общей численности населения даже такой доли оказалось достаточно для обеспечения неоспоримого лидерства в товарообмене с Европой – вплоть до зарождения индустриального производства. Однако стремительное развитие последнего стало причиной резкого расхождения подушевого общественного продукта на разных оконечностях материка. Более того, это заставило Китай перейти к изоляционизму, – он не имел источников для приобретения товаров с более высокой добавленной ценностью по импорту. Ключевым

имманентным противоречием этого антропологического феномена является замедление урбанизации на фоне исключительно высокой рождаемости, сопутствующей культуре выращивания риса. Такое положение стало меняться лишь в результате импорта новых сельскохозяйственных культур, в т.ч. риса, с повышенной урожайностью во второй половине XIX века: это привело к появлению избыточного для сельскохозяйственного производства навеса мужской рабочей силы. Однако встреча нижних сословий с элитными – ввиду ограниченной способности последних предложить производительное применение стремительно растущему, но ограниченно обучаемому крестьянскому населению – не отличается плодотворностью и чревата полным уничтожением вторых. Это особенно часто и драматично встречалось в истории Китая, развитие которого в силу специфики сельскохозяйственного производства сосредоточилось вокруг обширных речных долин, – в то время как прибрежная полоса на протяжении всей довоенной истории во многом была дезактивирована в качестве национального конкурентного преимущества. Фактически эта полоса выступала офшорной по отношению к субконтинентальному Китаю и входила в систему хозяйственных интересов третьих стран, поскольку служила арендой постоянного противоборства западных держав и Японии. Последняя, в свою очередь, получила в ходе такого противоборства значительный импульс к модернизации, – при этом значительно более высокая плотность населения, территориальная компактность обусловила склонность страны к ускоренной урбанизации.

Нельзя не обратить внимание, что торможение в развитии конкурентоспособного промышленного производства является экзистенциальным также и для России, вследствие чего невостребованное безземельное крестьянство и его позднейшие изводы в том или ином виде начиная с периода модерна и по сей день выступают наиболее социально «токсичным» слоем, опорой архаических устоев, некоторого вымывания образованного слоя. Более того, в силу характерного эффекта длинной дистанции индивидов друг от друга и о власти, трансформационная колея русских степных кочевников в постсоветский период также вызвала к жизни экстремально индивидуалистичный поведенческий тип, чуждый доверия и кооперации, с коротким временным горизонтом, не озабоченный построением устойчивой репутации. В то же время, отличием «русской матрицы» является не менее масштабный обратный процесс, – достаточно развитый городской метаархетип европейского происхождения обучает нижние сословия, в целом весьма восприимчивые к знанию. Кроме того, причины дефективности индустриального способа производства весьма отличны от характерных для предвоенного развития азиатских стран и типичны для степных кочевников в аутентичной среде происхождения – низкая плотность населения, соответственно малая глубина внутреннего рынка, и запретительные транспортные издержки, связанные с протяженностью субконтинентальной территории. Таким образом, в отличие от Китая, Россия обладает высококачественным человеческим капиталом, но не возможностью фронтально задействовать его для нужд конкурентоспособного массового производства, – что со временем не могло не отразиться также и на характерном портрете когнитивных особенностей и трудовых навыков (см. далее). В этой связи, невзирая на указанные сходства, с точки зрения продуктивной специализации и эволюционной колеи итоговые архетипические характеристики Китая и России – даже применительно к «степной доминанте» русского этноса – весьма различны.

Макрорегионы распространения степного метаархетипа территориально весьма обширны, что объясняется его первообразным образом жизни – постоянным поиском, силовым захватом и удержанием новых мест пропитания в условиях скудости такового. Более того, боевое мастерство и размер территории для всех степных кочевников является предметом особой доблести, поскольку в неблагоприятных климатических условиях свидетельствует о надежности ресурсной базы, служит основой коллективной идентичности, оправданием социальной отсталости. Помимо восточных славян, как минимум, еще несколько крупных этнических групп субконтинентальной Евразии – арабы, турки и монголы – демонстрировали склонность к освоению обширных пространств и подчинению иноэтничных племен,

соответственно созданию под своим началом архетипической и этнической полифонии. Логика их экспансии исторически была подчинена обеспечению контроля Великого Шелкового пути, а также различных его фидерных ветвей – морских, речных и сухопутных, западных и северных, среди которых также и путь из варяг в греки. Именно запустением этой главной досовременной транспортной магистрали Евразии справедливо объяснить то, что «зависшие» на субконтинентальном пространстве ветви указанных этносов не подверглись эмансипации (либо скорее она была прервана на раннем этапе), – например, как подверглись эмансипации варварские племена, сперва разграбившие Рим, но через несколько веков явившие миру цивилизацию Ренессанса. Вместе с тем, неславянские кочевники преимущественно происходят из южных климатических поясов и имеют традиционным промыслом кочевое скотоводство, поэтому исторически тяготеют к освоению плодородных земель, что в конечном итоге ведет их к морским побережьям, представляющим интерес также и для европейских морских кочевников. Однако регион кочевания изобилует естественными преградами, более того, их собственный образ жизни лишь увеличил его фрагментацию за счет разрушения почв и усилил предрасположенность к образованию изолированных или «осевших» позже (см. далее) общностей. Таким образом, страновая фрагментация в случае большинства субконтинентальных цивилизаций – зачастую одного этногенеза (например, таджики, казахи, киргизы, узбеки, туркмены, монголы являются коренными не только в титульных странах, но и в Китае, Афганистане) – связана с естественными преградами, горными или пустынными, а также (например, в арабском мире, Африке, по периметру Индии) искусственным постколониальным делением. В этой связи ожидаемо, что после разложения материковых транзитных путей в результате великих географических открытий Нового времени крупнейшей силой субконтинента стало именно центрально-российское ядро русского этноса, в наименьшей степени полагавшееся на преимущества торговли и сформировавшее наиболее жесткие экстрактивные институты и практики.

В противоположность этому, ареал бытования других метаархетипов привлекателен для многих и плотно заселен, расширение за счет столь же благоприятных земель сопряжено с сильным противодействием, поскольку изобилие повсеместно создает основу для силового ресурса – и материальных источников, и живой силы. Более того, в подушевом выражении такое расширение не содержит потенциала приращения источников стоимости, поскольку означает одновременное присоединение населения новых земель. В этой связи, территориальный ресурс в районе водных бассейнов фрагментирован между разными центрами силы, государствами, а экспансия за счет более скудных пространств при прочих равных условиях рассматривается как обременительная и нецелесообразная в сравнении с издержками столкновения с воинственными степными кочевниками. Это также в немалой степени служит выработке воинственности у субконтинентальных общностей, практически для всех из них характерен укорененный миф о собственной непобедимости и враждебном окружении. А в условиях дополнительной географической изоляции, которая одновременно означает защищенность территории от интервенции, этот эффект многократно усиливается самосознанием малого племени, непокоренного великими, что дополняет портрет социально герметичной общности.

Россия является крупнейшей отдельно взятой страной, где степной метаархетип выступает в качестве доминантного, при этом его «метропольной» территорией здесь является центральная и южная части страны. Если последняя несет на себе отпечатки классического «рисунка» завоевания зажиточных оседлых земледельцев скотоводами-кочевниками и их государствами (из последних Орда, далее замещенная Московией), то в первой в силу изначальной бедности почв даже земледелие требовало кочевания, в связи с чем для силовой корпорации степных кочевников здесь характерен один из наиболее жестких экстрактивных типов поведения. Несомненно с точки зрения генезиса славянские этносы не являются кочевыми, – даже мифология и фольклор свидетельствуют в пользу представлений об оседлой, городской жизни как идеальной, благополучной. Однако в условиях болотистых почв популяция не могла бы выжить оседлым земледелием и культивировала подсечно-огневое, – ожидаемым образом это

подтачивало основу для репликации социальной архитектуры «материнских» Новгорода и Киева. Как и везде, города здесь нарождались в качестве центров речной торговли, однако в силу периферийного расположения стремительно вырождались в крепости-стоянки для «кормовых набегов» друг на друга. Столкновение с аутентичными монголо-тюрскими кочевниками степей принесло сюда социальную архитектуру кочевого вождества, которое оказалось более жизнеспособным и надолго прижилось в заданных естественных условиях. Более того, во многих отношениях русская версия этой формации оказалась ближе к оригиналу, чем, например, османская цивилизация – этнически родственная кочевым завоевателям, но бытующая в несравнимо более благоприятных условиях и сменившая архетипическую природу (см. ниже). Монгольская экспансия ожидаемым образом остановилась на географической границе естественного ареала обитания – западной оконечности Евразийской степи, однако после разложения питавших ее материковых транзитных путей Орда пала под натиском с севера. В силу своей природы опричина – в различных институциональных обликах – выступает здесь в роли аппарата подавления повсеместно и скрепляет разнородную ткань общества сословно-иерархической социальной архитектурой, в то время как архетипическая принадлежность нижних, подавляемых страт в зависимости от региона может различаться – от наиболее распространенных «низовых» степных кочевников до общностей с ярко выраженным старообрядческим влиянием.

Таким образом, доминантная часть популяции рассредоточена по субконтинентальной территории с такой плотностью и глубиной, что мобилизация рынков заметной емкости невозможна ни внутри, ни вовне, если только маржинальность товара не является аномальной. По всей видимости, столь широкий ареал «кормовой» экспансии русских связан как с непривлекательностью климатических условий севера Евразии для кочевников теплых мест, так и со сравнительно малой пересеченностью территории естественными преградами. При этом такой субконтинентальный экспансионизм непосредственным образом указывает на смену существенных архетипических признаков вида, – и это служит предпосылкой последующего размежевания этноса, появления феномена «внутренней оккупации». Неблагоприятный ареал обитания принуждает общность искать новые промыслы в обитаемых и необитаемых местах, – соответственно ее нижние сословия мирятся с силовой корпорацией в качестве передовой «кормовой дружины» и ее полномочиями, в т.ч. в отношении себя. Эта структура расселения и обусловленный ею институциональный дизайн контрастируют с таковыми в климатически схожих странах, где существенная часть общественного продукта и общественного богатства также приходится на природные ресурсы, – Канаде и Северной Европе. Население здесь выдвинуто к судоходным артериям – более того, непосредственно примыкает к густонаселенным регионам соседних стран и образует с ними единые рынки значительной глубины. В этой связи, основная часть общности – при условии особой бережливости, прежде всего в отношении транзакционных издержек, – в состоянии обеспечить собственные витальные потребности на минимальном уровне и без подпитки со стороны промыслов, которые в силу физической природы можно удерживать силой. Отсюда, если такие промыслы располагаются в местах расселения, то их узурпация попросту невозможна: использование всей общественной стоимости – включая аномально высокие ренты – обеспечивает республиканский по сути институциональный механизм. Если же предположить, что гипотетический силовой узурпатор обратил экстрактивное воздействие на ресурсы непригодных для обитания мест, то в местах реализации собственной жизненной стратегии – будь то в обитаемой части своей страны или в чужой стране, – он поначалу будет вынужден довольствоваться положением «богатого иммигранта». Он не сможет вмешиваться в режим функционирования местных институтов не только под страхом выдворения, но даже непрерывно коррумпируя их и население при разумных издержках, – а по мере смены поколений в семье его состояние все равно постепенно поступит в общественный оборот.

С другой стороны, среди стран европейского генезиса Россия является единственной, где степной метаархетип не только наиболее многочислен, но и представлен в качестве коренного, а также самой

крупной, где норма длинной социальной дистанции выражена эксплицитно. Однако именно в силу европейского генезиса уникальной отличительной особенностью этого антропологического вида здесь выступает длительное, в той или иной степени непрерывное знакомство и сожительство с городским метаархетипом. Последний имеет как автохтонный базис, так и экзогенный, вызванный поселенческим, профессиональным и династическим общением с европейскими народами, родственными в этно-конфессиональном отношении. Более того, привлечение городского метаархетипа непосредственным образом связано с оборонительными потребностями силовой элиты степных кочевников перед лицом вызовов со стороны передовых промышленных держав, а впоследствии и усложнением структуры общества вследствие стремления такой элиты участвовать в мировом клубе выгодоприобретателей Нового времени. В этой связи, торможение развития возникает не столько в связи с параметрами человеческого капитала, сколько в следующем звене – способе извлечения стоимости, который не способен обеспечить массовую абсорбцию образованных трудовых ресурсов. Дефицит, по сравнению с численностью крестьянства, качественных и одновременно выгодно расположенных в транспортном отношении пахотных земель гонит население в города с той же интенсивностью, что в развитых странах, – однако последние не встречают его адекватным предложением рабочих мест в промышленности и «помещают» в социальную ячейку урбанистической архаики. Естественная неконкурентоспособность серийного производства (см. далее) фактически выводит промышленность из рыночного оборота и сужает ее назначение до задач силовой элиты. При этом в структуре общественной стоимости доминируют различные ренты, соответственно такая структура образует вокруг себя институциональный пояс силовой «токсичности»: в зависимости от состояния «кормовой базы», ресурсно-силовые кланы могут собираться в единую вертикаль вассалитетов или быть фрагментированными. Это вызывает к жизни экстрактивные институты – находящиеся в противостоянии с носителями знания и самостоятельным предпринимательством, которое по фундаментальным причинам не находит привлекательных возможностей для размещения капитала и создания новой ценности в таком объеме, чтобы включиться в «борьбу за институты». Трансграничный трансфер передовых культур и практик здесь происходит в области накопления знаний, от одной оседлой популяции к другой, затем к «низовым» степным кочевникам, однако в обеих точках перехода это происходит без посредства предпринимателя как коммуникатора и внедряющего звена. Соответственно, на протяжении большей части русской истории передача знаний непосредственным образом не оказывает влияния на развитие трудовых навыков и сферу извлечения стоимости как таковую. Лишь в условиях экономики знаний роль географических особенностей перестает быть непосредственно актуальной для способа производства, что с неизбежностью актуализирует в практической плоскости проблему несоответствия институциональной архитектуры степного кочевника качеству человеческого капитала.

Есть довольно значительное сходство этих характеристик с распространенными в Латинской Америке, являющейся достаточно уникальным примером гибридной формы, испытавшей влияние совершенно различных архетипических «ингредиентов». С формальной точки зрения колониальная наследственность предрасполагает к доминированию классического модернистского сплава городского и морского метаархетипов, на деле же последний деформирован целой последовательностью факторов. Во-первых, сам контингент поселенцев уже несет на себе отпечатки демодернизации Средиземноморья, которая особенно ярко проявилась в Испании и Португалии времен Реконксты и инквизиции. Интенсивные вооруженные конфликты здесь привели к бегству капитала, затем к массовым религиозным гонениям и этническому геноциду, притоку некоторых племен, родственных степным кочевникам, на фоне чего возникла характерная для последних консолидация силового ресурса вокруг патримониального центра, создающая мощное тяготение к ресурсному хозяйствованию. Во-вторых, имплантированная извне архаическая социальная организация обрела естественную основу на самом латиноамериканском континенте, где полноводные реки протекают в основном в местах густых тропических зарослей и не

соединяют в единый рынок очаги концентрации населения. Последние естественным образом привязаны к расположению плодородных земель, однако расчлененный рельеф местности диктует преобладание плантационного, а не индивидуального способа организации сельскохозяйственного производства (см. ниже) – соответственно экстрактивной модели распределения стоимости, так что в целом основная часть континента создает предрасположенность к сословному типу социальной организации, характерному для степных кочевников. При этом, указанные очаги выгодно расположены в транспортном отношении и даже имеют некоторую собственную емкость, – однако для пика индустриальной эпохи таковая пренебрежимо мала, при этом такую изоляцию отражает и фрагментация континента на многочисленные государства, невзирая на общность их генезиса. В колониальном трансфере архаических устоев есть известное сходство с рисунком «выноса» центрально-русской «ордынской» социальной архитектуры в регионы добычи энергетического сырья в позднейшие времена – прежде всего, в расположенные в зоне западносибирской нефтегазоносной провинции, а также в некоторые части Урала и Кузбасс. Географических или социальных предпосылок для возникновения какой-либо самостоятельной антропологической сущности здесь не наблюдается, – скорее это формация вынужденной оседлости в условиях, когда более органичным способом организации производства была бы добыча вахтовым методом. В этом существенное отличие этих регионов от Урала и южного Зауралья, – здесь «тон» социальной архитектуры задает укорененное присутствие старообрядцев, представления которых о структуре общественных отношений (см. выше и далее) находятся в антагонистическом конфликте с «ордынскими». Если для всех регионов центрально-русской общности длань силовой корпорации привычна и естественна, то в старообрядческих воспринимается как оккупация превосходящей силой, которая должна быть прервана при первой же возможности. Однако эффект колониального архетипического трансфера наблюдается и в регионах расположения крупнейших подразделений лагерной системы, как дореволюционного, так и послереволюционного времени, – на севере, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. В этой связи, здесь автохтонные «общинные» уклады, тяготеющие к модернистским устоям (см. выше и далее), частично испытали «вторжение» архетипической матрицы степных кочевников, а частично, напротив, получили пополнение. В-третьих, важнейшим обстоятельством, которое роднит две архетипические матрицы, является обширность распространения и застойность уклада урбанистической архаики вследствие низкой абсорбирующей способности экономики.

Таким образом, латиноамериканский континент имеет высокую степень архетипической схожести с Россией, также представляющей собой извод европейской цивилизации, с чем связано существенное отличие обеих ветвей от «классических» степных кочевников – широкая представленность городского метаархетипа. Легко заметить, что, при всех различиях «рисунков» колонизации территории, для обеих сестринских феноменов эпоха модерна явилась периодом интенсивной «прививки» европейских культурных, технологических и некоторых социальных образцов – в российском случае прототипическим «донором» можно считать прежде всего Пруссию, а ключевой «точкой входа», «площадкой трансфера» – Петербург. Хотя это происхождение указывает на европейскую ориентацию элит, она вступает в противоречие с географически обусловленной моделью хозяйствования и социальной архитектурой. Ресурсно-силовая элита в обоих случаях действует и воспринимается населением как отдельная, инородная по отношению к нижним сословиям антропологическая сущность короткой дистанции. Сами эти элиты или их предшественники в таком качестве в обоих случаях действительно имеют отличное от нижних сословий происхождение и перманентно пополнялись извне. Инородный архетип происхождения элиты довольно типичен для Евразии, – однако в данном случае речь идет об архетипе не национализированных элит, продолжающих бытовать в социальной нише «оккупационной» силы даже в отсутствие кровного преемства по отношению к предшественникам. При этом важной особенностью этой «европейской степной матрицы» является имитация институтов,

соответствующих евроатлантическому стандарту, но не отражающих истинной природы общественных отношений, в рамках которых – в противоположность модернистскому «оригиналу» – ресурсы и легитимность образуются у верхних сословий и перераспределяются вниз. Прежде всего такая имитационность обусловлена тем, что страны с доминированием модернистских сообществ выступают местом размещения и использования капитала экстрактивной элиты – равно как и продолжения жизненных стратегий состоятельных семей. Отсюда важно, чтобы правовые и хозяйственные отношения, оправдывающие происхождение такого капитала, по форме отвечали принятым в соответствующих странах. Впрочем, в этом аспекте схожи элиты всех архаических сообществ, – среди них практически не встречается таких, у кого потребление и накопление было бы связано с местными рынками. Однако для реализации этой потребности критичной является лишь точка трансграничного трансфера средств, – в то время как «европейская степная матрица» предполагает фронтальное «вторжение» модернистских институциональных и правовых форм во внутренний социальный и транзакционный оборот.

С этой точки зрения во многом такая «личина» является следствием «социально-эстетического» запроса городского метаархетипа, – именно в отсутствие последнего институциональный дизайн других общностей степных кочевников выглядит довольно «откровенным» и прямо отражает феодальный характер общественных отношений. Остаточный принцип перераспределения общественного продукта вниз приводит к неприемлемому для такого «социально-эстетического чувства» уровню имущественного расслоения, поэтому оно маскируется декларативными институциональными ограничениями для силовой корпорации и, напротив, гарантиями для всех остальных. На деле же «нижний, остаточный резервуар» общественной стоимости является нормативно дефицитным, поэтому фактическое правоприменение носит избирательный характер, а законодательная процедура выступает лишь разновидностью барьера и источником административной ренты, поэтому тяготеет к усложнению до степени невыполнимости. Норма права и само право в понимании высшей справедливости, т.е. буква и дух закона, находятся здесь в прямом противоречии друг с другом, более того, автономно друг от друга существуют формальные и неформальные институты, письменное право и неписанный закон. В таких условиях высокое качество правоприменения ведет к равенству лишь в смысле тотального поражения нижних сословий в правах, поскольку оно подрывает структуру специфических административных рынков, обслуживающих индивидуальные сделки по обходу правил и позволяющих этим сословиям обеспечивать свои первоочередные нужды хотя бы сообразно достатку – как правило, на минимальном уровне. Таким образом, сочетание городского метаархетипа со степным имеет следствием двоемыслие как социальную норму, но при этом признаки общественного устройства и хозяйственного уклада, свойственные модернистскому сообществу, бытуют в роли культурных образцов, многочисленных «спящих» институтов, которые при изменении базисных условий, а также на переходных этапах развития, могут обнаруживать себя в качестве содержательных и функционирующих (см. далее).

При очевидном сходстве доминантных архетипических композиций, тем не менее, есть довольно заметное различие социально-антропологической природы урбанистической архаики в Центральной России и Латинской Америке. Если в последнем случае она практически полностью представлена общностями короткой дистанции, то в первом преобладают общности длинной дистанции. Как уже отмечалось, к числу архаических сообществ длинной дистанции, доминирующих в Центральной России, принадлежит большинство степных кочевников открытых пространств. Они имеют сложносоставную архетипическую структуру и по совокупности причин, связанных с исходящей от силовой корпорации социальной «токсичностью», включают в себя и низовые субкультуры с поведенческими установками, идентичными характерным для изолированных общностей. В Латинской Америке природные и социальные условия предрасполагают к появлению социальной матрицы с такими признаками, которые роднят большинство периферийных общностей теплых климатических поясов – от субконтинентальных кочевников изолированных мест до деформированного морского метаархетипа (см. ниже) – для них

характерна норма короткой социальной дистанции. В частности, важнейшим «инкубатором» общностей этого типа исторически выступил плантационный способ организации аграрного производства, – его городской «инкарнацией» можно, в частности, считать феномен фавеллы. Сельское хозяйство выступает важным социальным «резервуаром», а в городе распространены значительные группы праздного мужского населения, социальный темперамент которых определяет традиционно высокий градус общественных отношений и отражает запрос на патримониальное попечение, – вероятно, сродни образцу исчезнувших автохтонных цивилизаций индейцев. С другой стороны, как и у изолированных общностей, ценностная матрица тяготеет к герметичности, о чем особенно ярко свидетельствует нетипично широкое для этносов европейского генезиса распространение уклада компактного проживания за пределами титульных стран, этнической инкапсуляции, мужских сообществ на основе примата силы, нередко криминальных. В этой связи, парадоксальным образом отчужденный и атомизированный индивид равнинного степного архетипа, не чувствующий неразрывную связь к какой-либо этической системой либо ее носителями, легко интегрируется в модернистское сообщество в индивидуальном качестве и воспринимает его ценности. При этом внутри страны до появления стимулов к трансформации общественных отношений он может сколь угодно долго мириться с беспримесно феодальной матрицей, основанной на праве сильного, воспринимать ее как фоновую «природную стихию» и минимизировать ущерб, избегая деятельного или этического отношения к ней.

* * *

Податливость внешнему воздействию низовые среды всех архетипических видов унаследовали от *сельского метаархетипа*, который выступает демографическим донором для других и связан с обеспечением витальных потребностей человека. Первообразные условия бытования и пищевая культура конкретной разновидности этого метаархетипа определяет свойства производных общностей – прежде всего, характерные трудовые навыки и когнитивные особенности. При этом, особенности кочевых метаархетипов происходят от «дикорастущих» способов добычи пропитания, в то время как оседлых – от культурных форм выращивания продовольствия. Так, занятие охотой (отчасти также собирательством), как правило, приводит к дефекту трудовых навыков как таковых и гипертрофии боевых, горизонту планирования «до ближайшей цели» (выполнения приказа), установке на извлечение стоимости путем ее присвоения. Принцип «нулевой суммы» здесь переходит в принцип «отрицательной суммы»: по самым различным мотивам допустимо «не только сорвать дикорастущий плод, но и вырвать плодоносящее дерево с корнем» – например, если собрать плоды трудоемко, либо чтобы оно не досталось «пищевому конкуренту». Как правило, такие индивиды становятся основой силового аппарата степных кочевников, у которых он играет ствольную роль для патримониальной власти-собственности и выступает легитимным бенефициаром всей общественной стоимости, обеспечивая контроль за примитивными, но редкими ресурсами, включая пространственный, транзитный. Собирательство приучает человека к наблюдательности, но формирует весьма ограниченные трудовые навыки, что предрасполагает к извлечению стоимости из природных материалов, являющемуся основной степного кочевого хозяйства. К этому же способу бытования примыкает и кочевое пастбищное скотоводство, которое дополнительно развивает повышенное чувство ответственности за вверенное, поэтому такая наследственность, кроме освоения природных ресурсов, благоприятствует социальной «мутации» в «осевший» степной метаархетип. Рыболовство примыкает к морскому метаархетипу как по ареалу обитания, так и по предпринимательскому образу мысли: его экспедиции длительны во времени, что способствует появлению горизонта планирования, он оперирует средствами производства – хотя и весьма

простыми, – для оснащения он встречается с носителями компетенций (корабелами, изготовителями инвентаря и пр.), ему знакомо понятие добавленной продукту природы ценности – например, в форме хранения и доставки. Кроме того, подобно купцу, рыбак сам выбирает порт сбыта, в зависимости от цены и расстояний, может осесть, обзавестись домом и семьей в любом из них, поэтому не имеет жесткой патримониальной привязки, при этом его промысел выступает как конкурентный, поскольку товар не обладает свойством редкости, а море не является ограниченным ресурсом.

Культурное выращивание продовольствия – земледелие, животноводство, впоследствии также разведение рыбы – формирует *оседлый* способ бытования со свойственными таковому склонностью к оперированию средствами производства, совершенству качества и навыками точного труда, которые впоследствии усложняются при соединении с капиталом и знанием в массовом производстве. Гомогенность среды обитания и обилие неподконтрольных обстоятельств непреодолимой силы определяют первоначальную архаичность сознания у этого вида, однако при снижении роли этих факторов – прежде всего в ходе урбанизации – выходцы из него выступают наиболее плодотворным массовым «материалом» для экономико-антропологической эволюции. Именно из сельского оседлого населения в ходе урбанизации формируется квалифицированный рабочий класс, который выступает безальтернативным участником модернизационной коалиции и массовой основой нации. Склонность этого вида к кооперации и солидарности (по крайней мере, его высокая договороспособность), коллективному, артельному хозяйствованию, в т.ч. в городских условиях объясняется его первородной непосредственной близостью к источникам пропитания, устраняющей инстинкт примитивной «пищевой конкуренции». Эти свойства сельского оседлого метаархетипа являются основой социального капитала тех слоев населения, которые непосредственно происходят из него и, как правило, не обладают отличительными знаниями. По всей видимости, такой способ выращивания продовольствия сформировался в результате завоевания более оседлых и менее сильных племен воинственными кочевниками. Последние целенаправленно ограничивали хозяйствование, которое не может служить предметом поборов и основой капитала, – «дикорастущий» промысел, а также выращивание для личного потребления культур, излишки которых непригодны для длительного хранения и транспортировки, например, овощей, бобовых и пр. В конечном итоге, культурное выращивание продовольствия в основном сосредоточилось вокруг кормовой цепочки зерноводства, на базе которого вплоть до начала XX века происходило интенсивное накопление капитала, что, однако, имело следствием массовое засоление плодородных почв вследствие хаотичного внедрения ирригации для повышения урожайности.

Исторически сельский метаархетип выступает своего рода социальным «укрытием», которое позволяет переждать период неблагоприятия других форм жизнедеятельности, обеспечивая минимальные витальные потребности человека. Более того, в среде с высокой силовой «токсичностью», где редкие источники стоимости присваиваются, от природных условий зависит, насколько индивид сможет «скрыться из зоны видимости» патримониального центра и без милости такового добыть пропитание. В этой связи, закрепление избыточной численности в этом секторе обычно является свидетельством несостоятельности трансформационной модели в «сферах ответственности» модернистских метаархетипов, прежде всего, морского, который предъявляет первичный спрос на трудовые ресурсы с ограниченными трудовыми навыками. Такая застойность находит выражение в сравнительно низкой доле экономически активного населения по отношению общей численности такового. Более того, после тектонической индустриальной урбанизации XIX – XX вв в качестве самостоятельной и значимой антропологической сущности сельский метаархетип встречается лишь в таких регионах мира, которые благоприятны для оседлого выращивания продовольствия, но одновременно отличаются застойностью в развитии городов ввиду ограниченного развития промышленности (см. далее). У этих общностей нетипичным для других видов образом именно деревня остается метропольным родовым гнездом, – в то время как город является местом временного промысла

на масштабе, ввиду высокой плотности населения. Необходимо также отметить, что по мере перехода к экономике знаний города могут высвобождать значительные объемы трудовых ресурсов, а занятость и многие блага станут доступны дистанционно, что может привести к некоторому росту сельского населения и в передовых и сравнительно богатых земельными ресурсами странах.

Степень сложности производства и связь человеческого усилия с результатом в аграрном хозяйстве самым непосредственным образом проецируется на характеристики производных архетипических видов. В общем случае тропический и субтропический климат с преобладанием естественного орошения требует довольно умеренного трудового усилия для обеспечения пищевых потребностей человека, а, наоборот, различные малопригодные к выращиванию продовольствия виды почв на изолированной территории лишают такое усилие смысла, – при этом в обоих случаях возникают весьма характерные искажения поведенческих свойств. В обоих случаях индивид хорошо знаком с применением силы против других в «кормовых» интересах, податлив ее воздействию и даже социальному и поведенческому «обаянию», – в первом случае такая угроза чаще исходит от завоевателей, во втором от автохтонной силовой корпорации, которая оперирует приемами оккупационной администрации. В первом случае вырабатывается дефект индивидуальных трудовых навыков, при этом чрезвычайно развиты социальные, – высок уровень межличностного доверия, не обусловленного дополнительными факторами. При этом благосостояние общности во многом остается связанным с сельскохозяйственным сырьем – как собственно продовольственными товарами на основе последнего, так и смежными отраслями, такими как индустрия красоты, туризм и пр. Во втором случае, напротив, социальный капитал может быть вовсе отрицательным, низка ценность человеческой жизни, а индивидуальные навыки акцентированы на выживании в экстремальных условиях путем добывания дикорастущего корма и выпаса неприхотливого скота. Благосостояние такой общности основано на силе – в виде присвоенного необработанного природного сырья и даже как собственно товаре, услуге. Плантационный способ выращивания продовольствия имеет следствием возникновение обширных популяций с поведенческими установками, характерными для изолированных общностей, – дефектом самостоятельной инициативы, низким престижем знаний. Он предполагает производство товарных излишков, т.е. в избыточном для местного спроса объеме, соответственно концентрацию на дефицитных в отдаленных местах культурах, по аналогии с промыслом на минеральном сырье, – поэтому предваряется возникновением рентоизвлекающего экстрактивного центра, присваивающего продукты труда и монетизирующего их в области длинной дистанции. Этот способ нарождался в различных локациях с субтропическим и тропическим климатом, однако в конечном итоге закрепился в основном в регионах, где дефицит естественного орошения делает нерациональным индивидуальное хозяйство и/или где пути доставки излишков удалены от плодородных земель – например, окружены густыми зарослями или горными массивами – наконец, на небольших и густонаселенных островах, где до фронтальной механизации такая модель хозяйствования обеспечивала наиболее эффективную занятость. В этой связи, рентная ниша экстрактивного центра здесь защищена потребностью в масштабных ирригационных сооружениях и инфраструктуре. Свои деформации характерны для муссонного климата и выращивания в таких условиях риса, на чем основана пищевая культура значительной части населения Земли в Юго-Восточной Азии: она формирует идеальный автоматизм простых и монотонных трудовых навыков – при этом отторжение к инициативе, добровольному несению общественных обязанностей, в целом ко всему отвлеченному. Так, индивид испытывает сложности с многозадачностью, усвоением отвлеченного знания, – хотя знание как таковое пользуется высоким престижем в силу его доступности лишь досужему сословию, одновременно выполняющему роль силового. Также примечательно, что первичный способ сельскохозяйственного производства тесно связан с характерным для конкретной общности демографическим профилем. В частности, необычно высокая плотность негородского населения свидетельствует либо об изобилии дикорастущей пищи, которое снижает опасение за обеспеченность

витальных потребностей потомства, либо, напротив, аномальной трудозатратности выращивания пищи (например, риса), – в этом случае рождаемость рассматривается как способ влияния на достаток. Напротив, в скудных пищевых местах – болотистых, засушливых и т.п. – высокая рождаемость не приводит к перенаселенности, поскольку сочетается с высокой смертностью и короткой продолжительностью жизни, во многом вызвана соображениями заботы родителей о собственном попечении в старости.

Еще один способ различать условия для аграрного производства может быть основан на том, в какой мере они позволяют круглый год обеспечивать рацион человека сезонной, т.е. свежей, пищей – как растительного, так и животного происхождения. Чем более локация в этом отношении благоприятна, тем меньше она склонна производить излишки, развивать навыки переработки, хранения и организации каналов продаж, а также технологии искусственного выращивания продовольствия, – и наоборот. Эта зависимость опосредована не столько «ленностью» одних в противовес трудолюбию других: увеличение производства до промышленных объемов может быть обеспечено лишь при помощи технологий искусственного выращивания. Если в сложных условиях такой способ аграрного производства является привычным, то в благоприятных он создает конфликт с выращиванием более качественных свежих сезонных продуктов, которое связано с высоким удельным весом ручного труда, – оно вытесняется как относительно дорогостоящее, и это снижает качество жизни местного населения, а также туристическую привлекательность региона. Обычно этот конфликт разрешается посредством квотирования и дотирования некоторого минимального объема сельскохозяйственной продукции, выращиваемой традиционным способом и предназначенной для местного сбыта, в основном силами самих фермерских хозяйств. Однако в эволюционном отношении наиболее ценную совокупность поведенческих свойств чаще всего формирует индивидуальное/семейное растениеводческое хозяйство с полным циклом работ и элементами переработки, расположенное в средней полосе с умеренным климатом или севернее. Изначально продукция такого хозяйства предназначена для сбыта в близлежащей округе, однако при необходимости объем производства легко наращивается без потери качества, для чего требуется взаимодействие с третьими хозяйствующими субъектами – крупными товаропроводящими сетями. В свою очередь, среди хозяйств этого рода особой сложностью выделяются основанные на стойбищном животноводстве – представляющие собой целый интегрированный комплекс производств, как правило, включающий в себя выращивание кормов и по технологической развитости близкий к промышленности. Они требуют от человека ответственности, синхронизации управления множеством факторов, имеющих различный цикл принятия решений и отсроченную отдачу, – таких как численность и состояние здоровья поголовья, урожайность и пр., а также учета ценовой конъюнктуры различных рынков – мяса и молока, зерна и кормов, медикаментов и удобрений. Внедрение инноваций входит в естественную привычку, более того, отношение к другому индивиду также непосредственным образом связано с компетентностью и трудолюбием. Еще более показательны многие регионы с доминированием «общинных» антропологических видов, природные условия которых в определенный период считались вовсе непригодными для сельскохозяйственного производства, – Исландия и некоторые другие североевропейские страны, а также Израиль. Здесь агрокультура изначально зародилась как один из наиболее высокотехнологичных секторов экономики, более того, будучи базовой отраслью жизнеобеспечения, сформировала установку на рачительное ведение хозяйства и высокую инновационную культуру. В отличие от, например, Центральной России с ее болотистыми почвами или высокогорной местности, ареал обитания этих общностей не изолирован и потому исторически не позволял чрезмерно развиваться метаинституту силового подавления: оставался простор для обширного рыбного промысла, а любую добычу можно было укрыть на другом берегу. Это развивает длинный горизонт планирования, склонность инвестировать в расчете на отсроченную отдачу, использовать ресурсы для общего блага в противоположность их непроизводительному изъятию из хозяйственного оборота, придерживаться более равномерного распределения.

В случае отсутствия внешнего принуждения, которое встраивает сельский метаархетип в чужеродную систему общественных отношений более крупной архетипической формации, этот вид образует эгалитарный тип социальной организации, при этом скорее гомогенный, архаический. При этом для подавляющего большинства общностей характерен исторический дефицит земельных ресурсов, а потому на селе преобладает общинный тип социальной организации с эффектом короткой дистанции. В целом, эта же ценностная модель, однако в условиях гетерогенной формации, служит прообразом характерной для наиболее модернистских видов – городского метаархетипа и «общинных» морских кочевников. В то же время, ограниченность земельных ресурсов не знакома морским кочевникам Нового света, – так что социальной нормой здесь стал эффект длинной дистанции. Тем не менее, даже в оседлой форме, аутентичный, не трансформированный сельский метаархетип несколько вторичен в механизме модернизации, поскольку, в силу среды обитания и темпоритма жизни, весьма ограниченно способен к соединению со знанием и социальным коалициям вообще. Он легко поддается внешнему влиянию, склонен воспринимать любые экзогенные факторы – будь то природного или социального происхождения – как данность. Соответственно в случае общественного доминирования фактора силы этот метаархетип легко встраивается в вертикальные структуры, при ослаблении его давления постепенно дрейфует вспять от архаического начала и проявляет себя как самостоятельный малый предприниматель, не только в сельском хозяйстве. В целом он рассредоточен вокруг мест обитания всех остальных укладов, является для них демографическим демпфером и донором, представляет собой «человеческий материал» для живой силы в военных конфликтах. При этом, его черты можно обнаружить у всех остальных метаархетипов: стяжательство собственности и богатства, ответственность и бережливость, временной горизонт планирования свойственны морскому метаархетипу, трудовые навыки, привязка к месту и обустройство окружающего пространства – городскому, а ресурсное, рентное хозяйствование, готовность подчиняться силе, экзистенциальный страх нужды, будь то относительной или, в пределе, голода, как наиболее сильный мотиватор – степному. С другой стороны, отсутствие склонности к риску отличает сельский метаархетип от морского, к культурным ценностям и гетерогенной среде – от городского, к обладанию силой – от степного.

* * *

Таким образом, все крупнейшие цивилизации являются сложносоставными, социальная динамика каждой из них непосредственным образом вытекает из архетипической композиции, на основе которой формируется социальная коалиция – архаическая или модернизационная. Для общностей, архетипическая композиция которых основана на сочетании городского метаархетипа с морским кочевником, характерно сбалансированное и эволюционное развитие – поступательное и без значительных откатов. Социальные противоречия носят диалектический характер и управляются путем «созидательного компромисса» – общественного договора, который служит постепенному выравниванию нормы социальной дистанции внутри элиты, с одной стороны, и низовых слоях, а также между различными слоями, с другой. Общественный договор в сущности определяет базовые количественные и качественные параметры ресурсов в распоряжении каждой из сторон, позволяющих им реализовать свою целевую мотивацию в общих интересах. Всплески социальной напряженности сравнительно сглажены и, как правило, связаны с эпохальной сменой способа производства, которая модифицирует конкретный состав каждой архетипической компоненты – например, за счет массовой кооптации оседлого крестьянства, урбанизации. Наоборот, общности, основанные на сочетании городского метаархетипа со степным кочевником, развиваются революционно, скачкообразно, с

длительными застойными периодами. Последние стереотипно являются скорее нормативным состоянием общества и основаны на архаической «распределительной» коалиции опричной и низовой социальных страт, которая оставляет образованный слой за периметром в обмен на компенсацию за безоговорочную словесную лояльность, а также полный или частичный отказ от реализации своей целевой мотивации. Напротив, этапы социальных рывков скорее являются моментными и основаны на модернизационной коалиции с «антинациональной» структурой: здесь образованный слой выступает младшим партнером силовой корпорации, которая в силу ценностной несовместимости вступает в такой альянс крайне неохотно, лишь под угрозой витальных вызовов собственному существованию. При этом их совместные действия ведут лишь к обновлению обветшавшей технологической базы и культурных образцов, но не к активации социальных лифтов для нижних страт. При этом на каждом витке обновленная по составу революционным путем силовая корпорация воспроизводит себя как постороннюю «оккупационную» сущность – «общность внутри общности» с нормой короткой дистанции в социально разреженной среде. Коалиция между образованным сословием и «низовыми» степными кочевниками, социально наиболее плодотворная и подразумевающая «национальный» контроль над силовым аппаратом, является крайне неустойчивой вплоть до перехода к экономике знаний, когда утрачивают актуальность малая глубина рынка и запретительный уровень затрат на доставку, которые при предыдущих способах производства порождают тяготение к вертикальной, моноцентрической социальной архитектуре.

Соседство общностей морских и степных кочевников практически неизбежно приводит к острому силовому конфликту: оба вида непосредственно приспособлены оперировать силовым ресурсом и на этой основе претендуют на личный суверенитет, однако первые считают таковой всеобщим правом, у вторых же он узурпирован одним субъектом. В ареалах распространения обычных морских кочевников, для которых характерны благоприятные условия бытования и высокая плотность населения, такого рода конфликты приводят к смешению этносов с различной архетипической природой и появлению общности с архетипическими дефектами (см. ниже). В неблагоприятные места обитания морского метаархетипа низовая часть степных кочевников, как правило, не стремится ввиду непривлекательности среды по сравнению с «родной». При этом в России опричная компонента, тяготеющая к непрерывному расширению ареалов кормления, предприняла экспансию на территорию распространения староверов, которые имеют опыт коллективного противостояния патримонильной силовой вертикали и по поведенческим особенностям схожи с этой разновидностью морских кочевников. Архетип отношения к опричнине в регионах с сильным старообрядческим влиянием резко контрастирует с поведением «низовых» степных кочевников и скорее напоминает «партизанское сопротивление превосходящим силам оккупантов», в которое, в том числе, в качестве своеобразных «ополчений» вовлечены местные криминальные сообщества. Причудливым образом эти две архетипические сущности перемешались весьма ограниченно, что весьма примечательно в условиях отсутствия этнических различий и долгого периода послереволюционной секуляризации. Вероятно, это имеет отношение именно к несовместимости социокультурных установок и систем ценностей на фоне крайне низкой плотности населения, его «разреженности».

3.2 Характерные деформации экономических архетипов.

Ресурсная доминанта и модель развития

Целый ряд важных регионов мира последовательно испытал влияние разнородных архетипических укладов, однако по итогам смены поколений органичная для природных условий социальная матрица обычно воспроизводит себя, если только демографическая «инъекция» не

резонирует в реальном времени со сменой способа производства (например, при переходе к экономике знаний). Вместе с тем, практически на всем пространстве Евразии к фундаментальным архетипическим изменениям привели великие географические открытия на заре Нового времени, послужившие разложению многочисленных морских, речных и сухопутных транзитных путей через Константинополь. Перед лицом воинственных субконтинентальных кочевников и завоевателей с севера это оставило беззащитными наиболее развитые регионы материка – города-республики южного Ренессанса и северо-западное ядро Руси, а также цивилизации Междуречья и Великого Шелкового пути. При этом центры торговли в Евразии сместились к удаленным морским окраинам, прежде всего в Северном море, с одной стороны, и в Южной Азии, с другой. Вместе с потерей доминирования в мировой торговле и накоплении капитала центры евразийского преמודерна утратили транзакционную культуру длинной дистанции и соответствующую ей институциональную архитектуру, а затем и роль лидирующих площадок развития знаний. Таким образом, у передовых общностей морских кочевников развивается эффект архетипической деформации, общей причиной которой выступает существенное антропогенное изменение естественных условий выращивания продовольствия, транспортной доступности и силовых рисков для предпринимательской деятельности – профилирующего рода занятий этого архетипического вида. Эта деформация выступает наглядным примером разрушения корпуса архетипических поведенческих свойств вследствие эрозии критических элементов системы ценностей морского кочевника – личного суверенитета и свободы воли, в отсутствие которых этот вид не в состоянии реализовать свою социальную миссию и ради которых способен отказаться от корыстной выгоды. Итогом является «обнуление» горизонта принятия решений, в связи с чем предприниматель не выполняет функций инвестора – не предъявляет спроса на массовый труд, знания не вовлекаются хозяйственный оборот и перестают развиваться, навыки не совершенствуются, замедлена трансформация индивидуального и общественного сознания. В условиях, когда городской метаархетип формировался опираясь на ресурсы морских кочевников, эрозия социальной миссии второго также означает маргинализацию первого: он начинает тяготеть к кооперации скорее по принципу архетипического, ценностного, а не этнического родства, – это служит индикатором дефекта в формировании нации и характерно для всех общностей с трансформационными дефектами, поскольку в системе ценностей прочих архетипических компонент здесь царит пренебрежительное отношение к знанию. Хозяйство и социальная архитектура принимают отчетливые признаки таковых у субконтинентальных кочевников: извлечение стоимости сводится к примитивно-ресурсному, питающему силовую организацию, или посредническому, а мультипликативный эффект ресурсного изобилия всегда сужен до роста отраслей с низким антропологическим качеством – торговли, строительства, простых услуг. При этом политические режимы здесь схожи с таковыми у субконтинентальных кочевников только при условии высокой подушевой обеспеченности рентными ресурсами, однако даже при внешне демократическом институциональном дизайне они далеки от республиканских и служат не обеспечению широкого представительства, а согласованию интересов ресурсно-силовых кланов, поэтому дискредитированы.

Типичный, «эталонный рисунок» деформации архетипических свойств морских кочевников и ее ретроградных социальных последствий характерен для колыбели этого вида – бассейна Средиземного и Черного морей, а также Восточной Европы, которые в совокупности составляли зону гравитации Византии и связанных с ней водных транспортных маршрутов, однако многие существенные признаки таковой узнаваемы в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, а также в Индии. В каждом случае из указанных случаев характерны свои многочисленные специфические особенности (см. ранее и далее), тем не менее, роднит их эрозия временного горизонта как несущего элемента социально-поведенческого архетипа морского кочевника. Отсюда – в отличие от бездефектных морских кочевников – слой предпринимателей, принимающих на себя риск в расчете на отсроченную отдачу, не способен здесь концентрировать и перераспределять ресурсы с целью усложнения способа производства

самостоятельно, без постороннего ведущего актора в форме того или иного сочетания локального носителя суверенитета и центра внешнего управления. Эти регионы наиболее благоприятны и потому привлекательны для завоевания – как собственными архетипическими «родственниками», так и экспансионистскими степными кочевниками, – или занимают межеумочное положение. В этой связи, исторически они подвержены длительному и устойчивому воздействию экзогенных, прежде всего военных и прочих силовых, факторов незащищенности предпринимательской деятельности и ее результатов. Ареал южных европейских морей являлся ареной противоборства во все эпохи, однако до наступления Нового времени это не мешало ему оставаться мировым флагманом прогресса, поскольку для морского кочевника сам по себе торговый промысел, предполагающий навигацию между центрами силы, привычен, более того, это взаимодействие было выгодно всем, так как позволяло монетизировать присвоенные силой ресурсы природы и географического расположения. Эффект экономически значимой архетипической деформации, приведший к отставанию в развитии, относится к рубежу зарождения индустриальной эпохи, когда основой извлечения стоимости становится привязанное к территории, стационарное производство продукции машинной обработки сырья, требующее вложения капитала в расчете на отсроченную отдачу. Тем самым область промысла морского кочевника перемещается из межеумочного пространства торговли, в котором за ним сохранялся личный суверенитет и свобода воли, в зону пенетрации центра силы, «условной оседлости», где ключевые условия его промысла напрямую зависят от того, как контролируется и в чьих интересах действует аппарат принуждения. Со временем в значительном большинстве указанных регионов такие факторы незащищенности утрачивают актуальность, однако одновременно и предпринимательский риск в качестве основного движителя развития уступает место в этом качестве экосистеме знаний, безнадежно отставшей за то время, пока таковые не были востребованы к внедрению.

Извлечение стоимости здесь продолжает опираться на природные ресурсы и продукты на их основе с низким уровнем добавленной ценности, а также богатое культурно-историческое наследие, которое с точки зрения современного антропологического эффекта отчасти также можно приравнять к географическим преимуществам. Некоторые разновидности промысла по аналогии со степными кочевниками являются монопольными, содержат в цене премию за редкость в виде ренты и в конечном итоге подпитывают тот или иной центр силы – как, например, транзит. В силу благоприятного транспортного расположения в хозяйственный оборот вовлекаются не только редкие виды природных ресурсов: промыслы с низким барьером входа – прежде всего, производство, переработка и доставка продовольствия, туризм и обеспеченная иммиграция, связанные с последними строительство и розничная торговля – формально остаются в конкурентном секторе, что роднит эти общности с прочими морскими кочевниками. Однако изобилие точек производства товаров и услуг – от ферм и виноделен до точек розничной торговли, гостиничного хозяйства и общественного питания – не должно вводить в заблуждение: как известно, премиальная стоимость требует создания излишков по сравнению с местным спросом и потому не создается в области короткой дистанции. Во-первых, применительно к продовольствию, которое составляет здесь основу качества жизни, производство излишков требует внедрения интенсивных технологий. В таких благоприятных естественных условиях вытеснение традиционного способа аграрного производства, связанного с более высоким удельным весом ручного труда и рассчитанного в основном на местное потребление, может означать необходимость смириться со снижением качества продуктов питания. Во-вторых, премиальная стоимость возникает не в сфере производства товаров и услуг, а в капиталоемком и потому куда более концентрированном переделе – в основном в сферах дистрибуции сельскохозяйственной продукции и недвижимости, сдача которой в аренду малым семейным предприятиям выступает виднейшим способом изъятия рент в отраслях с низкой антропологической ценностью. Эти переделы контролируются локальными ресурсно-административными группами, а любое низовое звено продаж такой внутренне связанной корпорации

(пример – консьерж в гостинице) также перекрестно продает услуги другого звена, и тем самым обеспечивается комплексное освоение ресурсов внешнего актора – например, туриста, который на некоторое время оказывается изолирован в определенной местности. Часто такие страны «изобретают» эквивалент ресурсной модели рукотворно, – наиболее популярен в этом качестве режим «налоговой гавани», который сопряжен с целым спектром сопроводительных услуг, прежде всего финансовых и юридических, также формально остающихся в конкурентном секторе, что в резонансе с транзитным положением открывает беспрецедентный простор для нелегальных практик. Наконец, некоторые из этих регионов культивируют широко востребованные в мировом масштабе свои традиционные промыслы, как правило, бытовавшие и до Нового времени, в которых производство тяготеет к кустарно-ремесленному типу или во всяком случае не характеризуется капиталоемкостью (например, в области индустрии моды). Тем не менее, значительное большинство регионов с доминантным деформированным морским метаархетипом нуждается в помощи извне, – в частности, для южных окраин европейских средиземноморских стран в роли таких доноров выступают центральные правительства, т.е. фактически северные регионы этих же стран (Италия, Испания), в некоторых случаях общеевропейские публичные и частные институты (Португалия, Греция, Кипр), диаспоры и иные провайдеры помощи (Армения, Грузия). В этой связи, легко различить архетипическое родство структуры экономики деформированных и бездефектных морских кочевников: у обоих хозяйство опирается на выгоды географического положения и основанные на таковых потоки капитала – и лишь во вторую очередь на производство товаров и услуг. Однако у первых возникает «провал» в массовом производстве и коммерческом освоении интеллектуальных достижений, который фактически покрывается донорским капиталом, – формально это могут быть «нормативно невозвратные» заемные ресурсы.

Особенности деформированных морских кочевников становятся более эксплицитными в сопоставлении с характеристиками степных. Целью кочевания последних является поиск и освоение редких ценностей, которые, как правило, в необработанном виде не могут быть использованы для удовлетворения базовых потребностей населения, однако их монетизация позволяет с той или иной степенью щедрости – в зависимости от конъюнктуры цен на предметы экспорта – приобретать предметы потребления и средства производства. В этой связи, экономический механизм здесь «запускается» положительным сальдо текущего платежного баланса, которое и определяет уровень жизни, в то время как капитальный счет может быть резко отрицательным даже в случае обильного притока капитала извне, – он попросту замещает вывозимый местной элитой. В то же время, благоприятно расположенные деформированные морские кочевники в состоянии удовлетворить базовые потребности населения сами и даже экспортировать «дары земли и природы», продукты их переработки, – однако лишь немногие из таковых можно отнести к числу редких, способных генерировать сверхдоходы. В этой связи, прирост качества жизни сверх базового уровня зависит от положительного сальдо капитального счета в решающей степени – даже в намного большей, чем от роста покупательской способности в странах-импортерах. Примечательным образом именно в этой связи агрессивность, претенциозность стран (или внутристрановых анклавов) деформированных морских кочевников по внешнему периметру нарастает на фоне оттока капитала и служит формой повышения политических ставок с целью добиться от стран-доноров компенсации выпадающих из экономики ресурсов, – как правило, это совпадает с фазой глобальной монетарной рестрикции, циклом повышения процентных ставок. Напротив, элиты стран с преобладанием степных кочевников в этой фазе, обычно ведущей к снижению сырьевых цен, становятся более миролюбивыми, что можно рассматривать как следствие перехода от рынка продавца к рынку покупателя, а также эрозии экономической опоры правящего режима и обострения внутренних противоречий, потребности компенсировать выпадающие доходы притоком капитала – при этом не делясь источниками рент. В то же время, монетарная экспансия, снижение процентных ставок, способствующие изобилию у обоих видов, знаменуют противоположную полосу в их поведении по

внешнему периметру – соответственно интеграции в мирохозяйственные связи и нарастания экспансионистских амбиций. В целом, чем больше роль ресурсной доминанты в экономике, тем больше общность с трансформационными дефектами подвержена влиянию хозяйственной и социальной матрицы степных кочевников.

Оба антропологических вида имеют «двухъярусную» архитектуру во главе с ресурсно-силовой элитой, контролирующей политический класс и административный аппарат, – соответственно отличаются длинной дистанцией власти. В то же время, для их нижних сословий характерна различная норма социальной дистанции – длинной у степных кочевников и короткой у деформированных морских, в связи с чем во втором случае элита вынуждена тщательнее прислушиваться к запросам этих сословий – в частности, в отношении распределения и представительства – во избежание коллективного сопротивления.

Отсюда видно, что при определенных обстоятельствах к «двухъярусной» архитектуре могут также тяготеть и страны, основанные изолированными общностями. Так, в случае рентного изобилия у таковых возникает запрос на развитие отраслей, непосредственно обеспечивающих качество жизни для автохтонного населения. Для этого они – изначально обычно сравнительно малочисленные и «одноярусные», функционирующие по модели племени – вынуждены прибегать к массивному импорту рабочей силы извне. Таким образом, роль нижних сословий в этом случае целиком выпадает иноэтничным элементам. В частности, такая социальная архитектура характерна для пертократий Персидского залива.

Нижние сословия степных кочевников в большинстве лишены преимуществ плодородных почв и предоставлены любому виду рандомного промысла, который доступен при данном технологическом укладе, однако в этой связи достаточно открыты урбанизации и в целом трансформационному воздействию извне. В то же время, у деформированных морских кочевников глубинной антропологической проблемой является ограниченность возможностей самореализации в городе на фоне благоприятного климата и сравнительного пищевого изобилия, поэтому сельское население остается обширным и сохраняет плотную связь с урбанизированным. Более того, если для степного кочевника переезд из бедной деревни в город синонимичен улучшению собственного положения – даже на фоне неудобств, связанных со сверхконцентрированным способом организации жизнедеятельности и значительными расстояниями между очагами таковой, – то у деформированных морских кочевников именно сельский образ жизни ассоциируется с благополучием. Сельский житель здесь имеет смутное представление о том, какую ценность может создавать в городе, поскольку в нем мало представлена промышленность. В этой связи, он изначально ориентирован заработать там за счет других, – так что из всех преимуществ города его привлекает лишь высокая плотность населения, – и вернуться к привычному образу жизни впоследствии. Образ жизни «на два домовладения», городское и сельское, распространен у различных антропологических видов, однако именно у общностей с трансформационными дефектами – деформированных морских и изолированных субконтинентальных кочевников – сельское домовладение фактически воспринимается как метропольное и манифестирует успешность жизненной траектории. Такой индивид «берет с собой» в город и архаическую сельскую этику (см. далее), и сельский способ хозяйствования, привязанный к земельному владению, – будь то в прямом пространственном смысле или криминальном, в понимании «подконтрольной территории». Стремление извлечь из пространства максимальную краткосрочную выгоду, не заботясь о создаваемой ценности, чуждость такому индивиду посадского уклада делает городскую среду некомфортной, непривлекательной для жизни, полной «самостроев» и лишенной общественных пространств, фактически сводит ее к площадке экстрактивной эксплуатации плотности населения. Сельская норма короткой дистанции бытового общения здесь накладывается на промысел против интересов других, который в тесной сельской общине был бы чреват отверженностью. В этой связи, такой городской уклад неизбежно имеет следствием пренебрежение общественным благом и чужими правами, в т.ч. в отношении собственности, криминогенность, а также

проигрывает деревне по привлекательности не только с точки зрения качества жизни, но и с точки зрения ее стоимости. Такие признаки отчетливо проявляются в социальной и топологической ткани даже тех городов, ядро которых сформировалось до архетипической деформации морского кочевника, и характерны также для изолированных субконтинентальных общностей – с тем отличием, что у последних города исторически образовывались лишь под функцию крепости. В частности, в России такого типа города весьма обширно представлены на юге, притом как русском, казачьем, так и у горских этносов – более того, у выходцев из соответствующих типов общностей такой модус поведения в ярко выраженном виде можно наблюдать в городах всего мира.

В наиболее экстремальной форме проблема вовлечения избыточного сельского населения в производительный труд характерна для Индии. При этом характерные для деформированных морских кочевников трансформационные дефекты, связанные с силовой «токсичностью», в результате длительного и весьма плодотворного периода английской колонизации сами по себе утратили актуальность.

Таким образом, именно сельское хозяйство, не нуждающееся в значительных трудовых ресурсах, и связанные с ним отрасли выступают системной нишей для производительного труда, воспроизводства и усложнения навыков и технологий. Образованный слой выходит «на передовую» общественных процессов только в моменты обострения социальных противоречий – как канал трансляции общественного запроса, – при этом в повседневной жизни страдает от недостаточной востребованности на фоне низкого престижа знаний, в свою очередь, связанного с затруднениями в самореализации в профессиях сложного труда: в отличие от степных кочевников, даже при условии тотальной мобилизации здесь отсутствует материальная база для противодействия военным вызовам со стороны развитых промышленных держав. В отличие от степных кочевников, в отраслевой структуре экономики отсутствует единая ресурсная доминанта, поэтому выступающие бенефициарами общественной стоимости кланы фрагментированы, ни один из них не отождествляет себя с государством, а утрату суверенитета с угрозой собственному благополучию, более того, каждый в отдельности охотно вступает в торг с внешним центром силы о выгодных условиях «сдачи».

В городе преобладает простой мелкий промысел, хозяйственный застой приводит к совместному бытованию незадействованных в производительном труде мужчин – в отличие от изолированных общностей, у которых этот же признак выступает атрибутом воинственности племени. Вливаясь в фильтрационный уклад урбанистической архаики, деформированные морские кочевники образуют общности изолированного типа, что особенно отчетливо проявляется при смене страны обитания, – и этим также схожи с субконтинентальными кочевниками. По аналогии с последними это формирует социальный «резервуар», для которого органичны модус «кормления кочевыми набегами» и организация, подобная патримониальному вождеству, – эту роль здесь берут на себя криминальные сообщества, эксплуатирующие преимущества географического положения. Как правило, в полном соответствии с принципами феодального хозяйствования, оператор ресурсов ограниченной доступности – нелегального транзита, притока капитала, коммерческого или в виде безвозмездной помощи, и др. – не только стремится присвоить прибавочную стоимость от основного ресурса, но и обуславливает доступ других к такому (или условия этого доступа) обязательствами по последующему эксклюзивному взаимодействию с подконтрольными бизнесами. Тем самым формально конкурентные виды деятельности также попадают под контроль клана (в собственность или податное положение), цель которого в формировании максимально автономного, замкнутого хозяйства на основе многоканальной монетизации спроса одной и той же аудитории (местного и временного населения) примитивными и некапиталоемкими услугами – т.е. такими, создание которых не требует партнерства с человеческим или конкурентным финансовым капиталом. Отсюда «огораживание» от конкурирующих кланов монопольным положением – либо в транстерриториальной отрасли с высоким барьером входа, т.е. естественной монополии, либо отдельно взятом регионе безотносительно отрасли, – что фактически

исключает появление в «кормовых угодьях» альтернативного работодателя и носителя субъектности. Таким образом, клан представляет собой типичное корпоративное квазигосударство, которое тяготеет к замещению собой и самодетельного предпринимательства, и дисфункционального конвенционального государства: предпосылки для перехода силового ресурса под коллективный контроль отсутствуют, так что клан может предлагать или навязывать определенные общественные блага, реальные или мнимые. Низкое антропологическое качество хозяйствования консервирует сословно-иерархическую матрицу в рамках каждого отдельного «кормового надела», так что фактический институциональный механизм здесь служит согласованию интересов кланов и типичен для феодальной раздробленности – в т.ч. тем, что внешне политические режимы чаще всего имеют вполне демократический дизайн. Видимым отличием политической системы такого рода от республиканского оригинала является отсутствие устоявшейся партийной структуры, – напротив, под каждый электоральный цикл происходит реконфигурация ресурсно-силовых кланов и их альянсов, соответственно выражающих их интересы политических объединений.

В наше время этот феномен отчетливо проявился на Украине, однако исторически характерен для южных окраин европейских стран Средиземноморья, являющегося также архетипическим «донором» Латинской Америки. Социальная организация такого рода общностей подобна таковой у степных кочевников в фазе обмеления ресурсной базы – когда единая силовая корпорация фрагментируется и «отбывает» на кормление к ресурсным «феодам» (Россия 90-х гг). Однако в условиях периферийности городского метаархетипа, у деформированных морских кочевников такие дефекты не могут быть преодолены без привлечения внешнего управления, которое, в свою очередь, бессмысленно без передачи под таковое силового аппарата, т.е. определенной десоверенизации. Сравнительно безболезненным это явилось лишь для европейских «узников» такой матрицы («север по отношению к югу»): у многих из них ренессансный городской метаархетип сохранил дееспособность благодаря австрийскому правлению, – в свое время эта экспансия имела целью связать дунайскую водную артерию в единое пространство с обширным европейским морским бассейном и оставила также «мягкий» след, в виде беспрецедентно обширного влияния на традиционные монархические династии Европы. Однако внешнее управление сыграло определяющую роль также в судьбе Индии и практически всех передовых стран Юго-Восточной Азии. При этом примечательно, что конечным субъектом внешнего управления обычно выступают бездефектные морские кочевники, прежде всего Великобритания и США, – в XX веке даже северные регионы тех европейских стран, у которых юг отличается трансформационными дефектами, а также интеграционные образования, выступали скорее промежуточным администрирующим звеном.

Среди этой группы стран представлено мало профицитных с точки зрения редких природных ресурсов, при этом население весьма многочисленно, однако допустимо предположить, что на фоне дефекта способа производства и торможения в развитии знаний любая ресурсная доминанта в экономике немедленно привела бы к возникновению социальной архитектуры, характерной для субконтинентальных кочевников. В некотором роде можно утверждать, что эти формации, в нижней части «скроенные» по образцу таковых и утратившие память о преимуществах морских кочевников, ощущают своего рода «социальное сиротство» и преследуемы «фантомной мечтой» о трансцендентной патримониальной надстройке, которая бы распорядилась ресурсным «резервуаром» и служила источником «милостей», пусть это и приведет к искоренению дискредитированных демократических институтов. Герой этой мечты – как и вполне реальный носитель патримониального титула у субконтинентальных кочевников – наделен свойствами сверхъестественного существа, в связи с чем примечательно, что деформированных морских кочевников отличает всеобщая приверженность религии, притом популярность чудотворного реликвария. Хотя на фоне благоприятных естественных условий деформированных морских кочевников отличает высокий уровень межличностного доверия и склонность к коллективному действию, замещенный на этих качествах горячий социальный темперамент

в конечном итоге транслирует патерналистский запрос – значительно более острый, чем у степных кочевников. Деформированных морских кочевников можно считать социально родственными изолированным общностям: оба вида принадлежат к архаическим общностям короткой дистанции с их моделью расширенной семьи, – т.е. род, клан пронизывает ряд сословий и находится в противоборстве с другими аналогичными. Среди нижних сословий степных кочевников такие установки характерны лишь для тех, кто оттеснен от крупных «кормовых источников» на остаточную периферию социально близкой – т.е. также архаическим сообществом короткой дистанции – ресурсно-силовой корпорацией: социальными «резервуарами» у обоих выступают криминальные субкультуры, этнические анклав, а также замкнутые сообщества казарменного типа и просто праздное мужское население. В противоположность им, собственно в архаических сообществах длинной дистанции с их моделью нукlearной семьи последняя закреплена на определенном сословном этаже и в социальном поведении движима классовым интересом. В этой связи, нижние сословия степных кочевников на личном опыте знакомы с силовым ресурсом и связывают с ним негативные раздражители, однако смиряются, так как не видят иного способа организации общественных отношений в условиях объективных ограничений, накладываемых условиями среды обитания. При этом у всех указанных видов ожидания от государства или иного попечителя сводятся прежде всего не к объему и качеству общественных благ для человеческого капитала, а к количественным параметрам прямого, непроизводительного перераспределения общественного продукта. Это означает прямую апелляцию к «оккупационной природе стационарного бандита», – и такой запрос прямо выдает эффект силовой деформации архетипических свойств. Показательно, что абсолютное большинство стран в этой архетипической группе в различное время прошло через тоталитарные режимы, притом в период второй мировой войны именно они составляли наиболее лояльную опору Рейха и копировали его социальные практики, – хотя ксенофобия в экстремальной форме была характерна лишь для восточноевропейского пояса, элиты которого находились в постоянном противоборстве с просоветскими элементами. Многие из этих стран в дополнение имеют еще и опыт левых и левацких режимов, более того, в наше время именно эта группа в наибольшей степени подвержена эффекту т.н. ресентимента и различного рода рецидивам влияния крайних сил, – к этому их подталкивает новая провинциализация вследствие выпадения из экономики знаний.

На постсоветском пространстве к общностям этой группы тяготеет Закавказье, хотя для него характерна географически обусловленная архетипическая многоукладность. В различных пропорциях у грузин, армян и азербайджанцев выражены поведенческие установки деформированного морского кочевника (места образования – причерноморская Колхида, историческая Анатолия и побережье Каспийского моря соответственно), изолированной горной общности (практически аналогична распространенным в северной части Кавказского хребта в современной России) и городского метаархетипа. Также для региона характерен во многом схожий со Средиземноморьем «рисунок» развития – расцвет в качестве важного участка Великого Шелкового пути, затем переход под внешнее управление, сперва со стороны степных кочевников (Турция, Россия), затем тяготение к бездефектным морским кочевникам. Здесь показательно, что даже у сравнительно немногочисленных этносов, имеющих длительную историю выживания во враждебном окружении, сильную этническую самоидентификацию и богатую, древнюю культурную традицию, городской метаархетип больше тяготеет к иноэтничным архетипическим «родственникам», чем к «кровным», если для них характерна кардинально отличающаяся система ценностей и бытового поведения. В Закавказье парадоксальным образом это стало проявляться лишь в постсоветский период, когда обширный слой творческой интеллигенции утратил подпитку метрополии, элита которой сама основана на союзе силовой корпорации и городского метаархетипа. В результате этот слой остался наедине с местной социальной матрицей, в то время как в имперский и советский периоды он, в единстве с прочими слоями этноса, был в авангарде становления и сохранения национального самосознания.

Лишь Азербайджан, хозяйство которого имеет ярко выраженную сырьевую доминанту, в большей степени тяготеет также и к социальной архитектуре степных кочевников. Однако в связи с развитием каспийско-черноморского транзитного коридора значительные структурные изменения, характерные для

трансформационной колеи деформированных морских кочевников, произошли в экономике и институциональной организации Грузии, которая в первые постсоветские годы, после ликвидации внешнего управления, пребывала в анархическом состоянии, – прежде всего благодаря участию передовых стран в ее обустройстве. Примечательным образом предыдущий период более или менее стабильной государственности Грузии также связан с расцветом Великого Шелкового пути. Смешанное внешнее влияние характерно для Армении, – с одной стороны субъектами такового выступают диаспоры в западных странах, во многом восходящие к морским кочевникам Анатолии, а с другой Россия с расположенной здесь диаспорой. Чем выше зависимость хозяйства страны от России, тем больше социальная архитектура собирается вокруг этого ресурса в моноцентрическую – весьма неорганичную для армян. Наконец, отсюда можно интерпретировать сложный трансформационный транзит Украины – крупнейшей на постсоветском пространстве, а возможно и в Европе общности деформированных морских кочевников. Отстраиваясь от внешнего управления России, Украине не удастся за счет естественных преимуществ подняться в системе приоритетов альтернативных субъектов настолько, чтобы мобилизованные для внешнего управления ресурсы позволяли подавить влияние местных ресурсно-силовых акторов и были адекватны как размерам страны, так и архетипическим трансформационным «тромбам».

Латинская Америка в своем роде представляет собой самостоятельный цивилизационный феномен среди общностей с трансформационными дефектами. Антропологический донор в виде деформированных морских кочевников здесь обнаружил достаточно типичные для себя условия с точки зрения климата, качества почв и протяженности морского побережья, однако пересеченный рельеф местности скорее предрасполагает к фрагментации и низкой плотности населения, крайне малой глубине рынка, – что типично для субконтинентальных общностей (см. ранее и далее). Таким образом, структура экономики и общества лишь отчасти несет отпечатки первообразного вида, в основном же аналогична таковой у общностей хартленда, – опирается на локализованные ископаемые ресурсы или биржевые продовольственные товары и прочие сельскохозяйственные культуры (различной степени легальности), выращиваемые крупно-плантационным способом. С одной стороны, как и у прочих деформированных морских кочевников, континент привлекателен для транспорта и туризма, а сельский образ жизни здесь комфортен, дешев и надежен, с другой – как и у степных кочевников, свободные для самостоятельного хозяйства и выгодно расположенные земельные ресурсы весьма ограничены. Общим для этих двух видов является дефицит адекватного предложения рабочих мест в индустриальном секторе, в результате чего в городах выделяются мощные архаические анклавы маргинализованного населения с силовой субкультурой, – их присутствие дополнительно снижает престиж знания как социального лифта. За силовую «токсичность» отвечают экстрактивные элиты, однако, как это свойственно общностям короткой дистанции, в этой роли предлагающая общедоступный социальный лифт армейская элита не уступает полицейской, – как известно, именно последняя господствует в архаических общностях длинной дистанции. В силу низкой плотности населения в более обеспеченных рентными ресурсами странах правящие кланы проявляют себя по аналогии с элитами субконтинентальных кочевников – в том смысле, что последние не нуждаются во внешнем доноре. При этом элиты менее обеспеченных стран, как у деформированных морских кочевников, широко прибегают к международной помощи, однако предпочтение отдают симбиозу с более обеспеченными соседями, – так что все вместе строят национальную идентичность на отторжении колониализма. Как и у степных кочевников, насаждение индустриального уклада на континенте ведет к сверхцентрализации политической системы, в то время как при обращении к ресурсно-силовому типу хозяйства ее архитектура демонстрирует зависимость от кормовой обеспеченности, – т.е. при низком уровне таковой допускает полицентричность правящих кланов. Однако, в противоположность степным кочевникам, и автохтонные, и пришлые архетипические компоненты здесь относятся к общностям короткой дистанции, поэтому непосредственным образом участвуют в переформатировании политической архитектуры, не предоставляя это элитам, – хотя по итогам их интересы отнюдь не обязательно оказываются политически представлены. Отсюда в фазе централизации – будь то при насаждении индустриального уклада или ресурсном изобилии – темперамент политической жизни вступает в конфликт с политической системой, что в результате дает

постоянно высокую революционную разность потенциалов. По этой причине на континенте периоды сравнительной стабильности режимов соответствуют такой структуре опорных для режима ресурсных рент, которая более или менее характерна для фазы «феодалной раздробленности» – соответственно предполагает демократический дизайн политической системы и декларативную защиту основных прав человека. В этом существенное отличие латиноамериканского феномена от русских степных кочевников – весьма податливых к подавлению, в условиях длинной дистанции не дорожащих свободами и гибко адаптирующихся к меняющейся области дозволенного. Примечательно в этом отношении сравнить латиноамериканский континент с теми южными штатами США, для которых также был характерен плантационный способ организации аграрного производства с сопутствовавшим таковому плантационным рабством. В социальной архитектуре и отраслевой структуре экономики здесь легко различимы признаки, характерные для европейских деформированных морских кочевников, – и даже гражданскую войну в этом контексте можно рассматривать в качестве акта введения внешнего управления, к которому обыкновенно тяготеет этот антропологический тип.

Еще сложнее положение регионов, где в средние века миграционные потоки привели к изменению пищевой культуры, – среди них наиболее показательны североафриканское Средиземноморье, а также историческое Междуречье. Античный – древнеавилонский, древнеегипетский, древнегреческий, древнеримский – период представляет собой эпоху расцвета этого макрорегиона, который в силу обилия полноводных рек и благоприятных почв их долин представлял собой «глобальную житницу», область раннего культурного аграрного хозяйствования. При этом если цивилизации Вавилона и Египта изначально соседствовали с пустынными пространствами и были подвержены влиянию субконтинентальной социальной матрицы, то уже в греческий период есть основания в той или иной степени отнести весь регион к ареалу распространения наиболее модернистской архетипической композиции, основанной на сочетании городского и морского метаархетипов. Однако с приходом сюда степных кочевников Центральной Азии связано не только водворение привычной для них системы общественных отношений, но и опустынивание и заболачивание плодородных земель, которые принято объяснять как сугубо климатическими факторами, так и перекосом традиционного аграрного хозяйствования в пользу массового кочевого пастбищного скотоводства, в противовес важнейшему для региона культурному зерноводству (эта проблема в равной мере относится к междуречью Сырдарьи и Амударьи, Аральскому морю, долина которых была заселена монголами и тюрками позднее). В этой связи, регион лишился даже преимуществ деформированных морских кочевников, у которых зажиточное сельское хозяйство отвечает за обеспеченность продовольствием, выступает социальным и демографическим демпфером. Новый период вторжения в местную социальную матрицу связан с колониальным вмешательством европейских держав, приведшим к передаче силовой функции под внешнее управление и притоку различных элементов модернистской архетипической композиции. Однако в постколониальный период макрорегион, располагающий крупнейшими запасами углеводородного сырья, погружается в ресурсное хозяйствование, при этом характер экономики и социальной организации, в зависимости от удельной обеспеченности такими ресурсами, варьируется в узком спектре от свойственного скорее деформированным морским кочевникам (Марокко, Тунис) до типичного для субконтинентальных общностей – с элитной силовой корпорацией в качестве несущей конструкции. Это является отражением трансформационных «трюмбов», характерных для двух указанных видов: повсеместно сосуществуют крупные социальные страты с антагонистическими запросами, городской метаархетип в той или иной степени маргинализирован. Яркое исключение здесь составляет крупнейшая оседлая цивилизация Азии – персидская: подобно Турции, Иран сталкивается с вызовом арабского этнического большинства в макрорегионе с укорененными родоплеменными традициями и вынужден демонстрировать превосходство собственной социальной модели, поэтому в

наибольшей степени подвержен влиянию городского метаархетипа и сохраняет трансформационный динамизм.

Гибридным феноменом в сложном регионе Средиземноморья является Турция – единственное место в Азии и на Ближнем Востоке, где в силу географических факторов нашествие многочисленных племен кочевников-скотоводов не привело к быстрой эрозии уникальных почв (отложенный эффект наблюдается до нашего времени). В этой связи, традиционный земледельческий уклад Малой Азии не подвергся разрушению, а пришельцы стали усваивать многие поведенческие особенности морских кочевников, более того, были открыты для таковых извне. С другой стороны, защита территории, не имеющей аналогов по транспортной привлекательности, требует силовой мощи, которой исторически располагали скотоводы. Однако в роли «стационарного бандита» государство здесь обращает экстрактивное воздействие прежде всего на транзитную ренту, что оставляет довольно обширный простор для хозяйственной активности. В определенной мере можно утверждать, что экономика Турции состоит из двух сегментов: один практически полностью идентичен укладу прочих деформированных морских кочевников, прежде всего, средиземноморских, другой же представляет собой результат необходимого этому виду внешнего управления, субъектом которого прежде всего выступает само государство как бенефициар уникального географического положения. В свете этого показательно, что именно турецкой политической культуре принадлежит понятие «глубинного государства», которое достаточно точно описывает природу самочинного, ограниченно подконтрольного обществу «окупационного бандита». Таким образом, если в аналогичных примерах субъект внешнего управления географически обособлен от объекта, то здесь в этих ролях выступают соответствующие хозяйственные уклады и вовлеченные в них слои населения. Тем не менее, «в сборке» они дают картину, соотносимую с европейскими средиземноморскими странами с их промышленным севером, тяготеющим к городскому метаархетипу, и деформированными морскими кочевниками на юге, а также значительным периодом догоняющего развития. Как и во всех странах, кроме основанных на доминантном и бездефектном морском метаархетипе, с ролью государства и внешних доноров в турецкой экономике связано преодоление такого важного рубежа, как переход к капиталоемкому массовому производству. Однако отсюда вытекает и ключевая слабость, характерная для всех стран и целых регионов с деформированным морским метаархетипом: отсутствие универсальной экосистемы знаний, остро сказывающееся на конкурентоспособности экономики в наше время, является всеобщим и критическим накопленным дефектом, – а его коррекция лишь в ограниченной степени подвластна государству. Эту проблему проще решать именно европейским странам деформированных морских кочевников, у которых субъект внешнего управления основан на дееспособном городском метаархетипе («север по отношению к югу»), как правило, собственного этнического происхождения. Примечательно, что в России также есть регион, архетипически схожий с турецким феноменом – Кубань, которая сочетает важнейшие признаки социальной организации и хозяйства деформированных морских кочевников, степное казачество как основу силового каркаса общества и сравнительное изобилие ресурсной базы по сравнению с численностью населения.

«Осевших» кочевников, для социальных формаций которых характерно изобилие рентных доходов при сравнительно небольшой численности населения, можно рассматривать в качестве примера архетипической деформации в обратном направлении – когда поведенческие свойства субконтинентальных кочевников начинают ограниченно дрейфовать в сторону таковых у морских. Обычно основой таких популяций служат небольшие и весьма сплоченные кочевые племена короткой дистанции, часто тюркские и бедуинские, – например, в отличие от огромных и внутренне разобщенных, стратифицированных русских и азиатских «рисовых» общностей длинной дистанции. Первоначально они кормятся набегами и своим воинственным прошлым схожи с изолированными субконтинентальными общностями, – более того, осевшие в неблагоприятной местности племена этого генезиса

характеризуются всеми признаками указанного вида. Более удачливая судьба «осевших» кочевников связана с преимущественно равнинным ареалом обитания, – они перемещались на значительные расстояния, поэтому имеют обширный опыт внешнего сообщения при различных обстоятельствах, от извлечения выгоды до военных столкновений. В их первообразном укладе есть черты «сухопутных пиратов», – так что в конечном итоге фокусом их внимания является малонаселенная и ресурсно богатая локация, которую можно малыми силами и боевой выучкой удержать под контролем. Отсюда важной отличительной особенностью этих общностей в оседлом состоянии является отсутствие значительной физической дистанции между очагами концентрации ресурсов территории и очагами концентрации населения. В этой связи, поведение силовой элиты как «оккупационного бандита» в целом вполне соответствует пониманию стационарного – хотя и не национализированного, более того, удовлетворенное долей в распределении население довольно долго может не предъявлять такого запроса вовсе. Силовая элита здесь чувствует себя уверенно с точки зрения достаточности «кормовой базы», поэтому со временем может позволить себе ограничить «разгул» силового ресурса, либо в ее недрах возникают конкурирующие ресурсно-силовые центры. Тем самым силовая «токсичность» среды несколько снижается, расширяется поле сравнительно свободной конкуренции, что требует насаждения верховенства закона и некоего подобия ограниченно инклюзивных институтов. Инвестиционный горизонт предпринимателей начинает удлиняться, появляется положительный конкурентный отбор. Такой экономический уклад становится более привлекательным способом как извлечения стоимости для элиты, так и гармонизации ее отношений с прочими сословиями. Наиболее типичным примером таких общностей можно считать страны Персидского залива углеводородной эры. Однако, как и в местах распространения всех степных кочевников, у «осевших» природные условия сводят конкурентоспособное массовое производство в лучшем случае к первичной переработке сырьевых ресурсов, а основным маркером успешности выступает сила. По причине дефекта трудовых навыков (в массовом виде такие навыки обычно свойственны выходцам из оседлых крестьян, которые здесь крайне малочисленны) и низкого престижа знаний (следствие отсутствия городского метаархетипа), местное население чаще всего привлекает не физический или умственный труд, а участие в освоении ренты. В этой связи избыточный капитал либо вывозится, либо вызывает искусственный рост оценки активов и «рентного пакета» потребительских отраслей с ограниченным антропологическим эффектом, легко вписывающихся в сословную матрицу (см. ранее), – торговли, недвижимости, строительства, финансового сектора, туристических услуг. Примечательно в этой связи, что насаждение инклюзивных институтов и верховенства права, как правило, здесь не является фронтальным, а производится в виде «особых» режимов или изъятия из национального суверенитета определенных фрагментов хозяйственного оборота с высокой долей иностранного участия.

Примечательно, что феномен «осевшего» степного кочевника характерен и для средневековых цивилизаций кочевого генезиса, рентной базой которых до открытия морских путей из Европы в Азию выступала транзитная торговля по Великому Шелковому пути, таких как Бухара, Самарканд и Хорезм. В наше время в странах субконтинентальных кочевников положительным отложенным эффектом накопления «ветреного» капитала в экономике может служить появление источника для долговременных инвестиций в массовое образование местного населения за рубежом со специализацией на отраслях экономики знаний. Их последующее возвращение, по существу, было бы равносильно реколонизации принципиально новым типом человеческого капитала, но автохтонного происхождения, – однако очевидных успешных примеров такой стратегии у степных кочевников пока не отмечено. В то же время, достаточно оптимистично выглядят перспективы Татарстана и Башкирии, где существенные черты «осевших» степных кочевников сочетаются со старообрядческой наследственностью части русских, зажиточным крестьянским населением и развитыми городами, а также Казахстана. Некоторые признаки популяции этого антропологического вида различимы в генезисе и эволюции донских казаков как отдельно взятой субкультуры, эксклюзивное географическое местоположение которых захватывает значительную часть наиболее плодородных в России пахотных земель и выход к Черному морю. Общей чертой у всех указанных общностей является поиск ареала с природными преимуществами, а если эти преимущества основаны на осваивающей их популяции – прежде всего

крестьянах-земледельцах, – то степные кочевники короткой дистанции достаточно стремительно смешиваются с ней. Одновременно для этого вида характерна склонность находиться на службе у элитной силовой корпорации в качестве боеспособных частей против внешнего противника или собственного населения («пираты на службе его величества») – например, большинства длинной дистанции. Как уже отмечалось, даже на южной оконечности европейского континента, где произошло смешение степных кочевников короткой дистанции арабского и тюркского происхождения с местным крестьянским населением, именно контрфициальные силовые формирования традиционно выступают наиболее мощными ресурсно-силовыми кланами – в противовес власти и легальному бизнесу.

Обращает на себя внимание такой бутиковый, но архетипически многоукладный пример, как Ливан, в социальном укладе которого отпечатались целый ряд описанных выше признаков. Географическое положение страны способствует постоянному вовлечению в вооруженные конфликты, при этом поликонфессиональный состав населения и компактность общин, характеризуемых различным соотношением архаического и модернистского тяготений, дополняет такой эффект множеством горячих и тлеющих гражданских конфликтов. Большая часть населения происходит от арабов-кочевников, а естественные условия способствуют культивации морского метаархетипа, который, однако, здесь ожидаемым образом деформирован. В то же время, глубокие межобщинные социальные «расщелины» оставляют чрезвычайно обширные лакуны, в которых под колониальным влиянием прижился и весьма комфортно продолжает бытовать влиятельный городской метаархетип. В этой связи, страна является одним из немногих примеров глубокого усвоения колониальных культурных и институциональных образцов, «донором» которых в данном случае выступила Франция. На фоне других арабских стран Ливан небогат природными ресурсами, однако режим налоговой гавани, а также туристическая привлекательность в мирные периоды позволили сформировать здесь экономику с южно-европейскими чертами – с довольно диверсифицированной структурой, однако основанную на сравнительно примитивных потребительских отраслях. Однако, при наиболее высоком в арабском мире уровне развития институтов представительной демократии, сформированное в качестве площадки согласования межобщинных интересов государство само по себе обладает ограниченной функциональностью и вынуждено считаться с общинным силовым влиянием – как в государственных структурах, так и в форме самостоятельных вооруженных формирований.

Субъект выгодоприобретателя ресурсного изобилия всегда с неизбежностью совпадает с архетипическим субъектом силы, однако не для всех общностей характерно «оккупационное» происхождение такового. В качестве контраста, в мировом опыте представлены примеры антропологически плодотворного эффекта такого изобилия, которые опираются на принципиально отличный «рисунок» формирования базового архетипического вида: в его поведенческие характеристики не внесены деформации, препятствующие усложнению способа производства и развитию знаний. Так, в Норвегии эти характеристики восходят к традиции коллективной обороны и артельному типу хозяйствования, характерному для примитивных народных промыслов, поскольку они связаны с ресурсами моря, не являющегося ограниченной «кормовой площадкой» (аналогичный архетип хозяйствования характерен для всех нордических общностей, включая поморов на русском севере), при этом в целом архетипически общность формировалась как ресурсно бедная. Проекцией этого архетипа является характер государства и, соответственно, администрируемый им в общественных интересах способ распределения «ветреных» доходов, подушевая обеспеченность которыми высока ввиду малой численности населения. Сырьевые отрасли здесь находятся в авангарде инновационной активности, а рентные поступления реинвестируются в промышленное и технологическое развитие отраслей, восходящих к традиционным промыслам и основанных на углублении переработки сырьевых ресурсов (лесопромышленный и рыбопромышленный комплекс, энергетика, экология, судостроение). Другими ключевыми направлениями использования рентных доходов здесь служат социальный стандарт, человеческий капитал, а также обеспечение инфраструктурной связности и равномерная доставка высокого качества жизни по всей территории, характеризуемой экстремально низкой плотностью населения и без такой подпитки обреченной на архаическое бытование. Существенные черты этого уклада характерны для Голландии, а также Австралии и канадского Квебека – крупных, но малонаселенных территорий с высокой подушевой обеспеченностью сырьевыми ресурсами. В последних

случаях в силу генезиса поселенческой активности и англо-саксонского влияния более выражена установка на индивидуальную, а не коллективную предпринимательскую инициативу. Вместе с тем, ни одна из приведенных стран не сумела избежать эффекта «инфлирования» (см. ранее), – по меньшей мере, в форме фонового роста затрат в экономике, который приводит к оттоку производств в страны со сравнительно более дешевой рабочей силой.

3.3 Этно-религиозные экономико-архетипические феномены в развитии

Культурные и религиозные особенности различных социальных формаций следует трактовать именно в контексте обусловленных образом жизни архетипических свойств. Они призваны лишь легитимировать в общественном сознании способ извлечения стоимости и институциональный дизайн, естественный для условий бытования. Выбор той или иной этнической группой догматической системы определяется скорее «удобством» для закрепления на ее основе добродетельности сложившихся представлений о поведенческих нормах, чем вызвана корреляция таких систем с успешностью социальной модели. Более того, в зависимости от условий бытования и обстоятельств распространения верований, зачастую общности одной конфессиональной принадлежности проявляют себя прямо противоположным образом по отношению к ключевым архетипическим маркерам. В этой связи – так же, как и в случае распространенного заблуждения относительной первичной роли институтов в модернизации, – искусственное насаждение иной, более «прогрессивной» системы представлений без фундаментальных предпосылок для изменения способа производства не приводит к смене социальной динамики. Справедливо, однако, что при смене способа производства соответствующее обновление религиозного догмата вызывает мощную волну массовой коммуникации, ускоряющую вовлечение широких масс людей в социальные отношения на новой технологической основе, а сеть религиозных общин фактически выступает в роли медиатора.

Примечательна принципиально различная структура языческих пантеонов общностей с полицентрической и моноцентрической конфигурацией силового ресурса. В регионах, с древнейших времен активно вовлеченных в морскую торговлю, прежде всего, Древней Греции и Древнем Риме, мифология представляет мир высших существ как сложную систему взаимоотношений многочисленных и вполне автономных сверхъестественных субъектов, более того, пребывающих как в вертикальных, так и в горизонтальных взаимоотношениях друг с другом. Особенно примечательно, что эти системы взглядов полагают возможной кооптацию в свой пантеон инородных божеств. При этом практически во всем остальном мире массовое сознание ищет строго иерархической, вертикальной организации не только рационального, но и метафизического, как бы продолжения патримониальной вертикали в мир потустороннего, «высшего вождя» (эта роль часто приписывается солнцу, культовому животному и пр.). Это, однако, парадоксальным образом не приближает систему верований к монотеистической парадигме, в центре которой находится понятие о человеке как вершине творения, напротив, утверждает отсутствие у человека свободы воли, как это свойственно языческой системе взглядов.

Показательно, что для трех крупнейших мировых религий в первоизданном виде характерно предосудительное отношение к ростовщичеству и лихоимству, говоря современным языком, поощрение партнерских (акционерных в противовес долговым) принципов формирования капитала, подчеркивающих общность сторон. Примечательно в этой связи, что формирование иудаизма и ислама в принципе происходило в ландшафте пустынь, на удалении от морских транспортных путей, создающих стимулы к производству излишков и накоплению капитала, соответственно операциям с последним. Ареал зарождения и ранней проповеди христианства был сосредоточен на востоке Средиземноморья, однако в период расцвета Рима такие центры торговли, как Израильское царство, Греция, Финикия, Антиохия, Ассирия и др. оказались вытеснены на периферию. Напротив, по мере смены географических и социальных условий бытования – в частности, в периоды расцвета в доримскую эпоху восточного Средиземноморья, включая Иудею и Израиль, позже рассеяния евреев, распространения христианства в Европе и Новом свете, экспансии халифатов в

Средиземноморье – невзирая на силу религиозных институтов и осуждение с их стороны, ростовщические практики в том или ином виде проникали в хозяйственный оборот. Появились многочисленные расширительные толкования догматических запретов, а также способы их обхода путем незначительной модификации формулировок взаимных обязательств сторон. Кроме того, часто в этих условиях хозяйственную функцию накопления и перераспределения капитала выполняли меньшинства, которым догматическая норма не было воспрещала ростовщичество в отношении иноверцев, например, евреи. Наконец, наиболее ярким примером размежевания представлений о добродетельном хозяйствовании внутри одной и той же авраамической ветви стала Реформация, которая в конечном итоге привела к «легализации» ростовщического процента среди протестантов, более того, появлению в лоне этой конфессии целой полиэтнической страны, основой экономики которой стала банковская система, аккумулирующая глобальные накопления, – Швейцарии. Примечательно, что лавинообразное распространение протестантизма в Европе совпало с наступлением Нового времени и индустриальной эпохи, в условиях которой именно капитал стал основным фактором производства и барьером входа на рынок. Ожидаемым образом конкурентами Швейцарии в таком ключевом для индустриальной экономики секторе, как финансовый, традиционно выступают центры концентрации торгово-ростовщического капитала – страны с доминантным морским метаархетипом, прежде всего Великобритания и Голландия, а также финансовые институты континентальной Европы, многие из которых основаны на капитале еврейского происхождения.

Все авраамические религии – вплоть до ответвлений – исторически являли себя посланием об этическом и догматическом равенстве индивидов, т.е., по существу, призывом к межсословной солидарности, формированию своего рода модернизационной коалиции и «конфессиональной нации». Наиболее показательным в этом отношении обстоятельством может служить многовековой разрыв во времени между периодом времени, к которому принято относить легшие в основу христианской догматики события, и становлением этой религии в качестве мировой. Легко заметить, что последнее совпало с разложением высокоразвитого, но «витринного» античного мира, великим переселением народов и началом «темного тысячелетия, – так что обращение к христианству в тот исторический момент имело глубоко архаическую подоплеку. При этом, как правило, зарождающиеся религии черпали легитимность в отстраивании от социальных практик предшественника, «погрязшего» в сословных привилегиях. Однако, в условиях доиндустриального способа производства, их собственная эволюция приводила к превращению института борьбы за догматическую чистоту в разновидность силового ресурса, присваивающего источники стоимости. Лишь появление в эпоху Возрождения концепта человека как источника ценности, в противоположность концепту человека как «пищевого конкурента» при распределении, привело к укоренению в недрах всех основных религий антропоцентрических течений, широта распространения которых обусловлена модусом социальной эволюции той или иной исповедующей цивилизации. Однако примечательно, что прогресс любой цивилизации имеет непосредственную корреляцию с глубиной проникновения ценностей эпохи Возрождения, характерных для нее форм жизнедеятельности и творчества. В этом контексте не следует рассматривать Ренессанс в узкоконфессиональной оптике: существенные признаки этого явления явили себя много раньше европейских городов-республик – по меньшей мере, в ранних халифатах, в мавританской Испании. По сей день линия внутриконфессионального напряжения обычно характерным образом проходит между приматом обрядового начала как маркером архаического тяготения и общинного как проявлением модернистского типа солидарности.

Кроме того, насколько можно судить, обусловленные климатом, качеством почв, флорой и фауной пищевые привычки в целом явились хотя и не единственным, но ключевым фактором догматического самоопределения различных общностей. Так, легко заметить, что язычество наиболее устойчиво у племен с преобладанием охоты и собирательства, которые придерживаются уклада жизни, типичного для предшествовавшей зарождению культурного земледелия эры. Христианство характерно для общностей, где в рационе питания преобладает выращенная усилиями человека растительная пища, а также мясо свинины и крупного рогатого скота, потребляющих выращенный корм или пасущихся на изобильных заливных пастбищах. Сельскохозяйственный труд в христианском мире культивируют даже этносы,

населяющие малопригодные для этого ареалы обитания – скажем, Северную Европу. Дискуссионным, однако небеспочвенным является и предположение, что более восприимчивыми к исламу оказались те цивилизации, в местах обитания которых изначально или по причине последующих антропогенных изменений рацион человека основан на мясе сравнительно неприхотливого к растительному корму мелкого рогатого скота. Распределение общностей по отдельным ветвям авраамических религий также непосредственно указывает на различия в культуре сельскохозяйственного производства. Так, наиболее благоприятные для земледелия регионы мира чаще всего населяет католическое население, в то время как по мере нарастания потребности в интенсивных аграрных технологиях растет и распространение протестантизма. Православие, а также схожие с ним по литургии, но находящиеся в лоне Рима т.н. восточные церкви в основном распространены в общностях – от Малой Азии и Балкан до России, – первыми принявших христианство, разделивших судьбу Константинополя и образующих «линию соприкосновения» с субконтинентальными кочевыми цивилизациями. При этом вдоль этой линии свои особенности есть и у самих кочевников: например, в Турции, Албании, Поволжье они исповедуют ислам суфийского толка, а также совмещают доминирующее мелкое скотоводство с перенятой у автохтонных этносов культурой земледелия. Суфизм преобладает и на линиях соприкосновения с другими цивилизациями – от Южной до Юго-Восточной Азии, где одновременно чрезвычайно обширно крестьянское население. Этот образ жизни контрастирует с характерным для периферийных кочевников пустынь, придерживающихся салафитского ислама, в связи с чем становится понятным и фронтальное наступление последнего в странах Северной Африки и Ближнего Востока, некогда славных своим плодородием. Это также объясняет неустойчивость привитого Северному Кавказу суфизма, – комплекс антропологических признаков местных изолированных горной местностью этносов ближе к таковому у салафитов. Также обращает на себя внимание «линия разграничения» мусульманского и индуистского населения на юге Азии: последнее имеет распространение в зоне тропического и экваториального климата, где ключевое место в рационе человека занимает дикорастущая растительная пища. Показательной деталью является то, что на огромном пространстве от Северной Африки до Индии мясо свинины редко можно встретить в рационе питания даже у тех общностей, которые не исповедуют возбраняющие это ислам или иудаизм. Существует предположение, что в традицию местных народов могли воплотиться ранние представления, причиной которых служит вред этого вида мяса для здоровья в условиях засушливого климата, – возможно, это произошло в результате метафизического осмысления опытов отрицательных последствий его употребления. В целом, отмечены многочисленные совпадения постов и разговений с циклами сельскохозяйственных работ, спаривания и размножения у домашних животных, наличием или отсутствием богатых рыбой водоемов, а также вполне рациональными соображениями необходимости периодического обновления рациона и интенсивности питания человека, в т.ч. в связи со сменой времен года. При этом состав таких диет, а иногда даже их временной режим различается в рамках одной конфессии от одной местности к другой. Наконец, культура выращивания риса в условиях муссонного климата составляет самостоятельный социально-антропологический и догматический цивилизационный пласт (см. ранее и далее) от востока Индии до островов Юго-Восточной Азии, где крупнейшими религиями являются буддизм и конфуцианство.

Католицизм, являющийся крупнейшей мировой конфессией, проповедовал различные системы ценностей в разные эпохи и в разных странах. В регионе Средиземноморья этот контраст можно последовательно наблюдать на примере антропофобного, мистического «темного тысячелетия» и антропоцентрического, рационалистического Ренессанса, более того, на период расцвета последнего в Италии приходится «свирепство» инквизиции в более периферийных Франции, Испании и Португалии. Примечательно, как в периоды одних и тех же понтификатов в непосредственно подвластной Папской области и династически родственных государствах Ватикан фактически культивирует сравнительную толерантность с целью привлечения торгового капитала, более того, использует инквизицию для

преследования религиозных фанатиков, ревнителей веры, – в то время как в странах-конкурентах, напротив, в полном соответствии с официальной доктриной «взламывает» уклад межконфессионального общежития, применяет наиболее жестокие методы преследований в отношении иноверцев и состоятельной знати. В целом на фоне непосильно тяжелых условий повседневной жизни Средневековья церковь обращалась к нижним сословиям с посланием об утешении во временной жизни и надеждой на «смену сословной иерархии» в жизни вечной, а также проповедью о смертоносной порочности человеческой природы как причине прижизненных страданий. Это сообщается с догматическим представлением о труде как проклятье и порочном происхождении богатства. Напротив, к верхним сословиям церковь обращалась с освящением избранности их положения и миссии, а также содействием в обеспечении смирения нижних сословий. Сословно-архаическое прочтение догматики из средиземноморских стран перекинулось также на Латинскую Америку и Африку, где соединилось с автохтонными языческими системами верований. В частности, в конце XIX века, когда на европейском континенте интенсифицировались тектонические процессы стягивания разрозненных государств в национальные, Ватикан противодействовал распространению классового учения и фактически встал на сторону корпоративистского (де-факто фашистского) государства. В то же время, в поствестфальский период национальное государство рассматривалось им как угроза собственному влиянию, – однако этот взгляд ушел в прошлое под натиском нарастания капиталоемкости индустриального производства, роста социальных конфликтов и военной напряженности.

С известной степенью условности с поведенческими установками различных архетипов соотносятся этические и социальные доктрины католических монашеских орденов. Так, систему представлений города Возрождения, основанного на сослужении городского и морского метаархетипов, в наибольшей степени отражают учение и практика ордена бенедиктинцев, уделявшего значительное внимание наукам и искусствам. Образ жизни францисканцев, отдававших предпочтение ручному труду и коллективному хозяйству, напоминает характерный для общинных укладов. Наконец, аскеза, нетерпимость, склонность к принудительным послушаниям доминиканцев напоминает признаки, характерные для изолированных общностей – более того, для догматических систем радикальных течений в других конфессиях.

С другой стороны, в XX веке на послевоенный период приходится подготовка, проведение и распространение влияния Второго ватиканского собора, который, сменил отношение крупнейшей мировой конфессии к предпринимательскому промыслу и признал его добродетельным, – однако и это было вызвано объективным переформатированием хозяйственного уклада в Европе. Это время ознаменовано беспрецедентной экспансией американского капитала в Европе, а с ним социальных, культурных и поведенческих образцов, что вызвало рост экономик развитых стран по обе стороны Атлантики. Эта экспансия прежде всего была направлена на католические страны, так или иначе входившие в фашистский пояс и преимущественно представляющие деформированный морской метаархетип, – в смысле отношения к нацистской оккупации даже протянувшаяся от северного до южного морского побережья континента Франция довольно отчетливо разделилась по архетипической «линии». Однако и в «большом германском мире» первыми ее выгоды ощутили католические Бавария и Австрия: ввиду удаленности от моря и горного расположения они были периферийны в военно-стратегическом и хозяйственном отношении, так что в гораздо меньшей степени подверглись разрушению в ходе военных действий. Этот фактор и развитое сельское хозяйство (в предвоенные годы оно скорее служило индикатором отставания в промышленном развитии) в голодное послевоенное время вызвали переток туда основных предприятий и трудовых ресурсов с севера, в особенности из советской зоны оккупации. При этом в аналогичный период в латиноамериканских странах, невзирая на деяния собора, происходят процессы совсем иного толка: каскады левацких и фашистских волн сменяют друг друга, а церковные общины пытаются играть роль центров альтернативной солидарности, что вызывает к жизни т.н. «католический социализм». В наше время католические институты являются опорными для архаических слоев среднего класса, зачастую подверженных ксенофобским настроениям, в Восточной

Европе и США, но в то же время – для социально незащищенных в Западной Европе (например, иммигрантов другого вероисповедания) и странах третьего мира. Также по-разному в различных архетипических общностях проявляет себя лютеранство: в странах Северной Европы и Швейцарии оно является ценностной основой минималистической этики, открытого доступа и примата коллективного действия, включая артельный тип предпринимательства, в то время как в США – конкурентного поведения, социального неравенства, индивидуализма, основанного на частной собственности, стяжании богатства и личного успеха, в т.ч. местами демонстративного.

На примере сравнения католицизма и лютеранства как повсеместно соседствующих друг с другом конфессий видно, что в идентичных социальных обстоятельствах их этические системы не вступают в противоречие друг с другом. Более того, показательно, что их историческое размежевание приходится как раз на эпоху смещения центров модернизационной трансформации от юга Европы к северу (см. далее), когда постренессанское Средиземноморье, являвшееся центром католицизма, оказалось ареной военного противоборства и пережило стремительную архаизацию: в результате великих географических открытий регион утратил преимущество локации в глобальной торговле перед Североморьем, а на передний план вышел недостаток близости кочевых этносов. После серии межконфессиональных конфликтов это размежевание фактически получило и политическое оформление – в виде вестфальского мира. Дух нового европейского порядка был основан на примате легитимности национального государства по сравнению с трансэтнической империей, опирающейся на идеологический – в данном случае религиозный – догмат, и отвечал системе представлений реформации, провозгласившей канонические тексты на священных и национальных языках равноблагодатными, способствовавшей в этой связи развитию книгопечатания. Более того, вызванное этим развитие всеобщего начального образования на национальном языке представляло собой непосредственный ответ на императив Нового времени, – когда способ производства из ресурсозависимого становился трудозависимым. В качестве альтернативной системы ценностей протестантизм отвечало представлениям об упорном труде как вознаграждаемой достатком высшей добродетели, типичным для обитателей центра и севера Европы с их более суровым климатом и менее благоприятными почвами, – в отличие от теплого юга с характерным стереотипом нетрудового происхождения благосостояния. В этом плане показательно, что разложение Священной Римской империи германской нации как государственного образования практически совпало с конфессиональным размежеванием, при этом граница такого размежевания почти совпадает с альпийским хребтом и также самым непосредственным образом коррелирует с областью гравитации хозяйственных связей в привязке к водным бассейнам: каноническая территория протестантизма практически совпадает с ориентированными на выход в Северное море (а также к Балтийскому морю) долинами Рейна и Эльбы, католичества же – с ориентированными на выход по Дунаю в акватории Средиземного и Черного морей областями центра и юга Европы. При этом все массово обратившиеся в лютеранство общности объединяет их принадлежность либо к городскому метаархетипу, либо к морским кочевникам, не имеющим трансформационных дефектов, т.е. альянсу основных выгодоприобретателей индустриальной эпохи, что нередко ошибочно принимается за обратную зависимость – влияние религиозного догмата на плодотворность социальной организации.

В свете изложенного становится ясно, что в контексте течения индустриальной формации в регионах распространения следует рассматривать и судьбу антропоцентрических реформаций других крупных монотеистических религиозных течений. Так, из числа пионеров индустриальной эпохи – стран, которые вступили в нее до мировых войн XX века и не под «внешним управлением», – в лоне католической церкви более или менее полностью сохранилась лишь Франция. Однако это можно объяснить логикой отстраивания от соседей-конкурентов, – а Просвещение с его секуляристским посланием намного опередило реформацию. Русское православие как таковое не претерпело реформации, однако церковный раскол можно считать своеобразной «реформацией наоборот». Этика

Нового времени здесь обрела опору на контрэлитный старый догмат, который противостоял обновленному, насаждавшемуся самодержавным государством премодерна, стремившимся оградить страну от социального и хозяйственного влияния модерна. Ислам же как изначально наиболее антропоцентрическая религия и вовсе претерпел глубокую, всестороннюю, продолжающуюся и в наше время дереформацию под влиянием тектонических изменений среды обитания в основных регионах распространения (см. ниже).

Православие также бытует в принципиально различных социальных условиях – от полицентричных, близких к анархичности Греции и Украины до моноцентричной, патримониальной Великороссии, при этом догматическая соборность, «симфонизм» трактуется прямо противоположным образом – соответственно как низовая солидарность и как призыв к единению атомизированных индивидов вокруг вождественной вертикали. Если в теплых православных странах представление о нетрудовом характере богатства вызвано сравнительным пищевым изобилием, по аналогии с соседними католическими, то на большей части территории современной России с ее крайне неблагоприятными климатическими условиями это представление переходит в социальную подозрительность, предосудительность зажиточности и стяжательства, ассоциируемых с несправедливым силовым присвоением в ущерб ближнему. Как таковую Великую схизму можно считать следствием несравненно более благоприятного положения Константинополя как центрального транзитного хаба Евразии по сравнению с Римом, особенно на фоне великого переселения народов. При этом, окончательное обособление православия совпадает во времени с активизацией в западном направлении на всем пространстве Азии наиболее многочисленных и воинственных тюркских и монгольских кочевников. Более того, опустение маршрута Великого Шелкового пути в результате географических открытий Нового времени вызвало революцию транспортных коридоров в Евразии в пользу южных океанических морских путей. На Средиземном море появились новые центры силы с востока и севера, чем обусловлено падение городов-республик Ренессанса и упадок связанных с ними общностей. Однако более драматичным этот эффект был для Константинополя, а в широком плане для всего востока Европы, включая Древнюю Русь как неотъемлемую, в т.ч. архетипическую, часть таковой, – «рисунок» развития региона существенно отклонился от характерного для материнского континента под влиянием степных кочевников. Деформация морского метаархетипа (см. ранее) в конечном итоге вылилась в многочисленные дефекты индустриального развития во всех общностях, возвращенных схемой транспортных коммуникаций премодерна, чем объясняется многовековая консервация наиболее архаических интерпретаций догмата и этики как в католичестве, так и в православии. Примечательно, что в результате послевоенной реформации католичества фактически греческая ветвь православия последовала за ним, повинувшись логике не конфессионального, а архетипического развития. Более того, начиная с конца 80-х гг наблюдается интенсивный дрейф деформированных морских кочевников на постсоветском пространстве и в Восточной Европе от русского православия к греческому, повторяющему траекторию трансформации «метропольного», средиземноморского католичества. Наконец, нет оснований сомневаться, что и русское православие претерпит глубокую догматическую реформацию и организационную децентрализацию в русле вступления России в постиндустриальную эру и эрозии ресурсно-силовой вертикали.

Показательно, что для общностей городского метаархетипа и бездефектных морских кочевников не характерен институт церкви как моноцентрической и иерархической организации, независимо от конкретной конфессии, крупнейшими из которых являются протестантство и католицизм. Они фактически организованы как соборы независимых приходов, воспроизводящих форму некоммерческой организации и, возможно, объединенных под единым духовным наставничеством, но не организационным и финансовым управлением. В то же время у степных и деформированных морских кочевников церковная иерархия является более или менее тотальной, бытует в сослужении со светской ресурсно-силовой и вплетена в отдельные ветви последней, практически также безотносительно конфессии, среди которых представлены католицизм,

православие и ислам различного толка. В случае мусульманских субконтинентальных общностей в этот тезис необходимо внести поправку на высокую степень географической и связанной с ней этнической фрагментации, связанную с этим междоусобную конфликтность. По этой причине у каждой отдельной общности встречается своя шариатская иерархия, сослужащая светской власти, хотя довольно часто одна общность декларирует себя догматическим продолжателем другой, притом нередко удаленной географически.

Переворотом в транспортных коммуникациях на заре Нового времени можно объяснить и фактический (хотя канонически не закрепленный) «переход первенства» от греческой ветви православия к русской: если греческий мир при столкновении с тюркским подвергся разорению и был вытеснен на периферию морского метаархетипа, то степные кочевники севера, обойденные европейским Ренессансом, использовали преимущество схожей с интервентами моноцентрической силовой вертикали и отстаивали свою идентичность. Однако ценой этнического самосохранения стала расправа со своим же архетипическим достоянием – жестокое подавление автохтонного русского городского метаархетипа и в особенности бездефектных морских кочевников, прежде всего в Новгороде как центре русского Ренессанса, а также других княжествах пути из варяг в греки и волжского транзитного пути. Позднее противоборство с этими чуждыми видами стало константой внутренней политики силовой корпорации, – на протяжении всей позднейшей истории своими антиподами она видела те или иные социальные или региональные изводы старообрядцев (зажиточных крестьян, предпринимателей) и интеллигенции. Более того, этот вектор враждебности пролиферируется на внешние сношения: статусом приоритетного врага наделяет англо-саксонский мир, транслирующий чуждую, основанную на личном суверенитете социальную модель, периодически в этой роли оказываются те или иные страны континентальной Европы – «предатели священного права королей». При этом на другом полюсе находятся традиционно теплые отношения с деформированными морскими кочевниками, испытывающими фантомную «тоску» по патримониальному покровительству, – европейскими странами Средиземноморья, – а также деспотиями различного толка, пока с ними не сталкиваются жизненные интересы.

Как только Великий Шелковый путь утратил свое значение и перестал «подпитывать» могущество Орды, соподчиненность северных и южных кочевников изменилась, однако идентичность первых существенным образом трансформировалась за счет социального симбиоза со вторыми, – тем самым внутриевропейский этнос потенциально обрел второй, азиатский полюс цивилизационного тяготения. Вместе с тем примечательно, что в большинстве другие кочевники степей – открытых, а не пересеченных мест – в своих перемещениях либо достигли морской оконечности материка в разных местах, либо оказались рассеяны рельефом местности в глубине такового, вследствие чего так или иначе сменили свою архетипическую принадлежность. Среди первых чаще всего можно обнаружить адептов конфуцианства, буддизма и других конфессий Юго-Восточной Азии, среди вторых же – аутентичного, арабского суннитского ислама, со временем тяготеющего к адаптации салафитской интерпретации догмата, не признающего этнических границ и проповедующего вселенский мессианизм, неограниченную экспансию уммы. Тем самым азиатский цивилизационный элемент в среде русских степных кочевников не имеет никакого внешнего ориентира в виде иных, неевропейских ролевых моделей, поэтому не может считаться полюсом притяжения. Скорее он вносит дополнительный вклад в цементирование характерной архетипической социальной матрицы – не столько дрейфующей в сторону каких-либо определенных образцов, сколько сопротивляющейся модернистскому влиянию и его архетипическим носителям изнутри.

В социальной конструкции исламских стран можно обнаружить несколько меньше различий, однако и это положение не имеет первичных профессиональных корней и связано с доминированием среди его адептов цивилизаций субконтинентальных кочевников со свойственной им вертикальной социальной организацией. Кочевников степей в меньшей степени можно встретить среди адептов ислама,

однако в числе таковых преобладают тюркские общности – турки, поволжские и центрально-азиатские этносы, – сохранившие более или менее органичный для этого вида низменный природный ландшафт проживания и являющиеся приверженцами суфийского направления, которое чаще выступает спутником менее пассионарных мусульманских общностей и придерживается сослужения светской власти. Тем не менее, доминирующая роль в лоне этой конфессии принадлежит наиболее социально герметичным субконтинентальным кочевникам изолированных мест, часто враждующим между собой и потому склонным приобщаться к конкурирующим религиозным течениям, прежде всего внутри самого ислама. В конечном счете для всех такого рода общностей – если не в аутентичном ареале их проживания, то хотя бы в процессе урбанизации – характерно тяготение к более радикальным салафитским течениям, которые фактически выступают идеологической платформой взлома родоплеменных границ, формирования единой идентичности образца раннего модерна путем отстраивания от иноверцев. В этой связи, обращает на себя внимание жесткое противостояние двух направлений в недрах северокавказских этносов в России. Подобно всем монотеистическим религиям, аутентичный ислам провозглашает умму метанацией, общностью единых в вере и равных перед законом. В то же время, кавказские традиции, зародившиеся в условиях противоборства рассеченных горным рельефом сельских племен, как минимум, не в меньшей мере опираются на адат с его приматом родовой принадлежности и избытком сословных устоев. Примечательно, что в наше время ислам салафитского толка считается как «религия силы» любимыми общностями с субкультурой доминирования-подчинения во всем мире – криминальными, спортивными, степными кочевниками из слоя урбанистической архаики, оставшимися без собственного патримониального попечения, и пр. Эта религия привлекает среди них многочисленных новых адептов, тем самым отстраивающихся от доминантных этических систем собственных стран, в которых силовой маркер скорее служит атрибутом ретроградности, а не успешности.

Этика и эстетика постмодерна с характерным отрицанием роли физической силы в обществе вызывает психологическое отторжение у индивидов, воспитанных в рамках матрицы доминирования-подчинения и являющихся частью слоя «невключенных». Боевое мастерство – т.е. область доступного успеха для тех, кому не привиты навыки получения знаний, – из важного преимущества становится предметом компьютерной игры, при этом «мельчают», «не внушают уважение» обиход и институты наступающей эры – бытовые приборы, аппарат принуждения и т.п. Этот модус представляет собой отрицание парадигмы не только премодерна с характерным для нее прославлением физического превосходства, но и модерна – с культом войны, «жизненного пространства», техникой и институтами «впечатляющих масштабов», в конечном итоге «сверхчеловеком», перед которым преклоняется обычный, ничтожный человек, наконец, давлением конкуренции за заработок.

Между тем, в момент зарождения с сугубо религиозной точки зрения ислам воспринимался скорее как более антропоцентрическая альтернатива христианству, интенсивно распространявшемуся Среднем Востоке, но переживавшему «темное тысячелетие» и потому не вполне органичному в стереотипно зажиточном регионе. Именно в лоне ислама в этот период, вплоть до зарождения Ренессанса, сохраняется и распространяется наследие Античности, развиваются светское знание и искусства, торговля и ремесла, находят убежище люди преследуемых ранними христианами занятий и верований. Примечательно, что представление всех исламских халифатов о направлениях собственного расширения в целом практически совпадало с таковым у европейских империй и было обращено в сторону бассейнов Средиземного и Черного морей. Более того, в тех немногих исламских странах, где условия бытования предполагают иные архетипические характеристики, социальная организация также отличается от характерной для степных кочевых общностей. Как известно, в мавританской Испании, а также вдоль Великого Шелкового пути возникли одни из наиболее высокоразвитых мировых цивилизаций, впоследствии прекратившие существование или утратившие свое значение, – в этой связи довольно примечательна склонность южных степных кочевников к предпринимательскому поведению, хоть и примитивно-спекулятивному, не связанному с инвестиционным риском. Наиболее ярким отличительным примером является современная

Турция, территория которой в различное время побывала центром православной византийской и суннитской суфийской цивилизаций. Ее уникальное географическое положение создает изобилие источников капитала и делает сверхцентрализацию, как минимум, нерациональной, поэтому налицо предрасположенность к типичному средиземноморскому укладу на основе соединения городского и морского метаархетипов, а также естественность деформации последнего в условиях высоких военных рисков для свободного предпринимательства, по аналогии с югом Европы. Это тем более примечательно, что изначально тюркские этносы относятся к числу типичных степных кочевников и продолжают бытовать в таком качестве на значительной субконтинентальной территории. Однако их появление в Малой Азии не потеснило существенным образом культурное выращивание продовольствия (хотя отложенный эффект опустынивания вместе с социальными последствиями такового еще может дать себя знать), – это сродни «рисунку» покорения кочевниками-скотоводами оседлых земледельцев в Европе, – а диффузия с автохтонным населением сама по себе выступила школой усвоения передовых образцов. По этой причине Турция представляет собой уникальную площадку модернизации наиболее архаичной архетипической общности под влиянием изменения географических условий. Как известно, в конечном итоге страна стала имитировать логику развития крупных европейских стран и даже на равных участвовала во внутриконтинентальных альянсах и конфликтах. Так же как и в других регионах, под влиянием вызовов индустриализации здесь возникла, а затем распалась своя колониальная система, нарастала, а затем ослабевала корпоративная консолидация государства и бизнеса, при снижении капиталоемкости экономики обострилась проблема абсорбции трудовых ресурсов. Довольно мягкие режимы характерны также для арабских стран Средиземноморья, хотя в условиях многовековой военной активности европейских империй и исламских халифатов, лоскутной этно-конфессиональной композиции весь этот регион – безотносительно конфессии – несет на себе ярко выраженные отпечатки «рваного», «отброшенного назад» развития.

В этой связи, для востока неблагоприятным, по сравнению с Европой, и непреодолимым фактором является то, что на гигантских просторах Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии крайне скуден выбор альтернатив бассейну Средиземного моря, снабженных обширным морским побережьем и судоходными реками. Более того, для крупнейших водных бассейнов этого макрорегиона – долин Нила, Тигра и Евфрата, Сырдарьи и Амударьи – общей проблемой является постепенное заболачивание, а затем опустынивание некогда славных своим плодородием земель, что принято связывать именно с характерным для степных кочевников пастбищным скотоводством, в противовес более рациональному в этих местах культурному выращиванию продовольствия. Вероятно, с постепенным отходом в бедные и географически изолированные земли связана заметная дегуманизация исламской цивилизации в Новое время – весьма антропоцентрической и рационалистической при зарождении, – а также устойчивость в качестве центра сборки Османской империи, хотя и опирающейся на этническое меньшинство в исламском мире, но исключительно выгодно расположенной. Именно поэтому для большого исламского мира – даже в большей степени, чем для русского и определенно в большей, чем для остающегося чрезвычайно плодородным европейского Средиземноморья, – фатальным оказалось разложение материковых транспортных путей Евразии в результате великих географических открытий. В условиях зарождающегося машинного производства с его потребностями в капитале это по существу знаменовало цивилизационную катастрофу ключевого макрорегиона Евразии, этносы которого утратили субъектность и стали объектами колониальной активности, – и даже положительные плоды последней здесь не прижились в силу невозможности опереться на жизнеспособный в заданных географических условиях способ производства. Напротив, маргинализация заметно усугубилась в результате спешного и довольно беспорядочного отступления европейских колониальных держав со своих позиций в XX веке, когда выгоды колониальной системы стали объективно уступать стоимости ее содержания. Длительное европейское воздействие на человеческий капитал не оградило страны региона

от феодального бытования, напротив, произошел отток «преобразованных», качественных человеческих ресурсов в метрополии, в то время как Ближний Восток и Центральная Азия стали питательной средой радикальных идеологий и новых угроз. Это подтверждает более высокое значение конкурентоспособного в заданных природно-географических условиях способа производства по сравнению с любыми другими факторами, определяющими уровень развития экономики и общества.

В то же время, среди шиитских стран показателен пример одной из древнейших и наиболее высокоразвитых оседлых цивилизаций – персидской, исторически пребывающей в этнической изоляции в кочевом арабском и тюркском окружении. Необходимость защиты от последнего способствует нетипичному для региона устойчивому престижу науки и образования, чему в наше время не является помехой даже идеологический характер правящего в Иране теократического режима. Последний следует рассматривать не в ряду типичных для региона феодальных, для которых характерна деидеологизация, ресурсно-силовая легитимация, а скорее как восточную – и внутренне плюралистическую – версию автократий эпохи модерна, как правило, идеологически окрашенных. Научное и промышленное развитие является здесь настолько фронтальным, что не позволяет приписывать ему исключительно военный характер (в отличие от Северной Кореи). Показательно, что и в развитых странах выходцы из Ирана практически не образуют этнических анклавов, достигают заметных успехов в образовании и карьере. Из числа исламских стран Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии лишь Турция и Иран с той или иной степенью успешности перешли от доиндустриального этапа развития к массовому промышленному производству. В то же время, концентрированно проживающие арабы-шииты, так же как и остальные арабы-кочевники, исторически полагались на силу большинства и не отличаются аналогичными характеристиками. Показательно, что монархии Персидского залива, которые традиционно претендуют на роль колыбели ислама и в углеводородную эру перешли в режим «осевших» кочевников, вынуждены привлекать иностранную рабочую силу для поддержания производств по переработке собственного сырья. Они так и не сумели «приучить» к деятельному хозяйствованию собственное население, предпочитающее по праву родоплеменной лояльности «кормиться» перераспределением ресурсов, в полном соответствии с феодальной матрицей. Примечательно также, что среди этносов Индии и родственных им в окружающих странах ислам получил распространение в местах с горным рельефом, засушливым климатом или разрушающимися почвами, что делает животную пищу обязательной частью рациона – в противоположность южной части полуострова (см. ниже) с ее обилием растительной пищи, соответственно распространением конфессий, считающих добродетельными вегетарианские диеты. При этом, логика развития и этический код в таких странах, как Малайзия и Индонезия – при заметной роли сырьевой ренты и местных особенностях каждой из них, – скорее все же укладывается в характерную для бассейна Азиатско-Тихоокеанского региона модель роста на основе простого и дешевого массового труда. Она имеет немного сходств с «матрицей» исламской материковой Азии, хотя эти две страны также преимущественно населены мусульманами, родственными коренному населению Индии.

Наконец, весьма показателен пример евреев как однородного с точки зрения догматической системы этноса, однако исторически бытующего в ареалах расселения практически всех других религий и архетипов. Во-первых, линия между модернистским и архаическим тяготением достаточно очевидным образом проходит между выходцами из стран, где в те или иные периоды они подвергались притеснению, запрету на род занятий и т.п., и тех, в которых отношение к ним было лояльным. В числе первых преимущественно страны христианского мира, с высоким качеством титульного человеческого капитала, поэтому у евреев здесь сформировался когнитивный архетип, склонный к инновационности, созданию отличительной ценности – даже по сравнению с местным стандартом, чтобы не вступать в конкуренцию с традиционным промыслом большинства. Кроме того, налицо склонность к занятиям, непрестижным для титульного населения либо даже запрещенным ему, – торговле и финансовому посредничеству, а

также избегание крупных материальных активов с физической привязкой к местности, которые нельзя увести от притеснений. Предпочтение отдается «портативным» активам и промыслу «налегке» – прежде всего, знаниям, умениям и навыкам, а также финансовым (в наше время также виртуальным) активам, драгоценным металлам и камням. В то же время, в более периферийных мусульманских странах уклад жизни и род занятий евреев мало отличался от свойственных этносам стран происхождения, разве что привнесены некоторые медиативные навыки в сферу трансграничной торговли, – они не свойственны субконтинентальным общностям, обычно не покидающим поле патримониальной гравитации. Во-вторых, среди евреев можно выделить практически все наиболее крупные метаархетипы. Так, характерное ренессансное сочетание – городского и морского, – крупнейшая ветвь которого сформировалась в средневековой Испании, традиционным для такой архетипической общности образом получило распространение во всех странах средиземноморского и черноморского бассейнов, а также Великобритании и североевропейском «ганзейском» поясе. С этими общностями, для которых характерен длинный инвестиционный горизонт, среди прочего, связаны некоторые крупнейшие финансово-торговые состояния и благотворительные начинания индустриальной эпохи. Более акцентированный городской метаархетип характерен для выходцев из Германии, Австро-Венгрии и Литвы, где евреи довольно рано были уравнены в правах с местным населением, а также городов Малороссии: все они ярко проявляют себя в промышленности, науке, технологиях, образовании, культуре, искусстве, ремеслах. В общинах обеих упомянутых ветвей возобладал рационалистический, равнинистический иудаизм, культивирующий дискуссию и доказательный, логический, близкий к научному, метод обоснования и рассуждения, опору на компетенцию как руководство к действию. На заре индустриальной эпохи, когда превращение капитала в основной фактор производства привело к резкому углублению интеграции евреев с окружающим миром и деархаизации их быта, здесь же явил себя т.н. реформированный или просвещенный иудаизм, который хотя и был отвергнут ортодоксальным в догматической части, тем не менее, оказал важное влияние на трансформацию социальных, поведенческих и эстетических норм. Напротив, для выходцев из этих же двух ветвей, которые заселили «местечки» Польши и Украины, характерны иные поведенческие особенности, сформировавшиеся под воздействием жестокости гонений и гравитации соседних противоборствующих центров силы. Это практически «обнуло» горизонт принятия решений и сформировало склонность к посреднической деятельности, быстрому обороту, а также поиску возможностей промысла на регуляторных изъянах. Примечательно, что все эти поведенческие установки характерны для общностей с трансформационными дефектами, прежде всего деформированных морских кочевников – вида, который по совокупности географических и исторических факторов органичен для Восточной Европы в целом и Украины в частности. Наконец, для выходцев из «неморских» мусульманских стран характерен промысел, свойственный степным кочевникам – не требующий сложных навыков, прежде всего, рентно-ресурсного типа. В этих двух группах общин получили распространение хасидизм либо другие мистические течения и религиозные практики, культивирующие трансцендентный авторитет лидера, непререкаемость его личного примера и суждений по любому вопросу. Выходцы из них весьма востребованы на постсоветском пространстве, в Латинской Америке – в странах с доминированием ресурсно-силовой социальной матрицы, где предпринимателю отводится роль не инвестора, но доверенного управляющего и младшего партнера обладателя силы, а также безотносительно страны в отраслях с низкой антропологической продуктивностью.

В свете вышеизложенного нельзя пройти мимо следующего в высшей мере примечательного обстоятельства: к началу мировых войн XX века среди деформированных морских кочевников – прежде всего в Восточной Европе, в Средиземноморье и Причерноморье на всех смыкающихся континентах – проживало больше евреев, чем в лоне какого бы то ни было другого антропологического вида. В Западной Европе и Северноморье, где стремительно развивалась промышленность, преимущественный доступ к социальному лифту давало светское образование. В то же время, сама система образования не была рассчитана на массовый

спрос и расширялась постепенно, – более того, евреи обрели равные с местным населением права в основном в XIX веке, а фронтальная эмансипация пришлась на XX век. Кроме того, промысел, связанный с капиталоемкими, привязанными к месту производства у многих не вызывал доверия, мелкие ремесла вытеснялись крупной промышленностью, а в торговлю и финансовое посредничество протестантское население Европы было вовлечено достаточно широко. По совокупности этих причин значительная, все еще архаическая часть евреев предпочитала страны с обширным крестьянским католическим или православным населением и межеумочным расположением – удобным для посредничества между близлежащими центрами хозяйственной и силовой гравитации. При этом, понимая актуальные тренды, зажиточные семьи предпочитали отправлять детей для обучения в университеты Западной Европы.

Вместе с тем, можно выделить и некоторые существенные более или менее общие для всех евреев поведенческие особенности. Во-первых, оттесненность от ограниченных ресурсов территории – прежде всего земли, – а также незащищенность привязанных к ней ценностей имела следствием вытеснение евреев в сравнительно свободное пространство торговли и посредничества, которое с позиции других этносов выступает областью длинной дистанции. На протяжении большей части истории человечества эти виды деятельности выступали областью накопления богатства, а в эпоху модерна и вовсе стали областью концентрации премиальной стоимости, – это имело следствием тысячелетнюю мифологизацию власти и влияния евреев в массовом сознании, а также многочисленные репрессии, имевшие конфискационную подоплеку. Во-вторых, отсутствие укорененной традиции обладания силовым ресурсом формирует у всех метаархетипов этого этноса сравнительно более высокий, чем у соответствующих титульных наций, престиж знаний, – и это вновь область концентрации премиальной стоимости в наше время. По причине отсутствия опоры на силовой ресурс община как традиционная площадка социализации представляет собой протоформат кооперации для создания общественного блага, а не разновидность «присяги» какому-либо патримониальному субъекту, представляющему коллективные интересы вовне. В этой же связи общинная самоидентификация не «отнимает» субъектности у индивида и не вступает в противоречие с какой бы то ни было другой, внеэтнической или внеконфессиональной кооперацией в рамках другого периметра индивидов. Именно поэтому архетипически евреи преимущественно проявляют себя в соответствии с образом поведения титульных этносов стран проживания или происхождения и глубоко вплетены в их социокультурную ткань. С другой стороны, индивиды с разным имущественным положением склонны к транссословной солидарности, основанной на опыте равенства в незащищенности перед лицом силы.

Как известно, территория современной России в дореволюционный период преимущественно не входила в т.н. черту оседлости, т.е. разрешенный евреям ареал поселения, поэтому автохтонного архетипа здесь практически нет, однако достаточно широко представлены все описанные разновидности. Особенности положения евреев в российской империи и «рисунок» его постепенного преодоления – не в правовом смысле, но с точки зрения экономико-архетипической природы, заключающейся в поражении в праве доступа к ограниченным источникам стоимости в условиях ресурсного хозяйствования, – имеют много сходств с характерными для других угнетаемых в разное время слоев и общин, от крепостных до староверов. Во многом этим объясняется хоть и различная, но активная прореволюционная роль всех этих групп в событиях начала XX века – в городах, в войсках, в деревнях, в финансировании политической активности, впоследствии в административном управлении и силовом аппарате. С другой стороны, и постепенное ослабление режима «черты оседлости» вполне укладывалось в контекст последствий столыпинских реформ, общий для всего утесненного населения: в городах скопилось такое количество выходцев из безземельных крестьян, высвобожденных из сельскохозяйственного производства и из-под опеки общины, что удержание еврейского населения на провинциальной периферии не только не могло предохранить социальный и хозяйственный уклад городов, но и препятствовало инвестированию капитала в городскую промышленность и созданию новых рабочих мест. Однако есть и некоторые различия в промысловой специализации, скажем, староверов и евреев: в противоположность последним, первые в регионах архетипического становления самостоятельно оперировали силовым ресурсом, которым в том числе защищали землю и средства производства. Отсюда староверы пришли к нише долгосрочного инвестора в промышленность и институты общественного блага в городах страны в целом, в то время как евреи имели несколько большую склонность к отраслям,

использующим привлеченный капитал – финансовому, торговому и иному посредничеству, а также интеллектуальному и ремесленному труду.

В этой связи, показателен период репатриации в Палестину начиная с конца XIX века и последующего образования Государства Израиль, – когда еврейский народ впервые за два тысячелетия получил доступ к силовому ресурсу. Укорененное отчуждение от последнего стремительно обратилось в собственную противоположность – во всеобщую воинскую повинность, распространяющуюся на женщин, практически пожизненное владение оружием. Фактор перманентной внешней угрозы здесь стал важным катализатором выработки в исключительно мультикультурной среде коллективной идентичности – на основе ценностей модернистской общности короткой дистанции, модельной для экономики знаний. Это особенно примечательно на фоне того, что практически вплоть до распада Советского Союза выходцы из местечек Восточной Европы и Ближнего Востока с их заметными архаическими чертами составляли основу репатриации. Глубинные модернизационные процессы в израильском обществе лишь набирают обороты, вовлекая новые слои населения, – и наряду с постсоветской волной репатриации это делает страну наиболее быстрорастущим лидером экономики знаний глобального значения. Наконец, этому способствует и ограниченность территориальных ресурсов, – это помещает практически все население в ареал гравитации крупных городских агломераций. Публичные институты – как и многие виды хозяйствования – несут здесь ярко выраженные отпечатки коллективных, солидарных начал, а обширный пакет доступных благ является основой общественного договора. В целом, в характерных для евреев особенностях экономического поведения и социальной организации, в силу некоторого сходства причин появления, в той или иной степени можно рассмотреть органичные для населения Швейцарии и старообрядцев, отчасти скандинавов и русского севера. Однако с точки зрения когнитивных характеристик, по очевидным причинам, которые связаны с этнической историей евреев на всем ее протяжении, ни одна другая – даже гонимая – общность не имеет настолько ярко выраженных кочевых признаков, причем одновременно степных и морских. Среди таковых ассоциативность и алгоритмичность, вместе с тем экспериментаторство и познание от противного, путем отрицания, междисциплинарная и межкультурная медиативность, версатильность владения лингвальными формами и образными языками, наконец, даже прецедентный принцип талмудического мышления и права, который – наряду с влиянием английского мандата – наложил отпечаток на правовую систему Израиля.

Нельзя не обратить внимание на то, целый ряд указанных признаков характерен также для армян и Армении. Государственность армян – хотя бы в некоторых границах и в некотором статусе – не имела длительных прерываний как таковых, так что традицию владения силовым ресурсом здесь можно считать вполне укорененной. В совокупности с распространением автохтонных горных изолированных общностей и соседством с аналогичными иноэтничными это накладывает заметные архаические отпечатки. Более того, окончательное оттеснение к наименее благоприятному, горному ареалу обитания, оставившее за пределами титульной территории большую часть этноса, произошло сравнительно поздно в исторической ретроспективе и потому не успело привести к выводу армянского языка из активного оборота. Однако опыт многовековых преследований выработал у армян диаспоры схожие с евреями стереотипы рода занятий, характера промысла – посредничество различных видов, знания. Общинный, конфессионально окрашенный принцип организации социального оборота у армян диаспоры не препятствует открытой коммуникации, диффузии с населением стран проживания. Наконец, обострение экзистенциальной изоляции, в т.ч. военной, в постсоветский период запустило и в самой Армении процессы интеграции местного населения с первообразными архаическими и модернистскими установками, в основном в одной – двух городских агломерациях. Отсюда интеграционной платформой для общности становятся ценности модернистского сообщества короткой дистанции – сплоченного, но открытого внешней коммуникации. В рамках индустриальной парадигмы у страны отсутствуют какие бы то ни было заметные естественные конкурентные преимущества, – в этой связи ее хозяйственный оборот зависим от субсидий извне. В советский период в роли такого донора выступал союзный центр, в постсоветский – различные диаспоры и Россия, – отсюда институциональная архитектура общности принимала вид, характерный для донора, и вступала в противоречие с социальной. Однако в условиях высокого престижа образования и отсутствия рентных источников промысла, а также наличия

доступа к капиталу диаспоры, Армении можно считать весьма перспективной региональной локацией на карте экономики знаний.

Примечательно влияние, которое на этический код коренных конфессий Индии – индуизма, кришнаизма и пр. – оказало распространение образа жизни на основе «дикорастущего» пропитания. Здесь он связан не со скудостью или неплодородностью почв, как у степных кочевников, а как раз со сравнительным изобилием растительной пищи, чем вызвано распространение здесь вегетарианских догматических диет, равно как и исключительно высокая рождаемость. Это имеет свои отрицательные и положительные последствия. С одной стороны, эффект, идентичный деформации морского кочевника, здесь проявляется в экстремальном виде: возникает дефект трудовых навыков, которые у широких слоев населения обычно закладываются в сфере культурного выращивания продовольствия, и это отзывается ограниченной способностью использовать человеческие ресурсы в массовом производстве. Кроме того, климатические условия снижают до минимума притязательность человека к одежде, крову и быту в целом, – так что с точки зрения своих представлений о первичных потребностях жителю сельской местности не свойственна выраженная неудовлетворенность собственным положением (в этой связи, он «никуда не спешит»). Феномен устойчивости кастовой системы до наших дней, непроницаемости межкастовых барьеров, а также социальный статус неприкасаемых, вероятно, имеет отношение к такому эффекту «самоотстраненности» большинства, сложности вовлечения его в активную созидательную деятельность. По этой же причине не участвующие в извлечении стоимости гигантские слои парадоксальным образом оказывают сравнительно щадящее давление на социальную стабильность. Население неохотно вовлекается в осевую для индустриальной эпохи процесс урбанизации, – так что в протяженной стране с экстремально высокой плотностью населения парадоксально узок выбор гетерогенных городских агломераций, где можно воспользоваться социальным лифтом.

Вместе с тем, социум характеризуется высоким уровнем межличностного доверия и не образует «матрицы» с высокой силовой «токсичностью», характерной для тех кочевников, у которых доминирует «дикорастущий» способ добывания продовольствия. На фоне близости моря индивиды восприимчивы к передовым практикам и даже предприимчивы, существует наследственность постоянной коммуникации с другими цивилизациями. Сама архитектура кастового общества мало чем отличается от принятой в доиндустриальную эпоху повсеместно, выделяющей сословия на основе рода занятий и места в цепочке извлечения стоимости, – источники премиальной стоимости находятся под контролем различных центров силы, труд считается презренным и является уделом низших слоев, распространение знания является специализацией жреческой касты. Однако отсутствие витальной необходимости в деятельном труде приводит к тому, что слой трудящихся не является наиболее массовым, у подавляющего большинства населения отношение к жизни является просто созерцательным, притом в отличие от деформированных морских кочевников этот образ жизни может быть индивидуальным и не обязательно связан с участием в замкнутом сообществе праздных. Население не зависит от централизованного распределения и сравнительно удалено от центров силы, что приводит к очень высокому престижу знаний на всех уровнях, легкости их воспроизводства и обмена информацией, распространение получают массовые религиозные практики, направленные на самоуглубление индивида. Таким образом, социум обладает уникальной пластичностью и обучаемостью, поддается «формовке», в связи с чем Индия стала крупнейшим бенефициаром английского колониального проекта, усвоившим передовые культурные, технологические и институциональные образцы. В свете этого показательны выдающиеся успехи выходцев из Индии в карьере и предпринимательстве в наиболее передовых странах и отраслях. По этому и ряду других признаков – при всей разности первичных условий и укладов – можно усмотреть отдельные черты сходства этой социальной матрицы с характерной для степных кочевников равнинных мест, где основную массу населения составляют отчужденные друг от друга и податливые к внешнему влиянию индивиды. В таких условиях социальные лакуны для восприятия образцов извне и даже развития

автохтонного городского метаархетипа достаточно обширны, независимо от того, кем представлено элитное ядро – степным или морским кочевником. Очевидное различие двух видов, однако, сводится к наличию или отсутствию экстрактивного давления, которое испытывает основная масса населения со стороны такого элитного ядра. Кроме того, уникальное этно-религиозное многообразие на фоне отсутствия прямой «пищевой конкуренции» имеет следствием совершенно не присущую степным кочевникам способность вступать в горизонтальную кооперацию, способность находить общий язык и согласовывать интересы, сокращать эффекты длинной дистанции. В свою очередь, это выступает причиной беспрецедентной представленности выходцев из Индии в глобальном управленческом классе – много более обширной, чем сопоставимых по численности и амбициозности этносов.

При этом, аналогичные симптомы в странах Юго-Восточной Азии, с «иероглифическим» архетипом, имеют едва ли не прямо противоположные корни и следствия. Здесь крайне высокая рождаемость имела отношение к способу выращивания риса в условиях муссонного климата в долинах полноводных рек – массовому и трудоемкому, более того, на этом фоне рост популяции ускорялся в периоды появления новых сортов риса с повышенной урожайностью, а также адаптации ввезенных кормовых культур. Однако трудоемкость сельскохозяйственного производства вызвала распространение практики целенаправленной гендерной «селекции», – исторически она касалась новорожденных, но в позднейшие времена благодаря развитию технологий переместилась на эмбриональную стадию. Вследствие этого гендерный баланс заметно сместился в сторону мужской популяции, а рождаемость, в отличие от Индии и этнически родственных ей стран, пошла на убыль, наметилось резкое старение населения и повышение соответствующей нагрузки на экономику. Кроме того, выращивание риса является монотонным и однообразным, чем вызван укорененный и уникально развитый навык простого серийного труда, – именно он становится конкурентным преимуществом в индустриальную эпоху. В этой связи, густонаселенный мегаполис является довольно органичной проекцией «рисовой» социальной матрицы, «опрокинутой» в заключительную фазу уклада крупного, концентрированного производства – эру глобализации с характерным для нее профилем международного разделения труда.

Примечательно, что культура сельскохозяйственного производства явилась здесь фактором сохранения социальной матрицы степных кочевников, аутентичной для мест происхождения большинства этносов региона, – даже когда они достигли весьма благоприятной в транспортном отношении морской оконечности материка. Для всецело абсорбированного обеспечением витальных потребностей индивида не характерен запрос на отвлеченные занятия – диверсификацию производства, создание излишков, торговлю и накопление капитала, знания или социальные функции. Кругозор индивида традиционно крайне ограничен, престиж знания вызван его недоступностью, знание передается по вертикали и бытует в социальной связке с атрибутом силы. Отсюда проистекает представление о власти как добродетельной и меритократической, подозрение на злоупотребление властью воспринимается как позор и подрыв общественных устоев, может провоцировать социальные взрывы, что крайне нетипично для вертикальной социальной организации, бытуют духовные практики, сочетающие упражнения для ума и тела. Созерцательное, «недеятельное» отношение к жизни, проповедуемое доминирующими религиями, имеет причиной предосудительность самостояния и индивидуальных отличий. В этой связи, морской метаархетип в регионе имеет глубоко укорененные дефекты, ограничивающие склонность к предпринимательству, их устранение является исключительно длительным процессом. Эти особенности осложняют усвоение передовых практик и культурных образцов, делают социум в значительной мере герметичным.

В целом, весьма схожие с точки зрения стороннего наблюдателя архетипические признаки соответственно индийской цивилизации и «рисовых», «иероглифических», основаны на совершенно не похожих социальных и психологических модусах – образно «модусе расслабления» (восприимчивости, в

конечном эволюционном итоге горизонтальности) и «модусе напряжения» (герметичности, строгой вертикальности), чем обусловлена разница когнитивных характеристик и наиболее продуктивных сфер приложения. В этой связи чрезвычайно примечательно, в каких архетипических нишах представители этих антропологических видов чаще всего находят себе применение за пределами своих метропольных ареалов обитания. Первые чаще представлены в индустрии торгового, финансового и прочего посредничества, управлении – сферах, типичных для морских кочевников как наиболее близко знакомого им архетипического вида, – однако высокий престиж знаний и созерцательный образ жизни формирует также и качества, представляющие ценность в звене разработки технологий, где часто можно встретить выходцев из нижних сословий степных кочевников. В то же время, у вторых образованные представители чаще всего служат субституту городскому метаархетипу, – этому способствует склонность к специализации и тщательности, – прочие же, благодаря герметичному корпусу этических норм и высокому престижу силы, в известной мере воспроизводят уклад городских анклавов изолированных общностей.

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

4.1 Экономико-антропологическая эволюция.

Когнитивные и социокультурные характеристики экономических архетипов

Человек экономики знаний может принадлежать любому архетипу, однако является продуктом – и, вероятно, вершиной – процесса экономико-антропологической эволюции, которую индивид и его сообщество претерпевают под влиянием изменения условий бытования. Причины архетипических поведенческих различий имеют нейропсихологическую природу и по-видимому отражают особенности развития мозга, приобретенные в ходе приспособления человека к среде происхождения, решения типичных для нее задач. Условия такой среды непосредственным образом отражаются на архитектуре семьи как ключевого метаинститута и других социальных ячеек, в которых индивид проводит критическое количество времени в раннем возрасте, когда сознание обладает повышенной пластичностью: эти важнейшие микросообщества формируют эталонные представления личности характером взаимодействия внутри и вовне, прививаемыми ценностями, информационным фоном (см. ранее). В этом возрасте человек не воспринимает отвлеченные идеи как таковые, а извлекает ценности из корпуса поведенческих образцов, личных примеров для подражания или отторжения. Отсюда указанные сообщества, чутко улавливающие изменение базовых условий среды, выступают наиболее действенным преобразователем таких изменений в социальные установки. Однако в зарождении новых идей обычно участвуют не все взрослые, а лишь их наиболее «продвинутая» часть, – и даже оперируя таковыми декларативно, внутренне соглашаясь с ними, люди со сформированной системой ценностей и привычек не в состоянии в полной мере руководствоваться новыми идеями и технологиями в повседневной жизни. «Дефолтные» схемы поведения – т.е. те, которые по умолчанию, машинально первыми активируются при реагировании на вызовы, – соответствуют ранним установкам, и лишь если это позволяет отведенное время, поведенческий отклик переключается в более зрелый регистр. Отсюда детским поведением взрослых часто считается как архаичное и/или лицемерное, – и отстраивание от наблюдаемых привычек служит важным фактором отсека рудиментов прошлых укладов при смене поколений. Как уже отмечалось, ключевой нитью такой эволюции выступает снижение роли физической силы в обеспечении благосостояния и безопасности, – это приводит к «выравниванию» положения разнополых членов семьи и создает предпосылки к развитию навыков горизонтальной кооперации. В этой же связи, снижение цены ошибки делает возможным наделение посильными полномочиями разновозрастных членов семьи, что вызывает повышение уровня ответственности индивида и престижа знаний, – этому также способствует увеличение количества свободного от обеспечения витальных потребностей времени.

С каждым новым поколением эти и другие фундаментальные изменения служат эволюции социально значимых архетипических свойств: различные участки и элементы человеческого мозга, в особенности, синаптические связи, продолжают активно формироваться даже в весьма зрелом возрасте на основе частоты совместного использования определенных нейронов. Однако наиболее весомая часть самих нейронов возникает на эмбриональной стадии, – в связи с чем допустимо предположить и некоторую степень инерционности этой эволюции, устойчивости архетипических признаков. В частности, справедливо выдвинуть гипотезу, что наследственный характер имеет структура способностей человека, развитие которых стимулировалось или, напротив, обделялось в силу условий обитания общности происхождения человека на протяжении многих поколений. Эти способности определяют соответствующий каждому антропологическому виду когнитивный архетип и должны обладать чрезвычайной устойчивостью даже при смене условий и/или общности, – более того, они должны иметь отношение к физиологическим особенностям популяции, притом не только связанным с мозгом. В то же

время, приемы умственной деятельности и поведенческие установки, которые определяются именно синаптическими связями, формирует актуальная социальная среда, которая окружает человека в раннем возрасте, – поэтому изменение таковых происходит довольно стремительно, с некоторым временным лагом, отражающим смену поколений. В объяснение критичности первых двух десятилетий жизни логично предположить, что как реализация наследственных способностей, так и усвоение поведенческих установок должны быть обеспечены адекватным объемом биологического «материала», «носителя» – при этом, насколько известно, уже в весьма раннем возрасте все процессы роста в организме заметно замедляются. Среди прочего биологические характеристики объясняют то, что взрослые детально продумывают, но поверхностно воспринимают – т.е. не относят к себе самим всерьез – социальные и технологические новшества, испытывают обоснованное опасение, что не смогут поспеть за изменениями, сознательно или бессознательно стремятся их замедлить. Как правило, инновации для них не меняют модуса взаимодействия с окружающими, а также сформированных стереотипов успеха и неудачи, желательного и нежелательного. Отсюда технологические нововведения обусловлены сравнительной легкостью освоения и видятся способом перераспределить ресурсы времени прежде всего между хорошо знакомыми занятиями. Поведенческие, культурные и идеологические новшества и вовсе входят в социальный оборот в качестве декларации, «моды», – люди в них «играют», примеряя на себя соответствующие ролевые модели и лексикон, при этом не меняя реального образа жизни, смысла по-новому обозначаемых объемных понятий. Не ясно, насколько возраст «легкого усвоения», вместе с характерными для такового биологическими показателями, подлежит продлению – будь то естественным путем, как часть процесса увеличения продолжительности жизни, или каким-либо целенаправленным усилием. Если оставить в стороне нуждающийся в специальной компетенции вопрос о том, как увеличить располагаемую «мощность биологического носителя» в зрелом возрасте, то достаточно очевидным способом увеличить продуктивность мышления взрослого человека служит снижение необходимых для достижения качественного результата усилий. Разумно предположить, что основу для этого необходимо заложить в раннем возрасте путем освоения возможно большего круга доступных «языков мышления» – лингвальных, образных и пластических (включая цвет и форму), языков условных обозначений (математика, музыка и искусство в целом) и т.п.

Взаимосвязь физиологических особенностей с архетипическими способностями, включая когнитивные, – как и в целом учение об экономико-антропологических видах – нельзя понимать так, как это принято в вульгарно-бытовом обороте или медийном нарративе. Из этих различий не вытекает доступность каких бы то ни было областей человеческой деятельности для одних архетипов в большей степени, чем для других, – тем более ни в малейшей степени они не являются предпосылкой предопределенности места индивида определенного вида относительно другого в социальной иерархии. Они относятся к характерным для каждого архетипа, более или менее универсальным применительно к любой области – будь то личной или социальной жизни – подходам и приемам восприятия знаний, овладения умениями, препарирования, использования, развития и передачи таковых (см. ниже). Характерные для любого антропологического архетипа экономически значимые приемы могут составлять как преимущество, так и недостаток, – это зависит от сочетания времени (актуального способа производства) и места (общности актуального проживания).

Качество и глубина усвоения информации, ее трансформации в ценностные установки несопоставимо выше при неосознанном восприятии таковой, поэтому единицей «ценностной дискретности» следует считать поколение. Принятие решений преимущественно определяется установками, бессознательно присущими человеку, что, однако, не умаляет рациональности решений: даже если отдельно взятое решение обдумывается, это происходит в рамках уже сформированной системы ценностей. Система ценностей тем или иным образом отражает коллективный опыт общности, накопленный (по некоторой аналогии с принципом машинного обучения) на протяжении многих поколений на базе массива апробированных решений – от лучших до худших для заданных условий – вместе с их результатами, поэтому и причины перемены установок не могут по весомости уступать

вызвавшим их появление. Отдельно взятый индивид, как правило, также не обдумывает повторно задачу, успешно решенную ранее, а лишь обращается к «банку» усвоенных решений бессознательно.

В частности, важность бессознательного регистра мышления, среди прочего, по-видимому имеет непосредственное отношение к различиям в социальной роли мужчин и женщин. В современном обществе эти различия все еще несут на себе различимые, искажающие отпечатки архаического наследия – уклада с ведущей ролью физической силы в обеспечении витальных потребностей человека. В этой связи, – хотя гендерные различия действительно имеют физиологическую природу, – сложно определить, являются ли они биологически предопределенными или выработаны в результате соответствующего распределения социальных ролей, – отсюда насколько они могут меняться в будущем. При этом известно, что, в связи с особенностями строения мозга, женщины более склонны к аналитическому мышлению, – и это дает им преимущество в организации решения задач непосредственного выживания семьи и рода, а также работе, связанной с тщательностью. Вместе с тем, восприятие информации у женщин значительно раньше переходит в сознательный регистр, и чаще всего, в результате недостатка иного насущного материала для осмысления, отношение к себе окружающих становится первым предметом рефлексии. Более того, эта тема сохраняет центральное значение в дальнейшем, в преддверии и в ходе отправления репродуктивной функции, что снижает уверенность в собственных силах и готовность менять окружающую действительность в противовес приспособлению к таковой. Отсюда с ранней склонностью к анализу приходит боязнь нового (продуктивного риска) и лояльность старому (желание стабильности), – наиболее распространенной манифестацией этого является склонность отдавать предпочтение мужчине, который следует актуальному стереотипу немедленного материального успеха. Со временем проявляется приземленность применяемого в активном обороте понятийного аппарата, утрачивается наиболее ценный материал для выработки ранее не апробированных решений, мышление тяготеет к индуктивизму, экстраполяциям, целеполагание ограничивается тактическим горизонтом. В такой системе представлений сложным и растянутым во времени явлениям, развивающимся процессам часто не находится объяснения, а для решения задач с участием других людей не хватает убедительной аргументации. Этот дефицит с неизбежностью восполняется вплетением фактора сверхъестественного вмешательства в картину будничных событий, а также склонностью прибегать к манипулятивному воздействию на контрагента. В то же время, у мужчин оформление активного понятийного аппарата происходит довольно поздно, много ближе к естественному возрасту получения образования, поэтому такой аппарат учитывает более обширный объем абстрактной и конкретной информации. В этой связи, мышление мужчин характеризуется сравнительной стратегической глубиной, чаще встречается способность видеть в повседневности слом тренда, объяснить зарождение нового явления, стремление создавать прорывные знания. Однако на фоне менее выраженной склонности к рефлексии и к неуверенности реже проявляется готовность считаться с ценой достижения, образ действия отличается сравнительной прямолинейностью.

Таким образом, у женщин склонность к упорядочиванию, вероятно, чаще имеет в анамнезе стремление упрощать явления до комфортного для сложившегося понятийного аппарата уровня, – в то время как у мужчин эта склонность чаще проявляется в виде системности мышления, стремления связывать между собой различные элементы чрезвычайно нюансированного понятийного аппарата. Поведенческие проявления этих различий зачастую создают обманчивое впечатление об истинной природе гендерных психологических особенностей. Так, конкретность и приземленность, стремление все попробовать «в деле», замеченные за мужчинами, требуются им для самоорганизации на фоне весьма разнообразных, зачастую противоречивых или нереалистичных желаний, страстей, мечтательности. В то же время, внешняя возвышенность женщин часто служит способом коммуникации с индивидом противоположного пола, выяснения его истинных намерений и пригодности к роли опоры семьи на фоне довольно четкой и обычно вполне приземленной собственной мотивации, – мужчины же склонны

перенимать такую манеру общения, ошибочно принимая ее за привлекательную для партнера. В этой связи, по мере возрастания опыта построения отношений с противоположным полом, мужчина тяготеет к прямому или косвенному усвоению, следованию общеподобающему рецепту немедленного материального успеха, – и это оставляет «за бортом» дальнейшей жизненной траектории амбициозность, стремление пробовать неизведанное. Несомненно, межполовые отношения тем самым выступают одним из наиболее мощных «ретрансляторов» социальных стереотипов, выполняющих, с одной стороны, функцию стабилизации неформальных институтов, с другой – придающих инерционность вектору общественного развития, как в положительном, так и в отрицательном смысле.

Если говорить о поколениях «исхода из модерна», несущего на себе архаические отпечатки, то из вышеизложенного справедливо заключить, что более раннее начало обучения, вероятно, могло бы обеспечить детям женского пола итоговое преимущество по сравнению с детьми мужского пола, – более того, должно рассматриваться как магистральный способ преодоления гендерного неравенства. Это предполагает переход к более вариативной системе образования на всех уровнях, от начального до высшего, – когда сам пользователь в каждый момент времени определяет сложность курсов и соответствующий такой сложности квалификационный грейд. В этом контексте следует рассматривать роль дистанционного обучения, которое позволяет вынести за периметр офлайн-системы образования овладение стандартными и обязательными навыками, отнеся их к сфере ответственности обучаемого и его семьи, – в постиндустриальном обществе такое размещение свободного времени становится значительно доступнее для взрослых и допускает материальное возмещение со стороны общества. В этом случае сферой ответственности офлайн-образовательных учреждений становится развитие навыков нестандартного, творческого мышления, социальных и прочих «мягких» навыков и т.п. – сообразно уровню сложности ранее пройденной дистанционной подготовки.

В свете опоры индивида на «банк» лучших решений, оценки одним индивидом решений другого являются искаженными в той или иной степени, поскольку не опираются на всесторонний учет обстоятельств оцениваемого. Более того, ценности и практики, типичные для общностей с отличными условиями, не могут автоматически транслироваться в собственные, хотя стимулируют выработку мер по созданию либо, напротив, предотвращению возникновения схожих условий. В свете этого оценка поведения человека как рационального и нерационального сомнительна: человеческий мозг является биологическим устройством такой степени сложности и, вероятно, совершенства, что основанием сравнительной оценки качества решений этого устройства у любой пары индивидов не может служить сравнение достигнутых ими объективных результатов или тем более развитости их общностей. Таким образом, исходя из заданных условий любое поведение индивида является субъективно рациональным с его точки зрения, отличная же оценка, вероятнее всего, основана на ограниченном представлении о причинах этого поведения, а коррекция такового может быть достигнута лишь путем сопоставимого по интенсивности воздействия на указанные причины. Наконец, объем тех возможностей мозга, которые оценивающий в состоянии использовать осознанно, несопоставимо мал в сравнении со всей совокупностью таких возможностей, в полной мере задействованных оцениваемым при принятии решений. Отсюда если в рамках некоторой общности редко встречается определенный модус поведения, то это может говорить лишь о недостаточности оснований считать, что в типичных для этой общности условиях такое поведение является оптимальным, – это может соответствовать действительности или быть следствием недостаточной информированности. Уместнее выглядит вопрос о том, подходит ли конкретный человек, исходя из его установок, в качестве ответственного за решение тех или иных коллективных задач, – однако и в этом случае общность в целом располагает всем необходимым, чтобы пресечь нежелательные для нее результаты: общность, как и любую систему, характеризует не ошибка, а реакция на нее. По этой причине в конечном итоге успешный (т.е. сумевший реализовать задуманное, в безоценочной коннотации) делегат всегда отражает равнодействующую коллективных представлений о желательном, в т.ч. когда достигнутые результаты и даже мотивы ретроспективно получают отрицательную оценку – например, историческую, – пока такие результаты не дезавуированы общностью

деятельным способом. Вместе с тем, мера и степень коллективной этической ответственности общности тесно связана со зрелостью таковой. Для архаического сообщества коллективная ответственность является нормой взаимоотношений как внутри, так и вовне, однако на деле эта особенность связана с фронтальным индивидуальным инфантилизмом. Напротив, по мере удаления от архаического состояния расширяется область индивидуальной ответственности и субъектности, отсюда нарастает и уровень взвешенности коллективного действия, поэтому мера коллективной ответственности также должна считаться все более полновесной. В более широком плане это поднимает вопрос о соотношении предопределенности и свободы выбора, однако он является предметом не столько дискуссии о социальном поведении или этике, сколько нейропсихологического исследования.

Архетипический – как и любой другой – поведенческий профиль формируется из корпуса позитивных («любви», стремления соединиться с объектом) и негативных («страха», стремления отгородиться от объекта) желаний, а также образа действий, который образуют методы достижения желательного и предотвращения нежелательного. Архетипические поведенческие и когнитивные различия следует прежде всего рассмотреть с точки зрения разницы в субъективном восприятии двух ключевых параметров, пространства и времени, – оно тесно связано с антропологическим портретом вида в целом. Так, важнейшей предпосылкой комплекса отличительных характеристик вида является устойчивость на бессознательном уровне связи между приложенным усилием и полученным результатом, более того, сохранение связи этих двух точек на протяжении соединяющего их временного отрезка. Когнитивная устойчивость цепочки от планирования к реализации плана имеет узловое значение в качестве не только деловой, социальной, но и повседневной, бытовой характеристики индивида и вида. Осознание связи между действием и его последствиями накладывает отпечаток также на соотношение намерений и слов, соответственно весомость последних: они могут выступать манифестацией реального намерения или способом «поддержать беседу» – «застольным тостом», который не следует воспринимать всерьез. Отсюда даже в первом приближении очевидны фундаментальные причины различий, вызывающих модернистское и архаическое притяжение – соответственно между городским и бездефектным морским метаархетипами, несущими на себе отпечатки культурного выращивания продовольствия, с одной стороны, а с другой – субконтинентальными и деформированными морскими кочевниками, у которых такая культура не является ярко выраженной. В неблагоприятных условиях урожайность зависит не от приложенных усилий, а от обстоятельств непреодолимой силы, труд на земле не избавляет от необходимости «дикорастущего пропитания», более того, скудные плоды могут быть отчуждены превосходящей силой, так что выживание требует терпения, а также комплекса качеств, которые скорее принято ассоциировать с находчивостью, изворотливостью. В чрезвычайно благоприятных условиях выращивание продовольствия не требует выдающегося прилежания, совершенствования навыков и несколько напоминает «дикорастущий» способ пропитания. Таким образом, у общностей с трансформационными дефектами благополучие не ассоциируется с собственными усилиями, а приписывается если не лихому поведению, апеллирующему к архетипу силы, то случаю, – поэтому и экономически значимые поведенческие установки схожи и несут на себе отпечатки силовой «токсичности» среды.

В сочетании с неблагоприятными условиями эффект длинной дистанции заставляет индивида видеть в свободе не столько ценность, сколько неприемлемые риски, зато к меняющейся области дозволенного готов гибко адаптироваться, принимая действие «над собой» за опеку, предполагающую наличие у активной стороны встречных обязательств. Индивид, лишенный силы, заведомо мыслит себя объектом, роль же субъекта приписывает конкретному или воображаемому актору, стечению обстоятельств и т.п. («надо попросить» или «само придет»), целиком принимает предлагаемые обстоятельства или – если может – целиком отвергает их («вкусно» – «не вкусно»), но никогда не делит «предложение» на составные части, стараясь улучшить не устраивающие элементы, и ждет нового

неделимого «предложения». Происходящее вокруг объясняется на основе смутных ощущений, мифологического образного ряда, поскольку причинно-следственная связь обычно не верифицирована опытным путем, – и это является питательной почвой социального инфантилизма. Индивид не принимает на себя ответственность за поступки, поскольку единица дискретности временного континуума имеет вид точки, а не отрезка: ему представляется, что все последствия совершенного исчерпаны моментом совершения, если обратное не подтверждено собственными ощущениями многократно. Отсюда для эмоционального состояния человека, не находящего смысла и реализации в производительном труде, характерен фоновый, не связываемый с какой-либо конкретной причиной комплекс вины, неизбежной «греховности», что рождает постоянную потребность в компенсаторном «празднике», ярких событиях. В условиях мягкого климата витальные потребности человека более или менее обеспечены, так что беззаботный образ жизни в целом даже может его устраивать, в то время как на фоне неблагоприятных природных условий человек постоянно испытывает тревожность, неуверенность в завтрашнем дне.

В этих различиях также легко усмотреть закономерность, – если в модернистском сообществе поведению индивида присущи характеристики взрослого человека, то в архаическом преобладают детские. В общности с ограниченными возможностями для самореализации индивид часто предается воспоминаниям о счастливом детстве под сенью строгих, но любящих родителей как лучшим времени жизненного пути, что выливается в запрос на аналогичного субъекта в социальной архитектуре. В контексте этого образа индивид испытывает комфорт, лишь сталкиваясь с активным действием извне в отношении себя, побуждающим и даже повелевающим, но свидетельствующим о его нужности, – в этот контекст вполне укладывается даже доброжелательное наказание за ослушание или озорство («для его же блага»), которое, впрочем, отнюдь не уменьшает охоту к таким поступкам («ребенку можно»), – а предоставленность самому себе, волю он считает как сиротство, ненужность, брошенность на произвол судьбы. При этом в реальном носителе патримониального титула могут видеть воплощение этой мечты или, напротив, «жестокотца», – в этом случае возникает иллюзия, что для облегчения своей участи достаточно его заменить на «добротца», – наконец, нечто всесильное настолько, что предпочитают избегать встречи. Однако во всех случаях сказывается потребность человека в трансцендентной точке отсчета, неважно, в положительную или отрицательную сторону, незыблемом «якоре», по отношению к которому можно определять свои социально-поведенческие координаты, стремясь приблизиться к нему или удалиться от него, одобрять или осуждать. Даже моментальное устранение силового подавления не избавляет от потребности в такой точке отсчета, – и это означает невозможность выступать точкой отсчета, иначе говоря, предпринимать активные действия «ради себя самого», а не «ради родителей». В этом плане самостоятельного, неспровоцированного действия – пусть и такого, которое не требует транзакционного взаимодействия, в одиночку – парадоксальным образом скорее можно ожидать от более атомизированного индивида: в его мировосприятии единственной «реальной точкой» выступает он сам, в крайнем случае кто-то из близких членов семьи. Отсюда архаическое сообщество претерпевает устойчивую модернизационную трансформацию лишь под внешним влиянием, – когда первоначально роль «отца» принимают на себя носители модернистских поведенческих установок, обладающие лидерскими качествами, но не испытывающие потребность использовать таковые с целью подавления.

Поскольку феномен социальной психологии степных кочевников проистекает из архетипа отношений оккупанта с оккупированным, он может быть иллюстрирован аналогией неблагополучной семьи, в которой взрослый мужчина склонен к бытовому насилию по отношению к супруге. При этом для достоверности аналогии необходимо, чтобы последняя несла основную тяжесть материального обеспечения семьи и ведения хозяйства, однако и супруг обеспечивал сравнительно небольшую, но стабильную часть общего достатка, без которой женщине не обойтись. Нижние сословия степных кочевников в этом случае играют роль детей, поскольку с точки зрения социального поведения они склонны воспринимать себя в качестве инфантов с ограниченной дееспособностью, реакция которых на поведение отца разнится. Так, один

принимает его сторону, более того, видит в нем свою ролевую модель на будущее, при этом положение матери считает неизбежной частью слабого, которая предстоит и его будущему партнеру. В то же время, другой пытается найти в доме укромный угол, где можно скрыться и предаться собственным занятиям (атомизироваться), при этом попутно он усваивает отторжение к созданию прочных межличностных связей. Наконец, третий вступает за мать и пытается прогнать отца из дома, более того, и в будущем в личных отношениях предпочтет доминантного («взрослого») партнера, который не даст с собой обращаться неуважительно. В социуме с силовой «токсичностью», однако, проблема заключается в том, что «взрослый» в принципе склонен подавлять, – так что и «борец за свободу» в конечном итоге «вознаграждается» за усилия воспроизводством отношений доминирования-подчинения. Более того, в приведенном примере именно мать осаживает заступника, поскольку инфант – в отличие от мужа – не в состоянии обеспечить женщине необходимую ей поддержку. В этой аналогии другие антропологические виды выступают в роли взрослого мужчины, который претендует не только избавить женщину от насилия, но и предложить ей себя в качестве супруга в рамках взаимно уважительных отношений – в качестве надежного кормильца и отца ее детей. В России наиболее массовым видом, для выходцев из которого органична именно последняя роль, выступают общности старообрядческого генозиса или испытывавшие сильное влияние таковых.

Между тем, совершенно непродуктивно относить инфантилизм степных кочевников на счет дефекта добропорядочности, добродетельности: он основан исключительно на характере типичных для общности задач и коллективном представлении о лучших способах их решения – часто «лазейках», поскольку нормой бытия является вполне сознательное попадание в ситуацию, не имеющую «системного» выхода, «если поймают». В этой связи, смена установок также обусловлена устойчивым изменением условий и/или обновлением «банка» задач, но, что не менее важно, выработкой «банка» новых решений, которые верифицированы в рамках этой же общности на достаточном массиве успешных опытов. Более того, при условии таких перемен находчивость, развитое воображение и богатый эмоциональный аппарат, обязанные первообразным недостаткам среды обитания, превращаются в неоспоримое преимущество по сравнению с другими видами – сравнительно схоластичными, в основном интересующимися знанием с целью непосредственного применения, в необходимом для этого объеме. Восприятие окружающей действительности «в пассивном залоге» повышает чувствительность к окружающей среде до такой степени, что объемы получаемой индивидом информации существенно превышают способности ее аналитической обработки. Приученный принимать заданную форму индивид блистательно имитирует внешние признаки до деталей, при этом наполняя предложенный «сосуд» привычным содержанием, – и этим способен долгое время вольно или невольно вводить в заблуждение представителей других архетипов, которые в случае «разоблачения» склонны видеть в этом корыстный умысел, намеренный обман. Степные кочевники эффективно заимствуют, при этом им свойственно «слепо» следовать пошаговой технологии наблюдаемого успеха в расчете на аналогичный результат – без исследования причин жизнеспособности копируемого решения в общности происхождения, сравнения условий бытования таковой с собственными (своего рода «эффект карго-культ»), так что следствием неизбежного разочарования становится идея «особого пути». Проявить инициативу им сложно, равно как и придумать новое без наводящего воздействия или хотя бы вопроса, – однако в результате «пробуждающего» импульса накопившаяся неосознанно усвоенная информация необычно часто дает выход в виде внезапных для самого индивида и окружающих озарений. Впрочем, неожиданность – как и накопленная информация – не всегда оказывается приятной, что относится как к межличностным отношениям, так и к «волнам пассионарности» общности в целом.

Восприимчивость степных кочевников к внешней информации обостряется архетипическим знакомством с гранью жизни и смерти как бытовой нормой, – с одной стороны, человек испытывает к этой грани неосознанное любопытство вместо характерного для других видов «животного» страха, с другой же стремится сузить область сознательного отношения к действительности («отключать голову»). По этой причине когнитивный аппарат человека задействует все доступные ему способы учета полученных сведений, при этом выработанный результат также лишь отчасти препарирован для внешней

коммуникации и стороннему наблюдателю может не представляться убедительным, однако для самого человека служит наиболее надежным основанием для принятия решения. Искусственный тест на проверку знаний (экзамен) не показателен в качестве способа оценки истинной глубины и качества усвоения информации. Более того, степные кочевники довольно часто считают специально устроенное испытание как проявление силы в отношении себя и показывают результат, искаженный в лучшую или худшую сторону, а усвоенный лишь для тестирования материал в значительной степени после перенесенного переживания вытесняется из сознания. В то же время, у индивидов из смежных со степными кочевниками изолированных общностей мобилизация, напротив, способствует проявлению сильных сторон и достижению искомого результата, поскольку открытое испытание силовых качеств является для них нормой – стереотипным, общедоступным и признаваемым способом проявить личную доблесть, снискать признание. Как отмечалось, с антропологической точки зрения указанным общностям тождественна силовая корпорация степных кочевников, с которой у основной массы индивидов этого вида связано негативное ожидание – ожидание насилия. В этой связи, в противоположность изолированным общностям, степные кочевники наиболее полно задействуют воспринятые сведения в неспровоцированном случае жизни, – когда знания необходимо применить на практике. Атомизация, замкнутость в ближнем кругу, страх перед «закономным миром произвола стихий» делает выразительный язык степного кочевника вовсе невербальным либо образным, в противовес логическому у других видов, – и в этом он способен достичь беспрецедентных высот. Речь здесь может идти о художественных метафорах или условных математических обозначениях, об изделии, изготовленном без разделения труда, соответственно вне коммуникационного взаимодействия, и т.п. Мышление образами также подразумевает, что достижения не всегда основаны на таковых у предшественников, часто даже нарушают цепь непрерывного развития, – скачкообразный модус у этого вида свойствен также и социальному развитию общности в целом. Более того, требования академической администрации к преемственности здесь отнюдь не всегда преследуют добропорядочные цели, – как и в любых аспектах общественного устройства степных кочевников, это часто свидетельствует о возникновении вокруг определенной школы локальной корпорации ограниченного доступа, которая в целях консервации собственного положения требует «присяги на методическую лояльность» в обмен на вход, что на практике зачастую означает отказ от притязаний на новизну.

Этот набор поведенческих свойств резко контрастирует с характерным для других видов. Во-первых, так же как и в социальном развитии, для них характерна преемственность в развитии знаний и навыков, притом эта особенность не столько следствие норм и стандартов, сколько сопутствует логическому типу мышления, который требует опоры на отправную точку – хотя бы и для целей отрицания. Во-вторых, отсюда прорывное знание, как правило, представляет собой результат поступательного накопления нового и перехода накопленного в новое качество, так что это не встречает сопротивления академического истеблишмента, – новизна здесь привычна, более того, необходимость заимствовать рассматривается скорее как негативный индикатор, свидетельствует об упущенной возможности. Наконец, в-третьих, информация структурируется индивидом уже в момент усвоения, поэтому практически подготовлена к обработке и передаче методом логического изложения, – однако именно по этой причине утрачивается значительный объем важных деталей первоначального сообщения, требующих более нюансированной кодификации. В этой связи, городской метааретип нуждается в неоднократном повторении исходных сведений для детализированного усвоения и анализа. В то же время, морской кочевник, в ходе своей «навигации» сталкивающийся с чрезвычайным антропологическим разнообразием, привычен редуцировать информацию до необходимой для принятия решения, поэтому унифицирует ее посредством количественно измеримых критериев. Как правило, контрольные показатели призваны характеризовать интересы связанных с данной информацией людей,

контрагентов сопутствующего транзакционного взаимодействия, – прежде всего ожидаемую ими выгоду или иные измеримые характеристики предмета сообщения.

Примечательно, что только для капиталоемкой индустриальной эпохи принцип конечного временного горизонта служит шаблоном мышления и принятия решений. Последние в этой парадигме основаны на увязке количественных параметров действия в настоящем и количественных параметров отдачи в будущем, – в общем случае эта увязка призвана привести систему критериев принятия решений к показателю отдачи на капитал. Эта парадигма оппонирует доиндустриальной эпохе, когда стоимость извлекалась не столько созданием ценности, сколько ее присвоением, – поэтому в городе для человека преобладающей временной горизонт в качестве когнитивного инструмента не характерен. Однако последнее справедливо и в отношении некапиталоемкой постиндустриальной эпохи, когда решения принимаются в расчете на общественное благо, притом уровень допустимой ошибки сознательно повышен, – это является проекцией ключевой роли знания в создании общественной стоимости, соответственно признания ошибки разновидностью добавленной ценности. Тем самым временной горизонт остается уделом наиболее простого производства, которое не может претендовать на создание премиальной стоимости.

Другим критерием препарирования такой трансформации отношения к временному горизонту может являться цена ошибки. В доиндустриальную эпоху она является запретительной и практически равна жизни, поэтому индивид решается на действие только при условии сравнительной безрисковости такового, в пределе гарантированной силой. В индустриальную эпоху цена ошибки материальна, поэтому ее последствия характеризуют количественные параметры. Наконец, в постиндустриальную эпоху цена ошибки ничтожна, поэтому индивид может позволить себе легкомысленное отношение к ней. Отсюда видно, что в доиндустриальную и постиндустриальную эпохи для человека характерен инфантилизм сродни детскому в попытке познать неведомый мир, однако противоположна реакция на его любознательность «взрослого», т.е. социума – соответственно «запрет всего» и «разрешение всего».

Не менее весомыми являются предпосылки архетипических характеристик, связанные с различным субъективным восприятием видами физического пространства и населяющих его людей, соответственно личного пространства. Так, природные и устойчивые антропогенные факторы, требующие коллективного реагирования, разделения рисков и ответственности, а также сравнительно небольшое пространство, приходящееся на каждого индивида, – как правило, это относится к городским формациям, – приучают людей рассчитывать друг на друга, вместе с тем предъявляют требования к собственному вкладу в общее дело. Это побуждает к специализации, разделению труда, т.е. создает условия для формирования поведенческих установок городского метаархетипа, характеристики которого внутри общности проявляют также и «артельные» морские кочевники неблагоприятных мест. Индивид воспринимает ближнего как опору и готов выступить для него в аналогичном качестве, а ближайший источник опасности находится на значительном удалении, так что сравнительно небольшое физическое пространство не ущемляет его личного суверенитета. В то же время, разреженное пространство, в котором каждый имеет суверенитет над значительным ареалом обитания – благоприятным и защищенным одновременно – повышает самодостаточность индивида. Тем самым снижается как потребность в помощи других, так и – в силу ограниченности опыта взаимодействия – доверие к ним, по меньшей мере, появляется потребность держать под контролем их мотивы и действия при совместной деятельности, быть готовым к защите собственных интересов. Лишь в одной стране мира – США – такие условия формируются естественными характеристиками внутреннего пространства, в то время как в Великобритании, являющейся другой цитаделью бездефектных морских кочевников, этот вид развился опытом заморской торговли, т.е. постоянной навигацией «на открытых просторах», вызванной интересом к новым возможностям, а не желанием осесть. У степных кочевников с их крайне низкой плотностью населения глубоко развит комплекс одиночества, уединенность, который лишь слегка притупляется по мере нарастания интенсивности общения. Тревога, вызванная страхом оказаться наедине с трудностями, становится фоновой, индивид стремится не к специализации и тщательности, а к универсальности и беглости, которые могут в минимально необходимом объеме выручить «во всех случаях жизни». Единственной надежной, не фантомной реальностью и в прямом, и в психологическом смысле является

дом-крепость (зона комфорта), а периметр доверия сведен к домочадцам. Находящееся за этим периметром считается областью запретительных опасностей, разгула превосходящей стихии – природной и силовой, даже если речь об индивиде, социально располагающемся по горизонтали: в условиях скудости он воспринимается как «пищевой конкурент», который к тому же может оказаться ближе к субъекту силы. Наконец, для быта изолированных субконтинентальных общностей и деформированных морских кочевников характерно массовое совместное бездеятельное бытование мужской популяции, поэтому личное пространство как таковое отсутствует, индивиды интернализированы социально герметичной общностью, враждебной к отличиям.

Отсюда индивиды разных метаархетипов по-разному трактуют область своей ответственности в цепочке создания ценности. Так, морские кочевники считают таковой прямым и адекватным образом оплачиваемую работу, в то время как для городского метаархетипа характерна трактовка своей профессии не только как источника средств к существованию, но и как «общественной доверенности». Миссия у последнего является обстоятельством более высокого порядка, чем то, составляет ли конкретный случай предмет непосредственной, формальной ответственности индивида, – отсюда и источником оплаты прежде всего понимается общество в целом и лишь затем конкретный работодатель как его часть, так что профессиональный долг препятствует применению знания вопреки общественному интересу. Степные кочевники, напротив, неосознанно стремятся изыскать причины, почему конкретный случай не относится к их ведению, оправдывающие уклонение от ответственности. Наконец, изолированные общности и деформированные морские кочевники охотно «занимают свое время» коллективным участием в разрешении любых дошедших до их сведения дел, однако, как правило, не обладают минимальной квалификацией к этому, поэтому стремятся синтезировать «верное решение» на основе скудных сведений многочисленных участников «разбирательства».

Предпосылки, отличающие когнитивные и поведенческие особенности архетипических видов, также имеет смысл рассмотреть в разрезе оппозиции оседлых и кочевников. Так, образ жизни кочевых метаархетипов предполагает разнообразие впечатлений, в то время как оседлых – постоянство окружающей среды, при этом в случае городского эта среда разнообразна сама по себе, а в случае сельского – гомогенна. В условиях оседлого бытования индивид, как правило, опирается на собственный опыт и обменивается им с другим, но, как правило, связанным с аналогичной средой обитания, сведения об окружающей действительности накапливаются и возрастают планомерно, их обширность определяется степенью гетерогенности среды. У кочевника время для обустройства для выживания на новой местности всегда ограничено, при этом в среде обитания морского метаархетипа, как правило, достаточно оседлых жителей, поэтому он может опереться на собранные у других сведения, воспользоваться услугами профессионала или перевезти такового от одного места «стоянки» к другому. Степной кочевник удален от очагов цивилизации, поэтому вынужден быть наблюдательным сам, мыслить ассоциативно, чтобы максимально быстро применять накопленные в предыдущем месте обитания знания к другой среде. Он все делает самостоятельно, но в единичном экземпляре, постоянно переключает внимание с одного занятия на другое, поэтому обладает исключительным кругозором и уникальной изобретательностью, но ни в какой отдельно взятой области не достигает совершенного качества конечного продукта. Специализация не является для него привлекательным способом самореализации, однако вынужденный характер кочевания, желание осесть отзывается у многих представителей этого метаархетипа рефлексией по поводу собственной «неосновательности». При этом, степной кочевник обладает способностью овладеть любой областью знаний более комплексно, чем индивиды других метаархетипов, однако не путем углубления, а лишь по мере обретения опыта междисциплинарных сопоставлений и перехода количества неоднородной информации в качество, поэтому в развитом состоянии его знания всегда являются разносторонними. В некотором роде можно утверждать, что у этого вида специалист, который не является универсальным и преподносит себя как

узкого, с высокой вероятностью не обладает глубокой компетенцией также и в отдельной сфере. Наконец, самодостаточность выступает для него фактором независимости, поскольку в сословном обществе, где равноправный обмен ограничен, любая форма зависимости становится разновидностью силового влияния и источником ренты, причиной смещения вниз по сословной лестнице.

Модус сообщения информации степному кочевнику на сознательном уровне должен быть разносторонним в каждый момент времени – т.е. изоморфным модусу восприятия импульсов извне в неосознанном режиме, который не предполагает «фильтрации» и является для этого вида приоритетным. Навязывание узко профилированных сведений вызывает безуспешные попытки «переключить» сознание в дефективный регистр, в связи с чем индивид испытывает комплекс ущербности, который может на тот или иной промежуток времени привести к дисфункции мыслительной деятельности и даже каких-либо физиологических процессов. В этой связи, наиболее деструктивным является эффект взаимодействия нижних сословий этого вида с силовой корпорацией: в основе движения по силовой вертикали лежит отрицательный отбор, а не меритократические критерии, поэтому вышестоящее лицо огораживает собственное неосновательное положение, стремится сузить поле компетенции и информированность подчиненного, исключить его творческий вклад в результат и повысить автоматизм исполнения предписаний. Пример «рисовых» общностей дает представление об экстремальных результатах специализации («когнитивной оседлости») степных кочевников на протяжении многих поколений: вследствие этого у замкнутого в себе индивида, для которого функционирование в бессознательном состоянии является нормой, развиваются навыки машинального типа. Не будучи склонен к декомпозиции, анализу, он превращается в человека «одной операции», «одной функции», утрачивает способность усваивать отвлеченные сведения и продуктивно взаимодействовать, образовывать какие бы то ни было горизонтальные связи – т.е. формирует общность экстремально длинной дистанции. Обучаемость существенно снижается, поскольку сведения скорее механически запоминаются («зазубриваются») и воспринимаются как навязанные, поступают с силовым воздействием, – отсюда наставник архетипически выступает частью силовой корпорации. В этой связи, склонность к участию лишь в санкционированной активности и лишь в гомогенной среде «своих» отнюдь не является признаком короткой дистанции и установки на коллективное действие. Однако справедливо и то, что точное знание каждым членом популяции собственной функции и массив «запасных игроков» формирует особый тип взаимодействия – напоминающий поведение массовых популяций биологических видов и основанный на полном отказе от индивидуальной субъектности в пользу трансцендентной, корпоративной. Ради сохранения и преуспевания популяции любым из ее членов – даже высокопоставленным – можно пожертвовать, более того, замена выбывшего осуществляется незамедлительно и не должна вызывать даже малейшего прерывания в обеспечении жизненно важных функций. В таких условиях самостоятельность внутри общности – равно как и взаимодействие с обладающим гибким мышлением «чужим» – вносит в транзакционное пространство запретительный уровень сложности, непредсказуемости, неопределенности, выступает источником опасности. Отсюда «машинальный», «специализированный» тип степного кочевника утрачивает еще одно преимущество своего аутентичного антропологического вида – способность к деархаизации под внешним влиянием, однако сохраняет склонность имитировать практически любой модус поведения, если он его источник одновременно считывается как центр силы.

Показательно, что беспрецедентные усилия «рисовых» стран по развитию своих технологических экосистем дают лишь ограниченный эффект, – указанные формации основаны исключительно на эффекте короткой дистанции и свободе горизонтальной коммуникации. Этот тезис справедлив до такой степени, что даже модернистские сообщества длинной дистанции, такие как мегаполисы бездефектных морских кочевников, не могут служить подходящей социальной гетероструктурой для технологических экосистем, с чем связано зарождение вынесенных пригородов – университетских кампусов с типом социальной среды, напоминающим характерный для городского метаархетипа.

У «обычных» степных кочевников такой «машинальный» когнитивный тип также встречается, но не в крайнем проявлении и без истовой дисциплины, а как результат непреодоленной атомизации – отсутствия достаточно разносторонних занятий, которые способствовали бы раскапсуляции индивидуального сознания. Чаще, однако, ввиду ограниченной востребованности производительного труда индивид, напротив, в высшей степени восприимчив к нестандартной информации, при этом обладает ограниченными трудовыми навыками и низкой дисциплиной. Более того, наиболее способные лишь пользуются вверенной узкой сферой ответственности, чтобы «достроить цепочку», так что в итоге разделение звеньев по компетенциям оборачивается конкуренцией вполне универсальных звеньев («все могут всё»). При этом возникновение горизонтальной кооперационной цепочки между звеньями, которая могла бы существенно сократить транзакционные издержки, предотвращается первичностью вертикальных транзакций в этом пространстве, так что «круг атомизации» замыкается. Эта совокупность качеств разрушительна для зрелого этапа развития любой организации, но идеальна для стартового, так что «время степного кочевника» приходит именно с экономикой знаний: в рамках этого уклада экспоненциальный прирост стоимости приходится на ранние стадии жизненного цикла технологии. Кроме того, барьер входа на этом этапе ничтожен и может быть «взят» без патримониального донора, коллектив состоит из небольшого количества людей, хорошо знакомых лично, а силовая корпорация не может присвоить результаты и удержать их стоимость, что размывает основу ее могущества.

При обмене конкретной информацией о себе степной кочевник довольно скрытен, поскольку опасается поражения в сословно-иерархическом положении, – и даже «рассказав все», старается оставить впечатление недосказанности («главного не сказал»). Морские кочевники ограниченно открыты к такому обмену – стараются не оттолкнуть контрагента, но и не выдать без нужды ценную информацию, не отклоняться от стандартных понятий и оборотов речи в чрезвычайно гетерогенной среде; в целом семантическая ткань языка, по сравнению с другими архетипами, здесь имеет известный налет «иероглифичности». Городской метаархетип, привыкший к ценностно однородной среде, сравнительно прозрачен и свободен при обмене информацией, излагает сведения подробно и нюансированно. С этими различиями непосредственно связано и то, с какими целями у разных видов индивиды интересуются информацией об окружающих. У городского метаархетипа это обычно связано с желанием сложить возможности разных людей в общий лучший результат – качество, общественное благо и т.п. У морских кочевников это имеет целью выяснение конкурентных преимуществ и недостатков других, изучение их положительного и отрицательного опыта, – однако другие стереотипно воспринимаются в качестве участников соревнования, а не общего дела. У степных кочевников, как и у всех архаических общностей интерес к другим направлен на выявление и пресечение любых социально-поведенческих, эстетических, бытовых, приватных и прочих отличий от общего стандарта. Это обусловлено стремлением не попустить улучшения их положения относительно себя, – люди с отличиями же вызывают тревогу своим потенциалом к образованию плотного коммуникационного поля, микрообщности короткой дистанции, которая за счет этого может получить в свое распоряжение некоторые преимущества в матрице «нулевой суммы». Таким образом, городской метаархетип склонен к кооперации, а не конкуренции, морской – к конкуренции с себе подобными, но кооперации с индивидами отличных занятий – с оговоркой, что подсознательно считает каждого конкурентом за капитал и успех. Степной кочевник тяготеет к отношениям доминирования-подчинения или атомизации, поэтому до определенного момента знакомства он может неохотно идти на контакт или даже быть довольно конфликтным с любыми индивидами.

Тем не менее, парадоксальным образом с точки зрения темперамента именно степной кочевник, бытующий в условиях низкой плотности населения, более других тянется к общению, экстравертен, эмоционален и контактен, в то время как другие не обделены коммуникацией в обыденной жизни, поэтому сдержанны и чувствительны к личному пространству. Вместе с тем, он может вступать в

асимметричную кооперацию с теми, кто со временем подвергся интернализации, т.е. вошел в состав узкого круга заслуживающих доверия, фактически стал членом воображаемой «семьи», «домочадцем», – при этом мера доверия к индивиду непосредственно связана с утратой таковым иных привязанностей (эффект «человека-собственника»). Степной кочевник может также вступать в кооперацию с представителями других метаархетипов, для которых не характерно имманентное стремление к подавлению. Во всех случаях он предпочитает роль ведомого, не делающего первый шаг, «не раскрывающегося первым», не устанавливающего правила или делающего выбор, а определяющегося по отношению к установленным правилам или сделанному за него выбору, принимая или отвергая таковые как нераздельное целое. Таким образом, если для морского кочевника характерно настаивать на желательности сохранения длинной дистанции, то для степного она является вынужденной. Промысел в парадигме «нулевой суммы» в конечном итоге приводит к антагонизму интересов, скудость среды может вызывать вспышки недоверия или неосознанной зависти даже по отношению к людям из ближнего круга, имеющим отличные источники существования. На фоне экстремальной информационной асимметрии людям мало известно о своих знакомых, зачастую даже членах семьи, – отсюда они полны домыслов об окружающих. Даже в случае исчерпывающей прозрачности другого человека степной кочевник склонен подозревать его в сокрытии наиболее ценной информации – соответственно выводит свое отношение к таковому не только из видимых, верифицируемых данных, но в равной мере из «альтернативной реальности» в виде приписанных ему мотивов, воображаемой исходя из этих мотивов линии событий. В этой связи, крайне примечательно, что степной кочевник может открыться случайному встречному, не имеющему видимых оснований для продолжения отношений в дальнейшем и потому не подпадающему под подозрение в стремлении к подавлению, «пищевой конкуренции». Недоверие распространяется и на равного по сословному положению, в связи с чем индивид не принимает всерьез договорные обязательства в качестве обязывающих для себя или контрагента – по меньшей мере по духу, а часто и по букве, – считает сам процесс достижения договоренности обременительным и согласованности предпочитает действовать в одностороннем порядке, в ответ на такие же односторонние действия другой стороны. В этой связи, индивиды этого вида необычно часто становятся жертвой или источником обмана, а среда, в которой они доминируют, изобилует криминальными промыслами. Наконец, в свете проблемы доверия примечателен чрезвычайно высокий, по сравнению с другими видами, уровень популярности технических средств («доверие» им), готовность вносить инновации в повседневную, бытовую жизнь – при том, что внедрение таковых в производстве может восприниматься весьма болезненно, как «пищевая конкуренция» (см. далее). В целом, однако, такая особенность одновременно имеет отношение к бытовой неустроенности и тяге к ярким впечатлениям.

Примечательно, что эти особенности непосредственным образом коррелируют с органичным для каждого из архетипов способом организации проживания. Для всех кочевников наиболее естественным является проживание в отдельном доме, часто за городом, и миграция между местами социальной активности – учебы, работы, досуга и пр. В этой связи наиболее органичной формой организации городской жизни для этих видов является мегаполис американского типа, возникший в качестве продукта индустриальной урбанизации. Напротив, для городского метаархетипа совместное проживание в малоэтажных многоквартирных домах кондоминиумного типа стало нормальным еще в античные времена, поскольку склонность к оседлому, слободскому образу жизни предполагает бытование широких слоев населения в черте города, недалеко от мест социальной активности, где земля довольно дорога. Такая форма организации жизни связана с потребностью премиальных классов в знании – поначалу как сословном атрибуте, для престижного потребления (строительства, обустройства частных и общественных пространств), военных целей, впоследствии для широкого коммерческого применения. Город этого типа формируется вокруг различного рода профессиональных и университетских сообществ, постоянно пребывающих в коммуникации для обмена информацией, развития знаний и их внедрения. Поскольку городской и морской метаархетипы часто проживают совместно, большинство городов западного мира сочетают эти две формы организации жизни, а их «общим знаменателем» является полицентрическая организация города. Если в эру премодерна такая структура организации пространства свидетельствовала о соседстве равновеликих ресурсно-силовых кланов

и в целом особой зажиточности города, то впоследствии стала отражением общественного запроса на оседлый образ жизни. В «кочевом» городском пространстве значительная часть ресурсов времени посвящена перемещению, в то время как в слободе ее эквивалент уделяется развитию социального капитала – наращиванию плотности связей и доверия. Отсюда в европейской традиции образ жизни университетской среды и прочих профессиональных сообществ, уходящих корнями в доиндустриальную эпоху, является градообразующим и с точки организации пространства. В то же время, в американской традиции чаще всего этим сообществам отведены отдельные вынесенные кампусы, – город индустриального типа формирует социально разреженную среду, не благоприятствующую развитию и распространению знания.

Однако в поведенческую логику архетипов вторгается органичный – для хозяйственного уклада каждого из них, а также фазы трансформации, – модус консолидации ресурсов (см. далее), который сам по себе диктует концентрацию жизнедеятельности. Так, в капиталоемкую индустриальную эпоху именно у основных бенефициаров этого уклада – морских кочевников – развивается культура проживания в городских небоскребах, представляющих собой сочетание характерных соответственно для уклада и архетипа экономии на масштабе и престижного потребления. В России обширность территории соседствует со «сверхконцентрированной» формой организации проживания – от коммунальных квартир до микрорайонов масштаба поселения с укрупненной транспортной и социальной инфраструктурой. Она диктует образ жизни в постоянном кочевании, не только слабость, но и отторжение горизонтального взаимодействия, центростремительную структуру городов. Это отражает не только дороговизну доставки благ на протяженные расстояния при низкой плотности населения, но и нормативное для степных кочевников противоречие между территорией и приданным населением, приводящее к фактическому закреплению последнего в разных формах. Показательно, что комфорт здесь ассоциируется с загородным домом, который с точки зрения социальной организации выступает местом долгожданной оседлости и атомизации, новой степенью свободы.

Наконец, на способ организации проживания можно смотреть с точки зрения уровня доверия и нормы социальной дистанции. В наше время о последних свидетельствуют не только осязаемые физические барьеры, которые встречаются в застройке, но и, например, пограничный режим или просто информационная и коммуникационная герметичность – для «своих» или для чужаков. Так, для полярных формаций короткой дистанции – городского метаархетипа и изолированных общностей – характерен чрезвычайно высокий уровень доверия. В этой связи, дом воспринимается как удобство и как способ оградить себя от природной стихии, скорее чем от антропогенных рисков, посягательств на личное пространство, – в пределе двери дома стереотипно должны оставаться не запертыми. Также индивид обычно не делает секрета из своего благосостояния, – хотя в любом модернистском сообществе, независимо от нормы дистанции, инициативный интерес к этому аспекту выходит за рамки приличий как посягающий на индивидуальную субъектность. Тем не менее, в отличие от модернистского сообщества короткой дистанции, которое выступает группой равных, архаическое мыслит себя своего рода нераздельным патриархальным домовладением и стремится обнести себя надежной крепостной стеной по внешнему периметру. Напротив, для общностей длинной дистанции – морских и степных кочевников – изначально характерен низкий уровень доверия. Каждое домовладение здесь стремится скрыться за прочной, в пределе непроницаемой визуально и физически оградой, которая наравне с комфортом и защитой от природной стихии служит тому, чтобы оградить личное пространство от «непрошенного гостя» – злоумышленника или просто соглядатая. Благосостояние домовладения обычно остается за рамками обсуждения даже в кругу лично знакомых людей. Существенная разница между двумя видами, тем не менее, заключается в том, что среди морских кочевников практически каждому есть что огораживать, – это общность собственников, – в то время как у степных защищенной и манифестируемой собственностью обладают лишь представители силовой корпорации. Податное население, как правило, «согнано» в укрупненные поселения, жилые кварталы и постройки, которые служат экономии на масштабе и на контроле. В этой связи, они выступают акселераторами социального недоверия, отчуждения, а не социального капитала. Небольшое достояние, которое индивиду удастся скопить, он предпочитает укрывать от посторонних глаз – и прежде всего от ведения силовой корпорации – в недоступном помещении (гараже, чулане, «под матрасом», «в диване», «в баночке» и т.п.) или неприметном загородном владении. В непосредственной связи с этой поведенческой особенностью находится и ее диалектическая противоположность: в попытке извлечь выгоду из преувеличенного впечатления относительно своего сословно-силового статуса, степной кочевник стремится подражать представителям силовой корпорации и демонстрировать достаток.

По причине разности описанных выше условий бытования, оседлым метаархетипам свойственно мыслить более конкретными категориями, кочевым – более отвлеченными, абстрактными; первые

склонны к логической стройности и преимущественно рационалистическому мышлению, вторые широко вовлекают в процесс познания эмоциональный опыт и интуицию; первые скорее проактивны – создают возможности для реализации сами, вторые реактивны – в большей степени откликаются на предлагаемые обстоятельства; первые склонны к объективизму, вторые – к субъективизму. Также по-разному индивиды этих метаархетипов получают информацию об окружающем мире для последующего обобщения – кочевники из прежде всего наблюдений, оседлые прежде всего из опытов (применительно к социальным знаниям – опыта). Их приоритетными гносеологическими методами, способами мышления являются соответственно анализ (расчленение объекта на составные части) и синтез (соединение частей объекта в единое представление); дедукция (выведение частного из общего) и индукция (выведение общего из частного); моделирование, гипотеза и абстрагирование, аналогия. Тем не менее, в качестве объекта изучения, приложения усилий – как и добычи – внимание оседлых при наличии выбора и прочих равных условиях вначале привлечет более простой (или менее привлекательный) предмет и лишь затем более сложный, в то время как кочевников – наоборот. По-видимому это имеет отношение к установке «успеть первым, второго шанса может не быть», кроме того, разбирая большое на части, можно «больше употребить с пользой, даже если остальное потеряется», – в терминах принципа «от частного к общему» при изучении сложного предмета сразу обнаруживается множество деталей, поэтому и общая картина проясняется быстрее. Для оседлых результат, продукт, гармония является следствием тщательно подобранных «ингредиентов» и их пропорций, в то время как для кочевников значение имеет лишь целостный конечный эффект, который каждый раз достигается различными подручными средствами. Оседлые познают себя и явления, предметы окружающего мира наиболее очевидным, позитивистским путем – через внутренние характеристики объекта познания. Для морского кочевника характерен способ познания от противного, методом отрицания, исключения того, чем объект познания не является, путем его «очерчивания» по внешнему контуру, выявления взаимодействия с другими объектами. Наконец, степной кочевник постигает лишь алгоритмическое устройство объекта познания: для архаического сознания вообще характерно наделять организационную форму, структуру, схему, устав значением мистического знания, канала «движения благодати», обряда, который уже в силу самого себя влияет на порядок вещей, – отсюда вступление распорядителя силового ресурса в права чаще всего инициируется внесением изменений в корпус учредительных норм. При этом сущностная природа объекта познания остается для степного кочевника «вещью в себе» и открывается только ассоциативным путем, сопоставлением механизмов функционирования разных объектов между собой. По-видимому это объясняется тем, что силовая «токсичность» социума формирует у индивида восприятие окружающего как потенциально враждебного и понуждает скрываться в доме, семье (психологически в «колодце», «футляре»). В этой связи, представление о внешнем мире смутно, мифологизировано, достоверным является лишь то, что находится внутри периметра доверия («в домах, куда допущен»). Образно можно дать этим типам определения: соответственно «физик» – сосредоточенный на изучаемом объекте, «химик» – изучающий взаимодействие объектов и «математик» – оперирующий функцией, задающей динамическое устройство объекта, процесса.

Эти определения не являются строгими дисциплинарными привязками, а описывают способ мышления, который может проявляться в любой из упомянутых (в буквальном понимании) или других наук, в т.ч. в науках о человеке и обществе, философии, а также в искусстве. Во-первых, у оседлых для фольклора и гуманитарного творчества характерна известная приземленность, «реалистичность» сюжета, – даже если в нем принимают участие мифические существа, – при этом эмоциональный «нерв» повествования скорее «запечатан» посредством эффекта внутреннего напряжения. В то же время, у кочевников с их развитым воображением широкой популярностью пользуются фантастические сюжеты и преувеличенная зрелищность, – и даже земным существам часто приписываются сверхъестественные свойства. Во-вторых, в гуманитарном творчестве для трех архетипических традиций характерны разные

сильные стороны: городской метаархетип преимущественно концентрируется на имманентно присущих человеку и мирозданию качествах, выступающих несколько статичными стихиях, морские кочевники – на отношениях человека с явлениями окружающего мира и другими людьми, а степные и вовсе представляют внутренний мир человека как истинную арену действия, в которой единственно отражается окружающее. Это непосредственно проецируется на способ выбора партнера для личной жизни. Так, для общностей городского метаархетипа характерен ценностный консенсус по широкому кругу поведенческих норм, поэтому в семье индивиды прежде всего ожидают воспроизводства ролевой модели распределения прав и обязанностей, которая в настоящее время является общественно одобряемой. Напротив, сталкивающийся с ценностным разнообразием морской кочевник отличается вниманием к тому, насколько партнер удовлетворяет его потребностям и представлениям, не перестает его тестировать и оценивать. Наконец, атомизированному степному кочевнику свойственно наделять партнера домысленной совокупностью качеств, – так что представление о таковом может значительно отличаться от реального образа. Примечательным образом поведение в личной жизни у кочевников непосредственно проецируется на социальное: характерный для них эффект длинной дистанции приводит к тому, что во всех аспектах жизнедеятельности их представление об окружающих существенным образом искажено, – «аватар» в их сознании может довольно существенным образом отличаться от реального человека. У морских кочевников на это чаще влияет то, как такой человек хочет себя преподнести («продать себя при помощи рекламного ролика»). Отсюда дорогостоящий, но оправданный исключительной глубиной рынка институциональный механизм независимой верификации (аудит, рейтинги и пр.), фиксации предыдущего поведения (кредитные истории), наконец, требования по раскрытию информации, – тем самым этот вид проявляет себя как модернистское сообщество, препятствующее искажению информации при передаче. В то же время, степные кочевники по этому признаку изначально демонстрируют признаки архаического сообщества: они склонны формировать представление о человеке, мало обращая внимание на сообщенные им о себе сведения, поскольку ожидают искажения таковых и готовы к этому сами, – более того, в условиях силовой «токсичности» социального оборота и заимствованные у морских кочевников верификационные институты они небезосновательно считают склонными к такому искажению.

Несложно заметить, что для степного кочевника характерен набор поведенческих свойств, свидетельствующий о противоречивости, непоследовательности, ощущении некоторой иллюзорности, «ускользающей» природы окружающего мира. В опасении силового воздействия он избегает контакта с реальностью, в страхе такового он может отрицать очевидные факты – зачастую без особой нужды, «на всякий случай». Не испытывая внутренней потребности постоянно объективировать собственные представления, тестировать их взглядами посторонних, степной кочевник склонен создавать в собственном воображении «дополненную реальность» – альтернативную фактической цепь событий. В этой связи, к моменту, когда он излагает собеседнику частичный вымысел, последний и самому автору может представляться не искажением, а легитимной версией, фактические же сведения – не более достоверными, чем такая версия. В противоположность общностям других видов, производительный труд здесь не востребован и не приносит благополучия, поэтому не считается также и добродетельным, в связи с чем индивид, безотносительно темперамента, в значительной степени замкнут в себе и может достаточно долго не ведать о собственных способностях и даже желаниях, пока не узнает о них извне, путем практического теста, верификации. Наиболее яркие озарения, «пробуждения» для него связаны с острыми вызовами со стороны объективного мира – в пределе тактильными и даже опасными: в окружающем мире обретает «реальность» лишь то, что обнаруживает твердость – способность к сопротивлению или принуждению. «Полный контакт» является для этого метаархетипа важным методом познания, преодоления «встроенного футляра», под которым исключительно богатый когнитивный и эмоциональный аппарат, поэтому исходящий от него вызов (физический или вербальный – например,

черный юмор, задиристость и пр.), стремление «переступить барьер» не следует принимать за агрессивность или жестокость, равно как и внешнюю отрешенность – за неотзывчивость. Но у индивидов, ориентированных на силу, здесь действительно встречается фамильярный тип обращения к тем, кто не расположен выше по силовой вертикали, поскольку остальные в их представлении бессубъектны («холопы»), при этом уважительный тон обычно адресован «врагам» – недостижимым по положению, но ценностно чуждым и/или нелояльным их силовой вертикали. У деформированных морских кочевников эти поведенческие характеристики и мотивации дополнены также частым праздным времяпровождением, вырабатывающим привычку к панибратскому тону общения. Бездефектные морские кочевники в целом также довольно раскованы и эмоционально выразительны, однако для «модернистских» метаархетипов нормально соблюдение дистанции, физической и поведенческой, причем это не связано с нормами какого бы то ни было сословного этикета и не препятствует усвоению внешней информации, а просто подчеркивает равенство собеседника и его общественную субъектность.

Причинно-следственные связи оседлые устанавливают путем исследования внутренней природы зависимости, поэтому отдают предпочтение детерминированным закономерностям. В то же время когнитивный аппарат кочевников сформирован опытом экспресс-анализа, «подмечанием» совпадений определенных фактов, проекцией чего можно считать эмпирический метод исследования – установление корреляционных зависимостей, которые затем интерпретируются с той или иной степенью корректности. По этой причине кочевники подвержены сомнению, чаще допускают вероятность ошибки в выводах, стремятся снизить таковую за счет декомпозиции совокупности до фрагментов, максимально однородных по определенному набору измеримых внешних признаков. Соединение адептов этих двух методов в одном коллективе чрезвычайно эффективно: с одной стороны, эмпирический метод позволяет очертить круг достойных исследования факторов и гипотез, однако не способен дать выявленной взаимосвязи достоверную для применения интерпретацию, установить древо причинно-следственных связей и т.п., а с другой – перебирать и тестировать гипотезы, не ранжируя их по перспективности, чрезвычайно трудоемко, хотя повышает достоверность полученных результатов. Отсюда если у городского метаархетипа утверждение обычно имеет категорическую, претендующую на объективность, но аргументированную форму, то морские кочевники предпочитают любые утверждения считать субъективным мнением, лучше или хуже аргументированным. Это объясняет важную коммуникационную особенность последних: стандартная форма предположения используется в речи, даже когда выражается высокая степень уверенности, решимости, а наличие сомнения подчеркивается усиленно, что часто вводит представителей других архетипов в заблуждение относительно твердости намерений морского кочевника. У степных кочевников сильный считается источником истины, а его мнение приравнено к объективному, единственно верному для всех остальных и в этом качестве обоснования не требует, поэтому логическая стройность аргументации не является сильной стороной этого вида, что мобилизует весь прочий доступный аппарат исследования окружающего мира. В отличие от других метаархетипов, у степного кочевника периоды работы аналитического аппарата и тактильно-чувственного восприятия окружающей действительности находятся в противофазе, притом первые доставляют ему явный дискомфорт, более того, отличаются результативностью лишь при условии внешнего стимулирования мыслительного процесса, со вторыми же связаны наиболее яркие озарения, значимые вехи.

Нельзя не заметить, что органичный для всех кочевников корреляционный метод научного исследования с точки зрения устройства мышления отражает такой фронтально характерный для них феномен, как суеверие. В зависимости от архаичности конкретной кочевой общности, такой способ мировосприятия тяготеет к «эффекту карго-культа», магического мышления, – когда совпадение определенного знакового факта, «приметы», с интерпретируемой чередой событий более низкого порядка принимается за причинно-следственную связь, а вся энергия общественного одобрения

(поклонения) или порицания (демонизации) обращается на такую «примету». Даже в лидирующих странах бездефектных морских кочевников обычно избегают подвергать ревизии отдельные элементы конструкции – например, устаревшие корпоративные практики, технологии, законы, – пока таковая в целостности демонстрирует эффективность и отвечает конкурентным вызовам. Эти когнитивные архетипические различия ярко отражаются в отношении к религии: если оседлые прежде всего считают религию как этическое учение, то кочевники скорее воспринимают ее как совокупность мистических обрядов, имеющих целью получение определенного результата, при этом природа зависимости между действием и его последствиями остается невыясненной. Каждый метаархетип ищет в религиозном учении ключ к «ресурсу», совпадающему с его ключевым маркером успешности – соответственно знанию, богатству или силе, а те, кто не находят веру эффективным инструментом обретения такового, обращаются к атеизму. Так, если городской метаархетип видит в религиозной доктрине источник и «план» мироздания, поскольку воспринимает любое деяние как плод детально продуманного замысла, то морской кочевник выводит из нее «институт регулятора» стихий, неподвластных какому-либо единому «земному» источнику воли (образный ряд – море, рынок и т.п.), с которым можно было бы «договориться». При этом степной кочевник, помещенный в силовую среду либо в активной, либо в пассивной роли, видит в религии способ достроить вертикаль вверх, учение о беспредельной силе сил, у которой в услужении находится верховный носитель земной силы, этим преисполняющийся силы сам и, в свою очередь, транслирующий беспредельное силовое воздействие вниз. Отсюда именно для городского метаархетипа в вере первична «инструкция к применению» – кодекс нормативов, к тому же концептуально схожий с понятием общественного блага. В то же время для кочевников первичен религиозный институт как специальное «средство связи» ограниченного доступа, по которому можно производить транзакционное взаимодействие с первоисточником искомого блага.

Именно вокруг такого ограниченного блага формируются особенности кочевников в части характерных преступлений и адекватных наказаний. Так, у морских кочевников беспрецедентно жестко караются преступления против имущества, манипулирование рынком и ценами, информацией. При этом здесь широко распространены юридические практики, фактически легализующие обмен свободы личности на материальный эквивалент таковой – штрафы в размере, ведущем к невозможной утрате социального положения, долговые тюрьмы в случае невозможности удовлетворить требования, имущественный залог в качестве меры пресечения и пр. В то же время, городской метаархетип избегает фронтального применения порядков, которые ведут к сегрегации положения личности в зависимости от имущественной состоятельности. Наконец, у степных кочевников, даже небольшой материальный ущерб приводит к наказанию, связанному с ограничением свободы, более того, фактически строгость такового возрастает по мере убывания сословного статуса. При этом наиболее жестоко – формально и/или фактически – преследуется нарушение своей сословной нормы, будь то с точки зрения «кормового» довольствия или повинностей.

Если у морских кочевников религиозность действительно способна удержать поведение в рамках этических норм – хотя бы из страха перед неведомой стихией, – то у степных связь между этими двумя проявлениями разнонаправлена: значение морального императива здесь убывает по мере нарастания ориентации на силу, а верность обряду лишь усиливает амплитуду этих колебаний, притом в обе стороны. Индивид, который не может полагаться на силу и потому беззащитен, и в нравственном поведении, и в обряде обретает утешение и надежду – в сущности на чудо, закономерных оснований для лучшей участи попросту нет, – в то время как у сильного от безнравственного поведения статус не только не страдает, но укрепляется («значит может себе позволить»), а нарочитая «религиозность» лишь добавляет ощущения безнаказанности и ослабляет механизмы внутреннего сдерживания. В такой моноцентрической системе представлений можно быть либо всецело вверенным воле субъекта силы, непознаваемого в своих мотивах, безотчетного и непогрешимого, либо его врагом, который выступает столь же абсолютным, беспримесным злом, подлежащим искоренению без снисхождения, – на этом фоне иногда действительный преступник вполне может быть демонстративно прощен, если покается в проступке против силового гегемона лично и тем самым признал его могущество, власть над собой. В

противоположность модернистскому сообществу, для которого характерна дискретность мышления и признание самоценности личности, здесь оценке фактически подвергаются не отдельные поступки и качества человека, а он сам, – в предельной форме в связи с любым поводом оспаривается его право на жизнь. Однако у гегемона внутреннее сдерживание может и усиливаться – по мере нарастания реальных внутренних или внешних угроз его положению, поскольку проявление жесткости без способности добиться беспрекословного исполнения собственной воли выдает ослабление позиций («значит не так уж силен», потерял «хватку», «фарт»), при этом значение морального императива возрастает, хотя скорее демонстративно, нежели искренне. В этой связи, в кочевых общностях с высоким уровнем социальной несправедливости и неустроенности в сверхъестественном видится своего рода точка ресурсно-силового экстремума, которая в порядке милости может скорректировать окружающую действительность, притом в сфере ответственности земных властей. У субконтинентальных кочевников эта точка обычно сливается с земным носителем патримониального титула, который тем самым выводится за рамки оценки на предмет исполнения прямых обязанностей. У лишенных такого носителя деформированных морских кочевников она представляет собой «фантомную мечту» о «помазаннике», не знающем ресурсных или силовых ограничений правителя – непререкаемом эталоне справедливости. Показательно, что именно в общностях этих двух типов независимо от конфессии шире других распространены чудотворные верования и практики, поклонение заступникам, при этом представленные среди них христианские конфессии – католицизм и православие – особенно акцентируют роль реликвария в службе, практикуют пышный литургический ритуал. В то же время, в странах с иными доминирующими видами эти же и другие конфессии придерживаются значительно более аскетичной формы, а центральную роль в службе отводят проповеди. Наконец, поскольку у общностей с трансформационными дефектами антитеза добра и зла в общественном сознании по существу оттеснена антитезой силы и бессилия, в качестве компенсации, по сравнению с аналогичными конфессиями в других странах, увеличена роль сонма святых, которые рассматриваются еще и носителями не вознаграждаемых в обычной жизни добродетелей, – честности и порядочности, милосердия и пр. При этом земной обладатель таких добродетелей у степных кочевников ассоциируется с самоотверженностью и отрешенностью от нормальности, выступает своего рода юродивым, антиподом ресурсно-силового суверена. В то же время у деформированных морских кочевников земные суверены несколько скомпрометированы – хотя бы тем, что их много, поэтому их нельзя рассматривать как эталон чего бы то ни было – даже силы, так что честность вполне обычного человека отмечается как добродетель и высоко ценится общностью как редкая, эталонная.

С экономико-архетипической точки зрения весьма показательны способы организации учреждений культа в различных общностях, поскольку со структурной точки зрения религиозные общины представляют собой специфическую разновидность института общественного блага, более того, роль протоплощадок для создания таких благ они играли исторически – выступая еще до зарождения университетов центрами богословской и научной мысли, догматического и секулярного просвещения, призрения и сбора пожертвований нуждающимся. Наконец, в определенной мере служителей веры можно считать даже одними из зачинателей здравоохранения – например, в форме изучения целебных свойств окружающей флоры и химических веществ, предоставления прихожанам синтезированных препаратов. В странах, вовлеченных в активную торговлю, еврейские и мусульманские богословские школы выступали основными центрами развития наук, имевших прикладное применение в корабельном и навигацком деле, – математики, астрономии, географии и этнографии, а также наиболее передовой для своего времени медицины.

Специфика архетипических видов вполне узнаваема и в этой стороне общественного устройства. Так, у бездефектных морских кочевников материальная база религиозных общин формируется преимущественно на основе нерегулируемых взносов. В то же время, в общностях с доминантным городским метаархетипом часто встречается т.н. церковный налог – хотя и добровольный, но количественно определенный, предоставляющий гражданину возможность адресовать конфессиональному объединению часть своих обязательных платежей, притом альтернативным реципиентом таких средств может выступать секулярный институт создания общественного блага либо государство непосредственно. Наконец, у общностей с

трансформационными дефектами религиозные институты и иерархи, как правило, подобно прочим корпорациям образуют сословную иерархию. При этом материальная база премиальных классов священнослужителей в полной мере отражает рентный принцип промысла силовой бюрократии, более того, образуется благодаря последней за счет ограниченного доступа, льгот и привилегий. Отсюда религиозные институты здесь производят общественные блага по остаточному принципу – не только секулярные, но даже догматические, в частности, располагают весьма периферийными богословскими школами.

В целом у всех видов человек неосознанно склонен считать любую участь заслуженной – как минимум, задаваясь вопросом о причинах этой участи, – а обладателя архетипического маркера успешности, олицетворяющего желаемую ролевую модель, по умолчанию полагать также добродетельным, потому демонстративно отмеченным. Отсюда изначальная дистанция сообщества от модернистского состояния непосредственным образом вытекает из имманентной природы такого маркера успешности: потенциал охвата знания ограничен лишь запросом на таковое, в то время как способность достичь предпринимательского успеха ограничена аналогичным стремлением других, наконец, попытка овладеть силовым ресурсом вступает в непримиримое противоречие с интересами актуального обладателя таковой. По этой причине, если модернистское сообщество в целом приветствует эксплицитное стремление индивида снискать успех в характерном для архетипического вида понимании, то архаическое прямо порицает такое стремление, – напротив, человека примиряют с его участью как заслуженной, неизбежной и неизменной. Здесь принято культивировать догмат о первородной порочности одних и мистической избранности других, соответственно добродетельность безраздельной власти и послушания ей, искупительность жалкого положения, вместо саморазвития внимание человека занято «очистительными» магическими или парарелигиозными светскими ритуалами – призванными, однако, дать основные плоды лишь на временном горизонте «вечности» (в послеземной жизни, оставив после себя светлую память и т.п.). Примечательно, что практически все архаические трактовки религиозного догмата изображают человека кочевником – скитальцем, временным пришельцем, лишенным места в земной жизни. Архаическое сообщество основано на «пищевой конкуренции» и не имеет экономической возможности предложить индивиду комфортное обустройство – потому порицает такое стремление, противопоставляет его обретению жизни вечной путем смирения в земной, а благо самого человека благу окружающих. Привилегия устроенности признается лишь за субъектом силы, который наделяется ролью проекции сил внеземных, а для остальных людей он служит материальной моделью награды, ожидающей их во внеземной жизни за послушание в этой. Напротив, любое модернистское сообщество стремится привить индивиду ощущение оседлости в этом мире, призывает его использовать предлагаемые возможности во благо и себе, и окружающим. Отсюда и религиозный догмат позиционирует земную жизнь в качестве уникального временного отрезка, посредством которого человек может заслужить жизнь вечную путем прилежания в обустройстве окружающего пространства, – пренебрежение же такой возможностью квалифицирует как греховное.

Аналогичным образом в разных обществах различается и понимание морали в высшем смысле, а не только с точки зрения социальной психологии, – понимая под таковой не просто перечень добродетелей, а только те из них, которые не присущи архетипической природе вида имманентно и особенно нуждаются в проповеди и прилежании. При этом область применения такого рода добродетелей в обязательном порядке находится за периметром основного промысла, поскольку внутри этого периметра каждый вид стремится последовательно придерживаться привычного поведенческого комплекса и тем самым максимизировать свои естественные преимущества. Так, у городского метаархетипа от успешного ожидается инкорпорирование этического начала в соображения рациональной целесообразности, терпимость к людям с иной ценностной матрицей; успешные морские кочевники стереотипно призваны выказывать деятельное участие в судьбе менее удачливых, имеющих худшие стартовые позиции и в целом руководствоваться общими интересами; наконец, легитимность силовой корпорации степных кочевников определяется способностью не только «казнить, но и

миловать». При этом примечательно, что категория законности к «казни и милости» не применяется, более того, в некотором смысле она находится в противоречии с милостью: последняя представляет собой мольбу о пощаде и не ставит под сомнение право сильного, – в известном смысле она даже утверждает это право, потому имеет лучшие шансы быть услышанной, чем призыв действовать в соответствии с каким бы то ни было стационарным порядком. Открытое указание на нарушение формального порядка может помочь жертве лишь в том случае, если у обладателя силы есть «пищевые конкуренты» сопоставимой силы, которые могут в междоусобной борьбе воспользоваться этим как слабостью. В целом же границы закона и справедливости устанавливаются и изменяются сильным по собственному усмотрению («раз может заставить соблюдать свои правила, значит сильный»), более того, сила измеряется пределами возможности безнаказанно смещать область разрешенного другим к границам зоны их комфорта. Отсюда обладатель силы служит эталоном морали и права, сам же выведен за рамки оценки в таких терминах – по крайней мере, что касается оценки земными «судьями», по мере же сословного удаления от силового центра стандарт таких оценок ужесточается «экспоненциально». В противоположность этому, в модернистском сообществе стандарт правовой и моральной ответственности возрастает вместе с влиянием и фактической представленностью интересов. Однако примечательно, что отдельно взятый человек, декларируя личный суверенитет в вопросах, выходящих за рамки публичного закона и морали, часто прибегает к «языку безраздельного правителя» – утверждая, что «не людям судить его поступки».

Индивидуальная система ценностей может включать какие угодно установки, однако при реализации последние преломляются через призму системы коллективных представлений общности о том, к чему (для смешанных общностей – в каких пропорциях) надлежит стремиться, – знанию, богатству или силе. Такие коллективные представления не может игнорировать ни один индивид, желающий воспользоваться социальным лифтом. Например, универсальная для всех ценность милосердия в общностях городского метаархетипа представляет собой неотъемлемую часть ключевой коллективной установки на общественное благо, поэтому несущий эту миссию индивид выступает «делегатом» всего социума, притом чаще всего помещен в систему основных публичных институтов. В то же время, в общностях морских кочевников это отдельно стоящая добродетельная миссия, которая призвана восполнить дефекты социальной организации – хотя в целом также добродетельной, однако вызывающей высокий уровень имущественного расслоения, – за счет добровольного участия членов общности в любой институциональной форме – публичной, частной, некоммерческой. Однако это предполагает предварительное получение выгод от основной деятельности в полном объеме, без императивных изъятий. Наконец, у степных кочевников эта миссия возложена на внесистемного отшельника, презревшего себя ради других, обреченного привечать преследуемых и изгнанных премиальным классом, который время от времени «замаливает» свои деяния подаянием «святому», «юродивому». Однако последние являются архетипическими антиподами силовой корпорации, служат ей живым укором, поэтому не могут на нее рассчитывать системно. Традиционные семейные ценности также являют себя по-разному в зависимости от маркера успешности общности. Если у субконтинентальных кочевников они основаны на поддержании уз кровного родства как наиболее надежной гарантии герметичности силового периметра, то у морских на обеспечении достатка домочадцев, а у городского метаархетипа на передаче профессии, знаний вообще.

Эти когнитивные и поведенческие особенности находят самое непосредственное отражение в принципах правовых систем, распространенных в ареале бытования тех или иных архетипов. Римское право, трактующее частный случай на основе общего закона, получило распространение в континентальной Европе, где в своем первоизданном виде господствует городской метаархетип. Хотя принцип римского права гласит, что «разрешено все, что не запрещено законом», на практике он понимается как необходимость дожидаться нормативного описания законодателем нового явления, изменения в регулировании старого и т.п. Вероятно, смещение практики по сравнению с базовыми принципами объясняется тем, что римское право зародилось одновременно с морским метаархетипом и в его тогдашней цитадели – там, где впоследствии этот архетипический вид подвергся силовой деформации. При этом с началом Нового времени центры морских кочевников сместились к северу и за океан, – а наиболее дееспособным видом на континенте остался городской метаархетип. Дух англо-саксонского права предполагает абсолютный личный суверенитет и свободу воли в пределах, не нарушающих таковые у других, независимо от регуляторного внимания

«стационарного бандита» к предмету регулирования, что значительно адекватнее аутентичному смыслу указанного принципа римского права. Однако в качестве механизма правоприменения этому принципу лучше отвечает т.н. общее право, где нормой закона становится судебный прецедент, восходящий к традиции трактовки устного морского обычая применительно к частному случаю, – оно возобладало в англо-саксонских странах и многих бывших английских колониях, включая островные государства Юго-Восточной Азии, где первообразным является морской метаархетип. Таким образом, норма права здесь появляется не путем «написания», а путем «открытия» закона (подобно научному) в существующем в недрах социальной культуры представлении о справедливости, при этом по мере изменения этих представлений естественным путем меняется и такая норма. Отсюда, если для римского права характерна иерархическая соподчиненность правовых норм, которой руководствуется правоприменение и суд, то в общем праве такие нормы равны друг другу и напрямую апеллируют к высшей справедливости, – соответственно судебные решения обязаны доказательно опираться не просто на эталонные решения, а на эталонные обстоятельства дела. Разумеется, общим для всех ареалов распространения модернистских архетипов является не только декларативное, но и фактическое разделение властей, – хотя в случае прецедентного права судебная система несет также важную часть нагрузки по рутинному нормотворчеству.

Наиболее сложной в этом плане является «судьба» субконтинентальных цивилизаций, включая доминантных степных кочевников в «ордынской» части России. Общее право, более органичное для кочевых общностей, требует развитости судебной системы и эффективного правоприменения, а главное – равенства всех субъектов перед законом, что в сословном обществе, характерном для степного метаархетипа, невозможно по определению. В этой связи, правовые системы здесь формально соответствуют континентальным, т.е. претендуют на детальный характер централизованного регулирования общественных процессов и явлений, однако на деле принимают характер схоластической «алгоритмизации», «нормотворчества по каждому частному случаю», приводящего к такому утяжелению процедуры, что правоприменение становится избирательным, сословно обусловленным, а правовые институты как таковые маргинальными. Негласным принципом права здесь можно считать привилегию обладателя силы, который де-факто в одном лице выступает законодателем, правоприменителем и источником правосудия, устанавливая и меняя норму закона по своему усмотрению, соответственно передвигая между дозволенным и запрещенным, в т.ч. путем обратной силы. Соответственно такая норма воспринимается не как подлежащая безусловному исполнению, а как барьер, преодоление которого имеет для нижестоящих сословий цену, регулируемую выгодоприобретателем системы права. Таким образом, практикой права становится скорее принцип «запрещено даже то, что разрешено, если не предписано прямо».

Обладатель силы охотно прибегает к хаотичному, неспровоцированному насилию, заставляя остальных «гадать» о его логике в поиске самоуспокоения («если я этого не буду делать, то меня не коснется», «я же ничего такого не делаю»). Тем самым он насаждает нормальность отсутствия нормы, тождественность последней своему желанию, каким бы оно в настоящий момент ни было, добиваясь подавления воли окружающих, пресекая соблазн ослушаться любого требования или даже вступить в спор, стать стороной отношений, субъектом вместо объекта. В этой связи, в общностях субконтинентальных кочевников как нигде стремятся чтить незыблемые традиции предков, поскольку это вносит в корпус норм и правил некоторый уровень предсказуемости. Более того, здесь крайне высок запрос на целостный корпус различного рода неформальных обычаев, «понятий», которые могли бы внести некоторую ясность в вопрос о грани между запретным и допустимым, обеспечить хоть и минимальные, но устойчивые пределы индивидуальных свобод, и это немало способствует популярности различных корпоративных субкультур, прежде всего силовых – военных и паравоенных, спортивных, криминальных и пр. В некоторых средах такие «понятийные» субституты права и морали весьма действенны в практической жизни, в других же служат скорее корпусом мифологических «догадок», объяснительным языком, позволяющим усмотреть в действиях сильного закономерность – чаще всего состоящую лишь в претензии на беспрекословное послушание без всякого объяснения повелений. Легко заметить, что к числу последних относятся архаические общности длинной дистанции, по отношению к которым элита ведет себя как инородная сущность, – в то время как первые представляют собой архаические общности короткой дистанции, от собственно упомянутых элит до изолированных этносов. Практически у всех архаических общностей короткой дистанции фактически действующая система права, устного либо письменного, основана на традиции – корпусе религиозных, племенных, корпоративных, ведомственных или субкультурных этических норм, процедур и порядков.

Для всех метаархетипов характерно свое представление о таких ключевых для распространения социальных практик, поведенческих установок и облика человеческого капитала метаинститутах, как

доверие и репутация – т.е. объект высшего доверия, референтное мнение или образец, следование которому является общественно одобряемым. Более того, примечательно, что всем архетипическим видам в качестве психологического «сорняка» свойственно в опережающем порядке находить заведомое оправдание любому поведению человека, служащего ролевой моделью («он знает, что делает»). Дизайн института референтной репутации в полной мере отражает схему обмена информацией между индивидами в соответствующем социуме, а также характер распространения примеров для подражания – в случае городского и морского метаархетипов по горизонтали (это непреложное условие их способности к «коалиции»), степного – по вертикали.

Типы социального взаимодействия закладываются структурой семьи, выступающей элементарной социальной ячейкой: в первом случае она воспроизводит модель партнерства, в последнем же отношения доминирования-подчинения (патриархального/матриархального). Вероятно, не лишено оснований предположение, что уровень рождаемости, а точнее количество детей в семье, по мере нарастания усиливает доминантный стереотип социального взаимодействия индивидов, выраженный в естественной склонности к кооперации либо, наоборот, конкуренции – соревновательной или «пищевой».

Для городского метаархетипа указанные метаинституты олицетворяет, прежде всего, носитель компетенции (общедоступного атрибута), морского кочевника – финансовой состоятельности (ограниченно доступного атрибута), степного кочевника – силы (единоличного атрибута). Однако в последнем случае разные сословия по-разному реагируют на маркер успешности: для элитной корпорации и нижних сословий с силовой токсичностью его носитель, по аналогии с прочими метаархетипами, выступает и образцом для подражания, и субъектом доверия, – вертикальный характер связей для них является органичным и даже единственно знакомым, привитым еще в семье, так что в обществе они ожидают того же. В то же время, для прочих страт сила является основой своего рода «антирепутации»: ее носителю хотели бы подражать, но не имеют такой возможности, а доверие по мере нарастания силы убывает, поскольку фактор силы разрушает поле горизонтальных связей. Более того, чем больше социальная среда пронизана силовой «токсичностью», тем больше область доверия тяготеет к узкому кругу близких (структура семьи здесь близка к таковой у «модернистских» архетипов, см. ниже), независимо от страты. Подобно силе, архаическое сообщество характерным, противоположным модернистскому образом относится к носителю знания – маркера-антипода: он заведомо считается враждебным устоям общества, часто подвергается демонстративному уничтожению, мнение центра компетенции в сфере его ведения уравнивается с прочими («все равны судить обо всем») – впрочем с оглядкой на оценку происходящего со стороны субъекта силы. При этом демонстрация эффективности применения знания отнюдь не обязательно приводит к росту престижа такового, – мифологизированное сознание часто попросту наделяет носителя компетенции сверхъестественной силой, помещая его в привычную матрицу. В этой связи, архаическому сознанию свойственно обращаться к «славному прошлому» как свидетельству собственного «первородного права на величие», отнятое обманом путем – политическим заговором, колдовством и т.п. Напротив, модернистскому сообществу свойственно крайне настороженное отношение к применению силы или угрозе силой, даже латентной, со своей или чьей-либо стороны, даже когда применение силы оправдано, – и это выступает ключевой сложностью во взаимоотношениях с архаическими общностями, где бы они ни располагались географически (см. ниже).

Вопреки стереотипу, богатство не является универсальным маркером успешности, – лишь для морского метаархетипа оно действительно выступает показательным критерием эффективности индивида, поскольку ареал его обитания изобилует доступными возможностями для риска и заработка. Если для этого вида материальное вознаграждение служит основным способом признания заслуг, к которому приводятся все остальные маркеры, то у прочих видов не менее весомую роль играют немонетарные отличия. Так, у городского метаархетипа в этом качестве выступает признание профессионального сообщества, а у степных кочевников признание субъекта силы – в общем случае

государства, знаки отличия которого в общественном восприятии помещают индивида на определенную ступень иерархической таблицы о рангах. Таким образом, у двух метаархетипов из трех финансовая состоятельность представляет собой лишь субститут своего аутентичного маркера: для городского она служит как бы «побочным продуктом» отличительной компетенции, а для степного свидетельствует о силе, обладание которой единственно и может обеспечить богатство. Причина этого состоит в том, что материальная выгода по своей природе является относительной категорией и подлежит оценке в сопоставлении с затратами, риском, сравнимыми образцами и т.п., тем самым выступая предметом критического осмысления каждым индивидом в каждый момент времени. В то же время, любой корпус ценностей по своей природе стремится быть целостной, внутренне непротиворечивой и потому абсолютной, тотальной системой, не подлежащей критическому осмыслению, – хотя для общности в целом ее корпус ценностей несомненно имеет веские объективные основания. Вероятно, ценности способны апеллировать к психофизиологическим влечениям, наклонностям конкретного человека как биологического вида и устойчивы на протяжении всей его жизни, а также так или иначе влияют на соответствующие особенности потомства. Отсюда полезность, связанная с реализацией ценностных приоритетов, выдавливает в сознании индивида любые другие виды полезности либо подчиняет их, придает им собственный «силуэт».

В этой связи показательно, что, в отличие от «модернистских» архетипов, у степных кочевников альтруистические мотивы убывают по мере нарастания финансовой состоятельности, поскольку таковая считается как признак силы («теперь не он должен, а ему должны»). Демонстрировать свою состоятельность с той или иной степенью откровенности склонны все кочевники, однако если для «модернистских» архетипов она ассоциируется с возможностью позволить себе объект имущества, то для степного кочевника – с возможностью позволить себе что-то в отношении другого индивида, что отражает противоречие между концепцией ограниченной ответственности у первых (основой горизонтальных транзакций служит взаимная заинтересованность равнозначных индивидов) и неограниченной у последнего (основой вертикальных транзакций служит одностороннее предписание). В целом для городского метаархетипа по отношению к другому человеку характерно самоограничение, – он исходит из заведомой общественной ценности другого индивида, прежде всего как носителя определенных отличительных компетенций и личных качеств. Он позволяет себе лишь то, что готов позволить в отношении себя – вплоть до того, что избегает конфликтовать, подчеркивать несогласие или отказ, – ожидает того же в свой адрес и потому не склонен опасаться за личное пространство. Морской кочевник позволяет себе столько, сколько может, поэтому нередко тестирует пределы допустимого, а негативные последствия, материальные и прочие, выступают субститутами «цены вопроса», – впрочем установив эти пределы тщательно, т.е. со значительным «запасом», оберегает собственное и уважает чужое личное пространство. Стереотипно морской кочевник является собственником, ему «есть что терять», – отсюда амплитуда эскалации ограничена пределами допустимого ущерба в результате ответных действий. Напротив, степной кочевник стереотипно не субъект, а объект собственности, фактически собственная жизнь является единственной ценностью в его распоряжении и может стоять на кону в любом, в том числе совершенно не адекватном такой цене конфликте. Для него границы допустимого к себе и другим стираются односторонним характером отношений доминирования-подчинения, в рамках которых роли распределяются по принципу обладания силой, однако это может часто являться причиной необъяснимых всплесков жестокости у индивидов весьма кроткого нрава (дилемма «тварь ли я дрожащая или право имею»). В этой связи, в высшей степени показательно, что для каждого из видов выступает основанием для причинения другому ущерба, боли и т.п., – что предполагает также вероятность в ответ потерпеть их самому, – а соответственно и триггером прекращения такого воздействия. Для городского метаархетипа в этом качестве выступает исчерпывающее обеспечение порядка, который общность в настоящий момент считает добродетельным, – в этой связи, «вторжение»

ценностно чуждой архетипической сущности приводит к дезорганизации транзакционного взаимодействия и жизни общества в целом, поскольку для этого вида, на фоне ценностно обусловленной самодисциплины, характерна периферийность регулярного полицейского аппарата. В то же время для морского кочевника таким основанием является желание доказать, продемонстрировать что-либо себе, – для этого он может даже устроить испытание без участия кого бы то ни было еще, – или другим, предъявить права на участие (ассоциативно «долю рынка»). Наконец, для степного кочевника ожидаемым образом в таком качестве выступает желание утвердить собственное положение в иерархичном обществе, где каждый может являться объектом силового – в широком смысле – воздействия сверху и субъектом, транслирующим такое воздействие вниз. Эти черты легко узнаваемы как в бытовом поведении, так и в модусе функционирования военной и полицейской организации государства у различных видов.

Для городского метаархетипа степень ценности того или иного блага определяется лишь собственными умозаключениями, в то время как для морского кочевника она может внезапно возрасти в случае финансово значимого интереса другого индивида, – даже если это благо давно ему доступно и ранее не ценилось, – и наоборот. При этом степной кочевник высоко ценит лишь то, чего у него нет и только до тех пор, пока этого у него нет, поскольку в условиях силового присвоения ценности привык исходить из того, что «хорошего никто не отдаст». Для индивида весьма характерно самоощущение крепостного, с остаточным «пакетом содержания» («другому не сгодилось», «ношеное»), получение желаемого вызывает лишь кратковременный всплеск самооценки. В этой связи, у кочевников сторона, сделавшая предложение первой, стереотипно рассматривается как слабая («ей нужнее») и должна ожидать более или менее существенного ухудшения условий итоговой транзакции, если такое предложение не сопровождается «принуждением» – демонстрацией соответственно собственной состоятельности (для морских) или силы (для степных), а также наличия других претендентов на сделку, обладающих указанными признаками. В то же время для городского метаархетипа оценка инициативы не ухудшается очередностью внесения предложения, опережение в некотором роде даже составляет предмет доблести («первым догадался, значит более компетентен»). Таким образом, для городского метаархетипа чужой пример не является «заразительным»: ему всегда есть чем себя занять и достаточно наработок, поэтому достижение другого или обретение таковым нового блага он скорее воспримет как дополнительную информацию, позволяющую по-новому расставить приоритеты «в собственном хозяйстве». В то же время для морских кочевников успех другого индивида – это новый горизонт возможностей, пример для подражания, вызов соревноваться с достигнутым результатом, но не с автором такового (принцип «ничего личного»). Для степных кочевников обеспеченность «соседа» едва ли не так же огорчительна, сколь отраден собственный достаток, поскольку в «игре с нулевой суммой» благополучие как таковое считается в качестве ущерба другому, – т.е. это благо теперь ему недоступно, – а удовлетворенность возникает именно вследствие возможности позволить себе недоступное для других. В целом, при оценке блага – стоимостной или «эмоциональной» – все метаархетипы одновременно оценивают ценность самого продавца, однако городской метаархетип и отдельно взятого индивида также оценивает на основе качества производимых им благ, стоящей за ним компетенции. Цена блага в идеальном для этого метаархетипа случае должна стремиться к этой оценке, однако сравнительная ценность благ не обязательно отражает иерархию того, во что они обошлись – будь то в терминах материальных или иных значимых «цен». Кочевники же ценят блага в зависимости от того, как дорого пришлось за них заплатить, более того, сами для себя находят аргументы разной степени обоснованности, оправдывающие относительную ценность благ, обошедшихся дороже, а помимо качества продукта одновременно оценивают и способность продавца «заставить» за него заплатить. Соответственно у морских кочевников цена в значительной степени отражает и усилия по продвижению продукта, у степных же – относительное положение продавца и покупателя в ресурсно-силовой иерархии, при том

что отношения между разными этажами таковой тяготеют к отношениям рабовладения, т.е. в общем случае цена может убывать до стоимости воспроизводства рабочей силы (см. ниже).

Как отмечалось, городской метаархетип единственный по определению является модернистским, несколько отстоит от него морской, а наиболее архаичным из трех социально активных видов первично является степной. По мере того, как у кочевников созревают социальные условия и предпосылки для полезного применения знания, они претерпевают экономико-антропологическую трансформацию разной длительности, в зависимости от изначальной удаленности от модернистских характеристик. В этой связи, роль ключевого архетипического маркера переходит к знанию тогда, когда оно начинает ассоциироваться с аутентичными атрибутами успешности каждого: у морского метаархетипа это происходит, когда знание становится источником богатства, у степного – социального статуса как фактора защищенности от патримониальной силы. Но, в отличие от городского метаархетипа, кочевники – даже по итогам эволюции и в городских условиях – наряду с благоприобретенными навыками кооперации и образованием, тяготеют к конкуренции, при этом, морской вместо специализации склонен соединять, «сшивать» различные культуры, сферы деятельности или знаний, а степной в принципе развивается только «вширь», а не «вглубь», может страдать поверхностностью, увлечением формой в противовес содержанию.

Однако важнее всего, что итоговые архетипы, дольше находившиеся в процессе трансформации, пассионарны и отличаются более высокой социальной динамикой – «эффективностью», резистентностью к экзогенным архаическим вызовам, развитым механизмом преодоления неизбежных эндогенных демодернизационных откатов – по сравнению с «завершившимися трансформационное задание» раньше, как бы «успокоившимися». Во-первых, это связано с количеством и сложностью препятствий на пути деархаизации, выработанным в ходе преодоления таковых коллективным опытом, обширностью и детальностью необходимых для этого сведений. Во-вторых, этот феномен можно условно уподобить эффекту учителя и ученика, – последний усваивает итог исканий первого в течение сравнительно непродолжительного времени, в сжатом виде, и вырабатывает свое отношение к таковому, оставшуюся же часть жизни посвящает обретению нового опыта с учетом полученных знаний. Следуя этой аналогии, каждый последующий реципиент знания усваивает таковое сразу в виде «задачи и правильного ответа», после чего получает возможность предложить более эффективное решение при помощи собственных приемов мышления, так что образуя новые знания «после обучения» каждый последующий метаархетип использует все более совершенный когнитивный аппарат («ученик всегда превосходит учителя»). Поскольку прогресс представляет собой преодоление предрасположенности, новейшего решения можно ожидать от того вида, который прошел через такое преодоление последним в силу худших стартовых позиций, – именно предложенное им решение с этой поры становится ориентиром для остальных. Схематично роль «всемирного учителя» выполняет городской метаархетип, который изначально специализируется на накоплении и систематизации сведений об окружающем мире, и следующим приобщает к таковым соседствующий с ним морской, при этом в благоприятных условиях бытования они располагают возможностью к обобщению и беспрецедентному расширению корпуса таких сведений. В то же время, удаленный от очагов цивилизации степной кочевник достаточно длительное время вынужден учиться на опыте выживания в экстремальных условиях, т.е. располагает сведениями лишь о собственной среде обитания, однако методологически исключительно разнообразным мышлением. Поэтому обучение вызывает взрывной эффект и делает степного кочевника очевидным бенефициаром синергетического эффекта архетипической конвергенции, наиболее конкурентоспособным продуктом экономико-антропологической эволюции. Однако естественная среда обитания этого вида подвержена влиянию природных и социальных факторов архаического тяготения настолько, что успешных прецедентов преодоления такового пока не отмечено, в связи с чем его трансформация предполагает устойчивое и длительное внешнее воздействие со стороны городского метаархетипа.

Методики обучения для различных метаархетипов должны строиться по коррекционному принципу – отталкиваться от их сильных сторон к слабым, на которых в основном и должны фокусироваться. Так, городской метаархетип чрезвычайно эффективно конкретизирует любые общие закономерности, однако ему несколько недостает воображения, непродуктивным «родимым пятном» для него выступает обилие схоластических задач, изолированных от экстерналий (т.е. на условиях «прочих равных»). Морской кочевник с его способностью работать с избыточным информационным потоком легко редуцирует, систематизирует и приоритизирует сведения, однако его психологический портрет делает предметом особого внимания снижение у обучаемого деструктивного дискомфорта от соревновательного давления и при возможных неудачах. При этом оба вида эффективно взаимодействуют в команде, – более того, в рамках лучших практик вовсе не используют систему оценок в буквальном понимании, – обучающий материал для них скорее призван развивать индивидуальный абстрактный кругозор и междисциплинарные связи. Напротив, степной кочевник и другие виды с трансформационными дефектами обладают уникальной способностью к обобщению и аналогиям, поскольку они реже других погружены в производительный труд и часто предаются размышлениям о смысле происходящего с ними. При этом если деформированные морские кочевники часто обсуждают отвлеченные проблемы между собой даже без всякой цели («убивая время»), то для степных это область интимного, более того, для них характерен отрицательный социальный капитал. Первоначально их представления об устройстве окружающего мира настолько иллюзорны, мифологизированы, что обучающий материал абстрактного содержания, не привязанный к конкретному применению, неэффективен или даже контрпродуктивен, способен «отбить желание» учиться. В условиях ограниченности путей самореализации человек и без того пребывает «во внутренней эмиграции», а отвлеченные мысли (в пределе мысли вообще) погружают его в депрессивное состояние, поскольку умножают вопросы и не дают прикладных ответов, на этом фоне из усвоенного человек чаще выхватывает совпадающее с наименее оптимистичными из собственных умозаключений. С другой стороны, распад знания на специализированные, монодисциплинарные фрагменты, не позволяющий сопоставлять или связывать их в единую систему, не менее разрушителен для атомизированного, «уединенного в доме» сознания: получение сведений в таком модусе не повышает, а, напротив, снижает уровень ясности. Мышление этих видов наиболее эффективно развивается комплексным решением прикладных задач, препарированием частных проблем посредством междисциплинарного инструментария, а любые отвлеченные сведения должны быть сопровождены обилием линий взаимосвязи с другими явлениями, областями знаний. В этой связи, собственноручное изготовление комплексного изделия здесь может быть более плодотворным для развития, чем обучение решению задачи, которую индивид себе не представляет «реалистичной картиной». Однако если деформированным морским кочевникам необходимо прививать индивидуальное мышление, ответственность, дисциплину и усидчивость («стимулировать оценками»), то для степных, напротив, актуально развитие способности к командному, горизонтальному взаимодействию. Напротив, наиболее деструктивным для них является архаический тип обучающего воздействия: осознанно или нет, его субъект видит свою социальную миссию в воспитании объекта послушания, живой силы для силовой корпорации, к которой себя относит, соответственно в занижении «потолка знаний» у обучаемого. Фактически такой способ обучения прививает отвращение к знанию, – и даже система оценок в этом случае апеллирует к сословно-иерархической матрице, служит инструментом поражения в правах. В целом, и с точки зрения когнитивных характеристик, и с точки зрения расположения социальных «тромбов», деархаизация метаархетипов с трансформационными дефектами требует активного участия «модернистских» видов.

При этом до настоящего времени наиболее эффективным, оправдавшим себя механизмом внутренней трансформации архаических установок располагает морской метаархетип. Последний

изначально не чужд архаической матрицы, поскольку капитал, являющийся его основным ресурсом, не является общедоступным фактором производства и требует силы для защиты, однако в его естественной среде обитания и капиталом, и – в первообразном состоянии индивидуально либо коллективно – силой обладают многие. Это вынуждает эволюционировать не в направлении подавления по вертикали, а в направлении горизонтального взаимодействия – конкуренции или кооперации, однако инородные архетипические элементы он принуждает к деархаизации путем жесткого конкурентного давления, содействуя им лишь в коррекции изначальногo ущемления конкурентоспособности, – например, путем льготного доступа к качественному образованию. В то же время, мотивацию личной корысти и конкуренцию в индивидуальном качестве морской кочевник не только считает легитимной, но стимулирует ее у других архетипических видов, тем самым атомизируя членов социально герметичной общности, в которой взаимодействие основано на принципе короткой дистанции и отсутствии личного пространства. Наконец, чрезвычайно важно, что характерный для общностей морских кочевников эффект длинной социальной дистанции оставляет комфортный простор для чрезвычайного поведенческого разнообразия за рамками универсальной транзакционной культуры – в т.ч. свободу образовывать анклавные общности короткой дистанции. Это важно как для городского метаархетипа, так и для выходцев из изолированных общностей, – в то же время для выходцев из атомизированных кочевников более органичен шаблон длинной дистанции, так что в общностях морских кочевников они органично вливаются в состав социального и этнического большинства. Особенно отчетливым это преимущество являлось на пике глобализации рынков товаров, рабочей силы и капиталов, – когда длинная дистанция трансграничной кооперации выступала областью извлечения премиальной стоимости: американские транснациональные корпорации охотно допускают использование различных управленческих моделей в зарубежных подразделениях.

Такого социального механизма лишен городской метаархетип: подобно архаическим общностям иммигрантов, он оперирует на короткой социальной дистанции, так что культурно-поведенческий контраст разрушает единое транзакционное пространство и создает ощущение «вторжения». Как известно, на короткий период, на фоне пика капиталоемкости индустриального уклада и сопутствующего появления моноцентрической социальной архитектуры, установка на культурно-поведенческую однородность привела здесь к возникновению наиболее жестокого в истории ксенофобского нацистского строя. Более того, и в условиях глобализации, когда европейские корпорации вынуждены становиться транснациональными и осваивать пространство длинной дистанции, поддержание собственного стандарта производственной и технологической культуры в зарубежных подразделениях принимает оборот регламентации, детализированной до степени диктата, а также ограничивает вынесенные функции лишь второстепенными, – в то время как «в домашних условиях» общность, напротив, в высшей мере склонна к самоорганизации. В целом, однако, архаическое тяготение, склонность принуждать этому виду не присущи, а основным способом взаимодействия между индивидами выступает не конкуренция, а кооперация. В случае, если для инородных архетипических элементов характерна силовая ценностная «интоксикация», то приглашение к кооперации без принуждения таковые расценивают как проявление слабости, что разрушает у них стимулы к восприятию социальной матрицы большинства. При этом адаптационную материальную помощь они считают в соответствии с собственным архетипическим представлением о происхождении достатка – как легитимную добычу, полученную «кочевым набегом». Всем архаическим общностям свойственно двоемыслие, в то время как в модернистском социуме принято недвусмысленно излагать свои цели и мотивы, чтобы сократить издержки транзакционного взаимодействия, соответственно ожидать от других того же, – так что в общей среде или в международном взаимодействии первые весьма склонны к злоупотреблению информационным и социальным пространством вторых. Наконец, архаические сообщества короткой дистанции признают только коллективную самоидентификацию и ответственность, – так что и вне собственного периметра

контрагентом считают лишь общность в целом, распространяя ответственность за любого из ее членов на всех остальных.

В этой связи, наиболее примечательным является способ воздействия на архаические элементы, характерный для «общинных» антропологических видов с их гибридной природой – короткой дистанцией, присущей городскому метаархетипу, внутри общности и длинной, свойственной морским кочевникам, по внешнему периметру. Раскапсулирующиеся, воспринимающие систему ценностей общности индивиды здесь оказываются интернализированы новой для них средой, испытывают на себе не просто все преимущества кооперации модернистского типа, а повышенное внимание, опеку окружающих. Такой человек практически рассматривается в качестве «сироты, отказавшегося от родства», – имеется в виду не отказ от этно-конфессиональной идентификации, а смена комплекса поведенческих свойств, ведущая также к утрате преимуществ солидарности изолированной общности, привычной коммуникационной среды. В то же время, упорствующие в соучастии в герметичных субкультурах с силовой «токсичностью» рассматриваются такой общностью как внешние и испытывают на себе всю мощь конкурентного и силового давления в режиме длинной дистанции. «Общинный» архетип сравнительно толерантен даже к наличию в его недрах другой общности короткой дистанции, поскольку сам отличается сплоченностью и не опасается чуждого вторжения, – более того, такая общность может быть наделена коллективной правовой субъектностью в дополнение к индивидуальной гражданской субъектности ее членов, выступать реципиентом различного рода предпочтений. В то же время, если такой социальный анклав экспортирует архаические поведенческие практики за собственные пределы, то модернистское сообщество «общинного» типа в дополнение к индивидуальной ответственности нарушителя социальной нормы обычно призывает к коллективной ответственности также и его общность в целом. Этот модус интеграции архаических элементов в мире встречается редко, однако практически каждый из «общинных» этносов имеет опыт такого взаимодействия по внешнему периметру. Наиболее широко известен опыт Израиля, – так, друзья здесь практически полностью интернализированы, в то время как в отношении к арабам отчетливо различима тактика «кнута и пряника». Модус реагирования на беспрецедентный уровень угроз безопасности здесь можно считать неотъемлемой частью архетипического поведения вида: предпочтение отдается высокотехнологичному и точечному применению силы, а также превенции и постоянному, неотвратимому и убедительному реагированию на сравнительно небольшие эксцессы – внутренние и внешние. Это оправдывает себя с точки зрения сбережения человеческих и материальных ресурсов – собственных и противной стороны – в сравнении со сдержанностью в оперативном режиме и длительной мобилизацией для крупных столкновений, с которых начиналась история страны и которые были бы неизбежны и далее. Ожидаемым образом этот тип поведения встречает непонимание в странах с доминантным городским метаархетипом, которому не знаком коммуникационный язык социального давления, более того, с применением элементов коллективной ответственности. Прежде всего это касается Франции и Германии, – которые, впрочем, испытывают сложности с системным реагированием на схожие вызовы и разрастание являющихся их источниками социальных страт, этно-конфессиональных групп. Однако некоторый опыт отношений с общностями короткой дистанции есть у скандинавских общностей: так, общеизвестно подвижническое отстаивание ими жизни и прав местного еврейского населения в годы второй мировой войны, которого в столь явном виде не отмечалось в других странах Европы, а в наше время интеграция иммигрантов здесь также протекает намного успешнее других стран континента. Наконец, и старообрядческие общности на Урале и восточнее исторически были открыты для кооптации самых разных этно-конфессиональных групп с аналогичным социально-поведенческим комплексом, – в то время как ответвления силовой корпорации вплоть до нашего времени наталкиваются на глубинное отторжение, протестный ответ в доступных формах.

Интеграционные механизмы, характерные для общностей с трансформационными дефектами, сравнительно просты, – это отражает примитивный характер самого способа производства, в рамках которого труд вообще и человеческий капитал в частности играют периферийную роль, кроме того, соответствующие страны, как правило, не слишком привлекают мигрантов качеством жизни. Так, деформированные морские кочевники, бытующие в условиях пищевого изобилия, довольно радушны и открыты по отношению к пришельцам без всяких условий. В то же время, изолированные общности отторгают их, демонстрируя лишь разовое гостеприимство, – при этом укрывают от чужих глаз признаки истинного уклада своей жизни, фактически возводя в абсолютный принцип асимметрию информации. При этом примечательно, что на уровне бытового восприятия в модернистских общностях люди кажутся значительно более отстраненными, холодными и деловитыми, чем в архаических, менее склонны оценивать других исходя из субъективных симпатий. Это связано с тем, что такие общности, – хотя они в среднем много богаче архаических, – обладают значительными возможностями производительно использовать ресурсы времени и материальные ресурсы, поэтому не располагают излишками таковых. Особенный дискомфорт индивидам здесь доставляет необходимость уделять ресурсы тем, кто не разделяет с ними общих ценностей и бремени создания общественного богатства. Это иллюстрирует тезис, что высвобождение ресурсов в любой общности вызывает к жизни архаические тенденции через посредство цепочки экономических и социальных механизмов (см. ранее), – и в этой связи парадоксальным образом именно архаические сообщества, в среднем менее состоятельные, относительно более ресурсоизбыточны. Что касается степных кочевников, то здесь силовая элита практически выступает отдельной антропологической сущностью короткой дистанции, эквивалентной изолированным общностям, – прочим же она отводит место невольников и экстрактивного «резервуара», обитающего на длинной дистанции, внешней социальной «орбите». Отсюда она бесстрашна к подданным и индифферентна к их этно-конфессиональному происхождению – отличается терпимостью и в некотором роде даже привечает лояльных чужаков, поскольку плохо интегрированные инородцы служат дополнительным экономическим и силовым рычагом для удержания соплеменников в повиновении. Это касается не только отдельных индивидов, которые вписываются в общую социальную норму длинной дистанции в личном качестве, но и целых этнических групп короткой дистанции, образующих «капсульные» анклав, – если они нашли свое место в вертикальной социальной архитектуре на субсидиарных основаниях (см. ранее и далее).

Наиболее осложнена социальная эволюция тех субконтинентальных общностей, которые происходят из изолированных в силу географических, а также социальных условий анклавов и обладают отрицательным социальным капиталом – избытком навыков, не применимых за пределами собственных общностей, и витальным дефицитом нужных вовне. Индивиды здесь полностью интернализированы племенем, корпорацией, тотально нетерпимым к малейшим признакам отличия, любое не одобренное старшим по положению и возрасту действие считается потенциально предосудительным, поэтому для преобразований отсутствует какая бы то ни было восприимчивая к альтернативе социальная база. Общность практически исключает внебрачные половые связи, одновременно практически не предоставляет возможность реализоваться в мирных условиях, что в совокупности дает исключительно высокую склонность к насилию. Для индивидов мужского пола бытование в замкнутых боевых сообществах является доминирующим архетипом времяпровождения, которое апеллирует к архетипу «войска в мирное время» – в т.ч. с точки зрения способа промысла поборами. Это отзывается герметичностью этического кодекса этно-религиозного или корпоративного толка, сохраняющейся даже при перемещении в другие социальные условия, – более того, разбирательством бытовых кейсов с точки зрения «свода понятий» мужчины охотнее всего занимают «межвоенное» время, – склонностью к агрессии, усиливающейся в чуждой среде. Миф о непобежденном малом племени перед лицом великих, укоренению которого способствуют естественные географические преграды на пути завоевателей, имеет следствием поведенческий «комплекс победителя», пренебрежение к обычаям места пребывания, ощущение своей «высшей правоты». Соображения развития практически исключены из системы приоритетов, и даже в целях обеспечения безопасности общность делает ставку на воинскую доблесть – физическую силу, которая ввиду демографического профиля присутствует здесь в достатке и не имеет лучшего применения.

Примат силы над любыми другими маркерами успешности выражен настолько, что даже жестокое подавление превосходящей силой воспринимается как более доблестная участь, чем сотрудничество с тем, кто не продемонстрировал достаточной силы – соответственно не заслужил, чтобы с ним считались. Сила выступает единственным способом самовыражения, «языком» коммуникации и возможностью воспользоваться социальным лифтом, поэтому индивид не только не избегает ее применения, а, напротив, ищет способы ее использовать – практически в ответ на любой вызов окружающей действительности. Отсюда чаще всего сила идет в ход в ответ на слово, – т.е. фактически слово и дело уравниваются с точки зрения весомости последствий. Слово выступает заявкой на положение в иерархии, – поэтому, если такое положение не авторизовано вышестоящим, то в обязательном порядке требует подкрепления силой без права претендовать на снисхождение в собственный адрес. При этом стереотипно низкая ценность человеческой жизни и примат воинской доблести ведет к готовности «повышать ставки» любого силового противостояния, не останавливаясь перед летальными последствиями. Социум готов оправдывать применение силы не только в кормовых целях или в качестве демонстрации доблести, но и как основной способ регулирования порядка, общественной и личной морали, норм поведения, – более того, считает сопутствующие жертвы легитимными. В зависимости от того, пал ли мужчина как «честный воин» – т.е. демонстрируя доблесть внутри или вовне общности, приняв наказание с «честью», покорностью, – либо же он был наказан за «недостойное поведение», его близкие становятся объектом соответственно общей помощи или поражения в правах. Тем самым ответственность за члена семьи переносится на весь род, – так что последний мотивирован неограниченно контролировать поведение индивида, который тем самым полностью лишается какого бы то ни было личного пространства. В качестве воина индивид приучен стойко выносить любые лишения от «своих» или в интересах «своих» против «чужих», в то время как последним позволяет лишь минимальное ролевое разнообразие: поединок; подчинение/услужение/положение данника; статус временного гостя, предполагающий радушие, при этом дистанцию, отсутствие привилегий члена общности, положение лишенца. Иное индивид-воин принимает за неуважение, требующее неотвратимого реагирования – притом также не предусматривающего соразмерности. Разумеется, такой корпус этических норм подразумевает, что перед «чужими» общность признает любые действия своего члена обоснованными, – если только эти действия не противоречат духу отношений двух общностей. При этом общность приложит все усилия к тому, чтобы только она – но не общность с чуждой системой ценностей – подвергала действия ее члена правовой или этической оценке. С этой точки зрения мера наказания или поощрения для члена общности устанавливают внутренние инстанции, они же руководствуются не равноправностью и равносубъектностью сторон – «своего» и «чужого» индивидов, – а тем, в какой мере «свой» нанес ущерб или принес пользу интересам общности.

Эволюция носителей такого рода установок требует полного отстранения от привычной среды, притом именно в индивидуальном качестве, практически отказа от собственной идентичности. Готовности к таким изменениям можно скорее ожидать от индивидов, в местах происхождения привычных к межродовому сосуществованию, т.е. к необходимости мириться и находить общий язык с «иным». Для остальных это зачастую становится непреодолимым препятствием на пути социальной трансформации не только по причинам психологического свойства, но и в силу необходимости добровольного отказа от благ родоплеменной солидарности при отсутствии конкурентных преимуществ модернистской среды, прежде всего, образования. В этой связи, в развитых странах широко распространены адаптационные практики и институты, призванные расширить доступ к образованию и прочим благам для расовых, этнических и социальных меньшинств. Однако на деле сравнительно высокую эффективность продемонстрировал лишь механизм преодоления последствий расовой сегрегации в США, где социальная инклюзия не снимает давления с отзывчивого к принуждению индивида, а лишь меняет тип такого принуждения с органичного для степного кочевника на органичный для морского, т.е. с силового на конкурентный, материальный, при этом предоставляет возможность «наверстать» отставание в стартовых возможностях. В то же время, менее удачной считается стратегия мультикультурализма в Европе, которая опирается на поведенческий тип доминантного городского метаархетипа: доступ к общественному благу здесь не связан непосредственным образом с ролью в создании общественного продукта, а конкурентный тип поведения выражен слабо. Неспособность к принуждению считается общностью с силовой «интоксикацией» как слабость и неубедительность всей предлагаемой системы ценностей, социальной модели вообще, что скорее препятствует ее деархаизации.

Трансформация общностей такого типа за пределами развитых стран – и даже в них, если абсорбционные практики потерпели неудачу, – представляется многоступенчатым процессом, первым звеном в котором служит «взлом» родоплеменной матрицы – отказ от идентификации со своей малой общностью в

пользу отвлеченной, даже если ее поведенческие установки далеки от модернистских. Смыслом этого шага трансформации является дать старт формированию социального капитала индивида, ознакомлению с горизонтальным взаимодействием как таковым в противовес отношениям силового доминирования-подчинения. Парадоксальным образом эту плодотворную с точки зрения антропологической эволюции миссию в современном мире берут на себя экстремистские идеологии, претендующие на роль выразителя интересов «невключенных» жителей городов, прежде всего радикальные исламские течения, усиление которых чревато критическим нарастанием вызовов развитому миру. Однако идентификация скорее с отвлеченным, воображаемым центром силы – пока без смены самого силового маркера – делает индивида субъектом воли и действия, в то время как в рамках родоплеменной матрицы такой центр силы является конкретным, осязаемым и лишает индивида какой бы то ни было субъектности, соответственно способности вступать во взаимодействие. Дальнейшие шаги социальной трансформации этой общности требуют смены поколений, однако этот промежуточный шаг здесь выполняет функцию периода модерна, который в большинстве общностей обычно приносит также и тоталитарные идеологии. В этой связи, обращают на себя внимание качества, которые дают представление о потенциале продуктивного применения антропологических свойств этого вида, – обостренное чувство справедливости и долга, готовность бескорыстно служить общественному благу. Индивид принимает предложенное «старшим» определение такого блага, равно как и наложенные им ограничения, – поскольку сам обычно не привык соразмерять издержки с поставленной задачей.

Такая прямолинейность отличает изолированные общности от нижних сословий атомизированных степных кочевников, для которых, напротив, характерна гибкость, пластичность, приспособляемость – вследствие того, что в неблагоприятных естественных условиях они еще и не могут положиться на коллектив, в котором на деле каждый «играет за себя». Здесь также сильно влияние замкнутых мужских вертикальных субкультур казарменного типа – например, криминального или «опричного» толка, которые архетипически могут быть приравнены к изолированным субконтинентальным кочевникам. Будучи частью нижних сословий, они претендуют на роль «делегата» силовой корпорации среди атомизированного большинства и претендента на долю в общественном богатстве. Сама корпорация, напротив, считает их готовность к патерналистскому союзу следствием отсутствия другой социальной полезности, поэтому использует в своих интересах без каких бы то ни было встречных обязательств – против нелояльных слоев либо для «деликатных поручений», а фактический «кормовой» пакет для «социально близких» уступает даже предусмотренному для большинства. В этой связи, для таких сообществ характерна агрессивность по всему периметру – как по отношению к патримониальной вертикали, так и по отношению к индивидам, не вовлеченным в субкультуры с силовой «токсичностью». Лишь небольшая часть последних охотно приобщается к этике и эстетике силы, а склонность мужчин к праздности и совместному времяпровождению вне семьи связана не с сублимацией силы, а, напротив, с бегством от слабости – периферийности положения в доме ввиду неспособности обеспечить должный достаток, притом прежде всего именно из-за силовой «токсичности» среды хозяйствования. В этой связи, мужчина из нижних сословий выступает подавляемым в обществе и вторичен в семье, в то время как забота о последней ложится на женщину, что делает ее реальный статус необычно высоким для архаического сообщества. Притягательность признаков силы для нее связана с сугубо материальными и бытовыми ожиданиями, что, в свою очередь, побуждает мужчин имитировать брутальный тип поведения, однако у женщин в такого рода сообществах в любом случае меньше выбора, чем у мужчин, в силу гендерной структуры популяции. В связи с приземленным кругом задач для женщин – в противоположность предающимся эскапизму мужчинам – привычной нормой здесь является восприятие действительности в сознательном регистре, притом с акцентом на жизненно важных для семьи обстоятельствах, а в конечном итоге, при принятии важных решений, – вопреки стереотипу – без усложняющих картину деталей. Навык выживания в условиях скудости как наиболее ценное личное качество невольно делает именно женщин наиболее массовым слоем адептов устоявшихся социальных порядков, основанных на принципе «нулевой суммы», – даже осуждая статус-кво, в своей жизненной стратегии они исходят из его неизменности, а перспектива глубинной трансформации вселяет тревогу, скорее чем надежду. В этом же ряду подозрительность к новшествам, склонность к шаблонному мышлению – как правило, под видом логичности – в то же время чрезвычайная настойчивость и целеустремленность, в чем женщины также резко контрастируют с противоположным полом. В основном они с подозрением относятся к любым занятиям мужчин, которые прямо не связаны с задачами семьи, – и это лишь отчасти вызвано бытовой ревностью, в основном же имеет отношение к потребности делить время приземленных забот. Неприятие при этом вызывает не только праздное времяпровождение партнера, но и любое другое, если извлекаемая выгода не является очевидной, непосредственной и сиюминутной, – например, нестандартные знания или ремесла, в которых степной кочевник способен достигать выдающихся результатов. Вместе с тем, утомительное бремя

выживания делает женщину и наиболее истовым ниспровергателем знакомых устоев и связанных с ними авторитетов, если условия уже существенным образом изменились чужими усилиями, т.е. после такого изменения, – например, в эмиграции или при смене стереотипа материально успешного мужчины.

При наличии возможности индивиды обоего пола охотно готовы приобщиться к силовому сословию, однако преимущественно оно открыто лишь для кооптации живой силы в качестве «расходного материала», а доступ к патримониальному «резервуару» общественной стоимости герметично «закупорен», напротив, указанный «резервуар» активно пополняется в ущерб нижним сословиям. В этой связи латентно социум, в целом готовый повиноваться силе как неотвратимой стихии, в своей массе воспринимает ее как крайне негативный раздражитель. Донесение силовой корпорации на кого-либо за нарушение нормы, а тем более на преследуемого по сомнительным основаниям, архетипически воспринимается как «выдача врагу», коллаборационизм, избирающий такой путь индивид вынужден скрывать свои поступки в опасении общественного порицания, изоляции. По совокупности этих причин при повышении «кормовой достаточности» нижние сословия степных кочевников охотно открываются для трансформации и готовы воспринимать иные маркеры успешности. Особенно легко их представители интегрируются в модернистскую среду при перемещении в нее, поскольку нормативно идентифицируют себя не с обширной общностью «своих», а лишь с узким составом семьи, что вполне соотнобразуется с модернистской системой представлений и формирует восприимчивость ко всему комплексу поведенческих установок, соответствующих этим представлениям. Однако, по мере удаления от источника негативного силового раздражителя, одновременно с деархаизацией неизбежно проявляется склонность к атомизации, – любой личный контакт с человеком становится причиной неосознанной тревоги, если только не является индикатором особого, допускающего преодоление физической дистанции расположения. Отсюда этот вид лучше усваивает конкурентный поведенческий тип, свойственный бездефектным морским кочевникам, и отличается невосприимчивостью к коллективному, солидарному поведению.

Таким образом примечательно, что непосредственной причиной такой разницы двух формаций – премодернистских и в социальном плане практически идентичных – с точки зрения поведения вовне и трансформируемости внутри является принципиально различный тип идентификации со «своим» архаическим сообществом вообще и стереотип периметра семьи в частности. В первом случае вся общность тщательно следит за единообразием уклада, активно выявляет и подавляет отличительность, в то время как во втором значительная часть таковой считает отличного просто еще одним атомизировавшимся, скрывающимся от «патримониальной видимости». При любой степени отчуждения большинства индивидов друг от друга, «выдача» опрочинне не является широко одобряемым поступком и должна быть продиктована экстремальным патримониальным давлением. Ввиду наличия такого социального «разрежения», «в лоне» этой общности может прижиться городской метаархетип, оказывающий значимое трансформационное воздействие.

Естественно, особенности темперамента метаархетипов также необходимо соотносить с климатическими поясами проживания и происхождения, что, вероятно, имеет отношение к «кормовой» обеспеченности и доступности преимуществ досуга, влияющей на количество уделяемого труду времени. Так, стереотипно в условиях теплого климата индивиды чаще оказываются более открытыми и щедрыми, расширительно трактуют семью, стремятся сохранить привлекательный образ жизни и социальные связи при смене среды обитания, в то время как обитатели холодных мест более сдержаны и бережливы, в качестве семьи рассматривают узкий круг близких, а вне мест происхождения сравнительно безболезненно меняют привычки и окружение. Отсюда при прочих равных архетипических условиях архаические устои дольше удерживаются в сообществах, сформировавшихся в теплых странах. Примечательно, что низкая социальная динамика, подрывающая стимулы к усложнению способа производства, совершенствования трудовых навыков и вовлечения знания в процесс создания ценности, у южных морских стран в целом воспроизводит признаки характерной для степных кочевников общественной организации, притом даже в северных широтах. Это отражает «рисунок» взаимодействия морских и южных степных кочевников как соответственно объекта и субъекта силовой деформации архетипических свойств. Однако если у морской разновидности социальная застойность опирается на стереотип пищевого изобилия, то у степной, напротив, на стереотип скудости в условиях ограниченного потребления и бессмысленности инвестирования, которое заведомо не в состоянии обеспечить положительную отдачу, если объектом такового не являются редкие ресурсы, содержащиеся в цене рентную компоненту и также присваиваемые по праву силы. Поведенческие особенности подвергшегося деформации морского метаархетипа, как и изолированных общностей, формируются под решающим влиянием эффекта короткой дистанции, который, в частности, поддерживается бездеятельным бытованием

больших групп индивидов мужского пола. Более того, одни воспроизводят тип социального поведения и темперамент других – не признают примата личности, подчиняются старшим по положению и возрасту, расширительно трактуют семью как сообщество «своих», осуждают внебрачные связи, социально и этнически герметичны за пределами титульной страны, ориентированы на силу, склонны к сословности, агрессии и криминальному поведению. Деархаизация деформированных морских кочевников также осложнена, поскольку пролегает через самоустранение индивида из архаической общности – вместе с болезненной утратой преимуществ таковой, которая позволяет опираться на определенные, пусть и скудные, ресурсы общности. В этой связи, альтернативой смене страны проживания может служить лишь длительная искусственная подпитка автохтонного городского метаархетипа извне, с тем чтобы активировать образовательный социальный лифт и создать область притяжения для индивидов из архаических субкультур.

С другой стороны, интересно, что у обоих архетипических видов, вне зависимости от региона и климата проживания, культовой добродетелью стереотипно считается радушие и гостеприимство, что не в последнюю очередь имеет отношение именно к избытку праздного времяпровождения и «лишних» людей, не задействованных в производительном труде. Даже наиболее лютые в другом отношении режимы здесь весьма дозированно пускают в ход ксенофобские мотивы: привычка разделять досуг друг с другом осложняет разжигание розни. При этом неосознаваемые причины таких этических представлений в различных природных условиях и у различных сословий могут быть прямо противоположны – демонстрация достатка на фоне скудости или, напротив, легкая доступность благ на фоне изобилия, подозрительность к чужаку, страннику, необходимость поместить его в поле видимости, «под догляд» или, напротив, историческая память о плодотворности обмена товарами и культурными образцами. Между тем, различие первообразных условий бытования служит основой существенного различия в социальном поведении субконтинентальных общностей и деформированных морских кочевников. Если у первых индивид в принципе не является субъектом воли, а соответственно социального капитала, то для вторых характерны высокий уровень межличностного доверия и склонность к самоорганизованному коллективному действию: условия бытования здесь благоприятствуют прочным социальным связям, при этом отсутствует единый центр ресурсно-силового экстремума, а существует лишь запрос на таковой – большую часть исторического времени не удовлетворенный (см. выше).

Итак, антропологическое многообразие дает достаточный материал для углубленного изучения нейropsychологических свойств не только отдельных метаархетипов, но и «продуктов» их взаимодействия – в среде происхождения или при смене таковой, в «смешанных» семьях и пр. Наибольшей плодотворностью и органичностью отличаются архетипические композиции с участием городского метаархетипа, основанные на его ценностных установках и закрепляющие горизонтальный способ образования социальных связей, – как правило, осевой повесткой здесь выступает приобщение к знанию морского метаархетипа и нижних сословий степных кочевников. Вместе с тем, на примере Петербурга представлена и другая, крайне неуживчивая и кажущаяся противоестественной архетипическая композиция с его участием – при доминировании силовой корпорации степных кочевников. Этот пример подтверждает исключительную резистентность и ценностную цельность городского метаархетипа, не усваивающего навыки вертикальных транзакций, одновременно его крайне ограниченную способность оказывать трансформирующее действие на общности с несовместимой системой ценностей, основанной на силе, – что демонстрируется также и дисфункцией европейского мультикультурного проекта. Взаимодействие субконтинентальных и прочих изолированных общностей с морскими кочевниками в основном носит конфликтный характер и разрешается в пользу поведенческих установок стороны, обладающей превосходящей силой: если в Средиземноморье этот контакт привел к силовой деформации морского метаархетипа, то в США преодоление социальной застойности расовых меньшинств имеет некоторый успех.

4.2 Экономическое поведение и деловые качества архетипов.

Принятие решений: транзакционная и управленческая культура

Городскому метаархетипу свойственна высокая степень свободы, уверенности в собственной востребованности, для него характерна качественная, практически бинарная система принятия решений («да – нет»), критерием которых служит соответствие целевой функции, сводящейся к приумножению знания, профессиональному, личностному и гражданскому саморазвитию, самореализации в целом, развитие имеет абсолютный приоритет по сравнению с безопасностью. Свое взаимодействие с другими индивидами городского метаархетип также строит исходя из необходимости достижения общего блага, при этом подобно отношениям в семье не придерживается строго принципа соответствия взаимных требований и обязательств сторон, а также не ограничивает временной горизонт достижения цели, даже если он выходит за рамки жизни поколения. Отличное от другого индивида представление о благе – технологии, лучшем образце материальной или гуманитарной культуры, институтах и т.п. – является для него не основанием для конкурентной борьбы, характерной для кочевников, а приглашением к дискуссии, отстаиванию взглядов, вызванным скорее перфекционизмом, приоритетом совершенства конечного результата. К риску ради заработка городского метаархетип не склонен и воспринимает неопределенность скорее как спутник научного исследования, эксперимента. Однако для минимизации рисков он стремится к заблаговременному детальному пошаговому планированию действий, которое является проявлением трудового прилежания и способом декомпозиции цели, т.е. также своего рода актом познания. Контрольные показатели также чрезвычайно детальны, однако характеризуют качество, полезность («технические характеристики») каждого элемента и сводного результата, скорее чем относятся к итоговой финансовой эффективности. Ритмичность последующего контроля также является пошаговой, однако контроль также является консенсусным и не принимает форму ограничения начальником самостоятельности подчиненного, поскольку индивиды выращены в рамках единой культуры труда, а оценка достигнутого воспринимается как часть своего рода процесса обучения, возрастания человеческого капитала. Знание или навык, являющиеся основной ценностью в распоряжении городского метаархетипа, при передаче не утрачиваются у источника, поэтому парадигма ограниченности собственных ресурсов для него не является органичной и не определяет подход к принятию решений. В этой связи отдача на вложенные средства и временной горизонт реализации цели выступают скорее неизбежными экстермальными ограничениями, способствующими бережливости и сдержанности в потреблении, организованности и самодисциплине. Вместе с тем, в критической ситуации городского метаархетип готов скорее расстаться именно с деньгами, «откупиться», нежели пожертвовать привычным образом жизни и системой ценностей; материальная компенсация, отступное, не выглядит для него адекватным замещением отказа от представляющего предмет его специализации продукта, технологии. Накопления он также использует для реализации долговременных плановых целей – вложений в человеческий капитал либо создания блага, к качеству и характеристикам которого он взыскателен вплоть до деталей, поэтому в полной мере осваивает доступные материальные, информационные, временные и иные ресурсы, не образуя излишков.

Примечательно, что даже в период преמודерна и далее, на заре Нового времени, когда основу благосостояния составлял передаваемый по наследству и потому являющийся архаическим атрибутом сословный статус, у городского метаархетипа предметом такой передачи выступала профессиональная специализация – модернистский атрибут. Более того, аналогичным образом признаком характерного для архаического сообщества различения по принципу «свой – чужой» у этой общности также выступали модернистские атрибуты – культура труда, секреты мастерства. Способом ограничения доступа к источнику благосостояния служила корпоративная солидарность, выраженная в необходимости получения «допуска» не просто к занятию профессией, но даже к овладению, обучению ей – путем кооптации в профессиональный цех, несущий ответственность за квалификацию собственных членов, регулирующий количественный состав, а часто квотирующий выпуск.

Морской метаархетип, как уже отмечалось, бытует в условиях избытка возможностей, поэтому изобилие информационных ресурсов – в силу соседства с городским метаархетипом – и глубины рынка

вступает в противоречие с дефицитом времени и – по крайней мере, стереотипно – капитала. Он находится в постоянном выборе способов реинвестировать прибавочную стоимость и при прочих равных условиях – так же как и городской метаархетип – стремится не образовывать свободных излишков. В этой связи он постоянно сравнивает альтернативы и ранжирует их по приоритетности, «выхватывает» из информационного потока минимальный объем критичных сведений и отсеивает прочие, принимает решения по дискретной шкале, в зависимости от соотношения выгоды и различных показателей, характеризующих усилия по ее получению (цена входа или другой барьер, риск и т.п.), что соответствует количественной природе богатства как целевого ориентира морского кочевника. Таким образом, в этом морской кочевник отличается от других архетипических видов, у которых основанием для принятия повседневных решений являются их ценности – соответственно знание, общественное благо у городского метаархетипа и сила, безраздельное господство у степных кочевников. Ценности морских кочевников в силу своей природы в процессе принятия повседневных решений не задействованы: как правило, они попросту не оперируют в пространстве, где отсутствует личный суверенитет и свобода воли либо где границы таковых часто и существенно меняются. Поскольку капитал, которым распоряжается морской кочевник, является ограниченным ресурсом и при передаче утрачивается у источника в первоначальном виде (преобразуется), он соразмеряет вложения с отдачей как по ценности, так и по длительности. Любое решение является предметом планирования в расчете на достижение результата в определенных временных границах, последующему контролю подвергаются лишь промежуточные узлы, имеющие самостоятельное коммерческое значение для конечного результата, при этом внутри отдельных участков исполнители имеют высокую степень свободы действий. При этом он стремится придать стоимостное измерение как любому благу, так и ущербу: в силу благоприятности среды необходимость денежного покрытия последнего, т.е. зафиксировать убыток, выглядит не драматическим поворотом, а поводом перейти к следующей инвестиционной альтернативе («заработаем еще»). С другой стороны, направленное на соперника наступательное, атакующее действие – конкурентное, военное – также преследует цель сделать нежелательное поведение невыгодным для такового, лишенным ожидаемой премии или сопряженным с обесценивающими ее издержками, т.е. создать ситуацию равнодоходности нежелательного действия и отказа от него. Сам он также готов удовольствоваться адекватным материальным возмещением ожидаемой выгоды в обмен на отказ от активных действий по ее получению.

Поведение в хозяйственном и/или военном конфликте сильно отличает морского кочевника от других видов: триггеры вступления в конфликт у последних могут быть различными, однако в силу бинарного, ценностного принятия решений противостояние всегда является предметом принципа и продолжается либо до полного уничтожения противника, либо до момента невозможности продолжения борьбы. Соперник воспринимается не как конкурент со своими легитимными интересами, а как враг, не заслуживающий существования и подлежащий истреблению, по меньшей мере лишению субъектности. Что касается такого дорогостоящего, требующего мобилизации ресурсов мероприятия, как война, то безотносительно метаархетипа ее истинные мотивы некорректно рассматривать в отрыве от экономической подоплеки. Исторически морские державы чрезвычайно интенсивно вовлечены в военные конфликты (см. далее), однако наибольшей кровопролитностью отличается сухопутный театр боевых действий, который доминирует при участии в столкновениях стран с другими доминантными метаархетипами. В силу удаленности от морских транспортных путей, у последних система традиционных представлений о своем месте в мире пронизана ощущением «тесноты», «зажатости» на субконтиненте, в которое уходит корнями понятие «жизненного пространства» нации, державы. С другой стороны, существенные различия между городским и степным метаархетипами заметны, даже когда их общности охвачены доминированием человеконенавистнических идеологий и режимов, причем эти различия имеют именно ярко выраженную архетипическую природу, – например, они проявляются в представлениях об обращении с завоеванными. Так, идеологи немецкого нацизма ранжировали таковых – от подлежащих уничтожению до годных к применению разной степени полезности – в соответствии с собственным суждением об их деловых и личных качествах, при этом помещая собственную расу на вершину пирамиды евгенического превосходства. В то же время, элиты Российской империи и СССР попросту кооптировали новые элементы в состав привычной матрицы, в рамках которой русский этнос выступает основным объектом оккупации, стремились лепить социальную архитектуру

покоренных по собственному экстрактивному подобию, при этом не отказывая иноэтничным сословным аналогам в схожих со своими привилегиях. Парадоксальным образом с изменением представления о приемлемом ущербе именно в материковых странах укореняется отторжение военных методов решения проблем, поскольку свойственный им стереотип предполагает борьбу до «окончательной победы», а историческая память, невзирая на «фантомные боли» экспансионизма, травмирована чудовищным масштабом понесенных и причиненных потерь, нередко и национального унижения. В то же время у морских держав с их концептом ограниченного, экономически мотивированного вмешательства инструмент вооруженной силы не выглядит дискредитированным, так что они не пренебрегают им по сей день. При этом наиболее ярким и в целом прогрессивным по своему значению проявлением «морской военно-хозяйственной бизнес-модели» в истории можно считать английские частные колониальные проекты, в рамках которых военная организация фактически представляла собой главную статью затрат экономики проекта.

Капитал как основной ресурс морского кочевника требует защиты, так что соображения безопасности для него имеют сравнимый с соображениями развития приоритет. В этой связи, для этого вида свобода является единственной формирующей ценностью – в отличие от городского метаархетипа, у которого в систему ценностей может входить некоторое множество таковых, в конкретный момент отвечающее представлению об общем благе. Реализация социальной миссии морского кочевника невозможна в отсутствие суверенитета личности и безусловной, неотчуждаемой, не подлежащей ограничению воли любого поведения, не сужающего область суверенитета других («свобода навигации между портами, при этом следуя правилам в порту назначения»). Как правило, на системной основе лишь во имя этой ценности морской кочевник отказывается от непосредственной выгоды, поскольку ограничение личного суверенитета и свободы воли ставит под сомнение саму его способность извлекать выгоду в будущем. Более того, во избежание силовой деформации принципиальной для него является способность защитить свои права, поэтому он напрямую активно участвует в формировании не только представительной власти, но и институциональной архитектуры общества в целом, считает принципиальной поддержку дееспособной оппозиции, способной в любой момент сменить действующую власть. Этим он также отличается от городского метаархетипа, поскольку знание по своей природе не требует защиты на длительном отрезке времени и даже может развиваться в условиях несвободы, если центр силы благоприятствует носителям такового, оказывает им покровительство, а также не посягает на свободу приватной жизни. Этот вид полагается на высокую ценность, влияние его экспертного мнения, коллегиальность при выработке и принятии решений, поэтому может довольствоваться совещательным голосом при обладателе силы, который в такой общности также отвечает установкам городского метаархетипа и воспринимает свою миссию прежде всего как профессиональную. В целом, многие институциональные конструкции, которые у морских кочевников строятся на принципе сдержек и противовесов, ротации и общественном контроле, у городского метаархетипа функционируют благодаря эффекту короткой дистанции индивидов друг от друга и от власти. Еще одна отличительная особенность морского кочевника обусловлена тем, что свобода в его понимании подразумевает принцип ограниченной ответственности, договорного соответствия взаимных требований и обязательств сторон во взаимоотношениях с другими. При этом, в силу благоприятности среды, оба метаархетипа модернистской «коалиции» склонны принимать решения самостоятельно и делегировать их только в парадигме «заказчик – исполнитель», при условии подотчетности последнего, исчерпывающей эффективности передачи ресурсов «под отчет». Они не склонны ожидать того, что им «не причитается», однако и благодарности за «положенное» не испытывают.

Различие ценностных архетипических представлений различным образом сказывается на поведении различных развитых стран на международной арене, в частности, в отношении стран с недемократическими режимами. США и Великобритания традиционно не пренебрегают никакими формами и предметами сотрудничества с таковыми, однако проявляют исключительную принципиальность в вопросах реализации прав населения на представительство и защиты собственности. В то же время в странах континентальной Европы, где более или менее республиканские де-факто режимы сформировались относительно недавно в исторической ретроспективе, достаточно терпимы к политическим режимам и уровню свободы

предпринимательства, однако чувствительны к обширной палитре собственной ценностной повестки дня – например, проблемам защиты окружающей среды и труда, стандартизации и сертификации продукции и т.п. Отсюда в третьем мире последние пользуются репутацией более лояльного, комфортного партнера, отвергающего вмешательство в его дела, но не стремящегося вмешиваться в чужие, в то время как первые окружены ореолом «империй, навязывающих чуждые ценности», «вмешивающихся во внутренние дела» и «выкачивающих ресурсы». При этом универсальной для всех развитых стран является повестка дня прав человека, которая служит неотъемлемой частью как личного суверенитета, так и непреходящих представлений об общественном благе.

Напротив, степной метаархетип бытует в условиях постоянной нехватки источников существования, поэтому для него характерна склонность избегать самостоятельных решений, которые сводятся к распределению дефицита, навык принимать таковые стереотипно воспринимается как исключительная редкость и становится источником ренты. Этот навык ассоциируется со способностью поражать в правах других без ответных последствий в свой адрес. Большинство индивидов охотно уступает эту функцию более решительному, каковым считается обладатель силы, – вместе с безотчетным и практически неограниченным распоряжением общественными ресурсами и правами в отношении остальных, в т.ч. себя самого. При этом само большинство безынициативно, нерешительно и страдает глубинной неуверенностью в себе, хотя внешне пытается соответствовать характерной для социума с силовой иерархией брутальной поведенческой эстетике. Мужчинам этого большинства – в отличие от других метаархетипов – традиционно сложно обеспечить достаток семьи производительным трудом, поэтому они занимают периферийное положение как в общественной жизни, так и дома. Это понуждает их искать самореализации за счет единственного остающегося доступным ресурса – собственной жизни, ценность которой низка, а популярность промыслов и развлечений с риском для нее, напротив, высока. Следствием становится гендерный дисбаланс, традиционно характерный для кочевой популяции – как правило, наиболее активно воюющей, – что делает мужчин дефицитным репродуктивным ресурсом. В совокупности с трудными бытовыми условиями, это вынуждает женщин быть менее взыскательными – не оспаривать главенство мужчины в семье и принимать больше ответственности на себя, однако при улучшении достатка они склонны немедленно сосредоточиться на стяжании материальных благ «впрок». Отсюда силу они считают чрезвычайно притягательной, поскольку таковая ассоциируется с облегчением повседневных тягот, – и тем самым круг замыкается, поскольку мужчины видят рецепт успеха у женщин в силовом поведении, наиболее доступным типом которого является риск для жизни – от демонстративно-игрового и бессмысленного до корыстного и криминального.

В рамках общности, пронизанной подавлением, приматом силы, искажается стереотип мужчины и женщины в семье и обществе. Так, мужчины из верхних сословий выступают в роли подавляющих для мужчин из нижних сословий, которые играют периферийную роль также и в семье. Более того, в силовых субкультурах антиподом центра ресурсно-силового экстремума выступает некий изгой, «опущенный» – объект полного отлучения от кормовых благ, в пределе и «легитимного» полового надругательства. Страх оказаться в такой роли вынуждает мужчин пребывать в постоянном выяснении собственного положения в силовой и кормовой иерархии по сравнению с чужим – т.е. добиваться помещения хотя бы кого-то на ступень ниже себя. С этой же целью мужчина вынужден принимать роль расходной живой силы в интересах вышестоящего, – это помещает его на ступень выше отверженного.

В свою очередь, на женщин из нижних сословий в этих условиях ложится функция «опоры семьи», но ролевой моделью для них выступает женщина из верхних сословий – обеспеченная и беззаботная, охотно отдающаяся силе и принимающая роль объекта собственности, практически находящаяся на положении «предмета интерьера». В то же время, в таком обществе женщина занимает особое, нетипично высокое для архаической матрицы положение, окружена трогательным отношением, а ее качества чрезвычайно востребованы, незаменимы. Однако в этих обстоятельствах взрослая женщина, которой своими силами удалось материально обеспечить себя и детей в удовлетворительном объеме, часто стремится избавиться от долгосрочных отношений с мужчиной или максимально дистанцироваться от супруга: вклад последнего в благополучие семьи становится несоизмерим с встречными требованиями.

В целом, для общности характерна компенсаторная «зацикленность» на самореализации в рамках половой жизни, – более того, социальное поведение у обоих полов также принимает форму ролевой игры, имеющей подоплеку полового контакта. Массовые латентные искажения половой самоидентификации приводят к подавлению собственных внутренних желаний как потенциально предосудительных, – на этой почве возникает озабоченность личной жизнью других вплоть до интимных подробностей, которая транслируется в корпус социальных обычаев.

Риск здесь является атрибутом, демонстрирующим причастность к «решительной» категории: его следует понимать не как разновидность рационального расчета в расчете на отложенную отдачу, а как сублимацию стремления реализовать себя в качестве сильного и извлечь немедленную отдачу. Стереотипно сильный представляется «фартовым» – азартным и при этом «везучим», – способным нарушить принятую норму, не выполнить обязательство без отрицательных последствий для себя, поскольку сам сильный и является источником нормы, права, налагает обязательства, а сомнение в подобной «решимости» подрывает его легитимность. Горизонт принятия решений «обнулен» в связи с отсутствием равных контрагентов, обладающих собственной легитимностью, отдельной от патримониального субъекта, который вправе по собственному усмотрению менять положение других в сословной иерархии, в связи с чем транзакции с разнесенным во времени обменом ценностей характеризуются запретительным уровнем риска. В этой связи, принятие решений у степного кочевника бинарно, недискретно, «ценностно» обусловлено, как и у городского метаархетипа, однако противоположны сами ценности, ключевой мотивационный маркер – соответственно сила и знание. Сила не является обрабатываемым, передаваемым или делимым ресурсом, т.е. тяготеет к тотальности, безраздельному суверенитету, так что в общем случае на любом уровне соседство «по горизонтали» с обладающей субъектностью единицей воспринимается как временная аномалия – на период до готовности к полному уничтожению. В целом, после стадии первоначального накопления богатства нажива здесь перестает быть основной целью, – скорее она сводится к предотвращению образования другого центра силы, соответственно отсутствию в обороте свободных источников для этого, что требует присвоения всей прибавочной стоимости. Соответственно «кормовые» источники не являются предметом оценки и рыночного обмена, они могут быть отчуждены лишь превосходящей силой и полностью.

По этой же причине обладатель силы избегает делегирования даже второстепенных решений, используя подчиненных лишь как «посыльных», исполнителей собственной непрерываемой воли. Соображения безопасности здесь всецело доминируют, однако по-разному понимаются различными категориями, поскольку в зависимости от сословно-иерархического положения различается источник опасности – чем это положение ниже, тем больше таких источников располагается по вертикали, а с нарастанием статуса, напротив, растет «зацикленность» на внешней угрозе, «по горизонтали». Соображения развития также в основном связаны с необходимостью обеспечить должный уровень безопасности ресурсно-силовой корпорации, более того, опасения за таковую являются практически единственным мотивом, сдерживающим внешнюю агрессию «по горизонтали». Вместе с тем, справедливо и то, что микроменеджмент в среде обитания степных кочевников имеет серьезные фундаментальные предпосылки: у этого вида экономика по объективным причинам страдает ограниченной способностью обеспечить возвратность на капитал, поэтому недоинвестирована фронтально и нарастающим образом – даже в секторах, связанных с критической инфраструктурой. Устойчивые, системные решения здесь сопряжены с запретительными затратами материальных и временных ресурсов, – напротив, если насущную задачу не изолировать от комплекса связанных с ней других, не менее застарелых, то она грозит стать неразрешимой. Отсюда критическими становятся компетенции, связанные со способностью постоянно находить локальные и паллиативные, «временные» решения, при этом снижать их стоимость и повышать долговечность. В этой связи примечательно, что если в рамках общности степные кочевники не соседствуют с другими антропологическими видами в

достаточном количестве, то их социальная архитектура не предполагает ниши для оппозиции – в понимании политической силы, располагающей достаточными человеческими, материальными и прочими ресурсами для смены действующей власти. Ресурсная база силовой корпорации неделима, монолитна, поэтому политическое оппонирование здесь выступает скорее разновидностью правозащитной деятельности – направленной на коррекцию разгула силы в малом посредством апелляции к ее субъекту, т.е. фактически избегая вопроса о легитимности такового, в определенном смысле даже утверждая эту легитимность.

Силовая легитимность также не передается с обеспеченным такой силой титулом автоматически и требует нового закрепления, «инициации». Этим объясняется, во-первых, повторяющаяся склонность вступающих в права наследников поначалу действовать противоположно предшественнику – ослаблять гнет или, напротив, проводить показательные и на поверхностный взгляд бессмысленные расправы. Во-вторых, давно замечена склонность вновь вступивших на патримониальный трон уничтожать лиц, которые частью элит могут рассматриваться в качестве более легитимного наследника силового ресурса и быть использованы в своих интересах. Показательно, что в эру премодерна в культурах ряда этносов массовое уничтожение биологических родственников предыдущего правителя являлось нормативным.

Одна категория явно или латентно полагает, что содержит другую как объекты собственности, у которых не может быть своих легитимных источников существования, соответственно, «пакет содержания» последних формируется по остаточному принципу и выступает приоритетным демпфером для «оптимизации» на случай обмеления у первых источников доходов. Отсюда решения сводятся к односторонним предписаниям одних в отношении других, подлежащим исполнению «по себестоимости», вне категорий рыночного ценообразования, т.е. с коммерческой точки зрения за счет последних, или даже безвозмездно, в качестве «дани». Исполнитель ожидаемым образом пытается минимизировать издержки для себя, поэтому решение он практически никогда не реализует в заданном объеме и качественно, более того, запрашивает материальные, временные и информационные ресурсы «с запасом», с целью «освоения», а не отдачи, стремясь утаить излишки для целей личного потребления. Вместе с тем, на деле он стремится обходиться минимальными и наименее дорогостоящими средствами, поэтому в заданной системе ограничений по-своему весьма эффективен и изобретателен. Принимающее решение лицо, напротив, стремится ставить избыточные цели, что в совокупности делает всеобщее двоемыслие, асимметрию информации социальной нормой. В этой связи, планирование здесь служит не столько достижению заявленных параметров или упорядочению процесса движения к ним, сколько сооружению рычагов контроля в «ручном» режиме, для чего, напротив, плановые параметры регулярно меняются, в т.ч. постфактум, что обеспечивает непредсказуемость контроля и зависимость контролируемого. При этом причастность к силовой иерархии – в подавляющем и/или подавляемом качестве – является условием выживания, поскольку основная часть общественной стоимости присваивается силой и перераспределяется «вниз». Это способствует фронтальному проникновению не просто вертикальной, но тотальной, командно-административной архитектуры в любые сферы деятельности и особой предрасположенности к тем из них, которые предполагают доминирование-подчинение – аппарат принуждения и надзора, спорт, криминальные сообщества, пенитенциарная система и пр.

Производительный труд не считается добродетельным, поскольку не приносит благосостояния, а превышающий стоимость воспроизводства доход не сберегается, а «ярко проедается» как эпизодический и в известном смысле случайный («лотерейный выигрыш»): он не может составить основу устойчивого благосостояния, равно как не может быть использован продуктивно, – инвестиционный спрос ничтожен, а человеческий капитал не востребован. Полученное от более сильного считается поводом для благодарности, особенно если оно заслужено и представляет собой ощутимую плату («мог бы работу поручить другому»). Отсюда транзакция индивидов из различных сословий не исчерпывается

исполнением взаимных обязательств, а является своего рода актом возникновения у стороны с более низким положением «долга до востребования», который предполагает «вечную» лояльность и может быть предъявлен к взысканию в предписанной сильной стороной форме. Что касается безвозмездной помощи – от кого бы она ни исходила, – то такая невелика, принимается без особой благодарности (либо с формальной благодарностью) и скорее приравнивается к случайной находке, «дару свыше» – возможно от верховной власти, поскольку она воспринимается настолько же метафизической, как сверхъестественное, – но не приписывается конкретному знакомому источнику, поскольку мир за пределами узкого круга близких в принципе считается потусторонним. Таким образом, парадоксально, что, у степных кочевников патернализм характерен для отношений производительного труда, притом даже более чем для отношений вспомоществования, что выдает невольническую архетипическую природу труда. Иначе обстоит дело у изолированных и приравненных к ним общностей – силовой корпорации и низовых силовых субкультур степных кочевников, прочих субконтинентальных кочевников и замкнутых городских сообществ, а также деформированных морских кочевников. Для всех этих видов сам факт отношений с более сильным выступает актом милости и основанием для благодарности, кроме того, их предметом редко бывает производительный труд – чаще силовая поддержка захвата и удержания «кормовых угодий», так что радиус патерналистского покрытия здесь является всеобщим. При этом несколько выделяется положение ориентированных на силу низовых субкультур, – независимо от архетипа они выражены криминальными, анклавными, инкапсулированными образованиями, – всеобщим здесь является лишь патерналистский запрос, в то время как фактический доступ к центру ресурсно-силового экстремума отсутствует. У степных кочевников низовой слой оттеснен таким центром от крупных источников кормления на периферию, у других же он отсутствует как таковой: у деформированных морских кочевников государство лишено функциональности множественными кланами, а в мегаполисах развитых стран такие инкапсулированные кланы, напротив, государством преследуются, при этом конфигурация центров извлечения стоимости является полицентрической. Кроме того, такие общности сравнительно небогаты достаемыми им ресурсами и многочисленны, поэтому обрести запрашиваемое патримониальное покровительство является удачей. Нужда в нем ощущается настолько остро, что в нижних сословиях практически на бессознательном уровне легко находится оправдание любому поведению сильного, более того, демократия почетом не пользуется и ассоциируется с «играми в верхах», общественной и личной неустроенностью. Во множестве люди завидуют «богатым» субконтинентальным кочевникам, подразумевая их видимую, демонстративную элитную часть, – впечатление о таковой в разные времена складывается из непосредственного контакта с ней как завоевателем, затем пользователем природных и регуляторных преимуществ морских стран, наконец, просто из информационного потока. Примечательно, что для всех низовых общностей, привычных к тому, что премиальная стоимость извлекается из примитивных ценностей и присваивается по праву силы, общим модусом предпринимательского поведения является спекулятивно-посреднический промысел – с быстрым оборотом, не предполагающий существенного размещения капитала в зоне пенетрации силового ресурса, – от «азартного, биржевого» у степных кочевников до более «спокойного, мелколавочного» у прочих.

Примечательно, что одним из наиболее распространенных занятий умственного труда, в котором деформированные морские кочевники достигают выдающихся успехов, является профессия врача. Повидимому такая привлекательность этого занятия в качестве социального лифта для способных людей объясняется ее востребованностью даже на фоне ограниченной абсорбирующей способности примитивного хозяйства. Более того, социальный престиж этой профессии в общностях с дисфункциональным государством может быть связан с тем, что врач приходит на помощь в ситуации отчаяния, т.е. в своем роде отвечает патерналистскому запросу, объект которого обычно ассоциируется с обладанием силой и легитимно претендует на соответствующую долю общественного дохода. В этой связи, среди медицинского персонала чрезвычайно широко распространена частная практика на дому, в дополнение к работе в клиническом учреждении или даже вместо таковой. Другая особенность деформированных морских кочевников –

совместное праздное времяпровождение больших групп людей – по всей видимости также нашла применение с точки зрения возможностей самореализации: практически среди всех этносов этого вида непропорционально представлены выдающиеся достижения в области гуманитарного творчества.

С точки зрения делового взаимодействия, для представителей городского метаархетипа в аутентичной среде происхождения естественным является постоянный контакт с индивидами самых разнообразных компетенций и навыков, однако являющимися носителями идентичных ценностных установок. В этой связи, у них нет потребности стратифицировать индивидов по каким-либо типам, кроме профессиональных, а учет индивидуальных особенностей каждого является естественным. Более того, отношение к иммигранту также формируется как индивидуальное, даже когда на деле таковому знакома лишь коллективная самоидентификация, и основано на предпосылке – нередко ошибочной – о естественности собственных поведенческих установок для любых индивидов, поэтому появление чуждых и герметичных социальных «капсул» в собственных недрах вызывает ценностный тупик. Однако в ценностно однородной среде высокое доверие между индивидами обуславливает отсутствие привычки рассматривать множество альтернатив при подборе людей или предлагаемых ими факторов производства, как только нашелся первый соискатель, удовлетворяющий качественным критериям и имеющимся ограничениям, в особенности если его квалификация удостоверена носителем индивидуальной или институциональной референтной репутации. При этом цена, точнее заложенная в ней маржа, в рамках системы представлений городского метаархетипа прежде всего определяется сложностью затраченных компетенций. Исчерпывающая ясность в вопрос о цене на факторы производства, включая труд, т.е. долю индивида в распределении созданной стоимости, вносится в самом начале отношений, чтобы материальный мотиватор не искажал установку на лучшее качество, а наиболее корректным типом компенсации стереотипно считается фиксированная, обусловленная затраченным временем. С другой стороны, в коллективе с широкой профессиональной диверсификацией и уникальными навыками есть потребность в предельно точном определении общих и индивидуальных задач каждого, чтобы минимизировать субъективизм и потребность в управленческих надстройках. Однако в условиях глобализации необходимость вынести часть звеньев производственной цепочки за национальные рамки, соответственно за пределы поля собственной производственной и технологической культуры, вынуждает к такой детальной регламентации действий иностранных подразделений, что сужает круг таких звеньев – в пределе до области функций длинной дистанции, таких как продажи, сервис и пр. Вместе с тем, в «домашних условиях» в рамках такой модели управления человек максимально долго и по довольно широкому кругу компетенций сохраняет конкурентоспособность с автоматизированными системами, а внедрение последних не обязательно ведет к пропорциональному численному высвобождению рабочей силы, – в первую очередь высвобождается рабочее время, которое перераспределяется на более креативный труд и досуг. При этом продукт может иметь более высокую себестоимость, чем у архетипических конкурентов – в т.ч. за счет высокой доли национального производства, соответственно дорогостоящего труда, – однако он одновременно претендует на превосходство по качеству и премиальную цену, может быть как серийным, так и индивидуальным. Более высокая себестоимость, тем не менее, не является признаком дефектов оптимизации: напротив, для этого вида нетипичны «излишества» организации транзакционного взаимодействия, свойственные морским кочевникам, – фронтальное страхование риска профессиональной ответственности, аутсорсинг компетенций в виде консалтинга и пр.

Внутри сообщества полученный продукт архетипически прежде всего воспринимается как общественное благо и лишь во вторую очередь как объект товарно-денежных отношений, поэтому каждый участник технологического процесса считает себя его ответственным и полноправным соавтором, а результаты своего труда – посильным вкладом в благополучие сограждан. Это дает индивиду как объекту человеческого капитала право претендовать на общественные гарантии

обеспечения минимального комплекса потребностей, связанных с расширенным воспроизводством этого капитала, вне непосредственной увязки со стоимостной оценкой его личного вклада в общественную стоимость, при этом в каждый исторический период институциональные инструменты таких гарантий, равно как и круг участников такого общественного договора, могут быть различны. Отсюда у домохозяйства нет потребности в чрезмерном уровне накоплений, – так что общность толерантна к высокому уровню налогового бремени. Государство и прочие солидарные институты здесь выступают крупными площадками накопления, что ограждает экономику от значительной части непродуктивных издержек администрирования. Хотя общественное богатство здесь в значительной степени обязано премиальному качеству, не менее существенным его источником служит низкий уровень транзакционных издержек, – так что это богатство может быть эффективно реализовано только в консолидированном виде.

Морской кочевник сталкивается с предложением человеческих ресурсов не только различной квалификации и профессии, но и с разными ценностными установками, при этом сам не имеет склонности углубляться в отдельные сферы компетенций. В этой связи, он не воспринимает людей в личном качестве, а испытывает потребность делить их на категории по любым признакам и формировать собирательный портрет человека из совокупности таких признаков, как бы делать этот портрет «цифровым» и сравнимым с другими по определенной шкале. В зависимости от детальности системы оценки, он часто может упускать уникальные в своем роде отличительные черты и достижения индивида, в особенности если они еще не апробированы. Представления о необходимых для реализации цели компетенциях у морского кочевника является чрезвычайно узким, утилитарным. В этой связи, худшим, но вполне вероятным кадровым решением может оказаться возложение некоторой функции на профессионала собственного вида: как уже отмечалось, попытка придать любым кочевникам узкопрофильную специализацию оборачивается крайней степенью ограниченности, неспособностью видеть задачу в развитии и кооперироваться с носителями смежных компетенций. Вместе с тем, этот тип специалиста вполне пригоден для эксплуатации внедренной технологии или практики, а также для консервативных, мало подверженных изменениям отраслей. Лучшим же и чаще всего доступным типом кадрового решения для руководителей – морских кочевников является подбор в качестве ключевых исполнителей представителей городского метаархетипа, которые склонны к кооперации, не страдают ограниченностью кругозора и горизонта.

Невзирая на кажущуюся логичность («рациональность» в вульгарном понимании) этого подхода, среда, в которой индивид с раннего возраста помещен в многочисленные системы конкурентных оценок, рейтингов, притом по критериям прошедшего времени, таит потенциал многочисленных искажений общества и личности. Как следствие, во-первых, жизненная энергия индивида избыточно уделена обеспечению соответствия чужим представлениям, а отличительные способности к созданию нового во многом атрофируются, поскольку обречены на весьма ограниченный учет в системе оценки. Во-вторых, постоянное перемещение между различными полями конкурентного давления – от работы до личной жизни, – рефлексия по поводу «соответствия критериям», подавление естественных желаний содержит опасность массового распространения психологических и психиатрических расстройств.

Этому дополнительно способствует непрерывное расширение области этических запретов, поскольку именно доминантный морской метаархетип перерабатывает архаические массы с различными ценностными установками в объеме, соизмеримом с численностью аутентичного периметра общности. По совокупности причин в конечном итоге межличностная коммуникация у морских кочевников принимает «протокольный» характер и сужается до обезличенного обмена информацией, которая в равной мере могла бы быть адресована любому. В то же время, индивидуальные особенности – в т.ч. ценные – вытесняются из социального оборота, что ведет к обеднению коммуникации. Это можно считать способом обеспечения прозрачности, «ценной» общественного доверия в архетипически диверсифицированной общности. Осложнения же обусловлены тем, что в обычные для морского кочевника права личного суверенитета в достаточно короткий исторический период вступают новые субъекты. В конкурентном обществе основное применение, которое этой привилегии

находит индивид с опытом прежнего поражения в правах, сводится к ее конвертации в «фору» – признание обществом своей ответственности за упущенное и обязательств обеспечить аналогичные большинству стартовые позиции. Эта «фора» находит самые разные воплощения – от прямых материально значимых гарантий до системы уважительных объяснений собственного конкурентного отставания, имплицитно вмененной к всеобщему употреблению в социальном обороте. Именно конкурентная природа социальных отношений побуждает индивида по любому поводу акцентировать собственную принадлежность к ущемленным прежде слоям, – среди прочего это удерживает длинную социальную дистанцию от сокращения.

Между тем, новые субъекты личного суверенитета в различной степени ознакомлены с этим правом как нормой человеческого общежития, его последствиями. Во-первых, это те иноэтничные элементы, которым это право знакомо лишь в виде беспредельного суверенитета вождя – т.е. как неограниченное для субъекта – и прежде всего примеряющие на себя именно эту трактовку свободы воли. Во-вторых, это социальные меньшинства, для которых свобода самовыражения достаточно нова и поначалу служит компенсатором предыдущих утеснений, отверженности, побуждает к манифестации собственного отличия. Наконец, наиболее массовым феноменом этого процесса выступает эмансипация женщин, вступление которых в суверенные права протекает практически в недрах «клеточной» ткани общества – семей, личной жизни. В силу особенностей строения мозга для женщин характерно более комплексное видение любой проблемы, соответственно осознание разносторонних последствий решения, – в сочетании с ответственностью за потомство это делает ее более обстоятельной и компромиссной, менее склонной к риску, конкуренции. В этой связи, для женщины социальная матрица морских кочевников как никакая другая изобилует источниками вызовов, тревог и дискомфорта, делает ее поведение нервным в личной и социальной жизни, порождает склонность видеть в окружающих причину неудач. Конкурентное давление в обществе вызывает ощущение, что и в личных отношениях для мужчины она выступает предметом постоянного сравнения с другими. С неизбежностью первые шаги на пути эмансипации, борьбы за равенство изобилуют подражанием внешней, эстетической стороне поведения мужчин – более того, выражают желание поставить их в положение предмета сравнения с другими мужчинами, при этом пресечь такое отношение к себе. Обращает на себя внимание, что в общностях, основанных на доминантном городском метаархетипе, проблема равенства полов не стоит столь остро и не находится в фокусе всеобщего внимания. Несомненно это связано с периферийностью отношений конкуренции по сравнению с отношениями кооперации в общественном масштабе, установкой на лучшее качество. В этой системе координат «свое – всегда лучшее» или должно быть доведено до состояния лучшего, а не замещено другим, уже состоявшимся в качестве лучшего.

В силу ограниченной компетентности, представление морского кочевника о задаче является не исчерпывающим, а ориентировочным, подлежащим тестированию, поэтому постановка задачи и распределение функциональных обязанностей между исполнителями не является для него убедительной схемой управления. Напротив, в ходе постоянной конкуренции людей и предлагаемых ими факторов производства он не только формирует свое представление о стандарте качества и приемлемом соотношении последнего с ценой, но и выясняет объективно достижимые параметры итоговой цели. В этой связи, критерием экспресс-оценки хода движения к несколько расплывчатой цели для него является количество трудозатрат, притом лишь на целостном отрезке, отдача которого поддается сравнению с рыночными аналогами, – финансовый результат. Отсюда не только способность, но и потребность делегировать полномочия и ответственность, оперировать в поле длинной дистанции, толерантность к различным управленческим культурам, интегрированным лишь на основе системы конечных контрольных показателей и универсальной, материальной мотивации к их достижению. В эру глобализации рынков товаров, рабочей силы и капиталов эта особенность выступала незаменимым преимуществом по сравнению с городским метаархетипом, позволяя рассредоточить различные звенья производственной цепочки по оптимальным локациям. Отсюда естественной формой вознаграждения морскому кочевнику представляется переменный доход, связанный с результатом и схожий с предпринимательским, что фактически привлекает ключевых людей к партнерству. В конечном итоге справедливая цена в его понимании преимущественно основывается на потенциале каждого фактора производства (составляющей себестоимости) влиять на финансовый результат в ту или другую сторону, соображения справедливости маржи продавца не принимаются им в расчет. В то же время,

состоятельность продавца, соискателя, стоящий за ним дорогостоящий коллектив конкурирующих специалистов (а не отдельно взятый индивид) или опыт работы в таком коллективе являются для морского кочевника важными аргументами при выборе. Однако наиболее убедительным для него является пример аналогичного решения состоятельного покупателя, притом следовать этому примеру он зачастую готов еще до прояснения мотивов или итоговой успешности решения. В этой особенности отразилась двойственная поведенческая природа морского кочевника, который с одной стороны стремится играть на опережение, а с другой – имеет недостаток собственной компетенции и вынужден опираться на чужую. Носителем таковой часто выступает городской метаархетип с отличающейся системой ценностей, поэтому более органичным триггером становится финансово значимое действие другого морского кочевника, – именно этим объясняется феномен «стадного» поведения на рынках инвестиционных активов, которому во многом обязан эффект «мыльного пузыря».

Архетипически общество и гражданин здесь не несут друг перед другом никакой безотзывной ответственности: общественная стоимость изначально полагается подлежащей распределению, и лишь затем граждане предпочитают договариваться о соотношении между самостоятельным использованием таковой и коллективным приобретением благ. В противоположность городскому метаархетипу ограниченные общественные гарантии имеют здесь следствием умеренный уровень налогового бремени, однако домохозяйство вынуждено создавать весьма существенные накопления под будущие потребности. Общность стремится отдать приобретение общественных благ на усмотрение домохозяйства, предоставляет для этих целей диверсифицированный набор страховых и сберегательных инструментов, поскольку аккумулирующие накопления финансовые институты несут основную инвестиционную нагрузку в экономике. В то же время, общности морских кочевников развиваются в постоянном симбиозе с городским метаархетипом, чаще всего в рамках одних государственных образований, поэтому архитектура актуального, отраженного в праве общественного договора, институты создания общественного блага близки к таковым у городского метаархетипа, отчасти даже заимствованы у него. Испытывая зависимость от человеческого фактора, имея ограниченную способность контролировать процесс и результаты труда, морской кочевник стремится приводить («переводить») чужие системы ценностей к своей – например, наделяя нематериальные мотиваторы людей различных типов ролью субституты материальной выгоды в рамках функции полезности. Вместе с тем, постоянное отклонение фактического поведения индивидов от являющегося рациональным в его понимании служит фактором непредсказуемости, поэтому отношения найма он предпочитает взаимодействие с коммерчески ответственным провайдером в порядке аутсорсинга. Более того, в эру автоматизации он первым стремится исключить человека из всех участков создания ценности, поддающихся алгоритмизации. Более того, в конечном итоге автоматизации подлежит и сама постановка задачи, непрерывную оптимизацию которой призван обеспечить анализ данных, основанный на статистической зависимости результата и определенных факторов, типов действий, при этом не требующий глубокого понимания природы такой зависимости. Вероятность ошибки в рамках этого метода минимизируется путем сужения области прогнозирования (например, до потребительского поведения), наращивания перечня признаков, из которых состоит «цифровой портрет» типового участника совокупности, и декомпозиции генеральной совокупности до максимально однородных по таким признакам фрагментов. По своей природе морской кочевник приспособлен для работы с масштабируемым продуктом стандартного качества, поэтому в рамках уклада мелкосерийного производства предпочитает фокусироваться, например, на развитии цифровых каналов продаж, оперирующих массовым потребительским трафиком. В условиях беспрецедентной глубины рынка для этого вида объемные показатели продаж важнее управления качеством или даже себестоимостью, – это особенно важно на фоне повышенной, по сравнению с городским метаархетипом, нормы издержек, связанных с транзакционным взаимодействием, широким использованием механизмов обеспечения информационной

симметрии и распределения рисков профессиональной деятельности посредством страхования, аутсорсинга компетенций, консалтинга, третьей оценки, кредитных историй и пр. Хорошо известно, что общности с трансформационными дефектами, для которых характерна ограниченная доступность профессиональных компетенций и дефицит транзакционного доверия, стремятся в ходе институционального проектирования имитировать опыт бездефектных морских кочевников. Однако эффект такой имитации разочаровывающе низок: существенно возросшие издержки, связанные с экспоненциальным расширением круга участников транзакционного оборота за счет многочисленных профессиональных институтов, не покрываются встречной глубиной рынка. Как результат, соотношение цены и качества благ существенно смещается в худшую сторону по сравнению с оригиналом, соответственно возникает эффект ограниченной доступности таких благ и/или постепенной деградации заимствованных институтов.

Такая склонность роднит морского кочевника с «иероглифическим» архетипом, занимающим особое место в ряду когнитивных архетипов и распространенным в странах Юго-Восточной Азии, однако в последнем случае это связано не с разнообразием свойств человеческого капитала, а, напротив, с его естественной унифицированностью. Исторически этот архетип действительно происходит от различных типов кочевников, – в частности, другие его особенности, связанные с иерархической социальной архитектурой, имеют черты сходства с матрицей субконтинентальных общностей, однако и они имеют достаточно специфическую природу и последствия. Ключевой характеристикой этого архетипа, сформированного культурой выращивания риса в условиях муссонного климата массовым и изнурительным физическим трудом, является идеальный навык синхронного выполнения простых операций. С этим же связана герметичность отдельных понятий, сложность передачи, усвоения и внутреннего согласования составных знаний, анализа и синтеза, что, вероятно, и отражает структура языка. Отсюда коммутация крайне узких, специализированных до автоматизма компетенций требует иерархической надстройки (подобно принципу образования нового иероглифа методом соединения первообразных), в связи с чем знание распространяется с низкой скоростью, и в рамках вертикального взаимодействия, бытует в «гармоническом» единстве с силой, авторитетом.

Иерархической социальной архитектурой этот архетип напоминает степного кочевника, однако у последнего обладатель силы находится в отношениях антагонизма с носителями знания. Более того, если у степных кочевников силовая иерархия и маргинализация знания обусловлены невостребованностью человеческих ресурсов, то в «рисовом поясе» – напротив, их постоянной занятостью удовлетворением витальных потребностей, невозможностью отрываться от этого процесса и усваивать отвлеченную информацию. Этот архетип идеально подходит для разработки средств механизации любого труда, поддающегося алгоритмическому описанию. Однако в мире, где человеку принадлежит основная роль в воспроизводстве знаний, он является слишком косным и имеет шансы на мировое лидерство лишь по мере усвоения западных когнитивных методик, включая, в частности, европейские языки как их когнитивную основу – в качестве основных, а не выученных. При этом, такое положение может измениться в будущем – например, по мере того как уровень развития искусственного интеллекта позволит имитировать творческие способности человеческого мозга.

Для элит степных кочевников, присваивающих редкие ценности силой, выгоды некоторого дополнительного возрастания стоимости этих ценностей благодаря отличительным навыкам человека несопоставимы с издержками отказа от безраздельного распределения. Даже кажущееся естественным в таких условиях желание устранить человека из технологических процессов сталкивается с опасением утраты монополии на власть и общественную стоимость в пользу новой элитной прослойки – с навыками операторов автоматизированного управления. По этой причине элита здесь ограничивает хозяйствование созданием ценностей, требующих труда легко заменимых индивидов с простыми навыками, и различает «подданных» лишь по принципу ассоциации с тем или иным центром силы («чей человек», «чьих будешь»). Производительности труда она предпочитает численность занятых, поэтому у последних всегда есть ощущение несоответствия рабочему месту, которое, тем не менее, мотивирует не повышать квалификацию, а демонстрировать повышенную лояльность вышестоящему и опережающую отзывчивость к его пожеланиям, прежде всего не относящимся к делу. В то же время, сугубо

профессиональные требования в свой адрес – а тем более попытка обусловить ими вознаграждение – будут считаться работником как адекватные, только лишь если являются доминирующей нормой, постоянно культивируются вышестоящим руководителем в качестве основных. В случае же если такие требования являются единичными или соседствуют с приматом личной преданности, то практически не воспринимаются работником всерьез и даже могут оцениваться таковым как несправедливые, – труд для него является сословной повинностью, а оплата формой сословного пособия, не привязанного к результату. Особое раздражение такого работника вызывает контрагент взаимодействия – например, покупатель или коллега, – который обладает профессиональной компетенцией, способной разоблачить отсутствие такой компетенции у первого.

Даже когда для нужд самой силовой корпорации критичны индивидуальные качества исполнителей – будь то знания или просто воинская отвага против опасного противника, – лидер предпочитает дублировать носителей таких качеств, поручая им одну и ту же задачу с заведомой целью – редуцировать доблесть до рутинной повинности («это не заслуга, а обязанность») и в корне пресечь у обоих соблазн обрести субъектность, отнеся успех на собственный счет, – вместо того, чтобы приписать таковой суверену. Таким образом, видимость «честной конкуренции» не имеет отношения к созданию стимулов для достижения лучшего результата: под этим предлогом силовая корпорация стремится предотвратить зависимость от человеческого фактора, не допустить появления поведенческой модели снискания благополучия собственными усилиями, а не милостью, в конечном итоге – исключить какое бы то ни было сомнение в безраздельности собственной власти. Независимо от абсолютной кормовой обеспеченности, количество точек концентрации стоимости здесь ограничено настолько, что основные хозяйственные отношения имплицитно предваряются отдельными отношениями по поводу права получить доступ к основному контракту. Таким образом, любой контракт фактически является вертикальным и опосредован специальным варрантом, вытекающим из феодальной природы общественных отношений и корректирующим справедливую цену на сопоставимую с ней величину, а также дающим распорядителю ресурсов потенциально неограниченные в количественном и качественном выражении права требования к исполнителю. Приобретение товара или услуги индивидом любого сословия архетипически воспринимает как получение собственности на продавца такового – хотя бы на время, – поэтому склонен предъявлять максимальные требования, которые могут быть как обоснованными, так и вздорными. Выбор людей и предлагаемых ими факторов производства чаще всего определяется не качеством или ценой, – присвоенная силой базовая стоимость оправдывает издержки неоптимального выбора прочих параметров, – а управляемостью этих людей, т.е. в некотором роде извращенной системой ценностей, ставящей силу во главу угла. В этой связи при прочих равных условиях предпочтение оказывается услугам и продукту того, кто наименее приближен к другому центру силы – «пищевому конкуренту». Однако и цена прежде всего определяется преимуществом приобретения по сравнению с достижением аналогичного результата внерыночным, прежде всего силовым путем, а маржа продавца убывает по мере снижения его силового ресурса вплоть до себестоимости, т.е. отказа ресурсно-силового клана покупать у «несвоих».

Тем или другим способом силовая корпорация стремится приблизить положение человеческих ресурсов к невольническому типу, поэтому индивид не ощущает какой бы то ни было сопричастности к результату труда. Будучи заинтересованной в кормовой экспансии, она легко принимает любые, в том числе иноэтничные, общности в подавляемом качестве, более того, готова гарантировать привилегированный, близкий к собственному статус ее силовому сословию. Это означает, что «свои» не только не пользуются преимуществом по сравнению с «чужими» с точки зрения ценообразования, – напротив, эта категория неприменима к оплате труда «своих» вовсе, «содержание крепостного» дает право на неограниченное количество и качество его труда. Даже для «наиболее щедрого из крепостников» оплата труда исходит из минимального – в его понимании – уровня потребностей рабочей

силы, более того, он тщательно следит за тем, чтобы у работников не образовывались связи с другими состоятельными людьми, альтернативные источники заработка и излишки, которые позволили бы выйти из «крепостной зависимости», внимательно следит за расходами материально зависимых, уровнем их жизни и бытом. В то же время аналогичный труд индивида, который по тем или иным причинам сохранил за собой свободу выбора и роль продавца, т.е. которого не удалось поставить в положение формального или неформального невольника, может оплачиваться несравнимо щедрее – чаще всего так же, как у морских кочевников, в форме цены за конечный продукт, среди прочего учитывающей стоимость труда по стандарту расширенного воспроизводства и норму доходности, включая разнообразные премии – за редкость, престиж и пр. Более того, обладатель силы стремится объять всю жизнедеятельность любого материально зависимого от него лица, в т.ч. выходящую за рамки непосредственного предмета деловых отношений, что лишь отчасти вызвано стремлением «держат человека под контролем». Силовая корпорация не ограничивается присвоением прибавочной стоимости от основного промысла, а стремится извлекать выгоду и из вторичного оборота средств, которые приходится тратить на добычу ресурсов, предложением – или скорее навязыванием – примитивных и некапиталоемких услуг зависимым частным лицам и бизнесу. Вследствие этого в конечном итоге она становится попросту единственным работодателем и контролирует сферу досуга во вверенной «вотчине», практически сливается с прототипом крепостника до степени неразличимости. Предвосхищая стремление податного населения к уклонению от поборов, силовая элита предпочитает обращать таковые на цену товара или услуги, собирая их посредством косвенных налогов, формальных и неформальных платежей у производителей и продавцов, обычно выступающих распорядителями определенных рентных ресурсов.

Отсюда маргинальность института договора, отсутствие доверия какой бы то ни было форме дохода, кроме немедленного, авансового, в отсутствие которого зависимый индивид отдает предпочтение любому другому «гарантированному» – в понимании фиксированного. Дельный работник ценит стабильный доход настолько, что готов отказаться от более щедрого предложения: как уже отмечалось, представления степного кочевника об окружающем мире являются смутными и нечеткими, полны недоверия. Напротив, в испытанных временем трудовых отношениях он предлагает работодателю несопоставимый со своим доходом выигрыш в качестве, затратах времени и материальных ресурсов. В то же время, другие под «гарантированным» понимают также и никак не обусловленное вознаграждение – не только результатами труда, но и качеством такового. Более того, они считают справедливым еще и компенсацию дополнительных к обычным трудовым затратам без оценки таковых на предмет полезности, часто готовы «навязывать» эти трудовые затраты. Однако по привлекательности с авансовой оплатой может сравниться непрозрачный заработок, «ускользающий» от детального контроля со стороны обладателя силы, – например, в рамках бюджета под задачу, проект, когда доход исполнителя «затерян» между другими видами затрат или даже «внедрен» в состав разных статей таковых. В этой связи контрагентам «на входе» и «на выходе» – заказчику и субподрядчику – не следует ожидать дисциплинированного исполнения обязательств по качеству, срокам и цене, которую исполнитель имплицитно выводит не столько из рыночной, – у степных кочевников институт рынка и представление о рыночной цене деформированы, – сколько из личных потребностей в данный момент. Источник собственного благосостояния он видит не в создании ценности, которую еще предстоит произвести в адекватном заработку объеме, а в выслеживании добычи, которую затем нужно суметь подобрать, выпросить (часто это стоит крепостной зависимости, реже можно выменять) или отобрать, – впрочем, с поправкой на статусные особенности такая характеристика никак не менее справедлива и в отношении силовой корпорации. В этой связи, здесь не действует принцип соответствия усилия результату, – и это выступает очередным проявлением характерного для степного кочевника дефекта категории соразмерности. Ближайшим надежным и доступным социальным лифтом человеку представляется наделение административными полномочиями, приобретающими к иерархии вассалитетов, т.е. силовой корпорации,

– пусть небольшими, сродни мытным, но дающими право на сбор и удержание у себя доли ренты. Индивид также не вправе рассчитывать на систематическое приращение пакета своего содержания за счет общественных благ, – в целом это ответственность различных поколений семьи, а доплата от благодетеля полагается «милостью» главы патримониальной «семьи» и не служит обеспечению какого-либо стандарта обеспечения благами («дареному коню в зубы не смотрят»). При этом декларативно силовая корпорация часто уступает представлениям городского метаархетипа о стандарте обеспечения общественными благами, однако не обеспечивает таковой надлежащими ресурсами, т.е. в конечном итоге верх берет именно архетипическая, а не институциональная норма.

Такой индивид приспособлен лишь к производству единичных, немасштабируемых изделий, требующим прорывных находок решениям, причем достаточно универсален с точки зрения конкретных сфер приложения, поскольку вероятность найти постоянный источник достатка на одном месте невелика («вынужден кочевать»). Однако воспроизводящиеся обладатели отличительных навыков последовательно вымываются туда же, куда сбываются присвоенные силой примитивные ресурсы, – в сообщества, где модель хозяйствования основана на добавленной ценности, – поэтому со временем доверие к человеческому капиталу и изделиям собственного происхождения утрачивается. Премиальное качество стереотипно ассоциируется с иностранным происхождением, а качество местного труда маркируется в зависимости от оценки извне, через которую пролегает и путь к признанию внутри сообщества. Это означает, что враждебность элиты к инновациям по своим причинам разделяют и нижние сословия: коренное обновление провинциальная силовая элита доверяет иностранным центрам компетенции, а крупные капитальные вложения, не требующие отличительных навыков, осваивает сама, так что область заработка нижних сословий вынуждена ограничиваться недорогими «косметическими» проектами, поддержанием годности устаревшего и т.п. Из-за низкого внутреннего инвестиционного спроса элита размещает ресурсы за рубежом и потребляет престижные образцы чужой материальной культуры – в основном в качестве ролевой модели прибегая к примеру морских кочевников, также склонных демонстрировать имущественную сегрегацию, а также вызывающих «уважение» жесткостью и решительностью действий, способностью прибегать к принуждению. В этой связи, силовая элита трактует свое господствующее положение как основание для того, чтобы премиальные классы морских кочевников принимали ее в качестве равного, рассматривали ее статус как не менее заслуженный, чем собственный – невзирая на принципиально разную природу и происхождение такового. Такое подражательство не мешает рассматривать социальные лифты и поведенческие нормы морских кочевников как наиболее опасные для себя, враждебные, поскольку именно им свойственно формировать самостоятельные и обеспеченные ресурсами цепочки горизонтальной кооперации, претендующие на безусловное представительство и отвергающие самочинность публичного управления. Именно в государствах морских кочевников, не испытавших силовой деформации, силовые корпорации изолированных общностей традиционно видят потенциал импорта образцов, бросающих вызов вертикальным ресурсно-силовым кланам и обнажающих ретроградность таковых.

Ценностные архетипические различия играют важную роль в формировании рыночной цены, динамика которой, как известно, зависит от изменения соотношения спроса и предложения. Вместе с тем, само значение равновесной цены непосредственным образом зависит от факторов, которые та или иная общность в рамках своей системы социальных представлений считает справедливыми и подлежащими учету при ценообразовании. При этом, с одной стороны, в условиях глобализации рынков товаров, рабочей силы и капитала масштаб цен тяготеет к выравниванию – в общем случае скорее на основе системы представлений общности (страны), которая представляет собой наиболее обширный рынок международного труда и сбыта, одновременно крупнейшего глобального донора капитала – т.е. США. Однако, с другой стороны, во все времена значительная часть рынков сохраняла локальные границы, при этом современный тренд глобализации разнонаправлен: капиталоемкость материального производства снижается, что приводит к фрагментации рынков, в то время как при обороте интеллектуальных продуктов, не требующих физической доставки, напротив, границы практически стираются. Вместе с тем, на инновационных рынках представлена

постоянно обновляемая, уникальная продукция и услуги, применительно к которым унификация принципов ценообразования практически невозможна. В этих условиях можно предположить, что дальнейшая конвергенция архетипических представлений о справедливой цене из сферы влияния рыночных механизмов переместится преимущественно в область культурной диффузии.

С другой стороны, способом архетипической унификации ошибочно полагать такое явление, как глобализация. Во-первых, по мере перехода к экономике знаний управленческий механизм централизованной транснациональной корпорации оказывается чрезмерно громоздким и замещается трансграничной горизонтальной кооперацией довольно компактных акторов – операционно самостоятельных и архетипически разноликих. Во-вторых, управленческая культура этих институтов даже в период их расцвета не привела к фронтальному распространению трансархетипической идентичности, «корпоративного гражданства». Некоторый, некоторый эффект внутрикорпоративной трансграничной мобильности совмещается, тем не менее, со всеобщей архетипической многоукладностью реальных – а не декларируемых – управленческих моделей в странах присутствия, включая весьма различные подходы к компенсационному пакету. Так, независимо от расположения корпоративного центра, американские подразделения глобальных конгломератов функционируют как отдельные, самодостаточные центры прибыли. Даже будучи наемным сотрудником, морской кочевник рассматривает себя как равный с работодателем участник рынка – продавец навыка или партнер, претендующий на финансовую оценку своего вклада в общий результат и долю в распределении такового. Напротив, европейские штаб-квартиры зачастую распределяют центры компетенции между собой, так что роль корпоративного центра они фактически выполняют солидарно, а в компенсационном пакете преобладает фиксированный доход. Наконец, в странах с трансформационными дефектами представление об иностранной штаб-квартире выступает практически идеальной проекцией привычного образа патримониального центра – точки ресурсно-силового экстремума. Отношения с таковым строятся по вертикальной схеме, как односторонне предписательные – с сопутствующими информационными и поведенческими искажениями, микроменеджментом. Функции локального подразделения фактически соответствуют статусу центра затрат в составе иностранного центра прибыли, ответственного за формирование продукта или требований к нему, а распределение сверху вниз напоминает знакомую модель «милостей» и «щедрот».

Всем антропологическим видам и человеку как таковому в общем случае свойственно своим привычкам присваивать определения, взятые из «банка лучших практик», в т.ч. характерных для других видов, – что, впрочем, не меняет сути самих привычек и часто вводит в заблуждение стороннего наблюдателя, исследователя. Так, показательно, что у городского метаархетипа маркетинг и продвижение товара превращается в расширенное изложение технических характеристик изделия, т.е. на деле выступает продолжением инженерной компетенции. Морской кочевник, напротив, изложение свойств, преимуществ товара часто подменяет формированием привлекательного стереотипа его пользователя, – чтобы обладание этим товаром «рифмовалось» с жизненным успехом. Степные кочевники охотно выдают стремление к подавлению за свойственное морским жесткое конкурентное поведение, потребность в силовом начале и сословных маркерах – за почтение к успеху, микроменеджмент – за лидерство, нежелание предоставить кому-либо самостоятельный участок ответственности – за примат профессиональной специализации, характерный для городского метаархетипа. Не менее показательно и различное отношение к клиенту: максима удовлетворения его потребностей («клиент всегда прав», «знай своего клиента»), ценность обслуживания в изначальном понимании – некоторого «заискивания» перед покупателем – оказываются органичными лишь для бездефектного морского кочевника, который предлагает серийное изделие, мало отличающееся от других предложений на рынке. В то же время, городской метаархетип, также уделяющий центральное внимание полезности вещи, тем не менее, требует от клиента равных отношений, уважения к эксклюзивному качеству изделия, собственному труду и компетенции, за которой стоят поколения цеховой школы, – вплоть до того, что может отказать в обслуживании клиенту, не умеющему этого оценить и ориентированному на цену схожего серийного блага. В этой же связи, если морской кочевник располагает значительным запасом гибкости в установлении цены на свой продукт, то у городского метаархетипа такая гибкость минимальна. Наконец, все общности с трансформационными дефектами –

субконтинентальные общности и деформированные морские кочевники – индифферентны к клиенту местного происхождения, поскольку он прибегает к услугам продавца за отсутствием иного выбора, безотносительно цены и качества блага. Более того, продавец здесь выступает лишь передаточным звеном, посредством которого полученная работником плата возвращается работодателю, поскольку место работы и место потребления прямо или косвенно связаны общей группой силовых бенефициаров. В этих условиях продавца незачем стимулировать вознаграждением, так что он скорее ценит возможность заполучить в свое распоряжение сам предмет промысла в натуральном виде – по разрешению или без такового, – поэтому источник его благосостояния располагается по вертикали. При этом размер запускаемого в закольцованный оборот дохода работника «подогнан» под минимальный круг потребностей семьи, которые можно удовлетворить в местном хозяйстве, – и это выдает условный характер как трудовых отношений, так и оплаты труда. Такой способ организации хозяйственного оборота часто предполагает и предоставление благ в натуральной форме, однако сам по себе натуральный оборот ввиду нормы короткой дистанции характерен также и для «общинных» видов модернистского толка, – архаическую формацию здесь выдают объем и условия предоставления благ, а также глубина имущественного расслоения. При этом общности с трансформационными дефектами высоко ценят приезжего клиента: во-первых, он платит более высокую цену, когда потребляет благо не только премиального, но и часто даже вполне обычного качества, во-вторых, его потребительский выбор не обусловлен квазикрепостной зависимостью, а является свободным и альтернативным. Еще одним примером того, насколько различный смысл может скрываться у разных видов за схожими внешними проявлениями, служит довольно распространенное у кочевников использование личного времени в рабочих целях. Если у морского метаархетипа это нормальный способ реакции на конкурентную среду, то у степного покушение представителя силовой корпорации на личное время напоминает индивиду о неравенстве сторон трудовых отношений и собственном подневольном статусе, соответственно условном характере права на свободное время, – поэтому такая практика не только воспринимается негативно, но оборачивается склонностью работника манкировать рабочим временем при первой возможности. При этом примечательно, что у городского метаархетипа перерасход времени на выполнение трудовых обязанностей обычно не приветствуется, поскольку считается как признак дефекта организации или качества труда. При определенных обстоятельствах – на фоне установки на зрелое коллективистское поведение – это может расцениваться как неосновательное «покушение» на рабочее место не менее квалифицированного или трудолюбивого индивида, который имплицитно «уступает» часть своего потенциального источника заработка другому, руководствуясь общими интересами, – в частности, из этого исходят профсоюзные практики регламентации рабочего времени.

С этими архетипическими различиями связана и различная оценка блага – товара или услуги. Так, лишь морской кочевник подсознательно считает все блага сравнимыми по универсальным критериям соотношения цены и качества, более того, ищет таких сравнений в качестве критерия принятия потребительского решения. При этом городской метаархетип скорее склонен видеть в каждом изделии уникальность и, если сравнивает, то скорее качество реализации заявленных характеристик различными производителями, а также их соответствие фактическим, – и все это готов оценить материально. Любые общности с трансформационными дефектами подвержены эффекту престижного потребления, однако принципиально различно поведение нижних сословий, которые не могут его себе позволить. Для изолированных общностей с их казарменным типом мышления характерно ориентироваться на общепринятый и одобренный свыше стандарт потребления. В этой палитре «рисовый» архетип можно поместить между нормами бездефектных морских кочевников и изолированных общностей. Деформированные морские кочевники с их преимущественно крестьянским сознанием лучшим считают продукт собственного производства, даже если тот мало отличается от других предложений на рынке, – в этом смысле способность самостоятельно обеспечить свои витальные потребности позволяет не

ощущать ущербности. Наконец, нижние сословия степных кочевников и здесь проявляют стремление к атомизации: по возможности они стремятся потреблять существующее в единственном экземпляре, то, что не является «говорящим» – не может само по себе выдать их место в сословной иерархии, позволить сравнить его с другим. В этой связи, обнаружить в обиходе другого аналогичный собственному предмет потребления для степного кочевника является негативной эмоцией, лишаяющей его «иллюзии субъектности», – подобно тому, как он реагирует, обнаружив себя в обществе соотечественников за рубежом. Однако парадоксальным образом именно сознание степного кочевника органичнее других смыкается с представлениями городского метаархетипа – «всемирного источника знания» – и постиндустриальным представлением о продукте.

Обобщая деловые характеристики метаархетипов, несложно заметить, что их ключевые экономически значимые поведенческие различия основаны на разном отношении к фактору времени – и в смысле горизонта принятия решений, и как к шкале течения жизни. Для городского метаархетипа дискретность временного континуума подчинена стратегической цели, движение к которой представляет собой адекватную ей последовательность тактических шагов. Сама цель вытекает из ценностей, способа мышления и взаимодействия, которые представляются индивиду очевидными, составляющими благо для всех, так что отрицание цели считается как сомнение в самой методологии, а не разделяющие ее кажутся непредсказуемыми, потенциально опасными. В условиях неизменной социальной парадигмы городской метаархетип обладает идеальной прогностической способностью, позволяющей детализировать перспективу, однако при фундаментальном сломе укладов, приводящем в хаотическое движение множество факторов, эта способность чаще всего отказывает или дает высокую вероятность критической ошибки. В то же время, для морского кочевника дискретность временного континуума подчинена конечному инвестиционному горизонту, поэтому ему острее других свойственно ощущение ценности, «летучести» времени. Именно постоянное взаимодействие с полем разнонаправленных векторов, необходимость делать материально значимую ставку на вероятность их схождения в некоторой точке в ограниченной временной перспективе, делает морских кочевников непревзойденными стратегами, визионерами.

Сложнее всего идентифицировать, чему подчинено измерение времени у степных, а также деформированных морских кочевников. Можно предположить, что в условиях обширного слоя «лишних» людей, досужего бытования, единицей измерения времени для них служит любое яркое событие, масштаб которого умозрительно ассоциируется с длительностью этой единицы. Вероятно, с некоторым впечатлением, прошедшим или ожидаемым, они бессознательно связывают даже конкретные календарные отрезки – «сегодня», «завтра», «на неделе», «в этом году» и пр. (отсюда центральную роль в жизни индивида играют еда и развлечения, выезд на отдых, половые связи). Вместе с тем, даже здесь праздность не зависящего от силового центра человека отличается от таковой у зависимого большинства: досуг свободного человека принадлежит ему, так что дела он «размазывает тонким слоем по временному континууму», – в отличие от «раба», не располагающего собственным временем вовсе («он занят, даже когда свободен»). При этом к первой, привилегированной категории принадлежит не только сам обладатель силы, но и другой самостоятельно обеспечивающий себя человек, каких множество в южных климатических поясах с их продовольственным изобилием: как правило, в условиях дефицита возможностей для самореализации в городе индивид сохраняет связь с «подпитывающей» его деревней. Что касается второй, зависимой категории, то здесь индивид воспринимает предписания в свой адрес именно как право сильного неограниченно распоряжаться его временем, поэтому чаще всего выполняет некоторую последовательность действий без понимания их смысла, соответственно без сопричастности к результату труда – не столько из-за неспособности, сколько по причине отсутствия мотивации. Отсюда вытекает важное различие деформированных морских и степных кочевников в восприятии исторического времени – применительно к истории семьи или общности в целом. Так, у первых материально значимая

связь с деревней проецируется на сознание в виде сакральности укорененной традиции, консервативных устоев, необходимости сообразовывать действия, т.е. будущее, с волей старшего и образцом прошлого. В то же время, у вторых время существует лишь как настоящее, при этом прошлое и будущее лишены собственного образа и всегда принимают смысл, актуальный в текущий момент – фактически указанный сильным. Это различие имеет множество последствий, например, в культуре быта и семейных отношений. В частности, в общностях первого типа, подобно изолированным субконтинентальным, как правило, половые отношения ограничиваются рамками брака. В то же время, у вторых добрачные и внебрачные связи имеют весьма широкое распространение, – и это (в безоценочной коннотации) образует существенную «трещину» в комплексе норм архаической этики, которая стремительно расширяется при возникновении соответствующих объективных предпосылок. Тем самым с эволюционной точки зрения архетипическая социально-поведенческая матрица у степного кочевника более открыта к деархаизации, чем у прочих общностей с трансформационными дефектами. Этот феномен иллюстрирует уже отмеченный парадокс: в противоположность модернистскому, способность архаического сообщества к трансформации нарастает от эффекта длинной дистанции, – когда индивид не подвержен полной интернализации социально герметичной общностью.

Тем не менее очевидно, что для всех общностей такого рода не характерна трудовая дисциплина, – напротив, интенсивность праздных занятий не зависит от жесткости контрольных сроков «по делу», обязательства выполняются «на глаз», человек оправдывает себя в своих глазах самим фактом трудового усилия, безотносительно достигнутого результата («важен процесс»). Если степному кочевнику поставлена конечная цель без регламентации пошаговых действий и сроков, то он стремится отложить момент исполнения до критической точки и ограничиться минимально необходимыми усилиями, что требует незаурядной изобретательности. Итоги любого акта взаимодействия с человеком этого вида потенциально являются ничтожными по окончании такового, а следующий начинается «с чистого листа», поэтому по возможности процесс и результат должны быть уместены «в одно действие». С другой стороны, поскольку степной кочевник воспринимает время как «не свое», то стремится провести любое отведенное ему мгновение ярко и с высокой вероятностью предпочтет эту альтернативу другому времяпровождению, поэтому верным способом сфокусировать внимание на определенной задаче надолго является пробуждение свойственной ему любознательности. Модус социальной активности степного кочевника не способствует выработке качеств, необходимых для стратегического мышления: если нижние, подавляемые сословия не привыкли распоряжаться собственным временем и планировать, то верхним, принуждающим и вовсе идеальным представляется «неподвижный» мир. Одновременно этот метаархетип непревзойденный тактик, поскольку мыслит требующими постоянного внимания и реагирования угрозами: во-первых, два расположенных по вертикали слоя перманентно заняты поиском способов позиционно «переиграть ухищрения» друг друга, во-вторых, чем выше положение в силовой иерархии, тем острее ощущение внешней силовой угрозы, по горизонтали. В этом существенное отличие атомизированных степных кочевников от индивидов из нижних сословий изолированных общностей, интернализированных племенем как большой семьей: они прямолинейны, как это свойственно воину, способны руководствоваться общим благом, не сообразуясь с издержками и бескорыстно, – однако лишь применительно к благу «своих». По этой причине они нуждаются в «наставлении старшего» – как с точки зрения определения общего блага, так и системы ограничений при его достижении. Отсюда видно, что ведущую роль в архетипической композиции прорывного развития, адекватной для перехода от одного социального и технологического уклада к другому, в обязательном порядке должны играть представители бездефектных ветвей морского метаархетипа (см. выше), будь то внутреннего происхождения или в порядке внешнего управления.

В целом, более приоритетное значение отдыха по сравнению с производительным трудом в жизни индивида типично для архаического сообщества, в отличие от модернистского, – именно потому, что

положение основной части населения в такой общности отсылает к образу невольника. Очевидно, что независимо от антропологического вида, человек рассматривает отдых как перерыв в привычных занятиях, снижение прессинга ответственности и интенсивности транзакционного взаимодействия. Так, для городского метаархетипа это прежде всего возможность не рационализировать поступки, для морского кочевника высвободиться из-под пресса конкурентного давления, – однако лишь для степного кочевника отдых единственно тождествен самой свободе. Более того, для «модернистских» видов допустим и другой способ отдыха, путем смены основного занятия на хобби, отражающее архетипические наклонности. Скажем, для городского метаархетипа в такой роли может выступать область знаний, не составляющая предмета профессиональной компетенции, а для морского кочевника спортивное состязание. В то же время, для степного кочевника это прежде всего возможность оказаться вне поле зрения центра силы, лишь в кругу близких, составляющих периметр доверия, а иногда и просто наедине с собой, – и лишь затем такой отдых ассоциируется с каким-либо определенным типом занятий. Впрочем, как уже отмечалось, нельзя не заметить склонности степных кочевников к экстремальным развлечениям с риском для жизни, – что отражает как низкую цену таковой, так и привлекательность ореола «фартового» человека, стереотипно принимаемого в качестве сильного.

Другим критическим экономически значимым фактором архетипического поведения выступает отношение к ошибке (подразумевается, что она возникла на пути методологически обоснованного риска), право на которую в сущности выступает движителем социального прогресса. У городского и морского метаархетипов это разновидность добавленной ценности как способ отсеять тупиковые пути развития знания и промысла, первопроходческая деятельность в общественных интересах. По этой причине общность считает легитимным безотносительно результата оплатить время ученого, инженера или взять риск на предпринимателя соответственно. В то же время, у степных кочевников развитие само по себе антагонистично целям элиты как «пищевой конкурент» премиального распределения и основание для роста значимости отличительных качеств человека. Ошибка служит поводом для поражения в правах, – «сильный не сомневается и не ошибается», а утверждение слабого игнорируется даже если бесспорно, пока не «индоссировано» сильным. Требование последнего равносильно обязательству первого и не нуждается в основаниях, хотя в общем случае подчиняется специфической и переменчивой системе неформальных «понятий», – как только они появляются, им «присваивается статус исконных», тем более что подлинно укорененных устоев в условиях законодательного произвола центра силы немного. Более того, сильный непременно заботится о том, чтобы его «труд» – «кочевой набег» – не остался неоплаченным, даже если добыча не сулит интересной выгоды: сила является неделимым ресурсом, а тотальность и неотвратимость действия, отсутствие прецедентов уклонения и исключение появления другого «кормчего» важнее количественных параметров дохода.

Первообразный либо оказавшийся доминантным метаархетип имеет определяющее значение для феномена любой формации. Однако в недрах лидирующих цивилизаций все они так или иначе соседствуют друг с другом, более того, с течением времени перестают быть «стерильными», а естественным образом видоизменяются и переплетаются. Более того, не исключено, что, если бы не антропологическая «многоукладность» общностей, зачастую одного этногенеза, они практически не поддавались бы социальной трансформации. Именно гетерогенность «предложения» антропологических архетипов, несущих на себе отпечатки различных естественных сред происхождения, делает возможным разделение труда, активизирует умение человека обучать и обучаться, а в ходе такого обучения – явного или нет – группироваться по принципу «подобные к подобным», т.е. накапливать человеческий капитал. Очевидно, что в идеальном социуме композиция метаархетипов должна была бы быть сбалансированной, однако в реальности каждое из человеческих сообществ опирается на преимущества своего доминантного и должно стремиться к привлечению недостающих – хотя на деле в силу исторических причин системно этот метод используют лишь США. В связи с тем, что в любом обществе существует избыток свойств,

составляющих преимущество коренных метаархетипов, и недостаток характерных для прочих, отсутствуют универсальные, в равной степени повсеместно эффективные подходы к управлению сложными системами и процессами. Для среды с доминированием городского метаархетипа естественной первичной управленческой ячейкой является центр компетенции, морского – центр прибыли, степного – определенный конечный во времени комплексный, многозвенный процесс, проект. К непосредственному изготовлению изделия – товара, услуги, общественного блага, – требующему точных навыков, обычно лучше приспособлены индивиды оседлых метаархетипов, городского – сложных, уникальных ценностей, сельского – простых, однотипных. В то же время управление многозвенным и внутренне неоднородным процессом, сопровождение цепочки создания ценности, извлечение синергий является скорее миссией кочевых метаархетипов. При этом, морскому метаархетипу требуется специализированная экспертиза городского, как для начинания нового, так и для регулярного администрирования зрелых систем, подразумевающих делегирование полномочий и ответственности за результат, а его наиболее сильной стороной является умение взаимодействовать с потребителем в сфере маркетинга, продаж и постпродажного обслуживания. Степной метаархетип идеален для любых форматов малого бизнеса, не требующих обширного горизонтального взаимодействия, для проектной работы, трансформационного менеджмента, генерации новых идей и их реализации на ранней стадии, пока для этого достаточно небольшого коллектива сотрудников с универсальными компетенциями, взаимозаменяемых (по образцу стартапа). Однако в больших и устойчивых системах он склонен к «авральному-проектному» целеполаганию, ручному управлению процессами, микроменеджменту, сверхцентрализации, лишает инициативы линейные звенья, не принимает в расчет стороннюю экспертизу. Сообразно разности архетипов, в разных социумах сложилось разное представление о личности лидера, руководителя: в рамках городского метаархетипа таковым выступает специалист, инженер, в рамках морского – предприниматель, визионер, в рамках степного – «многостаночник», человек, попробовавший себя в разных видах деятельности.

Кроме того, в разных социумах возникают разные способы стыковки отдельных отраслей знаний, в результате чего и появляются наиболее прорывные, меняющие образ жизни человека технологии. Когнитивные характеристики каждого из видов имеют свои преимущества, которые при определенном технологическом укладе приобретают решающее значение. Так, в континентально-европейских университетских городах, являющихся наиболее показательным ареалом бытования городского метаархетипа, стыковку отдельных компетенций обеспечивает высокая плотность носителей таковых, их коммуникативность и кооперативность. Это является основой неоспоримого научно-технического лидерства, если модус развития в целом или в конкретной отрасли в определенный период не предполагает широкой вариативности решений, а также толерантен к невысокой скорости разработки и внедрения: в этом случае итоговые технические и коммерческие характеристики изделия и даже дизайнерские решения планируются уже на ранней стадии разработки технологии. Показательно, что в европейских технологических экосистемах появление объекта интеллектуальной собственности традиционно не рассматривается в качестве триггера коммерциализации – например, в форме образования стартапа и привлечения венчурного финансирования, – эта стадия откладывается, по меньшей мере, до появления опытного образца. Отсюда между академической средой и крупными, состоявшимися внедряющими компаниями возникает чрезвычайно узкий зазор – при том, что новые бизнесы обычно нарождаются именно в этой промежуточной нише, т.е. возникает эффект «узкого горлышка» в продуктовом освоении научных достижений.

В этой связи, по мере ускорения развития и коммерциализации знаний, когда конкретное продуктивное применение разработок зачастую непредсказуемо, на передовые позиции стали выходить также страны англо-саксонского мира, где доминантным выступает морской метаархетип. В ходе своей социальной «навигации» последний – в обличии предпринимателя и междисциплинарного исследователя

– обеспечивает связку достаточно узких и разрозненных компетенций, продуктивную версатильность внедрения итоговых разработок, их транзит через этапы жизненного цикла вплоть до конечного потребителя. Морской кочевник не пытается «далеко загадывать», стремится немедленно протестировать рынок новым изделием или даже сырым платформенным решением, создает избыточность предложения. Такое предложение, в свою очередь, находит опору в некоторой избыточности потребления, а также том, что последнее у этого вида является сферой продуктивного, общественно одобряемого риска, – эта установка поддерживается широким вовлечением кредита в повседневный быт. Тем самым морской кочевник оптимизирует обучение потребителя и поиск посредством обратной связи той платформы, которая зарекомендовала себя не столько лучшей по качеству, сколько наиболее дружественной пользователю, чтобы взять ее за основу для последующей доработки и в качестве отраслевого стандарта. Этот вид стремится дать жизнь каждому продуктовому применению разработки, задействовать материальную заинтересованность авторов изобретения, постоянно сокращая дистанцию до коммерциализации, – основным стадиям венчурного финансирования предпослано посевное и даже предпосевное. «Сплав» городского и морского метаархетипов, будь то локализованный или в форме трансграничной кооперации, идеально подходит для прикладных исследований и разработки продукта с оптимальным сочетанием стоимости, технических характеристик и потребительского удобства. Он ориентирован на опережающее развитие: морской кочевник склонен заимствовать у лидера, однако при этом преследует цель наверстать отставание и опередить конкурента следующим шагом. Опережение обеспечивает городской метаархетип, склонный постоянно улучшать продукт и немедленно внедрять новшества в серийное производство, а морской, в свою очередь, выводит таковые на рынок и накапливает капитал, так что сообщество в целом естественным образом находится в авангарде глобальной научно-технической повестки дня. Характер консерватизма у обоих видов является продолжением характера их же инновативности: морской кочевник неохотно вкладывается в начинание, если оно не зарекомендовало себя как прибыльное или если другой финансово состоятельный субъект уже не взял материальный риск на него, а городской метаархетип не доверяет знаниям, образовавшимся вне сферы его компетенции или ответственности – в т.ч. и в другой общности, – пока оно не верифицировано собственным методологическим аппаратом. В частности, отсюда первые охотнее отдают предпочтение росту путем слияний и поглощений, вторые же – напротив, органическому росту.

Антропологическая эволюция степных кочевников осложнена проживанием в условиях крайне малоемких, в том числе с точки зрения спроса на наукоемкий и интеллектуальный продукт, рынков. Кроме того, элита, располагающая способностями компенсировать этот недостаток ресурсами, допускает лишь копирование чужих достижений – предпочтительно в форме ввоза готовых изделий, – если только это не касается ее собственных витальных нужд – не только силовых функций, но и, например, поддержания здоровья носителя патримониального титула и высших сановников. Эта совокупность характеристик сама по себе маргинализирует знание, – однако в России широко представлен отвечающий за его воспроизводство городской метаархетип. Последний исторически обеспечил непрерывность обучения и преобразования человеческого капитала степных кочевников, с чем связано зарождение и сохранение в крайне неблагоприятных условиях одной из наиболее передовых мировых цивилизаций. С другой стороны, распространение знания здесь архетипически не связано со спросом коммерчески мотивированного субъекта непосредственно и скорее представляет собой просветительский «почин». Отсюда атомизация, являющаяся ключевой характеристикой социального капитала этого вида, самым непосредственным образом проецируется и на полезное применение знания. Разработчик не имеет возможности получить обратную связь от потребителя, выбор которого в нормальных условиях обеспечивает унификацию платформенных решений, а низкий уровень межличностного доверия приводит еще и к искажениям в коммуникации разработчиков между собой. Центры знаний ориентированы на «вкусы» единственного «клиента» – силовой корпорации, – которая обладает крайне

ограниченной компетенцией для квалифицированного выбора отраслевых стандартов. Отсюда различные платформы продолжают сосуществовать и требовать ресурсов, – а это никак не соотнобразуется с приоритетами «клиента», ориентированного на консервацию собственного господствующего положения с целью непроизводительного изъятия стоимости. В этих условиях городской метаархетип скорее утяжеляет конкурентные недостатки культуры инженерных разработок, чем компенсирует их: склонность все «планировать заранее» в условиях высоких скоростей научно-технического соревнования равносильна хроническому отставанию, а в конечном итоге исключению из такового. В конечном итоге общность вынуждена мириться с технологической провинциализацией, насыщением спроса продуктами извне, обеднением человеческого капитала.

И социальная среда, и условия хозяйствования способствуют тому, что представления степного кочевника о потребностях окружающих являются нечеткими, расплывчатыми, – более того, творческая деятельность для него выступает не столько общественно полезным делом или промыслом, сколько продолжением внутреннего мира, возможностью воплощать замыслы. Творчество служит способом ощутить власть над силами природы, вырваться из состояния подавленности и бессилия, за рамки «серой» будничности, повседневности. Отсюда процесс увлекает степного кочевника больше результата – настолько, что он и вовсе не спешит выносить плод своих изысканий на суд потребителя. Слабость навыков кооперации приводит к тому, что разработчик стремится ограничить свою деятельность до пределов, за которыми командному труду нет альтернативы. Таким образом, наиболее органичным применением для способностей этого антропологического вида являются фундаментальные исследования, математические алгоритмы и информационные технологии, а также единоличные виды художественного и ремесленного творчества, – при этом в жизненном цикле хард-продукта эта область ограничена стадией прототипирования. При изготовлении последнего разработчик пытается наделить его максимальным количеством потребительских применений технологии сразу, – так что в каждом отдельном приложении оно обладает низкими показателями эффективности, в целом же неудобно пользователю. Как правило, такое изделие демонстрирует принципиальные возможности технологии и не просто не является масштабируемым в целях серийного выпуска, – требуется повторная разработка и прототипирование для суженного применения и повышения эффективности, к чему лучше приспособлен городской метаархетип. Еще меньше степной кочевник подходит для кастомизации продукта, продаж или обслуживания, – коммуникации не относятся к числу сильных сторон этого вида и скорее выступают специалитетом морских кочевников. Однако степной кочевник не имеет равных по скорости и эффективности решений на ранних стадиях цикла создания и внедрения знаний – фундаментальных исследований и производства единичных, уникальных изделий. Этот вид производит знания как мультидисциплинарные изначально – на основе ассоциативности, выявления общих для разных областей закономерностей. По этой причине когнитивные характеристики образованного степного кочевника становятся решающим преимуществом в рамках экономики знаний, – когда последние развиваются настолько стремительно, что и сами абстрагируются до уровня метазнания – универсальной «платформы», на основе которой отдельные компетенции могут умножаться как «приложения». В этой связи, во-первых, обращает на себя внимание высокая роль выходцев из России в глобальной экономике знаний, – она не соответствует месту самой страны в таковой по объективным, измеримым характеристикам. Во-вторых, этот уклад впервые в истории открывает стране возможность стать бенефициаром премиальной стоимости без локализации материального производства, – однако это требует опоры на медиативные навыки и лидерство морского кочевника.

Справедливо утверждать, что слабые стороны у различных архетипов являются продолжением их же сильных сторон, – в частности, применительно к обороту знаний это находит отражение в различном характере шаблонов, препятствующих развитию таковых. В частности, для городского метаархетипа в этом качестве выступает приверженность научной, технологической, производственной и

организационной традиции, – в этом смысле он схож с «рисовыми» общностями, для которых, однако, проблему составляет как таковое полезное новшество, будь то его изобретение или внедрение. Для морского кочевника в этом качестве выступает приверженность зарекомендовавшему себя прибыльным решению и в целом склонность все сводить к количественным показателям, игнорируя качественные, тиражирование «однообразия», – последний тезис также справедлив в отношении «рисовых» общностей. Наконец, степной кочевник показывает худшие результаты под влиянием принуждения, под которым в этом контексте следует понимать ограничение сферы компетенции, специализацию. В этом случае склонность к творчеству сменяется на собственную противоположность, т.е. машинальный навык, – одним из проявлений этого также может выступать абсолютизация количественного и схематического, однако в статусе «магии», с выхолощенным содержанием, – что примечательным образом также справедливо и в отношении «рисовых» общностей. Такая совокупность характеристик иллюстрирует степень характерной для «рисовых» общностей косности, однако это не ставит под сомнение в их случае общую установку на развитие, а лишь отражает известное тождество между источником силы и источником знания в общественном сознании (см. ранее и далее). Стандарт традиции, детальные характеристики изделия, результата или ориентиры к повседневному поведению для индивида задает вышестоящий по вертикали, а не какое бы то ни было сообщество и, в конечном итоге, он сам. Такая система представлений не характерна для прочих видов, у которых два указанных метаинститута скорее антагонисты по своим установкам и системам ценностей, – хотя они выступают историческими попутчиками, между ними всегда имеет место позиционное противостояние, выяснение отношений на предмет первенства в каждый момент времени. В этой связи, «рисовые» общности не тождественны изолированным – абсолютно приверженным традиции, т.е. шаблону, враждебным отличительности, развитию как таковому. Более того, принципиальным отличием первых является представление о добродетельности труда, не свойственное вторым – ориентированным лишь на боевую доблесть.

Весьма показательным, что бытование городского метаархетипа вне непосредственной связки с морским – незаменимым для полезного применения знания, а также реализации междисциплинарных и межкультурных синергий медиатором, – приводит к скатыванию первого в догматизм и схоластику, даже делает его восприимчивым к ксенофобии и силовой вертикали вопреки аутентичной природе. Этот феномен возникает по причине низкой плотности обмена с другими очагами городских общностей, что вызывает мифологизацию собственного превосходства, прежде всего по основаниям достижений трудовой, материальной и гуманитарной культуры. В контексте этой мифологии склонность детально планировать действия заранее и неукоснительно придерживаться намеченного легко переходит в представление о социальных процессах как результате заговора, умысла, а также в небрежение интересами отдельного человека по сравнению с некой отвлеченной высшей ценностью – волей, порядком, объективной истиной, нацией. Не менее важно, что во внутреннем мире человека абсолютизация плановости приводит к экзистенциальному пессимизму, культуре смерти, романтизации таковой, обращенности в прошлое, при этом в индустриальную эпоху такой эффект обостряется особенно на фоне относительного успеха менее сфокусированных на профессиональном совершенстве (т.е. «менее заслуживающих» этого), но более «промысловых» и капиталозбыточных общностей. Указанные черты просматриваются в немецком романтизме и отрезке истории немцев второй половины XIX – первой половины XX вв.

Немцы выступают крупнейшей и наиболее «стерильной» с экономико-антропологической точки зрения общностью, основанной на доминантном городском метаархетипе, – с крайне незначительными архетипическими «примесями». Это обстоятельство составляет одновременно основное преимущество и экзистенциальный вызов: потенциал предложения качества и объемов (т.е. излишков по сравнению с локальными потребностями) производства с неизбежностью «выталкивает» в поле глобальной конкуренции. В то же время, в силу особенностей географического положения страна проигрывает в доступности и/или стоимости сбыта, снабжения и капитала – более того, поведенческие установки городского метаархетипа предполагают завоевание места на рынке не путем реагирования на спрос, а посредством формирования предложения. Отсюда для этого вида естествен кооперативный тип отношений, возникающий в производственно-техническом или научно-образовательном коллективе, в то время как свойственный посреднической деятельности конкурентный чужд. С точки зрения общественной морали эти установки в

целом значительно лучше отвечают пониманию общего блага и добродетели, чем характерные для морских кочевников реакция на спрос и извлечение дохода из посредничества. В силу такого противоречия на протяжении всей индустриальной эпохи немцам, изначально сформировавшимся как общность короткой дистанции ремесленных городов, приходится «играть на чужом поле и по чужим правилам» длинной дистанции – требующим приоритета количества в противовес качеству, расточительности в противовес бережливости, авантюризма и скорости в противовес планомерности и основательности и т.п. В XX веке это становится практически непосильным испытанием для национального сознания, несущего отчетливый отпечаток травмированности, внутренним механизмом оправдания агрессии как «ответной». При этом неестественный, характерный для длинной дистанции корпус установок и институтов нельзя считать окончательно привитым немцам, принятым ими в качестве органичного и в послевоенное время, – скорее он поддерживается необходимостью соответствовать стандартам крупнейших покупателей, инвесторов, союзников. Более того, способы достижения успеха в капиталозависимую индустриальную эпоху фронтально и на всем ее протяжении оставляют в массовом сознании урок превосходства менее добродетельных образцов по сравнению с более добродетельными (или «среднего по сравнению с превосходным»), что вновь и вновь вызывает к жизни запрос на ревизию ее итогов, рессентимент – зачастую в катастрофической форме. Примечательно, что и в США – в остро конкурентной среде – для широко представленных здесь выходцев из Германии и Австрии также характерен собственный, легко узнаваемый тип соревновательности – негибкий, со следами «травматического синдрома». Чаще всего они воспроизводят цеховой архетип семейного предприятия, без вовлечения партнеров и их ресурсов, поскольку наличие у них собственных интересов считается как индикатор враждебности, а не нормального коммерческого поведения. Действия на рынке похожи на спланированную лобовую атаку, при любом сбое которой наступает тупик – до формирования очередного плана, вновь не учитывающего интересы вовлеченных, а основанного на тождестве собственных интересов и всеобщего блага («надо делать, как мы считаем правильным»).

В то же время, у французов к доминирующему влиянию городского метаархетипа привела невозможность в должной мере эксплуатировать выгоды собственного географического положения. Непосредственное соприкосновение жизненного пространства этноса с могущественными противниками по всему морскому и сухопутному периметру – вплоть до многочисленных территориальных споров – исторически отвлекало беспрецедентный объем ресурсов и цементировало унитарную и ресурсоемкую архитектуру государства. Для французов неизбежно самоопределение «от противного» (за этим стоит отстраивание от противника) – реактивность, импульсивность при отклике на постоянно сменяющиеся друг друга и разнонаправленные внешние вызовы. Напротив, немцы по объективным причинам изначально были лишены соблазна претендовать на ведущую роль в морской торговле (соответственно на маржу торговца) и строили свое благополучие на совершенствовании ремесел, преимущественно в субконтинентальных городах, без особой оглядки на внешние факторы, – отсюда склонны следовать собственному представлению о лучшем результате «до упора и любой ценой». Характерный для городского метаархетипа примат общественного блага, предполагающий неограниченно длинный горизонт принятия решений, у французов – в отличие от немцев – реализуется не посредством установки на планомерность и последовательность, а посредством культивирования чрезвычайно объемного корпуса ценностей, не подлежащих размену на иные выгоды. На счет заведомо антропоцентрического духа общественных и поведенческих стереотипов справедливо отнести и феномен французского Просвещения, а также связанную с ним претензию Франции на роль глобального центра актуальных изящных искусств. Тем самым в известном смысле с точки зрения превалирующего стереотипа индивидуального и коллективного поведения два крупнейших этноса каролингского «ядра» европейской цивилизации можно было бы описать соответственно как «тактиков» и «стратегов». Кроме того, вышеизложенное побуждает сделать общее наблюдение: внутреннее разнообразие этого ядра с антропологической точки зрения делает его диалектически единым образцом социальных и поведенческих установок городского метаархетипа.

В поведении отдельного индивида реактивность отзывается постоянным внутренним напряжением, несколько нетипичным для шаблона короткой дистанции преувеличенным вниманием к внутреннему переживанию, обостренностью реакции на внешние раздражители, окружающих. Защитным механизмом от такого напряжения служит готовность сравнительно легко – в особенности в сравнении с первоначальной эмоцией – принимать неизбежность, а также т.н. «искусство жить» – мастерство возведения повседневности, образа жизни человека в ранг художественного творчества, области самореализации. Необходимо отметить, что в силу благоприятных природно-климатических условий индустрия красоты и образа жизни является сильной стороной деформированных морских кочевников, – а обширное французское Средиземноморье по существенным антропологическим признакам можно отнести к ареалу распространения этого вида.

Склонность последнего к внешнему управлению цементирует «северо-южную» социальную архитектуру целого ряда этносов/наций этого региона и апеллирует к имперскому наследию Австро-Венгрии, которая и выполняла исторически роль такого «управляющего» для большинства из них. Так, двуединая архетипическая структура характерна для итальянцев, в меньшей степени испанцев, португальцев и греков, а с учетом ряда особенностей – для многих средиземноморских этносов неевропейского генезиса и черноморских этносов, которые в силу географической привлекательности ареала обитания на протяжении собственной истории подвергались различным цивилизационным влияниям извне (см. выше). Благодаря сочетанию стереотипных представлений деформированных морских кочевников с установкой обширного автохтонного городского метаархетипа на совершенное качество продукта Франция удерживает глобальное первенство в индустрии красоты и образа жизни, а также имеет сильные позиции в примыкающих к ней отраслях. Так, если немецкое лидерство в медицине и фармацевтической промышленности можно считать дополнением лидерства в области медицинского оборудования и технологий лечения, то французское – в области рекреации и качества жизни.

Пример двух ядерных для городского метаархетипа этносов отражает важную особенность этого вида: эффект автаркии у него стремительно ослабевает по мере «эксplikации» собственных достижений вовне общности, их соотнесения с достижениями других аналогичных общностей, активизации взаимопроникновения таковых. Наиболее благоприятным для Германии и других европейских стран с преобладанием городского метаархетипа становится излет индустриальной эпохи: доминирование массового производства совпало с полной интеграцией внутренних и внешних транспортных коммуникаций на континенте, а также беспрецедентным ростом доступности капитала и глобального спроса – соответственно уходом в прошлое перепроизводства и протекционистских войн. В то же время, наступление постиндустриальной эры и кризис формации массового производства знаменует собой новый вызов: несмотря на потенциальное возвращение производства к местам потребления, формат сети малых роботизированных предприятий или даже сборочных линий средних размеров для локального рынка с точки зрения абсорбции трудовых ресурсов уступает потенциалу крупных промышленных предприятий для глобального сбыта. При этом скорость разработки, превращения открытий в полезный продукт – как и вытеснения такого продукта следующим, часто основанным на опрокидывающей технологии, – непривычна для этого антропологического вида. Прикладным знанием здесь стереотипно выступает детальное описание конечного изделия, в то время как в постиндустриальную эпоху продуктивное применение каждой технологии является настолько диверсифицированным, что и результат более ранних стадий разработки имеет собственную коммерческую ценность, свои механизмы монетизации. Это вовлекает в поиск продуктивных применений участников рынка из самых различных отраслей, – вместо того чтобы оставлять такой поиск на исключительной ответственности первого разработчика. Таким образом, в условиях экономики знаний симптомы «неоромантического» исторического пессимизма вновь имеют шанс дать себя знать. В этой связи, научно-технологические экосистемы европейских стран нуждаются в глубокой кооперации с таковыми у других антропологических видов, – например, обоюдно плодотворной представляется интеграция таких экосистем Германии и России, которая опиралась бы на богатые исторические и институциональные предпосылки.

В России феномен отрыва городского метаархетипа от морского, притом в преломленном и усиленном варианте, получил широкое распространение через посредство Петербурга, – его можно считать «донором» русского городского метаархетипа, – в свою очередь наследующего архетипической матрице Пруссии (см. далее). Смешанная композиция на основе степного кочевника и городского метаархетипа типична для имперской России и во многом СССР, а также для постсоветского периода начала XXI века. Доминантой этой композиции выступает силовая корпорация, целевой функцией которой является консервация собственного положения, соответственно ограничение движения социальных лифтов. Она подозрительна к любому внешнему влиянию, а строго говоря враждебна развитию вообще, кроме как по соображениям собственной же безопасности, т.е. преимущественно в военных целях. Более того, развитие военной машины здесь служит предотвращению внешних угроз скорее в смысле самоизоляции, поскольку выход конфликта за пределы собственной территории также ведет к проникновению внутрь чуждого влияния, а межсословное общение в воюющей армии актуализирует запрос на доступ к социальным лифтам, что порождает вызовы режиму. Прорывные задачи витального характера решаются в ручном, проектном режиме, без создания инфраструктуры, платформы воспроизводства прорывных задач и решений, поэтому мультипликативный эффект и экономическая эффективность единичных решений несопоставимы с аналогами, полученными другими архетипическими композициями. Если не учитывать регионы, где влияние старообрядцев было сильно исторически, роль лидеров с поведенческими характеристиками морских кочевников заметно возрастает в поворотные моменты развития – как в отдельных коллективах, так и в стране

в целом. Однако при первых же признаках стабилизации, ослабления вызовов, опорная архетипическая композиция стремится избавиться от сложных задач, ведущих к углублению в неизвестность, новизну, а заодно исторгнуть из себя поведенчески и ценностно чуждые элементы.

Сочетание городского метаархетипа с силовой корпорацией степных кочевников на естественном и рукотворном удалении от внешних очагов цивилизации дает отрицательный синергетический эффект. Опорная архетипическая композиция представляет собой коалицию «развития», «опрокинутого» в прошлое, – ориентированную на парадигму «вчерашнего дня», устаревшие решения, примат «контроля», «управляемости», понимаемой как предотвращение изменений иначе как перед лицом непосредственной угрозы, крайней необходимости. Убежденные в сконструированной природе реальности (одни посредством замысла, другие путем принуждения, но в обоих случаях без «творчества масс»), два элитных архетипа в сослужении преуспели в формировании безжизненного, имитационного институционального фасада образца эпохи модерна, вступающего в противоречие с фактической природой общественных отношений премодерна, соответственно атмосферы двоемыслия. Склонность городского метаархетипа к стандартизации управленческой архитектуры и процессов в целях предельно точного определения функций и полномочий каждого в рамках единого «конвейера» создания ценности, а также его доли в распределении, силовая корпорация применяет к институциональному оформлению прямо противоположной по сути сословной матрицы – основанной на беспредельном праве сильного и обусловленности прав слабого заведомо невыполнимым сводом правил, т.е. поражении последнего в правах. Более того, готовность первого ограничиваться совещательным голосом в расчете на коллегиальное принятие решений, действовать не на основании договора, а повинувшись представлению об общем благе, в т.ч. ценой некоторой асимметрии между социальной полезностью и долей в распределении, вторая использует в целях культивации собственной трансцендентности, тождественности благу, обоснования добродетельности беспрекословного служения себе. В то же время, городскому метаархетипу в России обязана традиция разнообразных государственных институтов общественного блага, декларативно призванных гарантировать обеспечение потребностей человеческого капитала. Однако обеспечение этого стандарта ресурсами и фактический режим доступа к ним меняется в зависимости от интересов силовой корпорации, что делает такой стандарт значительно ближе к способу обращения элит степных кочевников с подданными, а не к характерным для городского метаархетипа фиксированным и прозрачным общественным гарантиям гражданину: переменчивый и остаточный «пакет» содержания крепостных служит основным инструментом управления экономикой невольнического труда.

Основным архетипическим антагонистом опричины в этом плане выступает морской кочевник, поведенческие установки которого характерны для старообрядцев: единственно возможной формой взаимодействия для него является договоренность, предполагающая симметрию прав и обязательств, а творческая энергия в основном уделена устройству плотной и самодостаточной, автономной ткани горизонтальных связей. По-видимому сочетание коллективизма и низкой плотности населения позволило им не только избежать диффузии с чуждой в ценностном отношении архетипической общностью, но и оказывать ей сильное сопротивление. Староверы и тесно сотрудничающие с ними слои общества исторически неизменно выступали объектом предельно жестокого подавления – и как религиозное меньшинство, и как деятельное крестьянство, и как предпринимательская элита, и как авангардная интеллигенция. Насколько будущая плодотворность архетипических композиций вообще поддается прогнозированию, сочетание образованных степных кочевников с морскими в экономике знаний также должно представлять собой «коалицию взрывного роста». Показательно, что в предреволюционный период достижения России во многих областях человеческой деятельности, где ее глобальное первенство общепризнанно, связано с активным сотрудничеством образованного слоя со старообрядцами, а также с нижними сословиями вообще. Для этой части интеллигенции характерен исторический оптимизм в отношении возможностей русских, примат опережающего развития, склонность к образованию «национальной» коалиции с нижними сословиями в оппозиции силовой корпорации и созданию вокруг себя очагов инклюзии, положительного социального капитала. В этой связи, реализация просветительской миссии городского метаархетипа по отношению к нижним сословиям с иной архетипической природой, обеспечение недискриминационного доступа к системе образования вообще выступает главным фактором, уравновешивающим обреченность на цивилизационную деградацию.

В то же время, значительная часть образованного слоя, не имеющая опыта такого взаимодействия, даже в самых крупных городах традиционно страдает историческим пессимизмом в отношении творческих способностей основной части населения, для которой силовое подавление и отрицательный социальный капитал являются экзистенциальной реальностью. Вместо того, чтобы взять на себя лидерство в

преобразовании человеческих ресурсов – по образцу европейских наций модерна, – этот слой сочувствует стараниям силовой корпорации поддерживать нижние сословия в бессубъектном состоянии и тем самым законсервировать преимодернистскую социальную матрицу. Более того, сам он представляет развитие России исключительно как догоняющее, отличается провинциальностью и шаблонностью мышления, поэтому не уверен в своей востребованности. По этой причине этот слой не видит альтернативы силовой корпорации в качестве «коалиционного партнера», способного обеспечить ему элитный статус, ищет благосклонности таковой и традиционно соучаствует с ней в «антинациональной» коалиции.

5. ЭКОНОМИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И СМЕНА СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Архетипическая характеристика трансформации экономики и общества.

Феноменология доиндустриального, индустриального и постиндустриального этапов

Отправной точкой экономико-антропологической трансформации – во всяком случае, в достаточном для понимания ее современных особенностей объеме – можно считать распространение культурного выращивания продовольствия. Это вызывает появление у общностей излишков по сравнению с собственными потребностями – соответственно стимула к вступлению в хозяйственные и социальные отношения с другими общностями. Кроме того, происходит скачок в темпах прироста населения, – так что численность отдельной популяции возрастает по сравнению с естественной для расширенной семьи и даже круга непосредственно знакомых людей. Возникают предпосылки для выделения небольшого круга индивидов – «досужего» класса и класса служащих им, – избавленных от необходимости вручную обеспечивать собственные витальные потребности и специализированных на управлении отношениями длинной дистанции. Появляются городская форма жизни, соответственно общественное пространство и публичное управление, основные градообразующие кластеры – торговля, военное дело, сфера накопления знаний, зарождаются товарно-денежные отношения и возникают предпосылки для столкновения различных общностей в борьбе за ограниченные ресурсы. Это создает экономические мотивации для военных действий по захвату привлекательных источников стоимости, так что по совокупности причин ключевую роль в обществе приобретает фактор силы – как рабочей, так и принуждающей. Вероятно, в связи с этим матриархальная семья, адекватная укладу, при котором благополучие зависит от рачительности и организации хозяйства, сменяется патриархальной, отражающей перемещение источника пропитания за периметр дома, семьи и зависимость такого пропитания от силы. Дальнейшая траектория эволюции призвана провести индивида через разные стадии развития способности создавать ценность: во-первых, в объеме, превышающем стоимость его содержания, во-вторых, при помощи собственных индивидуальных навыков, представляющих собой одновременно особый объект собственности и особую разновидность труда (которые невозможно присвоить силой), и, в-третьих, качественно отличную от других индивидов. Для каждой из этих стадий развития характерно разное состояние отдельных факторов социальной динамики – силы, труда и знания, – различное соотношение и тип взаимодействия между ними.

Технологический уклад, при котором человек в среднем *не может генерировать стоимость, необходимую для его содержания и воспроизводства, за счет своих навыков и потому вынужден конкурировать с другими за ограниченные ресурсы природы*, приводит к накоплению слоя «лишних», с точки зрения хозяйственного оборота, людей, которые, не обладая ценными свойствами для обмена, находятся друг с другом в отношениях «пищевой конкуренции». В том или ином виде, образ жизни таковых характеризуется признаками, типичными для всех биологических видов – «естественным отбором» и конкуренцией за наиболее привлекательные для удовлетворения элементарных физиологических потребностей ареалы бытования. Люди такого типа лишены субъектности и нуждаются в силовом ресурсе для физического выживания, поэтому склонны примыкать к родоплеменным сообществам вертикального типа, вождествам, основанным на лояльности титульному носителю такого ресурса и его роду, которая становится единственным способом самоидентификации индивида, в то время как сами субъекты силы ассоциируют себя с подобными, но не с подданными. Из-за избытка живой силы, не находящей более производительного применения, чем захват привлекательных ареалов обитания, родовые группы формируют институты экстрактивного типа, направленные на извлечение, удержание и обмен ресурсов, прежде всего, редких, с рентным ценообразованием. Ввиду отсутствия

разделения труда, отношения между вождествами преимущественно носят характер «пищевой конкуренции» на основе силы за любую собственность, пригодную для извлечения стоимости, хозяйствование они совмещают с выполнением функций публичной власти, что делает их протогосударственными образованиями. Субъектами публичного управления являются поселения такой площади, которые можно удержать под непосредственным контролем стационарного силового ресурса, преимущественно города, которые оспаривают право доминирования над межеумочными пространствами. Риски в экономике велики настолько, что лишь силовой ресурс может выступать их гарантом, в связи с чем аномально высокой является и доходность у обладателя такового. По этой причине субъектность обеспечивает лишь обладание силой, которое у степного метаархетипа моноцентрично, а у морского полицентрично, вследствие чего в последнем случае обладатели таковой делят единосущные ресурсно-силовые вотчины между собой. Кроме того, для первого это состояние является естественным, для второго временным, связанным с примитивным типом извлечения стоимости на этом этапе. Субъект силы обладает неограниченным суверенитетом и правами в отношении объекта таковой, последний имеет неограниченную ответственность перед первым, чем определяется иерархия наследственных сословных статусов, а также движение ресурсов от нижних сословий к высшим посредством различного рода повинностей. Частная субъектность индивида – суверена (вождя), «наместника» или подданного – неотделима от социальной функции такового (говоря современным языком, физическое лицо от юридического, от института), привилегии и повинности которой автоматически распространяются на самого индивида, его семью и имущество. Лицо, не задействованное в отправлении силовой функции, как правило, само превращается в объект имущества. Накопления, как правило, возникают в сфере обмена ресурсами и не обладают существенными признаками капитала, доступ к источникам стоимости не определяется ценой и требует «валидации» со стороны обладателя силового ресурса, деньги полноценно опосредуют лишь обмен ценностями. В этой связи, роль денег выполняют предметы, имеющие собственную потребительскую ценность – драгоценные металлы, редкие материалы и изделия из них и т.п., уже в силу этого денежная масса не экономически, а технически значимая величина.

Наиболее дефицитным ресурсом на протяжении большей части человеческой истории выступают плодородные земли и продовольствие как напрямую связанные с витальными потребностями каждого человека, поэтому города и конкурируют за контроль над межеумочным пространством, а ключевой сферой распространения соответствующих социальных практик на этом этапе становится сельское хозяйство. В составе сообщества родоплеменного типа, в силу экономической логики («на всех не хватит»), подавляющее большинство людей сразу или со временем сами приобретают статус собственности, экономически неотличимый от стандартного товара (при выбытии легко замещаемого другим «таким же») или средства производства с ускоренной амортизацией (минимальными эксплуатационными расходами, на уровне поддержания работоспособности лишь в активном возрасте), завладение и торговля человеческим ресурсом становится важнейшим источником ренты. В связи с низкой продолжительностью жизни чрезвычайно высока рождаемость, что выступает не только способом воспроизводства населения вообще, но и средством обеспечения собственной старости. Труд сводится к минимальному видоизменению продуктов природы, является «проклятием», не связанным с благосостоянием индивида, и отделен от знаний, обладание которыми является уделом элитного, «досужего» сословия (часто жреческой касты), сами знания носят характер созерцательных обобщений с ограниченным прикладным применением. Таким образом, труд формирует архаический тип сознания в наиболее экстремальной форме, с соответствующим уровнем развития когнитивных и выразительных способностей, когда межсословные барьеры проявляются даже в отсутствии у сообществ одного этногенеза универсальных языковых средств коммуникации. При этом современные формации, по-прежнему основанные на силовом присвоении стоимости, не имеют необходимости владеть людьми на

правах собственности в правовом смысле, поскольку потребность выступающих источниками рент отраслей в трудовых ресурсах сравнительно скромна. Однако в экономике этого типа все прочие отрасли живут оборотом возникшей в рентных секторах стоимости и соподчинены таковым – соответственно их бенефициарам – более того, тяготеют к ограничению конкуренции до уровня, когда освоение ресурсов замкнуто внутри ресурсно-силовой группы. В этой связи, трудовые ресурсы в той или иной мере (вопрос «длины поводка») закреплены за работодателем ограниченностью альтернативы, а оплата труда носит характер остаточной.

По мере того, как развитие технологий позволяет значительной части индивидов *создавать хотя и стандартную, но превышающую необходимую для их содержания стоимость*, рост производительности труда в сельском хозяйстве увеличивает предложение продовольствия, которое становится доступным в порядке обычных товарно-денежных отношений. Это создает стимулы для оттока населения из аграрного сектора и превращает его в разновидность малого предпринимательства со сравнительно низкой стоимостью входа, снижает дефицитность земельных ресурсов по сравнению с численностью оставшихся и экономическую целесообразность отношений закрепощения. Наиболее продуктивным и емким применением для архаических масс, с характерной высокой рождаемостью и смертностью (соответственно избыточным предложением рабочей силы в молодом возрасте), становится массовое промышленное машинное производство, при котором преобладающим модусом модернизации выступает заимствование технологий, догоняющее развитие. Оно подразумевает существенное преобразование природных материалов, в хозяйственный оборот вовлекаются минеральные ресурсы, напрямую не связанные с витальными потребностями человека и расширяющие источники ренты (со временем они также проходят через аналогичный продовольственным ресурсам жизненный цикл). Вместе с тем, технологическое развитие протекает сравнительно медленно, обновление продуктового ряда редко связано с появлением опрокидывающей технологии, поэтому чаще всего приводит к вытеснению старого, менее качественного продукта в нижний ценовой сегмент по сравнению с новым. Тем самым рынок предлагает вариативность качества и цены, а восхождение в более дорогой рыночный сегмент становится задачей конкурентной борьбы, изменение добавленной ценности прямо и непосредственно транслируется в изменение добавленной стоимости.

В связи с ростом доступности примитивных ресурсов, морской метаархетип, который на предыдущем этапе профессионально специализировался на торговле излишками, переходит к приданию природным материалам добавленной ценности, т.е. прибегает к обратной вертикальной интеграции в обрабатывающее производство, в котором востребованы его поведенческие навыки и накопленное богатство. Массовое производство предполагает специфичность производственного оборудования в зависимости от типа производимого продукта, обилие ручного труда – соответственно стандартизацию продукта, требования к минимальной партии, концентрацию и высокую капиталоемкость. Капитальные вложения амортизируются постепенно, инвестиционный цикл отделяется от операционного, что требует от предпринимателя длинного горизонта принятия решений и склонности к риску. Накопления становятся основным барьером входа на рынок и наиболее дефицитным, доходным ресурсом – источником ренты, т.е. приобретают существенные признаки капитала. Финансовый капитал выступает ключевым фактором производства, вовлекающим в создание ценности труд и знание, владение становится самодостаточным родом занятий, более доходным, чем любые другие. Возникает разнообразное предложение доходности и риска, появляется потребность в аккумулировании сбережений и трансформации риска, центральную роль в экономике начинает играть финансовый сектор, его обязательства выполняют функцию денег, которые становятся основным инструментом предложения капитала. Национальное государство принимает на себя функцию высшей инстанции концентрации и перераспределения ресурсов, опирающейся на национальный капитал. Будучи в этом качестве субъектом

наивысшего доверия, оно присваивает функцию денежной эмиссии и использует кредитно-финансовое регулирование доступности капитала как основной инструмент экономической политики.

Достаточно показательным примером природы кредитных денег как обязательств субъекта силы явилось частичное вытеснение конвенционального денежного обращения в России векселями хозяйствующих субъектов в 90-е гг XX века, когда силовой ресурс государства претерпел декомпозицию и «отбыл» к центрам ресурсного хозяйствования.

Этот уклад позволяет генерировать капитал по-прежнему в интересах немногих, зато не за счет ускоренной амортизации человеческих ресурсов, а за счет эффекта концентрации и экономии на масштабе. Стоимость жизни сравнительно велика, что стимулирует индивида к поиску новых возможностей извлечения стоимости, предпринимательской деятельности. Более того, основными движущими мотивами индивида являются материальные цели – потребление, по возможности также накопление и стяжание собственности, как в абсолютном выражении, так и по сравнению с окружающими. Оперирование постоянно усложняющимися средствами производства требует ответственности и трудовых навыков, накопление критической массы знаний об окружающем мире придает таковым прикладной характер, представители элиты вовлекаются в общую с нижними сословиями цепочку создания ценности, формируется модернизационная социальная коалиция на базе соединения труда со знанием. Это запускает длительный процесс трансформации структуры потребностей и сознания на базе компетенций, что стимулирует оборот их носителей (т.е. появление рынка труда), привлекательность низкой стоимости крепостного труда уступает добавленной стоимости от свободного. Элементы нарождающейся системы всеобщего образования начинают унифицировать языковые формы и разрушать межсословные коммуникационные барьеры, хотя разность стартовых возможностей по-прежнему играет существенную роль. Углубление разделения труда вызывает увеличение доверия, расширение отношений кооперации по сравнению с отношениями конкуренции.

Разнородный характер интересов хозяйствующих субъектов приводит к «отслоению» правоприменения и публичного принуждения, а заодно и других функций государственного управления, от хозяйствования, индивидуальная субъектность отделяется от социальной (физическое лицо от юридического). В силу коллективного (хотя и элитного) формирования источников финансирования государства, контроль за его силовыми возможностями также становится коллегиальным, конкуренция из силовой становится экономической, что закладывает основы защиты собственности. Дорогостоящие, невиданные по размаху военные кампании, как правило, являются продолжением интересов капитала, достигающего максимальной за всю историю концентрации и нуждающегося в рынке исключительной емкости, поскольку в рамках уклада стандартизированного массового производства предложение определяется спросом, а не наоборот. Соответственно целью таких кампаний является установление контроля не только над источниками природных ресурсов, но прежде всего над путями доставки товаров. При этом, слой «лишних» людей по-прежнему позволяет вести их, однако лишь в условиях высокой альтернативной (заместительной) стоимости, внешняя угроза выступает важным дополнительным фактором межсословного сплочения и роста промышленного потенциала. Источником суверенитета становится протяженное (страна), а не точечное (город) территориальное образование, города «стягивают» к себе ресурсы страны, становятся преимущественно промышленными или финансовыми центрами, с высокой емкостью рынка (в т.ч. труда) и существенной долей простых услуг. Зарождается более высокая форма самоидентификации и общественной организации – нация и национальное государство, которое преимущественно опирается на ресурсы элиты и действует в ее интересах, однако сама элита начинает рассматривать нижние сословия не как обременение, а как основу извлечения стоимости, иерархия сословно обусловленных финансовых повинностей заменяется более или менее всеобщей налоговой системой. Для раннего национального государства характерна ограниченная инклюзивность институтов, например, распространяющаяся на людей с определенным уровнем достатка,

образования или на местное самоуправление, наиболее приближенное к повседневным нуждам населения. Ввиду улучшения условий жизни большинства, увеличивается продолжительность жизни, снижается рождаемость, возникает институт общественного блага – услуг общего пользования, создаваемых путем солидарного финансирования гражданами различных сословий, однако с экономической точки зрения они пока выступают как затратное обременение резко возросшей общественной стоимости.

Со временем усложнение компетенций одновременно как особого – общедоступного – объекта собственности и особой разновидностью труда, защищенных от рисков со стороны силового ресурса, осознается в качестве основы благосостояния, позволяющей индивиду *создавать не только высокую по стоимости, но и индивидуальную, отличную от других ценность*, стать равнозначным субъектом при обмене таковыми. Стандартный труд вытесняется машинным, снижается эффективность экономии на масштабе по сравнению с привлекательностью «нулевых логистических затрат», что приводит к деконцентрации производства, смене его привязки от мест концентрации ресурсов – природных и трудовых – к местам потребления, в связи с чем использование сырья также тяготеет к минимизации. В противоположность индустриальному укладу, фронтальное распространение аддитивных технологий в производстве приводит к стандартизации производственного оборудования, которое в возрастающей степени перестает быть специфическим в зависимости от типа производимого продукта. Парадоксальным образом – также в противоположность индустриальному укладу – это позволяет полностью уйти от стандартизации изготовленного на таком оборудовании продукта и показателя минимальной серийной партии, сделать практически любой производимый товар единичным, изготовленным для конкретного покупателя. Все чаще технологические инновации приводят к принципиальной смене способа удовлетворения прежних потребностей на более дешевый и качественный, появлению новых. В этой связи обновление продуктового ряда не предполагает сохранения места на рынке для прежнего продукта, пусть и с вытеснением в более дешевый сегмент, – отсюда утрачивается многообразие предложения цены и качества. При этом успешный продукт по сравнению с проигравшим чаще всего перемещается в более низкий ценовой сегмент, приращение добавленной ценности транслируется не в приращение добавленной стоимости, а в привилегию ее монетизировать в каком бы то ни было объеме, борьба за более дорогой продукт перестает быть задачей конкуренции. Возрастает доступность потребительских благ, снижается стоимость жизни, объем потребляемых индивидом ценностей перестает заметно расти, на фоне снижения рождаемости уровень общественного потребления ценностей начинает стагнировать, при этом улучшается качество и одновременно снижается стоимость таковых. Потребление для индивида перестает быть самоцелью, он движим скорее мотивом самореализации («удовлетворения любопытства») и сам формирует основу для перехода к укладу, когда добавленная стоимость концентрируется не на этапе производства продукта, а на этапе его изобретения и разработки. Он тяготеет к гетерогенным городам, агломерациям, не только как емким рынкам, но и как среде с разнообразием лингвальных, пластических, изобразительных и других выразительных средств – «языков» (форм и образов), служащих основой когнитивной универсальности, ассоциативного мышления и творческих способностей личности. За человеком остается труд, не поддающийся алгоритмическому описанию, способность к которому сама по себе относит человека к элите. Скорость технологических и социальных инноваций делает именно компетенции наиболее ценным, дефицитным в хозяйственном обороте ресурсом, поэтому социумы с различной архетипической композицией усваивают социальные нормы и поведенческие установки городского метаархетипа. Модернизация более не может быть обеспечена заимствованием технологий, ее модусом становится исключительно опережающее развитие, спрос начинает определяться предложением, «полезная нагрузка» индивида, «человека-функции», способного создавать отличительную ценность, набирает весомость по сравнению с полезной нагрузкой деперсонифицированных институтов. Сфера создания общественного блага приобретает функцию

целевых инвестиций в человеческий капитал и из затратного обременения общественной стоимости, выступающего инструментом межсословной солидарности, превращается в основной источник генерации экономической ценности. Капиталоемкость экономики и стоимость капитала резко снижаются, владение средствами производства и потребительскими товарами длительного цикла вытесняется пользованием таковыми, соответственно размываются барьер входа на рынок и межсословные различия в потреблении, создание стоимости и образ жизни тяготеют к деконцентрации, а стартовые возможности – к выравниванию. Это приводит к переходу от массового производства к распределенному, а в сочетании со снижением рождаемости – приоритету качества человеческих ресурсов перед количеством. Отношения конкуренции отесняются на второй план отношениями кооперации, на первые роли выходит «капитал с компетенциями» (smart money), извлекающий премиальную стоимость в виде технологической ренты, роль (и доходность) функции владения – по сравнению с непосредственным участием в создании ценности – снижается. Углубление компетенций приобретает больший потенциал роста общественной стоимости, чем предпринимательская деятельность как таковая, поэтому со временем общество задумывается о гарантированном уровне текущего дохода, своего рода «rente человеческого капитала».

Таким образом, «профессиональный» предприниматель, выступающий социальным медиатором между силой, трудом и знанием, выступает в логике социальной трансформации лишь промежуточным институтом, обеспечивающим «склейку» модернизационной коалиции. В постиндустриальную эпоху – как и в доиндустриальную – обладатель капитала оказывается в подчиненном положении и ради хотя бы частичного сохранения такового вынужден «поделиться со старшим партнером» – только уже не обладателем силы, а носителем знания. Тем самым знание устраняет из числа активных элементов социальной матрицы не только силу, но и вообще любые другие элементы, за которыми остается лишь «сервисная» роль. На новой стадии «старые» состояния, отражающие реальность предшествующей эпохи с высокой капиталоемкостью экономики и концентрацией капитала, создают избыточное предложение последнего. Из движителя социальной модернизации они превращаются в источник архаического тяготения, поскольку в целом могут генерировать доходность лишь при условии количественного прироста общественной стоимости. Инвестиционные решения приобретают существенные признаки некоммерческой деятельности, накопление как таковое в непосредственном понимании становится в возрастающей степени бесприбыльным, состояния перестают в полной мере передаваться по наследству. Они постепенно перемещаются в нишу «пассивных» инвесторов и довольствуются «обнуляющейся» доходностью вспомогательного поставщика одного из «серийных», не обладающих уникальностью факторов производства. Традиционные методы макроэкономической политики, сосредоточенные на регулировании доступности денег в экономике, утрачивают эффективность, кредитные и транзакционные риски снижаются до пренебрежимого уровня, как по социальным, так и по технологическим причинам. Отмирает потребность в аккумулировании сбережений и трансформации рисков, финансовая система становится периферийной в экономическом механизме. Деньги вновь утрачивают роль капитала и нуждаются в «валидации» для доступа к источнику стоимости, на этот раз со стороны носителей знания. На роль денег начинают претендовать т.н. криптовалюты – сугубо условные обменные величины, не кредитной природы, что является индикатором вытеснения доверия к вертикальным институтам горизонтальным доверием, более того, самим механизмом эмиссии позволяет придать статус экономической ценности непосредственно общественно одобряемому поведению человека, вплоть до превращения такового в источник богатства. Избыток капитала, не приносящий доходность или даже утрачивающий стоимость, начинает перемещаться в страны, находящиеся на предыдущей стадии развития или в некоммерческий сектор, чтобы выступить в качестве экзогенного фактора модернизации. В последнем случае его социальной миссией становится перевод трансформации на следующий виток спирали – путем создания прорывных знаний («задание» городского метаархетипа)

либо трансфера передовых практик в регионы с застарелым дефектом эндогенных факторов («задание» морского метаархетипа), «застрявшие» на первой стадии модернизации и не готовые к абсорбции коммерческого капитала. Все больше капиталоемких благ создается не путем инвестирования, в расчете на непосредственную отдачу на вложенный капитал, а в порядке общественной кооперации, в некоммерческом секторе. Можно предположить, что часть финансового капитала может в обозримом будущем претендовать на выполнение некоторых публичных функций вместо государства с передачей соответствующих источников.

Городская среда фактически становится расширением университетской, вся социальная ткань воспроизводит эгалитарную модель университета, устроенного по принципу взаимодействия по интересам индивидов с репутационным капиталом, а не институций. Носитель компетенций перестает себя ассоциировать с какой-либо группой вертикального типа, образует с другими такими же тканью горизонтальных связей и разнообразные объединения, открытые для кооптации новых индивидов с ценными характеристиками, независимо от происхождения, что окончательно закрепляет модернистские установки. Это размывает территориально локализованный институт национального государства и потребность в коллективной самоидентификации вообще, переформатирует контуры и даже признаки «наций», побуждая людей в индивидуальном качестве стремиться к экстерриториальным сообществам с наиболее привлекательной социальной философией и моделью, приводит к мощному взаимопроникновению культур и мультилингвальности, что снижает роль когнитивно обусловленных факторов транзакционных издержек. «Государство всеобщего благоденствия» становится сервис-провайдером, одной из возможных форм кооперации сообщества (включая институты гражданского общества и трансграничные объединения) в интересах и за счет такового, в той или иной форме устанавливается общественный контроль за аппаратом принуждения – ключевым атрибутом суверенитета. Институты становятся инклюзивными, общество «отзывает» мандат как самовоспроизводящихся элит, так и наднациональных объединений, получивших легитимность от государств, а не напрямую от граждан. Городские агломерации становятся рынками самодостаточной глубины, более того, получают технологические инструменты для мобилизации физических удаленных ресурсов и компетенций, в связи с чем постепенно возвращают себе автономию и роль предельного макросубъекта публичного управления. В силу доступности привлекательных ценностей в порядке кооперации и обмена, размывания титульного государства как активного субъекта воли, декомпозиции вертикальных централизованных институтов и деконцентрации капитала, практически устраняется мотивация к вовлечению в масштабную военную активность, источниками угроз безопасности становятся негосударственные субъекты. Защитные функции на сложившемся технологическом уровне выполняются в рамках локальных военных кампаний, возрастает роль специализированных провайдеров военных услуг. Кроме того, сам по себе уровень военно-технических возможностей у ведущих участников международного общения является фактором роста ответственности при их использовании и трансформации сознания.

В том или ином приближении различные отрасли знаний, системы классификации и авторы определяют эти три этапа соответственно как *премодерн*, *модерн* и *постмодерн*; *доиндустриальный*, *индустриальный* и *постиндустриальный уклад*; *рабовладение/феодализм*, *капитализм* и *социализм* – хотя последний термин в силу очевидных исторических причин не имеет однозначной трактовки и политически окрашен, более нейтральным определением «посткапитализма» может выступать *экономика знаний*. С точки зрения теории рынка, каждая из этих формаций могла бы быть описана своим характерным профилем кривой «риск-доходность»: стремящееся к вертикальному положение – диагональное («естественное», соответствующее классической теории рынка) положение – стремящееся к горизонтальному положение. В этой периодизации каждый последующий период хронологически существенно короче предыдущего (вероятно, и текущий третий), однако по своему трансформационному

значению они вполне равноценны, в связи с чем можно говорить об эффекте «сжатия времени», вызванном технологически обусловленным лавинообразным ускорением движения транспорта и информации. Не менее важна и гипотеза, что указанный трехфазный транзит может оказаться промежуточным по пути от эры, предшествовавшей зарождению культуры земледелия, к состоянию антропологической сингулярности (см. ранее): общим признаком двух полярных состояний человеческой цивилизации является отсутствие потребности в пространстве длинной дистанции, соответственно рыночном обороте, накоплении и стоимости. Причиной таких состояний в обоих случаях выступает самодостаточность человека, – хотя она реализована на драматически различающихся технологических платформах, соответствующих также актуальному кругу потребностей своего времени.

Описанную выше последовательность социальной трансформации следует понимать не как строго хронологическую, а как логическую. Во-первых, следует различать такие связанные, но вовсе не тождественные понятия, как доиндустриальный и аграрный уклады. Первое соответствует способу производства, при котором благосостояние общности основано на любых примитивных и ограниченных ресурсах природы, цена которых содержит присваиваемую по праву силы премию за редкость – ренту. Тем самым аграрный уклад подпадает под это определение лишь в условиях крайне низкой урожайности и производительности труда в сельскохозяйственном производстве, так что подавляющая часть населения привязана к этому виду промысла, – это создает эффект дефицита земельных ресурсов, которые становятся объектом силового удержания/передела. Вместе с тем, в современных условиях основанные на минеральном сырье промыслы образуют аналогичные, ресурсно-силовые формации, – в этой связи институциональное препарирование таковых в терминах модерна приводит к ошибочным заключениям относительно внутренней социальной динамики соответствующих общностей. Урбанизация здесь также выступает следствием «миграции» основного промыслового ресурса: население видит основной социальный лифт в сферах добычи и охранения рентных ресурсов, а также обращения и перераспределения рент в городах. Примечательно, что численность таких общностей не уступает численности тех, что перешли в индустриальную фазу развития, – а заметное «фасадно-эстетическое» влияние вторых объясняется не только высокой долей городского населения у первых, но и тем, что именно глобальная обрабатывающая промышленность формирует спрос на сырьевые товары. Во-вторых, целый ряд отраслей экономики обладает некоторой «нейтральностью» по отношению к доминирующему способу производства – т.е. промыслу, который обеспечивает благосостояние основной части общности. Так, самодельные ремесла и мелкая торговля, а также рыболовство и лесоводство (эти промысловые ресурсы являются возобновляемыми и сравнительно неограниченными, не требуют удержания, в отличие от плодородных земель), могут быть локально эффективны на всех этапах развития, однако не способны абсорбировать значительные массы архаического населения. Отрасли, основанные на «консервативных» технологиях, чаще всего, связанные с преобразованием продуктов природы или удовлетворением непосредственных потребностей человека, сами по себе могут довольно долго пребывать в промежуточной, индустриальной фазе, при этом, будучи интегрированы в постиндустриальную экономику посредством цепочек создания ценности. Кроме этого, и участники мирового хозяйства бытуют зачастую в принципиально различных экономических парадигмах, поэтому тенденции и циклы, характерные для каждой отдельной формации, накладываются, что осложняет выявление универсальных трендов в мировой экономике, при этом, такое наложение может вызывать эффект резонанса. Практически все развитые страны сочетают в структуре своей экономики сегменты индустриального и постиндустриального хозяйствования, ряд стран третьего мира находятся между доиндустриальной и индустриальной фазами, а, например, российская экономика в разной степени имеет черты всех трех укладов одновременно. Наконец, городская форма организации жизни, как уже отмечалось, изначально играет ведущую роль почти во всех крупных цивилизациях.

Каждый метаархетип проявляет свои существенные поведенческие установки на всех этапах экономико-антропологической эволюции, поскольку каждая общность во все времена в тех или иных пропорциях оперирует и силовым, и финансовым, и человеческим капиталом. Однако на каждом из таких этапов коллективная система ценностей, социальная архитектура и поведенческий идеал во всех общностях приобретает заметные отпечатки, характерные для одного из метаархетипов – того, чья опорная разновидность капитала представляет конкурентное преимущество для данного способа производства, соответственно именно его социальная модель выступает образцом для подражания. Так, в эру премодекна премиальная стоимость извлекается из силового капитала, поэтому всеобщей ролевой моделью выступает социальное устройство, к которому тяготеют субконтинентальные кочевники, – оно основано на ценностях патернализма. В эру модерна преимущество получает финансовый капитал, соответственно социальная модель морских кочевников, – она основана на ценностях конкуренции, индивидуализма. Наконец, в эру постмодерна преимущество основано на человеческом капитале, что делает всеобщим образцом для следования социальное устройство городского метаархетипа, – оно зиждется на ценностях солидарности. В этой связи, например, отставание зрелой цивилизации субконтинентальных кочевников от прочих в эпоху премодекна не является заметным, в то время как при переходе к модерну становится экзистенциальным. Аналогично, общности с разнообразными трансформационными дефектами, не сформировавшие универсальные экосистемы знаний, но успешно развивавшиеся в индустриальную эпоху на основе заимствования технологий и образцов, выпадают из глобальных трендов развития позже, при переходе к постиндустриальному укладу. Вместе с тем, преимущества когнитивного аппарата каждого метаархетипа раскрываются в обратной последовательности, которая соответствует очередности их приобщения к распространению и развитию знания на основе достижений предшествующих (см. выше). Если в доиндустриальную и раннюю индустриальную эпоху знание является уделом городского метаархетипа, то в дальнейшем успех его миссии непосредственно обусловлен альянсом с морским кочевником – не только как предпринимателем, управленцем и продавцом, но и как фасилитатором трансфера культур и знаний, в т.ч. в ипостаси междисциплинарного исследователя. Однако, по мере перехода к постиндустриальному укладу и утверждения такового, когнитивный аппарат нижних сословий степных кочевников обнаруживает свое преимущество перед другими по скорости развития знания и его универсальности, эффективности прорывных решений.

Логично предположить спиралевидный характер поступательного трансформационного движения, при этом переход от экономики знаний к более высокой разновидности архаического сообщества может быть вызван качественным технологическим скачком, опережающим абсорбирующий потенциал социальной организации или средний уровень активации способностей человеческого мозга. Например, такой эффект могут спровоцировать технологии, устраняющие выбор (в самом широком смысле – бытовом и социальном) из жизни индивида либо делающие таковой предсказуемым, т.е. практически детерминированным для владельца технологии, которому это открывает преимущества центра силы. В общем случае утрата одним субъектом непредсказуемости для второго – при отсутствии у первого возможности поменять последнего на отличающегося по «информированности», – тождественна утрате первым субъектности, по меньшей мере, применительно к классу решений, ставших для второго детерминированными. Если решения этого класса являются витальными, неизбежными и связаны с движением стоимости, такая утрата в известном смысле содержит для первого признаки перехода на положение «собственности» второго. В рассматриваемом контексте это касается виртуальной личности первого, однако в цифровую эру виртуальная субъектность индивида может в значительной степени тяготеть ко всей полноте его социальной (не приватной) субъектности, в особенности применительно к участию в обыденном хозяйственном обороте. Кроме того, очередной архаический виток может быть вызван таким снижением потребности в человеческих ресурсах, что слой

«лишних» людей станет определять облик человеческого капитала, либо такой скоростью перемен, что большинство индивидов не смогут к ним адаптироваться, поэтому новое неравенство и социальные барьеры будут связаны с уровнем овладения технологиями. Вместе с тем, экономика знаний приводит в движение и фундаментальные факторы, выступающие «блокаторами» архаизации. Во-первых, снижение роли физической силы в обеспечении достатка и безопасности практически элиминируют иерархию в семейных отношениях, – тем самым происходит эрозия самого механизма воспроизводства архаической матрицы. Во-вторых, в информационную эпоху защитой индивидуальной субъектности становится ограниченность такого ресурса, как внимание, – именно к нему апеллирует вся информация, прежде всего, коммерчески значимая, опосредующая практически весь хозяйственный оборот. При этом ресурсы времени сложнее всего поддаются управлению, – отсюда неизбежность перераспределения в пользу гражданина общественной стоимости, что влечет и повышение притязаний на политическое участие.

* * *

В ходе социальной эволюции смещается точка концентрации *человеческой (в т.ч. научной) мысли* в попытке познать мир и отраслевая структура самого знания. В эпоху премодерна знание является преимущественно созерцательным и редко вовлечено в создание ценности, его носители имеют либо иные источники доходов, либо находятся в услужении у обладателей силы, при этом инженерная мысль бытует скорее в связке с искусством (через зодчество), чем с наукой. Стержневым предметом познания, определяющим ту или иную систему взглядов, выступает источник сущего, сверхъестественный либо в виде некоей праматерии, при этом в рамках одной системы взглядов области человеческой мысли бытуют в тесном переплетении и даже нераздельности, как правило, в рамках светской или религиозной философии. Представления о человеке и обществе скорее являются производными от религиозного догмата, в то время как научное мировоззрение больше «допускается» в область исследования неживой природы. Вершинами этого модуса бытования знания можно считать эпохи Античности и наследующего ей Ренессанса. В эпоху модерна знание и его носители вовлекаются в хозяйственный оборот на службе у капитала, что требует конкретизации, детализации такового. Области знаний разделяются, предметами познания выступают целостные явления окружающего мира, религия обособляется от противостоящего ей светского знания, включая философию, – в этом плане отправной точкой модерна можно считать Просвещение. В эпоху постмодерна целью исследования становится непрерывное деконструирование объекта – будь то физический мир или общество – до «микрочастицы», а в рамках описания этой «частицы» дисциплинарные границы вновь стираются. В отличие от Античности, здесь «микрочастица» полагается не только элементом, но и подобием сколь угодно обширного, отвлеченного, «космического», адекватно отражающим макроявления и позволяющим наиболее эффективно «проектировать» макропроцессы. В рамках этой системы взглядов религиозные учения также начинают полагать человека «подобием» всего остального мира – физического и сверхъестественного – вместе взятого, вбирающего все его существенные черты, а потому самоценным в той же мере, что сакральное. На почве этого подхода светская и религиозная системы взглядов вновь постепенно преодолевают антагонистическое противоречие. Наконец, фокусом исследования окончательно становится человек, который выступает предметом как прикладного, необходимого для повышения качества жизни, так и отвлеченного, абстрактного знания. Даже накопленные о неживой природе сведения востребованы постольку, поскольку элементы таковой являются частью человеческого организма или влияют на него извне.

Необходимо отметить, что развитие научной мысли подчиняется закономерностям развития вообще: поступательное развитие основывается на прежних достижениях и апеллирует к ним в качестве

источника легитимности – пусть и путем отрицания. В то же время, накопление наблюдений и опытов периодически вызывает скачкообразное расширение рамок познания, которое манифестируется появлением новой аксиоматики. Это нарушает научную преемственность в ее буквальном понимании и требует апелляции непосредственно к существу изучаемого предмета (природы, общества и т.п.) в целях легитимации, – соответственно всеобщее принятие новой системы взглядов требует обновления научной генерации. В этой связи примечательно, что приоритет количественного исследования перед качественным обязан именно индустриальной формации, когда доступность капитала выступала основным ограничением, соответственно финансовая отдача – универсальным критерием успеха, одновременно количественные характеристики в принципе стали общепринятым «языком» научной аргументации. В силу капиталоемкости этого уклада, необходимость централизованного планирования размещения ресурсов была объективным приложением к потребности в концентрации ресурсов. На излете индустриальной эпохи статистический анализ массивов данных превратился в универсальный метод эмпирического и прогностического исследования – в сфере как естественных, так и социальных и даже гуманитарных наук. Однако уже по мере ускорения перемен в образе жизни человека и общества область применения этого приема в социальных науках, вероятно, сузится до экспресс-анализа, предварительного и ретроспективного анализа, а также прогнозирования примитивного поведения: в силу своей природы он позволяет улавливать качественное изменение лишь постфактум, – когда тенденция набрала значительное ускорение и широко представлена в совокупности. В то же время, изменение зарождается в составе генеральной совокупности не как статистически значимое, а в качестве аномалии, при этом анализ данных не позволяет достоверно установить, является ли такая аномалия прогностически значимой или подлежит игнорированию наряду с прочими.

Следует различать отрасли знаний с точки зрения корректности экстраполяции количественных закономерностей, относящихся к прошлому. Наиболее обширной, поддающейся буквальному применению область такой экстраполяции является для неорганического вещества, – здесь допустимо не возвращаться к физическим тестам вновь, если закономерность описана математически, а достоверность такого описания сомнений не вызывает. Уже применительно к биологическому материалу свои ограничения на применимость статистических методов накладывают мутации, характерные для предмета исследования, – это требует периодического обновления знаний о физической природе такового. Иначе обстоит дело с применимостью статистических методов к таким системам, участники которых проявляют себя как сознательные существа, – и прежде всего к антропогенным. Биологические виды – в особенности человек – обладают чрезвычайной адаптивностью и постоянно находятся в поиске лучших решений – будь то прежней задачи или методом изменения самой задачи. В математических терминах и функциональная зависимость, и даже сам набор переменных находятся в перманентном движении, – и методом количественного анализа характер этих изменений может быть выявлен лишь ретроспективно. Это ограничивает горизонт продуктивности и сложность области статистического прогнозирования, более того, они убывают с нарастанием скорости изменений в природе и обществе – способе производства и структуре социума, характере социальных связей – т.е. во всей совокупности экстерналичных факторов. Из числа социальных явлений использование исследований на данных наиболее продуктивно применительно к демографическим процессам, обладающим высокой инерционностью. В то же время, возможность сущностного экономического прогнозирования количественными методами – в особенности на основе публичных данных – крайне ограничена, поэтому результаты таковых часто сводятся к воспроизводству банальных утверждений, граничащих с бытовыми, обывательскими рассуждениями.

Еще одним ключевым различием природных и социальных явлений выступают период и уровень погрешности отклика системы на вмешательство, воздействие. Так, в первом случае количественная рассчитанность воздействия и есть предпосылка получения искомого результата, – в то время как неточность приводит к качественному отклонению от такового. Во втором, напротив, воздействие приводит в действие то или иное количество сознательных существ, – так что его результат не может быть рассчитан с точностью, а степень погрешности чрезвычайно велика. При этом точность и не является необходимой: инерционность социальных процессов позволяет скорректировать интенсивность воздействия по мере выявления результатов такового. Однако в силу указанной инерционности критически важна качественная корректность воздействия (примеры – национализировать или приватизировать, всеобщая или пользовательская медицина и т.п.),

которая предшествует количественной, вопросу об интенсивности воздействия, – т.е. именно от первой зависит продуктивность отклика системы на воздействие как таковое. Справедливо утверждать, что в социальных системах признаком корректного решения является его высокий запас прочности – даже при чрезвычайно высоком отклонении фактических количественных параметров ожидаемого результата от плановых. Отсюда, как правило, жизнеспособность предложения становится очевидной сразу при возгласении – еще до количественного анализа его последствий. Наиболее важным индикатором качества и своевременности предложения выступает реакция на него ключевых акторов, – она выдает степень их готовности способствовать или, напротив, препятствовать реализации мер. В этой связи, значение имеют не публичные декларации таких акторов, а «направление их мысли», – как именно они намерены использовать новшество в своих интересах, соответственно насколько это соответствует общим интересам. Эффект их содействия, противодействия или смещения направленности действия, равнодействующая указанных реакций и составляют существо того комплекса факторов, которые не поддаются количественной оценке при разумных усилиях. Вместе с тем, они открыты для качественного анализа, который, однако, не может быть проведен при помощи публичных данных, без глубокого понимания экономики актуального способа производства и его социальных последствий.

В свете этого аспекта социальной эволюции также показательна трансформация *модуса идеологического противостояния* в обществе, динамика *соотношения разрешенного и запрещенного*. В эпоху премодеерна практически любая система взглядов подразумевает себя единственно истинной, а к прочим относится нетерпимо как требующим тотального искоренения, вплоть до уничтожения ее носителей, не изменивших своих взглядов. В силу способа производства по принципу «нулевой суммы» поиск нового полагается бессмысленным и даже вредным, а цена ошибки чрезмерной. Индивид находится на положении инфанта, который не в состоянии отвечать за последствия собственных поступков, область запрещенного является практически фронтальной, распространена практика и институты «догляда». Любое действие нуждается в одобрении старшего по положению и возрасту, который фактически распоряжается остальными как объектами собственности – на основании права или этики. В эпоху модерна появление новых ценностей становится способом прирастить богатство, а цена ошибки имеет стоимостное выражение, поэтому риск в разумном соотношении с ожидаемой отдачей обществом поощряется. Индивид полагается достаточно зрелым, чтобы нести полноценную ответственность за последствия, вмешательство в личный суверенитет воспринимается болезненно. Соответственно нормальным модусом взаимоотношений между различными системами взглядов становится противоборство и сравнительная толерантность друг к другу. В то же время постмодерн скорее поощряет не противоборство, а конвергенцию различных систем взглядов, более того, допускает, что в конечном итоге результаты их воплощения идентичны. Высвобождая ресурсы, эта формация поощряет ускоренный поиск нового в любой форме, поскольку цена ошибки и бремя ответственности пренебрежимо низки, – т.е. положение индивида вновь сближается с характерным для ребенка, однако не наказываемого, а поощряемого за любознательность. В этом смысле информационная прозрачность жизни не рассматривается не столько как покушение на личный суверенитет, сколько как возможность прилечь для решения собственных задач помощь коллективного разума. Таким образом, абсолютный примат объективной истины является нормальным лишь для периода премодеерна, для социума эпохи модерна характерна ведущая роль субъективного по сравнению с объективным – хотя в периоды социальных катаклизмов, которыми богата эта эпоха, противоборство отдельных идеологий становится антагонистическим, т.е. фактически каждая претендует на обладание объективной истиной. В рамках постмодернистской парадигмы вопрос об объективной истине практически не поднимается, хотя по сути подразумевается, что различные системы взглядов взаимно не противоречивы, таким образом в совокупности и представляют объективную истину. В этом плане примечателен сравнительно примирительный характер межконфессиональных отношений в постмодернистском обществе. С другой стороны, эта особенность постмодерна уязвима для злоупотреблений с целью заведомой дезинформации, немедленному разоблачению которой может препятствовать не только скудость, но и пестрота информационного потока.

Модус обращения информации в эру преמודерна, которую характеризует примат безопасности по сравнению с развитием, предполагает информационную асимметрию – прежде всего в интересах сильного, выступающего критерием (но далеко не эталоном) правды. В силу низкого уровня развития транспортных средств, люди вынуждены бытовать на короткой дистанции, которая выступает нормой хозяйственного и социального оборота этого времени, при этом с точки зрения приоритетов эпохи рассматривается как источник опасности и одновременно основа консолидации против таковой. Отсюда склонность целенаправленно дезинформировать, тем самым создавая условия для вторичного, неумышленного оборота искаженной информации. Информационная картина консолидируется лишь на уровне сакрального – как правило, догматического, религиозного. Для человека преמודерна (в т.ч. в современных общностях преמודерна), как правило, характерен комплекс дефицита легитимности, – он восполняется вниманием к родословной, реальной или вымышленной, претензией на причастность к сокровенному знанию, окруженному ритуалом, языком условностей. В этой связи, жреческая каста выступает неотъемлемой частью элиты, – однако и ремесленные сообщества напоминают ордена, созданные вокруг тайн профессии.

В эру модерна интенсифицируется оборот товаров, капитала и рабочей силы, рынки становятся глобальными, – так что информационная симметрия становится ключевым атрибутом времени и императивом способа производства. Получают распространение печать, развиваются средства связи, при этом расширяется область длинной дистанции, прежде всего за счет индустриальных городов, а также новых стран, вовлеченных в глобальные хозяйственные цепочки. Длинная дистанция становится нормой общественной жизни, оборота товаров, рабочей силы и капиталов, – т.е. участники отношений, как правило, не знакомы лично до вступления в них и остаются мало знакомы в ходе таковых, – что вызывает спрос на институты организации транзакционного взаимодействия, страхования рисков и независимой оценки с сопутствующими издержками. Важным требованием к обращаемой информации выступает верификация – будь то экспертная или цензурная, – так что в публичном пространстве в каждый момент времени и точке пространства доминирует более или менее консолидированная картина. Примечательно, что на протяжении всей истории человечества вплоть до позднего модерна – примерно до мировых войн XX века – способ распространения гуманитарной культуры и искусства апеллирует к архетипу «апостольского послания», односторонней передачи откровения от избранных, чей дар имеет мистическое происхождение, к массам – однако лишь через посредство признания «жреческой кастой», соответствующим сегментом академического сообщества. Лишь в послевоенный период, в условиях всеобщего роста доступности общественных благ и глобализации, культура становится доступной массовому потребителю и начинает следовать в фарватере его вкусов, перестает быть элитарной. Вместе с тем, эра модерна не является формацией равных возможностей и открытого доступа в полной мере, поэтому потребность в собственной легитимации у элит сохраняется, – отсюда появляются новые квазидуховные практики «достижения успеха», «личностного роста» и т.п., со своим языком условностей и «обрядов».

Наконец, в эру постмодерна с ее технологиями социальной коммуникации источником информации и образцов становится любой индивид, – отсюда достоверная и недостоверная информация соседствуют практически на равных правах. В этих условиях индивид или сколь угодно малое сообщество формирует информационный, ценностный и эстетический фон самостоятельно, а статусом истины наделяется внутреннее убеждение, фактически устраивающая версия, – что открывает практически неограниченные возможности для злоупотреблений. Более того, информационный фон более не требует консолидации в силу того, что фрагментируются – становятся локальными или нишевыми – основные рынки и общности. Это вызывает запрос на центр верификации информации, фактически управления ею, – и такое положение потенциально в состоянии наделить соответствующего актора функцией реальной власти. С другой стороны, дефицитным ресурсом в таких условиях становится

внимание индивида, который тем самым обретает некоторую степень защиты от всевластия агрегаторов информации. Физическая, пространственная дистанция перестает непременно транслироваться в социальную и на равных соперничает с дистанцией виртуальной коммуникации, – тем самым короткая дистанция, независимо от технического способа организации связей, вновь становится нормой социального и хозяйственного оборота.

Рождение детей в эпоху преמודерна подчинено не только обеспечению общности живой силой, но и логике дожития до возраста старости родителей. В свете этого высокая детская смертность и в целом низкая продолжительность жизни диктуют высокий уровень рождаемости, низкий возраст вступления в брак и рождения детей, что сопровождается жестким преследованием внебрачных половых связей. Отсюда перекосящая возрастная структура популяции в сторону молодых, низкий уровень доступности знания, склонность решать задачи силой, отсутствие стимулов к повышению производительности труда. Сила является ключевым фактором извлечения стоимости, *граница домовладения* совпадает с периметром влияния силового ресурса – в городе он фиксируется городской стеной, за городом крепостью или замком, домочадцами которых выступают закрепленные – если не в формальной крепостной зависимости, то в фактической, от перераспределения. Территория определяется как священная, – этот статус цементируется системой религиозных догм, ритуалом почитания предков и т.п. В целом, для человека доиндустриальной эпохи безопасность имеет приоритет по сравнению с торговлей, поскольку способ производства примитивен и не позволяет создавать критической массы ценностей для обмена. В этой связи, практика огораживания в любую эпоху выступает достоверным внешним признаком актуальности всего комплекса общественных отношений преמודерна. Этот тезис коррелирует и с тем, что в общностях, сформировавшихся в условиях географической или устойчивой социальной изоляции, такая формация является крайне затяжной и труднопреодолимой. К ареалу пенетрации патримониального силового ресурса, т.е. к периметру родоплеменной общности, тяготеет представление о *периметре семьи и личном пространстве*, при этом межсословные отношения носят патерналистский характер, т.е. напоминают отношения в патриархальной семье. Принадлежность к родоплеменной общности, соответственно право на долю в распределении, конституируется военной службой и/или тяжелым физическим трудом, что предопределяет безусловное доминирование мужчины в социальной жизни и ограничение ареала обитания женщины домовладением, в некотором роде ее положение как собственности мужчины. К этой системе архетипических представлений, которая полагает идентификацию человека коллективной, родовой, восходит и практически всеобщее представление формаций преמודерна о том, что покоренная общность подлежит физическому уничтожению (чаще мужчины, воины племени) и/или обращению в рабство (чаще женщины, которые в этих формациях в любом случае фактически находятся на положении объектов собственности), – и прежде всего это касается покоренного города, т.е. огороженного общественного владения. Однако у низовых слоев степных кочевников, прежде всего в России, как правило, ни один из видов физического труда не может на должном уровне обеспечить благосостояние семьи, поэтому оно во многом определяется умением женщины оптимизировать хозяйство, так что многие семьи имеют существенные признаки матриархальных, а мужчины предпочитают проводить досуг вне семьи, склонны к праздности (см. ранее). В этой связи, структура семьи «низовых» степных кочевников закладывает открытость к модернизационному воздействию извне.

Право на представительство (фактически сословное делегирование) и безусловная *политическая субъектность* связаны с правом на ношение оружия, военной службой, а также ролью в обеспечении военных и прочих патримониальных нужд. *Государство* де-факто является собственностью частных лиц – одного или узкого круга, которому нужны механизмы согласования интересов: они в личном качестве выступают бенефициарами прибавочной стоимости и в таком же качестве несут бремя общественных нужд, лишь разграничивая между собой сферы интересов и ответственности, а также вырабатывая общую

линию действий. Место частной (жилье) и общественной (трудовой, публичной, военной) жизни индивида, как правило, совпадает, будь то у верхних (скажем, дворец), средних (скажем, дом-мастерская) или нижних (дом у обрабатываемого поля или дом хозяина для раба, крепостного) сословий. Тожественны частная и публичная субъектность (в современном понимании физическое и юридическое лицо), субъект управления и собственности совмещается в одном лице. Более того, трудовой коллектив и семья, насколько возможно, совпадают по составу, а род занятий наследуется так же, как социальный статус и имущество. Человек эпохи преמודерна довольно пренебрежительно относится к своей и чужой собственности, если не является субъектом патримониальной силы, поскольку большинство само формально или фактически находится на положении объектов собственности, а имущество может быть изъято силой и часто имеет формальные или фактические признаки предметов временного пользования. Элементы жизненного уровня в сословном обществе закреплены в зависимости от положения в социальной иерархии и служат знаком внешнего отличия, в частности, прямому регулированию нередко подлежит одежда, необычайно широко распространена униформа и пр. При этом в современных формациях преמודерна формальные запреты такого рода чаще всего отменены, поэтому необычайно широкое распространение получают демонстративное потребление, самочинные знаки отличия и паравоенная геральдика: этим индивид пытается создать впечатление принадлежности к силовой корпорации или просто более высокому, чем на самом деле, сословию, по возможности получить какие-то привилегии «лжестатуса». Система демонстративных маркеров рода, дома непосредственным образом отражает образ жизни преמודерна, – она призвана отражать силовую доблесть и досуговые возможности, притом подчеркивать их недоступность другим. В этой связи, общество исповедует многочисленные и глубоко проработанные кодексы чести гильдий и сословий, которые преимущественно строятся вокруг понятий о применении силы или реагировании на таковую. Вместе с тем, привилегированный класс чтит отвлеченные науки и искусства в качестве способа отличия, – отсюда человек знания в полной мере зависит от сословия, легитимность которого основана на праве силы.

В эпоху модерна сама безопасность зависит от способности генерировать капитал в торговле, поскольку стремительное технологическое развитие, в т.ч. в области вооружений, требует ресурсов и компетенций. По мере нарастания капиталоемкости индустриальной экономики все больше дистанцируются друг от друга функции собственности и управления. Институционализация приобретает фронтальный характер, что является отражением концентрации ресурсов: полномочия по распоряжению таковыми переходят от частных лиц к различного рода учреждениям, управляемым в соответствии с процедурой. Отсюда актуальной становится повестка дня сменяемости распорядителей таких полномочий, будь то в публичном или корпоративном управлении, так что формальные институты, учреждения переживают своих основателей и управляющих. Человек знания не в состоянии извлечь выгоду из продуктов своего труда, поскольку их внедрение требует значительных ресурсов, – в этой связи он вынужден подчинять свою индивидуальность рутинному регламенту, регулиющему действия людей стандартной квалификации. Частная и публичная субъектности индивида разделяются и разносятся в пространстве, город во многом из оседлой слободы превращается в сеть магистралей по доставке рабочей силы от места жительства к месту работы – т.е. точке концентрации определенных ресурсов – и обратно. Это означает, что социализация индивида довольно существенным образом привязана к узкому кругу домочадцев, что повышает цену ошибки в выборе партнера, – отсюда склонность затягивать с решением о заключении брачного союза, а также сравнительно высокая частота расторжения таких союзов.

Стремление к стяжанию собственности, которая может сохранять и увеличивать стоимость, проявляется у всех сословий. Так, индикатором сегрегации на основе престижности и стоимости проживания часто становится стоимость земли под строением в расчете на одного проживающего, – как

правило, жилье для более состоятельных людей имеет малую этажность, обширную площадь помещений и наоборот. Все другие элементы жизненного уровня в буржуазном обществе также отражают уровень имущественной состоятельности, поэтому составляющие личное имущество изделия имеют либо выражено типовой, либо демонстративно эксклюзивный вид. Стремление к кичу здесь имеет целью продемонстрировать себя в качестве контрагента, на которого можно принять большой объем финансово значимого риска, чем это рационально. Образ жизни успешного индивида характеризует транзакционная активность – плотность отношений, в которых он выступает объектом и субъектом доверия, принятия риска, поэтому основную часть времени он посвящает обретению и упрочению такого статуса, т.е. работе. Для человека эпохи модерна – в отличие от предшествующей и последующей – характерно экономическое мышление, т.е. основными ограничителями и мотиваторами для него выступают соображения эффективности использования имеющихся материальных ресурсов в прямом понимании. Отсюда система принятия индивидуальных и коллективных решений становится количественно, а не качественно мотивированной. Соображения эффективности занимают мысли человека применительно к любым сторонам жизнедеятельности и практически утрачивают связь с собственным предназначением в качестве средства высвобождения времени: на деле таким способом индивид демонстрирует свое соответствие общественно разделяемому стереотипу кредитоспособного участника хозяйственного оборота. Более того, этот стереотип включает также низкий располагаемый запас свободного времени – независимо от продуктивности использования времени. Периметр доверия, кооперации, коллективного действия у индивида прежде всего связан с местом работы, работодатель выступает соучастником создания необходимых для развития человеческого капитала благ.

Снижается уровень смертности и рождаемости, соответственно темп прироста населения, в то же время способ производства диктует расширение спроса на трудовые ресурсы как по количественным, так и по качественным параметрам. Повышается возраст вступления в брак и рождения детей, внебрачные связи перестают быть наказуемыми фактически, распространяется практика контроля зачатия, планирование семьи подчинено примату обеспечения материального достатка в настоящем и в будущем. Периметр семьи сужается, в пределе до одного (как правило, мужчины) или двух зарабатывающих супругов и их иждивенцев, которые покидают семью, как только обретают собственный источник доходов. Кроме того, длительное вынужденное иждивение обеспечивается за счет общественных фондов. Отношения наследования собственности выступают заметным фактором, явно или латентно скрепляющим отношения различных поколений семьи. Право на представительство в период раннего модерна в основном связано с имущественной состоятельностью, что отражается в системе имущественных цензов. Государство в конечном итоге является выразителем интересов капитала, однако наделено самостоятельной институциональной субъектностью – контролирует военную силу и институты легитимного принуждения, а также осуществляет приобретение в интересах общества иных благ, предусмотренных актуальным общественным договором. Однако в зрелую индустриальную эпоху, в результате первой и особенно второй мировой войны, труд становится полноценным социальным партнером капитала, – и лишь тогда представительство посредством избирательного права становится всеобщим, при этом палитра политических спектров обретает лево-правый дизайн. Социальная эстетика модерна также опирается на индустриальный образец, – появляется концепт типовой застройки, имена собственные заменяются на номерные (например, у учреждений, районов города) и т.п.

Наконец, в постиндустриальный период, в условиях преобладания интеллектуального труда и распределенного производства с низким входным барьером, частная и публичная субъектности индивида вновь начинают тяготеть к совмещению в социальном смысле и физическом пространстве. Точки создания ценности все больше возникают и исчезают в связи со своими создателями, несут отпечатки их индивидуальности, которая избавлена от необходимости подчиняться организационному шаблону. Совмещенным вновь становится также субъект собственности и управления, поскольку капитал

утрачивает значение ключевого фактора производства, в то время как в этом качестве утверждается отличительное знание, – отсюда размываются границы между работником и работодателем, трудом и капиталом. Функции государства постепенно сужаются, переходят к разнообразным профессиональным провайдерам услуг, которых в случае необходимости можно сменить на других, оставшиеся полномочия локализируются по месту проживания населения, что открывает последнему возможность прямого и оперативного участия в принятии заметных решений. Все это в совокупности снижает нагрузку на власть и в целом управление любого рода, а соответственно и актуальность сменяемости должностных лиц: мотивом обновления таковых – по известной аналогии с нормой публичной жизни премодерна – будет служить поочередное несение членами коллектива обременительной повинности, скорее чем опасение концентрации ресурсов и полномочий. С другой стороны, по мере вступления экономики знаний в свои права, разумно предположить возвращение дифференциации политического представительства в какой-либо форме – на этот раз на основе отличительного вклада в общественное благо и уровня приобщения к знанию. Вероятно, безусловная политическая субъектность перейдет к площадкам создания, сбора, обработки и обращения информации как ключевого ресурса этого уклада – таким как города, университеты, цифровые корпорации, корпорации-интеграторы искусственного и биологического интеллекта.

В быту можно ожидать вытеснения функции социализации – например, в лице домашней гостиной, столовой, рабочей зоны, детской – в общественное пространство, «обслуживающее» ряд домовладений, и закрепления в частном пространстве лишь неотчуждаемых элементов приватности. Тем самым периметр доверия, солидарности и создания общественного блага привязан к месту жительства индивида, где формируется наиболее прочная «социально неделимая» общность. Таким образом, в условиях, когда обмен информацией становится ключевым фактором формирования круга как личного, так и делового общения, границы семьи вновь расширяются, однако на сугубо добровольной основе общих интересов. Отсюда вступление в брак не означает сужения периметра плотных, повседневных социальных связей до полового партнера, – так что индивид не откладывает заключение семейного союза из-за высокой цены ошибки, а прочность самих союзов повышается. В силу практически полного вытеснения физической силы из хозяйственного оборота и военной службы, мужчина и женщина с точки зрения распределения социальных ролей становятся неотличимы в семье и обществе. Снижается и возраст рождения детей, поскольку родители схожи с детьми по уровню самостоятельности и ответственности, при этом стремятся к горизонтальным, тесным и продолжительным отношениям с ними, в т.ч. на основе схожести образа жизни и круга интересов. На фоне беспрецедентного увеличения продолжительности жизни планирование семьи и этика половых отношений, включая контроль зачатия, всецело подчинены соображениям качества жизни потомства, – однако в условиях достатка это не означает обязательного дальнейшего снижения уровня рождаемости. Отсюда роль знания в решении личных и общественных задач становится определяющей, а базовой ячейкой воспроизводства такового становится семья. Основное внимание и время занимает собственно человек в различном возрасте – воспитание детей, «изобретение» себя вновь взрослым индивидом, передача опыта и совместное времяпровождение разных поколений, т.е. те аспекты жизнедеятельности, которые ранее относились к приватным, теперь же они лидируют среди общественно полезных и даже становятся возмездными. Концепт пользования начинает превалировать над концептом владения, поскольку индивиды более всего ценят возможность свободного обмена идеями и часто меняют место жительства, соответственно «семью», не утрачивая связь с «прежней». Стоимость жизни снижается, а крупные объекты собственности часто поступают в общественное пользование в силу избыточной дороговизны содержания. Пользование благами становится доступно многим, а демонстративная стратификация рассматривается скорее как антисоциальная, поэтому предметы личного имущества имеют «авторский» дизайн, демонстрирующий скорее вкус, чем стоимость, в целом образ жизни и поведения транслирует

модус открытого доступа, безбарьерной среды. Среди прочего, это демократизирует производство и экспозицию эстетических ценностей: они перестают быть уделом культурных институций с ограниченной мощностью, становятся доступны распределенным домовладениям и небольшим поселениям, где также возрастает их оборачиваемость, – отсюда творческие профессии становятся массово востребованы.

Показательно, какие *политико-идеологические течения и традиции представительства* в разное время выступали опорой модернизационных процессов и, напротив, оппонировали им. В эпоху премодерна полноценной субъектностью обладают не какие-либо массовые классы, а ресурсно-силовые кланы – одна или несколько групп, имеющих более или менее сопоставимые возможности и однотипные, но противоречащие друг другу интересы. Отсюда даже в условиях полицентрической конфигурации таких кланов на полноценное представительство своих интересов может рассчитывать лишь очень ограниченное число субъектов, предпочитающих согласовывать свои интересы келейно и в качестве решающих аргументов прибегающих к применению силы или угрозе силой, – в этой связи, государство здесь обладает ограниченной функциональностью. Таким образом, публичная политика в этот период достаточно ущербна, – невзирая на то, что многие образцы современных формальных институтов восходят к образцам Античности, по умолчанию они предназначались для равных. Вместе с тем, в условиях гетерогенной «кормовой базы» возникает конкуренция ресурсно-силовых кланов и образуется некоторая основа для публичных институтов: привлечение симпатий «плебса» служит вполне силовым инструментом в борьбе равных. Это вносит некоторое разнообразие в политический процесс и создает основу для развития института представительства, где в качестве фракций выступают делегаты кланов, – даже если в популистских целях они рекрутированы из средних сословий. Иначе обстоит дело при силовой монополии, где силовой субъект совпадает с субъектом исполнительной власти: ядро популяции здесь в любом случае ведет себя как изолированная общность – архаическое сообщество короткой дистанции, – поэтому истинной властью обладает та или иная разновидность узкого либо расширенного семейного совета, совета старейшин, военного совета («круглого стола рыцарей») и т.п. Любой публичный орган представительства в этих условиях принимает характер совещательного и служит способом канализировать поток «прошений на высочайшее имя» для допущенных – например, образованного класса, купцов и т.п. Наконец, одна и та же общность премодерна может переходить из моноцентрического состояния в полицентрическое и обратно в зависимости от состояния «кормовой базы» (см. ниже), – аналогичным образом изменяется и модус функционирования института представительства.

Полноценная публичная политика в обязательном порядке связана с появлением массовых классов, имеющих не просто схожие интересы, но интересы, которые вытекают из схожего места в цепочке создания ценности, схожих отношений по поводу создания и распределения общественной стоимости с представителями других классов. При этом структура политико-идеологического спектра отражает структуру массовых классов – потому качественно различна в период разложения премодерна и зарождения модерна, в период зрелого модерна и в период разложения модерна. Отсюда соседство течений, соответствующих разным формациям, свидетельствует о незавершенности некоторого этапа обновления способа производства и социальной трансформации, зарождении следующей формации, а также объективных трансформационных дефектах, которые препятствуют абсорбции критической массы трудоспособного населения в рамках нарождающегося способа производства. Так, кризис феодальной системы общественных отношений знаменуется размежеванием между ретроградным самодержавно-монархическим и прогрессивным республиканским течениями. Первое преимущественно представляет интересы землевладельческой знати (в современном премодерне это бенефициары ресурсных промыслов в широком смысле), заинтересованной в сохранении примитивного рентного промысла и экстрактивной системы силового присвоения общественной стоимости. Второе преимущественно опирается на города

и городские сообщества, а также нарождающийся капитал, выступает за самоуправление и различные свободы, экономическую и политическую конкуренцию. Эти же силы обычно выступают и главными сторонниками свободного труда, который сам по себе на данном этапе пока не обладает политической субъектностью из-за преобладания невольничьего труда. Наконец, небольшая прослойка просвещенной знати привержена прогрессивно-аристократической платформе – считает незнатные сословия не готовыми к республике и предпочитает «просвещенную» монархию, подразумевая собственную ведущую роль при таком режиме. В эпоху зрелого модерна происходит размежевание республиканских идеологий на левые и правые – представляющие интересы соответственно труда и капитала как основных факторов индустриального производства. При этом политический спектр может также включать течения, представляющие интересы малых, но заметных групп населения – крестьянства, людей умственного труда и т.п.

Наконец, в условиях снижения капиталоемкости общественного продукта свободный предприниматель и трудящийся становятся единым субъектом. В свете высвобождения трудовых ресурсов из серийного производства линия социального размежевания проходит по принципу включенности в производство общественного продукта (см. выше), – при этом в реальности траектория эволюции представительства может оказаться менее линейной. Во-первых, структура групп интересов на деле может оказаться многополярной – занятые в создании премиальной стоимости за счет разработки; в распределенном низкомаржинальном производстве; в домашнем образовании; незанятые и бездетные потребители, имеющие гражданский доход единственным источником средств. Во-вторых, сам институт представительства тяготеет к прямому участию граждан в местной повестке дня, а эрозия института национального государства одновременно приводит к разложению представительства длинной дистанции и классической партийно-политической структуры. Отсюда некогда республиканские массовые партии все больше выражают интересы уходящих элит, грани между ними стираются, – при этом, напротив, возрастает популярность контрэлитных, радикально-популистских партий, опирающихся на предоставленные самим себе низы, которым не предложен «образ будущего». В рамках этой парадигмы на роль будущего правящего слоя и бенефициара премиальной общественной стоимости выдвигается меньшинство, которому принадлежит интеллектуальное лидерство, в частности, его организованное университетское ядро, – в то время как в предыдущие эпохи оно находилось хоть и в сравнительно привилегированном, но подчиненном положении. Вместе с тем, принципиально изменяется и социальная природа этого слоя: из корпорации закрытого или ограниченного доступа он становится социальной стратой открытого доступа в силу развития самой системы образования и новых технологий распространения знаний.

Можно отчетливо рассмотреть связь идей и сил, представлявших предпринимательство и капитал как основную движущую силу прогресса, с появлением машинного производства, когда именно они приняли на себя миссию фасилитатора межсословной солидарности и зарождения нации. Сама по себе капиталоемкость индустриальной экономики, связанная с высоким барьером входа на рынок и ростом наследственных состояний, способствовала популяризации «ограниченной инклюзивности», которая, тем не менее, представляла собой существенный прогресс в сравнении с феодальной «инклюзивностью для обладателей силы». Вместе с тем, наиболее многочисленную социальную базу право-консервативных течений традиционно составляли мелкие предприниматели в сравнительно примитивных промыслах, наследующих доиндустриальному архетипу ремесленника, лавочника. При этом левые течения опирались на наемных работников крупных производств, как правило, задействованных в более сложных в технологическом отношении цепочках, требовательных к уровню знаний и навыков работника. В этой связи, уже начиная с французского Просвещения, постепенно начинает набирать силу повестка дня равных стартовых возможностей и открытости доступа, которая на протяжении XX века практически доминирует, вплоть до наиболее влиятельных течений в общественной мысли и искусстве.

По мере становления экономики знаний, снижения капиталоемкости производства и барьера входа на рынок, обращение к правой идее, примату конкурентных начал, становится все более редким – независимо

от идеологической маркировки правящих партий, – приобретает консервативное, ретроградное звучание, оттесняется ценностью солидарности и общественного блага, всеобщим доступом к образованию и прочим услугам, критичным для качества человеческого капитала. Само создание общественного блага перестает ассоциироваться с государством как единственным центром кооперации и перераспределения ресурсов, в связи с чем левая идеология перерождается и обращается к необходимости ослабления государства в пользу площадок общественной самоорганизации. «Государству всеобщего благоденствия» не было альтернативы в качестве такого центра именно по причине капиталоемкости самого блага, в то время как при переходе к экономике знаний таких центров может быть сколь угодно много – от местного самоуправления до некоммерческого сектора. В то же время, крупное и мелкое производство меняются местами с точки зрения сложности труда и критичности знаний – отличительная ценность производится в распределенном секторе экономики, претендующем на премиальную стоимость, а стандартная в концентрированном. Эта совокупность факторов приводит к эрозии традиционной «лево-правой» модели политической системы модерна: с позиции постмодерна ортодоксальные версии обеих политико-идеологических платформ в равной степени обнаруживают как архаические, так и модернистские элементы.

Крайне примечательно, что левая идеология практически повсеместно – в т.ч. в России – пользуется популярностью в общностях с совершенно полярными ценностным установками – пост- и доиндустриального типов, – для которых характерна ее взаимоисключающая трактовка. В наиболее модернистской научной и культурной среде, являющейся ключевым элементом экономики знаний, она ассоциируется с кооперацией граждан и недискриминационным доступом к возможности создавать ценность, а в наиболее архаичной, готовой ввернуть себя попечению обладателя силы, – с патернализмом «феодалного» типа и сословностью. При этом – в отличие от развитых стран – в России, где доиндустриальная эпоха в силу неконкурентоспособности массового производства во многом оказалась пролонгированной, сознание активной части общества по сей день ассоциирует прогресс с правой идеей – капиталом, социальной организацией «ограниченной инклюзивности», высокими входными барьерами, формированием наследственных состояний. С одной стороны, это напоминает общественные настроения эпохи европейских буржуазных революций, с другой – может рассматриваться как «фантомная боль» по конкурентному предпринимателю, который в матрице степного метаархетипа не встречается вовсе. Общественное сознание склонно наделять «сервисного» предпринимателя-посредника, обслуживающего интересы патримониальной власти-собственности, качествами предпринимателя-инвестора морского метаархетипа, принимающего на свой счет предпринимательские риски. Вместе с тем, сама логика течения модернизационных процессов в постиндустриальную эпоху предполагает прогресс лишь путем опережающего, а не догоняющего развития, что делает опорным архетипом человека компетенций, – в то время как ниша «профессионального» предпринимателя-инвестора претерпевает эрозию в свете снижения капиталоемкости общественного продукта.

Некоторая настороженность по отношению к идеологии равных возможностей, открытого доступа, общественной солидарности и общественного блага, естественной для современной экономики знаний, во многом связана с неудачным «левым» советским экспериментом. Его провал во многом обусловлен тем, что, в силу низкой доли промышленности в экономике, слой «лишних» людей с распределительным запросом в начале XX века в России оказался наиболее обширным из всех европейских стран. В этой связи, всеобщее распространение левой идеи именно здесь опиралось на гипертрофированное развитие нерыночного сектора промышленности и радикальный переход к «экономике общественного блага» – преждевременный, на пике капиталоемкости массового производства, в период мировых войн. Это привело к аномальной централизации всех элементов общественной организации и появлению нежизнеспособной социально-экономической модели с запретительными транзакционными издержками, основанной на управлении дефицитом – т.е. на ограниченности доступа, в противоположность первоначальному замыслу. При этом, имплементация элементов «экономики общественного блага» в развитых странах происходила постепенно и без опрокидывающих социальных катаклизмов, посредством естественной эволюции рыночной экономики и, что более важно, своевременно – по мере деконцентрации производства и капитала. По этой причине исторически левая идея, как бы она ни маркировалась, в России бытует как централистская, «феодалная», вокруг государства как основного и всеобъемлющего субъекта воли, в других странах – как солидарная, «социалистическая», где государство мыслится не трансцендентным субъектом, а «кооперативом граждан».

В рамках всех трех формаций *город* является центром концентрации премиальной стоимости – простым экстрактивным путем, через консолидацию потоков расположенными здесь управляющими компаниями корпораций или от создания отличительной ценности в рамках экосистем знаний. Однако

существенно изменяется сам формат города, а также его отношения с окружающим пространством и в целом естественный *предел общности, с которой себя идентифицирует индивид*, – а соответственно органичный для индивидов периметр солидарности и кооперации, прямо зависящий от ареала мобильности и транспортной доступности. В эру преמודерна такой периметр ограничивался пределами «точечного» посада, кочевого племени и/или военного лагеря, совпадавшими с ареалом доминирования одного центра силы, города-крепости в ресурсно-силовом отношении фактически были тождественны государству и оспаривали между собой межеумочные территории. При активизации военных противостояний поместная знать поступала на военную службу, она же становилась служилой аристократией и переезжала в города, в которых процветали необходимые для поддержания их образа жизни промыслы – торговля и ремесла. Местоположение города, как правило, выбиралось исходя из двух довольно противоречивых соображений – защищенности от нападения и удобства для крупного и мелкого обмена товарами, при этом площадки организованной торговли – рынок, купеческая биржа – манифестировали благополучие и составляли неотъемлемую часть центра. Фактически города формируются в качестве вместилища премиальных классов – силовых, состоятельных и образованных, – ощущающих себя единой общностью, расширение поселения часто фиксируется очередным периметром городской стены с заставами, воротами. В то же время, нижние сословия практически не идентифицируют себя как часть одной с жителями городов общности, воспринимают таковые как одну из сущностей с превосходящей и неотвратимой мощью, представлениями о которых изобилует мировоззрение человека преמודерна. Тем самым внутри себя город образует сообщество короткой дистанции, которое от сельского отличается гетерогенностью внутренней среды и человеческого капитала, в то время как по внешнему периметру образует связи длинной дистанции.

С зарождением мануфактурного производства не вовлеченное в него дворянство беднеет и вынуждено продавать свои дома в центре города промысловым и ремесленным буржуа, более того, стремительно богатеющий класс начинает застраивать пространство за периметром городской стены. В других частях города – новых или на месте кварталов бедноты – интенсивно возникают промышленные предприятия. Их потребности в трудовых ресурсах удовлетворяются за счет выходцев из крестьян, волна урбанизации принимает лавинообразный характер, различные сословия впервые оказываются в одном жизненном пространстве и вовлеченными в одни и те же процессы – производство, просвещение, военные действия. Зарождается система всеобщего начального образования, самоидентификация человека расширяется до «воображаемой» общности – нации, населяющей протяженную территорию национального государства, которое становится центром мобилизации ресурсов на площадке столичного города. За пределами центральной части, т.е. на недорогих земельных участках, возникают рабочие кварталы с минимальным уровнем комфортности и совместным проживанием, при этом первоначальный дискомфорт премиальных классов находит выражение в стремлении иметь также и загородное жилье. В городе развивается сфера сравнительно простых услуг, от бытовых до финансовых, обеспечивающая потребности верхних и нижних сословий. Интенсивность потоков рабочей силы приводит к агломерационному слиянию отдельных поселений в мегаполис с гетерогенным рынком труда и предложением всего спектра общественных благ, однако одновременно город обретает ярко выраженную центростремительную структуру. Лишь на самой начальной стадии индустриальной эпохи город этого типа характеризуется плотными связями, типичными для крестьян, однако образ жизни рабочих кварталов и им прививает стремление к личному пространству. В конечном итоге индустриальный город оказывается практически лишен преимуществ короткой дистанции и не опирается на устойчивые сообщества, характеризуется низким уровнем социального капитала, но исключительной глубиной внутреннего рынка. Более того, для сознания вольного крестьянина, ассоциирующего благополучие с физически очерченным наделом, тесная и необустроенная – чаще всего коммунальная – жилая площадь становится маркером социального угнетения, а отделенное от жилья рабочее место и отчуждение от

результатов труда – проекцией крепостной повинности, т.е. вынужденного попятного движения по социальной лестнице.

К концу индустриальной эпохи, в условиях глобализации, мегаполис становится площадкой размещения штаб-квартир транснациональных корпораций и фактически аккумулирует под управлением ресурсы, превышающие возможности государства исходя из его национального продукта. Промышленные предприятия выносятся за пределы городов, часто в третьи страны, рабочие окраины претерпевают редевелопмент в кварталы с высокоэтажной застройкой – деловые и спальные. Социальный лифт «вычерпывает» демографические ресурсы из рабочего класса, однако он замещается слоем урбанистической архаики с частичной занятостью, который прежде всего представляет собой продукт «нового переселения народов» к очагам благополучия, без продуктивных намерений. В этой связи, как благополучные, так и неблагополучные слои испытывают влияние миграционных потоков, самоидентификация индивида в обоих стратах становится космополитичной, глобальной. Часто город этого типа ошибочно классифицируют как постиндустриальный лишь на том основании, что собственно крупные промышленные предприятия покидают его пределы. Однако на деле он выступает площадкой управления продажами промышленных товаров и реинвестирования возникшего капитала посредством финансового сектора в строительство, розничную торговлю и услуги – секторы производства массовых стандартных, типовых ценностей, требующих концентрации капитала и удаленной доставки товара, услуги, но не отличительной экспертизы. Примечательно, что крупные города стран, задержавшихся на стадии премодерна, благодаря дороговизне основных промысловых ресурсов стремятся к роли глобальных центров капитала минуя стадию какого бы то ни было существенного вовлечения в индустриальные технологические цепочки, – однако эта модель обнаруживает дефективность при переходе к постиндустриальному укладу ввиду отсутствия здесь экосистем знаний и одновременном снижении спроса на капитал в глобальной экономике. Аналогичные сложности испытывают города модерна в общностях, развивавшихся в индустриальную эпоху путем заимствования технологий и образцов, но так и не перешедших к собственным опережающим разработкам.

Примечательно, что в фазе транзита через эпоху модерна город выступает основной ареной встречи и сосуществования двух различных социальных норм – короткой и длинной дистанции, – так же как на площадке города сосуществуют функции самоуправления и внешнего управления по отношению к окружающим областям, которые во многом реализуются за счет одной и той же ресурсной базы. Даже города, образовавшиеся как оседлые слободы в эру премодерна, в индустриальную эпоху приобретают черты мегаполисов – центров концентрации ресурсов, где две социальные нормы сосуществуют и диффундируют. В то же время, по мере перехода к постиндустриальной формации даже в тех городах, которые сразу возникли как индустриальные и затем трансформировались в мегаполисы, область длинной дистанции претерпевает эрозию, а социальная среда – локализацию многочисленных общностей короткой дистанции. Вместе с тем, потребность в поле длинной дистанции останется актуальной, пока с модернистскими городскими сообществами короткой дистанции соседствуют архаические: последние предъявляют запрос на обременение первых для перераспределения ресурсов в свою пользу, первые же – на предотвращение посягательств последних на свои имущество и безопасность. Кроме того, в типовом мегаполисе широко представлены бенефициары торгово-финансовых либо административно-силовых рент. В силу этого обстоятельства структура предложения и ценообразования товаров и услуг здесь находится под заметным давлением потребностей кочевого типа – со стороны таких бенефициаров, делового и частного туризма. Эти особенности не слишком комфортны для оседлых сообществ, включая вовлеченные в создание интеллектуального продукта, а также производств с нормальной доходностью, – чтобы пользоваться преимуществами глубоких рынков мегаполиса, они перемещаются ближе к окраине агломерации. В этой связи, указанную формацию можно считать основой новой сословной матрицы, где под покровом благополучия накапливаются тяжелые социальные противоречия: подобно норме

премодерна, сословия образно проживают на разных орбитах концентрических кругов, которыми окружен деловой и административный центр, – более того, они имеют склонность к самовоспроизводству. Несомненно история городов пока не знает примеров фронтальной эгалитарности в структуре застройки, – однако в период активной урбанизации вектор миграции классов указывал на их сближение. Кроме того, для уходящих корнями в премодерн городов эгалитарные профессиональные сообщества являются системообразующими и могут до некоторой степени сдерживать имущественную сегрегацию – равно как и манифестацию таковой, чреватую ее воспроизводством. Такие города обычно расположены в континентальной Европе и с началом Нового времени не могли опираться на ренты морской торговли и финансового сектора, – иначе эти ренты «разъедали» бы оседлые сообщества и превращали города в классические мегаполисы, как, например, в Великобритании.

При переходе к постиндустриальному укладу усложняется технологическая основа сферы услуг и беспрецедентно расширяется производство общественных благ, которые в совокупности и представляют основную часть экономики города. Непродуктивный расход времени на передвижения в физическом пространстве сокращается, в связи с чем город становится полицентрическим по структуре, а наиболее органичным отдельно взятым крупным очагом притяжения, формирующим структуру организации пространства и социализации, выступает университет – формация короткой дистанции. Виртуальные коммуникации практически полностью устраняют географические ограничения расширения реальности, в связи с чем зарождается принципиально новая формация гетерополиса на основе деловой и гуманитарной инфраструктуры одного глобального города, дополненной аналогичными возможностями другого. Таким образом, фактически любой центр образования стоимости или институт – как формализованный, так и в виде кооперационной цепочки – может состоять из рассредоточенных звеньев, что открывает возможность постепенно устранить ограничение по качеству человеческого капитала повсеместно. В условиях снижения капиталоемкости физической инфраструктуры это одновременно означает всеобщее приближение качества городской среды и производимых благ к лучшим образцам в некоторой перспективе. В совокупности с доступностью перемещения по планете, вплоть до смены места жительства, это приводит к явлению, получившему парадоксальное название «глокализации», – совмещению космополитической и локальной самоидентификации.

В ходе смены технологических укладов меняются *экономика товарного производства*, соответствующие ей *предмет конкурентной борьбы и ее методы* – мирные и военные, а также номенклатура видов человеческой деятельности и отраслей, «поглощающих» премиальную часть общественной стоимости. Соответственно такому трехфазному транзиту, изменяется также роль институтов силы, труда и знания в качестве *ведущего социального лифта* – от государственной и военной службы через производство стандартной ценности к университетскому образованию. В доиндустриальную эпоху конкуренция идет за пищу, примитивные природные материалы и трудовые ресурсы по стоимости физического воспроизводства – от простого к расширенному. При этом затраты на труд имеют форму издержек на обеспечение нормативного потребления в натуральном виде, а не оплаты труда как таковой. Земля определяется как священная в том числе как источник пищи, а в силу низкой производительности аграрного производства чужаки обычно поражены в правах доступа к земельным ресурсам. Основным способом обретения таковых является силовой захват территории и порабощение ее населения, что также в основном достигается посредством численности и боевого мастерства живой силы, – отсюда сухопутный театр военных действий является основным. В конечном итоге затраты на силовые возможности выступают ключевой статьей себестоимости товарного производства, – в этой связи, менее развитые цивилизации пользуются преимуществом по сравнению с более развитыми ввиду низкой ценности человеческой жизни, покоряют или подрывают их. Обладание силой становится основанием для титулярного и наследуемого закрепления собственного положения со всеми привилегиями такового – и прежде всего владения землей, которое в сущности тождественно возведению

в достоинство обладателя «доли» страны, понимаемой прежде всего как земля, и власти. Роль такого «воеводы» подразумевает известный силовой и хозяйственный суверенитет в отведенных пределах, т.е. совмещение бенефициарного владения ресурсами своего надела с военными и полицейскими функциями. В этой связи и состоятельные люди мирных промыслов – прежде всего купеческого сословия, заработок которого вторичен и предполагает рискованное кочевание между различными силовыми центрами, – стремятся по возможности конвертировать богатство в такой титул, открывающий возможность осесть и дающий право на указанные привилегии, включая пользование патримониальным силовым ресурсом.

В индустриальной экономике конечной целью конкурентной борьбы выступает возрастание капитала, соответственно обеспечение условий для его притока и генерации. Отсюда неизменной компонентой экономики товарного производства выступает плата провайдеру финансирования за риск в виде дохода инвестора – т.е. предпринимательский доход – и кредитора – т.е. банковский процент или иной фиксированный доход. Конкурентоспособность на этом этапе связана с экономией на масштабе, соответственно постоянным производством излишков по сравнению с локальным спросом, поэтому изначальным бенефициаром этого уклада выступает товаропроводящая деятельность – торговля и логистика. Необходимость обеспечить пути дешевой доставки сырья и сбыта излишков производства, а также предотвратить достижение аналогичных целей конкурентами, сохраняет актуальность военных методов соревнования. При этом на передний план выходит техническая вооруженность воюющей армии, обеспечение которой само по себе выступает важным стимулом развития промышленности. Однако основным фактором военной мощи становится морская составляющая, поскольку именно водные артерии выполняют ключевую роль в мирохозяйственных связях этого времени, а также – в сочетании с авиацией – обеспечивают необходимый уровень мобильности ударных группировок. Отсюда цивилизации, задержавшиеся на доиндустриальной стадии, переходят на положение сателлитов развитых индустриальных держав – сперва в форме прямой оккупации, затем в качестве метропольного источника образцов и вынесенного центра управления капиталом для элит. Издержки на военную организацию как таковые напрямую не входят в себестоимость товарного производства, – однако их финансирование выступает важнейшей целью налогообложения. По мере роста технологической сложности и капиталоемкости общественного продукта, к числу отраслей-лидеров присоединяется деятельность по аккумулярованию накоплений и их инвестированию, прежде всего в основные фонды, – т.е. соответственно инвестиционный финансовый сектор, массовое производство и строительство. В этой связи, важным методом конкурентной борьбы выступает создание таких институциональных условий, которые с учетом совокупности местных особенностей (см. далее) оптимальны для роста внутренних накоплений и/или притока инвестиций извне. Стоимость труда меняется от соответствующей расширенному физическому воспроизводству стандартной рабочей силы до включающей «инвестиционную компоненту» для расширенного воспроизводства человеческого капитала.

Наконец, в постиндустриальную эпоху основным предметом конкуренции выступает качество человеческих ресурсов – собственных и привлеченных, что делает ее главным методом повышения качества институтов общественного блага. Ценность человеческой жизни возрастает, при этом рынки становятся локальными, а интеллектуальный обмен, напротив, глобальным. В этой связи, цели военной организации приобретают в основном оборонительный характер, а основным методом ее употребления становится лишение потенциального противника способности нанести ущерб еще до непосредственного соприкосновения, путем воздействия на технологии управления силами и средствами. Премияльную стоимость генерирует лишь продукт интеллектуальной деятельности человека, который становится бенефициаром этой стоимости сам, а не посредством нанимателя. Последующие – в т.ч. внедряющие – переделы, требующие лидерства «профессионального» предпринимателя для привлечения других факторов производства – будь то капитал, массовый труд или средства производства, – становятся низкомаржинальными. Ввиду фронтального снижения капиталоемкости общественного продукта и

текущей рентабельности коммерческой деятельности, производство ценности все больше перетекает в некоммерческий сектор, который не уступает коммерческому по уровню доходов и престижности. В этих условиях страны премодерна «предоставлены самим себе» и человеческими потоками «просачиваются» в общности постмодерна. Тем самым угрозы и вызовы перемещаются на микроуровень – в сферу взаимодействия между индивидами или группами с несовместимыми ценностными установками, против чего технологии обеспечения безопасности индустриальной эпохи бессильны. Но безопасность как общественное благо для развитых общностей имеет смысл обеспечивать путем встречного «просачивания» человеческого капитала и метаинститутов в страны происхождения общностей премодерна. Таким образом, социально-антропологическая новелла экономики знаний заключается в том, что создание премиальной стоимости перемещается в область короткой дистанции, – в то время как со времен зарождения культурного земледелия и городов, напротив, это требовало выхода в область длинной дистанции, будь то в форме завоеваний, торгового или финансового посредничества. По всей видимости, это приведет к эрозии отраслей, институтов, режимов, социальных практик и лифтов длинной дистанции, которые также можно понимать как области, где преобладает принятие решений с ограниченным временным горизонтом. В частности, к таким областям имеют непосредственное отношение такие разнородные категории, как инвестирование в расчете на отложенную отдачу, маркетинг и глобальный товарооборот, публичная политика, системы сдержек и противовесов, конвенциональные демократии и диктатуры, транснациональный бизнес, национальное государство, государственная и военная служба, город-мегаполис и т.п.

В ходе смены технологических укладов меняется *способ измерения общественной стоимости*: лишь в индустриальную эру ее размер стремится к емкости рынка, поскольку в пределе все производимые ценности предназначены для обмена – т.е. реализуются в пространстве длинной дистанции. В то же время в доиндустриальную и постиндустриальную эры основная часть ценностей обращается в пространстве короткой дистанции и не попадает в сферу обмена, – и лишь флагманские ценности, соответственно редкие ресурсы и интеллектуальный продукт (не столько само благо, сколько авторский вклад) находятся в рыночном обороте длинной дистанции. В первом случае это обусловлено тем, что подавляющее большинство людей само находится на правах предметов собственности, ценность которых по сравнению с объектами материальной культуры относительно мала, либо проживает малыми общинами – расширенными семьями. Во втором случае, напротив, доля продуктов природы в общественном продукте крайне низка, основная же часть такового приходится на труд, при этом количество и качество последнего в силу вытеснения ручного производства выравнивается. Более того, вновь возвращается формация малой общины – расширенной семьи, так что громоздкий и дорогостоящий транзакционный оборот попросту утрачивает смысл.

Соответственно изменяется *экономическая и социальная природа денег*, которые служат средством платежа в пространстве длинной дистанции, – и это отражает поэтапный транзит роли бенефициара общественного богатства от обладателя силы через обладателя капитала к обладателю знания. В доиндустриальную эпоху они представляют собой поддающиеся стандартизации товары особой ценности, имеющие собственную потребительскую стоимость, при этом их производство и приведение в «денежный вид» (чеканка и пр.) тождественно акту эмиссии, который не играет самостоятельной роли в хозяйственном механизме. Изначальными собственниками этих товаров и звеном, выпускающим их во вторичный оборот, выступают обладатели силы, присваивающие любые примитивные ценности в момент их добычи, в связи с чем у остальных участников хозяйственного оборота «обнулен» горизонт принятия решений в расчете на отложенную отдачу. Первоначальным источником заемных ресурсов в экономике выступают собственные средства бенефициаров таких ценностей, а целью отношений заимствования выступает финансирование кассовых разрывов в цепочке создания и поставки таких ценностей – либо при торговле ими, либо при стабилизации/расширении «кормовых угодий» силовым путем, включая

удержание/захват власти, обеспечение лояльности вооруженной силы и приданного населения, военную кампанию и пр. Примечателен в этой связи такой паллиативный инструмент, как откуп – в современных терминах залог или переуступка прав на будущую налоговую, таможенную и иную выручку «стационарного бандита» в обмен на кредит или фиксированный платеж. Таким образом, источник возврата займа и оплаты стоимости финансирования находится не в сфере производства ценности, а в сфере ее обращения, поэтому такого рода отношения по своей природе являются ростовщическими. Как только заемные ресурсы начинают использоваться для производства новой ценности, доиндустриальный уклад начинает разлагаться, и зарождается индустриальный. В качестве пролога новой формации предприниматели начинают активно применять в расчетах собственные кредитные обязательства, которые поступают во вторичный оборот и постепенно вытесняют прежние тяжеловесные платежные средства. У общностей с «продолженным» доиндустриальным хозяйством роль средства накопления выполняют валюты передовых индустриальных стран, вырученные в результате продажи присвоенных силовым путем примитивных ресурсов. Их запасы прямо или косвенно также стремятся контролировать патримониальный центр – через свои хозяйствующие субъекты, а также в форме суверенных резервов и вывозимого в силу не востребоваемости примитивным хозяйством капитала. Для внутреннего оборота такой центр эмитирует собственную расчетную валюту, которая в необычно высокой пропорции представлена в наличной форме и крайне ограниченно способна выполнять роль средства накопления.

В индустриальную эпоху рост общественной стоимости обусловлен опережающим предложением капитала по сравнению со способностью экономики его генерировать, поэтому основным способом появления денег в обороте становится эмиссия государственных обязательств в порядке кредитования хозяйствующих субъектов, чаще всего опосредованно, через банковскую систему. Предложение капитала в экономике регулируется разницей между объемом выданных и погашенных кредитов эмиссионного института (центрального банка). Первичным выгодоприобретателем такой эмиссии, как и в целом денежной системы и экономики, выступает заемщик, доходность хозяйственной деятельности которого превышает стоимость финансирования и привязана к временному горизонту принятия решений для обеспечения возвратности. Это превышение является источником появления у акторов своего капитала, т.е. в индустриальном хозяйстве собственные средства образуются на основе заемных ресурсов. Отсюда рост совокупной прибыли хозяйствующих субъектов сопровождается увеличением производительности труда в экономике (интенсивный рост) и/или ростом денежной массы в обращении – как правило, в ответ на увеличение потребительского или инвестиционного спроса (экстенсивный рост). Дефекты способа производства и социальной архитектуры препятствуют интенсивному росту и ведут к структурной инфляции, в то время как избыточная по сравнению с потенциалом экстенсивного роста эмиссия – к монетарной инфляции. Потенциал экстенсивного роста, впрочем, также зависит от факторов, которые влияют на интенсивный рост, – в целом же многообразие причин избыточности денежной эмиссии так или иначе можно свести к ошибкам хозяйствующих субъектов или экономических властей в оценке потенциала спроса, умышленным или нет. Если в гипотетической экономической системе отсутствуют трансграничные потоки капитала и интенсивный рост, то вновь поступившие в обращение при эмиссии заемные денежные средства фактически служат источником обеспечения возвратности вложений предыдущих заемщиков и обслуживания их обязательств. В отсутствие какого-либо из двух указанных явлений – увеличения производительности труда и/или увеличения денежной массы – в такой воображаемой экономике должны произойти структурные сдвиги, которые приведут к снижению совокупной монетарной стоимости материальных ценностей в обращении – дефляции, т.е. высвобождению монетарных ресурсов. Поскольку спрос на капитал превышает предложение, в обычном случае он имеет положительную стоимость, а заемщики конкурируют за него способностью обеспечить доходность в абсолютном и относительном выражении, поэтому накопления, как правило, размещены в инвестиционные инструменты, участвующие в кредитном обороте. Физическое изготовление денег

выступает лишь техническим звеном, обеспечивающим в рамках параметров эмиссии наличную часть денежного обращения, обычно сравнительно небольшую. Пока рост потребности экономики в капитале превышает рост ее способности производить ценность, расширение предложения капитала имеет следствием инфляционное финансирование экономики, поэтому редкие ценности, которые в доиндустриальную эпоху выполняли функцию денег, и аналогичные им выступают частичным обеспечением эмиссии. Напротив, когда в индустриальной экономике предложение капитала превышает спрос, избыточные финансовые ресурсы не инвестируются в кредитные инструменты и обращаются в доиндустриальное состояние. Важным способом сохранения стоимости такого избыточного капитала становятся инвестиционные инструменты, привязанные к ценам на упомянутые редкие ценности, в связи с чем ценообразование последних отрывается от фундаментальных факторов спроса и предложения для целей их физической поставки. Исходя из изложенного, применительно к индустриальной эпохе часто допускается фундаментальная ошибка, – финансовый сектор полагается альтернативой государству в качестве центра концентрации и перераспределения ресурсов. На деле же первичным источником ресурсов в условиях этой формации могут служить лишь доиндустриальные накопления и кредитная эмиссия. Отсюда новые ресурсы поступают в финансовую систему либо от национального эмиссионного центра, либо из обслуживания потоков капитала третьих стран – т.е. из их доиндустриальных накоплений или кредитной эмиссии. В этой связи, финансовый сектор – независимо от формы собственности – лишь выступает ресурсопроводящим сервисом, посредником, основным промыслом которого служит торговля риском, его трансформация, – в то время как «принципалами», в порядке убывания важности, являются государства, торговля и капиталозбыточные домохозяйства. Тем самым любая трансформация роли и места национального государства в социальном механизме, а также трансграничной торговли, с неизбежностью отражаются на финансовой системе как продолжении государства.

Наконец, в постиндустриальную эпоху технологический уклад приводит к устойчивому превышению предложения капитала над спросом, более того, делает возможным ускоренное удешевление потребительских ценностей при одновременном повышении их качества и подрывает основу устойчивой генерации положительной доходности на капитал. Это фактически обесценивает и исторические накопления индустриального происхождения, разрушает институт сбережения как таковой: финансовые ресурсы, не обращенные на потребление или инвестиции немедленно, утрачивают стоимость. Более того, это приводит к маргинализации института кредита, займа, сужает область коммерческой формы хозяйственной деятельности в расчете на норму доходности, обращает экономические решения на достижение общего блага, без ограничений на временной горизонт такового. Целесообразным становится финансирование через участие в капитале либо коллективное финансирование в различных формах – например, краудфандинга, – что актуализирует проблему общественного доверия в противовес доверию к институтам. Происходит бегство от капитала и фиатных денег как его «носителя», а на передний план выходят условные средства платежей – единицы измерения стоимости (например, криптовалюты), не имеющие кредитной природы или собственной потребительской ценности и являющиеся механизмом образования меновых соотношений. Социальной предпосылкой их возникновения является общественное доверие, опосредованное технологическим, а не каким-либо специальным институциональным механизмом, более того, глубина проникновения в хозяйственный оборот прямо обусловлена соотношением нарастающего горизонтального доверия и снижающегося вертикального, к государству как таковому. Акт эмиссии этих валют вновь тождествен акту «изготовления» (майнинга), но этот акт увязан с совершением какого-либо общественно одобряемого действия. Под таким может подразумеваться и уже совершенный добродетельный поступок, и проект, требующий средств: например, целевой эмиссионный займ может подлежать погашению при общественной оценке стоимости блага, созданного в результате проекта, а разница стоимостей займа и итоговой оценки составлять изменение собственного капитала инициатора и

одновременно денежной массы в обращении – как и эмиссия под списываемый ввиду неуспешности проекта займ. По всей видимости, даже благо, предназначенное для платного пользования, будет целесообразно таким способом продать в общественный сектор – например, для извлечения роялти в общественных интересах (эквивалент рентных налогов, существовавших во все времена) – и переключиться на создание нового, поскольку последующее достижение слишком стремительно обесценивает капитальную стоимость предыдущего. При этом представление об одобряемых действиях и их иерархии (стоимостной оценке) могут меняться как во времени, так и в пространстве – от общности к общности. Это приведет к сосуществованию различных валют и обменных курсов между ними, обусловленных ценностными различиями, которые более или менее отражают архетипические особенности общностей, а в перспективе будет способствовать некоторой глобальной ценностной конвергенции. Легко предположить, что роль мировой валюты легче всего будет обрести той, которая будет признаваться наибольшим числом университетских экосистем – сообществ с более или менее идентичной системой ценностей по всему миру и выступающих бенефициарами ренты интеллектуального продукта, т.е. реципиентами таковой от прочих сообществ. В этой связи, в современном виде криптовалюта с их архаичными факторами возврата на капитал – мощностью оборудования, связанными с этим капитальными и операционными затратами, ограничением порога эмиссии, приближение которого приводит к удорожанию актива и росту входного барьера, и пр., – следует рассматривать скорее как переходный инструмент обучения, призванный «привычным экономическим языком» ознакомить человека и общество индустриальной эпохи с технологией распределенных реестров данных (блокчейн) и ее последствиями, экономическими и социальными.

В общих чертах финансовая система в постиндустриальной экономике существенно отличается от предшествующей формации, поскольку капитал здесь не является значимым фактором роста, соответственно не предусмотрен институт прибыли как отдельной от трудового дохода премии за риск, – отсюда изменяются целевые источники финансирования текущих и капитальных нужд. Так, сборы с потребления составят основной источник выплаты гарантированного подушевого дохода. В то же время капитальные затраты в интересах всего общества (т.е. в силу своей природы не имеющие конкретного инициатора «снизу») смогут финансироваться за счет доходов, вырученных в пространстве длинной дистанции – от технологической ренты либо внешней помощи от общностей, располагающих такой рентой и заинтересованных в обеспечении собственной безопасности путем доставки приемлемого уровня жизни прочим общностям. Предметы длительного пользования и потребительские товары в этой связи должны приобретаться и обмениваться с определенной периодичностью в режиме страхования, – тем самым соответствующие издержки переводятся из разряда капитальных издержек субъекта хозяйствования в операционные. Наконец, такого рода хозяйственный механизм предполагает постепенное сокращение практически неограниченной номенклатуры цен и ценовых сегментов до чрезвычайно малого набора стандартных цен, действительного для всех инвестиционных (включая права на интеллектуальную собственность и плату за пользование ею) и потребительских ценностей, – а с этим и резкое снижение дифференциации в уровнях доходов и жизни.

Экономико-антропологическая эволюция обуславливает развитие способов организации взаимодействия индивидов в ходе решения общих задач, что, в частности, находит отражение в *архитектуре структур корпоративного и публичного управления*. В общем случае уровень сложности организации по структуре управления и личному составу не может превосходить достаточный для технологической и экономической сложности производимой ею ценности в текущих обстоятельствах. Ролью в создании такой ценности определяется и относительная важность тех или иных функций, их место в управленческой иерархии, влияние ответственных за них подразделений и сотрудников. Премодерн в основном характеризуется силовым контролем наиболее ценных источников стоимости (например, примитивных ресурсов, городов и транспортных артерий), и лишь от изобилия таковых

зависит, является ли центр силы безальтернативным в общественном масштабе или «уравновешен» другими. Однако внутри одной ресурсно-силовой вертикали превалирует управленческая культура военного типа, в парадигме которой целеполагание и распоряжение ресурсами, в т.ч. микромасштаба, является исключительной прерогативой предводителя-вождя, реже его непосредственного окружения. Отдельные структурные звенья выполняют локальные «поручения» с крайне ограниченным временным горизонтом и распоряжаются лишь целевой сметой прямых затрат, мало специализированы и взаимозаменяемы с целью обеспечить абсолютную устойчивость, самодостаточность и герметичность вертикали. Организация этого типа является крайне трудоемкой, а управление операционными затратами практически тождественно минимизации стоимости человеческих ресурсов и обеспечивается негативной мотивацией исполнителя – угрозой отлучения от «кормового» источника в условиях «пищевой конкуренции». В рамках парадигмы враждебности других ресурсно-силовых вертикалей, организация стремится контролировать все стороны жизнедеятельности индивида, включая досуг, в соответствии с предпочтениями ее выгодоприобретателя. Лидер здесь является не просто выгодоприобретателем, а еще и военачальником и душевладельцем – формальным или архетипическим. Характерно, что один из наиболее стойких архаических мифов о связи еврейских и масонских социальных ячеек по-видимому имеет непосредственное отношение к предрассудкам, вызванным нетипичностью сетевого типа организации для эры премодерна. В современной организации премодерна выше в иерархии располагаются функции, подразделения и сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении места такой организации в ресурсно-силовом хозяйственном и социальном обороте. В частности, это службы, обеспечивающие организации силовой ресурс (физический, «разведывательный» и «контрразведывательный») и отношения с ресурсно-силовыми группами, – именно благодаря им, например, фирма получает на рынке преимущественное положение без технологических или экономических оснований для этого. К числу такого рода управленческих единиц относятся ответственные за связи с государственными органами и крупными «клиентами», а также центры прибыли и центры затрат – как операционных, так и капитальных, – денежные потоки которых в силу их природы лучше подходят для непрерывного, «гарантированного» изъятия стоимости материнским кланом, – оптовый сбыт, производственные и вспомогательные службы.

Для эпохи модерна характерен тип организации, нацеленный на захват, удержание и наращивание доли рынка в условиях непрерывного совершенствования технологий, поэтому основное бремя затрат приходится на капитальные инвестиции, в то время как операционные затраты постоянно оптимизируются как в стоимостном, так и в физическом выражении. Организация этого типа непрерывно укрупняется вширь и концентрирует производство для целей экономии на масштабе, что требует конвейерного способа производства ценности и алгоритмизации, при этом делегирования полномочий и ответственности на отдельных участках, а также сосредоточения на основных компетенциях и использования услуг профессиональных провайдеров в периферийных (непрофильных) областях. Вклад каждого из внутренних звеньев в интегральный эффект имеет стоимостную оценку – в виде прямого финансового результата либо в сравнении со стоимостью привлечения компетенции аналогичного качества у сторонних провайдеров. Такому типу соответствует не столько вождистский, сколько харизматический тип лидерства, которое функционально опирается на централизованное планирование (прежде всего стратегическое) в целях координации действий по обеспечению отдачи на вложенный капитал, и контроль исполнения плановых параметров. При этом интегральная цель организации расщепляется на довольно автономные задачи отдельных, имеющих свою специализацию, управленческих звеньев, которые достаточно автономны в тактике решения таких задач и распоряжении целевыми ресурсами, а также позитивно – прежде всего, материально – мотивированы. Под поставленные задачи организация привлекает человеческие ресурсы дифференцированного качества и конкурирует за них предложением различного рода материальных и карьерных возможностей. Раннюю индустриальную

эпоху особенно отличает малотипность товарной номенклатуры и путей доставки (в основном «прокладку» таковых обеспечивает государство военными методами), а также дефицит капитала. Отсюда фокус менеджмента фирмы сосредоточен на оптимизации внутренних транзакций – управлении себестоимостью производства, в т.ч. фондом оплаты труда, и производительностью труда, оборотными средствами. Центральным звеном трудового коллектива на этом этапе выступает инженерно-производственный персонал, – в т.ч. он играет ключевую роль в звене продаж и постпродажного обслуживания. На излете индустриальной эпохи, напротив, нарастают покупательский спрос и избыток капитала, уплотняются мирохозяйственные связи, – так что стратегический фокус смещается в сторону маркетинга и управления цепочками поставок, а также управления рыночной стоимостью фирмы, поскольку акционерный капитал становится доступным источником финансирования роста. На этом этапе изобилие капитала способствует росту доли потребления в противовес накоплению в структуре глобального общественного продукта. Отсюда уровень спроса делает рентабельным превращение в самостоятельный бизнес многих центров компетенций вертикально интегрированных корпораций – от логистических и прочих бизнес-услуг до самого производства, которое в этом случае можно перемещать из одной страны в другую в зависимости от характеристик рабочей силы, более того, не в виде собственных площадок, а в виде заказа на изготовление сертифицированным сторонним предприятиям. Внутренние показатели эффективности в этом случае превращаются в параметры технического задания, заказа, контрактные условия и т.п.

Наконец, эра постмодерна, которая характеризуется «обнулением» барьеров входа на рынок – прежде всего, капитального – и ускоренным вовлечением знания в производство ценности, вызывает к жизни тип организации-хаба, организации-экосистемы или организации-акселератора. Она выступает ответом на такое ускорение темпов развития, которое делает невозможным достоверный план или прогноз: в рамках экономики знаний цели становятся скорее маяками-символами – достаточно всеобъемлющими, чтобы процесс их реализации в равной мере приближал к любой возможной цели, соответственно позволял постоянно менять таковую (пример – колонизация других планет). Организация этого типа представляет собой площадку или пространство кооперации индивидов, каждый из которых на основе собственной компетенции предлагает определенный комплексный продукт, однако нуждается в экспертизе других для его производства. В этой связи, ни один из функциональных участков не является периферийным и находится на «передовой» в своей сфере компетенции, – поэтому прорывного технологического или управленческого достижения можно ожидать на любом из них. Это означает, что максимальное количество звеньев должно быть вовлечено в цепочку исследований и разработок в сфере своей компетенции, – в отличие от нормы эпохи модерна, когда разработки в сфере основной компетенции организации находятся в ведении узкого круга подразделений, прочие же координируют с ними свою деятельность. Каждый из таких участков автономен, самостоятельно выступает полноценным субъектом рынка и имеет ключевых сотрудников в числе бенефициарных совладельцев, более того, само привлечение сотрудника может быть связано с приобретением доли участия в его проекте либо получением статуса стейкхолдера в иной форме, т.е. индивид тем самым кооптируется в организацию вместе со своим занятием, которое становится частью ее собственной стратегии. Организация этого типа получила определение «спиралевидной», ее целью является производство знаний и их приспособление для удовлетворения потребностей человека. Успех в рамках этой парадигмы обеспечивается концентрацией критической массы носителей знаний различного профиля, в связи с чем задачи организации корректируются в зависимости от доступных человеческих ресурсов. Тем не менее, в целях обеспечения безбарьерной коммуникационной среды чрезвычайно важно, чтобы индивидов связывали общие ценности и интересы. Внутренняя структура такой организации является сетевой, довольно часто она в принципе не имеет единой правовой субъектности, лидерство в ней не обеспечивается какой-либо определенной должностью, а принадлежит наставнику, ментору, «играющему тренеру»,

профессионально инвестирующему в успех других индивидов – лидеров собственное время, компетенцию и репутацию. В целом, в условиях, когда оперативное управление доведено до автоматизма, а перспективное развитие непредсказуемо, лидерство переходит от лица, наделенного полномочиями, к такому визионеру, который может прояснить следующий шаг сколь угодно малой или сколь угодно большой, но достаточно самостоятельной группе людей. При этом материальное производство в структуре такой организации практически не предусмотрено: оно деконцентрируется и стремится к модели услуг шаговой доступности, семейных мастерских – становится распределенным, максимально приближенным к потребителю, низкомаржинальным, не нуждается в компетенциях дистрибуции. Кроме того, в производстве снижается как капитальный, так и квалификационный барьер, – отсюда оно ориентируется не на масштабирование какого-либо определенного серийного продукта, а на диверсификацию по видам изделий под индивидуальный заказ, при этом специализированным по типу оборудования, отчасти компетенций.

По мере трансформации типа лидерства от полководческого к визионерскому увеличивается и стереотипный возраст лидера: снижается нагрузка, требующая от него физической активности, при этом парадоксальным образом с ускорением перемен возрастает ценность ретроспективы прожитых опытов переформатирования социальной матрицы для перспективного целеполагания. Хотя цифровая эпоха, в силу своей революционности, поначалу выдвигает на передний план молодых лидеров, на фоне роста продолжительности жизни свыкшееся со скоростью перемен общество будет показывать предпочтение модели партнерства поколений – как в семье, так и в общественной жизни. В противоположность премодерну, активное участие старших в несении общественно полезных функций не будет принудительным, а, напротив, послужит ответом на запрос младших – несколько более инфантильных и менее привычных к отплате долга. Более того, вытеснение физической силы из областей труда и обеспечения безопасности открывает дорогу экспоненциальному расширению роли женщины в несении бремени управления на всех уровнях, вплоть до доминирования, а также отделению в этой связи организационного управления от стратегического лидерства. В силу особенностей строения головного мозга и гормонального развития (см. ранее), а также ответственности за потомство, женщина лучше приспособлена для администрирования общественных интересов. Так, она склонна рассматривать популяцию в целом как вверенную на попечение, поэтому стремится примирить разнообразные интересы и никого не обделить адресным вниманием, отдает предпочтение кооперации в противовес конкуренции, восприимчива к чужим точкам зрения и способна легко менять собственную. С другой стороны, женщины скорее склонны придерживаться апробированных решений по сравнению с экспериментальными, но готовы предоставлять автономию экспериментаторам в поисках лучших решений – при этом стремятся не втягивать в область риска популяцию в целом и не упускать из поля зрения эффективность аллокации ресурсов. В то же время, мужчины склонны к революционным решениям, обращены в будущее, видят в новизне способ отличиться в конкурентной борьбе, – эти качества предпочтительны для развития прорывных знаний и визионерского лидерства. Такое горизонтальное «разделение труда» между полами в значительной степени воспроизводит архитектуру модернистской семьи – хотя, разумеется, как и там, является несколько условным.

Видоизменяется и способ отбора лидеров, притом путем снижения роли конкурентной селекции. Так, в основанную на силе эпоху премодерна отбор носил характер непрерывной борьбы на уничтожение, – тем самым идеальное лидерство полагалось безальтернативным в каждый момент времени и в целом считывалось как земной «шлейф» небесного, однако на деле оспаривалось перпетуально вне каких-либо правил помимо права сильного. Модерн принес типовые задачи и тиражирование их решений, а также удаление государственных и хозяйственных центров извлечения стоимости от домохозяйств и центров производства ценности в связи с потребностью в концентрации ресурсов для их перераспределения, соответственно нарастание риска злоупотреблений. Отсюда возникли установка на «серийность»

лидерства, принцип «отсутствия незаменимых», соревновательность при отборе публичного и корпоративного руководства, ограничение сроков полномочий, институциональные противовесы – набор паллиативных инструментов, так или иначе призванных «раздвинуть» норму дистанции внутри элиты до увеличившейся социальной дистанции. Однако в эру постмодерна скорость перемен приводит к сужению области типовых задач в пользу нестандартных, в связи с чем возрастает роль «единственных в своем роде» и даже несменяемых лидеров. Противовесом вытеснению конкурентных процедур служит скоротечность самих задач и частое появление «окон» для выдвижения новых лидеров, а также практически полный переход извлечения общественной стоимости в исключительную область короткой дистанции, на площадку производства ценности. При этом деуниверсализацию конкурентного отбора некорректно считать отступлением от ценностей и практик меритократии: напротив, именно институты ограниченного доступа оперируют интересами узкой группы, в соответствии с которыми разрабатывают систему критериев кооптации. В этой связи такие критерии часто ведут к селекции вразрез с общественными интересами и поражению в правах тех, чья деятельность имеет следствием снижение входных барьеров.

Примечательно, что благодатность привилегированного положения сословия, играющего определяющую роль в условиях актуального способа производства, – соответственно воинов, предпринимателей и интеллектуалов – его «избранность», особый характер миссии обычно закреплены нормальной для своего времени социальной мифологией – религией, идеологией, общественной нормой и т.п. Показательно, что в общностях с ярко выраженным дефектом индустриальной формации соседствуют два «избранных» сословия – силовое и интеллектуальное. В фазе расцвета способа производства общество, как правило, не выказывает видимых возражений против положения «избранных» – и даже считает таковое отвечающим собственным интересам более других реально доступных альтернатив, условием для поступательного развития. Напротив, при разложении прежнего способа производства и зарождении следующего старые «избранные», вызывающие к традиции и предъявляющие ее в качестве оснований для сохранения своего положения, наталкиваются на широкое общественное сопротивление и воспринимаются в качестве препятствия на пути прогресса, – новые же лишь осваиваются в этом качестве.

5.2 Индустриальный уклад и современный облик общества.

Точки транзита и архетипические дефекты в экономической трансформации.

Ретроспектива и перспектива экономико-антропологической эволюции

Торможение социальной трансформации, как правило, происходит в точке транзита из одной фазы развития в другую, причем наибольшую сложность представляет переход от доиндустриальной к индустриальной, без которого отставание в развитии становится практически непреодолимым. Индустриальный этап, знаменующий перелом эпох от премодерна к модерну, резко ускоряет течение трансформационных процессов и вовлекает в них широкие слои населения. Технологии развиваются скачкообразно, их внедрение вызывает невиданную ранее концентрацию ресурсов: поначалу темп прироста потребности экономики в капитале превышает ее способность производить ценность, затем это соотношение сменяется обратным. Необходимость перераспределять ресурсы и аккумулировать компетенции для активного целеполагания вызывает потребность в институтах, которые располагаются в крупных городах, – центрах консолидации как финансирования, так и производства благ. Так, моделью централизованной, строго иерархической институциональной организации, впоследствии послужившей образцом институтов общественного блага, в индустриальную эпоху становится публичная почта, на

которую практически повсеместно приходилось более половины государственных служащих. Похожая централизация ресурсов в истории наблюдалась каждый раз при очередном скачке материальной культуры, приводившей к кардинальной перемене качества жизни, – например, в городах Античности и Ренессанса, – однако в условиях индустриальной эпохи институционализация принимает тотальный, всеохватный масштаб. Эстафету Возрождения с наступлением модерна принимает Просвещение, транссословная этика которого ложится в основу идеи нации эпохи модерна и принципов институциональной архитектуры национального государства. Затем распространение понятия о самоценности института как чего-то большего, нежели сумма индивидов или их интересов, сопровождается последовательным развитием в общественной и философской мысли и популяризацией концептов категорического императива, подчинения воле, «сверхчеловека» – романтического героя. Последний архетипически может быть соотнесен с языческими пантеонами Античности, однако является вызовом сословным институтам премодерна – нарочито секулярным или даже богоборческим феноменом, избавленным от морального императива и подчиненным «чистой», евристической задаче. В эру тотальной институционализации субъектность публичного или частного института отделяется от персональной субъектности его распорядителя, и прежде всего это касается государства, которое становится ключевым центром концентрации ресурсов. Традиционный способ легитимации политического лидера путем его отнесения к корпусу сакральных символов, составляющих основу самоидентификации общности, сменяется харизматическим, основанным на миссии, решении сверхзадачи, независимо от технологии обретения власти – революционной, электоральной или иной.

Весь XIX век капиталоемкость индустриального производства нарастает неуклонно, при этом пик относительной капитальной стоимости условной единицы производственной мощности приходится на первую половину XX века. Помимо вложений непосредственно в производственные мощности, возникает потребность в ускоренной расшивке узких мест – прежде всего в части материальной инфраструктуры гражданского и военного назначения, а также повышения качества человеческого капитала. Ключевым ограничителем развития в этих условиях становятся источники сырья и сбыт, поскольку получение положительной отдачи на вложенный капитал требует консолидации рынка небывалой емкости – одновременно глубокого внутреннего и обширного внешнего, – так что такая отдача обусловлена не только локальной, но и глобальной конкурентоспособностью продукции. Это запускает мировую промышленную гонку, в то время как необходимый для возврата на капитал объем производства постоянно опережает абсорбирующую способность потребительского рынка, – поэтому волны кризиса перепроизводства наращивают амплитуду и провоцируют торговые войны, протекционизм, а условием безубыточной бизнес-модели становится государственный заказ, прежде всего военный и инфраструктурный. Окрепшие индустриальные государства начинают вступать друг с другом в военные конфликты невиданных ранее масштабов – более того, подкрепленные идеологиями, сочетающими национальное превосходство с мессианством. У элит индустриальных держав явно или латентно получает популярность понятие «жизненного пространства нации», которое в экономическом смысле конгруэнтно параметрам емкости рынка и границ рынка. Практически весь мир становится ареной военного противостояния, – для захвата новых рынков сбыта, обеспечения бесперебойного доступа к дешевому сырью и транспортным путям, получения плацдарма противодействия противнику или предотвращения использования определенной территории против своих интересов. Индустриальная эпоха предполагает экспоненциальное расширение спроса на природное сырье, однако потребности промышленных держав в капитале требуют угнетения цен на него. При этом поставщиками сырья в практическом плане часто выступают регионы, сами не располагающие условиями для создания конкурентоспособной промышленности. Отсюда парадоксальным образом последние получают место в индустриальном разделении труда путем новации доиндустриального уклада – с традиционной аграрной на минерально-сырьевую, причем практически всегда на правах сателлитов и колоний передовых стран,

поскольку в отсутствие собственной промышленности не в состоянии сформировать дееспособную военно-техническую и военную машину. Континентальные индустриальные державы остро ощущают заведомую проигрышность своего географического положения по сравнению с морскими и, с одной стороны, ищут компенсирующие источники сырья на континенте, более дорогостоящие с точки зрения доставки, с другой же – встают на путь последовательного подрыва сложившегося миропорядка. При этом в период Великой депрессии у таких стран – и прежде всего Германии – естественные конкурентные недостатки были дополнены еще и бременем расчетов по обязательствам первой мировой войны, что явилось важным фактором общественной поддержки диктатуры и милитаризма, во многом предопределило особую ожесточенность второй мировой войны. Кроме того, в XX веке в развитом мире гонка вооружений повсеместно становится незаменимым драйвером беспрецедентного расширения сферы знаний и социальных лифтов – образовательных, карьерных, имущественных. В свете этого показательно, что всего лишь за полвека дважды окончание крупнейших военных противостояний – эпохи мировых войн и холодной войны – высвобождало такие ресурсы и заделы знаний, что вызывало глобальное технологическое и социальное перерождение образа жизни. Одновременно с этим самоценное значение обретают международные отношения, появляется тенденция институционализации таковых в форме наднациональных образований с широким мандатом.

В связи с ростом капиталоемкости способа производства преобладает денежно-кредитная экспансия, сопутствующий ей высокий уровень инфляции и процентных ставок (корректнее процентных спредов), а также налогового бремени и объема централизованно перераспределяемых ресурсов. В связи с беспрецедентным увеличением вмешательства государства в экономику, коррупция и основанная на ней организованная преступность начинает охватывать наиболее передовые страны, более того, в связи с исключительным дефицитом капитала последние «не брезгают» вовлекать в хозяйственный оборот накопления элит тоталитарных режимов и криминальных сообществ, расширяется понятие банковской тайны, стремительно растет круг и правовой аппарат офшорных зон. Государство не ограничивается такими конвенциональными методами, как регулирование доступности капитала, финансовая репрессия, структурная политика, государственный заказ и строительство инфраструктуры. В арсенале инструментов появляется «мобилизационный» набор – вплоть до централизованного планирования, регулирования цен, условно или безусловно принудительных работ, прямого ограничения уровня доходов населения, частичного замещения таковых распределением товаров и благ в натуральном выражении. Экономический смысл этих инструментов прежде всего в минимизации доли потребления в общественном продукте по сравнению с накоплением, более того, «выдавливании» центров образования накоплений из домохозяйств в фирмы, опосредованно в финансовый сектор и/или государственные фонды как точки сборки ресурсов. В этой же логике следует рассматривать переход к массовому использованию дешевого труда мигрантов и активизацию миграционных процессов, как внутри стран, так и в мире в целом. Полицентрическая социальная архитектура повсеместно проходит небывалые испытания на прочность, даже в странах с устойчивой модернистской традицией, поскольку, по мере лавинообразного нарастания уровня концентрации ресурсов, центров такой концентрации становится все меньше, в итоге они тяготеют совпасть с центром силы – государством. Полностью избежать скатывания в централистские режимы – фашистского или советского толка – в этот период смогли лишь считанные страны, где изобилие капитала оставляло простор более чем для одного активного центра их концентрации (см. ниже). В странах последней группы появляется институт антимонопольного регулирования, поскольку в целом неуклонному укрупнению субъектов хозяйствования нет экономически обоснованной альтернативы, – однако сама возможность эффективно противостоять экспансионистским интересам корпораций обусловлена тем, что в условиях сверхконцентрации ресурсов наиболее обеспеченным последними актором, не заинтересованным в чрезмерном укреплении прочих, становится само государство в лице бюрократического и военного аппарата. В левой

политэкономической литературе эта общественно-экономическая формация известна в качестве государственно-монополистического капитализма, понятие которого в индоктринированном идеологическом дискурсе обычно соседствует с такими определениями, как «империализм» и «милитаризм».

С фундаментальной точки зрения некорректно применять определение государственно-монополистического капитализма к общественно-экономической формации современной России, которая по своей сути является феодальной, а не капиталистической – в отличие от Китая, где обширный государственный сектор и монополизм являются формой организации хозяйства, основанного на добавленной ценности, хотя и преимущественно стандартной, а не отличительной. Фрагментация или, напротив, монополизация структуры постсоветской экономики не имеет отношения к изменению уровня потребности в концентрации капитала как ключевого фактора производства с целью его реинвестирования и создания новой ценности. Этим целям искусственно насажденная индустриальная экономика советского периода – даже с учетом всех ее особенностей – служила в значительно большей степени, чем современная российская, в своей основной части обратившаяся в доиндустриальное состояние. Способ производства в рамках этого уклада основан на силовом присвоении примитивных и гомогенных источников стоимости, а сама присвоенная стоимость преимущественно не предназначена для инвестиционного применения внутри страны. В зависимости от востребованности мировым рынком ресурсов, составляющих такие источники, экономика доиндустриального типа принимает вид, соответствующий феодальной централизации или феодальной раздробленности. При этом, в противоположность индустриальному укладу (капитализму), фаза централизации соответствует ресурсному изобилию, когда консолидация выступает для силовой элиты наиболее выгодным способом извлечения стоимости. Напротив, в условиях обмеления «кормовой» базы фрагменты силовой корпорации деконсолидируются и «отбывают» непосредственно к отраслевым, региональным или ведомственным «кормовым феодам», которые начинают удерживать рентные ресурсы у себя и нарушать снабжение слабеющего патримониального центра. Эта закономерность справедлива не только в отношении России или в целом стран, развивающихся в рамках «матрицы» степного кочевника с характерным «застреванием» в доиндустриальной фазе, но и европейской цивилизации в феодальный период ее истории. При этом в рамках доиндустриальной парадигмы силовая элита и является основным бенефициаром изъятой стоимости, в то время как в условиях индустриальной подконтрольна политическому менеджменту, который управляет также и хозяйственной вертикалью. В этой связи, обращает на себя внимание отсутствие субъектности у могущественного аппарата подавления, его полная подконтрольность партийному руководству как в нацистской Германии, так и в СССР эпохи искусственной индустриализации, в противоположность современной России. Однако не менее показательным различием отношение к вопросу о коллективной ответственности последующих поколений за злодеяния соответственно нацистского и советского режимов. С точки зрения парадигмы эпохи модерна, характерной для Германии, государство выступает делегатом нации, принимающей на себя безусловную ответственность за его действия. В то же время, доиндустриальная парадигма, к которой тяготеет современная Россия, оперирует категориями родоплеменных отношений, а не нации, при этом государство инородно отчужденному населению. В наше время модель идеологических европейских автократий эпохи модерна во многом воспроизводит Иран, который, в отличие от феодального регионального окружения с кочевой архетипической наследственностью, обнаружил потенциал индустриального развития.

Таким образом, в различных формах автократические режимы, так же как и демократические, могут быть основаны и на доиндустриальном, и на индустриальном способе производства, хотя иногда соседствуют во времени и пространстве. При этом механическая классификация режимов по признаку схожести институциональной архитектуры, без учета лежащей в их основе общественно-экономической формации, не позволяет сложить объемное представление об их внутренней эволюционной моторике. Феодальная автократия имеет целью обеспечение собственной несменяемости и максимизацию изымаемой стоимости, которую не может абсорбировать дефективный хозяйственный оборот, поэтому консервирует архаические устои и отчужденность населения, подавляет его пассионарность и самостоятельность в любом, даже лоялистском ключе. По этой причине связанное с реинвестированием стоимости идеократическое целеполагание на деле противоречит интересам режима, который, как правило, носит деидеологизированный характер и апеллирует к «былой славе» как основе собственной легитимности. Реальным весом здесь обладает лишь аппарат внутренней безопасности, при этом даже военная машина носит скорее декоративный характер: война обнажает застарелые дефекты развития и ущербность социальной модели, в связи с чем чаще всего такие режимы инициируют конфликты лишь с заведомо более слабой стороной, а за счет победы пополняют

«копилку былой славы». Особую, витальную опасность для доиндустриальных автократий представляет конфликт с индустриальной державой, независимо от ее политического устройства, без деятельной поддержки другой такой державы: в войне этого типа невозможно преуспеть за счет подавляющего преимущества в живой силе, к тому же последняя неспособна управлять современными техническими средствами ведения войны, даже если они приобретены у более развитых стран.

Индустриальная автократия, напротив, концентрирует ресурсы для реализации промышленного потенциала, а также нередко прибегает к экспансии военным путем для консолидации рынка высокой емкости, поэтому нуждается в соучастии нации в собственных действиях и охотно апеллирует к ней. Чаще всего основой национального единения служит определенная идеология, во имя торжества которой нация должна быть готова к жертвам, однако такая идеология, как правило, вторгается лишь в общественные науки и гуманитарную сферу, при этом престиж необходимых для промышленного роста секулярных естественных наук остается высоким. Основная масса населения охотно разделяет доминирующую идеологию и солидаризируется с «отлучением отщепенцев», поскольку такой уклад обладает высокой внутренней динамичностью, на определенном историческом отрезке обеспечивает высокие показатели роста и социального благополучия, а часто военные приобретения, чем способствует улучшению национального самочувствия. Вместе с тем, со временем здесь нарастает конфликт двух наиболее влиятельных элитных групп с антагонистической системой ценностей – силовой и интеллектуальной, который в конечном итоге по объективным эволюционным причинам всегда разрешается в пользу последней. Во-первых, в силу внутренней природы индустриальной формации, любой правящий режим требует межсословной солидарности вообще и активного вовлечения образованного слоя в деятельность институтов в частности. Во-вторых, этот слой максимально открыт трансграничному трансферу технологических и институциональных образцов. В-третьих, именно усилия этого слоя обычно приводят к снижению капиталоемкости способа производства и потребности в концентрации ресурсов, а соответственно размывают основу для автократии. Конкретные исторические обстоятельства трансформации такого режима могут быть различными – от вынужденных выборов и революции до поражения в войне и передаче силового аппарата под внешнее управление.

Если морские державы для снабжения, мобилизации емкости рынка и генерации капитала эксплуатируют ресурс торговли и колониальных завоеваний, то континентальные этносы с обширным городским метаархетипом, лишенные таких возможностей и исторически бытовавшие в рамках разрозненных или весьма рыхлых государственных образований, в конце XIX – начале XX века «стягиваются» в централизованные национальные государства. Более того, фактически они лишают субъектности межеумочные этносы, которые не в состоянии мобилизовать емкость рынка и капитал для самостоятельного индустриального рывка. В этой связи, утверждение всеобщей системы среднего образования одновременно цементирует новые нации – включая национальные языки, культуры – и отвечает требованиям индустриального уклада к обучаемости рабочей силы, стандарту ее квалификации. Наиболее яркими примерами таких «перерождений» индустриальной эпохи являются Германия и Италия, впоследствии выступившие основой европейской фашистской оси, также достигает пика территориального расширения Российская империя, а впоследствии Советский Союз. По совокупности разных фрагментов XX века индустриальная гонка охватила максимальное число стран, причем ярче всего персоналистский характер режима проявлялся именно при вступлении в нее – например, в большинстве стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии это случилось с некоторым запозданием, во второй половине столетия. Для небольших и географически периферийных стран развитого мира – например, североевропейских – с их ограниченной емкостью внутреннего рынка единственным выходом в этот период становится крайне узкая промышленная специализация, опирающаяся на технологическое усовершенствование традиционных промыслов и локальную ресурсную базу. В этой связи, выход из наиболее капиталоемкой фазы индустриальной эпохи практически для всех стран – хоть и в разной мере – напротив, становится этическим и институциональным вызовом, чреватым угрозами целостности ввиду размывания экономической основы для концентрации ресурсов, соответственно укрупненных государственных образований.

Приоритет локальной идентичности по сравнению с национальной типичен для развитых стран и является следствием общей благоприятности условий бытования, при всем региональном разнообразии, достаточности местных источников стоимости. Укорененность этого представления в коллективном сознании большинства европейцев свидетельствует об ощущении некоторой искусственности централизации, ее временном характере, «под задачу». Локальная идентичность здесь не доминирует лишь в тех странах, которые в силу географического расположения окружены крупными центрами силы и потому ориентированы на приоритет национальной идентичности, – Франции и Восточной Европе, с поправкой на преמודерн в этот ряд можно поставить и Византию до ее падения. Однако и это стремление восходит не к архетипу собирания земель, а, напротив, к задаче уберечься от включения в состав еще более протяженных государственных формирований, т.е. не участвовать своими ресурсами в крупномасштабном перераспределении, а использовать таковые по месту образования. Показательно, что более или менее общую идентичность современных немцев (фольклорный собирательный образ – горожанин, бюргер, местный) сложно непосредственным образом вывести из богатейшей национальной культуры, гораздо более мощным базисом таковой служит комплекс общей вины за трагедии двух мировых войн индустриальной эпохи, которая и послужила причиной объединения Германии в конце XIX века. В целом, рыхлые интеграционные объединения – образца Священной Римской империи, Европейского союза – для развитых стран выступают наиболее органичной и устойчивой надстройкой над региональным и местным уровнями публичной субъектности.

Наоборот, во второй половине XX века капиталоемкость индустриальной экономики идет на убыль, поскольку достигается первичное насыщение развитых стран наиболее дорогостоящей промышленной и транспортной инфраструктурой. Зарождается «государство всеобщего благоденствия» с его системой минимального стандарта гарантий, возрастает доля потребления в общественном продукте по сравнению с накоплением, потребительский спрос становится ключевым драйвером роста, а к рубежу веков и он все более уступает место эффективности и технологическому совершенству. Уже к 70-м гг темпы роста спроса на капитал в этих экономиках начинают уступать темпам генерации такового, поэтому растет вывоз капитала в направлении развивающихся экономик, а также расширяется периметр и углубляется емкость финансовых рынков вне прямой связи с капитальными потребностями экономики. Стоимость капитала резко снижается, сужаются процентные спреды, индикаторы финансовых рынков отрываются от темпов экономического роста, экономические власти повсеместно переходят к денежно-кредитной рестрикции, подавлению инфляции и снижению налоговой нагрузки. Критичность концентрации ресурсов ослабевает, поэтому конфигурация институтов перераспределения капитала становится полицентрической, такая роль окончательно переходит к финансовой системе даже там, где ранее существенную роль играло государство. В связи с уменьшением роли государства в экономике, наблюдается «измельчание» коррупционных и криминальных цепочек, в связи с чем их подавление становится посильной задачей для правоохранительной системы. Одновременно с капиталоемкостью производства, снижается и острота потребности в консолидации емкости рынка, «горячие» войны все больше сменяются «холодными», а с падением «железного занавеса» и вовсе происходит спад военно-блоковой активности: всеобщие конфликты уступают место локальным, последние также меняют свой контекст с глобального, вписанного в логику противостояния сверхдержав, на местный. В послевоенный период «выпавшие» из поля колониальной гравитации территории обретают государственность и ведут поиск собственного места в мировом разделении труда, поскольку для развитых стран выгоды колониальной системы – прежде всего возможности получать сырье по себестоимости – окончательно перестают превышать издержки по ее содержанию. По совокупности причин, ускоряется рост глобального спроса, – и это становится ключевым фактором ослабления конкуренции между развитыми странами за капитал, соответственно сырье и рынки сбыта. Во-первых, доля необработанных ресурсов в стоимости конечного продукта неуклонно снижается, при этом их мировые цены можно регулировать инструментами национальной монетарной политики стран – эмитентов глобальных резервных валют. При этом часть прибыли от добычи сырья изымают компании бывших стран-колонизаторов, выступающие ключевыми инвесторами в соответствующих отраслях, другая же остается локальным

ресурсно-силовым бенефициарам, в интересах которых действуют институты соответствующих государств, частично стимулируя и потребительский спрос. Во-вторых, с расшивкой наиболее критичных ограничителей индустриального развития могут справиться интеграционные образования: проблема консолидации рынка достаточной емкости решается снижением торговых барьеров и укрупнением общего рынка, а дефицит капитала у континентальных экономик покрывают морские державы. В-третьих, демографически истонченный после двух мировых войн рабочий класс фактически становится равноправным социальным партнером капитала, предъявляет запрос на расширение представительства и доли в распределении общественного продукта, активацию образовательных лифтов, минимизацию экспорта общественной стоимости, вследствие чего государства-экспансионисты – как континентальные, так и морские – сосредоточиваются в национальных границах.

В таком контексте из страны с привычным и рациональным для индустриального мира типом экспансионистского и экстрактивного поведения Советский Союз превращается в спонсора неконкурентоспособной промышленности и обременительной сети сателлитов, – в этот период страна начинает выбиваться из общего тренда на ускоренный рост доли потребления в противовес накоплению. Отказ от такого механизма перераспределения в ущерб потреблению становится практически единственной основой консенсуса элит и населения, что приводит к падению и последующей деиндустриализации страны. На рубеже веков под влиянием деконцентрации капитала повсеместно наблюдается распад или резкое ослабление централистских режимов, в демократических странах полицентрическая социальная конструкция не только обретает прочную материальную основу, но и усложняется за счет многочисленных институтов гражданского общества, харизматический способ легитимации политических лидеров повсеместно вытесняется процедурно-электоральным. В целом ряде регионов мира – как отказавшихся от собственного индустриального производства, так и лишившихся поддержки первых – открывается новая рыночная емкость, заполнение которой сопровождается расширением периметров различных интеграционных проектов под эгидой клуба развитых стран и сравнительно краткой пролонгацией периода идеологического миссионерства, однако по освоении новых ниш аппетит на такое резко снижается, прорастает идеологический «релятивизм» и «прагматизм». Отсюда на глобальном рынке лавинообразно увеличивается ниша для развивающихся стран, располагающих преимуществом дешевого и дисциплинированного труда для простого массового производства – прежде всего, потребительских товаров. Это является проекцией новой модели международного разделения труда – с развитыми странами, специализирующимися на создании отличительной ценности и являющимися бенефициарами премиальной стоимости, и странами массового производства, извлекающими стоимость на основе крайне дешевого труда и экономии на масштабе. Все страны в той или иной степени выступили выгодоприобретателями окончания холодной войны, что послужило причиной беспрецедентной по продолжительности фазы роста мировой экономики, в особенности за счет потребления. Этот феномен получил определение экономики всеобщего потребления и фактически послужил формой глобальной пролиферации тенденций, зародившихся в развитом мире в 60-е гг и набравших силу по мере перехода от капиталозависимой хозяйственной модели к капиталоизбыточной. Начиная с 90-х гг у развитых стран существенно снизилась доля военных расходов в общественном продукте, концентрация промышленного производства перестала иметь важность, а высвободившиеся ресурсы послужили скачкообразному развитию знаний и гражданских технологий – как на основе накопленных разработок двойного назначения, так и новых – и инвестициям в развивающиеся страны. Последние при этом получили капитал и технологии для первоначального обустройства – одни на основе массового производства, другие посредством увеличения объемов добычи сырья для мирового роста. Из числа городов – национальных очагов консолидации ресурсов выделяются глобальные, в которых сконцентрировано управление трансграничными потоками капитала и потому превосходящие экономическим весом государства, включая собственные. Эту парадигму принято

называть глобализацией и связывать с началом эпохи постмодерна, когда функции большинства национальных государств как центров силы и гарантов транзакционных рисков передаются наднациональным формированиям или другим государствам. Глобализация также неотделима от феномена т.н. однополярного мира, когда возможностей одного, наиболее мощного силового субъекта достаточно для обеспечения безопасности международных цепочек создания ценности, что оптимально также для их участников.

Однако в начале XXI века вытеснение ручного труда приводит к окончательному утверждению постиндустриальной парадигмы: резко ослабевает критичность экономии на масштабе, поэтому производство деконцентрируется вслед за капиталом и тяготеет к местам потребления. Преимущество в виде стоимости рабочей силы перевешивается таковым в виде минимальных логистических издержек и потребности в капитале – не только основном, но и оборотном. В этой связи, ключевым способом обеспечения конкурентоспособности стандартного производства становится сокращение товарных запасов и расстояния транспортировки – не только при сбыте, но и при снабжении, в связи с чем появляются стимулы снижать долю редкого природного сырья в стоимости продукции и использовать композитные материалы. Открывается перспектива частичного возвращения производства в развитые страны, однако в виде мелкосерийного, распределенного и роботизированного, без способности абсорбировать трудовые ресурсы в привычных объемах. Фактически Китай остается крупнейшим последовательным адептом индустриальной глобализации и характерных для нее политик – контроля судоходства, подкрепленного военным присутствием, а также иной транспортной инфраструктуры и рынков капитала. Это имеет целью не столько разместить накопленный от промышленного экспорта капитал, сколько сгенерировать источники для поддержания в будущем конкурентоспособности собственных товаров на развитых рынках путем субсидирования доставки сырья в страну и готовой продукции вовне. Однако долговременный успех политики, направленной на консервацию глобального характера рынков промышленных товаров, вызывает скепсис и одновременно опасение с точки зрения способности стран Южной и Юго-Восточной Азии абсорбировать трудоспособное население. Высвобождение трудовых ресурсов становится всеобщей реальностью развитых и развивающихся стран, создает эффект резонанса с той частью постколониального мира, которая так и не обрела конкурентоспособного способа производства и стала источником новых угроз. Глобализация перестает быть универсальным трендом: национальное государство фактически остается единственным адресатом запроса «невключенных» на снижение уровня открытости по отношению к «невключенным» из других стран, а также на перераспределение общественной стоимости от «включенных» соотечественников. Более того, в этом же контексте наднациональные образования становятся прежде всего выразителями интересов стран с застарелыми трансформационными дефектами, – особенно ярко это можно наблюдать на примере европейских институтов. В совокупности запрос «невключенных» представляет собой форму требования менее развитых к более развитым, т.е. рецидив денационализации «оккупационного бандита».

Однако и отношение к такому сдвигу как неомодерну является однобоким: в недрах этого видимого процесса развивается не менее тектонический, касающийся архитектуры «включенного» социального сегмента: отдельно взятый хозяйствующий субъект редуцируется до минимально необходимых размеров, в пределе даже до одного домохозяйства, центры кооперации для создания общественного блага становятся сколь угодно локальными, более того, их контуры могут расходиться с привычными институциональными формами, административными или национальными границами. В этих условиях справедливо говорить о дисфункции любых макрообразований, включая национальные государства и интеграционные платформы на их основе, декомпозиции таковых на различного рода микрообразования, приближенные непосредственно к гражданам, центрам создания стоимости и локальным рынкам, – некоммерческие и сетевые объединения, местное самоуправление,

самодостаточные регионы с сепаратистским потенциалом или отмежеванные от «большой земли» естественными географическими преградами. Парадоксальным образом националистический, деглобализационный запрос «невключенных» находится в противостоянии с еще более «измельченным», локальным запросом «включенных», при этом не признающих ограничивающие микроуровневую кооперацию границы и – лишь посредством этого – космополитичных. Такое притязание образованных университетских сообществ на роль своего рода глобальной «сетевой нации» архетипически вновь отсылает к доиндустриальной парадигме внеэтнической солидарности элит, однако на противоположной архетипической основе, связанной с обладанием знанием, а не силой. Более того, за счет качественного веса знаний мировая сеть полисов перерастает по своему влиянию всю совокупность национальных государств, которые сохраняют устойчивость лишь по мере способности предъявить миру глобальные преимущества своих опорных городов.

Водораздел между «включенными» и «невключенными» можно охарактеризовать как новую линию ценностного размежевания архаических и модернистских сообществ, а также как индикатор нового модуса идеологической борьбы, пришедшего на смену модусу одностороннего, миссионерского распространения универсальной системы ценностей «от проповедника пастве». В этой связи, меняется характер и источник вызовов и угроз безопасности, которые не просто становятся локальными и распределенными, – линия противостояния с ними даже топологически проходит внутри городов и поселений, на «социально-клеточном» уровне, эффективность глобального противодействия им крайне ограничена. При этом с нарастанием способности человеческого капитала создавать отличительную ценность возрастает и цена человеческой жизни, а порог чувствительности к угрозе снижается, как и объем сил и средств для создания таковой.

Массовое промышленное производство, которое становится уделом стран «рисового пояса», пока обладает высокой абсорбирующей мощностью и выступает источником запроса всего лишь на недискриминационный доступ своих товаров на мировые рынки. Впоследствии, по мере вытеснения ручного труда, эти страны еще какое-то время смогут опираться на исключительную глубину внутренних рынков, прежде чем проблема их собственных «невключенных» явит себя во всей потенциальной остроте, притом глобальной. Так, скорость замещения индустриального уклада постиндустриальным, способность к такому замещению в принципе, становится эпохальным вызовом для бесспорного глобального индустриального лидера – Китая, а также других «азиатских тигров». Кризис массового производства в Китае, в свою очередь, становится угрозой росту мировой экономики, а страны и регионы, зависимые от сырьевого экспорта, и вовсе обрекает на экзистенциальную маргинализацию. Прежде всего, это касается Африки, а также традиционных секторов экономик латиноамериканских стран и России. Состояние «невключенности» может стать и уделом весьма передовых, но не сформировавших универсальную экосистему знаний стран. Например, в таких очагах сравнительного благополучия, как Турция и Восточная Европа, прошедших тернистый путь рыночных и других институциональных реформ, но периферийных с точки зрения интеллектуального капитала, все отчетливее проявляется тренд демодернизации, связанный с «выпадением» из постиндустриального модуса развития.

Ограниченная способность экономики знаний генерировать спрос на трудовые ресурсы является критической проблемой уже сегодня, что вновь вызывает к жизни архетипический образ «лишних» людей. Этот слой порождает новое архаическое тяготение со свойственной ему социальной инкапсуляцией, в связи с чем от «невключенных» логично ожидать «покушений» на титульную или социальную территорию «включенных». «Ось атаки» «невключенных» слоев из третьих стран однозначно направлена на развитый мир и часто принимает такие формы, как нелегальная миграция, религиозный экстремизм и терроризм, «инжиниринг» турбулентности в местах социальных разломов постиндустриального общества, создание каскада очагов «гибридной» нестабильности по всему миру. Парадоксальным образом противостояние этих «невключенных» глобальным «включенным» попутно приводит к разложению обширных остатков родоплеменного строя, поскольку формирует альтернативную, глобальную идентичность у ранее инкапсулированных общностей, преимущественно субконтинентального кочевого генезиса – хотя и под знаменем исламского фундаментализма. У различных цивилизаций с экзистенциальной отсталостью или заторможенностью развития эта тенденция может послужить рассасыванию трансформационного «трюмба» в

будущих поколениях, т.е. явиться запоздалым подобием эпохи модерна, которая у большинства общностей изобиловала тоталитарными идеологиями. При этом внутри развитых стран эта «ось атаки» разнаправленна – во-первых, на «включенный» слой с целью недискриминационного доступа к системе образования как социальному лифту или с целью перераспределения общественного богатства, во-вторых, на индустриальный мир и «невключенных» из третьих стран с целью защиты рынка товаров и рабочей силы, т.е. фактически с целью консервации индустриального уклада в развитых странах. Кроме этого, как в США, так и в ЕС высок риск совпадения линии разграничения между модернистскими и архаическими сообществами с внутренними границами – сегрегации целых штатов/стран на «включенные» и «невключенные», что является экзистенциальным вызовом целостности этих образований. В этой же связи, одним из ключевых вызовов постмодерна явится внутренняя миграция из штатов Среднего Запада в штаты побережий и тесно связанная с этим проблема адекватности мощностей высококачественного высшего образования запросу.

Таким образом, экономика знаний выступает глобальным социальным вызовом и вызовом безопасности тектонических масштабов, который несколько менее выражен в странах с образованным населением небольшой численности – Швейцарии, скандинавских странах, Израиле. Как ни парадоксально, Россия имеет склонность к этой группе стран благодаря сочетанию довольно высокого качества человеческих ресурсов (при этом беспрецедентного нереализованного потенциала таковых) с такими в целом негативными факторами, как низкая плотность населения и нисходящий демографический тренд. С точки зрения структуры концентрации населения, Россию можно представить скорее не как единое, связанное пространство с высокой численностью жителей (страна входит в десятку крупнейших в мире по этому показателю даже после распада Советского Союза), а как сочленение малонаселенных, испытывающих недостаток трудовых ресурсов и слабо связанных между собой очагов, наиболее крупными из которых являются городские агломерации – центры образования.

Очагом «перманентного кризиса» с начала XXI века становится такой краеугольный камень индустриальной и переходной экономики, как финансовая система, которая не способна обеспечивать собственную устойчивость и становится обременительной для общества. Во-первых, экономика знаний обнаруживает способность умножать ценность, одновременно снижая стоимость благ, приращение которой выступало источником процентной маржи. Во-вторых, вытеснение концепта владения концептом пользования поначалу приходит в хозяйственный оборот именно посредством механизма рассрочки, – отсюда хозяйствующие субъекты переходят к прямому кредитованию друг друга и покупателя, при этом использование искусственного интеллекта облегчает управление кредитным риском стандартного, типового и массового профиля. В конечном итоге это сжимает рыночную нишу профессионального управления кредитным риском и процентной маржой. Исторически сложившись как центральный провайдер капитала – ключевого и дефицитного фактора производства, впоследствии она, напротив, стала организатором рынков, абсорбирующих избыток капитала и не связанных с созданием ценности, например, различных производных финансовых инструментов. Однако в обоих случаях финансовый сектор развивался в парадигме концентрированного бизнеса с высоким входным барьером, поэтому в новой экономике он ожидаемым образом утрачивает устойчивый источник доходов и не в состоянии окупать издержки по управлению громоздким аппаратом, сформированным под капиталозависимый хозяйственный уклад. На излете индустриальной эпохи, благодаря избыточности капитала, эта отрасль превратилась в средоточие структурных и мотивационных рыночных искажений, из которых наиболее критичным, выходящим далеко за рамки экономических последствий, выступает утрата связи между доходами и создаваемой добавленной ценностью. По причине влияния финансовой системы, являющейся «резервуаром» избыточного капитала, рост рыночной капитализации становится наиболее легко достижимым и одновременно практически единственным критерием эффективности во всех отраслях, вследствие чего происходит универсализация компетенций управленческого сословия на основе «фондового мышления». На фоне разложения стандартного производства в развитых странах – в особенности у бездефектных морских кочевников, где архетип этого уклада не основан на отличительном качестве и схож с «рисовым», – «фондовое сословие» становится бенефициаром неосновательного обогащения. Небывалыми темпами развиваются отрасли с ограниченной антропологической

плодотворностью – розничная торговля, строительство и недвижимость, простые услуги, – служащие росту качества жизни, вместе с тем формирующие запрос на премиальную оплату труда при невысокой сложности такового, соответственно создающие установку на огораживание статуса вместо усложнения навыков, приращения добавленной ценности. Также обращают на себя внимание отрасли, с которыми указанные секторы фактически вступили в конкуренцию за освоение избыточного капитала и за уровень личных доходов – престижное потребление, индустрия развлечений и спорт и т.п. Беспрецедентное и неосновательное, не аргументированное соотношением общественной полезности имущественное расслоение способствует ценностной компрометации хозяйственного механизма конкурентной рыночной экономики и закладывает основу для последующего архаического ресентимента «невключенных». Невзирая на рост корпуса этических требований к деловым, гражданским, политическим и культурным элитам – в частности, за счет деприватизации личной жизни, – на деле фактический уровень квалификационных и моральных стандартов таковых деградирует. Будучи возвращены эпохой концентрации ресурсов под централизованное целеполагание, в условиях редукции капиталоемких задач и соответствующего сужения области длинной дистанции они легче подвержены глобальной коррупции, источниками которой прежде всего служат элиты стран премодерна. Примечательным образом это способствует деконструкции наций и превращает уходящие элиты в мировой элитный «интернационал». Таким образом, неосновательная финансовая рента вызывает к жизни сословную матрицу и архетипические черты премодерна, разрушает меритократические принципы социального устройства и препятствует вертикальной мобильности.

В 1980–2000-е гг, отмеченные резонансом роста глобальной экономики с падением капиталоемкости этого роста, бизнес-модель финансового сектора претерпевает промежуточную трансформацию. Если ранее высокий спрос на капитал со стороны реципиентов и сравнительно высокие процентные ставки способствовали масштабированию классической модели коммерческого банка на основе процентной маржи, то избыток капитала имел следствием рост спроса на возможности по его размещению со стороны доноров. Это способствовало вовлечению в инвестиционный оборот активов с собственной потребительской ценностью либо традиционно оцениваемых на основе фундаментальных показателей – недвижимости, ценных бумаг, производных инструментов на финансовые активы и сырьевые товары. В этой связи, динамика рынков инвестиционных активов отрывается от динамики как фундаментальных показателей, так и показателей экономического роста в целом. Растут объемы торговли инвестиционными инструментами и номенклатура таковых: невзирая на общую волатильность рынков, расширение свободного капитала делает среднесрочные тренды монотонно повышательными. В совокупности доступность капитала способствует невиданному масштабированию в финансовом секторе платформ, генерирующих комиссионный доход и доход от возрастания капитала, – за счет услуг инвестиционного консалтинга, доверительного управления, управления активами, включая пенсионные накопления, и т.п. – что соответствует модели инвестиционного банка и смежных сегментов.

В условиях роста общественного доверия, развития информационных и коммуникационных возможностей, в отрасли финансового посредничества происходит резкое снижение входного барьера, – донор и реципиент капитала находят друг друга способами, связанными практически с нулевыми транзакционными издержками. Экономика практически перестает быть отзывчивой к доступности капитала, различные методы регулирования которого традиционно лежат в основе макроэкономической политики. Монетарные власти поставлены перед выбором между радикальной денежной экспансией с целью поддержания финансовой системы, и радикальной денежной рестрикцией, которая диктуется снижающимися потребностями экономики в капитале. Абсурдность обоих вариантов становится очевидной, если учесть, что государству в них отводится роль не только кредитора, но и заемщика последней инстанции – соответственно из-за избыточной массы денег в обращении и из-за их избыточной стоимости, при этом последний вариант дополняет роль государства как самого дешевого кредитора еще и ролью условного дорогого заемщика, тем самым субсидирующего финансовый сектор. Смысл денежной экспансии фактически сменяется с эмиссионного стимулирования экономики на эмиссионное

кредитование государственного бюджета, поскольку хозяйствующие субъекты с некоторым временным лагом используют заемные средства для инвестиций в суверенный долг. Смыслом денежной рестрикции и вовсе выступает отказ монетарных властей от кредитного участия в экономике, довольствующейся накопленным собственным капиталом хозяйствующих субъектов, – т.е. эрозия самих основ денежной системы. Элиминирование промежуточного звена в виде сектора торговли кредитным риском за процентную маржу обнажает тот факт, что способность государства привлекать ресурсы становится практически неограниченной. Однако общество примет государство в качестве платформы для перераспределения ресурсов лишь при условии, что оно представляет собой недорогой и эффективный аппарат, в пределе электронную площадку, – в противном же случае будет искать провайдера такой услуги среди других институтов. Такой вызов может принять лишь государство короткой дистанции, оперирующее в условиях прямой демократии, либо муниципалитет, – когда граждане исторически привыкли рассматривать этот институт как инструмент решения коллективных задач первой необходимости (см. ранее), поэтому не видят смысла искать ему альтернативу в этом качестве. Для государств другого типа новая ситуация станет тестом на институциональную состоятельность и неизбежно приведет к перетоку их основных полномочий в доступную соответствующей общности область короткой дистанции – вероятно, на уровень городского самоуправления или иных плотных сообществ.

Финансовый инвестор – а с ним и в целом морской метаархетип – перестает определять инвестиционные решения в общественном масштабе, поскольку капитальный барьер более не является критичным. В этой связи, и система координат «риск-доходность» перестает быть естественным регулятором структуры экономики, а хозяйствующие субъекты ввиду доступности долгосрочного капитала утрачивают отзывчивость к регулирующим инструментам, вмешивающимся в уровень сравнительной привлекательности этого соотношения (в сторону улучшения или ухудшения), если только они не представляют собой прямые невозвратные субсидии либо, напротив, запретительные барьеры. Избавившись от капиталозависимости, развитые страны поднимают стандарт контроля чистоты происхождения капитала в собственной финансовой системе, что создает напряженность в отношениях со странами «третьего мира», хозяйственный уклад которых не только построен на силовом изъятии прибавочной стоимости, но и не обеспечивает внутреннего спроса на инвестиции. В недрах этого «взлотекущего» процесса можно различить очертания точки бифуркации эпох тектонического значения – дефляцию, «обнуление» капиталов, накопление которых являлось абсолютной квинтэссенцией индустриального и переходного периодов, т.е. хозяйственной жизни десятков поколений на протяжении нескольких веков. Драматизм описанного феномена имеет отношение к тому, что денежная система капиталоемкой индустриальной экономики основана на кредитной эмиссии и потому нацелена на реинвестирование всего объема ресурсов в обращение. В силу природы этой системы домохозяйства и фирмы не могут суверенно реализовать решение о распределении располагаемых средств между текущими нуждами и рисковыми вложениями. Сам факт обладания денежными средствами – независимо от их назначения – вовлекает их владельца в трансформацию рисков посредством банковской системы, поскольку не существует отдельного от института торговли риском института хранения денег, платежей и расчетов. Социальный уклад «без капитала» знаменует собой цивилизационную веху в экономико-антропологической эволюции – появление человека нового типа, с новым мотивационным механизмом и образом жизни.

Несомненно, уход в прошлое основанной на управлении накоплениями финансовой системы индустриальной эпохи представит исключительную сложность также и с точки зрения организации текущего хозяйственного оборота, что придаст лавинообразное ускорение трансформационным процессам. Государства, муниципалитеты, корпорации и некоммерческие организации будут вынуждены в сжатые сроки учреждать новые платежные инструменты для выполнения своих обязательств, –

соответственно институты накопления и кредита будут отторгнуты от платежно-расчетных механизмов и обеспечения текущего транзакционного оборота. Поначалу это создаст мультивалютные денежные системы в пределах одних и тех же общностей – равно как приведет к сегрегации домохозяйств и фирм по валютным зонам. Отсюда, во-первых, появится мощный стимул к фрагментации крупных общностей и сплочению измельченных с тем, чтобы максимальное количество транзакций замкнуть в пределах круга лично знакомых людей – на условиях обязывающего дарения. Во-вторых, в отношениях эквивалентного обмена между общностями это естественным образом сделает более устойчивыми, весомыми, широко принимаемыми в расчетах платежные средства тех акторов, которые имеют преимущество с точки зрения обязательств перед ними – по количеству дебиторов, сумме расчетов или значению отношений, служащих причиной возникновения таких обязательств. Следует ожидать, что в результате конкуренции платежных средств мировая валютная система примет трехсекторный вид. Глобальным платежным средством здесь будет выступать валюта, которая эмитируется университетскими экосистемами для собственной деятельности, соответственно используется их участниками для закупки благ по всему миру, – при этом другие общности смогут ее применять для встречных расчетов по пользованию интеллектуальными правами при производстве на их основе товаров и услуг. Далее, в городских агломерациях для расчетов по транзакциям между входящими в них малыми общностями смогут использовать собственные валюты. Наконец, вполне вероятно, что в регионах с экстремально высокой плотностью населения, прежде всего в Юго-Восточной Азии, в силу пространственной сложности организации малых оседлых сообществ и известной хозяйственной автаркии, достаточно долго будут сохраняться национальные или региональные валютные системы. Однако они также не будут основаны на кредитных принципах и не обязательно должны иметь эмитентом национальное государство, – его может заменить, например, платежный инструмент цифровой платформы, ядерным элементом которой выступает маркетплейс электронной торговли как крупнейший «транзакционный хаб».

Кризис финансового капитала и связанных с ним институтов поначалу предоставит преимущество странам, предлагающим на глобальном рынке товары первоочередного спроса, и это нарушит сложившийся в эру глобализации баланс между «рисовыми» общностями – экспортерами и морскими кочевниками – импортерами в пользу первых. Основная часть экономики вторых зиждется на капиталозависимых отраслях, прежде всего финансовой инфраструктуре, на способности генерировать избыток капитала и эмитировать глобальные платежные средства, – в этой связи основные фонды, инфраструктура и прочие активы окажутся наиболее доступным средством моментального обеспечения бесперебойного снабжения внутреннего рынка товарами массового спроса. Однако такой успех не будет долговечным и, напротив, ускорит импортозамещение товаров массового производства, переход к местному, распределенному и роботизированному производству, – что, в свою очередь, поставит под угрозу распада актуальную хозяйственную модель самих «рисовых» общностей, основанную на глобальном спросе, выпуске значительных в сравнении с локальными потребностями излишков. В переходный период в относительной «табели о рангах» свое положение сохранят также и европейские промышленные страны, а также экспортеры сырья и продовольствия, – последние смогут по-прежнему эксплуатировать эти товары в качестве средства платежа за снабжение внутренних потребительских рынков в недостающих номенклатурах, однако и здесь период сравнительной устойчивости окажется скоротечным. Дисфункция таких системообразующих формальных институтов, как финансовый сектор и национальное государство, обязанных своим существованием общественной потребности в концентрации ресурсов, означает качественное перерождение механизмов перераспределения общественного богатства – как в национальном, так и в международном масштабе. В конечном итоге в лиге общностей с развитой системой образования и элементами научно-технологической экосистемы в значительной степени произойдет сближение – если не выравнивание – стартовых позиций, без очевидного отрыва лидера от оставшейся совокупности. Напротив, общности с трансформационными

дефектами – от деформированных морских кочевников в Европе до третьего мира, – требующие внешнего управления в той или иной форме, с высокой вероятностью обратятся в архетипически естественное, бессубъектное состояние (см. ниже), – что, впрочем, на этом витке не тождественно ущербу стандарта жизни индивида, домохозяйства.

* * *

Контур дальнейшей социальной эволюции постмодерна пока нельзя считать отчетливыми и имеют утопические признаки, однако также в некотором роде апеллируют к премодерну и свидетельствуют о грядущей фронтальной «деинституционализации» в привычном смысле – маргинализации формальных институтов по сравнению с неформальными, неуклонном «измельчании» их периметра, стирании границ между частной и публичной субъектностью, трудом и личной жизнью, домом и работой, институциональным атрибутом суверенитета (например, судом или полицией) и профессиональным сервисом и т.п. Появление практически безбарьерного, в пределах редуцированного до одного занятого, стандартного производства предметов потребления, по всей видимости, означает перспективу перехода такового – в пределах одного локального очага концентрации населения – в режим, похожий на натуральное хозяйство, без создания излишков для реализации вовне, добавленной стоимости как таковой и накопления капитала. В этом случае следует ожидать некоторого сглаживания вызывающих различий в уровне потребления, причем в отдаленной перспективе в глобальном масштабе, что открывает путь повсеместному распространению института «гарантированного гражданского дохода» – например, за «выполнение функций» потребления, а также рождения и воспитания детей, как общественных – и снижению остроты проблемы бедности, угроз безопасности. Это одновременно означает, что дошкольное и отчасти школьное образование – прежде всего на базе семьи и лишь затем институциональное – становится крупнейшим резервуаром занятости, абсорбирующим высвобождающиеся трудовые ресурсы. Более того, существенное увеличение количества взрослых воспитателей, приходящихся на одного ребенка, может оказаться причиной революционного скачка в реализации потенциала человеческого мозга по сравнению с «привычным» уровнем, прологом к следующему витку эволюции технологий, социальных отношений и уклада жизни. Вероятно, маргинализация физической силы как фактора труда и принуждения приведет к коренному изменению модели семьи – с точки зрения распределения социальных ролей мужчина и женщина станут практически неотличимы, – а заодно и общества, поэтому в социальном поведении архаическая психология доминирования-подчинения в принципе перестанет воспроизводиться.

Хотя существует целый комплекс мотивов, влияющих на общественное представление о нормальном количестве детей в семье, вероятно, среди наиболее тяжеловесных – вероятная зависимость от детей в старости. Так, на примере абсолютного большинства цивилизаций легко заметить, что уровень рождаемости находится в обратной зависимости с интегральным уровнем развития, который в данном случае можно прежде всего свести к продолжительности жизни вообще и детской смертности в частности, а также качеству институтов обеспечения старости.

Рецепты индустриальной эпохи, позволившие многим странам преодолеть историческое отставание – развитие на основе заимствования образцов и технологий, преимущества по стоимости рабочей силы и географического положения – можно считать безвозвратно утратившими актуальность. Развитие и удешевление технологий ускорило настолько, что устаревшие утрачивают способность приносить стоимость немедленно и практически полностью, так что изменение положения той или иной страны в «табели о рангах» глобального развития невозможно без способности самостоятельно

технологии разрабатывать, – более того, именно способность разрабатывать, а не производить будет обеспечивать заметную добавленную стоимость. Прежде всего это важно для стран с дефектами промышленного развития, не вышедшими из предыдущего технологического уклада с должными преимуществами по качеству экосистемы знаний и человеческого капитала: в дальнейшем им придется восполнять это упущение иными, чем прежние чемпионы, методами, не ориентируясь на примеры успеха. Процесс разработки все больше будет утрачивать прямую – в рамках одного хозяйствующего субъекта – связь с коммерческой отдачей, хозяйственный механизм разработок сведется к созданию общественного блага. Это означает концентрацию премиальной стоимости в крупнейших универсальных центрах знаний: ввиду эрозии междисциплинарных границ, отраслевая специализация, которая в индустриальную эпоху выступала «лазейкой» для небольших стран, не может более обеспечить даже нишевого лидерства. При этом ядро экономики из коммерческого сектора окончательно сместится в некоммерческий, прежде всего систему непрерывного образования – вплоть до размывания границ между корпорациями и университетами как институтами. Очевидно, капиталоемкие блага – вплоть до дорогостоящего оборудования – постепенно будут приобретаться из коллективных фондов, с другой стороны неуклонно будет расширяться круг общественных благ, для создания которых институт национального государства является избыточным. Периметр субъектов кооперации будет измельчаться, что приведет к более или менее прямому участию индивидов в принятии коллективных решений и снизит роль представительной власти, а площадки кооперации станут формироваться путем перепрофилирования любых институтов, имеющих экспертизу управления коллективным финансированием, – страховых компаний, пенсионных фондов и фондов коллективных инвестиций, некоммерческих организаций, муниципалитетов и пр. Такие институты кооперации будут стремиться приобретать блага у конкурирующих профессиональных провайдеров, которые, вероятно, возьмут на себя многие публичные функции – не только в образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, но и некоторую часть связанных с обороной, безопасностью и даже судопроизводством.

В предложении большей части своих услуг профессиональные провайдеры не будут ограничены национальными рамками, более того, профессиональным сервисом станет и управление приобретаемыми этими услугами институтами коллективного финансирования, что откроет возможность неограниченного экспорта институтов в страны с застарелыми дефектами их развития, своего рода «горизонтальной институциональной реколонизации». В этой связи, легко предугадать, что основным содержанием глобальной повестки дня становится доставка институтов и мощностей для мелкого локального производства товаров первой необходимости в такие страны, в т.ч. в рамках международной помощи. Для развитого мира доставка приемлемого качества жизни в отстающие страны очевидным образом является наиболее эффективным способом противодействия угрозам безопасности на собственной территории, т.е. разновидностью общественного блага, к созданию которого применимы принципы коллективного финансирования граждан. Однако одновременно резко снизится функциональная нагрузка на все ветви власти, их полномочия и актуальность регулярной сменяемости, что также приведет к дисфункции тех институтов, легитимность которых производна от легитимности национального государства, включая большинство национальных правовых систем и международное право. В этом плане вероятно лавинообразное распространение в мировом масштабе англо-саксонской системы права как наиболее адаптивной, индифферентной к субъекту законодательства и саморазвивающейся посредством судебного прецедента, который без участия специальных нормотворческих институтов кооптирует в корпус права регулирование актуальных общественных процессов и явлений. В то же время, в международных отношениях ввиду некоторого самоустранения развитых стран от функции принуждения необходимо ожидать вакуума ответственности, временной активизации автократий (пока издержки международной ответственности не станут для них

непосильным – возможно, фатальным – бременем), снижения дисциплины исполнения любых соглашений.

Примечательно, что редукция человеческих общностей до периметра непосредственным образом знакомых – в реальном или виртуальном мире – напоминает социальную организацию эпохи, предшествовавшей зарождению культуры земледелия. Ввиду малочисленности общностей, силовой ресурс, вероятно, был общедоступен и не имел столь ярко выраженного влияния на структуру общественных отношений, как впоследствии. В очертаниях постмодернистского мира угадываются и черты нового преמודерна с его характерными признаками. Это может свидетельствовать одновременно о переходе экономико-антропологической эволюции на новый виток «премодерн – модерн – постмодерн» и о перспективе сосуществования во времени современного постмодерна с новым преמודерном, будь то взаимовыгодного и/или конкурентного. В основе преמודерна, нового или прототипического, лежит такой способ производства, при котором человек не создает отличительную ценность, поэтому его легко принудить к труду по минимальной стоимости или заменить другим, а также контролировать качество такого труда без специальных знаний. Как правило этот способ производства основан на сконцентрированных в пространстве и примитивных, но редких, легко монетизируемых ценностях, добавленная стоимость от которых присваивается силой. Однако субститутom физического принуждения может выступать устранение из мыслительного процесса человека элементов выбора либо их существенное ограничение, более того, преимущества выгодоприобретателя силового ресурса обеспечивает также и предсказуемость такого выбора для владельца предсказательной технологии: даже если с субъективной точки зрения выбор не ограничен, с объективной его результат детерминирован. Искусственный интеллект и цифровые технологии вообще по своей природе имеют целью минимизировать роль субъективного начала как в создании, так и в потреблении ценности, притом не просто путем предсказания поведения, но и целенаправленного побуждения к определенному типу действий, отклонение от которого может повлечь санкции. Более того, основанный на таких технологиях мир подразумевает неограниченный доступ информационных систем к сведениям о любых аспектах жизнедеятельности человека, а полученный массив данных становится «техническим наполнителем» платформ продажи товаров и услуг, которые выступают безальтернативным каналом маркетинга в условиях деконцентрации производства и экспоненциального роста числа производителей, сопутствующего размыванию института бренда. Следовательно, благодаря агрегированию и обработке данных, ранее рассредоточенное звено потребления ценностей в цифровую эру может стать источником локализованного ресурса, а центром его присвоения с высокой вероятностью выступят корпорации – фабрики данных.

В настоящее время цифровые технологии являются источником модернистского тяготения, поскольку находятся в стадии скачкообразного роста, который требует постоянной вовлеченности человека с отличительными характеристиками в создание ценности. Однако алгоритмизация сферы создания и потребления простых монетизируемых ценностей является задачей с довольно ограниченным временным горизонтом и открывает путь к превращению цифровых гигантов в архетипических преемников ресурсно-силовых кланов преמודерна, к которым «лишенный свободы» потребительского выбора – в понимании непредсказуемости такового – будет «принадлежать» по факту потребления. Эти образования не будут застрахованы от родовых признаков вертикальной социальной организации, однако агрессивность их экстрактивного поведения будет ограничена заинтересованностью в росте потребления и доступностью собственно потребительских ценностей. «Обременение» потребления через инструмент монетизации данных замещает собой перераспределение прибавочной стоимости, включая налогообложение, поэтому логично ожидать постепенного перемещения в периметр цифровых фабрик институтов создания общественного блага для «приданных» потребителей и производителей. Это касается не только благ в образовании и здравоохранении, пакеты пользования которыми могут

распространяться по обычным каналам электронных продаж, в привязке к прочим действиям в системе, но и публичных институтов, «посягательство» на функции которых лишь поначалу будет ограничиваться сферой непосредственной компетенции – например, предложением удобных и дешевых аналогичных государственным простейших услуг или третейским арбитражем между продавцами и покупателями – скорее всего, также электронным. Напротив, фабрики данных продолжают вторгаться на «каноническую территорию» государства модерна с точки зрения ресурсов, функций, правоприменительной силы и участия в жизни человека, «обесточивая» привычные публичные институты и подрывая их легитимность, что будет отзываться общественным напряжением. В этом контексте вполне вероятна волна цифрового протекционизма – ограничений на сбор данных собственных граждан для иностранных компаний.

Вместе с тем, ошибочно переоценивать угрозу «левиафанизации» цифровых платформ, – избыточный алармизм в отношении этого явления связан с тем, что его зарождение пришлось на излет эры глобализированных рынков, когда длинная дистанция все еще является нормой хозяйственного оборота. В то же время всевластию этих платформ противостоит распределенный способ производства ценности в офлайне, – когда производство большинства ценностей будет происходить в расчете на рынок сравнительно небольшой общности, а электронной площадкой для коммуникации и маркетинга будет служить не столько глобальная социальная сеть вообще, сколько конкретно ее автономная локальная ячейка. Кроме того, изобилие информации в возрастающей степени делает внимание индивида ограниченным и платным ресурсом, цена которого возрастает по мере убывания органического интереса к определенной информации. Отсюда для новых участников рынка инвестиции в первоначальное внимание будут снижать соответствующие затраты в последующем, – что соответствует закономерностям экономики маркетинговой деятельности. Это создает у индивида стабильный и самостоятельный источник доходов, которые в основной части будут обращаться в рамках локальных сообществ производителей и потребителей, для которых будет характерна норма короткой дистанции, – отсюда такое сообщество приобретает силу наделять и отзываться полномочия, участвовать собственными ресурсами в решении общих задач. Таким образом, доля цифровых платформ в общественном продукте не позволит им узурпировать принятие повседневно значимых норм, – более того, вероятно, и эти доходы будут уравновешены новыми обременениями по предоставлению публичных услуг. Наконец, в весьма обозримой перспективе значительное количество платформ в мире будет обладать данными примерно об одном и том же массиве платежеспособных пользователей, что существенным образом осложнит монетизацию соответствующего конкурентного преимущества и сделает сбор и хранение данных инфраструктурой общего доступа. Следует ожидать расслоения внутри цифровых конгломератов: команды отдельных приложений, позволяющих монетизировать данные, в возрастающей степени будут обретать самостоятельность ввиду низкого входного барьера и высокой доступности данных. Скорее в конечном итоге за цифровыми платформами закрепится функция интеграторов универсальных цифровых решений для разных типов пользователей, которые останутся единственным сегментом услуг длинной физической или виртуальной дистанции, – наподобие государственных услуг, оплачиваемых по стандартной пошлине. Такое положение рядового пользователя в цепочке распределения стоимости позволяет предположить примечательные последствия в соединении с магистральным направлением развития платформ социальной коммуникации, выполняющих также роль площадок электронных продаж. Так, естественное в таких условиях право индивида на субъектность может быть реализовано фронтальным расширением практики пользовательского голосования по нетехническим вопросам функционирования системы – например, применительно к криптовалютному денежному обращению (см. ниже).

В странах или регионах, где сформирована универсальная экосистема знаний, вероятнее всего, конфигурация цифровых «кланов» будет полицентрической, поскольку прочие разновидности входных барьеров, помимо компетенций, не являются критичными для этого уклада. В то же время, силовым

элитам автократий будет сложно устоять против соблазна установить контроль над наиболее обширным «резервуаром» общественной стоимости в концентрированном виде. Однако следуя логике премодерна, поэтапно это скорее приведет к «обратному поглощению» путем перетекания функций – а возможно и некоторой части бюрократических элит – в новые конгломераты, которые в случае чрезмерной концентрации рынка также не застрахованы от дробления изнутри силами конкурирующих групп. Это может привести к экспликации полицентрической социальной структуры в странах, в явном виде не имевших ее ранее, например, в Китае. При этом в тех автократиях, которые вовсе не располагают собственными ресурсами по разработке информационных систем, фронтальное распространение таковых будет сопряжено с активностью государственной бюрократии по импорту готовых технологий на стадии, когда они станут серийными, т.е. скорость их развития радикально снизится. Однако не следует автоматически проецировать на «цифровой портрет» той или иной страны сложившуюся ранее институциональную архитектуру, которая вытекает из объективно сложившегося способа производства, поскольку на этом переходе окончательно утратят значение дефекты индустриального развития, но проявится критическое значение дефектов экосистемы распространения знаний. Последние, вероятно, вынудят и некоторые развитые страны, не имеющие собственных возможностей разработки информационных систем, предоставить потребительский рынок в распоряжение иностранных корпораций, что в условиях дисфункции постиндустриального государства как института будет равносильно утрате общностью субъектности. С другой стороны, в разряд лидирующих развитых цивилизаций, вероятно, войдет Россия, поскольку издержки доставки продукта не будут более определять структуру экономики, а границы рынка перестанут быть географически ограниченными. В этой связи, единственным фактором национальной конкурентоспособности следует считать состояние экосистемы знаний, которая, наряду с развитием, непрерывно подвергается эрозии.

Однако наиболее радикальные изменения в цифровую эру следует ожидать в Южной и Юго-Восточной Азии, в силу численности населения располагающей наибольшим потенциалом роста потребления, которое выступает точкой монетизации массивов данных, при этом по меньшей мере Индия, Южная Корея, Китай и Япония определенно обладают возможностями собственной разработки. Примечательно, что образ мысли и социального взаимодействия, диктуемый «рисовой культурой» и когнитивными особенностями «иероглифического» архетипа, облегчает алгоритмическое описание действий человека без риска утраты каких-либо отличительных преимуществ. Эта совокупность факторов делает вероятным не просто ускоренное распространение цифровых технологий в этом регионе, но и переход к нему неоспоримого лидерства в отрасли по мере того, как эти технологии станут стандартными и перестанут стремительно развиваться. Более того, Индия и Китай с неизбежностью укрепят свое глобальное влияние, поскольку для стран третьего мира с их хроническим отставанием в уровне потребления именно они в возрастающей мере будут становиться достижимой социальной ролевой моделью и источниками образцов.

Это обозначает линию нового размежевания с менее населенным первым миром, обладающим насыщенным потребительским рынком, – по-видимому ему не удастся в долговременной перспективе удержать лидерство в цифровых технологиях, которое сохраняется лишь в силу темпов их развития и постоянной потребности в отличительном вкладе человека в разработку. Без сомнения, цифровые платформы послужат фронтальному распространению здесь механизмов прямой демократии и снижению роли привычной институциональной архитектуры модерна. Конкурирующие фабрики данных здесь – гораздо раньше, чем в других странах, где потребительский рынок далек от насыщения, – станут общественной инфраструктурой, окажутся вытеснены в некоммерческий сектор и еще теснее интегрируются в структуру университетов. Более того, и премиальная стоимость станет аккумулироваться в университетских экосистемах: аддитивные технологии делают предметом оборота в пространстве длинной дистанции не физический продукт, а принадлежащую

разработчику/правообладателю модель продукта, который может быть изготовлен по заказу и месту жительства потребителя, без удаленной доставки, с минимальной маржой производителя. В этой связи, университеты и «нанизанные» на их ткань города имеют основания принять на себя миссию протогосударств – центров общественного блага, в противовес цифровым «кланам» в Азии. Исключением здесь не станет и Россия, которая обладает крайне ограниченной емкостью потребительского рынка и со временем утратит возможность эксплуатировать преимущества лидера разработки, что окончательно отторгнет развитие русской цивилизации от азиатской колеи и сделает ее органичной частью «северной оси».

Однако ключевым конкурентным преимуществом развитых стран станет новый виток изучения способностей мозга и сознания, определяющих отличительные творческие способности человека и междисциплинарный трансфер знаний, который «иероглифическим» архетипом, напротив, осложняется. «Линией защиты» лидирующего места человека в общественном развитии является то, что «делегировать» искусственному интеллекту возможно лишь ясно и подробно описанные механизмы функционирования биологического интеллекта. Тем самым фактически прогресс первого напрямую зависит от прогресса в познании себя самого вторым, – при этом, насколько можно судить, достижения в этом направлении справедливо оценить как чрезвычайно скромные. Отсюда соперничество искусственного интеллекта с биологическим можно представить как разновидность противостояния силы и знания соответственно: последнее остается единственным фактором непредсказуемости человека для новых центров «силы», соответственно основой сохранения его субъектности, более того, права на представительство своих интересов. Этот новый виток соревнования условного «платоновского мира» и условного «аристотелевского мира» необходимо трактовать как явление более высокого порядка, чем переход к следующему технологическому либо даже социальному укладу, – он может привести к очередной «конечной» точке антропогенеза, каковой в настоящее время полагается появление разумного человека. Отсюда вытекают две различные модели «стационарного бандита» – соответственно основанная на сугубо экстрактивном архетипе, подобно скотоводам-кочевникам по отношению к оседлым земледельцам, и аналогичная городам-республикам Античности и Ренессанса по отношению к межеумочным землям, т.е. предполагающая цивилизаторскую миссию. В этой связи, конкурентное преимущество в следующее столетие обретут те страны, которые не станут ограничиваться только участием в цифровой гонке, а совместят это с опережающим развитием естественных наук о человеке, социальных наук и искусств. Вместе с тем, независимо от архитектуры «стационарного бандита», эра конвергенции цифрового и биологического интеллекта, превращающая информацию в единственный глобальный экстрактивный ресурс, несомненно сделает такого «бандита» оператором новых институтов ограниченного доступа, соответственно новых режимов сегрегации. Если в сетевом хранении и обработке данных, вероятнее всего, будет задействована вся совокупность биологической и цифровой памяти, то доступ к такому распределенному ресурсу в том или ином виде станет объектом регулирования. Результатом этого вряд ли будут выступать транзакционные издержки времени на преодоление барьеров, – скорее это приведет к стратификации «окупированных» с точки зрения представительства их интересов, соответственно воспроизводству проблемы социального лифта.

Примечательно, что это обстоятельство предоставляет различным странам Средиземноморья, накопившим беспрецедентный пласт гуманитарной культуры и эстетических образцов (наиболее выдающийся пример в этом ряду – Италия), уникальный шанс вновь войти в число лидеров мировой цивилизации – по аналогии с эрой премодерна, к которой социальная организация постмодерна апеллирует по многим аспектам. Так, этому может способствовать рост числа самозанятых и работающих удаленно, что даст индивиду возможность менять место жительства на более благоприятное по природным условиям и пищевой культуре, при этом сохраняя прежние социальные, в том числе деловые, привязанности. В этом случае с высокой вероятностью он отдаст предпочтение странам с современными

– пусть и не лидирующими – образовательными институтами, что со временем позволит интегрировать их в местные экосистемы знаний. Это, однако, требует существенной коррекции позиционирования и практик импорта капитала, – наряду с предложением престижного размещения такового, актуально предложение качественного и доступного образа жизни, не обременяющего носителя знания необходимостью преодолевать сословные барьеры. В западной полушарии бенефициарами этого эффекта могут выступить передовые страны Латинской Америки, для России же, в силу разнесенности в пространстве центров образования знаний и мест с теплым климатом, этот фактор имеет довольно ограниченный эффект, однако по различным соображениям он может положительно сказаться на привлекательности Петербурга и Казани.

Таким образом, ключом к успеху и на западе, и на востоке станет способность не только развивать собственный человеческий капитал, но и привлекать таковой с недостающими архетипическими характеристиками извне. В этом плане интересной проблемой является сама возможность совместить лидерство в развитии искусственного и биологического интеллекта, что требует принципиально разных количественных и качественных характеристик населения. По совокупности таковых, некоторые предпосылки «двойного» лидерства в отдаленной перспективе можно отметить у Индии и цивилизационно родственных ей стран, что открывает перед ними уникальные возможности эксплуатировать эту синергию для «реинжиниринга» внутреннего социального уклада и собственной глобальной роли. Разумеется, в этом контексте наименования стран – как и само понятие страны – весьма условны, они относятся к общностям с соответствующей современной государственностью, которая претерпит существенное переформатирование по территории и социальной организации.

5.3 Архетипическая классификация стран с точки зрения трансформационной колесницы.

Эволюционные ограничения экономической политики

При общих особенностях «рисунка» индустриального этапа, определяющих также и «рисунок» выхода из него, можно выделить и существенные особенности различных цивилизаций, разделив их на пять категорий: с *доступностью человеческого капитала и избытком ресурсов*; *доступностью человеческого капитала и достаточностью ресурсов*; *недоступностью человеческого капитала и достаточностью ресурсов*; *недоступностью человеческого капитала и недостаточностью ресурсов*; *доступностью человеческого капитала и недостаточностью ресурсов*. Для каждого из этих случаев характерно свое соотношение государственного и частного – централизованного и распределенного – участия в развитии индустриального уклада в качестве источника спроса и капитала, в том числе для институтов общественного блага, а также изменение этого соотношения во времени. Особое значение в этом контексте имеет достаточность ресурсов для гарантий рабочему классу как наиболее многочисленному социальному слою индустриальной эпохи, без партнерства с которым капитал не может реализовать свою социальную миссию. В этот период он интенсивно пополняется за счет выходцев из крестьян, вовлекаемых в урбанизацию и предъявляющих запрос на представительство, а также служащих источником живой силы для многочисленных и ожесточенных военных конфликтов эпохи модерна, при этом рабочий класс представляет собой наиболее пассионарную и подготовленную к деархаизации часть общества. Лишь в странах первой категории и начальная, и конечная фаза индустриального периода в существенной мере опираются на частных акторов рынка, пик государственной поддержки приходится на наиболее капиталоемкий отрезок, сопровождаемый также обострением военной активности. Во всех остальных случаях правящий слой до последней возможности избегает модернизации, поскольку концентрация ресурсов одновременно означает появление крайне

влиятельных институтов по управлению ими и фактическое обесточивание феодальной элиты. Во второй и третьей категориях, объединенных достаточностью ресурсной базы, тем не менее, индустриализация с самого начала обусловлена участием государства, собственного или чужого, и лишь на излете этого периода экономика может преимущественно опереться на ресурсы частного сектора. Наконец, в двух последних случаях индустриальное хозяйствование если и возможно, то не в расчете на ресурсы частных акторов на всем своем протяжении, а в случае отказа от доминирования государства в экономике уклад разлагается и обращается в доиндустриальный и/или – теоретически – постиндустриальный. Страны каждой последующей из этих трех групп вступают в индустриальную гонку под давлением конкурентных и военных вызовов со стороны каких-либо участников предыдущих, более передовых групп, а также колониального воздействия. Если роль первой группы во всех частях мира выполняют примерно одни и те же державы, благодаря доминированию на море приобретенные в индустриальную эпоху статус глобальных, то последующие скорее специфичны для каждого региона – Европы, Юго-Восточной Азии, Америки. Угрожающее существованию отставание побуждает государства и институты «догоняющих» к централизации, притом по мере снижения благоприятности первоначальных условий нарастает степень таковой, а соответственно естественная для автократий «зацикленность» на безопасности в противовес развитию, т.е. военном аспекте противостояния и военно-техническом элементе индустриализации. В конечном историческом итоге, с точки зрения успешности такого противостояния, группы стран располагаются скорее в порядке вступления в индустриальную гонку, однако ошибочно лидерство первой категории относить на счет сохранения демократического устройства, – и это, и собственно военный успех связаны именно с благоприятностью условий для накопления капитала. Примечательно также, что и лидерство в развитии, основанном на дешевой рабочей силе и массовом типовом производстве, переходит эстафетой от одной выгодно расположенной в транспортном отношении страны к другой – от Великобритании к США, затем к Германии и Японии, от них к Корее и островным азиатским тиграм, наконец, к Китаю, отчасти Индии и прочим странам этого наиболее густонаселенного региона мира. Напротив, модель роста, основанная на отличительном качестве продукта (Германия, прочие страны центра и севера Европы) или освоении природных рент на субконтинентальных пространствах закрепляется на исторически продолжительный период.

В капиталоизбыточных США и Великобритании, значительно мягче других прошедших индустриальный период, повестка дня распределения общественного продукта традиционно сужена до проблемы уровня доходов, в обеспечении которого самодельная занятость и предпринимательство составляют конкуренцию работе по найму. Здесь капитал имел возможность откликнуться на запрос рабочего класса и обеспечить приемлемый уровень заработной платы, трудовых прав вообще, поэтому институциональная архитектура не претерпела в этот период существенных изменений, невзирая на вызовы. Показательно, что ни в одной из стран Северной Европы действие таких традиционных церемониальных институтов, как монархия и наследственные титулы, не прекращалось даже после буржуазных революций, поскольку ни тогда, ни впоследствии они не становились препятствием на пути деархаизации. Для всех упомянутых стран характерен активный и доминантный, не подверженный дефектам морской метаархетип, хотя и различного толка: в англо-саксонском мире индивиды тяготеют к самостоятельному приобретению благ и максимизации наличного дохода, в то время как в прочих – к коллективному приобретению равнодоступных благ, составляющих предмет общественного согласия.

В «догоняющих» странах, напротив, вызовы индустриальной эпохи повсеместно, хотя и под различными идеологическими легендами, сопровождалась насильственными «взломами» традиционного общественного устройства – силами либо с участием рабочего класса, которому здесь капитал не был в состоянии обеспечить достаточного уровня базовых гарантий. Показательно, что предложение индустриальных автократий рабочему классу, как правило, состоит в обеспечении высокого уровня прямых трудовых и социальных гарантий, вплоть до пакета благ в натуральном выражении. Соответствующая традиция сохраняется в этих странах после преодоления капиталоемкости индустриального уклада и демократизации режима, чем архетипически отличается от такой традиции в скандинавских странах с их изначально укорененным коллективным хозяйствованием и распределением: патернализм не тождествен коллективизму. Более того, между всеми индустриальными державами, стереотипно представлявшими

интересы капитала, возникает конкуренция предложений политического представительства и гарантий рабочему классу, которое ни одно из государств не в состоянии игнорировать без адекватного компенсирующего механизма, в особенности после октябрьской революции в России, а затем в условиях расширения т.н. «социалистического лагеря» в послевоенный период.

Отсчет краху традиционных институтов в Европе дает Великая французская революция, поскольку именно Франция первой испытала экзистенциальное давление «лидера гонки», продемонстрировавшее несостоятельность социальной модели, а затем на протяжении XIX века выступала основным донором образцов для остальных континентальных держав, – наполеоновские войны можно считать первыми масштабными конфликтами индустриальной эпохи. Примечательно, что во Франции и России, находившихся в роли аутсайдеров по отношению к своим архетипическим конкурентам и одновременно образцам – соответственно Англии и Германии, – в разные исторические периоды переход к индустриальному укладу имел весьма схожий, революционный «рисунок». Отставание в индустриализации не позволяло абсорбировать высвободившиеся из сельского хозяйства человеческие ресурсы, а элиты пытались консервировать собственное положение и сословную общественную архитектуру. По этой причине запрос на активацию социальных лифтов в конечном итоге привел к победе воинственно-секулярной и антимонархической идеологии, гражданской войне, затем реставрации и агрессии по внешнему периметру. Однако ранее, в XIX веке, в промежутке между революционными событиями во Франции и России, последняя, напротив, выступала антимодернистским союзником Австрии и Пруссии против «морских» стран с целью противодействия буржуазным революциям в рамках Священного союза. Континентальные страны в силу географических особенностей занимали в морской торговле периферийное положение и испытывали сложности с мобилизацией капитала, поэтому опасались заведомого преимущества Англии и Франции. При этом внутри своих стран правящие дворы поначалу даже противились любым капиталоемким начинаниям, ведущим к оттоку ресурсов из неограниченного распоряжения патримониальной власти, – например, развитию железнодорожного транспорта. Примечательно, что индустриальная гонка, приведшая в движение пассионарную энергию континентальных империй, принудила Англию и Францию – неизменных многовековых соперников – к союзу на длительном промежутке с окончания наполеоновских войн до начала второй мировой войны.

Пик деформации инклюзивных институтов в различных регионах мира приходится на разные периоды XX века, в зависимости от очередности вступления в индустриальную гонку. Практически все европейские (кроме принадлежащих к первой категории) и латиноамериканские страны, а также Юго-Восточная Азия и Иран – с преобладанием степного, дефективного морского (см. ниже) и даже городского метаархетипа – на тот или иной период оказались под властью не просто авторитарных, а тоталитарных режимов. Ожидаемым образом их длительность и масштаб социальных последствий были наибольшими в странах с доминантным или обширным степным метаархетипом, склонным образовывать социумы с вертикальной архитектурой, таких как Россия и Китай, индустриализация которых не просто потребовала моноцентричности, но и оплачена угнетением общественного потребления вплоть до физического геноцида. Характер трудовых отношений в индустриальную эпоху здесь имеет существенные признаки феодальных, однако по мере снижения капиталоемкости производства, а также неестественной убыли трудовых ресурсов, «пакет содержания» такой «закрепленной» рабочей силы повышается до размеров, включающих потребности развития человеческого капитала.

Однако даже в Германии доминантный городской метаархетип, имеющий аутентичную склонность к модернистскому началу, но довольно слабо связанный с морским, не смог в индустриальную эпоху обеспечить устойчивость демократических институтов. По своей медиаторской природе капитал космополитичен, чужд ксенофобии и изоляционизму, в то время как городской метаархетип опирается на человеческий потенциал местного происхождения. При склонности последнего к кооперации, его вовлеченность в межкультурное взаимопроникновение зависит от того, доставляет ли предприниматель – морской кочевник инокультурные человеческие ресурсы в городскую профессиональную среду. Таким образом, именно капитал в условиях высокой капиталоемкости производства обеспечивает контроль за силовым ресурсом и, в конечном итоге, публичными институтами. По этой причине наибольшую общественную опасность представляет фаза моноцентрической конфигурации капитала, ведущая к совпадению центра его концентрации с силовым центром, что для степных кочевников является экзистенциально нормативным – по крайней мере, если не происходит перехода к постиндустриальному, деконцентрированному обществу. В этой связи, даже в США – стране с образцовыми демократическими

институтами – в межвоенный период и на заре холодной войны политический сыск получил широкое распространение в рамках кампании по противодействию советскому влиянию.

Одновременно траектория развития ключевых стран мира в XX веке иллюстрирует, что глубина участия государства в модернизации экономики зависит от степени необходимой интегральной концентрации ресурсов и их доступности в сложившихся условиях. В этой связи, индустриальная эпоха повсеместно характеризуется протекционизмом и определяющей ролью государства в модернизации экономики. При этом, дерегулирование в условиях высокой капиталоемкости не приводит к модернизации как таковой, а лишь позволяет удовлетворить тот потребительский спрос, который обеспечивается силами некапиталоемкого малого и отчасти среднего бизнеса – в этот период, как правило, пока довольно примитивного, – после чего рост упирается в естественное ограничение. Напротив, в условиях разложения индустриального уклада потребность в концентрации ресурсов снижается и оптимально удовлетворяется в полицентрической конфигурации. В этой ситуации высокая роль государства в экономике – в той или иной степени практически в любом проявлении – препятствует росту, поскольку влияние и возможности такового не обусловлены встречной ответственностью по отношению к обществу. По этой причине уже с начала 80-х гг XX века набирает обороты, а по окончании «холодной войны» усиливается неоконсервативная волна, в экономике приведшая к повсеместному дерегулированию, приватизации. Этот этап не обязательно сопровождается фронтальным снижением налогового бремени, поскольку с другой стороны экономика знаний востребует принципиально иное количество и качество общественных благ для человеческого капитала. Однако важно понимать, что в подходящих условиях оба вектора экономической политики – «большое государство» и «маленькое государство» – имеют следствием и абсолютный экономический рост, и структурное усовершенствование экономики.

Наиболее привилегированным оказалось положение стран с доминантным и не претерпевшим деформации морским метаархетипом, таких как США, Великобритания и Голландия. В силу своей исторической роли в морской торговле, они получили возможность вовлечь в индустриализацию собственных экономик ресурсы, аккумулированные не только путем сбыта своих промышленных товаров (в США этот фактор многократно усилен исключительной глубиной внутреннего рынка ввиду беспрецедентно разветвленной речной сети), но и обслуживанием товарооборота третьих стран. Выгоды такого позиционирования связаны с тем, что вплоть до XIX века маржа производителя существенно уступала таковой в морской торговле, поскольку плавание требовало капитала, являлось очень длительным и рискованным – подверженным не только капризам природы, но и гравитации различных центров силы на море и на суше. В индустриальную эпоху скорость плавучих средств резко возросла, более того, появилось международное морское и торговое право, что можно считать непосредственным проявлением подчинения силы интересам капитала. Сухопутные державы, прежде всего, Германия, стали опережающими темпами разрабатывать и внедрять наземные виды грузового транспорта – хотя более дорогие, но скоростные, снижающие потребность в оборотном капитале. Вследствие этой совокупности факторов доходность посреднической деятельности резко снизилась, однако сгенерированный ранее капитал позволил сформировать ее основным операторам наиболее мощные финансовые системы – для индустриальной экономики системообразующие – и продолжать аккумулировать денежные потоки международной торговли.

При переходе к индустриальному укладу торговая маржа несколько перераспределилась в пользу производителя в связи со сложностью и капиталоемкостью производства. Однако и на новом этапе основными выгодоприобретателями такого перераспределения стали участки цепочки поставок между производителем и потребителем, – помимо транспорта, это другие элементы логистики (хранение, «последняя миля» и пр.), розничная торговля, а более всего финансовый сектор как провайдер капитала, самого дефицитного фактора производства. В конечном итоге у основной номенклатуры промышленных товаров на себестоимость производства, как правило, по-прежнему приходится сравнительно малая часть цены реализации конечному потребителю, особенно если эту часть себестоимости очистить от затрат на разработку. Именно последняя при переходе к постиндустриальному укладу выделяется в самостоятельный вид деятельности, претендующий на основную часть общественной добавленной стоимости и вытесняющий на периферийные роли прежних бенефициаров таковой.

Изобилие источников капитала позволило морским державам пройти период «напряжения сил» без надлома полицентрической структуры экономики и общества, поскольку частные финансовые институты смогли взять на себя значительную часть бремени необходимой концентрации ресурсов. Более того, на протяжении всего XX века именно они выступали основными внешними инвесторами по всему развитому и развивающемуся миру, и лишь к концу столетия к ним присоединились страны, которые в силу роли в мировом разделении труда генерируют капитал в большем объеме, чем, в силу структуры экономики, спрос на него, – прежде всего петрократии Ближнего Востока и промышленные лидеры Юго-Восточной Азии. Тем не менее, роль государства в экономике как «последней инстанции» такой концентрации значительно возросла и в странах этой категории – в форме централизованного заказа, строительства инфраструктуры и организации общественных работ, масштабного рефинансирования (хотя в США уже с 40-х гг потребности экономики в капитале и емкости рынка смог обеспечивать оборонный заказ, а затем и участие в послевоенном восстановлении Европы). Вместе с тем, справедливо и то, что при разложении индустриального уклада, вызванном резким снижением капиталоемкости экономики, накопленный избыточный капитал именно в этих странах становится источником структурных рыночных искажений («мыльных пузырей») и новых барьеров для доступа, фактором некоторого торможения модернизации.

В высшей степени показательно, что именно Англия как страна с ярко выраженным доминантным морским метаархетипом становится местом зарождения классической экономической теории в ее современном понимании, впоследствии же безраздельное первенство в этой науке удерживают США. Более того, зарождение таковой совпадает с началом индустриальной эпохи в Старом свете, когда этот метаархетип превращается в ключевого актора, более того, как правило, в соответствующих странах становится работодателем для представителей других архетипов, поэтому последние вынуждены соподчинять свои представления системе ценностей морского кочевника. В этой связи, обращает на себя внимание, что фокусом классической экономической теории прямо или косвенно выступает отклик различных экономических индикаторов на предложение капитала в экономике, при этом имплицитно она исходит из максимы недостатка такового. В этой связи, традиционно наиболее полно ее метрическая система и способ описания отклика акторов на внешнее воздействие отражают хозяйственный механизм индустриального периода, более того, экономик стран с преобладанием капитала торгового происхождения.

Страны континентальной Европы с доминантным городским метаархетипом, сгенерировавшие значительно меньшие финансовые активы в морской торговле между третьими странами, опирались большей частью на качественное предложение своих товаров и ресурсы рынков их сбыта – исключительно глубоких внутренних и легкодоступных, ввиду благоприятного географического положения, внешних. Они смогли преодолеть крепостное право лишь к концу XVIII – началу XIX вв, т.е. значительно позже «морских» стран, а капиталоемкий индустриальный период здесь повсеместно был связан с безальтернативностью государства – практически подмявшего хозяйствующие субъекты и осуществлявшего микроменеджмент – в качестве центра концентрации ресурсов на определенный период. Этот феномен, часто определяемый как корпоративный (или корпоративистский) режим, может сопровождаться национализацией, но не обязательно фронтальной, и представляет собой уклад, при котором государство фактически формирует экономику производства через «внешний контур» такового. Оно выступает ключевым заказчиком и поставщиком факторов производства – капитала, мощностей инфраструктуры, регулирует цену труда посредством натурального пайка, наконец, военные захваты гарантируют рынок сбыта, сырье по себестоимости, практически бесплатный труд интернированных (в советском плановом хозяйстве методы и объекты управления практически те же – пожалуй, кроме рынка сбыта). Первым ярким воплощением этого феномена является такой признанный мировой промышленный лидер, как Германия, где в начале XX века конкурентные институты – во многом навязанные по итогам первой мировой войны – не смогли справиться с вызовами глобальной промышленной конкуренции, усиленными гонкой вооружений, и это вызвало к жизни нацистский режим, в экономике проявлявший себя как корпоративистский. Однако и в послевоенный период потребность в

функции концентрации ресурсов не исчезла, – ее принял на себя американский капитал, избыточный для внутреннего рынка и мобилизованный в рамках плана Маршалла. Восстановление полицентрической структуры европейской экономики было достигнуто посредством интеграции, которую можно рассматривать как проект по скачкообразному расширению рыночной емкости, по крайней мере до сопоставимой с американской, – когда монополизированные в национальных границах отрасли в рамках общеевропейского рынка оказались помещенными в конкурентные условия. Это подтверждает, что моноцентричность функции консолидации при заданной ресурсной базе является имманентной, связанной с природой самого технологического уклада, – и лишь по мере снижения его капиталоемкости плюралистическая, децентрализованная социальная архитектура обретает прочную местную, не «имплантированную» извне материальную основу. Единственным заметным исключением в ряду континентальных стран с доминантным городским метаархетипом можно считать Швейцарию, финансовая система которой аккумулирует значительный капитал транснационального происхождения, поэтому «рисунок» индустриального периода здесь скорее сродни первой группе. Однако происхождение капитала национальной финансовой системы имеет отношение не к морской торговле, а к исторической специализации притесняемых в альпийских странах протестантов (как и евреев по всей Европе) на ростовщичестве, запрещенном католикам. Благодаря сочетанию уникальных компетенций и избытку капитала, страна без заметного напряжения смогла войти в число наиболее передовых промышленных, а затем и постиндустриальных центров. Вместе с тем, обращает на себя внимание специализация швейцарской промышленности, которая подтвердила свою жизнеспособность для небольшой страны, являющейся едва ли не единственным среди модернистских сообществ субконтинентальным «исключением», – на эксклюзивных, при этом малогабаритных (со сверхвысокой ценой за единицу веса) товарах различного назначения, экономика которых выдерживает наиболее дорогостоящие способы транспортировки.

Примечательно, что в философской мысли Нового времени немецкой ветви с приматом императива объективной истины оппонирует английская с приматом субъективного начала. В рассматриваемом контексте первый подход является проекцией тяготения к моноцентрической социальной архитектуре, которая в индустриальную эпоху складывается и неуклонно нарастает по причине достаточности капитала лишь для одного центра его концентрации и перераспределения. Этот общественный строй сопровождается насаждением доминирующей идеологии тоталитарного типа, провозглашающей добродетельным лишь один источник воли, тождественной чаянию нации, с императивным подчинением ему. Второй подход отражает иной «рисунок» течения индустриального периода, когда накопленного капитала достаточно более чем для одного центра его концентрации и перераспределения, – эти центры остаются друг с другом в конкурентных отношениях и не претендуют на монополию, что предохраняет полицентрическую социальную архитектуру от «вертикализации». В то же время, во французской философской мысли доминирование субъективизма можно вывести из модуса реактивности – необходимости постоянно откликаться на разнонаправленные вызовы со стороны могущественных соседей на море и на суше, т.е. фактической невозможности планомерно следовать собственной стратегии и полноценно извлекать выгоды из собственного географического положения, из морской торговли. В этой связи, обращает на себя внимание видение мира, лежащее в основе концепции декартовых координат, – в частности, трансцендентный, внешний характер точки отсчета, которая может менять свое положение и относительно которой определяется положение собственное. Справедливо заключить, что корни доминирования субъективизма во французской философской мысли соотносятся с таковыми в английской – вдохновленной благополучием, построенным на господстве в конкурентной морской торговле, – примерно так же, как негативная мотивация с позитивной, неизбежность с желательностью. Однако именно этим видением справедливо объяснить то, что безотносительно фактического состояния социальной архитектуры ценности свободы личности никогда не оспаривались французским обществом как основополагающие.

Интересно, каким образом менялось отношение общества к капиталу в Германии, где объективное противоречие между его достаточностью и промышленным потенциалом на протяжении всей индустриальной эпохи оставалось наиболее заметным среди всех развитых стран. На заре Нового времени протестантство впервые в монотеистической догматике благословляет стяжательство вообще и

ростовщичество в частности. По мере нарастания остроты указанного противоречия общественная мысль, включая немецкую классическую философию, все больше разделяет стязательство трудовое и промысловое, со временем же появляется осуждение капитала, образованного иначе как непосредственно путем создания полезного продукта. Уже к XIX веку эта тенденция получает развитие, и вовсе обескураживающее для нации, которая по праву считается одним из столпов европейского Просвещения: в мейнстримном дискурсе возникают открытые ксенофобские мотивы в отношении этносов и стран, которые стереотипно принято считать «глобальными операторами» капитала, – прежде всего евреев, а также англо-саксов. Одновременно с этим здесь же зарождаются и симметричные левые доктрины, призывающие не к этнической, а к классовой солидарности против капитала во всемирном масштабе, в свою очередь, провоцируя дальнейшую «возгонку» радикализма своих правых антиподов. Подчеркнутая антирелигиозность обоих крайних течений, во многом враждебность этическому императиву как таковому, по-видимому отражает крайнюю степень напряжения нации – практически на грани надлома национального сознания, разочарование немцев традиционной моралью, ассоциируемой с невозможностью преодолеть рамки несправедливых ограничений, романтизирует борьбу, обреченную на экзистенциальную победу или такое же поражение и потому отменяющую стеснение в средствах. Именно эти две идеологии во всем развитом мире становятся основными контрэлитными течениями индустриальной эпохи, ложатся в основу соответственно провоенного и антивоенного общественных запросов, а в хронически капиталододефицитных странах на тот или иной период и вовсе становятся мейнстримными, вследствие чего обозначается линия противостояния между режимами диктатуры нации и диктатуры пролетариата. Таким образом, катастрофические события XX века, прежде всего, Холокост и мировые войны, можно считать идеологически подготовленными всей внутренней логикой индустриальной эпохи и значительной, весьма влиятельной линией в сопутствующей ей общественной мысли. С конца XIX века такая антикапиталистическая поляризация крайних общественных настроений была характерна и для России, которая в этот период предпринимала активные попытки вступить в индустриальную гонку и для которой именно Пруссия – посредством Петербурга – выступает историческим «донором» городского метаархетипа, европейским институциональным прототипом вообще. В конечном итоге в Германии возобладала идея реванша этнического большинства, которое в общественном сознании представало антиподом иноэтничных капиталозбыточных общностей внутри страны и за ее пределами. В то же время, в России значительная часть этнического большинства с точки зрения социальной самоидентификации латентно скорее примыкала к угнетаемым меньшинствам, – так что верх взяла идеология опрокидывания любых элит. России и раннему СССР – наряду с Францией – по праву принадлежало мировое лидерство в наиболее влиятельных среди интеллектуалов левых течениях общественной мысли и искусства. Однако модернистский запрос образованного слоя не мог обрести здесь прочную материальную основу в виде конкурентоспособного способа производства, поэтому концентрация ресурсов в конечном итоге придала социальной архитектуре вид, типичный для матрицы степного кочевника, – хотя и привела в движение социальные лифты массового применения.

Конфискационные мотивы весьма характерны для волн ксенофобии в разные времена и в разных странах: начиная с эры преמודерна, она часто выступала официальной «легендой» дефолта по долговым (как вариант, откупным) обязательствам перед специализировавшимися на ростовщичестве меньшинствами, что подрывало доверие к суверену и вызывало упадок города, государства. Однако особенный размах – в масштабе геноцида – это явление приобретало в периоды пиков концентрации капитала. В СССР в довоенный период конфискация капиталов, имущества, продовольствия и т.п., а соответственно ксенофобия, носила классовый, а не этно-религиозный характер, поскольку накопление социального неблагополучия, «лишних» людей, потенциала разрушительного действия было характерно практически для всех общностей. Однако практически к тому же историческому периоду относится крупнейшая национальная катастрофа считавшихся в Османской империи «профессиональными» держателями капитала армян, которая ознаменовалась масштабным этноцидом и утратой значительной части территории проживания. В разгар индустриального периода Порты претендовала на соучастие в клубе глобальных лидеров первого уровня, однако наследственная дефективность городского метаархетипа в недрах изначально кочевой тюркской общности не позволила справиться с технологическими вызовами новой эпохи, что после поражения в первой мировой войне и распада империи привело к фронтальной ататюрковской модернизации по европейскому образцу. Именно уникальное географическое положение, благоприятные климат и почва делают осмысленной для Турции – в отличие от многих соседей по региону – конкуренцию за место в мировом разделении труда и накопление капитала индустриального происхождения, а с этой целью постоянные усилия по привлечению передовых компетенций и предпринимателей извне (примечательным образом начиная с евреев, изгнанных в конце XV века из Испании). Ксенофобия – прежде всего, в отношении стереотипно капиталопрофицитных общностей – нередко характерна для определенного этапа индустриального развития даже тогда, когда не

вызвана непосредственно конфискационными мотивами, а призвана оправдать мобилизацию национальных ресурсов, часто сопровождающуюся ограничением гражданских свобод и внешними конфликтами. Этот феномен характерен для всего традиционного национализма эпохи модерна, который в наше время можно запоздало наблюдать на примере Ирана. Наконец, дефицитом другого ключевого фактора производства – рабочей силы по стоимости воспроизводства – можно объяснить вторую по значимости ксенофобскую линию идеологии Третьего Рейха, славянскую. Для востока Европы в начале XX века все еще были характерны некоторая демографическая избыточность и отставание урбанизации – т.е. предложение трудовых ресурсов, привычных к физическому труду и непривычному быту, при этом не задействованных в промышленном производстве, которое можно было бы поставить на службу Рейху, как это было сделано во всех развитых странах континента. Если для присвоения капиталов наиболее эффективным способом представлялось истребление его обладателей, например, евреев, то присвоение рабочей силы и сокращение ее содержания предполагало порабощение – в полном соответствии с нацистской расовой доктриной. Использование труда интернированных в нацистской Германии вполне можно поставить в один ряд с ролью труда заключенных в индустриализации сталинского СССР. Вместе с тем, как уже отмечалось, даже страны морских кочевников не смогли в полной мере избежать применения методов, направленных на ограничение стоимости труда и доли потребления в общественном продукте.

Напротив, наибольшая терпимость во все исторические эпохи была характерна именно для центров морской торговли, чтущих верховенство права как способ реализовать преимущество своего географического положения для накопления капитала в торговле. Однако необходимо отметить, что на пике капиталоёмкости индустриального уклада заметные антисемитские настроения проникли даже в элиты англо-саксонских стран, не приветствовавших приток евреев в период Холокоста. С другой стороны, весьма показательным, каким образом ксенофобия проявляет себя в общностях с трансформационными дефектами, никогда всерьез не претендовавших на участие в индустриальной гонке и потому не проходивших фазу концентрации ресурсов. Невзирая на низкий уровень развития, их отличает бытовое радушие и гостеприимство, а проявления ксенофобии большей частью связаны со спором различных преמודернистских общностей за примитивные ресурсы – часто воду, плодородные земли, иногда богатые углеводородным сырьем территории и т.п. В этой связи, например, для арабов антисемитизм вовсе не является чем-то укорененным, а имеет отношение к катастрофическому для них «рисунку» отступления Британской империи, а также Франции и других колониальных держав с Ближнего Востока, которое привело к довольно произвольной нарезке границ, соответственно такому же наделению стран ресурсами, что в рамках парадигмы преמודерна весьма болезненно. В этой связи, социум здесь травмирован бессознательным ощущением «первородной» несправедливости и довольно успешно апеллирует к чувству вины бывших метрополий – как в межгосударственных отношениях, так и путем влияния диаспор на внутреннюю политику. Кроме того, на фоне застарелых архаических устоев арабские общности исключительно отзывчивы к праву сильного, дающему доступ к источникам стоимости. При этом для силовой легитимности власти в глазах собственного населения, а равно основанной на силе коллективной системы ценностей, экзистенциальным, непосильным вызовом выступает недостижимое превосходство принципиально иной, инородной социальной модели Израиля, который в этой связи для архаического сознания представляет собой идеальный объект мифологизации, демонизации. Абсорбируя человеческий капитал уникального качества со всего мира, Израиль обладает беспрецедентным антропологическим качеством общественного продукта, несопоставимым с размерами влиянием и – что важнее всего – подавляющей силовой мощью, природа которой тесно связана со способностью производить прикладные знания. Ощущение периферийности усугубляется тем, что среди мусульманских стран региона наиболее передовыми являются этнически чуждые Турция и Иран, а внутри самого арабского мира расслоение между малонаселенными ресурсно богатыми странами и их антиподами вопиющим образом отсылает к социальной матрице каждой отдельной страны. В этой связи, ожидаемым образом именно трансграничный арабский этнос становится инкубатором специфической платформы радикального ислама, который выступает способом «взлома» родоплеменной матрицы и зарождения социальной солидарности образца эпохи модерна, а также проникает в наиболее ретроградные общности – в Афганистане, на постсоветском пространстве.

Наконец, в этом ряду особенно показательным, что деформированные морские кочевники, как правило, чужды антисемитизма вовсе, что довольно наглядно проявилось, когда страны Южной и Восточной Европы – в качестве союзников нацистской Германии, – а далее и Латинской Америки попали под власть фашистских режимов: даже первые по возможности старались противиться расовым законам Рейха и истреблению еврейского населения на собственной территории. В этой группе стран соучастие в преступлениях нацистов было характерно лишь для регионов с зажиточным крестьянским населением, находившихся в зоне

непосредственных интересов или даже на территории СССР: здесь это было связано с представленностью евреев в советских органах безопасности, а также мифом об их особенной роли в коллективизации – соответственно страхом перед отъемом собственности или свежей памятью об этом. Тем самым это явление представляло собой один из сюжетов фактической, не прекращавшейся всю первую половину XX века масштабной гражданской войны на пространстве бывшей Российской империи, на территории которой евреи составляли крупнейшее неславянское меньшинство. С другой стороны, это явление можно рассматривать и как крайний, эксцессный, но частный случай феномена антисемитизма в Восточной Европе, представляющей собой совокупность межеумочных стран, которые на протяжении столетий военным путем переходили от одной метропольной империи к другой: евреи при этом оказывались по обе стороны линии размежевания и каждой из сторон подозревались в альтернативной лояльности – в особенности на фоне специализации на посредническом промысле. Это приводило к фронтальному, последовательному поражению в правах, жестоким притеснениям, что в итоге спровоцировало их широкое участие в революционном движении и институтах раннего советского периода.

Следуя экономико-архетипической логике, можно под этим углом зрения дать характеристику и эволюции антисемитизма в целом. На всем протяжении доиндустриального периода, когда общественная стоимость извлекалась из примитивных, территориально привязанных ресурсов и присваивалась по праву силы, он укладывался в рамки типичной для архаического сообщества ксенофобии, вызванной эффектом «пищевой конкуренции», – поражения в правах «чужого» меньшинства по причине отсутствия силовой защиты. В этой связи основной формой «решения еврейского вопроса» выступало изгнание, отлучение от стационарных «кормовых» источников, что, наряду с различного рода наветами и предрассудками, добавляло популярности этим акциям. В свете этого черта оседлости выступает вполне премодернистским институтом (это является отражением дефекта индустриального этапа развития в принципе), поражающим евреев в доступе к земле как наиболее дефицитному ресурсу в Центральной России, а также узким социальным лифтам высшего образования, государственной и военной службы. В периоды мобилизации ресурсов – например, великих географических открытий Нового времени или на пике индустриальной эпохи XX века – основными факторами роста становились «портативные» ресурсы – капитал и емкость рынка, при этом исторически отлученные от «стационарных» ресурсов евреи воспринимались как важный, специализированный держатель «портативных». Именно на эти эпизоды приходятся чудовищные по масштабам этноциды евреев – соответственно в средневековой Испании и по всей континентальной Европе эпохи модерна, – приведшие к фактической конфискации этих ресурсов. Однако сходную природу имеют и жестокие притеснения протестантов, также известных торгово-ростовщическим промыслом и нашедших укрытие в непривлекательной для гонителей, но хорошо защищенной гористой местности Альп и далее в Новом свете, а впоследствии упомянутый выше геноцид армян. Наконец, постиндустриальная эра, связанная с доминированием знания как основного фактора извлечения премиальной стоимости, приводит к стереотипному восприятию евреев как «включенных» в этом понимании, выгодоприобретателей экономики знаний, с чем связана новая волна антисемитизма со стороны «невключенных» слоев как в развитых, так и в развивающихся странах. По своей природе знание не является передаваемым помимо воли носителя или отчуждаемым от него ресурсом, что, в зависимости от оценки остроты современных социальных конфликтов, можно рассматривать как фактор защищенности или, напротив, как фактор риска.

Целый ряд общностей с выгодным для генерации капитала месторасположением страдает от различного рода трансформационных дефектов, степень преодолемости которых зависит от качества, глубины проникновения и социального темперамента городского метаархетипа. Ярким примером таких общностей являются характерные для Юго-Восточной Азии, где эффект «силовой деформации» морского метаархетипа резонирует со спецификой когнитивных особенностей (см. ранее и далее), влияющих на усвоение и развитие знания. Однако к этой категории можно отнести также Восточную Европу и неафриканскую часть Средиземноморья – традиционные пояса военной активности с аналогичной «силовой деформацией». При всех особенностях и разнесенности процессов во времени, общности этого – как и предыдущего – типа под давлением конкурентных и военных вызовов вступали в индустриальную гонку, а также, добровольно или принудительно, в сопутствующую военно-политическую, но неизбежно терпели поражение. Если у предыдущей категории это вызвано лишь недостатком капитала, то у этой еще и ограниченной способностью самостоятельно справиться с технологическими, в т.ч. военно-техническими, вызовами индустриальной эпохи и отстоять свой

суверенитет над географически привлекательным ареалом обитания. У обеих категорий такое поражение приводит к ослаблению внутреннего аппарата подавления и фактическому переходу такового под контроль внешнего центра, который также принимает на себя роль донора финансовых ресурсов для индустриальной модернизации, первоначально опирающейся на конкурентное преимущество дешевой рабочей силы. Однако общности с трансформационными дефектами нуждаются также в расчистке других застарелых социальных «тромбов» под внешним надзором, «догоняющей» модернизации путем привлечения технологических, социальных и культурных образцов извне. Наиболее мощным из таких внешних центров в послевоенный период традиционно выступают США, в поле европейской гравитации еще одним важным фактором трансформации становится интеграция в континентальные институты и рынки либо перспектива такой интеграции, что во многом повторяет «рисунок» ранней индустриальной эпохи, когда относящиеся к этим двум категориям европейские страны также заимствовали передовые образцы у Франции. В конечном счете догоняющее развитие обеспечивает успешное решение задачи индустриализации, поскольку благоприятное географическое положение позволяет рассчитывать на значительную емкость рынков сбыта и обеспечить отдачу на вложенный капитал. При этом во всех странах этой категории – в отличие от предыдущей – «родовые» дефекты вновь дают себя знать при наступлении постиндустриальной эры, когда прогресс не может более опираться на догоняющее развитие, а обусловлен наличием универсальной экосистемы знаний, более того, скоростью обмена знаниями между индивидами, в связи с чем здесь практически неизбежно появление обширных «невключенных» слоев. Так, в периферийных европейских странах научная и образовательная среда фрагментарна и провинциальна, а в Юго-Восточной Азии по-прежнему коммуникационные барьеры и дефективность самодеятельной «низовой» инициативы существенно снижают эффективность стыковки различных областей знания и коммерциализации их достижений. Пример Японии демонстрирует, что последовательное исчерпание резервов роста сперва за счет низкой стоимости рабочей силы, а затем глубины экспортных и внутреннего рынков вызывает здесь эффект затяжного торможения, хотя в сочетании естественных и антропогенных условий присутствуют существенные черты сходства соответственно с Великобританией и Германией, а бремя силового «щита» во многом несут США.

Характерно, что запоздавшая модернизация стран Юго-Восточной Азии, так же как и большинства стран, прошедших через индустриализацию ранее, неизменно сопровождалась возникновением авторитарных режимов, невзирая на то, что донором этого процесса в послевоенный период здесь выступал американский капитал – причем, в отличие от Европы, не только финансовым, но и технологическим. Показательно, что, вне зависимости от географических и культурных особенностей конкретного континента или политического режима, в этой и предыдущей группах стран на протяжении всего индустриального периода наблюдается фактическое сращивание аппарата экономических властей и крупнейших корпораций, что отражает объективную необходимость в концентрации ресурсов в этой фазе развития. При этом к концу XX века, по мере снижения интегральной потребности в ресурсах, даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при всех местных особенностях, наблюдается повсеместное смягчение режимов и тенденция к деконцентрации капитала.

У цивилизаций, основанных на степном метаархетипе, ввиду естественных природно-географических причин, обуславливающих крайнюю ограниченность внутреннего рынка, переход к индустриальному этапу не происходит вовсе – во всяком случае естественным путем и на устойчивой основе, – чем вызвана задержка в развитии, местами переходящая в хроническое, непреодолимое отставание. Приток капитала – финансового или рентно-ресурсного – здесь не может выступать фактором индустриализации, поскольку экономика неконкурентоспособна по основным факторам материального производства и не способна обеспечить положительную отдачу на вложенный капитал. В этой связи, в эпоху масштабной военной активности стран с развитой промышленностью цивилизации изолированных – африканских и азиатских – субконтинентальных общностей, как правило, не обладающие таковой, утрачивают государственность, даже если имели ее в доиндустриальный период. Впоследствии они обретают суверенитет по мере разложения в развитых странах индустриального уклада и снижения

соответствующей ему военной активности государств. Более того, в стоимости конечного продукта снижается доля необработанных ресурсов, составляющих основу экономики степных кочевников, поэтому выгоды колониальной системы перестают превышать издержки по ее содержанию. Трансформация цивилизаций степных кочевников теоретически возможна посредством способа производства на основе монетизации нематериального, прежде всего интеллектуального продукта, однако основным ограничителем для такого перехода выступают сложившиеся свойства человеческого капитала, не прошедшего через промежуточный, индустриальный этап. Более реальной можно считать перспективу развития на основе ограниченного углубления переработки местного сырья, однако опыт реинвестирования рентных доходов в соответствующие обрабатывающие отрасли в странах «осевших» степных кочевников в социальном отношении успешен лишь отчасти, поскольку местное население ввиду дефекта трудовых навыков и низкого престижа знаний в них практически не вовлекается, предпочитая секторы, связанные с обращением и перераспределением статусной ренты (см. выше). При этом здесь нет видимых препятствий для индустриализации на основе мелкосерийного производства, привязанного к локальному потреблению, что соответствует органичному у степных кочевников «мелколавному» предпринимательскому профилю. Такую структуру экономики нельзя считать передовой, однако она позволяет значительно ослабить остроту проблемы бедности и неравенства, актуальную для большинства стран, основанных на этом метаархетипе. Ни при каких других обстоятельствах хозяйствование не перестает быть примитивно-ресурсным, соответственно обладание силой остается единственным инструментом извлечения стоимости и не утрачивает привлекательности, в том или ином виде пролонгируется общественная формация с существенными признаками феодальной эпохи.

В силу европейского генезиса и влияния, Россия представляет собой единственное очевидное исключение из этого ряда и сочетает степной метаархетип с городским, «поставляющим» человеческий капитал для индустриализации. Однако крайняя скудость внутреннего рынка и запретительные транспортные издержки приводят к тому, что массовое производство здесь заведомо неконкурентоспособно, индустриальные цепочки создания ценности сами по себе не ведут к росту общественной стоимости, поэтому обычной, моноцентрической концентрации ресурсов для их формирования недостаточно. Они создавались по принципу «отрицательной суммы» – в ущерб потреблению и за счет экстрактивных социальных практик, искусственным образом корректирующих экономику материального производства (см. далее), а при переходе к рыночным отношениям большей частью распались. Мало того, консолидация – прежде всего, в форме «мировой социалистической системы» – весьма значительного потенциального рынка в этих условиях для «метрополии» обернулась не ростом собственных производительных сил, а, напротив, необходимостью субсидировать зависимые страны, отрезанные от глубоких рынков сбыта и лишённые экономической самостоятельности подавлением предпринимательской инициативы, свелась к консервации роли импортера готовой продукции даже во внутриблоковом разделении труда.

Тем не менее, индустриальное хозяйство – пусть и искусственное – сыграло незаменимую роль в трансформации человеческого капитала, поэтому в России отсутствуют очевидные непреодолимые препятствия для перехода к экономике знаний минуя конкурентоспособное массовое производство. Более того, в условиях, когда серийное производство повсеместно перестает быть источником премиальной стоимости, роботизируется или вытесняется из развитых стран, архетипическая композиция последних все больше сближается с характерной для российского общества – с ядром, способным к созданию отличительной ценности, и «невключенной», «лишней», проблемной для социума периферией. При этом наличие у такой периферии в развитых странах навыков высококачественного, но типового труда – в отличие от депрофессионализированной урбанистической архаики в России, происходящей от безземельного крестьянства, – в рамках постиндустриальной парадигмы само по себе не является

принципиальным преимуществом. В условиях экономики знаний конкурентоспособное хозяйствование основано либо на способности создавать отличительную ценность, либо – временно, до тотальной роботизации, – на крайне дешевом серийном труде, поэтому, как правило, любая массовая прослойка, не обладающая такими характеристиками, нуждается в качественном повышении образовательного уровня. Некапиталоемкий, мелкосерийный, безбарьерный, привязанный к локальному рынку уклад стандартного производства открывает путь реиндустриализации даже в сложных природно-географических условиях, однако он не может считаться магистральным, поскольку именно система образования становится всеобщим и универсальным трансформационным лифтом, основным фактором глобальной конкурентоспособности. Проблема ее качества, а также недискриминационного доступа к ней, с большим отрывом от любых других определяет также и политическую повестку дня в развитом мире. Вместе с тем, ключевым преимуществом стран, прошедших через полноценный индустриальный этап, является развитый хозяйственный механизм коммерциализации знаний, конверсии разработок в продукт.

Как уже отмечалось, у России трансформационная колея – ключевые развилки, ограничители и «ловушки» развития – имеют черты сходства с «сестринской», с точки зрения европейских корней, латиноамериканской цивилизацией, что вызвано экзистенциальным противоречием между довольно высоким качеством человеческого капитала, склонного к сложному труду, и ограниченной емкостью рынка в силу его географической фрагментации. В этой связи вертикальная социальная организация, традиционная для ориентированных на «ресурсно-силовое» хозяйствование степных кочевников, усложняется запросом городского метаархетипа, ориентированного на знание как маркер социального успеха и не готового «довольствоваться малым». Крайне неравномерная, центр-периферийная структура здесь характерна для любой социальной ячейки – страны, отрасли, региона, отдельной управленческой единицы. Тем самым представленность городского метаархетипа усиливает и без того выраженное у степных кочевников противоречие между территорией и населением, со всеми сопутствующими признаками такового. При этом элита заинтересована в примитивизации общества и опирается на распределительный запрос периферии, обделенной потреблением в угоду образованному слою, консервирует таковую, широко прибегает к ее антагонизации против квалифицированного ядра с целью укрепления собственного рентоизвлекающего положения. Вместе с тем – из этих же самых побуждений – в индустриальный период, чреватый утратой суверенитета технологически отсталыми странами, элита не готова в полной мере пренебречь потенциалом людей умственного труда и даже расширяет его по милитаристским мотивам.

Одной из показательных «гримас» этого двойственного положения людей умственного труда можно считать государственный антисемитизм в послевоенном СССР, в котором евреи играли ключевую роль в неполитической элите, в т.ч. обеспечивавшей функционирование и развитие военной машины, но одновременно выступали объектом утеснения в самореализации. Свой вклад в комплексность этого феномена вносила также ассоциация евреев с капиталом с одной стороны и память об их влиянии в революционном движении и предвоенной власти с другой. Наконец, рассеянная, трансграничная структура этноса ведет к неизбежному вовлечению его отдельных ветвей в разнонаправленные усилия национальных элит разных стран, что повсеместно навлекает на него подозрения в альтернативной солидарности и лояльности, которые в столь прямолинейном смысле беспочвенны. В СССР, однако, этот феномен лишь в меньшей степени носил характер этнофобии как таковой, в большей же скорее примыкал к фобиям по отношению к русской интеллигенции – как к «чужим», получившим свое положение не благодаря патримонильной лояльности обладателю силы, а при помощи собственных знаний, отличительности. При этом в постсоветский период, когда индустриальные цепочки создания ценности перестали поддерживаться искусственно, а социальная матрица приняла откровенно феодальный вид, сферы производства и знаний стали периферийными. Многие евреи, ранее ограниченные в возможности реализации предпринимательских способностей, на деле оказались вовлечены в ресурсное хозяйствование, которое требует коалиции «до степени отождествления» с обладателем силовых возможностей. В этой связи стремительно переменялось и стереотипное восприятие этноса в коллективном сознании – с «чуждой» силовой матрице общности на «источник силы» в рамках этой же матрицы.

Весьма примечательно, что среди позднейших «узников» такой внутренне противоречивой социальной матрицы оказался Иран – практически единственная на Ближнем Востоке страна с оседлой цивилизацией, обнаружившая индустриальный потенциал, однако при этом находящаяся в этно-конфессиональной изоляции и потому отторгнутая от регионального рынка. Вступление Ирана в индустриальную и технологическую гонку не является неожиданным с точки зрения интеллектуального потенциала и уникального культурного слоя персов, однако интересно своей запоздалостью. Вероятно, это имеет отношение к стремительному росту численности и плотности населения, в результате чего внутренний рынок обнаружил заметную собственную глубину и создал условия для вовлечения городского метаархетипа в создание материальной ценности. В этой связи, не является также неожиданным появление на этом историческом отрезке идеологически окрашенного авторитарного (хотя по-своему внутренне плюралистического) режима, по аналогии с европейскими образцами эпохи модерна, что, однако, со скидкой на региональную специфику, тем не менее, парадоксальным образом указывает на глубокий и устойчивый модернистский тренд. Именно отсутствие городского метаархетипа препятствует аналогичному эффекту в большинстве других стран со стремительно растущим населением, где это явление скорее способствует архаизации и нарастанию социальных вызовов. Более того, в условиях постиндустриальной экономики трансформационный эффект от привлечения компетенций извне, без собственной экосистемы развития и внедрения знаний, нельзя считать устойчивым.

Это углубляет межсословное размежевание и атомизирует индивидов, вызывает стремление свести применение образованного слоя к военным целям – приспособить его потенциал для наращивания территориально-ресурсной ренты вовне и минимизировать модернизирующее влияние на социум внутри. Соответственно усиливается тяготение к сверхконцентрации ресурсов – в данном случае дополнительно для инвестиций в научно-образовательную, производственную, военную и прочую инфраструктуру, без расчета на коммерческую отдачу. Для идеологического подкрепления такого рода социальных практик обычная феодальная мифология, основанная на персональной лояльности периферии патримониальному вождеству, наделяемому трансцендентным статусом, становится недостаточной и дополняется рассчитанным также и на образованный слой всемирным, всеохватным посланием, даже своего рода евристической легендой. Наиболее драматичным в русской истории периодом, иллюстрирующим амплитуду колебаний этого маятника между запросами двух социальных страт, можно считать довоенный отрезок советского периода. Будучи изначально адресованным именно архаической социальной периферии с ее распределительным запросом, уже к рубежу 20 – 30-х гг советский режим по существу переродился, «встроился» в логику индустриальной эпохи с ее сверхцентрализацией и характерной гонкой вооружений, которые, однако, в условиях естественной скудости ресурсной базы привели к воцарению бесчеловечного по своей экстрактивной мощи общественного строя (см. далее). Обращает на себя внимание, что дважды практически за этот короткий период – в ходе событий октября 1917 года и при прекращении НЭПа – в той или иной форме полицентрическое экономическое и политическое устройство «надрывалось» о проблему концентрации ресурсов, сметая актуальную на соответствующий момент элиту, а «колесо» перманентного революционного обновления элит сбавило обороты лишь к началу 50-х гг. Примечательно, что развитие практически каждой из латиноамериканских стран в XX веке также «надрывалось» при определенном витке политической и экономической сверхцентрализации, которую можно рассматривать в контексте попытки совершить индустриальный скачок. Крайняя фрагментация рынка попросту не могла обеспечить здесь ни концентрации ресурсов, ни эффекта экономии на масштабе, необходимого для конкурентного преимущества по отношению к промышленным лидерам соответствующего периода – сперва европейским и североамериканским, затем азиатским, что поочередно приводило к втягиванию основных стран континента в полосу демодернизации.

Таким образом, в индустриальную эпоху именно процесс реализации модернистского потенциала – на фоне отсутствия природно-географических предпосылок для самодостаточного промышленного производства – в значительной степени приводил в России к истончению слоя, являющегося носителем такого потенциала. В некотором роде, именно он – наряду с зажиточным крестьянством, составляющим

меньшинство такового, – становится социальной стратой, на которую обращено действие экстрактивных практик. С точки зрения указанных признаков нельзя не заметить, что схожая логика социального развития была характерна для Китая вплоть до второй половины XX века, когда эта общность, зародившаяся в качестве степных кочевников и удерживаемая в характерной матрице культурой выращивания риса (см. ранее), наконец стала эксплуатировать преимущества характерных для морских кочевников географического положения и плотности населения. Более того, в условиях отсутствия городского метаархетипа и ограниченной обучаемости крестьянского населения, последствия активации социальных лифтов не раз на протяжении столетий оказывались здесь значительно более разрушительными для человеческого потенциала, чем в России, – вплоть до полного вымывания тонкого образованного слоя. «Русский парадокс», однако, заключается в том, что расточительно «пожирающая» аутентичный городской метаархетип трансформационная колея в гораздо больших количествах замещает его образованными степными кочевниками – уникальным, характерным практически только для России экономико-антропологическим феноменом, появившимся в результате не имеющего аналогов переплетения этих двух типов общностей, потенциально наиболее плодотворным в условиях экономики знаний. Лишь по мере повышения привлекательности знания по сравнению с силой типичная для степного метаархетипа патримониальная социальная конструкция подвергается разложению. Таким образом, социальная миссия городского метаархетипа – хоть и посредством последовательности катастрофических катаклизмов – все же имеет основания считаться успешной с эволюционной точки зрения.

Поскольку разложение индустриального производства вызывает не только снижение капиталоемкости, но и декомпозицию общемировых, исходящих от государств угроз безопасности на локальные, распределенные, повсеместно снижается также потребность в перераспределении ресурсов, иначе как на связанные с качеством человеческого капитала цели. Более того, в развитых странах даже кооперация для этих целей, с учетом снижения стоимости благ, по своей институциональной структуре становится полицентрической, вовсе не обязательно связанной с государством. Однако иное течение индустриальной эпохи в России предполагает и отличный «рисунок» пути выхода из нее, другой тип отклика на снижение потребности в концентрации ресурсов и сверхсильном государстве. Накопленное недопотребление отзывается здесь переходом от сверхцентрализованной системы хозяйствования, перераспределявшей ресурсы в пользу опорного для интеллектуальной конкуренции (гонка вооружений – ее частный случай) образованного слоя, к «ресурсно-силовой», ориентированной на распределительный запрос самой элиты и социальной периферии.

Тем самым предопределяется примитивизация экономики, «европейская степная матрица» тяготеет к сословно-феодальной, деинституционализированной и деидеологизированной, персоналистской общественной организации, типичной для «классических» степных кочевников, которые не склонны к сложному труду и промышленному производству вовсе, не концентрируют ресурсы для этих целей. При этом сами ресурсно-силовые «феоды» конкурируют за присвоение источников ренты и могут быть образованы по географическому, ведомственному, этническому, семейному или любому другому принципу, укладываемому в характерную для архаического сообщества систему распознавания «свой – чужой». В зависимости от состояния «кормовой базы», относительно друг друга они могут быть скорее фрагментированными по горизонтали или скорее консолидированными по вертикали, как это и свойственно классической феодальной системе общественных отношений на различных стадиях. Так, при истощении рентных источников силовой ресурс претерпевает декомпозицию и перемещается ближе к «кормовым наделам», что может даже отзываться функциональной активацией публичных институтов и процедур, призванных согласовывать распределительные интересы феодальной элиты, – это состояние соответствует стационарной норме общностей с дефективным морским метаархетипом (см. ранее). При этом опасностью нисходящего

отрезка «кормового» цикла является обострение внутривидовой конкуренции, направленной на сжатие разросшейся в «тучное» время силовой корпорации, что извне может даже выглядеть как ужесточение порядков, а не как ослабление власти. Однако структура феодального государства воспроизводит структуру ресурсно-силовых кланов, соответственно разлом этой структуры на деле ведет к разлому государственности. В периоды изобилия, напротив, силовые центры выстраиваются в иерархию на почве субсидиарной лояльности (в т.ч. бенефициарной) крупнейшему – патримониальному – ресурсно-силовому субъекту, формальные институты выхолащиваются, а процесс согласования распределительных интересов перемещается в непубличную сферу – это состояние является более или менее стационарным для «классических» степных кочевников, например, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. На деле основой такой консолидации служит физически или экономически неделимый «кормовой надел», с которым по стоимости прочие с точки зрения объема ренты несопоставимы, – он стремительно обрастает крупной силовой коалицией, участники которой в противовес предпочтут установление династических связей. Положение городского метаархетипа в условиях такой примитивизации экономики и общества становится маргинальным – частично он выдавливается, социальное самочувствие оставшихся поддерживается распределительным пакетом той или иной степени щедрости в обмен на отказ от социальной и хозяйственной инициативы.

Таким образом, знание здесь в любом случае здесь бытует в доиндустриальной парадигме – вне непосредственной связки с капиталом и конкурентоспособным материальным производством. Ключевым трансформационным хабом выступает система образования, где городской метаархетип встречается со степным и формируется основа для постиндустриального типа хозяйствования – с низкой капиталоемкостью, снижающей остроту дефективности предпринимательства, и без необходимости локализации массового производства. Тем самым социальные матрицы России и развитых стран композиционно принимают идентичный вид – с образованным слоем, способным создавать отличительную ценность, и «невключенным» большинством, нуждающимся в образовательном социальном лифте. Вероятно, с наступлением этой эпохи Россия вообще впервые получает объективный исторический шанс не просто наверстать экзистенциальное отставание от развитого мира, а реализовать когнитивные преимущества образованного степного метаархетипа. Невзирая на некоторое сходство социальных конструкций, которые характерны для образованного степного и дефективного морского метаархетипов, первый выглядит намного более плодотворным эволюционно и динамически. В условиях экономики знаний он получает возможность материализовать преимущество своих уникальных когнитивных свойств, в то время как второй наделен чертами застойности формаций субконтинентальных кочевников изолированных мест. В новой ситуации формальные институты – до той поры имитационные, «спящие», ориентированные скорее на удовлетворение «социально-эстетического чувства» городского метаархетипа – могут наполниться отражающим их предназначение функциональным содержанием.

Другим способом препарирования многоукладной социальной матрицы с доминантным степным метаархетипом может служить дуалистический каркас, основанный на внутреннем расслоении самого этого вида по признаку отношения к силе. Архаический полюс такого социума, «зафиксированный» в эпохе премодеерна вплоть до перехода к экономике знаний, представляет собой силовую элиту, «поддержанную» различными нижними социальными стратами, отзывчивыми к этике и эстетике силы. Атомизированная часть нижних сословий степных кочевников примыкает к противоположному полюсу, который находится в «отрывающемся» от доминирующего социального уклада непрерывном транзите и основан на общностях с сильным старообрядческим влиянием, а также элементах городского метаархетипа. Наиболее остро протекает исторический период совпадения матриц премодеерна и модерна, как в дореволюционном, так и в советском фрагменте, поскольку два запроса вступают в конкуренцию – чаще всего неравную – за одни общественные ресурсы, соответственно контроль над аккумулирующими их институтами. По мере перехода «динамичной» социальной компоненты в состояние постмодерна, соседство последнего с парадигмой премодеерна производит впечатление некоторой абсурдности, однако оказывается сравнительно мирным: оба уклада

характеризуются низкой ролью институтов, могут до некоторой степени бытовать в параллельных измерениях или стараться минимизировать контакт друг с другом. Первый для своего поддержания может обходиться сравнительно небольшими, по сравнению с нормативной «течь» феодальной системы общественных отношений, ресурсами из внутренних и внешних источников. Точкой критического конфликта двух укладов выступает сфера просвещения, поскольку накопленная недоинвестированность человеческого капитала является основным ограничителем экономики знаний, но обеспечивает некоторую стабильность феодального правления.

6. ЭКОНОМИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ МИРА

6.1 Европа: эволюционный механизм городского сообщества с «изначально» модернистским ядром. Ренессанс как архетипический источник экономики знаний

Европейская традиция организации человеческих сообществ как нормативно модернистская берет начало от Афин и Рима, античных городов-республик. Диалектика понятий града и мира восходит к Римской империи и подразумевает цивилизаторскую миссию первого по отношению ко второму (рах гомана), участие в которой дает жителям покоренных межеумочных земель и окраин империи право на гражданство, изначально ассоциируемое только с горожанином. Гражданство фактически служит «соучредительством суверенитета» и ключевого атрибута такового – права на легитимное принуждение – посредством права на ношение оружия и воинской повинности, при этом предполагает представительство и публичные обязанности. В периоды разрастания ареала ресурсного кормления государство (или его субъектные ресурсно-силовые ветви) принимает патерналистские черты – в частности, при перераспределении захваченных богатств, так что в эти периоды его республиканская природа несколько размывается в пользу монархической. Завоевание континента кочевниками-скотоводами в эпоху великого переселения народов на длительное время придало государству характер «оккупационного режима», проекцией которого можно суверенитет монарха – т.н. «священное право королей». Однако, в отличие от Северной Африки и Азии, по причине климатических особенностей (см. выше) такое завоевание не привело здесь к разрушению почв и традиционного уклада земледелия, поэтому в целом скорее пришельцы усвоили поведенческие установки и ценности местного населения. Начиная с эпохи Возрождения архетипическая социальная архитектура поэтапно восстанавливается, государство подвергается постепенной национализации обществом, а с колониальными кампаниями Нового времени возвращается и феномен цивилизационной миссии по отношению к общностям премодерна. Последующие государства, претендующие на общеевропейское лидерство, обращаются к римскому прототипу с целью собственной легитимации – Священная Римская империя, Византия, папский престол, позднейшие европейские империи.

Благоприятные географическое положение (как следствие, доступность водных, наиболее выгодных, транспортных артерий) и климат (как следствие, высокая урожайность) определяют привлекательность для высокой плотности расселения (как следствие, глубину и диверсификацию рынка для локального сбыта продуктов местного производства, сопутствующего накопления разносторонних компетенций и создания излишков для внешней торговли), что облегчает последовательное распространение единого формата цивилизации по всей территории континента и определяет полицентричность сети крупных городов с универсальной культурной средой. Таким образом, возникает наиболее мощное соединение факторов для накопления капитала – образования и навыков, с одной стороны, торговли и финансов – с другой.

Морская торговля как наиболее изобильный способ извлечения стоимости ослабляет стремление к монополизации, как в период Античности, так и впоследствии в эпоху Возрождения возникает полицентричность «хозяйствующих» субъектов, обладающих также и силовым ресурсом (это отражают, например, дуумвираты и триумвираты в исполнительной власти), поэтому верховенство права становится органичным и одновременно наиболее выгодным способом привлечения капиталов, приумножения богатства элиты. Позднее сильнейшие из таких субъектов, как правило, отбирали силовые возможности у прочих, однако логика формирования публичных институтов в условиях многообразия возможностей и центров генерации капитала такова, что со временем контроль за консолидированным

силовым ресурсом, а заодно и публичные институты, принимает коллегиальный характер (протопарламенты, республиканская форма правления). Военные кампании осуществляются наемными силами, как в оборонительных целях, так и в качестве разновидности размещения капитала, отсутствует склонность к обременительному удержанию внешних территорий на длительный срок, поэтому фактор силы выступает не ограничителем, а расширителем возможностей для самостоятельных предпринимателей, будучи ориентирован на заморскую активность. Здесь получает распространение морская разновидность кочевого образа жизни, являющаяся прототипом свободного предпринимательства и имеющая основой не скудость «кормовой базы» (как степное кочевание в хартленде), а, напротив, обилие «искушений» стяжания богатства, прежде всего, географических. Эти предпосылки закладывают долговременный горизонт планирования, так как на средневековом технологическом уровне трансграничная (заморская) торговля в несоизмеримо большей степени, чем производство, связана с предпринимательскими рисками, длинным операционным циклом и капиталоемкостью. Вместе с тем, необходимость следовать через хартленд с его ограниченным доступом на рынок и поборами в пользу хозяина административной ренты формирует навыки договороспособности с сообществами иного, монополистического толка.

До настоящего времени широко распространена практика финансового, юридического, лоббистского и бытового обслуживания представителей элит стран с ярко выраженными экстрактивными институтами различного рода доверенными сервис-провайдерами из стран с богатыми морскими торговыми традициями, прежде всего, Великобритании. Это отражает глубокое понимание культуры и социальной организации субконтинентальных кочевников, сложившееся в ходе заморской торговли, а затем и колониальной активности.

В таких условиях город (полис) становится самодостаточной площадкой для накопления материального и человеческого капитала с довольно низкими барьерами входа на рынок, а непосредственная доступность благ способствует оседлому образу жизни, высокой плотности горизонтальных связей, склонности к общественной кооперации. После «темного тысячелетия» высокая урбанизированность становится фактором преодоления крайне архаического раннехристианского уклада и расцвета эпохи Возрождения (реплики Античности), с преобладающей формацией городов-республик. Достижения Флоренции, Пизы, Болоньи, Венеции, Милана, Магдебурга, а также городов Ганзейского союза на севере и испанской Андалусии в области литературы, искусства, науки, медицины, географических открытий, государственного строительства, права, институтов экономики (появление банков и бирж-реалто) определили портрет Европы и ее роль как глобального модернизационного центра. Крупный европейский город фактически представляет собой естественным путем возникший расширенный кампус, реализующий принцип университетского образования – переплетение различных компетенций и создание прорывных знаний на их стыке – и не требующий дополнительных усилий по интеграции его звеньев, например, со стороны морского архетипа (в отличие от американских университетских экосистем, имеющих иной генезис, см. далее).

Архетип оседлого проживания, актуальный и в наше время, предполагает не курсирование между местами активности и удовлетворения различных потребностей, а бытование в гетерогенном поселении «на виду», что способствует наибольшей плотности горизонтальных связей и доверию между индивидами, осведомленными об образе жизни друг друга и становящимися взаимно прозрачными. В некотором роде, в полисе разнообразие возможностей сочетается с уровнем доверия и типом обмена информацией в малом поселении, – однако не за счет того, что индивид интернализован герметичной общностью, а как результат проецирования отношения к непосредственно знакомым на незнакомых. Узлы социализации (базилики Античности, реалто Ренессанса или просто современные кафе) являются также инфраструктурой снижения транзакционных рисков.

В числе важнейших и актуальных до настоящего времени порождений такой среды – редкое сочетание глубокой специализации компетенций с широкой кругозора их носителей, легкостью коммутации

с обладателями смежных знаний и навыков для междисциплинарного обмена, прежде всего, в сфере культуры, науки и технологий, вследствие чего отсутствует инкапсуляция отдельных центров компетенции и исследовательских институтов, таких как университеты, неуниверситетские центры и соответствующие подразделения корпораций. В сочетании с цеховым генезисом последних (см. ниже), это создает гармоничные условия как для фундаментальных, так и для прикладных исследований и внедрения разработок. При этом, корпорации легко диверсифицируют свою деятельность за счет смежных (комплементарных) технологий, не утрачивая специализации, в связи с чем распространены матричные структуры управления, где центры компетенции формируются как по продуктовому (или признаку целевых рынков, морской архетип), так и по технологическому (оседлый архетип) признаку, а в принятии решений преобладает консенсусный принцип. Это несколько снижает значение инвестиционных фондов, призванных диверсифицировать вложения, так как за акцией самой компании – центра капитализации часто стоит мультитехнологический портфель.

По мере того, как Средиземноморье становится ареной противоборства нарождающихся европейских и исламских империй, спрос на силовые возможности различного этногенеза нарастает, поэтому лишённые собственных оборонительных мощностей государственные образования юга и юго-востока Европы начинают стремительно беднеть и впоследствии утрачивают субъектность. Образуется дефект морского архетипа, вызванный незащищённостью капитала и ведущий к «обнулению» инвестиционного горизонта, регион погружается в затяжную демодернизацию, аграрное и мелкоремесленное хозяйствование. В первой половине XX века ожидаемым для такого уклада образом здесь нарастает силовая «токсичность», регион превращается в «фашистский пояс», а со второй половины XX века роль силового центра практически повсеместно переходит к криминальным структурам, претендовавшим на роль бенефициара общественной стоимости и отвергнутым элитами лишь перед лицом выгод интеграции в общеевропейские институты: в условиях хозяйственной периферийности положение морского хаба между формальными и неформальными центрами силы периода «холодной войны» способствовало расцвету промысла на нелегальном транзите. В большинстве южно-европейских стран проявляется эффект «несостоявшегося» государства, который в рамках общеевропейских структур преодолён лишь отчасти, регион выступает скорее импортером, а не законодателем передовых социальных практик. Уже на исходе Ренессанса центры модернизационных тенденций начинают смещаться к северу и северо-западу, причём ренессансная архетипическая композиция несколько «расщепляется»: образование и навыки становятся превалирующим фактором генерации капитала на континенте, где господствует оседлое бытование, а торговля и финансы – в регионах, омываемых холодными северными морями и лучше Средиземноморья защищённых в военном отношении, здесь распространяется морской торговый уклад. Примечательно, что буржуазные революции в европейских странах происходят в последовательности, отражающей глубину проникновения морского архетипа, миссией которого выступает накопление капитала и его концентрация для создания массового машинного производства при переходе к индустриальной экономике.

На континенте группы населения тяготеют к интеграции не только по этническому, но и по кооперационному признаку, образуют нации, их смешения и социальные уклады вокруг морских побережий и судоходных рек. Так, более или менее однородными являются, во-первых, «мультикультурный» бассейн автохтонного Средиземноморья эпохи преמודерна, охватывающий также прибрежные полосы соседних континентов – связанный общим контекстом зарождения и развития, испытавший схожую последовательность влияний извне, во-вторых, уклад торговых городов Ганзейского союза на северном побережье соседствующих стран, ремесленно-цеховая культура бассейнов Рейна и Эльбы, в-третьих, «транзитный южно-германский» уклад, интегрирующей Австрию и юго-восток Европы по Дунаю, а также на длительное время выдвинувшийся к периферийным странам и островам всего европейского Средиземноморья. Органичные части последней, тяготеющие к интеграции вокруг Дуная как канала выхода к бассейнам Средиземного и Черного морей, – Венгрия, Чехословакия, Югославия, Румыния – даже в условиях подкреплённого силовым диктатом «советского блока» составили наиболее проблемный для «метрополии» анклав европейского «социалистического лагеря». В

свою очередь, Австрия, а также частично принадлежащие этому же конгломерату Италия и Греция, составляли проблемный для евроатлантического блока пояс с сильными социалистическими настроениями, наиболее лояльно настроенный по отношению к просоветскому лагерю. В целом же размежевание этого пояса в условиях любого силового межблокового противостояния в Европе – как в межвоенное время, так и в период «холодной войны» – достаточно ожидаемо, поскольку в целостном виде он образует единый южно-европейский анклав, претендующий на контроль в стратегическом для мировой торговли бассейне.

Контекст борьбы за контроль над наиболее дешевыми водными транспортными артериями, доступ к которым формирует хозяйственные условия для производства излишков и накопления капитала, во многом объясняет экзистенциальные линии противостояния «фланговых» держав в Европе, наиболее остро проявившиеся в капиталоемкую индустриальную эпоху, когда консолидация рынка высокой емкости стала витальным фактором самосохранения наций. Так, естественным можно считать тяготение Турции к контролю над восточными «воротами» в Средиземное море и соответственно Балканами, чем обусловлено ее противостояние с Австро-Венгрией и, наоборот, союз с удаленной Англией за контроль бассейна Средиземноморья с двух сторон. Но этим же объясняется противоборство Англии и Испании за контроль над Гибралтаром как западными «воротами» в Средиземное море. Что касается участия в континентальной «игре» держав с более обширной материковой территорией или межуточным положением, а потому менее устойчивых к изменению границ – Франции, Германии, а также России, – то их поведение исторически скорее ориентировалось на тактические соображения, а ориентация довольно часто менялась.

Примечателен пример Баварии, в культурном и географическом отношении довольно периферийной и межуточной, тяготеющей скорее к австрийской ветви, тем не менее, не только плотно интегрированной в немецкую экономику, но и вырвавшейся в бесспорные лидеры в стране и на континенте в послевоенный период. Основной причиной этого послужило тектоническое перемещение капитала и трудовых ресурсов из промышленных центров, оказавшихся в зоне советской оккупации, включая разделенный Берлин, в связи с чем регион причудливым образом сочетает достаточно консервативную и даже архаичную социальную этику с высоким уровнем экономического развития. Естественное тяготение к локальности в рамках «большой германской нации», как и на континенте в целом, дало трещину лишь на непродолжительный период в конце XIX – первой половине XX века, ознаменованный интенсивным национальным строительством и мировыми войнами, когда пик капиталоемкости массового производства привел к сверхцентрализации ресурсов и связанному с этим усилению роли государственного оборонного и инфраструктурного заказа в экономике. Таким образом, крупнейшие европейские этносы – прежде всего, германский и французский – образуют различные ветви и населяют разные страны, при этом в пределах титульных также выступают как многоукладные. Вследствие этого, начиная с декомпозиции империи Каролингов, «собрание» которой скорее необходимо рассматривать как следствие великого переселения народов, формируется и углубляется тяготение идентичности к местной в противовес национальной, а явное доминирование здесь городского архетипа, самого по себе тяготеющего к локальности, лишь усиливает этот эффект.

Каждая из крупных ветвей «каролингской» Европы внесла основополагающий, эталонный вклад в развитие практически всех областей мировой культуры и мысли. Однако чрезвычайно интересен австрийский феномен, который образован как единое целое симфоническим вкладом не самых крупных южно-европейских этносов и общностей, географически интегрированных бассейном Дуная, – альпийских немцев-католиков и северных итальянцев, южных и отчасти восточных славян, мадьяр, румын. В частности, этот культурный конгломерат формирует ядро сокровищницы мирового музыкального искусства, выступающего универсальным трансэтническим выразительным «языком». В этой связи, трансгерманский эпос Вагнера, который многими полагается этико-эстетическим провозвестником немецкого нацизма, выступил вызовом венской традиции и «прозвучал» из родственной Баварии, которая бытовала изолированно, в стороне от полиэтнической австрийской ветви. Впоследствии именно юг Германии выступил «инкубатором» идеологической и организационной машины собственно нацистской партии.

Священная Римская империя и ее преемники, Германия и Австро-Венгрия, вплоть до XIX века наследуют традициям самоуправления времен Ренессанса в форме самостоятельности княжеств и вольных городов, «избираемости» императора, института профессиональных цехов (гильдий) и т.п. Преобладание, ввиду глубины локальных рынков и доступности речных транспортных путей, распределенного мелкосерийного производства и ремесел, самозанятости и вольнонаемного труда, отсутствие потребности в создании и контроле какой-либо инфраструктуры общенационального (или общекионтинентального) значения приводит к достаточно раннему разложению абсолютистской формы правления. Через все последующие эпохи прослеживается запрос на «распределенное» государство, где традиционные функции национального государства расщепляются между местным самоуправлением и наднациональными структурами («рыхлыми» империями, интеграционными объединениями). Так, в настоящее время нарождающийся постиндустриальный уклад, приводящий к разложению традиционного массового производства, вновь вызывает к жизни модель общественных отношений и публичного управления, возникший в период эпохи Возрождения и непосредственно после. С одной стороны, это усиливает локальную идентичность, ассоциируемую с местным самоуправлением, с другой – не отменяет потребности в наднациональных институтах, юрисдикция которых обеспечивает инфраструктурную связность и равнодоступный выход ко всем морским побережьям. Таким образом, под угрозой разложения оказывается промежуточный уровень национального государства, экономической основой становления которого в Европе в XVIII – первой половине XX вв. явилось крупное промышленное производство, требующее концентрации капитала.

Страны австро-германского пояса, представляющие европейский хартленд, на протяжении всего постренессансного времени отчетливо демонстрируют жизненную заинтересованность в расширении полосы контроля над североморским побережьем и/или прорыве к южным морям – впрочем, общую для всего каролингского ядра. Однако распределенный характер экономики и государственных образований Священной Римской империи ограничивал их финансовые возможности вплоть до появления крупного промышленного производства и постепенного повышения налогового бремени (хотя ниже уровня Франции). Концентрация капитала и централизация власти делает северную и южную германские империи, в силу географического положения «опоздавшие к разделу» заморских площадок для вывоза капитала, инициаторами или наиболее агрессивными участниками крупнейших внутриконтинентальных военных конфликтов. Вместе с тем, структура экономики и трудовые навыки, благоприятные для капиталоемких высокотехнологичных производств, по-прежнему несут на себе отпечаток цехового архетипа, в основе которого оседлый образ жизни, стимулирующий непрерывное улучшение среды обитания и технологий, навыков к труду – точных и отличительных одновременно, привязанность к средствам производства.

Именно их непрерывное совершенствование и специализация выступает на континенте наиболее доступным социальным лифтом и способом повышения благосостояния, при том что возможности для предпринимательской активности как размещения капитала с целью извлечения дохода ограничены (в отличие от стран англо-саксонского мира), поэтому склонность к частой смене направления деятельности не получает распространения. На базе цеховой формации впервые возникает новый тип «капитала с компетенциями», характерный собственно для оседлого архетипа и являющийся прообразом современных «умных денег» (smart money), – не на основе торговли излишками товаров, характерной для морского архетипа, а на основе изобретения и развития способов его производства. Основой цеховых сообществ выступает особый семейно-родовой уклад, обычно образующий архаический архетип, а здесь основанный на наследственной передаче трудовых навыков и потому формирующий особую самоидентификацию человека – прежде всего носителя определенной профессии, уже в силу этого претендующего на права и равное отношение (модернистский атрибут). Отражением фундаментальной роли института знаний для сообществ, основанных на доминировании городского архетипа, являются

такие способы легитимации государственной власти – наряду с ресурсами и силой, – которые ассоциируются со знанием – академии наук и художеств, капеллы и театры под эгидой монаршего двора.

Именно в рамках института профессиональных цехов уже на заре Нового времени завершается соединение труда со знанием, которое является опорной конструкцией и гарантией необратимости модернизационной динамики. Здесь же зарождается институт профессиональной репутации, который, в свою очередь, становится наиболее прочной основой доверия между индивидами и нормативно низкого уровня транзакционных рисков, облегчает любые формы общественной кооперации. Однако особенностью этого уклада является опора на местные профессиональные сообщества, сравнительно низкий уровень (либо медленный темп) проникновения извне культур и практик, за «доставку» которых обычно отвечает именно предприниматель морского архетипа, выраженного здесь сравнительно слабо и вторично. Вероятно, этим феноменом можно объяснить отсутствие здесь у городского архетипа – аутентично модернистского – иммунитета против ксенофобии, хотя и весьма специфической, не столько на этнической (на протяжении большей части европейской истории), сколько на этической платформе, центральной частью которой выступает и культура труда.

Корпус ремесленных и технических навыков здесь – особенно в Германии – настолько обширен и динамичен, а престиж так высок, что в дополнение к классическим университетам возникает особый разряд высших профессиональных училищ. Через Петербург как ключевую площадку трансфера европейского городского архетипа эта традиция передалась и России, однако под влиянием социальной матрицы степных кочевников, склонных не к специализации, а к универсализации компетенций, выродилась в нечто иное (см. далее). Более того, начиная с Нового времени на континенте утверждается актуальная по сей день практика ответственности гильдии за персональную квалификацию собственных членов. Так, лица профессий, не требующих оперирования капиталоемкими средствами производства (такое оперирование является уделом фирм различного размера), – врачи общей практики, адвокаты, бухгалтеры, оценщики, инженеры, ученые и пр. – традиционно оказывают услуги именно в личном качестве, однако обязаны для этого получить легитимацию со стороны своего сообщества – как правило, в виде членства в соответствующей коллегии или университетской кафедре – на предмет соответствия профессиональным стандартам. По мере снижения капиталоемкости благ и перехода к экономике знаний, можно ожидать расширения круга таких профессий.

Позднейшим отголоском этого является аналогичная корпоративная самоидентификация – не как бизнес-актива, а как социального института, возникшего вокруг компетенций, который крайне неохотно, только в условиях витальных конкурентных вызовов, тиражирует свой стандарт производственной и технологической культуры за рамками континента, сохраняет звено массового производства в собственной структуре, несмотря на высокую стоимость трудовых ресурсов. В особенности это справедливо в отношении Германии, корпоративная карта которой – в отличие от других крупных стран континента – не имеет следов колониальной активности: на фоне цехового генезиса корпоративная стоимость стереотипно создается в пространстве короткой дистанции, т.е. в инжиниринге и производстве премиального качества. В этой связи, здесь в равной степени бытуют элементы индустриального и постиндустриального уклада (в рамках последнего инсорсингу обычно подлежат лишь звенья с наиболее высокой добавленной стоимостью – НИОКР, разработка продукта, дизайн, маркетинг). В пределе для этого архетипа характерно тяготение к восприятию любых значительных инвестиций не столько в контексте возврата на капитал, сколько как самоценного общественного блага. Ввиду преимущественно локального производства, выражена экспортная ориентация, активный рост наблюдается в периоды низкого валютного курса, высокий курс вызывает существенные осложнения в экономике. Распространены мелкосерийное производство и индивидуальный заказ, приоритет отдается конкурентному преимуществу по качеству, но не по себестоимости/цене, что требует более высокого удельного веса человеческого труда по сравнению с машинным. Вместе с тем, универсальность компетенций и легкость их расширения, в сочетании со склонностью к горизонтальной кооперации, снижает давление численности персонала, как линейного, так и управленческого, на производительность труда.

Несмотря на это, в условиях естественной ограниченности возможностей экстенсивного роста, стимулы к обновлению технологий и повышению производительности труда являются чрезвычайно мощными, поэтому существует запрос на сдерживание высвобождения избыточной рабочей силы. Это находит отражение в ограничении продолжительности рабочей недели, существенной роли профсоюзов и

коллективных трудовых отношений, гораздо более высокой, чем в США, ответственности государства и работодателя за обеспечение социального стандарта работника (софинансирование пенсионного и медицинского обеспечения). Это своеобразный социальный компромисс, сдерживающий скорость модернизации одних сред (предпринимательской деятельности) во имя недопущения архаизации других, поскольку высокая скорость высвобождения работников могла бы иметь следствием застойность слоя «лишних» людей.

В этой связи, промышленное производство несет характерные отпечатки капитала на базе компетенций (а не финансово-торгового, на базе ростовщичества, как в англо-саксонских странах), высокая доля крупных и средних непубличных компаний, распространено участие работников (носителей компетенций) в капитале таковых, выше значение текущего, особенно фиксированного, трудового дохода на всех уровнях. Более того, формы материального стимулирования, жестко привязанные к результату, – в отличие от предприимчивого морского архетипа в Великобритании и США – в континентальной культуре являются несколько надуманными, избыточными либо даже расфокусирующими, поскольку свойством городского архетипа уже в силу его природы является стремление к совершенному качеству. А вот финансовый инвестор, как не вносящий прямого вклада в приращение технологического потенциала, не рассматривается в качестве полноценного партнера, в случае наличия таковых среди акционеров, фирмы стараются ограничить распределение дивидендов, поскольку воспринимают их как форму неосновательного обогащения. Традиция корпоративного управления предполагает, что орган, представляющий интересы акционеров, в отличие от США, является строго наблюдательным и не принимает непосредственного участия в текущих делах. Установка на капитализацию активов размыта, низка интенсивность поглощений, более распространены инструменты долгового и банковского, а не акционерного финансирования. Дрейф в сторону англо-саксонских стандартов оценки бизнеса и корпоративного управления в последние десятилетия вызван увеличением роли финансовых инвесторов соответствующего происхождения на континентальных рынках капитала.

В этих поведенческих наклонностях легко рассмотреть характерный профиль постиндустриальной экономики, когда доходность концентрируется у «капитала с компетенциями» (smart money), а владение тесно связано с отличительным вкладом в технологический успех, более того, существенные признаки капитала все больше переходят от накоплений к компетенциям. Возрастает доля крупных капитальных инвестиций – например, в исследования и разработки – в рамках некоммерческого сектора, вне логики непосредственной отдачи на вложенный капитал. Капиталоемкость экономики в результате такой общественной кооперации снижается, акционерный капитал перестает быть необходимым в привычных количествах. Значимые с точки зрения отдачи коммерческие инвестиции становятся доступны малому и среднему предпринимательству, которое в европейском общественном сознании в наибольшей степени ассоциируется с бизнесом как таковым. При этом, уклад крупных европейских корпораций, исторически воспринимаемых как социальные институты, в наибольшей степени соответствует институтам некоммерческого сектора нового образца – некоммерческим корпорациям. Этот тип хозяйствования отличается от распределительной благотворительности и относится к сфере создания стоимости, он уже давно преобладает в здравоохранении и образовании, отличаясь от фирм отсутствием коммерческих владельцев, а также исключением из структуры экономики прибыли, ограничением накладных расходов. К этой форме организации тяготеет и значительно менее дифференцированное – по сравнению с США – распределение доходов между сотрудниками различных уровней.

Способ расширения реальных располагаемых ресурсов индивида здесь также соответствует потребностям оседлого архетипа в углублении отличительных качеств человеческого капитала, выступающих основным социальным лифтом. Так, в повседневной жизни индивида кредит не присутствует, но широко представлен бесплатный или субсидированный набор предлагаемых государством и некоммерческим сектором благ, имеющих инвестиционную (здравоохранение, образование, культура), а не потребительскую природу. Более того, в создании этих благ солидарно участвуют также и работодатели, что подчеркивает их архетипическую природу как «корпоративных граждан», скорее чем центров прибыли, более того, роль профессиональных сообществ как системообразующей ячейки общества. Кроме того, распространена традиция пользования (коллективного или арендного) жильем в противовес владению, основным объектом собственности и социальным маркером для индивида является его трудовой/человеческий ресурс. Это снижает «прожиточный минимум» («не надо за все платить»), что сочетается с готовностью городского архетипа заниматься лишь деятельностью, в которой разбирается досконально, отсутствием склонности к риску и авантюрному экономическому поведению в условиях крайне низкой предпринимательской

доходности из-за ограниченности возможностей экстенсивного роста. В этом плане еще одна особенность неконкурентного городского архетипа здесь заключается в том, что сравнительная оценка знаний в системе образования является вторичным стимулом, в некоторых звеньях и странах она отсутствует вовсе, роль навыка в обеспечении успеха индивида самоочевидна, а мощности по их воспроизводству не являются ограниченными.

При этом, для этого архетипа характерен типологически упорядоченный образ жизни, правовое регулирование которого легко поддается кодификации в форме письменного континентального права. Его логика контрастирует с прецедентным англо-саксонским правом, возникшим как экстерриториальный институт регулирования довольно разнообразных, хаотических отношений, характерных для морского кочевого архетипа, и выводящим общий закон из применения принципа справедливости в частном случае.

Примечательно, что оседлость может не только благоприятствовать планомерной созидательной деятельности и углублению навыков, но и при определенных условиях становиться причиной некоторой застойности в развитии, атрофии предпринимательских способностей, снижения любознательности. В этой связи, в научном сообществе и корпорациях существует практика поощрения выхода из зоны комфорта-застоя, когда географическая ротация становится важным карьерным и материальным лифтом.

Благоприятные географические условия, в то же время, являются фактором незащищенности и привлекательности для отвоевания, что особенно верно для Франции ввиду протяженности и разорванности морских побережий, а также закрытости морских выходов крупнейшими флотами – британским, голландским, испанским, португальским и турецким. При этом континентальные границы размыты как с запада, так и с востока, будучи предметом спора с сильными в военном отношении державами, что в совокупности влечет за собой высокую военную активность. Примечательно, что крупнейшими субъектами такого вызова исторически выступали Великобритания и страны австро-германского пояса – архетипические эталоны соответственно морских кочевников и городского архетипа, являющие модельные образцы эксплуатации конкурентных преимуществ своих антропологических видов. Таким образом, более выгодное по сравнению с Германией месторасположение во многом нивелируется издержками уязвимости и удержания этого расположения, поэтому в долговременной перспективе это конкурентное преимущество не смогло обеспечить Франции единоличное лидерство в большом «каролингском» ядре Европы, а социальная организация традиционно имеет больше сходств с соседями по континенту, нежели по морю. Предпосылки для «оборонного сознания» также послужили возникновению наиболее устойчивой, однородной и непрерывной национальной идентичности в Европе, в других странах более размытой и местной, «региональной», менее обусловленной этничностью. В этой же связи, вероятно, именно логика отстраивания от соседей – экзистенциальных конкурентов, Англии и Германии, сохранила Францию в лоне католической церкви – в отличие от других стран, преимущественно основанных на городском архетипе. Эта совокупность факторов привела к формированию наиболее пространственно протяженного государственного образования в Европе, в отличие от нормативно тяготеющих к локальности и «точности», городской организации. Кроме того, возникла актуальная по сей день установка на централизм (этатизм), самоценность государства, нашедшая отражение в уникальной для европейского континента форме правления в виде президентской республики. Вероятно, Франция явилась первой в истории доиндустриальной страной, ощутившей давление вызовов индустриальной эпохи, когда «оборонное сознание» выступало идеологической платформой «дорогого» государства, которое стереотипно должно располагать собственными надежными финансовыми источниками. Это отозвалось наиболее высоким в Европе уровнем налогового бремени и вмешательства государства в экономику, включая государственную собственность, при этом в послевоенный период цели такого экономического этатизма в большей степени стали сводиться к обеспечению социального равенства.

Именно всплесками военной активности вызвано периодическое, вплоть до первой половины XX века, обращение континентальных держав к такому архаическому пережитку, как принудительный труд

(трудовая повинность), выполнявшему роль инструмента регулирования себестоимости государственного заказа, а также обеспечения занятости в условиях высокой рождаемости.

Примечательно, что в доиндустриальный период здесь же наиболее явно из всех европейских стран проявлялись атавизмы закрепощения, однако все же они подверглись достаточно раннему разложению под воздействием внутриконтинентальной конкуренции в ходе стремительного роста производительных сил и технологий (в т.ч. для военно-технических нужд). В целом, в этом наборе особенностей отдаленно различимы некоторые признаки русской «ордынско-московской» социальной организации, основанной на степном архетипе и склонной к территориальной экспансии. Отсюда и более существенное сходство – экзистенциальное отставание от основного архетипического конкурента и одновременно источника образцов, в роли которого для Франции с началом индустриальной эпохи выступала морская Англия, для России же континентальная Германия. Это отставание в обоих случаях явилось манифестом несостоятельности традиционного устройства общества, межсословного размежевания и запроса на активацию социальных лифтов, что именно в этих двух странах в разное время привело к наиболее радикальной смене общественных формаций, а также сделало их мировыми лидерами авангарда и левого движения. Однако в СССР по сути левый поворот продержался всего лишь одно десятилетие, впоследствии сменившись имперской реставрацией под левой вывеской (см. ранее и далее), в то время как во Франции полный разрыв с традиционным обществом выступил своеобразной новой, нациеобразующей традицией. Она предполагает отрицание или вытеснение на социальную периферию монархического и религиозного ритуала, примат свободы личности и секулярной этики, что составляет основу идей французской революции, Просвещения и французской культуры вообще.

Распространению свободного труда, прежде всего, способствовал технический прогресс, необходимость усложнения компетенций для эксплуатации новых средств производства, следовательно, обучения работников и рынка труда. Доступность факторов производства на континенте также снижает сравнительную привлекательность низкой стоимости крепостного труда по сравнению с добавленной стоимостью от свободного, что ведет к постепенному удорожанию человеческих ресурсов, поэтому военные кампании обоснованы только при условии их высокой окупаемости. По мере накопления богатства и роста производительных сил до объемов, превышающих внутренние потребности, такие кампании стали выходить за пределы континента и приводить к формированию трансконтинентальных империй. Примечательно, что именно морской архетип, не в полной мере востребованный в гетерогенной среде исключительной плотности в качестве связующего звена между различными факторами производства, становится основной заинтересованной стороной колониальной и военной активности, т.е. выполняет роль «переносчика» европейских практик вовне. На континенте он выступает «вспомогательной», финансово-торговой ипостасью крупного капитала, в основном замещенного на компетенциях – атрибуте городского архетипа, поэтому его интересы больше ограничиваются обеспечением себе свободного доступа к морям. В морских державах этот архетип и соответствующий ему финансово-торговый капитал являются первородными, предметом их конфликта выступают основные океанские пути и заморские владения. Лишь интеграция в единое экономическое пространство после второй мировой войны позволяет преодолеть предпосылки для борьбы за доступность наиболее привлекательных морских транспортных путей, составляющую экономическую (не исчерпывающую) «фабулу» вооруженных конфликтов между европейскими империями. В результате отступили как «оборонное сознание» и потребность в концентрации ресурсов, вызывающие тяготение к архаике, так и внутриконтинентальная межстрановая конкуренция, придающая импульс модернизации.

Отраслевая структура страновых экономик несет отчетливые отпечатки военной активности и отражает отличительную особенность конкурентных начал на континенте, скорее проявляющихся на уровне отношений между национальными элитами. Так, природно-ресурсные компании играют важную роль в экономике стран с высокой исторической заморской колониальной активностью – Великобритании,

Голландии, в меньшей степени Франции, Италии и Испании, при этом у основных континентальных военных антиподов, Германии, Франции и отчасти Великобритании, наблюдается практически зеркальная структура химической промышленности и тяжелого машиностроения. Лишь по мере углубления европейской интеграции на почве передачи в «общее пользование» естественных национальных конкурентных преимуществ, прежде всего, выходов к морям и доступа к рынкам, кооперация и взаимное переплетение интересов (вплоть до слияния) во многом размывает национальную корпоративную идентичность в пользу общеевропейской (в некотором смысле, континентально-европейской идентичности как национального новообразования с «каролингским», франко-германским ядром), вытесняет конкуренцию между национальными государствами в крупной промышленности и сопутствующее ей напряжение.

Примечательно, что и владение стратегическими активами, в том или ином виде связанными с силовым фактором, например, в топливно-энергетическом или военно-промышленном комплексе, как правило, осуществляют не государства, а крупные корпорации. Это отражает их роль в принятии решений общенационального значения и восприятие в коллективном сознании – не столько как бизнес-активов, сколько как институциональных образований.

По совокупности приведенных причин, здесь сравнительно слабо выражены «примитивно-родовые» формы конкуренции, сопутствующие архаическому началу. Развитие конкуренции, системы сдержек и противовесов вообще происходило «сверху вниз», по мере отказа суверена от собственности и полномочий (или их лишения) в пользу других слоев или институтов (начиная с автономизации дворян и признания их собственности частной, неприкосновенной), включая переход к коллегиальному контролю над силовыми возможностями государства. Фактически этот режим трансформации представляет собой национализацию изначально «окупационного» государства, преемствующего кочевникам-завоевателям оседлых земледельческих племен. Этим определяется практически повсеместное распространение парламентской формы правления, отличительной особенностью которой является коллегиальный характер исполнительной власти, более того, формирование таковой не населением напрямую, а представительным органом, выступающим как механизм согласования разноуровневых – элитных и общественных – интересов. Народившиеся «мягкие» формы конкуренции здесь сочетаются со склонностью к консенсусным, а потому «медленным» решениям (ключевая разновидность транзакционных издержек не только в бизнесе, но и в публичном управлении), к развитию как демократических институтов, так и бюрократического аппарата, минимизации персонального, субъектного влияния на принятие решений и размытости персональной ответственности. Массовое создание новых фирм здесь происходит в технологически (смена уклада) или исторически (после мировых войн) обусловленные периоды, а в промежутках между таковыми личная предпринимательская активность сравнительно низка. Характерна ограниченная адаптивность экономики (ниже американской, но выше японской) к использованию стандартных про- и контрциклических методов макроэкономического регулирования, таких как денежно-кредитная и налогово-бюджетная экспансия/рестрикция: в силу относительно низкой установки на личную предпринимательскую инициативу, на такие меры откликаются в основном уже существующие фирмы.

Коммерциализация интеллектуального продукта, создаваемого на площадках «городов-кампусов», в основном происходит в рамках крупных либо зрелых корпораций с соответствующим эффектом «узкого горлышка». Низкая готовность к технологическому предпринимательству замедляет повсеместное развитие экосистем стартапов (практически во всех странах насаждаются искусственно, со значительными сложностями, и не являются массовыми) и приводит к высокому отсеву разработок, оттоку инноваций и их носителей в США. Узость рынка интеллектуальной собственности снижает капитализируемость таковой и уровень личного богатства ее обладателей. В этот ряд укладывается также и различное представление о фазе жизненного цикла технологии, с которой начинается этап коммерциализации. В США таковой наступает значительно раньше, как правило, уже в момент обретения интеллектуальных прав разработчиком в лаборатории университета или исследовательского центра корпорации, после чего технология в принципе может рассматриваться как коммерчески самостоятельный объект венчурного финансирования посевной стадии. В европейских странах последующая стадия – вплоть до создания опытного образца – ввиду высокого риска нормативно также рассматривается в качестве предмета бюджетного, некоммерческого

финансирования, и лишь после предварительной верификации технико-экономических характеристик итогового изделия, на стадии продвижения и внедрения продукта, проект подлежит финансированию за счет возвратных источников. Эта особенность соответствует представлениям городского архетипа о прикладном знании как содержащем детальные характеристики конечного изделия, что в рамках постиндустриальной парадигмы многопродуктового применения технологий неэффективно, поэтому в отраслях с высокой скоростью технологического развития преимущество за американской моделью, позволяющей придать технологии коммерческую стоимость на любой стадии разработки.

Тем не менее, под влиянием глобализации американские и европейские практики подвержены некоторой конвергенции – под влиянием американского венчурного капитала европейская экосистема стартапов расширяется, а в университетских экосистемах США множатся многопрофильные исследовательские центры с более длинным циклом разработки за счет некоммерческих источников. Действительно, европейские страны несколько отстают от США в развитии технологических секторов с наиболее коротким инвестиционным циклом и быстрой коммерциализацией, прежде всего, в сфере информационных технологий. С другой стороны, корпорации, напоминающие «социальные институты» – хранители компетенций, скорее чем центры прибыли, показывает себя крайне эффективными в отраслях с длинным инвестиционным циклом и высокой долей вложений в НИОКР. Так, в аэрокосмическом и машиностроительном комплексе, био- и медицинских технологиях, фармацевтике и новых материалах, где разработка удорожается длительным и дорогостоящим этапом испытаний и сертификации, Европа практически на равных конкурирует с США. При этом, чистые технологии и, в частности, сектор возобновляемых источников энергии, достигший паритета себестоимости с энергетикой на ископаемом топливе после 20 – 25-летнего применения субсидируемых тарифов, развиваются с опережением американских аналогов. Как правило, вновь создаваемые крупные бизнесы в Европе относятся к именно к таким отраслям – централизованно льготлируемым, находящимся в авангарде смены технологического уклада.

Эпизодически архаические атавизмы можно усмотреть в некоторых аграрных и курортных регионах юга и юго-востока Европы (по вышеизложенным историческим причинам), как правило, не достигающих размеров целой страны, где внешний спрос обращен на примитивные активы – недвижимость и простые услуги, что создает схожую с ресурсной структуру экономики. Малый бизнес, в особенности тесно связанный с традиционными услугами и ремеслами, также нередко воспроизводит скорее архаический уклад отношений, поскольку компетенции и трудовые навыки здесь консервируются, а не находятся в динамическом состоянии. При этом плотность малого бизнеса на континенте равномерно высока, но по этой же причине его доходность лишь немногим превышает отдачу от наемного труда. Кроме этого, заметные анклав с застарелым и концентрированным архаическим потенциалом можно обнаружить в восточноевропейских странах, исторически лишенных самостоятельных выходов к морям либо не имеющих ресурсов защитить эти выходы и вообще противостоять интересам окружающих крупных держав. Самоидентификация притесняемой общности в сочетании со свойственной крепкому крестьянину низовой солидарностью выработала здесь более устойчивую, чем в Центральной и Западной Европе, национальную солидарность, преимущественно на этнической основе. Однако ускоренная интеграция в публичные общеевропейские институты в посткоммунистический период сопровождалась также и фронтальной экономической экспансией европейских корпораций, во многом заменивших собой дефективный, ввиду затяжного бытования военных рисков, морской архетип. Поэтому уже в период первоначального накопления произошла «десуверенизация» крупного капитала, а экономическая база архаического уклада изначально оказалась загнанной в рамки малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, так и не перекинувшись по российскому образцу на крупный бизнес. В настоящее время находит выражение в усилении крайне архаических тенденций в рамках институтов католической церкви, а также значительной и даже правящей роли консервативных партий (значительно более правого толка, чем мейнстримные западноевропейские аналоги).

Наконец, особую, наиболее опасную разновидность архаического уклада можно усмотреть в сообществах этнических меньшинств с наследственностью бездеятельного и социально обезличенного бытования в странах происхождения, а также низкой скоростью адаптации. Распространение этого

уклада резонирует с высвобождением трудовых ресурсов независимо от происхождения в условиях перехода к экономике знаний и связанным с этим ростом популярности крайних политико-идеологических платформ, в т.ч. у местного населения. В сущности, это степной кочевник с низким уровнем образования, которого легче адаптировать при помощи высокой социальной динамики и низкого уровня социальных гарантий, как в США. Европейским стандартом централизованных услуг для человеческого капитала, рассчитанным на оседлое бытование и самосовершенствование стремящегося к этому индивида, он скорее склонен злоупотреблять. В отсутствие непосредственной необходимости искать возможности извлечения стоимости, он исключительно податлив «обаянию» силы, которая, уже в силу самой природы европейского социума, основанного на доминировании городского архетипа, имеет обычно инородное происхождение, чем обусловлен нормативно высокий уровень террористической опасности. С другой стороны, с точки зрения социального портрета, эти сообщества напоминают наиболее массовый в России уклад урбанистической архаики (см. далее), также являющийся социальной «мутацией» низового звена степного архетипа – в данном случае безземельного, непроизводительного крестьянина.

Приоритеты преобладающих в Европе типов человеческих сообществ предопределяют общее доминирование левых и либеральных устоев, высокую защищенность любых меньшинств, высокую налоговую нагрузку и стандарт доступных услуг во всех сферах, важных для развития человеческого капитала (образование, наука, здравоохранение, культура), создаваемых в некоммерческом секторе (т.е. без компоненты прибыли в ценообразовании). Принципиальное (на 3% ВВП и более) снижение объема перераспределяемых посредством инструментов бюджетной политики ресурсов не является оптимальным, поскольку это привело бы не к высвобождению источников для создания новой стоимости, а к снижению качества человеческого капитала, что обществом воспринимается болезненно. При этом, основным ограничителем роста является не дефицит финансовых ресурсов у акторов, а дефицит возможностей для их производительного размещения (как уже отмечалось, в силу естественных ограничений для экстенсивного роста). В то же время, эффективность тех или иных институциональных форм такого перераспределения является предметом постоянной дискуссии.

Например, централизованное финансирование системы здравоохранения позволяет снизить транзакционные издержки по сравнению со страховым механизмом, однако ограничивает привлечение частного капитала в здравоохранение.

Также в силу естественных ограничений, темпы роста ВВП в среднем ниже, чем в США. Однако ниже и уровень дифференциации доходов, поэтому для подавляющего большинства населения влияние роста ВВП на уровень личных доходов сопоставимо.

* * *

При всех различиях, яркое исключение с точки зрения склонности к предпринимательской инициативе – частной либо коллективной – представляют собой те европейские страны, в которых государство не является производным от кочевого завоевателя либо в силу географической специфики не препятствует гражданам в определенных условиях «вырастить» республиканские институты самостоятельно. К числу таковых можно отнести Великобританию, полосу городов Ганзейского союза и скандинавские страны, омываемые холодными северными морями, а также Швейцарию. Города Ганзейского союза испытали сильное влияние Ренессанса и Священной Римской империи, в связи с чем здесь морской архетип по ренессансному образцу исторически соседствует с городским. Великобритания

и скандинавские страны, в силу географического положения, первоначально представляли собой культурную периферию европейской цивилизации, поэтому урбанизация происходила с некоторым запозданием. Городской архетип здесь не является данностью, его кристаллизация стала следствием интенсивного развития компетенций для машинного производства. Именно при переходе к массовому производству, требующему концентрации и являющемуся капиталоемким, легкость генерации капитала в морской торговле становится решающим преимуществом – особенно в эпоху великих географических открытий. Оно позволяет не только наверстать в сжатые сроки отставание – прежде всего, Великобритании от Франции, испытывавшей сложности с доступом к морскому сообщению, как на севере, так и на юге, – а вырваться в неоспоримые лидеры и удерживать позиции на протяжении столетий, более того, стать для непосредственных конкурентов ролевой моделью и непреодолимым вызовом. Одновременно удаленность от района военной активности вокруг Средиземноморья ограждает весь североευропейский регион от рисков вооруженных конфликтов на собственной территории, а открытый выход в мировой океан, в значительной степени, расширяет континентальное ограничение возможностей экстенсивного роста.

Силовой ресурс не представляет угрозы хозяйствующим субъектам внутри страны, а, напротив, расширяет их трансграничные возможности вовне. Невзирая на то, что в таких странах, как Великобритания и Голландия, плотность населения и прочие базовые характеристики близки к таковым на континенте, критическая масса людей имеет опыт промысла в открытых водах, на удалении от патримониальных институтов, так что право для них – не формально, но фактически – автономно от государства и отражает локально возникший общественный договор. Более того, корона выступала непосредственным выгодоприобретателем такого свободного промысла, в известном смысле зависела от него, так что в конечном итоге не могла игнорировать интересы торговли и капитала, а тем более предпочесть им запрос феодальной земельной знати, – в то время как на континенте влияние таковой пережило английскую буржуазную революцию на одно-два столетия. Отсюда эффект «индивиду-суверена», самостоятельно распоряжающегося добычей и силой для ее защиты, – при этом в полной мере такой эффект раскрылся, когда «индивиды-суверены» обрели еще и землю, «территорию суверенитета», т.е. в рамках колониальных проектов этих стран – в основном частных с точки зрения организации и коммерческой мотивации (см. ранее и далее). В этой связи примечательно, что в Европе монархическая традиция не прерывалась исключительно в североморских странах, что вряд ли можно отнести на счет каких-то гуманитарных отличий этого института от континентальных аналогов. Вероятно, этому послужила историческая «симфония» монархии и ее силового аппарата с национальным капиталом, что вывело этот институт из-под удара в ходе волн буржуазных революций.

В действительности на море возникает плюрализм силовых сервисов – системных в виде соперничающих военных флотов и внесистемных в виде пиратов, нередко получающих также соперничающие королевские мандаты, что парадоксальным образом становится важным фактором защиты и свободы морской торговли. Как и в случае с ренессансными городами-республиками, слабейшая из сторон – в данном случае последняя – со временем вытесняется и обретает пристанище на суше в ходе заморской поселенческой активности Нового времени. При этом поведенческие привычки этого низового звена морского кочевого архетипа – с низким уровнем образования и архаичностью, авантюрного и «фартового», с повышенной склонностью к предпринимательским рискам, рассматривающего перемещение не как возможность выжить (в отличие от степных кочевников хартленда), а в контексте возгонки ожиданий по извлечению стоимости, – определяют специфические черты социальной культуры англо-саксонских стран Нового света, актуальные до нашего времени (см. далее). Примечательно, что скандинавские викинги вели образ жизни, схожий с пиратским по многим существенным признакам, более того, покушались на господство над Англией.

В скандинавских странах, с их достаточно суровыми природными условиями и низкой плотностью населения, модернистский уклад основан на коллективном, артельном хозяйствовании при сравнительно

равномерном распределении – т.е. исходящем из трудозатрат и квалификации. Источником инвестиций в такой модели хозяйствования считается общность в целом – будь то в лице государства или финансовых учреждений. При этом капитал в распоряжении последних основан на солидарных накоплениях и в минимальной степени имеет отношение к истории высокодоходного торгового посредничества, – соответственно от предпринимателя также стереотипно не ожидается высокого или быстрого возврата на капитал. Однако, в этой связи, общность как донор инвестиций изымает значительно более высокую, чем это принято у других общностей, часть предпринимательского дохода в форме налогов или доли в капитале для финансовых институтов, трудовых коллективов и т.п. Этим здесь объясняется низкий уровень имущественного расслоения, основной актуальной причиной которого в развитых странах, прежде всего у морских кочевников, является именно предпринимательский доход – вознаграждение за индивидуальный риск, многократно превышающее вознаграждение за сопоставимый трудовой вклад. Этот принцип распределения отражает установку на исключительное трудолюбие, бережливость, высокий уровень солидарности и ценности общественного блага. Более того, в окружении более выгодно расположенных морских кочевников – Англии, связанной с континентом Голландии, – а затем и государств воинственных русских степных кочевников, ставка на силовой промысел показала себя как тупиковый, бесперспективный путь. Сложившийся здесь социальный уклад показал, что тип хозяйствования, связанный с добычей природных ресурсов (рыболовство, лесное хозяйство) не приводит к непереносимой архаизации, свойственной рентной экономике, если не тяготеет к концентрации из-за высокой капиталоемкости и необходимости контролировать пути доставки (как, например, в хартленде).

По причине условий бытования здесь также сильна традиция коллективного контроля за силовыми возможностями, государство, в т.ч. в роли «стационарного бандита», не имеет вождественного происхождения, а является продуктом общественной кооперации, что сродни как псковско-новгородской традиции профессионального военного «менеджмента», так и солидарному укладу старообрядцев. Архетипически в этот же ряд можно поставить общественное устройство Швейцарии, сыгравшей роль убежища от религиозных гонений и, в отличие от ближайших соседей, обладающей традицией коллективной обороны, которая отзывается режимом прямой демократии и общественной кооперации. Однако в силу удаленности от моря и горного рельефа, основой выживания и благосостояния здесь, как и в других континентальных странах, выступало совершенствование трудовых навыков, характерное для городского архетипа. При этом потребности в капитале здесь обеспечиваются банковской системой, апеллирующей к ростовщическому промыслу альпийских протестантов и покрываются, в том числе, за счет образованных в других экономиках накоплений. Как и англо-саксонские страны, хозяйство и социальное устройство которых основано на установках морских кочевников, все «общинные» виды со временем приходят к капиталоизбыточности – однако благодаря не столько успехам в торговле, сколько тому, что беспрецедентно высокий уровень социального капитала избавляет их от чрезвычайно высоких издержек по организации транзакционного взаимодействия (см. ранее). При этом спрос на капитал здесь уступает уровню, характерному для соседних, основанных на городском архетипе общностей: для фронтального развития крупных производств индустриального формата здесь недостает трудовых ресурсов, – в силу их дороговизны развитие промышленности чрезвычайно избирательно, а ее структура не отличается диверсификацией. Новейшим итогом этой архетипической модели развития стала кристаллизация формации, часто определяемой как скандинавский (шведский) «социализм», – однако на определенном витке использование накоплений для создания высокого стандарта общественных благ стало недостаточным в сравнении с возможностями и запросами. Отсюда здесь появляется тенденция конвертировать общественное богатство в дешевые кредитные ресурсы и индивидуальный капитал, – например, по аналогии с морскими кочевниками и в противоположность городскому архетипу традиция пользования арендным жильем сменяется стремлением владеть собственным, чему также способствуют низкая плотность населения и богатая сырьевая база для деревянного домостроения.

В то же время, слабость большинства североморских моделей использования общественного богатства – по крайней мере, в Великобритании и скандинавских странах – заключается в том, что они появлялись по мере роста финансовых резервов в распоряжении государства. Этот рост опередил развитие организованных профессиональных сообществ, которые в других европейских странах имеют глубокие цеховые корни и несут основную нагрузку администрирования такого перераспределения, – это резко снизило эффективность использования ресурсов и повысило роль государственной бюрократии. В скандинавских странах, где ресурсы государства и финансовых институтов по существу составляют единый резервуар общественного богатства, это также имело следствием расширение объемов государственного заказа – например, в строительстве. Отрасли-подрядчики получили импульс к развитию, опережающий мощности по освоению ресурсов, а задействованные хозяйствующие субъекты – условия исключительного благоприятствования, что имело следствием неосновательно низкую самостоятельную активность в таких отраслях. Наконец, плодотворность капиталоизбыточной общности в условиях экономики знаний практически в полной мере определяется тем, насколько трек непрерывного образования является нормой жизненного цикла индивида. Это связано с тем, что, как уже отмечалось, «навес» финансового капитала создает потенциал искажения финансовой мотивации, – вследствие этого значительные человеческие ресурсы поглощаются отраслями с низкой антропологической плодотворностью либо вовсе самоустраиваются из экономической деятельности.

В ряду нордических общностей весьма показательным отличием Эстонии от постсоветских соседей по балтийскому региону – Латвии и Литвы, которые, подобно странам Восточной Европы, по основным признакам справедливо отнести к ареалам доминирования деформированных морских кочевников (см. ранее). Стремительное превращение «бутиковой» по размерам страны в передовую площадку экономики знаний несколько напоминает путь родственной Финляндии, – хотя последняя следовала пути индустриальной технологической модернизации. Среди прочего, пример Эстонии подтверждает, что, в отличие от прочих морских кочевников, «общинные» антропологические виды не подвержены эффекту силовой деформации извне. В свою очередь, это позволяет полагать сохранившимися поведенческие установки аналогичных русских общностей.

Все североморские социальные модели создают условия для раннего зарождения института незыблемой собственности, который в других странах континента, в силу объективных причин и генезиса (см. выше), не определяет поведенческие установки в решающей степени. Морская торговля и сравнительно невысокое значение сельского хозяйства (соответственно, привязки к земле и средствам производства) благоприятствуют установке на легкую смену сферы предпринимательской активности и инвестированию в расчете на отсроченную отдачу, развитию навыка выбирать из обширного набора соотношений риска и доходности. В этой связи, бурное развитие крупной промышленности здесь во многом опиралось на капитал не ремесленно-цехового, а финансово-торгового происхождения. При этом доходность торговли, как и скорость развития промышленности, существенным образом различалась, в зависимости от конкурентных преимуществ. Так, Великобритания и Голландия с их торговыми и военными флотами покрывали своими посредническими операциями практически все потоки товаров в мире и генерировали аномально высокий уровень доходности, – в то время как скандинавские страны в основном могли рассчитывать лишь на сбыт продукции собственных ресурсных промыслов.

Примечательно, насколько характер контроля рентных ресурсов отражает сложившийся характер контроля силового ресурса. Так, в Великобритании и Голландии добычу углеводородного сырья в Северном море осуществляют публичные компании с размытой структурой собственности, без выраженных крупных акционеров, действующие в свободном конкурентном поле. При этом, в Норвегии управление такими ресурсами осуществляет компания-монополист, однако в интересах государственного пенсионного фонда (таким образом, всех граждан), что соответствует специфической для скандинавских стран форме солидарных институтов. Кроме того, сконцентрированные ресурсы здесь существенным образом облегчают равномерную «доставку» качества жизни по территории страны в условия низкой плотности населения, однако это относится лишь к капитальным затратам на необходимую инфраструктуру. Отсюда операционные издержки

содержания инфраструктуры с низким уровнем загрузки покрываются аномально высокой стоимостью жизни, что, в свою очередь, требует существенного повышения доли потребления в общественном продукте, сравнительно равномерного распределения, а также повышения доли благ, приобретаемых солидарно, путем коллективного финансирования. В конечном итоге, феномен успеха нордических цивилизаций практически полностью уходит корнями в артельный архетип организации хозяйства и общества. Сырьевая ориентация норвежской экономики труднопреодолима ввиду количественного недостатка человеческих ресурсов для новых отраслей, однако поскольку традиционные отрасли не служат узкому сословию – узурпатору ренты, ничто не препятствует именно им становиться основной площадкой для накопления инновационного потенциала. В целом, начало добычи нефти и газа в бассейне Северного моря привело не к упрощению, а к усложнению структуры экономики стран региона за счет реинвестирования рентных ресурсов.

В Великобритании и Голландии – как наиболее яркой отдельно взятой стране, социальная организация которой основана на ганзейских традициях, – с их более мягкими, чем в Скандинавии, климатическими условиями, высокой плотностью населения и гетерогенной средой, модернистский уклад основан как на совершенствовании трудовых навыков и продукта, так и на частной собственности и свободе предпринимательства. Не случайно именно эти две страны являются колыбелью буржуазных революций, а отношения закрепощения здесь практически не отразились на хозяйственном укладе, в то время как неголландские ганзейские города пользовались высокой автономией в рамках своих национальных государств, развивавшихся как преимущественно континентальные, и имели лишь ограниченное влияние на их социальную организацию. Накопление капитала от морской торговли – в случае Великобритании также преимущества правовой системы, «рента» всемирного источника социальных образцов и коммуникационного языка – в совокупности сделали возможным возникновение лидирующих национальных финансовых систем глобального значения (хоть и различного масштаба). Благодаря такому преимуществу, фактически эти страны – в особенности Великобритания – научились приспособливать «старый» капитал «морского», финансово-торгового происхождения, многократно прошедший через наследование и осевший в развитых здесь институтах коллективных инвестиций, для проектов «капитала с компетенциями». Такое выгодное положение «между архетипами» послужило основой технологической версатильности, отсутствия ограничений по компетенциям и открытости к их привлечению, инвестиционного отношения к фирмам как активам «на продажу» в противовес континентальному, как к социальным институтам – хранителям компетенций. Характерна исключительно высокая склонность к участию в глобальных цепочках производственной кооперации. Противодействие эффекту т.н. «голландской болезни» в этих странах, имеющих обширный сырьевой сектор, облегчено по причине высококачественного образования, гетерогенного человеческого капитала и развитых институтов, – хотя ни одной из них не удалось избежать вымывания производств по причине высокой, даже по сравнению с прочими европейскими странами, стоимости рабочей силы.

Избыток капитала и предпринимательские установки, сопутствующие морским торговым традициям, позволяют создавать более широкие, чем на континенте, возможности для капитализации различных активов или вывоза капитала к местам его производительного освоения с последующей репатриацией дивидендов. В отличие от стран континентальной Европы, основные потоки капитала формируются не в результате внешней торговли, а путем прямых перетоков капитала. В связи с этим в Великобритании, как и в США, для фирм большую роль играет привлечение такового через акционерное или гибридное финансирование в противовес долговому и банковскому, лучше развиты инструменты рынков капитала, а инвестиционные банки опережают коммерческие по влиянию на экономику, соотношение капитализации и ВВП ближе к американскому.

В то же время, в условиях резкого снижения капиталоемкости постиндустриальной экономики и снижения спроса на капитал вообще, последний, как и все факторы производства, стремится к деконсолидации. В этой связи, финансовая система – прежде всего Великобритании и Швейцарии, – многократно превосходящая абсорбирующую способность сколь угодно развитой национальной экономики знаний и испытывающая сложности с доходностью активов, превращается в потенциальное обременение. На этом фоне состояния торгово-промышленного происхождения, связанные с морским архетипом, как

социальный фактор все больше отвечают за архаическое начало – завышение барьеров для входа на рынок, неравенство стартовых возможностей, ограниченность доступа к социальному лифту. В частности, значительные накопленные состояния предъявляют спрос на инвестиционные активы, завышая их оценку и снижая их доступность для «нефинансовых» покупателей – от пользователей жилья до венчурных инвесторов. Вместе с тем, доставка капитала в страны, где потенциал экстенсивного роста – соответственно, доходности для «пассивного», финансового капитала – далек от исчерпания, осложнена различными структурными факторами, ограничивающими абсорбирующую способность их экономик. Прежде всего, эти факторы связаны с крайне низким качеством человеческого капитала и малой емкостью внутреннего рынка, отсутствием устойчивого способа производства, обеспечивающего место в мировом разделении труда, застарелой родоплеменной социальной организацией. Изменение такого положения требует «высадки передового десанта» для переноса передовых практик, что, в сущности, является частью миссии морского архетипа, однако в данном случае в облики некоммерческого «капитала» со значительным временным опережением по сравнению с коммерческим. Это выступает одним из факторов беспрецедентного роста некоммерческого сектора в последнее десятилетие. Долгосрочным преимуществом Великобритании и Голландии, с их богатой колониальной и в целом посреднической наследственностью, является возможность доставлять капитал на новые рынки вместе с носителями автохтонных культур, усвоивших передовые образцы и институтами первоклассного качества.

По своим объективным характеристикам структура британской экономики является гибридной формой между европейским и американским образцами, что объективно обусловлено отличным от континентального архетипическим генезисом активного населения на фоне аналогичной плотности и урбанизации населения. В частности, система здравоохранения в Великобритании основана на принципах солидарности даже в большей степени, чем в Германии и Франции, – на прототипе таковой базируются аналогичные институты в южных европейских странах и Канаде. Вместе с тем, как и у других стран Северной Европы, из числа мотиваций участия в общеевропейских интеграционных проектах у Великобритании отсутствуют такие фундаментальные, как потребность в континентальной инфраструктуре и доступе к мировому океану, поэтому интерес к участию в наднациональных институтах ограничен общим рынком. Аналогично США, у страны присутствует интерес к сохранению внутриевропейских противоречий (а не к их преодолению, в отличие от интересов континентальных держав), в т.ч. путем поддержки окраинно-межеумочных, прежде всего, восточноевропейских стран и института национальных государств старого образца вообще.

Эволюция торговых традиций нашла отражение в одном из ключевых институтов хозяйственного оборота всемирного значения – английском праве, корпус которого получил развитие посредством практики судебной трактовки устного морского обычая. Прецедентный принцип судопроизводства, подразумевающий вынесение решения следуя духу, а не букве правовой нормы, позволяет последней «самонастраиваться» при изменении социального и технологического уклада. Это обеспечивает непротиворечивость отражения социальной культуры в корпусе права (в отличие от письменного континентального права – спорного, громоздкого и запаздывающего) и привлекает хозяйствующих субъектов во всем мире. Более того, правовая экосистема не только из институционального конкурентного преимущества страны превратилась в экономически значимую отрасль, но и, наряду с другими видами консалтинга и агентских услуг, в значительной степени участвует в хозяйственном механизме доходного освоения иностранного капитала путем комиссионного обременения последнего, в то время как банковский сектор неуклонно утрачивает способность генерировать процентную маржу на привлеченные средства. В связи с таким «комплексным освоением», Великобритания наименее активно участвует в международной кампании по экспликации происхождения капитала и борьбе с отмыванием доходов. Наконец, в мире постмодерна, где функции различных институтов смогут выполнять профессиональные провайдеры, а функциональная полнота национального государства как источника права будет подвергаться эрозии, правосудие и правовая система имеют шансы стать наиболее востребованной и дефицитной услугой британского происхождения.

В то же время, в городах Ганзейского союза, представляющего североευропейские морские портовые республики, утверждается альтернативная система торгового права, получившая распространение на континенте. Бытование этих городов в поле римского права объясняется обширными внутриконтинентальными культурными и хозяйственными связями, активной речной – помимо морской – торговлей.

6.2 США как образец трансформации изначально архаического сообщества и конституирующая площадка экономики знаний

В авангарде заселения *американского* континента находился морской архетип, мотивацией которого традиционно выступает расширение возможностей предпринимательской деятельности, в данном случае – торговли и тиражирования европейских промышленных технологий. При этом, возможность вести фермерский образ жизни без земельных ограничений и обременений по содержанию государства привлекала также «лишних» людей из Европы, включая обедневших крестьян. Однако социальный портрет колонистов все же определил «неканонический», низовой и архаичный извод морских кочевников, для которых, наряду с характерным маркером финансовой состоятельности, ключевую роль играет индивидуальное обладание силой. По своей социальной нише они близки к «лишним» людям, ищущим убежище в нише сельского оседлого архетипа, притом в форме единоличного хозяйства, т.е. не вступающего в соприкосновение с периметром пенетрации другого центра силы. Такой социальный «гибрид» резко контрастирует с привычным образом крестьянина – беззащитного перед внешними силами, податливого влиянию, довольствующегося малым, привязанного к земле. Обретя самодостаточную материальную базу для генерации капитала, плохо интегрированные в социальную ткань стран происхождения или даже латентно протестные элементы обособились от метрополий. Скорый переход к преимущественно местным источникам финансирования поселенческой активности позволил избежать создания разветвленных и дорогостоящих колониальных институтов, соответственно притока критической массы представителей элит из метрополий, в т.ч. силовых, и зарождения социальной иерархии. Это привело к формированию уникальной разновидности архаического уклада, в котором его носитель еще с догосударственной стадии развития общности не состоит в какой бы то ни было вертикальной группе, не наделен собственностью (уже в силу этого «условной») ее первоначальным обладателем, а сам является таким обладателем. Институты складываются на основании его волеизъявления и подчинены его интересам, в то время как европейский крестьянин к моменту своего освобождения из крепостной зависимости, как правило, имеет дело со сложившейся и глубоко проработанной институциональной структурой, в которой ему отводится периферийное положение.

Это обстоятельство всецело определяет роль собственности в представлениях о социальной полноценности, напоминающих «ордынский» уклад и весьма отличных от европейских, характерных для оседлого архетипа, – стремление проживать в собственном, а не съемном жилье, по возможности, не в многоквартирном доме. При этом, другие составные части этого набора собственности, такие как «кочевые автомобили» или ценные бумаги, свидетельствуют об отношении к «кочеванию» как комфортному, к смене жизненного уклада и рода занятий как пути к успеху. Кочевые отпечатки отчасти характерны даже для городского образа жизни и проявляются, например, в склонности проживать за городом, т.е. отдельно от точек социализации, ежедневно курсируя туда и обратно.

В силу этого носитель архаических установок изначально (а не в результате каких-либо реформ) выступает в роли полноценного и ответственного гражданина (в европейской практике этот статус более всего связан с профессиональной самоидентификацией или образовательным цензом, уже потому является атрибутом скорее модернистского социума, прежде всего, городского), источника ключевого и неотъемлемого атрибута суверенитета – права на легитимное принуждение на собственной территории (отголоском этого является институт владения огнестрельным оружием и готовность к его реальному применению). В значительной степени, это относится и к другим англо-саксонским странам Нового света – Австралии и Новой Зеландии, где этот эффект усиливается еще более специфическим контингентом колонизаторов – с высокой концентрацией ссыльных каторжан. Центр спектра политических предпочтений во всех этих странах до сих пор несколько смещен вправо, распространение либеральных

ценностей европейского типа под влиянием позднейших укладов (см. ниже) часто наталкивается на консервативный мейнстрим. При этом в социуме, где право на применение силы фактически принадлежит каждому, доиндустриальная фаза социальной организации, в рамках которой носитель этой привилегия обычно совмещает ее с хозяйствованием, также протекает фактически без образования сколько-нибудь устойчивой сословной структуры, если не считать института рабства.

Институт рабства выступал скорее временным «фильтрационным» укладом, возникшим вследствие массового импорта рабочей силы иного цивилизационного профиля. Рабский труд применялся в основном в южных регионах, специализировавшихся на производстве трудоемких в выращивании сельскохозяйственных культур плантационным (по аналогии с прилегающей Латинской Америкой) – в противовес индивидуальному – способом, поэтому по мере развития аграрных технологий, а также индустриализации и соответствующего роста спроса на свободный труд, утратил свою привлекательность. Искоренение общественных отношений доиндустриального типа исторически повсеместно было крайне болезненным, – в частности, в США оно сопровождалось гражданской войной. Однако именно очевидная доступность индустриальной альтернативы как источника благосостояния хозяйственной элиты и способа абсорбции человеческих ресурсов сделала преодоление рабства здесь сравнительно скоротечным, по сравнению с другими континентами, – равно как и дала преимущество северной модели аграрного хозяйства с ее низкой трудоемкостью перед южной (в отличие от Латинской Америки, см. ниже). Более того, именно те южные штаты, в которых было распространено плантационное рабство, выступили как единственным примером эмансипации целой крупной территории с преобладанием архаических сообществ короткой дистанции (родственных европейским деформированным морским кочевникам), так и подтверждением гипотезы о внешнем управлении как единственном способе такой эмансипации (см. ранее). Примечательно, что отмена крепостного права в России в тот же исторический период была итогом длительных колебаний и не опиралась на устойчивую конкурентоспособную индустриальную альтернативу (см. далее), поэтому в конечном итоге запустила маховик серьезных социальных катаклизмов начала XX века. В то же время, проблема расовой сегрегации оставила глубокий отпечаток в американской культуре – например, в виде такого феномена, как литература юга, – и до наших дней остается осевой темой повестки дня деархаизации.

Первичным «суверенным» звеном выступает семейная ферма, у которой обладание силовым ресурсом сопровождается такими существенными протогосударственными признаками, как собственная протяженная территория и экономика. В этих условиях именно безопасность и правопорядок первыми осознаются в качестве общественного блага (категория, характерная для модернистского уклада) и предмета кооперации для этих целей. Более того, угроза европейских метрополий и гражданская война включает в этот запрос также и регулярную армию, а фактор силовых возможностей нации на последующие эпохи закрепляется в качестве одного из институтообразующих как в экономике, так и в публичном управлении, внутренней и внешней политике. Делегирование этого атрибута, в противоположность Европе, происходит «снизу вверх», отголоском чего являются уникальный институт избираемых шерифов, традиция беспрекословного подчинения полицейскому и жесткого реагирования на неповиновение ему.

Именно первообразным правом индивида на силовое принуждение, лишь впоследствии делегированным институтам, можно объяснить беспрецедентно высокую склонность прибегать к услугам органов правопорядка и судов. Распространение «финансового принуждения» – экономических санкций запретительного размера, накладываемых судами на хозяйствующих субъектов, – можно считать отражением гибридных привычек низового морского архетипа, одновременно связанных с атрибутом богатства и атрибутом силы.

Посредством дальнейшего делегирования полномочий «снизу вверх» последовательно возникают местное самоуправление, государство (штат) и конфедерация, при этом, источником легитимности всей вертикали остается гражданин, который привлекает институты как своего рода подрядчиков для оказания централизованных услуг. В рамках этой логики распространен принцип персональной ответственности за конкретную делегированную – в виде как полномочий, так и ресурсов под реализацию таковых – функцию, на котором основаны институты исполнительной власти на всех уровнях, вплоть до института

президента. Более того, эти институты получают легитимность непосредственно от населения, а не от представительных органов, которые выступают в роли отдельного балансирующего и контрольного механизма. Система сдержек и противовесов изначально формируется по вертикали, ее элементами, прежде всего, выступают различные уровни власти, при этом, ветви власти разделяются уже при формировании нижнего «этажа» (в частности, посредством избираемости местных судей), и только во вторую очередь – по горизонтали, между партиями. Такой генезис разделения властей отличается от европейского, где оно явилось результатом компромисса между верховной властью (монархом) и земельным дворянством, с одной стороны, и низовыми «опорными» институтами – самоуправляемыми городами и их профессиональными цехами, с другой, впоследствии на различных исторических этапах состав участников этого механизма расширялся или замещался за счет буржуазии и общества в целом. Вследствие этого на европейском континенте превалирует коллегиальная форма исполнительной власти, которая к тому же формируется представительным органом как механизмом согласования интересов. При этом, в обоих сравниваемых случаях полицентричность самодостаточных и конкурирующих центров сборки элитных ресурсов опирается на изобилие капитала и многообразие возможностей его генерации. Кроме того, декларативно в большинстве европейских стран, так же как в США, в конечном итоге закрепилось конституционное право народа на вооруженное восстание, отсылающее к гражданину как источнику права на легитимное принуждение, однако, с точки зрения первообразного самосознания граждан и актуальности навыков пользования силой, американская история выглядит убедительнее.

Использование различных европейских социальных образцов в США не следует трактовать как заимствование в понимании осознанной последовательности решений. Частные – прежде всего английские – колониальные проекты в Новом свете представляют собой самоуправляемые и самофинансируемые формации, институциональное устройство которых лишь в ограниченной степени апеллирует к какому бы то ни было европейскому государству, преемствующему кочевникам-завоевателям (хотя в Англии к этому времени государство уже в ограниченной степени национализировано обществом). Эти формации скорее, напротив, постепенно выходят из поля гравитации государства-завоевателя, а институты представляют интересы свободных и вооруженных поселенцев, европейский аналог которых и подвергся покорению племенами – прототипами государства. Таким образом, североамериканская цивилизация одновременно прямо наследует основанным на Возрождении и Просвещении достижениям европейской, но порывает с антропологическим «рисунком» оформления последней перед указанными эпохами, по итогам великого переселения народов, когда менее развитые цивилизации подчиняли себе более развитые. Архетипически эта общность скорее прямо апеллирует к миру Античности с его ощущением безальтернативности в качестве цивилизационного образца и центра силы, – и даже атавистический институт рабства здесь в известном смысле напоминает античный, – однако половинчатые республиканские институты, которые прототип относил только к городу, здесь представляют также интересы земледельца-гражданина. Наконец, право здесь предшествует государству, поэтому использование английской правовой системы органично: она индифферентна к субъекту законодательства, выводит норму закона не из письменного права, а из бытующих в социальной культуре представлений о высшей справедливости, действует скорее в общественных интересах.

В некотором смысле, логика формирования Соединенных Штатов напоминает не столько государственное строительство, сколько модель международной интеграции, в основе которой отношения между фермами как первичными «суверенными», вооруженными звеньями со своей территорией и экономикой. Дальнейшее поступенчатое делегирование ключевого, силового атрибута суверенитета – а заодно и других публичных полномочий – снизу вверх, как это и принято в практике международной интеграции, не означало полного отказа от такового ни на каком из делегирующих уровней (шериф – графство – штат – конфедерация) – и прежде всего для индивида, сохранившего за собой изначальное право на легитимное принуждение. Примечательно, что многие родимые пятна «патримониальной надстройки» архаического сообщества, такие как фальсификации результатов выборов в некоторых штатах хартленда, были изжиты непосредственно избирателями (несомненно, в личном качестве носителями архаических установок) силой оружия.

Именно такой генезис конфедерации – как интеграционной платформы для большого числа разноразмерных «суверенных» акторов – объясняет неограниченность для США самовосприимчивости в качестве

равноправного с другими странами субъекта международного права, уравнивание классических национальных государств скорее с собственными штатами, неохотное участие в международных объединениях на иной платформе, примат национального (воспринимаемого скорее как глобальное) права над международным, готовность судов принимать к рассмотрению дела субъектов любой юрисдикции. Поскольку нация изначально имеет происхождение от вооруженных протогосударственных субъектов-индивидов, модус их взаимодействия распространяется и на поведение конфедерации как интеграционного образования этих субъектов вовне – готовность к применению силы в международных отношениях, примат конкурентного превосходства страны в целом, склонность к экспансии и идеологическому мессианству, навязыванию универсальной системы ценностей.

В этой связи можно считать традиционное особое неприятие внешней политики США Россией – внутренне весьма неоднородной не только за счет полиэтничности, но и за счет многоукладности собственно русского этноса – неспособностью найти собственный модус децентрализации и федерализма. Отсюда желание «загнать» воображаемого «антипода» в прокрустово ложе гиперцентрализованного субъекта собственного образца. Непривлекательность своей социальной модели в качестве интеграционной платформы принято компенсировать искусственными, выхолощенными и несостоятельными, а потому дорогостоящими интеграционными проектами. Однако уникальность США в качестве образования, совмещающего признаки суверенного государства и международного объединения, вызывает всеобщую настороженность в мире, что связано как с непониманием этой дуалистической природы, так и с беспрецедентным объемом открываемых ею возможностей. С другой стороны, налагаемая этими возможностями ответственность является экзистенциальным, встроенным в хозяйственный механизм американской экономики бременем, окупаемость которого меняется в зависимости от технологического уклада и непрерывно находится в центре общенациональной дискуссии.

Финансирование наращивания военной организации в дальнейшем продолжает выступать ключевым фактором увеличения весомости центрального правительства США по мере расширения участия страны в военных кампаниях за пределами своих границ, в основном, с начала XX века и по настоящее время (без учета расходов на оборону и федеральную безопасность, а также связанных с переходным периодом в реформировании системы здравоохранения, бюджеты федерации, штатов и муниципалитетов примерно равновесны). Как и в случае с Европой, экономической мотивацией такого участия является накопление общественного богатства и рост производительных сил до объемов, превышающих потребности внутреннего рынка.

Уникальное сочетание географических факторов и поведенческих установок первых поселенцев приводит к редкому переплетению архаических и модернистских черт социального устройства. С одной стороны, отношение к власти не как к данности, имеющей право на долю в общественном богатстве уже по факту своего существования, является более прогрессивным, чем даже в наиболее модернистских европейских обществах (за исключением Швейцарии, сыгравшей роль убежища от религиозных гонений и функционирующей в режиме прямой демократии). Каждая делегируемая функция рассматривается в пакете с передаваемыми на ее выполнение ресурсами и эффектом такого перераспределения для каждого гражданина, по сравнению с самостоятельным использованием таких ресурсов, преобладает установка на «дешевое» государства.

Отголоском этого является прямая уплата налогов гражданином, без посредничества работодателя как агента, и основополагающая роль граждан в качестве источника доходов бюджетов всех уровней при довольно низком налогообложении бизнеса. Таким образом, отношения гражданина и государства как заказчика и подрядчика на всех уровнях являются прямыми и непосредственными, изменения в них, попытки снизить их прозрачность становятся предметом пристального изучения и общественной дискуссии.

С другой стороны, выражена склонность к индивидуальному, а не коллективному действию, стимулы к развитию горизонтальных связей ограничены, чему способствует невысокая плотность населения в просторном ареале хартленда (по сравнению с характерной для городов). Отсутствие непосредственной необходимости в горизонтальной кооперации вызвано не имеющим аналогов в мире набором естественных природно-географических преимуществ. Так, наиболее привлекательные для расселения европейские земли побережий в то же время трудно защитимы с военной точки зрения,

поэтому модернистские сообщества в южной части Европы, вызвавшие к жизни большинство известных современных институтов, утратили субъектность и демодернизировались. В США наиболее выгодный для земледелия Средний Запад хорошо защищен со всех сторон естественными преградами (горные массивы, крупные озера, прерии и пустыни) и одновременно снабжен системой сообщающихся и круглогодично судоходных рек, совокупная протяженность которых превышает таковую во всем остальном мире вместе взятом. Это единственный в мире регион хартленда, который в индустриальную эпоху превосходит морское побережье с точки зрения потенциала любых видов материального производства и сопутствующего накопления капитала, а также не требует централизации ресурсов для создания дорогостоящей инфраструктуры и внешней защиты. Таким образом, переход к индустриальному укладу, в рамках которого ключевыми барьерами выступают доступность капитала и емкость рынков сбыта, здесь был лишь вопросом непродолжительного времени. Более того, этот регион является цементирующим и для единства восточного побережья, которое до интеграции со Средним Западом развивалось в логике европейских стран – как несколько самостоятельных общностей вокруг не связанных друг с другом, но сообщающихся с океаном рек. Положение Луизианы в качестве внешних ворот во внутренний водный бассейн, простирающийся вплоть до севера хартленда, также требует консолидации обслуживаемой артериями территории, – этот фактор не позволил северу и югу «разойтись» и развиваться в рамках самостоятельных социальных моделей.

Благоприятные для производства и сбыта излишков условия сформировали внутренний рынок исключительной глубины и связности. По этой причине длина транспортного плеча со временем и с развитием технологий стала сокращаться, а основным способом транспортировки грузов по внутренней территории стал автомобильный транспорт, на стороне которого преимущество по скорости. Вместе с тем, реки Среднего Запада и внутриконтинентальный канал по-прежнему представляет собой важнейшую, природную инфраструктуру средне- и дальнемагистральных перевозок. Кроме того примечательно, что снижение роли речного транспорта совпало с оттоком населения из агломераций Среднего Запада к побережьям, где плотность населения идентична таковой в основных европейских странах.

Фоновый уровень налоговой нагрузки на бизнес здесь естественным образом низок, отсутствует традиция вмешательства государства в конкуренцию, реформатирование/банкротство бизнесов воспринимается как норма хозяйственного уклада, среда адаптивна к экономическим циклам, потребность в протекционизме и социальной защите низка. При этом, облегчена возможность монетизации активов, что в условиях обширной, гетерогенной и хорошо связанной территории способствует мобильности и частой смене характера предпринимательской деятельности, которая становится более престижным и легкодоступным, по сравнению с профессиональной специализацией, социальным лифтом. Это создает условия для формирования капитала англо-саксонского типа – на основе торговли и финансов, а не трудовых навыков. Таким образом, даже в режиме сельского оседлого бытования, морской архетип оказывается в привычных и комфортных условиях – изобилия, отсутствия силового давления по вертикали, доступности водного транспорта и новых возможностей, стимулирующих дальнейшее кочевание («от хорошего к лучшему»). Примечательно, что автохтонные племена индейцев, в распоряжении которых были все те же природные преимущества плодородных почв и густой речной сети, подобно другим изолированным субконтинентальным общностям, ценили защищенность территории выше производства и торговли, поэтому предпочитали горы в качестве мест обитания, а с внешним вызовом столкнулись только с приходом колонизаторов из индустриально развитых стран.

Укорененный институт непрофессионального инвестора вызывает к жизни «якорный принцип» в принятии инвестиционных решений – опору на репутацию, носитель которой принимает на себя часть материального риска. В качестве якорного может выступать компетентный или просто зарекомендовавший себя соинвестор (smart money), управленец с историей успеха, квалифицированный покупатель продукта, аналитик института, выполняющего посреднические услуги на данном рынке (например, инвестиционного

банка). Конкурентность морского архетипа имеет следствием распространение соревновательной культуры «winner – looser», однако в условиях обширных возможностей для генерации капитала предпринимательская неудача не становится основанием для «социального поражения». Более того, происхождение всего капитала не от профессиональной специализации, а от риска в условиях неосведомленности, обуславливает традицию права на второй шанс.

Кроме того, отсюда вытекает системное и ведущее, а не вспомогательное значение финансового сектора в экономике, отношение не только к стратегическому, но и к финансовому инвестору как полноценному партнеру, принцип «все, что не реинвестируется, выплачивается в виде дивидендов». Орган, представляющий интересы акционеров, в отличие от европейской практики, всегда тесно интегрирован в управление текущими делами и зачастую возглавляется главным исполнительным директором. Любые формы привлечения акционерного финансирования, в т.ч. обезличенные или без непосредственного контакта с инвестором, получают быстрое распространение – от публичного или прямого размещения акций до ангел-инвестирования и краудфандинга. Креативность финансового инжиниринга опережает развитие регулирования финансового сектора, что время от времени приводит к искажениям в оценке рисков (как правило, недооценке) и стоимости активов (как правило, переоценке), например, неторгуемых, долговых и производных инструментов, а также вызывать серьезные системные кризисы. Накопление и страхование (т.е. образование резервов) является нормой для домохозяйств, начиная со среднего уровня достатка и выше, индустрия управления активами (инвестиционные фонды) является основным институтом аккумуляции накоплений и имеет практически сопоставимую с банковским сектором доступность.

Также нормой является заемное финансирование не только приобретения предметов длительного пользования или объектов инвестирования (автомобиля, недвижимости), но и текущих расходов домохозяйств и фирм, при этом, вытеснение собственных средств в сферу накопления. Вместе с тем, если в условиях высокой капиталоемкости экономики такое замещение позволяет высвободить ресурсы для реинвестирования, то в условиях избытка капитала принимает характер специального налога на содержание банковской системы, испытывающей сложности с уровнем процентной маржи для покрытия собственных затрат, а также провоцирует различные инфлирующие стоимость активов эффекты (см. ранее и ниже). Таким образом, кредитный мультипликатор, служащий увеличению располагаемой ресурсной базы экономических субъектов, встроен в «микроткань» хозяйствования и служит расширению спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Как следствие, финансовый сектор через институт кредитных историй имеет более устойчивую и массовую, чем где бы то ни было в мире, доходную базу, интегрированную во все проявления повседневной жизни. Это не просто соответствует системе приоритетов морского кочевника, а способствует скреплению нации именно на их основе: любящего разнообразие возможностей и перемены, мобильного индивида на новом, незнакомом месте «первым встречает» кредит, который служит фасилитатором самореализации.

В более общем смысле примечательно, что сравнительно высокие постоянные издержки на проживание, – единица товара или услуги рассчитана на всеобщее потребление и сравнительно недорога, но «платить надо за все», – являются архетипическим спутником американского кочевого образа жизни, не предполагающего пребывания индивида в «зоне комфорта» и стимулирующего постоянный поиск новых возможностей, предпринимательскую активность. В этом важное отличие американских «микроработ» от европейских, соответствующих оседлому бытованию и предполагающих сравнительно невысокий «прожиточный минимум», – цена на товар или услугу сравнительно высока, если полностью формируются в коммерческом секторе, однако многие элементы потребительской корзины всем или некоторым слоям населения предлагаются некоммерческим сектором (включая государство), зачастую бесплатно или по субсидированной (софинансированной) цене. Значительная часть таковых, по существу, представляет собой инвестиции в человеческий капитал как основной двигатель социального лифта, для развития которого снижение концентрации, частая смена фокуса компетенции является нежелательным.

Уникальная особенность архаического уклада, когда его активным субъектом выступает именно отдельный вооруженный индивид (а не вертикальное вооруженное сообщество родоплеменного типа, вождество), типичная для сельского хозяйства с его оседлостью, распространяется и на американскую разновидность кочевого образа жизни, который возобладал в природно-ресурсных отраслях со времен «золотой лихорадки». Эта субъектность основана именно на опыте широкого применения силы для защиты частной жизни, собственности, освоения континента, взаимодействия с автохтонным населением

и участия в боевых действиях, хорошо сочетается с изначально характерной для переселенцев авантюризмом и готовностью к риску. Такой архетип склонен к «родовому», крайне жесткому конкурентному поведению, свойственному человеку с архаическими культурными установками (различение «свой – чужой»), если он не сдерживаем характерной для большинства архаических сообществ патримониальной надстройкой – сословной или властной (что отчетливо проявилось, например, в ходе первоначального накопления капитала в России при ослаблении центральной власти, см. далее). Модель семьи (индивида) как протофирмы и протогосударства в одном лице является «первородной», установка на личную предпринимательскую инициативу и успех выражена наиболее ярко из всех известных человеческих сообществ.

Американский пример практически идеально вписывается в «галерею», подтверждающую совпадение характера контроля природной ренты характеру контроля силового ресурса. Здесь собственник земли (или вообще владения) одновременно выступает собственником всех богатств, на любой глубине залегания, чему во многом обязан взрывной рост сланцевой добычи углеводородов, нетипичным для глобальной отраслевой практики образом сосредоточенный в малом и среднем бизнесе.

Свойственное архаическому укладу (как в оседлом, так и в кочевом варианте) отсутствие склонности к образованию устойчивых горизонтальных связей и обустройству общественного пространства само по себе не способствует снижению транзакционных рисков. Однако роль площадок социализации, а впоследствии и кооперации для создания общественных благ выполняют общинные институты. При этом, фактор вооруженности вырабатывает повышенное чувство ответственности в ходе выполнения хозяйственных и иных обязательств, что со временем приводит к снижению таких рисков в среде с изначально низким уровнем взаимодействия субъектов и доверия. Необходимость выполнения обязательств по качеству продукта, а также превалирующий формат семейного предприятия (фермы с минимальным числом занятых, как правило, не наемных работников) формирует установку на исключительное трудолюбие и высокую производительность труда.

Отголоском такого образа жизни является наиболее либеральное среди развитых стран трудовое законодательство – низкая защищенность наемных работников, малая продолжительность отпуска и пр., в принципе непрестижность наемного труда. Это составляет существенное отличие США от Европы, где наемный труд ассоциировался не столько с типовым производством, сколько прежде всего с модернистским укладом на основе цеховых профессиональных навыков.

Хотя актуальность интенсификации труда способствует углублению компетенций, в целом архаическое сознание не благоприятствует престижности знаний как таковых, поэтому они принимают характер узко специализированных и плохо сообщающихся. Это иллюстрирует сложность отношений между трудом и знанием в условиях высокой силовой «токсичности» вообще, хотя, в отличие от сообществ с родоплеменной наследственностью, где силовой ресурс является монопольным, а его обладатель присваивает продукты труда, среда с множественностью или конкуренцией таких ресурсов не препятствует распространению знания напрямую. Однако до тех пор, пока силовой ресурс не отделится от хозяйствующих субъектов и не консолидируется под коллективным контролем сообщества, инвестиционный горизонт таких субъектов остается ограниченным, что замедляет вовлечение сложных компетенций в хозяйственный оборот.

В рамках европейской традиции зарождение и развитие знания выступает функцией любознательности, удовлетворения естественной тяги человека к познанию сущего, практическое применение оно обретает лишь отчасти, архетипически при этом оставаясь созерцательным. В противоположность этому, на американском континенте знание появляется прежде всего как сугубо утилитарное, по этой причине в известном смысле ограниченное и разрозненное, нуждающееся в «сборке» для междисциплинарного обмена и создания новых знаний на стыке. Последствия этой особенности отчетливо различимы в структуре современных научно-технических и образовательных институтов. Так, площадками для обмена компетенциями являются сосредоточенные университетские экосистемы, где

расположены как их академические носители, так и внедряющие технологические корпорации (см. ниже). В рамках таких экосистем исследовательская деятельность ведется не столько на академических факультетах, сколько в рамках междисциплинарных центров, призванных служить точками сборки различных узких специализаций для решения прорывных задач, программа обучения предполагает широкий тематический разброс предлагаемых дисциплин. Распространению знаний способствует также юридически закрепленная общедоступность достижений фундаментальной науки, невозможность придания им статуса продуктов интеллектуальной собственности или предметов защиты коммерческой тайны.

Также ввиду «первородной» особенности, производственные корпорации тяготеют к высокой технологической специализации (поскольку этот и другие атрибуты оседлого архетипа не органичны, требуют особых усилий и фокуса) и диверсифицируют в основном лишь продуктовое применение основной компетенции. Межотраслевые конгломераты (например, General Electric, в противоположность немецкой Siemens) из технологически связанного комплекса вырождаются в финансовые холдинги с самодостаточными, технологически сфокусированными подразделениями и скорее являются исключениями, функцию диверсификации технологического портфеля для инвесторов берут на себя инвестиционные фонды. Структуры управления преимущественно сформированы по продуктовому признаку (или признаку целевого рынка, морской архетип), при этом, высоко развита культура делегирования полномочий и персональной ответственности, в чем также находят отражение «первородные» предпринимательские установки. Характер вознаграждения менеджмента приближен к предпринимательскому доходу (обилие инструментов, связанных с участием в капитале), а размер и дифференциация иногда на порядок превышают европейские аналоги (по размеру и отрасли) с их преобладанием коллегиальной ответственности, распространен типаж руководителя-визионера, высока роль личной харизмы и цена индивидуального управленческого решения. Европейский и американский рынки топ-менеджеров мало соприкасаются, поскольку на столь высоком уровне управления востребованы качества принципиально разного профиля – соответственно координатора-администратора и предпринимателя.

Также по сей день присутствует естественный перекоп в сторону прикладных исследований и легко коммерциализируемых, хорошо кастомизированных разработок в противовес фундаментальной науке и технологиям с длительным циклом внедрения. Однако с зарождением модернистского уклада (см. ниже) этот перекоп стал преодолеваться по аналогии с европейской практикой, путем расширения участия государства в сфере науки и технологий (т.е. роста объема ресурсов, перераспределяемых при помощи налоговых инструментов для создания общественного блага).

Уклад массового производства, развивавшийся по мере перетока населения из сельских районов в промышленные центры, несет на себе ярко выраженные архаические отпечатки, во многом остающиеся актуальными, что также является показателем сложности сцепления труда со знанием для сознания с высокой силовой «токсичностью». Этот уклад базировался на импорте простейших технологий и их медленном усовершенствовании, фокусировался на наращивании физических объемов выпуска при унифицированном качестве и ограниченности модельного ряда, на преимуществе по себестоимости/цене за счет экономии на масштабе, а не по качеству или эффективности. Характер сознания не способствовал выработке производственной культуры в европейском смысле – как кооперации индивидов с отличительными навыками, поэтому вместо нее возникло понятие стандарта (в данном случае производственного), встречающееся в американской бытовой культуре как эвфемизм «нормальности» применительно к любой сфере жизнедеятельности. В то же время, такая наследственность облегчает вытеснение стандартизированного труда машинным или даже постепенный отказ от ниши «синих воротничков» в пользу стран Юго-Восточной Азии, чья модель «всемирного сборочного цеха» конкурентоспособнее по совокупности трудовых навыков и экономических характеристик (см. далее). Соответственно и уклад промышленных городов как таковой здесь не является «инфраструктурой» для распространения знаний и скорее соответствует промежуточной стадии модернизации, их экономика отличается высокой долей услуг, но не созданием отличительной ценности. При этом, резкое снижение капиталоемкости постиндустриальной экономики и фронтальный отказ от ручного труда открывает путь к реиндустриализации, поскольку преимущество мелкосерийного и роботизированного производства, привязанного к рынку сбыта, с «нулевым» логистическим плечом, перевешивает эффект экономии на

масштабе, однако это не решает проблему спроса на трудовые ресурсы. В отличие от американского, европейское серийное производство, представляющее собой результат масштабирования цеховых компетенций, производственной и трудовой культуры, позиционирует себя на мировом рынке принципиально иначе – как производителя премиального качества с нормативно более высокой ценой.

В рамках этого уклада особенно отчетливо проявилась застойность социальной атомизации, поскольку носители архаических установок оказались в классической для таковых социальной «оправе» – лишенными собственности, встроенными в вертикаль патримониальной власти-собственности, а роль активных субъектов досталась субкультурам вождистского типа, с преобладанием неформальных практик. Так, влиянию традиционных для архаического социума криминальных сообществ оказались подвержены даже такие институты, как профсоюзы, в европейской практике ассоциируемые с общественной солидарностью и коллективным действием, т.е. признаками модернистского социума. В определенный исторический период (вплоть до 60-х гг XX века, наиболее активно в период Великой депрессии) распространение получило стремление к неосновательному конкурентному преимуществу за счет применения силового ресурса, аналогичное странам Южной Европы сращивание крупного бизнеса с властью, проникновение коррупционных практик. Такое проникновение преступности в институциональную ткань резонировало с обширным социальным кластером сложно абсорбируемых расовых и этнических меньшинств, по поведенческим установкам схожих с наиболее ретроградными изолированными субконтинентальными кочевниками.

Общественное и индивидуальное сознание, потребности человеческого капитала, базовые поведенческие установки и социально-культурное пространство длительное время оставались преимущественно архаическими, о чем свидетельствуют длительная история рабства (важным стимулом к его преодолению, как и в Европе, выступает усложнение требований к трудовым навыкам по мере развития технологий) и гражданская война. До сих пор для штатов хартленда характерны консервативные ценности, низкая социальная динамика, слабые показатели социального благополучия, аномальные диспропорции в распределении доходов между различными слоями населения (квазисословность), консервативная структура экономики, низкая общественная солидарность и доступность услуг, формирующих человеческий капитал. Одним из наиболее показательных атавизмов в американской экономике выступает феномен ограниченной инклюзивности сфер создания общественного блага, их сегрегация, являющаяся следствием своего рода социального компромисса между архаическим и модернистским запросами, а также предметом острой общественной дискуссии и наиболее противоречивых реформ. Наконец, ни в одной развитой стране консенсусная для заметного большинства область сакрального – не подлежащих критическому осмыслению или секулярному обороту категорий – не является столь обширной, что оказывает определяющее влияние на систему ценностей, массовую культуру, социальное и бытовое поведение.

Изначальная склонность к инкапсуляции архаических субкультур, социальной атомизации, низкое общественное доверие и солидарность имеют следствием, в частности, заметную дороговизну содержания ряда важнейших институтов. Например, стоимость системы здравоохранения, до сих пор не охватившей свыше 30 миллионов человек и несколько штатов, как доля ВВП превышает страновые аналоги сопоставимого качества (при этом обеспечивающие всеобщее покрытие) в 1.5 – 2.5 раза, что объясняется противоречием между коммерческим характером провайдеров услуг (страховых и собственно медицинских) и стремлением к их общедоступности по европейскому образцу (так же как в случае с образованием в государственных школах). Такое стремление пока сопряжено со значительным консервативным противодействием в ряде штатов и осложняется сегрегацией качества услуг в зависимости от источников финансирования, поскольку привычная бизнес-модель провайдеров услуг, обладающих наилучшими компетенциями, ориентирована на извлечение стоимости (соответственно показатель «среднего чека»).

Современные американские социальные и культурные институты сформированы во многом под влиянием изначально архаических установок, однако не в угоду им, а напротив, для их целенаправленного преодоления. Такой метод построения институциональной среды, структура которой у других наций обычно органично вытекает из возникших естественным путем поведенческих установок, сам по себе не имеет прецедентов и, вероятно, является специфической склонностью носителей морского кочевого образа жизни, которых объединил «проект» заселения и освоения континента. Эта склонность связана с «метаповеденческим» стремлением выходить «из зоны комфорта» для поиска новой, опытом формирования и «доставания» институтов без необходимости оглядываться на какую бы то ни было «социальную данность». При этом, влияние английской традиции сказывается в том, что единожды сформированные институты, как правило, не подвергаются последующему реформатированию, а для коррекции создаются новые, меняющие содержание старых.

Такая особенность наиболее отчетливо проявилась по мере того, как социальные, этнические и военные конфликты в Европе второй половины XIX века сделали Новый свет, прежде всего, США (начиная с окончания гражданской войны), самым привлекательным направлением для массовой эмиграции. Оседлые привычки этой волны переселенцев, кардинально отличающихся от склонных к авантюризму первых колонистов, вызывают расцвет второго, городского уклада жизни, а также – по аналогии с Европой – рост плотности населения вдоль двух побережий, хоть и уязвимых в военном отношении, но расположенных вне фокуса внутриевропейской военной активности. Одновременно с показателями плотности населения, запрос на институты общественного блага также приобретает некоторое сходство с характерным для европейских стран, в особенности в восточных штатах.

В настоящее время в США насчитывается свыше 40 городов с численностью населения более 1 миллиона человек, подавляющее большинство из которых не имеет естественных географических ограничений для экстенсивного роста, что составляет еще одно уникальное национальное конкурентное преимущество.

Этот уклад соответствует позднеиндустриальному образцу, когда экономика ориентируется на глубокий внутренний рынок и потребности человека, он превалирует в сферах строительства и недвижимости, торговли и услуг, потребительских товаров, финансовом секторе. Его вряд ли в полном смысле слова можно охарактеризовать как основанный на системе приоритетов оседлого архетипа – характерный для европейских городов и опирающийся на «образованного человека». Скорее он соответствует городу периода активного накопления капитала – расцвета морского архетипа, ориентированного на предпринимательство с длинным инвестиционным горизонтом. Оно мотивировано к постепенному усложнению компетенций в ходе конкуренции, однако знания сами по себе пока не становятся наиболее привлекательным социальным и имущественным лифтом. Зато в производственную сферу привносятся элементы технологической культуры европейского образца, что, в сочетании с американоцентричным сознанием, формирует стереотип «технологического превосходства». С вытеснением стандартного серийного производства азиатскими промышленными центрами с более низкой себестоимостью, в городах опережающими темпами начинает расти сектор неторгуемых благ, прежде всего, услуг, претендующих на премиальное ценообразование за отличительную ценность. В этом новом контексте кочевые наклонности проявляют себя как фактор снижения транзакционных издержек – в форме беспрецедентно высокой мобильности квалифицированной рабочей силы и гибкости рынка труда. Со временем, определенно с 60-х гг XX века, носители второго уклада обретают качественное преимущество в публичном управлении, что в возрастающей степени приводит к формированию

модернистского мейнстрима в федеральной повестке дня и установки на преобразование качества человеческого капитала. Этому способствовала как заметная предвоенная волна притока представителей модернистской европейской элиты во все области жизнедеятельности, прежде всего, в образование, науку и культуру, так и обратный рост вовлеченности США в европейские экономические и политические процессы. При этом, в американской специфике традиционно, еще со времен гражданской войны, важной фабулой становления инклюзивных институтов выступает преодоление расовой сегрегации, «раскапсулирования» меньшинств путем устранения неравенства стартовых возможностей, прежде всего, в образовании. Однако, в отличие от европейской практики мультикультурализма, американский абсорбционный механизм не предполагает «изъятия» меньшинств из конкурентного поля в «тепличную среду с искусственным жизнеобеспечением», что повышает эффективность такого механизма применительно к выходцам из общностей с высокой силовой «токсичностью», отзывчивых к принуждению.

Модель конфедерации допускает существенные региональные и муниципальные различия в доле перераспределяемого посредством бюджетных механизмов богатства, что важно с учетом разного «естественного» фона такой доли в рамках первого и второго укладов. Однако ключевыми механизмами, «выравнивающими» их с точки зрения бюджетной нагрузки на экономику, являются секторы страхования и пенсионных фондов, а также некоммерческий сектор, аккумулирующий более 3% ВВП. Эти институты принимают на себя часть «государственных», в европейском понимании (в модели, основанной на общественной солидарности), функций и большей частью опираются на ресурсы городов (а также прибрежных штатов вообще), усиливая целевой характер использования перераспределяемого национального богатства.

Как уже отмечалось, транзакционные издержки при оказании услуг потребителям в такой системе финансирования выше по сравнению с централизованной, однако высока и инвестиционная привлекательность соответствующих отраслей, таких как здравоохранение, для частного капитала. При этом, высокой стоимости услуг здравоохранения благоприятствует устойчиво положительная демографическая динамика, что в целом для стран западной цивилизации носит единичный характер.

В отличие от Европы, где кооперация индивидов является социальной нормой, проявление солидарности в жесткой конкурентной среде выступает предметом особой доблести, практически послушанием, культивируемым обществом как добродетельное поведение. Примечательно, что в качестве площадки кооперации для создания общественного блага, с экономико-архетипической и этической точек зрения, некоммерческий сектор наследует религиозным общинам, исторически осуществлявшим перераспределение средств своих членов на коллективные нужды. В этой связи, участие в деятельности некоммерческих организаций выступает важным критерием оценки гражданских качеств индивида и существенных фактором его индивидуального успеха.

Наконец, «инфраструктурой» распространения знаний и основой постиндустриальной экономики в США становится уникальный, определяющий современную модель роста уклад – кампус в виде «технологической долины», сложная научно-образовательная, производственно-технологическая, финансово-коммерческая и культурно-гуманитарная экосистема. Он возникает вокруг исследовательских университетов, представляет собой форму сочетания установки на предпринимательство и конкурентное поведение, распределенного – близкого к сельскому – ландшафта жизни, с одной стороны, и плотности гетерогенной городской среды, с другой, характеризуется наивысшей добавленной стоимостью и производительностью. Развитие такой формы жизнедеятельности связано с тем, что, в отличие от Европы, в условиях низкого престижа знаний университеты не являются градообразующими институтами. Элементы кампуса чаще всего здесь не были органически имплантированы в ткань городов – изначально индустриальных и финансовых центров – в ходе их естественного развития и создавались в непосредственной близости от них. При этом, компетенции исторически формировались как узкие и были плохо применимы для создания прорывных знаний,

навыки горизонтальной кооперации находились в зачаточном состоянии. Одна из ключевых в культурном отношении миссий этого уклада – быть просветительским институтом и социальным лифтом для архаического хартленда, прежде всего, посредством высшего образования, чему служит формирование «общедоступного» языка с обязательным логическим типом изложения (как бы заключает в себе базовые определения предмета обсуждения). Именно такое пространство делает возможным максимально быстрое распространение и коммерциализацию знаний, капитализацию интеллектуальной собственности, открытость модернистских сред для кооптации носителей архаических установок.

Здесь в послевоенный период находят себе место наиболее образованные переселенцы с европейского континента, в связи с чем показательно, что в сфере исследований и разработок – в отличие от образования и здравоохранения – первыми появляются программы и институты с прямым государственным финансированием, по образцу Старого света, минуя традиционное для США посредство коммерческого или некоммерческого частного сектора. Став экономическим выгодоприобретателем второй мировой войны, США консолидируют роль глобального кредитора и инвестора последней инстанции по каналам суверенного и частного капитала, а с ней принимают бремя обеспечения глобальной безопасности – сперва в противоборстве с СССР, а затем единоличное. «Технологические долины» первоначально становятся местом концентрации компетенций в военно-технической сфере и соответствующего человеческого капитала, в т.ч. во многом ранее сосредоточенного в Европе, так что этот уклад становится опорным для оседлого архетипа как такового. Тем не менее, в силу сложносоставной композиции, его специфической особенностью является склонность к конкуренции, навыки кооперации часто нуждаются в активном насаждении. Вне зависимости от юридической «оболочки», основные стадии жизненного цикла технологии – вплоть до крупнейших технологических корпораций – локализованы в пространстве «долины», которая выступает как единый социальный организм. Этот феномен логически подводит к новому облику «жизненной линии» человека экономики знаний, на всем протяжении проходящей через университетскую среду. Во многом развитие крупнейших – частных некоммерческих – университетов является начинанием финансово-промышленного капитала, благодаря которому черты коммерческого поведения органично «имплантированы» в ткань университетской среды. Сам по себе университет выступает скорее «зонтичной» структурой – провайдером учебной, исследовательской и административной инфраструктуры. Основным центром предметной деятельности является звено «профессор, равный лаборатории» – носитель компетенции и одновременно точка притяжения финансовых ресурсов, как бы «некоммерческий индивидуальный предприниматель», с операционным денежным потоком в виде исследовательских грантов и «квазикапитализацией» в виде интеллектуальных прав, находящийся с университетом в более или менее коммерческих отношениях.

Навыки морского архетипа играют в модели «технологической долины» ключевую роль – как в качестве междисциплинарного медиатора, так и «проводника» знаний между ступенями жизненного цикла, от исследований к коммерциализации. При этом, здесь реализуется «безотходный» принцип экосистемы, когда и технологические ошибки – вместе с их носителями, остаточными активами и т.п. – становятся «строительным материалом» следующего витка разработок, в результате чего ошибка в бизнесе трактуется так же, как в процессе создания знаний – не просто как неизбежность, но и как ценность для последующих этапов, более того, как полноправный метод создания добавленной ценности. Таким образом, «соотношение сил» двух составляющих капитала – денежной, имеющей «абсолютное» стоимостное выражение, и знаний, непосредственная способность которых создавать стоимость всегда является предметом риска, – в постиндустриальной парадигме меняется в пользу последней. Ценность носителя знаний определяется исключительно профессиональным сообществом, признание которого автоматически обеспечивает интерес инвестора, при этом ослабляется самостоятельная роль последнего

в оценке коммерческой перспективности, в зависимости от ранее продемонстрированного разработками индивида успеха.

Партнерство выходцев из естественно-научной школы и бизнес-школы является распространенной композицией основателей стартапа в университетском кампусе. В качестве представителя морского архетипа в рамках кампуса можно также рассматривать и венчурный капитал, обычно принимающий значительно более активное участие в управлении, чем любой другой, и вносящий вклад в успех прежде всего как «переносчик» передовых практик. Кроме того, под влиянием необходимости развития навыков кооперации, именно здесь зарождается мировой тренд использовать организацию рабочего и общественного пространства, быта, архитектуру и планировку строений для упрочения горизонтальных связей и облегчения междисциплинарного обмена информацией. С другой стороны, конкурентная система оценки знаний – в противовес европейской – соответствует характеру мотиваций морского архетипа, для которого сравнительное достижение является более существенным стимулом, чем интерес к предмету.

Этот уклад также возникает вокруг фактора силовых возможностей и позволяет в период «холодной войны» превратить оборонные расходы федерального бюджета из затратного обременения в форму частно-государственного партнерства с наивысшим мультипликативным эффектом. Модель разделения рисков на ранней стадии исследований и трансфера технологий на основе частного спроса возникла именно в силу локализации такового на площадке технологической долины и непосредственного горизонтального взаимодействия всех участников экосистемы, что снизило барьер входа в инновационный процесс до минимального возможного уровня. По окончании «холодной войны» сокращение оборонных расходов, с одной стороны, на некоторое время привело к сокращению государственных расходов и высвободило капитал для частного сектора, а с другой – дополнительно увеличило востребованность накопленных в рамках таких экосистем заделов разработок. Это вызвало взрывной рост цифровых и биомедицинских технологий, новых материалов, альтернативной энергетики и др., переход к новому технологическому укладу вообще и, в конечном итоге, появление феномена экономики знаний, в рамках которой резко участилась принципиальная смена типов продуктов и технологий, с помощью которых удовлетворяется определенная потребность человека.

Соответственно возник и новый тип технологических компаний, сфокусированных не столько на какой-то группе связанных продуктов или технологий, сколько на конкретной группе потребностей человека, вне зависимости от того, за счет каких продуктов или технологий она удовлетворяется. Основной компетенцией компаний нового типа является сам процесс создания технологий, т.е. звено от инвестиций в исследования до разработки продукта, со временем ставшее переделом с наивысшей добавленной стоимостью. Это предполагает концентрацию на разработке технологий и иных предметов интеллектуальной собственности, разработке и кастомизации продукта, мелкосерийном опытно-производстве, маркетинге и продвижении конечного продукта, что обеспечивает наивысшую скорость разработки и внедрения. При этом, звено массового производства передается на аутсорсинг по месту концентрации достаточных для серийной сборки типовых компетенций минимальной стоимости, прежде всего, в страны Юго-Восточной Азии (что является сложным испытанием для застарелых архаических атавизмов в индустриальных штатах и имеет следствием т.н. кризис «синих воротничков»). Тем самым, типовое качество изделия совмещается с премиальным качеством технологии и обеспечивает конкурентоспособность цены при низкой себестоимости. Таким образом, портрет современной корпорации постиндустриального типа также сформировался благодаря укладу технологической экосистемы, предполагающему высокую совместимость различных управленческих и производственных культур.

Сравнительная оценка стоимости таких компаний по всем показателям резко отрывается от таковой у традиционных, продуктовой или технологической линейки которых, невзирая на устойчивую динамику операционных показателей, подвержена риску вытеснения с рынка. При этом зачастую компании нового типа на протяжении длительного времени демонстрируют отрицательный финансовый результат, технологическая гонка предполагает лишь наращивание интенсивности вложений в исследования и разработки, а инвесторы нередко готовы «оплачивать» такое наращивание без определенной перспективы выхода на безубыточность. Лидерство по капитализации связано с тем, что их прямой продуктовый фокус представляет собой лишь крайне незначительную часть потенциальной полезной нагрузки базовых технологических платформ (например, по хранению, обработке и передаче данных), которые являются сквозными не только для новой экономики, но и для образа жизни человека вообще. Срочность раскрытия полезного потенциала технологической платформы стремится к «условно бесконечной», ставка дисконтирования – к нулевой (что

отражает нормальный уровень процентных ставок для экономики знаний), но при этом без углубленных компетенций инвестор либо финансовый посредник не в состоянии оценить коммерческие перспективы и риски.

Избыточный капитал предъявляет повышенный спрос на такие «условно вечные» активы с «самовоспроизводящейся» стоимостью, тем самым завышая цену входа настолько, что положение таких инвестиций на кривой «риск-доходность» становится характерным скорее для некоммерческой деятельности (детальнее см. ниже). Разумным объяснением такого положения служит возросшая до уровня общественной нормы частота, с которой принципиально новые и более дешевые технологические платформы вытесняют с рынка предшествующий продукт без остаточной амортизации, т.е. без периода соседства нового, более дорогого и качественного продукта со старым, дешевающим. Тем самым подрывается сам принцип роста в погоне за более дорогим продуктом, а соответственно применимость теории временной стоимости к оценке активов и принцип инвестирования в расчете на отсроченную отдачу, динамика чистого денежного потока перестает быть показательной для оценки развития компании. Более того, вариативность предложения качества и цены, равно как риска и доходности, в значительной мере утрачивает роль фактора, который конфигурирует структуру рынка и лежит в основе мотивации выбора его участников. На балансах технологических компаний, коммерческий продукт которых уже позволяет генерировать технологическую ренту, скапливаются значительные остатки денежных средств, не находящих инвестиционного применения, что в еще большей степени усиливает некоммерческий профиль капитальных инвестиций в экономике. Прежде всего это касается компаний, запуск которых состоялся на исходе индустриальной эпохи, – соответственно структура их бизнеса включает характерный для таковой сегмент массового производства, а бизнес-модель отражает противоречие между объемом генерируемого указанным сегментом свободного капитала и снижением удельной потребности в нем для развития новых продуктов. При этом, ввиду резкого снижения капиталоемкости экономик развитых стран, роль менее рискованных инвестиционных активов здесь неуклонно снижается, поэтому возможности государств заимствовать на долговом рынке практически не ограничены.

Приведенные особенности оценки постиндустриальных компаний можно понимать иначе: в ее основе в качестве эталона исторически все равно находится стоимость капиталоемких компаний индустриального сектора, поэтому она не отражает «облегченную» и виртуальную природу производственной платформы, ее «скромные» капитальные потребности. Более того, в индустриальную эпоху именно высокая капиталоемкость выступала в роли ключевого барьера входа на рынок, в той или иной степени гарантирующего «притяжение» лучших компетенций и инноваций к наиболее крупным участникам рынка, соответственно их устойчивость. В рамках постиндустриальной парадигмы «размер перестает иметь значение», способность изобрести и вывести на рынок лучший продукт не зависит напрямую от рыночной или капитальной «мощности». Преимущество крупных участников рынка сводится скорее к накопленной компетенции по сопровождению технологий на наиболее рискованном участке жизненного цикла либо возможности приобретения опасного конкурента с высокой премией за счет исторических капитальных резервов. Таким образом, в мире, где индустриальная и постиндустриальная парадигмы сосуществуют, неизбежно происходит обесценение капитала относительно компетенций. Практически не поддается управлению риск того, что ключевые разработчики основных бизнес-направлений имеют стимулы продолжать развитие вверенной им продуктовой линейки на новом витке уже в рамках собственного, независимого бизнеса. Соответственно для крупных корпораций лучшим вариантом обеспечения сохранности стоимости для акционеров может оказаться полный или частичный выкуп каждого из направлений менеджментом, сжатие в размерах или превращение в портфельную компанию. Этот риск возрастет экспоненциально, когда стремительное накопление данных замедлится, и сведения примерно об одном и том же массиве платежеспособных пользователей окажутся в распоряжении целого ряда платформ, наконец, когда крупные производственные площадки с глобальным рынком сбыта сменят мелкие, распределенные, привязанные к локальному рынку. В результате этих изменений фронтальная монетизация связанных с данными конкурентных преимуществ станет невозможной, – так что обладание таковыми перестанет играть роль входного барьера, а сами они превратятся в ценность общего доступа.

Модель распределенной производственной кооперации, при которой интегратор цепочки, а не ее отдельные звенья, удерживает основную добавленную стоимость, из технологических экосистем распространилась также и на более «простые» в технологическом отношении отрасли. В частности, она привела к использованию бренда как инструмента не только извлечения премиальной стоимости, но и получения доступа к глобальному рынку товарами массового типового производства с низкой добавленной

стоимостью, в основном продуктами питания и простейшими потребительскими товарами, до того обычно производимыми силами малого бизнеса для локального потребления. Владелец бренда предоставляет локальным производителям-партнерам гарантию закупки товаров искомого качества в объеме, ограниченном лишь мощностями, а за счет экономии на масштабе покрывает затраты на хранение, упаковку, логистику, маркетинг и продвижение. Бренд также призван обеспечить его обладателю стабильность доли на рынках сбыта. Институт бренда в современной экономике принято тесно ассоциировать с явлением глобализации.

Кроме этого, в тесной связи с укладом «технологической долины», происходит эпохальное перерождение морского архетипа, связанное с природой капитала как такового в глобальном масштабе. Ключевой особенностью формации экономики знаний становится ускоренный рост количества и качества потребительских ценностей одновременно с резким удешевлением (т.е. увеличением доступности) единицы таковой, что приводит к «околонулевому» росту ВВП на душу населения, а в сочетании со снижением рождаемости – в принципе стагнации общественной стоимости. Это означает острый кризис доходности финансового капитала, концентрацию доходности только там, где создается новая, непредусмотренная ценность. Состояния торгово-промышленного происхождения, связанные с морским архетипом, еще сохраняют актуальность в консервативных отраслях экономики – связанных с удовлетворением первоочередных потребностей человека или с высокой долей природных материалов в стоимости продукции. Однако их системной нишей в экономике все больше становятся институты коллективных инвестиций и роль «пассивного», финансового инвестора вообще, претендующего на наименьшую в инвестиционной индустрии доходность на вложенные средства (в условиях «околонулевых» процентных ставок это может приводить к системному убытку). Как социальный фактор они все больше отвечают за архаическое начало: завышенный спрос формирует аномальную структуру цен по всему фронту активов, что усиливает эффект неравенства стартовых возможностей и закрытости доступа для «целевых», адресных групп, таких как пользователи жилья или компетентные венчурные инвесторы, более того, заметна пролиферация этой тенденции на потребительские цены. В этой связи, глобальные финансовые центры, прежде всего, Нью-Йорк и Лондон, подвергаются структурным вызовам с точки зрения приспособления этого капитала для потребностей постиндустриальной экономики – значительно менее капиталоемкой и максимально деконцентрированной. Остается открытым вопрос о возможном негативном отклике на среду с новыми барьерами со стороны стержневого для экономики знаний городского архетипа, для которого не является естественной ориентацией на коммерческий риск и успех, фокусирование на меняющихся структурных соотношениях при оценке активов и стоимости жизни. Это особенно актуально на фоне появления в европейской повестке дня вопроса «гарантированного дохода», концепция которого отражает представление этого архетипа о комфортном режиме обеспечения материального достатка. В рамках сложившейся в США институциональной среды, единственным возможным ответом на такой вызов становится наращивание прямых грантовых бюджетов, направленных на финансирование исследований и разработок в университетах и научных центрах.

Но и роль активного предпринимателя переходит к «человеку с кампуса», формирующему «капитал с компетенциями», т.н. «умные деньги» (smart money), и наследующему постренессансному цеховому образцу. Представителей морского архетипа он также привлекает скорее как носителей определенной – медиативной и маркетинговой – компетенции, умения создавать из технологии продукт и продавать его, привлекать капитал, который сам по себе выступает скорее пассивным атрибутом и приобретает активную ценность только в качестве «переносчика» опыта предыдущих «проб и ошибок». Доходность от вложений для «умных денег» – в том числе в тот же инструмент, что у неспециализированного финансового инвестора, – является премиальной и реализуется посредством различного рода поощрений для менеджмента, фактически выступающих способом капитализации компетенций (оценка стартового вклада команды основателей при венчурном финансировании, опционы по цене исполнения ниже рыночной и т.п.). Особенностью этого типа капитала – как во многом и

цехового – является фактическая нераздельность владения и управления, как на уровне менеджмента, так и в рамках модели венчурного инвестирования, сопровождаемого управленческой экспертизой. При этом, профиль доходности актуален до тех пор, пока личные компетенции совладельца вносят вклад в формирование стоимости компании, в противном случае становится идентичен таковому для обычного финансового инвестора. Такое фундаментальное изменение связано с резким ускорением инновационной активности при одновременном снижении ее капиталоемкости, превышением предложения денег с аппетитом на венчурный риск над спросом, превращением компетенций в наиболее дефицитный ресурс, который претендует остаться единственным с премиальной компонентой в ценообразовании.

Потенциально такие перемены создают проблемы для накопления вообще и отрасли коллективных инвестиций в частности, например, накопительной пенсионной системы или страховых компаний, для которых критичной является положительная долгосрочная доходность созданных резервов. Неизбежным следствием кризиса доходности накоплений и «старого» капитала вообще становится изменение представления о «пассивных», «спящих» состояниях, богатстве вообще. Они в возрастающей степени становятся гарантией уровня потребления, в условиях отрицательных процентных ставок – как правило, в режиме «проедания», когда хранение денег без потребления или инвестирования «облагается налогом». Возрастание или даже сохранность состояний, а также социальный статус обеспечивается лишь активным участием в общественно полезной деятельности. В этой связи набирает силу глобальная тенденция передачи наследственных состояний на различные общественные нужды.

Системной нишей этих ресурсов становится не просто распределительная благотворительность, а некоммерческая деятельность, которая в перспективе способна создать новые рынки и спрос на капитал, в т.ч., возможно, коммерческий. Для развитых стран это прорывные исследования в области здоровья, энергии, данных, транспорта, меняющие технологический и социальный портрет образа жизни человека до такой степени, что трансформационная спираль переходит на новый виток. В развивающихся странах с застарелыми дефектами эндогенных факторов трансформации эти начинания призваны сыграть роль экзогенного стимулятора модернизации, начиная с базового здравоохранения и образования, т.е. качества человеческого капитала, чем также определяются растущие объемы межгосударственных программ развития для таких стран. Первый тип активности соответствует социальной миссии городского архетипа, второй – морского, общим для них является тренд – постоянный или временный – перемещения крупных капитальных инвестиций в некоммерческий сектор. Можно ожидать, что постепенно финансовый капитал начнет претендовать на часть публичных функций (с соответствующими источниками, которые традиционно аккумулирует государство), например, такие, которые можно выполнять (и во многих европейских странах частично уже выполняются) на принципах некоммерческого страхования или коллективного финансирования – в области образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения.

Некоммерческий сектор создания ценности отличается от коммерческого отсутствием акционерного бенефициара, в распределении доходов принимают участие лишь лично вносящие вклад в успех своим трудом и только в форме трудового вознаграждения. При этом, от принятого в коммерческом секторе отличается не уровень таковых, а их дифференциация и основание: доход отражает не столько административную иерархию, сколько индивидуальный вклад компетенций каждого в общий успех, что уравнивает топ-менеджера с ключевым для создания ценности специалистом – врачом, разработчиком и т.п. – в социальной и имущественной иерархии. При этом, в США, по сравнению с Европой, существуют специфические факторы, которые могут как ускорить, так и замедлить такое выравнивание и переход от коммерческой формы организации хозяйственной деятельности к некоммерческой. С одной стороны, благоприятный демографический фон и обширные возможности экстенсивного роста экономики сохраняют шанс генерировать номинальную доходность. С другой стороны, ни одна европейская страна, кроме Великобритании, не испытывает такого давления финансового капитала, не находящего производительного применения, а также вымывания серийного производства.

В этой связи, коммерческий финансовый капитал, жизнеспособность которого (как и классических финансовых институтов) самого по себе в условиях экономики знаний вызывает сомнения, вытесняется в страны, которые имеют потенциал роста именно номинального ВВП – как в целом, так и на душу населения. Таких стран в мире большинство, как по количеству, так и по суммарной численности населения, однако сложность заключается в том, что лишь немногие из них способны немедленно абсорбировать коммерческий капитал, без длительной подготовительной стадии на основе некоммерческого. По этой причине очередной

перспективной тенденцией можно считать появление поколения медиаторов, «морских кочевников» – «переносчиков» консервативного финансово-промышленного капитала к новым местам его освоения.

Другим атрибутом постиндустриальной экономики, в условиях которой сама по себе предпринимательская деятельность консервативного образца не в состоянии обеспечивать прироста общественной стоимости, становится пересмотр роли стоимости жизни как стимула к деятельному участию в создании ценности, в некотором роде, кризис кочевого архетипа как такового. Напротив, концепция «гарантированного дохода» предусматривает предоставление индивиду возможности «осесть», сконцентрироваться на приращении способности создавать отличительную ценность. В сущности, это можно рассматривать как претензию на «ренту человеческого капитала» – единственного дефицитного в условиях экономики знаний ресурса. Для экономики в целом этот инструмент выступает гарантией минимального уровня потребления, даже в случае ускоренного высвобождения работников по сравнению с ростом абсорбирующей способности постиндустриального хозяйства.

Гибкость технологической кооперации соединяется с исторической склонностью к вывозу капитала (черты морского архетипа как интегратора и медиатора) к местам с привлекательными характеристиками факторов производства или рынков, что является первоосновой положения национальной валюты как «мировой», а также делает США бенефициаром репатриации дивидендов. Экспорт, ввиду низкой локализации производства, не является критически важным, сальдо текущего платежного баланса хронически отрицательное, что обеспечивает не имеющее аналогов по объему предложение доллара США за пределами национальной денежной системы и укрепляет его безальтернативность в качестве «мировой валюты».

Вероятно, именно этому обстоятельству обязана роль США в качестве глобального культурного трендсеттера, невзирая на некоторую вторичность собственно американской культуры по сравнению с европейской.

В силу разветвленной системы институтов, установки на частную инициативу и капитализируемости большинства видов ценностей, создаваемых в ходе человеческой деятельности, американская экономика в наибольшей степени адаптивна к циклическим колебаниям при корректной настройке традиционных инструментов экономической политики. Расширение денежного предложения и располагаемых ресурсов практически гарантированно приводит к увеличению не только доступности кредита и инвестиций в экономике, но и, в отличие от континентальной Европы, числа людей, вовлеченных в самостоятельную предпринимательскую деятельность, вновь создаваемых фирм, из которых сотни за каждое десятилетие имеют шанс пополнить «высшую лигу». Фазам дорогого и дешевого доллара (соответственно высоких и низких процентных ставок) соответствуют свои характерные точки роста. В первом случае со стороны крупных корпораций возрастает инвестиционная активность, связанная с вывозом капитала для последующей репатриации дивидендов (см. выше). Во втором возрастает инвестиционная активность, связанная с ростом новых бизнесов внутри страны, что, как правило, выливается в переинвестирование и «мыльные пузыри» в отраслях, переживающих технологическое перерождение (в последние десятилетия – информационные технологии и сланцевая энергетика). Тем не менее, после их «сдувания» такие отрасли переживают «санацию» и обретают более конкурентоспособную структуру.

Сами по себе элементы постиндустриального уклада, ключевым из которых являются НИОКР, достаточно нейтральны к экономическим циклам. Однако вызванное явлением экономики знаний снижение критичности финансовых ресурсов как фактора производства впервые изменило представление о характере ожидаемого на денежно-кредитную экспансию отклика. Беспрецедентная по масштабам волна количественного смягчения конца 2000-х – начала 2010-х гг привела не к увеличению темпов инфляции и номинального роста, а создала необоснованно высокий уровень аппетита на риск, что привело к резкому ухудшению качества активов финансовой системы. С другой стороны, не абсорбированная этим способом избыточная денежная масса оказалась инвестирована в низкорисковые долговые инструменты, что можно

трактовать как фактический «самовыход» таковой из обращения (своего рода явление «умной» экономической системы).

Наконец, это можно рассматривать и как запрос на общественный договор европейского типа (т.е. для городского оседлого архетипа), с более высоким предложением общедоступных благ, путем передачи государству (либо другим центрам общественной кооперации, например, в некоммерческом секторе) избыточных ресурсов, которые в условиях экономики знаний образуются от технологической ренты. В более общем смысле можно говорить о появлении своего рода «макроэкономики знаний», когда капитал перестает быть сколько-нибудь дефицитным ресурсом, поэтому регулирование его предложения не оказывает существенного влияния на экономическую систему. В итоге «околонулевой» рост и «околонулевая» стоимость капитала из индикатора кризиса становятся нормативным явлением, что «сотрясает» фундамент экономической теории индустриального периода, основанной на представлении о капитале как ключевом факторе производства, приносящем доход. Возникает необходимость переосмысления всего корпуса фундаментальных категорий, являющихся производными от такого понятия капитала, – экономический рост, накопление и потребление, кредит, временная стоимость денег, процентный доход, стоимость компании, капитальные и операционные затраты, экономические циклы и др., – а также представлений о финансовых институтах, соотношении коммерческого и некоммерческого секторов.

Отсюда возникают и деньги принципиально новой, не кредитной природы – криптовалюты, основанные на технологии многосторонне верифицированных транзакций «блокчейн». В отличие от денежных носителей, имеющих собственную потребительскую ценность, или кредитных обязательств государственных и частных финансовых институтов, с точки зрения экономической сущности пока они представляют собой сугубо условную обменную величину. Рыночная стоимость некоторых из них основана на свойстве «редкости», вытекающем из встроенного алгоритма ограничения эмиссии. Однако значительно более фундаментальная новизна связана с перспективой перехода к эмиссии такой валюты против любого общественно полезного или просто одобряемого действия, в т.ч. сугубо обыденного. Это равносильно приданию статуса общественной ценности или блага выбору человека, для которого такой выбор становится источником экономической выгоды. Феномен этого явления раскрывается по мере того, как горизонтальное доверие между индивидами как таковыми – притом зачастую из разных стран – превышает таковое по отношению к вертикальным, в т.ч. государственным и авторизованным, институтам. Кроме этого, сама технология «блокчейн» устраняет транзакционные риски и сводит к минимуму кредитный риск, что снижает в финансовом секторе барьер входа и критичность концентрации, снижает роль традиционного финансового сектора, специализирующегося на торговле риском, в создании общественной стоимости вообще. Финансовое посредничество из трансформации кредитного риска с целью извлечения процентной маржи все больше превращается в инфраструктуру для прямой коммутации донора и реципиента денег на основе небольшого – в сравнении с классическим банковским или инвестиционным бизнесом – комиссионного дохода.

В этой связи, одно из наиболее революционных изменений для хозяйственного и в целом социального уклада касается способа владения основными средствами, источником приобретения которых – соответственно, и прямых инвестиций – считается кредит или акционерный капитал, доходность которого также связана с процентными ставками, соответственно с трансформацией накоплений и риска, процентной маржой. Механизмы лизинга, аренды и коллективного пользования (т.н. феномен «уберизации») позволяют замещать владение основными фондами, а заодно и потребительскими товарами длительного цикла, использованием, что приводит к снижению капитальных барьеров входа на рынок и сословных различий в потреблении. Однако экономически и эти механизмы основаны на кредите, который позволяет специализированному оператору выкупить инвестиционный товар у производителя и передать его в пользование в обмен на дискретные платежи, основанные на расчете процентной маржи. В условиях снижения капиталоемкости экономики и изобилия капитала, «околонулевых» или отрицательных процентных ставок как нормативных, кредит и связанные с ним инструменты не смогут более выступать основным механизмом финансирования инвестиций. Чрезвычайно сложно предсказать, к каким кардинальным изменениям может привести это явление, однако его предельным развитием может служить полная ликвидация капитальных барьеров входа на рынок, а также потребительских различий. На смену кредиту может прийти механизм простых грантов или кооперации для создания общественного блага в виде доступа к пользованию инвестиционными товарами – например, посредством коллективного финансирования или страхования, которые гарантируют потребителю определенную дискретность получения таких товаров, их обслуживания и утилизации, а производителю – денежный поток определенной дискретности.

6.3 Экономико-архетипические особенности некоторых развивающихся регионов

Остальные хозяйственно значимые социальные уклады в мире можно описать в терминах элементов европейского и американского, а также хрестоматийных характеристик архаического и модернистского сообществ. Так, в *латиноамериканских* странах традиционно высока плотность архаических элементов, а процесс модернизации протекает сравнительно медленно и сопровождается откатами, хотя первообразным является морской архетип. Архаический уклад здесь имеет высокую степень схожести с североамериканским и основан на симбиозе поведенческих установок автохтонного языческого населения и европейских колонизаторов, преимущественно окраинно-католического, «неренессансного» толка. Однако из четырех крупных «колониальных» проектов на американском материке три – французский, испанский и португальский – были централизованными и капиталоемкими, экстрактивными по своей организации, поэтому опирались преимущественно на контингент колонизаторов из привилегированных сословий и принесли с собой консолидированный силовой ресурс патримониального образца. Они изначально рассматривали земли Нового света не как самодостаточные с точки зрения диверсифицированной генерации капитала, а как способ извлечения природной ренты (на основе минеральных, земельных и некоторых продовольственных ресурсов, таких как кофе или сахар) в интересах метрополий. В Латинской Америке, где, при схожей с США средней плотности населения, хартленд во многом представляет собой пересеченную местность и малопригоден для освоения, судоходные реки в основном находятся в местах густых тропических зарослей и не объединяют в единый рынок очаги плодородных земель, такая конфигурация оказалась естественной, имеющей некоторое тяготение к типичной для степного архетипа. Рассеченный рельеф во многом предопределил преобладание не индивидуального способа организации сельскохозяйственного производства, а плантационного, ориентированного на производство излишков транспортабельных на дальние расстояния культур, – по аналогии с ранней историей южных штатов США и позднейшими экстрактивными экономиками на основе минерально-сырьевых рент. Таким образом, колонизаторы ограничивались освоением прибрежной полосы и активно насаждали институты власти – прежде всего, силовые, – что вызвало затяжное, вплоть до конца XIX века, бытование здесь общественно-экономических формаций периферийных европейских монархий (Испании и Португалии).

В то же время в Северной Америке с ее высокой пригодностью для расселения и гетерогенными условиями для накопления капитала – как на побережьях, так и во внутренней части – население смогло обходиться без стартовых инвестиций со стороны метрополии, которые потребовали бы активного (по аналогии с другими британскими владениями) насаждения колониальных институтов для поддержания жизнедеятельности. В этой связи, французский проект, равно как и испанский на территориях севернее Мексики (она рассечена горными хребтами, поэтому бытует в рамках латиноамериканской парадигмы), достаточно быстро показал нежизнеспособность по сравнению с британским, опиравшимся на множественность интересантов с разнонаправленными, преимущественно коммерческими мотивациями, заинтересованных в самодостаточной генерации капитала «на месте». При этом сами колонии здесь сравнительно легко обособились от метрополии, поскольку соотношение их экстрактивного потенциала со стоимостью удержания на удалении снижало их привлекательность (например, по сравнению с Индией), а географические особенности и рельеф местности облегчали военную защиту основной территории (что проявилось в ходе Войны за независимость). В этой связи, ключевым отличием стартовых условий в США явилось изначальное отсутствие институтов, самостоятельное осознание населением потребности в них, активное всеобщее участие в их формировании и развитии на всех этапах, в результате чего стал возможен уникальный историко-экономический феномен преимущественно

модернистских (в конечном итоге) институтов при первоначально архаической среде. По этой причине социальная конструкция общества с закрытым доступом, нарождавшаяся в южных штатах до гражданской войны, не смогла закрепиться, а впоследствии ее основы были окончательно размыты под воздействием последующих волн переселенцев городского оседлого архетипа. Существенную роль сыграла также и высокая институциональная развитость самой метрополии, Великобритании, выступавшей главным источником образцов и человеческих ресурсов.

Сравнительно небольшой бассейн реки Парана и связанных с ней рек, являющийся единственным в Латинской Америке местом, способным создавать изобилие капитала, внутренний рынок высокой емкости и связности, ожидаемо оказался на стыке испанских и португальских интересов, поэтому разделен между Бразилией, Уругваем, Аргентиной и Парагваем. Именно этот регион, наряду с важными с точки зрения международного судоходства северо-западом и юго-западом, является крупнейшим экономическим центром континента. Потенциально он представляет собой «малое подобие» североамериканского Среднего Запада, «воротами» в реки которого служит Луизиана. В сущности, военная задача присоединения этого района, исторически входившего в зону французских интересов, для восточных штатов сводилась к овладению этой стратегической точкой на побережье. При этом, если в Южном полушарии субъектами противостояния метрополий выступали колониальные силы более или менее одинакового типа, то в Северном со стороны штатов выступали силы самих поселенцев, что фактически «без боя» вывело из игры очевидно нежизнеспособный «ресурсный» французский проект.

При этом, показателен пример Канады, включающей в себя провинцию Квебек как единственный в западном полушарии французский анклав. Обитаемая часть страны «стелется» здесь вдоль американской границы, заселенные регионы экономически связаны с прилегающими штатами США больше, чем друг с другом, что является фундаментом децентрализованной организации экономики, общества и федерации. С другой стороны, роль генератора национального капитала во многом выполняет малозаселенный север, в особенности богатой полезными ископаемыми провинции Квебек, чем объясняется высокая роль государства (или провинций) в создании общественного блага, по аналогии с Норвегией. Такое сочетание объясняет как стремление Квебека к обособлению, так и «живучесть» французской «матрицы» в стране целом, ее тяготение к европейской модели кооперации для создания общественных благ, скорее чем к американской – в рамках которой любая ценность представляет собой товар, предназначенный для рыночного обмена. Многие черты этой матрицы характерны также для Австралии с ее крайне низкой плотностью и фрагментированностью населения, при этом высокой подушевой обеспеченностью сырьевыми ресурсами. Тем не менее, англосаксонскую матрицу даже в ресурсообеспеченных странах отличает именно установка на индивидуальную предпринимательскую инициативу – в отличие от коллективной, свойственной скандинавским этносам.

Бессилие институциональных форм перед географическими условиями непосредственно иллюстрируется примером североамериканской зоны свободной торговли. Горные массивы и пустыни мексиканского севера фактически продолжают к югу соответствующие фрагменты рельефа территории США, однако и сам континент к югу сужается, оставляя ничтожный простор для хозяйственного освоения и связности рынка, эксплуатации эффекта экономии на масштабе. В этой связи, успех межстрановой интеграции здесь имеет следствием вытеснение локального промышленного и сельскохозяйственного производства более дешевым импортным, – это особенно показательно на фоне сравнительно низкого уровня оплаты труда в Мексике. Отсюда значительная часть населения ищет применения в высокорентабельных криминальных промыслах, в частности, производстве и обороте наркотиков, а также ищет лучшей участи в качестве нелегальных мигрантов.

В этом контексте преобладающий социальный портрет колониста – представителя рабовладельческой знати и морского офицерства – парадоксальным образом стал фактором укоренения институционального архаического тяготения, в отличие от архетипа американских «внесистемных» переселенцев – изначально гораздо более архаичных, но равных в обладании силой и собственностью, склонных к самостоянию и конкуренции. Сословная архитектура общества, основанная на дискриминационном доступе к благам, лишь усилила природное тяготение к ресурсному хозяйствованию и увеличило «амплитуду колебаний» политической системы между положениями, характерными для «матриц» морского и степного архетипов, – от демократии к диктатуре и обратно. В результате

последующая модернизация здесь происходит «длинным» путем – посредством затяжного решения «земельного вопроса» (противоречие между избытком земли, являющейся рентным ресурсом, у собственника и ее отсутствием у крестьян, по аналогии с Россией в период с отмены крепостного права до реформ Столыпина), медленного протекания урбанизации и улучшения качества человеческого капитала. Общество традиционно насыщено легальными институтами и нелегальными социальными анклавами значительной численности с силовой «токсичностью» – апеллирующими к временам рабства, при этом, в отличие от США, не столько абсорбируемыми, сколько, напротив, притягивающими к себе новые архетипические элементы, – где индивиды по поведенческим установкам схожи с наиболее ретроградными изолированными субконтинентальными кочевниками.

В отсутствие такой важной опоры, как глубокий внутренний рынок, рост в странах континента «надрывается» по достаточно однотипной схеме – из-за необходимости концентрировать ресурсы для промышленного рывка в исключительно капиталоемкий индустриальный период. Участие в мировой индустриальной гонке – в первой половине и середине XX века с европейскими лидерами, затем с азиатскими – имело следствием каскад национализаций под левыми лозунгами, а затем фашистских, корпоративно-централистских режимов. Однако даже такой ценой, в отсутствие емкости рынка первых и стоимости труда вторых, ни одной из стран не удалось абсорбировать критическую массу населения в массовом производстве. В этой связи наиболее ярким примером латиноамериканской колеи принято считать историю Аргентины – одной из наиболее передовых и динамичных экспортно-ориентированных индустриальных стран первой половины XX века, впоследствии претерпевшей стремительную демодернизацию. При этом, отдельные примеры технологических прорывов – например, появление аэрокосмического сектора в Бразилии – выдают европейское и американское влияние на качество человеческого капитала. Во всех этих особенностях легко различимы признаки «матрицы» степного архетипа, причем в характерном для России виде, – дефективность промежуточной стадии модернизации, основанной на массовом производстве, и необходимость перехода в постиндустриальный этап «напрямую», пользуясь преимуществами «дочерней» по отношению к европейской цивилизации.

* * *

Архаическая социальная конструкция в странах *азиатско-тихоокеанского региона* тесно связана с когнитивными особенностями, имеющими языковые корни. «Иероглифический», понятийно изолированный тип мышления многие исследователи считают ключевой причиной социальной атомизации, когнитивным препятствием для открытости сознания, развития кругозора и творческих навыков. Компетенции формируются как крайне узкие, специализированные вплоть до механического действия, и практически не поддаются расширению. Накопление и применение знаний является не естественным процессом, как в европейской культуре, а требующим аномальных усилий. Патримониальный центр выступает не просто обладателем силового ресурса, но источником знания, передача которого происходит по вертикали, чем обусловлен сакральный статус учителя, наставника, престиж знаний практически равен престижу силы и власти, что находит отражение в традиции меритократической власти, ориентированной на «разумное» устройство жизни. Одновременно это имеет следствием такие лингвальные особенности, как ритуальный, строго обусловленный статусом характер обращения в японском, корейском и китайском языках, что исключает эгалитарность и подавляет свободу обмена информацией. Самодеятельность и индивидуальное отличие общественно не одобряемы, поэтому торговля излишками, а соответственно накопление капитала является маргинальным занятием. Не возникает склонность к кооперации, целостность любого, самого примитивного участка

технологической цепочки требует вертикальной управленческой надстройки для координации, что приводит к необходимости непропорциональной концентрации человеческих ресурсов для достижения результата. Городская среда европейского образца, основанная на образованных индивидах и их горизонтальной кооперации, не нарождается, морской архетип имеет дефект сам и не бытует в привычной связке с оседлым. В этой связи, выражено силовое начало, проявление которого воспринимается не столько как защита интересов патримониального центра, сколько как часть процесса воспитания и обучения, идущая на благо обучаемому, т.е. как должное, а сила и знание парадоксальным образом бытуют в нераздельном единстве, а не в оппозиции друг к другу.

Примечательной культурной проекцией «иероглифического» архетипа является повсеместное доминирование «гармонизированных» духовных практик, сочетающих в себе элементы силы и знания – выступающих одновременно в качестве религии, философии, литературы, боевых искусств. Они замешены на примате «естественного», «неспровоцированного», экзогенного хода событий, созерцательном, малодейственном отношении к действительности, характерном для человека родоплеменной эпохи, когда знание не предназначалось для практического применения, а деятельность считалась уделом низших сословий. В сообществах с таким мировоззрением «уровень счастья» выше характерного для общностей европейского генезиса, что является немаловажным фактором притягательности стран региона, в том числе, экономическим. Однако такая система взглядов когнитивно герметична для внешних элементов, а уровень самостоятельности собственных акторов – в любой сфере – снижает до минимума. Тиражируемость системы общественных отношений вовне также стремится к нулевой.

Сложно достоверно судить, какие причины лежат в основе развития здесь таких языковых форм – насколько они имеют отношение к длительной культурной самоизоляции и периферийности, некоторой ограниченности выбора эстетических образов, сложному рельефу местности, зачастую разделяющему поселения и т.п. С другой стороны, вполне вероятно, что автаркичность вызвана способом выращивания риса как основной пищевой культуры в условиях муссонного климата – трудоемким и монотонным, с применением массового труда, способствующим беспрецедентно высокой рождаемости как основе изобилия и концентрации населения не столько вдоль морского берега, сколько в долинах полноводных рек. Даже культура рыболовства не оказала здесь существенного влияния на социальную матрицу: во-первых, в этом промысле исторически была занята небольшая часть населения – в отличие, скажем, от скандинавских; во-вторых, в отличие от Европы, ареалы обитания различных общностей в основном довольно сильно разнесены географически, что привязывает сбыт к родной гавани. Очевидно, что вследствие этой специфики возможность извлечения выгод из крайне высокой плотности населения и доступности морского сообщения, ограничена. Высвобождение трудовых ресурсов из сельского хозяйства в регионе происходило сравнительно медленно, с чем связана задержка индустриальной урбанизации – соответственно появления самого предмета торговли и предпринимательства. По-видимому, этим можно также объяснить «крупную» нарезку стран, характерную для степных кочевников, – парадигма изобилия капитала и высокой плотности населения, которая в Европе привела к обособлению большого количества самодостаточных государств, в Юго-Восточной Азии проявилась лишь в послевоенный период, на пике эры глобальной торговли. При этом феномен города короткой дистанции, являющегося «инфраструктурой» среды с низкими транзакционными издержками, естественным распространением и воспроизводством знаний, в истории «рисовых» стран пока не отмечен. Для мегаполисов здесь скорее характерна ранне- или позднеиндустриальная структура экономики по американскому образцу, соответственно с высокой долей промышленности и услуг.

Низкий уровень социального капитала находит выражение в вертикальных корпоративных структурах (напоминающих родоплеменные) многоотраслевых конгломератов, одновременно владеющих активами (вместо отдельного бизнеса по инвестиционному управлению активами), корпорациями – центрами технологической экспертизы и сервис-провайдерскими (банками, страховыми компаниями, пенсионными фондами и пр.), обслуживающими аффилированные фирмы и домохозяйства. Таким образом, рост и усложнение деятельности происходит посредством генерации управленческих надстроек, т.е. постоянного

увеличения транзакционных издержек. Когнитивно обусловленная естественность вертикальных форм организации транслируется и на публичные институты, такие как партии, наряду с корпорациями выступающие «несущими конструкциями» общества, – для морского архетипа непривычно централизованные, даже в формально демократических странах.

Такая специфика когнитивных особенностей приводит к нормативно высокой численности занятых при технологии ручного труда, поэтому поначалу цена такового крайне низка, в особенности, на благоприятном демографическом фоне. На определенном этапе развития региону нет альтернативы в качестве «всемирного сборочного цеха», при том что Запад тяготеет к наиболее креативным, «ранним» звеньям технологической цепочки и производству уникальных изделий. Это позволяет задействовать сильные стороны этого когнитивного архетипа – уникальный навык высококачественного монотонного труда и способность «бесконечно» улучшать автоматические качества конечного изделия. В этой связи практически для всех стран Юго-Восточной Азии характерен рост при помощи притока иностранных инвестиций и технологий, притом преимущественно из США, где первообразная модель массового производства также основана на стандартизации, а не отличительном качестве (она же в наибольшей степени вымывается в результате такой конкуренции). Учитывая роль американского капитала в становлении многих крупных корпораций в регионе, можно утверждать, что подавленный когнитивными особенностями морской архетип здесь изначально был восполнен имплантированным. На протяжении индустриальной эпохи конкурентное преимущество по цене и доступности населения трудоспособного возраста позволяет странам региона стремиться к положительной доходности чистой инвестиционной позиции и положительной чистой добавленной ценности внешней торговли. Однако рост добавленной ценности экспорта здесь обычно сопровождается и ростом добавленной ценности импорта в том или ином объеме, – освоение сложного производства чаще всего выступает следствием длительного оперирования иностранными технологиями, «обучения» на практике. Во многом и сама глобализация как универсальный тренд прежде всего описывает роль Юго-Восточной Азии в международном разделении труда на рубеже веков.

Приемлемая производительность труда в рамках такой культурной парадигмы достижима только в случае полного устранения человека из производственного процесса, что создает беспрецедентно высокие стимулы для автоматизации производства, что, тем не менее, оставляет открытым вопрос об абсорбции избыточных трудовых ресурсов. Одновременно это приводит к консервации специализации на наименее креативных звеньях технологической цепочки, легко поддающихся алгоритмическому описанию, в особенности, по мере удорожания собственных трудовых ресурсов и поочередного перехода роли «сборочного цеха» к «следующим» по дешевизне этого фактора производства странам региона. На этой стадии определяющими становятся скорее негативные установки, связанные с «иероглифическим» типом мышления, – традиционная предосудительность индивидуальных отличий человека и самостоятельной инициативы, вертикальное движение информации. Это не позволяет сравняться с западными лидерами в глобальной научно-технической гонке, невзирая на то, что три ведущие страны региона являются глобальными лидерами по доле расходов на НИОКР в ВВП. Такой дефект становится экзистенциальным в резонансе с разложением массового промышленного производства как уклада в пользу деконцентрированного – мелкосерийного и роботизированного, открывающего путь к переносу мощностей к местам потребления, в т.ч. обратно в развитые страны. В этой связи, критическим вызовом становится способность преодолеть социальные тромбы на пути развития экономики знаний, а также задействовать беспрецедентный потенциал глубины внутренних рынков, в т.ч. в форме виртуального потребительского трафика, который становится основой долгосрочного цифрового лидерства.

Ведущую роль в раскрепощении морского архетипа в регионе сыграло американское влияние, поскольку во многом заменило собой сложившуюся конфигурацию силового ресурса в таких ключевых центрах, как Япония и Южная Корея. Именно послевоенному обузданию японских амбиций по контролю

за морским судоходством обязано раскрытие потенциала азиатских экономик на восточном побережье материка и в островных странах. При общности беспрецедентно высоких инвестиций в импорт западных гуманитарных и образовательных образцов, каждая из стран выработала свой, преимущественно культурно обусловленный, ответ на эти вызовы, наиболее успешным из которых пока представляется южнокорейский вариант. Вероятно, некоторая роль в постоянном поиске ускорителей социальной динамики и повышенной готовности к трансформации здесь принадлежит непосредственной военной угрозе со стороны Северной Кореи и насущной – более, чем у кого бы то ни было в регионе – потребности в оборонном альянсе с НАТО.

Примечателен пример корпорации Samsung, лидера южнокорейской модернизации, где английский язык был искусственно насажден в качестве единственного в устном и письменном деловом обиходе, а на ведущие позиции были массово приглашены носители английского языка, не только корейского этнического происхождения. При этом, для целей развития когнитивных способностей и воображения, ключевым разработчикам и маркетологам было вменено в обязанность получение дополнительного образования в области свободных искусств. Эти изменения сделали возможными перестройку технологических бизнес-процессов по американским лекалам, что привело к выдающимся результатам корпорации. Кроме того, этот пример успеха придал импульс распространению соответствующей бизнес-культуры в масштабах всей корейской экономики, включая развитие установки на личную предпринимательскую инициативу, ранее немыслимую в корейском обществе за пределами вертикальных конгломератов кланового типа. Пока такая инициатива больше опирается не на специализированные венчурные фонды, а на венчурные программы крупных корпораций как институциональной основы экономики.

При сходстве исходных данных, в японской экономике торможение приняло хронические формы, что можно отчасти отнести на счет ограниченности территориального ресурса для экстенсивного роста. Однако и здесь определяющими являются скорее когнитивные особенности, – инкапсулированное «островное» сознание, отсутствие исторического опыта сосуществования с иной цивилизацией, иначе как в господствующем положении, препятствуют даже зарождению навыков горизонтальной кооперации. Примечательна в этой связи крайне ограниченная способность выдвигать производительные силы к привлекательным рынкам.

В условиях дефективного морского архетипа, обычно создающего условия для полицентричности силового ресурса, выгодное географическое положение здесь вызывает стремление к подавлению окружающих морских цивилизаций. По этой причине здесь больше чем где бы то ни было выражен культурный феномен предосудительности самодеятельности, иерархической архитектуры любых звеньев общественной организации, вплоть до микроуровня. Характерна низкая адаптивность к постиндустриальному укладу, в рамках которого ключевым преимуществом выступает именно свобода обмена знаниями и способность создавать отличительную ценность.

Примечательно, что аналогичные корейским стартовые когнитивные особенности подтверждает кратная разница индексов цитируемости у японских ученых, пишущих на японском (переводимых на английский) и английском языках в пользу последних.

Экономика сохраняет жесткую зависимость от экспорта, низкий курс национальной валюты оказывает лишь ограниченную поддержку выпуску ввиду обратного влияния на производственные затраты. Меры макроэкономического стимулирования приводят лишь к коррекции монетарных параметров – инфляции и валютного курса, одновременно способствуя образованию «мыльных пузырей» на фондовом рынке и рынке недвижимости, но не структурные изменения.

Часто такие меры вызывают обратный эффект, снижая долгосрочную инвестиционную привлекательность японской экономики, поскольку и без того ограниченная возможность генерировать доходность на вложенный капитал относится к возрастающим по стоимости капитальной базе компаний и банковским активам. Кроме этого, они вызывают вывоз капитала, который сделал страну вторым после США

крупнейшим нетто-инвестором в мире, однако такие инвестиции носят преимущественно пассивный характер и в минимальной степени способствуют интеграции в трансграничные цепочки кооперации.

Историческая логика развития Китая, вероятно, имеет отношение к исключительной глубине и гетерогенности внутреннего рынка, способствовавшим культурному своеобразию. Тем не менее, для общности, зародившейся как совокупность субконтинентальных кочевых этносов, притом и равнинных, и изолированных мест, в полной мере характерна социальная матрица степного архетипа, подразумевающая склонность к автаркии, которая, как уже отмечалось, сохраняется даже при смене среды обитания. Более того, разрыв в уровне развития между побережьем и изолированным от рынков западом, являющимся ареалом расселения кочевых этносов, по-прежнему ярко выражен.

Этот фактор актуален и в наше время: усвоение передовых технологических и культурных образцов пока в основном продиктовано мотивацией создания глобальной инфраструктуры всех способов доставки китайской продукции на ключевые рынки сбыта и обратного обеспечения экономики сырьем, в меньшей мере – достижения кооперационной совместимости с ведущими экономиками. При этом, многочисленная и разноплановая китайская диаспора выступает «мягкой» инфраструктурой такого типа обмена с окружающим миром.

Наличие протяженных судоходных рек Янцзы и Хуанхэ в плодородных и пригодных к обитанию землях хартленда снизило актуальность освоения восточных побережий для чуждых торговле субконтинентальных кочевников, в бассейне которых вплоть до второй мировой войны доминировали сперва Англия, в результате опиумных войн, а с начала XX века соседняя Япония. Это практически «дезактивировало» морской уклад, естественный для огромной части территории, вызвало к жизни архаические публичные институты и социальные практики, включая среду с высокой силовой «токсичностью», и лишь раскрепощение потенциала прибрежных территорий вызвало к жизни «китайское экономическое чудо». Гетерогенная генерация капитала, характерная для морского архетипа, создала условия для полицентричности конкурирующих элитных кланов, обладающих силовым ресурсом, что, в свою очередь, является фактором некоторой защищенности для предпринимателей. В то же время, эти кланы делят между собой большую часть государственного сектора экономики, который скорее бытует в парадигме степного кочевого хозяйствования, схожей с «ордынской» в России (см. далее), – с системным конфликтом интересов и коррупцией-кормлением, силовым «предпринимательством», высокой долей государственного заказа, массивным вывозом капитала. С другой стороны, этот тип хозяйствования нельзя определить как феодальный, поскольку сводится не к присвоению примитивных ресурсов, а к приданию таковым добавленной ценности, более того, непрерывному усложнению таковой. В этой связи, сложившийся уклад можно охарактеризовать как государственный капитализм, опирающийся на благоприятные для массового производства природные и демографические условия и имеющий предпосылки для трансформации в конкурентный.

Наиболее масштабные, тектонические процессы характерны для городов, выступающих полигоном затяжной трансформации в ответственное экономическое поведение ранних, «наивных» установок значительных масс сельского населения при столкновении с городским укладом жизни и его потребительскими возможностями. К существенным национальным особенностям этого процесса можно отнести рукотворность и искусственность урбанизации, ее невиданные в мировой истории масштаб и скорость, что вряд ли было бы возможно без известной податливости населения в результате таких сверхмасштабных, даже по меркам XX века, катастроф, как японская оккупация, гражданская война и культурная революция. При этом, очевидно попадание в ловушку между достижением потолка экстенсивного роста и отсутствием модели устойчивой интенсификации, о чем свидетельствует масштабный вынужденный экспорт капитала. С одной стороны, это связано с исчерпанием резервов сельского населения, способного к деархаизации, типичной для сельского оседлого архетипа низкой плотностью экономически активного населения при общей перенаселенности. Это вызывает кризис

экспортной модели на основе дешевого труда ввиду необходимости дожидаться смены поколения сельского населения, прежде чем урбанизация получит новый импульс (а ввиду нисходящего демографического тренда, такого импульса может не быть вовсе). С другой стороны, процесс накопления компетенций и улучшения качества человеческого капитала, обуславливающий возможность обновления крайне неэффективной технологической базы, по естественным причинам протекает значительно медленнее, чем механическая урбанизация. Обращает на себя внимание способ реагирования на такие фундаментальные вызовы, как деконцентрация промышленности и перенос производства ближе к рынкам сбыта: фокус внимания смещается в сторону инвестиций в логистическую инфраструктуру в странах – торговых партнерах, призванных обеспечить удешевление доставки товаров, более того, в платформы электронной торговли, позволяющие аккумулировать данные о потребительском поведении людей по всему миру и настроить параметры выпуска. Примечательно, что после консолидации режима, естественной для пика капиталоемкости индустриального уклада, его ослабление здесь лишь намечилось и вновь сменилось рецентрализацией – на этот раз по мотивам поддержания достигнутого посредством мегапроекта пояса Шелкового пути, пока экономика проходит «конверсию» в постиндустриальный формат. Способность этих мер «удержать на плаву» модель производства, удаленного от рынков сбыта – в особенности крупного – вызывает сомнения, однако глубина внутреннего потребительского рынка несомненно обеспечит китайским игрокам роль глобальных цифровых лидеров. Более того, вполне возможно, что они смогут трансформироваться в трансграничные (в сегодняшнем понимании границы) протогосударственные образования с «виртуальным подданством», способные оказывать влияние на разнообразные аспекты жизнедеятельности человека.

Примечательно, что наиболее успешные примеры социальной трансформации общностей китайского этногенеза (и в целом в Юго-Восточной Азии) – Гонконг, Тайвань, Сингапур – находятся за пределами материковой части и связаны с доминированием морского архетипа. Кроме того, для всех этих стран характерна городская форма организации жизни, без какого бы то ни было пространственного «обременения». Как правило, дефект горизонтальной кооперации и здесь преодолевается крайне медленно, этот процесс повсеместно коррелирует со степенью перехода к английскому языку в качестве основного. В Сингапуре дополнительным опорным фактором модернизации является второе крупнейшее и экономически наиболее активное индийское меньшинство, для которого британские образцы являются благоприобретенными и привычными, не только в части языка, но и в части институциональных практик.

7. МАТРИЦА ЭКОНОМИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ РОССИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ИЗВОДЫ

7.1 Новгородская цивилизация и ее современные воплощения как ренессансный архетипический феномен. Петербург как «точка входа» большой европейской цивилизации Нового времени

Образ града и мира отражен в семантике русского языка (славянские «миры» – деревни), что иллюстрирует влияние модернистского и архаического полюсов на моторику социального развития – по меньшей мере, с того времени, когда восточные славяне, обосновавшиеся на Ладогe, стали приглашать варягов для исполнения властных полномочий, прежде всего, военных. Сперва эта традиция была укоренилась в городах *псковско-новгородской цивилизации*, а затем в том или ином виде передалась Киевской Руси. Такая практика практически не отличается от распространенной в европейских ренессансных городах, использовавших привлеченный силовой ресурс. В хозяйственном отношении Киев непосредственным образом дополняет Новгород: в рамках теории рынков совместно они могут трактоваться как вертикально интегрированные экономики, поскольку их основу составляли звенья единого внутриевропейского транзитного маршрута – пути из варяг в греки. Таким образом, также по европейскому образцу, городские цивилизации – соответственно очаги модернистских сообществ – бытуют здесь в непосредственной близости от водных транспортных путей. Природные условия Поморья, хозяйственный уклад вольных рыболовецких и иных промысловых артелей, распространение заморской торговли указывают на связь с образом жизни скандинавских племен. При этом, Великий Новгород с его транзитным положением испытал существенное влияние городов Ганзейского союза (с точки зрения торговых интересов для последнего город находился в одном ряду с Лондоном и Венецией) и смог продвинуться значительно дальше в русле европейского Возрождения, о чем свидетельствуют институты гражданства, парламентаризма, гражданского контроля за властью и конфликтом интересов, беспрецедентное для своего времени распространение грамоты (включая женское население) и характер нарождавшегося искусства. Таким образом, Новгород развивался как одна из столиц северного Возрождения – на основе классического ренессансного симбиоза городского и морского архетипов, – а также как центр притяжения для культурно периферийных северо-европейских народов, о чем свидетельствует неоднородный этнический состав населения. Вплоть до настоящего времени, невзирая на длительное силовое подавление и прерывание процесса урбанизации, превалирующий на прибрежных северо-западных территориях архетип характерен скорее для модернистских сообществ и отличается сравнительно высоким уровнем развития человеческого капитала, творческих способностей и производственно-технического потенциала, легкостью интеграции в горизонтальные (в т.ч. международные) кооперационные цепочки, до некоторой степени склонностью к предпринимательской инициативе.

Как показала последующая история, новгородская цивилизация вполне рационально не стремилась к распространению южнее, вглубь евразийского хартленда, где природные условия обуславливают формы хозяйствования и социальные практики, несовместимые с ее собственным укладом (см. далее). С нашествием монголов она и вовсе обособилась от соседей, объединенных Ярлыком Орды под началом Москвы, но продолжала бытовать в симбиозе с Киевом, тяготевшим к Литовской Руси как альтернативному центру сборки православных русских на стыке с европейскими этносами, а также Ганзой. Однако уже к XVI – XVII вв северные морские пути в целом утратили свое значение в качестве внутриевропейской транзитной артерии, в связи с чем модернистский уклад русского северо-запада в целом лишился устойчивой и самодостаточной материальной основы: сперва нашествие турок привело к

падению Константинополя и Византии, а затем открытие морского пути в Азию привело к опустению Великого Шелкового пути. В новых обстоятельствах Новгород не представлял жизненного интереса также для родственной в этно-конфессиональном и архетипическом отношении Литвы – в отличие от Киева с его выгодным географическим расположением и благоприятными климатическими условиями. В этой связи псковско-новгородская цивилизация оказалась беззащитной перед лицом степной ресурсно-силовой «ордынской» Московии: подвергаясь непрерывным разорительным и кровопролитным набегам, тем не менее, на протяжении веков Новгороду удавалось нанимать войско или откупаться от посягательств – и даже после утраты государственности в XV веке де-факто сохранять «автономную» субъектность, пока его подпитывала торговля. Однако после разложения материковых торговых путей обеднели и пали под натиском стремившихся к Средиземноморью кочевников все связанные с Византией центры – прежде всего средиземноморские города Возрождения и передовые государства Центральной Азии. Среди зависимых от Великого Шелкового пути государств была и Орда: оправившись от ига, уже в XVI веке Московия покорила донора своей социальной архитектуры и практически одновременно жестоко подавила ростки северного русского Ренессанса.

Дальнейшая судьба досовременных цивилизаций Европы, бассейна Средиземного и Черного морей, Центральной Азии в большей степени различалась в зависимости от того, кто и как долго, обычно в силу географических причин, выступал для них метрополией – Австро-Венгрия (в некоторой степени также Франция), Россия или халифаты, арабские и османский. В этом контексте метропольным элементом ресурсно-силовой вертикали Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации необходимо считать историческую Московию, а Санкт-Петербург следует трактовать в качестве ее эксклава – т.е. полноценной части метропольного элемента, а не альтернативы ей. Если Московия больше обращена к внутреннему пространству – и в прогрессивном, и в экстрактивном смысле, – то Санкт-Петербург, оспаривая с Москвой роль экстрактивного центра, лучше позиционирован для внешней коммуникации и повестки (см. ниже). При этом выделение метропольного элемента абсолютно необходимо для социально- и экономико-антропологического препарирования русского этноса как этноса-цивилизации: это позволяет очертить географический и социальный ареал более или менее однородного, доминантного поведенческого типа, для которого этот профиль является органичным, а не имплантированным извне. Напротив, от общностей за пределами этого ареала следует ожидать по меньшей мере склонности к иной модели организации социального и транзакционного оборота, отличного корпуса поведенческих установок и ценностей, – и признаки таких отличий будут узнаваемы даже сквозь навязанный метрополией шаблон. Более того, при ослаблении влияния метрополии по любой причине такие отличия будут отчетливо проявлять себя – вплоть до реституции доминантности и искоренения навязанного шаблона. При этом без повидового препарирования невозможно эксплицировать цепочку причинно-следственных связей, ведущих к формированию антропологической карты какого бы то ни было полиархетипического этноса, цивилизации (таковые могут иметь и горизонтальную структуру, а не вертикальную «метрополия – колония»). Так, отнесение к одной общности по таким легковесным основаниям, как схожесть формальных институтов, единое правовое пространство и т.п., попытка описывать такие социальные сущности как внутренне гомогенные ведет к грубым концептуальным ошибкам: модус применения писанных норм и правил определяют неформальные институты. Даже столь весомый фактор, как общее языковое пространство, нигде в мире не препятствует обособлению в рамках такого пространства различных общностей и даже государств, если для этого существуют основания (см. ранее), – а различные условия бытования формируют предпосылки для вполне самобытных, хотя и родственных, культур.

* * *

Следующей вехой развития русского северо-запада становится *Санкт-Петербург*, с точки зрения социального «инжиниринга», вероятно, также задуманный как сочетание городского и морского архетипов в привычной локации – на Ладого. Мотивы наращивания морской активности достаточно типичны для зарождения модерна, – после великих географических открытий заморские колониальные завоевания и морская торговля превратились в капитальную базу индустриализации, которая, в свою очередь, послужила резкому обострению общеевропейской военно-технической гонки, изменению представлений не только об эффективном хозяйстве, но и об угрозах. Действительно, город вобрал передовые европейские военные, творческие, профессиональные и некоторые институциональные традиции в рамках масштабной петровской и постпетровской «модернизации». Новгород и Петербург можно считать «донорами» русского городского архетипа – соответственно автохтонного и аутентичного европейского происхождения. Однако, в отличие от других крупных европейских стран, в русской истории веяния Нового времени – и прежде всего человеческий капитал индустриальной эпохи – не вышел из недр автохтонного премодерна. В этом свете новгородская ветвь выступает передовой, но прерванной нитью, так что именно Петербург в качестве «точки входа» большой европейской цивилизации дал импульс формированию русской культуры как одной из вершин и столпов материнской. Городской архетип выделяет русский этнос из среды субконтинентальных кочевников и выступает источником слоя интеллигенции (см. далее), в связи с чем значение Петербурга в отечественной истории сложно переоценить. В свою очередь, интеллигенция несет на себе основную нагрузку по постепенному преобразованию степного архетипа в уникальное для такой общности образованное сообщество (см. далее) в сложнейших цивилизационных условиях, вызванных естественной дефективностью индустриального уклада, в то время как в развитых странах именно массовое производство выступает естественной площадкой взаимодействия образованного слоя с архаическими массами и трансформации последних в рамках цепочки создания ценности.

Уплотнение академической и культурной среды привело к кристаллизации феномена интеллигенции не только как носителя социальной миссии (что скорее уникальное русское явление), но и как слоя людей свободных профессий или даже самозанятых, возникновению особого типа петербургской (ленинградской) идентичности, тяготеющего к европейскому городскому образцу, притом с характерным для такового эффектом короткой дистанции. В этом плане примечательно, что лишь в Петербурге профессиональная экспертиза и репутация в выпуклом виде сохранили свое самостоятельное, институциональное в буквальном понимании значение, – т.е. значительная часть профессиональных сообществ не редуцировалась до статуса стороны в системе отношений «работодатель – работник». В то же время, в других русских общностях по умолчанию профессиональный долг как слуга общественного интереса часто находится в противоречии с интересами работодателя, – и это противоречие, как правило, разрешается в пользу последнего. Более того, для носителей петербургской идентичности не характерна отчужденность к общественному в пользу личного, свойственная центрально-российскому степному архетипу, зато присуща крайне редкая даже для крупных русских городов ассоциация с культурным кодом города «во времени и пространстве». Имперский период среди прочего ознаменован появлением аналогичных европейским придворных учреждений образования, науки и культуры, не только представляющих собой элементы институционального «фасада», но и олицетворяющих фундаментальное изменение архетипической природы постновгородской власти и корпуса атрибутов ее легитимности – с исключительно ресурсно-силового, закрепляемого религией, на включающий также и знание. Однако характеристики городского архетипа здесь особенно выпукло считываются в постимперский период – когда город утратил столичный статус, а с ним и привилегию диктовать стране образцы административным путем. Так, для московской агломерации с ее исключительной плотностью населения типичен уклад стихийно растущего мегаполиса, который постоянно находится в поиске

сетевых, годных к немедленному масштабированию решений, – отсюда собственная школа не поспевает за потребностями, а в итоге утрачивает связь с хозяйственным оборотом и уровень мастерства, при этом город чрезвычайно открыт экспериментировать, склонен развиваться хаотически. Это резко контрастирует с петербургской традицией пестовать профессиональные школы, возводить новое на добротной основе академической преемственности, – отсюда требовательность к каждому, даже единичному, образцу материальной или гуманитарной культуры, тщательность, пусть и за счет скорости, ценой невосполнимого отставания. В целом, из всего многообразия европейских прототипических образцов, в наибольшей степени город наследует прусскому – как в части архетипа интеллектуального капитала, тяготеющего к специализации и углублению компетенций в каждой из областей по отдельности, так и с точки зрения архитектуры публичных и военных институтов, – что лишь отчасти это можно объяснить глубиной взаимного проникновения правящих монархических династий. Скорее эта общность диктуется дефективностью предпринимательских устоев в двух странах, которые в разгар индустриальной эпохи испытывали сложности с накоплением капитала ввиду периферийной роли в морской торговле и тяготели к наращиванию военной мощи с целью расширения таких возможностей как непосредственно на море, так и на суше – для прорыва к омываемым судоходными морями территориям.

Вплоть до середины XX века, институциональные дизайны двух субконтинентальных держав, а также Австрии, имели черты очевидного сходства и даже трансформировались с некоторой синхронностью. Исторически они часто объединяли усилия в борьбе против морских держав, преуспевших в накоплении капитала и существенно продвинувшихся по пути построения буржуазной демократии, а также против ассоциируемого с ними «вируса вольнодумства» на территории остальной Европы. В другие периоды, напротив, страны сталкивались между собой на континенте в ходе многосторонних конфликтов, пока в конечном итоге силовой аппарат более приближенной к морским державам Германии не оказывался под их внешним управлением. Однако при известном сходстве, экономическая «фабула», подоплека такого экспансионизма оставалась принципиально различной. Если германская военная организация была призвана служить прежде всего основной задаче индустриального развития – консолидации рынка высокой емкости для реализации уникального промышленного потенциала, – то русская продолжала в существенной мере бытовать в рамках доиндустриальной парадигмы и преследовала цель приращения «кормовых угодий».

Вероятно, есть некоторая экономически мотивированная закономерность в том, что военные конфликты двух стран, как правило, разрешались в пользу России. В разгар конкурентного противостояния выгодно расположенных европейских промышленных держав, из российских земель интерес для них могли представлять лишь фланговые – приближенные к сферам их интересов географически либо схожие по хозяйственному укладу. При этом цена завоевания этих территорий была довольно высока по сравнению с преимуществами, однако их большая часть в конечном итоге все равно была утрачена Россией, притом не исключительно военным путем. Основная, субконтинентальная часть страны в хозяйственном отношении скорее выглядит обременением для экономической модели промышленно развитой страны – в отличие от Германии с ее непревзойденным индустриальным укладом и транспортной доступностью. В этой связи для морских держав поддержка России в военном противостоянии с Германией представляется довольно органичной, прагматически мотивированной.

Хотя Петербург считается главным морским форпостом страны, этот прорыв в большей степени имел военное значение, развитие торговли в довольно «нишевом» к этому времени регионе во многом приходилось насаждать по методу «нулевой суммы», т.е. в ущерб более удобным портам, в частности, архангельскому. Этот конкурентный недостаток особенно отчетливо дал себя знать в индустриальную эпоху, когда петербургский уклад в наибольшей степени разошелся со своим прусским прототипом: узкая полоса балтийского побережья, практически не связанная с субконтинентальной Россией водными артериями, не могла обеспечить мобилизацию сколько-нибудь заметной опорной емкости внутреннего рынка для создания конкурентоспособной промышленности. Как уже отмечалось, эти архетипические дефекты характерны для всей эры модерна в России, наступление которой ознаменовано закладкой новой столицы и началом имперского периода. В этой связи, позиционирование в качестве экстрактивного

центра по отношению к подданным землям выглядит практически безальтернативным, а элементы индустриального уклада – периферийными. Таким образом, с точки зрения способа извлечения стоимости имперский Петербург можно считать полноправным преемником «ордынской» Московии, более того, как известно, на заре советского периода роль экстрактивного центра в связи со сменой столицы вновь вернулась Москве. Вместе с тем, начиная с имперского периода, ранее узаконенное вотчинное кормление было «упаковано» в институциональную «оболочку», органичную для городского архетипа прусского образца, что положило начало отечественной бюрократической традиции в ее современном понимании. Особенностью феодальной системы общественных отношений, не преодоленной в имперский период, является силовое присвоение стоимости и последующее перераспределение таковой вниз, поэтому остаточный «резервуар» является нормативно дефицитным и наименее устойчивым. По этой причине декларативная система ограничений для экстрактивной элиты и, напротив, гарантий для прочих по базисным показателям выступает как заведомо дисфункциональная, что делает избирательность правоприменения неизбежной. Попытка «накинуть» законодательный шаблон эпохи модерна на общественное устройство премодерна сделала бюрократическую процедуру дополнительной разновидностью административного барьера и источником ренты, так что тяготение к усложнению такого порядка до состояния неисполнимости является системным, «встроенным». Высокое качество администрирования в таких условиях тождественно тотальному поражению в правах в угоду юридической чистоте и для нижних сословий часто становится непосредственным толчком к активному сопротивлению. Такое глубинное противоречие, как антагонизм буквы и духа закона, становится русской социальной доминантой, утверждающей двоемыслие как норму, хотя нельзя недооценивать роль такого «фасада» в ознакомлении с прогрессивными образцами институциональной культуры.

Весьма примечательно, что современная петербургская ресурсно-силовая корпорация сформировалась именно в рамках становления городского порта в качестве важнейшего морского хаба России, который после распада Советского Союза, в том числе, заменил «морские ворота» некогда подконтрольных балтийских стран. По своей структуре эта корпорация представляет собой внутренне связанное до степени нераздельности сплетение теневых ресурсно-силовых групп и тайных служб, – в этом контексте последние некорректно трактовать как носителей какой бы то ни было идеологии или ведомых миссией, более того, как действующих в ведомственных или каких бы то ни было иных институциональных интересах. Как и их теневые партнеры, они должны пониматься как герметичное сообщество, спаянное опытом совместных действий в неправовом поле, однако считающее себя сердцевинной государства и отождествляющее собственные интересы с интересами такового. Основным инструментом такого сообщества является применение или угроза применения в личных интересах силовых и правовых возможностей государства, что подразумевает способность гибко пересекать границы правового поля в обоих направлениях, соответственно наличие стационарных ответвлений за рамками этого поля. При этом навыки влияния и специальных операций служит завладению и управлению активами и потоками без прозрачной декларации механизмов владения и контроля.

Ожидаемым образом в условиях разложения советской индустриальной модели, когда сила превратилась в единственный значимый фактор, позволяющий присваивать премиальную часть общественной стоимости, указанная группа осталась без противовесов и контроля, – так что де-факто подменила собой утратившие субъектность институты государства эпохи модерна. Хотя такая внутренняя структура силовой корпорации является модельной для любого звена таковой по всей стране, тем не менее, в каждом регионе количество и влияние таких звеньев отражает композицию кормовых наделов. Отсюда в большинстве мест силовая корпорация является внутренне полицентрической, более того, без «собирающего» элитного, петербургского звена региональные корпорации рассматривают себя как придаток таких наделов, в то время как по отношению к общенациональному контексту проявляют себя как вполне автономные сущности, не соподчиненные вертикали. Вместе с тем, и петербургская корпорация за пределами метропольной вотчины тяготеет к внутренней фрагментации, подобно «кормовой органике» региона (см. ниже), при этом на общенациональном уровне скорее способна добиться вассального подчинения региональных ветвей себе, но не ликвидации их автономии на долговременной основе.

Ниша петербургского портового хаба в разрезе обслуживания экспортных потоков была во многом зависимой и вторичной по отношению к добыче полезных ископаемых, которая в результате приватизации в основном досталась «московским» олигархам. Однако применительно к практически равновеликим, но значительно более фрагментированным импортным потокам такое позиционирование можно охарактеризовать как стратегическое, позволяющее претендовать на премиальную стоимость во всей товаропроводящей цепочке. Это объясняется размещением населения: именно акватория Балтийского моря ближе других к московской агломерации – одной из самых густонаселенных в мире – и несет основную нагрузку по обслуживанию импорта потребительских товаров. В частности, ниша морского хаба уже в 90-е гг сделала Петербург важным звеном связанных экспортно-импортных схем, предусматривавших вывоз на международный рынок сырьевых товаров российского происхождения в обмен на продовольствие. Эти схемы стали неизбежным спутником модуса выживания в период становления рыночных отношений, который характеризовался катастрофическим дефицитом ликвидности в экономике, включая даже оборотные средства, и преобладанием бартерных расчетов, – при этом они обладали аномально высокой маржинальностью и явились важным источником первоначального накопления капитала.

Становление нового транзитного хаба спровоцировало приоритетное внимание к городу со стороны трансграничного теневого капитала, у которого в финансово-кредитной зависимости находились и производители сырья: до приватизации государственные предприятия были по существу лишены собственного капитала и кредитных рейтингов, поэтому зависели от торгового финансирования международных трейдеров под будущие поставки. Среди последних были представлены, в частности, глобальные игроки, которые своим успехом обязаны обслуживанию экспортных поставок из СССР и других стран с нерыночной экономикой, – вероятно, они также выполняли деликатные функции по управлению капиталом в интересах элит стран-экспортеров. Однако в конце 80-х – начале 90-х гг в эту нишу устремились предприниматели – эмигранты советского происхождения, которые состояли в теневых связях с позднесоветской элитой, искавшей способы конвертировать административное влияние в капитал на Западе, – в частности, до сих пор остается неясной судьба активов КПСС, равно как и происхождение стартового капитала первых ресурсных групп 90-х гг. В свете изложенного становится понятной традиционно высокая роль теневого ресурса в обороте петербургской ресурсно-силовой корпорации, в т.ч. трансграничных. Отсюда и повышенный интерес этой корпорации к внешнеполитической повестке дня: претензия на обязательное участие в выработке и принятии решений по глобальной безопасности, стратегический паритет представляют ценность не сами по себе, а в качестве инструмента обеспечения международной неприкосновенности иностранных операций этой корпорации. При этом локации хозяйственной и силовой активности на карте мира в этом контексте не обязательно соотносятся непосредственно, а представляют собой единый «пул разменов» с государствами, имеющими возможность преследовать теневой оборот в глобальном масштабе и обращать санкции на доходы от него, – прежде всего развитыми западными странами, выступающими площадками извлечения из добытого выгод в форме хранения, инвестирования и потребления.

Структурная мощь ниши «транзитных ворот» уже в 90-е гг позволяла петербургской ресурсно-силовой корпорации вступать в «партнерства» с различными «московскими» ресурсно-силовыми группами – разобщенными, но выступавшими главными действующими лицами передела собственности и потому в целом намного более состоятельными. Однако переход первенства к первой был лишь вопросом времени, поскольку контроль «узкого места» со временем обеспечил ей роль «интерфейса» в принятии всеми ключевыми официальными и теновыми акторами ресурсно значимых решений, – и действительно на рубеже веков она сумела подчинить себе все прочие на правах младших партнеров или даже вассалов, а некоторых и вовсе уничтожить. Показательно, что во второй половине 90-х гг могущественная коалиция иногородних перекрестных публично-теневых ресурсно-силовых групп при поддержке оттесненных от транзитных рент петербургских элит предприняла попытку вторгнуться в распределение этих рент, что даже привело к смене руководства города на лояльное «атакующей» стороне и новой вспышке криминальных «войн». В силовом авангарде «наступавших» находились некоторые мощные федеральные ведомственные кланы, однако их ресурсное ядро составляли бенефициары ренты импортозависимого потребительского рынка, – в условиях слабой конъюнктуры глобальных рынков указанная рента стала весомее сырьевой. Это ядро было представлено лидерами крупнейших городских агломераций и густонаселенных несырьевых регионов во главе с Москвой, – они были вынуждены делить соответствующую цепочку поставки с бенефициарами ключевого транзитного узла. Достигнутый успех послужил основанием для притязаний этой коалиции на власть в стране целом, которые резко усилились на фоне масштабного финансового и сопутствовавшего политического кризиса 1998 года. Однако по причине стремительного восстановления глобальных сырьевых

рынков успех такого «наступления» оказался недолговечным. Оно было остановлено коалицией репозиционированных в федеральную власть петербургских элит, – здесь необходимо отметить полное единство действий т.н. «либерального» и «силового» течений таковых, – и олигархов, выступавших по итогам приватизации бенефициарами экспортных рент и также жизненно заинтересованных в судьбе транзитного хаба, – последних принято ассоциировать с т.н. большой «семьей» первой постсоветской каденции. В результате действий этой коалиции противостоящие ей группы в самом городе были подвергнуты эрадикации, в других же регионах сперва были поставлены под вассальный контроль, а к концу первого десятилетия второго постсоветского режима в основном прекратили существование, – при этом именно выгодоприобретатели этого реванша совместно составили правящую элиту России в первые два десятилетия XXI века. Более того, вполне ожидаем приоритетный интерес элитной группировки, сформированной вокруг передела транспортировки ресурсов, к внутренним делам всех стран-транзитеров, прежде всего Украине, а также Белоруссии и стран Восточной Европы. Лишь их интеграция могла бы обратить территориальный ресурс в монопольный, соответственно максимизировать премию за редкость пользования им за счет потребителей, а также добывающих ресурсно-силовых корпораций.

В этом рисунке реинтеграции страны, фактически находившейся в дезинтегрированном состоянии, заключена экономико-географическая «формула» ее единства в условиях обращения в доиндустриальное состояние, а также структуры элит. Для монетизации экспортных ресурсов, с учетом их локации, необходим протяженный субконтинентальный транзит и особенно выход в открытое море. В то же время, потенциал немногочисленных портовых зон задействован также и для обслуживания импортозависимого потребительского рынка наиболее густонаселенных городских агломераций. Таким образом, именно разнесенность в пространстве точек производства экспортных ресурсов, морских акваторий и крупных городов служит мотивацией для «сборки» России в постсоветском состоянии, при этом делает возникшие вокруг портов ресурсно-силовые корпорации узловыми элитными группировками – операторами экспортно-импортных потоков. Более того, централизация контроля над портами Балтийского и Черноморского бассейнов фактически тождественна контролю страны в целом, поскольку не оставляет альтернативного маршрута экспорту субконтинентальных регионов и импорту городов – вплоть до возможности блокировать их хозяйственную деятельность и даже жизнеобеспечение. Наконец, такая централизация одновременно означает контроль наиболее мощных, фланговых военных и военно-морских группировок соответственно на территории и в акватории России. Добиться такой централизации под силу лишь выгодоприобретателю выделяющейся по объему ренты, соответственно обладателю подавляющего силового ресурса, – так что это стало возможным только в условиях беспрецедентного роста мировых цен на углеводородное сырье в начале XXI века. Напротив, разделение такого контроля повышает самостоятельность субконтинентальных регионов, их роль в цементировании страны и долю в распределении стоимости в «пищевой цепочке», оставляя «портовым» элитам роль медиаторов, соответственно ограниченную посредническую маржу, – что и наблюдалось в 90-е гг и вновь вероятно в будущем. При этом именно Балтийские порты обслуживают основную часть потребностей московской агломерации, глубина рынка которой также делает ее незаменимым рынком сбыта для прочих регионов, законодателем стиля жизни и точкой притяжения премиальных классов. Такая связка выделяет Петербург из прочих транзитных хабов и служит также основой для воспроизводства вокруг «узкого горлышка» наиболее мощной в стране силовой корпорации, однако она же одновременно означает обреченность на тесную интеграцию с Москвой. В то же время, Черноморский бассейн имеет заметный потенциал к обособлению, в особенности с учетом собственной плотности населения, мощностей сельскохозяйственного производства и экспорта, известной силовой мощи. Отсюда в случае снижения контроля за Черноморским бассейном именно Петербург, в котором дважды в XX веке решался вопрос о власти, превращается в очевидный центр притяжения ресурсной экономики России и имеет потенциал существенно потеснить в этом качестве Москву. В любом случае, отдельный силовой контроль двух основных акваторий тождествен глубокой децентрализации России, вплоть до конфедерализации, фронтальному нарастанию автономии городов и регионов. Однако уникальная глубина рынка московской агломерации и в этом случае выдвигает Москву на роль «спикера» субконтинентальных регионов России, среди других же очевидным образом выделяется Татарстан, обладающий сочетанием значительной экономической мощи с высокой плотностью населения. Особенным в этом ряду является вопрос о возможном обретении политической субъектности субконтинентальными регионами – производителями сырья: это вероятно лишь при условии диверсификации объемов поставок между тремя российскими акваториями, соответственно автономизации контроля последних, а также задействования четвертого, сухопутного направления экспорта в Китай. Вместе с тем, такому развитию событий препятствует снижение объемов добычи в истощенной нефтегазоносной провинции и дороговизна разработки новых запасов на фоне

снижения энергоемкости глобального общественного продукта, – при этом емкость локального, регионального рынка пренебрежимо мала в силу низкой плотности населения.

Примечательно, что благодаря постсоветскому «репозиционированию» экспортно-импортных потоков, именно вокруг Петербурга возник наиболее крупный из постсоветских промышленных кластеров в России. Этому способствовала и сравнительно выраженная, по сравнению с абсолютным большинством других регионов, производственная культура, присущая аутентичному городскому архетипу европейского образца, а также процедурная системность и «буквальная» исполнительская дисциплина, вероятно, обязанные влиянию европейской – прежде всего прусской – военной и бюрократической традиции. Можно предположить, что этим же качествам обязаны и два других заметных феномена общероссийского значения – доминирование петербургского ядра в «правительствах реформаторов» 90-х гг и петербургская юридическая школа, выступающая важным кадровым резервом государственной службы и профессиональной корпорации. Однако собственно экономический эффект промышленного кластера оказался крайне ограниченным, как в силу исторической смены технологических укладов (излет индустриальной эпохи, глобальная тенденция географической локализации и деконцентрации производства), так и по причине скудного предложения трудовых ресурсов, конкурентоспособных в сравнении с ведущими глобальными промышленными центрами – развитых стран по качеству таких ресурсов или развивающихся по их стоимости.

Таким образом, новая морская столица не стала опорным центром для привлечения морского архетипа и развития национального предпринимательства. Более того, этот род занятий здесь исторически вторичен по сравнению с военной и государственной службой, а также творческими профессиями, иерархический способ взаимодействия индивидов более органичен, чем кооперативный, горизонтальный.

В силу практического отсутствия собственного человеческого капитала, предрасположенного к предпринимательской деятельности, хозяйственная среда здесь нередко воспроизводит внутреннюю культуру какого-либо из более органичных для города видов деятельности и характеризуется низкой коммерческой эффективностью. Кроме того, на рубеже как XIX – XX, так и XX – XXI вв в городском бизнес-сообществе преобладают выходцы из регионов с другой архетипической наследственностью, и если в дореволюционный период это можно было объяснить столичным статусом города, стягивавшего человеческий капитал со всей страны, то в постсоветский обязано именно дефективности поведенческих наклонностей, составляющих существенные признаки человека предпринимательского склада. Более того, деконструкция советского модерна ожидаемым образом наиболее болезненно сказалась именно на Петербурге, в частности, интеллигенции. Это открыло путь не только приезжим предпринимателям, но и безраздельному господству другого элитного слоя – силовой корпорации, поскольку удар по хозяйственному и социальному укладу, опиравшемуся на интеллектуальный капитал, побудил к спешной реализации рентного потенциала города как ключевого постсоветского морского хаба России. В ходе этого транзита петербургская силовая корпорация – в составе публичного и неформального слоев – вместе с обслуживающей ее административной бюрократией оформилась в качестве наиболее монолитной и дееспособной, в условиях обращения к доиндустриальному способу производства, элитной группы, впоследствии пришедшей к власти в стране. Она оказалась не только наиболее мощной отдельно взятой ресурсно-силовой группой, но и единственным диверсифицированным конгломератом, в которой для внутренних отношений характерна типичная для элиты премодерна норма короткой внутренней дистанции.

Появление новой морской гавани здесь даже послужило запустению русского севера, а роль города в цепочке создания ценности свелась к поддержанию собственного уклада жизни и позиционирования в европейском контексте. Окружающие земли в таком ключе прежде всего выступают источником извлечения стоимости для этих целей и лишь во вторую очередь объектом модернизаторской миссии «града» по отношению к «миру». Имея внутренние модернистские установки, этот архетип тем не менее допускает оперирование экстрактивными институтами вовне и толерантен к сопутствующим архаическим практикам, если они упрощают извлечение ресурсов из подданных земель и их концентрацию. Это также выдает влияние европейских империй, которые в исторический период конца XVIII – начала XX вв были сфокусированы на внешней экспансии, – с той существенной разницей, что

она была подчинена интересам расширения возможностей для абсорбции трудовых ресурсов внутри страны и генерации национального капитала. На этом фоне примечательно, что именно автохтонная новгородская цивилизация с ее инклюзивными институтами оказалась несовместимой с превосходящей по силе «ордынской» (см. далее), в то время как Петербург вполне вписался в сословно-вождественную структуру степного архетипа с его представлением об элите как неизбежном «инородном» иге, не имеющем зависимое население источником легитимности или состоятельности. В отличие от новгородского архетипа, замешенного на превосходстве собственной социальной модели над иноземными, петербургский уже в силу своего генезиса не является проросшим из «хтонических глубин» феноменом и представляет собой внешний «имплантат» более прогрессивных практик в отсталой среде. В этом качестве социальный портрет имперского Петербурга и феноменология его отношений с остальной Россией выступают архетипической моделью страны в целом. Более того, невзирая на известную взаимную политико-ресурсную и этико-эстетическую ревность, Москва и Петербург являются полноправными соавторами экстрактивной хозяйственной и соответствующей институциональной модели. Москве в этом тандеме принадлежит авторство практики гиперконцентрированной организации жизнедеятельности, позволяющей облегчить контроль податного населения, а также способствующей экономии на масштабе – пусть и в ущерб качеству жизни. Петербургу же принадлежит первенство в апробации модели перераспределения сконцентрированных ресурсов – хотя и соответствующей духу эпохи модерна, но предполагающей несоразмерность экстрактивного воздействия скромным результатам. Цели такого перераспределения носят «витринный», «бутиковый» характер и составляют скорее исключение из общей практики, даже становятся экстерриториальными сущностями, встроенными в глобальный контекст и отделенными от национального. Тем самым сама аномалия не только легитимируется, но и приобретает премиальный статус, – в частности, в этот ряд можно поставить мегапроекты, передовые культурные и научные учреждения, закрытые города и даже специальные инстанции, в которых можно добиваться защиты декларативных прав в единичном случае на фоне институциональной нормы поражения в правах. Каждый из укладов парадоксальным образом имеет не только отрицательные стороны, но и свои преимущества, – так, второй позволяет знакомиться с передовыми достижениями внешнего мира и знакомить последний со своими, в парадигме первого же гораздо вероятнее, что ход будет дан собственным опережающим достижениям, которым второй уклад враждебен. При этом обе столицы насыщены административными бенефициарами ресурсных рент: Москва лучше позиционирована «улавливать» маржу в торговле, соответственно в финансовом секторе, Петербург же – в транспортировке и логистике. Однако в силу этого обстоятельства структура предложения и ценообразования товаров и услуг заметно наклонена в сторону обслуживания кочевых потребностей – будь то таких бенефициаров или делового и частного туризма. В сущности, подобным образом строится структура локальных рынков любого мегаполиса – с той разницей, что в промышленно развитых странах место административно-силовых бенефициаров рент занимают финансовые.

Поскольку отсутствие «кормовой» самодостаточности вынуждает обращать экстрактивное действие вовне, город – весьма необычным для образованной среды европейского типа образом – традиционно воспроизводит одну из наиболее мощных ветвей патримониальной силовой корпорации, в связи с чем для социальной среды характерна высокая конфликтная «разность потенциалов». Архетипически эта корпорация не только отсылает к социальной архитектуре степного кочевника, но несомненно принадлежит ее сравнительно немногочисленному «стволовому», элитному «опричному» звену, имеющему черты сходства с наиболее социально герметичными изолированными субконтинентальными кочевниками, для которых объект кочевого набега традиционно экстернален по отношению к общности (см. ранее). Этот тип общности представляет собой другой крайний полюс эффекта короткой дистанции, архаический, – парадоксальным образом, невзирая на всю разность темпераментов, в стерильном виде он по существенным признакам схож, например, с характерным для

горных народов Кавказа. Для этого типа характерны строгая иерархия, интернализация индивида и догляд, отсутствие личного пространства и существенного личного имущества (в пользу «общака»), глубокие переплетения связей и интересов, жестокое преследование альтернативной лояльности, асимметрия информации – непрозрачность вплоть до вероломства, намеренное искажение сведений о себе одновременно с мифологизированным представлением об окружающем мире – низкая ценность человеческой жизни, культ боевых искусств и высокого порога боли, субкультура совместного бытования мужской популяции, в т.ч. инкапсуляция в недрах других общностей при смене места проживания. Именно эту корпорацию можно считать «импортером» человеческих ресурсов с характеристиками городского архетипа, что контрастирует с ренессансным новгородским образцом, согласно которому, напротив, город привлекает силовой «сервис» для обеспечения безопасности. Сложность сосуществования крайних форм архаического и модернистского сообществ в одном социальном пространстве можно наблюдать в европейских городах, испытывающих натиск миграционных потоков из исламских стран, однако нигде больше в мире они не составляют элитную коалицию. Это неизбежно имеет следствием не только конфликтность (см. ниже), но и диффузию, – и в частности существенное удлинение нормы социальной и транзакционной дистанции по внешнему периметру, характерное для архаического сообщества: полновесными признаются лишь отношения, обязательства и нормы внутригородского оборота, прочие же трактуются как малозначимые. Активно привлекать человеческие ресурсы чуждого типа, а впоследствии и мириться с многовековым расширением образованного слоя силовую корпорацию вынуждает инстинкт самосохранения: как уже отмечалось, на заре Нового времени резко возрастают потребности в капитале и ценность доступа к морским транспортным артериям, меняется ключевой фактор успеха в военных противостояниях – с численности и боевой выучки живой силы на техническую мощь. Индустриальная гонка обнажает безнадежное отставание социальной модели материковых кочевников, грозящее экстрактивной элите утратой собственного положения и государственности – прежде всего западного фланга страны, считавшегося единственно пригодным к обитанию и остающегося метропольным по настоящее время. Впоследствии образованный слой расширяется не только в областях, непосредственно связанных с военно-техническими потребностями, но и в порядке формирования гуманитарной среды европейского образца, отвечающей потребностям элитных страт.

Архетип коалиции силового центра с образованным слоем, при этом оставляющей вне социальных лифтов другие слои населения, можно считать нормативным для модернизационных рывков в русской истории, от петровского до реформ 90-х гг XX века, – в наше время этот союз конституирован событиями 1993 года практически в буквальном виде. Более того, силовая и образованная среды в России повсеместно мыслят соответствующие петербургские образцы модельными для себя – возможно, за некоторым исключением старообрядческих регионов. В этой связи, модус дореволюционного модерна в России контрастирует с общепринятым представлением о роли этой эпохи – в частности, появляющихся крупных промышленных производств и общедоступного среднего образования – в формировании нации как формы межсословной солидарности, включая самоидентификацию и общенациональную повестку дня, общеупотребительный национальный язык и культуру. В силу маргинальности промышленного производства источником благосостояния у различных элитных страт становятся пожалованные угодья, управлению которыми практически не уделяется заметное внимание, – фактически с крестьянства собирается дань, размер которой напрямую не связан с экономикой сельскохозяйственного производства. В то же время, жизнь элиты в городе часто носит отпечаток праздности, а ее самоидентификация скорее отсылает к разлагающимся позднефеодальным европейским элитам, чем собственно к русскому народу, – это, в частности, находит отражение и в периферийности русского языка в обиходе правящего слоя. На протяжении всего XIX века петербургская знать «хранит верность» уходящим сословиям и выступающим для них последними бастионами странам, – впрочем, подобно им и сама расслаивается на

консервативный мейнстрим и лоялистскую фронду, повестка дня которой устареваает не менее стремительно.

Парадоксальным образом это обстоятельство имело и положительное следствие: так, русская культура XIX – начала XX вв, которая в значительной мере также зародилась в недрах землевладельческой знати, появилась не столько в качестве национального феномена, сколько непосредственно в лоне европейской и практически сразу стала одним из ее великих столпов. Справедливо предположить, что языковая и культурная версатильность создателей общеупотребительного литературного русского языка послужила развитию пластичной языковой формы в направлении совместимости объемных понятий и смыслов с контекстом европейского модерна. Выгодоприобретателем эффекта «отсутствия языкового барьера» стала и русская культура советского и постсоветского периодов, которая – в отличие от большинства других отраслей жизнедеятельности – в глобальном контексте не страдала от «клейма» провинциальности, вторичности. Тем не менее, этот феномен, во многом характерный также для русской науки, нельзя рассматривать в качестве аргумента в пользу заимствования, догоняющего развития, – напротив, он скорее служит примером выхода за заданные лидерами рамки, без арьергардного копирования. Всемирное признание значительного корпуса достижений выступает важным обстоятельством, которое во все времена наделяет русскую интеллигенцию правом голоса по всем существенным проблемам актуальной социальной повестки дня. В то же время, попытки сделать социальные и институциональные образцы совместимыми с представлениями европейского модерна можно считать скорее неудачными, поскольку в силу естественных причин они не могли обрести опору в виде адекватных им способа производства и социально-классовой структуры населения.

В этой связи показательно, что одним из уроков Отечественной войны 1812 года стала весьма разноречивая реакция крестьян в западных губерниях на наполеоновскую интервенцию, – некоторым она представлялась сулящей долгожданное решение земельного вопроса. По-видимому именно эффект закрытого доступа на протяжении всей эпохи модерна служит причиной экзистенциального отвращения к реформации любого толка и ее авторам, а также подозрительности к образованному слою: преобразования лишь подчеркивают право «оккупанта» на беспредельное одностороннее насилие по отношению к «оккупированным» и заведомо не рассматриваются как раскрепощение, не пользуются доверием. Эта формула «давала трещину» лишь в начале и в конце XX века – в ходе русских революций и при распаде советского строя, когда на сравнительно непродолжительный период наметились традиционные для эпохи модерна «национальные» модернизационные коалиции образованного слоя и нижних сословий, обеспечившие активацию социальных лифтов, но вновь сменившиеся традиционными «антинациональными» по причине дефекта индустриального развития. В обоих упомянутых случаях изменение формулы являлось следствием урбанизации тектонических масштабов, которая каждый раз приводила в городах к зарождению связки разночинной интеллигенции – при большей или меньшей симпатии столичной – с провинциальными архаическими слоями, как правило, из деревень. Однако для прежних представителей образованного слоя и силовой корпорации, привыкших к традиционной системе элитных отношений, это в обоих случаях стало предвестником драматического разрушения их сословий, более того, массовой эмиграции в обоих стратах. Эти объективные процессы каждый раз оборачивались невосполнимыми утратами для уклада жизни Петербурга – в европейском контексте одной из крупнейших столиц, но в русском – во многом «витринного» феномена, выпестованного в условиях ограниченного доступа.

Это показательно и в свете послереволюционного переноса столицы в Москву: если само решение имело тактическую природу, то за успешным закреплением этого статуса можно усмотреть и веские объективные причины. Так, к их числу можно отнести восприимчивость купеческого, испытавшего старообрядческое влияние города к вертикальной мобильности и постоянному самообновлению, – по итогам XX века это вылилось в возникновение посреди «разреженной» страны большой московской агломерации с одним из наиболее высоких в мире показателей плотности населения. За счет абсорбции масс выходцев из малоземельного крестьянства город обрел признаки, типичные для неевропейских

мегаполисов с «синтетическими» социально-поведенческими характеристиками морских кочевников, включая эффект длинной дистанции, – это объясняется уникальной глубиной рынка и возможностями для экстенсивного роста, что характерно для аутентичной среды бытования указанного антропологического вида. Показательно, что если отток из страны классической, прежде всего, петербургской интеллигенции в 20-е гг XX века принял лавинообразный характер, то Москва в этот период, наряду с аналогичной тенденцией, испытывала и заметный обратный процесс, притом в первую очередь не в связи со сменой статуса, а по причине роли одной из мировых столиц авангарда. В этой связи, «заикленность» на недопущении «великих потрясений» – пусть и ценой провинциализации – стала экзистенциальным мотивом петербургской элиты, актуальным до нашего времени. Не менее показательно, что доминирующая роль вновь перешла к петербургской элите в постсоветский период, – когда хозяйствование вновь обратилось к доиндустриальной матрице, что обусловило заморозку социальных лифтов.

Оборотной стороной различной абсорбирующей способности, вместе с тем, является различный этико-эстетический и социальный профиль обобщенного человека, который в двух столицах выступает ролевой моделью успеха. Так, для Москвы характерна ориентация на вкусы «усредненного» индивида со значительными остаточными архаическими установками, при этом «нахватавшегося» внешних, поверхностных признаков модернистского поведенческого типа и рассматривающего манифестацию таковых в качестве маркера принадлежности к элитному сословию, – это дает себя знать частой ситуативной сменой «личины», подменой ценностей актуальным нарративом. Напротив, в Петербурге для различных страт по-прежнему характерна ориентация на высшие достижения и аутентичность – соответственно модернистского или архаического толка. Отсюда парадоксальным образом в первом случае более или менее всеобщая открытость «на входе» сочетается с последующим отбором содержательно посредственных, но внешне броских образцов и их носителей, – во втором же, напротив, ограниченный доступ «на входе» имеет продолжением отбор лучших с точки зрения целей конкретного сообщества. В частности, в этой особенности отражается тяготение к различным методам роста хозяйствующего субъекта – соответственно посредством слияний и поглощений, как это свойственно морским кочевникам, и органическим способом, предпочтительным для городского архетипа. Следует оговориться, однако, что в условиях модели «отрицательной суммы», сопровождающей ресурсно-силовое хозяйствование, рост отдельного хозяйствующего субъекта любым из методов приводит к потере общественной стоимости. По меньшей мере, такая потеря выступает как относительная, по сравнению с потенциалом стоимости – даже если наблюдается рост таковой в абсолютном выражении, например, за счет прироста физических объемов располагаемых ресурсов или их цен. В этой связи, оба метода роста следует трактовать в соответствии с поведенческим типом архаических общностей – соответственно длинной и короткой дистанции. Так, первая выступает конгломератом малых общностей, «кормовых» корпораций, и легко интегрирует в себя новые, – тем самым она расширяет «кормовые уголья», а за счет вторичного обращения рент от возрастающих источников открыта приобретать активы и возможности, способствующие дальнейшей консолидации и монетизации ресурсной базы. В то же время, вторая сама является малой общностью и предпочитает обходиться своими силами – в сущности невольничьими – соответственно не склонна переплачивать за активы, выращенные за периметром собственной корпорации, и ведет за них лишь силовую борьбу до полной аннигиляции. Тем самым первая по умолчанию прежде всего сконцентрирована на поиске способов расширения, вторая же – на изыскании внутренних резервов, будь то путем оптимизации затрат или повышения внутренней автономности, замкнутого освоения ресурсов, которые члены общности направляют на потребление (см. ранее). Отсюда в Москве модус деловых отношений можно охарактеризовать как непрерывное построение сравнительно слабых, ситуативных отношений для последующего краткосрочного взаимовыгодного обмена ресурсными и силовыми возможностями (это выдает «киевскую» линию исторической преемственности).

Напротив, в Петербурге хозяйственной и политической субъектностью обладают лишь чрезвычайно устойчивые, тесные группы, внутренне интегрированные до степени семьи – спаянные кровным родством или историей совместного становления. Для возникновения такого рода связей делового сотрудничества недостаточно, они опираются на многолетний опыт постоянного, «круглосуточного» (в известном смысле «казарменного») пребывания в одном социальном и физическом пространстве, – это заставляет индивида проявить себя всесторонне, не позволяет укрыть от внимания окружающих какие-либо существенные личные качества или обстоятельства своей жизни. В частности, таким связующим фактором часто выступает опыт совместного противостояния силовым вызовам или длительный творческий поиск, в ходе которого утрачиваются границы между личным и рабочим временем.

Хотя в элитном «тандеме» превосходящей стороной исторически очевидным образом выступает силовая корпорация, тем не менее, ответственность за развитие лежит на образованном слое, что выступает его «охранной грамотой». Этот модус вынужденного сосуществования, сформировавшийся в имперском Петербурге, впоследствии стал более или менее типичным для всей России, хотя в каждом городе или регионе преломился через призму местных архетипических особенностей. Городской и степной архетипы имеют существенную общую черту – склонность к качественно (ценностно), а не количественно (ценой, зафиксированной в равноправном договоре, как у морского архетипа, предпринимателя) обусловленному принятию решений, но их система ценностей и поведенческие маркеры – соответственно знание и сила – не просто различны, а излучают взаимоисключающие сигналы о социальной норме. Городской метаархетип – в отличие от морского кочевника – может уживаться с самочинной силовой корпорацией, поскольку не претендует на распоряжение ресурсами в критическом объеме и не требует решающего голоса при принятии решений, тем более в вопросах применения силы. В расчете на высокую ценность и учет собственного экспертного мнения он готов довольствоваться совещательным голосом: в парадигме прусского прототипа силовой аппарат также принадлежит городскому архетипу и прежде всего выполняет свои профессиональные обязанности, при этом несменяемость монарха вполне укладывается в цеховые традиции передачи рода занятий по наследству. Таким образом, установки городского архетипа лишь незначительно ограничивают «суверенитет произвола», на деле же представляют собой широкое поле для злоупотреблений со стороны силовой корпорации степных кочевников, втягивающей его в «соучастие» в собственных деяниях.

Традиция подменять представительство различного рода совещательными «довесками», при этом с весьма ограниченным учетом экспертного мнения, является следствием сложившейся в имперский период элитной коалиции силовой корпорации с образованным слоем и широко применяется по сей день. Такие «довески» могут существовать при полномочных органах власти либо даже выступать заместителями обесцененных, превращенных в симулякры ресурсно-силовой вертикали ветвей власти. Этим способом – равно как и нарочитой отзывчивостью к различного рода личным, бытовым просьбам – силовая корпорация обеспечивает иллюзию короткой дистанции («близость с интеллигенцией»), которая городскому архетипу служит механизмом обратной связи, заменой системе сдержек и противовесов, органичной для морского кочевника.

Склонность стандартизировать процессы для эффективного производства ценности и сопутствующее распределение опричина использует для придания процедурной формы изъятию субъектности и стоимости у всех, кроме обладателя силы, а примат общественного блага – для культивации идеологием, обосновывающих собственную сакральность, добродетельность несменяемости и беспредельности власти. Если для прусского прототипа иерархия связана с распределением полномочий и ответственности по уровням с целью обеспечить ясность при взаимодействии и распределении, то в рамках сословной матрицы она преобразуется в узаконенное одностороннее, предписательное «взаимодействие», не знающее пределов полномочий у субъекта силы и пределов ответственности у ее объекта, т.е. полное отсутствие ясности при распределении.

Напряженность в отношениях между двумя элитными сословиями закрепила за городом репутацию «протестной столицы», сохранившуюся и во все постимперские периоды. Однако во многом это объясняется отсутствием у образованного слоя материальных ресурсов и навыков для формирования устойчивой альтернативной социальной и хозяйственной среды – в отличие от городов, испытавших сильное влияние старообрядцев. В этой связи, петербургская ветвь русской интеллигенции является модернистской и «западнической», но при этом не республиканской, а монархической и этатистской, аристократической, разделяет патерналистское, неинклюзивное и отчужденно-инородное, отношение силовой корпорации к большинству, рассматривает длинную социальную дистанцию от последнего как норму. Именно интеллигенция традиционно ищет «благосклонности» силовой элиты, последняя же, напротив, в силу ценностной несовместимости идет на это крайне неохотно и лишь под влиянием витальных вызовов собственному существованию. Поэтому нормативно силовая бюрократия отдает предпочтение коалиции с нижними слоями, задачей которой является навязать последним добродетельность социального застоя и отказа от взаимодействия с образованным сословием в обмен на гарантии при распределении. В этой связи, как и прочие изолированные общности, силовая элита ожидает безусловной присяги на верность, терпеливой апелляции к ее милости независимо от того, как долго безуспешны попытки соискателя («не выносить сор из избы»), не приемлет и намека на попытки получить желаемое альтернативным путем. По этой причине в целом образованному сословию привит рефлекс корпоративной лояльности, который дает трещину лишь в моменты, когда какие-либо социальные или миграционные лифты существенным образом меняют сам социальный и демографический портрет города, выводя социальную матрицу из состояния равновесия (см. далее) и ставя ее перед адаптационными вызовами, которым система закрытого доступа по определению не в состоянии дать ответ.

Предложение просвещенной части общества на протяжении большей части имперского периода, а затем и периода «советской империи», сводится к сословному пособию в обмен на социальный эскапизм – например, на государственной и военной службе. В этой связи примечательно, что военная и гражданская ветви бюрократии – во многом также по прусскому образцу – скорее тяготели к образованному сословию и были ориентированы на внешнюю экспансию (своеобразная «гримаса» тяги к передовым образцам извне), в то время как полицейский аппарат всегда сфокусирован на внутреннем контроле и враждебен указанному сословию. Более того, именно армия традиционно выступала практически единственным доступным для нижних сословий социальным лифтом и фасилитатором межсословной коммуникации. Это обстоятельство резонирует с тем, что сам характер военной службы в индустриальную эпоху предполагает частое «соприкосновение» с внешним миром. В этой связи, именно армия традиционно выступает анклавом вольнодумства, «инкубатором» идеологии открытого доступа, революционных настроений. Однако справедливо и то, что вооруженные силы первыми испытывают дисфункцию и разрушение, как только нижние сословия получают «предложение» о более устойчивых, горизонтальных коалициях, исключающих стереотипно ассоциирующиеся с закрытым доступом элитные слои, как это произошло на излете первой мировой войны.

Историческое сосуществование антагонистических архетипических общностей привело к зарождению здесь и разрастанию до невиданных масштабов тайной полиции и политического сыска. По методам и разветвленности это значительно более изощренный аппарат подавления, нежели характерная для «ордынской» Московии опричнина, основанная на грубой силе и образе действий, являющемся практически буквальной архетипической репликой кочевого грабительского набега. Первоначально эта разновидность силовой корпорации появилась в качестве инструмента борьбы с вольнодумством образованного слоя (как «неизбежного зла»), а также вертикали «прямого подчинения», альтернативной по отношению к административной и военной. Однако в наше время она выступает прежде всего в качестве самостоятельного, более того, наиболее могущественного с «кормовой» точки зрения центра силы, внутренняя структура которого, в зависимости от состояния «кормовой» базы, периодами бывает монолитной или фрагментированной, т.е. воспроизводит текущее состояние собственно экономики и государства, имеющего

феодалную природу. Это относится ко всему силовому аппарату имперского образца, который, будучи изначально задуман как реплика прусской военно-полицейской организации, в рамках «ордынской» вертикали превратился в машину внутренней и внешней экстрактивной экспансии.

В этой связи, городская среда представляет собой достаточно уникальный архетипический феномен, невзирая на то, что в той или иной концентрации городской архетип сосуществует со степным повсеместно в России – особенно в элитных кругах, где представлена силовая корпорация степных кочевников. Нигде в другом месте два крайних, взаимоисключающих поведенческих типа, для обоих из которых характерен эффект короткой дистанции, не соприкасаются в столь плотной локации без всякого «смягчающего сцепление» промежуточного слоя. Во многих других городах России роль последнего выполняют хотя и весьма специфические, но различимые ростки коммивояжерской наследственности, с чертами дефективного морского архетипа, образующие комфортное соединение с образованной средой. В городах севера эти ростки имеют новгородский генезис, в Москве и крупных городах на Волге – старообрядческий, при этом на Урале и в Зауралье, где влияние этики и социальной организации староверов особенно велико, проникновение «степной матрицы» исторически довольно слабо и скорее «инородно», – во всяком случае оно не воспринимается как норма, а отторгается. Так, в Москве даже силовая среда имеет сходства с условно «киевским» архетипом, характерным для современной украинской элиты в экстремальной форме, и потенциально тяготеет к полицентричности, в особенности при обмелении «кормовой базы» – декомпозиции на ресурсно-силовые «феоды», всегда открытые для новых выгодных горизонтальных «сделок», предметом которых выступают доступные на месте «угодья», материальные и административные. Это напоминает о составе московской архетипической композиции, которая представляет наиболее массовые для России антропологические виды и тем самым делает город имманентным стране – в противоположность Петербургу, где тон задают наименее многочисленные из таких видов, что делает город трансцендентным стране. Так, из числа степных кочевников для Москвы типичны урбанизированные выходцы из подавляемых, атомизированных сословий, в процессе диффузии с которыми в XX веке потомки староверов утратили преимущество длинного временного горизонта и короткой дистанции, установку на развитие институтов общественного блага – зато сохранили и приумножили склонность к конкурентному поведению. В этой связи, вместо полярной оппозиции архаической и модернистской элит, здесь присутствуют «субархаический» и «субмодернистский» экстракты, которые вполне комфортно сосуществуют благодаря эффекту длинной дистанции, свойственному мегаполисам во всем мире, – и даже вступают в кооперацию, диффундируют на почве универсальной для морских кочевников мотивации материальной выгоды. В противоположность этому, петербургская силовая среда тяготеет к моноцентричности, ее экстрактивное действие обращено на «кормовые» источники вовне, а режим доступа членов корпорации к благам воспроизводит архетип «высочайшего пожалования». Предметом борьбы за доступ к ресурсам здесь, как правило, выступает не собственно контроль над «кормовыми» вотчинами, а место в должностной иерархии. В целом, для всех слоев основным мериллом успеха выступает именно общественное положение – согласно критериям конкретной социальной страты, – а не уровень достатка.

Примечательно в этой связи, что моноцентрическую структуру и «придворный» генезис в Санкт-Петербурге имеют не только силовые институты, но и ресурсоемкие институты знания – культурные, научные и образовательные учреждения. Это весьма отличается от московских аналогов, многие из которых исторически являлись частными проектами – прежде всего, предпринимателей-старообрядцев. При этом до сих пор редкое начинание, будь то государственное или частное, не вызывает в Москве – с ее укорененным купеческим духом – появление альтернативного, конкурирующего. Петербургский тип тем самым отчетливо напоминает континентально-европейский эпохи Просвещения, московский же – американский и европейский эпохи Ренессанса.

Также интересно, что консолидация силовой вертикали в общероссийском масштабе, объективная в условиях рентного изобилия 2000-х гг, произошла под эгидой именно петербургской силовой корпорации –

органически монолитной. Однако не менее примечательно, что в ходе перетока существенной части таковой в Москву, к «кормовым» участкам с иной архетипической природой, эта корпорация приняла привычную для московской среды полицентрическую, конкурентную ресурсно-силовую конфигурацию и ретранслировала ее обратно на сам город. Вместе с тем, на протяжении всего постсоветского периода отношения внутри российского премиального класса несут на себе мощный отпечаток и даже во многом выступают проекцией отношений внутри петербургской элиты – в частности, между ресурсно-силовой и просвещенной частями таковой, а также балансирующей между ними «сервисной» прослойкой (т.н. «системные либералы»). Чаще всего акторы, не имеющие петербургского генезиса, примыкают к одной из сторон в своих симпатиях – при этом не всегда отдавая себе отчет, что выступают второстепенными, дистанцированными участниками отношений внутри общности короткой дистанции, различные части которой всерьез воспринимают в качестве своих контрагентов лишь друг друга.

В обыденной жизни непосредственное и постоянное соприкосновение двух антагонистических архетипов имеет следствием модус отношений, характеризуемый низкой договороспособностью, бескомпромиссностью в выяснении принципиальной позиции, даже если это предполагает причинение ущерба другому, более того, ценой ущерба для себя (своеобразный альтруизм), накопление предъявляемых друг другу «счетов» на протяжении длительного времени. В любом противоборстве социум ожидает от индивида недвусмысленной ассоциации с одним из лагерей, что часто приводит к самоустранению индивида из социальных процессов, «внутренней эмиграции», в конечном итоге – трудноразличимому, но длительному накоплению протестного потенциала, по мощности взрывного. Такой модус также сильно контрастирует с условно «московским», характерным для купеческих городов Центральной России и Поволжья, – релятивистским, компромиссным, допускающим «полутона», оперирующим понятием «цены вопроса». Конфликтный социальный контекст приводит к склонности аномальным образом исказить информацию и ожидать такого искажения от контрагента, формирует среду экстремальной информационной асимметрии. Это разрушает либо локализует до небольших очагов область доверия и свободу горизонтальной коммуникации, которая представляет собой базовый модус функционирования модернистского сообщества, – соответственно выступает решающим препятствием для реализации потенциала города как крупной университетской экосистемы мирового уровня. Ценностная принципиальность (по крайней мере, стереотипная) здесь соседствует с нерешительностью, склонностью к рефлексии, когда речь идет о ближайшей цели или конкретном решении, что характерно не для городского архетипа, а для степного кочевника. На фоне такой «неуживчивой» архетипической композиции, «степная» склонность большинства уступать решение и ответственность патримониальному субъекту здесь, в условиях сильного противодействия городского архетипа, приводит к постоянному затягиванию решений со стороны такого субъекта, более того, частой ревизии уже принятого решения. Управленческая культура исходит из того, что любое решение приводит к выгоде одного стейкхолдера за счет другого, т.е. принципа «нулевой суммы», а создание новой ценности, из которой всеми сторонами извлекается общая выгода, в качестве мотива в расчет не принимается. Отсюда уверенность, что проигрывающая сторона приложит достаточные усилия для того, обесценить выигрыш выгодоприобретателя, – так что решение представляется заведомым злом, на которое можно пойти лишь перед лицом обстоятельств непреодолимой силы. Парадоксальным образом чаще всего можно наблюдать, как итоговое решение, принимаемое после детального, выматывающего сценарного анализа, представляет собой компиляцию отрицательных черт всех вариантов – в логике разделения ущерба, а не выгоды – и утрачивает первоначальный смысл.

Благодаря этим архетипическим особенностям, в моменты кульминационных испытаний город являет беспримерные образцы стоицизма всемирно-исторического и даже легендарного масштаба, каковым несомненно является ленинградская блокада. Последняя выступает ключевым и актуальным маркером коллективного сознания, более того, по-видимому ее можно считать тем социальным явлением, которое лежит в основе зарождения в имперском городе республиканского запроса – до тех пор не являвшего себя столь эксплицитно. В этой связи показательно, что одно из немногих резонансных репрессивных дел послевоенного периода имело целью отрыв от города и уничтожение той части местной власти, которая

пережила блокаду вместе с населением. Это дело имело целью устранить последствия достаточно уникального феномена в недрах тоталитарного строя – разрушения «границы трансцендентности», которая характерна для архетипа отношений оккупанта с оккупированным, будь то «ордынского» или имперского.

С другой стороны, показательно, что именно Петербург традиционно является колыбелью революций в России, и, хотя в значительной мере это обусловлено его столичным статусом в соответствующий исторический период, склонность к игнорированию чужих интересов и, в конечном итоге, обострению противоречий, а не их уврачеванию, создает питательную среду для радикального разрешения социальных конфликтов. При этом социум полагает формальные институты основой добродетельной общественной организации и традиционно уделяет значительные творческие силы их устройству на всех уровнях – от учреждения любого профиля до публичного. Однако содержательно они выхолащиваются, вместо гибкого механизма согласования разноречивых интересов принимают вид враждебной многообразию сословно-иерархической лестницы, позволяющей лишь «подавать прошения на высочайшее имя» (на каждом уровне «высочайшим» выступает соответствующий ресурсно-силовой распорядитель), препятствующей выработке органичных и одновременно эффективных решений, тем более их реализации. Архетипической моделью петербургского протеста можно считать восстание декабристов – элитистский тип фронды, имеющей целью заместить «злонамеренных поводырей благонамеренными», при этом не допускающий какой бы то ни было субъектности масс или их представительства и потому обреченный.

Вместе с тем, опыт перетока административной, силовой и хозяйственной бюрократии в Москву в 1990 – 2000-е гг, ни один из этапов которого – с точки зрения результатов для страны в целом – сам по себе нельзя признать удачным, тем не менее, наводит на мысль, что петербургский архетип имеет склонность к упорядочению, институционализации «хаоса» и крайне эффективен в алгоритмизации процессов в крупных, зрелых, устоявшихся системах. Однако реализация потенциала этого архетипа требует соседства с носителями иных установок – источниками «хаоса», т.е. разнообразных форм жизнедеятельности, не обязательно наследующих традиции или даже отрицающих таковую. При этом новому петербургский архетип в своей неатомизированной части скорее враждебен, воспринимает таковое как «посягательство на преемственность»: возможно, догоняющее развитие, воспроизводство внешнего прототипа заложены самим генезисом города. Отсюда склонность постоянно решать задачи «вчерашнего дня» или прибегать к апробированным, но устаревшим решениям, схоластически проецировать прошлое на будущее («так будет, потому что так было»). Это размывает границу между стратегическим и тактическим поведением: план с длительным сроком реализации, основанный на принципе заимствования, обречен на безжизненность, поэтому фактические решения все равно окажутся ситуативными. Свойственную городскому архетипу склонность к постоянному развитию, обновлению знаний удастся сохранить лишь в средах, по существу изъятых из локального социального контекста и замкнутых в собственном кругу – разделяющем не только одни ценности, но и одни интересы. Чаще всего это относится к научной и творческой среде, однако игнорировать местную социальную матрицу могут себе позволить лишь те ее элементы, материальное содержание которых замыкается на источники, не связанные с городом, – будь то внедряющие коммерческие организации или доноры некоммерческого финансирования. Эти анклавы наиболее открыты внешнему архетипическому влиянию, кооптации в свои ряды на основе меритократических критериев или в порядке преемственности, – в то время как в целом для городской среды скорее характерна норма закрытого доступа, длинной дистанции по внешнему периметру. Поскольку поле «исключений из правила» имеет естественную склонность к сужению, жизненно важен постоянный приток человеческих ресурсов извне, альтернативой которому является, напротив, отток как инновативных, так и просто высококвалифицированных индивидов, при этом за пределами города весьма востребованных. Они замещаются приезжими носителями архаических установок, которые в такой архетипически сложной среде усваивают прежде всего «язык» бюрократической и силовой корпорации.

Поскольку Петербург выступает историческим «донором» всего русского городского архетипа, именно интеллигенция служит ключевым звеном, обеспечивающим русскую идентичность города, – актуальная общероссийская повестка дня этого слоя воспринимается здесь как часть собственной, местной, стереотипно имеющей безусловный приоритет. Будучи общностью короткой дистанции, городской архетип Петербурга передал это свойство также производной от него интеллигенции, которая в том или ином виде сохранила равнение на материнскую общность. Однако образованные сообщества в других городах также нередко несут на себе и иные отпечатки прототипа (см. далее), к числу которых, в частности, можно отнести догматизм, провинциальность и вторичность, скепсис в отношении творческих способностей «автохтонных» русских, склонность к выдавливанию инноваций, зачастую с последующим импортом их результатов после

апробации вовне. Однако эти свойства резко контрастируют с промысловым архетипом старообрядцев, передавшимся также образованной среде регионов исторического доминирования последних, – например, этот архетипический слой является одним из крупнейших в Москве и во многом задает поведенческий «тон». Этот архетип не просто толерантен к многообразию форм жизнедеятельности, но и склонен «умножать пестроту», не только усваивает инновации извне, но и выдвигает таковые из «хтонических глубин», является «прирожденным стартапером», тяготеет к уникальным решениям, не отличается следованием нормативному регламенту. Как показывает опыт, такой ролевой контраст Москвы и Петербурга, который одновременно выступает основой их комплементарности, справедлив в отношении любой хозяйственной активности – будь то вокруг создания ценности или ресурсно-силового присвоения стоимости.

В этом же ряду противоречивых черт – сочетание высокого, классического академического стандарта с некоторой шаблонностью, схоластичностью прикладного мышления. Ее можно объяснить еще одним следствием отсутствия морского архетипа – дефицитом постоянного обмена образцами и достижениями с другими передовыми очагами городских цивилизаций глобального значения. В дореволюционный период этот дефект частично смягчался столичным статусом города, который обеспечивал высокую интенсивность внешней коммуникации, а также приток человеческих ресурсов иного архетипического профиля. В этой связи, утрата такого статуса, наряду с чередой исторических катаклизмов первой половины XX века, имела для городского уклада во многом разрушительные последствия – в отличие от Москвы, где в «нестолчный» период предпринимательский дух компенсировал издержки провинциальности. В результате склонность городского архетипа промышленять только предметом непосредственной, доскональной компетенции передается силовой корпорации через «узкое горлышко» ее ограниченной способности контролировать сложный труд, при этом абсолютного приоритета безраздельного господства. Угрозой такому господству видится отличительный вклад человека, делегирование ему принятия решений, – т.е. модус управления, органичный для чуждых в городской среде морских кочевников, которые полагаются на профессиональные компетенции, а сами фокусируются лишь на продвижении достижений на рынке, монетизации продукта. В свою очередь, это сужает поле инновационной активности городского архетипа, достоинства которого – не без поддержки силовой корпорации – в Петербурге чаще проявляются либо в создании отвлеченного, созерцательного знания с обращенным в прошлое, «летописным» акцентом, либо в глубокой детализации чужих прорывных изделий и разработок. Несомненно, для уникального потенциала города как одного из крупнейших европейских центров человеческого капитала это явление губительно, при этом оно непосредственно иллюстрирует отрицательный синергетический эффект архетипической композиции на базе двух элитных видов.

Примечательно, что дефект морского архетипа, отвечающего также за взаимопроникновение знаний, со временем стал приводить здесь к некоторому снижению эффективности уникального человеческого капитала по сравнению с потенциалом, некоторой междисциплинарной «девственности» различных отраслей творческой деятельности. Более того, ввиду изначального рентаизвлекающего положения, образованные сообщества в Петербурге не имели необходимости и опыта кооперации для извлечения стоимости, поэтому стыковка различных дисциплин не происходила и по аналогии с европейскими городами – за счет высокой концентрации и плотности связей. Кроме того, здесь отсутствует традиция ассоциировать продукт интеллектуальной деятельности с извлечением стоимости, город представляет собой музейно-просветительский проект беспрецедентных в мировой истории масштабов – площадку для накопления, анализа и распространения академических сведений, в особенности о прошлом различных дисциплин и цивилизаций. В этом еще один фундаментальный контраст петербургского архетипа с германским прототипом: в силу географического положения, любые попытки установления доминирования на море или контроля над ресурсами, которые могли бы служить объектами экстрактивного воздействия, в конечном историческом итоге приводили к национальным трагедиям как для окружающих народов, так и для самих немцев. В этой связи, в Германии непрерывное совершенствование компетенций во все времена служило базальтернативной основой накопления капитала и стереотипно ассоциируется с благосостоянием. В России же, в отсутствие естественных стимулов к созданию потребительской ценности с целью извлечения стоимости, даже передавшаяся через Петербург немецкая традиция специализированных высших

ремесленно-технических училищ не поспособствовала фронтальному развитию промышленности, при этом имела следствием обогащение мировой технической культуры и мысли рядом выдающихся инженерных изобретений.

Вероятно, два базовых архетипа роднит общий для города, усвоенный на неосознанном уровне стереотип развития как результата воплощения грандиозного, продуманного до мелочей единого замысла – в противоположность представлению о развитии как результате творчества масс, продиктованного объективным императивом. В отсутствие готовности к гибкому реагированию существенное отклонение фактических достижений от плановых индикаторов, а тем более реакции независимого участника плана от ожидаемой закономерности приводит к переходу в режим охранения «достояния» и самоизоляции. Отсюда весьма маргинальным выступает модус органического развития – постоянных изменений для накопления нового качества, – напротив, континуум времени разделен на затяжные полосы неизменности и одномоментные скачки, объясняемые некоторой субъективной волей. В этой связи, сама история здесь рисуется как последовательность деяний правителей – добродетельных или злонамеренных, а разногласия касаются лишь отнесения таких правителей и деяний к указанным категориям. Вероятно, склонностью видеть властную волю за любым явлением, вплоть до природного, можно объяснить необычно устойчивое и глубокое для модернистских сообществ влияние церкви, притом именно официальной, никонианской. В то же время общество как совокупность многообразия интересов и горизонтальных связей полагается музеефицированной, а не внутренне динамичной сущностью, объектом, а не субъектом. Этот стереотип имеет следствием отторжение спонтанности в пользу планомерности, самостоятельного действия в пользу одобренного свыше, многообразия интересов в пользу исполнительности, при этом роль даже наиболее квалифицированных индивидов чаще всего ограничивается лишь вдумчивым участием в обсуждении решений вышестоящего лица и качественным исполнением таковых. Легко заметить, что эта совокупность поведенческих особенностей несовместима с характерным для постиндустриального мира модусом распределенного развития, когда таковое является равнодействующей усилий сколь угодно многочисленных субъектов со своими интересами, скоординированных лишь информационной средой – также беспрецедентно открытой. Более того, само понятие догоняющего развития для экономики знаний является оксюмороном, синонимом консервации отставания, а способность изменяться и скорость перемен важнее тщательности планирования таковых. В этой связи, инновативный, динамичный индивид в «заледенелой» среде скорее маргинален и стремится «выскочить» из нее – либо бросая вызов, либо самоустраиваясь. Вероятно, эти особенности делают Петербург, исторически являющийся эксклавом Московии, достаточно органичным источником внешней воли и образцов по отношению к таковой, поскольку ее население склонно самоустраиваться от участия в принятии общественно значимых решений, а правящее сословие рассматривает как трансцендентную и заведомо недружелюбную сущность, избегает встреч с ним, а потому часто мифологизирует ход событий, полагает его результатом «заговора» неких «потусторонних» сил. Трагической ошибкой является считать это приятие признаком соучастия в чаемом общественном укладе, в то время как на деле оно свидетельствует о временном смирении, т.е. неучастии в неизбежном, отчуждении.

Вместе с тем, справедливо также и то, что именно «хождение в народ» интеллигенции сделало возможным судьбоносные для субконтинентального русского этноса «встречи» с крестьянством, урбанистической архаикой (см. далее), общностями старообрядческого генезиса с предпринимательскими наклонностями. С точки зрения социальной трансформации, эти «встречи» заменили русскому этносу нациеобразующий индустриальный уклад и в итоге обеспечили появление весьма различных архетипов образованного человека, востребованность которых в глобальном мире знаний не вызывает сомнений, хотя преимущественно пока за пределами отечественной экономики. В этой связи, в условиях морального и физического обветшания, «инжиниринг» постиндустриального

Петербурга – с учетом того, что город привычен не к органическому, а к сконструированному модусу развития, – также является нациеобразующей ответственностью России в целом. При этом за пределами внимания остается редко выделяемая, но ключевая норма асимметрии информации, которую город воспринял от элитной тайной полиции. Прозрачность информационного общества, способ обращения информации, который предполагает ее постоянную и даже немедленную верификацию реципиентами, в т.ч. прямо или косвенно друг у друга, здесь может явиться фактором, подрывающим привычный социальный и хозяйственный оборот. Примечательно, что Петербург стал своего рода «родиной» русских социальных сетей, которые можно считать важнейшей контрэлитной инфраструктурой страны в целом, – будучи стихийным явлением, они актуализируют проблему неадекватности различных ветвей элиты вызовам времени. Тем самым и в этом аспекте город продолжает выступать микромоделью наиболее острых социальных противоречий, характерных для России в целом, непримиримых отношений крайних социальных групп, выступающих их носителями повсеместно, но представленных в меньшей концентрации и аутентичности, – одновременно сохраняя за собой привилегию колыбели революционных способов разрешения таких противоречий.

Скорее всего, в рамках экономики знаний наиболее органичным позиционированием Петербурга является роль инкубатора разносторонней, гармонично развитой личности – прежде всего, на ранней стадии становления либо в отдельные периоды жизни постиндустриального человека, что позволяет конвертировать уникальную ценность города в основу экономической самодостаточности. В этой связи примечателен феномен одной из наиболее выдающихся в истории мировой науки ленинградской физико-технической школы, к которой, в частности, восходит весомая группа нобелевских лауреатов отечественного происхождения. Эта школа базировалась преимущественно на приезжих кадрах, т.е., предположительно, индивидах с иными архетипическими свойствами, которые провели здесь лишь ограниченный, но крайне важный этап своей жизнедеятельности – период научного становления – и впоследствии достигли выдающихся результатов в иных научных центрах. В этой связи показательно, как образованные индивиды других архетипов «считывают» эту городскую среду в качестве типичного европейского университетского уклада, настраиваются на соответствующий модус поведения и взаимодействия – с углублением собственной специализации и тесными междисциплинарными связями в плотной среде, что является весьма эффективным сочетанием для гармоничного развития фундаментальных и прикладных исследований, творческой деятельности вообще. Как это и свойственно классическому городскому архетипу, материальная мотивация и отношения конкуренции здесь вторичны по сравнению с познанием и кооперацией. Некоторое запустение, по-видимому, наступает при оскудении потока талантов, приезжающих сюда для обучения или на определенный период исследовательской карьеры, – например, вследствие утраты столичного статуса, – когда город оставлен «вариться в собственном соку», наедине со сложной архетипической наследственностью, а человеческий капитал не получает постоянной и разносторонней подпитки. Нечто подобное – хотя в значительно меньших масштабах – можно наблюдать в наше время, например, в городах центральной Италии, являющихся родиной Ренессанса, часть из которых осталась «опустошенной» в смысле человеческого капитала, с довольно примитивной туристической специализацией. В то же время, наиболее успешными остаются города с актуальной университетской и околоуниверситетской экосистемой, притягивающие на время человеческий капитал со всего мира, будь то научного или творческого профиля, такие как Флоренция, Пиза и Болонья.

В то же время, для приезжих из числа безземельных крестьян, особенно из ареала доминирования «степной матрицы», характерно стремительное усвоение и даже опережающее ожесточение «снизу» нравов властно-силовой вертикали. Таким образом, импортированные элементы способствуют поляризации архетипической композиции и в значительной мере осложняют горизонтальную коммуникацию.

7.2 Модель концентрации ресурсов как основа экономического уклада Московии и экзистенциальная общероссийская доминанта

Другая ветвь русской цивилизации оформилась в результате освоения субконтинентальной территории к востоку от Киевской Руси (впоследствии *Московии*, современной Центральной России). Сложно определить, имело ли изначально такое расселение своей целью обособленное от внутриевропейского транзита хозяйствование либо, напротив, прорыв к другим, южным, на этот раз евразийским транзитным путям – участкам Великого Шелкового пути, морским или степным. Во всяком случае, более периферийное волжское транзитное направление также положило начало владимиросудальскому центру русской цивилизации – по аналогии с киевским и псковско-новгородским очагами, хозяйственная модель которых была основана на интеграции в торговые потоки, ориентированные на Византию – крупнейший средневековый транзитный хаб Евразии. В связи с тем, что плодородные земли Евразийской степи были плотно заселены чуждыми племенами, бедный ареал современной Центральной России вполне мог рассматриваться как доступный плацдарм для последующего прорыва на юг. В свете такого предположения неизбежным выглядит столкновение с монгольскими племенами, стремившимися превратить Великий Шелковый путь во внутреннюю магистраль – и в конечном итоге вполне преуспевшими в этом. Более того, обращение московских князей в данников в этом контексте предстает мотивированным не столько интересом к их весьма бедным вотчинам, сколько стремлением, во-первых, обезопасить контроль над крупнейшей транзитной артерией мира, во-вторых, вполне логичным образом прорваться к новгородско-киевскому и прочим ориентированным на Константинополь трансевропейским коридорам. Если корректно предположение, что конечной целью Рюриковичей как династии являлся контроль над евразийским сухопутным (речным) транзитным узлом между севером и югом, западом и востоком, то это объясняет разрыв между левым и правым берегами Днепра впоследствии, когда великие географические открытия Нового времени подорвали привлекательность материковых торговых путей. Однако их судьбы стали расходиться еще раньше, перед лицом монголо-татарского ига, угроза которого потребовала от двух ветвей одного родоплеменного корня – в силу кардинально различающихся природно-географических условий бытования и хозяйствования – принципиально разного реагирования. Практически на три с половиной столетия Киев, с окружающими благоприятными землями, вошел в состав еще одного, западного русского православного государственного образования, архетипически близкого Восточной Европе, а также Новгороду, – Литовской Руси, впоследствии составившей единое целое с Польшей и перенявшей от нее католическое вероисповедание. Однако примечательно, что на протяжении всей русской истории северо-западное и юго-западное направления остаются экзистенциальным фокусом внешнеторговых связей, политической и военной активности, актуальным до нашего времени.

Примечательно, что неустанное стремление преодолеть субконтинентальную изоляцию и получить заметную роль в морской торговле на протяжении Нового времени ожидаемым образом каждый раз наталкивалось на ожесточенное сопротивление и в конечном итоге привело лишь к весьма скромному результату в «закрытых» акваториях Балтийского и Черного морей, проход из которых в открытые воды может быть легко прегражден. Попытки заполучить собственные североморское и средиземноморское побережья уже на подступах – в Финляндии и Польше, на Балканах – оказывались неудачными и порождали конфликты такого масштаба не только на море, но и на суше, что даже для государства с беспощадными экстрактивными практиками – по отношению не только к материальным, но и к человеческим ресурсам – такие издержки были непозволительны и грозили правящему классу утратой собственного положения. Неудобство удаленного базирования и конкуренция за выгодные локации такового осложняют участие в торговле между континентами и экстрактивной заморской колониальной экспансии (типичные способы накопления капитала в эпоху модерна), а для торговли собственными товарами основной проблемой являются запретительные затраты перевозки по сухопутной территории. Но даже сбыт ограниченного перечня товаров, содержащих в цене оправдывающую транспортные издержки премиальную компоненту – ренту, вплоть до появления морского права был сопряжен с непропорциональным бременем обеспечения недискриминационного доступа к морским транспортным артериям.

Провинциализация и субконтинентальная изоляция центрально-русской метрополии в результате великих географических открытий предопределила также восточное направление экспансии в Новое время.

Примечательно, что этот образ действий в целом соответствует характерному для второй по величине субконтинентальной европейской державы – Германии, которая также с экстрактивными целями стремилась обрасти восточными континентальными провинциями. Обе страны пытались таким образом компенсировать конкурентное отставание от морских держав, имевших доступ к дешевым ресурсам колоний и водным путям доставки, преимущественное положение для накопления капитала и стремительного развития машинного производства, военной организации. Тем не менее, глубокая субконтинентальная экспансия не могла дать аналогичные морским завоеваниям выгоды ни с точки зрения стоимости доставки сырья, ни с точки зрения полноценного освоения и приращения емкости рынка – более того, регулярно провоцировала военные столкновения на материке, в конечном итоге усиливая преимущество морских держав.

В любом случае, эта ветвь русской цивилизации сталкивается с неблагоприятными природными условиями и отсутствием круглогодично судоходных рек, которые бы обеспечивали условия для накопления капитала и внутреннюю хозяйственную связность территории. Примечательно, что в советский период истории именно строительство внутриконтинентальных водных каналов становится одним из ключевых проектов индустриальной эпохи, который, однако, не дал сколько-нибудь заметного эффекта относительно масштабов страны в силу запретительной материальной и человеческой цены. Лесистость местности, болотистость почв, низкая урожайность и быстрое истощение земель приводят к появлению т.н. подсечно-огневого земледелия, рассредоточению населения малыми группами на значительной территории, следовательно, фрагментации рынков и их малой глубине, отсутствию гетерогенной среды для создания стоимости. Вне привязки к земле и средствам производства, образуется склонность к кочевому образу жизни, стремления к улучшению среды обитания и условий для накопления закрепляемых трудовых навыков не возникает. Склонность к общинному хозяйству, характерная для всех нордических общностей и обусловленная высокими рисками индивидуального хозяйствования в сложных природных условиях, здесь выливается в добровольный отказ от свободного труда и участия в распределении в обмен на содержание. Каждый раз, когда время приносит новую «коллективную» форму хозяйства – крестьянскую общину, колхозы, кооперативы и пр., – на деле она не предполагает какой бы то ни было субъектности номинального члена коллектива, а означает переход последнего на положение невольника у «хозяина» укрупненного предприятия.

Зависимость урожая от «капризов суровой природы», а не результатов труда, формирует совокупность элементов принципа «нулевой суммы» как основы экономического мышления – восприятие человека как обременения, «пищевого конкурента», а не источника стоимости, богатства как полученного за чужой счет и потому предосудительного (доступного только обладателю силы, «чтобы отнять»), труда как «проклятия», а не источника благосостояния, улучшения навыков как бессмысленного, отличительных особенностей индивида как источника опасности и объекта для подавления. Индивид охвачен экзистенциальным страхом нужды (в пределе голода), которое не покидает его даже в условиях благополучия, последнее воспринимается не как задел на будущее, а как ускользающий «момент», который необходимо провести «ярко». Накопление также предназначено не для инвестирования, а для отложенного потребления, «на черный день», поэтому большей частью «оседает» вне какой-либо системы коллективных сбережений. Восприятие любых экзогенных факторов – природных или социальных – как данности, в той или иной степени характерное для сельского жителя, в таких условиях нарастает. Мистическое мировоззрение берет верх над рациональным, понятие удачи, «фарта», везения (с языческим оттенком) заменяет понятие успеха, появляются экстремально короткий горизонт планирования, склонность к непроизводительному риску и низкая ценность человеческой жизни, отношения к таковой как ресурсу, который допустимо присвоить. Человек способен «довольствоваться малым», настоящим материальным стимулом является небольшой, но гарантированный доход, «сдельный» характер заработка, привязанный к результату, не приводит к росту эффективности из-за неверия в достижимость такого результата, изобилие воспринимается как случайное и временное, поэтому оказывает скорее расхолаживающее действие. Этот набор культурных установок имеет следствием нормальность неосновательного, незаработанного дохода, пренебрежения чужой собственностью, условиями жизни и труда, находит компенсаторное отражение в статусе отдыха (праздника), а не труда (будней), как центрального элемента образа жизни. Установка на планомерное трудовое усилие также подавлено крайне ограниченным отрезком времени года, благоприятного для сельскохозяйственных работ, – эта особенность предопределяет склонность к «авральному», чрезвычайному характеру трудовой

активности с затяжными периодами праздности. Источником дохода легитимно полагается сфера обращения, а не сфера производства. В этих условиях шкала «риск-доходность» сдвигается в крайнее левое или крайнее правое положение, в которых понятие инвестиций с целью извлечения рационально ожидаемой отдачи отсутствует в принципе. Его замещает либо полное неприятие коммерческого риска как такового, либо своего рода «азартная игра» со случайным результатом, вследствие чего ярко выражены спекулятивное (а не инвестиционное или производственное) отношение к финансовым и любым другим рынкам, податливость «пирамидальным» финансовым стратегиям, склонность к криминальному промыслу. Такому типу поведения благоприятствуют также и когнитивные особенности степного кочевника – стремление к «калейдоскопу» ярких, быстро сменяющих друг друга впечатлений, острых ощущений, «стимуляторов» активности.

Крайне низкая плотность населения в решающей степени определяет портрет экономики и образа жизни вообще. К концентрации и монополизации тяготеют практически все без исключения отрасли материального производства и социальных услуг, парето-равновесие достигается при минимальном количестве участников рынка, отсутствует возможность равномерной «доставки» качества жизни по всей территории, ресурсы «стягиваются» к центру и образуют экономическую основу для безотчетности в публичном управлении. Многоквартирные дома и микрорайоны как практически безальтернативная форма жилищной организации, централизованное коммунальное хозяйство в противоположность пользовательскому, распределенному по домохозяйствам, на фоне размеров территории свидетельствуют о тяготении к концентрации проживания. Потенциальная покупательная способность в расчете на единицу территории в сопоставимом выражении крайне низка, что аномально удлиняет транспортное плечо для сбыта продукции, отсутствие внутренних водных транспортных артерий обрекает на использование дорогостоящего сухопутного (в наше время также воздушного) транспорта. Экономическое пространство распадается на отдельные рынки, границы которых не имеют отношения к политическим – страны (для любого исторического периода) или ее провинций, более того, многие из них (Северо-Запад, Восточная Сибирь, Дальний Восток) тяготеют к образованию единых рынков с сопредельными странами. Наиболее крупный из таких фрагментов – в Центральной России – в наше время имеет глубину, сопоставимую с численностью населения Украины или Польши, еще около пяти – небольшой европейской страны, остальные же вовсе не могут считаться сколько-нибудь емкими для гетерогенности. На деле же емкость рынка для продукции европейских стран, напротив, намного выше численности их жителей, границы такового не ограничены политическими ввиду крайне высокой плотности населения и короткого транспортного плеча.

Прямо противоположные характеристики этих же двух параметров определяют невозможность интеграции фрагментов российского экономического пространства конвенциональным путем – через развитие инфраструктуры, по крайней мере, при верифицированных технологиях и экономике транспорта, поскольку низкий спрос по месту назначения не позволяет обеспечить интенсивный межрегиональный товарооборот и оптимальную загрузку транспортной сети. Организация инфраструктуры любых видов – от пассажирской до распределительной – тяготеет к хабовому принципу, когда горизонтальными магистральными артериями могут быть соединены лишь узлы с высокой плотностью населения, любые другие центры коммутируются в национальную сеть опосредованно, подпитываемыми хаб вертикальными фидерными нитями. Это обрекает большую часть населения на существование за рамками современного – для любого исторического периода – стандарта жизни. «Демонстрационной экспериментальной» площадкой стратегии инфраструктурной связности является Норвегия – практически единственная развитая страна, обеспечивающая равномерную «доставку» качества жизни по территории страны в сложных климатических условиях при крайне низкой плотности населения. Значительно больший, чем в России, объем углеводородного рентного дохода в расчете на душу населения позволил обеспечить высокий уровень инвестиций в развитие всех видов транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Однако низкий уровень загрузки таковой и высокие эксплуатационные издержки привели к формированию аномального, даже по европейским меркам, уровня потребительских цен, который демпфируется также аномальной долей заработных плат в ВВП, т.е. фактически за счет диспропорционального перераспределения рентных ресурсов на потребление. При этом, даже для Канады, наиболее близкой России страны по природно-климатическим условиям и плотности населения, характерна концентрация населения вдоль южной границы, в благоприятном ареале проживания.

Отсюда вытекает отсутствие стимулов для совершенствования характеристик продуктов труда, как по качеству, так и по себестоимости. Основной ущерб обоим ключевым параметрам наносится не при производстве, а при доставке, что справедливо и по сей день – вплоть до, скажем, аномальных потерь электроэнергии в сетях. Это снижает мотивацию к инвестициям в производство и обновление технологий, а

в совокупности вносит существенный структурный вклад в формирование высокого фонового уровня цен в экономике. Кроме этого, изначальная ограниченность числа умельцев, грамотных и т.д. (изначальный дефект городского архетипа) при малочисленности поселений и значительности расстояний между ними накладывает специфический отпечаток на область формирования и распространения знаний в виде склонности к креативным, но уникальным, единичным, несистемным, нетиражируемым решениям. Это определяет принципиально отличный от американского (в части архаического архетипа) характер компетенций – сформировавшийся вне разделения труда, одновременно универсальный и мультидисциплинарный, фундаментальный и прикладной, но неглубокий и плохо проработанный в отдельных отраслях применения, зачастую не сфокусированный на удобстве пользователя. Этот устойчивый архетип впоследствии стал причиной дефективности таких звеньев технологической цепочки, как внедрение технологий и эксплуатация, не позволил сформировать навыки серийного производства, в особенности предметов потребления, и постпродажного обслуживания.

Нестабильность жизненного пространства в условиях Московии вызывает экзистенциальную потребность в прорыве к более благоприятным территориям, с выходами к морям и плодородными землями, удовлетворение которой, как на севере, так и на юге, впоследствии становится едва ли не главным критерием оценки успешности исторических периодов. Такие характеристики среды обитания закладывают практику постоянных взаимных «промысловых» набегов соседствующих кочевых племен, как единого, так и различного этногенеза, зарождается наиболее тяжеловесная по своей архаичности степная разновидность кочевого образа жизни. Города скорее выполняют роль крепостей и пунктов стоянки, люди в них часто не оседают, а перемещения и дробление элит между ними ввиду скудости «кормовой базы» происходят с такой скоростью, что социальная среда в таких городах не успевает нарождаться, очаги модернистских сообществ не возникают. Дефект городской формации в досовременную эпоху имеет непосредственное отношение к отстраненности Центральной России от основных торговых потоков константинопольского транзитного хаба. По этой причине она – в отличие от Новгорода и Киева – остается не затронутой европейским Ренессансом. Тяготение к внешнему управлению, в оседлой киево-новгородской традиции имевшее целью привлечение передовых компетенций и закрепление цепочек трансграничной кооперации, в кочевом «ордынско-московском» прочтении придает элите причудливый характер совершенно инородного для населения института.

Это во многом является причиной стереотипной ассоциации смены власти с новой волной «грабежа» и «передела», крайне неохотной склонности к смене правления, готовности предпочесть любую форму наследования реальному обновлению правящих элит. Вместе с тем, население готово беспрекословно принимать любую власть, независимо от ее формальной легитимности, если ее силовой ресурс находится вне конкуренции, поскольку именно этот ресурс служит фактическим источником легитимности. В эту матрицу укладывается традиция межрегиональной ротации элит, практически в равной мере актуальная в дореволюционный, советский и постсоветский периоды. Мера, декларируемая в качестве инструмента ограничения «кормового разгула», срастания с вотчиной, на деле приводит лишь к вящей откровенности в экстрактивном поведении. Экономически оно сливается до степени неразличимости с архетипом «промыслового» кочевого набега, цель которого состоит в изъятии стоимости, без задачи использовать такую в интересах вверенной территории и ее населения.

Кочевой образ жизни накладывает отпечаток на типовую структуру современного российского города, как правило, центроориентированного, не образующего самодостаточных очагов бытования, вырабатывающего образ жизни «в передвижении» для удовлетворения практически любых потребностей и разрывающего ткань горизонтальных связей. В результате, в противоположность полицентрической структуре, способствующей оседлости, не возникает устойчивых сообществ по месту жительства, где человек проводит мало активного времени, атрофируются навыки общественной кооперации. В более общем смысле, эту же роль выполняет режим взаимодействия человека с институтами, призванный «занять» время и внимание индивида громоздкостью, неудобством и бессмысленностью процедур.

Кроме этого, кочевание в самодеятельном режиме (не в форме военного похода), для целей прокорма, является весьма дорогостоящим и небезопасным занятием. В этой связи, «сверхзадача», мечта кочевника – обрести место постоянного проживания и пропитания, что, с одной стороны, роднит его с первыми

американскими поселенцами и имеет следствием позднейшие демонстративные потребительские привычки, стремление к обладанию личной собственностью (собственной, а не съемной квартирой, дачным участком), иногда землей. Однако если у морского кочевника обладание собственностью вызывает модернистское тяготение, запрос на защищающие таковую институты, прививает вкус к предпринимательству, то здесь, в условиях укорененной традиции вождества, придающей собственности условный характер, имущественная состоятельность становится скорее фактором атомизации или даже архаизации, по сравнению со статусом отсутствия таковой. Причиной этого является опасение за свой материальный достаток в условиях высокой силовой «токсичности», который способствует готовности мириться с неформальными, демотивирующими институциональными практиками. Кроме того, наличие собственности обычно вызывает резкое снижение мобильности (как это ни парадоксально для кочевника), поскольку она в принципе ассоциируется с давлением негативных мотиваций. В условиях ограниченной возможности для генерации капитала, кочевание также не становится основой предпринимательского «оппортунизма», «лучшее враг хорошего», стремление к стяжанию личной собственности не означает такового в отношении средств производства, которые нельзя применить для непосредственного пропитания (как земля) или извлечения ренты.

Таким образом, складывается «идеальная» совокупность факторов, делающих практически любой вид массового производства неконкурентоспособным как по цене/себестоимости, в силу запретительных логистических (в позднейшие времена также энергетических) издержек, так и по качеству, в то время как именно такой способ организации производства начинает формировать портрет ведущих европейских экономик, начиная с конца XVII века. На фоне высокой рождаемости, это становится тяжелейшим, на протяжении длительного времени непреодолимым препятствием на пути модернизации масс архаического населения, а практически вся последующая история институционального развития строится вокруг создания социальных практик, призванных компенсировать такие конкурентные недостатки. Наиболее устойчивой из них явилась традиция эксплуатации трудовых ресурсов по стоимости, близкой к нулевой, в рамках института крепостного права, влияние которого прошло через все исторические периоды до нашего времени, в решающей степени определив структуру всех производительных звеньев – от трудового коллектива до региональной структуры экономики. Экономическая сущность института закрепощения, вне зависимости от формального наличия или отсутствия крепостного права, состоит в более или менее равномерном «размазывании» слоя «лишних» людей по всем центрам извлечения стоимости с ограничением, в той или иной форме, свободы таких людей и центров. При этом, стандартный «пакет» содержания человека подневольного труда не предполагает обучения трудовым навыкам для оперирования сложными средствами производства, что консервирует архаическое сознание и подрывает стимулы к обновлению технологий, кроме как в военных целях.

В этом состоит феномен аномального, остающегося непреодоленным, отставания производительности труда от западных аналогов практически в любой отрасли, – как правило, этот показатель формируется не за счет «ядерной» группы (обычно весьма конкурентоспособной, см. далее), а в периферийных компетенциях, избыток которых фактически имеет целью закрепление низкокачественных трудовых ресурсов. Будучи типичным для сельского хозяйства, в дальнейшем, начиная с петровского периода, когда активизировался импорт технологий, явление центр-периферийной занятости также стало осевым для промышленности, экономика которой была обусловлена бесперебойной поставкой закрепленных трудовых ресурсов. Государство в этих условиях выступало заказчиком создания производства и одновременно «трудовым брокером», гарантировавшим такие поставки, что лишало новые хозяйствующие субъекты рыночной независимости. Другим ключевым инструментом формирования экономики промышленных предприятий стала стержневая роль государства как заказчика произведенных товаров с искусственным ценообразованием. На протяжении индустриальной эпохи – не только советского, но и всего имперского периода, – государство с той или иной степенью жесткости прибегает к прямому ограничению частной предпринимательской активности (особенно в сфере промышленности и инфраструктуры), с целью избежать формирования альтернативных центров накопления капитала. Давление естественных факторов

неконкурентоспособности актуально и в наше время, поэтому в несырьевой экономике определяющую роль играют оборонные отрасли промышленности, а также подрядчики заказанных государством и подконтрольными ему компаниями работ (см. далее).

К стереотипу индустриальной эпохи, когда неспособность к мобилизации ресурсов тождественна утрате страной суверенитета, восходит целая галерея фундаментальных фоновых мифов в общественном сознании. Так, децентрализация общественного устройства и управления страной воспринимается как угроза государственности, а требование свобод видится инспирированным извне для целей подрыва ее устоев. Показательно, как поначалу тормозилось развитие жизненно важного для страны железнодорожного транспорта, который, в силу необходимости аллокации существенных ресурсов под профессиональным институциональным управлением, воспринимался как попытка насадить альтернативный центр власти, угроза самодержавию и рассадник вольнодумных практик.

Вплоть до Манифеста о вольности дворянской, право на присвоение продуктов чужого труда легитимируется вполне обычным для феодальной парадигмы способом – причастностью к силовому ресурсу в виде воинской повинности дворян, однако и после этого продолжает существовать в течение целого столетия. По мере вовлечения в военные конфликты эпохи модерна и нарастания потребности в живой силе, военная служба также и для крестьян становится единственной возможностью получить доступ к патримониальному «резервуару» общественной стоимости, а зачастую единственным доступным социальным лифтом. На протяжении XVIII – XIX вв, по мере укрепления хозяйственных связей с окружающим миром и роста вовлеченности в формирование сфер влияния в Европе, у элит растет осознание социальной деструктивности крепостного права и критичности крестьянской реформы. Ее последовательное откладывание на протяжении практически столетия имеет глубинной причиной отсутствие альтернативной экономической модели в условиях неконкурентоспособности массового производства. Любое «решение простого балансового уравнения» приводило лишь к перемещению по экономической системе слоя «лишних» людей, составлявшего большую часть населения, без достаточных возможностей для их производительной абсорбции. В этой связи примечательно, что при подготовке реформы избыточное крестьянское население в малоземельных губерниях было оценено в 25 млн. человек, т.е. составляло до 30% населения империи и подавляющую часть населения центральных регионов. Именно эта – вероятно, крупнейшая по численности на территории современной России – часть населения по ходу своей дальнейшей социальной «навигации» распространяла семена гражданской войны, холодной или горячей, вносила элемент «личного счета» в наиболее «токсичные» процессы и институты – в ходе кристаллизации «лагерного портрета» крестьянской общины, волнений в городах, разложения воюющей армии, «уплотнения» квартир, «красного террора» и коллективизации, репрессий, в лагерной системе, в условиях фактического раскола по отношению к нацистской оккупации и пр. Острота гражданского противостояния спала лишь в результате демографического шока второй мировой войны, затронувшего все стороны этого противостояния.

Непосредственным триггером отмены крепостного права можно считать болезненное поражение в Крымской войне, а земельных реформ Столыпина – в русско-японской войне. Эти поражения стали для России индикаторами неспособности ответить на вызовы индустриальной эпохи, характеризовавшейся высокой военной активностью промышленных держав и чреватой утратой суверенитета для тех, кто не смог присоединиться к их «клубу». При этом, освобождение крестьян с достаточным для самообеспечения участком земли лишало бы рентных источников дворян, не приспособленных к иному способу извлечения стоимости, поэтому даже в 1861 году отмена крепостной зависимости не решила земельный вопрос. В конечном итоге реформа попросту избавила праздную землевладельческую знать, в основном проживавшую в крупных городах и редко посещавшую собственные имения, от бремени управления хозяйством и содержания крестьянских душ. При этом в качестве основного источника дохода реализация сельскохозяйственной продукции уступила место арендной плате за землю. Это

послужило практически полной утрате этой, наиболее многочисленной, частью элиты обратной связи с населением и выступило роковым фактором в развитии революционных событий в начале XX века. Как известно, на фоне небывалой скорости и масштабов индустриальной урбанизации, активизации военных конфликтов эти процессы охватили весь развитый на тот момент мир, однако именно в России объективные социальные противоречия не нашли разрешения в рамках эволюционной колеи, путем пересмотра общественного договора. Примечательно, что в хозяйственном поведении элиты современной России легко узнать эти черты – стремление извлекать гарантированную ренту «на входе» и перекладывать на чужие плечи риски управления добавленной стоимостью «на выходе», тем самым превращая самостоятельные хозяйствующие субъекты в невольников экономическими методами, отсутствие обратной связи.

Даже в США, располагающих беспрецедентно благоприятными естественными условиями для генерации капитала и развития промышленности (см. ранее), искоренение рабства в аналогичный исторический период сопровождалось гражданской войной, которая отражала столкновение интересов бенефициаров доиндустриального и индустриального хозяйственных укладов. Что касается крупнейших стран Латинской Америки, где условия для развития промышленности много хуже, потомки земельных рабовладельцев до сих пор составляют костяк экономической и политической элиты, а их капитал является основой национального богатства, – и это невзирая на частоту режимных трансформаций в XX веке. Этот класс служит «стопором» социальных лифтов на фоне географической фрагментации рыночного пространства и ограниченной способности экономики абсорбировать трудоспособное население.

Таким образом, фактически все риски аграрного производства в сложных природных условиях малоземельных губерний оказались переложены на плечи крестьянства, что привело к захвату крупных и наиболее привлекательных участков земли верхушками общин – по существу в обмен на аналогичные помещичьи, в общих чертах, обязательства в отношении остальных членов. В густонаселенных губерниях Центральной России общины, как правило, были подконтрольны распорядителям, старостам, которые и в дореформенный период отвечали за исполнение обязательств своих членов перед помещичьими землевладельцами и потому были приближены к ним. По существу общины выступали формой пролиферации ресурсно-силовой вертикали вниз – в т.ч. внутрь семьи через глав семейств. Лишь на севере с его артельными традициями, в зажиточных областях средней полосы и юга с их плодородными землями общины во все времена имели черты сходства со старообрядческими, выступая формой совместного ведения хозяйства и самоуправления. В этой связи, две указанные формации следует считать противоположными по социальной сути и не подлежащими единой, пусть и укрупненной, категоризации: их социальные и хозяйственные механизмы основаны на взаимоисключающих принципах – соответственно патернализма и солидарности, – первый из которых исключает индивидуальную субъектность, второй же требует максимального уровня индивидуальной ответственности за общее благо. Вплоть до столыпинских реформ именно в рамках крестьянской общины накапливается социальное неблагополучие, – она фактически становится инструментом пролонгации крепостного права в «обезличенной», «бессубъектной» форме и тем самым архетипически подготавливает массовое сознание к колхозному строю советского периода. На этом фоне революционная волна 1917 года послужила для младших членов семейств возможностью бросить вызов патерналистской традиции и избавиться от подчиненного положения, что одновременно способствовало разжиганию фронтальной гражданской войны. Опыт извлечения краткосрочной, ситуативной выгоды для собственного социального положения нашел развитие при переезде молодежи в города и кристаллизации на протяжении всего XX века уклада урбанистической архаики. Таким образом, и социальные практики общины, и последствия взлома ее устоев способствовали утверждению небрежения собственностью и правом в целом, послужили драматическому течению социальных катаклизмов всей первой трети XX века.

Безземельные крестьяне массово участвуют в событиях 1905 – 1907 гг, а последовавшая за ними земельная реформа, хоть и вызывает невиданный экономический рост, но одновременно «выплескивает» избыточное население из деревни в города, провоцируя социальные волнения, брожения в армии в ходе первой мировой войны и, в конечном итоге, революции 1917 года. Таким образом, их социальной опорой выступил не какой-либо занятый производительным трудом класс – например, рабочий, – а слой «лишних» людей, предъявляющий запрос на долю в распределении, по существу прообраз урбанистической архаики (см. ранее и далее). В этой связи показательно, что невиданное по масштабам послереволюционное поражение благополучных слоев в гражданских и имущественных правах для нового режима фактически было обречено выступить способом обрести социальную опору в городах, где решался вопрос о власти. В то же время, остававшееся в деревне крестьянское большинство было вдохновлено успехами выгодоприобретателей земельной реформы и ожидало лишь улучшения администрирования распределения земель: причиной, по которой патриархальное крестьянство отвернулось от монархии, фактически послужила пронизанность двора праздной землевладельческой знатью, которая извлекала ренту из запутанной нарезки земельных участков в малоземельной Центральной России, приверженность интересам таковой.

Фактически пресловутый «квартирный вопрос» можно рассматривать как гримасовидную проекцию земельного вопроса, которую в города принесло с собой крестьянство Центральной России, прошедшее школу опрокидывания устоев патриархальной семьи и деревни, а также таких государствообразующих институтов, как армия и флот. «Уплотнения» квартир вчерашними обезземеленными крестьянами формируют один из наиболее мощных институтов демодернизации – коммунальные квартиры, нормализацией «догляда» вызвавший длительное отторжение будущими поколениями общественного доверия и горизонтальных связей, особенно проявившееся в последние 30 лет, после формальной отмены атавизмов «закрепощения». Подобно тому, как в деревне репрессии начала и конца 30-х гг были густо замешены на сведениях между семьями «личных счетов», накопленных в ходе многочисленных переделов земли за современное и предшествующие поколения, в городе борьба за соседскую жилую площадь также выступала подоплекой значительной части доносов – не только на этом отрезке времени, но и на протяжении всего советского периода. Более того, коммунальные квартиры можно считать одним из наиболее тотальных по своему проникновению институтов силовой вертикали, внедренной тем самым в быт человека. Помимо прочего, она получила в свое распоряжение еще и мощный инструмент отрицательного отбора: выпестованная в «бутиковых» тепличных условиях «витринная» образованная часть общества на заре советской власти встретилась с малограмотной массой не столько в стенах институтов просвещения, сколько в быту, – и характер этой коммуникации служил демонстрации бессилия первых перед лицом грубой силы.

Нельзя исключать того, что резко возросшая в конце XIX – начале XX вв внешняя военная активность, имевшая не вполне очевидное рациональное обоснование и неудачная с точки зрения результатов, ставшая важнейшим фактором общественной дестабилизации, мотивировалась желанием элит не только задействовать «излишки» капитала, но и обеспечить применение низкоквалифицированным трудовым ресурсам, облегчить избыточную демографическую нагрузку на города. Таким образом, налицо объективное противоречие между социальной структурой населения и необходимостью – в особенности в преддверии назревавших мировых войн – индустриальной модернизации, источником капитала для которой безальтернативно служило повышение производительности сельского хозяйства. Это экзистенциальное противоречие, как и положение крестьянства в качестве основного экстрактивного источника для индустриального развития, было пролиферировано сквозь революционные события 1917 года в советский период, поскольку было объективно обусловленным. Оно вызвано тем, что ни собственно конкурентоспособная промышленность, ни финансовое и торговое посредничество, в отличие от передовых стран, не могли здесь служить такими источниками по причинам, связанным с географическим положением, – напротив, сама промышленность нуждалась в ресурсах извне не только для финансирования капитальных затрат, но и для постоянного субсидирования неизбежных убытков по текущей хозяйственной деятельности. Показательным «проверочным» примером здесь может служить продовольственная катастрофа 10 – 20-

х гг в Германии, которая располагает много более благоприятными условиями для развития массового промышленного производства – с точки зрения географического положения, плотности населения и доступности компетенций. Тем не менее, и здесь аграрное хозяйство послужило безальтернативным экстрактивным «резервуаром» для инвестиций в промышленность и военную организацию без оглядки на последствия: индустриальный прорыв требовал доступа к морским транспортным артериям, бесперебойного снабжения сырьем и продовольствием практически по себестоимости на фоне отсутствия собственной колониальной базы. В частности, все эти соображения определили восточное направление в качестве магистрального для военной экспансии Германии в первой половине XX века, – более того, они нашли отражение и в специфических аннексионных и репарационных условиях Брестского мира, навязанного Советской России. Таким образом, скорость индустриальной и военной гонки, а также действия непосредственных соседей по преодолению собственных естественных ограничений и отставания от морских держав, практически исключили для России опцию накопления капитала в размеренном темпе в аграрном производстве с последующим созданием сугубо экономических стимулов для его реинвестирования в промышленность.

В советский период социальные практики на основе закрепощения, направленные на балансирование неконкурентоспособности массового производства, получают невиданное по разнообразию и социальным последствиям развитие. Так, масштабная индустриализация 30-х гг опиралась на инвестиционные ресурсы, изъятые в сельском хозяйстве, где благодаря столыпинским реформам и далее, в период НЭПа, образовался наиболее устойчивый кластер роста с высокой производительностью труда, благоприятный для накопления капитала. Проведенная для этих целей варварская коллективизация, приведшая к массовому голоду и многомиллионным жертвам, пополнила ряды «лишних» людей за счет крестьянства – до этого наиболее востребованного и хозяйственного класса, которое, вопреки естественному предназначению, никогда более не выступало демографическим донором и демпфером. Примечательно, что и снижение репрессивного давления на крестьянство к середине 30-х гг также в решающей степени было вызвано экстернальными факторами – в частности, богатым урожаем, который позволил отказаться от фронтальной экспроприации и агрессивного экстрактивного ценообразования, оставить место для мелких приусадебных хозяйств. При этом, модель самой индустриализации была во многом аналогична петровской – на основе импорта технологий, с государством в качестве организатора, заказчика и поставщика трудовых ресурсов по стоимости даже не воспроизводства, а физического выживания рабочей силы, на этот раз за счет системы лагерей, пополняемых путем массовых репрессий. На «околонулевой» стоимости рабочей силы основаны также послевоенное восстановление и освоение целинных земель в 50-е гг. Однако в капиталоемкую индустриальную эпоху к этому базовому набору инструментов создания промышленного производства добавились еще и централизованные капитальные инвестиции, что увеличило потребность в концентрации ресурсов и жестокость обеспечивающих их изъятие институциональных практик. В различные периоды закрепощение проявлялось и в других суррогатных формах, таких как лишение крестьян паспортов, «закрытые» города, институт прописки, распределительное трудоустройство, замена части денежного вознаграждения натуральным пайком (их получатели назывались «прикрепленными»), а собственности на жилье институтом ответственного квартиросъемщика, контроль за распространением информации (не только в виде цензуры, но и в таких экзотических формах, как ограничение оборота печатной и копировальной техники) и др.

Принципиально характер «балансового уравнения» меняется лишь в позднесоветский период, чему причиной стали демографический перелом вследствие Великой Отечественной войны и открытие западносибирской нефтегазоносной провинции, в сочетании вызвавшие существенные и необратимые долговременные изменения социальной модели. Так, впервые в истории стандарт «пакета» содержания рабочей силы повышается за счет общедоступных благ, направленных на развитие человеческого

капитала, – науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, пользования жильем. Это дает мощный импульс трансформации архаического сознания, уже к 70-м гг интеллигенция из «штучной» становится многомиллионным слоем людей социально престижного умственного труда, зачастую крестьянского происхождения. Одновременно возрастает и «сословная» потребительская корзина – специальное распределение товаров и услуг в натуральном выражении для привилегированных категорий.

В постсоветский период структура «пакета» претерпевает заметные изменения. С одной стороны, у населения, которое – по причине природных условий, ограничивающих доступность продовольственных ресурсов, – исторически испытывает дефицит независимых «кормовых» источников, появляется «капитальная база» в виде собственной жилой недвижимости, бесплатную приватизацию которой можно рассматривать как форму капитализации недопотребления предыдущих эпох. Это единственный вид массовой собственности, который генерирует доходы путем монетизации в форме продажи и сдачи в наем. Именно с этим, а не с каким-либо особым правовым или институциональным режимом, связана ее сравнительно высокая – в отличие от коммерческой собственности – защищенность. Во всех остальных отношениях размер «пакета» также существенным образом возрос, в особенности, в период благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, начиная с 2000-х гг. Однако его качественная структура скорее претерпела ухудшение, что фактически превратило его в стандарт содержания не столько рабочей силы как таковой, сколько подданного населения, без привязки к труду. По мере примитивизации структуры экономики и квалификационных навыков (см. ниже), этот «пакет» стал формироваться за счет существенного расширения скудной постсоветской потребительской корзины, путем периодического повышения выплат бюджетозависимым категориям граждан (как следствие, заработных плат по экономике в целом) вне связи с производительностью труда. Тем самым, в этом варианте социальный стандарт приобрел потребительскую («проедание»), а не инвестиционную (в человеческий капитал как ключевой фактор создания стоимости) природу, стал продуктом остаточного распределения ренты, а не кооперации для создания общественного блага, закрепил архаизацию, а не способствовал модернизации. При этом, и в советском, и в постсоветском прочтении «пакет» выполняет еще одну важную функцию – разновидности сословного пособия за социальную пассивность.

Среди прочего, в наше время это накладывает своеобразный отпечаток на уровень кредитной ответственности заемщиков, когда прирост потребления за счет возвратных источников часто воспринимается как часть пособия.

Первые постсоветские годы, когда элементы индустриального уклада перестали получать искусственную подпитку, ознаменовались фактическим всеобщим дефолтом по обязательствам государства и хозяйствующих субъектов друг перед другом и перед домохозяйствами – как правило, в форме неплатежей, – что явилось «стерильным» индикатором состояния «балансового уравнения». Глубина такого дефолта по регионам напрямую зависела от соотношения стоимости производимого с учетом доставки потребителю и затрат на жизнеобеспечение, т.е. нарастала по мере продвижения вглубь территории страны и снижения обеспеченности примитивными ресурсами. В отношениях с населением денежная оплата труда на несколько лет была повсеместно замещена натуральными пособиями в объеме физического воспроизводства, что апеллирует к экономической (хотя и не правовой) модели крепостного труда. Даже в условиях существенного улучшения внешнеэкономической конъюнктуры с 2000-х гг уклад отношений, характерный для закрепощения (хотя и без формального ограничения свободы передвижения), можно наблюдать в т.н. «моногородах», где ограничена возможность свободного труда. На смену обнулению стоимости рабочей силы здесь пришла практика вовлечения расходов трудящихся в замкнутый оборот ресурсно-силового клана, выступающего выгодоприобретателем основного локального хозяйствующего субъекта, путем контроля над местным жилищным хозяйством, сферой услуг и потребительским рынком. С другой стороны, ограничено и право работодателя регулировать

количество и качество занятых с целью повышения производительности труда. Тем самым собственник предприятия привлекается в качестве соорганизатора системы сословных пособий в обмен на право пользования административным ресурсом. Фактическое предотвращение оптимизации периферийной занятости волей власти архетипически восходит к многовековой отсрочке крестьянской реформы в опасении высвобождения «лишних» людей, не абсорбируемых экономикой. Помимо ограничений для создания стоимости фирм и человеческого капитала, это также приводит к закреплению целых отраслей экономики, их устраниению из сферы создания стоимости вообще.

Например, цеха технического ремонта в составе любого крупного предприятия, а также цеха механической обработки металла, холодного литья и штамповки, входящие в состав машиностроительных заводов любого профиля, являются непрофильными для своих площадок и взаимозаменяемы по всей стране. Потенциально они представляют собой заметные отрасли промышленности и производственных услуг, площадки для внедрения современных технологий (3D, композитные материалы и пр.), снижения капиталоемкости и перехода к распределенной структуре производства, однако не могут быть обособлены ввиду того, что заключают в себе избыточную для эффективного создания стоимости занятость, субсидируемую основным предприятием. Таким образом, вместо трудоустройства или социальной защиты высвобождаемых за счет части вновь созданной стоимости, происходит обременение существующих очагов создания стоимости патримониальными обязательствами. Другим следствием этого же явления является неэффективная внешняя трудовая иммиграция в условиях крайне низкой мобильности собственных трудовых ресурсов, критическое снижение квалификации и стандарта содержания труда (вплоть до квазирабского), стимулов к повышению производительности.

При этом, нередко изобилие непрофильных или нормативно незагруженных мощностей (например, по капитальному ремонту и производственному сервису) также объясняется малой глубиной локального рынка, вследствие чего они фактически работают на одного клиента – градообразующее предприятие, в структуру которого и включены организационно. Такая неравномерная композиция любого центра создания стоимости и трудового коллектива (от научного до производственного) ведет к архаизации менеджмента, который консервирует периферийные группы с низкими компетенциями и антагонизирует таковые против ядерных с высокими. В системе, где непроизводительные затраты, несущие социальную функцию, являются нормативными и имеют внешние источники покрытия (см. далее), максимизация таких затрат увеличивает гибкость и укрепляет рентоизвлекающее положение их распорядителя. Это составляет важный фактор как высокого естественного фона затрат в экономике, так и необычно низкой модернизаторской мотивации элиты, на протяжении всей карьеры проходящей через такого рода «школу» отрицательного отбора.

Даже в условиях существенных изменений, вызванных невиданным по масштабам ростом рентных поступлений на душу населения начиная с 2000-х гг, проблема балансирования конкурентных недостатков не теряет актуальности, поскольку существенно расширяется и круг потребностей современного человека. Примитивная структура экономики, наряду с естественными факторами неконкурентоспособности, не позволяет создавать такие ценности, так что основным способом удовлетворения спроса на них служит импорт, финансируемый также за счет рентных поступлений, от них же тотально зависит и спрос в существующих несырьевых отраслях. Таким образом, стимулов к инвестиционному освоению рентных поступлений не возникает, избыточные ресурсы «естественным» образом тяготеют к выходу из обращения – в виде вывоза капитала, формирования национальных резервов или просто увеличения активов банковской системы, не генерирующих процентный или инвестиционный доход. Парадоксальным образом это означает, что даже ресурсное изобилие не может воспрепятствовать дальнейшему «проеданию» национального капитала в различных формах – от хищнического природопользования до износа основных фондов без замещения. При этом, в условиях глобального перехода к экономике знаний, наиболее критичным становится многовековое «проедание» и «недоинвестированность» человеческого капитала, доступность услуг для которого (образования, здравоохранения, культуры), оставаясь декларативно всеобщей, на деле снижается и приобретает ярко выраженный сословный характер – в т.ч. за счет редукции качественных требований, подлежащих восполнению за счет домохозяйств. С одной стороны, это сокращает приходящуюся на нижние сословия

долю общественного продукта, – и это не может быть компенсировано некоторым ростом оплаты труда. С другой стороны, это направлено на разложение профессиональных сред, которые производят такие услуги и конструируют собственный человеческий капитал за счет репутации и солидарности, разветвленной системы горизонтальных связей, вступающей в антагонистический конфликт с патримониальной вертикалью. В частности, такое разложение достигается посредством перевода оплаты труда в соответствующих отраслях на сделный принцип, назначения таковым внешних заказчиков, не обладающих специальной компетенцией и базирующих свое суждение на системе схоластических количественных метрик, а также обладающих властью менять стоимостные параметры заказа и порядок его определения волонтаристскими методами.

Практика формирования запасов в «тучные» годы для жизнеобеспечения в «тощие» известна человечеству по меньшей мере из библейских источников. Однако уже в них она выступает спутником ресурсозависимого хозяйства, не приспособленного к созданию ценности, индифферентного к антропогенным улучшениям и потому не предъявляющего спроса на капитал, при этом подверженного рискам природного и военного происхождения. В этой форме такая практика была распространена и в помещичьих хозяйствах, формировавших «страховые фонды» из излишков урожайных лет или прибегавших к поддержке казны. К этому же архетипу восходит и практика непроизводительного изъятия ресурсов из современной недоинвестированной экономики России – неофеодальной по существенным признакам – и их размещения с доходностью значительно ниже стоимости заместительного внешнего заимствования, следствием чего становится отрицательная доходность чистой инвестиционной позиции.

При прочих равных условиях неизбежным спутником экономики, нормативно теряющей стоимость, является периодическое накопление у более защищенных в силовом отношении участников хозяйственного оборота отложенных обязательств перед менее защищенными, с последующим «обнулением» таковых. Даже сохранение в неизменном виде объемов и бенефициаров распределения требует неуклонного возрастания стоимости рентных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот, – за счет физического объема и/или рыночной цены таковых. В таких условиях новым явлением в балансировании экономики стала разновидность экстрактивной модели, получившая публицистическое определение «приватизации прибылей и национализации убытков». Предметами приватизации и национализации в рамках этой модели являются не столько активы сами по себе, сколько их разделенные денежные потоки – соответственно положительные и отрицательные, так что объектом извлечения выгоды вполне может служить и фундаментально убыточный актив, пока убытки можно перекладывать на контрагентов или персонал. В основе такого механизма финансирование долгосрочной убыточности хозяйственной деятельности по сумме фаз высоких и низких сырьевых цен за счет аккумулированных резервов, а также частичной экспроприации средств населения и иностранных инвесторов. Де-факто это превращает государство (в лице бенефициаров такового) в квазихолдинг, «собственника последней инстанции, консолидирующего» весь крупный бизнес и большую часть среднего. Издержки этой модели покрываются за счет населения, – в конечной точке цикла ее результатом неминуемо становится расширение рублевого денежного предложения при одновременном вымывании золотовалютных запасов, соответственно рост инфляции и ослабление валютного курса, что в условиях импортозависимости означает угнетение потребления и инвестиций в основной капитал. Таким образом, политика накопления резервов – вместо создания инвестиционного спроса в хронически недоинвестированной экономике, формирования модели роста с долгосрочной положительной отдачей на вложенный капитал – становится не макроэкономическим стабилизатором, а инструментом контрциклической ликвидности активов элиты. Такое экономическое поведение ведет к консервации короткого горизонта принятия решений и препятствует инклюзивности экономической среды, имеет ярко выраженный архаизирующий эффект – вне зависимости от позиции в вопросе о сбережении/расходе резервов или идеологических «ярлыков» дискутирующих.

В верхней точке сырьевого цикла модель извлечения доходности в крупном бизнесе сводится к капитализации (в т.ч. посредством накопления нераспределенной прибыли) и последующей монетизации (ПРО, продажа доли стратегическому инвестору). Наилучшим способом изъятия денежных средств в этот период является их преобразование в инвестиционные активы: это соответствует ожиданиям инвесторов, с одной стороны, и дает свободу освоения средств без декапитализации и необходимости учитывать при таком освоении долю неконтрольных владельцев, с другой. При этом нет оснований считать такое освоение инвестиционным в подлинном смысле, так как доходы от сырьевого экспорта вызывают рост стоимости любых примитивных активов – от финансовых до недвижимости, – временно выполняя функцию, схожую с избыточным капиталом финансово-промышленного происхождения в англо-саксонских странах. Доходность этих видов деятельности, а также синдром «голландской» болезни, ухудшает в этот период сравнительную привлекательность долгосрочных инвестиций в диверсификацию экономики.

В нижней точке, когда операционные показатели отыгрывают прирост благоприятного периода, хозяйствующие субъекты в массовом порядке переходят в фактически банкротное состояние и, пользуясь административными возможностями, замещают собственные средства заемными. Источником таких ресурсов, как правило, выступает государство (в лице подконтрольных институтов), что позволяет владельцу в обмен на залог своих прав собственности де-факто монетизировать (или декапитализировать) активы в форме изъятия дивидендов за предыдущие благоприятные периоды (превалирующая схема использования антикризисной поддержки в период кризиса 2008 года). Итогом смены циклов каждый раз является сверхмасштабная структурная корректировка реальной стоимости активов вниз (1998, 2008, 2014 гг) и исчерпание накопленных в предыдущий период валютных резервов, которые центральный банк продает в обмен на эмитированную им же национальную валюту при выплате дивидендов, – и это становится «моментом истины» долгосрочно неприбыльной модели хозяйствования. По этой же причине каждый новый цикл сырьевых цен начинается на более высоком уровне централизации экономической активности, что приводит к замещению частных инвестиций государственными, не ведомыми продуктивной мотивацией.

Схожая модель характерна для инвестиций ресурсно-силовых кланов в отрасли «рентного пакета» – собственно сырьевые и развивающиеся как результат мультипликативного эффекта от сырьевых доходов, с примитивным характером создаваемой ценности, но престижных в терминах сословной матрицы, таких как строительство и недвижимость (нередко это касается и инвестиций в розничную торговлю). Эти проекты имеют источником заемные ресурсы либо иностранные инвестиции (при исключительной надежности административного ресурса замещаются таковыми с небольшим временным лагом после авансирования собственных), при этом базовая доходность самой ресурсно-силовой корпорации обусловлена не способностью сгенерировать доход от построенного, а освоением кредитных ресурсов в ходе самого строительства, притом за периметром корпоративной структуры заемщика. Остаточные, нереализованные или некупаемые активы заемщика ложатся на баланс кредитной организации – в виде реструктурированного кредита, взысканного залога, полученной при конвертации долга доли в акционерном капитале и пр., – а также уценку стоимости активов иностранных инвесторов. Если действия последних, как правило, вызваны неосведомленностью и податливостью благоприятной конъюнктуры, то со стороны кредитной организации предполагается сознательная заинтересованность ее выгодоприобретателей в освоении предоставленных кредитных ресурсов, даже ценой подрыва финансового состояния самой организации. Это подразумевает одновременно и наличие прямой или опосредованной бенефициарной связи, и готовность центрального банка рефинансировать этот риск к выгоде определенной ресурсно-силовой корпорации. Более того, необходимость обеспечить ликвидность залоговой массы, образовавшейся таким способом в распоряжении ресурсно-силовых кланов, впоследствии становится мотивом различных стимулирующих политик – например, расширения государственным жилищных и ипотечных программ.

Впрочем, в рамках модели «приватизации прибыли и национализации убытка» рано или поздно такое вмешательство регулятора становится неизбежным – хотя бы в момент банкротства кредитной организации, для выполнения нормативных обязательств перед вкладчиками. В конечном итоге объектом экстрактивного воздействия, помимо иностранных инвесторов, становится население – как непосредственно в лице вкладчиков, так и опосредованно через вымывание национальных резервов и вызванный этим инфляционный эффект. Однако не менее тяжелым последствием этой модели является ограниченная отзывчивость рынка недвижимости к изменению спроса, т.е. фактическое перекаldывание рыночной волатильности на население и малый бизнес (последний в терминах социальной матрицы степного кочевника – также источник существования отчужденного населения), нуждающихся соответственно в жилье и коммерческих площадях. При этом ресурсно-силовые кланы даже в нижней точке сырьевого цикла претендуют на изъятие из

экономики всех располагаемых ресурсов инструментами «прямого и неотвратимого действия». Одним из новейших изобретений этой экстрактивной модели становится некоторая реинкарнация феодальных откупов – передача «коммерческим» операторам напрямую прав на определенные текущие доходы, причитающиеся государству, под «будущие инвестиционные обязательства», что выливается в немедленный кратный рост ставок соответствующих платежей. Не имеющий административной поддержки бизнес в период спада массово уходит с рынка или снижает издержки путем сокрытия налогооблагаемой базы, кроме того, системная убыточность бизнес-модели часто маскируется наращиванием кредиторской задолженности в экономике.

В условиях такой экономической системы, традиционные инструменты макроэкономического регулирования неприменимы и непосредственно оказывают влияние лишь на монетарные и номинальные показатели (инфляцию и валютный курс), а также, в ограниченной степени, состояние банковской системы, которая системно испытывает сложности с качеством активов и возможностями доходного размещения капитала. В еще большей степени это справедливо для накопительной пенсионной системы, которая напрямую зависит от возможности генерации реальной долгосрочной (внециклической) доходности в экономике. При этом в условиях экономики знаний, с учетом постоянного изменения требований к продуктам и технологиям, удовлетворяющим определенную потребность человека, или даже полной смены таковых на принципиально новые, положительная стоимость подавляющего большинства российских компаний вообще вызывает сомнение, поскольку должна учитывать инвестиции в их сохранение на рынке (в некоторых случаях это может означать технологическое «переучреждение»).

7.3 Ресурсно-силовая вертикаль как метаинститут распределения в модели разрушения общественной стоимости

Модель «игры с отрицательной суммой» предопределяет тяготение к сверхконцентрации скудных рентных ресурсов хартленда силовым путем (т.е. практическую неограниченность возможностей государства как «стационарного бандита») – их изъятие из мест происхождения с дальнейшим транзитом и остаточным перераспределением *«по принципу концентрических кругов»*, как в географическом, так и в социальном аспекте. Эти «круги», по существу, представляют собой прообразы современных социальных «капсул» – корпоративных, региональных и этнических меньшинств, имеющих признаки архаических сообществ-сословий, субсидиарных вожеств, наделенных фрагментом силового ресурса. Они играют роль авторизованных рентособирающих и рентопроводящих механизмов и допущены к последующему распределению ресурсов, вследствие чего выдавливают из социального и хозяйственного оборота самодеятельных субъектов, выступающих в индивидуальном качестве. В этом плане, Ярлык Золотой Орды можно считать патримониальным протоинститутом, позволившим его обладателю на «легитимной» основе подавить сопротивление кочевых элитных кланов, имевших альтернативную внешнеполитическую ориентацию, и присвоить привилегии носителя титула власти-собственности.

Силовой ресурс во многом является «профессиональной специализацией» степного кочевника, а его жесткость обратно пропорциональна благоприятности «кормовой базы» в связи с необходимостью консолидировать последнюю. В этой связи примечательно, что набравшая силу Московия сама подавляет и захватывает «кочевую» Орду, непосредственно обустроившуюся в благоприятных с точки зрения природных условий и географического положения землях юга современной России и юго-востока Украины, как только утрачивает свое значение Великий Шелковый путь. Этот опыт взаимоотношений двух очагов степных кочевников сформировал на последующие столетия в центре Евразии протяженный пояс высокой силовой токсичности и способствовал демодернизации Причерноморья – в чем-то по аналогии со Средиземноморьем. Ныне этот пояс по обе стороны российско-украинской границы во многом совпадает с ареалом казачьей вольницы – некогда тоже кочевой общности, которая, однако, не сформировала собственной государственности в окружении более могущественных центров силы и исторически находилась у них в услужении. Скорее казачество напоминало степную версию пиратов по отношению к оседлым земледельцам,

впоследствии же слилось с ними – либо инкорпорировало их, – хотя коллективное сознание общности постоянно апеллирует к традиции боевого мастерства.

Опыт такой «консолидации» не только не способствовал формированию основы будущей единой русской гражданской идентичности, а, напротив, заложил пагубную «традицию» совмещения до степени неотличимости гражданской войны (столкновения групп, лояльных различным внешним силам) с отечественной войной (между победителем в гражданской войне и внешней силой – зачастую покровителем проигравшей), не изжитую до настоящего времени. «Инфраструктура» модернизационной динамики – национальная общность – оказалась крайне шаткой, поскольку над коллективным сознанием довлеют мифы-антагонисты, общественное доверие и связи между индивидами из различных социальных страт слабы, инкапсуляция не преодолена (хотя такое преодоление не означает исчезновения «уточняющих» идентичностей) и периодически даже усиливается.

К этой традиции восходит важность внешнего ориентира при выборе вектора внутреннего развития, наличия иностранного прецедента для легитимации даже отдельного решения, а также избирательность фактов для «правильного», с точки зрения победителя, прочтения истории, которую обычно принято сводить к череде правителей и последовательности военных побед. Наследственный дефицит легитимности является источником непримиримости к инакомыслию, культура силы как основы коллективной идентификации, войны и ее субститутов как маркеров таковой (например, в виде восприятия спортивного состязания как аналога войны).

Из этого же вытекает невозможность обеспечить преемственность власти и ее начинаний при смене таковой, а также передачу наследственных состояний. Смена режима ассоциируется с физической – а не только «кормовой» – опасностью для элиты, отсюда экзистенциальное желание пожизненного закрепления властного статуса.

Наконец, это обстоятельство отчасти объясняет, почему склонность к тоталитарным формам правления, тем не менее, не вылилась в появление этнократического режима нацистского толка – например, по немецкому образцу. Национализм как таковой является спутником массового промышленного производства, которое обеспечивает формирование нации как транссословной общности. В странах, оттесненных от морской торговли и испытывающих нехватку капитала для реализации индустриального потенциала, на пике концентрации ресурсов центр такой концентрации совпадает с центром силы и образует тоталитарный режим, идеологической основой которого выступает нацизм – экстремальная, агрессивно ксенофобская форма единения этнического большинства. Напротив, в доиндустриальной парадигме, где стоимость присваивается и преимущественно изымается из экономики силовой элитой, последняя совершенно инородна и чужда большинству населения, независимо от этнического состава такой элиты. При этом, модель феодального кормления тем «эффективнее», чем больше численность населения, оттесненного от «кормовых» источников и помещенного под экстрактивное воздействие. В этой связи, такая модель предполагает подавление этнического большинства, в то время как меньшинства могут образовывать «автономные феодалы» со своей внутренней архитектурой на особых субсидиарных правах и даже быть представлены в составе патримониальной экстрактивной элиты.

В таких условиях – в противоположность новгородскому архетипу – правящая элита не является производной от населения, наделившего ее легитимностью и ресурсами, соответственно не несет обязательств перед ним. Она производна от территории и находится с населяющими ее людьми в отношениях посторонней, практически не подвергшейся национализации оккупационной администрации, т.е. они выступают объектом, обращение с которым строится и меняется исходя из необходимости обеспечить собственные благополучие и устойчивость, в зависимости от чего это обращение может быть более или менее «милостивым». Практически никогда на сколько-нибудь длительный период времени не прерывалась традиция узурпации власти пронизывающей все уровни самодержавной вертикалью, состоящей из силовой, ресурсной и административной ветвей в нераздельном сослужении. Даже в условиях позднейшей имитационной институционализации, эта вертикаль – в монархическом, однопартийном или президентском облики – изъята из системы

разделения властей и партийной системы: по своей природе она не оставляет пространства для других центров мобилизации и не может быть уравновешена полномочиями иных ветвей власти, что делает государство и право заведомо дисфункциональным.

Противоречие между территорией и населением позволяет рационально объяснить такой характерный для социальной психологии центрально-русской общности феномен, как различное отношение к центру ресурсно-силового экстремума, с одной стороны, и ресурсопроводящим ответвлениям правящей элитной корпорации, с другой («хороший царь – плохие бояре»). Первый путем силового присвоения концентрирует ресурсы территории – как правило, такие, на которые население не могло бы претендовать самостоятельно, без концентрации ресурсов и силы. Отсюда «самодержец» не вступает в прямое «пищевое» противоречие с населением, более того, в некотором роде предстает «кормильцем» и «защитником». У населения обычно не возникает претензий по поводу размера удержанной головным звеном силовой корпорации доли общественной стоимости, а также объема присвоенных этим звеном прав, а перераспределенные в пользу населения ресурсы и оставленные ему свободы воспринимает в качестве «милости», основания для признательности и верности. Напротив, ресурсопроводящие звенья элитной корпорации отвечают не за «добычу» общественной стоимости, а за перераспределение «добытого» вниз, так что имеют прямой конфликт с населением за долю удержания, рассматриваются в качестве бенефициаров прямых поборов и виновников народного бесправия. Поскольку смыслом перераспределения ресурсов вниз для головного, самодержавного звена силовой корпорации является обеспечение лояльности приданного населения, то и эффективность ресурсопроводящих звеньев верховный правитель оценивает с точки зрения их способности найти баланс между корыстными интересами и пределами терпения подданных (задача достичь удовлетворенности таковых в условиях несбалансированного хозяйства в принципе не является решаемой и не ставится). При этом в условиях ресурсного «голодания» силовая корпорация, как правило, фрагментируется («феодалная раздробленность») поэтому и роль центра ресурсно-силового экстремума, консолидирующего ресурсы территории, переходит отдельным ресурсно-силовым кланам, прежде всего региональным. В измельченном виде фрагменты корпорации скорее становятся подчиненными по отношению к укорененным ресурсно-силовым формированиям, которые, в зависимости от конфигурации «кормовой базы», могут быть моноцентрическими вотчинными вождествами с публичным статусом («при губернаторе») или представлять собой конгломерат равновеликих вождеств, лишенных формальной аффилированности с властью или даже контрофициальных, криминальных, однако осуществляющих власть де-факто. Верховный правитель в этом случае становится номинальным и утрачивает ореол непогрешимости, сакральности, слабость делает его ненадежным, дискредитирует в качестве «кормильца», «защитника».

Ошибочно полагать готовность населения мириться с «оккупационной» администрацией какой-либо имманентной, «генетической» сервильностью, «рабской психологией» и т.п. Хроническая нехватка плодородных земель и неблагоприятный для земледелия климат в Центральной России во многом обесценивает преимущества свободы хозяйствования по сравнению с крепостной зависимостью, и прежде всего она никаким образом не устраняет перманентную опасность голода («рай не лучше ада», «свобода не лучше несвободы»). Наличие хозяина создает ощущение «последней инстанции» для апелляции в положении отчаяния, однако подобный «страховой фонд» может быть функциональным лишь при условии весьма ощутимой «страховой премии, уплачиваемой» в сравнительно благополучные годы – т.е. всей совокупности распределительных отношений, характерных для крепостного права. Именно к этой особенности следует отнести укорененный, актуальный и в наше время архетипический скептицизм «ордынского» массового сознания по отношению к свободе хозяйствования и самоуправлению. Более того, по этой же причине организованный протест, движение с целью смены власти традиционно воспринимается как выражение запроса на перераспределение уже созданного богатства, но не как средство изменить сам способ создания этого богатства. Как впоследствии продемонстрировал опыт старообрядцев (см. далее), в таких естественных условиях возникновение альтернативного способа хозяйствования и альтернативной социальной организации возможно только под давлением экстремальных обстоятельств, препятствующих возникновению патримониальной силовой вертикали, – в частности, всеобщего коллективного противостояния такой вертикали, более того, при условии территориального отмежевания от нее. При этом в более благоприятных регионах Черноземья крепостное право не получило такого широкого распространения, а его нравы были во многом мягче центрально-русских, на Дону же и вовсе укоренилось казачье самоуправление.

Ордынские «концентрические круги» находят отражение в территориально-государственном устройстве и строго иерархичной «доставке» качества жизни в провинцию во все исторические периоды,

что препятствует образованию источников для перспективного планирования на низовых уровнях публичного управления, приближенных к населению, разрушает стимулы к самостоятельному созданию стоимости. Это является фактором, определяющим «авральный», «мегапроектный», мобилизационный, внеплановый характер решаемых за счет этих ресурсов задач, вносит свой вклад в сокращение горизонта принимаемых решений. При этом, особо уязвимой стороной модели «концентрических кругов» является то, что она из центростремительной может обращаться в центробежную: в случае оскудения «кормовой базы», «внешние орбиты» – региональные и хозяйственные – начинают удерживать стоимость у себя и нарушают бесперебойное снабжение ресурсами центра. При этом консолидированный силовой ресурс фрагментируется, его части от патримониального центра устремляются к центрам образования ресурсов, ранее представлявшим вассалитеты, – тем самым феодальная централизация сменяется феодальной раздробленностью. Таким образом, альтернативные элитные центры располагаются не по горизонтали («у окружности не может быть более одного центра»), а по вертикали – сословной и, более всего, региональной, и любое испытание для ресурсной базы может оказаться для государственности фатальным, что показала история распада Советского Союза и 90-х гг.

Показательно, что в первые постсоветские годы российские регионы по своей сути превратились в классические феоды, которые получили в свое распоряжение аппарат принуждения на своей территории, а соответственно источники стоимости. Даже в наименее ресурсообеспеченных регионах фактически появилась таможенная граница в виде ограничения на перемещение продовольствия, сырья и прочих ценностей, что фактически придавало руководству местных администраций привилегии централизованного торгового дома по ввозу-вывозу основной номенклатуры товарооборота и делало их бенефициаром соответствующей маржи.

Ответом на такой риск для устойчивости патримониального центра является совокупность глубоко архаических практик – непроизводительное изъятие стоимости в централизованные резервы, сокращение горизонта принятия решений, удержание на минимальном уровне производительных затрат в экономике за счет недоинвестирования и проедания национального капитала (см. выше). Наиболее критичным следствием этого является снижение фактической способности человеческого капитала создавать новую ценность по сравнению с потенциальной, а также отсутствие стимулов для развития институциональной среды и способности экономики производительно абсорбировать инвестиции. При этом, такие особенности распределения стоимости отличаются от системы «сдержек и противовесов» по вертикали в странах с благоприятными естественными условиями для накопления капитала. Так, в Европе и США каждый уровень публичной власти наделен потенциально самодостаточными источниками доходов, а элиты на всех уровнях гибко группируются вокруг альтернативных центров (от политических до лоббистских) также и по горизонтали. В системе «концентрических кругов», имеющей причиной скудость и гомогенность источников стоимости, вертикальные противоречия являются потенциально антагонистическими и разрешаются на основе силы.

Поскольку наделение ресурсами «сверху вниз», вплоть до микроуровня, требует объективных критериев, неизбежно сводящихся к выравниванию удельной обеспеченности таковыми, бенефициарами этой системы становятся элиты регионов с наименьшей плотностью экономически активного населения – по отношению либо к общей численности населения (по причине крайне архаичной, застойной родоплеменной социальной организации), либо к размеру территории. Таким образом, сам принцип управления, заложенный в основу современного федеративного деления, имеет целью образование у различных элит излишков ресурсов под формально закрепленные, но фактически не осуществляемые в отношении населения полномочия – а в регионах с обширной территорией и экстремальными климатическими условиями вовсе неосуществимые силами субъекта федерации с разумными издержками, поскольку даже обычная жизнедеятельность обеспечивается в режиме чрезвычайной ситуации мощностями центрального подчинения. В этой связи, система лагерей по сей день выступает в таких регионах ключевым хозяйствующим субъектом – поставщиком практически бесплатной рабочей силы и продуктов ее труда. Тем самым здесь она функционирует не только как часть централизованного федерального ведомства, но и как «вассалитет» такового на длинной дистанции. Аналогично, службы спасения в такого рода регионах выступают основным

транспортно-логистическим оператором. Отличительной особенностью этих хозяйствующих субъектов выступает покрытие капитальных и абсолютного большинства операционных издержек за государственный счет, при этом присвоение основных операционных доходов выгодоприобретателями – т.е. традиционная «приватизация прибылей и национализация убытков». Отсюда такие ведомственные единицы справедливо рассматривать в качестве самостоятельных локальных, укорененных ресурсно-силовых акторов, поскольку формальному руководству в федеральном центре практически невозможно обеспечить кадровый резерв для эффективной ротации в сложных для жизни условиях.

Размножение таких элит путем наделяния вотчинными «угодьями» обусловлено соображениями обеспечения «пояса безопасности» вокруг носителя патримониального титула из материально заинтересованных в стабильности его трона. Такой мотивацией, в частности, можно объяснить искусственное создание «полноформатных» населенных пунктов в не приспособленных для жизни человека местах активной добычи полезных ископаемых, предполагающих освоение таковых вахтовым методом. Принцип административного деления, в основу которого положена привязка к территории, проникает до уровня муниципальных образований, представляющих граничащие друг с другом «кормовые» вотчины – пространственно протяженные, в противовес «точечным», привязанным к концентрированным очагам проживания населения. В региональной периферии это служит причиной экономической застойности и подавления конкурентных начал, цементирует «крепостнические» устои рынка труда и консервирует избыточное население в неперспективных для развития человеческого капитала местах (при общем дефиците трудовых ресурсов в стране), делает распределение ренты единственным способом извлечения стоимости. Крайне низкая плотность населения на обширных территориях делает невозможной обратную связь с населением, услуги, формирующие человеческий капитал и требующие концентрации компетенций, деградируют, получает распространение практика объединения школ и клиник, фактически оказывающихся территориально недоступными, происходит обращение сознания в архаическое состояние, сфокусированное на физиологическом выживании.

Ценой сверхконцентрации ресурсов и их непроизводительного перераспределения становится торможение развития городов, экономика которых предрасполагает к возникновению наиболее производительных рабочих мест со сложными компетенциями и потому заключающих модернистский потенциал в наиболее концентрированном виде. Региональные элиты, в основном, опираются на социальную инфантильность областных периферий (моногородов и сел), в которых преобладают атавизмы закрепощения, но в качестве основной «кормовой базы» используют областной центр, что является причиной острого конфликта городских сообществ с архаическим правлением, приведшего к фактической ликвидации института местного самоуправления. Таким образом, экономики городов несут тройную нагрузку – административной ренты-оброка (типичного для всей экономики), бремени содержания собственно города и «налога» на содержание окружающей области, которая тем самым становится «санитарным кордоном», улавливателем «излучаемой» городом стоимости. В некотором роде, такую практику также можно рассматривать как реинкарнацию «кочевых набегов» на зажиточный город. Тем самым, региональная структура экономики и публичное управление воспроизводят модель с высокоэффективным ядром и значительным периферийным обременением, а также закрепляющим архаические практики менеджментом, являющимся продуктом отрицательного отбора.

Примечательным инструментом балансирования дефицита ресурсов становится институт квазисословных маркеров, «монетизируемых» по «курсу», значительно превышающему их материальное содержание, и дающих доступ к признакам отличия (но не «пакету») более высоких сословий. В разное время таковыми выступают государственные награды, право «специального сигнала» для проезда по дорогам или, например, пользование «специальным» подъездом, лифтом и пр.

Таким образом, двумя ключевыми факторами, определяющими характер распределения, становятся структура рынка, при которой парето-равновесие достигается минимальным возможным числом участников, и силовые возможности, в противоположность качеству труда, как основной инструмент извлечения стоимости. Это сводит свободу предпринимательства к минимуму и предопределяет наличие практик по ограничению входа на рынок, экстрактивный характер институтов. Поэтому, по мере расширения владений до богатых природными ресурсами (полезные ископаемые, пушной зверь, рыба, леса ценных пород) земель, распространяется практика кормления элиты, сращивания власти (силового ресурса) с собственностью не только в функциональном смысле, но и как

нераздельности личного и государственного (или регионального) бюджетов. В дополнение к мытным сборам, кристаллизуется категория административной ренты как платы за вход на рынок, за пользование транзитными путями (поборы с купцов), за привилегию «субсидиарного кормления» (с нижестоящего «кормящегося», «продолжение вниз» зависимости самой Московии от Орды). Территориальный (транзитный) ресурс также становится важным источником ренты и требует значительных силовых возможностей для извлечения стоимости, поэтому он также исторически тяготеет к монопольному контролю. Просторы бедного евразийского хартленда непрерывно претерпевают консолидацию, вплоть до ареалов обитания племен, контролирующей благоприятный прибрежный периметр материка и потому довольствующихся сравнительно меньшей территорией, возникает прообраз «экономики транзитной трубы».

Существование массового производства практически в любой отрасли требует дополнительных механизмов балансирования неконкурентоспособности по цене и качеству, искажающих действие механизма рыночной конкуренции и рыночного ценообразования. На разных этапах развития в этом качестве выступали ограничение доступа на рынок посредством протекционизма или лицензирования, прямое государственное финансирование или государственная собственность, участие государства в искусственном формировании цены или себестоимости, например, в качестве заказчика продукции или поставщика трудовых ресурсов, субсидирование стоимости сырья, материалов, энергоносителей, транспортировки, занижение стартовых инвестиций (например, в ходе приватизации), списание кредитной и иной задолженности, налоговые льготы и пр. При этом поскольку полноценным, самодостаточным центром прибыли в такой экономике может выступать лишь промысел на ограниченных ресурсах, цена которых включает премию за редкость – ренту, – то фоновый уровень процентного и фискального бремени ориентирован на доходность именно такого промысла, т.е. обречен быть повышенным.

Без использования механизмов, искажающих рыночные мотивации, парето-равновесие в материальном производстве достигается при меньшем количестве участников, чем практически в любой развитой стране в аналогичной отрасли, что, в зависимости от сектора, означает тяготение к ограниченной конкуренции, олигополии или монополии. Однако в некоторых отраслях это может выливаться в недостаточную глубину рынка даже для одного производителя оптимальной, с точки зрения технико-экономических характеристик производственного цикла, мощности. Согласно теории рынка, это влечет присоединение определенного географического или отраслевого сегмента национального рынка к внешнему, т.е. появление структурного спроса на импорт при изобилии рентных доходов, в условиях же истощения таковых неизбежным становится изъятие данного товара из потребительской корзины вовсе (с замещением другим, с подобными свойствами, или без такового). Представление о последнем случае может дать простое сравнение физического состава (безотносительно стоимости) потребительской корзины в СССР 80-х гг и практически любой европейской стране, даже с плановой экономикой, а также резкое сжатие таковой после кризиса 1998 года. В этих условиях неизбежен повышенный фоновый уровень цен в экономике, которые должны покрывать либо структурную недозагрузку мощностей в национальном производстве, либо аномальные транспортные издержки при импорте. Де-факто такая структура рынка обуславливает тяготение к модели «отрицательной суммы» а рамках «длинного» экономического цикла. С точки зрения глубины рынка и транспортного плеча, исключение из этого правила составляет малый бизнес, полностью рассчитанный на локальное потребление, но лишь в местах с высокой плотностью населения, прежде всего, крупных городах. Однако на практике и эта возможность не может быть реализована ввиду того, что все цепочки поставок, структура цен, рыночные барьеры, а также композиция экстрактивных институтов рассчитаны на рынок с минимальным количеством участников.

В наше время даже для формально частных компаний доля рынка и акционерная стоимость фирм всех уровней определяется либо возможностью стать бенефициаром спроса, создаваемого в рамках подрядов государства и контролируемых им структур, либо выгодным рыночным позиционированием (локацией, лицензиями и пр.) для аккумуляции крайне ограниченного частного спроса. Такая доля оплачивается посредством коррупционного «налога» (хотя под определенным углом зрения это скорее «кормовая» доля партнера в доходах, де-факто старшего по отношению к формальному владельцу), выполняющего роль рентного платежа за пользование административным ресурсом. Другой формой изъятия ренты в отраслях с низкой антропологической ценностью выступает взимание платы за аренду площадей, поскольку силовые корпорации имеют неоспоримое преимущество, позволяющее получить контроль за фондом помещений

коммерческого назначения как примитивным ресурсом. В этих условиях арендодатель не заинтересован в длительных отношениях с арендатором, соответственно в успехе его бизнеса, – напротив, высокая оборачиваемость новых входов в бизнес с последующим банкротством, с одной стороны, поддерживает уровень арендных ставок и рентных сборов, а с другой – обеспечивает присвоение значительной части стартового капитала самодельных предпринимателей, т.е. изъятие теневых накоплений населения в интересах силовой корпорации.

Реальность, однако, заключается в том, что и добросовестное экономическое регулирование, направленное на балансирование малой глубины рынка, по определению не могло бы привести к постепенному переходу общественного производства к конкурентоспособному состоянию. Фактически активное вмешательство в рыночный механизм имеет целью закрепление избыточной занятости на планово-убыточных, искусственно поддерживаемых предприятиях, – что, тем не менее, допускает ограниченную трансформацию сознания занятых при оперировании средствами производства. Одновременно эти структурные факторы оказывают существенное влияние на ценообразование в экономике и являются источником повышенной структурной инфляции (соответственно, процентных ставок) в той или иной форме. Еще одной особенностью экономики предприятий практически всех отраслей в этих условиях становится небольшое количество крупных, ключевых клиентов как условие выживания, поскольку постоянные издержки сравнительно высоки, а потенциальная клиентская база на единицу территории ограничена относительно оптимальной мощности предприятия. В этой связи, численное расширение таковой для загрузки мощностей требует выхода за нормальный ареал покрытия рынка с соответствующим ростом логистических затрат или увеличения постоянных издержек для обработки небольших, но многочисленных хозяйственных операций.

Важным следствием системы рентного кормления является характерная для доиндустриального этапа развития нераздельность на всех уровнях индивидуальной субъектности и социальной функции, физического и юридического лица (института), хозяйствования и публичного управления, трактовка имущества вверенной организации, региона, отрасли или страны как личного. Совмещение государством в целом и отдельными чиновниками функции регулирования рынка и хозяйствования на этом же рынке имеет целью формирование системного и запретительного барьера для свободного доступа на такой рынок. Этот феномен является именно свойством формации, его неверно трактовать как всепроникающую коррупцию или конфликт интересов как таковые, вне зависимости от формально-правовой квалификации. Такие определения релевантны лишь в конкурентной среде и на значительно более высоком этапе развития общества, когда сами эти явления являются аномальными и трактуются как источник рыночных искажений путем использования публичных институтов в частных целях. В условиях хозяйствования, строящегося вокруг распределения извлекаемой из примитивных ресурсов ренты, «назначение» бенефициаров таковой по праву силы является нормативным, т.е. публичный институт здесь совпадает с центром извлечения стоимости и действует в собственных интересах, а не по заказу частного выгодоприобретателя. Такие понятия как соотношение частного и государственного секторов в экономике, защищенность собственности и пр. не являются релевантными, поскольку и само феодальное государство принадлежит частным лицам, обладающим силой, а добродетельность такой системы общественных отношений «освящена» господствующим идеологическим и религиозным догматом. Задача искоренения этой практики – вопреки распространенному заблуждению – тождественна не водворению законности, а преодолению доиндустриальной (феодальной) социально-хозяйственной формации, т.е. появлению способа производства на основе добавленной ценности.

Один из наиболее показательных примеров структурного, нормативного конфликта интересов в наше время – это совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности, таких как добыча и трубопроводный транспорт в структуре «Газпрома», инфраструктура и перевозки в структуре РЖД. Другой формой «приватизации государства» частными лицами являются практики, идентичные феодальным откупам, – продажа права на сбор определенной категории легальных или нелегальных, но считающихся «понятийной нормой», доходов. Внешне откуп может иметь вид не только «торговли кормовыми должностями», но и вполне рыночных отношений, – например, налагать обязательство «будущих инвестиций», однако по сути проблема состоит в подконтрольности одной стороны этих отношений

(государства) другой (например, бенефициару компании-оператора), в связи с чем такое обязательство носит условный характер.

Таким образом, в основу социальных отношений ложится система, при которой экономическую базу власти формируют не сборы с самодеятельных хозяйствующих субъектов или граждан, а удерживаемая силовыми возможностями государственная собственность, формируется ключевое социально-экономическое противоречие – между территорией (принадлежащей власти и малозаселенной) и населением, приданным территории. В социальной этике это противоречие отозвалось антагонизмом – в противовес конгруэнтности – интересов государства и личности, отождествлением патриотизма с вождественной лояльностью. Характер контроля такой социальной конструкции сродни таковому в хозяйственном обществе, контрольный пакет которого находится в казначейском, т.е. его собственном владении. Менеджмент такого общества несменяем посредством регулярных процедур и закрепляется вплоть до появления непреодолимых, экзистенциальных экономических или силовых вызовов.

Своего апогея этот принцип достигает в рамках советского феномена плановой экономики, основой которого выступал не просто директивный принцип управления или государственная собственность. Предприятия здесь вовсе не выступали хозяйствующими субъектами, которые, хотя принадлежали государству, но имели бы собственную экономику – выручку, операционные и капитальные затраты, финансовый результат. С управленческой точки зрения они скорее являлись цехами производства или услуг, фактически не имевшими выручки и получавшими в натуральном виде (либо формально приобретавшими без выбора по цене и качеству) средства производства, сырье и материалы, денежное возмещение предназначалось для заработной платы и небольшого перечня прямых затрат. Это означает, что единственным хозяйствующим субъектом – собственником практически любых товаров или услуг вплоть до их реализации (в части жилья также и после) выступало государство, а сутью управления народным хозяйством – в рамках такого консолидированного центра – выступало балансирование плановой убыточности большинства отраслей за счет рентных ресурсов. Дефицит товаров и услуг в физическом выражении имел причиной не только искусственный, нерыночный механизм ценообразования, но и дисбалансы, вызванные действием факторов неконкурентоспособности и нараставшие при ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры, т.е. снижении способности импортировать. В этих условиях дефицит компенсировался подпольным и домашним кустарным ремеслом, приусадебными участками – т.е. фактически с использованием элементов натурального хозяйства. На этом фоне на легальном потребительском рынке отсутствие обратной связи со спросом и вовсе имело гротескные последствия – перепроизводство откровенно бракованной, непригодной даже для низшего сегмента продукции.

Эта же парадигма демонстрирует корневое отличие системы централизованных общественных благ – в образовании, здравоохранении и культуре – от европейской, возникшей по причине избытка соответствующих компетенций, поэтому оптимально размещенной в некоммерческом секторе и основанной на рacionamento мощностей за счет общего пользования. Советская и наследующая ей российская система предоставления общественных благ своей затратной частью также «имплантирована» в описанный выше дисбаланс и жидется на дефиците мощностей и компетенций, поэтому при декларативной бесплатности де-факто является коммерческой и рентоизвлекающей, независимо от формы собственности провайдера услуг. Предметом «общего пользования» здесь является не столько мощность, сколько дефицит, покрываемый путем поражения в возможности получения ограниченного ресурса. Показателен в этой связи пример «ведомственных» систем создания общественных благ – приданных отдельным отраслям сетей медицинских, рекреационных, культурных и иных непрофильных учреждений, участвующих в формировании затратной части центра прибыли. Предполагалось, что они предоставляют индивиду в натуральном виде элементы потребительской корзины, дефицитные в свободном доступе, при этом, по охвату иногда заменяли собой социальную сферу целых населенных пунктов, где центр прибыли играл градообразующую роль. Социальная природа этого явления напоминает контекст закрепощения, в рамках которого отношения «работодателя» с работником не ограничиваются трудом, а вбирают в себя весь жизненный цикл индивида.

В силу отсутствия необходимости в общественном договоре, налоговая система как важнейший инструмент его фиксации и общественной кооперации вообще становится вторичным институтом. Более того, в отличие от европейских монархий, в гражданском обороте не появляется хоть какой-нибудь

наделенный собственностью слой свободных людей, пусть даже в виде узкой аристократической прослойки, что исключает саму возможность появления системы сдержек и противовесов.

Отчуждение населения вылилось, в том числе, в отношении к общественному пространству как «бесхозному», отсутствие стремления к его благоустройству, склонность огораживать частное владение. В условиях, когда ценность присваивается по праву сильного, ограда служит указателем ареала пенетрации некоторого силового ресурса и повышает воображаемую цену покушения на огороженное добро. Соответственно любое открытое пространство архетипически есть «степь», находящееся там легитимно присвоить или отнять, так что заведомо находится в статусе «спорного» и выступает предметом «поединка лихих». Если индивид из нижних сословий «эмигрирует из степи» в частную жизнь – атомизируется, замыкается в кругу близких, – то у элиты, помимо привычки к огораживанию, возникает склонность к эмиграции «от степной реальности» в прямом смысле или, как минимум, «вахтовый метод» как образ жизни: внутреннее экономическое пространство служит источником для потребления и инвестирования вовне, само оставаясь полем короткого стратегического горизонта и хронически низкой нормы инвестиций. Это важный, актуальный по сей день маркер доиндустриального и донационального, феодального и родоплеменного этапа развития, – предпочтение транснациональной элитной солидарности по сравнению с национальной межсословной. Ожидаемым образом этот модус солидарности не совпадает с таковым у элит развитых стран, прошедших через этап формирования национальных государств и отказывающихся чуждым родоплеменным элитам в кооптации в свой состав. Однако важным экономическим следствием такой социальной формации является прошедшая через все исторические этапы вторичность, дефективность внутреннего потребительского рынка и производства предметов конечного потребления вообще, элитарный характер потребления, спрос на которое удовлетворяется преимущественно за счет импорта, что, в том числе, явилось важным фактором крушения советской экономической модели (после снижения цен на нефть в начале 80-х гг). Роль потребления как важного сословного маркера порождает феномен престижного, демонстративного потребления и вызывает искажение классических ценовых стимулов.

Кроме того, это же отчуждение отразилось на структуре государственных доходов, в которой, в отличие от развитых стран, обложение доходов и имущества граждан не играет существенной роли, более того, завуалировано под личиной различного рода скрытых поборов. Хотя уровень обложения доходов физических лиц фактически является одним из самых высоких в мире, в основной части оно имеет вид косвенного налогообложения и платежей работодателей за работников. Даже в части подоходного налога, работодатели чаще всего выполняют роль налогового агента, что разрывает связь государства с потенциальным гражданином в качестве «наимателя» и источника легитимности. При этом, правовое положение самозанятого населения остается маргинальным еще с советских времен, когда заработок писателей, композиторов, художников и др. был обусловлен членством в профильных творческих союзах – квазинимателях. Наконец, непрозрачный характер управления государственными финансами подрывает способность бюджетов различных уровней играть роль финансового механизма кооперации для создания общественного блага, что делает такую кооперацию институционально маргинальным явлением.

Напротив, центральное значение в формировании доходной базы бюджетов всех уровней выполняет обложение рентных ресурсов, возникающих в практически безлюдной местности, а также результатов их перераспределения и обращения, поступлений от государственной собственности и налогообложения прочих юридических лиц, встроенных в систему патримониальной власти-собственности. При этом регионы ресурсного промысла, независимо от их правового статуса, корректно рассматривать как колониальные, находящиеся в процессе освоения. Отсюда их легитимным выгодоприобретателем такого промысла, как это принято в колониальной практике, следует рассматривать организатора кампании, каковым в данном случае выступает экстрактивная корпорация, – вопрос состоит лишь в том, является ли она самочинной или находится под гражданским контролем. Этот вопрос, однако, решается не в плоскости институционального строительства, а в зависимости от того, в состоянии ли население основных, освоенных земель создавать стоимость без субсидии экстрактивной корпорации, более того, содержать таковую за счет этой стоимости, – лишь в этом случае эта корпорация в рамках колониальной кампании, как и в других аспектах деятельности, выступает от имени и в интересах всей общности. Однако даже в крупнейших городах общественный продукт преимущественно формируется за счет отраслей с низкой антропологической ценностью, состоятельность которых напрямую зависит от мультипликативного эффекта примитивных ресурсных отраслей, – таких как розничная торговля, строительство и недвижимость, финансовый сектор и простые услуги. Фактически структура доходов консолидированного бюджета является экономической манифестацией того, что государство выступает кочевым, а не «стационарным бандитом», который за счет «опустошения» территории

содержит дефективное и довольно бедное «хозяйство населения», обращающееся в натуральное без такой дотации. В отличие от стационарного, «кочевой бандит» не может быть подконтролен населению и всегда выступает «кормовым» орудием узкой группы лиц, оказывающих таковому не услуги, но милости – добровольные и потому односторонне регулируемые исходя из собственных соображений. При этом само население не может выступать в роли граждан, поскольку не в состоянии создавать по месту проживания продукт, достаточный для собственного содержания, тем более для претензии на гражданскую субъектность, контроль за институтами принуждения.

Наиболее выгодными и почетными статусами в социальной иерархии, доступными свободным людям без наследственного удела власти-собственности, становятся сервисы по извлечению, охранению и обращению ренты, т.е. принадлежность к опричнине и купечеству. По существу, их положение воспроизводит модель перераспределения ресурсов «по принципу концентрических кругов», только в сословном разрезе, когда бенефициарный статус определяется важностью выполняемой в рентоизвлекающей цепочке функции. При этом, институт опричнины, существовавший в том или ином виде почти во все исторические периоды, можно считать определяющим для структуры экономики, воплощением собственно классической функции государства как «стационарного бандита», в «ордынско-московском» прочтении кормящегося кочевыми набегами, не имеющего ограничений, «беспредельного». Его роль в цепочке извлечения стоимости идеологически подкреплена понятием «государева человека» – института, который располагается «в тени» трансцендентного, выведенного за рамки формального права, патримониального центра и наделяется свойствами такового.

Примечательно, что к советскому периоду относится одна из наиболее ярких «реинкарнаций» опричнины – продовольственные отряды, изымавшие «излишки» продовольствия у крестьян (хотя декларативно этот период, в отличие от эпохи собственно опричнины в прямом смысле, принято считать эгалитарным). В этой связи, массовый – а не узкий, элитный – характер репрессий 20 – 30-х гг можно отнести не просто на счет «воли» или совокупности «воль» активных политических субъектов, борьбы за власть между лидерами и пр., а рассматривать замешенными на «токсичных семенах» гражданской войны, проникшей в микросоциальную ткань. Ведомства-исполнители преследований на различных уровнях зачастую сознательно рекрутировали стороны этой войны, внося в исполнение социального заказа элементы «личного счета», «кровной мести», не останавливаясь даже перед эксплуатацией различных застарелых этнических конфликтов. Вероятно, этим же можно объяснить и различное отношение мирного населения к нацистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны, более того, стороны гражданской войны нередко находились и по разную сторону линии фронта.

В условиях примитивного характера производства, не востребующего знание для целей создания ценности, купечество (предпринимательство, даже привилегированное) в сословной иерархии располагается на более удаленной от патримониального центра орбите, является слабой стороной (младшим партнером), остаточным – после опричнины – бенефициаром распределения. Его положение в полной мере обусловлено состоянием «кормовой базы», дефицит/профицит доходов от которой, по сравнению с притязаниями патримониального центра и его силовой функции, относится на счет предпринимательского капитала. Это полностью укладывается в концепцию «условного» характера собственности и до наших дней определяет режим перераспределения («ликвидности») таковой – от возмещения более или менее значимой стоимости в «тучный» период до изъятия с требованием доплаты со стороны предыдущего держателя в «тощий». С другой стороны, и само предпринимательство не является сословием, опосредующим создание ценности, а просто выступает «оператором» в ходе примитивного присвоения ресурсов, в модели «нулевой суммы» его задачей является субсидиарное оттеснение нижних сословий на еще более удаленные орбиты в системе распределения по принципу «концентрических кругов», перекладывая все рентные компоненты цены на потребителя. В силу самого способа производства, труд не выступает школой компетенций и не служит росту стоимости человеческих ресурсов, последние являются скорее необходимым обременением – стандартным и легко восполняемым. В этой связи, предприниматель воспринимается не как «кормилец», создающий рабочие

места и общественную стоимость, а как паразитирующий «спекулянт», являющийся «делегатом» силового ресурса.

Тяготение к монополизации означает, что составной частью экономики предприятия (чем более монополизирована отрасль или рынок, тем в большей степени) имплицитно являются затраты на содержание того силового ресурса, который обеспечивает удержание эксклюзивных рыночных позиций бенефициара. Эти затраты, как по социальной природе, так и по экономическому смыслу, следует отличать от обычного обременения предпринимательской деятельности для содержания институтов публичного управления в общественных интересах, как правило, в виде налогов, поскольку они направлены на обеспечение узкого интереса, потенциально в ущерб общественному. Также их не следует воспринимать как подобные, скажем, лоббистским услугам или банальной коррупции, которые по своей экономической сути сродни расходам на маркетинг и услуги продвижения, оказываемые специализированным сервис-провайдером, легальным или нелегальным с точки зрения формального права. В данном случае роль сервис-провайдера больше подходит самому оператору мощностей, претендующему на примитивное хозяйствование в условиях ограниченной конкуренции, в то время как актер силового «рынка», обладая более эксклюзивным ресурсом, выступает первообразным и «правомочным» бенефициаром извлекаемой стоимости. В этих условиях ответственным партнером по транзакции для любого внешнего инвестора, не являющегося частью системы «концентрических кругов» (прежде всего иностранного), выступает не условный «предприниматель» – держатель активов, а обладатель силового ресурса.

Отсюда вытекает и более общее положение, – деление экономики на государственный и частный секторы лишено содержательного смысла, поскольку само государство при феодальной системе общественных отношений является собственностью частных лиц, получивших в свое распоряжение силовой ресурс еще до легализации собственной власти. В этой связи, государство выступает лишь бессубъектным активодержателем и неизбежно аффилировано с негосударственными хозяйствующими субъектами, поскольку прибыльное хозяйствование требует эксклюзивного положения на рынке, соответственно непосредственного бенефициарного участия в деле силовой группы подходящего уровня. Само деление по принципу номинального правообладателя соответствует парадигме модерна и не позволяет судить об истинной структуре выгодоприобретателей общественной стоимости. Даже в случае, когда они реализуют свои экономические интересы через посредство государственной собственности, сам актив в этом случае остается центром затрат и подвергается декапитализации в ходе хозяйственного взаимодействия с негосударственными контрагентами через механизм трансфертного ценообразования. В рамках такого механизма государственный статус собственности в максимальной степени отвечает частным интересам, поскольку позволяет не останавливаться на конвертации силового ресурса в собственность, а позволяет пойти дальше, путем «приватизации прибыли и национализации убытка». По этой причине уровень защиты инвестиций государства, населения (в финансовых институтах и инструментах) и иностранных инвесторов одинаково ничтожен, – их безальтернативным мотивом выступает не извлечение отсроченной отдачи, а освоение подрядчиком, связанным с бенефициаром ресурсно-силовой корпорации.

Несомненно, обременение силовым «кормлением» выступает дополнительным фактором повышения входного барьера и снижения количества участников рынка, при котором достигается парето-равновесие. Отсюда повышается порог минимальной мощности любого проекта или объекта хозяйствования, при котором обеспечивается целевой уровень общей доходности, формируются стимулы к хозяйственной, инфраструктурной, урбанистической и иной «мегаломании», укрупнению форм жизнедеятельности и управленческих надстроек до социально дискомфортного уровня. Вместе с тем, при том уровне капиталоемкости, который типичен для индустриальной эпохи, устранение такого «кормового» обременения не в состоянии компенсировать естественные конкурентные недостатки и создать условия для развитого рынка, способного абсорбировать критическую массу трудоспособного населения. Таким образом, ресурсное хозяйство по своей природе выделяет избыточный капитал, не находящий доходного применения, – невзирая на общую необустроенность жизни. В этой связи, естественных стимулов к деконструкции феодальной системы хозяйственных и общественных отношений не возникает вплоть до перехода к постиндустриальному способу производства, ведущему к радикальному снижению капиталоемкости общественного продукта.

Через особенности фактической структуры ресурсно-силового выгодоприобретения преломляется категория акционерной стоимости, фундаментальная оценка которой выступает всего лишь отправной точкой для установления «справедливой» цены. На деле последняя определяется положением продавца и покупателя в патримониальной иерархии и включает корректирующий дифференциал, связанный с соотношением их

административных ресурсов – в части, влияющей на стоимость компании или состояние ее «номинального» владельца. Состав элементов таких ресурсов может включать и саму возможность присвоить актив, соответственно оценка ресурса практически стремится к фундаментальной стоимости компании, иначе говоря, в расчетах участвуют не только материальные в прямом смысле слова ценности, но и монетизированные административные «активы». В этой связи, ближе всего к такой стоимости цена сделки между примерно равными сторонами, для лица, лишенного эксклюзивных административных возможностей, полная цена сделки является запретительной. Таким образом, понятие капитализации, основанной на объективной оценке бизнеса и подразумевающей одинаковую цену акции для всех акционеров, является скорее умозрительным, в реальности же адекватна субъективная категория «капитализации акционера», в основе которой «персональная» для каждого цена. По этой же причине котировки на публичном рынке отражают лишь такую «субъективную капитализацию» для миноритарных акционеров, лишенных возможности влиять на управление компанией.

Это является отражением непропорционально низкого отличительного вклада предпринимателя в стоимость бизнеса в условиях примитивного хозяйствования. По существу, чем более выражен такой характер производства, тем ближе к «менеджерской» фактическая стоимостная доля предпринимателя в бизнесе. Этим объясняется такой распространенный феномен, как хищение у собственной компании, а также необычный способ извлечения прибыли – не столько путем прозрачного распределения дивидендов, сколько при помощи трансфертного ценообразования товаров и услуг при их приобретении и продаже в ходе обычной хозяйственной деятельности. Будучи продолжением централизованной патримониальной структуры, совмещающей в одном лице публичные и хозяйственные функции, личные средства и публичные фонды, предприниматели также склонны рассматривать средства фирмы как собственные еще до выплаты дивидендов, что приводит к нарушению прав других стейкхолдеров и причиной корпоративных конфликтов. По этой причине нормальным требованием для контрагентов и финансовых институтов является обеспечение обязательств компании личным поручительством ключевых бенефициаров, дающим право обращения взыскания на личное имущество.

Более того, определяющий характер силового фактора, по сравнению с формальным правовым статусом, для участия в распределении транслируется и на отношение к взаимным обязательствам внутри предпринимательского сословия. Одним из наиболее ярких проявлений такого положения вещей является зависимость фактических акционерных прав и доли акционерного дохода не столько от размера пакета, сколько от участия в менеджменте или наличия внешнего ресурса, критически важного для генерации или защиты такого дохода. Под этим углом зрения следует рассматривать и переплетение владения с управлением – вмешательство собственников в операционный менеджмент, а в случае ослабления такового – вовлечение менеджмента во владение. Это лишь в небольшой степени связано с ценностью, создаваемой последним, – в экономике в основном представлены отрасли, где роль «капитала с компетенциями» невелика, – а является компенсацией за риск оперирования в среде с силовой «токсичностью», кроме того, направлено на снижение стимулов к действиям, могущим нанести основным собственникам вред. В конечном итоге, это повышает роль менеджмента (фактического, а не номинального) по сравнению с пассивным собственником, независимо от доли владения, что отражает их сравнительный вклад в структуру стоимости компании.

Таким образом, основной задачей предпринимателя в системе «концентрических кругов» является перевод – пусть и с потерями – капитала, созданного в ходе присвоения ренты благодаря альянсу с силовым ресурсом и являющегося «условным», в защищенное положение, пользуясь ролью формального распорядителя. Это практически безальтернативно означает вывоз такого капитала в юрисдикции, где он безотносительно происхождения вливается в финансовую систему – нишу низкодоходных и «пассивных» инвестиций, при этом, к «активному» капиталу, определяющему операционную стратегию центров создания стоимости, сообщества с метаинститутом репутации значительно более взыскательны. Таким образом, «сервисный» статус предпринимателя практически исключает возможность рассматривать его как инвестора. В сущности, он зарабатывает как посредник между «истинным» (патримониальным) собственником и конечным потребителем, поэтому избегает реинвестирования – в т.ч. по причине скудного инвестиционного предложения. Долгосрочные инвестиции он стремится осуществлять из источников, полученных за счет встречных, персональных льгот от патримониального центра либо из заемных средств, в качестве предмета залога использует сам объект инвестирования или активы, которые и так находятся под угрозой отчуждения. Вложения за счет собственных ресурсов он рассматривает как настолько рискованные, что ожидает аномальной доходности, но в принципе готов к их полной потере. Это востребует в качестве

предпринимателей людей, по психотипу схожих с чиновником, чуждых риску вообще, либо «фартового», граничащего с криминальным образцом, с экстремально коротким инвестиционным горизонтом.

В этой же связи, финансовый рынок выполняет функцию вторичной ликвидности финансовых инструментов, привлечение капитала здесь также чаще всего связано с финансированием приобретения активов на нераздельном «финансово-административном» рынке и лишь в незначительной мере предназначено для прямых капитальных инвестиций, имеющих целью создание ценности. Это также означает, что эффективный контроль всегда должен оставаться за группой владельцев, располагающих доступом к административно-силовым рентам, поскольку обладание ими не может быть передано финансовому инвестору посредством купли-продажи акций, но является основой акционерной стоимости. Более того, де-факто внутренний рынок инвестиционных активов опосредуется латентным, неформальным «деривативом» вроде «административного варранта» – права инвестировать в актив, аккумулирующий стоимость какого-либо дефицитного ресурса или искусственно созданных рыночных искажений, которое приобретает у их правообладателя – патримониального центра. Примечательно, что величина такого варранта тем ниже, чем выше сложность бизнеса и доля личного вклада предпринимателя в его стоимость.

В этих условиях финансовые институты в принципе не могут выполнять свои классические функции – трансформации и диверсификации рисков, поскольку более или менее все риски в экономике гарантируются одним субъектом, им же авторизуются ключевые проекты, любой риск в конечном итоге связан с ним. «Портфель рисков» имеет бинарную структуру, состоящую из вложений, подверженных патримониальному риску, и выведенных из-под действия такового, соответственно диверсификация рисков представляет собой поиск оптимального соотношения этих двух типов вложений. Логика «риск-доходность» преломляется через призму оценки уровня патримониального риска как фактически запретительного, но готовность его принять выступает формой «финансовой присяги» обладателю силы. К активам, подверженным такому риску, относятся любые вложения, находящиеся в зоне легальной видимости, вне зависимости от правовой формы собственности эмитента обязательств, на фоне этого риска возрастает приемлемость высокорискованных спекулятивных или даже «пирамидальных» финансовых стратегий, содержащих адекватный уровню риска потенциал доходности.

Банковская система теоретически играет роль «репатриации» в патримониальную финансовую конструкцию свободных, выпавших из нее за счет системной «течи» исторических накоплений. Однако фирмы и домохозяйства предпочитают наличный – в т.ч. нелегальный – денежный оборот тотальной беззащитности, что является, возможно, наиболее яркой экономической проекцией «ордынского» архетипа отчуждения и латентной альтернативной солидарности. Индивид вообще старается «не связываться» с инословными рынками и вообще вступать в межсловные хозяйственные отношения, в которых его интересы заведомо не защищены, что в еще большей степени углубляет фрагментацию экономического пространства. Он также мало отзывчив на материальные стимулы, обусловленные результатом, не доверяя их гаранту и не веря в объективную возможность достижения результата своими силами, в большей степени ориентирован на мотивации, связанные с динамикой собственного словного положения, которое единственное обеспечивает уровень достатка. Тем самым, уверенность индивиду придает только такой статус, который позволяет одновременно формулировать задачи, контролировать их исполнение и оценивать результат, т.е. в позиции конфликта интересов.

Исключительный статус *опричинны* цементируется сочетанием внутренней противоречивости законодательства и избирательного правоприменения, что фактически обрекает население находиться «на грани закона», избегать коллективного действия и принимать корпус неформальных «понятий» как способ защиты частных интересов. Оно с одной стороны беспрекословно, на основании права силы, принимает установления власти в качестве критерия одобряемого поведения, а с другой – не считает себя их ответственным соучастником или источником легитимности, в публичных отношениях рассматривает себя объектом и лишь в частной жизни субъектом. Это способствует отторжению индивидом активного, субъектного участия в жизни общества как заведомо негативного раздражителя, несущего риски, утверждает словные границы и препятствует кооперации.

Выходя из зоны «публичной видимости», индивиды склонны активно участвовать в «параллельном», непрозрачном для власти хозяйственном обороте (в форме т.н. «гаражной» и «приусадебной» экономики) и даже альтернативных, латентно протестных формах общественной солидарности, иногда в рамках

криминальных групп. Более того, обитатели «внешних орбит» любых сообществ – от ведомственной вертикали до частной компании – и удаленные от непосредственного участия в распределении рентных ресурсов, склонны к солидарности скорее друг с другом, чем со своим патримониальным центром, в некотором роде, даже солидарности против собственного работодателя. С точки зрения форм организации жизни, часто эти же индивиды составляют уклад урбанистической архаики (см. далее) и имеют склонность к образованию горизонтальных связей на основе «альтернативной», по отношению к патримониальной, силы перед лицом общего противника, т.е. потенциально способны к промежуточной, ограниченной трансформации сознания, архетипически относимой к национальной формации эпохи модерна. В этой связи, система отношений, складывающаяся вокруг mzды, с точки зрения экономики общественного блага не всегда тождественна кормлению. В основе последнего приватизация полномочий государства (возможно, иного ресурсоемкого субъекта) и их монетизация в личных интересах, – в то время как часто эти отношения выступают искривленной формой платы за общественное благо. Так, они могут опосредовать побуждение должностного лица к действию в рамках его полномочий, вполне отвечающему общественным интересам, – однако при этом призваны компенсировать диспропорцию в аллокации ресурсов внутри аппарата создания такого блага, в силу которой обделенным остается прежде всего звено, непосредственно ответственное за создание блага. Однако общность интересов обитателей «внешних орбит» носит вынужденный характер, не основана на самодостаточном хозяйственном укладе и потому неустойчива, а в случае изменения места индивида в «рентоизвлекающей» цепочке происходит соответствующее смещение «лояльности» и воспроизводство «ордынского» архетипа общественных отношений.

Наиболее заметным индикатором влияния института опричнины на современный рынок труда является процент трудоспособного населения, даже в условиях дефицита трудовых ресурсов занятого в охранной деятельности, правоохранительных структурах и надзорных органах (порядка 10%, вместе с прочими служащими органов государственной власти и местного самоуправления до 15%). Такой имплицитный индикатор стоимости услуг по защите активов является запретительным для рыночной экономики с ее распределенной (а не иерархической) структурой хозяйствования и показывает цену критически низкого уровня горизонтального доверия между акторами, может рассматриваться в качестве оценки величины транзакционных издержек. В этих условиях, по принципу экономии на масштабе, со стороны участников хозяйственного оборота возникает запрос на концентрацию мощностей по защите активов и централизованное гарантирование рисков в экономике в той или иной форме. Таким образом, даже из деконструированного состояния силовые «сервисы» тяготеют к консолидации, на различных этапах принимая вид частных группировок (например, криминальных) либо формально публичных институтов, лояльность непосредственному работодателю у их представителей часто совмещается с корпоративно-сословной. При таком уровне концентрации функции охранения, опричнина из сервисного института превращается в принципала и непосредственно участвует в разделе собственности, что становится фактором непрерывного углубления архаичности и примитивности бизнеса.

В развитой рыночной экономике подавление транзакционных рисков обеспечивается прозрачностью хозяйственной деятельности, за которую отвечает соответствующая группа институтов – аудиторские и юридические компании, рейтинговые агентства, биржи и т.д., распространение которых влияет и на образ поведения небольших фирм, непосредственно не прибегающих к их услугам. Однако на российской почве из институтов они превращаются в нишевых сервис-провайдеров, поскольку в качестве инструмента обеспечения делового доверия должны иметь основой метаинститут независимой, «горизонтальной» репутации (антагонист сословного статуса), очаги которого в «ордынской» практике системно подавляются «вертикальными» структурами или кооптируются ими в свой состав.

В рамках модели ресурсно-силового хозяйствования, центральным элементом аппаратом управления хозяйствующего субъекта любой формы собственности становится служба безопасности. Ее предназначение меняется в зависимости от того, принимает феодальная «матрица» в целом централизованный вид или находится в состоянии «феодальной раздробленности». В первом случае этот аппарат служит частью патримониальной стволковой вертикали, являющейся силовой и «кормовой» одновременно, и обеспечивает связь с ее материнской, публичной структурой, проникновение таковой на микрохозяйственный уровень. Во втором случае кэптивный силовой аппарат больше выполняет роль защиты от угроз по горизонтали, в т.ч.

физических. В обоих случаях силовая структура играет основополагающую роль в позиционировании в рамках «пищевой цепочки», поэтому претендует на роль полноправного «кормового» бенефициара.

Наконец, одним из важнейших имманентных свойств опричнины, благодаря привлекательности сословного положения и доступности навыков тяготеющей к неограниченному расширению, является склонность к постоянному наращиванию «кормовой базы». Это обуславливает давление на центры извлечения ресурсов не только внутри страны, но и за ее пределами, непрерывную военную активность, в особенности, по итогам благоприятных с экономической точки зрения периодов, численно увеличивающих это сословие. Нормативно низкий спрос на инвестиции со стороны ресурсной экономики увеличивает сравнительную привлекательность вложений в подчинение новых ареалов кормления по сравнению с обустройством внутреннего пространства.

7.4 Экономический уклад старообрядцев и его современные проявления: автохтонная альтернатива модели концентрации ресурсов

Единственную комплексную альтернативу «ордынскому» ответу на естественные вызовы конкурентоспособности с его экстремально экстрактивными институтами представил уклад *староверов*, влияние которого со временем не только не уменьшается, а нарастает. Эта общность народилась в межеумочный период между Новгородом и Петербургом, в ходе церковной реформации, когда раскольники, не принявшие никонианский канон, ушли на отдаленные земли Урала, Сибири и севера. Эта волна колонизации отдаленных земель, хотя и стала одной из крупнейших, тем не менее, не была ни самой многочисленной, ни даже первой или последней, – однако несомненно именно она принесла сюда наиболее целостный ценностный, социальный и хозяйственный лад, жизнеспособный для выживания и преуспевания в суровых условиях. Именно он стал образцовым для общностей освоенных городской цивилизацией краев на Урале и к востоку от него, – в то время как делегаты централизованных колониальных проектов здесь во все времена вставали перед выбором отстроиться от центральной администрации и обрести местную идентичность, или смириться с ролью не допущенного в локальное сообщество, маловлиятельного медиатора с такой администрацией. Что касается сугубо экономической подоплеки гонений на староверов, нет оснований не рассматривать их в контексте общей закономерности, – формациям преמודерна свойственно культивировать некоторый корпус идеократических легенд для репрессий, которые наряду с войнами, голодом, эпидемиями служат регулированию численности популяции в условиях жестко ограниченных ресурсов, в данном случае плодородных земель. Острота конфессионального размежевания может также иметь отношение к накопившемуся недовольству привилегированным положением духовенства в период ордынского ига, – это отражает напоминая европейскую реформацию нестяжательская мысль, – при этом землевладельческие права церкви так и не подверглись существенному пересмотру после освобождения. В этой связи, русский церковный раскол можно расценить как «реформацию наоборот»: социальная этика Нового времени нашла оплот в лице укорененной и контрэлитной, а не насаждавшейся властью новой догматической системы. Поскольку и европейская реформация выступила этической платформой индустриальной эпохи, ожидаемым образом в России опорой новой хозяйственной формации стало именно старообрядчество. Отсюда этот феномен помещается в европейский контекст: следует учитывать, что вплоть до Второго ватиканского собора в начале 60-х гг XX века наиболее архаической трактовки католической социальной доктрины придерживался практически весь юг и восток континента. В то же время, русские столицы предреволюционного и первого постреволюционного времени – в ряду наиболее передовых в мире – были гальванизированы передовыми в глобальном контексте мыслью и искусством, которые находили опору в лице предпринимателей-староверов.

Будучи жестоко гонимыми, староверы были обречены на обитание в местах с экстремально суровыми природными условиями, до этого считавшихся непригодными и потому потенциально лучше защищенных. Таким образом, с экономической точки зрения, и географическое положение, и климатические особенности ухудшают изначальные условия «балансового уравнения», даже по сравнению с «ордынским» вариантом. Однако, в силу вызовов выживания, ответ уклада староверов на конкурентные недостатки оказался противоположным и привел к формированию экстремально инклюзивной среды. Таким образом, если трансфер европейских образцов на уровне элит в основном локализовался собственно на метропольной, европейской территории России и привел к появлению элитистской интеллигенции как хранителя таковых, то низовые практики хозяйственного самостояния, просвещения и самоуправления первоначально нашли всеобщее распространение восточнее этой территории. Более того, благодаря староверам в недрах русской цивилизации образовался уклад, сравнимый с «ордынским» по силе социальной гравитации и альтернативный таковому по сути, – экстерриториальный, трансконфессиональный, трансэтнический. В лоне этого уклада – во взаимодействии со староверами или без такового – находили себя родственные им в социально-поведенческом отношении архетипические элементы. Так, в этой нише сформировались и ширились народническая интеллигенция и институты земства, в нее вписались утесненные после падения Новгорода артельные традиции общностей русского севера, в ней нашли себя такие разные, но ключевые с точки зрения социальной динамики части русского общества, как передовое крестьянство и русские евреи. Примечательно, что чрезвычайно многочисленное еврейское население «досталось» Российской империи в основном в результате западных территориальных приобретений, – так что в некотором роде евреи и староверы составили два симметричных с точки зрения географических флангов «потока пассионарности», довольно синхронно надвигавшиеся на метропольную, «ордынскую» Россию. В значительной степени «снизу» поступь модерна в дореволюционной России опиралась на эти две силы при очевидно ведущей роли староверов, – в то время как усилия официальной петербургской имперской администрации по-прежнему носили «витринный» характер, в лучшем же случае сводились к масштабированию институтов, характерных для старообрядческих общин.

Эксплицитное социальное значение эти общности сохраняли вплоть до начала коллективизации, их последующие судьбы также схожи значительным размыванием идентичности перед лицом восстановления «ордынской» матрицы, однако имеют и существенные различия. Так, потомки староверов до сей поры формируют отличный от метропольной России социально-поведенческий тип на Урале и восточнее, хотя их влияние на социальный портрет торговых городов Центральной России в значительной степени уже размыто многочисленными волнами урбанизации за счет выходцев из малоземельных крестьян. В то же время, выходцы из черты оседлости – как и прочие пораженные в правах при монархии – активно участвовали в революционном движении и весь довоенный период пользовались пришедшими в движение социальными лифтами. Однако аналогичное массовое социальное восхождение выходцев из безземельных крестьян «ордынской» России вызвало ожесточенную борьбу за власть, которую можно считать видимым элементом де-факто продолжавшейся гражданской войны. В преимущественно крестьянской стране на всех уровнях власти, прежде всего на самых массовых, нижних этажах, она несла отпечаток личных счётов «всех ко всем», которые накопились, передаваясь от поколения к поколению, в результате многочисленных переделов земли и имущественного расслоения на селе за прошедшие с отмены крепостного права 70 лет – в особенности в период общины и после Октябрьской революции – и создали благодатную почву для разжигания неизбирательных репрессий. В силу исторической отчужденности от земли евреи первоначально не воспринимались крестьянами в качестве заинтересованной стороны в борьбе за земельные ресурсы. Более того, малоземельные губернии Центральной России находились вне черты оседлости, и крестьяне здесь практически не имели опыта сожительства с еврейским населением. При этом они привыкли относиться к любой власти как к неизбежной инородной сущности, фактически не ассоциировали себя с ней невзирая на ритуальное почитание – в связи с чем не выказали какой бы то ни было поддержки патриархальной монархии при ее падении, хотя среди ее противников было немало иноверцев и инородцев, – тем более что в целом нижние сословия империи роднила история поражения в различных жизненно важных правах. Евреи же, напротив, ассоциировались с дореволюционными левыми силами, позиция которых по земельному вопросу

отвечала чаяниям малоземельного крестьянства, – в особенности на фоне стремительно утрачивавшей авторитет монархии, ее военной и гражданской бюрократии, праздной землевладельческой знати, высокомерия элитистской интеллигенции.

В период НЭПа эта повестка фактически была реализована, – однако, как уже отмечалось, императив индустриальной эпохи не оставлял шансов частному аграрному хозяйству в России в долговременной перспективе (см. выше). В этой связи, в составе административного и силового аппарата большевистского режима выходцам из «местечек» выпало принимать деятельное участие в реквизициях продовольствия до и после периода НЭПа, водворении колхозного строя – а равно в деятельности военной и полицейской машины в ходе красного террора, ожесточенной фазы гражданского противостояния. Особенно болезненным это было для крестьян в зажиточных аграрных регионах Черноземья, Украины и в целом Евразийской степи, которые были богаты продовольственными ресурсами – основным экстрактивным «резервуаром» индустриализации. Их варварское изъятие вызвало здесь массовый голод, – хотя и имело целью снабжение индустриальных центров, накопление капитала от экспорта продовольствия для инвестиций в ускоренное создание промышленности перед лицом небывалой гонки военных организаций на европейском континенте. При этом изначальные ожидания зажиточных крестьян от новой власти не простирались дальше снижения фискального бремени, расширения хозяйственных свобод, представительства и самоуправления – вплоть до обретения независимости. Самодостаточное хозяйство на основе продовольственной ренты было локальной утопией времени и места, – эта идея была характерна и для противников сворачивания НЭПа в СССР, – однако она повсеместно разбилась о невозможность сохранить субъектность без индустриального производства в условиях ускорения военной гонки. Тем не менее, такой запрос был типичен практически для всего аграрного пояса Европы – деформированных морских кочевников юга и востока континента, – в то время как города промышленного севера, так же как и в России, уже с конца XIX века были охвачены рабочим и революционным движением, которое имело целью радикальное изменение сути общественных отношений. Наступление на интересы зажиточного крестьянства в довоенный период вызвало в регионах его доминирования повсеместный всплеск антисемитских настроений, страх перед аналогичным наступлением охватил практически весь аграрный пояс Европы, особенно ранее находившийся в поле гравитации Российской империи восток континента. Это впоследствии повлияло на очертания фашистского пояса и дало себя знать в ходе второй мировой войны, – тем более что в большинстве этих мест еврейское население исторически было многочисленным. Примечательно, что и после Холокоста антисемитизм здесь не ушел в прошлое и преобразился в государственный: по итогам второй мировой войны значительная часть этого пояса вошла в состав СССР или социалистического лагеря. Такая экзистенциальная межумочность манифестирует шаткость основы государственной субъектности у общностей этого региона и их архетипическую принадлежность к деформированным морским кочевникам.

Представленность евреев среди довоенной большевистской элиты во многом виделась разным сторонам фронтального гражданского противостояния за землю и продовольственные ресурсы ответной реакцией на притеснения и погромы в период царской власти. К выгоде Сталина и его выдвиженцев – силовиков, бюрократов и технократов – это придавало борьбе за власть с первым поколением ярких революционных вождей оттенок очередного реванша в затяжном этническом конфликте. В результате евреи, представленные в составе репрессивного аппарата, оказались также и среди приоритетных жертв такового и были практически устранены из властной элиты, а уже с 30-х гг и до конца советского периода государственный антисемитизм стал нормой внутренней политики. Наиболее динамичное еврейство заняло видное положение в социальных нишах, характерных для родственной части русских и примыкающих архетипов, – среди элитистской и народнической интеллигенции, артельных промысловиков старообрядческого типа, восточноевропейских и кавказских торгово-посреднических и ремесленных укладов. Такая архетипическая структура еврейского населения до сих пор сохраняет актуальность на всем постсоветском пространстве, – более того, она характерна для всего мира, за исключением крупных компактных поселений, где этническая гомогенность имеет следствием также и социальную, прежде всего в Израиле и США. Нацистская интервенция привела к резкому численному истончению еврейского населения Советского Союза в местах наибольшей концентрации – на западных окраинах, – а послевоенная репатриация имела следствием повсеместное распространение этой тенденции.

Коллективное сознание старообрядцев формировалось вокруг стремления к сохранению самостояния и личной свободы, коллективного вооруженного противостояния жестоким гонениям со стороны общего, многократно превосходящего по силе притеснителя вне иерархических структур, что

способствовало утверждению представления об ограниченной эффективности, вынужденности и нежелательности применения силы. Ввиду отсутствия ощутимой ограниченности в земельных ресурсах в местах изгнания не наблюдалось характерных для Центральной России предпосылок для борьбы за их количество. Эту особенность можно отнести к числу фундаментальных сходств с условиями возникновения американского фермерского уклада, – более того, разнесенность рынков сбыта создала здесь основу для некоторой торговой активности вдоль основных речных артерий и накопления предпринимательского капитала. Наконец, указанные сходства дополняют также архаичные семейная этика и религиозные представления. Однако существенным отличием условий зарождения старообрядческого уклада от американских являются сравнительно низкое качество земельных ресурсов и необходимость выживать в суровых природных условиях. Это закладывает установку на солидарность, коллективизм в распоряжении собственностью и общинном управлении, так что ни склонности к огораживанию, ни отчуждения от социальной жизни здесь не возникает, – эта организация общества скорее напоминает «прямую демократию» протестантов в ее швейцарском варианте. Еще одно существенное отличие от первых американских поселенцев состоит в стремлении к оседлости, ввиду бесперспективности попыток расселения на более привлекательных территориях, оставление «зоны комфорта» здесь имеет основой желание обустроить таковую в безопасности, а не авантюризм и склонность постоянно искать новые возможности, к которой на американском континенте предрасполагает подчинение силового ресурса власти интересам индивидов, а не ее собственным. Отличается уклад староверов и от характерного для крестьян средней полосы и Евразийской степи с их плодородными землями и высокой плотностью населения, – что также формирует установку на коллективизм, норму короткой социальной и транзакционной дистанции. В то же время, благоприятные условия здесь позволяют иметь меньше предметов совместного хозяйственного ведения, а главное – обходиться без свойственной староверам инновативности, придерживаться традиционных технологических приемов. Отсюда если старообрядцы тяготеют к образованию модернистских общностей короткой дистанции, то крестьяне средней полосы и юга – аналогичных архаических, схожих с деформированными морскими кочевниками.

Наконец, старообрядцы – яркий пример сообщества с открытым доступом, где отличительные особенности и трудолюбие индивида считаются возможностью выживания для всех, что свидетельствует о возникновении категории человеческого капитала, даже в более выпуклом виде, чем в рамках новгородской цивилизации. Это принципиально противоположно роли человека в образующей сообществе закрытого типа рентной экономике, где он лишь ограниченно влияет на результат, поэтому господствуют отношения «пищевой конкуренции», а претензия на отличительную ценность становится поводом для поражения в правах доступа к распределению. По этой причине, в дальнейшем общины раскольников становятся скрытым оплотом самостояния всероссийского масштаба: по социально-хозяйственному образцу староверов, по соседству или даже в содружестве с ними возникают поселения других конфессиональных и этнических групп. На отдаленных землях находят убежище участники бунтов, скрывающиеся от помещиков физически крепкие и деятельные крепостные, ссыльные, вольные казаки, предприимчивые евреи из-за черты оседлости, а впоследствии освобожденные, но безземельные крестьяне из Центральной России, бежавшие от коллективизации «кулаки» из Черноземья. К середине XIX века, по некоторым данным, старообрядцы составляют около трети населения, что, с учетом неравномерности расселения, означает их доминирование на малонаселенных территориях и вдоль речных транспортных артерий. Последними яркими страницами в истории старообрядцев как крестьянства можно считать их вклад в экономический подъем времен столыпинских реформ и НЭПа. Таким образом, не вполне корректно подчеркивать конфессиональную принадлежность как коллективный маркер этого весьма гетерогенного уклада на протяжении всех этапов его эволюции, – «титул» здесь скорее относится к цементирующим его поведенческим установкам.

В современной России социальный и хозяйственный оборот в значительной степени обратился в характерное для преמודерна состояние, – среди прочего, это принесло самостоятельную, неучтенную поселенческую и хозяйственную активность небывалых масштабов. В рамках этой формации – в полном соответствии с нормами преמודерна – хозяйственный оборот сосредоточен в пространстве короткой дистанции, в котором отношения рыночного обмена маргинальны. Такое поведение в полной мере можно охарактеризовать как рациональное: рыночный оборот, отношения длинной дистанции находятся в поле видимости патримониального центра, а ценообразование включает многочисленные рентные обременения. Более того, при необходимости акторы неформального оборота с успехом вовлекают в него и лиц, задействованных в институциональном обороте. Тем самым они пользуются мощностями официальных учреждений – медицинских, образовательных, коммунальных, правоохранительных – посредством их сотрудников, однако на своих ценовых условиях.

Примечательно, что в ареалах высокой концентрации модернистских сообществ, таких как север (псковско-новгородского генезиса, см. выше) или Урал, Сибирь и некоторые очаги на Дальнем Востоке (со значительным старообрядческим влиянием) сформировались общности, напоминающие распространенные в Европе – с провинциальной, а не общенациональной идентичностью – и имеющие ряд существенных признаков, позволяющих рассматривать их как протонациональные образования. Идентификационные маркеры таких общностей могут быть региональными либо русскими (но в узком смысле, как некая «исконная», «коренная» или особая, местная русскость), а в ряде случаев определяться даже через «опозицию» к России как «большой земле», вероятно, в смысле «ордынской» России (встречается в некоторых местах на Дальнем Востоке). Отторжение вертикальных патримониальных институтов в общностях с высоким уровнем горизонтальной солидарности причудливым образом отзывается негативным бытовым отношением к москвичам, что, по всей вероятности, отражает архетипическое представление о Московии как источнике подавления.

Длительный опыт совместного бытования и обустройства в особо суровых природных условиях под давлением притеснений, а также сравнительно высокий профессиональный и образовательный стандарт, необходимый для высокой производительности труда и, в конечном итоге, выживания, сформировали здесь плотную среду горизонтальных связей между индивидами, что привело к размыванию социальных и этнических границ в довольно гетерогенном, в этом отношении, социуме. Тем самым, индивид вступает в социальные отношения как самооценная единица – носитель определенного рода занятий, в противоположность «ордынской» реальности, где он не является субъектом воли и человеческого капитала, потому нуждается в идентификации посредством неотъемлемых характеристик (этно-конфессиональных, семейных, клановых и пр.) и примыкает к группе с закрытым доступом, отличаемой личной лояльностью. На этом примере выпукло проявляется противоположность протомодернистского явления нации и архаического явления родоплеменной группы.

Важным экономически значимым признаком нации и модернистской общности вообще, основанной на профессиональной компетенции и профессиональной репутации, является потребительское предпочтение некоторой линейки продуктов местного производства (не природного происхождения) по сравнению с ввезенными извне с сопоставимым соотношением цены и качества. Наиболее массовое и диверсифицированное, с точки зрения продуктов, проявление такого типа поведения характерно для Санкт-Петербурга, однако в целом имеет распространение во всех вышеприведенных общностях. При этом, в силу неконкурентоспособности материального производства, в этой линейке необычно высок удельный вес «продуктов» науки, культуры и образования. Напротив, в ареале бытования «ордынского» уклада, с его дефективным внутренним рынком и слабыми трудовыми навыками, любой местный продукт чаще всего воспринимается как ущербный, потребляемый за недоступностью лучшего, утверждение о превосходстве такого обычно является следствием невозможности позволить себе другой.

Специфической особенностью, без которой балансирование экстремальных естественных конкурентных недостатков было бы невозможным, становится крайне эгалитарное распределение. Из высокоразвитых человеческих сообществ такое распределение и институциональная организация характерны для израильских киббуцев, также создававшихся бежавшими от жестоких гонений для обустройства практически в пустынной местности. До некоторой степени это также сопоставимо со скандинавской моделью, в рамках которой свобода коллективного («артельного») предпринимательства и солидарность стали ответом на низкую плотность населения и довольно суровые климатические

условия. В сущности, это экономика общественного блага, где любые потребности человека – от простейших до наиболее продвинутых, говоря современным языком, как в торгуемых, так и неторгуемых благах – удовлетворяются в порядке кооперации индивидов, а не посредством товарно-денежных отношений. При этом чрезвычайно густая сеть горизонтальных связей делает хозяйственный уклад староверов средой с самым высоким уровнем доверия, наименьшими из возможных транзакционными издержками и стоимостью публичных институтов. Изначально складывается и неуклонно расширяется социальный стандарт, причем в самой модернистской форме – как инвестиции в человеческий капитал. Так, это выражается в распространении повсеместной грамотности, – примечательно, что и у протестантов развитие всеобщего начального образования на заре Нового времени происходило под легендой распространения священных текстов, в связи с их переводом на национальные языки. В позднейшие времена стандарт развития человеческого капитала охватывает здравоохранение и социальную помощь, зарождается институт взаимного кредита, благодаря которому происходит быстрое освоение и внедрение любых технических усовершенствований, накопление капитала и рост торговли длинного цикла. Развитие протоинститутов позволяет опереться на третий важнейший фактор эффективности, который в заданных условиях является критически важным для выживания, – производительность труда.

Будучи основан на собственности и коллективном действии, к моменту ослабления гонений хозяйственный уклад староверов уже напоминает европейскую общность – на базе соединения некоей имитации морского кочевого архетипа, занятого речной торговлей и промышленностью, с образованным индивидом оседлого образца. Ввиду наличия капитала и преобладания свободного населения, они единственными оказываются в состоянии своими силами, без использования крепостного труда, организовать современное производство на европейской территории России. Его отраслевая структура по-прежнему определялась влиянием естественных конкурентных недостатков массового производства и во многом имела отношение к военному заказу, впоследствии также вовлечению в хозяйственный оборот новых минеральных ресурсов (сталелитейная промышленность), однако позже стала ориентироваться также на внутренний спрос. При этом, осведомленность о емкости внутреннего рынка и качестве трудовых ресурсов, ограниченности возможностей размещения капитала, даже в наиболее густонаселенных регионах Центральной России, побуждает старообрядческую элиту перейти к освоению крупных городов как «хабов» человеческих ресурсов. Здесь она – возможно, наиболее крупная среди автохтонных русских общностей – проявляет существенные признаки морского архетипа эпохи модерна как социального медиатора, а также «промоутера» городского архетипа. В этой связи, практически все крупные города, исторически задействованные в речной торговле, прежде всего, на Волге, – Нижний Новгород, Самара, Казань и др. – испытали глубокое влияние староверов. Однако наиболее обширным их присутствие оказалось в Москве, которая в имперский период являлась «провинциальной столицей» – несколько удаленной от элитного, в т.ч. конфессионального, «мейнстрима».

Влияние старообрядцев лежит в основе актуального в этих городах коммивояжерского поведенческого типа, который даже в отсутствие конкурентоспособного продукта склонен вовлекать в рыночный оборот любые блага и услуги – материальные, эстетические, административные. Это тем более замечательно, что все указанные города с точки зрения происхождения, географического положения и сопутствующих особенностей хозяйствования относятся к «ордынской» Московии – аутентично ресурсно-силовой и сословной. Таким образом, историческая миссия староверов становится незаменимым фактором ослабления влияния социальной «матрицы степного кочевника» на человеческий потенциал «канонической» территории этой матрицы – в Центральной России и Поволжье. Ростки морского архетипа, основным навыком которого является медиация, в большинстве крупных городов обеспечили сравнительно мягкую абсорбцию, «переплавку» масс архаического населения в ходе урбанизации беспрецедентных масштабов, развернувшейся в XX веке (см. далее). Благодаря

восприимчивости к вертикальной мобильности и новизне, Москва сумела адаптировать и применить к собственной пользе этот процесс, благодаря чему оказалась более органичной в роли столицы, чем Петербург, выпестованный как общество закрытого доступа и испытавший разрушение традиционного уклада. Любопытно, что испытавшие влияние староверов общности, отторгая какое бы то ни было силовое давление, тем не менее, не уделяют значительных творческих сил сопротивлению патримониальной вертикали, поскольку механизм их социального поведения позволяет образовывать в различных областях жизнедеятельности насыщенную альтернативную ткань горизонтальных связей, в контексте которой указанная вертикаль выглядит маргинальной. Напротив, образованный слой в Петербурге выводит собственное социальное положение практически исключительно из отношения к силовой корпорации, к которой обращается и с которой разделяет понимание реальности как сконструированной единой волей, поэтому модус соприкосновения двух элитных сословий характеризуется высокой конфликтностью, а развитие – чередованием кратковременных драматических скачков и длительного застоя.

Вероятно, сочетанием «ордынского» и старообрядческого начал – практики ресурсного кормления, отсутствия конкурентоспособного продукта, запретительных рисков, с одной стороны, и коммерческого духа, склонности торговать, изобретательности, с другой, – можно объяснить необычайно широкое распространение в Центральной России причудливых рынков административной ренты и сословных статусов, склонность моноцентрической ресурсно-силовой вертикали к декомпозиции на «феоды», находящиеся друг с другом в «рыночных» отношениях согласования интересов. В определенной степени этот архетип аналогичен киевскому, непосредственно основанному на деформированном морском кочевнике, признаки которого в полной мере характерны для современной украинской элиты. Это заметно контрастирует с петербургской ресурсно-силовой «матрицей» – тяготеющей к единству и корпоративизму, где внутренние противоречия носят не характер «кормовой» конкуренции самостоятельных субъектов, а скорее «придворных интриг за близость к августейшей особе» – сакральному главе нераздельной корпорации. В этой связи можно утверждать, что на весь имперский период центр «ордынской» модели концентрации ресурсов сместился в Санкт-Петербург вместе со столицей, а в после революции вновь вернулся в Москву. По этой причине обе столицы сочетают существенные черты вертикальной и горизонтальной «матриц», степного кочевника с городским архетипом – с той существенной разницей, что в Москве они эволюционировали под сильным старообрядческим влиянием, которое принесло также и коммерческие привычки. Довольно плотный альянс образованного слоя с зарабатывающим, являющийся типичным для Москвы, как бы навязывает свой мягкий, компромиссный, «торговый», договорной стиль поведения также и силовой корпорации, интегрирует ее в себя. Однако собственная ценностная цельность интеллигенции при этом также временами может подвергаться эрозии, что приводит к некоторому этическому релятивизму, модус «частных» договоренностей на «индивидуальных» условиях превалирует по сравнению с коллективной и принципиальной позицией. Напротив, в Санкт-Петербурге интеллигенция не может рассчитывать на поддержку «кормовых» корпораций за отсутствием таковых в качестве отдельной социальной сущности, поэтому вынуждена состоять с антагонистической ресурсно-силовой в сложных отношениях, в которых вынужденные для обеих сторон альянсы сменяются принципиальным противоборством. Силовая корпорация здесь архетипически выступает как монолитная, в связи с чем и интеллигенция конституируется как достаточно мощная, более или менее единая, «корпорация».

При этом интеграция с «ордынской» экономической системой, основанной на извлечении и распределении ренты, дала «экономике староверов» доступ к новому источнику извлечения стоимости и позволила реализовать конкурентное преимущество плотной среды горизонтальных связей (зачастую пользуясь регуляторными изъятиями), что ускорило развитие общинных институтов. Одновременно распределение перестало быть экстремально эгалитарным, большинство крупнейших сформированных без крепостного труда состояний в России принадлежало старообрядцам, изоляция и самоизоляция их общин ослабла. В предреволюционный период они доминируют во всех отраслях экономики за рамками «ордынского» уклада (т.е. наследственных земель Центральной России с обезземеленным крестьянством), застраивают центры крупных русских городов, а в городах Урала и Сибири практически становятся правящим слоем. При этом, усвоенные веками поведенческие навыки сохраняют актуальность

и становятся основным двигателем экономической модернизации – промышленной революции, развития торговли, финансовых, образовательных и мирового значения культурных институтов, первичного звена здравоохранения и местного самоуправления (земств).

Значительная часть институтов распространения знания в местах их влияния возникает благодаря меценатству, как частное или общественное начинание, более того, это вызывает «альтернативный почин» со стороны других предпринимателей и сообществ, что заметно контрастирует с петербургской практикой «императорских заведений» – единичных, витринных, служащих атрибутом патримониальной власти, заимствованных. В некотором роде петербургская и старообрядческая модели институтов развития человеческого капитала своим генезисом напоминают соответственно континентально-европейскую и американскую. Однако для староверов как активных реципиентов передовых образцов модель догоняющего развития не являлась органичной, в противовес петербургской традиции, – для них характерна типичная для морского архетипа соревновательность, заимствование не для подражания, а только ради преодоления отставания «одним скачком», чтобы следующим шагом обрести первенство. Этот контраст стал особенно заметен в ходе социальных потрясений начала XX века, вызвавших массовый отток представителей традиционных элит из страны, прежде всего, Петербурга, одновременно с чем Москва становится мировой столицей авангарда и испытывает приток интеллигенции этого направления, традиция которого еще в дореволюционный период культивировалась пионерским подвижничеством предпринимателей-старообрядцев. Старообрядческая элита явилась важной движущей силой институциональных реформ, начиная с конца XIX века, а также спонсором движений, игравших ведущую роль в революциях начала XX века, хотя после них ее представители вынужденно оказалась в эмиграции либо среди жертв национализации, коллективизации и последующих репрессий. Фактически уничтожение русского крестьянства как важнейшего элемента социальной матрицы – источника трудовых ресурсов с привычкой ответственного хозяйствования, связанного с длительным операционным циклом, – во многом пришлось на общности старообрядческого генезиса.

При этом, даже в советский период высланные в 30-х гг, а также покинувшие лагеря представители интеллигенции массово оседают именно в городах «старообрядческого генезиса» с их плотной культурной средой, тяготением к науке и образованию. Кроме того, в связи с расположением рудных ресурсов, на Урале в ходе индустриализации создаются предприятия металлургии и машиностроения, другие эвакуируются туда в период Великой Отечественной войны. Таким образом, на многовековом фундаменте церковного раскола возникает один из наиболее значимых и передовых укладов русской цивилизации, актуальный до сих пор. Такие города, как Тобольск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, хозяйственный уклад которых еще с доиндустриальной и индустриальной эпохи имеет основой сбережение и приумножение человеческого капитала, можно считать явлением ренессансного значения. Такое явление – университетские города и агломерации в отсутствие привычных ресурсных, географических или климатических предпосылок – потенциально возможно в любом месте мира, однако лишь в наше время, благодаря постиндустриальному технологическому укладу и экономике знаний, и пока в явном виде не имеет прецедентов. Укреплению городских агломераций с беспрецедентным по плотности универсальным культурным слоем здесь способствовало также создание Транссибирской магистрали. Вместе с тем, по итогам XX века городские общности со старообрядческим влиянием приняли различный вид в «метропольных» регионах происхождения и в Центральной России. Так, в первых существенная часть социально-поведенческих установок староверов сохранилась – включая восприятие силового подавления в качестве временной оккупации, которая подлежит искоренению при первой же возможности. В то же время во вторых в результате разрушения общины и индустриальной урбанизации потомки староверов диффундировали с атомизированными нижними сословиями степных кочевников, в результате чего деформировались, возможно временно, – утратили склонность к риску в расчете на отложенную отдачу (временной горизонт), эффект короткой дистанции и стремление к

обустройству институтов общественного блага, зато сохранили и привили своим общностям промысловый нрав и установку на индивидуальную конкуренцию.

Именно в Новосибирске формируется, а затем распространяется на другие научные центры – в частности, вокруг Москвы – феномен «академгородка». Первоначально он представлял собой эксклав московской математической школы – одной из наиболее ярких в истории мировой науки, однако характеризовавшейся весьма «токсичной» конкурентной средой. По-видимому, такая нехарактерная для кооперативной научной среды склонность к практикам «пищевой конкуренции» имеет отношение к социально-антропологической миссии Москвы как площадки просветительского взаимодействия городского архетипа с урбанистической архаикой, имеющей поведенческую и когнитивную наследственность степного кочевника. Напротив, уклад «академгородка» практически воспроизводит субкультуру европейского гетерогенного «города-кампуса» со свободным обменом информацией между различными институтами и легкостью междисциплинарной кооперации, что резко контрастирует с практикой инкапсуляции компетенций как рентного источника (см. ниже). Эти субкультуры идентичны вплоть до таких ментальных особенностей, как невзыскательность к уровню потребления, сфокусированность на научном интересе, что в советский период дополнительно поддерживалось повышенным потребительским стандартом. Однако этот стандарт существенно уступал европейскому и тогда, тем более в постсоветский период, в то время как уровень «утечки мозгов» из Новосибирска и Томска был ниже, чем из Москвы и Петербурга. По масштабам это скорее «бутиковые» экосистемы, однако обладающие уникальным потенциалом, выдающейся эффективностью и инновативностью, лишённые провинциализма, оглядки на внешний образец, характерного для академических школ петербургского происхождения догматизма либо склонности московских к «пищевой конкуренции».

Не было бы преувеличением утверждать, что общности, начало которым положили старожилы, как в «метропольных» регионах, так и в местах позднейшего распространения, обеспечили возникновение «второй русской нации» и «второй России» снизу вверх. Видоизменяясь, «сбрасывая» конфессиональную оболочку, тем не менее, эти общности во все исторические периоды – от допетровского до постсоветского – в том или ином виде выступают опорой принципиально отличных от «ордынской», имперской и последующих социально-поведенческих матриц, формируемых сверху вниз. Наряду с интеллигенцией и в сослужении с ней эти общности поддерживают запрос, отличный от патерналистского, воспроизводящего вертикальную ресурсно-силовую социальную архитектуру на протяжении столетий. Экономика знаний, размывающая основу для рентного хозяйства и сопутствующей социальной архитектуры, становится для этих общностей шансом для универсализации собственных представлений об общественном устройстве в масштабах большей части страны. Фактически эти представления служат единственной укорененной альтернативой системе ценностей и способу социальной организации, которые составляют русский исторический мейнстрим, – целостными, проверенными на жизнеспособность в экстремальных условиях, подтвердившими беспрецедентно высокую эффективность. Более того, среди этнических русских этому антропологическому виду попросту нет массовой альтернативы с точки зрения способности обеспечить лидерство в ходе перемен, поскольку в контексте поведенческих установок степных кочевников лидерство тождественно подавлению, а атомизированное большинство склонно эту роль уступать.

8. РОССИЯ КАК ЗЕРКАЛО МИРОВОГО АРХЕТИПИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ. ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ КАК ТОЧКА ВОССОДИНЕНИЯ РУССКОЙ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ КОЛЕИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ

8.1 Урбанизация и экзистенциальный дефект индустриальной формации. Феномен интеллигенции и знание как единственный фактор национальной конкурентоспособности

Добыча сырьевых ресурсов, а также отрасли с высокой долей таковых в стоимости продукции (металлургия, химическая промышленность и пр.), на продвинутом уровне развития технологий производят действие, сходное с трансформационным эффектом массового производства. Однако действие навыков оперирования средствами производства здесь ограничено стандартностью производимого продукта, характеристики которого мало связаны с качеством линейного труда, что по влиянию на сознание схоже с унифицированным американским или азиатским производством, в противовес европейскому, основанному на отличительных компетенциях. Кроме того, эти отрасли, как правило, обладают весьма ограниченной емкостью с точки зрения абсорбции трудовых ресурсов, поэтому в странах с высокой численностью населения становятся скорее фактором формирования сообществ с закрытым доступом. Как любое массовое материальное производство, в российских условиях эти отрасли подвержены издержкам, связанным с длинным транспортным плечом и сложными природными (горно-геологическими и климатическими) условиями. Однако эти затраты покрываются ценой, структура которой учитывает такие свойства, как всеобщая востребованность и неравномерное распределение ресурса – избыток у одних и недостаток у других, что выводит сырьевые отрасли из-под действия другого ключевого фактора неконкурентоспособности – малой глубины и фрагментации рынков. Эти свойства являются причиной «аномальной» доходности – ренты, система контроля и распределения которой является важным институциональным вызовом для стран, богатых природными ресурсами. При этом, положительная долгосрочная отдача на вложенный капитал практически в любых других видах массового производства требует искусственных рыночных барьеров (разновидности таковых см. ранее), формирующих аналогичную рентной премиальную структуру цены.

В рамках постиндустриального уклада, по мере снижения энерго- и материалоемкости общественного продукта, нельзя рассчитывать на неизменность этого механизма ценообразования. Скорее можно предполагать тяготение такового к характерному для обычных товаров, как это происходит в конце жизненного цикла любого продукта природы, вследствие чего уменьшается радиус рентабельной доставки, и ресурс со временем из глобального товара превращается в более или менее локальный. Этот риск – разумеется, при прочих равных, – означает перспективу погружения экономики в затяжную «колею» околонулевых или отрицательных темпов роста, а человеческого капитала – в хроническую демодернизацию наподобие стран Латинской Америки. Вместе с тем, среди возможных последствий такой эпохальной трансформации – высокая вероятность декомпозиции патримониального силового ресурса, что может в долгосрочной перспективе ослабить силовую «токсичность» экономической среды.

Таким образом, единственным доступным механизмом и осевой колеей модернизации в российских условиях оказывается урбанизация сама по себе – в связи с ограниченным развитием массового производства и в не меньшей степени без такой связи, что не имеет прецедентов в опыте ведущих развитых стран. Сложность этого пути заключается в выпадении звена, где знание соединяется с массовым трудом, запуская процесс трансформации сознания. В результате знание на достаточно продвинутой стадии своего накопления поначалу бытует в режиме, характерном для родоплеменной эпохи, – как удел узкой прослойки досужих людей, чаще всего, имеющих иные доходы и не преследующих цель использовать знание для извлечения стоимости. Именно в этой парадигме нарождается уникальный феномен русской *интеллигенции*, сетевой общности короткой дистанции,

которая, подобно интеллектуалам Античности и раннего Ренессанса, не образует единую социальную ткань с основной частью населения, занятого неквалифицированным трудом. Ее ядром выступает аутентичный петербургский городской архетип, распространившийся и по другим крупным университетским городам, однако с течением времени, в особенности под влиянием урбанизации XX века, просветительская миссия интеллигенции приводит к интенсивной кооптации в ее состав других архетипических компонент. Во-первых, это объясняется плотным взаимодействием с наиболее социально активным и инновативным слоем – старообрядцами, архетипические характеристики которых схожи с таковыми у морских кочевников. Во-вторых, впоследствии эта тенденция распространяется еще и на выходцев из крестьян – и прежде всего наиболее многочисленных, малоземельных, представляющих степных кочевников.

В этой связи, по внутренней структуре интеллигенция симметрична своему более многочисленному архаическому антиподу короткой дистанции – субкультурам с силовой «токсичностью» (см. ранее и далее): представительство последних так же обширно и в региональном разрезе, и на различных, мало сообщающихся друг с другом этажах социальной лестницы. Более того, с архетипическим большинством в зависимости от локальной матрицы они находятся или в отношениях доминирования-подчинения (степные кочевники), или в отношениях непримиримого антагонизма (староверы). Наконец, элитное «опричное» звено окружено весьма обширным «сервисным» сегментом, позволяющим осваивать «продукты кормления» и управлять ими, – в то время как ядерная часть интеллигенции окружена периферийной оболочкой людей публичных профессий, которая стремится по своему усмотрению формировать образ этого слоя в общественном сознании и его позицию по различным проблемам. При этом примечательно, что периферийные оболочки двух социальных антиподов нередко сообщаются. Симбиоз интеллигенции с медийной средой ведет к известному социальному «сектантству», претензии считать собственную повестку дня единственно актуальной для всех, мифологизации нижних сословий и пренебрежению к нуждам последних, – и это роднит такую «унию» с силовой корпорацией. Сочувствие к нижним сословиям, как правило, ограничено частными случаями нарушения прав: интеллигенция подвержена фундаментальной недооценке того обстоятельства, что довольно обыденная для других архетипических видов миссия обеспечения функционирования семьи здесь не уступает по сложности и важности идеократическим установкам образованного слоя, – отсюда гипертрофированность представлений о «врожденных» недостатках собственного народа. Сама интеллигенция состоит из слоев весьма различного достатка, однако семьи этого круга более защищены собственной микросредой от разрушительного влияния силовых субкультур элитного и низового происхождения, – в то время как у нижних сословий воспитание детей в качестве добропорядочных граждан превращается в сверхзадачу, бытовая неустроенность и социальная атомизация делают семью проницаемой для асоциального примера. При этом повестка дня «унии» не фокусируется на функционировании социальных лифтов всеобщего доступа, – напротив, под таковыми альянс имеет в виду механизмы социальной мобильности для «лучших людей», т.е. для себя, а запрос нижних сословий видит лишь инструментом обосновать наращивание собственного веса в составе правящей элиты.

Примечателен институт системы образования для особо одаренных детей и юношества. Сам по себе он выполняет роль социального лифта – хотя и обладает чрезвычайно ограниченной емкостью и в основном применяется для перемещения молодежи из нижних слоев интеллигенции в верхние. Однако в основе этого института порочная предпосылка о заведомой одаренности или отсутствии таковой, – и такая установка смещает фокус внимания с социальной и коммуникационной среды, которая препятствует раскрытию способностей в критическом для этого возрасте. В этой связи, такой механизм несомненно является производным от сословного общества.

Обратной стороной мифологизации собственного народа выступает мифологизация массовых вкусов западного обывателя как образца для сравнения, однако на этот раз в лучшую сторону, приписывая последнему отнюдь не самые характерные для него качества – стремление к участию в деятельности демократических институтов, отсутствие патерналистского запроса, общую просвещенность, симпатию к крупному капиталу и интеллектуальному классу, приверженность либеральным ценностям и т.п. За мотивы активного участия такого обывателя в социальных процессах выдается стремление привести к власти передовую элиту, а не отклик на конкретное и реалистичное ценностное предложение в свой адрес, – при этом аналогичное таковому предложению русская элита не была способна сделать собственному народу практически вплоть до столыпинских реформ, а затем Октябрьской революции. Это иллюзорное сравнение, неизменно складывающееся не в пользу русских, выдает образ ролевой модели самой интеллигенции – просвещенной части землевладельческой аристократии и бюрократии, для которой было характерно ожидание – одновременно со страхом и надеждой – ответной реакции крестьянства на обращение с ним, как того можно было бы ожидать в европейской стране. Многие из них происходили из европейских семейств, некогда поступивших на службу двора, – более того, к этому слою относились видные представители классического периода русской культуры, государственные деятели, искренне вынашивавшие планы институциональных реформ по европейскому образцу. Дистанцированный от нижних сословий образ жизни по-видимому побуждал их втайне лелеять надежду на волну народного недовольства, которую они, в свою очередь, могли бы использовать против традиционной крепостной и силовой знати. В то же время, рентное кормление с поместий служило им единственным источником дохода, – и это внушало беспокойство и за собственное будущее, делало реформаторский порыв половинчатым, неуверенным. Главное же препятствие на пути преобразований состояло в неспособности свободного рынка – будь то в промышленном или аграрном производстве – абсорбировать критическую часть трудовых ресурсов в протяженной субконтинентальной стране, – в совокупности все эти факторы заставляли уступать ретроградным элитам вопреки собственным этико-эстетическим предпочтениям. Именно эта многовековая экзистенциальная двойственность выродилась в разочарование образованных элит в нижних сословиях и даже презрение к ним за покорность судьбе, – как уже отмечалось, за таковую ошибочно принимался эффект отсутствия жизнеспособной альтернативы экстрактивной хозяйственной модели. Легко заметить, что модернизаторский модус «сверху вниз», характерный для этого сословия, разительно контрастирует со старообрядческим, а позднее и разночинным, по принципу «снизу вверх». Последние предпочитали давать работу выходцам из крестьян и нести почин народного просвещения «здесь и сейчас», были ориентированы не на заимствованные шаблоны, а на выработку лучших решений для немедленного внедрения и опережения, посвящали себя преображению страны, ее народа в противовес позиционированию во внешнем, прежде всего европейском, контексте. Этот контраст блистательно иллюстрирует антитезу либеральных и республиканских ценностей, которой отчасти обязан спор западников и славянофилов. Примечательно, что эту дискуссию ошибочно принимают за противоборство модернистского и архаического посланий, – идеи славянофилов содержали несли никак не меньше, а по сути много больше модернистских элементов. Кроме того, эти платформы не являлись антагонистами – точно так же, как либерализм выступает смежным, но не тождественным республиканизму течением.

В контексте упомянутого спора становится ясно, почему «уния» интеллигенции с медийной средой готова принимать за защитника от необузданного народного нрава архетипически чуждую силовую и бюрократическую корпорацию, обольщаясь ее вниманием и обманным эстетическим «линянием», к ней обращает надежды на прогресс. Однако к реальной инновативности значительная часть интеллектуального класса подозрительна, поскольку таковая «пробуждает» пассионарную энергию активного населения и грозит размыть «узкое горлышко» доступа в элиту, – отсюда склонность к

догматизму, провинциальности, ставке на заимствование чужих достижений. В сущности медийная оболочка интеллектуального класса и академические «старейшины», независимо от их позиции в отношении силовой корпорации и власти, находятся «на страже» такого закрытого доступа – как с точки зрения работы социальных лифтов, так и в смысле формирования актуальной для этого слоя повестки дня. Как правило, под предлогом академической преемственности этот доступ фактически обусловлен присягой на незыблемость предмета и метода творчества, – так что новшество обречено на контрэлитный способ манифестирования, развития и распространения. Таким образом, архетипически интеллигенция внутренне весьма неоднородна, в связи с чем для многих представителей образованного слоя, в особенности, не испытавших в том или ином виде старообрядческого влияния, характерны ретроградные черты.

Показательна принципиально различная роль географических открытий русских и европейских экспедиций в приумножении национального богатства. В последнем случае эти начинания преследовали коммерческие цели изначально, а часто были организованы и финансово поддержаны предпринимателями, рассчитывавшими на немедленную отдачу. В зарождавшуюся индустриальную эпоху заморская колониальная активность практически повсеместно выступала важным фактором накопления национального капитала. В первом же случае это были государственные начинания, преследовавшие цели военного характера или просто государственного престижа, представляли собой дань моде, заданной передовыми державами. Для самих первооткрывателей они имели сугубо познавательное значение, большей частью являлись бескорыстными предприятиями. Чаще других русские экспедиции были континентальными или прилегающими, и лишь некоторые из полученных приращений много позже стали иметь хозяйственное значение, притом для извлечения примитивных ресурсов, поскольку сами открытые территории были непригодны к сбалансированному хозяйствованию и полноценной колонизации.

Однако этот слой становится универсальным генератором смысловых дискурсов, создателем единого национального языка (а в широком смысле – системы пластических языков), размывающего межсословные перегородки, а впоследствии, по мере распространения низовых звеньев образования и здравоохранения, погружается в толщу слоев с застойной архаической организацией. Порождением этого социального феномена становится явление русской культуры как одно из высших форм продолжения Ренессанса – с одной стороны, по гетерогенности интеллектуального продукта, масштабу обобщения и богатству выразительных средств, с другой – по следованию антропоцентрической линии. В течение практически одного столетия русская культура преодолевает дистанцию длительностью в целый постренессансный период развития европейской цивилизации, пройдя от наивного копирования барокко и раннего классицизма до новаторства в эпоху позднего романтизма и – по мере кооптации разночинной компоненты – абсолютного лидерства в парадигме авангарда. Примечательно и то, что – невзирая на значительную экспертную роль при административно-силовой корпорации – интеллигенция исторически отстранена как от непосредственного принятия управленческих решений в условиях ограничений, так и от ответственности за такие решения. В этой связи, ее интеллектуальный потенциал обращается на различные области творческой деятельности, из числа которых гуманитарное творчество в общественном масштабе неизменно получает наибольший резонанс. Отсюда ей свойствен парадоксальный для развитого мира, легковесный модус дискуссии по актуальным проблемам: аргументация представляет собой не «анализ кейса» с его реальными условиями, а поиск архетипического сценария, нарратива, образца, высказывания, героя. При этом в качестве объекта отсылки, цитирования исторический, «кейсовый» материал сосуществует с художественным на равных и даже диффундирует с таковым, сам становясь полем вымысла, интерпретации, мифа, – и это смещает интеллигенцию в социально-антропологическую нишу квазижреческой касты. Этой совокупностью обстоятельств можно объяснить и феномен великой русской литературы, и стереотип «литературоцентричности» социального развития России вообще. Последнее, однако, нуждается в поправке: таким методом справедливо описывать лишь элитистские представления, которые опираются на убеждение, что русский народ легко поддается манипуляции, прежде всего словесной. В то же время, нижние сословия, напротив, отличает крайняя

степень недоверия к такому нарративу, слову вообще, склонность руководствоваться «не тем что сказано, а тем, как и кем сказано». Несомненно, нижние слои лишены субъектности и исторически маловлиятельны, – однако народный фольклор, выступающий одним из немногих доступных способов выразить отношение к представлениям и образу жизни элит, более чем красноречиво высмеивает таковые, стигматизирует их как чужеродную антропологическую сущность и далек от выражения бездумной лояльности, которую ошибочно принято вменять русскому этносу. Как уже отмечалось, в этом отношении представления т.н. элитистской интеллигенции не так существенно отстоят от характерных для силового сословия, – именно этот феномен отражает индифферентность нижних сословий к личному составу актуальной правящей коалиции, которая в том или ином соотношении всегда представляет две элитные корпорации.

Наиболее значимым культурным порождением XVIII – начала XIX вв, оказавшим решающее влияние на трансформацию сознания, является современный общедоступный русский язык, не имеющий прецедентов среди языков европейского генезиса с точки зрения многообразия актуальных, «живых» форм высказывания, гибкости его построения. Поскольку языковой аппарат является ключевым в формировании сознания, многие исследователи указывают на связь этой лингвальной особенности с вольным отношением к закону и порядку. С другой стороны, в этом контексте обращает на себя внимание жесткость грамматических управлений для каждого из весьма разнообразных речевых оборотов. Эта особенность скорее отражает логику прецедентного права, где общая норма закона каждый раз выводится из частного случая, но путем применения единого представления о справедливости, существующего в недрах социальной культуры. Распространение стандартизированного и косного континентального права, где разнообразные законы формулируются более или менее искусственно, не уделяя внимания практическим нюансам и часто противореча друг другу, вероятно, связано не только с преобладающим влиянием континентальных империй, но и с внутренней задачей обеспечения управляемости архаических масс, в частности, ролью в этом опричины, для эксклюзивного статуса которой положение человека «на грани» закона служит одной из основ.

В более общем смысле, тяготение к стандартизации образа жизни является, возможно, наиболее глубоким проявлением экзистенциального противоречия между территорией и населением. Сложно найти менее подходящий принцип для раскрытия креативного потенциала человека с когнитивными способностями, характерными для аутентичного носителя русского языка, чем унификация, в то время как особенности территории (см. ранее) диктуют «стягивание» жизнедеятельности в центры. Таким образом, одним из ключевых вызовов для успешной трансформации выступает появление социальной структуры, в рамках которой концентрация совмещалась бы с полицентричностью и не подавляла внутреннее многообразие.

Положение интеллигенции принимает квазисословный характер – одновременно привилегированной группы и объекта подозрений в нелояльности как выделяющейся из общей массы благодаря не патримониально обусловленному статусу, а качеству человеческого капитала. В этой роли она наследует как малочисленным умельцам и грамотным в нижних сословиях, так и элитным представителям европейского городского архетипа, приглашенным в Петербург силовой корпорацией на заре модерна для собственных, прежде всего военных и связанных с ними нужд, – наконец, многие ее представители приняли на себя миссию просвещения других архетипических компонент русского народа. По этой причине справедливая стратификация этой социальной сущности будет вытекать не из происхождения тех или иных ее слоев, а из того, кого тот или иной круг воспринимает в качестве желательного субъекта русской истории: если элитистская интеллигенция видит в таком качестве ресурсно-силовую корпорацию, то т.н. разночинная, народническая – лишенный субъектности русский народ. В периоды сравнительного социального затишья интеллигенция не стремится задаваться этим вопросом, и потому ее расслоение не столь очевидно, однако перед лицом любых изменений он встает с неизбежностью – именно перед ней и в форме, не позволяющей уклониться от выбора. Начиная с XIX века, интеллигенция фактически берет на себя роль выразителя «модернистского запроса», миссию компенсатора профанируемых институтов представительной и судебной власти в противовес власти публичной, воспринимаемой скорее лишь как исполнительная. Реальная (а не декларативная)

«многопартийность» становится нормой дискуссии разных частей интеллигенции с пушкинских времен («славянофилы» и «западники», «почвенники» и «народники»). В краткие периоды укрепления соответствующих ветвей публичной власти (конец 90-х гг) ее общественная роль снижается до уровня профессиональных сообществ, однако, на каждом витке возвращения к своей социальной миссии, слой интеллигенции обнаруживает себя все более обширным, что отражает поступательную модернизационную динамику городских сообществ и представляет собой проросшие плоды ее «хождений в народ».

Трагическим механизмом такой динамики явились волны социальных трансформаций или катастрофических потерь высококачественных человеческих ресурсов во второй половине XIX – XX вв, которые одновременно каждый раз запускали в движение социальный лифт, доставлявший массы архаического населения в плотную культурную среду крупных городов. Здесь они смешивались с носителями местного и иных, более прогрессивных укладов, чем объясняется диспропорциональное разрастание крупнейших городов. При этом, для наиболее тяжеловесной, с точки зрения социальных устоев, центрально-российской («ордынской») общности безальтернативной площадкой трансформации оказалась Москва, которую в XX – XXI вв можно считать крупнейшим в истории полигоном урбанистической модернизации вне морского побережья (возможно, за пределами Китая). Распад крестьянской общины, постреволюционный и предвоенный переток кадров из села на место «выбывших» прежних, приток «лимитчиков» после постепенного получения крестьянами паспортов в 60-е – 70-е гг, когда городское население впервые превысило сельское, массовый переезд на заработки в 90-е гг – это вехи урбанизации тектонических масштабов. Наконец, непреходящим фасилитатором этого процесса и модернизирующим социальным «абсорбентом» – в особенности в Москве – выступает система высшего образования. Вероятно, активация социального лифта в начале XX века выступила фундаментальным фактором противоположного первой мировой войне исхода второй мировой войны для Советского Союза, однако справедливо и то, что вызвавшие эту активацию социальные катаклизмы, в особенности, на селе и на западных окраинах империи, явились причиной значительных масштабов латентного и явного коллаборационизма. В этом можно усмотреть признаки не прекращавшейся гражданской войны, которая, по сложившейся архетипической «традиции», сопровождала отечественную. Ее вспышка свидетельствует о глубинном антагонизме интересов крупных социальных слоев в индустриальный период, когда массовое промышленное производство в неблагоприятных естественных условиях поддерживается за счет целых слоев населения, поставленных на грань существования.

Крупнейшие российские города изначально формируются по европейскому образцу – как гетерогенная «инфраструктура» вокруг очагов знаний, однако и они испытали пик демографического давления в индустриальную эпоху. Более того, некоторые другие города – в особенности в «ордынской» Центральной России – изначально формировались как промышленные центры, скорее образца американского хартленда. В долгосрочном плане жизнеспособной себя показала лишь первая модель, что отражает естественную неконкурентоспособность массового производства. Вместе с тем, разница скоростей миграционных и модернизационных процессов на фоне ограниченной абсорбирующей способности индустриального города вылилась в возникновение и затяжное бытование временных «фильтрационных» укладов урбанистической архаики, чаще всего ассоциируемого с коммунальными квартирами, неблагополучными спальными районами, малыми городами и поселками. Этот архетип, как и другие архаические, не имеет качеств для создания отличительной ценности, а для доступа к ресурсам, даже посредством «аккредитованной» группы, в условиях «пищевой конкуренции» слишком многочислен, поэтому бытует в режиме «социального сиротства», практически перманентно находится в состоянии пассионарного «брожения». Он представляет собой нижнее по отношению к силовому подавлению сословие степного архетипа, однако композиционно в нем представлены как атомизированные и в целом податливые к трансформационному воздействию индивиды с

«плодотворным» мышлением, так и схожие по поведенческим установкам с наиболее архаичными изолированными субконтинентальными общностями. Последние тяготеют к участию или имитации субкультур с силовой «токсичностью» – опричного толка или криминальных сообществ, основанных на «альтернативной» силе, явно или латентно противостоящей опричной.

В сущности, урбанистическая архаика является городской «мутацией» степного кочевника и выступает важнейшим элементом современной социальной матрицы, определяющим фон общественных настроений, вкусов и предпочтений, отличающимся обостренным чувством справедливости, понимаемой с точки зрения доступа к распределению – но не созданию – общественной стоимости. Неосознанно именно она подразумевается под пресловутым «большинством населения», «простыми людьми», ее вовлечение в создание общественной ценности по существу представляет собой экзистенциальное «задание» модернизации России. Эта общность – людей, не имеющих определенной профессии и устойчивого места в цепочке создания ценности, – выступает продуктом векового оттока «лишних» людей, чаще всего, безземельного и малоземельного крестьянства, из деревни. Фактический образ бытования этого уклада можно охарактеризовать как «примитивную оседлость» – деформирующую уникальный когнитивный архетип степного кочевника, но весьма ограниченно прививающую основательность крестьянина или развитость городского жителя. Этот слой качественно отличает российскую карту социальных укладов от привычной для Европы, где основным демографическим демпфером исторически выступало (а в Южной и Восточной Европе по-прежнему остается) крестьянство, наделенное собственностью и задействованное в цепочке создания ценности, пусть и несложной. Оно формирует принципиально иной архетип человеческого капитала в «промежуточной» стадии трансформации – ответственный, знакомый с длительным операционным циклом и готовый к усложнению навыков в городских условиях, в противоположность городским «лишним» людям, как правило, прошедшим через социальный «резервуар» квазикрепостного труда в советский (иногда и в постсоветский, см. выше) период. При этом, переток человеческих ресурсов в города в XX веке имел место практически во всем мире, провоцируя социальные брожения и рост пассионарного давления, создавая избытком живой силы питательную среду для нарастания милитаризма. Однако примечательно, что ввиду более благоприятных естественных условий, в развитых странах он не привел к череде социальных катаклизмов или возникновению нового застойного сословия, и лишь в архетипически схожих с Россией латиноамериканских странах уклад урбанистической архаики также бытует в качестве «накопителя» социального неблагополучия и выступает опорой потрясений. Однако в наше время в Европе этот уклад вновь становится центральной проблемой социального общежития – в рамках сообществ этнических меньшинств, преимущественно происходящих из субконтинентальных кочевников Африки и Ближнего Востока с их крайне застарелой архаичностью. В то же время, в США преодоление последствий расовой сегрегации, вызвавшей к жизни наиболее массовое в истории развитых стран распространение уклада урбанистической архаики, традиционно является центральной темой социальной «коррекции».

Вертикальные замкнутые (как правило, мужские) сообщества казарменного типа, например, пенитенциарная система, в силу исторических масштабов распространения, «выбросили в мир» одну из самых мощных субкультур, основанную на праве силы, доминировании-подчинении, двойной морали. Для них характерен отрицательный социальный капитал – полная неприспособленность к производительной деятельности или даже просто обыденной жизни, при этом избыток «знаний» и навыков, специфичных для среды формирования. По «естественным» условиям происхождения и итоговым поведенческим наклонностям и этот уклад, и его патримониальный силовой антагонист близки к свойственному изолированным субконтинентальным кочевникам, которым за пределами среды происхождения свойственно образовывать инкапсулированные ресурсно-силовые диаспоры. С одной стороны, в рамках своей системы понятий самодетельные социальные «капсулы» позиционируют себя как антиподы опричнины, с другой – по внутренней структуре идентичны иерархическим родоплеменным сообществам и воспринимаются вертикалью власти-собственности как близкие социально, заполняющие собой социальные лакуны и

хозяйственные ниши, оставшиеся без патримониального «попечения». В этой связи, в каждой паре вершин треугольника «аппарат подавления – криминальное сообщество – этническая диаспора» бытует модус отношений экзистенциальной конфликтности и позиционных договоренностей, поскольку все общности социально герметичны, ориентированы на силу и промысел «кочевыми набегами».

Порожденная криминальными сообществами субкультура получила повсеместное распространение в малых, сравнительно замкнутых социальных сообществах, где индивид находится в непосредственном контакте с обладателем силового, административного и финансового ресурса, – поселках, хуторах и небольших городах. Здесь «синклит» различных ветвей и неформальных участников местной власти-собственности по существу выполняет роль носителя патримониального титула и воспроизводит отношения закрепощения. В более густонаселенных ареалах бытования социально неблагополучных сред (например, спальных районах городов), оставшихся без собственного патримониального «попечения», приоритет «аккредитованных» архаических сообществ-меньшинств (ведомственных, этнических и пр., с членством по принципу «свой – чужой») при распределении экономической и административной ренты слишком очевиден и болезнен, а многочисленное население с невысоким уровнем образования предоставлено самому себе («ничи», «ни для кого не свои», вплоть до «русские в России – люди второго сорта»). Восприимчивые к этике и эстетике силы индивиды рассматривают «социальную близость» патримониальной вертикали как основание для включения в «кормовые» цепочки. В то же время, сама эта вертикаль без какой-либо премиальной возмездности пользуется их социальной невостребованностью в своих тактических интересах – для демонстрации своей общественной поддержки, прогрессивности на фоне запроса низов, в теневой деятельности военной и полицейской машины, против нелояльных и интеллигенции и т.п. В матрице премодерна лоялизм оборачивается не улучшением, а ухудшением собственного социального положения, в связи с чем для низовых субкультур с силовой «токсичностью» характерно озлобление по всему периметру – по отношению к образованному слою, не вовлеченным в их субкультуру индивидам, а в конечном счете и самой силовой корпорации. Обладая сильным архаическим тяготением, они склонны очагами образовывать специфические, латентно протестные формы кооперации и солидарности, хотя для этого необходим образ «чужого». Часто идеологическая платформа этих сред определяется как националистическая, однако это понятие характеризует солидарность различных социальных страт, поэтому относится к модернистским общностям. Напротив, эти сообщества – как и их капсульные «родственники» – являются архаическими, им свойственна выраженная ксенофобия, – в этой связи, самоидентификация методом отстраивания у русских находит отклик преимущественно среди досовременных укладов, отзывчивых к родоплеменному типу социальных отношений. Однако и такая идентификация имеет весьма зыбкую основу ввиду различных представлений о субъекте-антипode, сложности навязать такие представления другим: если для силовых элит в этом качестве выступают модернистские общности развитых стран, то для низовых страт – иноэтничные родоплеменные сообщества, с которыми им приходится сталкиваться непосредственно, в пределах собственного жизненного пространства. Более того, по причине «неприкаянности» каким-либо патримониальным центром силы, низовые силовые субкультуры содержат определенный потенциал постепенной трансформации сознания.

Распространение силовой субкультуры в недрах урбанистической архаики настолько обширно, что в ее воспроизводстве задействованы массовые институты, формально не причастные к опрочинине либо криминалу, – семья, двор, школа, если они расположены в среде доминирования этого уклада, а также военная служба, в особенности в престижных частях с высокой выучкой, которой нет применения в мирное время, и участвовавших в военных кампаниях. Примечательным образом этот уклад интегрирован в замкнутый цикл посредством системы периферийных, декларативно узко специализированных учреждений высшего образования: она пропускает через себя крупные массивы выходцев из этого слоя, но по характеру предлагаемого образования во многом препятствует раскрытию когнитивных преимуществ универсального степного кочевника, у которого уровень профессионализма в отдельно взятой области прямо обусловлен опытом междисциплинарных сопоставлений. В конечном итоге школа получает «своего же выпускника» с неизменно отрицательными социальными навыками еще и в качестве учителя – обретшим схоластический, не годный ни к употреблению, ни к передаче «по эстафете» набор навыков по «озвучиванию учебника», который не служит формированию у ученика связей между областями знаний и оставляет его наедине с самим собой, фактически «исторгает» его наружу за знаниями. Тем самым и школа, и силовая субкультура урбанистической архаики воспроизводят колею атомизации – социальной и когнитивной. В этой связи, для степного кочевника ремесленное училище с точки зрения антропологического эффекта обладает несомненным преимуществом перед узко специализированным высшим учебным заведением: навык создавать конкретное комплексное изделие собственноручно, притом полностью, без разделения труда, также

является междисциплинарным и отвечает развитию человеческого капитала этого вида, – в отличие от узкого набора знаний, плохо связанного с картиной мира, без практического опыта. Однако иерархическая сословная матрица, ограничивающая возможности для применения производительного труда, оставляет в обращении лишь соображения престижа, статуса, надежду конвертировать формальное образование в статусную ренту.

Однако даже после позднейших волн урбанизации успело появиться поколение людей, родившихся в городской культурной среде и воспринявших, по крайней мере, первичные поведенческие установки, характерные для полиса. Так, большую часть русской интеллигенции XX – начала XXI вв можно считать «детьми» процесса урбанизации архаических масс. В гетерогенной среде городов универсальный когнитивный архетип получал возможность раскрыть свои сильные стороны, – в частности, следствием этого можно считать универсальность среднего и высшего образования. Этот архетип продемонстрировал выдающуюся эффективность для развития фундаментальной науки и разработки уникальных единичных конструкторских изделий, что в значительной мере обогатило мировую практику организации образования и науки.

Выразительная вариативность русского языка также очевидным образом имеет отношение к уникальным креативным способностям – склонности легко преодолевать междисциплинарные барьеры, находить различные подходы для решения одной и той же задачи, решать сопоставимую задачу несравненно меньшими силами и большей изобретательностью в сравнении с любой другой культурой, что одновременно является вынужденным следствием обстоятельств и условий накопления и распространения знаний (см. выше). Эффективность этого архетипа не имеет равных в условиях ограниченности временных и материальных ресурсов (некая разновидность «острых ощущений»), в то время как планомерная работа и обеспеченность могут оказывать расхолаживающее действие. Среди других особенностей – выдающиеся скорость и качество усвоения передовых знаний и образцов извне, адаптивность в чужеродной культурной среде. Справедливо также и обратное – у этого когнитивного архетипа глубина даже отдельно взятой компетенции напрямую зависит от разносторонности опыта, междисциплинарных сопоставлений и связей, в отсутствие которых индивид фокусируется на механической форме выполняемой работы в противовес содержанию. В известном смысле отсутствие разносторонности личности, интереса к смежным, стыковым областям может служить индикатором поверхностного понимания и собственной сферы ответственности, что резко контрастирует с европейскими и особенно американскими (тем более азиатскими) когнитивными архетипами. В этой связи, наиболее выдающиеся результаты обеспечивает не стройность и логичность карьерной линии, следование однажды избранной стезе, а история смены сфер деятельности, зачастую резкой.

При усвоенном отношении к зависимости в любой форме как основе для поражения в правах – сословном и материальном статусе, – человек стремится быть самодостаточным и имеет к этому беспрецедентную способность. Одновременно это снижает у него потребность в разделении труда и кооперации, побуждает видеть конкурента в себе подобном и скрывать полученную информацию, хотя обычно архетип «образованного человека» скорее склонен к кооперации. Здесь же он «получен» при сильном кочевом влиянии с характерным тяготением к конкурентному поведению и до некоторой степени схож с преобладающим в американских технологических долинах. Однако в данном случае кочевая компонента представлена ее степной, а не морской разновидностью, тип соревновательности отсылает не к «спортивному» образцу, а к «пищевой конкуренции». В этой связи, даже в период плановой советской экономики область интеллектуального труда оказалась уникальным «заповедником» конкурентных практик. Среди наиболее ярких примеров такой среды московская математическая школа, одна из наиболее выдающихся в истории мировой науки вообще, однако характеризовавшаяся довольно «токсичными» межличностными отношениями внутри. Это способствовало заметному оттоку крупных ученых – поначалу в наукограды вокруг Москвы, Ленинград и Новосибирск, где кооперативный городской архетип является доминантным, а после падения «железного занавеса» и за рубеж. Примечательно, что ярко выраженная математическая специализация московской научной среды также выдает историческую миссию города как наиболее мощного «преобразователя» степного архетипа, который, тем не менее, сохраняет когнитивные «отпечатки» – склонность к исследованию алгоритмического механизма, а не физической природы объекта.

Как следствие, научные и технические разработки сконцентрировались в закрытых для распространения знаний и трансфера технологий исследовательских институтах (академических и отраслевых) или технологических предприятиях с примерно равнозначными компетенциями, конкурирующих за государственный заказ и потому слабо связанных как между собой, так и с поставляющей

кадры университетской средой. В системе элитного образования и науки, наряду с универсальными центрами (классическими университетами, мультидисциплинарными политехническими и педагогическими институтами), необычно широко распространены «условно» специализированные (по отраслям, дисциплинам и пр.). Такая специализация декларативно является попыткой углубить прикладное применение выдающихся фундаментальных и междисциплинарных компетенций, при этом наследует привитому через Петербург как площадку трансфера европейского городского архетипа прусской традиции высших ремесленно-технических училищ. Однако на «степной почве» такая «специализация» попросту служит для носителей выдающихся компетенций, желающих обособиться от себе подобных, бюрократическим оправданием иметь самостоятельную, административно и финансово независимую, площадку. В этой связи, распространение получили вузы, научные учреждения и предприятия, полезная нагрузка которых соответствует одной полноценной единице – лаборатории, кафедре, конструкторскому бюро – мирового уровня, но искусственно, за счет комплементарных звеньев с компетенциями значительно меньшего качества, «достроенные» до полноформатных и требующие содержания как универсальные. Поскольку этот архетип довольно часто по субъективным причинам либо в силу ограниченности возможностей личностного роста не приживается в рамках определенного центра компетенции, отсутствие альтернативной площадки часто выступает фактором оттока кадров за рубеж. Обращает на себя внимание, что склонность к выдавливанию инноваций здесь имеет причиной не догматизм среды, чаще встречающийся в Петербурге и у изводов его академических школ, а эффект «пищевой конкуренции».

Таким образом, компетенции также фактически превратились в разновидность источника ренты, а крайне низкая кооперативность в процессе решения креативных задач отражает всеобщий дефект горизонтальных связей, что со временем стало негативно отражаться на эффективности разработок. Одним из важных технико-внедренческих институтов, начиная с советского периода призванных преодолеть дефект кооперации, явились назначаемые государственным заказчиком головные предприятия/институты и генеральные конструкторы изделий/систем, ответственные за сфокусированность инкапсулированных участников проекта, который отражает свойственный степному кочевнику когнитивный архетип «многостаночника». В качестве основного принципа организационного дизайна управление проектами и процессами, а не функциями или центрами прибыли, является наиболее эффективным для этого когнитивного архетипа. В определенной мере и этот институт мигрировал в практику глобальных технологических корпораций, где он органично укладывается в медиаторскую миссию морского архетипа, соединяющего отдельные сферы компетенций, которые являются сферами ответственности городского. Однако в условиях, когда ограниченность специализированных компетенций стала источником извлечения ренты, институт генерального конструктора стал способом достижения результата посредством генерации координирующих надстроек (т.е. методом увеличения транзакционных издержек), распространенных в любых видах управления, а не путем устранения неэффективности в функциональном звене происхождения (т.е. методом снижения транзакционных издержек).

При этом, сфера умственного труда также неизбежно обременена рудиментами «закрепощения», что отражает сложность абсорбции слоя «лишних» людей в городской среде, которая, в отсутствие промежуточной стадии массового производства, оказывается единственным выходом из режима физического выживания. В этих условиях «периферийная» занятость, сама по себе крайне малопродуктивная, становится фактически «школой» формирования и накопления трудовых навыков путем увязки в единую технологическую цепочку с эффективным ядром, обладающим выдающимися компетенциями. По существу, массовое производство возникает не как центр прибыли, а как центр затрат или даже долговременных инвестиций в человеческий капитал.

Отсутствие конкурентных преимуществ, необходимость неестественного формирования хозяйственного механизма способствовали популярности общественных и элитных представлений о «конструируемом» характере реальности, как в виде широкого бытования революционных настроений, так и в виде широкого распространения практики институционального и идеологического «инжиниринга».

В условиях естественных факторов неконкурентоспособности, незаменимыми площадками модернизации сознания становятся отрасли, функционирующие по «ордынской» модели, – с высокой долей государственного заказа, продукт которых не может быть замещен импортными альтернативами и потому имеет неконкурентное ценообразование: в дореволюционный период инфраструктурное

строительство, актуальное по причине размеров страны, а начиная с 30-х гг оборонная промышленность. В рамках последней ядро занятости фокусируется на участке от научных разработок до опытного производства – фактически в звеньях, образующих современное понятие экономики знаний, – и бытует в контексте или даже авангарде глобальной научно-технической повестки дня. «Периферийная» занятость концентрируется в серийном сборочном производстве и субсидируется за счет завышения цен в рамках государственного заказа, в т.ч. по причине узкого продуктового применения технологических разработок и вторичности трансфера технологий, нерыночных механизмов технологического развития вообще.

Преобладание универсального и некооперативного «ордынского» архетипа приводит к дефекту специализации и кадровому голоду в «ядерных» компетенциях любых управленческих структур при избыточной общей численности («людей много, а работать некому»). Попытка углубить таковые и увязать их в горизонтальную цепочку приводит к росту численности, однако, как правило, инициативные индивиды этого архетипа на практике пытаются скорее раздвинуть свои полномочия «вширь», за счет смежных функциональных центров, чтобы расширить свою ресурсную базу, чем нарушают координацию. При этом, пассивные, отчужденные индивиды (видимо, это своего рода «мутация» слоя «лишних» людей, а не выходцы их «слоя умельцев и грамотных») «проваливаются» в механические операции без понимания их смысла, тем более, смысла таковых у соседа, что также не приводит к эффекту горизонтальной кооперации. Таким образом, центр-периферийная структура занятости воспроизводит себя во всех хозяйствующих микроразделах – как в логике отношений «пищевой конкуренции», так и в силу когнитивных особенностей. Следует отметить, что в индустриальный период, ввиду неконкурентоспособности массового производства, способность «ядерных» групп создавать отличительную ценность не находит способов монетизации в рамках самодостаточных цепочек создания ценности, поэтому не в состоянии преодолеть ограничение «нулевой суммы» и эффект отношений «пищевой конкуренции» за централизованно распределяемые ресурсы. В совокупности эти факторы препятствуют положительному элитному отбору и в сфере умственного труда, поэтому социальный лифт здесь чаще всего срабатывает лишь при условии признания достижений ученого или инженера за рубежом.

Эффект «пищевой конкуренции» также находит свое отражение в жестко иерархической оценке знаний в рамках системы образования, где балл выступает не конкурентным стимулом к овладению таковыми, а сословным барьером. В этой связи, в среде урбанистической архаики преподаватель выступает как «делегат» властной вертикали с полномочиями по принуждению, а не как носитель связанной со знаниями «горизонтальной» репутации. Здесь это является самостоятельным препятствием для распространения знаний, фактором вторичности их престижа по сравнению с обладанием силой. Отсюда отношение к ошибке не как к фундаменту для новой ценности, а как к основанию для поражения в правах, что находит отражение в восприятии предпринимательской деятельности и предпринимательского риска.

Склонность конвертировать ограниченную доступность и качество компетенций в источник ренты также нашла свое отражение в организационном дизайне корпоративного и публичного управления, когда подразделения сформированы по функциональному признаку (явный признак «ресурсного» сознания, свойственного степному кочевнику). Встроенная внутренняя конфликтность, размытость функций и алгоритмов взаимодействия управленческих звеньев, их вертикальная громоздкость препятствуют внутреннему обмену информацией, горизонтальной кооперации для достижения общих целей, продуктовой (коммерческой) или проектной сфокусированности (дефект свойств морского архетипа). Это требует постоянного ручного, внесистемного вмешательства, укрепляя исключительное положение первого лица и его непосредственного окружения, снижает склонность к делегированию полномочий. Таким образом, не происходит формирования деперсонифицированных институтов, поскольку с передачей формальных полномочий невозможен трансфер сложной системы неформальных отношений, которая полностью переструктурируется в связи с каждым новым лидером.

Такой тип инкапсуляции управленческих единиц и компетенций не следует путать с азиатским – строго регламентированным, допускающим смену лидера, но не трансформацию института и определяемым такой когнитивной особенностью, как разрозненность и изолированность компетенций. Этим же фундаментально отличается российская практика создания многоотраслевых «олигархических» конгломератов, являющихся инструментом «огораживания» рентных ресурсов и удержания надела собственности на базе примитивного труда (потому рассматривающих человеческие ресурсы скорее как обременение) и крайне неравномерного распределения доходов. В рамках «матрицы» степного кочевника – в

отличие от морского – рыночные позиции обеспечиваются не потребительской лояльностью, а силовыми возможностями, которые позволяют удерживать источники стоимости. По своей природе силовой ресурс неразделен и тяготеет к тотальности, при этом ареал его пенетрации территориально обусловлен, в связи с чем его обладатель стремится к доминированию на определенной территории, вне логики отраслевой специализации. Напротив, азиатские конгломераты стремятся к усложнению характера деятельности и наращиванию компетенций, однако, в силу упомянутых когнитивных особенностей (затрудняющих иной информационный обмен, кроме вертикального), делают это экстенсивным путем, что приводит к прямому управлению большим количеством отраслей и закреплению целой группы населения, внутри которой, однако, дифференциация доходов не обязательно является чрезмерной. Этим же объясняется равномерная структура сравнительно низкой производительности труда, в отличие от российской, существенно разнящейся ввиду композиции занятости по оси «ядро – периферия». Сам по себе вертикальный принцип азиатской социальной организации не имеет основой стремление к концентрации материальных или силовых ресурсов: патримониальный центр, обладающий силой, воспринимается также как безальтернативный источник знания. При этом, российская склонность к универсальности компетенций смягчает последствия от пережитого начиная с 90-х гг поколенческого разрыва в научных и инженерных школах, что было бы фатально в условиях отраслевой изолированности и вертикальной передачи знаний.

Примечательно, что, благодаря органичности конкурентных навыков, некоторая часть научно-технической интеллигенции в 90-е гг, в непродолжительный период относительного преобладания конкурентных практик над монопольными, мигрировала в сферу бизнеса и даже на первых порах составила элиту предпринимательского класса. Тем не менее, в рамках примитивного хозяйствования, не востребующего сложные компетенции, в долговременном плане они оказались в подчиненном по отношению к опричному сословию положении, а сумевшие сохранить позиции в «высшей лиге» практически полностью отказались от системы ценностей «образованного человека» в пользу «псевдомодернистской» (см. далее), основанной на потреблении и собственности. В большинстве они со временем утратили системообразующую роль в пользу представителей примитивно-родового конкурентного архетипа, составивших более органичный «сплав» с обладателями силового ресурса.

Парадоксальным образом влияние интеллигенции как основной движущей силы модернистской трансформации оказывается тесно связанным с таким неотъемлемым признаком архаического сообщества, как «оборонное сознание», требующим опережающего развития науки и технологий, которое, в свою очередь, приводит к росту гражданского самосознания. В некотором роде, даже расширение возможностей для гуманитарной интеллигенции, традиционно довольно критической по отношению к силовым институтам, также можно рассматривать в «едином пакете» с развитием естественных наук и инженерных специальностей. С одной стороны, она являлась частью идеологического обеспечения демонстрации превосходства социальной модели. С другой стороны, она поставляла культурную компоненту расширенной «потребительской корзины» для людей умственного труда, востребованных оборонно-промышленным комплексом. При этом, беспрецедентный численный рост низовых слоев интеллигенции (учителей, библиотекарей и пр.) призван обеспечить систему расширенного воспроизводства знаний – практически единственного «способа производства», в долгосрочном плане оказавшегося конкурентоспособным в России. Таким образом, интеллигенция выступает единственным социальным слоем, пронизывающим все этажи имущественной иерархии и при этом сохраняющим внутреннюю целостность в ценностном и поведенческом отношении, что делает ее безальтернативной в роли транссословного коммуникатора.

В отсутствие каких-либо институтов гражданского общества, именно интеллигенция выступает движущей силой перемен в период разложения Советского Союза. Примечательно, что в США наиболее передовые по поведенческим установкам общности возникли в технологических долинах, также являющихся площадками для размещения военного бюджета, с той существенной разницей, что хозяйственный механизм развитой рыночной экономики направлен на межотраслевую отдачу от таких вложений и мультипликативный эффект. Это иллюстрирует роль конкурентных вызовов в модернизации сообществ, вынужденных под их влиянием наращивать компетенции и в целом повышать

привлекательность своей социальной модели, а также закономерность ослабления архаизирующего влияния силового ресурса, даже застарелого, в условиях возрастания значения знания и его соединения с трудом.

Таким образом, «охранной грамотой» этого слоя, чужеродного патримониальной вертикали феодального образца, является сам императив индустриальной эпохи, требующей резкого наращивания человеческого капитала и грозящей выпавшим из промышленной гонки странам утратой суверенитета, а их элитам исчезновением. С этим связано метание как досоветской, так и советской власти между необходимостью качественного технологического рывка и нежеланием попустить вольнодумство, что в итоге привело к появлению под присмотром тайной полиции научно-технических «резерваций» – т.н. «шарашек», наукоградов и пр. Именно на период искусственного насаждения массового промышленного производства интеллигенция глубоко погружается в «толщу» архаических масс и создает с некоторой их частью «смешанную общность», похожую на нацию эпохи модерна, а сама принимает вид интеллектуального класса развитых индустриальных стран. Однако в постсоветский период, с разложением элементов этого уклада и обращением значительной доли экономики в доиндустриальное состояние, она вновь возвращается к традиционной роли – «голоса совести и просвещения», устраненного из цепочек создания стоимости. При этом «хабом» межсословной коммуникации становится система образования, где кристаллизуется новый, постиндустриальный технологический уклад и пополняется слой его носителей.

Устойчивость феномена интеллигенции (в смысле «больше чем поэт») является обратной стороной экзистенциальной тупиковости развития в условиях отсутствия естественных предпосылок для перехода от доиндустриального уклада к индустриальному. Этот тупик актуален вплоть до момента, пока конкурентоспособную основу не обретает постиндустриальный уклад, позволяющий монетизировать продукт интеллектуального труда «напрямую», без производства и транспортировки промышленного товара как такового (см. ранее и далее). Не случайно схожий архетип образованного класса наблюдается преимущественно в тех странах, где существенная часть населения относится к числу деформированных морских кочевников. Так, среди них многие латиноамериканские страны, схожие с Россией с точки зрения трансформационных дефектов (см. ранее). Показательно, что из числа крупных развитых стран феномен интеллигенции характерен для Франции, Италии, Испании, Португалии, Греции, а также в определенной мере для архетипически весьма отличной Германии. Все указанные страны на пике индустриальной эпохи отличали ожесточенное противостояние более состоятельным и лучше защищенным морским державам (бездефектным морским кочевникам), «рваное», скачкообразное развитие, прерываемое острыми социальными и военными катаклизмами на собственной территории, болезненное конструирование национальной идентичности. На постсоветском пространстве этот феномен также наиболее ярко выражен у деформированных морских кочевников – в странах Закавказья и на Украине, а также в Белоруссии, среди других развивающихся стран – у латиноамериканских. Практически повсеместно интеллигенция была наиболее востребована обществом именно в периоды национального тупика – например, военные и околовоеенные, – когда дефицит видения на следующий стратегический горизонт становился препятствием для преемственности в развитии и социальной мобильности.

При этом в рамках «рисунка» развития, характерного для деформированных морских кочевников, переход к постиндустриальному укладу парадоксальным образом становится шансом для образованного слоя лишь гипотетически – на деле же, напротив, выступает критическим вызовом, поскольку предшествующую, индустриальную эпоху он посвящает национальному становлению и защите гражданских свобод. Тем самым к поре экономики знаний интеллигенция подходит оторванной от глобальных трендов, экосистемы знаний обнаруживают свою периферийность, непригодность к производству разработок, имеющих полезное применение. В этой связи, образованный слой оказывается в более выигрышном положении в странах, существенной частью развивающихся в социальной матрице иных архетипических видов, – например, Франции и Италии, где социальный портрет северных регионов формируется доминантным городским архетипом (в последнем случае выдвинутым на передовые позиции под историческим австрийским влиянием).

8.2 Экономико-архетипическая проблема единой нации

Русскую историю часто принято трактовать как противоборство «ордынского» и «новгородского» начал, – в качестве его вульгарной проекции можно рассматривать «фольклорное» противопоставление Москвы и Петербурга, притом скорее как мифических образов, – с явным преимуществом первого. Более того, «ордынский» архетип с его многовековыми крайне архаическими устоями в узком смысле слова и принято считать собственно российским, отдавая должное тяжеловесности этого архетипа с точки зрения исторических последствий, в особенности, после разорения Московией новгородской цивилизации и фатального прерывания русского Ренессанса в самом зародыше. Однако такая оценка является явным упрощением реального архетипического многообразия, сохранившегося под унифицирующей «дланью» силовой корпорации степных кочевников. Староверы с их социально-поведенческим архетипом «морского кочевника без моря» и жестко оппозирующим опричнине наследием, играющим масштабную роль в формировании актуального общественного запроса и предпочтений, служат тому краеугольным, но не единственным примером.

Существенное влияние на экономически значимые культурные и поведенческие установки в предпринимательском сообществе и элите в целом оказывает сравнительно редкий в масштабах страны уклад зажиточных крестьян Южного Урала, Черноземья и казачьей вольницы, значительная часть которого после распада Советского Союза к тому же оказалась на территории Украины и даже Северного Казахстана, а также характерные для поволжских и кавказских этносов уклады. В ареале исторической России это пояс с наиболее благоприятным для выращивания продовольствия климатом, а также выходами к бассейну Черного, Азовского и Каспийского морей, системой рек, судоходных большую часть года – Волгой, Доном, Днестром и др. По этой причине отношения «пищевой конкуренции», во всяком случае, в прямом понимании, здесь не выражены ярко, плотность населения и солидарность индивидов значительно выше «ордынской». Индивиды традиционно могут себе позволить более высокий уровень автономии от патримониального субъекта, поскольку в состоянии обеспечить свои первоочередные жизненные потребности без участия в перераспределении ренты. С этим связано ограниченное распространение здесь крепостного права либо сравнительная мягкость крепостной повинности. Более того, в отличие от большей части российской территории, здесь сельскохозяйственное и связанные с ним производства по-прежнему являются наиболее продуктивными отраслями экономики, воспроизводится, пусть и малочисленный, архетип крепкого, хозяйственного крестьянина с навыками простого – не только аграрного – предпринимательства. Сельский оседлый архетип сохраняет высокую значимость и выступает основным демографическим демпфером, «выпуская» в города значительно меньшие массы «лишних» людей.

Вместе с тем, существуют иные причины застойной архаичности этих укладов. Господство над регионом, по некоторой аналогии со Средиземноморьем, исторически являлось предметом спора между сменявшими друг друга многочисленными кочевыми (редко оседлыми) цивилизациями, некоторые из которых имели здесь крупные государственные образования, – хазарами, половцами, печенегами, татаро-монголами, тюрками и др. Покорившая эти земли позднее Московия также представляет кочевую ветвь русского этноса. Таким образом, природно-географические условия юга, обычно способствующие возникновению модернистских сообществ, в масштабах огромных просторов прилегающего и лишенного таких преимуществ евразийского хартленда выступают как ограниченный ресурс, обреченный вызывать интерес у расположенных здесь мощных противоборствующих центров силы. В этой связи, среда характеризуется высокой силовой «токсичностью», как правило, привнесенной внешним патримониальным центром, но образующим лояльные «сервисы» на местах, поэтому более масштабный, чем личное хозяйство, промысел отличается крайне ограниченным горизонтом

планирования, «ресурсным» (в т.ч. транзитно-ресурсным, спекулятивным) типом извлечения стоимости. На примере этих укладов отчетливо прослеживаются не только ценные в эволюционном отношении признаки сельского архетипа, но и его податливость силовому, экстрактивному воздействию. Примечателен выработанный казачеством способ «оплаты патримониальных поборов» путем отбывания государственной – прежде всего, военной и полицейской – службы, который вплоть до 1917 года позволял уберечь хозяйственный уклад от разорения, но способствовал росту силовой «токсичности» и общей архаизации зажиточного региона. Таким способом казачество, исторически сформировавшееся как типичная общность степных кочевников, своего рода степная версия «пиратов его величества», фактически сохранило и свое «традиционное ремесло» – наряду с благоприобретенным на плодородных землях навыком оседлого аграрного хозяйствования. Существуют, однако, основания полагать, что исторически земледельческая традиция на Дону обязана не столько казакам, сколько беглым крестьянам из более северных русских регионов, – однако впоследствии они так или иначе были инкорпорированы казачеством, поступившим на службу патримониальной корпорации и фактически выступающим автохтонным «сверхпроводником и усилителем» исходящей от таковой силовой «токсичности». Показательно, что в наше время именно здесь особенно ярко проявились родимые пятна «степной матрицы», в частности, т.н. «эффект Куцевки» – сращивание различных ветвей власти с хозяйствующими субъектами и криминалом в нераздельный «синклит» силового и «кормового» ресурса. Высокая значимость сельского хозяйства и зажиточной деревни вообще, характерная для деформированных морских кочевников, здесь сочетается не только с автохтонной силовой «интоксикацией», но и с непосредственной близостью изолированных общностей Кавказа. В совокупности это дает единственную в своем роде архаическую общность короткой дистанции среди русских степных кочевников – не просто «сгущенную» силовую субкультуру в социально разреженной среде, а самобытную в этнокультурном отношении и географически локализованную, обладающую мощным внутренним потенциалом к обособлению. Не менее примечательно, что те казаки, которые предпочли сохранить экосистему самоуправления в противовес силовому промыслу, мигрировали к местам доминирования староверов и сформировали схожий с ними социальный уклад.

Показательно, что Украина, в отличие от России, относительно размеров своей территории щедро наделена протяженностью теплого морского побережья и судоходных рек, поэтому естественным первообразным архетипом для нее является морской, притягивающий к себе городской по европейскому образцу. Последний сам по себе достаточно выпукло представлен в Харькове и Львове, а в сочетании с морским – в Киеве и Одессе. Кроме того, обилие плодородных земель способствует довольно равномерной и высокой плотности населения, глубине рынка, образованию зажиточного крестьянства, распространению качественного сельского оседлого архетипа, в т.ч. как источника квалифицированного рабочего класса. Именно такой архетипический контраст с Великороссией – в значительно большей степени, чем какая-либо этнокультурная самобытность, – являлся причиной автономного бытования Малороссии и Новороссии во все исторические периоды, в т.ч. в автохтонной институциональной форме (гетманство и пр.), из общностей современной России органичной лишь для казачьей вольницы. Такая архетипическая композиция является идеальной для классической, трехфазной модернизационной трансформации европейского типа, включающей промежуточную, индустриальную стадию. Действительно, центральная и восточная часть Украины являлась крупным индустриальным кластером в советский период, однако в значительной степени утратила это значение впоследствии. При этом, в отличие от России с ее естественными условиями, здесь такой уклад – безотносительно конкурентоспособности отдельных производств – сам по себе не выглядит искусственным. Технологическое обновление промышленности на рыночной основе – хотя бы частичное, по восточноевропейскому образцу, – было бы экономически оправданным, поэтому фактическая деиндустриализация свидетельствует о глубоком дефекте первообразных архетипов. Многовековое

межеумочное бытование, эффект гравитации соседствующих центров силы с востока, запада и юга – советский период истории здесь выступает наиболее весомым, но частным проявлением, – обусловленное этим отсутствие защиты собственности фактически привели здесь к эрозии временного горизонта, перерождению предпринимательской природы морского архетипа в спекулятивную, посредническую, не инвестиционную, в чем-то напоминающую «предпринимателя» – степного кочевника. Однако его отличительной особенностью является стремление зарабатывать на изьянах, пробелах среды с «силовой токсичностью», искать системную «течь» из патримониальной модели извлечения стоимости. Таким образом, восток и юг Украины, являющиеся истоком русской цивилизации, во многом воспроизводят как архетипическую, так и историческую судьбу европейского Средиземноморья, исторически представлявшего собой наиболее привлекательный ареал для расселения, колыбель европейской цивилизации, но ставшего ареной противостояния соседствующих центров силы и претерпевший глубокую архаизацию. При этом после падения Константинополя и великих географических открытий, подорвавших сухопутный евразийский транзит, экономическая основа единства материнской и дочерней русских цивилизаций во многом оказалась размытой, в связи с чем Киев и западная часть Украины имеют обширную историю пребывания в составе польско-литовских и иных европейских империй. Устойчивая протонациональная общность сложилась лишь на западе Украины, однако также вне промышленного производства, на доиндустриальной основе – солидарности городского архетипа, сформированного в условиях самоуправления городов при магдебургском праве, с сельским. Это напоминает характерную для прилегающих аграрных регионов Восточной Европы идентичность, возникшую не столько в рамках устойчивого хозяйственного взаимодействия классов, сколько на основе самоидентификации «притесняемой» крупными соседями общности.

В конечном итоге, при более чем европейской первообразной архетипической композиции, на Украине налицо социальная конструкция, также схожая с российской, – пролонгация доиндустриального, квазифеодального бытования. Единственным отличительным признаком гетерогенной среды от патримониальной осталась полицентричность «кормовой базы», а с ней и силового ресурса, который не может быть монополизирован, по образцу конкурирующих родовых общностей эпох Античности и раннего Ренессанса, что вызывает проявление феномена «несостоявшегося» государства. Однако феномен «феодальной раздробленности» во многом характерен и для купеческих городов Центральной России, включая Москву, где ресурсно-силовые «феоды» довольно автономны, конкурентны и лишь на период изобилия «присягают» патримониальной вертикали. Так, в 90-е гг, когда из-за сокращения «кормовой базы» патримониальная вертикаль в России также претерпела временную декомпозицию, социальная ткань двух стран практически не имела отличий, а элитные интересы глубоко переплетались, вплоть до образования трансграничных ресурсно-силовых групп. Социально и этически это явление чуждо лишь Санкт-Петербургу (см. ранее), где силовая и «кормовая» функции не только единосущны, но и моноцентричны, как довольно едина и ценностно принципиальна противостоящая ей интеллигенция. Лишь по мере восстановления силовой вертикали (примечательно, что под эгидой петербургской силовой корпорации) в качестве полноправного бенефициара всей общественной стоимости в России в период ресурсного изобилия 2000-х гг, возник также глубокий разлом между моноцентрической и полицентрической (на Украине) моделями элитного распределения (наиболее яркий пример таковых пресловутые «газовые войны»), который не мог быть преодолен даже на почве очевидной общности материальных интересов, прежде всего сосредоточенных вокруг транзитной ренты при экспорте энергоносителей. На Украине отслоение силового ресурса от хозяйствования и его переход под коллективный контроль также упираются в дефект нересурсной экономики и массового индустриального производства, в полной мере – но по другим, природно-географическим причинам – характерный для современной территории России. С этим связаны такая же глубокая фрагментация социальной ткани и

торможение формирования нации, которая претерпевает непродолжительную консолидацию лишь под давлением угроз извне.

В случае с Поволжьем и Северным Кавказом архетипическую наследственность формирует кочевое пастбищное скотоводство – в отличие от русских регионов распространения степных кочевников, у населения которых важную роль в хозяйстве традиционно играют собирательство и охота. Для поволжских этносов характерен «осевший» степной архетип – зажиточное культурное выращивание продовольствия, а также переход экстрактивной элиты ресурсно богатого (по сравнению с численностью населения) края к реинвестированию извлеченной ренты в привлечение передовых технологических (впоследствии, возможно, социальных) практик. В то же время, на Кавказе застойная архаичность усугубляется крайне сложным рельефом местности с этнической фрагментацией, географической изоляцией и межуточным положением, препятствующим обмену продуктами труда и культурными образцами с внешним миром. Фактор низкой плотности экономически активного населения здесь проявляет себя иначе, чем в других регионах, – относительно общей численности населения, а не относительно территории, поэтому естественно выражено стремление к подчинению более благоприятных для генерации капитала ареалов обитания. Это характеризует горные кавказские этносы как ярко выраженные изолированные субконтинентальные общности, при этом в ареале их бытования привнесенная извне (метрополией дореволюционного, советского и постсоветского периодов), репрессивная силовая «токсичность» сочетается с закаленной в противостояниях автохтонной. Родоплеменные архаические «капсулы» здесь имеют вид буквальной реплики средневековых феодальных кланов или даже более ранних формаций. Как и другие изолированные общности, индивиды мужского пола тяготеют к архетипу воина и бытуют в замкнутом кругу, даже при смене региона бытования воспроизводят герметичную этическую и эстетическую матрицу – с характерным культом силы и крайне низким престижем знания. В этой связи чрезвычайно показательна стремительная деколонизация Северного Кавказа в постсоветский период, – когда демонтаж искусственно имплантированных извне элементов индустриального уклада и сопутствующей ему системы образования одновременно послужил массовому оттоку этнических русских из региона. Более того, в условиях всеобщего обращения хозяйства в феодальное состояние именно формация изолированной общности – архаического сообщества короткой дистанции, первообразного бенефициара силового капитала – получила безраздельное господство и у метропольного русского этноса. Это спровоцировало идентичные притязания со стороны аналогичных этнических сообществ – на кормление за счет нижних сословий степных кочевников, преимущественно русского происхождения, т.е. на статус субъекта, а не объекта колонизации.

Влияние «периферийных» укладов не определяет дизайн институтов или характер хозяйственного механизма в России, а в большинстве своем преследует цель вписаться, наряду (в пределе наравне) с непосредственно «силовым предпринимательством», в сложившуюся систему извлечения стоимости с учетом преимуществ компактной и организованной архаической группы, в рамках которой индивид имеет хоть и вертикальный, но непосредственный доступ к носителю патримониального ресурса. Они – реже более аутентичные в этом качестве «осколки» старообрядческих общностей с Севера, Урала и Зауралья – также устремляются пустующую нишу морского архетипа, отвечающего за предпринимательские навыки. Однако большинству таких предпринимателей не свойственны ценные для модернизации качества этого архетипа, прежде всего, склонность к усложнению производства и вовлечению в хозяйственный оборот знаний, которая является ключевым фактором положительного конкурентного отбора. Напротив, они мыслят себя младшими «сервисными» партнерами силового ресурса и тяготеют к наиболее примитивным способам извлечения стоимости, стимулируют отрицательный отбор. Соответственно такие общности вносят свой вклад в консервацию «ордынского» типа распределения по принципу «концентрических кругов», которым соответствуют не только

сословные (например, опричные), но и любые другие «аккредитованные» экстрактивные элиты, имеющие заведомое преимущество перед отчужденными и атомизированными индивидами. В то же время, не следует механически относить к архаическим землячествам любых индивидов титульного происхождения, некоторые из них получают доступ к ресурсам посредством ассоциации с иными архаическими группами, например, ведомственными, другие разделяют участь социального «сиротства» большинства в рамках уклада урбанистической архаики степных кочевников. Значительная их часть вовсе является носителями модернистских установок и культуры городских сообществ, вступает в горизонтальные связи в индивидуальном качестве, проявляя общественную солидарность вне системы понятий «свой – чужой».

* * *

Итак, в реальности социальное «одеяло» России, лишенной материальной основы конкурентоспособного массового производства в нациеобразующий индустриальный период, выглядит вполне лоскутным. Находящиеся в некотором большинстве архаические сообщества Центральной и Южной России, уклад урбанистической архаики и просто атомизированные индивиды соседствуют с крупными городскими образованными общностями, а также протонациональными образованиями Урала и Сибири, частично Севера и Дальнего Востока с характерной местной идентичностью (исключение составляют территории, ускоренно колонизированные в ходе развития добычи полезных ископаемых в XX веке) и сильным старообрядческим влиянием. Это уникальный феномен, когда государствообразующий этнос на протяжении многих столетий являет себя в форме не просто абсолютно различных, но зачастую плохо совместимых друг с другом социальных сущностей, для одних из которых естественно образование легитимности внизу и вторичное делегирование вверх (соответственно горизонтальная социальная архитектура), для других же – доминантных – наоборот (соответственно вертикальная социальная архитектура). Иначе говоря, одной части русской цивилизации – подобно материнской европейской – свойствен запрос на государство, имманентное населению, для другой же – подобно большинству азиатских этносов – характерен запрос на государство, трансцендентное населению, притом географически эти части фрагментированы, а их локализация не совпадает с ценностной ориентацией. При этом, оба эти социальных организма стереотипно воспринимают фактическую власть как чужеродную, однако если в последнем случае это означает желательность ее смены при первой возможности («освобождения от оккупации»), то в первом такое положение подразумевается естественным, единственно возможным, – на смену чуждому правлению может прийти только другое такое же, местного или пришлого происхождения. В этой связи примечательно, что и примкнувшие в силу исторических обстоятельств к русским этносы в зависимости от собственной архетипической нормы мыслят себя носителями одной из двух систем представлений и проявляют себя так же, как соответствующая русская общность. В этом контексте следует понимать и т.н. национальный вопрос: практически ни одна из линий трения, занимавших умы и принимавшихся за противоречия между русскими и каким-либо другим проживающим в России этносом, не может быть в полной мере трактована без архетипической подоплеки, как этническая в собственном смысле. На деле прочие этносы – по некоторой аналогии с ролью других государств в истории России – в зависимости от собственного уклада жизни, традиционного промысла, социального и правового положения, обстоятельств попадания в периметр русского государства становились сторонами внутрирусского противостояния, много более глубокого. В частности, по одну сторону с городским образованным слоем, старообрядческими общностями и их позднейшими, утратившими конфессиональный окрас изводами оказались евреи, а

также урбанизированные западные окраины империи. Напротив, у горских народов Северного Кавказа через историю отношений с Россией в качестве основной линии проходят отношения со схожими русскими архаическими общностями короткой дистанции – прежде всего силовой корпорацией, а также кавказскими казаками. Их характер варьируется от ожесточенных военных противостояний до раздела сфер влияния и кормовых интересов в отношении нижних сословий русских. В этой связи, значение социально-антропологических характеристик иллюстрируется и тем, что евреи, получив после Октябрьской революции обширный доступ к силовому и бюрократическому аппарату, стремительно и практически полностью утратили его, вплоть до негласного ограничения доступа к государственной службе в послевоенный период, – в значительной мере ввиду несовместимости установки на индивидуальную субъектность с архетипическим комплексом изолированной общности, каковой является силовая корпорация.

Показательно в этой связи, что широко распространенные во всех регионах России криминальные сообщества зачастую по-разному проявляют себя в недрах общностей с различной социальной тканью. Если для ресурсных центров и этнических регионов характерно тотальное сращивание криминала с патримониальной властью до степени неразличимости, то на Севере, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, а нередко и в анклавах урбанистической архаики таковым свойственна локальная идентичность, архетип «вооруженного ополчения против оккупационного режима», противостоящего ветвям патримониальной вертикали на месте.

Характерно, что в разломе национальной ткани русского народа традиционно лежит проблема отношения к коррупции, социальная квалификация которой выходит за рамки правовой. В рамках феодальной матрицы государство трансцендентно населению, и присвоение общественной стоимости обладателем силы является нормой, в то время как отношения государства, имманентного населению, с последним носят контрактный характер: население выступает первичным бенефициаром общественной стоимости и наделяет государство ресурсами под выполнение определенных функций по предметно-целевому принципу. Отношение к избыточному и в принципе любому самочинному присвоению общественной стоимости лицами, аффилированными с публичными институтами, как к аномалии, нарушению, равносильно национализации населением государства, ранее носившего отпечаток «ордынской оккупационной администрации». Однако, как уже отмечалось, такая национализация возможна лишь при условии смены способа хозяйствования с ресурсно-силового на связанный с отличительным вкладом человека.

Показательно, что творческая среда, общественные организации и оппозиция – будь то политическая или этическая, лояльная или непримиримая – традиционно «конгруэнтны» власти и трансцендентны населению, т.е. также не имеют источником легитимности какие-либо заметные слои населения и существуют за счет инородных ему центров гравитации – в основном либо той же власти, либо противостоящих ей сил вовне страны. Это в решающей мере способствует культивации в общественном сознании биполярного мифа «не лоялен – значит предатель» и воспроизводству моноцентрической социальной матрицы. Такие «институты» во все времена – даже в условиях вполне плюралистических политических систем начала и конца XX века – бытуют скорее в качестве сект, представляющих интересы собственных членов – хотя не обязательно корыстные, а порой весьма идеалистические и гуманистические, – в связи с чем социально инфантильны, обладают пониженной договороспособностью и не в состоянии выступить опорой общественно-политической системы. Атомизированное население, на протяжении веков отученное от коллективного действия, как правило, не соучаствует в их деятельности, прибегает к их помощи лишь ситуативно, в случае крайней личной необходимости. Вследствие такого отсутствия обратной связи, и сами эти «институты» склонны мифологизировать население, приписывать коллективному сознанию – как правило, весьма скептическому и погруженному в бытовую сторону жизни – несвойственную «лубочность» либо демонизм. Соответственно, появление любой площадки коллективного действия является прологом неминуемой последующей смены природы также и самой власти – с инородной населению на представляющую его – т.е. фактической национализации таковой, что не может не являться предметом ее озабоченности.

Политическая архитектура различных регионов также воспроизводится от каденции к каденции и обусловлена не режимными трансформациями, а объективными факторами, – потому изменяется лишь с ними. Нет регионов, где вовсе отсутствовала бы множественность хозяйствующих субъектов, а

соответственно внутриэлитная конкуренция, кроме того, любое социальное пространство короткой дистанции, сфокусированное на локальной повестке дня, обречено отличаться «горячим» политическим темпераментом и сравнительной сменяемостью власти. Однако чрезвычайно часто ресурсная база производна от некоторого основного денежного потока или экономически значимого фактора, – и в этом случае все акторы вынуждены действовать в фарватере интересов распорядителя такого источника благосостояния, апеллировать к нему в качестве арбитра. Даже острые внутриэлитные противостояния здесь обречены разрешаться путем обращения к такому субъекту, а не к населению, – отсюда характер власти от частоты обновления ее личного состава не меняется. В ряду таких объективных обстоятельств зависимость от дотаций центра или нерыночного тарифа на транспортировку основной продукции региона потребителю по территории страны, доминирующий вид рентабельного промысла или хозяйствующий субъект, коммерческий или ведомственный, и т.д. В то же время, полицентричность конфигурации самодостаточных хозяйствующих субъектов создает склонность к политической конкуренции независимо от конъюнктуры, – в силу географически обусловленных факторов таких регионов численно немного, поскольку они должны обладать либо внутренним рынком чрезвычайной глубины, либо производить разнообразную и при этом высококонтентную продукцию, способную покрыть рыночный транспортный тариф.

Кроме этого, в этом контексте парадоксальным выглядит сравнение политических и институциональных традиций современных Москвы и Петербурга. Так, диверсифицированная экономическая база, полицентрическая социальная архитектура, глубокая внутренняя свобода и внешняя открытость в Москве находят выход минуя городские политические институты, – и это также имеет объективные основания. Во-первых, по итогам урбанизации тектонических масштабов в XX веке в городе чрезвычайно слабо пространство короткой дистанции – локальные связи, сообщества, повестки дня. Во-вторых, ключевым актором хозяйственной и политической жизни города выступают федеральные силовые кланы, источник господствующего положения которых не имеет отношения к самому городу – как и карьерные линии основной части личного состава силового аппарата (кочевой «оккупант»). В-третьих, всех акторов здесь объединяет ключевой общий интерес удерживать положение города в качестве центра концентрации ресурсов страны, – и выразителем этого интереса вовне служит городская власть. По совокупности указанных причин последняя не предусматривает представительства ключевых акторов и внутренне достаточно однородна, – однако при этом модус ее правления отнюдь не является «самодержавным», принимает в расчет интересы и вкусы многочисленных публичных и теневых заинтересованных сторон в стремлении обеспечить себе их поддержку. Напротив, конфигурация публичной власти в Петербурге является полицентрической, полифракционной эксплицитно, – и это отражает укорененность локальных сообществ и приоритет городской повестки дня. В то же время, реальные решения здесь отнюдь не являются продуктом политического взаимодействия публично представленных сил, – напротив, они отражают безраздельное господство силовой корпорации, которая претендует не договариваться, а подчинять, выступает объектом апелляции для всех политических фракций («прошения на высочайшее имя»). Это господство основано именно на экстрактивной хозяйственной модели – будь то в связи со «столичной» рентой или рентой ключевых транзитных ворот страны.

При этом территория становится не фактором сшивания нации, а фактором социального размежевания, единство обеспечивается сложностью природных условий и географического положения, в силу которых для большей части (хотя и не всех) земель дезинтеграция несет отрицательный потенциал: так, даже ресурсоизбыточные регионы нуждаются в транзитных возможностях сопредельных для монетизации собственных ресурсов. Такое экзистенциальное размежевание интересно сопоставить с длительной отменой маркирования государства как русского в пользу «вненационального» в советский период, что принято связывать исключительно с характером победившей идеологии и власти. Действительно, отношение к власти – самочинной, меняющейся не в результате народного волеизъявления, – как инородному элементу является неотъемлемым признаком отчужденного «ордынского» архетипа. Однако, в свете фрагментированности самого русского этноса, становится более понятным расширение мультинационального советского «эксперимента» вовне и даже готовность массового сознания смириться с фактической отменой государственной субъектности русского народа, при общем умножении этнических территориальных образований. Более того, обращает на себя внимание, что практически на протяжении всей истории советского периода управление государством в значительной степени принадлежало элитам архетипического вида, не свойственного великорусскому

этносу, – деформированным морским кочевникам из Украины, которая в свое время также явилась донором никонианского (византийского) церковного канона, и Закавказья. В силу самой природы этого вида, тяготеющего к внешнему управлению, его представление о социальном лифте ведет за пределы общности, в метрополию, – так что эта склонность выглядит естественной. С точки зрения же самой великорусской метрополии это явление само по себе достойно рефлексии, однако наводит на мысль, что его причиной явилась, во-первых, эрадикация автохтонной силовой корпорации в результате Октябрьской революции, во-вторых, фактическая холодная гражданская война между двумя архетипическими ветвями русских, в том или ином виде не прекращавшаяся со времен колонизации нынешней Центральной России и, в особенности, ордынского ига. Этот тезис подтверждается и склонностью к территориальной фрагментации русского государства в периоды ослабления ресурсно-силовой вертикали, притом на образования с совершенно разными по сути, но соответствующими локальной архетипической норме режимами правления, – в частности, в XX веке это явление наблюдалось в достаточно эксплицитной форме дважды, в ходе гражданской войны и в 90-е гг.

Неотрефлексированность социальной полифонии собственно русских приводит к смещению акцентов от социальной многоукладности в сторону многонациональности, подмене бесплодными трансэтническими конструктами действительно актуального социально- и пространственно-интеграционного дискурса – по образцу, в некоторой степени, материнской европейской цивилизации и, в особенности, американского общества, исторически глубоко социально размежеванного. Между тем, глубокие межэтнические конфликты как таковые являются «нормой» взаимоотношений различных племен степных кочевников, уклад хозяйствования которых строится вокруг распределения, а не создания стоимости, и даже общности одного этногенеза здесь не застрахованы от дальнейшего дробления. При этом, как уже отмечалось, если индустриальная экономика тяготеет к концентрации в период дефицита капитала для инвестирования, то доиндустриальная модель «концентрических кругов», нацеленная на изъятие из экономики присвоенной элитой стоимости, при истощении «кормовой базы», напротив, обнаруживает склонность к «расползанию» в местах наличия социальных «швов». Актуальность такого риска было бы ошибочно считать исчерпанной с распадом Советского Союза – прежде всего для самого русского народа, уже являющегося разделенным, особенно с учетом того, что каждый ранее отколовшийся фрагмент создает свой потенциал центробежной гравитации для прилегающих регионов самой России. Такой потенциал сильнее не в местах преобладания модернистских сообществ с преимущественно местной идентичностью (см. выше), – она вполне укладывается в европейскую парадигму использования стоимости по месту ее образования и не тождественна сепаратизму, – а в регионах юга (в т.ч. этнически русских) с выходом к морскому побережью, высоким транзитным и рентным потенциалом, силовой токсичностью, выраженным архаическим запросом, подверженных гравитации соседних приграничных общностей и конфликтов. Наконец, обращает на себя внимание, что глобальный процесс преодоления этнической инкапсуляции в пользу исламской идентичности, выступающей одной из наиболее мощных форм всемирной сетевой солидарности «невключенных» против местных «включенных», отбрасывает тень и на Россию, где урбанизация все шире охватывает мусульманское население. Примечательно, что исторически именно родоплеменная фрагментация изолированных мусульманских анклавов с многовековой наследственностью междоусобных противоречий препятствовала коллективному действию второй наиболее многочисленной конфессиональной общности, титульный ареал распространения которой довольно компактен.

Сжатие территории архетипически является крайне болезненным для массового сознания, поскольку гигантские просторы обретаются степными кочевыми общностями в ходе поиска пропитания на скудных землях и ассоциируются с «кормовой достаточностью». Особенно острым этот эффект является применительно к прибрежным территориям на севере и юге, а также востоке, критичным для беспрепятственного торгового сообщения с внешним миром.

Таким образом, ключевой нерешенной проблемой модернизации остается формирование коллективного сознания – базиса для среды с высокой плотностью горизонтальных связей и низкими транзакционными издержками. Неконкурентоспособность массового производства как промежуточной стадии трансформации означает отсутствие самодостаточной материальной основы для изменения сознания на базе архетипических «спутников» такового – стандарта потребления и собственности, национального государства образца эпохи модерна и пр. Стереотипно национальную идентичность принято считать атрибутом индустриального периода в качестве социальной «инфраструктуры» открытого доступа, солидарности увязанных в единые цепочки создания ценности гетерогенных модернистских сообществ и внутренне однородных архаических с их системой распознавания «свой – чужой». Модернистской стороной такой социальной коалиции выступает сочетание городских образованных сообществ и буржуазии (эта сторона апеллирует к ренессансному прототипу союза городского и морского архетипов), архаической – наделенное собственностью и экономически активное крестьянство, одновременно играющее роль демографического демпфера и донора, и вышедший из его недр рабочий класс, овладевший сложными трудовыми навыками. Эта картина типична для европейских наций, которым практически не знаком феномен уклада урбанистической архаики как основного застойного слоя – профессионально обезличенного, устраненного из цепочки создания ценности, наследующего безземельному крестьянству, не объединенного с модернистскими общностями каким-либо совместным делом класса. Более того, в российских условиях массовое производство не приводит к росту общественной стоимости, а связанное с ним усложнение социума за счет «емкостей», вмещающих городской архетип, – образования, науки, здравоохранения, культуры и даже промышленности – происходит по принципу «отрицательной суммы», в ущерб потреблению. Это делает образованное ядро и многочисленную социальную периферию, представляющие собой два основных ингредиента национальной архетипической композиции, экзистенциальными социальными антагонистами.

Отражением социального размежевания является терпимость широких населения к трагическому, зачастую варварскому вымыванию наиболее образованных слоев, являющихся национальными идентификационными маркерами, более того, довольно враждебное восприятие носителей отличительных профессиональных навыков, отличий вообще. Другим важным индикатором бытования в логике «нулевой суммы», когда условием выживания становится чье-то поражение в правах доступа к ресурсам, является постоянный поиск претендентов на роль злокачественного сословия или этноса – виновника социальной ущербности большинства. Примечательно в этой связи, что в социальном смысле отличительным признаком «родовитости» от «сиротства» становится именно обладание профессией: для слоя «лишних» людей – как в период бытования в недрах крестьянства, так и в обличии урбанистической архаики – весьма характерна фактическая ассоциация человека с профессией, особенно «институциональной» (врача, учителя и пр.), с властью – притом не высшей, сакральной (царем), а местной (боярами).

При истощении «кормовой базы» общество распадается на тех, кто в состоянии создавать новую ценность при помощи своих навыков хотя бы потенциально (поэтому имеет мотивацию требовать институциональной модернизации), и людей «при ресурсах», независимо от сословно обусловленных привилегий в отношении таковых. Парадоксальным образом такая социальная архитектура имеет аналогию с постиндустриальной, в рамках которой общество распадается на «включенных», способных создавать отличительную ценность своими компетенциями, и всех остальных. Промежуточные фазы «единения» этих страт являются неустойчивыми и возникают лишь в периоды рентного «изобилия», когда элиты могут себе позволить отказ первых от самостоятельного создания стоимости в пользу достаточно щедрого сословного пособия. Таким образом, до настоящего времени трагической экономически обусловленной отличительной особенностью российской социальной действительности выступал иллюзорный, преходящий и архаизирующий характер невоенного «национального единства», замешанного не на «общем деле», а на отказе от созидательной деятельности в пользу участия в распределении, трактуемом как «социальный контракт». Уже в силу этой нездоровой природы, оно не может иметь следствием разрушение межсословных перегородок, а пропасть между трудом и знанием,

площадкой для ликвидации которой стереотипно считается массовое производство, только расширяется. Принципом извлечения стоимости становится «игра с нулевой суммой» родоплеменного типа, когда экономические отношения между индивидами начинают строиться по атавистической модели «пищевой конкуренции», социум претерпевает атомизацию по горизонтали. В отсутствие общей задачи, индивиды вновь обращаются к самоидентификации через вертикальную, вождественную лояльность, наделяя патримониальный центр сакральным, самоценным, выведенным за рамки критического анализа, практически трансцендентным статусом, «ордынская» модель «концентрических кругов» воспроизводит себя на каждом новом историческом витке.

В условиях, когда экономические отношения между индивидами возникают по поводу распределения стоимости, к происхождению которой они имеют минимальное отношение, а не созданной благодаря их усилиям и кооперации, для обеспечения собственных интересов в ход идут «не относящиеся к делу» аргументы – как правило, силовые и «понятийные», оправдывающие претензию неким «представлением о справедливости». Индивид по определению не испытывает доверия к другим и склонен исказить информацию в ходе коммуникации, ожидает того же в ответ, коллективные ценности – патриотизм, религия и пр. – на деле призваны опосредовать не горизонтальную, а вертикальную связь и попросту ассоциируются с силой, поскольку ее обладатели являются держателями любых примитивных ресурсов и опосредуют доступ к таковым. Как правило, эти маркеры окрашены идеологически, чтобы сообщать своим носителям метафизическую «правоту» для подкрепления собственных и опровержения чужих притязаний на ресурсы. Примечательно, что, когда интересы индивидов при распределении вступают в противоречие, как правило, появляются идеологемы, подразделяющие общность на «истинных» и «не истинных» носителей титульного признака, поэтому в архаическом сообществе коллективные маркеры в принципе служат не социальной солидарности, а социальной дистанции, в пределе – бесконечной атомизации.

Можно предположить, что автохтонный историко-культурный феномен самозванца отражает глубину прорастания отношений «пищевой конкуренции» в толщу коллективного сознания «ордынской» общности, в рамках которой патримониальная конструкция в принципе, с момента зарождения, имеет сомнительную легитимность «кочевой» элиты и нуждается в постоянном поиске искусственных «формул» для обновления таковой.

Архетип отношений с непосредственно знакомыми людьми, уровень доверия к ним индивид склонен распространять на более обширную, воображаемую общность, например, населяющую область или страну. В этих условиях проблемным становится само наличие такого коллективного сознания, посредством которого индивид может себя идентифицировать с другим – вовсе не обязательно «похожим», «приятным» или «согласным», а, в том числе, таким, который не имеет с ним ничего общего, кроме минимального набора признаков (языковых, поведенческих), позволяющих распознать носителя идентичного культурного кода. Эта идентичность является важнейшим – когнитивным – фактором доверия и транзакционных издержек. В данном случае на воображаемую общность транслируется именно отсутствие доверия, вызванное антагонистическим характером отношений между индивидами одного этногенеза по поводу распределения общественной стоимости, распространением архетипа хозяйствования без создания добавленной ценности. В свете этого показательно, что в наше время ростки «ордынского» архетипа холодной гражданской войны дают себя знать посредством фактического распада единого коммуникационного языка на диалекты – не только региональные, но и социальные, – и в целом резкого снижения уровня владения как устным, так и письменным русским языком. Это является одним из наиболее тревожных индикаторов глубины деконструкции коллективного сознания, «разрезания» ткани общества социальными и этническими «капсулами», резко проступившими после некоторого их «рассасывания» в позднесоветский период.

Таким образом, национальная – транссословная и гетерогенная, более или менее горизонтальная – общность самостоятельных индивидов с единым культурным кодом является крайне шаткой, преобладает вертикальная идентификация родоплеменного типа – со своей «аккредитованной при ресурсах» социальной «капсулой». В конечном счете, родоплеменная группа тяготеет к ассоциации с патримониальным центром и доминирующей идеологией, поскольку в реальности (а не мифологически) не имеет иных оснований для извлечения стоимости, поэтому вертикальная организация общества тяготеет к тотальности и всепроникновению. Плюрализм мнений «не умещается» в «национальные рамки», идеологические позиции разделяются на верную, «патриотическую», и неверные, «враждебные», которые становятся непреодолимым препятствием для общности с их носителями, поскольку проецируются – сознательно или нет – на антагонистические отношения в рамках «пищевой цепочки». Категория страны, заключающая в себе послание единения, в этих условиях не сообщается с категорией нации, а относится к мифу («невидимому граду Китежу»), выступающему антитезой непосредственно окружающей безысходной действительности. Отсюда она персонифицируется в единственном лице носителя патримониального титула, которого коллективный миф отделяет от его функциональных обязанностей, соответственно выводит из-под оценки качества их исполнения и возносит на уровень трансцендентного, метафизического, религиозного. Воображаемое ресурсно-силовое всесилие правителя позволяет утешиться самим фактом существования такового, «молитвенно» апеллировать к нему за обузданием беспредельной несправедливости: исход такой апелляции предсказуем не более, чем характер отзыва на молитву, а реальность такова, что снискание обыденных бытовых благ выглядит чудом.

В таких условиях в роли промежуточного базиса трансформации выступают не столько экономические, сколько различного рода социальные мотиваторы, способные имитировать эффект модернизационных процессов. Так, массовое производство в роли фасилитатора межсословного общения заменяет фактор общей угрозы, как правило, военной, вследствие чего роль таковой для национального сознания оказывается основополагающей (некоторую аналогию этого моментного эффекта в наше время можно проследить на примере общенационального отклика на спортивные состязания). Более того, в эпоху высокой рождаемости неконкурентоспособность массового производства делала проблему «лишних» людей в принципе неразрешимой, вследствие чего военная активность, подразумевающая повышенный спрос на живую силу и преобладание государственного заказа в экономике, стала составной частью хозяйственного механизма индустриального периода, начиная с отмены крепостного права и вплоть до окончания советской эпохи.

Представление об особой агрессивности русского архетипа является поверхностной мифологизацией того обстоятельства, что на протяжении всей отечественной истории война представляла собой практически единственный общедоступный социальный лифт, приводивший, хоть и временно, «бесформенные» демографические ресурсы в сознательное, социально активное состояние. Для элит этот инструмент всегда выступал важнейшим социально-экономическим регулятором, а процесс выхода из войны представлял не меньшую сложность в управлении, чем вступление в нее, поскольку требовал обращения субъектного и солидарного сознания обратно в отчужденное и атомизированное. При этом военная кампания создает эффект «ложной солидарности» нижних сословий, скажем, с опричным, для которого такая активность скорее имеет мотивацией расширение «кормовой базы». Примечательно, что собственно армия в этом партнерстве выступает точкой сборки нижних сословий и не является «кормовым бенефициаром» завоеванного, во всяком случае значимым, к опричному сословию в полной мере можно причислить лишь задействованных в обеспечении внутреннего порядка. В этой связи примечательно, что вооруженные силы – как и собственно население – традиционно мало задействованы в качестве кадрового резерва элиты и находятся в сложных отношениях с опричниной.

Также важно отметить, что в мирной жизни «русский» коллективный маркер, как и любые другие, исторически выступал в качестве разделительного, объединительным становился большей частью в контексте войн с внешним противником, – и даже ткань последних часто переплеталась с тканью тлеющей гражданской

войны. Показательно в этой связи, что идентификация себя с великой общностью, как правило, привязана к военным победам и их следствиям – обширной территории и ресурсам, в то время как в контексте обыденной жизни причудливым образом гораздо чаще встречается ощущение ущемленности и притеснения, часто более острое, чем обычно свойственно малочисленным этносам. Более того, нетрудно заметить, что в бытовом смысле различные формы социальной организации в полной мере относят определение «русский» только к собственной узкой группе как «истинному» титульному носителю, не воспринимая «всерьез» такое право у других или всего этноса в целом. В этом ключевое отличие русской идентичности от европейских национальных образований, контуры которых в основном совпадают с политическими границами: они изначально формировались как объединительные, на основе «общего дела», – не столько пассионарной активности, сколько массового производства, послужившего площадкой для соединения труда со знанием. И даже военная активность европейских держав более всего была вызвана прямыми экономическими мотиваторами, а не необходимостью абсорбировать избыточные демографические ресурсы.

В некотором роде, солидарность против внешнего врага сыграла важную роль в формировании устойчивых национальных общностей эпохи модерна в восточноевропейских странах, архетипически во многом апеллирующих к французскому образцу, в котором «оборонное сознание» также играет весомую роль. Эти страны исторически находятся в ареале интересов мощных в военном отношении держав, как правило, ограничивавших их собственные экспансионистские амбиции. Однако здесь такие внешние силы выступали непреходящей исторической константой, были вполне конкретными и превосходящими. Кроме того, противостояние им выступало дополнением к более или менее конкурентоспособному (в значительно более благоприятных, чем в России, условиях с точки зрения климата и плотности населения) хозяйствованию европейского образца (аграрному или индустриальному, в разное время и разных странах), а не заменителем такового. В отличие от российской колеи, основной упор социальной трансформации приходится на индустриальную эпоху, при этом, успех следующей фазы пока не очевиден ввиду вторичности, периферийности экосистемы знаний. Для социальной композиции общества также в целом характерен европейский архетип, основанный на модернизационной коалиции экономически активных страт – труда и капитала.

В этой связи, Великая Отечественная война по праву стала потрясением с наиболее эксплицитной нациеобразующей магнитудой – вероятно, не только во всем многовековом прошлом, но и на обозримое будущее, – которое, наряду с отражением агрессии, имплицитно несло в себе миссию перехода власти народу. Население, поначалу мобилизованное всепроникающей полицейской машиной, пережило единственный в своей истории акт всеобщего, транссословного участия в устройстве собственной судьбы и в конечном итоге вышло из войны «переплавленным» в нацию, – этим объясняется небывало высокий уровень общественного доверия в военном поколении, невзирая на события довоенной части XX века. Отголосок этого явления нельзя не рассмотреть также и в соединении демократического и рабочего движений, которым был ознаменован крах Советского Союза, – тем самым, как и во всем развитом мире, именно послевоенный период справедливо считать пиком модерна в русской истории. Однако для власти выход из войны с сохранением господствующего положения представлял не меньшую сложность, чем омраченное фатальными просчетами вступление в нее, – и это побудило ее развязать под эгидой реального или мнимого образа грядущей новой войны волну явных и скрытых репрессий, направленных на деконструкцию народившейся нации, равно как и перейти к целенаправленной мифологизации памяти в последующем. Таким образом, избавление от немецкой оккупации вновь расчистило путь полицейской корпорации, – и в этой связи судьба русских вполне схожа с судьбами других, освобожденных ими от нацизма восточноевропейских народов.

При этом в некотором роде завоевание и освоение завоеванного – создание жизнеспособного хозяйственного уклада на новой территории – оказались в экономически обусловленном противоречии. Более того, исторически под протекторатом России, как правило, закреплялись лишь территории, которые «встроились» в «центр-периферийную» схему извлечения и распределения стоимости ввиду естественного тяготения к несбалансированному хозяйствованию, – с асимметричной структурой населения, дефицитом источников стоимости либо гомогенной структурой таковых (т.е. излишком

однородных ресурсов, присвоение которых – лишь вопрос применения силы). Примечательно, что территории, располагающие естественными условиями для гетерогенного и сбалансированного хозяйствования, никогда не задерживались под протекторатом России на продолжительный исторический период или тяготели к естественной автономии, обособленности, обладали совершенно отличным от метрополии социальным устройством. Яркими примерами тому служат, например, Польша и Финляндия на разных этапах своей истории, а впоследствии страны т.н. «мировой социалистической системы», удержание которых в собственной орбите было не только несовместимо с заметным экстрактивным воздействием, но, напротив, требовало дополнительных стимулов и субсидирования, с учетом наличия альтернативного предложения социальной модели в европейском регионе. Это обуславливало абсолютную неизбежность поддержания более высокого уровня жизни на колониальной периферии, чем доступный для собственного населения, – т.е. ухудшения и без того неблагоприятных условий потребления и в целом хозяйствования, что заставляет рассматривать соответствующие издержки как фактическую составную часть военных расходов.

Лишь демографические шоки XX века, «увенчанные» Великой Отечественной войной, устранили стремление к масштабной военной активности, что, однако, не означало появления материальной основы для модернизационной динамики. Скорее возникло экзистенциальное «метание» между невозможностью масштабной войны и «невыносимостью» социальной бездеятельности, т.н. «потерянные поколения» стали сменять друг друга, вплоть до нашего времени. В мирных условиях, в рамках уклада урбанистической архаики спальных районов, малых городов и поселков, основой низовой солидарности изначально архаических сред также становится витальное противостояние за среду обитания – «аккредитованным» ведомственным и племенным меньшинствам. Нельзя отрицать некоторое значение общих вызовов для образования в «ничьих», оставшихся без патримониального «попечения», архаических группах горизонтальных связей и «силуэта» протонациональной общности на основе фактора своего рода «альтернативной», по отношению к патримониальной, силы. Однако действие таких вызовов, как и их эффект, носит недолговременный характер и не заменяет собой устойчивой материальной основы хозяйственного уклада. И прежде всего эти имитаторы не в состоянии обеспечить важнейшее для трансформации сцепление – труда и знания, поскольку их рамки изначально заданы принципом «нулевой суммы» при извлечении стоимости, подразумевающим не создание ценности, а присвоение ресурсов.

Двойственность, «недомодернизированность» сознания сказывается, в том числе, на общественном отношении к конкуренции на рынке низкоквалифицированного труда. С одной стороны, для большинства индивидов в наше время в той или иной мере характерен модернистский запрос и идентификация себя как человека умственного труда. С другой стороны, лишь немногие по объективным критериям способны к созданию отличительной ценности, поэтому основная часть населения крайне ревностно воспринимает «чужих», прежде всего, трудовых мигрантов, на рынке физического труда.

В более широком смысле, это относится к низовым противостояниям за раздел любых местных ресурсов, чаще всего принимающим межэтнические или «антипричинные» формы и находящим отражение даже в языке. Предмет спора чаще всего определяется как право «держателю» источника ренты (рынок, овощебазу, бензоколонку и т.п.), «отжать» его у нынешнего «держателя», что подчеркивает архаическую природу такого рода конфликтов и их участников со всех сторон.

8.3 Сетевое сообщество городов как модель нации постмодерна

В российском опыте основная нагрузка процесса модернизации выпадает не просто на урбанизацию, а на финальную, агломерационную стадию таковой, – когда впервые в русской истории на

внутреннем экономическом пространстве образуются фрагментарные рынки заметной глубины, способные самостоятельно формировать условия для усложнения способа производства. Это делает именно «ядерные» городские сообщества национальным «плавильным котлом», приводящим деконструированное социальное многообразие к общему знаменателю. В городах сформировались модернистские очаги высокой, по меркам любых мировых аналогов, концентрации, потенциально способные к самоорганизации, а главное, с учетом пережитых исторических катаклизмов, – регенерации. В советский период, имевший формирующее значение для городских модернистских сред, их материальную основу во многом составили искусственные цепочки создания стоимости с «центр-периферийной» структурой занятости и планово-убыточной моделью хозяйствования в сферах умственного труда (см. ранее). Независимо от мотивации, их долговременный эффект можно рассматривать как «социально-инвестиционный», приведший к «расширенному воспроизводству» архетипа «образованного человека» вне конкурентоспособного массового производства. Состав модернизационной коалиции, сформированной на основе такой модели хозяйствования, частично схож с европейским архетипом: он охватывал городские образованные сообщества и квалифицированный рабочий класс, но, в силу природы общественного строя, исключал буржуазию и крестьянство. Предположительно к 60 – 80-м гг (точнее достоверно определить сложно) внутренние течения в недрах интеллигенции стали латентно откликаться в рабочей среде, а в конце 80-х – начале 90-х гг активное социальное действие двух слоев перешло в режим непосредственной координации. Она привела к разрушению советского строя, наследовавшего традиционному «ордынскому» патримониальному государству, основанному на силе, что можно рассматривать как квазибуржуазную революцию.

Однако, с точки зрения последствий, эта революция потерпела неудачу: неизбежный после перехода к рыночным отношениям распад искусственных цепочек создания ценности в постсоветский период вызвал обвальную деиндустриализацию и маргинализацию обоих участников модернизационной коалиции – интеллигенции и рабочего класса. Последний в социальном смысле повторил судьбу крестьянства и практически перестал быть опорным для модернизации, а структура образованных сообществ подверглась непродуктивному искажению, – именно стоявший в авангарде трансформации слой интеллигенции оказался в наиболее ущемленном состоянии. Для новых элитных групп сфера культуры являлась остаточной, а оборонно-промышленный комплекс объективно страдал затратностью и институциональной архаичностью, как источник спроса на сложные компетенции отрасль нуждалась в реформировании в комплексе с образованием, наукой и вооруженными силами, что делало перспективу отдачи весьма отдаленной. На фоне всеобщей гиперчувствительности к сословному статусу такое социальное «понижение» немедленно отозвалось невиданным в русской истории ускорением отрицательного отбора, что открыло путь реставрации патримониальных институтов с силовой «токсичностью».

Показательно, как при разложении искусственного индустриального уклада и переходе к примитивному ресурсному хозяйствованию сменилась прототипическая модель организации хозяйственных цепочек, выступающая основой для подражания. Так, способ управления производством в рамках индустриального хозяйства следовал образцу городского архетипа, у которого сердцевину предприятия составляют профессиональные продуктовые, инженерные компетенции, – это распространяется также и на личность первого руководителя, – в то время как прочие привлекаются на стороне или «понижены» в управленческой иерархии. Напротив, при обращении к доиндустриальному типу хозяйства способ организации управления стал имитировать образец морских кочевников, – когда именно продуктовые, инженерные компетенции «понижены» в иерархии либо приобретаются у профессиональных провайдеров по аутсорсингу, в то время как первые роли отданы организаторам продаж и управления инвестициями. В реалиях степных кочевников, однако, спрос ограничен плотностью и концентрацией населения, так что рынки продукта и капитала тяготеют к ограниченной конкуренции вплоть до монополизма. Отсюда «организатор продаж» на деле представляет собой не что иное, как организатора взаимодействия с обладателем силы, административного ресурса, который авторизует допуск на рынок, – по существу младшего партнера такого

обладателя. Ограничен и спрос на компетенции определенного рода, так что рынок их провайдеров также тяготеет к ограниченной конкуренции или монополизму, – так что в конечном итоге все участники хозяйственной цепочки прибегают к услугам одних и тех же центров компетенции, – поэтому легко оказывается в связке с административным ресурсом. Наконец, имитация транзакционного взаимодействия морских кочевников, широко использующих страхование профессиональной ответственности, в этих условиях приводит либо к запретительному для бизнеса уровню страховой премии, либо к фиктивному характеру обязательств страховщика, либо к монополизации страховых услуг под контролем обладателя силы. Таким образом, институциональная архитектура морских кочевников «на почве» степных естественным путем воспроизводит ресурсно-силовую вертикаль, а фактическое положение хозяйствующих субъектов делает их подразделениями единой силовой корпорации, выступающей «шаблоном» корпоративистской экономики.

При этом, среди работодателей также возобладал архаический архетип, не способный к социальной солидарности: в условиях хозяйствования, основанного на присвоении ресурсов вместо создания ценности, работники для предпринимателей являются скорее экономическим обременением, не оказывающим на их благосостояние существенного влияния. Таким образом, в противовес нации эпохи модерна, «армирующий» сплав единой русской общности состоит не из классов, образованных по принципу их роли в массовом производстве, а на опорных прослойках городских жителей – «ядерной» образованной среде и укладе урбанистической архаики. Очертания их солидарности стали проступать сквозь атомизированную ткань общества лишь к началу 2010-м гг, перед лицом дисфункции публичных институтов, – в рамках благотворительности, самодеятельной кооперации для преодоления чрезвычайных ситуаций, а также гражданского действия, причем под влиянием идеологически разнонаправленно заряженных течений. Если атомизированный сегмент урбанистической архаики в целом открыт трансформационному лифту, то ориентированные на силу нижние сословия имеют мало общего с носителями знания. Помимо того, что они делят одно (или соседнее) жизненное пространство, их роднит лишь один, но крайне существенный признак, который имеет потенциал стать основой солидарности, – периферийное положение в рентоизвлекающей системе «концентрических кругов». Ключевым структурным узлом межсословной коммуникации становятся институты высшего образования, в рамках которых происходит фактическая кооптация в индивидуальном качестве выходцев из архаических групп в состав модернистских.

Рекультивация образования, науки и технологического предпринимательства (включая оборонно-промышленный комплекс) играет роль не одного из направлений в череде отраслевых реформ, а ключевого социального и экономического конструктора. Формирование интегрированных экосистем, объемлющих не просто звенья цепочки создания ценности, а все элементы городского образа жизни, а также обучающих программ и методик, развивающих преимущества свойственной носителям русского языка когнитивной версатильности, по эффекту во многом приближается к становлению единой русской общности. Ключевым элементом такой реорганизации служит демонтаж института ложной репутации и механизмов производства ложных компетенций, приведение номинальной пропускной способности высшего образования в соответствие с мощностью воспроизводства качественных и актуальных компетенций.

Принцип индивидуальной кооптации складывается стихийно как универсальный для интеграции в русскую городскую общность людей любого социального или этнического генезиса, воспринявших ее культурные и поведенческие нормы. Это свидетельствует об устойчивом модернистском тяготении этой общности, отношении к индивиду на основе его личных качеств, а не по принципу «свой – чужой», однако довольно очевидно, что она отторгает социальные и этнические «капсулы» с чуждой коллективной идентичностью. В этом смысле эффект длинной дистанции не только осложняет становление каркаса горизонтальных связей, но и смягчает социальные разломы. Таким образом, в городах, невзирая на разделяющие их расстояния, происходит формирование более или менее целостного ядра русской идентичности, – в ходе образования горизонтальных связей между индивидами опытным

путем вырабатывается коллективное представление о балансе между открытостью доступа и культурной приемлемостью.

Этот феномен не тождествен классическому европейскому образцу, по которому перерождение протяженного национально-государственного образования в сеть городов соответствует следующему за формированием коллективного сознания этапу, когда последнее уже оттесняется индивидуальным, характерным для постиндустриального уклада, и рыхлыми формами кооперации индивидов по интересам. В рамках российской модели преимущественно неиндустриальной урбанизации, постиндустриальный человек возникает в гетерогенной среде полиса и одновременно обретает коллективное, транссословное сознание, которое в бездефектных общностях обычно складывается раньше, в промышленном производстве, а потом скорее распадается. Минуя национальную формацию эпохи модерна, в городах путем медленной трансформации складывается уникальная «метанациональная», «сетевая» русская общность – с открытым доступом, при этом культурно довольно однородная. Ее важным достоинством – по сравнению с аналогичной общностью, вызревшей из нации эпохи модерна, – является то, что динамически она находится не в процессе деконструкции, а в процессе сшивания. В основе этого парадокса тот факт, что снижение в постиндустриальной экономике мобилизационного барьера капиталоемкости производства и емкости рынка впервые делает осмысленным коллективное действие в условиях традиционной для русского этноса структуры концентрации населения, – в то время как у материнской европейской цивилизации этот же феномен снижает традиционно высокую интенсивность коллективного действия. Более того, для Европы формация города-республики является первообразной и естественной, – национальное государство отталкивается от нее в порядке возгонки концентрации ресурсов и разлагается в порядке возвращения к ней. В то же время, для большей части России она представляет собой цивилизационный скачок: хозяйственное бытование основной массы населения в поле гравитации городских агломераций представляет собой новейшее явление, а привычный город здесь апеллирует к прототипу кочевой крепости, не имеющей самодостаточной материальной основы без «кормовых набегов» вовне. Гипотетически – в своем развитии – такая восходящая траектория ведет к образованию наиболее передовой и динамичной формы социальной организации, в высшей степени конкурентоспособной в условиях распределенной экономики, основанной на знаниях, и одновременно резистентной к современным архаическим вызовам. Таким образом, совокупность факторов, исторически представлявших непреодолимое обременение для развития, потенциально превращается в уникальное преимущество.

В рамках европейской практики мультикультурализма, деконструкция коллективного сознания снимает модернизирующее давление с социальных – как правило, этнических – «капсул» с преобладанием собственной коллективной идентичности и усиливает архаические вызовы. Это заставляет предположить ответную реконструкцию коллективного сознания модернистского социума в обозримом будущем, хотя и в периметре новых общностей, однородных скорее ценностно, чем этнически. Своей изначальной культурной однородностью процесс формирования русской «метанациональной» общности, в рамках которой происходит сшивание различных форм социального бытования одного этногенеза, отличается от подобных процессов в континентальной Европе, вокруг «латинского» ядра, хотя схематическое сравнение двух феноменов, в силу уникальности масштабов и формата, допустимо.

При этом, у складывающейся русской общности, как и любой сетевой структуры, можно предположить тяготение к гибкой и ограниченной только культурной совместимостью инклюзии, что парадоксальным образом наследует знакомому по русской истории экспансионистскому архетипу, хотя и на основе более совершенной социальной модели. Если экономическую платформу трансформированного русского государства уподобить фонду, формируемому за счет обильных ресурсов малонаселенной территории и вкладывающему средства в развитие самоуправяемых гетерогенных полисов, то нет причин, по которым перечень таковых непременно обязан ограничиваться историческими границами. В этом качестве могут выступать любые крупные города, при этом обремененные разнородными архаическими укладами

окружающих земель и не «сшитые» с ними национальной солидарностью образца эпохи модерна по схожим с российскими причинам («провал» индустриальной фазы трансформации или выпадение из нее по какой-либо причине впоследствии). Кроме того, в постиндустриальную эпоху в периферийных европейских странах с низкой плотностью населения даже крупные, но не выступающие исторически универсальными «фабриками знаний» города также выпадают из лиги претендующих на премиальную стоимость. Таким образом, в отличие от «имперского» вертикального (по принципу «матрешки») расширения за счет общностей с иной коллективной идентичностью – как правило, этнической, – объектами «сетевой», горизонтальной инклюзии разумно полагать очаги архетипически схожих с характерными для России сообществ.

При этом, материальную основу такое конкурентное преимущество обретает лишь в наше время: в условиях глобального расцвета индустриального уклада и высокой рождаемости русские городские общности представляли собой своего рода утопическую форму социальной организации, лишённую самодостаточных источников генерации капитала. При этом бенефициарами лучших российских научно-технических и креативных разработок было принято считать страны – импортеры технологий, имеющие конкурентоспособное массовое производство. Однако, по мере концентрации добавленной стоимости в сфере продуктов интеллектуального труда и на ранних этапах технологической цепочки, эта формация становится потенциально наиболее конкурентоспособной, а преимущество в области фундаментальных исследований (либо креативной разработки, в сфере эстетического «продукта») и производства уникальных изделий становится потенциально решающим. В рамках экономики знаний беспрецедентное развитие получают «виртуальные» и интеллектуальные продукты, рынок которых не имеет значимых ограничений по емкости, а доставка до потребителя не сопряжена с заметными затратами. Более того, ценообразование продуктов, даже «физических», с высокой долей интеллектуального вклада в стоимости содержит значительную премиальную компоненту. Таким образом, в рамках постиндустриальной парадигмы основные факторы неконкурентоспособности российской экономики можно считать несущественными, а ключевым ограничением для развития становятся количественные и качественные характеристики человеческого капитала.

России пока не удастся стать полноценным бенефициаром экономики знаний, поскольку ее звенья исторически являлись сердцевинной технологической цепочки оборонной промышленности и смежных отраслей, большинство из которых утратило целостность и связь с научными разработками, кадровую преемственность, внедряет инновации за счет остаточных заделов советского периода и в догоняющем порядке. При этом, неэффективность и продуктовая ограниченность серийного производства сохранились в полной мере. С учетом важности сокращения демографических ресурсов, центральной роли оборонно-промышленного комплекса в национальном технологическом секторе, а также остроты вызовов и угроз безопасности на южных направлениях, состояние военной машины и способность вести боевые действия на современном уровне, без существенных потерь живой силы, является актуальной проблемой. Кроме того, низкая плотность населения при обширности территории и протяженности границ определяет критическую важность аналогичной по хозяйственному механизму космической отрасли – в частности, для обеспечения инфраструктурной связности, дистанционного контроля и управления, как в военных, так и в гражданских целях. Конкурентоспособность этих секторов возможна при использовании государственного заказа только в режиме мультипликативного эффекта, интеграции оборонной промышленности в университетские экосистемы и предпринимательскую среду, открытом трансфере технологий, как трансграничном, так и межотраслевым.

В постсоветский период задача «обезвреживания» силового аппарата государства практически полностью вытеснила приоритет качества такового. Фактическая «приватизация», декомпозиция этой публичной функции сопровождалась масштабной депрофессионализацией, что явилось одним из существенных факторов, сделавших в 2000-е гг. возможной реконсолидацию фрагментированных по государственным и коммерческим структурам силовых «сервисов» не на профессиональной, а на «кормовой» платформе. В среде с высокой силовой «токсичностью» и обширным слоем социально обезличенных людей вторичность менеджмента этой функции приводит к перемещению силовых практик на микросоциальный уровень, как следствие, неостановимому снижению престижа знаний. Более того, недооценка объективных угроз внутренней и внешней безопасности в такой среде чревата утратой доверия к модернизационной повестке дня и публичным институтам как таковым. Примечательно, что на фоне избыточности функции

охранения, силовой аппарат также подвержен ярко выраженному эффекту центр-периферийной занятости, характерному для всех управленческих структур, что выражается в количественном и качественном кадровом голоде в сфере непосредственной компетенции.

При этом, для уклада урбанистической архаики, коллективное сознание которого основано на силе в качестве идентификационного маркера, роль кадрового резерва силового аппарата, помимо прочего, является достаточно естественной общественно полезной функцией в рамках модернизационной социальной коалиции. Вероятная социальная «формула» сцепления этого слоя с городскими образованными общностями в этом случае весьма необычна – соединение знания с «альтернативной» силой. Еще одной нишей для такого рода трудовых ресурсов может служить звено опытной сборки в рамках постиндустриальных технологических цепочек, многие из которых также имеют отношение к оборонной и смежным отраслям. Такое применение предполагает постепенную трансформацию сознания представителей этого уклада путем превращения в носителей ценных трудовых навыков, в соответствии со знакомой «формулой» соединения труда со знанием, – вовлечения в общие с аутентичными источниками последнего цепочки создания ценности как «школу компетенций».

8.4 Парадокс постсоветского периода: обращение в доиндустриальное состояние и кристаллизация постиндустриального уклада

Хотя индустриализация советского периода не опиралась на конкурентные преимущества, а носила искусственный, дефективный характер, тем не менее, по фундаментальным закономерностям эта формация отвечает признакам модерна и тем контрастирует с постсоветской. В частности, характерным образом фаза институциональной и ресурсной сверхцентрализации в 30 – 40-е гг совпала с острым дефицитом ресурсов по сравнению с потребностями развития, а дрейф в сторону развития человеческого капитала и смягчение режима, переход к коллективному правлению, напротив, наметились в 50 – 70-е гг, в период качественного изменения состояния «балансового уравнения». В новой России одним из важных индикаторов обращения хозяйства в примитивное, доиндустриальное состояние стала смена «знака синусоиды». Так, период наибольших лишений пришелся на 1990-е гг, когда политический режим можно было охарактеризовать как феодальную демократию, выступающую атрибутом раздробленности, – когда полицентрическая конфигурация характерна лишь для политической системы верхнего уровня, в то время как внутренне вотчины остаются ресурсными автократиями. В то же время, последовавшая фаза «вотчинной монархии» пришлась на 2000-е – начало 2010-х гг, наиболее благополучные в русской истории с точки зрения потребительского стандарта. Согласно этой логике, обмеление ресурсной базы с середины 2010-х гг должно иметь следствием возвращение к коллегиальному правлению элит – одновременно со снижением экономической и правовой защищенности нижних сословий. Причиной падения советского строя часто называют поражение в «холодной войне», – однако это лишь частный сюжет фундаментального тренда. К 60 – 70-м гг капиталоемкость индустриальной формации повсеместно пошла на спад вместе с повсеместно широко практиковавшимися экстрактивными практиками, направленными на «выдавливание» ресурсов из потребления в накопление. Это дало импульс невиданному в мировой истории расширению массового потребления («жатва плодов лишений прежних лет»), – в то время как в Советском Союзе основные ресурсы по-прежнему направлялись на субсидирование заведомо неконкурентоспособного промышленного производства, притом не только военного назначения. В отказе от такого хозяйственного механизма – т.е. фактической деиндустриализации – состояла единственная основа позднесоветского консенсуса широких слоев населения и правящей бюрократической элиты, неудовлетворенной разительным контрастом между собственным властным ресурсом и уровнем престижного потребления. Естественным образом первыми в фокусе кормовых притязаний такой элиты оказались обширные сырьевые и иные рентные промыслы, которые возникли прежде всего как следствие потребностей индустриальной экономики времен военной

гонки. Отсюда наиболее простым способом капитализировать административно-бюрократический ресурс оказался выход из указанной гонки – соответственно признание поражения в холодной войне. Это позволило бенефициарам передела собственности отбросить неконкурентоспособный промышленный передел экономики советского периода вместе со спросом такового на сырье и потребностью в массивном субсидировании – и тем самым строить личное благосостояние на экспорте продукции с низкой добавленной ценностью.

Соответственно постсоветский период привел к образованию новых, гибридных сословий на основе тектонического перемещения слоя «лишних» людей по социальной матрице. Накопленное в советский период недопотребление при переходе к рыночным отношениям предопределило безальтернативность опережающего развития потребительских отраслей с низким антропологическим качеством – торговли, простейших услуг, финансового сектора. Бенефициары созданного в этих отраслях капитала по определению являлись ярко выраженными носителями архаических поведенческих установок с навыками применения силы для охранения богатства, наиболее приспособленными к «примитивно-родовым» формам конкурентного поведения. Тяготение к контролю над ресурсами рентного типа для них было естественным и обусловило запрос на ускоренную приватизацию предприятий сырьевых отраслей, недвижимости, земель. Рентные поступления обеспечивают здесь не только потребление, но и постоянно «заводят» инвестиционный механизм, поскольку ключевые несырьевые отрасли не являются источником ценности и в качестве центров капитализации непосредственным образом зависят от мультипликативного эффекта рентной базы. Такая модель оставляет впечатление работоспособной только в периоды ресурсного изобилия, – и это сокращает инвестиционный горизонт элиты, для которой такие периоды выступают возможностью непроизводительно изымать стоимость из экономики. Более того, крен в сторону рентных отраслей был дополнен аномально низкой ценой входа – одним из типов рыночных искажений, которые обычно призваны искусственно компенсировать неконкурентоспособность несырьевых отраслей (см. ранее). Это «резонансное» сочетание заложило на весь последующий период установку на аномально высокую ожидаемую доходность, поставило предпринимательскую деятельность с длинным инвестиционным циклом и сложными компетенциями в заведомо проигрышное положение, способствовало архаизации большей части предпринимательского класса. При этом, как и подобает формации преמודерна, акт приватизации не знаменовал появление ресурсно-силовой группы, – напротив, он лишь легитимировал фактический силовой и управленческий контроль, уже установленный такой группой над определенным предприятием, при этом даже если предприятие приватизации не подвергалось, оно, тем не менее, выступало объектом контроля неформально.

На фоне ослабления патримониальной власти-собственности в 90-е гг, у предпринимателей первой волны возникла иллюзия возможности «приватизации» силовой функции государства и формирования институтов на базе договоренности «вооруженных собственников» американского образца. На деле нечто подобное характерно скорее для городов-республик Средиземноморья, как в Античности, так и в эпоху Возрождения, когда изобилие капитала приводило к полицентричности публичной власти и силового ресурса в рамках одного полиса. В этих условиях, даже если подавляющий клан оттеснял прочие, их место занимали новые, выросшие на тех же торговых потоках, – в том же городе или по соседству. В условиях скудных ресурсов хартленда с его моделью «концентрических кругов» такое децентрализованное состояние, напротив, характерно для «тощих» лет, когда внешние рентопроводящие орбиты удерживают больше стоимости у себя, нарушая бесперебойное снабжение центра, а фрагменты силовых групп – публичных или криминальных – временно перемещаются от патримониального центра к центрам извлечения ресурсов. Кормовые центры, связанные с углеводородными и прочими сырьевыми ресурсами, в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры отнюдь не подавляли другие «уголья», прежде всего связанные с импортом и торговлей продовольствием, потребительскими товарами, – эти

ренты в основном контролировались региональными элитными кланами. В целом архитектура элит практически не отличалась от характерной для Украины, где ресурсный промысел опирается на разнообразные и географически рассредоточенные виды рент (морской и трубопроводный транзит, угольная энергетика и пр.), сопоставимые по стоимостной отдаче и формирующие вокруг себя разные силовые группы. Более того, так же как там, любая попытка одного клана консолидировать силу и ресурсы либо встречала скоординированный отпор других, либо вызвала дробление чрезмерно укрупнившегося клана изнутри.

Однако улучшение конъюнктуры мировых сырьевых рынков в 2000-е гг не могло не вызвать к жизни силовую корпорацию подавляющей силы, остальные же кланы перешли к ней в вассальную зависимость или прекратили существование. Эта корпорация в публичном дискурсе предстает как извод петербургской тайной полиции, на деле же ее композиция сложнее и имеет отношение к становлению портов Петербурга как основных хабов потребительского импорта, соответственно включает многочисленных бенефициаров этих потоков в стране и за ее пределами. Как бы там ни было, ожидаемым образом эту корпорацию характеризовала не просто концентрация теневого и легального силового ресурса, но и готовность к непосредственному применению такового. Тем самым «ордынский» опричный архетип, сформированный многовековой традицией непрерывного отрицательного отбора, ожидаемым образом практически немедленно воспроизвел себя – реконсолидировал разрозненный силовой ресурс и вернул собственности ее «естественный», «условный» статус, фактически вызвав волну передела таковой.

Объясняя это явление, необходимо придерживаться строго экономической подоплеки: в силу удаленности от рынков сбыта и глубоко субконтинентального расположения как добыча нефти, так и добыча газа в ключевой рентогенерирующей западносибирской провинции зависима от соответствующих единых трубопроводных систем, а также портовых хабов. В этой связи, именно эти системы и хабы выступают «узкими горлышками», контроль над которыми де-факто дает ключ к извлечению экономической выгоды из указанных промыслов, – отсюда в рамках социальной парадигмы премодерна соответствующие цепочки добычи и транспортировки следует считать потенциально неделимыми «кормовыми наделами». В условиях высоких цен на углеводородное сырье объем добычи ограничен лишь возможностями транспортировки, – так что бенефициар последней обладает превосходящей рыночной мощностью и «подминает» добычу, поскольку образует вокруг себя наиболее мощную силовую корпорацию, внутренне спаянную отношениями короткой дистанции. В то же время кланы, образованные вокруг прочих «кормовых наделов», вынуждены перейти на вассальное и податное положение – не только как более слабые в силовом отношении, но и как зависимые от перераспределения ресурсов крупнейших отраслей в той или иной форме, соответственно от их выгодоприобретателей. В условиях низких цен на углеводородное сырье, напротив, технологические и экономические условия добычи определяют состояние всей цепочки, – отсюда хозяйствующие субъекты и соответствующие силовые корпорации фрагментированы, даже в рамках одной добывающей провинции, а передел транспортировки содержится на их средства и де-факто контролируется ими коллективно. Таким образом, в производственной цепочке добычи и транспортировки энергетического сырья не образуется такого избытка ресурсов и силы, чтобы поставить в зависимость силовые кланы из других отраслей, а размер различных силовых акторов сопоставим. Именно сравнимая рыночная (ресурсная) мощь силовых кланов явилась причиной активной политической конкуренции и «оживления» формальных институтов в 90-е гг. Однако парадоксальным образом это явление следует трактовать как локально попятное движение в течении модернизационных процессов – от тоталитаризма модерна к демократии премодерна, которую, впрочем, в 2000-е гг ожидаемо сменила автократия премодерна.

Среди мифов, возникших в ходе преодоления периода «феодалной раздробленности» 90-х гг – восстановление единого правового пространства. В постсоветский период присвоение функций государства ресурсно-силовыми кланами прежде всего сводилось к «приватизации» власти в региональных кормовых вотчинах: «федеральные» группы претендовали на экспортно-ориентированные ренты, региональные – на ренты местного потребительского рынка, при этом силовой и прочий государственный аппарат делили между собой на «пакетной» основе. Такое положение вещей отражали и действовавшие правовые нормы, согласно которым суды независимо от расположения могли принимать решения, обязательные к исполнению на всей территории страны. При этом правоохранные структуры так же на экстерриториальной основе были вправе приводить такие решения в исполнение, поэтому фактически выполняли функции частных армий и выступали агентами служб безопасности частных компаний. Отсюда среди мотивов и направлений расширения бизнеса консолидация присутствия в регионе чаще всего превалировала над соображениями вертикальной или горизонтальной интеграции операционной цепочки на экстерриториальной основе, поскольку именно силовой ресурс выступал наиболее тяжеловесным затратным обременением, управление которым требует экономии на масштабе. Это также обуславливало притязания мультирегиональных кланов на часть федерального государственного аппарата, игравшего вторичную по сравнению с региональными роль. В свете этого реконсолидация правового пространства и ограничение юрисдикции правоохранных структур подмандатной территорией в 2000-е гг должна рассматриваться как производная от возникновения в результате роста мировых цен на сырье ренты подавляющей ресурсно-силовой группы, которая установила контроль последней инстанции над силовым аппаратом государства. При этом она не только не является внутренне гомогенной сама, но и не отменяет автономию малых кормовых групп со своими рентами, которые также претендуют на пользование государственным аппаратом, – однако на этом этапе соответствующее право, будь то на федеральном или региональном уровне, должно испрашиваться у доминирующей группы на возмездной основе. Отсюда также следует, что единство правового пространства не отменяет феодальной сути общественных отношений и строго обусловлено кормовым преимуществом верховной ресурсно-силовой элиты.

Для обеспечения будущей резистентности к сокращению «кормовой базы», патримониальный центр обратился к политике создания резервов путем изъятия ресурсов из недоинвестированной экономики – вместо формирования производительного спроса на таковые – и замещения частных инвестиций государственными, что привело к гипертрофированным структурным искажениям инвестиционных мотиваций (см. ранее). Примечательны мотивы фактически последовавшей деприватизации: если в сырьевых отраслях она была связана с восстановлением силового ресурса публичной власти и концентрацией рентных источников, то в сфере несырьевого материального производства – с давлением естественных факторов неконкурентоспособности, непреодолимых без искусственных компенсационных мер со стороны государства (типы таковых см. ранее). Это сделало такие активы потребителями административного ресурса, привлекательными лишь для его обладателей с целью извлечения соответствующей ренты, но не для частного инвестора.

Неоднократно в постсоветский период предпринимались попытки дефеодализации государства – возвращения ему субъектности, в противовес фактическому положению в качестве объекта собственности определенных частных лиц, отделению («равноудалению») «окупационного бандита» от ресурсно-силовых кланов, приведения фактической функциональной нагрузки отдельных институтов с декларируемой. В этой связи, регулярно увеличивался объем ресурсов, находящихся в обороте государственного аппарата, т.е. на цели, исполняемые государственными же операторами, а не коммерческим сектором – фактически же ветвями правящей корпорации. Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом, поскольку концентрация ресурсов государством по образцу эпохи модерна требует масштабных задач, они же, в свою очередь, делают хозяйство активным и постоянным потребителем капитала, препятствуя непроизводительному изъятию рент. Более того, такие задачи требуют усложненного человеческого капитала, который в конечном итоге всегда предъявляет запрос на представительство. В свете этого перераспределение ресурсов, сконцентрированных государством, ведет к постановке примитивных проектных задач и освоению выделенных средств подрядчиками,

подконтрольными ресурсно-силовым кланам – бенефициарам-распорядителям государства, тем самым консервируя феодальную систему общественных отношений.

Показательно, что в новых условиях законодательная власть на всех уровнях стала практически воспроизводить архетип боярской думы, переродившись в представительское собрание делегатов ресурсно-силовых вотчин, территориальных, отраслевых или ведомственных – а чаще всего перекрестных. В этой связи, обращает на себя внимание, что в периоды «кормового» изобилия, когда ресурсно-силовая вертикаль консолидируется, обычно действует пропорциональная избирательная система. Фактически в этих условиях состав представительных органов власти определяется кланами вышестоящего уровня (для местных региональными, для региональных федеральными), имеющими определяющее влияние на партийное руководство своего же уровня, – при этом вассальные нижестоящие кланы на податных правах вынуждены получать валидацию и соответствующие квоты. Напротив, в периоды вызванной обмелением «кормовой базы» децентрализации немедленно возникает смешанная избирательная система, мажоритарная компонента которой вышестоящими кланами фактически отдается в прямое распоряжение нижестоящим. Отсюда не стоит обращать внимание на партийный «окрас» мажоритарных депутатов: фактически они мотивированы интересами делегировавшего их нижестоящего клана. Если они и соблюдают партийную дисциплину, обязательную для делегированных вышестоящими кланами пропорциональных депутатов, то лишь в меру таких интересов – например, возникающих в ходе межкланового размена.

В конечном итоге, по мере разрастания, кормовая корпорация с неизбежностью претерпевает внутреннюю фрагментацию, которая с обмелением «кормовой базы», а также истощением накопленных резервов, вызывает ее полный распад. Противодействие такому развитию событий, грозящему вновь «обесточить» патримониальный центр, имеет неизбежным следствием поиск искусственных факторов консолидации, – в этом качестве, например, применяются элитные репрессии, а также образ внешней угрозы. Создание последнего, превращение международной политики в фактор, формирующий внутреннюю архитектуру правящей элиты, требует военной, паравоенной и политической активизации по внешнему периметру, которая призвана обеспечить встречную реакцию – прежде всего, направленную на инфраструктуру оборота вывезенных элитой рент. Однако изъятие таких рент из примитивной экономики, не обеспечивающей спроса на инвестиции, по определению производится в форме экспорта капитала, более того, имеет целью перевод последнего из статуса «условного», являющегося общим достоянием силовой корпорации, в статус «безусловного» – индивидуального, семейного, дистанцированного от «зоны видимости» этой корпорации. Де-факто ограничение возможности экспортировать капитал равносильно вовлечению присвоенных рент в реализацию новых проектных задач внутри страны – таких же примитивных и искусственных, не обеспеченных рыночным спросом и, в свою очередь, не создающих устойчивого спроса, не обладающих потенциалом положительной отдачи. При этом такие новые проекты вовсе не обязательно авторизуются в интересах прежнего бенефициара изъятых рент, который был вынужден оставить таковую внутри страны – соответственно в распоряжении силовой корпорации. Таким образом, набор тактик и элитных технологий не в силах обеспечить долговечный, устойчивый эффект, поскольку эта модель не может не вызвать масштабный передел ресурсов и сопутствующий внутриэлитный конфликт: интересы патримониального центра с неизбежностью вступают в антагонистическое противоречие с коренными интересами отдельных фрагментов правящего слоя.

Вывоз капитала различными ветвями силовой корпорации и его размещение в передовых странах имеет следствием превращение в стейкхолдеров ресурсных рент многих представителей западных элит, которые, в свою очередь, формируют вокруг своих новых партнеров пояс лояльности и усложняют своим государствам ответ на вызовы со стороны таких партнеров. Это вписывается в довольно примечательную тенденцию – расстание «переходных» от модерна к постмодерну элит в условиях снижения капитальных потребностей развитых экономик и фронта таких стратегических задач, которые требовали бы централизованного реагирования. Столь масштабные изменения редуцируют функциональное наполнение такого традиционного института, как национальное государство, а в совокупности с избытком капитала в мировой экономике делают западные элиты все более легкой добычей глобальной коррупции. Вместе с тем,

ответное ухудшение режима размещения вывезенного капитала приводит к частичному перетоку такого в страны с менее благоприятным инвестиционным климатом (монархии Персидского залива, азиатские «тигры»). Инвестиции в этих юрисдикциях или из них фактически предполагают доленое соучастие местных суверенных акторов, под эгидой которых и осуществляются, т.е. перестают быть частными – в т.ч. в России, так что даже смена правящей элиты не может автоматически вывести проблему неприкосновенности таких вложений из плоскости межгосударственных отношений.

Проследив логику эволюции архетипа «вооруженного собственника», его конечный деструктивный эффект, тем не менее, следует признать синергетическую ценность такого в отраслях с преимущественно простыми навыками (сельском хозяйстве, торговле, некоторых видах услуг и малого бизнеса), в особенности там, где осложнена аккумуляция спроса – в регионах с низкой плотностью экономически активного населения. Более того, в условиях деконсолидации силовой корпорации ее ослабленные элементы становятся скорее обслуживающими звеньями местных ресурсно-силовых групп, не имеющих государственного статуса, но осуществляющих реальное управление, – это вполне может повториться в будущем. Однако в качестве системообразующего этот архетип оказывает не менее архаизирующее влияние на экономику, чем собственно «опричный», поскольку в структуре его конкурентных преимуществ основное место также занимает силовой ресурс. В социуме с широким предложением силовых сервисов это поддерживает высокий спрос на услуги различных элементов «опричного» (а также криминального «антиопричного») сословия, которое тяготеет к ведомственной и патримониальной лояльности (даже если такие элементы представлены, например, профильными подразделениями частных компаний). Естественным и наиболее выгодным рентоизвлекающим положением этого сословия является монопольное, поэтому оно склонно откликаться на призыв патримониального центра к консолидации, если он обеспечен привилегией доступа к ресурсам. Перспектива столкновения с превосходящим аппаратом принуждения государства сокращает горизонт принятия решений предпринимателями и повышает рисковую компоненту ожидаемой отдачи от инвестиций, что препятствует деятельности, основанной на сложных компетенциях, ограничивает бизнес наиболее примитивным и потому легко отчуждаемым силовым путем. Таким образом, в среде с такой силовой «токсичностью» наблюдается эффект замкнутого круга – репродукция «ордынского» архетипа неизбежна, а американский образец «вооруженного собственника» недостижим: для этого его противовесом должен был бы выступать не заведомо подавляющий оппонент, а равный ему, чтобы благодаря отношениям конкуренции постепенно в хозяйственный оборот вовлекались сложные компетенции.

Это подтверждает, что в условиях патримониальной наследственности «опорным» для модернизации может являться только архетип «человека с компетенциями» – ценностью, не отчуждаемой силовым путем и снижающей привлекательность обладания рентными ресурсами. Между тем, период первоначального накопления капитала создал из образованного человека образ неудачника и вызвал вымывание этого слоя, а также защитную реакцию интеллигенции – некоторое «замыкание в себе», проявление принципа «свой – чужой», снижение активности в качестве транссословного коммуникатора и просветителя. На этом фоне демонстративно и системно процвел институт ложной профессиональной компетентности и разнообразных ложных, в т.ч. общественных, репутаций, а ответной реакцией академической среды стало губительное нарастание догматизма и провинциальности, особенно характерное для общественных наук. На фоне непрестижности глубинных архетипических свойств «образованного человека» – прежде всего, знаний – и мимикрии «передовых» элит, проявилось компенсаторное тяготение к эстетическим и потребительским привычкам модернистских сообществ, самоотнесение к их аутентичным представителям, которое, однако, по форме и по сути носит архаический характер – демонстративный, неинклюзивный, социально высокомерный. Особым цинизмом отличается склонность отождествлять сословное неравенство и достигнутое положение с таковыми в условиях трудозависимого способа производства – представляющими собой результат

конкурентной борьбы путем создания ценности. Для целей оправдания явных несоответствий с «прототипом» реальность вытесняется публичным нарративом, а представление об аутентичных модернистских общностях мифологизируется, им сообщается склонность к собственному образу жизни и практикам. В полном соответствии с «ордынской» традицией внешней легитимации, получило распространение копирование по форме т.н. лучших (или просто отдельных, вырванных из контекста) мировых практик и процедур при одновременном отторжении метаинститутов, послуживших фундаментом таковых в сообществах происхождения. Среди прочего, в рамках такой симуляции моральный релятивизм и беспринципная исполнительская технократия – как в государственном аппарате, так и в частном бизнесе – вытеснили базовый для модернистского сообщества институт профессиональной репутации, строящийся на независимой профессиональной позиции, как правило, вместе с приверженцами такой позиции. Это микросоциальное явление привело к фронтальному перерождению самого понятия профессионализма – из качества, критерием которого является умение связать совершенство механической операции с ее изначальным предназначением, в навык планирования, «упаковки» и реализации транзакции, нормативно идущей вразрез с общественными интересами или даже формальным законом. Высшей точкой деятельности этой «псевдомодернистской» общности можно считать разрыв между буквой и духом закона – причудливое сочетание культа правоприменения с законотворчеством вопреки принципу справедливости, получившее разнообразные публицистические ярлыки («по форме верно, по сути издевательство», «юридический кретинизм», «демонстрация законности в полном соответствии с законом» и т.п.). За этим феноменом стоит интерес расширяющегося слоя опричнины укрепить собственное рентоизвлекающее положение за счет внутренней противоречивости правовой базы для прочих акторов. Как это и свойственно общностям премодерна, элита и околоэлитные слои в такой социальной матрице испытывают основополагающий дефицит легитимности, который восполняется насаждением и расширением корпуса сакральных, не подлежащих критическому осмыслению понятий и явлений, мифологизации исторической преемственности. В этом же ряду беспрецедентное расширение языческого по форме и сути элитного сектантства (эквивалент «допущенности», «просветленности») – от обрядовой религиозности неопитского толка до мистифицируемых, возводимых в ранг сокровенного знания квазидуховных практик «личностного роста», «достижения успеха»

Массовой сословной «ячейкой» этого архетипа стал т.н. класс «офисного планктона», имитирующий внешние признаки модернистского сообщества, но заключающий в себе наиболее застойные «ордынские» архаические черты – закрепление избыточной численности, отказ от созидательной деятельности в обмен на щедрое сословное пособие, критическое несоответствие социального статуса уровню компетенции и общественной полезности. В сущности, появление «офисного планктона» вызвано распространением городской эстетики и культуры потребления в условиях вторичности компетенций, ограниченности возможностей как получения, так и монетизации качественного и актуального образования. В этом контексте профессия рассматривается не как предмет углубления, чтобы отличиться и преуспеть, а как транзитная ступень в «кочевании» по социальной иерархии, что нельзя отнести исключительно на счет «ордынского» (и вообще степного кочевого) архетипа приращения знаний не «вглубь», а «вширь». Это скорее связано с отношением к образованию не как объему знаний и умений, а как титулу, архаическому сословному маркеру, дающему пропуск в сегмент обслуживания рентного обращения, – примерно такому же, как стандарт потребления и собственности. Этот сегмент представляет собой набор статусных и являющихся результатом мультипликативного эффекта от сырьевой ренты отраслей с ограниченным эффектом для трансформации сознания, которые при стандартном качестве труда формируют претензию на уровень дохода, соответствующий отличительной компетенции, – финансовый сектор, строительство и недвижимость, нетехнологические услуги (юридические, туристические, бытовые). Способ внутренней коммуникации

этого сословия представляет собой специфический обмен возможностями позиционирования в рентораспределительной системе между индивидами (если они не находятся в непосредственной «пищевой конкуренции» друг с другом), тщательно отслеживающими эквивалентность такого обмена, что является естественной особенностью принципа «нулевой суммы» при извлечении стоимости.

Этот класс обслуживает «зазор» между потребительским и институциональным фасадом евроатлантического образца и полуфеодальной системой общественных отношений, участвуя в перераспределении ресурсной ренты. Секторы (юридические услуги, аудит, консалтинг, рейтинговые агентства, независимые директора и пр.), призванные имитировать международные стандарты, в архаической среде также часто играют роль сословных маркеров – своего рода престижного корпоративного и публичного «потребления». Насущная потребность в этой прослойке вызвана тем, что жизненная стратегия каждого бенефициара силового присвоения общественной стоимости предполагает конвертацию условного капитала в безусловный – в странах с преобладанием модернистских сообществ. Отсюда возникает потребность представить всю цепь правовых и хозяйственных отношений, приведшую к возникновению такого капитала, в соответствии со стандартами этих стран. В некотором роде, «офисный планктон» можно рассматривать как эксклав уклада урбанистической архаики, так и не обретший способности создавать ценность, но мигрировавший из нижних сословий на околоэлитную орбиту благодаря расширению потребностей патримониальной группы и усложнению администрирования среды с высокими барьерами. Такое усложнение, в свою очередь, связано с глобальным развитием технологий, которое вообще призвано снижать барьеры, однако для патримониального центра и его «опричной тени», напротив, означает необходимость умножения таковых с целью не допустить размывания рентоизвлекающего положения. Класс «офисного планктона» имеет сходный интерес – не допустить инклюзии оставшегося на удаленной орбите крайне многочисленного слоя урбанистической архаики в условиях «пищевой конкуренции», поэтому участвует в социальной коалиции, повесткой дня которой является обеспечение закрытого доступа. В определенный момент даже возник оптический эффект смешения этого класса с «ядерными» городскими образованными сообществами в обмен на «услуги» патримониального центра как «старшего партнера» по защите от «свирепых нравов» урбанистической архаики. Действительно, имитационные практики во многом выступают ответом на запрос ядра городского архетипа – интеллигенции, функцией которой является сохранение институциональных образцов как части социокультурной нормы. Однако на деле модернистские общности никогда не являлись частью этой коалиции – не только ввиду различного положения в рентоизвлекающей системе, но и принципиально разного отношения к более важному архетипическому признаку – образованию и навыкам. Более того, изоляция от уклада урбанистической архаики – по существу большинства, бытующего в режиме социального «сиротства», – является противоестественной для интеллигенции, традиционно следующей миссии транссословного коммуникатора и просветителя.

Именно в рамках уклада «офисного планктона» в наиболее массовой форме проявился такой фатальный принцип «ордынской» социальной динамики, как отрицательный элитный отбор, набравший невиданный в русской истории размах и сопровождающийся катастрофическим сокращением доли дееспособного ядра занятых. Возрастание масштабов и роли низкоквалифицированной периферии привело к появлению такого управленческого феномена, как снижение сложности задач до уровня собственной компетенции вместо саморазвития, опрощению управленческого класса в целом («хвост виляет собакой»). Показательным фоном отрицательного отбора, свидетельствующим об углублении архаизации социальной матрицы, выступает направленность миграционных потоков – отток человеческих ресурсов, способных создавать новую ценность в общественных интересах, и приток претендующих на имеющиеся ресурсы, идеально подходящих для «ордынского» хозяйственного механизма и стандарта труда. Такая структура потоков создает искаженное, с экономической точки

зрения, представление об иммигрантах – не как производителе стоимости и предмете глобальной конкуренции с этой целью, а как потребителе ограниченных ресурсов к распределению и чужеродном раздражителе, причине ксенофобии.

Примечательно, что, в неблагоприятных для распространения знаний условиях в «городской» экономике также наибольшее развитие получили более «легковесные» и лучше монетизируемые отрасли постиндустриального уклада – медиа, коммуникации, розничный сектор, услуги и пр. Частный бизнес в этих отраслях демонстрирует идентичные «ордынским» черты, даже вне рамок непосредственного взаимодействия с государством, – склонность к коррупции на основе конфликта интересов, извлечению ренты из ограниченности «ядерных» компетенций и закреплению периферийных, субординации вместо координации. Это свидетельствует о том, что преобладающая форма собственности не является главной причиной институциональных дефектов экономики, а ее смена не может служить прочной основой для их коррекции. Новым массовым сектором экономики стали информационные технологии – в виде как обособленных хозяйствующих субъектов, так и тяжеловесных центров компетенции в недрах учреждений и фирм любой формы собственности. В силу своей виртуальной природы, этот сектор помещен в сравнительно тепличные условия, – он не подвержен действию естественных факторов неконкурентоспособности и потребляет ресурс высококачественного математического образования, понесшего наименьший ущерб в переходный период в силу отсутствия потребности в материально-технической базе. Тем не менее, примечательно, что в короткий срок отрасль воспроизвела «центр-периферийную» структуру занятости «ордынского» типа – с ядром мирового класса в программировании и интернет-сегменте, но закреплением избыточной численности и низкой продуктивностью, например, в системной интеграции, услугах поддержки, электронной торговле. Здесь источником неосновательного извлечения прибыли служит ограниченная прозрачность компетенций, эффективности и качества продукта для заказчика, что поддерживается таким архаическим инструментарием, как отсутствие горизонтальной кооперации исполнителей и генерация вертикальных надстроек, дублирование функций в режиме инсорсинга и аутсорсинга. Разработка передовых инновационных и коммерчески успешных продуктов для глобального рынка соседствует с импортозаместительными инициативами для внутреннего, реализуемыми в привычном режиме государственного заказа, однако направленными на догоняющее, консервирующее отставание, а не опережающее развитие, и часто порожденными коррупционными мотивами. По этой причине, в отличие от искусственных технологических цепочек советского оборонно-промышленного комплекса, такие инициативы служат не школой развития компетенций, а инструментом деградации существующих.

Вместе с тем, постсоветский период продемонстрировал регенеративную способность степного кочевника, когнитивные способности которого смягчают дефекты неблагоприятной среды, – в частности, многолетнюю маргинализацию научных школ, прерывание эстафеты передачи и развития знаний. Очаги постиндустриальной экономики стали нарождаться в университетских экосистемах – пока еще крайне слабых и плохо сообщающихся, но интегрированных в трансграничные цепочки научно-технической кооперации, имеющих диверсифицированный и коммерчески мотивированный профиль, как правило, сугубо гражданского назначения. При этом, уникальный, всесторонний когнитивный архетип степного кочевника, устроенный как «операционная платформа», позволяющая «закачивать любые приложения», идеально подходит для системы образования экономики знаний, необходимой для технологических прорывов на стыке различных отраслей. В этой связи примечательна не просто востребованность научных и инженерно-технических кадров российского происхождения со стороны ведущих мировых университетов и технологических корпораций, но и степень их адаптивности и успешности в рамках крупнейших технологических экосистем. Более того, принцип «операционной платформы» оптимален для коммутации различных архетипов, в т.ч. привлеченных извне – в частности, для восполнения дефективных компетенций и звеньев цепочки создания ценности, таких как разработка и продажа

конечного кастомизированного продукта, постпродажное обслуживание и др. Наконец, накопление навыков управления, маркетинга, дизайна, продвижения и пр., пока происходящее в основном за рамками технологического сектора, имеет значимую полезность для применения в указанном секторе, поскольку извлечению и удержанию стоимости от исследований и разработок препятствует слабость стартовых позиций на глобальных технологических рынках.

По-прежнему довольно успешными, в т.ч. в контексте международного сотрудничества, являются наукограды «новосибирского образца», а также в развитых городах Севера и «старообрядческого» генезиса, где среда характеризуется высокой кооперативностью и воспроизводит культуру европейских научных и образовательных сообществ. При этом, в Москве, где распространен довольно конкурентный архетип «образованного человека», научно-техническая активность носит несколько неупорядоченный характер, однако в ней можно рассмотреть процесс вычленения дееспособных центров компетенции (непосредственно линейного уровня – кафедры, лаборатории) и их группировки вокруг точек притяжения. Здесь «кампус» формируется как сетевой, где центры компетенции могут гибко использовать инфраструктуру конкурирующих университетов и исследовательских корпораций. Таким образом, контуры институциональных практик имеют много общего с американскими технологическими долинами, но городской ландшафт такого «синтетического кампуса» апеллирует к европейскому образцу. С учетом функции университета как современного градообразующего предприятия, напрашивается целевая «слободская»/«посадская» структура организации города, по принципу «один университет – один район». При этом, площадка города, в рамках которой взаимно накладываются области гравитации нескольких экосистем, потенциально обладает уникальным конкурентным преимуществом, – хотя элементы таких экосистем, несомненно, пока пребывают в зачаточном состоянии. Москва сама по себе располагает потенциалом ведущей региональной – наравне с крупными страновыми – экономики в постиндустриальном мире, в связи с чем ее модель роста выступает сердцевинной проблемой развития национального хозяйства в целом. В некотором смысле справедливо утверждать, что отношение к экономике современного города имеют только те виды деятельности, которые можно рассматривать как элементы «расширенной» университетской экосистемы. Отсюда глубинное внутреннее противоречие городской социальной среды в Москве состоит в сосуществовании в одном пространстве «традиционного», прежде всего крупного, бизнеса, функционирующего в поле длинной дистанции и задающего социальную норму, с одной стороны, а с другой – университетской и инновационной среды, малого бизнеса, требующих короткой дистанции. Таким образом, возникает как проблема разнесения этих модусов в пространстве, по аналогии с американской связкой «мегаполис – кампус», так и необходимость отдать предпочтение одному из них для размещения в малой городской черте, которая здесь потенциально может быть решена и противоположным прототипу образом. В частности, такой вариант напрашивается в связи с несоответствием мощности транспортной сети исторического города тому, насколько в мегаполисе пространственно разнесены разные очаги жизнедеятельности, что само по себе разрешимо лишь путем центробежного движения рабочих мест, хозяйствующих субъектов с высокой численностью занятых.

Основная слабость научно-технической экосистемы в России имеет отношение к провалам взаимодействия в определенных звеньях цикла исследований, разработок и внедрения. В глобальной практике, как правило, технологическая цепочка берет начало в исследовательских центрах, от научных разработок, участники которых (чаще всего младшие) переносят работу над конкретным продуктовым приложением в коммерческий сектор в виде стартапов, – если только исследование уже не имеет коммерческого интересанта в лице зрелой компании, обеспечивающей финальную кастомизацию изделия для пользователя. Тем самым достигается не только целостность цепочки, но и универсальность, разносторонний характер продуктового освоения научных достижений. В российских условиях младшее поколение ученых и инженеров играет периферийную роль в коммерциализации научных разработок,

более того, естественно-научные и экономико-управленческие школы университетов практически не сообщаются друг с другом общей повесткой, а исследовательские центры не заинтересованы сами прилагать усилия к трансферу технологий. Это является следствием традиционного отрыва системы исследовательских институтов от высшего образования, поскольку в советский период первые были ориентированы на заказы крупной, т.е. оборонной, промышленности. В то же время, в условиях разложения индустриальной формации сама исследовательская среда призвана быть генератором передовой научно-технической повестки – вплоть до продуктовых решений – более того, областью концентрации премиальной стоимости. Отсюда исследования и разработки вне системы образования, которая поставляет человеческие ресурсы для передовых исследований и их разностороннего продуктового освоения, лишены смысла. При этом реализация экономического эффекта от внедрения более не требует локализации серийного производства и потому напрямую не сдерживается качеством хозяйственной среды. Это тем более актуально в отношении России, где предпосылки для конкурентоспособного промышленного производства в расчете на рыночный спрос крайне слабы по сугубо естественным причинам, что в полной мере дает себя знать в условиях радикального сокращения государственного заказа в количественном и качественном выражении.

В связи с указанным дефектом экосистема стартапов базируется на достаточно периферийной предпринимательской инициативе – случайном контакте молодых носителей технических компетенций и коммерческих навыков, чаще всего за пределами университетской и в целом исследовательской среды, подвергшейся расслоению. Так, наиболее качественные разработчики, включая молодое поколение ученых, сосредоточены в фундаментальном сегменте и следуют в фарватере повестки своих глобальных академических партнеров, притом часто будучи встроены в их консолидированный денежный поток посредством международных грантов (часто такие разработчики попросту совмещают два места работы в разных странах) и систему коммерциализации. Напротив, лишенные глобальной кооперации разработчики, в основном сосредоточенные в отраслевых вузах и институтах, фокусируются на завершеном продуктивном решении, не вытекающем из актуальной исследовательской повестки, – как правило, на усовершенствовании известных решений. Тем самым фактически они обречены «хранить верность» устаревшему продукту, пока это востребовано стремительно теряющим глобальные конкурентные позиции промышленным заказчиком – часто единственным, в свою очередь, опирающимся на государственный или квазигосударственный заказ. По причине отсутствия связи с исследованиями технологии, лежащие в основе таких решений, не обладают продуктовой версатильностью, – они ориентированы на узкую группу изделий, соответственно рискуют не оставить каких бы то ни было производительных «отростков» в случае утраты лояльности потребителя таким изделиям. Эта стадия разработки в международной практике обычно является заключительной и относится к ведению внедряющей компании, поскольку требует всестороннего интегрального пользовательского решения, а не просто конкурентного преимущества по одной из технических характеристик. В свете этого неудача конкретного продуктового решения или бизнес-стратегии внедряющей его компании хоть и является болезненной для судьбы технологии, однако не обязательно до степени непоправимого ущерба. Таким образом, ключевой задачей выступает перенос функции «заряженной частицы» трансфера технологий на молодое поколение разработчиков, а также модификация самих исследовательских центров, совместимость с участниками других стадий жизненного цикла технологии, в т.ч. в рамках трансграничной кооперации.

8.5 Экономика знаний как безальтернативное решение трансформационной задачи

В конечном итоге, единственным системообразующим типом «производства», показавшим в долговременном плане свою конкурентоспособность, оказалось производство знаний и навыков. В этом контексте даже материальное производство, в своем изначальном качестве скорее приводящее к потере стоимости, а не к ее созданию, можно считать школой компетенций «на практике», функционирующей по принципу увязывания людей с разным уровнем образования в единую цепочку создания ценности. В силу неконкурентоспособности массового производства, единственным доступным типом предпринимателя, способным создавать ценность, также остается «человек из университета» городского оседлого образца. При этом, кристаллизовались разные архетипы «капитала с компетенциями» – в городах старообрядческого генезиса кооперативный, подобный европейскому, в столице конкурентный, напоминающий американский (вероятно, «ордынское семя» в результате трансформации в принципе производит конкурентный тип, характерный для кочевого бытования). Что касается звена опытного производства, то опорным для такового могут являться не только элементы оборонно-промышленного комплекса и схожих отраслей, но и некоторые элементы т.н. «гаражной экономики». Последняя представляет собой результат системной «течи» очагов создания стоимости из модели «концентрических кругов» и, с точки зрения социальной организации, родственна постиндустриальному типу хозяйствования, децентрализованному по своей природе, – во всяком случае, даже в форме примитивного промысла не противоречит таковому.

Некоторую сложность для модернизации в условиях первородного дефекта (или, как минимум, периферийности) морского архетипа представляет отсутствие самостоятельного финансового капитала как такового. При этом, расчет на накопления, созданные внутри страны и за ее пределами в результате «течи» из системы «концентрических кругов», не является обоснованным. Их нормативный микросоциальный портрет предполагает бегство от патримониального риска, поэтому условием их вовлечения в хозяйственный оборот является принципиальная смена рискованного профиля экономики. Вместе с тем, необходимо признать, что эти ресурсы в значительной степени ориентированы на примитивный характер целевых активов, прежде всего, ценные бумаги на вторичном рынке и недвижимость, что приводит лишь к росту социальных барьеров и архаизации социальной среды. Однако снижение капиталоемкости глобального роста в постиндустриальную эпоху высвободило в мировых центрах значительный капитал финансово-промышленного генезиса (в глобальных финансовых институтах он перемешан со степным кочевым капиталом, вывезенным из стран происхождения, в т.ч. России), который не находит производительного применения и не способен генерировать доходность. Накопления в развитых странах утрачивают признаки капитала, – при этом в России они и не выполняли функцию такового на протяжении сколько-нибудь продолжительного периода, – а спрос на человеческие ресурсы, способные создавать новую ценность посредством своих компетенций, значительно превышает предложение таковых. Одновременно страны, которые располагают возможностями для экстенсивного роста и являются наиболее органичными реципиентами финансовых инвестиций, часто сами являются нетто-донорами (Юго-Восточная Азия) либо не способны абсорбировать ресурсы в силу особенностей человеческого капитала (страны Африки) и требуют длительного подготовительного периода. В период экономики знаний Россия (наряду с Латинской Америкой), имеющая значительный потенциал насыщения рынка, дефицит материальной и социальной инфраструктуры, представляет достаточно редкое исключение с точки зрения предложения доходности для финансового инвестора, при этом однокоренной культуры и наличия обширной, экономически активной диаспоры в развитых странах, способной выступить медиатором при доставке капитала. В этой связи, ограничение по фактору капитала в долгосрочном плане можно считать пренебрежимым для трансформации российской экономики. Однако в связи с характеристиками человеческих ресурсов, исключительно благоприятствующими фундаментальным исследованиям, которые в экономике знаний являются «генератором» общественной стоимости, особенное значение приобретает предложение некоммерческого капитала. По своей природе

к последнему также примыкает довольно низкодоходный венчурный капитал ранней стадии, к которой весьма склонен трансформированный, урбанизированный степной архетип – охотно начинающий новое, но не углубляющийся в детали.

Таким образом, именно в условиях экономики знаний и сокращения коренного населения, превращающего потенциально застойную для развитых стран проблему «невключенных» в решаемую проблему доступа таковых к образованию, Россия впервые в своей истории получает совокупность базовых предпосылок для успешной трансформации. Новые глобальные тренды – внушающие другим мировым лидерам опасения – скорее делают ее выгодоприобретателем, а, напротив, факторы экзистенциального сдерживания утрачивают свою актуальность. Так, особенностью постмодерна является резкое возрастание роли личности в экономике и обществе по сравнению с устойчивыми, деперсонифицированными институтами, которые – как и все прочие признаки модерна – в России так и не устоялись. Кроме того, становится доступным прямой импорт институтов – услуг управления общественными фондами и провайдеров общественных благ. Наконец, бытующая в России модель премодерна предполагает совмещение институтов общественного блага и центров извлечения стоимости, что не противоречит модели постмодерна, поскольку извлечение ценности по экономической природе становится подобным созданию общественного блага. Как уже отмечалось, наиболее органичным претендентом на роль государства постмодерна де-факто выступает город, а на роль суперкорпорации постиндустриальной эпохи – университет как основное градообразующее предприятие. Новый тип хозяйства снижает критическую важность численности и плотности населения, логистических издержек и фрагментации рынков, а также облегчает «балансовое уравнение» резким снижением капиталоемкости всех звеньев технологической цепочки. В этих условиях получает новые перспективы также и современное деконцентрированное, малосерийное производство с низкой трудоемкостью и высокой роботизацией для сравнительно небольших местных рынков, будь то на основе собственных или иностранных инвестиций и технологий. Именно этот уклад, замыкающий простое производство практически на одном домохозяйстве, может выступить также и первоначальным социальным демпфером пониженной открытости степного архетипа к кооперации, горизонтальному сотрудничеству, некоторого дефицита доверия. Вместе с тем, постмодернистский тип «безразмерной» семьи, основанной на совместном ведении хозяйства рядом супружеских пар (см. ранее), по мере смены поколений в состоянии окончательно искоренить этот дефект.

Однако, с точки зрения оптимального распределения высоких естественных затрат на жизнеобеспечение, городская форма организации жизни в российских условиях не имеет альтернатив, поскольку позволяет приблизить центры концентрации ресурсов для этих целей к целевым группам населения. Концентрация последнего сохраняет актуальность также и для помещения человеческих ресурсов в гетерогенную среду, выступающую естественной «инфраструктурой» развития человеческого капитала. При этом, городским сообществам предстоит пройти существенное реформатирование, прежде чем они смогут служить полноценной площадкой устойчивой модернизации. Это касается их самостоятельности, градообразующей глубины проникновения университетской среды в ткань городов и формирования сетевой, полицентрической структуры гетерогенных «слобод»/«посадов», культуры оседлого бытования в них, развития навыков, практик и институтов горизонтальной кооперации, рекультивации уклада урбанистической архаики. Кроме того, важнейшим условием модернизации является множественность очагов городской цивилизации с более или менее равнозначным предложением факторов развития человеческих ресурсов, открытый доступ архаических сред к трансформационному – прежде всего, образовательному – лифту, общенациональная ответственность городов, их внутренняя и внешняя инфраструктурная связность. В конечном итоге, речь идет о переосмыслении и реконституировании тысячелетней разрозненной общности на обновленной, жизнеспособной основе постиндустриальной «метанации», скрепляемой непрерывным образованием как

центральной сферой создания ценности. Это предполагает упразднение традиционной «ячеистой» архитектуры государственности – оторванной от очагов концентрации человеческого капитала и привязанной к малонаселенной и ресурсоемкой территории. Она пролиферирует архаическое тяготение на «клеточный» уровень путем нарезки макропространства на более мелкие «кормовые» подобия, которые поглощают, обременяют и подавляют «точечные» модернистские очаги, привязанные к местам концентрации населения. Альтернативой этой архитектуре служит принцип «кристаллической решетки», первичными элементами которой выступают сами эти «точечные» очаги, скрепленные друг с другом по горизонтали и управляющие межеумочным пространством в общих интересах, т.е. в интересах населения. Именно сеть городов в постиндустриальном мире выполняет роль «улавливателя» премиальной стоимости и оттесняет национальное государство, поэтому только пространство, организованное подобным образом, может претендовать на роль элитного звена в современной цепочке создания ценности, более того, быть целиком включенным в это пространство в ведущей роли. Примечательно, что часть общества, стремящаяся к масштабной деятельности, связанной с созданием ценности, «нащупала» в качестве таковой сферу городского развития интуитивно либо от «безысходности», не вполне осознавая ее узловое значение. Массовое увлечение урбанистикой в 2010-е гг является достаточно новым феноменом, в рамках которого вертикальные структуры не столько формируют общественный запрос, сколько откликаются на него, о чем свидетельствует широкое критическое обсуждение «продукта». Это увлечение местами пока носит наивный характер, что, однако, связано с поступательным накоплением знаний о предмете, ознакомлением с возможностями городской среды. Одновременно происходят такие тектонические изменения, как осторожный выход из состояния атомизации, появление первого опыта оседлого бытования и горизонтального взаимодействия, «знакомство» друг с другом различных городских социальных страт – заинтересованное, в противовес стереотипно нежелательному.

С одной стороны, в элитах и обществе назрело осознание опасности экзистенциального выпадения из глобальных трендов, которое подкрепляется эрозией стоимости ценностей, традиционно выступающих основой «кормовой» базы: из нарождающегося технологического уклада «нулевой логистики» вытекает постепенное снижение использования дефицитных материалов в мировом производстве. Отсюда следует постепенный перенос бремени содержания государства с малонаселенных и ресурсно богатых территорий на крупные городские агломерации как единственный потенциально дееспособный альтернативный генератор стоимости, что с неизбежностью означает постепенный рост институционального представительства интересов передовых городских слоев и переход к национализации «стационарного бандита». Отдельным видом риска на этом пути выступает перспектива скоротечного обрушения института «бандита»: в силу географических особенностей страны, институт легитимного принуждения может лишиться альтернативы «осесть» вовсе, – в случае если материальная база такового, т.е. стоимость ресурсов малонаселенных территорий, истончится обвально. Тем самым на достаточно длительном промежутке времени ресурсы окажутся перетянуты «вниз», к местам образования стоимости, т.е. к населению-донору и местам его концентрации, в то время как механизмы генерации стоимости на основе человеческого капитала не успеют заработать в полной мере, чтобы их было достаточно для добровольного перераспределения «вверх». Из этого непосредственным образом вытекает также и опасность провала в натуральное хозяйство территорий, не располагающих конкурентоспособными способами генерации стоимости, – в т.ч. крупных, «заглубленных» в субконтинентальное пространство и зависимых от субсидирования транспортировки их продукции к местам потребления. Наконец, не исключен переход выгодно расположенных регионов к эксплуатации собственного транзитного ресурса, стоимость которого в настоящее время не фигурирует в затратах хозяйствующих субъектов, – весьма вероятно, что эти регионы могут тяготеть к сохранению феодальной ресурсно-силовой модели. Если же представить себе «рисунок» реконструкции государства в форме

«стационарного бандита», то скорее он явится репликой античного и ренессансного прототипов – добровольным союзом городов-республик, берущим на себя ответственность за межеумочные земли.

Так или иначе, силовая «детоксикация» социального оборота становится предпосылкой расширения нового способа производства и предотвращения примитивизации экономики. С другой стороны, с той или иной степенью очевидности сложились два различных взгляда на композицию модернизационной социальной коалиции, которая должна прийти на смену архаической «распределительной», вверху основанной на ресурсно-силовых корпорациях, а внизу на слоях, не предъявляющих запроса на включение в цепочку создания ценности в обмен на минимальное пособие. Эти взгляды диаметрально противоположны с точки зрения того, кому в коалиции отводится роль «партнера» просвещенного слоя. Традиционной для различных модернистских прорывов в истории России – от петровского до реформ 90-х гг – является «антинациональная», «оккупационная» (в безоценочной коннотации) коалиция, где роль такого «партнера» отводится бюрократии «передовых» взглядов. Такой альянс подразумевает ограниченное обновление элит за счет наиболее «токсичных» ресурсно-силовых корпораций в пользу расширения представительства «профессионалов-одиночек» и «предпринимателей», однако по своей сути основан на консервации сословной социальной матрицы и ограниченного доступа на следующем витке. В общественном сознании в наше время он маркируется как «либеральный», однако на деле создает спрос на силовую поддержку для обеспечения герметичности такой матрицы, поэтому ориентирован на недопущение «усложнения» структуры общества и способа хозяйствования, а в конечном итоге реставрацию институционального кормления, т.е. общественных отношений феодального образца.

Другое видение, характерное для развитых стран, сводится к противоположной композиции, где роль второго «коалиционного партнера» выполняет «следующий в очереди» широкий, нациеобразующий класс, роль которого в России выполняет слой урбанистической архаики. В рамках первой модели этому слою отведено место за периметром правящей коалиции, в то время как вторая подразумевает национализацию государства впервые в русской истории, в связи с чем в основе соответствующей повестки дня проблема отношения к коррупции, конституирующая предъявление отчужденным населением своих прав на государство (см. ранее). Выражающие такой запрос течения, так же как и в других странах в период зарождения межсословной солидарности, имеют националистическую окраску той или иной степени выраженности, а в наиболее смягченной форме воспроизводят народничество, которое в свое время пыталось восполнить дефект социальной миссии массового производства прямым межсословным общением. Этно-националистическое звучание этой повестки дня усиливается трансцендентностью по отношению к населению ресурсно-силовой элиты, которая находится в одном архетипическом ряду с аналогичными этническими социальными «капсулами» и своим поведением воспроизводит традицию «кормления промысловыми набегами». Сочетание архетипических компонент такой коалиции – прежде всего, наиболее многочисленных образованных степных кочевников и выходцев из общностей, испытавших влияние староверов, с установками морских кочевников, а также элементов городского архетипа – характерно практически для всех крупных русских городов и, вероятно, представляет собой потенциально наиболее плодотворную композицию. Такая коалиция предполагает активацию социальных лифтов, соответственно, безальтернативность скачкообразного расширения мощностей и наращивания качества системы образования, которая в рамках первой парадигмы выступает обременительным «довеском». Изменения схожего масштаба и близкой архетипической природы в русской истории случались лишь по итогам революций начала и конца XX века, однако натолкнулись на неконкурентоспособность страны в рамках способа производства своего времени – массового индустриального. По этой причине эти изменения вылились соответственно в искусственную индустриализацию и естественную деиндустриализацию, что в обоих случаях вызвало необходимость подпитки одних слоев населения за счет постановки других на грань выживания и возврата к

«антинациональной» модернизационной, а затем и просто архаической «распределительной» коалиции. Вместе с тем, указанные революции выстраиваются в единую историческую последовательность, которая, по всей видимости, еще ожидает своего завершения и выражает экзистенциальный запрос на образование национальной модернизационной коалиции. Однако государство открытого доступа не имеет сколько-нибудь укорененных источников легитимности в национальной истории, если не считать Новгородскую республику, которая в наше время служит скорее источником вдохновения, нежели каких-либо актуальных социальных практик. Соответственно государство, имманентное населению, может быть основано лишь на отрицании практически всех своих постновгородских предшественников, более того, на противопоставлении этих предшественников нации и ее достижениям, неотменяемом комплексе исторической вины государства перед народом.

Как отмечалось, классические идеологические маркеры – либерализм, социализм, национализм и пр. – являются производными социальной матрицы модерна и относятся к течениям, выражающим интересы определенных компонент национальной модернизационной коалиции, в числе которых в обязательном порядке присутствуют самодельный капитал и свободный труд. В этой связи, их применение к элементам политической системы премодерна некорректно: в частности, в российских условиях капитал прежде всего накапливается на основе силового присвоения примитивных ценностей, соответственно ресурсно-силовыми кланами ограничен и фактический выбор работодателей (в большинстве отдельно взятых локаций он отсутствует в буквальном смысле). По этой причине труд несет ярко выраженные отпечатки невольничьего и не предполагает также политической субъектности при делегировании объекта представительства («свободный выбор» невольника всегда сводится к персоналии «хозяина»).

Отсюда в социальной матрице премодерна идеологические маркеры относятся не столько к массовым течениям, сколько к кормовым корпорациям с различными типами рент. В силу физической природы последних, корпорации могут придерживаться различных корпусов эстетических предпочтений – прежде всего с точки зрения выбора внешних образцов для подражания. Так, «патриотический» фланг выступает бенефициаром наиболее крупных «физических», привязанных к территориальному ресурсу, первичных рент – сырьевой, инфраструктурной, государственного заказа, потому скорее тяготеет к огораживанию, изоляционизму. Более того, он чувствует себя комфортнее с кооперационными партнерами из общностей с аналогичной, вертикальной социальной архитектурой, – для них характерна схожая структура распределения и бенефициаров общественной стоимости, так что достигнутые с ними договоренности выглядят надежнее. Основным промыслом «либерального» фланга выступает извлечение вторичных рент, образующихся в результате обращения первичных, – финансовые и прочие услуги, строительство и недвижимость, розничная торговля, медиакоммуникации. По этой причине он заинтересован в интеграции с основными финансовыми центрами вовне – прежде всего основанными модернистскими сообществами, поскольку они одновременно выступают местами продолжения жизненной стратегии семей и площадками премиального потребления. Среди прочего, это сравнение иллюстрирует неизбежность вытеснения олигархата 90-х гг более мощной силовой корпорацией из сегмента первичных рент в сегмент вторичных. Наконец, под «левым» флангом можно понимать корпорацию, основным промыслом которой выступает перераспределение первичных рент на цели т.н. социальной сферы, «бюджетников», при этом отношение к внешнему влиянию здесь неоднородно и зависит от конкретной отрасли, региона, института, нужды в ресурсах двух предыдущих корпораций. Каждый сегмент в силу своей природы широко представлен своими делегатами в составе государственного административно-бюрократического аппарата – соответственно силового, экономического и социального. Стремление к тем или иным внешним образцам или отсутствие такового, тем не менее, никаким образом не меняет феодальную природу соответствующей элитной корпорации, – они действуют в сослужении, находятся в симбиотической связи друг с другом, более того, строятся на идентичных принципах силового присвоения премиальной стоимости, экстрактивной модели хозяйствования, закрытого доступа, отрицательного отбора. При этом нижние сословия выступают остаточными, маргинальными бенефициарами рент, одновременно они могут себя манифестировать в качестве сторонников соответствующей «идеологической платформы», – на деле, однако, это не более чем присяга на верность кормовой корпорации, к которой они принадлежат. Таким образом, как верхние, так и нижние сословия по своему положению схожи с «соседями по социальному этажу», скорее чем с идеологической «фракцией».

Тем не менее, осмысленное содержание в российских реалиях имеют три идеологические платформы, построенные по иному принципу: самодержавно-монархическая; аристократическая или прогрессивно-

монархическая; республиканская – без особого деления на фланги в силу маргинальности, а часто и неразличимости, свободного труда и капитала. Каждой из них соответствует социальная коалиция на основе определенной пары из трех сословий – силовой корпорации, образованного слоя и нижних слоев, в частности, урбанистической архаики, – «против» третьего. Модель коалиции каждого из этих типов имеет глубокие хтонические социальные корни и собственный источник исторического «вдохновения»: традиционная «ордынская» асимметричная «распределительная» коалиция подавляющих и подавляемых, подразумевающая маргинализацию образованного слоя и соответствующая формации премодеерна; условно «петербургская» элитная коалиция ограниченного доступа между силовой корпорацией и лоялистским образованным слоем, подразумевающая маргинализацию большинства и соответствующая раннему модерну; условно «старообрядческая» коалиция открытого доступа между самодельным капиталом, самодельным образованным слоем и «несиловым» большинством, подразумевающая подчинение силовой корпорации общественным интересам и соответствующая зрелому модерну. Коалиция первого типа является архаической, двух последних – модернизационными, при этом коалиции двух первых типов являются антинациональными, последнего – национальной. Отсюда видно, что аристократическая (или прогрессивно-монархическая) и республиканская платформы модернизации, последовательно доминировавшие в европейских странах в ходе преодоления самодержавия и национализации государства по окончании премодеерна, все еще актуальны для общественных процессов в России, поскольку для течения стадии модерна здесь были характерны многочисленные дефекты («несданные экзамены»).

Таким образом, выбор из двух моделей модернизационной коалиции никогда не был и не является следствием убедительности или тем более удачливости их адептов, а выступает объективным следствием факторов более высокого порядка. Аристократическая коалиция всегда упиралась в вопрос о силовой защите системы закрытого доступа, который затем сменяется проблемой «защиты от защитников». В цифровую эру возникает гипотеза о возможности заменить кормление за счет физических ресурсов, присваиваемых физической силой, соответственно централизацией каналов монетизации виртуального потребительского трафика и возможностью массово принуждать пользователей информационных сетей к определенным действиям, имея в распоряжении возможности серийного сбора и обработки данных об их жизнедеятельности. Однако российский потребительский рынок обладает довольно малой глубиной, к тому же виртуальная торговля не отменяет необходимости доставки, а соответственно фактора логистических затрат. Последний перестает играть непреодолимого барьера лишь в рамках способа производства, основанного на маломощных роботизированных линиях для локального потребления и на услугах разработки, т.е. при условии деконцентрации и усложнения источников стоимости до степени невозможности их централизации и силового присвоения. При этом сведение большинства налогов к обременению потребления в условиях экономики знаний не лишено разумности и в наибольшей степени отвечает духу второй модели – при условии, что центры перераспределения ресурсов граждан максимально приближены к местам их проживания. В свете этого национальное государство как таковое также является атавистичным, чересчур крупным образованием для постиндустриальной экономики, хотя в условиях малой населенности мест сырьевого промысла в России вполне может иметь прямые источники реализации общих целей и задач за счет доходов от таких ресурсов. Исходя из вышеизложенного, переход к модели национальной коалиции возможен как по образцу 1917 года, так и подобно перестройке конца 80-х гг, когда по мере лавинообразного нарастания сложности изменений, скорость и повестку дня таковых стала формировать интеллектуальная элита, которая тем самым стала фактическим центром власти. Однако ключевым отличием современного переходного момента является появление глобального стереотипа интеллектуальной элиты как создателя и бенефициара общественной стоимости, что делает устойчивым ее положение в качестве центра притяжения и для низовых слоев общества, и для капитала.

Наряду с географически обусловленными особенностями способа производства, в послевоенный период укорененность противоположных моделей социальной коалиции непосредственным образом наложилась на каскад демографических волн, сквозь призму которых такие коалиции могут быть препарированы как поколенческие. Как правило, распределительные коалиции более устойчивы и

опираются на альянс двух многочисленных поколений «отцов и их детей», минуя промежуточное малочисленное, в то время как сравнительно кратковременные периоды перемен приходится на аналогичные альянсы малочисленных. Очевидным образом запрос большинства при прочих равных условиях отдает предпочтение правлению первых, со вторыми же в этом качестве готов мириться лишь под давлением чрезвычайных обстоятельств, – с которыми не в состоянии справиться правящий слой, сформированный в тепличных условиях. В частности, период благоприятной внешней конъюнктуры начала XXI века сделал практически неизбежным возвышение наиболее многочисленного зрелого поколения, последним вступившего в активную жизнь в советский период и запечатлевшего в памяти сравнительное материальное благополучие, более того, зарождение примата потребительских ценностей над идеологическими. В сослужении с этим поколением находятся их непосредственные потомки, у которых аналогичный возраст пришелся на окончание переходного периода 90-х гг, – они оформились в «генерацию легких задач», по умолчанию прибегающую к заимствованию шаблонных решений, более того, усвоили поведенческие и ценностные установки старших, скорее чем технологичность своего времени. Таким образом, в наше время во всех возрастных группах этой коалиции преобладает слой «офисного планктона, предводимый» силовой и административной бюрократией, поэтому даже перед лицом неизбежных перемен эта коалиция придерживается аристократического принципа формирования элиты, стремится к ограничению социальной мобильности – соответственно опрощению задач и их решений. На фоне драматизма грядущего переучреждения государственности это может означать, что по объективным причинам России вновь предстоит период правления меньшинства – «коалиции стремительных и трудных перемен» на основе альянса первого постсоветского поколения в наставническом качестве с родившимися в 90-е гг и позднее в роли имплементаторов, активных субъектов. Эти поколения в значительно большей степени предрасположены к использованию социальных лифтов, типичных для образованных профессиональных сред и самостоятельного предпринимательства, к новым технологическим и управленческим решениям, горизонтальному способу взаимодействия, а также в том или ином виде привержены ценностям просветительского миссионерства и открытого доступа. Однако, по мере успеха преобразований и объективного снижения уровня сложности задач, более многочисленные поколения вновь неизбежно выйдут на авансцену в правящем качестве – как «бенефициары трудных перемен».

При общей однородности тенденций в общностях русского этно-гражданского периметра, два наиболее массовых архетипических слоя – атомизированные степные кочевники и выходцы из общностей старообрядческого генозиса – в процессе деархаизации формируют запрос на различную социальную архитектуру, при этом линия межвания между ними проходит по принципу отношения к солидарности. Первому виду отторжение к коллективному действию привито экстрактивной патерналистской матрицей, поэтому он склонен рассчитывать лишь на узкий круг близких и неохотно объединяется ресурсами в составе более обширного коллектива – по некоторой аналогии с ранними поселенцами-колонизаторами в Северной Америке, однако без свойственной последним установки на предприимчивость, расчетливый риск. В то же время, для второго вида характерно отношение к коллективному действию как наиболее продуктивному, будь то в творчестве, промысле или «отпоре кочевому бандиту», – в том или ином виде эти навыки по-прежнему не утрачены. Причудливым образом к запросу второго типа примыкают и другие, весьма отличные архетипические виды, объединенные короткой дистанцией, – модернистского или архаического толка, с привычкой к вертикальной патримониальной опеке, отчуждением от принятия решений и осознанной, материально значимой ответственности. К числу последних относятся такие разнородные слои, как петербургский городской архетип и в целом значительная часть интеллигенции, с одной стороны, а с другой – выражающие распределительный запрос и ориентированные на силу нижние сословия, относящиеся к степным кочевникам. По-видимому, по мере нарастания концентрации населения в городских агломерациях,

практически все региональное многообразие России сведется к запросам на социальную архитектуру этих двух типов. Носители двух запросов в значительной степени перемешаны в большинстве регионов, однако в целом первый скорее выражен в центральной части страны, в то время как для северной, южной и восточной в различных видах органичнее второй.

Примечательным образом Москва, а также крупнейшие по населению города Центральной России, со времени основания неоднократно «линяли» в архетипическом отношении. Зародившись как цитадель силовой корпорации и экстрактивные центры, весьма периферийные на карте торговых путей, впоследствии они передали эту эстафету имперскому Петербургу. При этом сами они испытали сильнейшее влияние предприимчивых старообрядцев – чуждых запросу на патримониальное попечение, склонных к общинному хозяйствованию, открытых к постоянному усложнению способа производства и развитию институциональной среды «снизу». Однако уже урбанизация советского периода привела в города иную архетипическую генерацию, среди которой преобладал поведенческий тип степного кочевника. Как известно, у этого вида процесс деархаизации, выхода из-под непосредственного силового подчинения практически неизбежно приводит к нарастанию атомизации – отторжению коллективного действия и сужению круга доверия. Диффузию поведенческих установок различных страт в этих общностях нельзя считать завершенной, однако промежуточный, постсоветский архетипический портрет этой популяции оказывает существенное влияние на современный социальный запрос русского этноса. Этот портрет имеет многие существенные признаки ранних морских кочевников: в усредненном виде полученный тип индивидуалистичен и недоверчив – прежде всего к власти, – в том или ином виде стремится иметь самостоятельный доступ к силе, при этом ищет выгоды, промысла различной степени общественной полезности, предъявляет запрос не столько на познание, сколько на узкие навыки с непосредственным полезным применением, склонен к имитации чужих образцов. Именно этот архетип запечатлен в структуре постсоветской ресурсно-силовой корпорации – внутренне полицентрической, консолидирующейся только на почве общей выгоды, при этом тяготеющей к примитивным промыслам, деидеологизированной. Однако даже применительно к низовым сословиям это скорее нежелательная модернизационная траектория, поскольку она оставляет «за бортом» установки, образующие естественное преимущество первообразных страт в постиндустриальную эпоху с ее императивом опережающего развития, – коллективное действие и высокий уровень доверия, социального капитала у старообрядцев, с одной стороны, и универсальный когнитивный архетип степных кочевников, у которых прикладные навыки вырабатываются в междисциплинарном контексте, с другой. Более того, как уже отмечалось, у морских кочевников повышенные транзакционные издержки взаимодействия, включая стоимость содержания соответствующих посреднических институтов, покрываются излишком финансового капитала, который, в свою очередь, обусловлен комплексом факторов, так или иначе вытекающих из географического положения – т.е. представляющих сравнительный конкурентный недостаток степных кочевников. Отсюда оптимальная траектория модернизационной динамики видится как своего рода социальная – подобно химической – «восстановительная реакция», призванная активировать сильные стороны первообразных архетипических страт и протекающая в недрах системы образования.

Некоторую унификацию институциональной архитектуры, а также уровня жизни в кардинально различающихся условиях – как природных, так и с точки зрения проникновения институтов – может обеспечить фронтальная реновация всех отраслей производства общественных благ (т.е. в конечном счете государства) на основе распределенных и электронных технологий, а также постепенное внедрение гарантированного гражданского дохода. Эти инструменты устраняют потребность в искусственной занятости и неэффективном аппарате социальной поддержки, а также служат «адаптационной стипендией» для промежуточных поколений в депрессивных провинциях. Однако региональные различия, наряду с разнесенностью очагов населения в пространстве, диктуют приведение

институциональной архитектуры страны в соответствие с характерной для архетипически многоукладных цивилизаций – с допустимостью полифонии институциональных систем, а также интеграционных и кооперационных ориентиров, инвестиционных доноров (примеры: Петербург, Калининград – Германия, Карелия – Финляндия, Москва – англо-саксонское правовое пространство, Дальний Восток – азиатские «тигры» и т.п.). Отсюда необходимость отдельного механизма управления в общих интересах малонаселенными регионами – донорами сырьевых рент, где структура плотности населения лишает смысла промежуточный между федеральным и муниципальным уровень концентрации ресурсов. Наконец, переход управления национальным суверенитетом к городам предполагает их солидарные права и обязанности в отношении населения межумочных пространств, а также не являющихся хозяйственно самодостаточными регионов, равно как ответственность за инфраструктурную связность территории. Фактически переход под союзное управление городов не сбалансированных в ресурсном отношении пространств – соответственно дотационных или не освоенных населением промысловых – знаменует собой окончание эры «кочевого бандита» в русской истории.